Пётр Проскурин

Имя твое

Пётр Проскурин Имя твое





Петр Проскурин

Имя твое

ДИЛОГИЯ

РОМАН ВТОРОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84Р7
П82

Иллюстрации художника
В. СМИРНОВА

Оформление художника
Е. ЕНЕНКО

П $\frac{4702010200 - 280}{028(01) - 88}$ без объявл.

ISBN 5—280—00429—4 (Т. 2)
ISBN 5—280—00427—8

Книга первая

Белая снежеть



Часть первая

1

Большая, уходящая к реке поляна была окружена старыми, свесившими ветви до самой земли березами и покрыта крупными лесными ромашками в мелкой алмазной росе; с каким-то боязливым восхищением Аленка осторожно прикоснулась к зеленому суставчатому стебельку; на нем, слегка пригнувшись, красовался белый, как кипень, глазастый цветок. Со всех сторон слышались птичьи голоса — тиликанье синиц, нежный перезвон жаворонков, звонкоголосые трели иволги и еще какие-то чмокающие звуки; их природу Аленка определить не могла. Оторвавшись от ромашек, Аленка прислушалась, она сейчас была в огромном мире, и это было непривычно и странно; как она ни крепилась, глаза ее наполнялись слезами.

— Тоже хочу счастья,— прошептала она, вспомнив что-то полузабытое, очень родное.— Чуть-чуть, одну капельку... не на всю жизнь... совсем немного, вот как это утро... оно ведь тоже пройдет. Господи, дай мне ребенка... не много прошу... ребенка... Господи, дай мне ребенка... Все остальное — другим, все остальное не нужно. Господи, дай мне ребенка!

Захваченная одной своей мыслью, Аленка тихо брела через просторную поляну, оставляя в росной траве темный широкий след, чувствуя в себе опять дыхание чего-то неизвестного, пугающего своей неопределенностью, бросающего ее из стороны в сторону; как и раньше в такие минуты, с нее словно спадало все, оставалось лишь что-то темное, нерассуждающее, мохнатое, глубоко запрятанное; со дна души поднимался безотчетный страх, смутное ожидание чего-то. Она еще пыталась бороться с этим своим настроением, но оно ее одолева-

ло, и она забивалась все дальше и дальше в глушь, больше всего опасаясь кого-нибудь встретить...

С наслаждением ступая босыми ногами в мягкой, шелковистой траве и стараясь не задевать ромашки, Аленка шла цветущей, сверкающей поляной; для нее сейчас не было ни мужа, ни родных, вообще не было людей, была лишь одна она и лес — чуткий, добрый, сказочный, беспредельный, способный вместить в себя все, от начала до конца. И мыслей у нее, и желаний, кроме одного-единственного, всепоглощающего желания иметь ребенка, никаких не было, ей лишь хотелось чего-то необычного, может быть, сорвать с себя всю одежду, броситься в свежую, прохладную реку, зарыться лицом в обрызганные росой ромашки. Ей вспомнились полузабытые рассказы бабушки Авдотьи, как на зорях, распустив волосы, ведьмы собирают росу в ведра, приманивая к своим коровам и отнимая у чужих молоко. «Что ж такого,— сказала она себе,— ведьмам и не такое позволено».

Все с тем же озорным чувством она смутно припомнила, как еще бабка Авдотья рассказывала своим подругам, таким же старухам, таинственно оглядываясь на притихшую с книжкой внучку и понижая голос, что молодые мужики и бабы, которые непременно хотят родить сына, ходят под Троицын день на Чертов курган и купаются там в росе... Аленке ясно послышался пришепетывающий говорок бабки Авдотьи, рассказывающей про загадочный Чертов курган в ночь под Троицу и купающихся в росе мужиков и баб. Томительный жар прихлынул, разгорелся во всем теле от этого странного, первобытного желания сорвать с себя одежду и поваляться на росной, прохладной траве. Птицы были не в счет; хрустальная, прозрачная тишина заполняла мир; березы свесились в зеленых, ниспадающих с них потоках листвы до самой земли. От этой немыслимой тишины и согласности, что жила вокруг нее, в душе родился первый слабый отзвук, первое ответное движение. Чувство это крепло, и вот уже какое-то далекое, все усиливающееся журчание не то лесного ручья, не то просто знакомой мелодии зазвучало в ней. «Да что же это я? — не то подумала, не то вслух спросила она.— Что же это я счастья выпрашиваю? Видеть все это... знать все... можно лицом прижаться к мокрым листьям... броситься в росу,— захлестывало Аленку все то же ошалелое буйство,— поваляться... да это же дер-

зость — еще чего-то просить... Как хорошо... Грешно, грешно ждать от жизни еще чего-то, от этого даже както перед собой стыдно, от войны осталась цела, муж есть, мать с отцом живы, вот стану врачом, буду лечить, помогать людям, чего же еще? Чего?»

Слова, которыми она пыталась вразумить себя, захлебывались, тонули в хаосе самых противоречивых, переполнявших душу чувств, обжигающая волна несла ее по самому гребню.

«Так что же я такое и зачем я, если я ничего не могу понять и даже не знаю, чего хочу и почему я такая? — снова спросила себя Аленка.— Да, у меня есть все, что нужно... муж есть, люди вокруг есть... но отчего мне так страшно сейчас? Значит, все, что есть у меня, никакое не счастье... Почему мне так страшно? Господи, дай мне ребенка... маленького, беспомощного малыша... Господи, дай...»

Не доходя до стены берез, она остановилась, пораженная мыслью, что кружила на одном месте и, оказывается, не сдвинулась ни на шаг. Трава у края поляны поднималась все выше, доставала ей теперь до груди; солнце только-только показалось в небе, выплыло из-за далекого горизонта, и вершины берез, пронизанные его первыми, острыми, стремительными лучами, словно в один момент вспыхнули внутренним трепетным огнем, превращаясь в радостную, волшебную сказку из непрерывно меняющих свои очертания, каких-то таинственных, неведомых, призрачных городов и замков, хребтов неведомых гор и заполненных разреженными голубоватыми туманами провалов. Молочная, ставшая от солнца седой роса покрывала траву густо, концы листьев и стеблей под ее тяжестью свесились до земли; Аленка завороженно молчала. «Что это такое?» — подумала она, не в силах долее сдерживаться, чувствуя властный, непреодолимый зов этого сверкающего мира; чтобы добраться до берез, нужно было пройти море отяжелевшей от росы высокой травы. «Вымокну до нитки»,— радостно решила она и, подчиняясь давешнему желанию, разделась донага и, свернув одежду в узел, подняла ее повыше и, ахнув от наслаждения, пошла, сразу скрывшись в траве чуть ли не с головой. Прохладная роса обожгла тело; Аленка, еще раз охнув, тихо возбужденно засмеялась, крепко зажмурилась и зарыла в траву лицо. Запах травы был свеж, почти неуловим, но он тотчас проник всюду, и во рту появилось ощуще-

ние свежей зеленой прохлады. Она пошла дальше, уже не опасаясь, и с каждым шагом на нее обрушивался новый росный дождь, роса скатывалась с нее ручьями, с лица, с маленьких, тугих сосков. В теле появилось тоже что-то тугое, звериное; она совсем перестала ощущать его — таким оно стало стремительным и легким; сейчас она ляжет в траву и останется здесь навсегда, но эта мысль лишь мелькнула; звенящая, обжигающая волна по-прежнему несла ее, и Аленке теперь казалось, что она не идет, а летит, летит вместе с травой, с лесом, вместе с землей и солнцем, и это ощущение полета, какой-то немереной высоты было столь явственно, что она затаила дыхание, ей показалось, что поток встречного ветра бьет ей в лицо и грудь. Она выбежала к березам, речка сонно поблескивала в низких травянистых берегах; вода слегка парила, дымилась, и березы, росшие по обоим ее берегам, почти свешивались к самой воде, отражаясь в ней солнечными, дымящимися зелеными купами. «Красота, красота какая,— подумала Аленка,— я же совсем все это забыла...»

Она положила одежду у одной из берез и тихонько вошла в реку, ощущая ступнями чистое песчаное дно, слегка тронутое мелкими водорослями. Когда вода дошла ей до пояса, она прикрыла грудь руками, присела и, упруго пошлепывая длинными, сильными ногами, поплыла к противоположному берегу; на середине чувствовалось слабое течение, и Аленка, перевернувшись на спину, долго лежала, глядя в беспредельное, без единого облачка, небо, уже наполнившееся солнцем. Прилетела большая, с синеватым отливом прозрачных крыльев, стрекоза, повисла над самым ее лицом; Аленка затаила дыхание, и стрекоза нерешительно опустилась ей на лоб. Прикосновения ее маленьких лапок и тонкого членистого брюшка Аленка не вытерпела, моргнула, и стрекоза тотчас вспорхнула. Аленка засмеялась, брызнула ей вслед водой, испуганно примолкла, затем долго плавала, погружая в воду лицо с открытыми глазами и разглядывая заросшее зелеными текучими травами дно и снующих в водорослях маленьких рыбок. Под водой был свой мир, свой строгий порядок; Аленка подумала, что он никогда не нарушится, будь или не будь она на свете вообще; на середине реки, где уже лежала густая полоса солнца и под водой было светло и празднично, тихое течение замечалось по еле-еле шевелившимся верхушкам водяных трав, а когда она

приближалась к затененному берегу, свет и под водой менялся, между полускрытыми слоем ила корягами чудились глубокие провалы, заполненные тьмой и тайнами. На песчаной отмели Аленка заметила большого темного рака, осторожно ползущего по дну и шевелящего усами; тень от тела Аленки коснулась его, и он тут же захлопал хвостом и мгновенно куда-то исчез; Аленка напрасно искала его, обшаривая дно глазами. «Интересно было бы пожить, как этот рак,— подумала Аленка, становясь на дно отмели.— Совершенно никого кругом... и сам куда-то исчез... пугливый какой...»

Подождав, чтобы вода успокоилась, она опять стала присматриваться и увидела широко разметавшийся куст водорослей с длинными узкими листьями, в нем сновали мелкие серебристые рыбки; их движение было похоже на затейливый танец. Каждая из рыбок несколько мгновений стояла на месте, едва трепеща хвостиком, затем стремительно бросалась вперед на десяток-другой сантиметров и опять застывала. Рыбок много, и передвигались они неожиданными скачками в самые разные стороны, не покидая, однако, пределов просторного куста водорослей, и у Аленки возникло ощущение непрерывного, радостного, ликующего движения. Стараясь не шевелиться, она следила за ритмическим танцем маленьких рыбок, никак не хотевших отдаляться от своего куста. «Ну, еще немного тут побуду и поплыву к берегу»,— решила Аленка, и оттого, что перед ней была все та же знакомая картина, все тот же бесхитростный танец, она засмеялась от удовольствия. И как раз в это время черная тень стремительно метнулась к самой сердцевине танца, между стеблей водорослей. В последнюю секунду Аленка разобрала, что это жук-плавунец, схвативший одну из маленьких рыбок и хищно вцепившийся ей в хребет чуть пониже головы. «Ах ты, проклятый живодер»,— возмутилась Аленка; пытаясь помешать, она ринулась вниз, и тотчас все изменилось: стройный порядок рассыпался, рыбки исчезли и жук исчез. Аленка вынырнула, быстро подплыла к берегу, выбрала место и долго грелась, подставляя солнцу то грудь, то спину; затем, подстелив платье, легла на него в траву, успевшую обсохнуть. Остывшее тело жадно впитывало солнечный свет и тепло, и Аленка блаженно щурилась; вскоре и водяной хищник забылся, и связанное с ним неприятное чувство. Что-то мешавшее и томив-

шее ее все последние дни сменилось блаженным забытьем, и она задремала все в том же ощущении, что все ее тело, нагреваясь, наполняется покоем и солнцем.

Солнце стояло уже высоко, и Аленка поняла, что проспала несколько часов. В лесу поднялся слабый ветер; чуткие вершины берез были как бы слегка завернуты в одну сторону, лес тихо и дружно гудел. Аленке не хотелось вставать, она лишь лениво отодвинулась в тень. То, что с нею было на заре, на восходе солнца, развеялось; лишь в коже оставалась, сохранялась память о жгущей, прохладно скатывающейся по телу росе, и снова прихлынули расплывчатые, бесформенные видения каких-то ускользающих воспоминаний. Помнится, бабушка Авдотья, покойница, говорила, что у любого древа есть глаза, и уши, и сердце, потому что оно тоже живое, и видит, и слышит, и душой в самую середину матушки-земли вплетено. «Вот оттуда все, от землицы, идет,— снова в ушах Аленки зазвучал мягкий, быстрый старушечий говорок, и сердце, как в детстве, во вьюжную зимнюю ночь на печи, сладко сжималось и ныло.— А еще в любом древе, в любом кустике, в травке своя совесть есть,— учила внучку бабушка Авдотья.— Доброго человека от злого тотчас любой листок отличит — от злого отмахнется, а к доброму прильнет». И тут же в подтверждение своих слов бабушка рассказывала, как бежал от людского суда некрещеный злодей, в какую бы чащобу ни забивался, нигде не мог найти себе пристанища, потому что и дни, и ночи на его пути начинали кружиться и кричать птицы, и на земле каждый его шаг сторожили звери, и там, где он проходил, листья и ветки отмахивались от него, а реки, ручьи и озера, как только он хотел напиться, тотчас уходили в землю. И потому, сколько бы он ни бежал, все ему казалось, что кругом бесплодная пустыня. «Вот господь бог какую определил ему лютую муку,— скорбно качала головой бабушка Авдотья,— из года в год, из века в век, вплоть до Страшного суда, бежать по земле сквозь леса и воды, средь людских и звериных скопищ, бежать и с терзаниями утробы не напиться воды, не вкусить хлеба, потому что не мог он прикоснуться ни к чему живому, все по слову божию отшатывалось от него. Вот и кружит злодей из века в век по земле, ждет судного дня...»

До удивительного ясно Аленка представила себе небольшое, ссохшееся лицо бабушки Авдотьи, ей даже показалось, что на голову легла сухонькая, легкая, пахнущая какими-то неведомыми травами старушечья ладошка. Блаженно съежившись, Аленка прикрыла глаза. «Каким же надо быть злодеем, чтобы получить такое наказание»,— подумала она, вскочив на ноги. Сейчас она верила, что деревья и трава имеют глаза, и уши, и душу; она забралась под старую березу, в зелень ее листвы, свесившейся и перепутавшейся с травой; ее белое, слегка прихваченное солнцем тело сверкало в зеленых, струящихся под ветром потоках. Она перебежала к другой березе; да, теперь она была уверена, что эти белоствольные, с черными многочисленными глазками деревья все видят и все чувствуют, но ей нечего было скрывать, нечего бояться; листва берез, теплыми, уже нагретыми потоками стекая по ее телу, ласкалась, щекотала кожу; и в душе у нее по-прежнему происходило необъяснимое зеленое и солнечное таинство, словно она сама сейчас переставала быть человеком, а растворялась в этом зеленом буйстве, незаметно, исподволь, переливалась в душу леса. Какой-то теплый, сладостный ток установился между нею и шелестящей, сверкающей вокруг зеленью; и она уже не чувствует себя, и уже вся куда-то переносится, и вот уже смотрит в мир, и все видит из тела дерева, и все видит по-иному. «Как интересно, боже мой, как страшно»,— сказала она и потекла уже куда-то вниз, к корням, в таинственные глубины земли, и ей действительно стало страшно, и она заставила себя выбежать из-под березы на солнце, на открытое пространство; ей показалось, что в последний момент зеленые льющиеся потоки листвы, словно пытаясь удержать, метнулись следом.

Уже было жарко, но Аленка теперь почему-то боялась еще раз искупаться; быстро одевшись, она села на открытом месте и стала под легким ветерком расчесываться. Ей захотелось поскорее добежать до Густищ, увидеть мать, поговорить с ней по-бабьи бестолково обо всем на свете. «Все-таки жизнь очень странная,—подумала она.— Вот Брюханов думает, что хорошо знает меня, а ведь он меня совсем не знает, так, чуть-чуть. Я сама тоже, конечно, его по-настоящему не знаю, я как-то никогда и не стремилась узнать его глубже, все занята сама собой. Все глупости, конечно, ношусь с собой, как с каким-то дивом, а ведь самая обычная дура

баба, эгоистка, а он меня все оберегает, все краем норовит провести, все стороной, а ведь у него работа какая — область тянет. Может, поэтому последнее время и появился между нами этот настораживающий холодок? О чем это он вчера говорил? Уже ночью... Чуть-чуть ночник горел... вот тебе, пожалуйста, пример эгоизма, ведь, помнится, что-то важное говорил, что-то связанное с Москвой, с поездкой... А я... Да что я?»

Опять начинался приступ тоски, и все казалось ненужным, все не имело значения и было лишено смысла: и слова Брюханова, и далекая Москва, и они сами... Зря он ее так оберегает от всего трудного, неприятного; сама того не замечая, она уже привычно начинает чувствовать себя под уютным колпаком, отгораживающим ее от остального мира. Плохо это очень. «О чем же он все-таки говорил, уезжая на очередной пленум ЦК? — опять попыталась вспомнить Аленка.— Какая-то перестановка, Москва, завод... Еще что-то... Ах, да,— обрадовалась она,— Чубарев! Именно Чубарев, он снова назначен директором Зежского моторного и скоро должен приехать в Холмск...»

Теперь Аленка вспомнила и радость мужа, и какую-то его скрытую тревогу; ей припомнились прежние рассказы мужа о Чубареве, о строительстве моторного еще до войны, о том, как по иронии судьбы в начале войны ему, Брюханову, пришлось этот моторный взрывать. Все это сейчас схватилось в памяти; дубина она все-таки — не почувствовать в нетерпеливых интонациях мужа, в его дрогнувшем голосе, в сбивчивом рассказе, что он волнуется, готовится и к пленуму, и к встрече с этим Чубаревым, как к трудному экзамену,— видимо, Чубарев человек действительно необыкновенный, самобытный...

Обманутые ее неподвижностью, на воду сели два селезня с синевато-темными квадратиками на крыльях и таким же радужным оперением головы, но, почувствовав опасность, круто срезая угол, поплыли к противоположному берегу.

Глядя на воду, упруго расходившуюся острым углом от плывущих селезней, Аленка ощутила источник беды, какой-то опасности в ней самой, и никто этого не знал, кроме нее. «Нет, решительно нужно себя переменить, совсем-совсем начать все сначала»,— подумала она, резко встала, и тотчас селезни легко, словно кем-то сильно подброшенные, снялись с воды и растаяли в про-

свете между березами. Ветер еще усилился. Струящаяся зелень берез, как неохватная, необозримая зеленая река в неровно шевелящихся солнечных пятнах, стремилась, текла в одном направлении согласно и ровно. День уже разгорелся, зной упал на лес, на травы, и они запахли лениво и пряно, совсем иначе, чем на заре, когда держалась густая роса. Аленка вздохнула от своих мыслей, легко оторвалась от нагретой земли и шагнула в густой солнечный свет.

2

Чубарев, срочно вызванный в Москву с Урала, со своего оборонного номерного завода, ставшего в годы войны родным и необходимым, не отрывал глаз от пушистых, плывущих в стеклах машины в солнечной голубизне деревьев, от улиц и тротуаров, заполненных оживленными людскими потоками; Чубареву было ясно и радостно на душе; к вечеру, оказавшись в приемной одного из секретарей ЦК, он с трудом стряхнул с себя очарование праздничности дня и сразу отяжелел, на виске глухо забилась какая-то жилка, но ничего особенного так и не произошло; предстоящий разговор по какой-то причине затягивался, и когда он состоялся наконец, Чубарев почувствовал заметное облегчение, хотя знал все заранее и давно был подготовлен к предстоящим переменам, к возвращению на Зежский авиамоторный завод. Не застав жены в своем просторном гостиничном номере, запиской сообщавшей ему, что она скоро вернется, он даже рассердился на себя, что весь день не давал себе покоя, задумавшись над тем, что предстоящие перемены привнесут в его жизнь, и кто из старых знакомых в Холмске остался, и кого он встретит вновь. Больше всего он думал о Брюханове, и хотя предполагал, что тот может быть ввиду предстоящего пленума ЦК в Москве, но, конечно, не мог знать, что именно в этот час и даже в эти минуты Брюханов находился в приемной Сталина, и, пытаясь успокоиться, заставлял себя дышать ровнее и медленнее, но во всем происходящем помимо его воли отчетливо проступала звенящая, пронзительная нота. И за годы войны, и в послевоенные годы Брюханов привык к экстренным совещаниям и вызовам в Москву, дважды был на совещаниях и у Сталина и на последнем совещании резко гово-

рил по поводу неувязок с поставками сталей необходимого качества для моторного. Он сам удивлялся потом своей смелости, но сталь после этого шла некоторое время в нужных количествах и именно тех марок, которые требовались заводу. Но сейчас, с той самой минуты, как он после пленума был приглашен к Сталину, Брюханов волновался, как мальчишка, потому что не знал причины и не мог хотя бы мысленно ее предугадать.

В приемной ждали еще четверо, они были знакомы, и, очевидно, очень коротко между собой — по каким-то неуловимым приметам это было заметно,— но держались они напряженно и собранно, лишь изредка перебрасываясь вполголоса словом-другим; в приемной не было стульев, лишь в дальнем углу, рядом с дверью в кабинет Сталина, углубился за своим столом в какие-то бумаги Поскребышев. Брюханов принялся рассматривать отполированное, чистое дерево панелей, пытаясь сосредоточиться на собственных мыслях; уже в кабинете у Сталина, с должной осторожностью пожимая протянутую ему руку, он по характерному, живому, уже знакомому ему прищуру глаз безошибочно ощутил, что ничего плохого для него не будет, и внутренне успокоился. Сталин спросил о самочувствии и, внимательно выслушав, мягко прошелся по кабинету, что-то обдумывая, по всей вероятности, что-то совершенно не связанное с гостем. Остановившись перед Брюхановым, он в упор посмотрел на него.

— Широкие и смелые люди мне, товарищ Брюханов, нравятся,— сказал Сталин уже на ходу,— но мне кажется, вы проявляете сейчас излишнюю требовательность. Разорена войной не только Холмская или соседние с ней области. Кроме того, есть первоочередные государственные задачи. Именно туда мы бросаем и будем бросать все, что возможно.

С первых же слов Сталина Брюханов понял, в чем дело, хотя на ходатайстве с просьбой об увеличении, хотя бы удвоении, средств на восстановление Холмска вообще не было его, Брюханова, подписи, но это, конечно, не значило, что это сделано без его, Брюханова, ведома или согласия, но также сразу ему стало ясно и то, что главная причина его вызова не в этом, что это лишь внешний предлог. Руководствуясь все тем же особым внутренним настроем, Брюханов твердо знал, что нужно всего лишь не пропускать ни одного слова из того, что ему говорили. Ответов, возражений или оправ-

даний совершенно не требовалось, ему просто, без всякой маскировки, указывали, в чем он ошибался и как должен вести себя дальше.

Брюханов молчал; что-то опять подсказывало, что в разговор вступать не следовало, тем более что сейчас ему был просто преподан еще один урок диалектики и в то же время неумолимо предписывались дальнейшие шаги, тем более что и сам Сталин, этот заметно стареющий человек, не ждал от Брюханова сейчас никакого ответа, ему, пожалуй, и мысли такой, что здесь, в этом ясном деле, можно возражать, не приходило.

— Вы знаете, товарищ Брюханов, к вам на моторный перебрасывается Чубарев,— круто повернул разговор Сталин.— Муравьев не оправдал ожиданий. Товарищи допустили ошибку, рекомендовав его на такое горячее, всегда требующее немедленных решений дело. Вы довольны?

Брюханов еще с первой встречи в сорок втором отметил про себя и запомнил, что Сталин, желая услышать нужное ему мнение собеседника, всегда говорит в полувопросительной интонации, никогда определенно не высказываясь заранее; это была уже многими годами отработанная тактика ведения разговора, продиктованная необходимостью и желанием знать всю полноту того или иного вопроса, не мешая в то же время откровенно высказаться собеседнику. Брюханов знал, что Сталин имеет исчерпывающую информацию по любому интересующему его делу, и пока не понимал, чем именно вызван вопрос Сталина, но, видимо, у Сталина были на этот счет свои веские причины. Разумеется, всякий ординарный, дежурный ответ был исключен.

— С Чубаревым я всегда находил общий язык, товарищ Сталин.

— Ну, а если ближе и предметнее? — Сталин слегка улыбнулся одними губами, но глаза у него остались попрежнему непроницаемыми, темными и отстраняющими; решив, что Сталин переключился на какую-то другую мысль, Брюханов помедлил с ответом и тотчас услышал: — Да, да, я вас слушаю, товарищ Брюханов.

В темных, по-прежнему отстраняющих собеседника глазах Сталина мелькнул просвет; мелькнул и исчез; так неожиданно иногда захлопывается, распахнувшись на мгновение перед любопытным взглядом, непроницаемое, всегда наглухо закрытое тяжелыми ставнями окно, дав возможность за краткостью мгновения даже не

увидеть, а скорее ощутить жизнь глубоко внутри дома. Брюханов не удивился своему наблюдению, а лишь внутренне строже подобрался; как-то сильнее почувствовалось, что уже вечер, что Москва теперь в открытых огнях и нет никакой маскировки, и хорошо было бы пройтись по ярким, оживленным улицам, Брюханов поправил узел галстука, против желания ощутив на себе все тот же неотпускающий, как бы еще и еще раз заново оценивающий взгляд Сталина, в который уже раз понял, насколько невозможно и даже опасно думать о чем-либо постороннем, помимо разговора с ним; Сталин в это время взглянул на часы.

— Если ближе, предметнее, товарищ Сталин,— сказал Брюханов,— то во главе такого завода, как Зежский моторостроительный, нужен именно человек типа Чубарева. Человек с фантазией, оригинально мыслящий, способный на риск. Такой сумеет, если необходимо будет делу, настоять на своем где угодно, в любой инстанции. Муравьев на это не способен, это человек сугубо бумажный, его дело — руководить откуда-нибудь издали.— Брюханов устал следить за ходящим по кабинету Сталиным и замолчал.

— Я вас слушаю, товарищ Брюханов. Или у вас все?

— Все, товарищ Сталин,— коротко наклонил голову Брюханов.— Сейчас дело с запуском в серию реактивных двигателей очень напряженно. Чубарев, несмотря на свой возраст, будет здесь на месте, новое производство требует и реакций немедленных, стремительных.— Брюханов внутренне заволновался, уловив какой-то невольно допущенный просчет, хотя сразу не мог нащупать, в чем же именно он допущен; с какой-то особой обнаженностью он чувствовал, что любое его слово, любое движение будет замечено и подвергнуто мгновенному и всестороннему анализу беспощадной сталинской мысли.— Дело, разумеется, новое, архисовременное, архинужное, а зависит все от людей. К тому же у Чубарева, я еще по довоенной поре заметил, есть особое свойство: концентрировать вокруг себя талантливую молодежь. А она все-таки поднимается после войны. Вы, товарищ Сталин, как-то сказали, что молодых надо смелее привлекать к большим делам... У молодых сил, энергии больше, жизнь есть жизнь. Это я и по себе замечаю.— Брюханов словно споткнулся и неловко прокашлялся.

— Зря кокетничаете, товарищ Брюханов, своим возрастом, я ведь много старше вас,— улыбнулся волнению собеседника Сталин.— С кого еще так спросишь, кроме как с нас? Юнцы пускай себе подрастают,— сказал Сталин все с той же улыбкой понимания за неловкое замечание Брюханова о возрасте. Брюханов подумал, что Сталин недоволен его бестактностью и по-человечески задет, но и на этот раз ошибся. Сталин вспомнил другое неотложное, не отпускающее его ни на минуту дело, вернее, не вспомнил, потому что ни на минуту о нем не забывал, а как бы все время чувствуя это дело рядом, вот теперь в мыслях опять повернулся к нему.

Вчерашней своей встречей с Курчатовым он остался недоволен: понимал ли тот со всей ответственностью, на какие жертвы идет страна, чтобы содержать атомную промышленность и удерживать ее на передовых рубежах?

В возражениях и доводах Курчатова Сталина многое беспокоило; он понимал, что со своей стороны Курчатов делает все, что может, оставалось лишь с нарастающим напряжением ждать; Курчатов, волевой и в общем-то не очень податливый человек, и на этот раз вырвал у него ряд существенных уступок; на лице у Сталина проступили красноватые пятна: он не имел права думать о вчерашнем, какой бы привкус оно ни оставило; сейчас решалась другая, крайне серьезная проблема. Он мельком покосился на высокие, блестевшие прохладной чистотой стекла; совсем недавно они еще были в глухой маскировке.

Ему вспомнилось состоявшееся в осень сорок первого решение о необходимости его немедленного отъезда из Москвы в Куйбышев, и в памяти четко возникло утро *девятнадцатого октября*, Рогожско-Симоновский тупик, спецпоезд, пустынная платформа, терпеливо ждавшие пришедшие его провожать товарищи... Это был один из тех немногих моментов в его жизни, когда было необходимо определить предстоящий шаг настолько безошибочно, что каменно онемевшей спиной он чувствовал безграничную настороженность огромного города, оказавшегося сейчас в самом острие, в самом средоточии мировых потрясений невиданного по ожесточению и глобальности перекрута мировых сил.

Он сейчас вновь почти физически, кожей, ощутил, как тяжко сочилось тогда время, и он, в резком отъеди-

нении от всего остального мира, от провожающих, от холодного, сквозного ветра, горбясь, безостановочно ходил и ходил по платформе; он был всего лишь человек, но в его имени, хотел он того или нет, сосредоточивались надежды и отчаяние миллионов людей, захлебывающихся в атаках, истекающих кровью в десятках и сотнях сражений, и не только в своей стране. Он был всего лишь смертельно уставший в последние тяжкие месяцы человек, но именно поэтому, именно в тот момент на пустынной платформе Рогожско-Симоновского тупика, в непрерывном, пугающем двухчасовом хождении, во время которого к нему ни один из присутствующих не решился приблизиться, он не столько умом, а больше сердцем ощутил неимоверный груз ответственности, и никому другому он не мог ничего, ни одной крупицы этого неимоверного груза переложить на плечи, почувствовал еще раз почти живой, гневный крик бессмертного города. Никто не видел его лица; дойдя до края платформы своим неспешным характерным шагом, он, не говоря никому ни слова, круто повернулся, горбясь больше обычного, прошел к своей машине, сел в нее и уехал назад.

Сталин вспомнил, как четыре года спустя он вошел в спецпоезд — нужно было ехать на Потсдамскую конференцию,— но это пришло в память не потому, что жизнь определила именно такое развитие событий, а потому, что никто на свете не смел и никогда не посмеет бросить ему упрек за те страшные два часа в октябре сорок первого. Для этого нужно было бы всего лишь попытаться стать на его место.

Сталин стоял у окна, спиной к Брюханову, словно забыв о нем, но именно в эту короткую паузу ему вспомнилось не только сравнительно недавнее прошлое, и даже не это само прошлое, а какое-то его ощущение, его непосильная, тяжкая напряженность и необходимость *немедленно, сейчас*, решать и разрубать самые запутанные узлы противоречий, ведь один неверный шаг, одна минута промедления могли обернуться неисчислимо трагическими последствиями в необозримых масштабах...

Пожалуй, Сталин и сам не смог бы ответить, что произошло у него в душе в ту короткую минуту тишины, когда он стоял у окна; и хотя он еще не произнес ни

слова и даже лицо у него оставалось прежним. Брюханов, как только Сталин повернулся, понял, что именно только теперь прояснится то, ради чего он здесь и находится; это предчувствие внесло в его состояние дополнительную остринку. Раньше ему хотелось как можно скорее освободиться, но теперь такое желание притупилось, затем и совсем прошло. Сталин подошел к столу, опустился в кресло. Он еще не знал сейчас, сделает ли то, о чем думал, но ему хотелось это сделать, это было зачем-то нужно для него самого, для его душевного равновесия, тем более что любую слабость можно оправдать самыми высокими причинами и побуждениями. Брюханов не мешал ему думать, и он был сейчас словно наедине с собой; такие минуты погружения только в себя и отъединения от всего остального он разрешал себе редко; уж если они все-таки случались, в нем обострялись какие-то совершенно иные чувства, неожиданно распахивались какие-то неизвестные до сих пор тайники в душе, и тогда приходило нечто такое, что позволяло ему забывать о громадных, пугающих подчас его самого своих правах и обязанностях. Хоть на время он мог быть просто живым существом, которому просто приятно быть, видеть солнце, слушать шелест зелени, повозиться с кустами роз, зимой привычно надернуть на ноги старые, подшитые валенки и остаться наконец наедине с тишиной и снегом.

С приятным чувством бодрости Сталин помедлил, затем в руке у него оказался (Брюханов пропустил момент, как это случилось, и отметил свое непростительное невнимание) пакет, грубо перевязанный крест-накрест шпагатом.

— Товарищ Брюханов,— сказал Сталин, слегка передвигая пакет по столу в направлении Брюханова,— это бумаги Константина Леонтьевича Петрова, адресованы лично вам.

Брюханов проследил за рукой Сталина, впервые отмечая с тыльной стороны ладони характерно блеклую старческую кожу; сейчас нельзя было понять, что задумал и решил Сталин, потому что нельзя было хотя бы примерно определить содержание бумаг Петрова, но Брюханов все тем же пробудившимся в нем от напряжения и необычайности происходящего особым чувством опасности тотчас определил, что это именно то, ради чего он и находится у Сталина, и что все дальнейшее будет зависеть не только от него самого, но и от других,

вполне вероятно, еще неизвестных обстоятельств и причин.

И Брюханов сделал то единственное, что было возможно в его положении: он осторожно взял обвязанный простым шпагатом пакет и внимательно прочитал надпись, сделанную рукой покойного Петрова, действительно удостоверявшую, что бумаги адресованы лично ему, Брюханову. Он и раньше приблизительно знал об отношениях покойного Петрова и Сталина, и у него не возникло даже минутного раздумья, почему в бумагах Петрова оказался заинтересован сам Сталин, но то, что в это был втянут он сам, в общем-то незаметный и малоинтересный в смысле большой политики человек, неприятно его покоробило.

— Петров был крупной личностью,— прервал затянувшееся молчание Сталин.— Это был человек почти болезненной честности, оригинально мыслящий. Своей жизнью, своей борьбой и даже просчетами он, как и каждый из нас, отразил эпоху. Нашу с вами эпоху, товарищ Брюханов. Дома, на досуге, посмотрите эти бумаги. Вполне вероятно, вы встретите что-нибудь для себя неожиданное... Бывает очень и очень полезно, когда иногда узнаешь, что именно думают о тебе в самом деле не только враги, но и друзья.— Говоря, Сталин с какой-то безжалостной зоркостью неотступно следил за лицом Брюханова и, очевидно, остался доволен; и вновь Брюханову ничего не оставалось, как сделать вид, что ничего особенного не произошло, хотя он отдал бы все что угодно, чтобы не только не слышать последних слов Сталина, но чтобы вообще не было бумаг Петрова, таящих в себе неизвестность, а следовательно...

— Курите,— предложил Сталин, ободряюще улыбнувшись Брюханову, и у того слегка отпустило душу; это было невероятно, но это было так: Брюханов вдруг ощутил свою близость с этим человеком. По быстрому, неуловимому движению в лице Сталина Брюханов понял еще, что Сталин догадывается о его мыслях и они ему по какой-то причине неприятны и обременительны сейчас; оба почувствовали облегчение, когда в кабинет вошел Поскребышев, худощавый, со спокойным, раз и навсегда усвоенным ровным дружелюбием в лице, и о чем-то тихо сказал, подойдя вплотную к Сталину. Брюханов уловил, что Сталина где-то ждут.

— Да, я помню,— уронил Сталин,— до начала еще пять минут.— Он неожиданно легко повернулся к Брюханову и тут же пригласил его поужинать у него, разумеется, если Брюханов не возражает.

«Ну, чем дальше, тем загадочнее»,— подумал про себя Брюханов, загораясь в свою очередь острым любопытством; очевидно, Сталину нужно было присмотреться к нему поближе.

Во всяком случае, чем бы ни объяснялся внезапный интерес Сталина к его скромной личности, спустя несколько часов, проскочивших для Брюханова в каком-то почти лихорадочном беспокойстве, он, так и не выбрав время вскрыть полученный пакет, уже сидел за столом со Сталиным, вокруг которого расположились еще несколько человек, и так как Сталин специально не стал его представлять, то он лишь молча кивнул всем сразу и сел на указанное ему место. В продолжение всего ужина (по времени это можно было назвать только ужином, да и то достаточно поздним) Брюханов молчал и слушал теплый, доверительный, почти какой-то домашний разговор Сталина с Димитровым, хотя говорили о важном — о китайских делах и Балканах; расправляясь с куском остро приправленного мяса, Брюханов старался лишь не пропустить из этого разговора ни единого слова. Его поразил сейчас уютный, непривычный облик Сталина, и Брюханов подумал, что личность этого человека, умеющего быть таким разным, сосредоточившим в себе почти безграничные силы и возможности целой страны, будет долго, очень долго волновать умы, обрастет самыми невероятными, фантастическими подробностями и легендами, но только само время способно будет счистить с этого образа наносное, сиюминутное, мелкое и оставить главное, суть, то, что составляет саму основу его характера, его развитие и диалектику. Словно почувствовав, что Брюханов думает именно о нем, Сталин слегка повернул голову и, подняв бокал, предложил выпить за капитанов и первопроходцев в жизни, и Брюханов вместе со всеми отпил немного терпкого слабого вина и пропустил вопрос Димитрова к Сталину; по чуткому вниманию за столом Брюханов понял, что вопрос был острым, и подосадовал на начинающий слабеть слух.

— Нет, Георгий Михайлович.— Сталин притронулся салфеткой к усам и отложил ее в сторону, не разворачивая; легкая улыбка, какой умел улыбаться только

он, когда был чем-либо доволен, снова смягчила его глаза.— Нет, это нам нужно было торопиться с колхозами, у нас выхода другого не было, как только торопиться. И опыта тоже. А вам зачем? У вас есть наш опыт, вы теперь и не одни в мире, как это было с нами...

Брюханов поразился тому, что услышал, и оглянулся на соседей рядом, не ослышался ли он,— нет, голос Сталина был по-прежнему ровен и глух, а сидевшие вокруг стола внимательно вслушивались в каждое слово.

— Да, была намеренная, жесткая линия, торопились, перегибали палку, ошибались... Кстати, умели и поправить себя. Учиться и занимать опыта было не у кого.

Весь ход дальнейшего разговора, реакция Сталина, да и само его присутствие в этой интимной, почти домашней обстановке были настолько неожиданны, непривычны, что Брюханов, с напряжением вслушиваясь в разговор, несколько раз ловил себя на том, что теряет ощущение реальности. Тогда он сердито отхлебывал из бокала, что в общем-то было против его правил, но терпкое легкое вино лишь приятно освежало.

Вдруг неожиданно пришедшая мысль отрезвила его. Да, это было одиночество, тщательно скрываемое одиночество... человек на такой пронзительной высоте не может не быть одинок. И он, Брюханов, и все сидящие вокруг стола и негромко беседующие люди — для него не только необходимая разрядка, отдых, но и своеобразный заслон, защита от одиночества.

Еще больше утвердился Брюханов в своей мысли, когда на следующий вечер ему передали приглашение в Большой театр на «Пиковую даму». Оказавшись в теплом полумраке правительственной ложи, искусно изолированной от остального зала, чуть позади Сталина, принявшегося сразу же, едва опустился в глубокое кресло, набивать трубку, но так в течение всего вечера и не разжегшего ее, Брюханов в полумраке хорошо видел чуть сбоку его твердый, почти жесткий профиль; он все больше подпадал под странное, парализующее волю и этим крайне обременительное для него, Брюханова, влияние этого человека, одно имя которого уже создавало вокруг вакуум, тягостную, непреодолимую пустоту; где бы он ни появлялся, даже здесь, в горящем золотом и хрусталем праздничном, заполненном людьми до отказа — от партера до верхних ярусов — зале, даже здесь, и здесь особенно, между ним и людьми

тотчас ложился непреодолимый, невидимый барьер, который ни он сам, ни люди не в состоянии были переступить. Брюханов, человек в общем-то давно втиснутый в привычные и необходимые рамки, уже начинал внутренне протестовать, тяготиться чувством своей зависимости от этого, пусть великого, человека. Но это все были сладкие, неглубокие попытки освободиться от чужой воли, а по насыщенности и плотности происходящего сейчас вокруг него Брюханову начинало казаться, что в эти часы в близком общении со Сталиным он прожил уже несколько месяцев. Он сам умел уплотнять свой день до предела, но здесь и в масштабах, и в самом уплотнении присутствовало нечто совсем иное.

Сидя неподвижно и молча, не отрываясь, Сталин смотрел на сцену; в самой позе его сквозила полная отрешенность, словно остального мира для него не существовало. И это было действительно так: Сталин, любивший именно эту оперу с какой-то необъяснимой, даже болезненной страстью и не упускавший малейшего случая прослушать любимые и необходимые ему места в опере, умевший отложить ради этого самые важные и, казалось бы, неотложные дела, в этот вечер, к своей досаде, не чувствовал всегда ожидаемого удовлетворения, обычно доставляемого ему этой музыкой. Конечно, написана она дьяволом, человек не может быть так свободен и раскован в своих желаниях и чувствах. Ему, как ни странно, мешало присутствие Брюханова, усиленное его внимание *к нему, Сталину*, сегодня оно обозначалось четче, безошибочнее (в который уже раз!).

Да, он догадывался о чувствах Брюханова к нему, Сталину, и понимал всю закономерность этих чувств, но как ему иной раз хотелось иного, пусть даже прямо противоположного в отношении себя или хотя бы, на худой конец, равного; ведь и этот шаг с бумагами Петрова тоже был вызван до какой-то степени подспудным желанием иметь рядом человека, подобного Петрову... Почему в жизни люди так зависимы в своих реакциях и привязанностях, так материальны? — еще глубже ушел он в свои мысли. Где в жизни, вокруг него, этот сквозящий восторг, этот ветер, освобождение от всех и всяких условностей? Что в этом определении: «Сегодня ты, а завтра я!»? Необходимость и закономерность сменяемости, торжество жизни над смертью? Человеческая жизнь — что она стоит в масштабах вечно-

сти, пусть даже самая великая, сверхисключительная? Ведь никакая сверхисключительность никого еще не освободила и никогда не освободит от смерти, с *этим* каждый должен справиться сам. Нет, то, ради чего, собственно, он и приехал сюда, ради чего пренебрегал усталостью и занятостью, на этот раз вряд ли наступит сегодня. А ведь случалось и так, что три четверти часа, проведенные в театре, давали ему больше, чем дни отдыха у себя на Волынской, среди успокоенности деревьев, в полном одиночестве и тишине, и тогда всякий раз, вернувшись из театра к себе, он был снова энергичен и собран и, казалось, неустанен в решении сложнейших, подчас неразрешимых вопросов, и эта способность не уставать, когда другие, казалось, падали от усталости, сообщала его личности в глазах окружающих почти мистическую силу. Поэтому, как бы загружен он ни был, он взял себе за правило по возможности не пропускать ни одного представления «Пиковой дамы» и никогда не жалел затраченного времени, не задумываясь над тем, как могут отнестись к этой его слабости другие; раз это было необходимо ему, значит, это было необходимо всем; но даже и не в этом было дело; какая-то дьявольская, непреодолимо влекущая к себе сила таилась в этом творении двух гениев, двух пророков, бесстрашно вскрывающих тайное человека: единоборство со своим «я» и страх перед исчезновением.

Сейчас и сам Сталин, и Брюханов были как бы в одной точке напряжения в ощущении чего-то если не впрямь чудесного, то высокого и необычного. Сталин, как и всегда отбросив все постороннее, мешающее, в том числе и Брюханова, и не меняясь ни одним мускулом в лице, напряженно ждал своего полного слияния с музыкой, почти физически отдаваясь ожиданию этого момента. Волны музыки медленно захлестывали его, втягивали в свой неумолимый водоворот. Судьба стучится в дверь, да, да, именно это, незаметно наступит час — нужно будет суметь достойно шагнуть за последнюю дверь... именно с этим каждый должен справиться сам.

И снова наступило очищение и просветление, мысль становилась беспощадно ясной, и, как всегда в таких случаях, острее ощутилась необходимость своего прихода в мир и того, что он делал и делает, той точки отсчета, откуда все началось, и того предела, куда все сходится.

В совершенном молчании и почти полном обоюдном понимании этих двух человек сейчас зрело какое-то особое и необычное единство; Брюханову казалось, что знакомая и любимая музыка на этот раз совсем иная, что на глазах его свершается тайна и он никогда не найдет ей объяснения, сколько бы ни пытался; от этой своей неуместной сентиментальности ему все время было стыдно, и когда на сцене появился Герман, бледный и на все решившийся в своем стремлении вырвать у судьбы решение... «Что, что вырвать?» — спросил Брюханов с каким-то страхом и отвращением к старой графине, бессильно и непримиримо откинувшейся в креслах... «Что, что же она, эта старуха?» — опять спросил себя Брюханов в болезненном нетерпении; нет, никогда раньше он не понимал истинного значения этого места и только теперь понял его, но понял так глубоко внутри себя, что не мог бы и не стал бы никому объяснять своего понимания; ему показалось, что истинный смысл жизни сверкнул перед ним и после этого просто нельзя оставаться прежним...

Брюханов еще раньше отметил про себя почти незаметное движение Сталина — он как-то всем телом подался к сцене, и Брюханов понял, что и он ждал именно этого места и приехал сюда ради него, но это уже не могло волновать или беспокоить Брюханова, он понял, что именно в этот момент освободился от Сталина, от его тягостного влияния, и что сделала это музыка, оказавшаяся сильнее всяких условностей и выдумок людей... И Брюханов глубоко, всей грудью, вздохнул и стал жадно, неотступно слушать и уже не отрывался, пока его кто-то мягко не тронул за плечо и не сказал, что пора идти; он увидел совсем близко перед собой глаза Сталина и удивился их молодому блеску и контрастности тяжелого, одутловатого, неподвижного лица: да полно, точно ли было с ним все то, что было всего несколько минут назад?

3

Получив новое назначение, Чубарев на другой день встретился с Муравьевым, высоким, худощавым человеком лет пятидесяти. Чубарев сменял его на посту директора Зежского моторного, и Муравьев фактически уже являлся его начальником в соответствующем глав-

ке. «Занимательная ситуация,— раздумывал Чубарев, присматриваясь к тщательно выбритому, подобранному Муравьеву, легко и просто сидевшему в кресле с несколько меланхолическим выражением лица, не вяжущимся с его подтянутой спортивной фигурой, и с явно неохотой заставлявшему себя поднимать на собеседника глаза только тогда, когда этого требовали приличия; чувствовалось, что он не расположен к своему новому подчиненному. Но разговор был конкретен и точен, и на первых порах и этого было достаточно. Приходилось помнить и о тех не стихавших, упорных слухах об отношениях Муравьева со Сталиным; Чубарев не знал, была ли в них доля истины, но то, что Сталин относился к Муравьеву с непонятной, не свойственной его характеру терпимостью, было очевидно для каждого. Муравьев не преуспел ни в одной из занимаемых должностей и тем не менее продолжал неуклонно подниматься по служебной лестнице; Сталин, неотступно за ним следя и делая необходимые перемещения, словно пытался доказать всем свою первоначальную правоту в отношении Муравьева. Чубарев не любил Муравьева, объясняя возню вокруг него простой человеческой слабостью — слабостью сильной личности к протоплазме. «Хотя, пожалуй, для протоплазмы,— подумал он, заканчивая разговор,— этот товарищ слишком привык к начальственным тихим интонациям и удобным креслам».

— Новое перспективное дело переходит в такие энергичные, знающие руки, рад, очень рад,— сказал тот, прощаясь, и Чубарев, отмечая его твердо очерченные губы и жидкие усы, видел, что и Муравьев знает о нем все, равно как о причине их перестановки.

Выходя из главка в самом бодром и веселом расположении духа, Чубарев прищурился на ясное, солнечное небо; он любил Москву естественной, нерассуждающей любовью, в этом размашистом, властно, без всяких усилий, завладевающем его душой городе ему было хорошо. Он никогда не упускал возможности побродить по Арбату, запутаться в его тесных, живописных переулках и тупиках, пройтись по Сивцеву Вражку, по Волхонке, останавливаясь перед каким-нибудь старинным зданием, не спеша погрустить об отшумевших годах, снова ощутить терпкую, сжимающую сердце горечь. Где-нибудь у кремлевских ворот, или у Пушкина, или у какого-нибудь дворянского особняка, переменив-

шего, как и все кругом, не один десяток хозяев, Чубарев чутко прислушивался; ему казалось, что вот-вот и он услышит таящуюся от стороннего, равнодушного глаза душу города, и всякий раз его охватывало чувство новизны и прочности. Немереная любовь и ненависть, кровь и пот, радость и страдание созидали, умножали и хранили гордую и непостижимо русскую, материнскую душу этого неповторимого города, и она в свою очередь со всей материнской щедростью питала своих пророков, свою твердь, и ничто, никакие перемены были над нею не властны; ничто не могло изменить вольное, свободное направление ее духа, ее движения. Накатывали опустошительные, кровавые нашествия и, обессиленные, опадали, неумолимо вовлекаемые в незамедлительную и неспешную работу внутренних, невидимых постороннему глазу процессов. Каждый новый век добавлял свой кирпич к запасу прочности вечного города, приходили властители и уходили властители, оставляя своих преемников и новые законы, но город впитывал лишь то, что шло из глубин народной жизни и что лишь способствовало движению народа дальше. И даже от титанического удара неистового Петра вольнолюбивая душа Москвы не пошатнулась, а лишь отозвалась литым звоном. Даже такому, как Петр Великий, не дано менять что-либо в душе народа, потому что гений народа всегда мудрее и выше гения отдельного человека. «Как же я люблю этот город,— говорил себе Чубарев, и в глазах предательски щипало.— Так и хочется что-то необычное сделать... тумбу эту обнять... или милиционера... Видать, совсем стар становлюсь,— ужаснулся он.— Но Москва-то стоит! Стоит! Шумит!»

Чубарев машинально скользил по непрерывному потоку лиц; неожиданно он остановился, замер, круто повернулся всем корпусом и ринулся за уплывающим в толпу седым лохматым затылком.

— Лапа! Лапа! — радостно басил он, настигая.— Лапа! — Схватив за плечи, он почти насильно повернул к себе высокого седого человека с колючими, рассерженными глазами.

— Простите, что такое? Что за бесцеремонность? — услышал он недовольный голос и жадно окинул взглядом большое, с резкими чертами лицо; в этом мгновенно запоминающемся лице Чубарев видел *свое, хорошо знакомое*; в этом лице бунтовала мощная, не желающая уступать никому ни пяди зрелость, но уже подступал

вечер, и Чубарев, видевший свое, взблески далекой, гневно осветившей глаза молодости, не обращая внимания на обтекающий их людской поток, на недоумение и даже какое-то брезгливое выражение лица старого друга, еще раз тряхнул его за плечо.

— Ну же, Лапа, старый чёрт! — тихо и как-то даже грустно попросил он и радостно рванулся навстречу расширившимся, остро вспыхнувшим глазам.

Они тут же, на тротуаре, обнялись и трижды расцеловались.

— Эк обхватились, сердечные! — донесся до них веселый, молодой голос.— Ну, старички дают, эй, папаши, глядите не задавите друг друга!

Чубарев, оглянувшись на голос (розовощекое, юное насмешливое лицо, отдаляясь, смеялось), приветливо помахал вслед.

— Отойдем в сторонку, вон скверик, Лапа,— предложил он.— Смотри-ка ты, скамейка... Совсем как в прежние времена скамейка-то...

— Времена здесь ни при чем,— сказал Лапин.— Время — категория абсолютно абстрактная, а мы с тобой встретились конкретно, вещий Олег... Помнишь, а, вещий Олег?

— Помню, помню... «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?» Было — и нет.— Чубарев шумно встряхнулся.— Подожди, Лапа, сколько с тех пор пролетело?

— Лет тридцать пять, не меньше... да, да... наш гимназический выпуск был в восьмом... Помнишь? А последний раз мы виделись в начале тридцатых, помнишь, у Орджоникидзе? Двух слов не успели друг другу сказать.— Теперь уже Лапин, крепко придерживая Чубарева за рукав, словно боясь потерять в толпе, быстро вел его в прозрачную зелень небольшого уютного скверика.— Потом, в войну уже, я от кого-то слышал, что ты на Урале...

— Я о тебе вообще ничего не слышал,— не остался в долгу Чубарев; время, всего четверть часа назад регламентировавшее минута в минуту его жизнь и даже короткий сон, остановилось; он внезапно почувствовал себя от всего свободным и даже словно помолодел наполовину от нежданной встречи с Ростей Лапиным — с Ростиславом Сергеевичем Лапиным; они сидели с ним лет сорок назад за одной партой и, как это нередко бывает, влюбились в одну гимназистку...

— Ничего удивительного, Олег, меня в войну наглухо засекретили, до сих пор пломбы во всех местах трут. Вот так с нашим братом.

Они устроились на низенькой чугунной скамейке, старый, развесистый тополь с сильно разросшейся верхушкой свежо и молодо шумел прозрачной, еще не вполне развившейся листвой.

И Лапин, и Чубарев как-то одновременно подумали о том, что вот они оба до этого часа не помнили о существовании друг друга и, по воле слепого случая встретившись, обрадовались, удивились: как это они могли жить раньше и ничего не знать друг о друге? Куда-то отхлынули все дела и заботы, осталось лишь чувство удивления и легкой грусти; оба подумали о том, как они постарели и как быстро летит время.

— Слушай, что же мы сидим? — вскочил Чубарев.— Бездомные, что ли? Едем ко мне в номер, шикарный, люкс, посидим... У меня водка есть, коньяк, все, что душе угодно...

— На зависть живешь,— остановил его Лапин и рассмеялся.— Смотри-ка, сам себе хозяин... Что ж ты думаешь, я здесь ради собственного удовольствия гулял? Я от шофера удрал, я тут неподалеку в главк шел... утрясти надо кое-какие дела.

— Уж не к Муравьеву ли Павлу Андреевичу ты шел? — спросил Чубарев и тотчас по невольному движению Лапина понял, что угадал.— Ну-ну, не бойся. Я сам только что от него. Я этого деятеля, непременного члена всех комитетов и коллегий, не первый год знаю, если надо, могу оказать протекцию...

— Спасибо, Олег, понимаешь, не совсем тот случай, я лучше сам...

— Понимаю, понимаю, все понимаю,— с готовностью согласился Чубарев.— Тем не менее плюнем на все дела и едем обедать. Давай в «Метрополь» по старой памяти, а, Лапа?

— Нет, сейчас не могу, от этого визита зависит слишком многое. Я с него не слезу, пока он не решит мой вопрос. Вечером, пожалуйста, к нам... непременно с женой... Подожди, подожди, старый бродяга, кыштымский медведь,— вскинул он голову,— жена-то у тебя есть?

— Помнишь Веру Стрешневу? — в свою очередь спросил Чубарев, слегка улыбаясь и наблюдая за лицом Лапина.

— Как? Веру... Веру Стрешневу? — Лапин забегал длинными, узловатыми пальцами по спинке скамейки.— Постой, постой... Вера Стрешнева... Та самая, дочь профессора Стрешнева? Ох, бродяга!

Чубарев молча кивнул, ему было приятно волнение Лапина.

— Помнишь, как в Политехнический на лекции Стрешнева бегали? — спросил Лапа, молодо блестя глазами.— Да что нам тогда эти лекции по археологии Двуречья или индийские Веды были нужны? Слушай, неужели она — Вера Стрешнева? Значит, здесь ты меня явно обошел, кыштымский медведь!

— Просто у меня оказалось больше постоянства, Лапа,— мягко улыбнулся Чубарев.

— Как Вера, что она?

— Что же, Вера как Вера, она же Надежда, она же Любовь, держится, выглядит прекрасно... Рада Москве до слез. А ты как? Как зовут твою жену?

— У вас есть дети? Сколько? — Лапин все так же нетерпеливо закидывал Чубарева вопросами.

— Дети... Уже внуки есть, дважды заслуженный дед.— Чубарев горделиво дернул плечами.— Ничего не попишешь. Ладно, значит, до вечера,— добавил он, видя, что Лапин встал.

— До вечера, Олег, и никаких «но».— Лапин озабоченно похлопал себя по карманам, отыскивая спички.— Жду вас с Верой.

— Подожди,— остановил его Чубарев.— Ты намеренно упустил одну мелочь — адрес?

— Ну, Олег, это никуда не годится! Неужели ты забыл, где я живу?

— Как? — опешил Чубарев.— Ты по-прежнему живешь на Ордынке?

— Помилуй, зачем же менять удобные адреса? — в свою очередь удивился Лапин.— Лучше уж переменить что-либо помельче, не такое необходимое. Я вас жду, Олег, с Верой, с Верой обязательно! — крикнул он еще раз издали, и Чубарев потерял его из виду.

Вечера оба они ждали с нетерпением, но их встреча первое время была окрашена какой-то грустной интонацией, хотя на большом столе, накрытом крахмальной сверкающей скатертью, стояло много хорошего вина и закусок. Лапин никак не мог привыкнуть, что та воздушная, поэтическая Верочка Стрешнева, восторгавшаяся лохматыми, длинноволосыми модернистами, что

не мешало ей любить древних греческих трагиков и связывать их с «заревом революции», та самая, в которую они с Чубаревым были без памяти влюблены, превратилась в полную, пусть хорошо для своих лет сохранившуюся, но все равно уже стареющую даму, при всяком затруднении в разговоре тотчас начинавшую вспоминать внучат. Лапин, некоторое время пытавшийся заставить ее раскрыться, долго ходил вокруг да около, охал да ахал, но Вера Дмитриевна лишь понимающе улыбалась смеющимися, молодо блестевшими глазами и просила его не волноваться. Ему стало грустно: поэтический образ легкой, стремительной, дерзкой девушки, который хранился со времен юности, померк. Чубарев, наблюдавший за ним, засмеялся.

— Ростя, слушай, оставь ты свои муки,— шумно запротестовал он.— Со временем не поспоришь, время, брат, необратимо.

— Да, но почему необратимо? Для кого необратимо?

Взяв рюмки с коньяком и помедлив, они, не опуская глаз, молча выпили; Вера Дмитриевна, устроившись в удобном кресле, с ласковой снисходительностью глядела на них; ей сейчас было хорошо и покойно, она радовалась новому назначению мужа, потому что так и не смогла привыкнуть к суровому климату Урала, хотя с людьми, окружавшими ее и населявшими маленький уральский городок, живший исключительно интересами завода, она сроднилась; была в них надежность, и какая-то особая прочность и жизнелюбие. А сейчас ей действительно ни о чем не хотелось думать, не хотелось насиловать себя, было приятно посидеть и отдохнуть, порадоваться спокойному вечеру и встрече с Ростей Лапиным. Помнится, он был высоким, несколько нервным юношей и грозился, если память ей не изменяет, даже застрелиться, если она предпочтет другого...

Вера Дмитриевна, стараясь не выдать ненужного сейчас волнения, оберегая такой редкий покой в душе, долго смотрела на знакомую еще с юности бронзовую фигуру Будды с каким-то сверкающим камнем во лбу; прошли десятки лет, а Будда стоял все на том же месте. Незаметным мягким жестом Вера Дмитриевна поправила прическу; сейчас уже ни в чем нельзя быть точно уверенным, но он, Ростя Лапин, ведь тоже был ей небезразличен, однако все пошло так, как должно было пойти, и никто не застрелился, никто не...

Вера Дмитриевна опять украдкой взглянула на мужчин, о чем-то оживленно вполголоса беседующих; ничего не скажешь, отметила она, оба еще хороши и сейчас, но Олежек оказался и настойчивее, и решительнее. Потом, кто же знает, отчего любишь именно того, кого любишь, а не другого? Этого, верно, никто не знает, иначе была бы такая скука в жизни.

В это время решительно, на две створки, распахнулась высокая дверь цветного зеленовато-теплого стекла и в столовую смело вбежала девочка лет семи; тенью на пороге появилась за ней уже знакомая Чубаревым старшая сестра Лапина Майя Сергеевна в наглухо закрытом коричневом шерстяном платье, чем-то неуловимо похожая на брата. Подбежав к отцу, девочка со счастливым смехом уткнулась ему в руки, и он тотчас посветлел и помолодел; подняв девочку, он посадил ее на колени себе; у нее были синие, яркие глаза, и Вера Дмитриевна не могла удержаться от улыбки.

— Какая прелесть,— сказала Вера Дмитриевна оживленно; исподлобья, по-детски пристально, в упор рассматривая ее, девочка в ответ тоже неожиданно, словно осветившись изнутри, улыбнулась.

— Я не прелесть,— решительно заявила она; было видно, что она прочно освоилась со своим положением семейного божка.— Я Таня,— добавила она и беспричинно, как часто бывает у детей, рассмеялась, с затаенным ожиданием поглядывая на тетку и чувствуя себя в полнейшей безопасности у отца на коленях.

Майя Сергеевна, появившаяся вначале с грозным лицом, не выдержав, покачала головой, и Таня тотчас спрыгнула с колен отца и подбежала к ней.

— Тетенька, я совсем-совсем нечаянно,— сказала она,— я не хотела, оно само упало...

— Ладно, ладно,— Майя Сергеевна незаметно поправила Тане большой голубой бант,— не будем посвящать гостей в наши маленькие тайны...

— Не будем, не будем! — скороговоркой пропела Таня и тотчас унеслась.

— Простите, я только чай заварю,— сказала Майя Сергеевна,— и сразу вернусь. Наша Клава никак не освоит это искусство.

— Слушай, Ростя, так не пойдет,— шумно задвигался в кресле Чубарев, до сих пор с интересом наблюдавший и слушавший.— Мы же совершенно ничего о тебе не знаем!

— Так уж и ничего? — Лапин кивнул на дверь.— Вот мое позднее, пожалуй, творение о многом сразу и сказало... В сорок первом родилась,— продолжал он напряженно, немигающе всматриваясь перед собой.— Тамара, мать ее, через несколько месяцев... да... умерла. Да... я даже ничего не знал, был с группой сотрудников в это время в командировке на кораблях Балтики... а мой институт за Уралом... Локаторы осваивали как раз... Я ведь второй раз был женат, Олег, с первой женой разошелся. Вот, пожалуй, все, теперь что ж, девочка растет... Майя ей заменила мать... Ну, и что мы сидим? — неожиданно заволновался он.— Что ты, Олег, словно в гостях, бездействуешь? Плесни-ка мне чего-нибудь покрепче, тебе ближе... Твой-то старший по твоим стопам пошел, говоришь?

— Комбинат в Норильске строит, и это, заметь себе, уже не первая его стройка.

— Династия, Олег, великая вещь, на них империи держались. Чубаревы след свой на земле оставят, я в этом уверен. Ну, а дочка?

— Женщина всегда оставалась для меня загадкой.— Чубарев неопределенно приподнял руки, покосился на жену.— Какие надежды подавала! Музыке ее учили, вокалу, с сочинениями ее носились. А чем все кончилось? Чем успокоилась? Разумеется, без памяти влюбилась, теперь мужняя жена, вся в семье. За военным замужем,— куда иголка, туда и нитка. Все порывы развеялись, все колесят, сейчас в Калининграде. Пишет, детский садик для детишек открыли, для семей военнослужащих, она музыкальные занятия с ними ведет, нравится. Конечно, натура, она выхода ищет.

— Милые вы мои забияки,— подала голос и Вера Дмитриевна,— хотелось бы мне на вас взглянуть, не будь рядом с вами таких женщин...

— Вера, Вера, твои слова, надеюсь, не относятся к собственной дочери?

— Зато они относятся к ее мужу, она его любит, а в этом и счастье. К тому же я не просила дорогую Клару Цеткин награждать меня эмансипацией, я теперь знаю, что лично меня эта эмансипация совершенно не прельщает.

— Очень, очень приятно! Сдаюсь,— как эхо, прогудел Чубарев.

Вера Дмитриевна легко поднялась и, кивая на застекленную дверь, сказала:

— Я к Майе Сергеевне, Ростя, с Таней побуду. Наши-то давно уже из этого возраста вышли.

— Грустно, когда дети вырастают,— проводил жену глазами Чубарев.— Конечно, их не перестаешь любить, но, когда они маленькие и в тебе нуждаются каждую минуту, мы сами от этого и сильнее, и моложе становимся, как будто все еще впереди... Завидую тебе, Ростя.

Как только за Верой Дмитриевной закрылась дверь, Лапин шумно вдохнул в себя воздух, пахший дымком от папиросы Чубарева, вышел в соседнюю комнату и вернулся с небольшой самшитовой трубкой и коробкой табаку. Косясь на стеклянную дверь, он деловито-привычно набил и раскурил трубку.

— Курю, понимаешь, только у себя в кабинете, отовсюду гонят, везде запретная зона, Майя терпеть не может,— пожаловался Лапин по-детски обиженно.— Но сегодня, пожалуй, пора и храбрость проявить, она при тебе не налетит... Скажи, Олег, чем ты сейчас занят?

— Чем, чем...— Чубарев широко махнул рукой, рассыпая пепел.— Чем... Опять нужно перебираться, теперь уже с Урала в Холмскую губернию, на старое место... Опять моторы. Понимаешь, Ростя, всю жизнь, как гимназист в подготовительном классе... на ровном месте складываю кубики... Только дело начинает чуть-чуть дышать — хлоп! Тебя футболят куда-нибудь на новое место, и опять букварь, детские кубики, опять все сначала...

— Это же прекрасно! — Лапин, с наслаждением посасывая свою трубочку, все-таки с опаской поглядывал на стеклянную дверь.

— Ничего себе прекрасно, посмотрел бы я на тебя, как бы ты всю жизнь просидел за сложением и вычитанием,— недовольно заворчал Чубарев.— Ты вон куда хватил в радиофизике — передний край! Академиком стал.

— А, Олег, все одно, у тебя завод, у меня институт, ярмо есть ярмо. Нет, ученый не должен быть администратором, у меня от всех этих ведомостей и отчетов разжижается ум.

— Не знаю, не знаю, тут я с тобой решительно не согласен, Ростя. Ведомости, отчеты — это, конечно, статья совершенно невыносимая, болото, муть. Зато никакого дурака над тобой... Сам знаешь, сколько их развелось в главках, бездельников. Своему делу ты сам

и хозяин, и голову тебе наоборот не переставят, твои мозги, ты им и хозяин.

— По твоему ворчанию сразу видно, они над тобой всерьез потрудились, бумажные-то души. Ничего, орешек ты крепенький, об тебя и зубы поломать можно.

— Есть грех,— довольно поддакнул Чубарев.— Ну, а сейчас, Ростя, чем конкретно занимаешься? Так, в общих чертах?

— Понимаешь, старина,— оживился Лапин,— разрабатываем программу исключительно интересную, принципиально новую.— Он беспокойно выколотил свою обкуренную трубочку.— По сравнению с природой мы, связисты, не придумали ничего принципиально нового, но ты ведь и сам знаешь, что без нас, без прямой и обратной связи, невозможен ни один жизненный процесс, невозможно дальнейшее техническое продвижение, наращивание скоростей. Мне думается, мы на грани качественного скачка. Сейчас ни одна область науки не может двигаться дальше без совершенствования коммуникаций информации. А тем более оборона... Да, Олег, на грани скачка. И грандиозного! Кое-кто будет удивлен. Учти, я ничего тебе не сказал, ты ничего не слышал.

— Ладно уж, конспиратор, вон пепел сыпешь, сейчас сестрица тебе задаст,— заметил Чубарев, и Лапин, зажимая трубку в кулак, недовольно стряхнул что-то со скатерти. Задумчиво наблюдая за тем, как женщины, уложившие Таню спать, расставляли на столе чайную посуду и оживленно обсуждали между собой новый способ варки варенья из черноплодной рябины с антоновскими яблоками, он кивнул.

— Спасибо, Майя.

Лапин принял из рук сестры чашку, налил дымящийся, душистый чай в блюдечко, деловито и шумно отхлебнул, и чем-то далеким, теплым и родным пахнуло на Чубарева. Было время, и они, молодые, готовые перевернуть податливо ложившийся им под ноги мир, цедили из жестяного чайника морковный чай. Чубареву вспомнился запах зелени, сильно разогретой солнцем. Он не хотел, чтобы Лапин заметил его волнение, и решительно придвинул к себе рюмки, налил их до краев.

— Давай, Лапа, за все хорошее,— предложил он, и Лапин молча взял свою рюмку.— Знаешь, кого нам сейчас не хватает, Лапа? Не догадаешься, нет, куда тебе... Севы Ростовцева нам не хватает, вот кого!

— Точно! Послушай, Олег, давай сейчас к нему махнем, недалеко ведь, в самом центре, на задворках Елисеевского! — вскинулся он, радуясь недоверчиво и ожидающе загоревшимся глазам Чубарева, и тут же добавил: — Что? Не хочется? Или боишься? Конечно, куда нам, слабо́, не поедем, разумеется...

— Почему не поедем, Лапа? — удивился Чубарев, расплескивая коньяк и решительно ставя рюмку на стол.

— Стары стали, женщины нас не пустят, да и поздно уже...

— Договаривай, договаривай, что ты еще думаешь обо мне,— рассерженно надвинулся на него Чубарев.

— Ничего,— развел Лапин руками,— больше ничего....

— А раз ничего, значит, сейчас и едем,— оборвал его Чубарев, оживленно подхватываясь.— Я своей половине все объясню, она у меня и не к такому привыкла, а у тебя женщины из другого теста, что ли? Дочь еще мала распоряжаться, сестра не теща, так что собирайся, едем! Едем! Никаких гвоздей! Каким он стал, Севка Ростовцев?

— А этого я тебе не скажу,— заупрямился Лапин, с оживлением собирая со сто́ла коньяк, лимоны, конфеты, кое-что из закуски и пряча всю эту снедь в портфель.— Раз едем, сам увидишь, не тот эффект будет.— Он бегло окинул стол взглядом, отыскивая, что бы еще прихватить с собой.— Понимаешь,— объяснил он на ходу Чубареву,— у меня ведь паек академический, а ему со снедью туговато приходится.

— Ну-ну, ну, давай, давай,— поторапливал Чубарев, загоревшись мыслью увидеть Севку Ростовцева, третьего из их неразлучной троицы по последним классам гимназии, вечно углубленного в себя, никогда ни с кем не вступавшего в споры и тихо, упорно, благоговейно, как пророка, боготворившего молодого тогда еще Николая Рериха; сейчас Чубарев был раздосадован и обескуражен тем, что не смог, даже попытавшись, вспомнить, что сталось с Севкой после гимназии. И поэтому, как обычно, когда он бывал сильно недоволен собой, с особой горячностью и напористостью стал разъяснять растерявшимся вначале женщинам причину необходимости их с Лапиным немедленного ухода, напирая на чувство мужской дружбы, и Вера Дмитриевна, послушав и мягко улыбнувшись, махнула рукой.

— Боже мой, к чему так много слов? — простодушно удивилась она.— Идите, идите... Мы здесь чаю попьем, а до гостиницы я сама доберусь, не первый раз... Вы не против, Майя Сергеевна? Отпустим наших мужчин похолостяковать?

Майя Сергеевна осуждающе поправила очки, но вмешиваться не стала, и минут через сорок Лапин с Чубаревым, тяжело отдуваясь и часто останавливаясь, уже взбирались на седьмой этаж по плохо освещенной, запущенной лестнице старинного, с виду респектабельного московского дома, а еще через четверть часа тяжелая с потрескавшейся старой краской дверь распахнулась и они увидели невысокого, плотного лысеющего человека с удивительно детски голубыми глазами, и в ту же секунду Чубарев узнал их. Шумный, объемистый, громогласный по сравнению с открывшим им хозяином, он сразу заполнил собой пространство большой передней, завешанной и заставленной самыми невероятными вещами; Ростовцев расцеловался с Лапиным, сдержанно подал руку Чубареву.

— Не узнал, не узнал,— огорченно крякнул тот; Лапин, чуть в стороне, насмешливо покашливал, ожидая.

— Виноват, запамятовал,— отступил на несколько шагов назад Ростовцев, склонив голову набок, с дружелюбным любопытством всматриваясь в пришедшего.

— Прекрасно, вот и договорились,— заметил Лапин с понятной иронией, пробрался мимо них в комнату к столу и осторожно водрузил на него портфель.— Правда, жаль, ведь иногда так хочется, чтобы тебя просто узнали...

— Хватит тебе, Ростя, поди к черту! Хоть ты и академик, в человеческой душе ничего не смыслишь,— с досадой огрызнулся Чубарев, и в это время Ростовцев растерянно развел руками, отступая назад.

— Никак Чубарев... Олег,— сказал он неуверенно и тотчас убежденно добавил: — Ну конечно, он самый, Олег Чубарев, только громадный и толстый... до неприличия...

От нахлынувших чувств Чубарев засопел, который раз сегодня после негаданной встречи с Лапиным переживая какое-то грустно растерянное откровение перед стремительностью времени и невозможностью ничего, даже самое желанное и заветное, вернуть хотя бы на одно мгновение. Он видел, что и у Ростовцева от усилия

казаться спокойным на высоком голом лбу резче обозначилась крупная вертикальная морщина.

— Давай, что ли, обнимемся,— предложил Чубарев, стремясь скорее разрушить невидимую преграду, с каждым мгновением все сильнее затвердевавшую между ними.— Что ж, нам так вот и стоять столбом? — И, широко шагнув, обхватил, пригнувшись, Ростовцева, с отвращением чувствуя подступившие к горлу противные старческие слезы; они трижды расцеловались.

— Ты не задави его,— забеспокоился Лапин.— Тебе человечество не простит.

— Ну вот, ну вот,— пробормотал Чубарев, отстраняясь от своего старого однокашника, но по-прежнему не отрывая от него глаз, и Ростовцев, смущенно покашливая, пригласил их пройти дальше.

Чубарев увидел, что находится в мастерской художника, как вскоре выяснилось, служившей одновременно и его домом. На передней стене висели маски Пушкина и Бетховена; на большом столе, заваленном всяческим хламом, выделялась характерная голова Нефертити из незнакомого Чубареву минерала, с прекрасным, точеным лицом земной женщины и загадочными, неземными, нездешними глазами. Было множество и других неизвестных Чубареву предметов и украшений, которыми бывают обычно забиты мастерские художников,— от смирно выстроившихся в ряд на простой широкой сосновой полке цветастых дымковских глиняных игрушек до лаптей и гжельской величественной бабы в сарафане, держащей в руках серебряный старинный крест. Пока Чубарев озадаченно, с каким-то детски-обиженным выражением лица, осматривал мастерскую, Лапин, любивший бывать здесь и выбиравшийся к Ростовцеву при малейшей возможности, выложил из портфеля на круглый, красного дерева столик в уютной нише прихваченные с собой припасы, раскупорил неначатую бутылку коньяка. Ростовцев ладил кофе на спиртовке тут же, в боковом закутке, приспособленном под кухоньку.

— Выпить захватил,— сказал Лапин сердито, чувствуя, что хозяин чем-то недоволен.— У тебя же не найдешь по этим временам. Закусить тоже надо... Чего ты дуешься, вон кофе убежит... Скажи лучше, что Даша?

— Вероятно, самое малое еще пролежит с неделю... Сегодня был у нее,— брезгливая улыбка на лице у Рос-

товцева погасла.— Кажется, на этот раз выкарабкалась...

— Тут вот ей Майя кое-что передает, вот лимоны, шоколад от меня.— Лапин положил на стол еще один сверток, потом передумал и переложил на сосновую полку, где в живописном беспорядке громоздились замысловатые фигурки, плетенные из соломы, с изрядным слоем пыли на них.— Боюсь, знаешь, под сурдинку слопаем, и ничего не останется. Скажи, кланяется ее старый обожатель... и скажи, чтобы не смела ни о чем таком думать...

— Хорошо, все передам,— кивнул Ростовцев.— Только ты не очень-то шикуй, подумаешь, Савва Морозов нашелся. Вчера из Сибири, из Томска, один знакомый геолог рыбину вяленую — во-о! — приволок.

— Ладно, пригодится,— хозяйственно решил Лапин и подмигнул, указывая взглядом на Чубарева, давно уже въедливо рассматривающего один из портретов; Чубарев, словно почувствовав постороннее внимание к себе, досадливо мотнул головой и не оглядываясь продолжал всматриваться в странно знакомое, совсем юное, лет семнадцати, лицо, стараясь понять, чем же так завораживает эта словно бы небрежно брошенная на картон тень легкой усмешки в глазах, осветившая все лицо какой-то глубоко затаенной мыслью. Не оглянулся Чубарев и на голос Лапина, зовущего всех к столу. Продолжая напряженно вглядываться в привлекший его внимание портрет юноши, Чубарев медлил; сам того не ожидая, он попал в совершенно незнакомый ему мир; здесь царили свои, особые законы, и здесь и сам он, Чубарев, и вся его жизнь и борьба ровным счетом ничего не значили, здесь жизнь мерилась иными ценностями, о которых он не имел даже малейшего понятия.

Он подошел к столу, в рюмках был уже разлит коньяк.

— Так,— сказал он неопределенно, поднимая рюмку.— Это все твое, Сева? — повел он головой на стены.

— Мое. Не нравится?

— Почему? Наоборот. Все очень нравится. Не знал, не знал...

— Наш Сева из породы чудаков. Трудится в свое удовольствие.— Нельзя было понять, чего в тоне Лапина больше — осуждения или гордости.— По заказу не пишет, не выставляется, критика о его существовании, по-моему, даже не подозревает, и картин его, кроме

друзей, никто не покупает,— с удовлетворением потыкал он себя пальцем в грудь.— Жену уморил, в больнице лежит, она любит этого бандита до исступления. Завидно! — Лапин говорил в прежнем шутливом тоне, но в нем чувствовались отголоски застарелых споров.— Выпьем за чудаков! Их любят женщины!

— Нет, братцы, что в нашей встрече самое лучшее? — Чубарев восхищенно обвел взглядом мастерскую.— Что мы есть. Скажи, Сева,— спросил он, указывая на портрет юноши, задевший его за живое,— ты сам себя нарисовал? А?

— Это его сын, Олег,— ответил Лапин.— Он в сорок четвертом, уже к самому концу, погиб...

— Вот оно как... Прости, не знал,— повернулся Чубарев к художнику.— Ну, тогда за них, кто не вернулся... за их память... Все равно ведь они есть.

Они стоя выпили, помолчали, думая каждый о своем, их объединяла не только молодость и все с нею связанное, их объединяли и потери, понесенные каждым. И опять первым не выдержал самый нетерпеливый, Чубарев, вспомнил какой-то совершенно стершийся из памяти случай с Лапиным на гимназическом балу, ужаснулся, как быстро все пролетело, и теперь, когда он знал уже точный адрес, еще раз подошел посмотреть на портрет погибшего сына Севы Ростовцева.

— Скажи, Сева,— спросил он немного погодя,— вот Лапа говорит, что тебе трудно... Но почему так? И можно ли тебе чем-нибудь помочь?.. Что, я что-то не так сказал? — спросил он, заметив, что Лапин сдвинул брови.

— Все так, Олег,— улыбнулся Ростовцев.— Дело лишь в том, что Лапа меня характеризовал сейчас с высоты своего академического пайка... А ведь мне ни от кого ничего не надо... Поймите, ребята, жизнь коротка, нужно уметь освобождаться от всего лишнего, что мешает в дороге. У меня есть все необходимое, а от лишнего я вовремя освобождаюсь. Ну, например, от счастливых концов в книгах, и академиков в том числе,— он иронически поклонился в сторону Лапина.

Чубарев снова огляделся, словно отыскивая подтверждение последних слов хозяина. Действительно, почти полное отсутствие посторонних мелочей, поразительная замкнутость в какой-то одной, раз и навсегда установившейся духовной сфере, пожалуй, составляли суть этого только что открывшегося ему мира.

— Все необязательным быть не может,— в Чубареве вспыхнуло чувство противоречия.— Есть что-то главное и для тебя, Сева. Что?

— Конечно, есть,— тотчас согласился с ним Ростовцев; спокойная доброжелательность и в то же время какая-то главная мысль, постоянно владевшая им, отличали его манеру держаться и заставляли вслушиваться в каждое произнесенное им слово.— То, что никогда не проходит,— сказал тихо Ростовцев.— Дети, цветы... материнство... Гармония, заложенная в самой природе... Понимаешь, для меня обыкновенная зеленая ветка важнее, чем все лозунги мира, вместе взятые... она непрерывно обновляется, ветка, а лозунги устаревают...

— Когда же ты таким стал? — ахнул, к явному удовольствию Лапина, Чубарев.

— Почему стал? — спокойно возразил Ростовцев, в свою очередь с профессиональной цепкостью отмечая сильный разлет седых бровей Чубарева, выражающих сейчас крайнее возбуждение, мощный лоб, похожий на старый, высунувшийся из земли валун, неспокойные руки.— Зачем сразу искать какую-то внешнюю причину? А если в каждом из нас еще до рождения уже самой природой закладывается определенная программа? А потом, если тому способствуют обстоятельства, программа и срабатывает.

— Ты имеешь в виду соотношение таланта и действительности?

— Пожалуй... Мне кажется, если бы я мальчишкой не встретил Рериха, во мне так бы и осталось лежать мертвым грузом самое главное,— скорее подумал вслух, чем сказал, Ростовцев.— А после этой встречи появилась цель, вот я старательно и топаю к ней... всю жизнь.

— Врешь, Сева, врешь! Для того чтобы это твое главное исполнилось, знаешь, сколько еще всего надо? — Чубарев ожесточенно двинул рукой в сторону Лапина.— Надо, чтобы вот он свою керосинку кочегарил, надо, чтобы мой завод, будь он неладен, во всю ивановскую грохал, надо, чтобы кто-то хлеб сеял, да затем молол, да пек... Мало ли чего еще надо! — Чубарев размашисто ткнул пальцем в полотно на стене.— Надо, чтобы вон... твой сын где-то в чужих полях остался...

— Все правильно, Олег,— не сразу отозвался Ростовцев.— Все это необходимо. Все, что ты перечислил, и еще многое другое. Но художник, пойми, художник

созревает по своим законам... Иным, чем кузнец, и пахарь, и, прости меня, технократ... То, что из меня получилось, если получилось что-то,— он с раздражением повел головой по стенам,— ни из кого другого не могло получиться, ни из Лактионова, ни из Пластова, ни из Коненкова... И так же у них... Ну, дилетанты ведь все, за исключением самих творящих, это давно известно,—примиряюще улыбнулся Ростовцев, но Чубарев не пошел на уступку.

— Ты конечно же только себя относишь к ним, к творящим? — спросил он.

— Почему же только себя? — все с тем же обезоруживающим, ровным спокойствием не согласился Ростовцев.— Вы теперь уже не перекраиваете карты мира, вы всего лишь играете шариком. Вон один из главных кочегаров эпохи,— кивнул Ростовцев в сторону Лапина.— Как шарахнут свою керосинку, все у Данте в гостях будем. Я хочу о другом сейчас. Природа творит, народ творит, ребенок творит. И человек чем дальше будет уходить от своей природы, тем нужнее она ему будет, тем упорнее он будет ее искать. Пусть даже неосознанно, интуитивно. Ты когда-нибудь замечал, как прекрасна метель, как она музыкальна и гармонична?

— Слушай, Сева, подари мне что-нибудь, а?

— Бери что хочешь, кроме сына... там у меня еще, в боковушке, на стеллажах много лежит. Вешать некуда...

— Послушай, давай мы тебе у нас в Холмске персональную выставку организуем? Глубинку послушаешь, Россию-матушку.

— Сразу видно руководителя,— поддал жару Лапин, от души довольный разговором,— все под себя сразу подгребает...

— Ты сиди, кочегар, твое место уже определили,— огрызнулся Чубарев.— Все блоху со слоном, понимаете ли, стараетесь уравновесить... Прости, Сева,— тут же стремительно повернулся он к Ростовцеву,— тебе разве не хочется хоть однажды под рентген? Узнать о себе все без утайки?

— Зачем? Я о себе знаю больше, чем все. Нового я ничего не услышу,— усмехнулся художник.

— Тогда способ твоего существования абсолютно бессмыслен! У ленивца в Австралии, что всю жизнь головой вниз висит, больше смысла.— Чубарев начинал

по-настоящему злиться.— Постой, постой... может, ты в бога веришь?

— Верю,— пожал плечами Ростовцев, к сущему восторгу Лапина, даже притопнувшего ногой от восхищения.— Верю в высший смысл и предназначение человека, стараюсь доказать, обосновать вот этим,— Ростовцев как-то даже виновато развел руками.— Иначе все теряет смысл.

— И так всю жизнь? Наедине с собой, в поисках того, чего, быть может, нет? И ничего, никого больше не надо? Если ты, не дай бог, ошибаешься?

— Кто же может знать больше, что именно я ищу, что мне надо? — последовал ответ.— Уж, разумеется, не те так называемые искусствоведы-лоцманы, которые вдруг отчего-то так расплодились в последнее время. Для них ведь не искусство и не талант важны, а персона.

— Не верю, так не бывает. Человеку нужен хотя бы кто-то рядом... Эх, Сева, забыл тебя профсоюз,— не согласился Чубарев и, сокрушенно махнув рукой, пошел вдоль увешанных полотнами стен. Особенно много было детей, и постепенно его стало охватывать, хотя и пытался сопротивляться, чувство какой-то умиротворенности и гармонии. Все было согласно и стройно в душе, окружавшей его сейчас со всех сторон, все было устремлено к тому, что было запрятано глубоко и в самом его существе, к восторгу и чистоте, так часто ощущаемым в детстве и потом куда-то безвозвратно утерянным, но вот нежданно проглянувшим...

Он недоверчиво переходил от одного портрета к другому, возвращался, проверяя себя, но чувство, владевшее им, уже не зависело от него.

— А ты знаешь, Сева,— сказал он, стоя опять перед портретом юноши, сына художника,— я недавно был в Нью-Йорке в командировке по своим делам... Вспомнил почему-то твое детское преклонение перед Рерихом и зашел в его музей...

— Вот так всегда в жизни: везет не тому, кому надо,— вздохнул Ростовцев.— Я бы полжизни отдал, чтобы побывать там...

— Это что-нибудь изменило бы в твоей судьбе? — стремительно обернулся Чубарев на его голос.

— Может быть.— Ростовцев своими детски голубыми вбирающими глазами ощупал лицо Чубарева.— Где присутствует красота, всегда можно обновить душу, по крайней мере мне так кажется. Знаешь, лягушке,

чтобы не утонуть, нужно набрать воздуху, а потом уже нырнуть. Так и художнику... При мысли о Рерихе меня всегда поражают потенциальные возможности человека,— сощурил натруженные глаза Ростовцев.— Один едва-едва успевает воспроизвести себя, и на этом кончаются его общественные функции. Другие, как Петр Первый или Леонардо да Винчи, одной своей жизнью составляют эпоху. И тем, и другим отпущено одинаковое количество лет, примерно одинаковые физические данные... Пакт Мира, идея о создании международной организации для защиты духовных достижений человечества — подумать только! — пришла Рериху в голову еще в первую мировую войну. Мысль о единении человечества накануне самых разрушительных мировых войн, потрясений, стоивших человечеству миллионы жизней! Утопист, но сколько он успел за одну жизнь! Двадцатилетняя экспедиция в глубь Гималаев, около двух тысяч картин, огромное литературное наследие. Каждого из этих начинаний в отдельности хватило бы на целую жизнь. К тому же мы далеко еще не все знаем о нем.

— Ты, Сева, тоже успел за свою жизнь многое.

— Как можно сравнивать? В сравнении с ним я всего лишь рабочий муравей. Заметь, рабочий! То, что может совершить человек за одну жизнь,— грандиозно, непостижимо, но ведь это тоже входит в природу, значит, она-то и есть путь, она и есть цель. Вот главный смысл концепции Рериха...

— Жаль, что не ты был там, в заокеанском музее... Я рад, что мы увиделись, Сева,— сказал Чубарев.

4

Через несколько дней, сделав все необходимое в Москве, в ЦК, в соответствующих министерствах и ведомствах, Чубарев уже был в Холмске и, торопясь поскорее попасть в Зежск, на место, все-таки вынужден был еще день-другой задержаться: нужно было попутно утрясти кое-какие организационные вопросы и больше к ним не возвращаться. Но, как видно, вести летели впереди него, и по тому, как он был принят и как с ним разговаривали в обкоме, он понял, что и здесь каким-то образом стало известно об отношении Сталина к нему. Впрочем, приглядевшись, он решительно отмел эту

мысль; просто здесь помнили его по прежней работе на моторном и теперь радовались встрече с ним искренне. Просто он оставил по себе хорошую память, и сам он помнил здесь многое. «Удивительно,— не раз покачивал он головой,— как цепко хранились в душе, казалось бы, совершенно незначительные подробности прожитых в этих местах лет». И Брюханова, в первый же день пригласившего его домой, Чубарев помнил отлично и поехал с радостью; ему приятно было снова видеть Брюханова, разговаривать с ним в домашней обстановке, среди спокойных, удобных вещей, в просторном доме; едва поздоровавшись, Чубарев ощутил с ним совершенно особую связь, не подвластную времени, а когда Брюханов коротко и как-то намеренно жестко сообщил, что ему самому вот этими руками (он слегка приподнял ладони) пришлось взрывать моторный, у Чубарева защемило сердце.

— Ах, разбойник! Как же мы после этого глядеть друг на друга будем, за одним столом сидеть?

— Зачем же так определенно, Олег Максимович? — Брюханов, худой, как и раньше, подтянутый, с резко проступившими обветренными скулами, выглядел удивительно молодо.

— Давненько мы с вами срабатываемся,— задумчиво глядя на густую проседь в сильных по-прежнему волосах Брюханова, сказал Чубарев.

Собираясь к Брюханову, он раздумывал: идти ли ему просто так или прихватить что-нибудь в подарок? Он даже заглянул в магазин напротив гостиницы, но там сосредоточивалась такая послевоенная бедность, пустые в общем-то полки, тщательно застланные какой-то узорчатой бумагой, скорее всего старыми обоями, что Чубарев лишь вздохнул и отправился без всего, хотя и жалел, что вынужден был прийти впервые в дом с пустыми руками. Он сразу почувствовал себя хорошо в дружной и, кажется, счастливой семье Брюханова; вслед за Брюхановым навстречу ему вышла дородная, со здоровым, чистым румянцем и яркими, очевидно, в молодости глазами женщина лет пятидесяти с небольшим; она приняла у Чубарева пальто, как бы между прочим оглядела его с ног до головы, словно сравнивая со стоящим рядом Брюхановым. Тимофеевна (так звали женщину) без околичностей повела Чубарева мыть руки, подала полотенце, подчеркнув, что оно стираное, пригласила садиться за стол.

— Благодарю, благодарю,— громко пробасил Чубарев.— За стол так за стол, дорогая моя Тимофеевна. У, да тут у вас борщом пахнет! Да еще кулебяка! У-у, какой аромат! Пропал я, братцы, окончательно!

Хлопоча у стола, колыхаясь своим большим, дородным телом, Тимофеевна еще больше потеплела, сразу принимая гостя как своего, а Чубарев быстро обежал глазами, уже просматривая корешки книг на стеллаже, отмечая, что издания все больше старинные, в тяжелых переплетах; вдруг у Чубарева дрогнули и поползли вверх брови: в дверях стояла молодая женщина с каким-то почти сияющим лицом, впечатление шло от широко распахнутых, озаренных внутренним светом глаз; в них сейчас были и смущение, и усмешка.

— Моя жена,— сказал, входя в столовую, Брюханов.— Знакомьтесь, Олег Максимович, Аленка. На четвертом курсе мединститута, думает стать невропатологом.

— Аленка? — удивленно переспросил Чубарев, с легким усилием наклоняя крупную гривастую голову; он взял руку Аленки и, едва прикоснувшись к ней губами, слегка отступил.

— Елена Захаровна.— Аленка мягко отняла руку все с тем же ровным сиянием в лице, хотя Чубарев видел, что она несколько смущена и недовольна его восхищением.— Садитесь, прошу вас, за стол,— пригласила она и, повернувшись к открытой двери, позвала: — Коля, иди, пожалуйста, потом закончишь... А это мой брат Коля,— тотчас опять повернулась она к Чубареву, с гордостью обнимая за плечи юношу лет шестнадцати-семнадцати, большеглазого, как она сама, в котором угадывалась такая же напряженная внутренняя жизнь.

Чубарев крепко пожал руку Николая, радуясь тому, что видит перед собой этих красивых, рослых и каких-то чистых изнутри людей.

— Превосходно, превосходно,— шумно выдохнул он воздух,— какие, оказывается, есть еще среди нас молодые люди...

И это у него прозвучало так заразительно-искренне, от души, что все рассмеялись, и только Николай продолжал смотреть на него испытующе, без тени улыбки, и Чубарев чувствовал себя как-то неуютно под этим требовательным молодым взглядом и несколько раз в продолжение вечера, за разговором, ощущая на себе

этот неспокойный взгляд, сбивался с мысли и начинал заново. «Вот чертенок, какая сила»,— восхищался Чубарев своим вынужденным единоборством с этим еще неоперившимся мальцом; Тимофеевна тоже почувствовала напряжение между ними и тотчас по-своему вступилась за питомца.

— Ты что, Коля? — спросила она.— Борщ, что ли, нехорош?

— Хорош, хорош,— ломающимся баском отозвался Николай и уже больше не отрывал глаз от тарелки.

Но у Чубарева где-то в глубине души осталась неосознанная тревога от этого мальчишки, он почему-то подумал, что его жизнь будет самым тесным образом переплетена с этой только-только начинающейся, широко распахнутой молодой жизнью, и сразу же обругал себя за сентиментальность. «Ишь чего захотел, старый бродяга, очень ты ему нужен, вот будешь встречаться с Брюхановым — и достаточно, и все связи, долго ли тебе еще осталось топать? Ты бы еще в планерный кружок записался; дудки, старина, как ни прыгай, а мотор когда-нибудь остановится, берег — вот он, уже виден...»

В угоду Тимофеевне, чутко ловившей малейшую смену настроения за столом, Чубарев попросил добавить борща.

— Черпачок один,— предупредил он Тимофеевну, но та, словно не расслышав, с готовностью и гордостью опять налила ему до краев душистого, дымящегося борща, укоризненно глядя на Николая, что-то неохотно вылавливающего ложкой в своей тарелке.

— Сразу видно настоящего-то едока,— заметила она вроде бы мимоходом.— На такого и полюбоваться не грех, а то ведь откуда силы будут?

— Тимофеевна,— остановила Аленка, взглянув на сведенные брови брата.

— Пусть ее, Аленка,— сказал Николай с неожиданно доброй, совсем детской улыбкой, и Чубарев подумал, что он еще совсем мальчик.— Это Тимофеевна про меня, все ей кажется, что я от книжек чахотку схвачу...

— Уж схватишь, схватишь! — не осталась в долгу Тимофеевна, и Чубарев понял, что в семье это наболевшая тема.— А чего ж? Человек не ест, не спит, день и ночь огонь-то жжет, жжет, все с книжкой, все с книжкой! Ты зайди к нему утром — он, батюшка мой, зеленью пошел, мертвяк и мертвяк. Господи помилуй,

кто ж так-то учится? Вот до чего городская жизнь доводит: малый день и ночь читает, другая за полночь да с утра пораньше в читалку бежит, мало ей своих книжек, вона их, не счесть, пылятся по полкам, только работы добавляют. Для чего ж их накупают? Куда, чужих рук не жалко! — Аленка в ответ, смеясь глазами, только сокрушенно вздохнула.— Так оно и идет все кувырком, вместо того чтобы дитё родить да за мужиками приглядеть, все книжки, все книжки... да еще говорят, покойников в подвале на куски полосуют... Греха не боятся... Господи, прости... Я уж как выберу часок, так и в церкву, свечку за них поставлю, помолюсь божьей матери. Прости их, говорю, непутевых, по молодости грешат!

Брюханов, до этого все больше молчавший, на этот раз поднял на Тимофеевну построжавшие глаза, и та, собирая тарелки, обиженно поджала губы.

— С хорошим человеком только и поговорить,— все-таки не удержалась она.— Вы же все с книжками по углам уткнетесь, не с кем слово сказать.

— Ты, Тимофеевна, уж молчала бы. Сама даже блины с книжкой печешь.

— Глаз у тебя, Тихон Иванович, известно, начальственный,— не раздумывая долго, привычно огрызнулась Тимофеевна.— Позавидовал, надо ж... Полторы буковки за день и разберу, а ему и бублик с тележное колесо привидится...

За столом снова дружно засмеялись. Тимофеевна принялась раскладывать второе, норовя, несмотря на протесты Николая, положить ему в тарелку вдвое против остальных; Чубарева разморило от выпитой водки, особенно от воркотни этой простодушной румяной женщины, жившей своими законами и представлениями и вносившей в общее течение напряженной, нелегкой, видимо, жизни свою немаловажную часть. Чубарев почувствовал себя привычно и раскованно в этом совершенно новом для него доме, расхаживая по натертым полам, листая книги, рассматривая гравюры, шутил, рассказывал московские новости, от него исходила какая-то большая, уверенная, добрая сила. Аленка, подняв на него глаза, сказала:

— Вы нашей Тимофеевне понравились с первого взгляда... Удивительно... Лучшую рекомендацию получить невозможно, ей-богу, Олег Максимович.

— Польщен, польщен,— церемонно поклонился Чубарев, наблюдая за Николаем, давно уже сидевшим за столом только из приличия и от неудобства при госте встать и уйти, когда другие еще сидят.

— Иди, Коля,— с улыбкой кивнула Аленка.— Иди, нечего тебе томиться...

— Спасибо.— Николай встал и, смущаясь своего высокого роста, ни на кого не глядя, быстро вышел, снова тепло и по-мальчишески ярко улыбнувшись всем на пороге.

— Возраст дает себя знать,— сказал Брюханов задумчиво.— Мне сейчас кажется, что я таким молодым никогда и не был.

Чубарев ничего не ответил, стал закуривать, и некоторое время они молчали; опять зазвонил телефон.

До этого Тимофеевна или отвечала что-то сама, или подзывала Николая с Аленкой, на этот же раз категорически потребовали Брюханова, и когда он вышел, Тимофеевна, убирая со стола, стала в сердцах громко стучать посудой.

— Вот уж окаянный чалдон, ни днем, ни ночью тебе покоя,— негромко ругалась она.— А вы проходите вон в кабинет, покурите там,— предложила она, и Чубарев, поблагодарив, грузно шагнул в соседнюю комнату, разглядывая заставленные книгами шкафы, с наслаждением опустился в просторное кожаное кресло; он сейчас думал о жене Брюханова, беспокойная и яркая красота ее наполнила душу какой-то светлой, забытой грустью.

Вернулся Брюханов, извинился, и они заговорили о делах, о ближайших нуждах предполагавшейся реконструкции завода, и Чубарев отметил, что Брюханов не утратил прежнего умения слушать собеседника внимательно, не перебивая; Чубарев спросил о Муравьеве, и Брюханов, медля, притушил в глазах мелькнувшие было веселые искры.

— Я его знаю вот уже три года, с момента, как восстанавливать завод начали. Еще пленные немцы работали. Но ей-ей — глухая стена, черный ящик. По-моему, кое-что я понял, по натуре своей человек этот сугубо плотоядный, но обстоятельства не позволяют... Ему все время приходится прикидываться вегетарианцем.

— Гм,— сказал Чубарев, высоко поднимая брови, но в это время на столе опять зазвонил телефон, и Брюханов от неожиданности как-то сразу сорвал трубку, и едва стал слушать, лицо его переменилось, отвердело.

Разговор продолжался несколько минут, и была еще какая-то хорошо ощутимая Чубаревым тяжелая пауза, во время которой он, не упуская из вида лица Брюханова, почувствовал, как через него безудержно, неостановимо проносится время; он сейчас через Брюханова нес его тяжесть.

— Сделаем все возможное,— Брюханов положил трубку, кивнул Чубареву — «простите» — и стал звонить, теперь уже сам, и это продолжалось еще минут двадцать. Чубарев уже представлял, что случилось, из отрывистых приказаний Брюханова срочно собрать группу врачей и немедленно перебросить ее в дальний Покровский район, где на пропущенном минном поле подорвались одновременно более двадцати подростков; Брюханов приказал тотчас, как только меры будут приняты, сообщить ему и устало сгорбился.

— Вот так... почти каждый день, каждую ночь... Да, о чем это мы говорили, Олег Максимович... кажется, о Муравьеве.

— О нем! Но бог с ним, я хотел другое сказать. Знаете,— продолжил свою мысль Чубарев,— удивителен именно не результат, удивительно открывать заново, казалось бы, давно знакомых людей, сам этот процесс.— Чубарев помолчал, вспоминая недавнюю встречу с Ростовцевым и свое самое подлинное замешательство от узнавания своего бывшего однокашника.— Я рад за вас, Тихон Иванович,— намеренно меняя разговор, добавил он мягче.— Рад видеть вас таким, пожалуй, вы ничего не растеряли за эти годы. Но главное в другом. Что-то новое, очень важное появилось в вас... Что-то вы приобрели, а что — не пойму. Хоть убей, не пойму. Разные превращения случаются с людьми... Молчите, я знаю, что говорю, у вас прекрасный дом, я рад. Я вам позавидовал, батенька мой, старик, а позавидовал! — После наступившей паузы он зорко глянул на хозяина.— Красота — вот вечная загадка! Жена ваша не просто красивая женщина... в ней есть тайна... И юноша очень любопытный... Черт возьми, какая у них, Дерюгиных, порода яркая...

— Коля с нами уже давно, я привязался к нему,— сказал Брюханов с какой-то вежливой, вынужденной улыбкой.— Характер, я вам скажу... Способности поразительные, заканчивает десятилетку экстерном и уже институтскую программу по физике и высшей математике за два года прошел. Не знаем, что с ним дальше

делать... Недавно был в Москве, на всесоюзной математической олимпиаде, ему специальное приглашение прислали. Мне порой с ним не по себе: кажется, он все понимает, но как-то глубже, по-своему...

Брюханов, поглядывая на телефон, чего-то недоговаривал, и Чубареву не хотелось ему мешать, именно минутной безудержной откровенности люди стыдятся и от этого не только не делаются ближе, а, наоборот, больше потом замыкаются в себе. И Чубарев не торопил, не задавал вопросов, им, несмотря на тяжелый, телефонный звонок, было хорошо, покойно вдвоем в этой большой сумеречной комнате, куда совсем не доходили посторонние уличные шумы.

— Вы говорите — порода, Олег Максимович,— Брюханов раздвинул тяжелые шторы, слегка приоткрыл окно; потек слабый ветер, и границы кабинета тоже раздвинулись.— Я вот иначе думаю... Несмотря на породу, ум, Николаю трудно придется в жизни. Сейчас он попал в оранжерейную, искусственную среду. А дерюгинской породе нужна борьба, преодоление.

— Что вы, что вы, он еще мальчик, сон души.

— Не скажите, Олег Максимович, есть характеры, которые выявляются только на изломе. Ум — это ведь не только ум, это еще и равноценная среда, способная воспринять этот ум... Коля торчит здесь, как одинокий пень, он этого еще не понимает...

— Ну, так давайте его в Москву, батенька мой, я поворошу в своем старом хламе, найдется там парочка академиков... Оснастим парня! — Чубарев, поспешно встав навстречу вошедшей Аленке, бережно взял из рук у нее дымящийся кофейник, поставил его на столик.— Как пахнет, как пахнет! Кофе, братцы мои,— мой вечный пережиток, еще из того, помните, Елена Захаровна, проклятого прошлого...

— Не помню,— рассмеялась Аленка, осторожно разливая кофе по чашкам.

— Вот те и на! А я думал, это все должны помнить,— удивился Чубарев до того искренне, что Брюханов в который раз залюбовался этим жизнерадостным, естественным в любом своем проявлении человеком.— Понимаете, Елена Захаровна, я ведь со своей Верой Дмитриевной в церкви венчался, так давно это было, кажется, ни в какой прибор цейсовский не разглядишь. А закроешь глаза, протяни руку — и кос-

нешься, вот оно, рядом... Молодость рядом, последний порог рядом...

Аленка внимательно и быстро взглянула на него.

— В природе такого понятия, Олег Максимович, как смерть, не существует. Это уже человек придумал.

— Постойте, постойте,— Чубарев решительно отставил чашку с дымящимся кофе.— Пока я еще не настолько стар, чтобы забыть, что человек — часть природы. Но, Елена Захаровна, дорогая, все же увольте! Не хочу быть на одинаковых правах с инфузорией или дождевым червем... Знаете ли, обидно мне, я протестую! Вот я сейчас в Москве встретился с двумя своими однокашниками по гимназии, один ученый, академик, другой художник... видите, как вызвездило! Удивительное, скажу я вам, состояние: словно и не было жизни, а что она действительно прошла, я по-настоящему почувствовал только по этой встрече. И знаете, как это было грустно, трудно... и какие мысли были! И это, я уверен, у всех троих, потому что расстались мы молодыми, а встретились стариками. И у Лапина, и у Ростовцева, и у меня... Такого ведь состояния не может быть больше ни у одного живого существа на земле, Елена Захаровна.

— Все это так, но ничего переменить нельзя, так уж получилось,— мягко сказала Аленка.— Если позволите, я пойду,— сказала она после неловкой паузы.— Тихон, позови меня, если я буду нужна.

Чубарев легко для своих лет, стремительно встал, поцеловал ей руку; подумал, что бывают мгновения, когда особенно остро чувствуется возраст, что не просто с ней, вот с такой женщиной, Брюханову, нет, не просто. И от этих своих мыслей Чубареву трудно сейчас было взглянуть в сторону молчаливо сидящего в глубоком кресле Брюханова, но тот сам нарушил молчание.

— Ростовцев, Ростовцев... Простите, Олег Максимович, это художник? — спросил он.

— Да, вы знаете? — живо отозвался Чубарев.

— Нет, но я слышал о нем,— сказал Брюханов и в ответ на нетерпеливый взгляд Чубарева добавил: — Был у нас в Холмске один чудак, директор картинной галереи... умер в прошлом году. Лет пятнадцать добивался купить какой-то портрет у московского художника Ростовцева... Чрезвычайно высоко о нем отзывался. Что-то у них не сладилось... То ли в цене не сошлись, то ли тот не захотел расстаться именно с этим портретом.

— Вот как,— слушая, Чубарев слегка наклонил голову.— А знаете, Тихон Иванович, все может быть... Я ничему не удивлюсь, самому невероятному. Я, разумеется, дилетант в вопросах искусства, но что-то меня так зацепило в его картинах, душа заныла, заворочалась. Так захотелось из своей старой шкуры выскочить, я себе и представить подобного состояния не мог... Что-то все-таки в жизни есть, недаром же так к небу потянуло — хоть становись на четвереньки и вой! До того хорошо стало, а ведь прожженный прагматик; и чувствовать вроде уже нечем...

5

В эту ночь Николай долго не мог заснуть; обрывки каких-то полузабытых разговоров, бессвязных мыслей мелькали перед ним; последние месяцы его не оставляло предчувствие близких перемен; ему все казалось, что вот сейчас, сию минуту, перед ним откроется нечто такое, отчего вся его жизнь переменится и сам он переменится; он не мог знать, что это его тревожное и счастливое предчувствие перемен уже и есть сами перемены, и все ждал, ждал, замирая, прислушиваясь к каждому шороху ночи, улавливая горячо раскрытыми глазами малейшее колебание теней. Ночь, стершая законы и привычки дня, была лунная, желто-томительная, густые, тусклые блики все гуще заполняли комнату. Чувствуя свое напрягшееся тело, Николай легко вскочил, прошлепал к окну и отдернул штору; стройный, фантастический мир возник перед ним: над спящим городом, над старыми деревьями, трепетно и податливо менявшими свою форму, струилось медленное, томительное свечение. Словно изнутри светились сами дома, улицы, старые тополя, струилось, казалось, само небо, и Николай с дрожью в сердце подумал, что все это существует и будет существовать без него. Как это — без него? — сразу же с безотчетным протестом всего своего молодого существа не согласился он, и руки его еще сильнее сжали край подоконника. Как же все это может быть без него? Чепуха! Нет, это невозможно, с этим нельзя примириться.

Николай не помнил, сколько прошло времени, ноги на холодном полу заледенели, но он этого не замечал, какая-то тревога росла в нем; резко, не думая о том, что может кого-то разбудить в доме, он распахнул окно,

и тотчас в комнату ворвался осенний ветер и с ним тысячи загадочных, неразрешимых вопросов; как сухие осенние листья в порыве вихря, они, казалось, метались вокруг него, и ему хотелось закричать от счастья и ужаса; все это предназначалось ему и принадлежало ему — и поражение, и победы, и борьба, и бессилие, и так до самого последнего мгновения, когда исчезнет этот густой лунный свет, исчезнет потому, что исчезнет он сам. И, как однажды в детстве, когда умерла бабушка Авдотья (он хорошо помнил беспросветное чувство тоски и страха, охватившее его тогда), к нему сейчас снова пришло мучительное, почти сладостное чувство исчезновения; оно, это чувство, было теперь иным, чем тогда, да, впрочем, он лишь на мгновение и вспомнил, и сравнил эти два момента, прежний и нынешний. Теперь это был не просто страх исчезнуть, теперь это была какая-то мучительно-трепетная, почти чувственная дрожь всего тела, пронизанного протестом и неверием. «Нет, нет, нет,— говорил он себе,— этого не может быть, чтобы я тоже исчез, как исчезает все, этого просто не может быть, потому что я есть и мне хорошо быть, хочется быть! Нельзя взять и исчезнуть, так ведь не бывает, чтобы все это — и луна, и дома, и небо — осталось, а ты вот возьмешь и исчезнешь. Так не бывает, не должно быть, нельзя этому быть...»

Николай не замечал порывов резкого ночного ветра, его все больше обтекала подвижная, нескончаемая лунная стихия, бесплотный светящийся поток словно вымывал из него все материальные основы, его земную тяжесть, и это было настолько реальное чувство, что от него словно больше ничего не осталось, он плыл, невесомый, в голубой холодной пустоте, поднимаясь все выше и выше, растворяясь в лунном сиянии, и только оставалось еще мерцающей точкой в громадном пространстве его отчаянно трепещущее сердце. И теперь уже не боль, не мучительно-радостное страдание от собственной невесомости и высоты пронизывали его; он бы мог уничтожить и сотворить вновь весь этот звездный мир вокруг, всю эту беспредельность, но что-то словно парализовало его волю, и ему все сильнее хотелось вырваться из этой скованности, из этой зависимости...

Он очнулся, с трудом понимая, где он и что с ним, и только в ослабевшем теле еще ныло чувство полета, загадочной высоты и пронзительности и слегка звенело и кружилось в голове. И тут появилось что-то посто-

роннее, ненужное, он растерянно вздрогнул и увидел маячившую в дверях Тимофеевну.

— Что вам, что? — спросил он злым, грубым шепотом, но Тимофеевна, в теплом халате, в туго повязанном платке, не обращая внимания, ахая, подошла, торопливо закрыла окно, плотно задернула шторы, и от нее пахнуло теплым, домашним, ласковым, и у Николая на глазах, сколько он ни удерживался, выступили слезы.

— Господи, что же это на мою голову? — вполголоса сердито приговаривала Тимофеевна, крепко обнимая Николая, который весь мелко и непрерывно дрожал, за плечи и насильно подводя его к кровати.— Да ты же простыл, горе мое... Лежи, лежи! — приказала она строго, укутывая его одеялом до самого подбородка.— Сейчас пойду молока согрею, навязались на мою голову!

Николаю были дороги ее заботы, но он сейчас, если бы и хотел, не смог бы разжать губ; он лежал в какой-то испарине, в душевном облегчении от того, что в его безжалостном лунном колдовстве появился понятный, теплый человек и что это, пожалуй, было важнее всего остального. Ему мучительно захотелось что-то сделать, может быть, просто пожаловаться, но даже на это не было сил.

Тимофеевна вернулась с молоком, на цыпочках, думая, что он уснул, и навстречу ей блеснули лихорадочные, возбужденные глаза.

— Знаешь, Тимофеевна, мне чего-то не по себе, страшно как-то,— признался он, и она неловко перекрестилась.

— Да чего тебе страшно-то, чего страшно, господи? — спросила она.— На-ка, молочка выпей...

— Не надо, спасибо...

— Выпей, выпей горяченького, сейчас тебе все нутро прогреет,— настаивала Тимофеевна, и Николай взял кружку, приподнялся на локте, сделал несколько глотков; в это время скрипнула дверь и в одной длинной сорочке, с накинутой поверх легкой шалью появилась Аленка.

— Что такое, Тимофеевна? Что опять случилось? — спросила она тревожно.

— Господи, ничего, ничего! — отозвалась Тимофеевна.— Иди ложись, вот неугомонные... да у вас хоть ночь-то когда бывает?

Аленка нагнулась к Николаю, пощупала ему прохладный и сухой лоб, ласково пригладила волосы.

— Спокойной ночи, Аленка...

— Спи, Коля, спокойной ночи... Переутомление, не ходи завтра на занятия, пройдет...

— Все от книжек,— волновалась между тем Тимофеевна, взбивая подушку и заботливо подтыкая со всех сторон одеяло.— Все от них, проклятых. Где это видано — с утра до ночи все книжки да книжки, будь и в дюжину голов, свихнешься. Говорила я Тихону и тебе говорила,— в сердцах оглянулась она на Аленку,— так где там! Разве послушают, вот тебе поморок и находит. Парню-то шестнадцать всего, я об эту пору замужем была, а то где ж оно видано — одни книжки! Кто хочешь с тоски свихнется!

Тимофеевна взяла у Николая из рук кружку, и он сразу почувствовал, что у него слипаются глаза; он уже не слышал, что еще говорила Тимофеевна, лишь неясно и туманно мелькнуло перед ним широкое лицо Чубарева; беспокойно разметавшись, он в следующий момент уже спал, а Тимофеевна, выпроводив Аленку и трижды перекрестив его, тихонько вышла, полная смутных предположений и страхов.

В это время, отодвинув тяжелую руку Брюханова и присев на кровать, Аленка заплетала потуже распустившийся узел волос.

— Удивительный человек этот Олег Максимович,— вспомнила она.— Теплый, заразительный... Сразу все по-другому светится... Коля тоже никак заснуть не может. А то вокруг тебя одни надутые гусаки... Как они мне надоели, если бы кто знал...

— Так уж все подряд и гусаки? — заворочался Брюханов.

— Все! Все! — с легкой насмешкой заверила Аленка.— Помнишь, на майском вечере... меня никто так и не решился пригласить танцевать... Там двое приезжих было, корреспонденты... Один темный, высокий, помнишь? Чувствую, глядит, чуть скошу глаз — так у него из-под ресниц и брызжет... Танцевать же пригласить не осмелился. Ты ведь рядом стоишь! Ну разве это мужчина? Брюханов, не хочу быть начальством! Танцевать хочу!

— Танцуй себе на здоровье на институтских вечерах, кто тебе запрещает?

— Чего ты все прикидываешься, Тихон? Разве дело в запрещении или танцах? Совсем не в них дело. Отгорожены мы от людей. Я понимаю, живешь ты

ради людей, ночей не спишь, с телефонами воюешь, но люди этого не знают, не чувствуют, для них ты — кресло, начальство...

— Мы-то с тобой знаем, в чем суть, главное...

— Все главное, Тихон.

— Не кажется ли тебе, Аленка, что ты сладкого переела?

— Вот уже и попреки пошли,— задумчиво отозвалась Аленка, вздыхая и опуская голову на подушку.—Нет, не кажется, не переела... Потом — у каждого свои сладости... Ведь что интересно: каждый из вас сам по себе живой человек, а вместе — сплошной вицмундир, все пуговицы застегнуты, ни одной щелочки, никто заглянуть не моги и не смей! Смешно, право...

Она нашла большую волосатую руку Брюханова и погладила ее; ей захотелось рассказать ему о росе, о том, что она видела под водой в маленькой лесной речушке, о том, как хорошо иногда быть совершенно одной... хотела — и не могла заставить себя. Быстро приподнявшись на локоть, она наклонилась к лицу мужа.

— Тихон, слушай, а ты хотел бы узнать все-все, что у меня на душе, до самого донышка? А? Что же ты молчишь?

— Что ты вдруг? — с некоторым усилием отозвался он.— Сама не понимаешь, что говоришь... Да и зачем?

— Ты прав,— тотчас согласилась она и, подумав немного, добавила: — Все-таки умница ты, с тобой всегда интересно...

— Ну, ради бога,— засмеялся он,— давай спать, Аленка, что ты меня сегодня донимаешь?

— Не буду больше... спать, спать,— сказала она.— Глаза слипаются.— Она поцеловала его, тепло задышала, заворочалась, устраиваясь удобнее.— Что у нас за квартира! — уже совсем сонным голосом пробормотала она.— Столько лет разбираю твои бумаги — каждый раз на сюрприз натыкаюсь... Вчера старый вещмешок в кладовке попался, наверное, твой. А там связка каких-то тетрадок, блокнотов...

— Тетрадок? — переспросил Брюханов, продолжая думать совершенно о другом.— Каких тетрадок?

— Сверху все скипелось, ничего не разберешь... Кажется, какие-то партизанские записи, я в нижний ящик стола положила...

— Хорошо, завтра разберемся,— отозвался Брюханов.

Вздохнув, Аленка затихла, а Брюханов, выжидая и стараясь не шевелиться, долго лежал с открытыми глазами, снова и снова перебирая в памяти неожиданный разговор. Он был рад такой откровенности, он не ожидал, но в то же время его встревожило душевное состояние жены; но и это сегодня не являлось главным. Что-то происходило в нем самом; он не знал, не помнил момента, когда именно в нем что-то сместилось, но то, что изменилось что-то основное, он знал по какому-то своему новому отношению к людям, к самому себе, к тому, как все труднее становилось принимать решения. Поставленный в силу определенных условий в жесткие рамки, он в такие моменты, стараясь остаться в привычных берегах, весь внутренне застывал, хотя все равно не мог избавиться от мысли, что придет время и его на всем ходу рванет куда-то в сторону; подчас в нем даже начинало звучать ощущение такого рывка.

Заворочавшись во сне, Аленка тепло придвинулась к нему, и у Брюханова защемило сердце. Было счастьем, что она рядом с ним, привязана к нему, это так, но она даже отдаленно не может себе представить, насколько эта привязанность меньше его любви, ведь все эти годы освещены ею, хотя он старался всегда быть ровным, не показывал всей силы затаенного чувства. Он внешне внимателен, нежен, всегда чуточку насмешлив, и эта узда, он знает, держит ее. Незаметно, исподволь, но твердо он старается руководить ее жизнью, в свое время хорошо сделал, настояв, чтобы она окончила десятилетку и поступила в институт, чтобы у них жил и учился один из ее братьев, он всегда следит, чтобы она как-нибудь не оказалась в пустоте, тем более что его работа действительно отнимает все время и силы. И все-таки чего-то недостает в их отношениях, что-то начинает не срабатывать, иначе как объяснить недавний разговор? — подумал он, вспоминая непривычно новые, насмешливые нотки в голосе жены и запоздало обижаясь. Вполне вероятно, что развоевалась сегодня Аленка просто по молодости, по дерзости, мятущаяся ее натура не терпит обыденности, это понятно, а вот что он сам не нашелся с ответом по-настоящему, уже хуже.

Иногда, когда сон не шел, как, например, сегодня ночью, он принимал ледяной душ и уходил работать в кабинет; очевидно, сегодня был именно такой случай.

Осторожно выбравшись из кровати, он подошел к окну и, вглядываясь в сонную пустынную улицу, поежился — холодно и неприютно было в мире.

«Хорошо, но что такое случилось сегодня? — спросил он себя.— Почему такое состояние? Так, был Чубарев, все-таки очень умный человек. Бригаду врачей в Покровский отправили, больше сделать пока ничего нельзя... Так, звонок из Москвы насчет недоимок по хлебозаготовкам за прошлый год... Но это обычно. Так... что же еще?»

Он вспомнил сразу, как-то в один неуловимый миг, точно всплеск безмолвного взрыва высветил в ночи за окном застывшую, хорошо знакомую и на время забытую картину; то, что случилось, случилось не сейчас, раньше, Аленка лишь интуитивно уловила это состояние, его душевное смятение и по-своему отреагировала. Вот и все объяснение. Оглянувшись и прислушавшись к ровному, еле уловимому дыханию жены, он, стараясь ступать бесшумно, прошел в кабинет, плотно закрыл за собою дверь, сразу же включил настольный свет, и мягкий зеленый полумрак окутал все углы. Некоторое время он курил, сосредоточенно стряхивая пепел в пепельницу, затем решительно выдвинул нижний ящик стола. Полученный от Сталина пакет в желтовато-грязной старой оберточной бумаге, перетянутый крест-накрест простой пеньковой бечевкой, взвесив на ладони, он положил перед собой. Сна как не бывало, голова была ясной, мысль работала четко, все заключалось именно в этом пакете, в бумагах Петрова Константина Леонтьевича, и еще больше в том, каким путем они попали к нему самому в Холмск и теперь вот лежат в ярко-желтом круге света от настольной лампы, а он, как и в первый раз в кабинете у Сталина, затем у себя в гостинице, опять боится к ним притронуться и вот уже четвертый день как не может прийти в себя и обманывает и себя, и других, даже перед женой разыгрывает вполне благополучного и счастливого человека, а медленный, безжалостный яд уверенно и неотвратимо подступает к самому сердцу, и он вот уже почти неделю не может спать, закроет глаза, забудется на несколько минут и тотчас вздрагивает. И вначале даже не содержание бумаг покойного Петрова, адресованных ему, было главным и больно поразило, а то, что эти бумаги передал ему сам Сталин, и то, что все это могло значить, и что за этим за всем скрывается. Он уже достаточно

пожил, отметал на таком высоком уровне любую случайность. Вначале он пытался разгадать намерения Сталина, так как был твердо уверен, что содержание бумаг Петрова не только хорошо известно Сталину, но что именно сутью содержания этих бумаг вызван необъяснимый, вырывающийся за рамки любых предположений и домыслов поступок Сталина, и если вначале, когда он впервые знакомился с бумагами Петрова, его ошеломило само содержание и он, почти оглушенный, подавленный, подумал, что ничего или почти ничего не знал о человеке, с которым так долго проработал рядом, то потом ему показалось нестерпимым то, что каждый его, Брюханова, шаг анализировался и его жизнь, привычки, поступки, характер и многое другое были предметом постороннего пристального внимания, размышлений, но все, что касалось покойного Петрова и причин, побуждавших его поступать именно так, а не иначе, отступило, сгладилось, а на первый план выступило другое. Как, какими причинами объяснить поступок самого Сталина? Брюханов перебрал самые разные варианты — от холодно рассчитанной политической игры, связанной с прошлым, от боязни смерти до боязни одиночества и минутной слабости, от намерения явить пример высокого человеколюбия до своеобразного предупреждения, которое могут под настроение позволить себе иногда великие, но ни один из этих вариантов не мог убедить в своей правомерности до конца, и это, хотя он старался не показывать какой-то своей внутренней растерянности и даже надломленности, вконец делало его почти больным, и он уже в который раз давал себе зарок махнуть на все рукой, заниматься только необходимыми делами, и будь что будет; глядя сейчас на пакет, казалось, знакомый теперь в малейшей подробности даже по внешним потертостям, Брюханов безнадежно подумал, что теперь уже ничего нельзя изменить, остается только жить по-прежнему и ждать.

Он отчетливо, словно это происходило наяву, вспомнил похороны Петрова, приезд Сталина, сына Петрова, военного летчика, неподвижно и прямо стоявшего у гроба со сдвинутыми широкими бровями на молодом, красивом лице; и впечатление реальности было настолько сильным, что к нему словно вернулось и ощущение нравственной атмосферы того часа, какой-то своей душевной приподнятости и просветленности от присутствия Сталина рядом в первый раз в жизни... Разумеется,

тогда, в самый разгар немецкого наступления на Сталинград, было не до личных переживаний, на него свалилось новое назначение, новые обязанности, неотложные дела завертели, втянули в свои железные тиски. Некогда было остановиться даже на одно мгновение, задержаться на какой-то мысли, все до последнего вздоха принадлежало одному, *главному*, объединявшему тогда все их действия, все усилия; атмосфера прошедших лет вновь обжигающе дохнула на Брюханова, взгляд стал сосредоточеннее, суше, в конце концов, он, как и все, делал, что мог, и больше, чем мог, и не виноват, если что-то помимо его воли осталось за бортом сознания, никому ведь не дано выскочить из собственной шкуры.

Решительно придвинув к себе пакет, он развернул его; странно, к этой бумаге не раз прикасались худые, слабые руки Петрова, странно, Петрова уже давно нет, а бумаги целы... Что есть после этого человеческая жизнь?

В пакете были две уже известные ему укороченные, против обыкновения, канцелярские папки с завязанными тесемками, и между ними лежал небольшой конверт, на котором рукой Петрова было написано: «Брюханову Т. И.».

Брюханов извлек из конверта несколько сложенных вдвое, мелко исписанных таким знакомым, мелким, ровным почерком листов желтоватой, рыхлой газетной бумаги; это уже неоднократное возвращение к знакомым строчкам не зависело от его воли, и он пробежал письмо быстро, не останавливаясь, без какого-либо заметного душевного движения, только круто сдвинутые брови говорили о напряжении, с которым он опять, как и раньше, читал неожиданное письмо из прошлого, от давно умершего человека. «Так, так, так»,— сказал он недоверчиво; уже первые фразы вновь показались ему неожиданными и поначалу реально совершенно не воспринимались.

«Тихон Иванович! — начал читать он вторично, теперь уже медленнее, ощущая мертвую, давящую тишину в доме и с раздражением отмечая, что дверь в кабинет приоткрылась от какого-то незаметного тока воздуха; встав, мягко, неслышно ступая, он плотно притворил ее и быстро вернулся к столу.— Тихон Иванович! — перечел он опять.— Я хотел сказать тебе все лично, но не судьба, один я знаю, что мне осталось

недолго, и настоял, чтобы тебя вызвать. Но время злое, неясное, поручиться даже за свой ближайший час и поступок никто не может. Если это письмо все-таки попадет в твои руки и хватит терпения прочитать его до конца, прежде всего прошу отнестись к нему не как к чудачеству умирающего. Просто я хочу, Тихон Иванович, чтобы ты задержал внимание на некоторых моментах. Подчеркиваю, это только мое мнение, можешь принять или не принять его, но ты должен знать, и знать причины, побудившие изложить его в столь неожиданной форме. Человеку, знающему, что он скоро уйдет, некоторую странность можно и простить. В недавнем разговоре в ЦК, когда дело прямо коснулось тебя, я высказался против рекомендации тебя на пост первого секретаря Холмского обкома ВКП(б). Пути человеческие сложны, отношения часто выливаются в причудливые формы, и признание идет через отрицание. Меня спокойно и мудро выслушали, и избрание твое состоялось. Цель этого письма заключается в простой необходимости высказаться до конца, хоть как-то обратить твое внимание на то, чего ты сам в себе или не видишь, или недооцениваешь, или, что хуже всего, считаешь достоинством. Если последнее верно, то бесполезно продолжать. И, однако, человек всегда должен надеяться. Вот и я надеялся, что в тебе в конце концов все-таки прорвется необходимая смелость риска, духовное бесстрашие сверять свою жизнь только с истиной, и совсем недавно понял, что это вряд ли случится, во всяком случае, не скоро, а жаль. Не буду объяснять, как и почему я пришел к этому выводу: это долго, никому не нужно и скучно. Ты знаешь, Тихон Иванович, меня, вернее, я предполагаю, должен знать. Очевидно, задумаешься и спросишь: почему сейчас, почему не раньше? Мало ли какие вопросы и недоумения могут возникнуть... Наверное, я из породы чудаков, они убеждены до конца, что пришли изменить мир к лучшему.

Человек, Тихон Иванович, трижды славен бывает: когда родится, когда женится и когда умирает,— так говорит народная мудрость. Вот я стою перед фактом своей смерти, именно сейчас легко быть беспредельно смелым и беспощадным; гораздо труднее, Тихон Иванович, остаться верным истине. У тебя, Тихон Иванович, есть многие качества партработника, но у тебя, может быть неосознанно, четко определена и некая заминированная полоса. Ее ты пока не рискуешь переступить,

эту запретную зону, и если таким будешь дальше, ты никогда не станешь творцом, а всегда останешься слепым и четким исполнителем. Это несовместимо с руководящей работой; партийная работа прежде всего — непрерывное живое творчество, чутье тенденций жизни, безоговорочное естественное стремление поддержать самое деятельное, самое прогрессивное, не упустить его еще в зародыше, а еще лучше — в самом предчувствии. Таково свойство всех подлинных революционеров и в науке, и в искусстве, и в социальной борьбе. Я знаю, что ничего изменить уже не могу, от власти никто, даже гениальный человек, не отказывается добровольно. Но иногда случается, что зерно, брошенное и в скудную почву, прорастает. Будем надеяться на чудо, не сердись на меня, Тихон Иванович, ты волен поступить, как сочтешь нужным...

8 августа 1942 г.

К. Петров».

Брюханов скользнул глазами по последним, необязательным строчкам, по знакомой, размашистой и в то же время четкой подписи Петрова; затем его взгляд выхватил короткую приписку: «Будет время, познакомься, Тихон Иванович, с этой тетрадкой, возможно, тебе станет яснее суть того, что побудило меня на этот нелегкий в отношении тебя шаг».

Брюханов машинально повертел в руках толстую тетрадь в бледном клеенчатом переплете, полистал ее, опять, как и в первый раз, не в силах взять себя в руки и успокоиться, закурил и долго, слепо всматривался в знакомые строчки, затем решительно перевернул первую страницу. «...Опять поздно закончилось бюро. Удивительная штука: чем мельче вопрос, тем больше охотников о нем поговорить. И наоборот, стоит начать готовить серьезную проблему, еще задолго до выноса ее на открытое обсуждение заранее знаешь тех немногих, кто осмелится гласно, при всех, поддержать начинание, пойти против течения...»

«Все надо сжечь, даже не притрагиваясь к этому больше,— зло подумал Брюханов, чувствуя, как бешено и непримиримо колотится сердце.— Иначе ни работать, ни жить будет нельзя, завязывай глаза — и в петлю». И тут же какой-то насмешливый голос прорезался в нем; вот-вот, прозвучало в нем с этакой ехидненькой насмешечкой, вот твоя суть, не можешь осмелиться

даже забыть... Вот видишь, Петров определенно был прав... Ведь имел же он право высказать свои мысли в отношении тебя; если он не боялся откровенно говорить и со Сталиным, что ж тебе в этом не нравится? Вспомни, скольким ты ему обязан... Рука дающего да будет проклята, так, что ли? А зачем, зачем он это сделал? Неужели он полагал, что достаточно человеку сказать жестокую истину — и он сразу переменится? Разве все только от него лично зависит? Бывают же обстоятельства, когда приходится поступать вразрез со своими убеждениями, ломать свое «я», и Петрову больше, чем кому-либо другому, это было известно; неужели он думал, что достаточно его проповеди — и все кардинально переменится? Тогда в чем же смысл этого послания? Пусть бы он написал еще пять раз, ты ведь все равно не переменишься — не от тебя это зависит,— а только страдать будешь, так не лучше ли все-таки раз и навсегда отрубить ненужные помехи? Самое простое и необходимое решение вопроса, лучше не придумаешь.

Он сейчас интуитивно чувствовал, что в отношении него Петров не может быть во всем прав, что семнадцатый, двадцать второй или даже тридцать седьмой годы — это не сорок восьмой... А если это вообще что-то другое? Если это зависть уходящего? Или еще проще? Болезнь, острое расстройство?

Неловко сгорбившись, но все еще не отрываясь от клеенчатой тетради, он задержал дыхание, к лицу толчком прилила кровь. Стало стыдно за свои мысли; прорвался самый негодный и гнусный метод самозащиты, что-то вроде того, что твоя тетка кривобока... Ах, какая мерзость! Какая мерзость!

Взглянув в светлевшее окно, Брюханов неловким движением локтя столкнул со стола переполненную окурками пепельницу; он вздрогнул от звука рассыпавшихся осколков, замер, прислушался: по-прежнему была тишина, никто не проснулся. И в ту же минуту в дверях кабинета бесшумно появилась заспанная Аленка.

— Что такое, Тихон, что случилось? — недоуменно спросила она, подбегая и наклоняясь к его лицу.— Ты всю ночь не спал?

— Иди к себе, Аленка, я сейчас, иди.

Она помедлила, но что-то в его лице заставило ее подчиниться, и Брюханов, вновь оставшись один, быстро сунул тетрадки Петрова подальше в ящик стола,

быстро побрился, постоял, по своему обычаю, под холодным душем, позавтракал и тут же раньше времени уехал на работу.

— Уж что это с самим-то после Москвы приключилось? Что он, слинявший вроде весь, а? — приступила было Тимофеевна к Аленке, но та лишь развела руками.— Ну-ну, вот оно и видно,— продолжала ворчать Тимофеевна, прибирая со стола.— Как ноне-то с мужьями... Гордые все! Я у своего, бывало, коли что почую, всю подноготную потихоньку вызнаю, хоть он от меня на три аршина в землю заройся. Ох-ох, горе ты мое, горюшко! Живут вместе, а все у них, почитай, разное, все затылками один к другому, а чем надо вместе, все врозь да врозь!

Аленка и сама была встревожена состоянием мужа, но она уже давно выработала в отношениях с Тимофеевной свою тактику и опять промолчала.

6

На другой день Брюханов поехал с Чубаревым в Зежск, чтобы представить нового директора в райкоме и на заводе; перед отъездом Аленка, прощаясь, сжала ладонями его чисто выбритые щеки.

— Может, к матери заглянешь, а, Тихон?

Он рассеянно кивнул, рассовывая портсигар, бумажник, зажигалку по карманам, и стал блуждать по столу глазами, отыскивая опять куда-то запропастившуюся, только вчера купленную расческу. Наблюдавшая за ним Аленка с улыбкой подала ему расческу; они рассмеялись его давней, застарелой привычке. В гулкой пустоте парадного она еще раз слегка прижалась к нему.

— Не пропадай, смотри позвони вечером, на этой неделе у меня нет практики. Ты не обращай внимания... я вчера наговорила, сама не разберу. Не знаю, что за настроение,— быстро сказала она, и его затопила даже не любовь, не желание, а нежность к ней, необходимость все время чувствовать ее рядом.

В машине, односложно отвечая на вопросы Чубарева, он, почти насильственно отбросив все остальное, продолжал думать об Аленке, и хотя сегодня они расстались хорошо, его томило чувство беспокойства, потому что это ничего не решало; ведь временами Аленка, почти не скрываясь, избегала его, он знал, что это

оттого, что он хочет ребенка, а она никак не может забеременеть и мучается сознанием своей вины перед ним, не верит, что она ему дороже всего на свете.

— Тихон, сделай что-нибудь, Тихон, я ненавижу себя, я теряю надежду! — выкрикнула она как-то еще в начале апреля, обрывая какой-то совершенно пустячный и спокойный разговор.— Другая еще может тебе родить... ты же больше всего хочешь ребенка...

Растерявшись, он не дал ей договорить, прижал к себе; он чувствовал ее мокрое лицо и то, что она вся, без остатка, принадлежит ему и что больше ему ничего не надо, и ему стало невольно стыдно за ее страхи в отношении себя, за предположение, что он может предпочесть другую, за свои подозрения. Он не выдержал и все до последней мелочи ей рассказал, и о своих сомнениях тоже, а она лежала рядом и, стараясь не двигаться, слушала.

— Нет, Тихон, я никогда такого ничего не делала,— сказала она пугающе ровным голосом.— Я не беременела, не знаю, почему...

— Не нужно было мне спрашивать...

— Нужно,— перебила она его.— Обязательно было нужно... Хорошо, что спросил, я ведь знала, что ты думаешь об этом... Не можешь не думать...

Они больше не затрагивали этой темы; он посмеивался над тем, что все еще влюблен в свою жену, что у него большая семья и куча родственников в деревне и он нисколько не тяготился своим родством с Захаром, и только однажды, узнав, что к его приезду в Зежский район Ефросинье Дерюгиной, на зависть всему селу, был срочно поставлен новый дом, почти рассвирепел. Пожалуй, впервые в жизни он вышел из себя и накричал на секретаря райкома, у того по вискам текли густые потеки, и эти потеки на впалых седых висках отрезвили его; он вспомнил Вальцева в партизанах, неловко закашлявшись, отошел к окну, чувствуя за спиной тягостное молчание.

— Не знаю, что вы нашли тут такого,— не выдержав, Вальцев заговорил первым.— Кому же, если не Ефросинье Павловне Дерюгиной, первой ставить дом... Свой с немцами собственноручно сожгла... Зачем же такая крайность только из-за того, что...

— Все умирали да жгли,— остановил он Вальцева, не поворачиваясь.— Ладно, поставили — не ломать же теперь...

Неровная, тряская дорога словно способствовала тому, что в памяти Брюханова как-то беспорядочно вспыхивали и гасли мысли, куски из прошлого в отношениях с Аленкой, и не только с ней, но все-таки она была главным, что его занимало почему-то именно сейчас; молча покосившись на Чубарева, сидевшего по праву гостя впереди, рядом с шофером, и жадно разглядывавшего дорогу, и вспомнив, что на обратном пути надо успеть заскочить к теще, Брюханов крепче сжал губы. Может, поначалу он и испытывал неловкость, и она заключалась не в том, что тещей у него оказалась Ефросинья Дерюгина, а в том, что Захар жил где-то на Каме, в леспромхозе, с Маней Поливановой, а Ефросинья осталась одна, и при встречах им было неловко друг с другом, но об этом он почему-то не мог сказать даже Аленке. Интересно, поняла бы она его? Пожалуй, поняла бы, последнее время она очень изменилась, внутренне созрела, будущая врачебная работа ее по-настоящему увлекает, всерьез интересуется невропатологией...

— Знаете, Тихон Иванович, у меня такое чувство, словно мне самый трудный экзамен держать,— оглянулся Чубарев.— Будто бы все заново, в первый раз...

Не меняя выражения лица, Брюханов молча кивнул; шофер, уточняя маршрут, спросил:

— Как, Тихон Иванович, через Шерстобитню или как?

— Нет, давай, Федотыч, через Слепненский...

— Ох, Тихон Иванович, не проскочим,— встревоженно покосился шофер.

— Давай, давай,— повторил Брюханов недовольно.— С каких пор таким осторожным стал, а, Федотыч?

Откинувшись на сиденье, он опять ушел в себя; он-то отдавал себе отчет, что значат слова «держать экзамен», сейчас его опутывала какая-то немота; он словно перенесся на несколько лет назад, когда никакой Аленки для него и в помине не могло быть; ведь именно этой дорогой через Слепненский брод мчал он к Зежскому моторному осенью сорок первого и затем через годы иногда вскакивал среди ночи с беспредельным чувством потери всего-всего, боялся не успеть. Он измучился этим сном. Боль была настолько острой, что он старался не ездить Слепненским бродом, но именно сегодня захотелось освободиться от плена этой боязни, убедиться, что прошлое стало прошлым. «Почему, почему же

именно сегодня?» — спросил он себя, хотя и спрашивать было незачем. Он и без того все прекрасно знал. Хватит с него прошлого, хватит самоедства! Если уж Петров и в самом деле прав, то правота его вымученная, стерильная, она, как свинцовая плита, давит живого человека. Больше он и в руки не возьмет тетрадей Петрова, засунет их подальше — и кончено. А о Сталине и мотивах его странного поступка лучше вовсе не думать, выбросить из памяти насильственно, что будет, то и будет. Даже самый проницательный и умный человек лишен способности в точной конкретности провидеть будущее, жизнь слишком замысловата в своих неожиданных поворотах. Придет время, и само собой все объяснится.

«Так и сделаю: соберу все эти бумаги, запрячу,— решил Брюханов и тут же почувствовал, как лицо тронуло сухим жаром.— Это же опять трусость,— оборвал он себя,— да еще трусость не совсем обыкновенная. Самая подлая трусость, вот именно, сытого, зажравшегося обывателя! Покойный Петров больше чем прав, если в самом начале смог различить незаметный совершенно росток...» И недаром последнее время ему, Брюханову, как будто чего-то недоставало, чего-то очень важного, необходимого, и он все чаще ловил себя на какой-то успокоенности, зашоренности, становилось труднее и труднее вырваться из неуловимого луча раз и навсегда определенных обязанностей... Казалось, он забыл то состояние, когда идешь по самому острию и один неверный шаг в сторону грозит невосполнимыми утратами, как тогда, в сорок первом... «Хорошо,—остановил он себя,— что ты можешь предпринять еще? Доказывать, убеждать, ругаться, драться, взойти на костер или... Стоп! — приказал себе Брюханов.— Дальше нельзя, дальше и в самом деле красный свет, две такие бессонные ночи могут доконать человека и покрепче».

Шофер что-то негромко проворчал про себя, и Брюханов непонимающе придвинулся ближе.

— Не проедем, говорю, Тихон Иванович, воды, видите, сколько,— повторил Федотыч, на всякий случай осторожно притормаживая перед шатким бревенчатым настилом, и, не услышав ничего обнадеживающего в ответ, нехотя, с недовольным лицом, добавил газу, сокрушаясь про себя непонятной прихоти вроде бы рассудительного и спокойного человека. «Чудит чего-то началь-

ство, через Шерстобитню уже три года как проложили новехонькую дорогу»,— подумал многоопытный Федотыч, осторожно выворачивая руль; и машина тихонько поползла по скользким, обмызганным бревнам, благополучно миновала шаткий деревянный мостик и, взревев, вначале резво запрыгала по настилу, затем, затанцевав, точно ужаленная, стала бессильно дергаться на одном месте. Просели бревна, колеса до самого днища ушли в густую торфяную массу, шофер не без доли понятного злорадства, значительно помедлив, выключил мотор.

— Сели все-таки,— прочистил он горло после пережитого напряжения, потому что в глубине души и сам рассчитывал проскочить, ведь и не в таких переделках приходилось бывать, и сейчас Федотыч досадовал на себя больше, чем на Брюханова. Уже как хозяин положения, он, понемногу успокаиваясь, деловито закурил; Чубарев и Брюханов, вслушиваясь в рокот мотора работавшего где-то неподалеку трактора, тоже понимали, что своими силами не выбраться, и было тем более досадно, что на завод следовало попасть в приличном виде — не каждый день назначается новый директор...

— Благословенно препятствие! — вспомнилось Чубареву; приспустив стекло в дверце, он высунул голову, оглядываясь.— Но, смею спросить, такое вот препятствие, чем оно-то благословенно?

— Тихон Иванович,— с ответственностью человека, принявшего решение, вступил в разговор Федотыч,— пойду-ка за трактором... Слышите, неподалеку ползает.

Еще раз выразительно глянув на прощанье в сторону Брюханова, неторопливо подтянув голенища сапог и приоткрыв дверцу, он осторожно опустил в жидкую грязь ногу, пытаясь нащупать утонувший под машиной настил, нащупал и, придерживая голенища сапог, двинулся к берегу.

Спустя четверть часа на берег, грохоча и лязгая широкими, разношенными гусеницами, выполз трактор. Молодой, плечистый тракторист, эскортируемый шофером, деловито осмотрел место происшествия, не тратя слов, перегнал трактор на другой берег, рядом с настилом (причем Брюханов заинтересованно отметил, что гусеницы тяжелого трактора едва-едва скрывались в воде до половины), затем зацепил трос, осторожно выдернул заляпанную грязью машину на высокий сухой берег и, оттащив ее подальше от воды, под старую

сосну, так же молчаливо выпрыгнул из кабины, отцепил и принялся сматывать трос: Брюханов с Чубаревым смогли наконец выбраться из машины, и тракторист дружески кивнул им издали.

— Спасибо.— Брюханов подошел ближе, невольно повышая голос из-за приглушенно работающего трактора.— Вы, очевидно, хорошо знаете эти места... Постойте, постойте,— прищурился он, внимательно присматриваясь к трактористу.

— Трудно припомнить, товарищ Брюханов,— блеснул крепкими зубами тракторист,— вы меня всего один только раз и видели, да еще когда!

На загорелом, прокопченном лице тракториста густые белесые брови совсем выгорели; гибким, кошачьим движением он легко поднял свернутый трос и бросил его в кабину трактора, металлически резко лязгнуло.

— Я вас в самом деле где-то видел,— остановил Брюханов тракториста, уже поставившего ногу на гусеницу.— Вот припомнить не удается...

— Мы, товарищ Брюханов, партизанили вместе в Слепненских лесах, я разведчиком был, помните, еще полковника с двумя крестами привел, а вы как раз в отряде у нас оказались...

— Стоп, стоп... Митька-партизан? — Брюханов, не сдерживая себя, порывисто шагнул вперед.— Какая встреча, очень рад... Знаете, очень...

С ответной широкой улыбкой, крепко пожимая руку Брюханову огромной своей лапищей, Митька, не выдержав откровенно радостного, жадного взгляда Брюханова, глянул мимо.

— Я, товарищ Брюханов, из Густищ родом, рядом тут,— кивнул Митька в сторону надвинувшегося на берег реки леса.— Исползал в войну леса да болота до самого Смоленска, до Брянска, каждый кустик missing пособачьи обнюхал... Теперь вот тоже утюжу землицу каждую весну и лето.— Он по-озорному, исподлобья глянул на Брюханова, словно проверяя, правильно ли Брюханов понимает его слова.— А полковник-то, немец, хитрющий попался тогда, помните? Пока волокли его, молчал, не пикнул, а как вас увидел — сразу права качать. Сообразил, когда орать можно... Точно прорвало! Если бы спервоначалу так куражился, мы бы его, как куренка, придавили, до стоянки бы не довели. Не знаете, товарищ Брюханов, что с ним дальше было? — поинтересовался Митька с веселым блеском в глазах.

— Хорошо, что не придавили.— Брюханов с Митькой подошли поближе к Федотычу, вполголоса ворчавшему что-то про себя и старавшемуся хоть немного отчистить машину от грязи и тины; зачерпывая помятым ведром воду из реки, он хмуро выплескивал ее на колеса, на крылья и подножки.— Полковник этот, Дмитрий, очень нам пригодился, был он, оказалось, не просто так себе: крупнейшие укрепрайоны строил, сведений из него выжали много. Представьте, Дмитрий, после войны человеком стал, Берлин восстанавливал, Дрезден... Пришлось потом встретиться на конференции защитников мира. Сейчас в Восточной Германии работает, на хорошем счету. У вас тогда рука-то провидчески дрогнула...

— Ну, чудеса! Раз так, пусть живет,— почти добродушно согласился Митька.— Повезло человеку... видать, счастливый бог его... Расскажи ребятам, что его брали,— ни за какие пироги не поверят.

— Олег Максимович! — подозвал Брюханов Чубарева.— Познакомьтесь, Олег Максимович, мы, оказывается, с товарищем Волковым давно знаем друг друга, можно считать, старые приятели. Это же Митька-партизан, в наших краях живая легенда. О нем у нас песни поют, а он вот какой...

— Здравствуйте. Чубарев, директором моторного к вам назначен. Спасибо за выручку,— поблагодарил Чубарев, протягивая руку, и Митька, пожимая ее, все с той же озорной усмешкой в серых пытливых глазах кивнул.— Сколько же вам лет, Дмитрий, э-э...

— Сергеевич,— подсказал Митька с прежней веселостью.— Много лет, уже двадцать восемь, скоро за третий десяток скаканет. Помирать скоро! — подытожил он и заторопился идти, но теперь уже Чубарев, чем-то привлеченный к этому сильно пропитанному мазутными запахами веселому парню, удержал его и стал расспрашивать о семье, о детях, делах в колхозе; достали папиросы, тут же, на пригорке, присели покурить.

Митька отвечал охотно, но вначале односложно, и Брюханов, размягченный встречей, осматривая знакомые места, лишь время от времени прислушивался к разговору Чубарева с трактористом, перекинувшемуся вдруг отчего-то от привычных расспросов и ответов о здоровье и жизни при встрече двух незнакомых до этого людей к далекой истории, книгам и даже к геогра-

фии Русской равнины и значению степи, что Брюханов улавливал из отдельных доходивших до него слов и фраз: Чубарев и здесь оставался сам собой.

— У меня все готово, Тихон Иванович,— раздался голос Федотыча.

— Хорошо, подожди минутку... Олег Максимович...

— Сейчас, сейчас.— Чубарев встал, стряхивая с полотняных брюк остатки прошлогодних листьев, протянул руку Митьке.— Ну что ж, Дмитрий Сергеевич, рад был случаю познакомиться. Приезжайте на моторный, прямо ко мне адресуйтесь,— пригласил он с явной симпатией к своему новому знакомому.— Не стесняйтесь, скажите — к директору, условились с ним. Гостем будете, мы еще с вами поспорим. К тому времени библиотека моя подоспеет, если всерьез интересуетесь историей великой Русской равнины, охотно ссужу вас литературой. Любопытнейшие есть экземпляры, знаете, приобрел еще у Сабашниковых, были такие братья-издатели на Москве. Только с отдачей, молодой человек, договорились?

— Договорились,— потеплел Митька еще больше от такой неожиданной напористости.— Какие у нас тут книги, в Густищах! А-а! — махнул Митька пренебрежительно.— Лежат одни брошюрки да плакатики, на них только мухи из года в год по-стахановски и расписываются. А книжки я уважаю...

Чубарев неодобрительно хмыкнул, с веселым прищуром обернулся к Брюханову,— мол, куда же это власти глядят,— но тот не стал ничего объяснять, лишь согласно кивнул, однако всем выражением лица показывая, что сейчас хватает забот и поважнее, а когда придет время — появятся книги и все остальное; впрочем, Брюханов отреагировал и на слова Митьки, и на молчаливый упрек Чубарева как-то машинально, мимоходом, даже не стараясь особенно скрывать это. Главное сейчас было в другом, в том, что у него в этот момент мелькнула какая-то, по его мнению, очень важная мысль, но он тотчас же потерял ее и никак не мог вспомнить. Глаза выдали, и Митька попрощался со всеми сдержанно, словно даже бы несколько застеснявшись оттого, что нежданно-негаданно оказался втянутым в какой-то непонятный спор с незнакомым человеком, да еще о том, что он смутно помнил лишь из довоенных учебников. Он кивнул и пошел к трактору, немного вразвалочку, широкоплечий, в пропотевшей на

спине рубахе; едва он заскочил в кабину, трактор, загрохотав мотором, резко, на сто восемьдесят градусов, развернулся (было видно, что тракторист тешится своей удалью, показывает, на что способен), переполз реку и скрылся за холмом.

Солнце уже сильно клонилось к закату, и вся окружающая низина была залита его ровным, мягким светом, дышала покоем и умиротворением, нельзя было представить эту землю израненной, исхлестанной огнем и разрывами снарядов. Брюханов нетерпеливо оглянулся на шофера, но тот, ругаясь про себя шепотком, смущенно развел руками — забарахлил мотор; им определенно не везло сегодня.

— Ничего, ничего, когда еще такую красоту увидишь,— прогудел Чубарев, успокаивая и шофера, и Брюханова и продолжая с видимым удовольствием приглядываться ко всему вокруг, затем, подобравшись, внезапно направился к густым ореховым зарослям, откровенно выставившим растопыренные короткие пучки будущих орехов, уже белесо выглядывающих из своих пазух-мешочков.

Брюханов тоже поднялся на пологий, мягкий под ногами лесной холм; редкие столетние сосны, колоннами уходящие в землю, красновато светились, лес жил своей привычной жизнью, он тянулся на десятки и сотни километров, соединяясь с брянскими, смоленскими и белорусскими лесами, все дальше уходя на север и восток, таинственно светились лесные озера, и манили обманчивой яркой зеленью непроходимые болота... Именно здесь они и проскочили тогда, в сорок первом, когда ехали взрывать завод, и как тогда все было иначе...

В непроизвольном порыве поделиться с кем-нибудь неожиданно наново открывшимся восприятием и этого леса, и жизни, Брюханов с посветлевшими глазами оглянулся, но Чубарев, нагнув ветку лещины, увлеченно рассматривал пушистую, зеленовато-радостную завязь орехов, и Брюханов не стал его окликать, быстро зашагал по мягкому сухому мху в глубь леса, под ногами слегка потрескивали сухие ветки, ему сейчас нужно было это движение, чтобы сосредоточиться и вспомнить, что за важную мысль он упустил; прав ведь Чубарев: труднее всего справиться с самим собой, все остальное отхлынет. Найти причину — вот главное, раньше ты гнал это, боялся дать разгореться такому настроению, да ведь от себя не убежишь. А если она до сих пор

любит того... уже не существующего... но он-то до сих пор здесь, здесь, в этом лесном сумраке, стоило тебе ступить сюда, в зеленый мрак, и настоящий хозяин тут же отыскался. А толчок — этот тракторист, Митька-партизан... *Тот* должен был быть одних лет с Митькой, нет, чуть помоложе... Аленка никогда не вспоминала вслух об Алексее Сокольцеве, никогда не произносила его имени, но он всегда присутствовал в ней, это чувствовалось, и хотя Брюханов никогда не видел этого парня, он сейчас подумал, что совсем не важно, как он выглядел, какие у него были глаза, важно то, что он был, существовал реально и до сих пор присутствовал в жизни Аленки. Отчаяннейший разведчик, смельчак, как и Митька-партизан, тогда еще в паре с ним Пекарев ходил в последний раз... Да, смерть все обрывает, разъединяет, нет ничего выше и трагичнее смерти. Смешно испытывать ревность к мертвому... Смешно? Но почему же смешно? С живым хоть можно бороться, а что сделаешь мертвому? Он как был, так и остался легендой, он везде — в этой струящейся зелени, в песнях, в снах Аленки... «Но почему мертвый должен мешать живому, почему? — спросил Брюханов.— Ведь сильнее, чем я люблю, любить нельзя, и все же полностью завоевать ее не могу, нет-нет и встанет между нами эта бесплотная тень, разъединит... И никому не скажешь, не пожалуешься, и в первую очередь не скажешь Аленке... стыдно. Он, *тот*, давно не существующий, и сейчас здесь, в этом зеленом мраке... и ничего с этим не сделаешь».

Брюханов стиснул зубы, ему показалось, что в густой зелени лещины что-то прошелестело по зеленым листьям, прошло какое-то движение и оттуда на него кто-то затаенно-тяжело и бессильно посмотрел; он ощутил этот взгляд — пристальный, далекий, понимающий...

Застыв на месте, Брюханов усмехнулся непослушными губами, круто повернулся и пошел к машине. Он больше не мог оставаться наедине с этим зеленым сумраком и этим третьим и, едва сдерживаясь, чтобы не ускорить шаги, все время чувствовал спиной тот же долгий, неотпускающий, жадный взгляд, как будто им же самим разбуженная душа леса теперь неотступно следила за ним, и долго еще после того, как машина запрыгала по неровной дороге, Брюханов не мог прийти в себя и ощущал у сердца ноющий холодок.

7

На обратном пути Брюханов заехал в Густищи; за время, проведенное на заводе, он оживился, крепнущее современное производство понравилось и Чубареву. Брюханов представил нового директора, как это и было положено, административно-руководящему составу завода, а затем все пошло, как и должно было идти; напряженная рабочая атмосфера действовала благотворно; для этого напористого, не останавливающегося ни на секунду потока жизни, вобравшего в себя множество усилий и судеб, любая человеческая жизнь мало что значила. Именно на заводе Брюханов твердо и, как ему казалось, бесповоротно решил не прикасаться больше к бумагам Петрова, забыть о них и продолжать работать, ведь убеждать мертвого и доказывать ему свою правоту было нелепо.

Он еще больше повеселел, увидев Ефросинью на пороге избы, торопливо вытиравшую руку о фартук, и поспешил ей навстречу; она поздоровалась, почтительно называя его Тихоном Ивановичем, потому что называть его Тихоном, хоть он и приходился теперь ей зятем, у нее язык не поворачивался; Брюханов, тепло улыбаясь, справился о здоровье, с наслаждением оттянул узел галстука.

Солнце было уже у самой кромки зубчатого лесного горизонта и готовилось скрыться совсем; алая, нежная заря раскидисто охватывала небо, подсвечивая редкие, казалось, недвижные облака, и Брюханов почувствовал тихое умиротворение неяркого, прохладного вечера; мучившее его сознание какого-то просчета, невосполнимой потери прошло. Вершины старых яблонь прохладно сквозили в неровной, как бы размытой, окраске; в звонкую пору лета цвет их выровняется, станет однотонным и сильным...

«Зачем куда-то спешить,— подумал Брюханов,— и рваться на куски, есть ведь это небо, и высокие облака, и лес, зубчатой стеной уходящий к самому горизонту; и права Ефросинья, живущая законами этого леса и этого неба, и, возможно, правильно она сделала, что никуда не поехала, хоть и звал ее Захар, оказавшийся занесенным превратностями войны на Северный Урал; Ефросинья и была сильна своей нерасторжимой связью с Густищами, даже время ее как-то пощадило, приостановило разрушительную работу, та же стать

и ясная улыбка в серых, заголубевших радостью глазах».

Войдя в дом, Брюханов снял пиджак, и пока Ефросинья хлопотала, собирая на стол, он, умывшись, стал внимательно разглядывать фотокарточки на стенах, вставленные и застекленные и по одной, и сразу по нескольку в резные рамки; удивляясь тому, как удалось спасти все это в войну, он долго и тщательно изучал знакомые и незнакомые лица. Многих из тех, кто был на фотографиях, Брюханов не знал и не мог знать, но все они так или иначе были связаны с Аленкой, здесь были ее деды, дядья, тетки, братья, братенники, другие родственники, а вот он и сам с Аленкой, фотографировались, помнится, совсем недавно. Аленка уже успела прислать карточку матери, и Ефросинья бережно вставила ее под стекло, вероятно освободив для этого соответствующее почетное место; она поместила их даже выше себя с Захаром в молодости, снятых каким-то лихим заезжим фотографом в самый торжественный момент; оба круглоликие, большеглазые, с напряженными, плотно стиснутыми ртами; Брюханов улыбнулся, чувствуя в то же время у сердца легкую теплоту, скользнул взглядом по стене и узнал себя и Захара еще мальчишками, в лихо сбитых на затылок кубанках; они стояли вдвоем, совершенно разные и в то же время в чем-то очень одинаковые, по-зеленому молодцевато подбоченясь, глядя друг на друга; от времени изображения потеряли уже свою четкость, расплылись и помутнели; у Захара волнистой гривой выбился на глаза чуб. «Ну что же,— пожал плечами Брюханов,— они и сами во многом переменились: дочь Захара стала его женой, ну и что? Сколько можно испытывать неудобство по этому поводу? Пора бы привыкнуть, и себя приучить к этой мысли, и других... Впрочем, все давно уж, пожалуй, привыкли, один ты еще страдаешь да расшаркиваешься».

Оглянувшись на шум, он увидел черноглазого парня с крутыми, уже бугрившимися плечами. «Егорушка»,— обрадовался Брюханов, подвигаясь ему навстречу (Аленка с Николаем всегда много говорили о приемном брате, и Брюханов, почти не знавший Егора вначале, успел как-то незаметно привязаться к нему); сжимая сильную, большую руку, Брюханов заметил в глазах парня любопытство и смущение.

— Ну как дела, Егор? — будничто спросил Брюханов.— Что нового?

— Ничего дела,— справившись с собой, глянул исподлобья Егор, но, встретив добрую улыбку Брюханова, ответно, теперь уже более открыто, просиял всем лицом.— А как там Николай с Аленкой?

— Учатся. Аленка без пяти минут врач... У Коли большие способности к математике, брат, открылись, прямо беда, день и ночь задачки решает, говорят, законченный аналитик...

— Колька, он всегда такой был — непонятный,— вроде бы про себя подумал Егор; по его напряженному лицу было видно, что он и восхищается братом, и завидует ему.

— Слушай, Егор, давно хочу поговорить с тобой по-мужски,— сказал Брюханов просто.— Давай-ка в Холмск, а? Места у нас хватит... брат с сестрой обрадуются.

— Нет, что вы,— неуверенно отказался Егор, казалось, сначала не понявший, в чем дело; застенчиво подняв глаза, он помотал головой и неожиданно залился ярким румянцем.— Вы не то подумали... пусть Николай учится, он такой... Я в Густищах буду... тут хорошо.

— Подожди, подожди, Егор, не спеши...

— Нет,— повторил Егор уже тверже.— С матерью кто же останется? Я тут... Школа у нас опять же, учись сколько влезет...

— Видишь ли, Егор... как бы это объяснить,—замялся Брюханов.— Понимаешь, учиться нужно все равно, где бы ты ни жил и кем бы ни стал. Так уж устроено: именно в молодости фундамент на всю жизнь закладывается. А мать тоже можно в город забрать...

Видя, что Егор хмурится еще больше, выгоревшие брови его почти сошлись на переносице, Брюханов пробормотал: «Понимаю, понимаю, не будем об этом больше»; в этот момент Ефросинья, раскрасневшаяся от хлопот, как раз и позвала их к столу, и оба они даже почувствовали облегчение. Все было просто и добротно, желтела в десяток веселых глаз на сковороде глазунья, шипело поджаренное сало, зеленели соленые огурцы и розовели помидоры...

— Сейчас картошка дойдет,— деловито сообщила запыхавшаяся Ефросинья и, вопросительно взглянув на Брюханова, несколько замялась.— Тихон Иванович, может, Егорка сбегает за бутылочкой?

— Зачем? — не согласился Брюханов.— Обойдемся, к чему такой прекрасный обед портить.

— Ну, смотри, смотри, только потом на тещу не обижайся. На той неделе Захар письмо Егорке прислал.— Ловко разрезая свежую краюху хлеба на деревянном кружке, Ефросинья присела на лавку.— К себе Егорку зовет, заработки, пишет, хорошие, оденешься, пишет, специальность получишь, на шофера или машиниста выучишься. Техникум там есть. Денег прислал, еще обещается... Может, еще и поедет Егор, дали бы только справку, что ему тут в навозе копаться, молодому...

— Никуда я не поеду, мам,— с горячностью оборвал ее Егор, и Брюханов понял, что это вопрос наболевший, очевидно не раз уже обсуждавшийся.

— О чем Захар еще пишет? — спросил он.

— Мне он ничего не пишет, что сердце зря рвать... вон ему пишет,— кивнула Ефросинья на молчавшего Егора.— Обещается как-нибудь собраться, на родину на побывку приехать... Тоскует вроде... Подай, Егорка, Тихону Ивановичу почитать, на божнице лежит.

В Брюханове опять против воли шевельнулось чувство давней вины, но он с досадой отмахнулся от своих мыслей; темные, с легкой рыжинкой глаза Егора были доверчиво устремлены на него, Брюханов взял письмо и начал читать.

«Ну вот, Егор, здравствуй! — писал Захар знакомым крупным почерком, и Брюханов, забыв обо всем, жадно побежал глазами дальше.— Ты один меня не забываешь, сынок, за то тебе мое сердечное спасибо. Здесь, сынок, на реке Каме, лес большой, темный, у нас-то леса веселые, светлые, а тут радости от него мало. Зверь есть, и рыба есть, как ты интересовался, всего тут много. Приезжай, сынок, сходим на охоту, рыбалка тут без дураков, знаменитая. Ты спрашиваешь, когда я приеду навестить родные места, не знаю, придется ли когда, а поглядеть-то хочется, мочи нет. Я тебе, сынок, раньше писал, как все со мной получилось, а теперь вроде кто стоит за спиной — держит накрепко. Да и начинаю я привыкать, простому человеку все одно где хлеб добывать. Приезжай, сынок, увидишь. Тут работа злая, трудная, зато деньги платят, а ты вон что про колхоз пишешь — горько становится. Тут и техникум есть, машинистом на паровоз выучишься, одежу тебе хорошую справим, по молодости это тоже не последнее дело, велосипед купим, часы. Это хорошо, что и Аленка, и Николай учатся, и ты этого дела не бросай.

Коли трудно, пиши, я тебе всем помогу, что есть. Учись, сынок, теперь только этим и возьмешь, другого ходу нету, ты уж мне поверь. Мать береги, солоно ей пришлось от жизни...»

Брюханов отодвинул руку с письмом подальше, что-то зарябило в глазах, он по нескольку раз прочитывал одно и то же. Добравшись до конца, он бережно сложил вырванные из обыкновенной ученической тетради исписанные листки, вложил в конверт, отдал Егору и долго молчал.

— Трижды я Захару Тарасовичу писал,— сказал он после продолжительной и неловкой паузы.— Аленка писала... Ответа так и не получили. Сердится, вероятно, не может себя пересилить. А что поделаешь, раз все так сложилось в жизни?

Расправляя край вышитой крестиками и петухами льняной скатерти, Ефросинья почувствовала взгляд Брюханова, подняла голову, улыбнулась тихо, для нее как-то непривычно виновато.

— Ну, давай, что ли, Тихон Иванович, ешь, ешь, а то застынет,— заметила она.— Ты не думай, как оно завилюжилось в судьбе-то, так и жить надо. Ему издаля все по-своему видится... что ж... Небось себе он и не такое прощает... Да хватит об этом, пусть вон хоть им,— кивнула она на Егора,— будет полегче нашего...

Брюханов принялся за яичницу, Ефросинья принесла в чугунке горячую, обсушенную картошку, густо посыпанную свежим молодым укропом, как любила Аленка, и глиняную глубокую миску, полную крошечных, один к одному, соленых маслят.

— Егорка собирал прошлым летом, уродили — страсть... Он у нас по грибам охотник, шибче его никто не собирает. Ешь, ешь, Егор, ты-то чего сидишь чужак чужаком? — удивилась Ефросинья, пригладив непокорный вихор на его затылке, и от этой скупой ласки Егор густо зарделся, недовольно дернул головой, отстраняясь; по-взрослому деловито он положил себе картошки, исходящей паром, разрезал соленый бурый помидор. Странное, почти болезненное желание узнать, что думает сейчас о нем Ефросинья (а она думала сейчас именно о нем), охватило Брюханова; та поняла его молчание по-своему, подлила в стакан Брюханову квасу.

— К нам тут недавно бывший-то сельсоветский председатель Анисимов наведывался,— вспомнила она.— Прыткий был, а сейчас, гляжу, отяжелел, усади-

стый стал — во-о! — примеривая, она слегка растопырила руки.— Посидели, посумерничали, уже вроде и зла друг на друга никакого не осталось.

— Анисимов? Вон как.— Брюханов подцепил кончиком вилки самый крохотный грибок и с удовольствием его надкусил.— Когда?

— Где-то с весны, снег только-только начал сходить.— Ефросинья, несколько оживившись, обстоятельно, останавливаясь на подробностях, рассказала, как Анисимов долго сидел на срубленном ясене неподалеку от того места, где стоял домик, в котором он жил с Елизаветой Андреевной, вернулся черный и больше ничего не спрашивал, собрался молчком и уехал.

— Спросила я его про Елизавету Андреевну... Тоже досталось ей в войну, чуть было не сгинула на чужбине. Девчушку, слышь, привезла. Мать в лагере померла, так она заместо матери-то, Елизавета Андреевна... сердечная женщина... А я-то слушаю про Елизавету Андреевну да все вспоминаю, как Ивана моего в Германию угоняли да как они, Анисимовы, меня чаем поили, когда я к ним за помогой-то кинулась... Так-то оно,— глаза Ефросиньи замутило давней болью.— Все про Захара выпытывал, что слышно да сколько зарабатывает... Деньгам, что ли, завидует. Мне, говорю, какое дело, сколько зарабатывает, я чужие капиталы считать не приучена. У него там есть кому счет наводить,— в ровном голосе Ефросиньи опять пробилась легкая горечь.

— Что ж, это понятно... Прошлое к себе тянет,— высказал Брюханов первое подвернувшееся на язык, потому что нужно было хоть что-то сказать, и отодвинул от себя тарелку.— Спасибо...

— Поешь еще, посиди, Тихон Иванович, ослобони ты себя хоть немного. Аленка вон пишет, продыху себе не даешь.

Брюханов кивнул, закурил; заметив взгляд Егора, брошенный на папиросы, спросил:

— Куришь?

— Смолит, смолит, смолокур,— недовольно подтвердила Ефросинья.— Уж угости его, Тихон Иванович, за порог ступит, все равно задымит.

— Дело въедливое, затягивает,— заметил Брюханов, подвигая портсигар.— Рановато вроде, а, Егор? Николая я отучил кое-как, тебе тоже бы бросить, к чему с этих пор?

— Привык,— коротко и просто сказал Егор, взял

папиросу, прикурил и, что-то пробормотав неразборчиво — не то «спасибо», не то «подумаю», вышел.

— Уж теперь поздно, вон вымахал,— вздохнула ему вслед Ефросинья.— Теперь с ним не сладить, без батьки вырос, куда уж бабе с парнем справиться. Порода мужичья свое возьмет. Смолит — это еще ладно, тут у нас подряд, как от груди оторвался — и потянул цигарку в рот. С Митькой вон, партизаном, связался, водой не разольешь. А тот кому хочешь голову открутит... и обратной стороной приставит. С новым председателем с самого начала на ножах... и Егора затягивает.— В ее построжавших глазах пробилась тревога.— И то! — спохватилась она.— Что это я к тебе со своими болячками... Лучше расскажи, Тихон Иванович, как вы там?

— Потихоньку, Ефросинья Павловна, живем.— Брюханов загасил папиросу.— Аленка в институте, в клинике пропадает, практика у нее. Дома почти ее и не видим. Коля парнишка одаренный, быстрый, проницательный, схватывает все на лету. Думаю, далеко ушагает...

Ефросинья затихла, тихонько сложила руки на столе, о детях она могла слушать без конца; Брюханов рассказал ей о поездке Николая в Москву, на математическую олимпиаду, и как его потом в числе семи человек оставили на коллоквиум, на собеседование (не уговариваясь, они сейчас больше говорили о Николае), и Ефросинья, по-детски изумляясь, ахала, а под конец всплакнула. В ней сейчас проскакивали и какие-то свои, не относящиеся к разговору мысли, но они, эти отблески прошлого, были связаны с прожитой жизнью, от них некуда было деться, и Брюханов, увлекшись разговором, не подозревал, какая борьба идет сейчас в душе Ефросиньи и что она сейчас переоценивает, может быть, всю свою жизнь, и особенно тот памятный вечер, когда, когда...

— А-а, что тут! На всякую хворобу свое зелье имеется,— неожиданно сказала она глухо, отвечая самой себе на какие-то свои тайные мысли; сейчас Брюханов не мог различить в этой тихой, всегда ровной женщине мать Аленки, ему казалось, что они слишком чужды друг другу, чтобы быть хотя бы в каком-то, даже отдаленном, родстве.

Темнело; щелкнув зажигалкой, Брюханов потянулся, снял стекло с висячей семилинейной лампы и зажег ее.

8

Казалось, случилось это совсем недавно, хотя с тех пор пролетело уже полных два года. В ту памятную Ефросинье осень уцелевшие клены пылали под вечер по всему селу немыслимо яркой желтизной; еще не совсем смерклось, когда по селу в новом кашемировом платке с редко разбросанными по полю алыми бутонами прошла, вызывая любопытство старух, Маня Поливанова, почему-то посреди недели отлучившаяся с завода; не заглядывая домой, она постучалась к Ефросинье. Егора не было дома, и Ефросинья сумерничала одна. По хозяйству она давно уже прибралась и теперь латала Егоровы штаны; услышав стук в сенях, Ефросинья недоуменно подняла голову: она не ждала Егора так рано.

— Егор, ты? — спросила она, не поднимая головы от шитья.

— Нет, не Егор это, Фрось,— услышала она и удивилась еще больше: кого-кого, а Маню Поливанову, да еще разрумяненную от быстрой ходьбы и повязанную новым платком, она у себя в такой час не ждала.

— К тебе, Фрось,— сказала Маня с порога, и Ефросинья, отложив работу, прибавила свету в керосиновой лампе.

— Коли ко мне, проходи...

— Сидишь, Фрось? Одна?

— Сижу. Народу-то в семье было сколько, покойница свекровь варить не успевала... А теперь, видишь, одна как перст, всех по белу свету раскидало. Егорка, видать, тоже не засидится, туда-сюда, армия, а там кто знает.— Ефросинья, разглядывая узор на платке, пыталась угадать, зачем это Маня проделала с завода такой долгий путь в неурочное время и пожаловала к ней ввечеру, когда добрые люди укладываются спать.

— Дети у тебя, Фрося, слава богу, пристроены, любой позавидует. Старший, Ваня, пропал, так у кого не убит, не пропал? Такого двора по всей земле не сыщется. На старости лет одна не останешься, можешь хоть к Аленке податься, хоть Колька доучится, в город к себе возьмет, хоть здесь с Егором укоренишься, своя крыша над головой.

Отходя сердцем, Ефросинья вздохнула: что правда, то правда, детьми она не обижена, как ни тяжко было, а на свои ноги встали, пошли. И Аленке добрая — тьфу! тьфу! — судьба выпала, старики в самую глубь видят,

не по годам, по ребрам надо считать. Злые языки мелют: от Брюханова, мол, изба новая,— так что тут скрывать, от него и есть. Разве сама она вытянула бы хотя того же Кольку? Куда там, остался бы в колхозе, а теперь ученым человеком будет. Могла ли она даже помыслить о таком? Одна, без мужика... Вот только чудно с Аленкой: какой год с мужиком живет, а ребенка все нет, нехорошо без ребенка, не по-людски. Мужик здоровый, не старый, сама вроде баба ладная, а на вот тебе...

Ефросинья задумалась, и Маня ей не мешала; каждая думала о себе, о своем; прошедшая война в какой-то мере примирила их, да и делить теперь было вроде бы нечего. Сама наотрез отказалась ехать к Захару, и сколько он ни слал писем, не сдвинулась с места; и никто бы не согласился, говорила она соседям, от родной земли, от детей — куда-то на Север, к черту на кулички, да и перегорело все у нее с Захаром. Она простила его, отболело, отвалилось, она давно уже и не один раз все взвесила и решила.

— Ноет душа по Ивану,— вздохнула Ефросинья, продолжая прерванный разговор.— Как будто вчера от груди-то его оторвала, снится часто, только-только закроешь глаза, а он как живой... Чудно как-то приснился третьего дня: руки тянет, а сам голый, ничего на нем нет. «Мать, говорит, мать, помоги! Сердцу тяжко, в груди горит!» Говорит, а в глазах-то, в глазах — мука. Так я и села со сна, внутри колотится, прямо грудину взламывает. Господи, матерь божья, думаю, помоги ты ему, горькому, коли он жив! Сколько бы их ни было, матери всех жалко, по каждому сердце болит, а по несчастному — вдесятеро.— Ефросинья сидела, уронив руки на колени, и говорила, кажется, только самой себе.— Ну, а у вас как? — спросила она Маню.— Дедка Макар, слышала я, занемог, наведаться бы надо.

— Что тут делать, старость, я и у матери еще не была,— опустила голову Маня.— Сто второй год пошел, заморился дедушка жить, пора бы, говорит, прибраться...

— Чужое не займет, сколь ему отмерено, столь и проживет.— Ефросинья прибавила еще огня в лампе, большая тень ее метнулась по стене.— Когда же народу полегчает, а, Мань? Не зря старые люди верят, что одна беда во двор не приходит. Надо же, после такой войны засуха ударила, считай, два года подряд, ни картошки,

ни хлеба, видано ли, село до сих пор желуди собирает. Сегодня Володьку Рыжего видела, два мешка с Варечкой волокли на коляске.

— Фрось, письмо я от Захара получила вчера,— решившись, сказала Маня,— затем к тебе и пришла. Зовет к себе в леспромхоз, на Каму, второй раз зовет. Пишет, что с тобой у него все кончено, ехать ты к нему вроде отказываешься. Вот и пришла я... Кабы до войны, так не пришла бы, сама знаешь, а теперь надо было прийти, хоть и тебе, вижу, тяжко, да и мне нелегко... Зачем же всем троим мучиться? Кому от этого легче?

Что-то похожее на слабую боль шевельнулось в груди Ефросиньи. «Вот оно что,— сказала она себе,— вон как поворачивается».

— Ехать я решилась, Фрось,— призналась Маня, чувствуя облегчение, потому что самое трудное было сказано и не нужно было больше крепиться.— До сих пор люблю его...

— Так что ж ты, только сказать или посоветоваться пришла? — Ефросинья свела брови, задумалась.— Что ж, и твоему ребенку он отец, так уж нам с тобой выпало. Вот сижу я и дивлюсь: нету у меня злости на тебя, а сколько раньше-то пришлось вытерпеть! Что ж, дело твое, решила — поезжай, я ему твердо отписала, что к нему не поеду. Не знаю, отчего, а он для меня все равно как мертвый. Помнить помню, все помню, а так, чтобы опять сойтись... нет уж, свое бабье я с ним отжила, дети поднялись теперь. Коли хочет, пусть на развод подает, нехорошо-то, коль будете жить без закону. Плохого вам не хочу, живите. А как же твои-то, отпускают? — поинтересовалась Ефросинья, с внезапной завистью оглядывая Маню и отмечая, что она в хорошем теле и лицом молода еще, новый платок ее красил.

— Я у них спрашиваться не буду...

— Как поедешь, скажи ему, хорошо живем, пусть знает: без него не пропали.— Ефросинья опустила глаза, они могли ее выдать сейчас.— Пусть и он меня простит, своей судьбе не укажешь. Выйдет срок, пусть приезжает, детей посмотрит, порадуется на них...

Маня хотела было идти, но от порога порывисто вернулась, встала перед Ефросиньей; та сидела, закаменев, уронив руки, и была она сейчас сурова и неприступна и далека от всего земного, словно икона.

— Прости меня, Фрось,— попросила Маня, тщетно пытаясь справиться с душившими ее слезами.— Не

виновата я, бог видит, дороги наши поперек друг дружке легли. Мать говорит: что ж ты, срамная дура, при живой-то жене к мужу едешь, люди разве за такое похвалят? А что люди? Что они знают? Мокрый воды не боится. Что я в жизни хорошего-то видела? Весь век краденое, а краденым сыт не будешь... Люди! Им это послаще меду — в чужой болячке поковырять от скуки... Ты меня не суди, Фрось, я сама себя в эту вечную каторгу осудила...

— Что мне,— тихо отозвалась Ефросинья, по-прежнему не поднимая глаз.— Кобель он хороший... Ну, да теперь все прошло, слава богу!

— Значит, не имеешь на меня-то зла, Фрося?

— Иди, Маня, не тяни душу, какая-никакая, все она есть, дурацкая-то наша бабья душа.— Ефросинья хотела встать, но отказали ноги, противная слабость разлилась по телу.— Хочешь, чтобы сама тебя за ручку отвела?

— Прощай, Фрось, не поминай лихом...

— Иди с богом, Маня.— Черная, душная волна накрыла в этот момент Ефросинью с головой, и как-то странно и ровно прозвучал ее голос в просторной избе: — Сердца он доброго, за все время ни разу пальцем меня не тронул, не знаю, остался ли таким...

Притиснув руки к щекам, Маня быстро, торопясь, поклонилась и вышла; Ефросинья обессиленно прикрыла глаза. «Вот так, так,— сказала она себе,— нужно молча посидеть, и отпустит. Хорошо, Маня не заметила, нельзя было при ней показывать свою бабью слякоть... Вишь, хорошего она не видела, краденого не хочет, а что видала сама она, Ефросинья, кроме горя и непосильной работы?»

Привалившись головой к столу, она переждала, пока в глазах прояснится; хотелось выбежать, закричать на всю улицу, да тут же подумалось, что никто не виноват, виноватить некого. Теперь Егор вот отпочкуется, останется как перст одна; что ей тогда в башку-то втемяшилось, звал ведь Захар, несколько раз писал, звал, почему не поехала?

Ефросинья прислушалась: «Ох, пусто в избе, как пусто, на что им двоим теперь такие хоромы, разве когда Егор женится; вот и отступилась она от своего последнего бабьего лета, своими руками отдала, даже напоследок ей радость не улыбнется, так и будет подпирать горбом пустые стены... Дура, дура пустоголовая, вишь, страшно ей показалось отрываться от род-

ных мест, ехать куда-то в неизвестность, в глухую тайгу, а Маня не побоялась, вишь, едет...» И хотя сама она с первого же Захарова письма знала, что никуда не поедет, не сможет, обрадовалась-то как вначале скупой весточке от Захара, жив и здоров, и ей просторней дышать стало, вишь, написал о совместной жизни, значит, помнит, так и она ведь, кроме него, не знала никого, и снова — в который раз! — пожалела, что не может к нему поехать. Уморила ее жизнь, надо отойти малость, пройдет время, гляди, и стронется что внутри; а нынче зачем она нужна Захару порожняя? Да, время, оказывается, не ждет, видать, приспел черед для другой, Маня едет. Ну что ж, пусть едет, хлебнет полной мерой из горькой бабьей судьбины уже по-настоящему, а то она и вправду не знает, как это быть постоянно рядом при живом мужике. Пусть, пусть отведает, говорила себе Ефросинья, и злые слезы закипали в ней; никому она больше не нужна, дети разлетелись, и что ей оставалось? Работать, пока силы есть, а там успокоиться, и навсегда. Такая уж ей выпала доля, привыкла всегда быть кому-нибудь нужной на веку: мужу, старикам, детям,— а теперь вот бобылка бобылкой; слезы жгли лицо, она несколько раз зло смахивала их, а они лились все сильнее.

Загрохотала щеколда, Ефросинья торопливо прикрутила фитиль, вытерлась концом платка.

— Что рано-то, сынок? — спросила она поспешно, едва Егор вошел.

— Разошлись,— неохотно ответил он.— Ленька-гармонист всех задирать стал, выпивши, говорит, сегодня у него играть охоты нет... Драться хотели, я и ушел.

— Больше ничего? — спросила Ефросинья, безошибочно уловив в голосе Егора неуверенность.— Ну и ладно, сынок, молочка вон попей топленого, вечор еще истопила, в погребе стоит, холодное. Правильно ушел, рано тебе во всякие драки лезть...

— Мам, а ты сама чего не спишь? Лампу как копотью забило...

Он сел рядом на лавку, от него тепло пахло свежим хлебом. Ефросинья насильно прижала к себе его кудрявую голову, ожидая, что он еще скажет, что у него засаднило на сердце...

— Знаешь, поругался я с одним дураком. Степка Бобок... все Аленкой глаза колол, а потом говорит...

— Ну, что говорит?

— Говорит, что своего родного братца Аленка в ученье пристроила, а ты, приемыш, копайся в навозе.

— Не слушай ты никого, сынок,— дрогнувшим голосом сказала Ефросинья.— Степка с чужого болтанул, на него зла держать нечего. Люди разве нашу жизнь знают? Аленка с Николаем все время тебя к себе зовут, и Тихон Иванович назывался в ученье дальше определить, куда ты сам захочешь.

— Я знаю, мам,— засмеялся Егор.— Давай лучше спать ложиться. Может, надо было нам с тобой к отцу поехать, звал же...

— Двадцать раз повторять тебе? — вырвалось у Ефросиньи с досадой.— Куда мне на старости лет в чужие края? Нет, нет, Егорушка,— уже мягче добавила она,— я для себя твердо решила. А тебя не удерживаю, слава богу, ты большой теперь, поезжай, коли надумаешь. А я порешила твердо: тут и помру, такая уж, видать, моя судьба.

— Судьба! Судьба! — Егор недовольно посопел, но вслух ничего не сказал, его сейчас смущала холодная замкнутость матери, и он заторопился ложиться спать; он угадывал, что решение матери остаться пришло к ней не так просто, и думать об этом откровенно и прямо было бы стыдно.

Он разделся и лег; скоро, погасив лампу, затихла и Ефросинья; изба сразу словно бы раздвинулась, потекли неясные шорохи. От темноты вокруг Егор приподнялся, наполняясь смутным страхом перед предстоящей жизнью; сердце забилось, он почувствовал холодный озноб, пошедший по коже, и напряженно спросил:

— Мама, а мам, спишь?

— Да уж глаза туманит, спи, Егорушка, утро вечера мудренее, спи, родной.

Опустив голову на подушку, он стал думать об Аленке, Николае, затем и об отце с Иваном; большая была семья, теперь же никого не осталось на месте, всех разметало, бабушка Авдотья умерла, от Ивана ни слуху ни духу. Решать, конечно, только матери, ехать к отцу или нет, а ему что, ему здесь нравится. Года через два в армию; отслужит, вернется назад, женится на Вальке Кудрявцевой, вот только больно она девка красивая, все парни на нее заглядываются, дождаться бы согласилась, ведь сколько раз, следуя примеру старших парней, старался где-нибудь на улице

в темноте облапить, поцеловать, так она, черт, локтем в грудь саданула. «Никуда она не денется,— решил он с некоторой неуверенностью,— а у него задумка насчет нее твердая, не отступится». Егор представил себе, как это все будет, наполняясь звенящим онемением в теле; станет на других засматривать, поколотит ее побольнее, как пить дать, поколотит хорошенько, уж совсем уверился он в своих силах, пусть тогда жалуется.

С этими полудетскими мыслями Егор повздыхал, потомился и заснул, накрепко уверенный в себе и своей правде в этом большом и грозном мире, и снилась ему Валька Кудрявцева и все то, что снится тысячи лет мужчинам его возраста, и от этого он жарко раскинулся на подушке и все чему-то улыбался во сне...

Ефросинья же так и не смогла закрыть глаза, а наутро, когда едва-едва забрезжил рассвет и пастух проиграл зорю и, собирая коров, вместе с подпаском огласил еще сонную тишину густищинских дворов бодрыми криками, щелканьем кнутов, ядреными шутками вперекидку с запоздавшими выгнать коров бабами, она пришла к крестному Захара Игнату Кузьмичу.

— Ну, вот, дядька Игнат,— сказала она, войдя во двор к нему и присматриваясь, как он, несмотря на ранний час, строгает очередное косье.— Манька Поливанова вчера была у меня... Едет она к Захару, вроде позвал...

Быстро глянув из-под мохнатых бровей, Игнат Кузьмич стал еще усерднее шаркать осколком стекла по гладкой ручке косья, затем отставил его в сторону, к другим, и, хмуро полюбовавшись своей работой, присел на чурбак.

— Сваляла ты, видать, баба, большого дурака,— сказал он, сворачивая козью ножку, дурная привычка смолить табак завелась у него в войну, в партизанах, и он никак не мог покончить с нею.— Как теперь одна будешь на свете? Умирать не пришла пора... Дети — они что, они до первого оперенья, там поднимутся на крыло — и поминай как звали...

Увидев ее лицо, он оборвал, с горечью отшвырнул от себя носком сапога обрезок доски.

— Сама решала, что ж ты сейчас-то заквохала? — спросил Игнат Кузьмич.— Надо было раньше-то спросить...

— Не жалею я ни о чем, дядька Игнат. На душе как-то смурно, тянет душу-то...

— Еще бы не тянуло,— кивнул Игнат Кузьмич согласно.— Сколько лет прожили вместе, дети вон какие...

— Кабы дорого ему что было, другую бы не позвал.— Ефросинья, стараясь казаться спокойной, невесело улыбнулась.— Так уж, видать, суждено промеж нас.

— Он тебя, Фрось, почти год в письмах уламывал,— подосадовал Игнат Кузьмич.— Уперлась красной девкой, а жизнь — она без придумок себе ломит, дороги не разбирает... Ты как в той байке про журавля и цаплю... вот теперь одна и кукуй...

— Ладно, дядька Игнат,— остановила его Ефросинья.— Ты моего бабьего не поймешь, ладно, что говорить! Пойду я...

Игнат Кузьмич долго сидел неподвижно, не принимаясь за работу, остро пахло свежей щепкой, небо совсем разгорелось, и солнце взошло, а он все сидел с потухшей цигаркой, уставясь в одну точку. А Ефросинья, ничего не замечая вокруг, прошла улицей к старым березам за околицей, затем, не задерживаясь, побрела в поле, прокладывая темный широкий след через овсы, отяжелевшие от росного серебра. В синевато-прохладном тумане дымился широкий луг, за ним вставали леса, манящие, гулкие, со своей потаенной жизнью. Она все шла и шла, и в ней сильнее и сильнее разгоралось мучительное желание сделать что-то такое, чтобы враз и навсегда все переменить. Она сейчас не думала ни о людях, ни о детях; она была одна в этом пустынном совершенно мире и, как смертельно раненный зверь, одиноко искала в нем исцеления. «Что ж, что ж,— звенел в ней незнакомый, чужой голос,— что ж такого случилось? Ведь и раньше ты знала, что он к той, другой, душой присох, чего же ты хочешь? Да еще и сама, боясь признаться, расчистила перед ним дорогу, мол, теперь уже все равно, раз совместной жизни не получилось. А видать, оно не все равно, значит, какая-то искорка в душе-то тлела, тлела, авось, мол, за войну что в нем и переменилось. Была это всего лишь дурная бабья надежда, теперь видно, а раз так, и жалеть не о чем, никто ей не нужен больше...»

Над полем розовато светились рваные полосы таявшего под солнцем тумана, вставшие волнисто в небо столбы дыма над крышами села отдавали тусклым, переменчивым мерцанием.

И сейчас Ефросинья не могла решить, правильно ли она поступила; за прошедшие два года боль несколько поутихла, и теперь приезд Брюханова и разговор с ним разбередили, растревожили ее, но что сделано, то сделано, была в ее решении и какая-то своя правота и справедливость, и хотя тяжко ей досталось, она всегда знала, что и раньше, и теперь права.

— Ехать надо, Ефросинья Павловна,— вздохнул Брюханов, поднимаясь из-за стола.

— Может, переночуешь? — предложила Ефросинья, возвращаясь из своего далека и сразу стряхивая с себя все отжитое и уже ненужное.— Ночь на дворе...

— Что делать, мне к утру необходимо поспеть в Холмск...

— Поезжай, коли надо,— согласилась она.— Вот что я хотела спросить, Тихон Иванович, хоть, может, и не моего ума дело... Можно спросить-то?

— Отчего ж нельзя? — В голосе Брюханова прозвучало некоторое не вполне искреннее удивление, но Ефросинья не приняла его, прямо и открыто глянула в лицо Брюханова.

— Гляжу я, с Аленкой-то вы давно вроде, а ребенка все нету. Непорядок получается, я уж Аленке сколь раз говорила, да она все отшучивается. Ты постарше-то, Тихон Иванович, сам знаешь, ребенок — он слабая искорка, да в жизни железной цепью окует тебя кругом, не разорвешь. Какая семья без ребенка?

— Складывается, Ефросинья Павловна, именно так пока, по-другому пока не получается,— сказал Брюханов неопределенно, досадуя, что задержался с отъездом.— Закончит наша Алена Захаровна институт... теперь уже недолго. Ты лучше расскажи, как у вас в селе, как народ?

— Э-э, Тихон Иванович! — Ефросинья горько махнула рукой, опустила глаза.— Нашел о чем спрашивать... У меня вон дом поставили, корова на двоих, и то молока не вижу... по детишкам, по больным расходится... Тот просит, другой просит, не откажешь. Все одно стыдно перед людьми... половина села еще из землянок не вылезла, на трудодни после немца вот уж который год одно угощение — шиш с маком...

— Тебе, Ефросинья Павловна, стыдиться нечего,— заметил как-то сразу постаревший Брюханов.

В ответ на это Ефросинья лишь зябко поправила накинутый на плечи платок, слегка усмехнулась, тем

самым как бы показывая, что все он и без ее рассказа понимает, но долго не удержалась.

— Председатели меняются, как лапти... Перед посевной опять нового привезли. Господи, и где вы только таких дураков находите? — спросила она неожиданно и опять безнадежно махнула рукой,— Стешка-то Бобок от колхозной кладовки недалеко живет, там, у кладовки-то, всегда зернеца натрушено, ну, а Стешкины-то куры... и курей-то шесть штук, туда зачастили. Оно хоть курица птица неразумная, а есть и ей надо. Так он первым делом, председатель-то наш новый, курей у ней пострелял... Такой уж хорек скопидомистый, приказал с колхозной фермы курей пригонять, зерно-то у кладовки подбирать, словно Стешка с детьми с какого другого государства пожаловала. Смех и грех... их гонют, а они не идут... Вот так и живем.

— Поеду я, Ефросинья Павловна.— Брюханов тяжело поднялся, помедлил.

Они не сказали больше друг другу ни слова, и Ефросинья захлопотала, собирая Аленке и Николаю в город гостинец; в который раз уже, оценивая деликатность этой молчаливой женщины, Брюханов, прощаясь, все приглашал приезжать и погостить у них в городе подольше и уже в машине, рассеянно и привычно вглядываясь в бегущую навстречу дорогу, продолжал вспоминать Ефросинью, особенно ее последние слова; он заставил себя почти насильно переключиться на другое, на самые неотложные дела, на тяжелую обстановку, сложившуюся в области да и в стране после жесточайшей засухи, и к нему постепенно вернулось привычное состояние собранности, как бы готовности к новым, любым неожиданностям.

На обратном пути он накоротке заглянул в Зежский райком; Вальцев, помня давний разнос, встретил его натянуто, держался вежливо и отчужденно, четко, по-военному, излагая самую суть, и Брюханов, слушая, думал о том, что с разворотом здесь, в Зежском районе, филиала моторного, дела начнутся большие, придется, видимо, укреплять районное руководство, Вальцев вряд ли потянет, за последние засушливые годы он как-то словно и сам подсох, ушел весь в себя, вон опять что-то о жалости говорит.

— Ладно, Геннадий Михайлович,— устало кивнул Брюханов,— думаю, пришла тебе пора перебираться в облисполком. Скажем, пока заместителем... а? Об-

ласть получше узнаешь. Как прикажешь расценивать твое молчание?

— Мне как скажет партия...

— Ну-ну,— поморщился Брюханов.— Свой голос у тебя когда-нибудь прорежется?

— Надо подумать, Тихон Иванович,— поглядывая теперь с некоторым интересом и оживлением, размораживаясь, Вальцев достал папиросы.

— И еще, Геннадий Михайлович.— Брюханов взял у него папиросу, постукал мундштуком о ноготь.— В Густищах такой Дмитрий Волков есть, партизанский разведчик... Помнишь? Хорошо... Надо бы к нему присмотреться, поближе так, попристальнее. Сейчас он трактористом работает. Только и слышно: кадров не хватает, людей нет,— а если приглядеться получше? Растить кадры на месте надо, а вы туда этого Федюнина опять сунули... черт знает что, куда это годится?

— Просмотрел, Тихон Иванович,— согласился Вальцев.— А сейчас вроде бы неловко сразу снимать... может, думаю, притрется? И потом...— решившись, Вальцев поднял глаза, и Брюханов выжидающе молчал.— Потом, Тихон Иванович, вы отлично знаете, не в Федюнине дело.

— Знаю, Геннадий Михайлович, именно поэтому мы должны направлять в колхозы умных людей. А такого Федюнина там только черт наждаком притереть может.— Брюханов говорил спокойно, но, понимая, что Вальцев ждет более конкретных указаний, улыбнулся.— Впрочем, решай сам, всякие ведь курьезы в природе бывают, случается, и курица петухом закричит. В войну парень чудеса творил, я говорю о Волкове, неужели тогда легче было?

Оба прикурили от зажженной Вальцевым спички, и Брюханов, повернувшись к темному распахнутому окну и глядя на тусклый одинокий фонарь, слегка раскачивающийся под легким ветром и окруженный призрачной сферой ночной мошкары, налетевшей на свет, пытался понять, правильно ли он решил поступить с Вальцевым и даже уже предупредил его об этом.

— Люди давно спят,— словно удивился он, вслушиваясь в густой шорох сиреневых кустов под окном, она росла здесь махровая, крупная и была одной из зежских достопримечательностей.

— Часа через два светать начнет,— отозвался и Вальцев, думавший о словах Брюханова по поводу

своей новой работы и все прикидывавший, хорошо это или плохо, и слегка поежился от непривычной, как-то не замечаемой раньше тишины; что-то неприятное и враждебное почудилось ему за окнами.— Ночи короткие... с воробьиный нос.

9

Над русскими селами, начинавшими помаленьку отстраиваться, над теми же Густищами, над Зежском с его восстановленным в два с лишним года моторным заводом, над Холмском, над всей страной шли годы; подростки становились мужчинами, старики еще больше старились, в селах и городах родилось послевоенное поколение, отмеченное печатью особого рубежа; в оплодотворяющих землю теплых весенних дождях уже затаился стронций и повел свой невидимый безжалостный отсчет, уже копилась не предусмотренная никакими предвидениями и прогнозами лавина, и в каком-нибудь двух-трехлетнем малыше, весьма далеком от всех проблем и сложностей мира, нежданно-негаданно начинало говорить насильственно нарушенное звено установившихся за миллионы лет связей, и дети росли, неизгладимо меченные цивилизацией ядерного распада.

В Густищах, как и по всей стране, отсчет времени и событий велся теперь с весны сорок пятого, и хотя война и окончилась, с каждым новым годом все больше становилось вдов и сирот; умирали не только в госпиталях безнадежно изуродованные войной, умирали надежды и у живых; все меньше оставалось без вести пропавших и все больше официально-лаконичных похоронок доставлялось в заскорузлые от работы бабьи руки. Скупые строчки оседали на тихое и упорное хранение в женских сердцах, вместивших в себе войну полной и горькой мерой.

Как и во всяком селе со своим замкнутым кругом жизни, со своими традициями, привычками и укладом, с хорошо знакомыми друг другу от рождения и до смерти людьми (а память, переходя из поколения в поколение, цепко удерживала самые неожиданные подробности об отцах и дедах) и в Густищах создавалась своя летопись, хранившаяся именно в памяти старых людей. В ней было все: рождения и смерти, неурожаи и свадьбы, грустное и смешное,— одним словом, все то, что и составляет жизнь человеческую.

Несмотря на послевоенные тяготы, на невиданную засуху сорок шестого года, заставившую есть траву, павший скот, собак и кошек, у густищинцев случались и веселые события, и некоторые из них, особенно приключившееся с Нюркой Куделиной, густищинцы часто и с удовольствием вспоминали.

Так, в один из майских вечеров сорок пятого года Нюрка Куделина, дотемна прокопавшаяся в огороде (подсевала плохо проклюнувшиеся огурцы и сажала капусту), устало опустилась на скамеечку у входа в землянку; отдыхая от работы, сидела, прислушиваясь к густому гудению майских жуков. Распустив волосы, она стала не спеша расчесываться алюминиевым, выпиленным из осколка обшивки немецкого самолета гребешком, такие гребешки наловчились делать подростки со стариками, бойко торговали ими в Зежске на базаре.

Тянул теплый, густой ветерок, в молодом саду, посаженном накануне войны Фомой, смутно белели стволы яблонек; третьего дня Нюрка густо обмазала их мелом и теперь, довольная своей хозяйственностью и расторопностью, предаваясь всяким мечтаниям, оглядывала нарядные деревца. В лугах пробрызнули первые цветы, война кончилась, и скоро должны были начать возвращаться мужики домой, ясное дело, те, кому повезло и кто остался жить. «Вот и ее Фоме, может, повезло, хотя рано загадывать, но чует сердце: будет он скоро дома, шалопут,— думала Нюрка,— придет, ахнет... девки-то уже невесты; старшую, Танюху, хоть завтра замуж, только за кого теперь отдашь? Ни одного степенного парня, все больше зелень зеленая, на подросте, да ведь у тех и невесты еще с куклами забавляются. Может, вот из армии кто вернется, а? — размечталась Нюрка.— Танюха девка видная, гляди, не пропустит своей доли,— вздохнула Нюрка, суеверно останавливая себя.— Не годилось загадывать раньше времени, живая — и ладно, вон от сына больше года весточки нет, вот где беда горючая, ну как его и в живых-то больше нету?»

Часто-часто заморгав, Нюрка нахмурилась. «Раньше времени нечего в мать-сыру землю укладывать собственное дитя,— подумала она,— не к добру это». Отмахнувшись от непрошеных мыслей, Нюрка вспомнила про посылку и повеселела; вчера она получила от Фомы из Германии посылку с мылом, двадцать пахучих желтоватых кусков, плотно уложенных, все печатями вверх. Этакое немыслимое бо-

гатство привело ее в полнейшую растерянность, и она даже ночью просыпалась и начинала думать, какой у нее хозяйственный, стоящий мужик, вспоминала все самое хорошее с ним и, немножко стыдясь, волновалась. Все эти годы приходилось стирать, отбивая грязь золой с глиной, теперь же на нее свалился целый клад, не годится самим такое добро переводить, решила она, даже боязно думать. Себе пару кусочков оставить надо, приберечь, головы девкам и себе помыть пахучим-то мыльцем за столько лет, остальное на базар — дырок в хозяйстве хватает, не знаешь, какую прореху латать. Девки обносились до срамоты, исподнее бы купить...

Сидя в погожий майский вечер на скамеечке перед землянкой, Нюрка еще и еще раз все прикинула и рассчитала, и так как завтра было воскресенье, она с вечера отрядила старшую дочь в Зежск, строго-настрого наказав ей держать на виду по одному-единственному куску и просить за него по двести рублей и меньше, упаси бог, ста пятидесяти и не отдавать, как бы там ни ругались и зубы ни заговаривали, деньги же от всякой напасти прятать подале, наказывала она, куда бы никто не догадался сунуться.

Танюха, девка спокойная и на диво — ни в отца, ни в мать — красивая, слушала молчком, а наутро, едва заря прорезалась над слепненскими лесами, ушла с мылом в город; оставшиеся два куска Нюрка бережно замотала в тряпицу, засунула в сухое место.

Младшая, Верка, родившаяся вопреки желанию Фомы (хотел непременно второго сына), еще спала; Нюрка приготовила нехитрый завтрак и, когда окончательно развиднелось и пора было выходить на работу, выставила молоко и ноздреватый хлеб на видное место на столе, накрыв чистым полотенцем. Верка спала бесшумно, свернувшись калачиком; Нюрка набросила на нее старый ватник, притворила дверь и направилась к колхозному двору; еще с вечера бригадирша нарядила ее возить сеяльщикам зерно. Работа была хоть и тяжелая, но спокойная; запряги себе лошадь, нагрузи мешки и сиди покрикивай, раз-другой обернешься, а там и обед; можно и у себя на огороде покопаться, хорошо бы сегодня бурак посеять, вроде семена годные, начали проклевываться.

У поместья Микиты Бобка ее остановила Ольга-почтальонша.

— Теть Нюр! — звонко закричала она издали.— Погодь, тебе письмо от Фомы Алексеевича, вчера не успела разнесть.

Запыхавшись, почтальонша подбежала с сияющим молодым лицом, густо усеянным веснушками, всем своим видом показывая, что она сама рада до невозможности, если не больше Нюрки, то уж никак не меньше, и отдала письмо. Нюрка торопливо затянула платок; сколько ни получай писем, а все как внове, как в первый раз, сразу руки начинают млеть и в груди, у самого сердца, что-то жалко трепыхается, вот-вот порвется. Дождавшись, пока Нюрка развернет и начнет письмо, и убедившись, что ничего плохого в письме нет, Ольга-почтальонша побежала дальше со своей сумкой, а Нюрка принялась перечитывать озадачившее ее письмо вторично. После всяческих поклонов и наказов Фома со всей степенностью и обстоятельностью сообщал, что жив-здоров и что соскучился по Густищам окончательно, так, что в грудях ломота стоит, а по ночам черная тоска, и что ежели бы не устав и не старшина Федюк Андриян Тимофеевич, который, как домовой, все нутро у человека наскрость видит, так бы и убежал он из расположения части и пешком бы отправился в Густищи, на свое родное подворье, хоть за тыщу верст, хоть и больше. Промежду прочим Фома сообщал жене, что послал ей посылку с мылом и чтобы она то мыло не расходовала и дождалась бы его, Фомы, возвращения, а он сам тем мылом тогда и распорядится. А уж если ей приспичит крайняя нужда и захочет она обмыть тем душистым мылом грешное тело (в этом месте Нюрка фыркнула — неизвестно еще, у кого тело-то грешнее!), то чтобы взяла она один-единственный кусок и перед тем, как пустить его в дело, обязательно бы разрезала ниткой ровно напополам: так мыло дольше протянется и будет сберегаться лучше. Фома еще раз настойчиво повторил и даже подчеркнул жирной чертой, что «резать мыло непременно ниткой, тогда и крошек зря не будет». Нюрка даже присела на подвернувшееся кстати бревно, озадаченная руководящими указаниями мужа в таком сугубо бабьем деле, как обращение с мылом. «Еще чего,— фыркнула она со злостью,— черт кудлатый придумает, буду я беречь, пока он домой заявится, как же! Эк, жизнь прожил, до Германии добрался, а умом так и не превзошел малого ребенка,— распалялась

Нюрка все больше,— вздумал из Германии мылом на дому распоряжаться!»

Сунув письмо в карман сборчатой юбки, Нюрка с грозным и сердитым лицом отправилась дальше, продолжая на чем свет стоит костерить своего Фому Алексеевича, вспоминая все его прегрешения чуть ли не с младенческого возраста и даже то, что он трех лет от роду, как говорили ничего не забывающие старухи, был украден цыганами. Правда, и в самом младенчестве Фома оказался супротивного норову, день и ночь над табором стоял его рев, и цыгане посчитали, что именно его пребывание в таборе явилось причиной большого несчастья: в одну ночь пало от неведомой причины пятнадцать лучших лошадей. Так и вернули беспокойного мальца в Густищи, подкинув его с синим, в кулак от непрерывного надсадного крика, пупком в высокий бурьян у околицы.

Нюрка уже приближалась к конному двору, но сомнения потихоньку зашевелились в ней. «Экая беда,— вертелось у нее в голове,— письмо от мужика от начала до конца все про мыло, видать, неспроста, была здесь закавыка, а вот какая — угадай попробуй». Остановившись с какой-то неясной и тревожной догадкой, хотя ее в этот момент окликнула несколько раз от своего подворья Варечка Черная, она круто повернулась и ударила рысью домой. В избе, не присаживаясь после тяжелого бега, смахнула с полки кусок мыла, отхватила зубами от клубка суровую прочную нитку и с известной долей ехидства принялась перетирать ею сухое пахучее мыло.

— Черт кудлатый,— ворчала она, не замечая, что говорит вслух, и довольно громко.— Ишь чего напридумал, набрался у этих немок, видать, всякого шику, в самую что ни есть бабью срамоту лезет... Пахнет-то как стервозно, небось чтоб кобелей приманивать, аж в носу щекотно! Погоди, заявись домой, я уж тебя приголублю, черта кудлатого...

Нитка что-то дальше не шла, сколько ее ни дергала Нюрка, и тогда она взяла кусок и легко разломала в руках по тому месту, где нитка уже прошла больше, чем наполовину, поднесла ближе к глазам, рот у нее невольно открылся от неожиданности и изумления, она шумно перевела дух. В мыле тускло поблескивали небольшие, похожие на желудь наручные часики; с округлившимися глазами Нюрка опасливо выковырнула их

себе на ладонь ногтем, лицо ее приняло обиженное, детское выражение, но тут же брови ее взметнулись, жестко сдвинулись, рот сжался, она поняла, что произошло. Теперь дочка, поди, подходит к самому городу и через час-другой расторгует все мыло с начинкой из дорогих часов. «Вот так выполнила наказ мужа,— ахнула она, чувствуя, что лицо ее разом взмокло; она металась по землянке из угла в угол, отыскивая шаль,— ну, дела, ну, дела,— бестолково ахала она,—уж не таким дурнем оказался ее Фома, вот что наделала эта вертихвостка Олька Бобкова—письма сразу не отдала...»

Бессвязные, бесполезные мысли наскакивали в голове у Нюрки одна на другую, и все без толку, и она, словно подшибленная, натыкаясь на табуретки, сметая ведра и ухваты, чуть не сбила с ног вошедшую с улицы Верку и, рванувшись из последних сил, не обращая внимания на перепуганную дочку, вынеслась на улицу и, вызывая тщетное любопытство соседей и встречных, вихрем промчалась по селу и через несколько минут была далеко за околицей.

Первые три или четыре километра проскочила она одним духом; неслась по самой середине дороги, прижав локти к бокам, в правом боку кололо, щеки горели, теплый встречный ветер бил в лицо. Какой-то шум послышался Нюрке сзади, зло оглянувшись, она увидела догонявшую ее машину и вместо того, чтобы приостановиться и пропустить, почему-то еще прибавила ходу, и машина скоро отстала. Пожилой шофер, весело оскалившись, решил догнать резвую бабу, но его допотопная колымага была старая, латаная-перелатаная как снаружи, так и изнутри, и когда он попытался прибавить газу, мотор застрелял, зафыркал, зачмокал и потом издал такой жалобный, умирающий стон, что у шофера, привыкшего ко всему, полезли вверх брови. Хотя все то, что случилось с мотором, случалось неисчислимое множество раз и раньше, он на чем свет стоит принялся костерить разнесчастную бабу, по-прежнему упорно пылившую впереди него. Окончательно задохнувшись, мотор громко чихнул и умолк; машина еще прокатилась несколько метров по инерции, и шофер, посидев в кабине для успокоения, обреченно вздохнул, прихватил заводную ручку и выпрыгнул на дорогу. Еще раз подивившись резвости уже еле видимой впереди бабы, он принялся копаться в моторе, время от времени ожесто-

ченно вертя ручку, привычно и длинно при этом ругаясь и утирая обильный пот; вконец умаявшись, он свернул цигарку, закурил и, вслушиваясь в переливчатую, непрерывную песнь жаворонков, начал согласно кивать головой и прищелкивать.

— Дают, а! — восхищенно бормотал он.— Вот, язва тебе в печенку, а! Такая мелкая пичуга, ну что твой полковой оркестр!

Наконец мотор натужно прокашлялся в последний раз, задрожал и ровно и бесперебойно затарахтел; в его надрывном, высоком стрекоте шофер тотчас уловил слышимый только ему здоровый и безопасный звук, сразу повеселел, с преобразившимся, просветленным лицом послушал напоследок жаворонков и с облегчением поехал дальше; минут через двадцать впереди него опять замаячила бегущая все той же ровной, уверенной рысью Нюрка Куделина. Теперь шофер уже совершенно изумился, но, памятуя о недавнем своем поражении, ходу прибавлять не стал, а продолжал ехать неторопливым, спокойным манером, и некоторое время нельзя было понять, чей будет верх — машины или бабы; прошло пять, десять, пятнадцать минут, и шофер с растерянной ухмылкой полез в затылок. «Ну, баба, ну, сатана,— обругал он ее.— Язви тебя в печенку! Над прославленной советской техникой насмехается — и хоть бы хны, никакой особый отдел ей не брат, метет себе подолом!»

В предчувствии окончательного мужского своего посрамления шофер, едва дыша, тихонько нажал, чувствуя, что пот прошиб спину. «Догоню — прибью»,— решил шофер, с надеждой вслушиваясь в усилившийся рев мотора и убыстрившееся движение машины: бегущая впереди баба, все так же неутомимо и быстро мотая локтями, стала наконец медленно приближаться.

— Стой, баба, чертяка такая! — высунувшись из кабины, весело заорал шофер, когда до Нюрки оставалось метров двадцать, но так как она продолжала бежать не оглядываясь, он еще крикнул осевшим, построжавшим голосом, чтобы она свернула, и тут же вынужден был рвануть машину вбок; уже оказавшись впереди Нюрки и для порядка отъехав метров за двести, шофер выскочил из кабины и, останавливая, обхватил обеими руками вывернувшуюся из-за машины Нюрку; от сильного рывка он едва удержался на ногах; Нюрка, ворочая ничего не понимающими глазами, еще пыталась продолжать свой бег, дышала она глубоко и свободно.

— Ты, дурак глумной,— приступила она к шоферу,— лапы-то убери, ишь растопырил, я тебе птица домашняя, гусыня или курица? Ты по какому праву хватаешь?

— Не ори, родимая, давай подвезу,— предложил шофер, как-то не очень охотно отпуская могучие Нюркины плечи.— Гляжу, лупишь, вроде шестицилиндровый танковый у тебя под кофтой, сигналю — не слышишь, кричу — не слышишь, думаю, несчастье какое.

Приходя в себя и начиная постепенно понимать происходящее, Нюрка устремилась в кабину и утвердительно кивнула шоферу, не замечая, что он что-то чересчур плотно пристраивается к ее боку.

— Давай,— сказала она начальственным и нетерпеливым голосом и, поторапливая, увесисто толкнула его в бок локтем.

— Здорова же ты, мать! — еще раз восхитился шофер, поспешно отодвигаясь от нее, и тронул с места.— С тобой бы ни один рысак ноздря в ноздрю не вышел! Что стряслось-то?

— Пошел, пошел, идол! — прикрикнула Нюрка.— Антимонии не разводи, важное дело горит!

Нюрке все казалось, что машина движется медленно, и ее подмывало выпрыгнуть на дорогу и удариться в бег, до Зежска оставалось еще километров пять, и Нюрка, сжавшись от нетерпения, не отрывала глаз от медленно приближавшейся полуразрушенной колокольни; наконец машина остановилась на базарной площади. Нюрка, еще издали заметив в толпе привычный платок своей дочери, не в ту сторону рванула дверцу кабины; шофер, не без основания опасаясь, что от его машины останется груда железного лома, суетливо помог ей, и она, бесцеремонно расталкивая людей, понеслась по базарной площади. Захлопнув дверцу кабины, шофер с веселой и выжидающей улыбкой на курносом лице поспешил следом, любопытство его разгорелось до крайней степени; Нюрка же поспела как раз к тому времени, когда дочка рассчитывалась за предпоследний кусок мыла и какая-то высокая белая гражданка в кружевной шляпке уже аккуратно укладывала его в сумку. Не говоря ни слова, Нюрка коршуном выхватила мыло из чужих рук, и ошалевшая, перепуганная гражданка отшатнулась, сильно бледнея, захлопнула сумку.

— Отдай! Отдай! Отдай ей деньги! — приказала Нюрка дочери, в то же время лихорадочно ощупывая

узелок в ее руках.— Ахти мне, горюшко горькое, все разбазарила, два кусочка и осталось! Разнесчастная моя головушка! Чего ты на меня, бестолковая, уставилась? — крикнула она ничего не понимающей дочери.— Отдай деньги за мыло, самим нужно! Добралась дурища, рада и матку родную расторговать!

Почувствовав, что ей мешает что-то намертво стиснутое в ладони, Нюрка мельком глянула, сразу вспомнила и сунула в рот для большей сохранности дорогую вещицу, инстинктивно зажатую для верности до сих пор в руке, в то же время тщательно заматывая два оставшихся куска мыла в тряпицу; гражданка в кружевной шляпке, опомнившись, попыталась пробиться к Нюркиному сердцу и совести, попыталась подступиться к ней с уговорами, но лишь еще больше ее разбередила.

— Не отдам, непродажнее мыло, самим надо! — ожесточенно огрызнулась раздосадованная Нюрка и похолодела: тяжелый, гладкий комочек ерзнул во рту, скользнул в горло и неудержимо двинулся вниз: отчаянно вытаращив глаза, Нюрка попыталась приостановить это движение, но оно продолжалось своим законным путем и прекратилось только тогда, когда проглоченная вещица достигла положенного рубежа.

— Ахти мне,— шевельнула Нюрка побелевшими губами,— смертушка моя, подавилась насмерть, чтоб тебя там огнем припекло, черта кудлатого! — помянула она мужа недобрым словом и начала неудержимо раз за разом икать.— Ох, смертушка моя,— с трудом выталкивала она из себя в промежутках между приступами икоты,— простите, люди добрые, конец пришел... помираю... ни за что помираю...

У Танюхи, усиленно моргавшей от непонимания и неожиданности округлившимися, испуганными глазами, выступили слезы, народу вокруг становилось все больше; уже говорили, что у какой-то женщины украли деньги, располосовали бритвой так, что кишки вывалились, кто-то стал звать милиционера, но Нюрка, решив, что смерть что-то чересчур долго не приходит и что есть еще время предпринять что-нибудь, в сопровождении окончательно потерявшейся дочери и почетного эскорта жадных до зрелища зевак ринулась в больницу и через полчаса, прорвавшись через длинную очередь, уже стояла перед сухоньким Иваном Карловичем, с веселым ожиданием глядевшим на нее через треснутое пенсне.

— Так вы говорите, уважаемая, э-э-э, подавились?

— Доктор, родимый мой, часы проглотила... ох, доктор, помоги... смертушка пришла!

— Часы? Гм-м, любопытно, и какого размера?

— Какого? Вот! — Нюрка отмахнула половину ладони и, страдальчески сморщившись, протянула руку ближе к глазам доктора.

— Кусок изрядный.— Иван Карлович с профессиональным интересом прикинул ситуацию, в глазах за стеклами пенсне мелькнули лукавые искорки.— Как же это вас угораздило? — спросил он, неторопливо закатывая рукава халата.

— Ну, может, чуть меньше, с луковицу,— решительно уменьшила Нюрка размеры часов, пугаясь голых, неожиданно для сухонького тела доктора больших, сильных рук с широкими плоскими пальцами.

Установив наконец истинные размеры часов, Иван Карлович совсем развеселился и, больше чтобы успокоить перепуганную Нюрку, велел ей показать язык, помял живот, что Нюрка восприняла несколько игриво, и все в том же бодром расположении духа от крепкой, здоровой, сбитой на совесть женщины принялся мыть руки.

— Вы свободны, уважаемая, можете идти,— бросил он через плечо, вытирая руки полотенцем.— Часики через день-два получите обратно, разумеется, если будете внимательны. Следующий... Я же сказал, вы свободны, уважаемая.

— Доктор, доктор, значит, того? — сконфуженно замялась у дверей Нюрка, стеснительно, обеими руками оглаживая туго натянутую на груди кофточку.

— Ступай, ступай, крепче прежнего будешь,— весело кивнул ей на прощание Иван Карлович, даже несколько отдохнувший от однообразия утомительного многочасового приема.

Пожалуй, об этом происшествии в Густищах так бы никто и не узнал (Нюрка строго-настрого запретила дочери о случившемся даже поминать), если бы не Фома Куделин, заявившийся в августе месяце по демобилизации. Еще подходя к селу и желая явиться пред Нюркины очи в село в бодром, боевом состоянии духа, он долго сидел у берез, но как он ни крепился, это ему не удалось; вначале налетела на него жена, затем Верка

с Танюхой, ставшей уже совершенно невестой; Фома, обнимая их, счастливых, плачущих, не выдержал, отодвинул Нюрку, обессиленно припал к углу плечом, стиснув лицо руками, и плечи у него задергались.

— От Митяя так ничего и нет? — спросил он, справившись с собою, немного погодя у притихшей Нюрки, но та, еще не придя в себя от неожиданности, лишь немо кивнула.

— Ох, батяня, нет,— зачастила вместо нее Танька, с восхищением глядя на отца, на его грудь, поблескивающую медалями и орденом.— Митя так и не дал о себе весточки, видно...

— Чего, чего тебе там видно, стрекоза? — поспешил оборвать Фома, заметив, что жена страдальчески морщится и уже готова удариться в рев.— Ничего пока не видно... Сколько мы нашего брата освободили из-за колючей проволоки, не счесть! Сколько еще разбрелось по всяким там чужим Европам... Зато мы его к ногтю прижали вот так,— ожесточенно показал Фома.— Фашист теперь от сырой земли головы не подымает! — Фома, хотя и был по-прежнему жидковат, обхватил всех троих, жену и дочерей, стиснул.— Ах, родные вы мои лапушки! Какие вымахали! Жить теперь будем! До конца дней жить будем! Ну ладно, развязывайте мешок, я вам гостинца привез. Сердце чего-то подскочило... пойду по хозяйству пройдусь...

Закончив таким образом расчеты с войной, Фома обошел непривычное свое надворье, и пока жена с дочками ахала, рассматривая привезенные подарки, он, успокаиваясь, стал прикидывать, что нужно будет сделать уже завтра, а что можно отложить на недельку-другую; сильно истосковался он за долгие четыре года по привычной крестьянской работе. Ему немедля захотелось почему-то сходить к Соловьиному логу, где раньше, еще до колхозов, стояла его изба, где он родился и женился, захотелось посидеть над обрывом, послушать шум орешника; вздохнув, Фома достал сигареты, дорогую, отливающую перламутром зажигалку и закурил, чувствуя на себе восхищенный взгляд жены. Какая-то робость проглянула в Нюрке, Фома подошел, усмехнулся, снисходительно-ласково оглаживая ладонью крутые плечи жены, и она под его рукою вся вспыхнула и обмерла. Глаза у Фомы под поредевшим чубом были прежние, с прищуром, васильково-ласковые, правда, слегка начинавшие уж выгорать.

— Ох, Фома, Фома,— прошептала Нюрка, бессильно обмякая в его руках,— вот уж как во сне, неужто эта проклятая война в самом деле затухла?

— Затухла, Нюра, затухла,— поспешнее, чем надо бы, ответил Фома.— Сам тому первый свидетель. Сколько мы русской кровушки на этот пожар выхлестали... Ну ладно, давай присядем на бревнах, пусть девки похозяйствуют, а мы посидим... Ох, и вытерпел я мечтаний всяких: вот, думаю, вернусь, сядем с Нюркой, помолчим... больше ничего и не надо.

— Твоя правда, Фома, не надо...

Они опустились друг подле друга на какое-то подгнившее бревно, как когда-то в давней молодости на посиделках, затихли; солнце, еще хорошо гревшее, низилось; закрыв глаза, Нюрка прислонилась к мужу и, несмотря на то что была она его крупнее и выше ростом, чего Фома в молодости стеснялся и старался рядом с женой на людях не появляться, почувствовала сейчас себя беззащитной и слабой.

— Пришел, надо ж, я и думать боялась,— говорила она сквозь невольные счастливые слезы.— Людям одно говорю, а сама оглянусь тайком да поплюю с глазу... Значит, доля такая вышла — уцелеть и домой тебе возвернуться, а нам тебя дождаться.

— А Митяй? Двадцать лет, значит, всего и жить ему?

— Молчи, Фома, не надо, не накликай грех. Если бы никто не пришел, тогда что? Молчи, девки поднялись... одна другой лучше.

— Девки что, подойдет срок, только их увидишь,— вздохнул Фома.— Сынок-то, корень родовой, подрублен напрочь, нам с тобой мужика больше не взрастить.— Фома глянул искоса на руки жены, сплошь в крупных узловатых венах, переменил разговор: — Что, Нюра, хорошее я тебе мыло спроворил из вражеской Германии? — спросил он с довольной усмешкой.— Ну, чего молчишь?

— Ох, Фома,— сказала Нюрка, жалко моргая.— Продали мы то мыльце с Танюхой на базаре, письмецо-то запоздало...

Туго вскочив с бревна, Фома страдальчески сморщился и непонимающе уставился на жену; пожалуй, с такой скоростью прыгал он только с катушкой за спиной в первую попавшуюся рытвину или воронку, когда бежал через взлохмаченное взрывами открытое пространство, какой-то потаенной стороной сознания угадывая наиболее опасные, смертоносные места.

— Мыльце? Мыльце, говоришь? — крикнул Фома высоким, срывающимся фальцетом.— Это же золотое мыльце было!

— Фома, так ведь что делать, Фома... Почтальонша-то вертихвостка...

— Сразу хата тебе новая, корова, что хочешь! Тут тебе и вся мозга в бабе! Разве немка такое сделала бы? Хоть бы и запоздало письмо, она бы это мыло каждый кусок на четыре доли разделила, после на базар! — Фома сорвал с головы пилотку, хотел шмякнуть себе под ноги, но раздумал и в сильном волнении опять нахлобучил на голову.— Вот, вот! Ты там живот свой за них кладешь, в каждый вершок дух готов испустить, а они тут, курицы мокрые, такую несуразицу творят. Эка дурища, нигде такой дуры не сыскать за рубежом! Ни в Европах, ни в Америках. Подожди, подожди,— он внезапно взглянул на нее с подозрением.— Не брешешь, Нюр, а? Небось, какому инвалиду часики в зачет пошли? За всякие там разные бабьи дела, а? Чего уж...

— Ох, Фома, ты мое сердце не тревожь, растревожусь почем зря! — сказала Нюрка, вытирая мокрые глаза и пребывая еще в том состоянии размягченности, когда не хочется ни волноваться, ни спорить и когда приятно и необходимо подчиниться мужской силе.— Ладно уж, Фома, не знаю, как там разные немки чужие, а ты домой пришел, тебе дома со своими жить, хорошие они или плохие. Не по нраву — не на привязи, не теленок, хоть сей же час на все четыре стороны, теперь мы привычные. Насчет какого-то инвалида и говорить не буду, надо же, нагородил! Если сам в грязи, хоть других не марай. На вот, возьми, четыре штуки только и осталось из твоей дурацкой присылки. За остальное не знаю, кто спасибо сказал, разлетелись по белу свету.

Фома развернул узелок, невольно остерегаясь новой вспышки Нюркиного гнева; трое ладных швейцарских дамских часиков жирно поблескивали в его широкой ладони.

— Гм, вроде одни полинятые какие-то,— сказал наконец он раздумчиво.— Вроде, помнится, одинаковые были...

— Они и есть одинаковые,— согласно отозвалась Нюрка, по вполне понятной причине не собираясь рассказывать о том, какой неожиданный крюк в своей судьбе проделали эти потускневшие часики.— Что-то

у тебя вроде глаза застлало, Фома? Вон девки выглядывают уж который раз, по отцу соскучились, а тебе германского барахла жалко. Сгори оно пропадом...

— И то, Нюр! Провались они, эти часы! — смахнул Фома пилотку в каком-то жгучем, непереносном порыве счастья.— Я сейчас и эти расколочу к чертовой матери, да что мы, не проживем?

Нюрка едва успела перехватить руку мужа, решительно отобрала часы, завернула в тряпицу и сунула их подальше с глаз. Про себя она даже восхитилась его мужской удалью, но вслух решила проявить благоразумие.

— Чего зря добром-то швыряться? Что ж мы, ай глумные какие? — пожала она широкими плечами.— Пошли, пошли, там небось девки уж стол собрали... соседей позвали...

Фома одернул гимнастерку, весь подобрался, как при вызове к командиру, мельком вспоминая, как наткнулся, вьюном переползая какие-то развалины, на эту коробку с часами и какую борьбу вынес сам с собою, придумывая для часиков такой замысловатый ход почти из-под самого Берлина до Густищ, в обход строгому военному закону насчет всякого трофейного имущества; запоздало раскаиваясь, осуждающе крякнул и пошел, слегка косолапя,— годы войны так и не смогли выправить его тяжеловатой крестьянской походки.

Подвыпив вечером, Фома с волнующими прибавками сам рассказал об истории с часами собравшимся односельчанам; те поохали, посмеялись и забыли, другие, более важные дела интересовали людей в первый послевоенный год, и только Варечка Черная, встречая Нюрку, всякий раз всплескивала руками; видано ли дело — мыло в город нести, его бы и в селе за милую душу разобрали, напоминала она, гляди, добро бы у своих людей и осталось. И всякий раз добавляла, что она сама бы первая пару кусочков с руками отхватила, ни за какими деньгами не постояла.

10

Пожалуй, самым трудным было для густищинцев лето сорок шестого года. Словно до конца испытывая выносливость человеческой породы, на землю, изрытую окопами и воронками, опутанную сотнями километров

проволочных заграждений и нескончаемыми минными полями, обрушилась невиданная засуха; уже к концу мая начали выгорать травы и посевы, в начале же июня рожь, едва-едва успевшую до времени выметнуть чахлый колос, перехватило мертвенной блеклостью у корня, и через несколько дней бесплодный, так и не набравший двух-трех зерен колос зачах, пусто заполоскался под знойными суховеями над потрескавшейся на метр в глубину землей. К концу июня даже в низинах и на болотах стали буреть, сохнуть и выгорать травы; зной изнурял птицу, скотину и людей, даже тракторные плуги не выдерживали, рвала их затвердевшая в камень земля; много повидавшие старики первыми почувствовали призрак голода, нового тяжелого лихолетья. Дед Макар, самый старый в Густищах, всерьез засобирался теперь умирать и трижды ходил к председателю насчет досок себе на гроб; он хотел, чтобы доски были непременно сосновые, легкие, душистые, чтобы они не давили на дыхание и на грудину, со стариковской обстоятельностью пояснил дед Макар; замотанный сверх всякой меры засухой и всяческими другими неурядицами, Куликов ошалело моргал на деда Макара, выслушивая его неразборчивые, длинные рассуждения в похвалу душистой сосновой доске.

— Сделаем, дед Макар,— кивал он, думая совершенно о другом.— Достанем сосновых, хоть в два ряда домовину сколотим. Иди, не беспокойся, топай, пока силы имеются...

— В два-то оно ни к чему, Тимош,— не обижаясь на бестолковость Куликова, терпеливо разъяснял дед Макар,— лишняя тяжесть. Ну, когда же, Тимош, а? — спрашивал он.

— Чего?

— Доски-то, доски подвезешь али как? Будут наготове, оно покойнее душе.

— Ох, дед, что ты заладил? — колюче глядел на него Куликов.— Мозги, что ль, у тебя от жары пересохли? На той неделе подвезем... много ли досок надо? Так, одни разговоры, нашел чем головы забивать.

— Много-немного, а бог позовет, не мыт, не чесан...

— Подвезу, дед, раз говорю, значит, сделаю,— отмахивался от него Куликов.

Бормоча что-то себе в бороду, дед Макар уходил, постукивая высокой палкой в закаменевшую землю; беспощадное солнце жалило его простоволосую голову,

и когда он попадал в знойный, злой ветер, рвущий мягкие, выбеленные временем волосы, он и сам словно медленно сквозил в солнечном неистовстве какой-то неясной, размытой тенью посреди села, среди редко-редко кое-где забелевших после войны срубов. Дед Макар шел недовольный председателем, но вскоре и это его недовольство, и забота о досках отодвигались; деду Макару начинало казаться, что идет он уже давно, идет бесконечно и никак не может остановиться, дорога тянула его куда-то, тянула, и он, даже приплетаясь на место и долго, хлопотливо устраиваясь отдохнуть, тяжело, всем телом навалившись на палку, словно продолжал все так же трудно двигаться по слепящей пустынной дороге, она все текла и текла, засасывая, вовлекая его в свое движение, и он с удовольствием подчинялся ему и слушался только его, забывая о сгоревших хлебах, о родных — его уже не интересовали такие мелочи.

Зато другие в Густищах, связанные с жизнью прочно, не могли думать больше ни о чем, кроме засухи; вычерпывая колодцы до грязи, поливали гряды на огородах, таскали воду из неотвратимо пересыхавшей речки и каждый раз ложились спать с тоской о дожде; некоторым снились грозы, они ошалело вскакивали; их встречало все такое же бесстрастное, в звездах, не остывавшее за ночь небо. Всякий относился к бедствию по-своему; Варечка Черная, например, стала не в меру набожной, и, когда картошка в огороде, не успев выбросить цвет, начала чахнуть, желтеть и пропадать, она совсем пала духом. Нужно было что-то делать, но что — она не знала, и мужик стал последнее время совсем чужой; Варечка сердцем угадывала, что дело тут не в погоде, а в гладкотелой вражине Настьке Плющихиной, к ней, на беду, так и не вернулся муж с войны. Конечно, никакая не засуха, не догоравший огород тут виной, а Настасья Плющихина, может, и бегал к ней тайком Володька-то, старый блудня. Обращая к богу просьбы о дожде, Варечка поэтому непременно добавляла смиренное прошение о наставлении «свихнувшегося на старости лет раба божия Володимира на путь праведный и безгрешный», а как-то, выбрав время, сбегала в Зежск к монашкам, выпросила у них за два десятка яиц специальную «отвратную» молитву и, выучив ее, с тоской и подобающим усердием бормотала дважды в день. Как-то ранним утром спасительная мысль осенила ее. Варечка стояла в саду, заря, кроваво-жаркая, опять

на сухость, охватывала Слепненские леса; у колодца уже звенели ведра, бабы старались пораньше запастись водой, пока ее оставалось вдоволь и она была сравнительно чистая. Осуждая людскую жадность, Варечка поджала губы, с тщанием перекрестилась на зарю и окаменела: прямо перед нею в горящем небе, у самого его края, над лесом, вначале туманно, затем все яснее и яснее прорезался строгий и чистый лик, и Варечка тотчас *узнала его.* «Веры, веры у людей не стало, оттого и кара моя»,— отчетливо отдалось в сердце у Варечки; запоздало шлепнувшись на колени, оглушенная и ослепленная, она принялась усиленно креститься и кланяться, прижимаясь лбом к твердой иссохшей земле; благость окончательно сморила ее. Когда наконец, утирая слезы умиления и счастья, Варечка открыла глаза, огненно сияя, над лесом уже повисло жгучее солнце. Собираясь с духом и размышляя, к чему бы ей дан этот знак и как теперь жить дальше, она почувствовала в себе какой-то перелом; что-то важное она должна была совершить, что-то такое, чего никто не мог. И даже муж и все опасения насчет него сразу отодвинулись в сторону, и спать она с этого дня стала отдельно, а когда муж выразил законное недовольство, сурово выговорила ему, чтобы он и думать не мог, что она на весь год дала такой обет богу и не отступится, хоть режь ее на мелкие кусочки.

— Эк бабу-то распатронило,— озадачился Володька Рыжий, приподнявшись в кровати и наблюдая, как Варечка, забрав подушку, стала ладить себе постель на лавке под окном.— Ты что, Варвара, дурману какого хватила?

Поджав губы, Варечка тихонько, не говоря ни слова, улеглась, натянула на себя прохладную дерюжку. С той поры и пошло, все помыслы, раз и родной мужик не хотел ее понимать, она окончательно обратила к всевышнему и продолжала стоять на своем. Еще раз попытавшись проявить свою мужскую власть, уже более настойчиво, Володька Рыжий встретил каменное упорство, не в шутку теперь озлившее и его самого. «Каждый сходит с ума по-своему»,— решил он не без основания и с той минуты, уже не таясь, стал оказывать Настасье самые определенные знаки внимания: по первому ее слову бросал любое дело и шел то поправить горожу, то выдолбить из осинового кругляша корытце поросенку; Настасья день ото дня становилась с ним

ласковее, и хотя оттягивала последнюю, самую раззолоченную для Володьки минуту, эта минута близилась; у Володьки Рыжего хищно раздувались по ночам ноздри. «Надо посмелее к ней приступать»,— подбадривал он себя, уже совершая в разгоряченном воображении все то, чего не осмеливался сделать въяве, опомнившись, чертыхался, уходил в сад несколько поостыть. А события между тем развивались своим чередом, как имеют способность разрастаться иногда совершенно в обратную сторону некоторые наши самые благие намерения и порывы; накануне надолго запомнившегося густищинцам дня Володька Рыжий, измучившись от своих жарких и грешных мыслей, заснул коротким сном уже на заре, Варечка же, привычно расположившаяся отдельно от мужа на лавке, об эту пору как раз открыла глаза и сразу поняла, что так страстно ожидаемый ею день пришел.

Тихонько встав и собравшись, она растопила времянку во дворе, приготовила нехитрый завтрак, все время думая о том, какой она верх возьмет сегодня над мужем и этой бесстыдной стервой Настькой Плющихиной. Забывшись, она даже перелила на сковородку лишку какого-то подозрительного жира из бутылки и тотчас, оглянувшись, тщательно спрятала ее в безопасное место. Не став дожидаться пробуждения мужа, она перед уходом на работу торопливо пожевала; еще с вечера бригадир занарядил ее боронить чахло всходившую и тут же желтевшую картошку вместо Дерюгиной Ефросиньи — та как раз приболела (последний год к ней часто привязывалась одышка, ломило голову), и с неохотой, правда, доверила свою корову Варечке, строго пообещав ей наведаться в поле, как только отпустит.

— Не обижай, соседка, напрасно, что ты,— успокоила ее Варечка Черная.— Не первый раз, знаю твою скотину...

— Ты ее придерживай, придерживай, Варечка,— еще раз попросила Ефросинья.— Она у меня, дура, ретивая, вся в хозяйку. Сколько ни навьючь, тянет.— Ефросинья ласково обмахнула с коровы липнувших мух, и Варечка Черная увела Милку, уже третий раз приносившую по весне лобастых, крепких бычков.

С самого утра было жарко, длинный ряд баб с коровами, волокущими за собой бороны, прополз в начинавшем разогреваться мареве из конца в конец поля несколько раз; высоко поднимавшаяся над полем пелена

тончайшей, пронизанной солнцем пыли, низко, до бровей, повязанные платком бабы, мотавшие рогами худые коровы, торчавшие у горизонта дочерна выжженные зноем крыши Густищ, яркий, ломивший глаза блеск, отражавшийся от каждого кома земли,— все это со стороны являло картину почти пророческую; казалось, еще немного и загремит труба.

С большим породистым подбрюдком, Милка вышагивала медленно, и сколько Варечка ни дергала ее за поводок, шагу не прибавляла и все так же важно, не спеша выбрасывала клешнястые свои копыта, шлепая ими в комковатую, пересохшую землю. Появились оводы, и коровы заволновались.

— Эй, бабы, пройдем разок — и отпрягать,— сказала Стешка Бобок.— Только без толку скотину мучаем, какого тут рожна зародит.

Варечка Черная, шедшая вслед за нею, согласно поддакнула, лицо ее хранило все то же благостное выражение терпеливого ожидания подвига; корова была уже не так величественно-медлительна и терпелива, как ее водительница, тем более что близко располагалось прохладное озеро и избавление от крылатых мучителей, облепивших ее потемневшие от пота спину и брюхо; они в кровь секли вымя, и корова, почуяв близость воды, навострила уши, заторопилась, Варечка едва теперь поспевала за нею.

Поле подходило к старому и глубокому Ожогову озеру, питаемому подземными родниками, сейчас, в небывалую засуху, сильно убавившемуся в берегах; здесь любили купаться густищинские парни и подростки, а особено отважные и задиристые на спор пытались донырнуть на середине озера до самого дна; говорили, что за все время это удавалось немногим, в том числе в последний раз лет двадцать назад молодому Захару Дерюгину. Говорят, что поднял он со дна, задыхаясь, выпучив глаза, горсть какой-то крупчатой, бурой земли, чуть подсохнув, она стала светиться непривычной зеленью; но за давностью лет и это уже стало забываться, и теперь сыновья Захара со своими сверстниками, подрастая, спорили о том, кто из них может достигнуть дна на середине озера, но, разумеется, Варечку Черную, занятую своими делами и помыслами, это нисколько не интересовало. Здесь-то и случилось то самое, что связало вместе Варечку Черную, корову Ефросиньи Милку, само озеро и ку-

павшихся в нем по своему обычаю густищинских ребят вместе с приемышем Дерюгиных — Егоркой.

Завидев воду, корова, доведенная до совершенного одичания жарой и слепнями, решительно воспротивилась дальнейшим планам Варечки Черной, в одну секунду выдернув из ее руки поводок, бесстыдно задрала хвост и невиданными, дикими прыжками бросилась к озеру, волоча за собой подпрыгивающую борону.

— Ой, порешится скотина, ой, бабы, смерть моя! — закричала похолодевшая от страха Варечка, бросаясь следом в твердом намерении если уж погибать, то с чужой скотиной вместе. В этот момент борона, бешено подпрыгивающая за несущейся галопом коровой, зацепилась за куст ивняка, постромки оборвались, освобожденная корова с маху ухнула в озеро и, блаженно выставив из воды уши и ноздри, поплыла к другому берегу, поводя круглыми, счастливыми глазами; как-то враз обессилев, Варечка села на землю и заплакала.

Другие бабы стали распрягать коров, пускали их пастись, сами бессильно валились в жидкую тень ивового куста, стаскивая платки, обмахивались ими.

— Господи, сегодня жар как-то особо взыграл, до нутра прожигает,— пожаловалась Стешка Бобок.

Подоспела через поле и Ефросинья, каким-то образом успевшая узнать о происшествии с коровой; Варечка Черная, сбиваясь, стала божиться, что сроду больше на чужой скотине не согласится работать; Ефросинья успокоила ее, подошла к своей корове, уже выбравшейся из воды и мирно пощипывающей кое-где сохранившуюся поблизости от воды травку. Завидев хозяйку, Милка призывно замычала, и Ефросинья, ласково оглаживая ей спину, освободила ее от остатков шлеи и вернулась к бабам.

Вызревшее, казалось бы, всего лишь в воловье око солнце, налитое немыслимой огненной тяжестью, источало на землю обморочный, синевато-ядовитый поток; укрывшиеся в жидкой тени прибрежного лозняка бабы собирались с силами, чтобы поскорее проскочить поле и разойтись по хатам; в это время Варечка Черная и почувствовала легкое шевеление воздуха. Не веря себе, она оглянулась, привстав от волнения на колени; над краем далекого леса нависло какое-то марево.

— Господи, туча, бабы, туча идет,— пропадающим голосом хотела и не смогла крикнуть Варечка Черная

и как была, так и поползла на коленях, протягивая руки навстречу теперь уже довольно сильному ветру, поднимавшемуся со стороны леса; бабы, не веря самим себе, двинулись вслед за Варечкой, кто крестясь, а кто и так просто, с завороженно ждущими глазами; странный стонущий звук родился в воздухе, словно сама земля взялась трещиной от горизонта и до горизонта, в небе что-то дрогнуло, подвигнулось.

— Дай! дай! дай! Яви, господи! Дай, всемогущий! Дай! — закричали бабы на разные голоса, невольно заражаясь отчаянной надеждой, спотыкаясь, падали, опять вскакивали и бежали, протягивая руки навстречу темневшему над лесом небу.

Ветер действительно стал усиливаться, у горизонта помутнело от поднимавшейся в воздух пыли; бабы, двигаясь к Соловьиному логу, были уже далеко в поле; все напряженнее наплывал сдержанный гул, и все шире тянул сухой, резкий ветер, хлопая широкими бабьими юбками.

— Боже милостивый! Всемогущий Спас Христос! — в экстазе шептала Варечка Черная с полными слез глазами.— Яви милость свою! Услыхал! Бабоньки! Услыхал! Быть дождю!

Дальнейшее произошло более чем неожиданно: порыв крутящегося ветра ударил, смял толпу, сбил ее в одну кучу, все оказались плотно притиснутыми друг к другу; небо враз потемнело, солнце, метнувшись, скрылось во мгле, раздался сильный, раскатистый грохот. Испуганные крики кинувшихся врассыпную женщин, нелепо подпрыгнувшая, словно отделившаяся от земли Варечка Черная в широко взметнувшейся юбке, всей тяжестью жилистого тела завалившаяся на нее Стешка Бобок, Ефросинья, упавшая на подвернувшуюся ногу,— все смешалось, и тотчас полоснул по земле новый ревущий порыв ветра; тучи песка и комья глины ввинтились тугим штопором в раскаленное небо и унеслись дальше, а люди еще долго приходили в себя, отплевываясь, протирая глаза, снова видели над собой все то же выжженное добела небо, яро-жгучее солнце, и лишь далеко к востоку стремительно уносился гигантский, разраставшийся в вышине смерч.

Помогая себе трясущимися руками, Варечка Черная кое-как поднялась, озираясь и вытряхивая из кофты песок.

— Горюшко родимое! — ахнула она.— Знамение видела! Знать, *ему* неугодно, знать, прогневали, ох, горюшко, грешное село, грех, грех!

Стешка Бобок в безнадежной досаде махнула на нее рукой и первая направилась к селу, за ней понуро потянулись и остальные.

Пришедший из душной солнечной тьмы, откуда-то из неведомых раскаленных пространств, сухой, бесплодный смерч лишь слегка задел краем Густищи, но оставил после себя долгую память. Он унесся, исчез, бесследно растаял в мареве выгоревшего неба, люди же не раз думали и гадали: э-э, да что это было? И было ли? — спросит умудренный жизнью мужик, еще недавно прошедший пол-Европы, вроде Ивана Емельянова или Фомы Куделина, задумчиво почесывая себе затылок, не зная, верить или нет бабьей болтовне.

— С вами только уши развесь,— огрызнулся как-то Митька-партизан на бабку Илюту, попытавшуюся втолковать ему все то, что произошло в этот день в Густищах, как божью кару.— Бабка Чертычиха или Варька Черная тебе за трояк любую судьбу нагадают.

Разумеется, бывает на свете такое, что тотчас убеждает всех и каждого; случается и такое, чему верится с трудом, и чем больше проходит времени, тем меньше верится, но как бы там ни было, в тот же час, когда на толпу работающих в поле баб налетел смерч, бабка Салтычиха, пересилив ломоту в пояснице, вышла в огород, надумав прикрыть догоравшие огурцы листьями лопуха. Хилые, жилистые плети были в пять-шесть немощных, убитых зноем листочков и еще больше опечалили бабку; в редком случае, если глаз натыкался на завязь, то вместо продолговатого, зеленого, в приятных, свежих пупырышках плода на крохотной ножке, скрученный чьей-то злобной силой, висел прожелклый, сморщенный уродец, готовый вот-вот совсем отпасть; по собственному опыту бабка Салтычиха знала, что любой из них огненно горек, лучше и не пробовать взять его в рот.

— Тьфу! Тьфу! — резонно возмутилась бабка.— Сколь воды-то зря вылила...

Ей вспомнилась еще одна недавняя обида: на прошлой неделе соседская вороватая кошка опрокинула у нее в сенях глечик с молоком, купленный у той же

соседки ради светлого праздника Троицы за дорогую цену. Сохраняя на лице язвительно-страдальческое выражение, Салтычиха с натужным усилием распрямила разогретую спину; она разморенно раздумывала, когда ей лучше идти к соседке ругаться за пропавшее молоко — сейчас или подождать вечера, чтобы хоть немного спала адская жара; солнце, превратившееся к тому часу в жалящую иглу, впивалось ей в затылок, прожигало насквозь ткань платка, жиденькие волосенки до самого черепа; зловещие зеленые круги поплыли перед глазами. Слова покаяния и молитвы не шли в затуманенную голову, и она уже решила поскорей бежать с огорода и спасаться от ярого солнца под крышей, на прохладном земляном полу. Но она не успела: что-то невидимое, плотное и громадное приподняло ее и отставило в сторону; крутящийся мощный обвал опалил зноем, разбойничьим свистом, забил глаза и уши песком; совершенно потеряв дар речи, Салтычиха бессильно всплеснула руками — ее небольшую ветхую мазанку играючи оторвала от земли какая-то бесовская сила, закружила в палящем мареве; бешеное колесо, удаляясь, в свою очередь, в одно мгновение рассыпалось, брызнуло кусками и осколками и умчалось. Бабка Салтычиха рта не успела раскрыть, все снова замерло в слепящем мареве, точно ничего и не было.

— Караул! Люди добрые, ой, держите, родимые, ой, держите! Хата улетела! — заголосила бабка Салтычиха, потерянно бегая по огороду, бестолково тычась из конца в конец и сгребая в кучу разбросанные обломки своей хаты, не в силах оторвать глаз от места, на котором только что стояла ее мазанка, а теперь одиноко торчала печь без трубы; в это время что-то со свистом пронеслось мимо Салтычихи, обдав ее жаркой волной и, надтреснуто, совсем по-живому крякнув, ударилось в землю. Присмотревшись, бабка Салтычиха охнула и попятилась: невесть откуда и как свалился ей под ноги до малейшей царапины знакомый рундучок, в нем она по обычаю хранила свое *смертёльное*; ударившись о землю углом, рундучок перекосился, замочек, навешенный на нем бабкой Салтычихой так просто, ради приличия, тихонько раскачивался в петлях, и Салтычиха, завороженно глядя на него, икнула раз и другой, внутри у нее дрогнуло, и жесткая судорога, перехватившая было горло, отпустила; подступили старческие обильные слезы.

— Знак, знак божий,— жевала бабка воздух беззубым ртом, не в силах собрать воедино расколовшийся на куски привычный мир и порядок; она боязливо обошла собственный рундучок, выбралась через поваленный плетень на улицу; ноги сами понесли ее к подруге, куме Чертычихе, затем подряд из избы в избу, и только перед вечером, окончательно умаявшись, она, обойдя все село, попросилась, натолкнувшись на возвращавшуюся с работы Варечку Черную, заночевать у нее; уже начинало темнеть, духота усилилась, жаром несло от земли, от стен, от трав и деревьев с мягкими, бессильно обвисшими листьями. Варечка, проведя бабку Салтычиху в избу, тотчас почувствовала неладное: несмотря на видимый порядок, чего-то привычного не хватало, она зажгла лампу, вполуха слушая несвязный бабкин рассказ про улетевшую хату, достала из печи и налила в глиняную миску перетомившегося супа, отрезала хлеба.

— Поешь, поешь, бабушка, ночуй, горемычная, места не пролежишь,— присматриваясь кругом, Варечка по-прежнему старалась понять, чего недостает в избе. Ведра стояли пустые; оставив Салтычиху дохлебывать варево, Варечка пошла к колодцу и там, дожидаясь своей очереди, стояла в сторонке молча. После недавних потрясений она никак не могла опомниться, казалось, что в мире все что-то не так.

Пришла, позванивая ведрами, Ефросинья, сразу отозвала Варечку в сторону.

— Не хотелось мне говорить об этом, соседка, обещалась... Ты на меня сердца не держи,— глянула себе под ноги Ефросинья.— Дело такое, Володька твой заходил перед вечером. Слышь, говорит, передай, дескать, Варваре Кузьминичне, ухожу к Настасье, совсем ухожу. Такие вот чудеса со мной, пусть, дескать, и не гонится, забудет напрочь. Куда же ты, говорю, навострился-то на старости лет, дурак беспутный,— а он ржет. Ничего, говорит, у старого козла рога крепче. Тьфу! Тьфу!

Кто-то еще подошел к колодцу, заговорил с Ефросиньей, Варечка Черная видела знакомое лицо, но никак не могла вспомнить, кто это; она вернулась домой с пустыми ведрами, теперь уже совсем оглушенная, бессильно опустилась на лавку у порога; у нее даже не было сейчас той горестной, взрывчатой бабьей обиды на мужа, что заставляет кричать, ругаться, выть на весь мир, что-то более глубокое и сильное владело ею, внут-

ренне она уже была готова и к такому исходу; она даже чувствовала умиление оттого, что так горько и несправедливо обижена, и у нее появилось неясное, потом окрепшее чувство победы над собой и над всей жизнью; бабка Салтычиха как раз доела суп, что-то спросила у Варечки, но та не расслышала и тяжко встала.

— Для упокоения духа... винца бы каплю испить... Срам и грех в мире, Варвара,— глухо, разорванно доносился до слуха Варечки охающий голос Салтычихи; она вышла в сени, достала запрятанную в рухляди бутылку с самогоном, поставила на стол.

Бабка Салтычиха вздохнула покорно, вынула затычку, понюхала ее, Варечка принесла алюминиевую немецкую кружку, на ходу тщательно вытирая ее изнутри краем расшитого рушника. Сморщив и без того сморщенное старостью лицо, Салтычиха, еще раз понюхав из бутылки, налила, выпила и принялась энергично перетирать беззубыми деснами хлеб с солью, но видение уносившейся ввысь и на глазах развалившейся в небе мазанки не отпускало ее.

Ночью, лежа в разных углах, они никак не могли заснуть; Варечка перечитала все известные ей молитвы и в припадке душевной размягченности даже попросила бога оказать милость грешному рабу его Володимиру Григорьеву; Салтычиха ворочалась и вздыхала, а когда накатывалась дрема, стонала и даже вскрикивала во сне, вскакивала, ошарашенно пялилась в темноту, горестно вслушиваясь в монотонное жужжание беспокойной одинокой мухи, с непостижимой быстротой метавшейся из угла в угол.

— Бабушка,— раздался неожиданно голос Варечки,— скажи, родимая, есть бог?

— Срамница, Варвара, опамятуйся! Грех-то, грех, ты не спрашивай, ты веруй! Веруй! — после паузы с некоторым изумлением поспешно вскинулась Салтычиха.— Бесы тебя одолевают, Варвара! Веруй!

— Бесы, бабушка, каюсь,— покорным шепотом согласилась Варечка Черная.

— Тебе годов-то сколько, Варвара? — строго спросила Салтычиха, окончательно просыпаясь.— Поди, под пятьдесят накатывает?

— Уж сорок шесть, бабушка, отзвенело, ох, много, много.

— Много,— заверила Салтычиха, беспокойно ворочаясь.— Много! Стара, стара-то для бесов! Веруй!

— Господи, помилуй,— еле слышно прошептала Варечка Черная, и под потолком опять бестолково билась, толкалась одинокая муха.

Салтычиха еще что-то пробормотала и наконец провалилась в спасительный душный сон, а Варечка все никак не могла сомкнуть глаз; стараясь избавиться от тоскливых мыслей, тихонько оделась, вышла на улицу. В избе было душно, но и на улице жар шел от неостывшей земли, выгоревшие, рыжие звезды искристым разливом застилали небо, и что-то приоткрылось в душе у Варвары. «Чудно, чудно устроено небо»,— подумала она, наполняясь тихим удивлением перед красотой распахнутого над ее головой неведомого пространства.

В час, когда на женщин в поле возле озера налетел невиданной силы смерч, попутно разметавший в щепы и мазанку бабки Салтычихи, деревенская дурочка Феклуша бродила по опушке старого дубового леса вокруг большого, чуть ли не в рост человека, конусообразного муравейника; здесь она любила бывать особенно часто, пропадала неделями, неизвестно чем питаясь, мелькая по ночам скользящей тенью в затемненных местах; в полнолуние же она забиралась на самую вершину залитого холодными лунными волнами холма, тут же, неподалеку от леса, неподвижно застывая с поднятым к небу лицом, погруженным во власть лунного сияния. Было в этом какое-то пугающее таинство, и, видя Феклушу в таком состоянии, никто из густищинцев ни разу не потревожил ее, а старался тихонько обойти ее и незаметно скрыться. Размеренный ритм и деловитая суета крупных лесных рыжих муравьев словно завораживали ее, и она могла часами широко распахнутыми глазами немигающе следить за беспорядочными, казалось бы, хаотическими движениями проворных насекомых, но в тот день они были особенно оживлены, их жилище словно было покрыто живой, тусклой, непрерывно шевелящейся корой. Происходило что-то необычное: из глубин муравейника, растекаясь по земле, выбивались все новые и новые ржавые потоки; стройные полчища непрерывной широкой лентой отделялись от муравейника и уползали в сторону леса в строго определенном порядке; Феклуша зачарованно сделала несколько робких, неслышных шагов в том же направлении; какое-то

смутное воспоминание, неясное желание исчезнуть в прохладной сумеречности леса мелькнуло в слабом, чутком мозгу Феклуши и тотчас исчезло. Пересекая все препятствия, пни, валежины, кочки, полчища муравьев по-прежнему текли в глубину леса; Феклуша присела на корточки, засмеялась и, преграждая путь насекомым, погрузила голую по локоть руку, тотчас густо покрывшуюся насекомыми, в их движущуюся волну, не задерживаясь, они переползали через руку и неспешно, неотвратимо продолжали двигаться дальше в известном только им направлении. Феклуша чувствовала кожей легкое щекотание, но ни одно из этих воинственных насекомых не укусило ее, как будто не живая рука была на их пути, а обвалившийся сверху отмерший древесный сук; Феклуша еще раз бездумно засмеялась, встала и легким, быстрым движением стряхнула с руки муравьев. И в тот же момент глаза ее испуганно метнулись; тугая, свистящая, горячая волна ударила в нее и отшвырнула в сторону; деревья заплясали перед глазами, раздался оглушительный треск ломавшихся вершин, и сразу стихло, лишь где-то еще продолжали падать, с треском обламывая сучья, покалеченные деревья.

Протирая глаза, Феклуша подхватилась с земли, метнулась туда-обратно, с недоумением разглядывая преобразившийся лес, но особенно ее озадачило то, что дом рыжих муравьев бесследно исчез, словно его никогда и не было, Феклуша даже не могла определить того места, где он раньше находился; напуганная этим обстоятельством больше всего остального, она долго и бесплодно отыскивала исчезнувший муравейник, даже не подозревая, что сумасшедшей силы смерч безжалостной метлой прошелся по этой части леса, и там, где он прошелся, даже деревья стояли голые, с начисто сорванной листвой. Муравейник постигла та же печальная участь: едва коснувшись, смерч втянул его в себя вместе с бесчисленными его настоящими и будущими жителями и разнес по огромному пространству в несколько сот, а может быть, и тысяч километров, просыпав редким дождем над пустынной местностью, и по проселочным дорогам, и даже на привокзальной площади далекой железнодорожной станции, к удивлению и беспокойству ожидавших пригородного поезда пассажиров. Но, видимо, какая-то деятельная часть муравьиного населения все-таки уцелела, потому

что на другое лето, когда уже поднимали пары, Феклуша опять наткнулась на муравейник в том же самом месте, и глаза ее радостно заблестели; муравейник был гораздо меньше прежнего, но Феклуша этого не заметила; постояв над ним с оживившимися, радостно-бессмысленными глазами, она повернулась, задумчиво вышла в поле и тотчас шарахнулась было назад, оказавшись лицом к лицу с чумазым парнем лет двадцати пяти, трактористом Кешкой Алдониным; он появился в Густищах с полгода назад, как говорили, откуда-то из-под Смоленска; в войну у него была под корень уничтожена не только вся родня, но и деревня, отчего, по мнению густищинцев, стал он малость тронутый головой и постоянно чудил, хоть тракторист и работник был первостатейный, на все руки мастер.

Алдонин, давно уже знавший о Феклуше, видел ее всего раз или два издали; заметив мгновенный испуг у нее в лице, он тотчас замер, тихо и открыто улыбнулся ей, и она, помедлив, осторожно подошла к нему, присмотрелась с пристальным детским любопытством, затем потрогала нагретый солнцем, отчего-то забарахливший, с заглохшим мотором трактор, прошлась вдоль глубокого отвала пахоты, вернулась назад к Алдонину, присела на траву. Алдонин подождал и опустился рядом с нею.

— Любишь теплые-то деньки, Феклуша? — поинтересовался он.— Как жизнь молодая идет?

— Идет, идет,— неопределенно повторила Феклуша, срывая былку давно выгоревшего на солнце лесного чеснока с пустой семенной головкой.

— Эх, Феклуша, Феклуша,— тая в глазах плутоватый огонек, опять заговорил Алдонин, обрадованный появлением рядом хоть какой-нибудь да живой души,— ходишь ты, ходишь, а зачем ты ходишь? Зачем ты живешь-то на свете? Вот и не знаешь, молчишь... Давай за меня замуж, что ли, мы дом построим, детей штук пять заведем... запикают вокруг тебя цыплятками, пушистенькие, белоголовые... А, Феклуша, давай я к тебе хоть завтра сватов зашлю! — Дурачась, Алдонин опрокинулся на спину, и солнце жарко плеснуло ему в лицо; он зажмурился, сорвал жесткий стебелек овсюга, сунул его в рот, перекусил острыми зубами и выплюнул.— Еще будет у нас коза, на базаре купим. Понимаешь, с нее налог меньше, привяжем ее к плетню, в лопухи,— корма ей больше не надо, только знай дои да пей мо-

лочко. А то на ракиту посадим, будет листья объедать. Феклуша, ты козу-то умеешь доить?

Феклуша по-птичьи настороженно оглядела вольготно раскинувшееся по земле ладное тело тракториста, и смутная тень побежала у нее по лицу. Что-то неясное вспомнилось ей; затем она качнулась в сторону и, слабо вскрикнув, бросилась бежать. Алдонин сел, захлопал глазами ей вслед.

— Эй, Феклуша! Феклуша! — крикнул он, но она не оглянулась, лишь прибавила шагу.— Завтра сватов жди! — крикнул он вслед и опять, разморенно опрокинувшись навзничь, долго и беспричинно хохотал, затем ему стало неловко оттого, что он нехотя, от нашедшей на него дурной резвости, напугал беззащитного человека, а все из-за того, что нужно было не откладывая решать важное дело в своей жизни, и что он об этом не забывал ни днем ни ночью, и что именно сегодня вечером это дело должно было решиться.

11

Фома Куделин сидел во главе стола и, изредка оглядывая дочерей и жену, ужинавших вместе с ним, хрустел свежим огурцом и время от времени с азартом принимался ругать председателя колхоза, городского чужака Федюнина, залезшего сегодня на дерево у всех на глазах от рассвирепевшего колхозного бугая Ветерка, когда на пороге неожиданно появился Кешка Алдонин в новом, хоть и простеньком, костюме. Он стащил с головы фуражку, и все увидели его как-то особо тщательно зачесанный волнистый чуб.

— Здрасьте, люди добрые,— тряхнул Алдонин головой, и Фома с набитым ртом ответно кивнул, заморгал на неожиданного гостя; Нюрка же, до которой успели дойти кое-какие слухи, выскочила из-за стола, пододвинула еще одну табуретку, метнула быстрый взгляд на мгновенно зардевшуюся, низко опустившую голову старшую дочь, затем опять на Алдонина.

— Проходи, Кеша, проходи, как раз и повечеряешь,— неожиданно почти запела она незнакомо мягким голосом, такого Фома у нее в жизни не слышал; у него от невольного изумления даже брови разошлись чуть ли не к самым ушам.— Картошечка свежая, огурчики... Вера, доченька,— приказала Нюрка, но все тем же

елейным, мягким голосом,— достань-ка в кладовке сальца, выбери кусочек с мясцом, погляди там на самом низу в кадушке... Ты чего, отец? — повернулась она к мужу, окончательно ошалевшему от такой непонятной жениной щедрости.— Зови гостя за стол, что ты дубовым пнем-то застыл?

И это, сказанное в прежнем ласковом тоне, прозвучало почти приятно, хотя уже с ноткой строгости; Верка подхватилась, любопытно-насмешливо глянула на Алдонина, боком проскользнула мимо него в дверь, и только тут успевший проглотить почти не разжеванный кусок огурца, отчего долго и трудно пришлось двигать жилистой шеей, Фома приподнялся из-за стола, неловко замахал рукой, словно загребая воздух к себе.

— Проходи, проходи, Кеш,— заторопил он.— Садись, поставь ему, мать, миску-то...

В два шага оказавшись у стола, Алдонин извлек из оттопыренных карманов две бутылки водки, шлепнул одну за другой на стол; Танюха, сидевшая до сих пор недвижно, с низко опущенной головой, ни на кого не глядя, выбралась из-за стола и выскочила в сени.

— Эх-хе-хе-хе! — протянул Фома, только теперь начиная понимать суть происходящего, и любовно щелкнул ногтем по горлышку тускло блестевшей бутылки.— Ничего! Ничего! Дело законное! Житейское дело! Божеское дело! Природа! Ну, давай, мать, стаканы, давай!

На столе появились спешно нарезанное крупными кусками сало, хлеб, зашипела свежезажаренная яичница; сковырнув ногтем пробку с бутылки, Фома, зорко щуря глаза и наклоняя голову, любовно разлил водку по стаканам; девок не было, приносившая сало и жарившая яичницу Нюрка, примостившись с краю стола, со смутным опасением украдкой приглядывалась к Алдонину, так как в Густищах он давно слыл человеком с чудинкой и никто не мог бы сказать, что он выкинет через минуту; она никак не могла поверить всерьез, что Алдонин пришел свататься, хотя давно знала, что Танюху с самой весны не раз видели с ним на гулянках, да и приходила она домой чуть ли не к третьим петухам, хотя и сама она, Нюрка, и Фома не раз грозились выдрать ей бесстыжие космы и ославить на все село. А с некоторого времени цепкий по-бабьи Нюркин глаз стал подмечать, что, несмотря на скудный харч, старшая дочь вроде бы день ото дня наливается полнотой, и Нюрка уже не однажды намекала дочери на это; та все

отделывалась шуточками, а последний раз, когда Нюрка вновь сказала, что, мол, тебя, Танюха, распирает, как на дрожжах, дочка зло и бестолково закричала, и Нюрка, отшатнувшись, лишь оторопело замахала руками...

Обо всем об этом и думала Нюрка, подкладывая Алдонину куски получше и уже проникаясь к этому чужому, непонятному парню родственной хворобой; уже она решила, что Алдонин из себя хорош, и лицо чистое, и зубы белые, и глаз веселый, хоть и плутовски подчас блестит, и телом-то вышел хоть куда, плечистый, длинноногий.

Фома, давно ёрзавший по лавке от нетерпения, поднял стакан.

— Берите, берите,— пригласил он остальных.— Со здоровьицем! Дай-то таких гостей почаще! Природа!

Чокнулись, Алдонин остро, со смешком, глянул в глаза Фомы, тоже пожелал здоровья да прибытку, и все выпили. Стесняясь и не зная, как приступить к нужному делу, Алдонин подковырнул вилкой кусок сала с проступившим на нем налетом старой соли, пожевал.

— Ешь, ешь, Кешенька,— потчевала его Нюрка ласково, не обращая никакого внимания на Фому, пытавшегося что-то сказать; наоборот, Нюрка все время останавливала мужа, но Фома, управившись с закуской и наливая в стаканы снова, из второй бутылки, которую он как-то незаметно для всех распечатал, в ответ на новый ласковый, но твердый окрик жены неожиданно засопел.

— Цыц, баба! — повысил он голос.— Тут тебе не бабьи посиделки, что языком-то мелешь! Тут серьезные мущинские разговоры! Можно сказать, дело государственное решается! Природа!

— Замолол! С первого-то разу вкось дурака старого повело,— с досадой сказала Нюрка с извиняющейся улыбкой на лице, обращенной явно не к мужу, а к Алдонину.

Все так же весело поблескивая глазами, поглядывая то на Фому, то на Нюрку и словно явно к чему-то все время прислушиваясь, Алдонин положил руки на стол, пошевелил пальцами.

— Пришел я к вам, Фома Алексеевич и Анна Дормидоновна, вот по какому делу,— начал он, и кожа на скулах у него зарозовела.— С вашей дочерью Татьяной Фомишной случилась у нас большая любовь... пришел я к вам свататься. Хотим мы построить с Татьяной

Фомишной совместную жизнь на законных порядках... Прошу я вас, Фома Алексеевич и Анна Дормидоновна, отдать за меня Татьяну Фомишну... вот и все мое к вам дело...

Охмелевший уже несколько Фома с явным удовольствием, даже слегка полуоткрыв рот, слушал непривычно вежливую и складную речь Алдонина, почтительно именовавшего все его семейство по имени-отчеству, а Нюрка, радостно всхлипывая, кивала, то и дело вытирая глаза концом платка.

— Кешенька, милый ты мой, дорогой,— справилась она наконец со своим волнением.— Мы что ж... да мы... коль промеж вас все оговорено, то мы куда ж...

— Ну, мать, дожили! — подал голос и Фома.— Дочки-то, а... вон уж как! А что? Пора! Девка, она товар такой, его на базар лучше недозрелым везти, а то кто же потом, когда киселем возьмется, глянет? Ну, Кеша,— протянул руку через стол Фома,— вот тебе мое отцовское согласие.

— Фома, Фома Алексеевич, постой ты, охломон некрещеный! — запричитала Нюрка, останавливая его.— Девки, девки! — закричала она еще громче.— Верка, зови сюда сестру! О господи, да что ж это такое деется? Верка!

Верка, стоявшая в сенях и жадно подслушивавшая все, что говорилось в избе, и уже не раз бегавшая к ждавшей во дворе сестре и все торопливо пересказывающая ей, тотчас и появилась в дверях; скоро и Танюха со взволнованным румянцем во все лицо пробралась в избу, непривычно смело оглядев при этом отца с матерью, не скрываясь, доверчиво и в то же время с некоторой тревогой, словно пытаясь угадать, все ли в порядке, улыбнулась Алдонину, и тот тотчас встал, подошел к ней, взял за руку и подвел к столу.

— Ну, вижу, вижу, согласие, природа,— сказал Фома, опустив голову, и с шевельнувшейся в сердце грустью перед неостановимостью жизни глухо скомандовал: — Мать, благословляй, что ли...

Перекрестив обоих, Нюрка торопливо сняла образ, дала поцеловать дочери и Алдонину: тот, помедлив, все-таки, скривив губы в сторону, приложился, брызжа из-под ресниц каким-то бесовским весельем.

— Аминь! Аминь! — твердила Нюрка.— Живите, детки, как мы с отцом прожили, в мире да в добром согласии (при этих ее словах Фома окончательно рас-

чувствовался, потер тыльной стороной ладони глаза), детей вырастили.— Она неожиданно всхлипнула.— А сыночек мой милый Митенька так и не дождался такой ра-а-а-дости, сложил на проклятой войне свою резвую головушку...

— Цыц, мать,— тяжело приподнял брови сразу постаревший лицом Фома.— Цыц! Не убитый наш сын Митрий, он у нас тут,— сильно размахнувшись, он гулко шлепнул себя кулаком в грудь,— живой, он тут у нас! С нами вместе радуется сын наш Митрий!

Пересиливая себя, Нюрка закивала сквозь слезы, захлопотала вокруг стола, всех усаживая, выставляя из потаенных углов самые неожиданные запасы, и скоро на столе оказались и две немецкие алюминиевые, уже изрядно облупившиеся от зелёной краски фляги с самогоном, и бутыль с бражкой, и лежала горка вяленого карася, и приличный ломоть копченого окорока, и круг топленого масла, и соленый, хранящийся неделями творог, и какие-то соленья из грибов, чеснока и всякой травы; Фома, сроду не видавший и не знавший об этих диковинных запасах, только одобрительно ворочал глазами, глядя на метавшуюся то из избы, то в избу, к столу, жену с новой миской в руках; заговорившая в нем вначале легкая ревность скоро сменилась некоторой даже гордостью, что у него оказалась такая запасливая баба, не посрамила ни себя, ни его фамилии...

Теперь уже все уселись за стол, разговор пошел более степенный и деловой; еще и еще раз выпили, и Фома потужил, что по таким скудным временам нельзя сыграть свадьбу, как это от веку положено, в настоящем достатке; Алдонин, утешая его, весело ухмыльнулся.

— Ничего, папаш, зато мы крестины потом на славу отгрохаем,— сказал он, и Танюха, сидевшая с ним рядом строго и неподвижно, опять неудержимо закраснелась.

— Папаш, слышите, папаш! — загремел Фома.—Ай да уважил, сынок! Вот это уважил!

Фома вылез из-за стола, обнял будущего зятя, расцеловался с ним, затем, опять вспомнив погибшего старшего сына, отвернулся, махнул рукой и, скрывая непрошеную слезу, долго крутил цигарку, слепо глядя в стену и просыпая табак; у него все никак не получалось.

— Ты, папаш, на, папироску-то засмоли,— протянул ему пачку «Беломора» Алдонин, и Фома, затянувшись раза два, опять уселся на свое место.

— Как же вы жить-то собираетесь? — спросил он несколько погодя.— Давай к нам, что ль, сынок... не в общежитие жену вести... У нас одна девка теперь остается, надолго ли... Угол отгородим... а там...

— Я, папаш, рядом с вами думаю построиться... Вон усадьба чья-то рядом пустая... сад дичает...

— Это Антипа Косого усадьба... в войну семью как корова языком слизала... А, мать? А? — Фома резко вскочил на ноги.— Что? Задумка на все сто! Да мы... А, мать?

— Печь сам сложу, рамы свяжу,— перечислял Алдонин как нечто уже решенное.— Досок директор обещал, лесу тоже, на тракторе мигом приволоку... Э-э! С той недели дело и заварим, свадьба свадьбой, а дело своим путем...

В этот вечер свет в избе у Фомы горел, на диво соседям, далеко за полночь; обсуждали предстоящее обстоятельство, горячились и даже спорили. Самые любопытные из густищинцев бегали под окна Куделина посмотреть, что это такое у Фомы происходит, а наутро все Густищи уже знали, что тракторист Кеша Алдонин, тот самый, острого языка которого опасались от старого до малого, сватается за старшую дочь Фомы Куделина, через неделю назначено быть свадьбе, и что привалило Фоме счастье невесть почему; правда, старшая девка у него выбухала видная из себя, вот только род все одно захудалый, и большого толку от этого ожидать нечего.

— А жених-то, бабоньки? — жужжала бабка Чертычиха у колодца.— Парень собой вроде справный, а в голове свистит... Ой, не знаю! Не знаю...

Одни ей поддакивали, другие молча посмеивались, но все сходились в том, что Кешка Алдонин человек затейливый, уж если что вычудит, скоро не забудешь. И всякий раз вспоминали общественного бугая Ветерка, у которого как-то на шее оказался намалеванный, донельзя похожий портрет нового густищинского председателя Федюнина. Бугай с тем потешным портретом важно прошел на заре по всему селу в сопровождении целой оравы веселящихся ребятишек; если они приближались ближе, чем это допускало самолюбие Ветерка, он останавливался, оборачивал к ним острые рога и начинал яростно кидать копытом из-под себя землю. Тут хоть стой, хоть падай, и хотя никто бы не мог точно доказать, кто учудил такую штуку с бугаем, но все почему-то были уверены, что сделал это Алдонин, и по-

тому сейчас, обсуждая будущую его жизнь с дочкой Фомы Куделина, строили самые невероятные предположения не только о предстоящей свадьбе, но и о будущем потомстве Кешки Алдонина; а бабка Чертычиха, снуя из избы в избу и захлебываясь от распиравшего ее волнения, рассказывала про свой вещий сон: разверзлась земля посреди улицы, и явился пропавший без вести сын Ефросиньи Дерюгиной — Иван. Явился, и пошел от него неостановимый огонь и сжег село.

Мало, наперечет, было свадеб в первые послевоенные годы в Густищах и в окрестных селах, поэтому так и взбудоражились густищинцы по поводу Алдонина и Танюхи Куделиной; свадьба прошла, месяца за два с лишним, к первым морозцам, вырос в Густищах новый дом, правда, небольшой, но необычный, с какой-то террасой; ее Алдонин приделал вместо традиционных сеней, несмотря на протесты тестя Фомы; на высоченном сосновом шесте, прибитом к старой-старой раките, посаженной еще дедом сгибшего в войну Антипа Косого, укрепил Алдонин старое тележное колесо, чтобы на нем могла поселиться полезная птица — черногуз, как вполне авторитетно заявил Кешка своей озадаченной теще, и ловила бы эта птица по болотам и лугам лягушек и змей.

И зажила новая семья по извечным законам; всем стало видно, что этот сумасбродный пришлый тракторист любит свою жену и скрывать этого не хочет; как-то взял и стал целовать ее прямо посреди улицы; у Чертычихи, оказавшейся тут как тут, поблизости от них, от негодования подломились колени.

— Ах ты бессовестный! — плюнула она.— Поганец такой, нехристь! Хоть бы старых людей пожалел!

— Ничего, бабка! — весело крикнул ей Алдонин.— Небось лет сто назад сама еще и не такое размалинивала!

Чертычиха онемела и, не решившись продолжать разговор, скрылась за своим плетнем и там, присев на кучу хвороста, скоро пригревшись на скупом осеннем солнышке, задремала.

Все идет своим чередом: проскочила осень, прошла зима, ударили первые оттепели, а там и снег сошел с вершин холмов, обрушились в низины талые воды; все теперь стали замечать, что Танюха Алдонина ходит на сносях; сам Алдонин и его тесть Фома непременно

ждали внука, и так как в Густищах в послевоенные годы родилось до этого всего три младенца, то к намечавшемуся появлению на свет еще одного густищинца (Алдонина понемногу стали считать своим) было приковано более пристальное внимание, чем обычно в таких случаях. Сам Алдонин, с утра до ночи пропадавший в поле или на ремонте, а то вечно хлопотавший по хозяйству (пристроил за зиму сарай для поросенка и кур, собирался делать подвал и потихоньку заготавливал для этого материал), оберегал жену в последние месяцы беременности, на диво всем Густищам, как малое дитя, не позволял ей ни воды принести, ни дров со двора, все сам да сам...

Перед самыми родами случилась у него с тестем крупная стычка. Заглянул Фома к зятю уже вечером, и тот пригласил его поужинать; оглядываясь на дочь, осторожно носившую отяжелевшее чрево по комнате, Фома извлек из кармана заветную бутылицу, подмигнул; Танюха заметила, но, ничего не сказав, поставила на стол стаканы. Алдонин и Фома выпили, потолковали о ранней весне, затем разговор само собой перекинулся на будущего внука.

— Мы его Алексеем назовем,— мечтательно предложил Фома, разливая остатки и не замечая насмешливо сузившихся глаз зятя.

— Почему же, папаш, Алексеем? — спросил Алдонин погодя.

— По деду, батьке моему,— миролюбиво пояснил Фома, забрасывая в рот кусок соленого огурца.— Отменный был человек; царство ему небесное...

— А у меня отца Прокофием звали,— вспомнил Алдонин и нехотя зевнул.— Тоже хороший был человек...

— Ну, Кеш, в другой раз будет тебе Прокофий,— примирительно согласился Фома, однако уже несколько иным, отвердевшим голосом.— Тут уж ты, сынок, уважь, старших уважать надо, уважь, уважь... природа...

— На том и стоим,— с готовностью вновь закивал Алдонин.— Хорошее будет у парня имя: Прокофий Кесаревич Алдонин! Сила, а, папаш?

— Как? Как? — искренне поразился Фома.— Ке... Ке...

— Кесаревич, Кесаревич, папаш,— с готовностью подсказал Алдонин.— У меня-то полное имя Кесарь, а так как новорожденный будет мне доводиться родным

сыном, о чем твоя дочь, папаш, а моя законная жена... Таня! — внезапно позвал он.— Мой это будет сын или не мой?

— Отвяжись! Собрались старый да малый, делить-то еще нечего! Вот два дурака...

— Я тебя спрашиваю: мой это будет сын или не мой? — невозмутимо повторил Алдонин.

— Да твой, твой! — в сердцах ответила Танюха и, грузно, с невольной бережливостью, колыхнув большим животом, рассерженно вышла.

— По справедливости, Кеш, внука назовем Алексеем!— Фома неожиданно размахнулся и увесисто шлепнул ладонью по столу; Алдонин с шальным огоньком в глазах тоже поднял руку, но, жалея собственноручно сделанный, до блеска отполированный дубовый стол, в последнюю минуту опустил кулак на столешницу вполсилы.

— Будущий внук твой, папаш, нареченный Прокофием,— совсем понизил он голос до ласковой хрипотцы,— выйдет в своего деда, моего отца — не прогадает. Попробуем, папаш, а?

В голосе Алдонина сквозила еле уловимая насмешка, и это окончательно вывело уже захмелевшего Фому из себя, он порывисто вскочил.

— Вот, значит, ты каковский? — поинтересовался он, прощупывающе, будто в первый раз, придирчиво оглядывая зятя с головы до ног.— Значится, не хочешь уважить старшего родителя? Значится, только на свой аршин прикладываешь? Значится, никакого почету старшему родителю?

— Родителю почет и хочу оказать, садись, садись, папаш, не горячись,— попросил Алдонин.

— Не сяду, будь я проклят, не сяду,— кипятился Фома.— Не уважишь — нога моя больше в этом доме не ступит, вот тебе последнее мое слово, зятек мой Кеша!

— Значит, не ступит, говоришь, папаш, а? — продолжал свое Алдонин, в раздумье покачивая головой.— Нехорошо будет... нехорошо, папаш... Люди-то заговорят...

— Вот ты и подумай! — отрубил Фома, задерживаясь взглядом на остатке самогонки в бутылке, затем, словно решившись, выплеснул ее в свой стакан, стоя проглотил, задорно вытер губы ладонью и подтвердил: — Как свят бог, вовек не будет! Наплевать мне на людей, особо если эти люди бабы...

Чем бы эта перепалка кончилась, неизвестно, не появись Нюрка и почти силой не уведи продолжавшего бушевать мужа, но он и по дороге домой никак не мог успокоиться, все тянул голову назад, к дому зятя.

— Не будет! Не будет! — грозно повышал он при этом голос, и Нюрке приходилось увесисто встряхивать его за плечи и поворачивать лицом в нужном направлении.

— Иди, иди! — горячилась она.— Чего, чурбан старый, в чужую семью лезешь? Иди! Дочка — ветка обрубленная, назад ты ее не прирастишь! Иди, паразит, когда успел-то наглотаться?

— Цыц, баба! — пытался высвободиться из ее рук Фома.— Сказано, не будет ноги, значится, не будет! Природа! Слышишь, зятек мой дорогой Кешенька, не будет!

Фома действительно показал характер, с неделю не заглядывал к зятю и, еще издали завидев Алдонина, переходил на другую сторону улицы; тот только усмехался и приветственно приподнимал фуражку.

— Мое почтение, папаш! — кричал он весело, затем как ни в чем не бывало шагал себе дальше.

Фома крепился, продолжая не узнавать зятя, на все приставания и уговоры жены не срамиться перед людьми отвечал, что он этого своего приблудного зятя с поганым татарским прозвищем Кезарь все одно принудительной политикой допечет, доконает и на своем поставит, хоть бы ему пришлось ждать еще сто лет. Но както, уже ближе к рассвету, его разбудил шум и гам в избе. Ошалело открыв глаза, Фома приподнялся, успел заметить в какой-то неясной лунной полутьме полураздетую фигуру Алдонина, тут же куда-то исчезнувшую.

— Чего спать не даете, вы, оглашенные! — хрипло, спросонья, спросил Фома у жены, суматошно набрасывающей на себя юбку.

— Танюха рожает! В больницу-то не успели! — криком ответила Нюрка.— Верка, Верка, беги за бабкой Илютой! Зови, поскорей бы там была! А ты, старый чурбан, лампу хоть зажги!

— Вздумалось ей посреди ночи,— ладясь почесать себе нестерпимо зазудевшее плечо, проворчал Фома.

Нюрка мотнула подолом, еще раз наскоро обругала его и была такова; разыскивая спички и зажигая лампу, Фома успел окончательно очнуться, тут же вспомнил о кровной обиде от зятя и решил, что слова своего он не

изменит, уселся назад на кровать, нашарил под подушкой кисет и стал крутить самокрутку, но уже через минуту, едва успев затянуться горьким дымом, беспокойно закрутил головой, словно что отыскивая в избе, а еще через минуту уже торопливо надернул на себя штаны, кое-как застегнул их и, упав на пол на колени, торопливо заглянул под кровать, отыскивая куда-то девшийся башмак. Не нашел, побегал по избе в одном, неровно топая, затем энергичным взмахом ноги отшвырнул подальше единственный, оттого и ненужный, и заторопился к зятю босиком. Дальше сеней его не пустили, везде суетились бабы, кто-то жутко выл. У Фомы от такого воя стало обрываться сердце, но внезапно наступила тишина, и Фома различил рядом с собой Алдонина в одном белье, в наброшенном поверх него пиджаке. Непрерывно прислушиваясь, Алдонин стоял с испуганным, чужим лицом. Фома пожалел его и сунул в руку давно погасшую цигарку; Алдонин взял, почему-то понюхал, бросил на землю и машинально растер подошвой.

— Малец дробненький,— донесся из избы, из-за неплотно прикрытой двери, в наступившей тишине тонкий и ласковый голос бабки Илюты.

— Сын,— догадался Алдонин, бросаясь к двери, к резкой полосе света, льющегося в оставшуюся щель и смутно размывающего тьму в сенях, но тут же, вспомнив, что его недавно безжалостно выставили из избы и настрого запретили подходить и близко к роженице, подался назад.— Прокофий явился,— добавил он и, совершенно не зная, что ему еще делать, обнял тестя и крепко прижал его голову к себе.

Стиснутый молодыми, сильными руками, Фома, заражаясь радостью зятя, в свою очередь обхватил Алдонина, и они, оттаптывая один у другого ноги, тискали друг друга, пока из избы до них не донесся какой-то странный шум, возгласы, затем опять раздался измученный крик роженицы, уже потише, затем удивленные возгласы баб, бывших в избе, и скоро бабка Илюта все так же невозмутимо, тихо, но теперь с некоторой даже торжественностью, хорошо слышным и Алдонину, и Фоме голосом возвестила, что на свет божий явилась еще одна душа мужского пола...

— Двойня,— растерялся Фома.— Скажу я тебе, Кешка, силен же ты, сукин сын... молодец! Я сам, скажу я тебе, был ого-го-го, но тут... природа!

— Вот тебе, папаша, и Алексей,— не растерялся Алдонин, но голос его прозвучал уже иначе, с некоторой неуверенностью.

— Уважили старших-то родителев, ну, уважили! — заволновался Фома, не чувствуя сырого земляного пола в сенях босыми ногами; он лишь только перебирал ими, словно приплясывал.— Ай да молодцы! Ну, природа! — Он было опять полез к зятю обниматься, но так и застыл в недоумении с полуоткрытым ртом и лишь медленно стал поворачиваться к дверям в избу; оттуда доносилось теперь уже несколько испуганно-изумленных бабьих «ахов», и бабка Илюта все тем же бесстрастным от старости и обыденности любого события в человеческой жизни голосом, все так же с повышенной торжественностью возвестила, что пошел «третенький младенец» и что «бог троицу любит да голубит», и Фома, у которого от нового изумления совершенно остановились и округлились глаза, не мог произнести ни слова, лишь оторопело глядел на зятя, тоже нелепо и растерянно замершего и бессмысленно моргавшего.

— Есть, есть,— радовалась бабка Илюта.— Опять младенчик, опять мужик... Святой крепкий, никак опять к войне? Господи, избави... от...

Алдонин отчаянно рванулся к двери, распахнул ее.

— Туши лампу, старая! Скорей!— гаркнул он перепуганно.— Они на свет лезут!

Его тут же, еще не успевшего толком ничего разобрать, вытолкнули назад, в сени, и Алдонин, тяжело дыша, со страхом прислушиваясь к смутному шуму в избе, несколько помедлил, затем, так и не дождавшись ничего нового, да и не решаясь больше ждать, вышел на улицу; за ним смущенно поспешил Фома. Закурили в молчании, опять-таки непрерывно прислушиваясь к тому, что делалось в избе; Фома, рассуждая сам с собой, сначала неуверенно, но все более воодушевляясь, сказал о том, что это даже хорошо, трое мужиков сразу, никакой тебе более заботы.

— Ты у нас, Кеша, сразу в отцы-героини вышел,— стараясь разговорить по известным причинам ставшего непривычно молчаливым зятя, повысил голос Фома.— За такое геройство мы тебя к ордену всем колхозом приходатайствуем. Пойдем, Кеша-сынок, у меня от бабы есть НЗ, от войны у меня такая хитрость осталась. Пойдем, Кеша, пойдем, тут оно — природа, тут подругому нельзя, пойдем,— потянул его Фома, и скоро

они уже сидели за столом и жарко беседовали, но Алдонин нет-нет да и отодвигал недопитый стакан, задумывался, а когда это случилось в третий или четвертый раз и Фома окончательно пристал к зятю с расспросами, тот поднял голову, долго глядел в потолок, словно окончательно решая что-то, и бухнул:

— Придется козу покупать, папаш, вот оно что.

— Ко-озу? — протянул не сразу сообразивший Фома.

— Козу,— подтвердил Алдонин.— Это животное полезное; жрет мало, а молоко ребятам будет.

— Так-то оно так... У нас в Густищах, сынок Кеша, сроду про козу-то, эту поганую животину, и не слышно было,— осторожно напомнил Фома.— Срам-то у нее весь тебе на улицу... а?

— Эх, папаш, папаш, как погляжу — дикое у вас село! — поднял большой палец Алдонин.— Что такое коза? На ракиту ты ее посади, к примеру, она и там просуществует, корм найдет...

— Ладно, ладно,— остановил его Фома, справедливо полагая, что после такого события, какое только что произошло с его старшей дочерью Танюхой, не каждый может рассуждать в прежнем здравии.— Давай лучше выпьем, сынок Кеша...

Так в Густищах появилось еще сразу трое Алдониных, необычно быстро вставших на ноги, к годовалому возрасту они привыкли почти беспрерывно сновать между своим домом и домом деда, Фомы Куделина, одинаково белоголовые, по крепости похожие на желуди с одного ярового дуба.

12

Все проходит, все кончается, прошли и эти два года невиданной засухи; стала понемногу проступать и проясняться другая впечатляющая картина. Те густищинцы, которые были убиты в войну (а их число уже подбиралось к полутора сотням), были убиты, и здесь уж ничего нельзя было переменить. Двадцать восемь человек вернулись назад в Густищи кто без руки, кто без ноги, а кто и без глаз, и к этому постепенно привыкли, тем более, что такие одноногие, как тракторист Иван Емельянов, стоили куда больше иного незатронутого (сутками не слезал с трактора, однако бабу его дважды увозили в больницу рожать, и всякий раз, несмотря на

послевоенную скудность и тяготы, она возвращалась с горластым синеглазым парнем; Емельянов как-то на полевом стане, где собирались на обед трактористы и прицепщики, под всеобщее одобрение объявил Кешке Алдонину, что в следующий раз он непременно перекроет его рекорд с тройней).

Но война породила и совершенно особую категорию пострадавших. Несколько человек остались жить где-то на стороне, побросали семьи, а вот поставленный немцами в войну во главе села староста Торобов, например, каким-то образом оказался в Австралии и под чужим именем написал своему племяннику в Густищи о том, что работает на ферме, где разводят необыкновенного, диковинного зверя — кенгуру, и тот зверь носит своих щенков в сумке между задних ног и похож на нашего обыкновенного зайца, только скачет куда сильнее, в один раз сажени по две, по три отмахивает. Еще он сообщал, что баба его и дети люто тоскуют в этой чудной Австралии по Густищам, и, бога ради, просил племянника отписать ему, что в Густищах после войны и как. Племянник Торобова, молодой статный фронтовик с полной грудью орденов и медалей, стыдившийся своего неожиданного заграничного родства, письмо из Австралии после его прочтения и изучения с довольно распространенными русскими, к сожалению, непечатными, комментариями в адрес дядьки и австралийского зверя кенгуру швырнул в печку. На этом связь Густищ и Австралии временно оборвалась. Следующая весть пробилась уже из Канады, да еще от кого — от самого видного до войны парня Андрея Разинова, о нем густищинцы говорили: «Ну, этот башка-а, далеко пойдет!» Так вот, как раз этот самый Андрей Разинов оказался после плена в Канаде, где он, как сообщал старухе матери, «оказался по дурости и потому, что тошно было, просидев всю войну в Германии в подземелье, на военном заводе, возвернуться на родину в таком побитом виде, никак нельзя было мне показаться на глаза своим односельчанам от нечаянного своего сраму. Согласился я поехать на лесные работы в Канаду, работаю тут по лесному делу с местными индейцами, носят они заместо чуба косы, точь-в-точь наши девки. Еще я от такой беспробудной тоски и отчаянности женился на ихней индейской девке, и теперь голова моя пропала совсем. Во всем бабьем деле женка моя индейская устроена, как и наши бабы, только покорностью куда наших девок

и баб превосходит, что хочешь с нею делай, хоть режь ты ее, хоть ешь, она только на тебя молиться будет...».

Это письмо широко обсуждалось в Густищах, мать Андрея Разинова, вытирая слезы, ходила из двери в дверь по дворам, охала и причитала, ругала на чем свет стоит непутевого сына, еще больше честила его совратительницу, поганую чужеземную девку, и грозилась написать свою обиду самому Сталину, но ей отсоветовали. Директор густищинской школы Петр Еремеевич написал по ее просьбе ответ в Канаду; старуха Разинова требовала, чтобы Андрейка просил бы власти разрешить ему вернуться домой, так как у него мать старая одна осталась, немощная, скоро глаза закроет. И добавляла, что пусть бы он вернулся, хоть и с той поганой девкой, у матери сердце отходчивое, и такого примет...

Письмо, густо облепленное марками, ушло; о нем, кроме самой матери, скоро все забыли. Отыскались по заграницам еще несколько густищинцев, нашлись человек пять, доселе считавшихся без вести пропавшими, и в своей стране; время шло, накатывались иные заботы, и теперь все воспринималось с меньшей остротой, поговорят-поговорят и перестанут.

Захар получил очередное письмо из Густищ, от Егора, уже в середине июня сорок восьмого года, в самое бездорожье; основные работы у грузчиков, бригадиром которых уже несколько месяцев был Захар, кончились. Теперь всех разослали по разным местам, а Захар уже вторую неделю бюллетенил: прихватило легкие во время ночных смен на погрузке; фельдшер прописал порошки и велел усилить питание; хмуро выслушав его, Маня молча проводила поселкового лекаря за дверь.

— Сейчас позову соседей, кабана завалю на усиленное питание. Лишь бы языком трепать,— не выдержала она, возвращаясь к Захару.— Не знает будто, что в магазин привезут, то и есть!

— Ладно тебе,— остановил ее Захар.— Его дело сказать...

— Мелет, мелет попусту.— Маня круто заварила кипяток зверобоем, налила в кружку.— Пей, ничего, скоро огород пойдет... Нам-то что, мы свободные, вон Илюшка рыбачит, ягод в лесу полно, проживем... Вот многодетные, те на своей пайке совсем доходят.

В это время Илюша, по-прежнему стеснявшийся Захара и старавшийся держаться в стороне от него, появился в дверях.

— Из Густищ тебе, отец,— подал он Захару письмо и с неловкой поспешностью отошел; Захар взглянул на конверт.

— От Егора,— сказал он Мане, с интересом придвинувшейся ближе.— Сейчас все новости узнаем.

Он стал читать вслух, время от времени останавливаясь и прихлебывая из кружки, питье приятно согревало грудь и пахло хорошей травой. Егор почти на пяти тетрадных листках писал обо всем, что, по его мнению, представляло интерес в Густищах, писал о том, как заезжал в гости Брюханов Тихон Иванович и читал его, Захара, письмо, о том, что говорилось за столом, и что сам он с Митькой-партизаном дают на тракторе по две нормы, что он помог Лукерье вспахать огород...

— Видишь, как,— прервал чтение Захар, поднимая светлые, затуманенные воспоминанием глаза, и Маня, благодарно кивнув (она знала, муж просил Егора в письме помочь Лукерье), подумала, что в эту осень мужу сравняется сорок шесть.

«Ой,— удивилась она,— надо же, уже сорок шесть, Захарушка! А он-то еще хоть куда, за три месяца прошлым летом вон какой дом себе заброшенный почти один собственными руками отделал. Печки сам переложил, двери заменил, все сам, Илюшка от него многому научился, ни на шаг от отца, если работа какая. Боже ты мой,— с суеверным испугом подумала она,— отчего я такая счастливая? Не к добру это, к концу жизни всю хату высветило...»

Ей захотелось прижаться к Захару, но, помня, что дети рядом, она сдержалась и, синея заголубевшими глазами, собранная, помолодевшая, вернулась к своим делам. Илюша уселся в другой комнате за чисто выскобленный стол делать уроки, а младший, Вася, ее грех и вечная мука, шумно принялся складывать затейливо выточенные Захаром чурбачки, и она опять подсела к мужу на постель в ногах.

— Курил бы поменьше, по ночам-то в груди у тебя все ходуном ходит,— сказала она, глядя на стеклянное блюдце, доверху набитое окурками.— Чудно мне, Захарушка,— тихо подняла она на него синие-синие глаза.— Что мы здесь сидим, в этой глухомани? Понятно, коли бы уехать нельзя было, как другим. А ты ведь

свободный человек, катайся себе во все четыре стороны. Уехали бы домой из этой дремучести... Никак не пойму, что тебя здесь держит.

— Опять ты за свое.— Захар свел брови, это был уже не первый их такой разговор, и поэтому говорил он спокойно.— Баба, Маня, по-другому устроена. Здесь меня никто не знает, что я, как я, здесь я такой же, как все, вон в ударниках хожу.— Он привычно ей диковато усмехнулся, и нельзя было понять, то ли над собой он смеется, то ли в самом деле гордится.— Дома что? Люди как люди кругом, а я — бывший пленный... Каждая сопля в меня пальцем... Вон, скажут, Захар-кобылятник идет, в колхоз всех сгонял, добрых хозяев раскулачивал, а сам в плен угодил.

— Ты ж бегал сколько раз! В горах воевал у этих, у словаков,— с некоторым недовольством, больше по привычке, напомнила Маня.— Они бы попробовали... через минное поле.

— Мало ли что, а кто докажет? — зло оборвал ее Захар и, видя, что она вся сникла, приобнял за плечи, прижал к себе.— Ну чем тебе здесь-то плохо?

— Мне не плохо, мне хорошо,— тотчас кинулась она ему навстречу.— Где ты, там и жизнь моя... Дети-то ни яблочка, ни молочка не видят... И люди кругом... волками друг на друга смотрят. Господи! Мы-то свое отжили, считай, детей бы в тепло вернуть. Васька́ бы поддержать, слабенький он.

— Люди везде одинаковые,— помолчав, раздумчиво сказал Захар,— куда ни кинься, всюду одно и то же.

— Не говори,— успокаиваясь от его близости, Маня заговорила ровнее.— Ездили мы в пермяцкую деревню, ох, насмотрелась я. Чудно! — Маня оглянулась на дверь в комнату к детям и еще понизила голос: — Сидим это мы у одной, квасом угощает, а к ней, к матери значит, во-о такой подбегает ребятенок,— Маня, примериваясь, показала на метр от пола,— лет пять ему или шесть: «Матка, кричит, дай цицку, б...» У меня так и захолонуло в груди, а она хоть бы хны. Тут же и выпрастывает из кофты, он пососал, и только его и видели. Я прямо обмерла. Господи, ну и земля! Ну и обычаи! Подивилась я...

— Опять ты не туда глядишь,— засмеялся Захар.— Народ хороший, добрый, работящий... Обычай у них такой, у них такое за скверное слово не считается. Так, вроде красного словца... прибаутки.

— Не знаю, Захар,— не согласилась Маня.— Может, и для красного словца, а жить тут не по себе, страшно. Зима какая... конца нет. А мастера-то, Кирикова, как зарезали... Комендант-то, говорят, совсем спился... все с этим бандюгой, Загребой-то... Опутал коменданта со всех сторон...

— Нам в чужое мешаться нечего, свое бы расхлебать,— нахмурился Захар.

— Да ведь не просто зарезали, говорят, в карты проиграли... Ну, а как на тебя судьба укажет?

— Ты больше слушай, что говорят. Ты себе сколько хочешь знай, а болтай поменьше. Сопела бы себе в две дырки...

— Это ты меня учишь, Захарушка? — Глаза у Мани насмешливо заискрились.

— Учу, а что такого?

— Молчи уж, молчи, горе мое... Сам ты какой? Да, видать, правда твоя, хоть с ней совладать трудно. Загреба вон, зараза плюгавая, девок к себе тягает, он тут и бог и царь, выше — никого... А я вон позавчера зашла к Брыликам-то, в твоей бригаде еще, высокий такой хохол. Хотела тебе сразу сказать, все недосуг.— Захар кивнул, досадуя, что она разъясняет ему то, что он хорошо знает, и Маня заторопилась: — Захожу, значит... Олеся показать узор на кофточку обещала... ну, и обмерла. Семеро пар глаз на меня, все зеленые, все голодные. Старшей-то пятнадцать, а младшему четыре. Какая тут кофточка! Загреба-то, говорит Олеся, на старшую дочку глаз положил, они, видать, из одной местности. Неладно у них, Захар, так жалко, так жалко детей-то.— Маня отвернулась, скрывая мучившую ее тревогу.— Какая уж там кофточка, какой узор, отнесла я им рыбину, взяла самую... поболе выбрала... Поневоле тоска западет, что ж на свете творится? Хоть тут, в Хибратках, хоть в Москве, у кого сила, тот и прав.

— Нижний этаж, говорят, у Загребы работает куда лучше верхнего, это точно, хоть с виду плюгавый человечишко,— как-то равнодушно подтвердил Захар.

— Что-что?— не поняла Маня, и Захар, взглянув на нее, рассмеялся; Маня, зарумянившись, снова потянулась к нему лучистым взглядом.— Люблю я тебя, черта,— призналась она.— Сама не пойму, за что... С тобой как-то и не страшно.— Оправив покрывало, сшитое из разноцветных лоскутков, она заглянула к сыновьям и принялась готовить ужин. Захар накинул на

себя телогрейку, сунул ноги в глубокие галоши, склеенные из автомобильной шины, вышел, и тотчас вокруг привычно зазвенело комарье. И разговоры Мани, и письмо Егора растревожили его, хотелось побыть одному, но руки, лицо тотчас облепила мошкара; отмахиваясь от надоедливого гнуса, он поспешил вернуться. «Надо сказать Илюшке дымокур у порога поставить,— подумал он.— Пора уже».

Ночь выдалась маетная, несколько раз его поднимали приступы кашля, после полуночи сон и вовсе пропал. Он и сам, без напоминания Мани, знал, что жизнь прошла и теперь ничего не изменишь, привык он к этой мысли давно. Мать померла без него, похоронили, даже у могилки не посидел. Старший, Иван, сгинул, как и не было, а глаза зажмуришь, как живой глядит, я, говорит, все, батя, понимаю, я ничего... я так, показалось... ты как виноватый глядишь, а я ничего.

Захар неловко заворочался, до жуткой отчетливости ясно вспоминая тот тяжкий день в своей жизни, когда он заскочил в сарай, схватил в руки веревку и примерил взглядом расстояние от балки до земли, и если бы не застал его старший, Иван, со своим разговором насчет военного училища... «Может, от этого грудь разламывает, так бы и выскочил из этих стен,— опять завозился он в душной сейчас постели.— Да куда выскочишь-то? Тихон Брюханов в зятьях оказался, ну, это ли не потеха? Тихон Иванович Брюханов его, Захара, зять! Ай да Аленка! Ай да чертова девка! Ну и семя!» — с горьким восхищением обругал он свою собственную породу, нашарил папиросы. От вспышки спички темнота отодвинулась, тени побежали по стенам. Он не мог представить себе и Егора взрослым, а тот пишет, что уже работает прицепщиком на тракторе у Митьки-партизана. И этого Митьку Волкова он плохо помнил, и почему его прозвали партизаном, не знал, в партизанах-то, почитай, все село было, а Егор написать все забывал, хотя Захар просил об этом дважды. Но даже не это сейчас заботило Захара, ему отчетливо и больно подумалось, что зря он родился, себя и других мучил и никому — ни себе, ни бабам, которых любил и которые его любили,— не дал ни радости, ни счастья. «Что же это за жизнь такая? — изумился он, жадно затягиваясь жарким дымом.— Не повезло мне, с самого начала пошло под горку, не остановишь. Мане легко говорить «уедем»,

а куда? Главное-то — зачем? Что переменится в жизни? Ничего не переменится. Был Захар-кобылятник, так и остался. Теперь же... ну, пойдет он к коменданту, вступится за этого хохла Брылика (говорят, каких-то бандеровцев укрывал), ну и что? Загреба со своей шайкой тут же пронюхает обо всем, пристукнут где-нибудь в глухомани, и следов не останется. Детей изводить начнут, черт те что творится. Раков-то, комендант, в самом деле соплей оказался, хоть и фронтовик, контужен вроде под Варшавой... Черт те что...»

Захар загасил окурок; сон по-прежнему не шел, он вспомнил, как его самого в первый раз вызвали в управление на опрос и молодой, лет двадцати восьми, худощавый, с тонкими губами следователь, сосредоточенно выслушивая, слегка клоня голову в левый бок, записывал ответы.

13

Два года тому назад Захар вошел в управление, высокий, сутулый, исподлобья оглядел ожидавших в полумраке коридора своей очереди, затем, отыскав взглядом свободное место на лавке, тоже сел. Некоторых он уже знал, другие были ему совершенно незнакомы, но сейчас Захару было не до того, чтобы думать о других; за толстой щелястой дверью, время от времени открывавшейся, пропуская людей, сейчас решались их судьбы; все они, братья по несчастью, по той или иной причине попавшие в плен, после освобождения из немецких концлагерей были предварительно рассортированы, а теперь их, после возвращения на родину, еще раз тщательно и придирчиво опрашивали, сверяя все полученные по прошлым показаниям сведения. При этом, говорили, бывало всякое, бывало, открывалось и такое, что опрашиваемых не выпускали, а тут же под конвоем направляли под следствие, а то и прямо в суд.

Дожидаясь своей очереди, Захар неприязненно поглядывал на дверь, заранее настраиваясь враждебно ко всему происходящему в кабинете за этой дверью, откуда глухо доносились голоса. Бревенчатые стены помещения были темны, прокопчены табачным дымом; Захар нащупал в кармане кисет, спички, свернул самокрутку. На него покосились соседи с обеих сторон, с шумом втягивая в себя запахший табаком воздух, некоторые тоже стали закуривать. Хотелось закрыть глаза, подре-

мать немного; хоть паек и хорош после немецкой голодухи, а слабость нет-нет да и чувствовалась. «Скорей бы решалось дело, тоска заедает,— полуприкрыв глаза, думал Захар в теплой полудреме,— домой, в Густищи, он не поедет, работы кругом сколько угодно... Устроится, вызовет Ефросинью с детьми... и пойдет себе жизнь дальше. Интересно все-таки, сколько может человек? И сейчас интересно, охраны вроде никакой, а вот тем, кого оставляют на поселение, никуда не деться: бежать некуда, на сотни тебе верст тайга, а по речкам, говорят, посты да засады. Тем, кто чист да болен или негоден, после проверки собирай манатки и топай себе до хаты. А остальных вроде бы хотели вначале формировать в воинскую часть, на японскую отправлять, а теперь вот опять проверка».

Захар дожег окурок до предела, но не бросил, осторожно затушил, и все, что осталось,— несколько полуобгоревших табачных крошек, бережно опустил назад в карман; курил он много, и пайка не хватало.

Захара вызвали минут через десять, и он, едва ступив за порог, встретился с молодыми, заученно проницательными, отчужденными глазами следователя.

— Дерюгин Захар Тарасович?

— Дерюгин.

— Захар Тарасович?

— Дерюгин Захар Тарасович,— подтвердил Захар, невольно подчиняясь требовательности, прозвучавшей в голосе следователя.

— Садитесь, Дерюгин,— следователь склонился к бумагам, внимательно забегал по ним глазами; Захар видел его вихрастый, мальчишеский затылок, и ему захотелось поворошить светлые вихры на этом затылке.— Любопытно, любопытно,— поднял в это время голову следователь.— Вот ваша анкета... Здесь указано, будто бы вы, Дерюгин, пять раз бежали из плена... Вы это подтверждаете?

— Шесть раз,— с трудом размыкая словно спаявшиеся зубы, уточнил Захар.— Шесть раз, товарищ старший лейтенант...

Следователь помедлил, не отрывая глаз от переносья Захара, затем быстро сделал какую-то отметку карандашом и вновь стал листать бумаги.

— Да, не повезло,— сказал он неожиданно мягко, и у Захара в глазах появилось недоумение, затем жесткая, не принимающая никакого сочувствия усмешка.

— Что ж делать, жизнь по-разному карты-то раскидывает,— слегка шевельнулся Захар и, опережая следователя, добавил мягче: — К своим надеялся пробиться, затем и жил. Ну, и дважды меня без памяти брали.— Он замолчал, досадуя на свою неожиданную разговорчивость; следователь, понимая это, устало и открыто улыбнулся.

— Знаете, надо потихоньку отогреваться,— посочувствовал он.— Только теперь и пожить, такую войну вытянули.

Захар равнодушно и устало кивнул, еще больше ссутулился на неловком, шатком стуле; в этом разговоре с зеленым юнцом, пожалуй и не нюхавшим ни войны, ни смерти, была какая-то неправда.

Следователь подождал, опять зашелестел бумагами, затем вышел из-за стола, прошелся туда-обратно и закурил. Юношески тонкий, стройный, со своими заученно-строгими взглядами, он невольно вызывал у Захара потаенную усмешку, но чувство горечи, хотя Захар и пытался бороться с ним, пересиливало все остальное. Что ему не верили, вот уже в который раз перепроверяли, это понятно, пытался он убедить себя. Ведь никто не обязан был ему верить, раз уж так повернула жизнь, надо терпеть, этот парнишка тоже к своему делу приставлен.

Приближалось время обеда, и Захар с каждой новой минутой все недружелюбнее поглядывал на следователя, хотя отлично понимал, что для этого не было никаких оснований. Пожалуй, из него еще никак не могло выветриться окончательно это звериное чувство опасности, крепко въевшееся в душу в немецких концлагерях, когда хуже голода было чувство унижения, невозможность поступить так, как хотелось и как нужно было. Вот и сейчас прежнее давит, так и мерещится черт знает что, можно ведь и свободно сидеть, не бояться, все время внутренне съеживаясь, и не ждать, когда этот чистенький и сытый юнец откроет рот; свой ведь, видно, что и сам переживает, самому не просто.

Захар про себя уже несколько раз, больше по привычке, крепко выматерил следователя, ходившего по кабинету с видом глубокой задумчивости; был он румян, с легкой щербатинкой во рту; поведением Захара, его неприязнью следователь был явно обижен, и Захар это видел, но пересилить себя и помочь стать разговору теплее и ближе не мог.

Устраиваясь удобнее, он повозился, прищурился,

словно хотел несколько передремать, но следователь как будто ждал именно этого момента, тотчас вернулся к себе за стол, обиженно переложил что-то в папке, придавил пресс-папье.

— Пестрая у вас картина получается, Дерюгин. Смотрите,— сдерживаясь, начал перечислять он,— жена ваша сожгла восьмерых немцев вместе со своим домом, дочь была в партизанах, потом на фронте, теперь замужем за секретарем обкома... Старший сын угнан в Германию... Все это подтвердилось. Все, кроме вашего пребывания в словацком партизанском отряде.

— Так, так... так,— монотонно соглашался Захар, борясь с наваливающейся дремотной слабостью и почти не слыша слов следователя.

— Что — так? — вскинул на него глаза следователь.

И тут что-то произошло.

Глядели они в глаза друг другу всего лишь несколько секунд; один, видевший и прошедший то, что, казалось, нельзя было в жизни видеть, пройти и остаться человеком, встретив сейчас молодой, беспокойный и откровенно непонимающий взгляд другого, едва-едва ступившего в круговорот жизни, не умом, сердцем понял, что со своей немыслимой тяжестью он должен справиться сам, переложить ее на другого нельзя, любой подломится.

— Слушай, сынок,— неловко кашлянул Захар, больше всего страшась, что следователь с запунцовевшими от остроты момента ушами скорей по молодости сделает что-нибудь не так,— давай со мной попросту...

— Как попросту?

— Так... все, как оно есть, больше ничего и не надо. Заледенелый я весь, еще не отошел,— добавил Захар.

Следователь не произнес больше ни слова, лишь еще раз зачем-то передвинул бумаги на столе, затем быстро встал, отошел к окну. За окном — приземистый, вольготно разросшийся на свободе кедр; что-то неловко и больно дернулось в горле у следователя, он переждал.

— Проверка для вас закончена, Дерюгин,— сказал он не оборачиваясь, и глаза его стали мальчишески теплыми и все понимающими.— До свидания, идите обедать, как раз время.

Захар так и не понял, зачем его вызвали на этот раз; оказавшись на улице, он отметил, что был уже конец лета; от сдерживаемого волнения часто кружилась голова и в глазах пробивалось темное мерцание.

С тех пор, как Захару сообщили, что он полностью свободен и может распоряжаться собою как хочет, прошло чуть больше двух лет; он даже не успел еще привыкнуть ни к Мане, ни к детишкам, но пустовавший домик одной из вымерших кулацких семей, отданный ему под жилье в Хибратском леспромхозе, привел в порядок. Подконопатил, заменил сгнившую на крыше щепу, подновил полы и печи, навесил новые рамы, и теперь дом весело блестел на солнце чисто вымытыми окнами.

Всякий раз после письма Егора Захар начинал думать, что он поступил правильно, оставшись в леспромхозе, здесь он сам по себе, отработал — и никто тебя больше не тронет, а там ведь каждая стежка, каждый бугор будет о старых, пролетевших делах кричать; нет, теперь его дело кончено, вот детей на ноги поставит, и прощевайте, добрые люди, оттопал свое, отгулял, отработал.

Маня разрумянилась, собирая на стол, скинула шерстяную кофточку; в комнате было тепло и уютно, никуда не хотелось уходить в сырую вечернюю промозглость, но Захар, не дожидаясь ужина, оделся, сказал Мане, что зайдет на минутку по делу к соседям. Поглядев ему вслед, Маня лишь покачала головой, сколько раз зарекалась ничего ему не рассказывать, как был, так и остался бешеным, остановить его, хоть умри, не остановишь.

Захар через несколько минут был уже у Брылика, перешагнул, пригнувшись, порог и, стаскивая фуражку, поздоровался; все семеро детей сидели за длинным барачным столом и все, как по команде, повернули головы к Захару; заморенная баба продолжала помешивать вальком в кипящем ведре, а сам Брылик, высокий, худой мужик с заросшим лицом, вышел навстречу, выжидающе бегая по лицу Захара глазами. Какая-то печальная, покорная тоска сквозила в его взгляде, как будто в любую минуту он готов был принять и безропотно вынести еще один, следующий удар; Захар пожал ему руку, с удовольствием потянул в себя запах крепкого мясного взвара.

— Ну, ты смотри... Богато живешь, Стась.

— Богаче и не можно,— стараясь в угоду Захару говорить по-русски, Брылик коверкал слова; короткая усмешка дернула его губы, и в глазах болезненно, затаенно сверкнуло.— Пийшли, Захар Тарасыч, побачишь,— и тотчас, не дожидаясь согласия, толкнул дверь.

Захар вышел вслед за ним на улицу; начинало темнеть, с севера наползали слоистые, холодные тучи; солнце уже готовилось скрыться за неровной кромкой тайги, и Захар устало и равнодушно подумал, что кончается еще одна весна, теперь, не успеешь оглянуться, промелькнет и лето, а там опять сезон, с утра до ночи в тайге, на морозе, на ветру.

Распахнув дверку пристройки, сооруженной для дров, Брылик посторонился, пахнуло хорошим, крепким, смолистым деревом; ничего не понимая, Захар обежал взглядом высокие ряды добротно, по-хозяйски уложенных поленьев.

— В угол, Захар Тарасыч, в угол, повыше побачь,— усмехнулся рядом Брылик, и Захар тотчас понял: над дровами, на шестке, висело десятка полтора крысиных шкурок; чтобы не встретиться сейчас глазами с Брыликом, Захар, чувствуя поднимавшуюся тошноту, медленно их пересчитал. В щель под самой крышей пробивалось заходящее солнце, и шерсть на шкурках серебряно дымилась.

— Я тут трошки пораскинул башкой, смастерил таких капканов штук пять,— сказал Брылик, часто, с усилием помаргивая.— Как утро, так и мясо... Нужда заставит придумать хоть чим кишки напихать.

На погоду сквозь тяжелые тучи пробивалась лимонная полоска зари, золотила щель под самой крышей, и Захар хотел уже выйти; задавленный, тягучий всхлип заставил его обернуться.

— Я его все равно порублю, сто лет буду ждать, а порублю,— хватаясь трясущимися руками за ворот, Брылик бессильно опустился на чурбан.— Подсижу за углом и порублю,— повторял он бессмысленно.— Порублю гада...

Захар подошел, сел рядом, достал кисет.

— Не психуй, Стась, давай закурим,— нахмурился он, отрывая полоску газеты на завертку себе и Брылику.— Давай, давай бери, не стесняйся, мне целую посылку махорки сын прислал, холмский табачок, знаменитый...

Попытавшись скрутить цигарку, Брылик просыпал табак, и тогда Захар сам свернул ему; закурили, Брылик несколько раз подряд жадно и глубоко затянулся; глаза у него стали успокаиваться, руки тоже.

— Кучу детей настрогал, а из-за каждого прыща из себя выходишь,— глядя на усеянный мелкой щепой

пол, пожал плечами Захар.— Тут тебе не батька с маткой, загремишь, костей не останется. А они, сопатые твои, что? Ты кому грозился?

— Загреба, сволота,— опять с трудом выдохнул из себя Брылик.— Вчера девка к нему ходила, под утро вернулась... ей всего пятнадцать годов... Убирать у него ходила... ничего никому не говорит, не велел ничего говорить... Приказал, чтобы к вечеру, как стемнеет, опять у него была... Що робить, Захар Тарасыч?

— Подожди, сама она, девка-то? — угрюмо спросил Захар, стараясь не встречаться с большими глазами Брылика.— Что она сама-то?

— Та каже, хлиб ели с колбасой, чай с сахаром пили. Он мне, каже, вина дал, ох, говорит, скусное, так в голове и закрутилось. Домой хлиба принесла...

— Ты вот что, Стась, ты эту думку насчет топора брось, не по тебе она,— заметив на черных, обросших щеках Брылика слезы, Захар отвернулся.— Что теперь... ты сердце зажми, тебе детей поднять надо...

— Та за що, за що такое? — с ненавистью и животной тоской в глазах сказал Брылик.— Хоть бы виноваты были, а то они селян силой заставляли и бандюг, и оружие прятать. А я що? И там он меня давил, и опять... он и тут сухим из воды вышел.— Брылик кивнул в угол сарая.— И меня на поселение, и его на поселение... Собрал шайку... Весь поселок у него в кулаке... Как-то сказал ему с дури: чего ты лютуешь, биты наши с тобой карты, и туточки жить можна,— так вот теперь и не отмолюсь, не открещусь за те свои слова... почти весь паек отдаю, а он все лютует, все лютует... отступник я, предатель... Ох, Захар Тарасыч, Захар Тарасыч... гибель моя эта людина.

— Ты к коменданту хоть ходил? — спросил Захар, стараясь не глядеть на Брылика.

— Не! — испуганно замотал головой Брылик.—Они вместе горилку дуют... дурак начальник... он и его опутал... в кладовщики пролез... Не! А що робить-то? Замучит, гад, в гроб вгонит с детьми... Пусть уж одна страдает... Пушу на срамоту дочку... хай вона, може, не понимает, и то... Хлиб над усим панує...

— Ладно, Стась, пойду я... Ты вот что, еще раз тебе говорю: ты стерпи. Зарубишь, а дальше? Дело хреновое, зататарят куда, не то что солнца, луны не увидишь,— сказал Захар, стараясь не встречаться с ищущим, затравленным взглядом Брылика и чувствуя себя перед

ним в чем-то виноватым.— Раков-то в самом деле дурак... Ладно, злому делу долго не продержаться. Скажи ребятам, с понедельника на работу выхожу... Ну, до скорого...

Не оглядываясь Захар шел домой; нехорошо и зло было сейчас у него на душе. Он не знал, зачем ходил к Брылику, не знал, что можно сделать; жизнь столько раз выламывала ему не только суставы, но и душу, и он не хотел опять впутываться в какие бы то ни было распри с начальством; с тех пор, как ему объявили, что он свободен и может распоряжаться собою и жить где хочет, он, несмотря на трудную работу, на нужду, почувствовал, что постепенно начинает отходить от войны. Каждый день, и особенно после приезда Мани, теперь превращался для него в отдых, и он сейчас, разбрызгивая лужи, сердито шлепал по улице. «Черт, чего меня понесло к этому Брылику? — спрашивал он сам себя.— Что я могу сделать? Так, лишь душу растряс... Пора бы поумнеть. Как же, в зубы к этому бандеровцу лезть! Этот живоглот десятерых таких, как я, проглотит и не почувствует. Закон здесь такой, как он хочет, а скажешь поперек... Об этом все шепчутся, только вслух не решается никто сказать. Один комендант все и решает, а он, видать, от войны остался и одурел... а черт с ним, лучше скукожиться, сердце зажать, не всегда же такая срамота будет, что-нибудь, может, и переменится».

Дома Захар, ни слова не говоря, похлебал надоевшего супа из соленой рыбы, запил кипятком, заваренным корнями шиповника, и лег спать, неотвязно думая, что все равно не выдержит и на днях ему придется быть у коменданта, нельзя же знать все это и промолчать. Черт знает, что может случиться.

Но в субботу, когда ему все-таки встретился комендант, все обошлось сравнительно благополучно; едва только Захар заикнулся о Загребе, комендант, одутловатый, с растрепанным чубом, в форме капитана, тотчас вскинул на него глаза и перебил:

— Молчи, молчи, Дерюгин, сам все знаю... Проверяется это дело, ты раньше времени икру не мечи. Надоело до чертиков,— пожаловался он, хромая рядом с Захаром.— Хорошо тебе — вольная птица,— а мне еще до отпуска трубить... Сейчас бы в Москву закатиться, на бега... У меня ведь там и знакомые есть... Как здоровье-то, Дерюгин?

— Спасибо.— Захар приостановился, прощаясь.— С понедельника выйду, фельдшер говорит, уже можно...

Глядя в уставшее, большое и дряблое лицо коменданта, безвольного и доброго, видать, человека, Захару было трудно сдержаться, и особенно когда комендант улыбался, показывая ровные, белые зубы. Захар так и не стал больше ничего говорить, но комендант неожиданно разоткровенничался, стал рассказывать, какая у него в Ленинграде была квартира и что сейчас он бы не раздумывая уехал домой, да ехать не к кому, вся семья в блокаду сгинула, а в этой глуши осатанеть можно, и Захар, слушая, неловко переминался с ноги на ногу; он не мог понять, почему это комендант все про себя ему рассказывал; но разговор в общем-то был обычным, и Захар окончательно успокоился. Комендант предложил ему папиросу, и Захар, чувствуя на себе беспокойный, какой-то страдающий взгляд, закурил; было ясно, что разговор этот коменданту нужен для души, и, хотя Захару не было никакого дела до коменданта, ему с необычайной ясностью представился залитый солнечным светом двор, полуглухая старушка и рядом с ней шестилетний мальчик в коротких штанишках, ничего не знающий о том, что будет с ним через двадцать лет.

Они скоро разошлись, но по дороге домой, когда Захар проходил мимо дома Загребы, его неожиданно окликнули, и он, оглянувшись, увидел перед собой Романа Грибкина, одного из людей Загребы.

— Здорово, Дерюгин,— сказал тот, поблескивая нагловатыми глазами.— Тебя Павло Михайлович просит к себе зайти.

— Зачем?

— Видать, дело у него к тебе какое-то есть.

— Не с руки вроде, да, если уж дело, можно зайти,— кивнул Захар, краем глаза ухватывая неподалеку на улице две женские фигуры, и скоро был уже у Загребы. Тот, молодой, лет тридцати, с горячими, темными глазами, слегка сутуловатый, тотчас пригласил его садиться.

— Зачем звал-то? — грубовато поинтересовался Захар, отмечая, что они в доме одни и Роман Грибкин куда-то исчез, и в то же время прислушиваясь к непонятным звукам из-за двери в соседнюю комнату.

— Вы так торопитесь? — удивился Загреба.— Жена

рассердится, что ли? Так она у вас, кажется, спокойная женщина.

— Время такое, огород баба просила помочь вскопать под картошку. Думаю в воскресенье по карасей отправиться, говорят, карась хорошо идет... К пайку-то не помешает, сам знаешь,— избегая встречаться взглядом, Захар слепо глянул мимо Загребы, и тот согласно кивнул.

— Что говорить, время трудное...

— Труднее не придумаешь.— Захар с затаенным интересом, присматриваясь к лицу Загребы, сузил глаза.— Позавчера захожу к Стасю Брылику, он у меня в бригаде работает... вас всех в начале зимы пригнали,— теперь Захар уже пристально, почти с вызовом, взглянул в широкие, с легкой молодой рыжинкой глаза Загребы, и тотчас они словно затянулись ледяной пленкой,— захожу, значит, а у него мясом пахнет. Ого, говорю, Стась, все жалуешься, сам мясо лопаешь. Пошутил на свою голову, ведет он меня в сараюшку для дров, показывает... Там на шестке пятнадцать шкурок висит...

— Что?

— Пятнадцать крысиных шкурок, говорю, висит... с хвостами, иду и считаю хвосты. Вот тебе мясо... Поеду с сыном, карасей наловлю, подкину немного Брыликам-то, девять ртов... что хочешь будешь жрать...

— Какая гадость! — вырвалось у Загребы, и его красивое лицо передернулось от отвращения, густо покраснело, даже появились на лбу и щеках какие-то темные частые пятна.

— Надо же как-нибудь помочь.— Захар кашлянул, с каким-то болезненным любопытством наблюдая за Загребой и отмечая про себя каждую мелочь.

— Помочь надо, да всем не поможешь,— Загреба взвинченно и в то же время с холодной картинностью распрямился.— У каждого один паек и есть.

— Детей жалко, сопатые, совсем как голодные волчата. Чем они-то виноваты? Какие из них люди потом получатся?

— Какие надо получатся, Дерюгин. Вырастут вот на таких харчишках, все сразу поймут. А ты что о всех заботишься? — спросил Загреба, прищуриваясь.— Ты не в тайных ли комиссарах здесь ходишь?

— Пора мне, парень,— сказал Захар, тяжело поднимаясь, но Загреба мягко и скоро пошел кругом него.—

Видать, у тебя тут,— Захар крутанул пальцем у лба,— перекосяк...

— Вот что, Дерюгин,— сказал Загреба с какой-то ласковой вкрадчивостью.— Ты, конечно, больше моего на свете протопал... Видел больше, нам друг у друга занимать не к чему. Хороший совет послушаешь? Так мало надо для покоя и счастья: всего лишь не совать нос в чужое...

Уставившись куда-то в стену, Захар молча курил; разговорчивость Загребы была далеко не случайна, сквозь его тихие, обтекаемые слова нет-нет и проступала звериная, мертвая хватка, и теперь Захар твердо знал то, что шепотом, оглядываясь, говорили об этом человеке, все правда, да еще, по всему видать, самая ее маленькая часть, которая каким-то образом пробивалась наружу. Обдумывая положение, Захар изредка говорил себе: «Так... так... так...» — и сыпал пепел на пол, все было ясно: и то, зачем его позвал Загреба, и то, что он хотел от него. Разбирало любопытство: куда дальше этот пан учитель, как тайком называли Загребу в поселке, вильнет? «Взять бы и сказать попросту, что зря он замысловатые петли вокруг вяжет, но как скажешь? — усомнился Захар.— Пока суть да дело, пристукнут где-нибудь в глухомани, не выберешься, Маня с детьми тут пропадет, затрут вот такие сволочи, вон ведь как кружит, стервятник. Значит, какой-нибудь холуй уже донес, может, и сорвалось где с языка, а он сразу на мушку, в самом зародыше давит». Не меняясь в лице, Захар слушал, в то же время отыскивая выход. Видать, следствие до всего не докопалось насчет этого бандита, здесь, на месте, с ним не сладишь, у него человек десять головорезов, что хочешь по его слову сделают. «Встретить бы тебя где-нибудь в глухом углу,— с холодной беспощадностью подумал Захар.—Тогда бы и поговорили начистоту».

В этот момент между ними что-то намертво и замкнулось: Загреба, чуткий, привыкший хоть и к негласному, но немедленному подчинению, натолкнулся на глухую, враждебную, непримиримую волю; это было так непривычно и ново для него, что он засмеялся, вздрагивая породистыми, тонкими ноздрями.

— Знаешь, Дерюгин, заходи ко мне сегодня вечером,— неожиданно предложил он.— Поговорим по-хорошему, не на ходу. Мне на склад пора, запчасти на тринадцатый участок выдать...

Захар знал, что соглашаться нельзя, что это ловушка, но в голосе Загребы прозвучала неуловимая ирония, почти издевка, и Захар намеренно потянул предложенную нить.

— Приходи часикам к девяти, посидим, пива сегодня свежего подбросили. У меня действительно разговор деловой есть. Как, не испугаешься? — в зеленовато-темных глазах Загребы что-то приоткрылось, и потянуло этаким неприятным сквознячком.

«Вот оно что, первый заход не состоялся,— догадался Захар.— Теперь он полегоньку назад пятится, в нору убраться... мне тоже вроде свободу отступиться дает... Молодец пан учитель».

— Приду, Загреба,— неожиданно кивнул он, и еще раз что-то приоткрылось у Загребы в глазах, но теперь это продлилось дольше...

«А-а, черт с ним,— решил Захар, останавливаясь на крыльце закурить и отчетливо осознавая, что, поддавшись темному минутному чувству, совершил, видно, крупный промах.— Что ж теперь, прямо под ноги ему? Ложись, пусть, как слизняка, топчет... Ах, волчонок! Не на такого нарвался, всю жизнь людям в глаза прямо глядел, а теперь что? Ничего, съест, сволочь такая!»

Песчаные пологие холмы в редких кедрах вокруг поселка начали слегка, почти незаметно для глаза, подергиваться зеленоватой дымкой; Захар жадно вдохнул еле угадываемый знакомый запах зелени и впервые за все последние годы ощутил, что он дома, что это скудное, песчаное, утопающее на все четыре стороны в лесах пространство — тоже своя земля и что этого у него никто не сможет отнять ни при жизни, ни в смерти, и ему стало невыносимо больно; острыми, загоревшимися глазами он обежал зубчатый далекий горизонт.

14

Вечером, несмотря на упорное неодобрение Мани и ее настойчивые попытки удержать его дома, Захар пошел к Загребе. Он понимал Маню, но еще лучше он понимал, что если сейчас испугается и не пойдет, от этого нельзя уже будет потом оправиться. Было видно, что Загреба ждал, он тотчас позвал Захара на жилую половину, отделенную от кухни капитальной стеной из кедровых бревен и толстой, массивной дверью, вручную

затейливо окованною по углам; как только Захар переступил порог, в глаза ему бросилась большая, прикрепленная к стене полка с книгами и рядом с нею картина в золоченом багете, изображавшая двух обнаженных до пояса женщин с молочно-розоватыми грудями; в приоткрытую в другую комнату дверь виднелся угол спинки широкой деревянной, с резьбой, кровати. Стол был уставлен бутылками с пивом, настойками, разнообразной закуской — соленой рыбой, вяленой медвежатиной, нарезанной большими кусками, остро пахнущим сыром, посреди красовался графин с разведенным спиртом. Потирая руки, Загреба подмигнул Захару уже как своему; он был теперь в хорошем шерстяном костюме в мелкую полоску и белой рубашке с отложным воротом; от этого, вероятно, он еще больше помолодел, в глазах у него проскальзывала веселая насмешка.

— Раздевайся, Дерюгин, к столу, к столу, весь день кое-как, на сухомятке... давай!

Пока Захар раздевался, Загреба успел налить; Захар взял свой стакан, и снова чувство близкой опасности заныло в нем; он чокнулся с Загребой, все с той же ожидающей усмешкой глядевшим на гостя, и выпил.

— Закусывай, Дерюгин, не стесняйся,— подбодрил Загреба и, только дождавшись, когда Захар неловко подцепил на вилку кусок медвежьего окорока, поморщился, проглотил полстакана разбавленного спирта и сразу же сунул в рот папиросу. Захар с интересом, не торопясь разжевывал твердую, отдающую неведомыми таежными запахами медвежатину; Загреба тем временем несколько раз глубоко затянулся и тотчас налил из графина еще. Захар покосился на его тонкую в кисти, бледную руку; вяленая медвежатина ему понравилась, и он взял еще, уже несколько размякнув от выпитого спирта, но чувство настороженности не проходило. «Однако что ему нужно, этому пану учителю? — подумал он.— Этот на пайке не будет сидеть... Не за красивые же глаза он меня поит-кормит? Сам ничего не жрет, смотри-ка»,— подумал Захар, отмечая, что и вторую порцию спирта Загреба закусил все той же папиросой и сидел все так же прямо, с беспокойным блеском в глазах, лишь еще сильнее побледнел. Он почти сразу налил в третий раз; Захар, качая головой, продолжал есть, и Загреба как бы забыл о нем, ушел в себя; пьянея от мяса больше, чем от спирта, Захар привольно откинулся на спинку стула, потянул из кармана кисет.

— Вот налопался,— сказал он благодушно.— Спасибо, не ожидал...

— Давай, Дерюгин, еще,— кивнул Загреба на стаканы.

— Премиальные, что ли, заколачиваешь? Погоди, давай покурим,— Захар отодвинул от себя стакан.

— Что ж, каждому по потребностям, выпью,— сказал Загреба и поднял стакан.— За твое здоровье, Дерюгин.

— Закуси лучше, кишки опалишь,— посоветовал Захар, видя, что Загреба опять посасывает папиросу, но тот не отозвался на это.

Перекидывая из угла в угол рта изжеванный окурок, он, казалось, совсем забыл о госте. «Черт с ним,— решил Захар.— Сейчас поднимусь и пойду, очень он мне нужен со своими выкрутасами». Загреба, угадывая, предупредил:

— Наверное, Дерюгин, сидишь и думаешь: какого он, мол, черта позвал меня? Так? — все с той же долгой, неисчезающей усмешкой на бледном лице качнулся он к Захару.— Что, мол, ему надо от меня?

— Думаю, как же, мне не думать нельзя.

— У меня действительно есть разговор к тебе, Дерюгин.— Загреба глянул поверх головы Захара.— Но... без всяких недомолвок, человек ты умный и должен понять. Обо мне в поселке много всяких мерзостей болтают. Что я зверь, девок к себе таскаю, сердце во мне мохнатое... ведь говорят, Дерюгин?

— Я к тебе, парень, в стукачи, кажется, пока не нанимался,— принял вызов Захар и, намеренно располагаясь свободнее, расстегивая верхнюю пуговицу на рубашке, вольготно вытянул ноги.

— Не то, не то,— с досадой остановил его Загреба.— Совсем не то. Мелешь какую-то чушь... Я человек маленький, я от скуки здесь подыхаю... К тебе люди тянутся, ты в передовиках ходишь, а люди тянутся к тебе, хотя здесь передовиков не любят. Значит, ты зачем-то им нужен. Зачем же?

— Только и всего? — озадачился Захар, вернее, сделал вид, что озадачился.— Не знаю. У меня время на разную чепуху не остается. Знаю свое дело, а больше не надо.

— Разумеется... ты прав, каждый должен знать, что ему надо и зачем,— подхватил Загреба.— Но это не всегда, не всегда, Дерюгин. Сколько таких, чего-то ему

хочется, все-то он мечется, ищет, а чего — точно и не знает.

— Ты-то не из таких, у тебя прицел точный,— заметил Захар; он помедлил, обдумывая складывающуюся ситуацию, повертел в пальцах стакан со спиртом.— Выпьем,— предложил он теперь уже сам, все с тем же легким вызовом в глазах, который можно принять и за дружескую усмешку.

Загреба отхлебнул, задержал во рту огненную горечь почти неразбавленного спирта; теперь, после третьего раза, к сердцу подступила долгожданная легкость.

— Ты прав, Дерюгин,— Загреба свободно переходил от одной интонации к другой.— Ты себя, видать, привык уважать, я это чувствую, твое к себе уважение, но человек — он что такое? Он должен порядок понимать, свое место в общем ранжире. А какое твое место в этом ранжире? Признайся, самое последнее... Я тебе честно скажу: ты меня сразу заинтересовал, долго я к тебе приглядывался. Вот, думаю, удивительный характер: свободен, как птица, лети в любую сторону, а он здесь, в этом болоте, торчит. Я бы на его месте минуты не ждал... Интересно! Интересно! Все просто объясняется,— Загреба широким жестом указал на стол.— Почему бы, думаю, не встретиться, не узнать для себя чего-нибудь нового? Мне здесь десять лет знаменитого русского комара кормить, нужно приспосабливаться. Открой мне, Дерюгин, свой секрет: что тебя здесь держит? Все ведь бывает, вероятно, и мне после нашего разговора легче станет, увижу то здесь, чего пока никак не найду... Что это за жизнь без всякого интереса? Согласен?

— Темнишь, Загреба,— не принял его откровенности Захар.— Так не бывает, чтобы совсем без всякого интереса... Что-нибудь да подвернется...

— Есть, Дерюгин, есть,— с досадой согласился Загреба, с виду совершенно трезвый.— Но ведь это в данном случае такая мелочь... тьфу! Допустим, иду по поселку, все знают, что это я иду, какой-то затюканный кладовщик по здешнему ранжиру. Стараюсь, чтобы поменьше замечали, а если кто-нибудь вроде тебя, Дерюгин, лишний раз поглядит, мне уж и не по себе. Начинаешь мучиться: почему да как? Это, что ли, эликсир жизни, ради этого гнить? А рядом свободный человек держится за это место, которое бы ты и в кошмарном сне не хотел увидеть, любопытно ведь! — Загре-

ба быстрым движением выплеснул в себя остаток спирта из стакана, впервые отщипнул хлеба и бросил в рот.

— Задачку ты занозистую завернул, парень, орел,— откровенно признался Захар.— Как ты ее будешь распутывать...

— Знал я, Дерюгин, что ты человек с нутром, потому и позвал на свободе поговорить, без помех. Только ты проще, проще, ничего лишнего не думай, не ищи...

В это время за дверью в соседнюю комнату послышалась какая-то возня, царапанье, а затем и легкое повизгивание; Захар понял, что это знаменитая немецкая овчарка Загребы по кличке Яшка, с которой он не разлучался, и по бледному лицу Загребы тотчас расползлась радостная улыбка.

— Заскучал, заскучал, Яшка,— сказал он, твердыми шагами подходя к двери и впуская поджарого, с темной спиной и с подпаленым животом, остроухого зверя ростом со стол; тотчас припав слегка на задние лапы, пес тихо зарычал на Захара.

— Силен псина,— одобрительно усмехнулся Захар, в то же время чувствуя, как невольно тяжелеют, напрягаются руки.

— Спокойно, Яшка, здесь свои,— сказал Загреба, похлопывая собаку по загривку; Яшка выжидательно поглядел на хозяина, подошел к столу, тщательно обнюхал ноги Захара и лег на пол. Загреба бросил ему несколько больших кусков мяса; Яшка ловил их в воздухе и глотал, почти не разжевывая, и Загреба с минуту любовался псом, методично и твердо постукивающим кончиком хвоста об пол. В их отношениях улавливалась какая-то глубинная, не совсем обычная связь; этого кобеля в поселке боялись не меньше самого Загребы. Захар знал, что лучше всего поступить именно по словам Загребы: быстро, не мешкая, собраться и куда-нибудь уехать,— но с такой же определенностью он знал, что никогда этого не сделает, тем более после того, что ему сейчас приоткрылось; нельзя было подчиняться желанию этого недобитого бандеровца, хотя бы потому, что он именно этого и хотел и вел к этому дело. «Черт с ним, пусть себе побесится, никакой Загреба ему не указ, даже интересно становится. Будь он сам помоложе, он бы тоже мог сейчас и промахнуться, наговорить этому бандиту кучу всего, но теперь, когда он хорошо узнал цену зря брошенному слову, еще посмотрим, кто кого объегорит».

— Первый раз медвежатину пробую,— вспомнил Захар, изучающе глядя на Загребу, словно ожидая от него новых, необыкновенных откровений.

— Понравилась? Хочешь, достану,— предложил Загреба.— У меня знакомые охотники из местных есть...

— Неплохо бы,— согласился Захар, втягиваясь все глубже в какую-то запутанную игру и начиная уже опасаться этого; но и Загреба, в какой-то мере позабыв об осторожности, закусил удила, чувствуя перед собой непокорную, в чем-то, несмотря на грубость и, как ему казалось сейчас, прямолинейность, насмешливую силу; тут уж на первый план выходило нечто совсем простое, вроде того что встретились два козла на бревне через ручей...

Вовремя уловив это, Загреба хлебнул из стакана еще, совсем дружески улыбнулся Захару, и тот ясно представил себе, как Загреба по вечерам, запершись в одиночестве, в присутствии умного кобеля мертвецки напивается, засыпает где придется и кобель лижет горячим языком ему лицо. «Ах ты зверь! — подумал Захар.— Значит, я тебе мешаю на этой земле...» И еще мелькнуло, что надо, пока не поздно, как-то вырваться поскорее, Маня с детьми теперь тревожится, черт знает что думает; но именно с этого момента Загреба, все-таки не удержавшись, закуролесил, и началось главное, затянулось до полуночи.

— Вижу, вижу,— горячо и зло сказал он, и Захар краем глаза уловил, как все в облике собаки, вроде бы и не шевельнувшейся, переменилось.— Ты вот сидишь, Дерюгин, а что думаешь обо мне? Гад, мерзавец, может быть, ещё хуже... Пей! — внезапно повысил голос Загреба, одобрительно оглядываясь на немедленное предупреждающее рычание пса.— Пей, вместе со мной пей!

— Не ори, Загреба, закусывать надо было,— посоветовал Захар почти спокойно.— Ты, видно, совсем меня плохо знаешь. Насильно ты меня ничего делать не заставишь, я не таких видел. А выпить я еще выпью, сколь хочу... выпью.

— Вот и хорошо.— Загреба задержал дыхание, вылил в себя спирт; Захар подумал и последовал его примеру, не забыв при этом опять потянуть к себе блюдо с мясом, и, выбрав кусок поаппетитнее, откусил от него.

— Хорошо, правда, Дерюгин? Сидишь, пьешь со мной, а что ты обо мне знаешь, Дерюгин? — жестко, в упор, повел свое Загреба, и Захару показалось, что он

все время словно идет по какому-то кругу, все сжимая и сжимая его к центру; сжимает и словно боится того, что должно будет случиться.— Что ты, я спрашиваю, знаешь обо мне?

— На кой черт ты мне нужен? — разозлился Захар.— Ну, скажи, какой мне от этого прибыток, Загреба? Без тебя хватает забот...

— Если ты действительно умный, поймешь. Мне тоже душу освободить хочется,— ясно и четко признался Загреба.— Я что, по-твоему, на свет вот так взял поселенцем и родился? Мне, Дерюгин, в детстве большую судьбу предсказывали, слышишь? — понизил он голос.— Не знаешь ли, а, почему это я проиграл, Дерюгин?

— Не знаю,— Захар глянул в сторону, потому что на него пахнуло чем-то невыносимо понятным и в то же время жалким и беспомощным.

— Вот, не знаешь,— словно обрадовался Загреба.— Я все знаю... Только сказать нельзя... Пожар у меня все по ночам в голове, Дерюгин... мозг горит. Неужели все только приснилось — надежды, счастье, сказочные страны,— все рассыпалось падучей звездой? Теперь только тьма, комарье,— передернул плечами Загреба,— медвежатина, бандиты, грязь...

— Вот, вот, здорово говоришь,— слегка подался к нему Захар, чувствуя какое-то непреодолимое желание противоречить и понимая, что Загреба ни на секунду не выпускает его из-под контроля.— Бывает и так, грязью по грязи, чтоб погуще было. Ничего и не разберешь.

— Ты чистеньких в этой жизни видел, Дерюгин? — быстро спросил Загреба, с наслаждением отмечая на лице Захара признаки некоторой растерянности.— Если видел, значит, с особой породой встретился... Грязный мир, все в грязи потонуло. Что ж ты молчишь, Дерюгин? Что это у тебя по лицу пробежало?

— Пошел ты, тоже, артист нашелся! — огрызнулся Захар, чувствуя, что невольно подпадает под чужое настроение и власть.— У меня своя жизнь, у тебя своя. А если мне неинтересно с тобой?

— Потому и неинтересно, что возразить нечего...

— Брешешь, брешешь,— в тон отозвался Захар, лихорадочно погружаясь в свое прошлое, бесконечное, близкое, жадное, но сейчас в голову не приходило ничего подходящего, и он с неприязнью глянул в жду-

щие глаза Загребы; тот с чуткостью зверя понял это, радостно и шумно дохнул.

— Давай лучше выпьем, Дерюгин,— предложил он.

— Пить так пить,— согласился Захар, уходя и от самого себя, потянулся к стакану.— Только вот что, Загреба, за твои слова я пить не буду, тут мы с тобой на разных дорогах. Если ты девку принудишь, к примеру, спать с тобой...

— Кто их принуждает? — Загреба как-то возбужденно и неодобрительно засмеялся.— Сами во все дыры прут, ты верь больше всякому бабьему трёпу, они...

— Слушай, Загреба, молчи,— попросил Захар.— Лучше еще выпей.

— Бесполезно, на меня не действует.— Загреба пренебрежительно махнул на графин.— У меня такой редкий организм, невосприимчив к алкоголю. Так, чуть-чуть... Слышал об этом? Черт с ним, как говорят местные людишки, хотя порой жалко...

Захар с готовностью взял свой стакан и проглотил теперь безвкусный, слегка вяжущий во рту спирт; он не мог сейчас до конца понять сидевшего с ним за столом человека, не мог понять, к чему тот вел дело, и хотел поскорее вернуться к своим необходимым и привычным делам. Но он не мог встать и уйти, не хотелось бы уступать Загребе так просто. Кроме того, за этим таилась еще какая-то, более значительная, опасность.

Делая вид, что слушает погрузившегося в воспоминания, куда-то в свое детство, Загребу, иногда про себя посмеиваясь, Захар в то же время с особой ясностью представил главное, что случилось с ним в последние годы, особенно после того как он, уже находясь в отряде словацких партизан, вновь попал в плен и в неразберихе германского отступления опять остался жить, хотя по всему должен был бы погибнуть, был затолкан в какой-то смрадный, битком набитый вагон, несколько дней куда-то несущийся и в конце концов очутившийся среди англичан. И то, что с ним случилось даже в последние два-три года, самому ему сейчас показалось совершенно невероятным, словно он прочитал об этом в книжке или кто со стороны ему рассказал; он не мог даже представить себе, что все это он прошел и вынес, сидит вот в глуши уральской тайги, пьет спирт с этим «паном учителем», для которого и в самом деле нет законов, и что только это сейчас и есть настоящая жизнь. Двусмысленное недоумение Загребы насчет до-

бровольной жизни в этих местах приоткрылось иной стороной: он подумал, что зря заманил сюда Маню с детьми, да и зачем ему действительно сидеть в этой чертовой дыре с ее лагерями и бандитами?

Он горестно покачал головой от этой мысли.

— Видишь, согласен, согласен,— говорил в это время Загреба, истолковывая движение Захара по-иному, по-своему.— Я сюда двадцати восьми лет попал, сам не знаю, за что... В исторических склоках права личности всего лишь пустой звук, подул — и нет ничего... Ф-ф-у! А здешнее царство, Дерюгин...

— Ладно, спасибо за хлеб-соль.— Захар тяжело поднялся, пошевелил плечами.— Пора мне...

— Раз пора, иди, иди, удерживать не намерен,— вскинул на него беспокойные глаза Загреба; пес в это время тоже встал, потянулся лениво, пошел и лег поперек двери.

— Ишь ты, скотина,— понимающе изумился Захар и с недоброй, тихой миролюбивостью посоветовал: — Ты его, Загреба, лучше убери. А то я и ножичком могу псину-то, у меня такой ножичек с собой. У меня жена, дети, мне кормить их надо... огород надо завтра копать.

— Яшка, сюда! — позвал Загреба пса, тотчас шевельнувшего хвостом и отошедшего от двери.— Не так подумал, Дерюгин... иди... И не забывай, о чем я тебе говорил. Что ты, в самом деле, здесь забыл? Места на земле много... А здесь неинтересно, здесь если только в уголок забиться, притихнуть... не по твоему это характеру, Дерюгин...

— Места много, да и людей тоже,— пробормотал Захар, уже совсем намереваясь уходить и только раздумывая, попрощаться ему или нет.

— Еще вот что, Дерюгин,— неожиданно добавил Загреба.— Этот Брылик из твоей бригады как будто топором меня грозился срубить. Ты ему там кинь пару слов... а? Что он бесится, невинного человека марает... Зачем же?

Загреба говорил так спокойно и ясно, что Захар подумал: уж не под стол ли он сливал свой спирт; слегка расставив ноги на прочном полу из кедровых досок, не отвечая, он с холодным, спокойным лицом ждал пояснения.

— Ну, прощай, Дерюгин...

— Бывай, Загреба.

Захар толкнул тяжелую дверь, чувствуя на себе два взгляда — человечий и собачий, горячий, звериный; он помедлил, повернул голову.

— Ты знаешь, Загреба, ей-богу, не знаю, кому из нас притихнуть надо. Ты бы тоже подумал, сколько веревочке не виться, конец будет. Никак в толк не возьму, на что ты рассчитываешь?

Ощупью отодвигая щеколды и скидывая с петель крючки, он вышел на улицу; сырой, холодноватый ветер ударил ему в лицо, и шум тайги вокруг поселка, уже по-летнему тревожный, словно чего ждущий, охватил его. Несколько окон слабо светилось в сплошной тьме; с удушьем у горла он почувствовал, как безгранична и густа тьма кругом, и какая-то прежняя, молодая ярость вспыхнула в нем. «Ах, сволочь, ах, звереныш,— злился он.— Ноздри-то у него как ходили... как на свежую кровь... а? Подожди, жизнь, она тебя еще покрутит, она не из одних девок сопатых...»

Где-то во мраке прорезалась светлая широкая полоса, и оттого свистящий вокруг ветер стал еще гуще. Стремительно и мощно проносились мимо минуты, часы, года, сердце еще раз радостно ворохнулось и улеглось на место; что бы ни толковал Загреба, какая бы червоточинка ни заныла и у самого под сердцем, еще были дети, и он не хотел и не мог жить, забившись куда-то вот в такую беспролазную тьму.

15

Лето пришло и покатилось своим чередом, цвели лиственница и кедр и прочее дерево; ветер нес нескончаемые волны тончайшей пыльцы, цвела неяркая, скудная северная земля, по ночам в ее глухоманях, в отошедших от зимы болотах и многочисленных озерах слышались тяжелые, трудные вздохи, всплески, а то начинали суматошно кричать утки, или взгоготнет потревоженный гусь, или еще какая водяная птица. А то родится и разнесется далеко вокруг и совсем уж непонятный звук, настолько он необычен и необъясним, что те, кому приходится его слышать где-нибудь в пути, на ночевке у костра у светлой таежной речушки, тут же настораживаются и замирают и долго потом стараются понять, что же это за таинственный, далекий и властный зов, на голос которого тотчас отозвалась вся кровь?

Из какой бесконечности пришел он, отчего волнует? Смутно, неясно, со звенящей тоской чувствует в эти минуты человек свою тесную, неизъяснимую связь с тьмой глухих, ушедших времен, отдаленный, еле слышимый, мучительной первобытной страстью наполнивший сердце голос разольется в нем сладостным ядом, жадной горечью жизни. Невольно тянется человек навстречу тому, чего не может ни назвать, ни определить...

После странного, тягостного разговора с Загребой Захар ушел в себя и помрачнел; чтобы не пугать жену, он ничего не сказал ей о сути их с Загребой столкновения, Загреба же при встречах был приветлив и охотно заговаривал первый, как бы много вокруг ни собиралось людей. А третьего дня, когда они встретились наедине (Захар вывернулся из-за угла навстречу Загребе, сам того не желая), тот поздоровался, остановил его, предложил закурить, будто были они лучшими в мире друзьями. Закурили из портсигара Загребы, попыхали белесым пахучим дымком, таявшим на ветру; рядом с Загребой, влажно поблескивая темными глазами, как изваяние, без единого движения, застыл пес.

— Как, Дерюгин, ничего не надумал? — дружелюбно улыбаясь, спросил Загреба, и Захар в ответ ему охотно засмеялся.

— Шутник ты, парень... Самый карась пошел, какие тут могут быть думки? — возразил он, не упуская беспокойных, как бы хмельных глаз Загребы и от этого сам невольно зажигаясь.

— Карась, говоришь, идет? — Загреба задумчиво поковырял землю носком сапога, словно и не было последних слов Захара.— Это хорошо, карась... детишки, зимы здесь долгие... на окнах узоры — глаз не отведешь, красота...

Перекинувшись двумя-тремя незначительными фразами, они разошлись; не забывая о Загребе, но и не слишком-то задумываясь о нем и его выкрутасах, Захар все так же ходил на работу, копался дома по хозяйству, подконопатил и просмолил заново лодку, перебрал сеть, починил вентеря, затем, выбрав свободное время, в одночасье смотался с Илюшей и расставил их в облюбованном месте и в выходной, еще на заре, отправился за добычей.

Шлепая веслами по воде и глядя на вихрастый затылок Илюши, сидевшего на носу лодки с небольшим

багром и внимательно смотревшего в воду перед собой, чтобы уберечь лодку от столкновения со случайной корягой, Захар дышал легко и свободно, с удовольствием, цепко посматривал по сторонам. Поросшие густым тальником берега узкой протоки медленно ползли мимо, кое-где в высоких местах тайга подступала к самой воде. Часто встречались подмытые в весеннее половодье, сильно наклонившиеся к реке деревья, в любой момент они готовы были рухнуть в воду, и Захар старался протолкнуть лодку под ними поживее, усиленно работал веслами; даже слабый порыв ветра мог обрушить в реку почти лежащее плашмя дерево. Старую глухую протоку километрах в тридцати от поселка, тихой, глубокой петлей врезавшуюся в тайгу, Захар знал достаточно хорошо; к осени она мелела, течения в ней почти не ощущалось, проступали желтовато-серые плесы. Но в самый разлив, как сейчас, тихая протока наполнялась тугой, стремительной силой, и чтобы подняться вверх, приходилось хорошенько попотеть, хотя все равно это было и приятно.

Захар удивился про себя, как сильно прибыла вода и усилилось течение за три дня, с тех пор, как они с Илюшей ставили вентеря, на тот же самый путь вместо трех-четырех часов пришлось затратить чуть ли не втрое больше; в одном месте перерубили толстую коряжину, в другом, натолкнувшись на залом, протащили лодку по берегу.

Поглядывая на низившееся к тайге солнце, Захар уже знал, что они сильно запаздывают. «Назад придется ночью добираться,— встревоженно подумал он,— темень с вечера, хоть глаз коли... Правда, вниз-то по течению легче, если бы не бурелом, а то на каждом шагу коряжины... недолго и до беды. Придется заночевать, кстати, и на работу в понедельник в ночную, успею...»

— Пригнись, Илья,— предупреждающе сказал Захар, проводя лодку под стволом валежника, еще каким-то чудом горизонтально державшегося над самой водой.

Илья с неосознанным щегольством молодости наклонил голову ровно настолько, чтобы проскочить, и в волосах у него остались кусочки красноватой сосновой коры. «Все-таки задел башкой»,— подумал Захар весело, но вслух ничего не сказал: боялся спугнуть парня, сын понемногу стал привыкать к нему и между ними только-только начали выстраиваться с виду грубовато-

ласковые, но на самом деле глубокие, доверительные отношения. Они понимали друг друга без слов, вот и сейчас в ответ на предупреждение отца Илюша только кивнул, привычно откинув длинную прядь со лба, и Захар по-доброму усмехнулся, подумал, что совсем не заметил, когда Илья превратился в почти взрослого парня с широкими, сильными плечами, с упрямым, ершистым затылком и с явным сознанием какой-то своей внутренней правоты и силы. И к чему о чем-то жалеть? Вот она, жизнь, сидит перед ним на носу лодки, напряженная, жадная; все нормально, все как и должно быть, а больше ничего и не надо.

Еще издали Захар увидел знакомое, давно облюбованное им место: высокий обрыв с двумя раскидистыми, резко выделявшимися в голубизне неба кедрами, дальше протока сразу же широко разливалась, затопляя низкие травянистые места; над ними густо чертили предвечернее небо чайки. Вскоре лодка ткнулась носом в мягкий песок небольшой чистой отмели, и Илюша легко выпрыгнул, потянул лодку за собой.

— Доехали... Вот простору человеку дано, а ему, ненасытному, все мало,— сказал Захар, освободив весла из уключин. Разминая затекшие ноги, он переминался с одной на другую, с наслаждением вглядывался в неизмеримую даль затопленных половодьем низинных мест; кое-где густыми островами торчали верхушки тальника.— Заночуем, Илья, в темноте сейчас опасно. Накомарник возьми, сушняка надо собрать на ночь, ухи сварить... Есть-то хочешь?

— Хочу... эх, здорово!— не удержался Илюша, в одну минуту взлетая на обрыв, к кедрам, где он уже бывал с отцом.

Захар вытянул лодку подальше на песок, выложил из нее все, что было нужно для ночевки, на берег, затем опять столкнул на воду, и через несколько минут уже вытряхивал из вентеря набившихся в него карасей для ухи; толстые, тяжелые рыбины шлепали хвостами по днищу лодки, зевали, подскакивали; Захар поставил вентерь на место, закрепил его и скоро уже ловко и быстро чистил еще не совсем уснувшую рыбу, потрошил, прополаскивал ее. Илюша тем временем натаскал сушья для костра, нарубил еловых лап для ночлега, быстро натянул над ними марлевый полог; управившись, они присели у костра с весело булькавшим над ним казанком. Было еще светло, хотя уже чувствова-

лось приближение ночи: в низинах начинал коптиться предвечерний сумрак, над протокой местами белесо задымился первый туман.

— Рыбу будем завтра выбирать? — спросил Илюша, покашливая от дыма и делая вид, что ему совершенно безразлична начинавшая сильно и аппетитно попахивать уха; Захар взглянул на него, засмеялся, отмахиваясь от все густеющей стены комаров.

— Завтра с утра пораньше и выберем. Под пологом ужинать-то будем? А то не дадут...

— Это дело я сейчас налажу,— с готовностью отозвался Илюша.— А скоро доспеет?

— Можно снимать. Что карасю вариться? Закипело варево — и готово.

Илюша подсунулся под полог, завозился, устраивая место для еды; скоро Захар передал ему казанок с дымящейся ухой, предварительно отмахнувшись от комарья, залез и сам, увидел аккуратно разложенные на чистой тряпочке ложки, два куска тяжелого, сырого хлеба, тут же была сероватая крупная соль в коробке из-под спичек. Захар мысленно похвалил сына; скоро они оба хлебали жирную, наваристую уху, стараясь растянуть хлеб подольше; Илюша отвалился от казанка первым, откинулся на слой свежих, пахучих еловых лап.

— Ох, наелся,— сам себе удивился он.— Гляди, живот лопнет.

— Ничего, цел будет,— осторожно выбирая из ложки кости, ответил Захар.— От еды никто еще не пропадал. Знаешь, твой прадед, дед Макар, говорил, что по сытому брюху хоть обухом бей, не повредишь.

По-крестьянски старательно добрав из казанка остатки ухи, Захар, брякнув ложками, выставил его из-под полога, откинулся на спину.

— Ты спи,— сказал он сыну.— Покурю, сам вымою...

— Мы так, батя, не договаривались,— не согласился Илюша, выскользнул из-под полога, сбежал с казанком к воде, на ходу хватая пучок травы; теперь вечерний сумрак уже основательно заливал тайгу, и только на востоке от вершин деревьев шло синевато-мглистое сияние.

Глубокая тишина, нарушаемая всплесками рыбы да криками какой-то птицы, возившейся на мелководье неподалеку, лишь подчеркивала это неодолимое наступ-

ление ночного покоя. Почти вся протока была покрыта толстым слоем неизвестно откуда взявшегося, клубящегося у берега тумана; Илюша опасливо шагнул в него и тотчас утонул в нем чуть ли не до подмышек; ни рук, ни казанка не было видно. Илюша оглянулся, костер на высоком берегу дрожал, словно переменчивый золотой куст, стволы кедров в его свете сочились, переливаясь красновато-темным золотом. Впервые смутное, щемящее волнение от таинственной красоты ночи вошло в его душу; захотелось сделать что-то необычное: побежать, прыгнуть с высоты, полететь; что-то обострилось в нем до такой степени, что он услышал тихий, вкрадчивый шорох трущегося у его ног тумана. И еще ему показалось, что он слышит чей-то нежный голос, словно кто-то позвал его. У него сильнее забилось сердце, захотелось скорее отбежать от берега и оказаться рядом с отцом. Он сдержался, нырнул в туман, почувствовав его влажную прохладу лицом, ощупью подобрался к воде и тщательно вымыл казанок и ложки. И только потом, стараясь не торопиться, вернулся к костру, поставил казанок и ложки просушиться. Захар сонным голосом позвал его из полога спать.

— Сейчас, батя, иду, иду,— отозвался он тихо, не шевелясь, широко открытыми, немигающими глазами глядя на огонь, всем своим существом ощущая, какая большая, скрытая в ночи жизнь вокруг и что, по сути дела, ему мало что ведомо в ней, ему даже почти ничего не известно об этом большом сдержанном человеке, спящем рядом, за пологом, своем отце, хотя он любил его как-то пронзительно, до дрожи, до боли в сердце с тех самых пор, как узнал.

— Батя,— окликнул он негромко, стараясь не потревожить покоя вокруг.

— Что, сынок? — сонно отозвался Захар.

— Скажи, батя, ты о Густищах-то вспоминаешь?

Уловив в голосе сына непривычную грусть, Захар открыл глаза, сон у него как-то сразу пропал.

— Думаю, Илья, как не думать, вся жизнь, считай, там прошла.

Захар говорил вначале из-под полога, затем выбрался наружу, подбросил в огонь сучьев, устроился рядом с Илюшей и тотчас потянул из кармана кисет. Говорить ему не хотелось, лучше бы помолчать, но какое-то предчувствие подсказывало ему, что сейчас нужно, несмотря на трудный день, не спеша посидеть у костра,

может, и потолковать о чем-нибудь вдвоем. В кустах что-то шумно затрещало; оба насторожились, а Захар быстрым, привычным движением подтянул к себе ближе топор, лежавший у костра, но все опять затихло, лишь еще раз слабый шум послышался где-то очень далеко.

— Зверь балует, что ли,— подумал вслух Захар.— Тут лоси есть, кабаны, медведь попадается... Правда, редко, напуган он теперь везде нашим братом.— Несколько минут они еще чутко прислушивались к тайге.— Знаешь, Илья, давай как-нибудь выберем часок посвободней, я тебе все расскажу про Густищи, парень ты уже взрослый, пятнадцать лет на свете топаешь.

Достав из костра малиново раскаленную с одного конца ветку, Захар прикурил; становилось прохладнее, комарье вроде бы начинало подзатихать, хотя они уже привыкли к нему, почти не замечали укусов.

— Мне вот скоро сорок шесть стукнет, сынок... да, на тридцать с лишком против тебя... Теперь под уклон пошло вроде... Погоди, не перебивай... Здорово меня било и крутило, как в бешеном омуте, ох, здорово! А вот порой задумаюсь, может, спрашиваю, можно по-другому было прожить? Поспокойнее, половчее — там пень обошел, там лужу поколесистей объехал... А? Может, оно и так... Напрямик по жизни ни один зверь не ходит... До войны мне вроде не повезло: твою мать вот полюбил. Крепко полюбил, из-за этого все в разные стороны брызнуло... Ты вот на свет явился, перед тобой полной мерой отвечать теперь приходится. А может, не надо было всего этого? Ведь знаешь, какая у меня семья была, детей сколько... Ты, другой, кто хочешь осудить меня может, а вот сам я себя должен осудить или как? А вот сам себя осудить не могу и теперь... Что мы с твоей матерью друг-то без друга? Все бы лучшее в жизни в темном погребе просидели... так уж оно устроено на свете. Значит, все правильно было. Потом в войну мне не повезло: плен да плен, бегу, опять плен, шесть раз бегал. До сих пор сомнение берет, хоть ты знаешь, что в бога я не верил и не верю... Как в живых-то привелось остаться? Чудно́... С твоим дедом, с Акимом Макаровичем, в одном лагере, под Дюссельдорфом... город такой в Германии есть... с твоим дедом да еще с одним мужиком из Густищ, с Харитоном Антиповым, судьба свела. Если б не дед твой, Илья, там бы и конец мне вышел... Меня спас, а сам так и пропал

Аким Макарович-то, ни слуху ни духу... Я еще никому об этом не говорил, а тебе говорю, как мужик мужику...

Захар замолчал, глядя на огонь; Илюша не решался ни о чем спросить его, потому что молчаливый, часто сумрачный отец и без того раскрылся перед ним; это было настолько необычно, что Илюша от какого-то чувства благодарности и радости едва мог спокойно сидеть и слушать.

— Я тебе, Илья, потом про это расскажу, а сейчас к другому я вспомнил. Все-таки человек по жизни должен прямо ходить... тяжкая, видать, это доля, но если уж в человеке такой стержень сидит, он человеком и к концу своему придет, умирать будет не страшно.— Бросив взгляд на молодое, строгое сейчас лицо сына с круто сдвинутыми бровями, Захар спохватился: — Спать, спать, а то мы так всю ночь прозеваем... Давай, Илья, давай в полог...

— Сейчас, батя, только отойду на минутку...

— Потом подкинь дровишек немного, я спать.— Бросив в костер окурок и прихватив топор, Захар, смахивая сдернутым с головы накомарником налипшее на спину комарье, проскользнул в полог.

Он уже начинал дремать и видел какой-то смутный сон (что-то вроде колышущегося под солнечным ветром спелого ржаного поля, оно ему особенно часто снилось во время приступов тоски по Густищам), когда его подхватил с места далекий, задавленный крик сына; мгновенно нащупав лежавший рядом топор, Захар вынырнул из-под полога и, вскочив на ноги, ошалело оглянулся. Почему-то разбросанные во все стороны сучья из костра дымились; кто-то огромный, лохматый, дико, по-лешачьему загоготав, вывернулся со стороны кедров, пронесся мимо, едва не сбив с ног; Захар махнул топором, не достал, тайга взвыла, застонала со всех сторон, гулко ахнула все тем же лешачьим гоготом и воем, и затем все оборвалось и лишь гулко стучало собственное сердце да в ушах стыла медленная, почти убивающая тишина.

— Батя! Батя! Помоги, батя! — опять донесся до него слабый голос сына откуда-то снизу, из плотного, тяжелого тумана над протокой.

Не выпуская топора, Захар ошалело скатился с обрыва вниз, не разбирая дороги.

— Илья! — крикнул он.— Где ты, что тут за черт творится?

— Здесь, сейчас,— опять послышался задыхающийся голос Илюши.— Подожди, батя... на одном месте. Я к тебе подплыву...

Стараясь не скрипеть галькой, Захар, оглядываясь и настороженно прислушиваясь, замер; ему показалось, что за ним кто-то следит из темноты, но ничего, кроме всплесков воды под шлепками сына, не слышал.

— Илья! — опять тихо позвал он, не зная, что и подумать.

— Сейчас, сейчас,— откликнулся Илюша совсем близко, и его мокрая, всклокоченная голова показалась из тумана совсем рядом с Захаром, было слышно, как с него стекает вода.

— Фу, черт,— стуча зубами, пробормотал он, отплевываясь,— холодно как...

— Да ты что, Илья? — Захар вплотную приблизил свое лицо к лицу сына, стараясь различить его глаза.— Что это с тобою?

— Не знаю... Или сам оступился, или кто-то скинул с обрыва... как в спину кто ударил, мягкий, здоровый... В самую воду слетел, а там от страха не в ту сторону поплыл... Ух ты, жуть... Вот оказия! — перескакивал с пятого на десятое Илюша.— Кто-то вроде как загогочет над самым ухом, в спину как саданет!

— Ладно, утром разберемся,— заторопился Захар.— Марш к костру, теперь все одно прогреться надо, простуду, гляди, схватишь.

Они быстро поднялись вверх от воды, Захар со спокойной решимостью собрал костер, неотступно думая, что если кто задумал злое дело, помешать ему с одним топором в руках все равно не удастся. Достав из полога тонкое, привезенное Маней солдатское одеяло, он приказал сыну раздеться донага, все с той же чуткой настороженностью ожидая, что вот-вот хватит выстрел и все будет кончено. За себя он не боялся; суровая и в то же время размягчающая нежность к сыну охватила его. Дрожа от холода, стаскивая с себя штаны и рубаху, Илюша стыдливо пятился в темноту.

— Давай, давай, к костру! — грубовато прикрикнул Захар.— Ты что загораживаешься? Сам мужик, чем ты меня удивить-то можешь?

Он накинул на Илюшу одеяло, через грубую, плотную ткань хорошенько растер ему спину и грудь, затем разложил и развесил вокруг костра сушиться одежду

и обувь; непроницаемо темная тайга кругом упорно молчала.

Вся остальная ночь прошла спокойно; Захар, ни на минуту больше не сомкнувший глаз, облегченно вздохнул, заметив, как начал светлеть полог; когда же окончательно рассвело, он, не тревожа крепко разоспавшегося сына, внимательно осмотрел во многих местах помятую, истоптанную траву вокруг, но звери это были или люди — не понял. И только метров за двести от ночевки, увидев надломленные именно рукой человека молодые березки, он, угрюмо нахмурившись, собираясь с мыслями, довольно долго стоял на одном месте, в нем зрела какая-то каменная, саднящая сердце решимость.

Домой они вернулись поздно к вечеру; чуть не поллодки у них было завалено золотистыми карасями, и далеко за полночь вся семья с помощью Брылика и его жены приводила рыбу в порядок: потрошили, отбирали для солки и вяления. Захар запретил сыну говорить о случившемся с ними ночью на ночлеге даже матери, и все были веселы и дружно работали; лишь Захар, попыхивая зажатой в зубах цигаркой, порой вроде бы ни с того ни с сего затихал, уходил в себя.

Он встретил Загребу с неизменной псиной у левой ноги дня через три, возвращаясь с укладки штабелей; Загреба еще издали приветливо поздоровался, вынужден был остановиться и Захар.

— Молва идет, Дерюгин, ты карасей приволок уйму? — поинтересовался Загреба с холодными, глубоко запрятанными огоньками в глазах.

— Ничего, пудов десять взял,— сдержанно отозвался Захар.— Выберу денек, еще надо смотаться... нахлебников-то хватает.

— Наверно, далеко забираешься? — спросил Загреба.— Смотри, осторожнее на ночлеге, в этих местах все может быть.

— А-а!— Захар махнул рукой.— Если и быть чему, что ж, умирать теперь с голоду у бабы под юбкой?

— А что такое? — живо заинтересовался Загреба, и Захар тотчас понял, что его догадка попала в самую точку: без этого вот тихо улыбающегося человека в памятную ночь в тайге не обошлось; Захар глянул прямо в глаза Загребе. Короткое молчаливое единоборство, пожалуй, закончилось вничью, у Захара даже мелькну-

ла мысль, что Загреба, возможно, и не имеет никакого отношения к глухому ночному делу; проверяя свое первое впечатление, он коротко рассказал о случившемся.

— В этих краях и не такое может быть,— повторил Загреба как-то даже слишком спокойно.— Хорошо, благополучно обошлось... Я бы один здесь в тайгу не решился... Отчаянный ты мужик, Дерюгин...

— Помню я наш разговор,— кивнул Захар.— Как же... Тоже приходится о собственной шкуре подумать.

— Слушай, Дерюгин,— доверительно потянулся к нему Загреба, слегка похлопывая чем-то внезапно встревоженную собаку по загривку,— скажи еще раз этому своему Брылику, пусть он прикусит язычок. Нехорошо все-таки, такое несет — уши вянут...

— Хорошо, скажу,— Захар подавил в себе неожиданное желание с остервенением плюнуть и выругаться; у него опять мелькнула мысль, что накатит минута — и они с этим вот человеком сойдутся на такой тесной стежке, что ни тому, ни другому свернуть будет некуда.

— Ну, бывай, Дерюгин,— после довольно ощутимой паузы отозвался Загреба, и Захар увидел на его лбу напрягшуюся вену, она словно перечеркнула висок.

Остаток пути до дома Захар шел медленно, взвешивая каждое сказанное слово; тесна оказалась земля для них двоих, точь-в-точь как когда-то у него с Анисимовым, неожиданно вспомнил он. Тогда он не уступил, а что толку — вся его жизнь разлетелась вдребезги, недаром так и чешутся руки немедленно собраться и укатить из этой глухомани, где пьяница комендант и разговаривать о шайке Загребы не хочет или попросту боится (Захар уже не раз пробовал это делать), укатить немедленно, сейчас же! Увезти отсюда Маню с детьми; чувство смертельной, удавкой захлестывающей опасности перехватило горло. Что ему, больше всех надо? И только сверкнула беспощадная мысль, что если закона нет, то его нет ни для кого...

16

Комендантская — тяжелый, приземистый бревенчатый дом — стояла в самом центре поселка, на песчаном холме, возле крыльца высился уцелевший старый кедр. Комендантская была разделена на две половины: на

официальную, казенную, и жилую, для коменданта и его семьи. Дом Загребы стоял напротив. Стася Брылика кто-то напоил, и чья-то умелая рука направила его прямо к комендантской; шел он по самой середине поселковой улицы, в пьяном бесстрашии держась очень прямо; в пьяном угаре мерещилась ему жалкая фигура опозоренного мучителя Загребы, с которым он сполна рассчитается и за дочку, и за все остальное. Для Брылика наступил момент безграничной свободы, душа вознеслась под самые облака, все земное было ей нипочем, все земное не существовало, потому что шел он обличить и уничтожить зло в лице ненавистного Загребы, и, к сожалению, Захар узнал об этом лишь на другой день, на работе.

Потом говорили, что Брылик два раза останавливался: у столовой, где собралось несколько человек, и у магазина, где тоже толпились люди. У магазина Брылик задержался, у кого-то закурил, даже посмеялся чьим-то словам, но затем его вновь неудержимо повлекло в сторону комендантской.

Он остановился метрах в десяти перед молчаливыми окнами Загребы, стащил с себя пиджачишко, бросил его на землю и засучил рукава.

— Эй, Загреба, бешеная собака, выходи, драться с тобой буду,— сказал он вначале негромко, но тут же, осмелев от собственного страха, заорал во все горло: — Выходи, сволочь, драться, чтоб тебя все видели! Выходи, гад!

Побесновавшись минут пятнадцать в полном одиночестве, Брылик плюнул в сторону так и не ответивших ему окон Загребы и, подобрав пиджак, гордо оглядываясь, побрел прочь. Комендант Раков, запоздало показавшись на улице, молчаливо погрозил ему вслед пальцем и, прихрамывая, опять скрылся. Страх охватил Брылика уже дома, плачущая жена ругала его последними словами, повторяя, что «черт душу выне, а нам шкуру завсегда сниме, а туточки бандиты, що хотят, то и роблять...» и что теперь и с дочкой ничего не поправишь, и остальным в могилу хоть заживо сигай, да сам себя и землей загребай. Брылик довольно активно отбрехивался, затем повалился на топчан и захрапел как ни в чем не бывало. Он узнал о случившемся, проспавшись, наутро, да и то со слов жены, вяло похлебал какое-то жидкое варево из рыбы и первой крапивы, обреченно слушая ее причитания; на работе его, ото-

звав в сторону, подробно обо всем выспросив, отругал и Захар. Брылик тотчас погрузился в свое привычное состояние гнетущего страха, сгорбившись, затравленно побрел к эстакаде вдоль узкоколейки, к высоко громоздившимся в двадцать — тридцать рядов штабелям леса. Бригада Захара из восьми человек споро, казалось, без особых натужных усилий разгружала подвозившие лес машины и тракторы, укладывала тяжеленные, шестиметровой длины, бревна в очередной штабель где-то уже в пятнадцатый ряд.

Захар бегло и привычно окинул взглядом свое хозяйство: подмостки, канаты, которыми затягивали бревна наверх, заготовленные ронжины; подошел лесовоз, чадящий и всхлипывающий старый «газген», и шофер, едва поставив машину под разгрузку, полез наверх, откинул крышку бака и стал шуровать в нем железной палкой.

— Черт тебя поднес! — крикнул ему Захар, сторонясь от едкого белесого дыма, густо повалившего из бака.— Дал бы сначала разгрузить...

— Не могу,— шофер весело оскалил ослепительно белые зубы на чумазом лице.— Потухнет, потом ее два часа раскочегаривать будешь! Потерпите, ребята, я мигом!

Грузчики отошли в подветренную сторону, стали закуривать. Захар тоже достал кисет, и вокруг него тотчас образовался кружок из нескольких человек, к Захарову кисету со всех сторон потянулись.

— По очереди, братва! — огрызнулся он.— Вы что же думаете, у меня табачная плантация?

— Тебе еще пришлют, Захар, не скупись, за народом не залежится,— прогудел один из грузчиков, здоровый, с широченной грудью, по прозвищу Лапша, хотя видом своим и фамилией Тяжедубов прозвище свое никак не оправдывал.— У тебя вон сыны какие отзывчивые. А я у своей лахудры попросил махорки прислать, так ты знаешь, что она?

— Что она? — тотчас поинтересовался настырный, любивший позубоскалить, ко всеобщему удовольствию, с быстрыми черными глазами Сенька Плющев; с Лапшой его связывала прочная дружба.

— Что! Пишет, стерва, чтоб имя ее забыл, надо было лапы перед немцами не задирать. Я тебе, пишет, гроб сколочу и пришлю, никаких денег не пожалею на такую посылку.

— Денег-то сколько выслал? — с философским спокойствием спросил Плющев, уже успевший прикурить, а теперь с наслаждением, со знанием дела глубоко втягивающий в себя злющий, раздирающий грудь дым дерюгинского самосада.

— Денег? Каких денег? — Лапша изобразил на своем простоватом лице понятное изумление.

— Гроб-то тебе в копеечку влетит, полвагона арендовать надо, супруга одна не осилит...

Лапша под шутки и смех товарищей двинулся было к Плющеву, но тот предварительно зашел за спину Захара.

— Ладно, Лапша, брось, смеха не понимаешь? — примирительно подал он голос оттуда, сразу обезоруживая готового вскипеть товарища.— Скажи лучше, что ты ей все-таки ответил?

— А что я? — Лапша, отходя, наконец справился с цигаркой.— Был бы рядом, я бы ей разок промеж глаз звезданул, и дело с концом. А так что сделаешь, издалито? Я ей написал, я ей... вот что написал, в конверт погуще харкнул, да с тем и заклеил.

— Высохнет по дороге. Да и как тут правду-то узнать? Может, ее прищемили, вот она, как тот философ, скажет, да еще и прибрешет,— подвел итог Плющев.

Кругом невесело рассмеялись, а Лапша отвернулся от ветра и стал закуривать.

— Эй, работнички! — позвал их шофер, закончивший наконец свое дело.— Разгружайте, не до вечера мне здесь торчать!

— Смотри, как заговорил, видать, из затейливых,— неодобрительно глянул на него Захар.— Ладно, не шуми, давай иди покури покуда...

Было часов десять утра, от нагретого солнцем леса пахло гниющей корой. День обещал быть погожим, ветер резко, порывами, посвистывал в штабелях, от шпал несло мазутом. Захар снял фуражку, стащил рубаху, бережно сложил в сторонке, подальше, у соседнего, уже законченного штабеля; за ним потянулась бригада, и через минуту уже дружно работали. Бревна легко, словно сами собой, вкатывались на штабель, только голые спины грузчиков больше и больше блестели от пота да лаги, по которым катали бревна вверх, если попадался особо тяжелый кряж, потрескивали и гнулись. Не успели разгрузить один лесовоз, тотчас подползло еще два, затем еще, и сразу образовалась оче-

редь; вяло отругиваясь от наседавших шоферов, Захар, перехватывая веревку, натягивая ее, привычно командовал:

— Раз-два! Раз-два!

В моменты, когда бревно останавливалось, он слышал за собой тяжелое дыхание Брылика и, смахивая пот, заливавший глаза, всякий раз почему-то жалел его, но привычный, нараставший ритм работы властно затягивал. Лесовозы подходили непрерывно, и катать бревна становилось высоковато. Лапша, отдуваясь, уже не раз предлагал расчать новый штабель, и Захар наконец согласился.

— Еще рядок, и баста,— решил он.

— Что ты, бригадир, без того выше Ивана Великого,—недовольно зароптал Лапша.— Перекурить пора, в груди трепещет.

Лапшу дружно поддержали остальные, и Захар, сдавшись, крикнул:

— Эй, мужики, курить! Давай снимай лаги, после перекура новый зачнем.

Лаги были тотчас убраны, и Захар уже хотел слезать со штабеля.

— С другого бока слезай, Захар, там легче,— посоветовал ему снизу Лапша, но как раз в это время из кузова подъехавшей машины спрыгнули трое: Загреба с собакой, Роман Грибкин и какой-то насупленный, неизвестный Захару парень; невольно оглянувшись на Брылика, тоже собиравшегося спускаться со штабеля, Захар, устраиваясь удобнее, слегка расставил ноги, оглядел своих грузчиков, потом опять Загребу и его людей. У Брылика посерело лицо, глаза беспомощно забегали по сторонам, отыскивая хоть какое-нибудь укрытие, и Захар, вместо того чтобы спуститься со штабеля, пристроился у края, свесив ноги; садясь, он почувствовал под собой какое-то неуловимое для постороннего глаза движение в бревнах, перегнулся: в третьем от верха ряду ронжина переломилась, и бревна, если их не закрепить, в любой момент могли покатиться вниз. «А, черт,— ругнулся он про себя,— везде гляди да гляди!»

Он уже хотел крикнуть Лапше, чтобы тот взял топор и в нужных местах закрепил штабель клиньями, но не успел. Загреба в сопровождении пса не спеша подходил к штабелю, Захар видел на лице у него легкую, словно бы мечтательную, улыбку. Стало тихо, грузчики, до

этого оживленно переговаривавшиеся, молча глядели на Загребу, всеобщее напряжение усиливалось, и у Захара жестко сузились глаза; не отводя взгляда от приближающегося Загребы, он достал кисет и стал медленно сворачивать цигарку. Загреба поздоровался с грузчиками, те промолчали; не задерживаясь, Загреба подошел к штабелю ближе, но так, чтобы видеть всех наверху, задрал голову и позвал:

— Эй, Стась, давай вниз, тебя комендант срочно требует! Ты что, Стась, не слышишь?

Глядя на Загребу с выражением животного ужаса на лице, Брылик попятился, споткнулся, упал, глаза у него бессмысленно округлились.

— Не, не... не! Не пийду! — послышался его хриплый шепот; словно парализованный, он не в силах был даже сдвинуться с места, оторваться от края штабеля и продолжал затравленно пялиться на Загребу.— Не пийду! — неожиданно высоким, жалким фальцетом взвизгнул он.

— Сходи, Стась, сам знаешь, я человек подневольный, послали — и пришел. Слушай, Дерюгин, помоги ему стронуться с места, он, кажется, пристыл к бревнам! — Загреба обращался теперь непосредственно к Захару, и тот, не спеша пыхнув дымком, пожал плечами.

— Силен зверь, силен. Приказано тебе — залезай сам, отдирай его от бревен... Не полезешь ведь, Загреба, а? — жестко засмеялся Захар.— Лучше мотай отсюда, пока не поздно,— посоветовал он, и Загреба, словно наткнувшись на невидимое препятствие, остановился, покачиваясь на носках.

— Я выполняю приказ коменданта. Стась! Слышишь...

— Не... не пийду! — неожиданно еще раз жалко крикнул Брылик, все так же не отрывая от Загребы остановившегося, умоляющего взгляда, видно было, что он намертво прирос к бревнам и своей волей со штабеля не сойдет, стащить его можно было только силой. Дело нежелательно затягивалось; Загреба знал, что вокруг, кроме собаки да еще двоих жавшихся за его спиной хоть и проверенных, но мало в чем могущих помочь людей, посланных некстати вместе с ним разбушевавшимся комендантом за Брыликом, нет ни единой души, которая бы ему сочувствовала, и, как часто бывает с осторожными, но отвыкшими встречать явное сопротивление натурами, это не только не остудило его,

наоборот. Он бы сейчас не мог объяснить своего желания во что бы то ни стало настоять на своем, хотя разумнее было бы осуществить задуманное тихо и незаметно, без всяких усилий и в другое время. Он сейчас презирал весь этот человеческий сброд, с которым вынужден был иметь дело, потом он отлично понимал, что отступить нельзя: вся бы его негласная власть в поселке сразу рухнула, и тогда все пропало. Он сейчас запоздало пожалел, что не захотел вовремя приостановить всю эту петрушку, понадеялся на себя, а надо было отказаться и не ехать в бригаду к этому черту Захару Дерюгину. Сидит, скалит зубы, понял, что момент подходящий, сразу видно, задумал, проклятый кацап, раздеть, выставить перед всем поселком на смех. Черт с ним, с приказом этого пьяного осла Ракова, такая ж свинья, а вот показать, что он никого здесь не боялся и не боится, необходимо.

Косвенным зрением Загреба видел сейчас все происходящее вокруг: сдержанно-иронические физиономии грузчиков и шоферов, жадно ловивших каждое его движение, ползшую по отвалившемуся куску пихтовой коры гусеницу,— но центром, средоточием его напряжения были не грузчики, не шоферы и даже не Брылик, а высоко сидевший на краю штабеля, обнаженный до пояса, отчего-то изредка почесывающий плечо Захар Дерюгин. Спазма безрассудного гнева перехватила ему горло, мутная, жаркая пелена на мгновение все застлала, желание повернуться и пойти назад мелькнуло было и пропало, именно к Захару он испытывал с некоторых пор и крайнюю враждебность, и какую-то внутреннюю необъяснимую тягу, и вот тот сейчас, на виду у всех, явно подсмеивался над ним; Загреба тоже усмехнулся, хотя ему холодной судорогой свело челюсти; он удержался, и это помогло ему на минуту вновь обрести спокойствие. В сердце вошла какая-то сладостная дрожь при мысли, что он сам себе отрезал путь к отступлению и что он покажет сейчас всему этому отребью, что такое настоящий смелый человек; в крайнем случае на штабель ему подняться надо обязательно. Улыбнувшись бледным лицом, он негромко приказал собаке ждать его.

— Ладно, Стась, я не гордый,— почти весело и примирительно сказал он, поправляя кепку.— Чего ты боишься? Я сам к тебе поднимусь, поговорим, как земляк с земляком, а там как хочешь, мое дело маленькое.

Потолкуем без лишних ушей, с глазу на глаз, а там дело твое...

Брылик, впавший в какое-то совершеннейшее беспамятство, только замычал и отрицательно затряс головой, и Загреба опять улыбнулся, поправил пиджак...

При его словах Захар слегка поднял голову; Загреба стоял как раз перед штабелем, со стороны разгрузочной площадки; Захар знал, что если Загреба полезет на штабель, то именно с этой стороны, и если он возьмется за крайнее бревно в третьем от верха ряду...

Захару показалось, что наступила оглушительная тишина, потому что Загреба молодцеватым, пружинящим, молодым шагом двинулся к штабелю (таким шагом ходят под внимательными взглядами со стороны) именно так, как и думал Захар, а затем ловко, с натренированностью гимнаста, полез вверх. Теперь Захар не видел Загребы, зато он видел жалкое, застывшее в гримасе животного страха лицо Брылика; пожалуй, именно это лицо, в котором уже не оставалось ничего человеческого, решило все остальное, и Захар, готовый вскочить и крикнуть, окаменел на месте, словно чаши каких-то мучительно чутких весов в нем дрогнули, заметались в беспорядке и вдруг, безошибочно определяя все остальное, замерли; ему стало легко и свободно; жадно, в одно мгновение окинув с высоты штабеля далекие, синеющие в легком мареве зубчатые горизонты тайги, он с молодым, забытым ознобом, свежо пробежавшим по телу, безошибочно определяя место, устраиваясь удобнее, отодвинулся по краю штабеля и поставил правую ногу на бревно, у самого перелома ронжины. Крепко зажав зубами погасший окурок, он ждал, когда над штабелем покажется фуражка Загребы. «Что это? Что?» — спрашивал он себя в каком-то окончательном смятении, потому что был еще один ослепительный момент, когда нужно было перешагивать в себе какую-то бездну. По одну сторону был он сам со всеми теми, кто был ему бесконечно дорог, по другую...

В глаза Захару из-за края штабеля выплыл верх кепчонки Загребы, под ним спокойные, даже чему-то улыбающиеся глаза, тотчас метнувшиеся к Захару и даже заговорщицки близко, как своему, подмигнувшие ему: вот, мол, и я, а ты говорил, что побоюсь. Захар почувствовал ногой, упершейся в выбранное бревно, легкое первоначальное движение штабеля и в тот же миг по дрогнувшим глазам Загребы увидел, что тот

тоже почувствовал это смертельное движение. Отчаянным рывком Загреба метнулся вверх, к Захару, к его каменно затвердевшему лицу, разросшемуся и заслонившему от Загребы в этот момент все небо, весь мир; затем из-за штабеля показались его плечи, руки, судорожно цепляющиеся за бревно. Захар не знал точно, помог ли он усилием ноги или нет, но он безошибочно знал, что уже ничем не остановить того, что должно было свершиться, ему лишь короткой судорогой свело челюсти. Потом была секунда, словно специально отведенная для того, чтобы глаза Загребы и Захара еще раз встретились и чтобы Загреба понял то, что случилось. И Захар не отвел своих глаз, в них лишь появилось нетерпение...

Крик Загребы, на который снизу мгновенно бросился громадный, стремительный пес, оборвался в самом начале; край штабеля еще раз с треском лениво шевельнулся и с глухим, долгим грохотом рухнул вниз; в одно мгновение Загреба вместе с бросившейся на его непривычно высокий голос собакой исчез под бревнами, и все было кончено. Когда движение бревен остановилось, оторопевшие грузчики и шоферы в первые минуты не могли прийти в себя, затем кинулись к обвалившейся со штабеля груде бревен, поспешно откатили одно, второе, третье; к ним присоединился соскочивший сверху Захар. Увидев то, что осталось от Загребы, Лапша стащил с затылка кепчонку, протер ею потное, широкое лицо.

— Ловко пан учитель сам себя охомутал! Ну, братцы... вот так и не верь в бога...

— Не болтай! — строго оборвал его Захар.— Разговорчики! На беззаконие законов не бывает... Давай-ка вытаскивай его... вместе с собакой... тихо, тихо! — повысил он голос.— Эй, парень, подгоняй свой драндулет... повезем в поселок.

Вспомнив о людях Загребы, Захар оглянулся, но их нигде не было, и тогда он обвел взглядом столпившихся вокруг него грузчиков.

— Слушайте, ребята,— сказал он, понижая голос,— все у вас на глазах получилось. Так чтобы никакой путаницы, что видели, так и говорить... А ты что торчишь, как черногуз? — внезапно заорал он на Брылика, по-прежнему стоявшего на штабеле все с теми же остекленевшими, бессмысленными глазами.— Слезай!

Брылик поднял перекошенное ужасом и страданием лицо.

— Слезай... мать твою... слезай, дурак! — рявкнул Захар, теряя терпение и невольно давая выход долго сдерживаемому напряжению; лицо у Брылика передернуло еще большей судорогой.

Жаркий ветерок донес из ближайшей низины еле уловимые запахи застоявшейся прохладной воды.

— Штабель опять ладить надо... Эх, жизнь-матушка, колокольный звон! — внезапно озлился Сенька Плющев.— Пыхтели-пыхтели — опять сначала... Вот возьму вечером и напьюсь, а, Лапша?

И тогда все услышали судорожные всхлипы: скорчившись, припав к бревнам всем своим узким телом, на штабеле плакал Брылик.

Несколько дней в поселке было тише обычного; завернувший в поселок следователь, хмурый, в очках, потолковал наедине с комендантом Раковым, несколько растерявшимся и на время даже прекратившим пить. Опросив грузчиков, шоферов и всех остальных присутствовавших на месте смерти Загребы, показывающих дружно одно, следователь констатировал несчастный случай и к вечеру укатил на попутном катере.

Ненависть к раздавленному штабелем Загребе была так единодушна, что даже те, которые ходили у него в добровольных холуях и кому он устраивал через коменданта Ракова всяческие послабления и поблажки, как-то инстинктивно прониклись этим всеобщим чувством и тоже молчаливо радовались случившемуся. Все говорили о том, что Загреба был не жилец на белом свете и еще удивительно, как это ему удалось так долго продержаться в поселке.

— Колом ему земля,— откровенно отозвался о Загребе и один из самых ревностных его холуев, невероятный псих Роман Грибкин.— Он, сволочь, мне в душу *поплевывать* любил, он за свои серебреники (Грибкин был грамотный и книги читал) всего тебя с г... требовал, без *остатка*, чтоб у тебя ни одного *затаенного* места не осталось.

Над словами Грибкина посмеивались, но одобряли их.

Как-то в один из вечеров, уже уложив детей и сама прибираясь ко сну, Маня пересказала Захару, какая радость у Брыликов и только старшая девка все плачет; Захар покосился на Маню, промолчал, он уже привык,

что жизнь, не спрашивая, может преподнести всякий перекос.

— Захар, слышишь...— понизила Маня голос, оглядываясь.— Ох, язык не поворачивается... говорят, что вроде ты штабель... того... невзначай вроде шевельнул, Захар... Я как услышала...

— Больше слушай всякую брехню... Говорят! Говорят! Дураки говорят!

— Захар, я...

— Ты! Ты! Штабель сам у всех на глазах пополз, бывает... не кружева вяжем, с лесом дело имеем. Народ видел, что тут поделаешь, закрепить штабель не успели, а он пополз.

— Молчи уж... Вскинулся-то... народ... какой народ? — удивилась Маня, чувствуя непривычную злость мужа и инстинктом понимая необходимость как-то разрядить обстановку.— Какой уж тут народ, в этих местах...

— Народ — он везде народ,— с прежней резкостью оборвал ее Захар.— Люди всякие, а народ везде один. А ты, совет тебе хороший, не лезь туда, куда не просят.

— Ох, Захар, ох, Захар.— Маня умоляюще прижала руки к груди,— болит тут... Гляди, лучше может и не быть, а хуже... ох, гляди... А как у него, у бандюги этого, кто остался?

— Ладно, ладно, спать пора,— кивнул он, притягивая ее к себе.— Не знаю, кому как, а я будто кирпичи из души выкинул... Родится же такая погань на свет... Есть о чем печалиться... Теперь и комендант, может, поумнеет.

Маня не решилась что-либо сказать еще и только, обладнывая волосы и собирая их в узел, от непреходящего, продолжавшего томить ее сомнения, от мысли, что мужика, даже своего, вероятно, так и нельзя понять до конца, вздохнула.

Часть вторая

1

После встречи с Брюхановым и Чубаревым на переправе через Слепой брод Митька-партизан с неделю подымал целик за Соловьиным логом. Вначале он ползал по степи в одиночку, затем пришло еще два трактора, и для того, чтобы трактористы не тратили время на ездку в Густищи туда-обратно, прислали им в помощь повариху Настасью Плющихину, и вырваться домой на часок уже не стало никакой возможности. Не раз в эти дни, особенно по вечерам, охваченный непонятной тревогой, Митька уходил со стана далеко в степь, на Чертов курган, и подолгу сидел там, прислушиваясь к таинственной жизни вокруг. Здесь, за Соловьиным логом, верстах в десяти к югу, где уже ясно и безраздельно обозначалось господство степи, говорят, когда-то, в незапамятные времена, был насыпан высокий курган. Племена, воздвигнувшие этот вечный знак на стыке степи и леса, давно развеялись в прах, и даже памяти о них не осталось. Но каменная баба, торчавшая на оплывшей вершине кургана, каждое утро пялилась изъеденным ветрами и дождями широким слепым лицом на восток, тревожась от пробуждения и запаха степи; века пролетали, как мгновения, и бесчисленные поколения людей тоже прошли, все — мимо, мимо, а каменная баба, неизвестно кем и когда поставленная на вершине кургана, была неизменна. Говорили, что несколько веков тому назад не было здесь никакой степи, а расстилался грозно вокруг на все четыре стороны, насколько глаз хватает, великий славянский лес — далеко-далеко отсюда, от этих мест была тогда предательски обманчивая, всегда таящая в себе неожиданность вражеских набегов степь — торная дорога

живых и давно исчезнувших народов, река вечности, по которой неустанно текли навстречу друг другу тяжкая, как древнее вино, медлительная на услады кровь Азии и буйная, скорая на свершения, неустоявшаяся и жадная кровь Европы; и здесь уже много столетий подряд в тугом замесе смешивались медлительность в решениях и наслаждениях (ибо скоротечен век человека!) и буйная юность, рвущаяся вперед все дальше и дальше, от одного порога к другому (ибо скоротечен век человека!); здесь, на этой черте, обозначенной редкими кочевьями степных наездников, на границе *леса* и *степи,* сталкивались и смешивались народы и утверждалось будущее тысячелетий. А каменная баба все так же стояла, обращая стертое временем лицо на восток, в сторону солнца; в последнюю войну здесь были тяжелые бои, и несколько осколков снарядов попали в каменную бабу, оставив на ее тяжелом теле две-три небольшие выбоины. Старики из окрестных сел, правда все реже, рассказывали, что над курганом в жаркие летние дни, особенно перед ненастьем, появляется голубовато-бледное пламя, и набожные старухи, крестясь и таинственно понижая голос, судачили о несметном золоте, о нечистой силе и кознях, вспоминали рассказы бабок своих о древних бесовских праздниках и обрядах, о ведуньях и ведунах, слетавшихся в определенные дни и часы на древний курган со всей округи...

В одну из таких стремительных летних ночей Митьку и совсем одолела тоска, и он, услышав за спиной какое-то затаенное движение, оглянулся. Голова каменной бабы одиноко торчала в утреннем небе. Митька плюнул в сердцах, вернулся на стан, растолкал спящего прицепщика, сказал ему, что сбегает домой, и часа через два уже влез в окно своей хаты, и сбросив с себя пропитанную машинными запахами одежду, наскоро умывшись, уже был в постели.

— Тише, тише,— шепотом посоветовал он Анюте, которая никак не могла сообразить, что происходит, но потом, опомнившись, сама стала целовать его до сладкого нытья в теле, шепча какие-то полусвязные, бредовые слова, ублажала тоскующее Митькино сердце, и он потихоньку отходил; наконец-то неприступная красавица Анюта крепко присохла к нему, и он в свою очередь не скупился на тяжелую мужскую ласку;

Анюта стонала в забытьи, и большое, белое ее тело, как весенняя и жадная, прогретая солнцем степь, словно начинало слегка дымиться.

— Мить, Мить,— искала она опять его губы,— Митенька, голубь ты мой... На тот свет я за тебя готова. Митенька, вот посмотришь, рожу тебе парня, рожу... У матери моей тоже сначала девки одни были, братуха последним родился... Вон и бабка Илюта говорит...

— Бабка тебе понарасскажет, больше слушай,— лениво басил Митька в теплой, обволакивающей полудреме. Митька неудержимо хотел сына, после рождения первенькой, Насти, разговоры о сыне поутихли, но не прекратились.— Я от нее разных чудес, считай, с пеленок наслышан... а ни одно не исполнилось...

Митька почти засыпал, с удовольствием ощущая потной и широкой грудью горячее дыхание Анюты и ее захлебывающийся шепоток.

— Ты бы, Анют, старалась лучше, был бы тебе парень...

Анюта испуганно зажала Митьке рот ладонью.

— Господи, тоже, нашел, чем попрекать... Промеж нас и нитки не продернешь...

— Значит, надо еще теснее...

— Тс-с,— испугалась она,— старуха услышит...

— Пусть слышит,— пробормотал Митька.

Бабку Илюту, доживавшую свой век с племянником, но всегда ласково называвшую его «унучком», они оба жалели; и зимой, и летом Илюта спала на печи и была почти незаметна, особенно с наступлением зимы, когда она начинала зябнуть и почти не выходила на улицу. Митька по-своему любил бабку Илюту и заботился о ней; он любил слушать ее бесконечные рассказы о целебной силе трав и кореньев, дающихся в руки только доброму человеку, а от злого уходящих глубоко в землю, о домовых и лесовиках, о некрещеных душах младенцев, летящих по ночам на свет в виде больших ночных бабочек и обжигающих себе крылышки. Слушая в долгие зимние вечера монотонный, напевный говор бабки Илюты, Митька иногда с трудом сбрасывал с себя оцепенение, какой-то жуткий холодок подступал к сердцу; можно было верить или не верить бабке Илюте, но что-то пробуждалось, рвалось навстречу ее дремучим, неизвестно из какой дали пробивающимся речам. Митька тогда становился

нелюдим, и даже Анюте не удавалось разговорить его. Он или уходил бродить в лес, или, достав где-нибудь самогону, спешил к одноногому Ивану Емельянову; они пили, ругали очередного густищинского председателя (за четыре года после войны их сменилось трое, и последнему, присланному из района за какую-то провинность всего три месяца назад, Фролу Тимофеевичу Федюнину, доставалось больше всех, потому что густищинцы невзлюбили его сразу и бесповоротно). Митька, набросив на крепкие плечи старый китель Ивана, потрескивая крепчайшим, жестоким самосадом, погружался в воспоминания о своей партизанской жизни, перебирал задания одно фантастичнее другого; оживясь ненадолго, неохотно возвращался к действительности, угрюмо думал, что теперь вот зря коптит небо, и один день похож на другой, и ничего в его жизни больше не происходит, и он не знает, куда себя деть. Митька мрачнел еще больше, когда Анюта подступала к нему с расспросами и начинала допытываться, чего ему не хватает, он только тяжело вздыхал в ответ на ее назойливое и ненужное в такие минуты бабье внимание. Это случалось не часто, но приступы тоски у мужа все больше тревожили Анюту; она ждала их уже с боязнью, тайком советовалась с бабкой Илютой, заваривала Митьке душистый липовый чай.

Пришла и покатилась еще одна весна, в колхозе и до́ма на огородах в основном уже отсеялись, и опять подступала Троица, старинный веселый праздник; его в Густищах встречали зеленью, венками, шумными хороводами и играми.

Митька давно уже спал, Анюта же все никак не могла сомкнуть глаз, прислушиваясь к тихому, спокойному дыханию мужа, к шорохам в сенях. В приоткрытое от духоты окно ощутимо потянуло прохладой, заворочалась на печи бабка; истомленная бессонницей Анюта в который раз уже взбила жаркую подушку, вспоминая слова бабки Илюты о том, что хорошо бы в ночь под Троицу, когда упадет на луга роса, сходить им вдвоем с Митькой босиком, в одном исподнем, на Чертов курган и пройтись там рука об руку по росе... Щеки Анюты густо запунцовели, она нахмурилась; в ответ на эти ее вкрадчивые речи Митька недавно только загоготал, как жеребец. А ведь отчего было не попробовать, кусок от него не отвалится... Мало ли...

Все на свете бывает, отчего ж не сходить, родную жену не успокоить?

Наутро она опять приступила к Митьке с тем же; он весело отмахнулся от нее, фыркая и полощась у рукомойника, но Анюта, проворно собирая завтракать, твердо стояла на своем. Примостившись у края стола, бабка Илюта старательно перетирала беззубыми деснами вареную картошку и согласно кивала Анюте маленькой, высохшей головой с сильно поредевшими, но всегда аккуратно причесанными волосами.

— Сходите, сходите,— поддакивала она, пришамкивая, моргая на внука подслеповатыми глазами.—Раз просит баба, уважь... уважь, унучек...

— Да вы что? — не выдержал Митька, резко отталкивая от себя миску с картошкой на середину стола; Илюта часто-часто заморгала, точно собираясь заплакать, сморщилась, отчего ее маленькое личико совсем съежилось.— Сговорились? Совсем из ума выжили? Собрались старый да...

— Митенька, голубчик, не ругайся, сходили бы, да и все,— перешла на грудные ноты Анюта, справедливо уловив в гневе мужа существенную уступку.

— Анна! Ты же комсомолка была, а поддаешься всякой чертовщине...

— Ну, была, была! — не дала ему окончить Анюта.— Была комсомолкой, а теперь я баба, сына хочу. От тебя же, проклятого, сына хочу!

— Анна! Хватит, слышишь?

— Слышу! Так-то ты жену уважаешь? Как гонялся следом, всего на свете наобещал, а тут свое же просишь, и то... Митенька,— снова переменила она голос, заметив, что у него от бешенства начинает подергиваться щека — следствие контузии,— Митенька, голубчик, ладно, ладно.— Она торопливо подошла, прижалась к нему большим, сильным своим телом, чуть заискивающе заглядывая ему в глаза и сразу обезоруживая и покоряя.— Как хочешь, Митенька, не пойдем, не надо...

— Ведь узнают, засмеют, на глаза людям не покажешься. Да и далеко, к черту... Выдумали же!

— Не скажешь никому, так и не узнают.— Бабка Илюта с низким поклоном перекрестилась на угол, на темную продолговатую доску.— Людям твои дела нечего знать, болтуну одна цена: раз сказал, значит,

дурак... у кого в слове удержу нет, от того доброго дела не дождешься.

— Митенька... Чего уж далеко для молодых-то? Каких-нибудь верст пятнадцать,— продолжала ластиться Анюта.— Я бутылочку первака припасла... крепкий — страсть! Попробовала спичкой-то, чуть не под потолок полыхнуло! Погреться будет чем...

— Так что ж, одна бутылка-то? — спросил Митька с веселой насмешкой в глазах.

— А сколько тебе? Господи,— заволновалась Анюта,— хоть две, хоть три достану... Митенька... я...

— Значит, на Чертов курган? — переспросил Митька, щуря свои зеленые хитрющие глаза.

— Так все говорят, Митенька, все. Потом... Праздник-то какой получится,— заволновалась Анюта.— Митенька...

Привлеченный ее изменившимся голосом, Митька поднял голову; незнакомые, ждущие, насмешливые глаза Анюты смело встретили его взгляд, в груди затеплилась, потекла по телу дурманящая истома.

— Ах, чертова баба,— сладко стиснул он губы.

— Митенька...

— Ладно, ладно,— остановил он,— Троица-то еще не подоспела... Меня вон прицепщик ждет... Отложим... праздник-то... Тоже прискакал, видать, успел, завел зазнобу,— кивнул он в сторону окна, где, сидя на бревне, не спеша курил Егор Дерюгин.

Прихватив узелок с обедом, предусмотрительно собранный Анютой, Митька с порога оглянулся на Анюту, в один момент сверкнул заискрившимися глазами, с неожиданной хрипотцой рассмеялся и, помедлив еще одно мгновение, хлопнул дверью. Анюта спросила вслед, где они сегодня будут пахать, но Митька сделал вид, что не расслышал, молча, кивком поздоровавшись с поднявшимся ему навстречу Егором, зашагал по дороге, загребая разношенными сапогами рассыпчатую пыль.

— Слышь, Мить,— сказал немного погодя, стараясь не отставать, Егор,— вчера Федюнин с обыском-то по дворам ходил, говорят, самогон искал... У Стешки Бобковой чугун с корытом нашел, разбил топором...

— Бузит с дури, такого он не имеет права.— Искоса поглядывая на Егора и как бы оценивая его наново,

с грубоватой мужской прямотой, Митька перекинул узелок с одной руки на другую.— Ну и что?

— Кричал, в суд вроде дело передает, все, говорит, село такое, бандитское, никто, говорит, работать не хочет, одно ворье!

— Всех под одну гребенку гребет,— изрек Митька философски.— Дождется он от народа, зануда...

Дальше до самого выхода к старым березам за околицей, переливавшимся под легким ветром молодой, струящейся зеленью, шли молча.

— Что ж, чем бабы-то виноваты? — сказал Егор, продолжая оборвавшийся разговор и явно повторяя слова матери; Митька ласково-снисходительно усмехнулся его рассудительности.— Хотя бы эта Стешка Бобкова или там еще кто... Ни налогов заплатить нечем, ни юбки купить. Вот и промышляй, хоть и самогонкой... Мужиков-то почти ни у кого не осталось.

— А ты им, бабам, не очень-то верь,— внезапно обозлился Митька, вспомнив недавний разговор с женой и бабкой Илютой.— Ты вот их знаешь по-настоящему, баб-то, а?

— Как это по-настоящему? — отчаянно краснея, спросил Егор.

— Поди, не спал еще ни с одной?

— Не-ет,— мотнул Егор головой, затем, пересиливая смущение, весело глянул на Митьку.— Меня недавно звала одна... Да я боюсь, не пошел, старая...

Митька засмеялся, искоса глянул на сопевшего, вконец смутившегося Егора.

— Надо было пойти... Зря,— посоветовал он.— Старая — это хорошо, она тебя сразу в борозду впряжет. Потом — какой у тебя счет на старость, не бабка же Чертычиха, небось Зинка Полетаева, эта может. Чего ты горишь-то? Или не угадал? Укажешь по-дружески, а? Не хочешь, не говори, ладно.

— Да ей уже двадцать пять,— Егор недоуменно поднял глаза на Митьку.— Чего хохочешь-то?

— Так... в самые дикие года ты входишь.— Митька вытер ладонью набежавшие слезы.— Ясно, все равно охомутают, но ты им до конца не верь. Баба, она сердцем жесточе мужика, она тебе все одно своего добьется, хоть не мытьем, так катаньем. Где она тебе криком не выкричит своего, так она подлой своей бабьей лаской сердце тебе ослабит...

Митька любил крепкую телом, жадную и щедрую на ласку Анюту, но иногда его начинали одолевать сомнения. Анюта по примеру других густищинских баб пристрастилась гнать и продавать самогон, и Митька уже несколько раз сшибался с нею по этому поводу. Отговариваясь шуточками, Анюта в серьезный разговор не вступала, непременно подносила ему за ужином стаканчик-другой, от чего Митька отказываться не имел никакого желания; одним словом, вся его воспитательная работа кончалась ничем, хитрая баба умела обойти его со всех сторон. Но уже на другой день, открывая глаза, Митька казнился своим безволием, разумеется, не потому, что не выдержал и опять выпил. Упрямая баба во что бы то ни стало хотела взять над ним верх, подчинить себе, а уж с этим Митька никак не думал мириться; раза два или три он приступом пытался навести порядок в доме и всякий раз отступал перед новым ловким маневром Анюты. В ее бабьих доводах был свой резон; благодаря ее стараниям как-никак и коровенка завелась, и в доме не так уж голо, как у соседей, у тех же Емельяновых или у Стешки Бобок, но это не очень радовало Митьку, тем более что Анюта становилась все прижимистее и даже по великой нужде никому в долг не верила. Как-то снова заскочив домой на короткую побывку, чтобы помыться, побыть с женой, отоспаться, Митька совсем неожиданно стал свидетелем тягостной сцены, когда Лукерья Поливанова пришла просить у Анюты фунтов десять муки, униженно кланялась и божилась, что полсела впустую обошла и ноги уже у нее не ходят, осталась одна, горемычная, на старости лет.

— Откуда у нас-то, тетка Лукерья? — услышал Митька из сеней, где он, раздевшись до пояса, отмывал после работы копоть и масло, притворно-горестный голос Анюты.— Тут сама в каждой крохе выгадываешь... Ох, тетка Лукерья, вон мужик пришел с работы, старой картошки только и поставишь на стол. Какая уж теперь мука...

До Митьки донесся подавленный вздох Лукерьи.

— Ох, господи, господи, что это за жизнь пошла? Все там остались, на этой войне, а тут хоть и живая, а что толку? Травой не наешься, ох, как хлебушка захотелось... думаю, схожу хоть к Волковым, тракторист в дому. Неужто у них горсти муки не найдется? Господи, подавиться захочешь, и то нечем.

Отшвырнув в угол полотенце, с треском натягивая на себя рубаху, Митька рванул дверь так, что, казалось, застонала и шевельнулась вся изба; он был красен от стыда и гнева и, не глядя на Анюту, шагнул к Лукерье.

— Здравствуй, тетка Лукерья,— сумрачно поздоровался он.— Ты с собой посудину-то захватила?

— Чего? Чего, сынок? — не поняла Лукерья, переводя взгляд с Анюты на Митьку, по голой широченной груди которого в белевших рвано шрамах еще стекали капли воды.

— Мешок, говорю, или сумку какую захватила? — рявкнул Митька, угрожающе сдвинув брови на порывавшуюся что-то сказать Анюту.

— Есть, есть, Мить,— заторопилась Лукерья и тотчас из кармана старого своего мужского пиджака извлекла сумочку: Митька выхватил сумочку из ее рук, метнулся в сени, в кладовку, и скоро Лукерья уже уходила, сама еще не веря своей удаче, с целой, фунтов в десять, сумкой муки, а Митька как ни в чем не бывало отряхнул руки, застегнул ворот рубахи, поярче вывернул потрескивающий от солярки фитиль в семилинейной лампе над столом.

— Давай ужинать,— миролюбиво сказал он Анюте, метавшейся по избе со злым, вскипевшим и оттого особенно красивым лицом.— Где бабка?

Анюта ничего не ответила, грохнула на стол глиняный кувшин с кислым молоком, достала откуда-то из-под загнетки холодную посиневшую картошку тоже в глиняной миске.

— Чего бельмами-то ворочаешь? — не выдержала наконец она тяжести молчания.— Никто тебя не боится! Жри! Больше тебе ничего не будет, ты своих заработков вшивых еще не получал! Баба день и ночь не спит, на него, паразита, горбит, а он последнее, хлеб вон, раздает кому попало...

В общем-то Митька был мирный и добродушный человек, но тут слишком долго копилось его несогласие с Анютой, а ее неестественно высокий, злой голос, ранее незнакомый, вызвал в нем волну дикого, какого-то радостно-облегчающего гнева. Одним взмахом руки он смел со стола все, что на нем стояло.

— А ну, тащи самогон, Анюта! Сала нарежь, живо мне!

— Огня тебе зеленого, дурак! — крикнула Анюта в бессильной ярости. — Нет чтобы хоть кроху в дом, только мотать да про... и горазд! Недалеко, гляди, ускакал от своей полоумной бабки Илюты! Вот она, порода, сразу и видна — как была голь перекатная, так и подохнете, срам прикрыть нечем! Тут тебе не партизанский бардак...

Не успела Анюта охнуть, как Митька, оттолкнув тяжелый дубовый стол, оказался рядом с нею; не сдержи он вовремя руку, вековать бы Анюте с переломанной шеей, но в самый последний момент, увидав белые от страха глаза жены, он смутно пожалел ее и только процедил сквозь стиснутые зубы:

— Дура же из тебя вымахала... Самая настоящая кулачка... тьфу!

Пожалуй, Анюту окончательно сразило это брезгливое «тьфу!», и она, лишившись голоса, остекленело смотрела, как муж, обрывая вешалку, сдернул с гвоздя пиджак и, не говоря больше ни слова, в ярости бухнул ногой в дверь и пропал; из темноты сеней долго доносилось недовольное бормотание потревоженных кур. Анюта, напряженно прислушиваясь, обмерла от неожиданно мелькнувшей мысли, но не таков был у нее характер, чтобы сразу броситься за мужем вслед. Напротив, оставшись одна, она окончательно разбушевалась и, излив наконец свой гнев на ни в чем не повинную бабку Илюту, вернувшуюся домой от старух, которых она ходила проведать, на чем свет кляня Митьку и всю его голоштанную родню, Анюта решительно заявила оторопевшей от страха, безответной Илюте, что больше ни минуты не останется в этом доме и уходит к отцу с матерью, где ей с дочкой всегда отыщется покойное место. Бабка Илюта робко попыталась вразумить закусившую удила бабу, да не тут-то было, Анюта так страшно закричала на старуху, что та испуганно села на табурет, а с потолка поднялись сонные мухи. Освободившись от душившего ее гнева, Анюта, не раздумывая долго, связав кое-какие свои пожитки в узел и схватив закутанную как попало, испуганно таращившуюся Настенку, ушла, и когда Митька вернулся домой ближе к полуночи в самом расчудесном настроении и явно навеселе, вконец потерявшаяся от таких душераздирающих событий бабка Илюта, заикаясь, пересказала ему слова Анюты.

— Нашла чем пугать! Черт с ней! — с веселой решимостью махнул он в ответ.— Ничего, одумается, а нет — баб на наш век хватит...

— Господи помилуй! Ты что своим языком поганым мелешь? — перекрестила племянника бабка Илюта.—Зенки-то залил, море тебе по колено... У тебя же дочка!

— Вырастим, бабка, ты же меня вырастила! — ответил Митька, почему-то настроенный необычайно оптимистически и миролюбиво.— Краснеть тебе, бабка, за меня не пришлось, обо мне до сих пор в газетах пишут. Не дам свою душу на поношение... хотя бы и ей. И точка, слышь, бабка? Точка! Ишь чего придумала, чтобы люди на меня пальцем указывали: такой-сякой скопидом... я в лесу сам не ел, последний кусок хлеба детишкам отдавал... а?

— Анюта, она ничего, Мить, сердце у нее отходчивое, родня у ей нехорошая, они спокон веку справно живут, не привыкли чужое-то горе замечать.

— Ничего, бабка, научим,— пообещал Митька, раздувая ноздри и строя в мыслях самые невероятные планы.

— Митенька, унучек,— привычно шелестела ему в ухо бабка Илюта,— корова-то недоеная, она к хозяйке привыкла, никого на подпускает... ревет скотина... Я два раза сунулась, так чуть не затоптала... ревет, слышишь, ревет. Жалко скотину, молоко перегорит...

— Ничего, подопрет, отдаст молоко, куда денется,—утешая бабку Илюту, Митька широко и сильно зевнул.— Я ее завтра, заразу, сам подою. Подумаешь, корова... Я хоть какого зверя подоить могу, хоть тебе китайского тигра, хоть африканского слона... Знаешь, бабка, в Африке звери такие есть — слоны... Как подоишь одного, сразу тебе две бочки молока. А то тещу могу подоить... го-го-го-го! — с удовольствием заржал Митька от собственных слов.

— О господи, день какой ноне долгий,— маялась бабка Илюта непривычным неустройством в доме.— Дождик собирался, собирался, вишь, вконец собрался, комарья-то налетело — страх!

— Дождь — хорошо, дождь давно нужен...

Не успел Митька договорить, как в небе оглушительно-близко и раскатисто громыхнуло и сильный порыв ветра весело обрушился на село; стало слышно, как загудел сад и ракиты на улице, и тотчас от нового

раската грома, еще более сильного, пламя в лампе моргнуло, подпрыгнуло; Митька распахнул окно, высунулся из него, но, услышав позади себя боязливый, нерешительный шепоток бабки Илюты, не стал спорить, захлопнул окно, вышел в сени и долго стоял в распахнутых дверях, озаряемый частыми синеватыми вспышками; дождь уже барабанил вовсю, потоки воды бежали с крыши, и куры вверху встревоженно переговаривались. Митька стоял один, ноздри его раздувались от свежести, от какого-то непонятного восторга; тошными и скучными казались ему в этот момент родные Густищи: вспомнились обложенные немцами холмские леса весной сорок второго; он ощутил тот неизъяснимый трепет, когда внезапно лицом к лицу сталкиваешься со смертью и когда знаешь, что все решит одно последнее, слепящее мгновение... До спазм в горле, до мучительной дрожи хотелось тогда вот такого мирного дождя, вот такой ночи, успокоения, безопасности, но что, что хочется сейчас? Махнуть бы на все рукой, выскочить под дождь и пойти куда глаза глядят, идти без дороги, до тех пор, пока хватит сил, а потом укрыться где-нибудь под кустом и заснуть, как бывало когда-то, а затем опять подхватиться — и дальше. Недавно Митька читал книгу, взятую у Олега Максимовича Чубарева (он побывал-таки у него на заводе, ездил в город за запчастями и завернул на моторный), о древних племенах, заселявших ранее окрестные земли; книжка была старинная, интересная, и Митька хорошо запомнил все, что было там написано о кочевой жизни давних людей, о бескрайних степях, о вечной вражде леса и степи, о людях, которые жили просто, рождались и уходили тоже просто, как звери, как дерево или как трава на земле...

Какое-то неясное, смутное желание бежать, нестись куда-то в рвущуюся даль томило Митьку; и этот падающий с неба дружный, веселый отвесный дождь, и непрерывный гул сада, и острые запахи трав лишь усиливали поразительное ощущение слитности, нерасторжимости его, Митьки, со всем, что его окружало сейчас,— с падающей отвесной стеной с неба, с веселым булькающим звуком лопающихся пузырей. Наконец он угомонился и лег; время от времени начинала тревожно реветь недоеная корова, и бабка Илюта вздыхала и ворочалась на своей печи; Митька ничего не слышал, провалившись в ровный, здоровый сон...

На заре он открыл глаза, за стеной все так же весело и дружно шумел дождь. Корова теперь ревела почти непрерывно, и хорошее Митькино настроение, с которым он проснулся, сразу пошло на убыль. Он натянул штаны, надернул сапоги и, захватив ведро, отправился доить корову; в сенях он набросил на голову пустой мешок, но, пробежав до сарая под дождем, все-таки порядочно вымок. Потрепав корову по шее (в ответ она благодарно вытянула голову), Митька приступил к делу, присел к разбухшему вымени, однако едва он неумело и с понятной долей обиды дернул за сосок, корова проворно затанцевала всеми четырьмя ногами, удачно лягнулась да еще и постаралась достать его острым рогом; Митька, схватившись за бок, по которому проехалось увесистое копыто, успел отпрянуть и уселся прямо в теплую коровью кучу. Ведро отлетело в другую сторону, и Митька, кое-как отчистившись, некоторое время мрачно наблюдал за коровой. Затем вымыл ведро под дождем и вновь напористо приступил к проклятой животине, и опять с тем же успехом, и постепенно в нем разгорелось шальное бешенство. Дождь хлестал вовсю; корова ревела, кося на него большим тревожным глазом; Митька, бешено уставившись на нее, помедлил, вышел, плотно, без стука закрыл дверь сарая и, ахнув ведро об угол так, что оно сплющилось, отправился к Анюте, родители которой жили через пять дворов. Разъезжаясь сапогами в грязи, промахнул до избы родителей Анюты, в сенях помедлил. Анюта с розовым, распаренным после бани лицом сидела с отцом, рыжеватым, еще сильным мужиком лет пятидесяти, и в довольстве пила чай; увидев в дверях Митьку, она и бровью не повела, лишь глянула и опять с шумным удовольствием отхлебнула с блюдечка.

— Сейчас же иди подои корову,— сказал Митька, поглядывая на дочку, сидевшую на коленях у деда, и уже настроенный враждебно к этой мирной картине чаепития.— Нечего мучить скотину.

— Митенька, зятек! — засуетилась вокруг теща.— Вымок весь... Садись завтракать, свежанинки... Настенька вон...

— Не хочу,— коротко отрезал Митька, закипая уже по-настоящему от невозмутимо-царственного вида Анюты.

— Садись, Димитрий,— солидно пригласил и тесть, но Митька лишь нетерпеливо мотнул головой.

— Вот сам и подой,— неожиданно певуче подала голос Анюта, и Митька почувствовал ее злобную, мелкую бабью мстительность; затеплившееся было по дороге сюда чувство примирения рухнуло, в глазах что-то судорожно затрепетало. Анюта опять шумно, с видимым удовольствием отхлебнула с блюдечка.

— Значит, не пойдешь?

— Не пойду,— кивнула Анюта, поднося к полным губам блюдечко с горячим чаем, всем своим видом показывая, что ей сейчас хорошо и покойно и что большего ей и не надо. В доказательство этого она еще потянулась к дочери, тоже розовой после купания, с чисто вымытыми волосенками, поправила выбившийся у нее из-под платочка вихор.

— Так, так... смотри не упрей от горячего-то,— посулил Митька неопределенно и, отмахнувшись от назойливых уговоров тещи, круто повернулся и вышел; закрывая дверь, услышал густой голос тестя, но теперь его намерения уже ничто не могло остановить. По дороге домой он зашел и к Алдонину Кешке, и к Ивану Емельянову, попросил их прийти, затем к Фоме Куделину, позвал и Володьку Рыжего; все охотно согласились, так как заинтересовались неожиданным Митькиным приглашением, тем более что из-за дождя на работу не надо было идти. Вернувшись домой, Митька слазил на потолок, достал из укромного места тщательно замотанный в промасленную тряпку браунинг, как самая дорогая память, бережно и ревниво хранимый с партизанских времен, проверил его. Затем все с тем же шалым беспокойством прошел к корове, постлал в одном углу побольше чистой соломы, вывел ее на это сухое и чистое место, вставил в ухо браунинг и выстрелил. Звук получился глухой; отступив на шаг в сторону, Митька посмотрел, как корова дернулась, передние ноги ее подломились, и она ткнулась широкой мордой в землю; Митька отошел, спрятал браунинг, затем достал кисет с табаком и спокойно, не спеша закурил. Когда сошлись позванные им мужики, корова, возвышаясь опавшей грудой, лежала уже с перерезанным горлом, а Митька, скрывая усмешку, развел руками.

— Что я мог, братцы? — оправдывался он с плутоватой прямотой в глазах.— Вынес ей пойла,

а там, видать, сырая картошка попала... Корова, известное дело, скотина хапливая. Гляжу, она уже хрипит... я туда, я сюда — хрипит... не пропадать же добру, пришлось перехватить глотку... Жалко, ясно... да что теперь... давай, мужики, помогите разделать... что ж теперь...

Иван Емельянов подозрительно долго вертел носом, к чему-то принюхиваясь, но, так ничего и не расследовав, с готовностью засучил рукава; когда по Густищам распространилась весть о несчастье у Митьки-партизана и Анюта, запыхавшись, прибежала домой, мужики уже сидели за столом вокруг дымящихся среди бутылок двух огромных сковород со свежаниной; мужики были красны, довольны и степенно разговаривали. Смертельно побледнев, Анюта метнулась взглядом по избе, по обильному столу, по заплаканному лицу бабки Илюты, семенившей от печи с новой сковородой жаренки, исходившей густым парком, кинулась во двор, в сарай и попятилась: на веревках, закрепленных на балке, висела ободранная коровья туша, а из угла печально глядела одним большим, сумеречным глазом коровья голова. Анюте стало так жутко, что она, шепча что-то помертвевшими губами, попятилась; случившееся было настолько неожиданно, настолько выламывалось из всех привычных ей представлений о жизни, что Анюта, пожалуй впервые со всей явственностью ощутила разбойный размах Митькиной души. Оглушенная, стояла она под веселым, шумным дождем, и на глазах у нее закипали бессильные слезы. «Корову-кормилицу, изверг, бандюга лесной, не пожалел... Подавиться бы вам, чертовым живоглотам, костью!»

Она опять ринулась в избу, но, встретив на пороге бешено-предостерегающий Митькин взгляд, задохнулась криком.

— Вот-вот, помолчи, Аннушка,— сказал он размягченно-ласково, но где-то подспудно в его сдержанно-ласковом голосе ворочались валуны.— Помолчи, самый раз тебе помолчать. А то вместе с твоей четвероногой жалью на балку вздерну, освежую, за милую душу будете рядом висеть...

— Дурак, рожа пьяная,— сказала Анюта вполголоса, больше для себя, и, не выдержав характера, горько заплакала.

2

Дальше все покатилось под уклон, потому что в Митьку вселился бес и Анюта уже не могла хотя бы чуть-чуть направить его в нужную сторону. Словно в один раз смирившись, она даже сделала вид, что поверила в несчастный случай с коровой, однако и это уже не могло остановить Митьку, он окончательно пошел, по определению одноногого Ивана Емельянова, «враскрут», и никакая Анютина хитрость и ласка уже не могла его удержать. Он не захотел ехать с говядиной на базар, чтобы хоть частично покрыть убыток; наоборот, две ночи пропадал невесть где, и Анюта совсем извелась; чутьем она угадывала, что сейчас ей нельзя оступиться ни на одну малость — чуть-чуть лишку, и мужа она потеряет, и несмотря на совместное пятилетнее житье, вот только сейчас показывал он свой истинный характер, и этот его характер, как оказывается, был ей в самый раз, и только почувствовав на себе тяжесть этого характера, она впервые узнала ни с чем не сравнимую радость быть бабой. Анюта, не найдя пока к Митьке нужных подступов, старалась лишний раз не показываться мужу на глаза, да и показываться особо было некогда. Не только в колхозе, дома тоже работы было невпроворот: нужно было высаживать помидоры и капусту, подступала первая прополка. От внезапно прихлынувшей любви к мужу Анюта, всем на диво, ходила построжавшая, совсем как в девичестве, с затаенным блеском в глазах, и подруги, не скрываясь, пространно высказывались на ее счет. Анюта отмалчивалась, то чувство любви и счастья, что вторично и так внезапно обрушилось на нее, сделало ее зоркой и мягкой, она прощала бабам их завистливое злословие. Ясный душевный покой словно окружал ее непроницаемой стеной от всех внешних попыток проникнуть в ее мир и разрушить его. Ей сейчас никого было не надо, даже Митьки, ей доставало мысли, что Митька вообще есть, существует на свете, что никуда он не денется, что он все-таки, несмотря ни на что, любит ее, она безошибочно знала: придет время — и все встанет на свои места. С этим чувством она и жила, и когда бригаду Ивана Емельянова опять отправили поднимать ранние пары за Соловьиный лог, куда-то верст за двадцать, она даже обрадовалась и, с неделю не видя мужа, совсем

успокоилась душою. Но с приближением Троицы ей все сильней хотелось увидеть мужа, и она, долго не раздумывая, собралась, набила новую плетеную корзину (ее отец был мастер плести корзины и при случае приторговывал ими в Зежске на базаре) всякой всячиной, завернула в чистый рушник две бутылки крепчайшего самогону и, принарядившись, сразу же после обеда вышла огородами в поле и часа через три быстрой ходьбы по бездорожью, через цветущие поля гречихи, луга и перелески, заслышала далекий стрекот тракторов. Здесь уже совершенно обрывались леса, правда, кое-где еще пробивавшиеся в вольготно разметнувшееся царство степи темными и неровными пятнами кустарников; с довоенных пор степь запахивали только отчасти, непосредственно у самых лесов, и она лежала нетронутая, как и сто, и двести лет назад; сменялись зимы и лета, поднимались и умирали травы, прилетали и улетали птицы, а степь все не менялась, и лишь в знойные, горячие летние дни начинали дрожать над ней зыбкие марева. Степь от века была девственна, и яркий покров ее дышал нетронутостью и чистотой; смутная девическая робость охватила в этот предвечерний час Анюту, едва она ступила в степь; она обрадовалась себе и удивилась; радостно-испуганное чувство, будто она впервые бежала за околицу на встречу с приглянувшимся парнем, трепетало в ее душе. «Вот еще! — подумала Анюта смущенно и даже надменно.—И чего я рассыпалась попусту? Родного мужа стесняться? Вот захотела увидеть и пришла, никто не закажет к мужу-то... вот еще! Буду еще перед кем-то оправдываться!»

Распалив и укрепив себя такими мыслями, Анюта, с участившимся, но по-прежнему легким дыханием взбежав на пригорок, увидела неподалеку два ползущих по степи черных, пыхающих дымками трактора, а еще дальше, у самого леса, различила место полевого стана — какое-то низенькое сооружение и легкий дымок, поднимавшийся, как это бывает при хорошей погоде, белесоватым столбиком высоко вверх. Анюта направилась к тракторам и, поняв, что ее заметили еще издали, намеренно сдержала шаг; она подошла ближе, один из тракторов остановился, и Анюта увидела торопливо выпрыгнувшего из его кабины Митьку, он что-то быстро сказал Егору, сидевшему на прицепе, и пошел ей навстречу.

— Случилось что? С Настюхой что-нибудь? — крикнул он еще издали, и Анюта, успокаивающе подняв руку, помахала в ответ.

— Здоровы, все здоровы, Настюха каракульки свои прислала. Здравствуй, Митя,— с затаенной жадной нежностью она задержалась взглядом на его загорелом лице; в груди ее сладко заныло, и губы стали сохнуть. Но он не обнял, как она ожидала, а лишь в свою очередь удивленно оглядел ее всю.

— Так что случилось, Анюта?

— Соскучилась, праздник завтра... дай, думаю, гостинец отнесу... Что ждать-то, когда случится что...

— Ну, спасибо,— сказал он сдержанно и оглянулся на подошедшего Егора; Анюта расстроенно опустила глаза.

— Вот что, Егор, сделай пару кругов,— сказал Митька.— Место ровное, закрепи на одну глубину и валяй вслед за бригадиром, если что, скажи, подсобит...

Егор, уже довольно хорошо управлявшийся с трактором, нетерпеливо кивнул и, забыв о сдержанности, с мальчишеской резвостью бросился к трактору; повозившись с плугами, скоро забрался в кабину и поехал; чувствуя какую-то неловкость оттого, что остается наедине с Анютой, Митька, проводив взглядом тронувшийся трактор, внимательно следил, как из-под лемехов отваливаются, переворачиваясь, пласты сырой черной земли, как начинают извиваться толстые белые черви и как волочившаяся позади плугов борона, подпрыгивая, разрывает, рыхлит эту жирную, заждавшуюся землю.

Митька с Анютой отошли на пригорок и молча сели, Митька курил, Анюта изредка, коротко поглядывая на него, о чем-то задумывалась.

— Время-то идет, идет себе, завтра Троица,— она легко вздохнула.

— Гляди-ка, Троица подоспела.— Митька усмехнулся.— Что, по росе-то побегаем?

— Ладно, вспомнил,— сказала она все с той же легкой улыбкой.— Я ведь сама знаю, темнота это бабья... Я так, оглянулась, а оно вон уже пять годов проскочило, как женаты с тобой. Мужик — он что, видать, и забыл про первый-то раз...

Митька ничего не ответил, лишь ожесточеннее стал жевать цигарку; можно было и не спрашивать, помнил

он все преотлично, и хотя то, о чем она говорила, для него было далеко не первым разом, но раньше этого, чтобы так раскатисто, как тогда, в бурьянах, обожгло, он ничего не мог вспомнить.

— Что же мы, и дальше будем в молчанку играть, Митенька? — продолжала Анюта все так же раздумчиво и мягко.— Ну, виновата я, ну, нельзя же за это всю жизнь казнить... а?

— Какая там жизнь, три дня и прошло всего,— напомнил Митька.— Кто тебя казнит? Тоже придумает...

— Ох, Митенька, мне-то каждый день в год растягивается,— пожаловалась Анюта.— Я к тебе как на крыльях летела... а ты чужой... Сидишь, слова доброго не скажешь...

Митька засопел, искоса глянул жене в лицо, несколько раз притворно кашлянул — уж не смеется ли? Тут же облегченно перевел дух, похоже, баба говорила от сердца, без всякой задней мысли, но что ответить на эти ее слова, Митька сразу не нашелся и чувствовал себя неловко. Теперь, когда горячка и острота положения прошли, он в глубине души, не признаваясь даже самому себе, жалел о случившемся. Корова — это все-таки корова, ее в год, в два не наживешь, да и в другом баба права, в колхозе совсем все разваливается, никто уже и не помнит, чтобы на трудодень что-нибудь получали, а жить было надо, и голый ходить все-таки не будешь, и есть надо, и налоги платить надо, нужда поневоле научит оборачиваться, что тут скажешь?

— На слова-то, сама знаешь, Анюта, я не горазд. Пришла — спасибо, за гостинец спасибо, побалуемся с ребятами... Пахать мы тут кончим завтра, через день будем дома, недолго осталось. Баньку истопи.— Вспомнив, как он пришел просить ее идти подоить корову, а она, распивая чаи, даже не повернулась в его сторону, Митька ловко, в один раз, сковырнул каблуком сапога куст прошлогоднего метлюга, и голос его стал тверже.

— Ладно,— спокойно, словно о деле само собой разумеющемся, сказала Анюта.— Поглядела на тебя, и ладно... Что ж, пойду...

Митьке стало жалко ее, но он скрепился и промолчал; удерживая непрошеные слезы, Анюта щурилась на низившееся солнце. Он попрощался с нею вежливо,

до обидного по-чужому, но Анюта и теперь не дрогнула. Она приветливо кивнула ему и отправилась обратно; отойдя немного, оглянулась, подняла руку, помахала, вся охваченная низким солнцем, сильная, высокая и тугая, и у Митьки перехватило дыхание. Стоило сказать слово, и она бросилась бы назад...

Кусая губы, Митька небрежно кивнул ей, опустился на землю и, немного помедлив, пристально всматриваясь в дружно пошедшую долгими шелковистыми волнами траву, с томящим, приятным звоном в теле опрокинулся на спину, ошалело уставился в чистое, высокое небо и уже больше не шевелился, пока Анюта не скрылась в степи и всякий соблазн не прошел. Затем, чтобы не маяться дурнотой, Митька торопливо подхватился, заторопился к тракторам, пошел наперерез им, через вспаханную полосу, вспугивая важных, хозяйственных грачей.

Перед вечером Митька с Егором сдали трактор Кешке Алдонину с его напарником. Дотошно проверяя двигатель, Алдонин все нахваливал Митькину жену и со своим обычным полунасмешливым выражением лица сетовал, что его собственная баба, как немецкий шестиствольный миномет, высыпала сразу кучу крикунов, о муже теперь ей и вспомнить недосуг.

— Ладно, знаем мы эти штучки,— весело отозвался Митька.— Тоже мне горе... Я бы своей за троих парней сразу монумент перед самыми окнами соорудил, во! — Митька кивнул в сторону кургана с каменной бабой.

Все засмеялись, Алдонин забрался в кабину и поехал; Митька с Егором поужинали; Митька налил в кружку самогонки, выпил сам, предложил было Егору, но тот замотал головой, отказываясь, и Митька одобрительно кивнул.

— Правильно,— сказал он.— Не пей эту отраву, молодой пока.

Хотя Егору не понравились доводы Митьки, он не стал спорить, забрался под навес и скоро заснул; вприщур глядя на далекий горизонт с низко скатившимся к нему, уже полуслепым солнцем, Митька, раздумывая о жизни, не спеша курил; он уже и поругивал себя за то, что так обошелся с Анютой. Мало ли чего не бывает между женой и мужем, а тут баба сама вон за сколько верст пожаловала... а он-то дурак... Первостатейный

дурак! — ругал себя Митька, и в теле у него росло томление.

И даже уже не о себе и не об Анюте думал он, а о чем-то неясном, далеком, чего и сам не встречал и не видел; уже снова манило его бросить все и идти куда-то далеко в степь; он прислушался к легкому, спокойному дыханию Егора, позавидовал ему. Жара потихоньку спадала, в небе по-прежнему не было ни облачка, вогнуто светилось оно предвечерней неистовой синевой.

Митька подумал-подумал, захватил корзинку, принесенную Анютой, и пошел в степь, к кургану, нарушавшему плавность степного приволья своей широкой, приплюснутой верхушкой верстах в трех; неясное беспокойство и беспричинная тоска по-прежнему томили сердце, и Митьке никого не хотелось видеть, ему хотелось сейчас побыть одному, посидеть где-нибудь на просторе, и он, как укушенный змеей зверь, ощущая медлительно приближавшийся к сердцу яд, чутьем шел на спасительный запах, шел и боялся, что не успеет.

Скоро он уже подходил к кургану с каменной усадистой бабой; он еще издали увидел ее, неясно темневшую в вечернем закатном небе, и остановился, стараясь припомнить из прочитанной недавно книги с мудреным старинным шрифтом, взятой у Чубарева, о курганах и о таких вот каменных бабах. Митька не боялся на этой земле ни бога, ни черта, ни уполномоченного по сбору яиц и шерсти; недавно с ним он имел обстоятельный и весьма бурный разговор по поводу недоимки и в конце концов, выведенный из терпения, предложил уполномоченному взять ножницы и собственноручно настричь с него, Митьки, какой хочешь шерсти, растущей, как известно, по велению природы в определенных местах; Митька и их обозначил вполне определенно.

Митька стоял у самого кургана и удивлялся, как это он мог поддаться собственному капризу и как ни в чем не бывало отослать Анюту назад, хотя она была ему нужна до крайности. Объемистая корзина в руке скоро настроила его совсем примирительно и в отношении непонятной и вовсе неуместной Анютиной покладистости, и в отношении каменной бабы, с глупой невозмутимостью торчавшей на вершине кургана, говорят, с самого начала света, когда бог, засучив рукава, творил в поте лица и твердь, и воду, и небо. Митька

закурил, присев на корточки, затем решил обойти курган со всех сторон и, пока еще светло, выбрать место для ночлега. Степь, разогретая за погожий, жаркий день, к вечерней прохладе одурманивающе источала дремавшие в зной запахи; резче запахли травы, потянуло горьковатой полынью, и ее запах при первом же дуновении ветерка сменился медвяно-приторным ароматом ромашки и цветущего дикого клевера, выползшего в степь от лесных окраин и неуклонно завоевывающего все новые и новые площади; летний зной не опалил еще степи; Митькины ноги по колено тонули в густом цветущем ковре нетронутых трав; и вся степь, озаренная последними отсветами заходившего солнца, насколько глаз хватал, расстилалась в вечерней ласковой истоме. От будоражащих пряных запахов ноздри у Митьки раздувались; какая-то шальная сила стиснула ему душу, и он едва удерживался, чтобы не повалиться в высокую траву и не начать по-щенячьи кататься по ней. Тугой, глубинный зов степи властно пробился в нем, точно он всегда, с незапамятных времен, был связан с этой пьянящей степью, ее запахами, звуками и огненным размахом неба. Какое-то тайное желание сжало сердце, удаль погони, сумасшедшего движения захлестнула душу, и ему даже послышался чей-то ответный призывный клич... он поднял голову к закату и горячо засмеялся. Он услышал этот зов степи и принял его. Еще кое-где звенели жаворонки и часто били перепела, какие-то маленькие, почти уже неразличимые птицы перепархивали с места на место, теперь уже над всей степью удерживался один тон, один призыв и один голос... Давай, давай, насмешливо подумал он, предсказание бабки Илюты о колдовстве начинает сбываться, вот он уже словно и сам не свой, и какая-то сила мутит голову, давит сердце, и хочется закричать на всю степь, прянуть с крутизны, прянуть, чтобы лететь и лететь...

Сердце у Митьки на мгновение замерло, заледенело, он опять засмеялся, теперь уже напрямик в один мах взбежал к каменной бабе и остановился, в упор ее разглядывая. Она оказалась выше его почти на голову, а подножие этого истукана, густо окруженное травами, глубоко уходило в землю, ни рук ни шеи у него не было, угадывались лишь голова и большое тулово, а так камень был целостным, даже голова была только

слегка обозначена. Митька обошел каменного истукана со всех сторон и поразился; он не мог бы точно сказать, что перед ним женское лицо и грудь, но это были именно женское лицо и бабья грудь, и все это словно проступало под взглядом из самого камня; и Митька еще раз поразился той непонятной силе, что таилась и жила в каменной глыбе, лишь отдаленно напоминавшей человеческую фигуру. «Ну вот, здесь и заночую»,— внезапно решил он и еще раз, теперь с высоты кургана, оглядел переменившуюся к вечеру степь. Теперь уже не было видно трав, легкая сизая мгла легла на степь, и кое-где в ложбинках начинали густеть и копиться туманы. Солнце село. Закат не спеша слабел, теряя огненные первоначальные цвета; истаяли постепенно и растворились в тишине неба бившие из-за горизонта широким бледно-золотистым веером последние лучи; и Митька почувствовал, что именно с этой минуты он остался наедине с таинственной силой степи; это была не мысль, а именно чувство, которое Митька не мог объяснить и потому рассердился. Каменная баба безглазо и близко глядела на него со своей высоты, темное звездное небо бездонно обтекало ее; у Митьки от этой бесконечности и бездонности закружилась голова.

— Ты, старая ведьма, всякое-такое брось,— заявил он каменной бабе довольно решительно.— Сама как знаешь, а мне пора перехватить да на боковую.

Сказал и тотчас ощутил, что этого не следовало говорить, потому что кругом было полнейшее безлюдье и человеческий голос прозвучал убого и дико, оскорбительно широкому дыханию степи; Митька упрямо усмехнулся, деловито выбрал место, сел рядом с каменной бабой, распаковал свою поклажу и, увидев привычные домашние вещи, повеселел. Анюта положила ему даже жестяную кружку и кроме двух бутылок самогонки сунула трофейную алюминиевую помятую флягу с квасом; Митька выложил на траву полдесятка вареных яиц, сало, хлеб, с хрустом разрезал большим карманным ножом луковицу и, приготовившись к пиршеству, еще раз огляделся и прислушался. Все живое, кроме кузнечиков, успокоилось, те тоже слышались все реже; Митька на ощупь налил в кружку самогонки, в предвкушении давно ожидаемого удовольствия помедлил, затем одним махом выплеснул в горло и, хватая ртом воздух, долго ничего не мог вымолвить,

Анюта постаралась на совесть; торопливо облупив яйцо, Митька густо посолил его и ошалело сунул в рот, чувствуя, как по всему телу разливается молодой. бодрящий огонь. В должную меру потрудившись над хлебом, салом и луком, Митька выпил еще, закусил пирогом с солеными грибами и мелкорублеными яйцами и, похваливая Анюту (чего, спрашивается, дурак, ерепенился? Почаще бы ей такие мысли приходили!), растянулся в траве навзничь и с мягко туманящейся головой стал следить за звездами, жмурясь, когда какая-нибудь из них начинала колоть ему прямо в глаза голубовато-холодным, острым лучом. «Вот ведь чудеса на свете,— думал он в приятной размягченности,— говорят, до тех звезд ни в какие сроки не доберешься, а как же такое понять? Для чего же тогда они есть, такие недоступные? Чудеса! И потом, для чего все на белом свете — бабы, мужики, зачем он сам? Зачем, например, он уже четвертый год, не зная продыху, переворачивает с боку на бок целик? Как была степь до него, так она, степь, после него и останется. Тогда зачем он? Эх, надо было позвать с собой Егорку Дерюгина, сейчас бы спели песню, у Егорки уже хороший установился голос... А пить бы он ему не дал, так, чуть-чуть, для настроения...»

Одним словом, Митька, как всякий истинно русский человек, вместо того, чтобы натянуть себе на голову полу пиджака и хорошенько, прилично случаю, всхрапнуть, принялся ковыряться в мировой душе, да еще стараясь проникнуть поглубже, в самую суть. Он решил выпить еще для куражу, а в степи между тем вершилась своя, привычная жизнь. Из-за разогретого горизонта в темных куполообразных громадах подсвеченных облаков тонким краешком выглянула луна, помедлила и сразу подпрыгнула в небе, точно ее в последнюю минуту кто-то высоко подкинул, и она так и повисла беззвучно в густой синеве ночного неба, сразу наполнив мир серебристым движением и шепотом. Степь снова мягко заструилась на взгорках, только низины по-прежнему затаенно темнели; казалось, именно там, в них, в этих низинах, таилось теперь все живое, а все иное охвачено было каким-то колдовством; было странно и неловко видеть среди всего этого человека, жалко и неловко за него, так он был слаб, так случаен и ненужен в этом сверкающем, победном торжестве космических бесстрастных сил,

творящих, ежеминутно разрушающих и воссоздающих красоту, которую вроде бы и вовсе не подобало видеть и понимать человеку. Так для кого же и для чего она тогда предназначалась, эта трепетная красота, ее ведь все равно нельзя было ни продлить, ни запечатлеть, ни осмыслить?

Приподнявшись, Митька жадно глядел в степь, лунный свет лился в его сумеречные, широко раскрытые глаза, и стало ему так хорошо и свободно, как никогда раньше не было и, он это знал, уже никогда не будет. Он не узнавал себя, казалось, это был не он, а какой-то совершенно иной человек, который насильно вселился в него и который за него сейчас видит и думает, в то же время он чувствовал глубокую внутреннюю зависимость и связь со всем происходящим. Какое-то неясное движение послышалось ему рядом, он скосил глаза и едва сдержал крик. Он увидел, как в лунном сиянии шевельнулась каменная баба и тупая, плоская голова ее в мучительном, непреодолимом желании освободиться судорожно дернулась раз и другой... Не в силах вскочить на ноги, Митька задом ёрзнул подальше по склону кургана и, откинувшись назад на руки, замер, полуоткрыв рот и жарко дыша. Прорезавшиеся в камне горячие продолговатые глаза поймали его, тоска, боль и желание плеснулись из них, и эта жадная, зовущая волна обожгла сердце. «Что же это, что, а?» — пробормотал Митька, уже ясно различая гибкие голые руки, высокую, маленькую грудь, живот с затемненной впадиной, увидел гибкие, плавные линии девичьих бедер и ног; она словно еще билась, освобождаясь из каменной оболочки, но Митька уже видел ее всю и видел, что она немо звала и молила о помощи... В каком-то буйном и внезапном опьянении сердца Митька бросился вперед, ударился в светящийся живой камень и почувствовал не боль, а словно бы ожог. Звонкий, манящий смех заставил его замереть в недоумении; этот дразнящий гортанный смех вначале словно оглушил Митьку, на призывные звуки откликнулась каждая клеточка тела. Митька круто повернулся, но смех раздавался уже совершенно в ином месте, звучал как бы со всех сторон. Митька вытер потный лоб; каменной бабы нигде не было, даже того места, на котором она раньше стояла, Митька не мог бы точно указать. Да он давно и забыл о ней, в нем все сильнее звучало ощущение

гибкого тела дикой девки с маленькими грудями и длинными зелеными глазами. Он сейчас и боялся ее, и ждал, он знал: помани она — и он пойдет за нею хоть на край света, в него все глубже проникала пьянящая отрава желания. Он услышал призывный голос (это был ее голос, он не мог бы теперь спутать его с миллионами других) откуда-то издали и тотчас, не раздумывая, бросился в ту сторону, оставляя в густых цветущих травах дымящийся лунным серебром след; когда он остановился, оглядываясь, жадно дыша, все тело его дрожало от ожидания. Смех и зов послышались совершенно в другой стороне, там, где он только что был, и, не владея больше собой, он мгновенно бросился обратно, уже почти схватил ее, зеленовато-призрачную, но в тот же момент она исчезла, и тотчас послышался издали новый ее призыв; в руках его еще жило и трепетало ощущение ее прохладного тела. Он почувствовал, что сходит с ума, что он должен догнать эту девку, еще никогда баба не была для него таким влекущим и сладким мучением, и он в ответ на ее новый крик сам закричал от тоски и страсти. Она точно ожидала этого крика и предостерегающе приложила палец к губам — жест, понятный во все времена и всем народам. Она осторожно и плавно взмахнула рукой, он потянулся за ней и удивленно привстал на цыпочки, чтобы лучше видеть; отряды молчаливых всадников наполняли степь, они бесшумными тенями проносились мимо, казалось, по самому небу, тревожно озаренному отблесками многочисленных костров, и исчезали в лунной сквозящей мгле. Сердце Митьки все сильнее наполнялось трепетной, жадной дрожью.

«Меня ищут»,— шепнула она коротко и точно опалила его зноем, и в тело его опять вошла веселая, неукротимая ярость, но теперь он твердо знал, что должен ждать, он ничего не сможет сделать сам, по своей воле.

Она взяла его за руку и повела; он шел как во сне, непрестанно озираясь по сторонам, теперь уже вся степь была наполнена бесшумными потоками людей и лошадей, высоко навьюченными верблюдами, острый свет играл в их одинаково неподвижных глазах, и лес высоких копий нестройно покачивался над бесчисленными отрядами всадников; волнами, одна за другой, накатывались стремительные конники из-за далеких горизонтов, и от этого молчаливого, грозного движения

в сердце вспыхнул страх, страх, похожий на смертный озноб, на восторг; из каких неведомых веков, из каких глубин шествовали эти молчаливые несметные орды?

«Это я... это все за мной»,— услышал он знакомый гортанный голос.

«Кто же ты?» — догадался наконец он спросить.

«Я? — переспросила она, и голос ее был, как журчание весеннего ручья, прохладен, быстр и свеж.— Ты меня давно знаешь...»

«Давно»,— повторил он послушно, привыкая к ее легким, неслышным шагам, ничуть не смущаясь ее наготы, длинные, густые волосы тяжело падали ей на спину и плечи.

Она остановилась и засмеялась, колдовски мерцая глазами.

«Ты — воин»,— шепнула она повелительно, устремив беспокойный, горячий взгляд в степь, теперь все больше охваченную морем костров.

«Воину нехорошо скрывать свою силу».

Он видел, как вздрогнули ее высоко вырезанные тонкие ноздри, и тотчас она положила руки ему на плечи, и вся его одежда исчезла, он стоял перед нею такой же нагой, как и она, и он понял, что она уже не убежит, не исчезнет, и спокойно, в ощущении своей власти над нею, молча ждал. Как гибкий, осторожный зверек, она слегка прикоснулась к нему всем телом и сразу отпрянула. В медлительных ритуальных движениях под резкий, однообразный звук неведомого инструмента она совершала какой-то обряд, точно окончательно освобождалась от запрета. Он завороженно следил за четкими, почти геометрическими линиями ее тела, даже не пытаясь приблизиться к ней, хотя ритм этих движений все теснее смыкался вокруг него. Бессознательно доверяясь ритму и повторяя ее движения, он уже был одним существом с нею. Вспыхивая всем телом, она снова и снова отступала, и твердые, маленькие соски на ее груди трепетали. Танец ее был сосредоточен, яростен и бесстыден. В темной ложбине между грудями он увидел частый, мелкий пот и больше не мог сдержаться. Сладко застонало тело, он рванулся к ней и успел схватить ее рвущиеся назад плечи, насильно повернул лицом и прижал к себе всю ее — ускользающую, трепещущую, словно в огне. В грудь ему уперлись сильные руки, но он, радостно смеясь, легко преодолел это слабое сопротивление,

и тогда она откинулась в его сомкнувшихся руках и призывно поглядела ему в глаза. И не мольба отпустить, не трогать, а затаенный вызов был в этих длинных сумеречных глазах, и он, увлекая ее, упал в росную траву, и все тело его заныло в мучительной судороге наслаждения. Он помнил, что укусил ее за маленькую, тугую грудь, забрал ртом и стал мять зубами ее прохладный сосок, и больше ничего не помнил. Еще чувствуя у себя в руках податливое девичье упругое тело и еще не придя в себя от пропасти, в которую стремительно падал, Митька ошалело открыл глаза; мучительный стон и трепет обладания еще не умолкли в теле...

Солнце вот-вот готово было показаться, и было уже совершенно светло; Митька сел, огляделся, совершенно не понимая пока, где он и что с ним случилось. Неподалеку по-прежнему резко темнела широколицая каменная баба, и Митька с недоверием и даже испугом торопливо ощупал себя. Он был одет, и одежда его сильно отсырела от росы. Пережитое ночью с такой силой еще жило в нем, что он помнил малейшую подробность; он встал, и голова у него закружилась, сладкая отрава, видать, крепко въелась в него, он закинул руки за голову, со стоном потянулся и замер и быстро, с надеждой оглянулся. Ему почудился за спиной шорох, неясное движение, но каменная баба продолжала стоять на прежнем месте, и только в плоском, изъеденном временем камне, в едва намеченных губах таилась усмешка, замершее в последний миг движение...

Митька на всякий случай обошел бабу со всех сторон, навстречу ему неслось дружное стрекотание кузнечиков; он жадно выпил квасу, растянулся на старом месте и проспал несколько часов глубоким, спокойным сном.

Когда он через день вернулся домой, Анюта встретила его по-прежнему кроткая, с чистым, ровным пробором в девичьи гладко убранных волосах; Митька мог быть истинно доволен укрощенной женой, но еще долго и в самые неподходящие моменты ему мерещилась зеленоглазая голая девка с распущенными волосами, ее сладко торчащие в стороны твердые груди с маленькими сосками, ее горчащие степной полынью жадные губы. Анюта даже начала подглядывать за ним — не завелась ли ненароком другая, может, та же

Зинка Полетаиха, уж больно отчаянная да бесстыжая, если наметит что, с живым мясом оторвет; недаром же на Митьку теперь временами накатывало что-то совсем непонятное, он никого не замечал и никого не хотел видеть, и вывести его из этого состояния могла только тихонько подсылаемая к нему Настенка... Она бесстрашно карабкалась на колени к безучастно сидевшему Митьке, обхватывала его толстыми ручонками, насильно поворачивала к себе и начинала лопотать что-то свое, ведомое только им двоим.

— Погодь, погодь,— шелестела бабка Илюта, когда встревоженная Анюта начинала жаловаться на мужа,—мужику тоже надо дать перебеситься, кровь в нем играет... Погодь... все пройдет... вот ужо...

3

Весна переходит в лето без заметных усилий, и лето так же незаметно переходит в осень; жухнут травы, идут монотонные дожди, идут по два-три дня, а то и неделями; жизнь кажется бесцельной, бессмысленной тратой сил, расползаются из берегов переполненные свинцовые реки, невесело темнеют мокрые леса, в полях осенняя тусклость и все то же щемящее беспокойство. Где-то под самыми тучами, ползущими над землею низко и рвано, прокричат гуси или в грустной обреченности простонут редкие теперь журавли, и опять шум дождя да шорох ветра, опять человек вздрагивает от каждого неясного звука и ему все кажется, что еще минута — и он окажется лицом к лицу с темной загадкой, на которую он и не думал, и не хочет получить ответа...

Осень начинается где-то в конце августа; возьмется на бахче переспелый арбуз сочащейся кроваво-красной извилистой трещиной, и тотчас в великом множестве слетятся мухи и наползут муравьи на это нечаянное сладкое, дурманящее пиршество, будет вся эта многочисленная суетливая мелкота лакомиться сытным, прохладным соком земли, и разыграются на этом пиршестве свои трагедии и битвы: один из муравьев свирепо налетит на другого, тот послушно отступит по закону слабого, заискивающе пошевелит усиками, узнавая; или муха безвозвратно завязнет в сочной мякоти, а муравьи уж тут как тут, бегут,

торопятся на ее отчаянное жужжание, перекусывают ноги и крылья, еще живую куда-то с упоением тащат, цепляясь друг за друга и передавая друг другу добычу; все вокруг согласно волнуется и шумит, солнце светит, ветер жарко стелется по земле. Сухо. Но оторвется с клена яркий, узорчатый лист, косо пролетит к земле, заворачивая вверх то один, то другой край, затем мягко коснется земли и останется лежать ярким пятном, и тотчас неосознанная тревога и грусть шевельнут душу. Осень уже недалеко, это ее первое, осторожное дыхание, оно будет густеть и крепнуть с каждым днем и скоро кричащим гулом красок окутает леса и сады и вдруг двумя-тремя ударами крепкого ветра и дождя разом собьет эти гулкие, кричащие краски... И тотчас проступят голые ветки, станет пустыннее и холоднее, небо поблекнет, а там подоспеют и монотонные осенние дожди, затянут мутным пологом овраги и низины, остановят полевые работы; дороги покроются жидкими грязевыми потоками, болота разбухнут, села утонут в однообразном шелесте дождя, будет низко стлаться над ними горчащий мокрый дымок из печных труб. По его запаху в такую осеннюю мокрую ночь можно определить, что у соседей варят на ужин или кто потихоньку уже наладил выпаривание самогона... Осень накроет и села, и малые, всего в десяток дворов, хутора, и большие дымные города с их шумом, стройными рядами уличных фонарей, мокро заблестит асфальт, грустно нахохлятся отсыревшие деревянные лошадки на опустевших каруселях, и редкая парочка забредет в темные аллеи голого, по-осеннему неуютного городского парка.

Каждый относится к осени по-своему, так же, как к весне или к лету; один, скажем, любит осетровый балычок, а другой редьку с крестьянским квасом или перетомившиеся русские щи, одним словом, нет в мире одинаковых вкусов и привычек ни в погоде, ни в пище, ни в чем другом. В Густищах осень была встречена нерадостно, как и во многих окрестных селах, потому что на трудодень, кроме ста двадцати граммов ржи, ничего больше не вышло; бабы, приобретшие в войну невероятные способности в смысле экономии, уже все рассчитали далеко, чуть ли не на год вперед. Пока можно было перебиться всякими овощами, яблоками и другими дарами осени, хлеб нужно сберечь для самого тяжелого времени, для весны, и его не трогали.

Хорошо уродилась в этом году сахарная свекла на огородах, особенно кто сдобрил землю перегноем, и теперь по ночам, плотно занавесив окна, чтобы не пробивался свет, кое-где гнали самогон, потихоньку приторговывали им, копили деньги, чтобы уплатить последнюю четверть сельхозналога, одеть-обуть ребятишек в школу...

В короткие перерывы между дождями убирали и колхозную свеклу, ухватив за ботву, выдергивали из размокшей земли, сбрасывали в кучи; бабы, нахохлившись, обвязавшись толсто платками, сидели на ветру, очищая клубни от ботвы и земли, грузили на подводы, на машины, увозили на сахарный завод. Но вывезти все не успевали, буртовали тут же, в поле.

Осенью, в конце октября, когда стали пробрызгивать на утренних зорях первые морозцы, тихо умер на сто пятом году жизни дед Макар. В этот день как раз проглянуло несильное осеннее солнце, и дед Макар, совсем почти невесомый, выполз погреться на лавочку перед убогой, поставленной после войны избенкой. Лукерья, сама сильно постаревшая за войну, помогла ему: плотнее запахнула на нем полы старенького, латаного-перелатаного полушубка, со смутной жалостью взглянула в его невидящие глаза, вернулась к своим привычным делам; нужно было перебрать в погребе картошку, связать в плетенки и развесить лук, а там и фасоль надо давно полущить, просушить хорошенько и ссыпать в мешочек... За своей бабьей работой Лукерья забывалась, становилась веселее и словно молодела; ей казалось тогда, что у нее попрежнему большая семья — муж, и дочь, и женатые сыны могут с внучатами в гости заглянуть — и что для такого случая всегда нужно иметь хороший припас... тут же руки у нее опускались, она несколько минут сидела с потухшим лицом. Она вспоминала, что мужа у нее больше нет — сгинул в войну, сынов нет, звери да дикие птицы неприбранные кости, видать, растащили... И единственная беспутная дочка где-то на Севере, укатила за своим нехристем Захаркой, уж если придет в два-три месяца скупое письмецо — и то радость, и то праздник. И сегодня, как только Лукерья усадила свекра на лавочку погреться на солнышке и, спустившись в погреб, взялась за картошку, тут же стали опять припоминаться ей дорогие, навсегда ушедшие люди. Руки привычно и споро делали свое дело,

а перед глазами — неотвязные, желанные лица, все больше припоминались ей почему-то Маня да этот лиходей Захар, так и засушивший девке жизнь. «Война и та не растащила их в разные стороны,—думала осуждающе Лукерья, отбрасывая побитую, подпорченную картошку в сторону, а здоровую складывая в лукошко.—Так у девки хорошей жизни и не вышло, какая-то бродяжка из нее получилась, господи, перекати-поле. Не бабья доля, не бабье дело,— вздыхала Лукерья, привычно простуженно шмыгая носом.— Грех и судить-то, родная кровь, жалко, детей двое, куда уж без мужика,—начинала она спорить сама с собой, оправдывая дочь.— Видать, судьба ей такая, как раз впору пришлась. Это как одежка: кто и в шелк разоденется, все на нем коробом топорщится, а кто и в холстинке маковым цветом цветет, тут уж ничего не попишешь — судьба».

В погребе копился прохладный полумрак, пахло сырой, теплой землей и сладковатой, еле ощутимой гнилью. Яркий столб света наискось, врываясь в лаз, разрезал земляной пол погреба пополам, какой-то отогревшийся жучок оживленно и бестолково елозил по земле в солнечном луче. Лукерья поглядела на продолговатого жучка, с жалостью вздохнула и опять взялась за работу. Сверху до нее смутно доходили какие-то неясные звуки, голоса, но она, погруженная в свое, не воспринимала их; этот огромный, уже не касающийся ее поток катился мимо, все стороной, и ничто в этой посторонней, равнодушно, непрерывно катившейся куда-то жизни ее не затрагивало; неожиданно из темного угла на солнечный свет выползла ящерка и замерла, затянув пленкой старые глаза. Лукерья изумленно воззрилась на нее, хотела перекреститься, сердце взялось жутью: показалось ей, что осталась она совершенно одна на белом свете. С трудом переводя дух, Лукерья оглядела темные углы погреба и, не в силах больше оставаться одна, отряхнула с колен труху, стараясь сдерживать страх, тяжело выбралась по ступенькам приставной лесенки наверх; солнечный ясный свет, разлитый вокруг, ослепил ее. Прижмурившись, она огляделась кругом. Все вроде было в порядке, дед Макар, уткнувшись жиденькой бороденкой в грудь, пригрелся на солнышке и сладко дремал, на другой стороне улицы Митька-партизан о чем-то оживленно толковал с Володькой Рыжим. Лукерья выпростала ухо

из-под толстого платка послушать, но Митька как раз в это время, взявшись за дверную скобу, кивнул Володьке на прощанье, и она так ничего и не услышала. Тяжело придерживаясь за верхний венец обруба, Лукерья совсем выбралась из погреба. «Пора старого покормить»,— решила она, окликая свекра, и, не получив никакого ответа, подошла к нему.

— Э-эй, старый,— по привычке недовольно сказала она, трогая его за плечо.

Дед Макар, как набитый поло́вой куль, невесомо похилился на бок, затем и вовсе опустился на лавку, словно пристраивался поспать подольше; отдергивая руку, Лукерья в страхе попятилась. Все было ясно и определенно, у Лукерьи даже жалости не было, а был только страх перед простотой случившегося; затем какая-то дрожь передернула лицо Лукерьи, она тяжело опустилась на колени перед стариком и тоненько, в голос, заплакала, потому что теперь вот она осталась в жизни совершенно одна, никому больше не нужная. Пытаясь в плаче уйти от этой сверлившей голову мысли, она тоненько и обреченно причитала на всю улицу, а когда очнулась и подняла залитое слезами, запухшее лицо, различила кругом много народу и впереди всех — Митьку-партизана с Володькой Рыжим. Мужики стояли с шапками в руках, бабы потихоньку всхлипывали, сморкаясь, вперебой утешали Лукерью, уговаривали ее не печалиться, что ж, старик отжил свое, и даже с большим лишком, и что он, видно, богу угоден, раз господь так ласково приблизил его к себе, без всякого тебе ожидания и муки...

— Упокой, господь, душу праведную,— набожно обмахнула себя крестом Варечка Черная, неодобрительно косясь на своего бывшего мужа Володьку Рыжего, хотя он ничем не выделялся среди остальных.— Угоден был богу, угоден,— опять перекрестилась она.— В старину-то оно как говорили: земля-то и даст, и заберет в свой час. Ох, господи, прости нас, грешных!

— Беда, беда,— как эхо, отозвалась Лукерья,— мне и похоронить его по-божески сил не хватит. Пропала я теперь, люди добрые, совсем пропала...

— Ты это брось, тетка Лукерья,— возмутился Митька-партизан.— Мы деда Макара выше фельдмаршала проводим! Такие поминки отгрохаем — земля за-

шатается! А ну, мужики, давай покойного в хату, как положено по его чину — на лавку, в передний угол!

С этой минуты в Густищах и началось нечто никогда до этого не виданное, хотя и раньше густищинцы охотно приходили друг к другу на выручку в счастливые моменты свадеб и крестин; приходили и тогда, когда беда кому-нибудь незванно-негаданно стукнет в ворота, но кончина деда Макара объединила густищинцев как-то особо, и получилось это естественно и просто. Умер дед Макар, тот самый, которого отдельно от Густищ никто не воспринимал, его не замечали, как не замечают неба над головой или земли под ногами, потому что они всегда есть. И поэтому в смерть деда Макара многие даже не сразу поверили, привыкнуть к мысли, что его больше нет, было действительно трудно, и в Густищах сразу образовалась особая атмосфера сплоченности, какого-то деятельного единого порыва. Во дворе Поливановых все время происходило молчаливое организованное движение; старухи под руководством Салтычихи не спеша готовили одежду, грели воду, обмывали и обряжали покойника, и Чертычиха, суетившаяся больше других, как, впрочем, всегда на похоронах, взглянув на высохшее от старости, небольшое, с бугристо выступившими суставами тело старика, покоившееся на широкой лавке в ожидании последней дани жизни — теплой воды, уже вылитой из чугунов в ведра, умилилась.

— Бабы,— сказала она, задавив тяжелый в предчувствии собственного такого часа вздох,— старый, он что младенец безгрешный... никакого стыда в нем... безгрешный, безгрешный...

Старухи согласно закивали, а Салтычиха, засучив рукава, стала поливать тело деда Макара теплой водой из глиняной миски и несильно тереть пучком чистой, еще не утратившей золотистого цвета соломы. Переворачивая тело с помощью других старух, Салтычиха осторожно и тщательно обмыла его, затем умыла покойнику лицо, вымыла уши и шею, насухо вытерла чистым льняным полотенцем; его тут же повесили просушить, потому что по обряду оно должно было быть постлано покойнику в гроб. Затем деда Макара сноровисто и ловко обрядили в холщовые новые порты и такую же широкую рубаху, подпоясали, руки сложили на груди, чтобы они не съезжали в стороны, большие пальцы связали новым носовым платком. На

лоб приладили бумажный венчик со словами заупокойной молитвы, в исхудавшие пальцы пристроили припрятанную до срока тоненькую восковую свечку. К этому времени гроб поспел: мужики быстро сколотили его из припасенных самим покойником еще при председателе Кулике пахучих сосновых досок, и вскоре дед Макар уже лежал в своей последней домовине, а Варечка Черная пристроилась у изголовья читать Евангелие и даже для убедительности нацепила на нос старенькие очки в круглой черной оправе; она только-только нашла нужную страницу, как раздался тоненький, неожиданно высокий и чистый голос Лукерьи, заставивший всех одновременно вздрогнуть и затихнуть:

Как я ростила, горющица,
Да роженых своих детушек,
Ночью спать я не ложилася,
Днем на место не садилася...

Лукерья вела высоким, тоскующим, как бы не своим голосом рассказ о самой себе, лишь только к покойнику обращалась со своей бедой и болью, и все молча слушали, не вмешиваясь в этот разговор. В своем плаче она говорила о своих надеждах и о том, как они не сбылись и как ей горько оставаться на белом свете совершенно одной...

В это же время Митька-партизан, взявший на себя обеспечение всей, так сказать, материальной стороны (рытья могилы, поминального обеда после похорон), был занят другим родом деятельности. В таком деле без водки нельзя было обойтись, и Митька, призвав на помощь двух-трех парней вроде Дерюгина Егора, послал их по дворам и сам отправился следом; но уж в очень скудное время отошел дед Макар, к вечеру удалось собрать всего пять литров самогонки, а это было все равно что ничего. Митька, взглянув на раздобытые по дворам, заткнутые чем попало разнокалиберные бутылки, задумался, непрошеная тоска тронула сердце. Жил-жил человек, земли за свою жизнь перевернул с боку на бок видимо-невидимо, детей родил и детей пережил, а вот умер — и кончилось все, даже нечем проводить в последнюю дверь... Кто же установил такой непотребный порядок? Нехорошо, не по-людски, хоть какой стороной поверни, не по-людски, не должно так быть.

К вечеру опять натянуло тучи, поднялся ветер; прислушиваясь, Митька застыло глядел на бледный язычок пламени в лампе. Анюта, давно ходившая около, обхватила его сзади за шею мягкими, теплыми руками.

— Что ты, Мить, сидишь, пора ужинать... Поздно...

— Успеется.

— Ну уж говори, что уж ты,— ласково попросила Анюта, трогая дыханием волосы ему на затылке.

— Война вспомнилась отчего-то... Вот такая ночь, льет, холодно, до костей пробирает... А мне еще верст сорок до своих идти.— Митька по-прежнему не шевелился, ему была приятна сейчас скупая ласка жены.

— Родной ты мой... Дошел? — Руки Анюты стали бережливее, чутче.

Он не ответил, неуверенно взглянул на нее.

— Самогонки бы надо литров сорок достать, Анют...

— Со-о-рок,— озадаченно протянула она.— Куда столько? Хватит и двадцати, не на свадьбу, поминки как-никак...

— Двадцати! — поднял брови Митька.— Двадцати... Эх, вы, бабы... курицы... Он сто четыре года прожил... сто четыре! Его бы с полком на лафете провожать надо, чтоб потом — все вусмерть! Столетний человек ушел... Слушай, Анюта, не подскажешь, у кого эта дурость есть? — спросил он, кивая на мутно белеющие на окне бутылки.

— У кого... поди узнай, у кого... У Стешки Бобчихи, должно, есть, да не даст, думаю...

— Почему?

— Белый свет не напоишь, а ее вон за налог что ни день трясут,— Анюта потерлась подбородком о затылок мужа; с тех пор, как отношения между ними кое-как наладились, Анюта даже внешне переменилась, стала спокойнее и ровнее, а на мужа не решалась лишний раз глаз поднять. И сейчас она глядела на него с понимающей нежностью.— Давай, Мить, ложиться,— попросила она.— Бабка-то сегодня над покойником будет сидеть, ждать ее нечего...

— Ты ложись, я только до тетки Стешки доскачу,—сказал Митька и торопливо встал, затянул ремень.—Ложись, ложись, я мигом,— добавил он, заметив мелькнувшее у жены на лице недовольство, и через несколько минут уже разговаривал со Стешкой

Бобок, вышедшей к нему за порог в накинутой на плечи старой шубейке.

Выслушав Митьку, она покачала головой.

— Хочешь — обижайся, хочешь — нет, Мить, не дам,— ответила тетка Стешка, поблескивая в темноте белками глаз.— Тут у меня своя забота: может, с государством разочтусь, бог даст, а то намеднись агент-то приходил, последнего поросенка грозился забрать, ирод бездушный. Не проси, не дам, у меня больше и бураков не осталось, все в ход пустила... Что ж я, тебе отдам, а сама кулаком утрусь? Дед теперь помер, ему теперь все равно...

— А нам, тетка Степанида, нам-то не все равно! — разгорячился Митька.— Я тебе свои отдам, только и останется, что твой труд... и в этом люди помогут... Я тебе...

— И-и, Мить! — протянула тетка Стешка, запахивая плотнее шубейку на плоской, широкой груди, и в лице у нее появилась слабая улыбка.—Да ты у себя этот год бураков-то не сеял...

— Правильно, не сеял,— не растерялся Митька.— Так ведь что из того, что не сеял? Что ж ты думаешь, у меня их и нет? Будут у тебя бураки, тетка Степанида. Это я тебе говорю, за каждый литр по два пуда. Хочешь, расписку дам? Завтра же ночью будут...

Тетка Стешка примолкла, предложение было заманчиво, и не слышно было случая, чтобы Митька-партизан кого-нибудь обманул.

— Чего ты мозгу-то сушишь? — не выдержал Митька.— Прямо в погреб ссыпем, знать ничего не будешь. За литр — два пуда. Сколько у тебя-то, а, тетка Степанида?

— Литров тридцать будет,— с недоверием, помедлив, вздохнула тетка Стешка.

— Ну, так завтра утром заберу,— подвел черту Митька.— А в ночь все вернем. В этом я тебе самое верное слово даю...

— Ладно,— согласилась наконец с явной натугой тетка Стешка.— Только ты уж не обмани, Мить, грех тебе большой будет вдову обидеть... а, Мить?

— Заладила свое, перестань, тетка Степанида,— в досаде махнул Митька рукой и тотчас исчез в темноте; тетка Стешка еще поежилась, потопталась у двери, не зная, правильно ли она поступила, и, озябнув, отправилась спать.

На другой день с утра опять стал побрызгивать мелкий, спорый дождь, тотчас, как это и бывает осенью, земля раскисла, вода выступила на дорогах и стежках; Митька еще спозаранку пришлепал на наряд и, дождавшись, когда Федюнин, нахлобучив на голову капюшон брезентового плаща, пошел от скотного двора к конторе, догнал его.

— Слышь, Фрол Тимофеевич,— сказал он, пристраиваясь рядом,— дело до тебя есть...

— Говори,— коротко уронил Федюнин, злой на дождь, остановивший снова все работы, на свою участь, которая казалась ему тем хуже и несправедливее, что всего в каких-нибудь двадцати километрах, в Зежске, ждал его чистый, просторный дом с водопроводом и теплой уборной и не было там никаких тебе забот со свеклой и гниющим в поле картофелем, с дохнувшими по непонятной причине свиньями и многим другим, чего нельзя было даже примерно перечислить.

Митька, старавшийся по своему делу и меньше всего заботившийся о председательских, как и большинство густищинцев, испытывал к Федюнину скрытую и глубокую неприязнь и говорил, стараясь не встречаться с ним глазами.

— Дед Макар умер, Фрол Тимофеевич, на похороны бы ему пудов пятьдесят бураков выписать,— сказал Митька.— Надо старика проводить...

От неожиданности Федюнин даже споткнулся и рывком повернулся всем своим объемистым туловищем к Митьке; тот невозмутимо глядел ему по-прежнему выше переносицы, и у Федюнина даже горло перехватило от такой наглости.

— Ну, а еще что выписать? — спросил он довольно миролюбиво.— Может, корову или двух забить, чтобы уж и закуска была?

— Правильно, неплохо бы какого-нибудь шелудивого бычка завалить,— согласился Митька, изо всех сил удерживая на лице выражение полнейшего равнодушия.— Только подумай, Фрол Тимофеевич, целый век человек по земле топал...

Федюнин приблизил к Митьке почти вплотную мокрое от дождя длинноносое лицо.

— Вы меня здесь все за дурака считаете или только ты такой один отыскался, а, Волков? — спросил Федюнин, тяжело уставясь в невозмутимые Митькины глаза, и ни тот, ни другой не хотел уступить; вот тогда

именно и затянулся между ними узелок, и потом уже его не под силу было распутать никому; Митька почувствовал непреоборимое желание настоять на своем, показать чужому ко всему здесь человеку, кто здесь в самом деле хозяин, он даже укорительно и ласково покачал головой; ощутил и Федюнин острый холодок между лопатками и, засопев, прочнее расставил короткие ноги.

— Ты, Фрол Тимофеевич, не отнекивайся,— с нарочитой мягкостью прищурился Митька.— Я к тебе по делу, вот давай об деле и говори, а то ты куда-то вбок гнешь. Бурак общественный, колхозный, дед Макар тоже всю жизнь спину на общество гнул. Собрал бы правление, оно и решило бы... Для колхоза пятьдесят пудов бураков, сам посуди, все равно что ничего...

— За такие разговорчики знаешь куда пропечатать можно, а, Волков? Если каждому старцу по пятьдесят пудов швырять, от колхоза ничего не останется,—Федюнин сплюнул.— Ведь твой старичок, Волков, насколько мне известно, вообще в колхозе не работал. Что ты мне на это скажешь?

— Ага, не работал,— готовно согласился Митька, слизывая с губ капли дождя.— В колхозе-то оказался чуть ли не в девяносто лет... Так ведь и раньше он тоже не Думой царской управлял, Фрол Тимофеевич...

— Несерьезный ты человек, Волков,— с досадой махнул рукой Федюнин, порываясь идти дальше; дождь усиливался, начинал пробивать одежду, больные колени ныли все сильнее.

— Раньше тоже хлеб сеяли, убирали, память у человека все та же,— гнул свое Митька.— Дед Макар — это же корень в нашем селе, как же его... вот так взять и выдернуть без всякого почету?

— Знаешь, Волков, ты мне здесь сантименты не разводи,— повысил голос Федюнин, всем своим видом показывая, что терпение его лопнуло и что еще немного — и он окончательно взорвется.— Ты и сам-то не колхозник, служишь в эмтээсе... Несерьезный разговор затеял, не дам, не проси, мне своя голова дороже.

— Вот как, не дашь, значит,— раздумчиво и даже с каким-то удовлетворением подвел итог Митька и опять облизнул губы.— Ну, и на том спасибо, Фрол Тимофеевич, значит, самим придется брать...

Федюнин, с облегчением переведший дух от утомительного и неприятного разговора и уже хотевший идти дальше, быстро повернулся на последние слова Митьки.

— Как это самим? — спросил он с тихой угрозой.

— Просто, Фрол Тимофеевич,— мирно усмехнулся Митька и добавил ласково: — Пойдем в поле да и возьмем, сколько надо, а куда же деваться, надо же деда по-христиански проводить. Потом, что положено на трудодни, можешь с нас удержать. Так что восполним...

— Ах так, значит, в поле? — заражаясь от Митьки каким-то тихим очарованием, тоже понизил голос Федюнин.— Ну, так я вас из ружья... из ружья... сам караулить пойду... из ружья. Пуф! Пуф!

— Напугал, Фрол Тимофеевич, весь дрожу,— тем же ласковым шепотом ужаснулся Митька и посоветовал: — Только уж лучше не ходи, не надо...

— Всех под суд отдам... всех! — показывая наконец истинный свой характер, сорванным голосом крикнул Федюнин.

— Пожалуй, это еще поймать надо, Фрол Тимофеевич,— усомнился Митька, и глаза у него окончательно и как-то ласково-бессмысленно посветлели.— Ты уж лучше не ходи, не тревожь себя, Фрол Тимофеевич, простуду схватишь... а ты для государства человек ценный, надо себя беречь...

Он пошел не оглядываясь, что-то весело и фальшиво насвистывая, а у взбешенного сверх всякой меры Федюнина, убежденно считавшего всех густищинцев ворами и бандитами, от невозможности тут же показать свое право предательски задрожали ноги. Он бессильно плюнул и крикнул вслед Митьке:

— Запомни, Волков... из ружья! Из ружья! пуф! пуф!

Митька услышал, зло оскалился, но оглядываться не стал.

4

Первый пыл прошел, Федюнин, отогревшись горячим чаем, хорошенько обдумав сложившуюся ситуацию, решил позвонить начальнику районной милиции; тот, выслушав его невнятный рассказ, загремел в трубку, что отвлекают, понимаешь, всякой ерундой, хорош

он будет, если станет гонять по наряду караулить каждый бурак в поле, тут и дивизии, понимаешь, не хватит, когда в наличии всего каких-то два десятка человек, и бросил трубку. Федюнин, хорошо знавший норов начальника милиции, в свою очередь непечатно и непочтительно выругался в его адрес. Он совсем было собрался звонить секретарю райкома, но в последний момент передумал. Вальцева он тайно ненавидел именно за то, что тот сунул его в эту вонючую дыру, Густищи. «Нет, звонить Вальцеву нельзя, помощи от Вальцева не дождешься, только на смех подымет»,— решил он. И Митьке Волкову спускать было нельзя, это Федюнин безошибочно чувствовал, тут уж схлестнулось ва-банк, кто кого. Один раз уступишь, потом на голову сядут, какое уж тут руководство, слезы одни. Во что бы то ни стало решив не допустить свершения Митькиной угрозы и промаявшись до вечера, Федюнин неторопливо и тщательно собрался, поддодел шерстяное, теплое белье, чтобы хоть как-нибудь успокоить нывшие колени, надел сверху телогрейку, затем не высохший еще полностью брезентовый плащ, проверил свою тулку, любовно протер курки (старухи хозяйки по случаю покойника не было дома), вышел, запер двери и ключ положил в условленном месте. Вскоре он, поеживаясь от холодного, пронзительного ветра, то и дело попадая сапогами в лужи и колдобины, выбрался за село, в поле, и, выбрав себе место у крайнего бурта, пристроился с наветренной стороны у кучи соломы. Солома была запасена для того, чтобы перед самыми морозами укрыть бурт еще раз, и вот теперь оказалась как нельзя кстати. Федюнин поворочался, выбрал в соломе углубление, грузно втиснулся в него, приготовляясь к затяжному одинокому сидению. Пряча в ладони огонек зажигалки, он закурил и, с наслаждением посасывая папиросу, глотал горьковатый дым и думал о своей несчастной жизни, которая так и не задалась. Вот уже и старость подступает, а что хорошего? Сидит, как продрогший кобель, на ветру, и хотя бы свое караулил, а то черт знает что... какую-то паршивую свеклу. Вся вместе взятая, она не стоит одной минуты его сидения в этой гнилой соломе под дождем, и, однако, он будет сидеть и караулить. И никуда не уйдет, вот такой у него дурацкий характер, не уйдет — и все, а почему, сам не знает...

Он докурил, тщательно затушил окурок, еще теснее вдвинулся спиной в солому, спрятал подбородок в воротник плаща. Несмотря на теплую одежду, сырость и промозглость, однако, чувствовались. «Хоть и солома, долго не высидишь,— думал Федюнин,— как бы назад не пришлось топать. Пожалуй, завтра надо будет назначить сторожа,— решил он и зло сплюнул.—Сторож! Да он хоть и увидит кого, нарочно отвернется. Это же какой проклятый народ! Все за одного, круговая порука! Воры, голодранцы... все готовы растащить, лишь бы собственное брюхо набить!»

Федюнин удивленно захлопал глазами, потому что народ в жуткой реальности представился ему в виде огромного числа продолговатых сахарных корнеплодов, двигавшихся со всех сторон неохватного поля; у каждой свеклы были небольшие проворные ножки, шевелившиеся по-тараканьи быстро-быстро, и Федюнин едва не задохнулся от изумления, он уже ясно различал у приближавшихся свекольных человечков руки и ноги, глаза и узко надрезанные улыбающиеся рты; от неумолимости подступавшей орды ему стало жарко. Этот молчаливо надвигавшийся со всех сторон свекольный народец был уж слишком зловещ в своей многочисленности и зубатости; свекольные человечки бугрились уже совсем рядом, лезли друг на друга, пытаясь дотянуться тонкими мокрыми ручками до Федюнина, и вот уже эти омерзительно тонкие на ощупь ручки странным образом проникали своими мокрыми голыми ноготками под одежду, к телу, подбираясь к самым потаенным местам. Федюнин взревел от невыносимого ужаса и отвращения, вскочил, отряхивая с себя бегающих человечков.

— Тихо, тихо, председатель,— раздался рядом с его ухом басовитый знакомый голос, и Федюнин, попрежнему захлебываясь все тем же удушающим маревом, скосил глаза, но ничего не увидел в темноте, лишь почувствовал, что его крепко держат за плечи. Ружья в руках у него как не бывало, от сознания своей незащищенности он совсем пал духом. Кто-то молча толкнул его, и он, подчиняясь, пошел, куда направляла его сильная, властная рука; в лицо ударил резкий, сырой ветер. Его подвели к вскрытому уже бурту, где несколько человек накладывали свеклу в мешки. Было тихо, и Федюнин в этой кромешной тьме, разумеется,

не мог кого-либо узнать, тем более что у людей лица до самых глаз были чем-то обвязаны.

— А ну, помоги набирать,— раздался сбоку все тот же знакомый голос, и это, конечно, был голос Митьки-партизана; Федюнин рванулся в сторону, железная рука тотчас вернула его назад.

— Ты мне за это ответишь,— прохрипел Федюнин в слепой, бессильной ярости.— Ты от меня теперь под семью замками не схоронишься, я тебя... упеку.

— А ну, помоги, говорю, набирать,— так же негромко приказал Митькин голос, и те же сильные руки ощутимо тряхнули Федюнина, и он, мотнувшись туда-обратно головой, едва удержался на ногах.

— Не дождешься, хоть убей на месте... не стану ворам помогать,— в бешенстве обернулся на голос Федюнин.— Убивайте, не стану...

— Кому ты нужен? — со сдержанной издевкой ответил все тот же голос.— Стой! Куда?

Федюнин кинулся бежать, но тут же был схвачен и немедленно укрощен, кто-то грузно навалился на него сверху, придавил грудью и лицом к земле, и сколько Федюнин ни пыхтел, наливаясь кровью, сбросить эту тяжесть с себя не мог; кто-то, отвратительно сопевший, легко ломал любую его попытку к сопротивлению.

Затем те же железные руки, как пушинку, оторвали его от земли и бережно посадили на солому. Тогда Федюнин от унижения и бессилия беззвучно заплакал и, пряча лицо от стыда, по-птичьи неловко нахохлился, уткнувшись в воротник плаща; какое-то странное безразличие к своему положению, ко всему на свете охватило его. Сидевший рядом с ним для караула с обмотанной тряпкой рожей, чтобы не быть узнанным, время от времени хорошо знакомым, опять-таки Митькиным, голосом утешал его.

— Брось, что ты, что, Федюнин? — говорил он.— Свекла — овощь такая: раз-два — и опять выросла, главное — здоровье береги, жизнь долгая. Ты потерпи, потерпи, легче будет. На печку залезешь, отогреешься... Эх, городской человек, а в такую темноту забрался... вот оно... боком и выходит...

— Ты, сукин сын, Волков, что делаешь? — не выдержал такую муку Федюнин.— Думаешь, это тебе в партизанах? Война?

— Какой я тебе, к черту, Волков? — изумился все тот же знакомый голос.

— Кто же ты в таком случае? — заворочался Федюнин.

— Сиди, сиди, какая разница, был — и нету, вот тебе и весь сказ. Закури.

— Не хочу,— отмахнулся Федюнин и, заворотив голову так, что хрустнула шея, напряженно прислушивался к возне у бурта, пытаясь узнать голоса, но и это ему не удалось, все перепуталось. Час, два или все четыре прошло, он не знал; сидевший возле него и часто куривший караульщик поднялся, разминаясь, хрипло, прокуренно хохотнул.

— Теперь топай, председатель,— разрешил он.— Только гляди, крепко запомни эту ночку. Затеешь с народом драку, при любом повороте крышка тебе.

Федюнин, нахохлившись, с замиранием сердца ожидал, что последует дальше; промозглый ветер, усиливаясь, посвистывал у самой земли, в сырых, засохших ветках лебеды. Рядом никого не было; вскочив на ноги, он долго вертел головой в разные стороны, но, кроме ветра и шороха соломы, так ничего и не услышал. «Фу черт, может, это мне приснилось? — подумал он, мотая тяжелой от расходившейся крови головой.— Какая там чертова свекла, какой Митька? Ах, да, дед Макар... дед Макар, тот самый, умер...»

Не разбирая дороги, Федюнин тяжело побрел напрямик, через поле; сквозь раскисшие подошвы чувствовалась холодная грязь, Федюнин подумал, что теперь непременно разболеется. На душе стало еще паршивее, еще гаже; добравшись до дому, он кое-как разделся и, чувствуя, как горит голова, выпил целый стакан водки из непочатой еще бутылки, прибереrаемой на всякий непредвиденный случай. Дрожа от озноба, забрался под одеяло и забылся в каком-то горячечном полусне, а наутро, к удивлению своему, проснулся здоровым и совершенно бодрым. Вся прошедшая ночь вспоминалась ему необычайно ясно и отчетливо, и он задрожал от задавленной злости. «Работать здесь больше нельзя»,— подумал он. Какой-то сдержанный гул заставил его подойти к окну; он изменился в лице, подался за простенок, чтобы не увидели с улицы; как раз мимо по растоптанной в грязь дороге проносили деда Макара, и Федюнин

почувствовал смутную и скупую тоску и обиду, что его не позвали и даже сумели обойтись без него. Мимо окон двигалось все село: старики и дети, мужчины и женщины; свежеоструганный белый гроб, осторожно покачивающийся на сильных плечах парней, был сейчас как бы средоточием, центром этой толпы, и она медленно, плавно передвигалась все дальше и дальше за околицу, иногда задерживаясь и останавливаясь, чтобы дать старухам возможность почитать подобающие случаю псалмы и молитвы. Погода держалась хорошая, и холодное небо было почти без облаков; Федюнин видел знакомых людей, с которыми ему приходилось ежедневно сталкиваться по работе, отмечал он и совсем незнакомые лица; он понимал, что должен был быть в эти минуты там, среди них; сейчас бы торопливо одеться и пойти вслед за гробом, но свою оторванность от всего вокруг невозможно было преодолеть, и он это знал. Это была его окончательная катастрофа здесь, в этом селе, и он, заставив себя, оторвался от окна, отошел и тяжело сел на кровать. Медленно разворачивающаяся на дороге молчаливая толпа стояла перед глазами, это было как наваждение. Федюнин, крепко стиснув виски ладонями, затряс головой. Пришла хозяйская кошка, села напротив, поглядела на него зелеными глазами, открыла рот и сладко зевнула. Федюнин сбился с мысли и, нашарив подушку, метнул ее в кошку. Та взвилась, метнулась за дверь.

«Можно было еще попытаться хоть что-то спасти,— подумал он,— но зачем, зачем? Он ведь все равно ненавидел здесь все, зачем же было отдалять конец, пытаться закладывать какой-то фундамент над трясиной? Зачем нужно было бросать его на колхоз, хотя бы и на укрепление? Он к этому не стремился... А отказаться решительно, наотрез, не хватило духу...»

Пока Федюнин мучился таким образом, толпа с гробом, с иконами выбралась за околицу села, к уже облетевшим березам, лишь кое-где плескалась на них яркими бликами листва. Волглые запахи полегших трав и опавших листьев окутали людей, и было много в этих запахах перебродившей медовой горечи; косой встречный ветер полоскался в верхушках берез со стороны полей и леса. Ефросинья шла за неровно покачивающимся гробом рядом с Лукерьей; та время

от времени принималась пронзительно высоким голосом причитать по покойному и уже совсем охрипла; с трудом переставляя больные, отечные ноги, она то и дело спотыкалась, и Ефросинье приходилось ее непрестанно поддерживать; она делала это молча, не пытаясь уговаривать; ею самою давно уже владела удивительно покойная ясность. Дед Макар был ей соседом с тех самых пор, как она вышла замуж, она привыкла к нему как к чему-то неизменному и постоянному; теперь *это* привычное и постоянное уходило, но Ефросинья не чувствовала ни боли, ни страха. Она принимала все сейчас как неизбежность, и мысли у нее были простые и ясные. Она думала о себе, о детях, о том, что ей повезло с Аленкой и Николаем и что это хорошо — все на селе завидуют, вон в какие люди сын с дочкой выходят! А ей что ж, ей от этого хорошо, ей лучше и не надо, раз так удачно для детей складывается; ей сейчас казалось, что она всю жизнь свою шла вот так к далекому краю неба и ни разу не присела отдохнуть. А теперь уж и ни к чему, теперь близко, один переход — и приоткроется то неведомое, ради чего она спешила через зной и стужу в тревоге сердца.

От своих мыслей Ефросинья затаенно вздохнула, украдкой покосилась по сторонам. Хвост толпы растянулся далеко в поле, мужики помоложе, несшие гроб, менялись, переговаривались, не обращая внимания на увещевания Варечки Черной, шествующей за гробом с Евангелием, Володька Рыжий, шедший недалеко с Иваном Емельяновым, тоже то и дело наклонялся к нему поближе и что-то говорил; Емельянов кивал, упорно выбрасывал и выбрасывал свою деревяшку вперед по дороге. Ефросинья поискала глазами Егора, не нашла; снова споткнувшись, у нее на руке тяжело повисла Лукерья.

— Ох, тетка Лукерья, что ты так убиваешься? — посетовала Ефросинья.

Вскоре показался и погост, окруженный старыми ракитами и березами; сквозящее по ветру поле со всех сторон и этот сухой, полого и косо взлетающий к осеннему небу холм, в котором покоилось уже не одно поколение густищинцев с самых незапамятных времен, еще больше сплотили толпу; строжая лицами, с какой-то возраставшей тревогой приближались люди к погосту, и Ефросинье тоже передалось общее настроение.

Только Митька-партизан, шумно всем распоряжавшийся, носился из конца в конец похоронного шествия, и его деловитые хлопоты несколько разряжали скорбную атмосферу, доставляя очевидное удовольствие самому Митьке. Ефросинья невольно подумала, что своей неуемностью он походил на молодого Захара, подумала и еще больше разволновалась. Когда деда Макара уже опустили в землю и каждый, даже дети с расширившимися от любопытства и страха глазами, толкаясь и спеша, бросил в могилу горсть сырой земли, Ефросинья пробралась к могиле бабки Авдотьи — просевшему бугорку земли с деревянным покосившимся крестом в изголовье.

Тоненько запричитала Варечка Черная, из последних сил выводила хрипло Лукерья, и голос ее разносился далеко окрест:

Лежит на этом погосте,
Во сырой земле-матери,
Много роду и племени.
Лежит дедушка и бабушка
С батюшкиной стороны,
Лежит дедушка и бабушка
С матушкиной стороны...
А сыночков-детушек
По всему свету кости раскиданы,
Ночным зверем растасканы...
Свекор мой, батюшка,
Да возьми меня с собой...
Расступись ты, мать сыра земля,
Прими на покой вечный.

И Ефросинья не выдержала. Она ни о чем не жалела и ничего, кроме того, что у нее было, не хотела; припав грудью к просевшему бугорку земли, обхватив его руками и как бы чувствуя изнутри этой земли привычное, родное тепло, молча, без всяких причитаний заплакала; эта могила, по-осеннему сыро пахнувшая глиной и поникшей на зиму травой, была она сама, Ефросинья, и это просторное летящее осеннее небо — тоже была она, как и это нерасторжимое родное тепло, окружавшее ее со всех сторон и шедшее от пологого просевшего холмика земли. Где-то далеко-далеко был Захар, ее Захар, несмотря ни на что, и вообще была жизнь, и нужно было жить дальше.

Кто-то тронул ее за плечо; она подняла мокрые глаза и, прижмурившись, увидела строго-просительное, с напрягшимися бровями лицо Егора.

— Пойдем, что ты, мам,— исподлобья косясь на медленно расходившуюся толпу, попросил он.— Хватит уже...

— Вроде как сердце ошунуло,— сказала она виновато.— Ты иди, иди, я сейчас.

— Вставай, вставай, мам,— круче свел брови Егор, но, встретив неожиданный, незнакомый взгляд Ефросиньи, на полуслове осекся, вдруг он понял, что мать имела какое-то право быть здесь и поступать так, как этого ей хотелось, и что он сам не имеет сейчас в отношении нее никаких прав; все это он скорее почувствовал, чем осмыслил, и уже не знал, куда деться и как незаметно отойти в сторонку.

Видя его замешательство, Ефросинья, хотя ей очень хотелось остаться здесь одной и поплакать еще, слепо, сквозь слезы, улыбнулась ему и согласно кивнула. Он помог ей встать; низкое осеннее солнце катилось по небу, тонкие, хрустящие ветки ракит струились на ветру, словно косой, непрерывный дождь. Густищинцы, свершив необходимое, дружно тянулись по дороге в село, и Ефросинья, еще раз оглянувшись на свежую могилу с белым, гладко выструганным крестом, тоже пошла было вслед за Егором, но затем окликнула его, вернула и молча провела в другой конец погоста, к старой, но ухоженной могилке (на ней лежала небольшая связка выбеленных временем и непогодой, давно засохших полевых цветов, оставленных самой же Ефросиньей еще на Пасху, да и края могилки были обложены дерном, и на небольшом темном дубовом кресте, сделанном еще в начале тридцатых Акимом Поливановым, под ветром билась побелевшая лента со словами заупокойной молитвы). Егор уже знал эту могилку и шел к ней нехотя, он и теперь, став почти взрослым, внутренне боялся ее, потому что так до сих пор и не мог себе представить, как это у него может быть другая мать, кроме Ефросиньи, та мать, которую, как и родного отца, он никогда в жизни не видел и не знал, и поэтому всякий раз, когда Ефросинья в дни поминовения родных напоминала ему о необходимости побывать на могиле матери, он весь внутренне съеживался, каменел, и пока Ефросинья крошила на могиле вареное яйцо и хлеб, ставила воду в какой-нибудь баночке

или миске, он стоял в стороне, наблюдая за всем этим, как за странной и ненужной игрой взрослых, и с облегчением тут же уходил, когда все это кончалось. Но сегодня с ним что-то произошло, что-то неожиданное: едва только подошел он к знакомой уже могиле и остановился чуть позади Ефросиньи, что-то непривычно властное, пугающее пронеслось в его душе и на какое-то время словно огромная, смутная тень поднялась над погостом, над всеми осенними пространствами кругом. Дул резкий ветер, небо нахмурилось. Приближался новый дождь, полнеба было уже затянуто низкими тучами. На самой вершине березы резко кричала взлохмаченная ветром ворона. Егор глянул на нее с каким-то испугом, что-то изменилось, перевернулось в нем, и он впервые почувствовал мучительную связь с этим убогим бугорком земли, значительно, с потаенным смыслом, называемым Ефросиньей *могилою;* он смотрел на эту могилу, и не было прежнего равнодушия и невольной враждебности перед тем неизвестным, что обозначалось этой вот могилою, наоборот, то ли состояние Ефросиньи передалось ему, то ли пришло время, и в нем пробудился и заговорил иной, до сих пор дремавший источник, скупые слезы навернулись ему на глаза, и он стал торопливо смотреть вдаль,— там мелкий осенний дождь соединял небо и землю.

— Какая она была? — спросил он несколько погодя, и Ефросинья, не шевелясь и не удивляясь, долго молчала, вспоминая.

— Молодая она была, Егорушка... Красивая была,—взглянула на него Ефросинья.— Лежит, помню, на лавке... ликом чиста, как росой небесной умытая. Мать она тебе была, родительница...

И в какой раз под этим низким, притиснутым к земле осенним небом зашлось сегодня у Егора сердце; он еще больше насупился в раздумье о непонятности этого дня.

5

На подворье Поливановых до поздней ночи толклись и шумели люди, приходили, выпивали за упокой, закусывали кутьей, вареной картошкой, ломтиком огурца, уступали место другим, немногие приходили со своей закуской и выпивкой, сдергивали шапки. Такого

в Густищах не помнили, людьми владело чувство слитности, единства; как-то само собой забылись все мелкие ссоры и недовольства, на которые так щедра жизнь, и все почувствовали себя одной неделимой семьей, нежданно-негаданно осиротевшей.

Как раз в это время Федюнин сидел в кабинете у Вальцева и, не замечая, тискал в руках фуражку; Вальцев, слушая его, становился все мрачнее. Неприятный сквознячок не один раз коснулся сердца, а, закончив рассказ, Федюнин почувствовал облегчение.

— Надо Митьку Волкова арестовать, под суд его надо, вся смута от него,— подвел он итог и стал нервно закуривать.— Иначе работать с народом невозможно, Геннадий Михайлович...

Под насмешливо-жалостливым взглядом Вальцева зажигалка, как назло, отказывала.

— Эк как все у тебя просто,— почти сочувственно удивился Вальцев.— Арестовал, и дело с концом... Нет, Фрол Тимофеевич, дурака ты свалял... большого, черт возьми, дурака!

— Постой, Геннадий Михайлович...

— Нет, ты постой,— Вальцев безнадежно махнул рукой.— Посоветуй, куда я теперь тебя деть должен?

— Меня?

— Тебя, тебя, кого же еще? — Вальцев говорил попрежнему тихо, но Федюнин от его тихого голоса весь подобрался на стуле.— Стройконторой руководил? Руководил. Работу развалил? Успешно. Коммунальным трестом руководил? Руководил... Топить город стало нечем, следовательно. Директором сушильного завода был? Был. Половина рабочих разбежалась... Вспомни, после Анисимова Родиона Густавовича, помнишь, от отчаяния или сдуру, не знаю — уж прости за откровенность! — на райпотребсоюз тебя бросили, когда Анисимов в Холмск перебрался... Спасибо, скоро спохватились, а то бы... Теперь здесь, на самом передовом рубеже...

— Товарищ Вальцев! — вскочил, багровея щеками и шеей, Федюнин.— Я не позволю издеваться над собой даже секретарю райкома! Я экономист, у меня стаж... Не забывайте! Я в партии двадцать лет... Я вора за руку схватил, я на то партией и поставлен — общественное добро сохранять...

— Договаривай, договаривай,— с заинтересованным лицом уставившись на него, подбодрил Вальцев.

— Хоть он и прославленный человек, герой, так сказать, партизан, но вор и сукин сын, простите, и расхититель общественного...

— Говорить ты выучился, давно известно. Говорить мы все мастера, а работать с народом... У тебя есть свидетели?

— Свидетели? — растерялся Федюнин.— А я сам кто? А честное слово коммуниста?

— Под твое честное слово, ты полагаешь, можно все село арестовывать? Возьмет тот же Митька Волков и скажет, что все это тебе приснилось, а больше ничего и не было. Как же тогда? Тебе верить или ему, действительно прославленному человеку? Да и не в этом дело-то. Как же ты дошел до такой жизни, что все село против себя восстановил? Ну, арестуем Митьку Волкова, а с остальными что делать? Не любит тебя народ, и в этом самого себя вини.

Где-то в глубине души Федюнин понимал, что Вальцев безусловно прав, жизнь иногда такое из себя вывернет, что ни в какой закон ты это не втиснешь, ни под какую мерку не подгонишь... Но одно дело — понимать и совершенно другое — взваливать на себя вину за случившееся. Виски и шея у Федюнина начали предательски разогреваться, пощипывать.

— Как же со мной, что со мной будет? — ищуще пробежал он глазами по лицу Вальцева.— Я же не смогу там больше работать...

— Разумеется,— сухо отрезал Вальцев.—Разумеется, не сможешь.— Вальцев с нескрываемым сожалением глядел на суетившегося Федюнина.

Здесь придумать ничего нельзя было, с Федюниным все ясно; дело тут не в Федюнине, он такой не один, в номенклатурных кадрах все четче обрисовывается какой-то порочный круг. Когда-то каким-то образом поднялся человек на определенную высоту, и оттуда его уже невозможно убрать, захламит одно место, глядь, ему другое готово, почище и с бо́льшим окладом, лишь бы ушел он с миром, по собственному желанию, без скандала и жалоб в высшие инстанции. Чуть ниже им опуститься уже никак нельзя. «Даже вот этот,— неприязненно покосился Вальцев в сторону Федюнина,—был прежде неплохим бухгалтером, сидел на своем месте в плановом отделе треста, а теперь... Точнее не скажешь — медный лоб».

— В Густищах никто не сможет, там черт знает что за народ. Какого-то Захара помнят, Дерюгин по фамилии, он у них еще до войны председателем был, а они его помнят, и как что — сразу тебе в рыло этим мифическим Захаром. Как же там работать? — говорил между тем Федюнин.— Может, его и не было, никакого Дерюгина? Так уж сложилось, сам ты лучше меня знаешь, Геннадий Михайлович. Растение, допустим, всегда оставляет земле больше, чем само из нее забирает. А у нас в сельском хозяйстве все наоборот... все подчистую забирают, а в обмен голый кукиш, даже и без прогорклой подмазки. При чем здесь какой-то Захар! Было бы хорошо, никто бы о нем и не вспомнил...

— Подожди, подожди,— заинтересованно блеснул глазами Вальцев,— сравненьице это сам придумал?

— Где уж мне,— Федюнин безнадежно махнул рукой.— В Густищах-то и наслушался...

— Ишь ты, любопытно,— последние слова Федюнина несколько остудили Вальцева; Федюнин сидел на краешке стула кособоко, сгорбившись, и было видно, что он совершенно потерян. Но помочь Федюнину на этот раз было бы уже совершенным преступлением, и поэтому Вальцев старался побыстрее закончить разговор, нетерпеливо поглядывая на телефон, тем более что нужно было торопиться на моторный, поездка эта тоже не из легких (крутой характер Чубарева был ему известен с довоенных лет), и Вальцев действительно уже не имел ни минуты времени; Федюнин понял и встал.

— Как же все-таки со мной, Геннадий Михайлович? — спросил он тихо.

— Подумаем. А такой Захар Дерюгин действительно был, ты этого зря недооценивал. Был он, понимаешь... и все тут,— сказал Вальцев, уже думая о другом, кого бы из самих густищинцев наметить там в председатели, может, того же Митьку Волкова... «А что? — даже несколько растерялся он от своей находки.— И очень даже толково может выйти...» Вальцев энергично, с удовольствием потер руки.

— Не понял, вы это мне? — Голос у Федюнина сорвался.

— Да нет, с тобой, брат, все ясно,— невозмутимо отозвался Вальцев.— Сдавай дела. Вынесем вопрос на бюро райкома, прибивайся потихоньку к своему берегу,

Фрол Тимофеевич, мой тебе совет. На чужой высоте у любого воздуха не хватит.

— Какую высоту-то? — страдальчески морщась, поинтересовался Федюнин.

— Помнится, раньше ты неплохим бухгалтером был... вот давай обратно в плановый отдел.

— Жаловаться буду! — неожиданно сорвался Федюнин на тонкий фальцет, бледнея.— Я — коммунист, у меня стаж! Я воевал! Вы воров покрываете! Я...

— Поди охладись, Фрол Тимофеевич,— сказал Вальцев, миролюбиво моргая.— Чтобы потом не жалеть. Бывай, бывай...

— Простите, Геннадий Михайлович,— совершенно иначе заговорил Федюнин, и глаза у него стали стеклянными,— со мной вы справитесь, у вас власть. Но вот что... Не кажется ли вам, что вы в этом конкретном случае не ту линию гнете? Честно? Если взглянуть на вопрос с другой стороны, кого вы покрываете? Вора, расхитителя, а я какой-никакой, башковитый ли, бездарный ли, но стою на твердой партийной линии...

— Ага! Это я знаю, да ведь этого, к сожалению, мало.— Вальцев, придвигая папку с бумагами по моторному заводу, одновременно нажал кнопку вызова секретарши.

Федюнин, оборвав на полуслове и все поняв, вздрогнул потным, страдальчески-отчаявшимся лицом и уплыл куда-то в сторону; тотчас в ушах Вальцева зазвучали другие голоса, другие интонации, на него вплотную надвинулось лицо Захара Дерюгина на том, еще задолго до войны, бюро, когда он, раскаленный донельзя, выложил на стол перед Брюхановым свой партбилет и ощупью, слепо вытягивая вперед руки, бросился в дверь.

— Если надо, я в обком, я к товарищу Брюханову! У нас ЦК есть! — опять назойливо ворвался в сознание голос Федюнина.

— Давай, давай, Фрол Тимофеевич! Чего уж Брюханову, давай сразу в Политбюро! — повысил наконец голос и Вальцев.— Только сначала бюро райкома твой отчет заслушает о развале работы в одном из самых больших колхозов области. А сейчас ты свободен.

Оставшись один, Вальцев покурил у окна, хмуро понаблюдал, как в широких листьях сирени, готовых окончательно осыпаться, хозяйствует мелкий ветряной

дождь, зарядивший сегодня с самого утра. В ушах стояла все та же мучительная, растерянная интонация Брюханова, совершенно еще молодого, перетянутого ремнями, с резко обрезанными скулами. «Кажется, добились, угробили мужика... а мужик-то хороший ведь, наш... А, черт, все нескладно, все не так!»

6

Аленка сообщила мужу о своей беременности неожиданно и для себя, и для него, с некоторой растерянностью в голосе. Брюханов уже засыпал, они только что погасили свет. Ему послышалось, что она что-то сказала, что-то важное, и он, открыв глаза, помолчал, пытаясь припомнить, затем спросил:

— Мне послышалось, ты что-то сказала?

— Да,— не сразу отозвалась она,— сказала, Брюханов. А ты уже спишь... спишь... Эх, Брюханов!

— Аленка! — он резко высвободил руку у нее из-под головы, сел; до него с трудом дошел смысл сказанных ею, пробившихся в полузатуманенное сном сознание слов, он замер, словно боялся что-то самое дорогое спугнуть.— Аленка... правда?

— Да, да, да,— торопливо зашептала она.— Тише, тише, ты все испортишь, сглазишь...

— Только послушать... это говорит будущий врач.—Он приподнял ее за плечи, поцеловал в губы; сон совершенно пропал.

— Слушай, Брюханов, почему мужчины так примитивны?

— То есть? — заволновался он, не находя слов и от полноты счастья снова целуя ее.

— Этого не объяснишь,— сказала Аленка.— Просто, очевидно, ни один мужчина не способен уловить того, что нужно женщине в такую минуту...

— Только скажи, что тебе нужно,— подхватился Брюханов, не отпуская ее.— Я все сделаю, все что ты хочешь! Ты только скажи!

— Не знаю, в том-то и дело. Мне ничего не нужно. Ничего, кроме тебя и ребенка. Но ты молчи, все равно молчи, еще можно все испортить,— тихо и счастливо рассмеялась она, прижимаясь к нему и снова, в который уже раз, подпадая под его власть, чувствуя теперь его как-то иначе, непривычнее, и радуясь тому, что

у ее ребенка будет такой большой и неуклюжий в счастливую минуту отец.

— Все будет хорошо, Аленка,— шепнул он коротко и властно.— Я все сделаю, все, даже невозможное.

— Не надо мне ничего невозможного,— тем же шепотом отказалась Аленка.— Я все теперь имею... Тьфу! Тьфу! Тьфу! — тут же испугалась она.

Больше они ни о чем не говорили, он лишь быстро и жадно поцеловал ее, и потом, когда она уже спала, свернувшись в комочек, он никак не мог успокоиться, все лежал, думал и стыдился того, что мог так дико ревновать ее к прошлому; он думал о том, что будет ребенок, и не мог представить, что это будет за ребенок, мальчик или девочка. Он даже не мог сейчас сказать, кого бы он сам хотел, мальчика или девочку, он так и не мог этого решить, и не только в эту бессонную ночь, но и в течение всего остального времени вплоть до того момента, когда Аленку отвезли в больницу, отвезли без него (как-то незаметно в работе проскочила осень, прошла и зима, и он должен был проводить областное совещание по расширению посевных площадей), и, только вырвавшись в больницу поздно вечером и просидев там до рассвета, он по-настоящему испугался. Роды были тяжелые; стараясь держать себя в руках, он все боялся за жену; пусто для него было в мире без Аленки, невыносимо пусто. Он бы не смог прожить без нее ни одного дня; забывшись, он вскочил и заходил по тесному, узкому кабинету, некстати вспоминая о первой своей жене, о Наташе, и чувствуя тихо, болезненно сжимающееся сердце. «Нехорошо, нехорошо, несчастная мысль, нельзя было даже близко пускать ее к себе,— от суеверного страха он даже помотал головой и, вытирая мокрый лоб, в который уже раз нервно закурил и с отвращением сплюнул; во рту стоял противный вкус табачного перегара и было сухо; он уже давно выпил воду из небольшого кувшина на тумбочке, а позвать кого-нибудь не решался.— Что же это такое? — подумал он с раздражением.— Почему мне никто ничего не говорит? Немедленно, немедленно вызвать хорошего специалиста из Москвы...»

Бросив папиросу в металлическую эмалированную урну, он решительно шагнул к двери. Находиться в неизвестности Брюханов дальше не мог, нужно было срочно действовать. И тотчас, словно угадав его наме-

ренне, в дверях появился главный врач — эту кареглазую, всегда несколько медлительную женщину Брюханов давно знал.

— Ну что, Зинаида Ильинична? — кинулся он к ней.

— Успокойтесь, Тихон Иванович, успокойтесь,— сказала она, устало присаживаясь на кушетку, застланную чистой простыней; у нее давно уже, еще со времени эвакуации в Свердловск, поседели волосы, но при ярких глазах и свежей коже лицо оставалось удивительно моложавым.— Зачем же словно мальчик-то... Право, право, солидный мужчина, и нервы сдали, а дело самое обычное.— Зинаида Ильинична улыбнулась, и карие, яркие глаза ее потеплели, осветились изнутри тем успокаивающим, мягким, ласковым светом, который присущ людям добрым, привыкшим иметь дело со страданиями людей и поэтому уже выработавшим в себе свойство постоянно успокаивать и утешать.— Такая уж наша бабья участь,— продолжала она,— все хорошее вам, мужчинам, а все самое тяжелое — бабам.— Заметив в его лице нетерпение и даже возмущение, она, словно снимая напряжение, покачала головой, опять улыбнулась.— Все идет нормально, ребенок великоват... Но и мамаша сильная, справится...

— Как справится? Надо помочь ей, Зинаида Ильинична, голубушка...

— Поможем, поможем, что вы за беспокойный человек, Тихон Иванович,— удивилась Зинаида Ильинична.— Рожает баба, родит, право, куда денется? У нас специалисты есть на все случаи, поможем. Шли бы домой, сегодня-то, вероятно, рабочий день?

— А вам, Зинаида Ильинична, разве отдых предстоит?

— У меня другое, у меня и привычки иной нет.

Зинаида Ильинична разговаривала с Брюхановым спокойно и ровно, но ему казалось, что она напряженно прислушивается, и поэтому сам он никак не мог успокоиться; все пытался что-то спросить или сказать и, расхаживая по кабинету, совсем или почти совсем не воспринимал ее утешительных слов, казавшихся ему примитивными и даже глупыми, хотя это были обычные слова знающего и любящего свое дело человека, наиболее просто и полно выражавшие самую суть происходящего; в то же время Зинаида Ильинична,

стараясь успокоить Брюханова, понимала и не осуждала его, понимала, что для него сейчас ничего на свете не существовало, кроме таинства, происходящего где-то неподалеку, именно в этом сейчас и был заключен весь смысл его жизни, и нынешней, и будущей, и ничто иное его сейчас не интересовало. И это действительно было так. Все совещания, поездки, неисчислимое множество больших и малых дел — все для Брюханова отступило куда-то, поблекло и казалось незначительным, мелким, никакие разумные доводы сейчас не могли остановить и успокоить его. Он, разумеется, не знал и не мог знать, что́ принесет в мир еще один новый человек, по закону сменяемости вот-вот готовый появиться, вдохнуть самостоятельно в слабые еще легкие первый глоток воздуха. Просто ему хотелось, чтобы у него в доме, рядом с ним, появился ребенок, его ребенок, чтобы он мог любить его, и заботиться о нем, и знать, что это его ребенок. Да, да, его ребенок, нельзя же вечно заботиться только о чужих, хотя что в этом мире считать чужим? Он не скрывает от себя ничего. Аленка, именно Аленка, вот для него главное. Ребенок должен крепче связать их, и хотя эта мысль была ему неприятна, он не мог, оставаясь один на один с собой, отбросить ее, она была слишком важна. Это был скорее инстинкт, безусловный, безошибочный, нерассуждающий, и Брюханов, даже если бы захотел, ничего не мог изменить. Все время, пока Аленка носила, а носила она очень тяжело (токсикоз, появившийся на четвертой неделе, не отпускал ее ни на минуту, и она совсем исхудала), Брюханов, разделяя ее страдания и сочувствуя ей, в глубине души знал определенно, что только ребенок может связать их навсегда и освободить его от унизительного чувства постоянной зависимости, от страха потерять. Брюханов стыдился своих мыслей, но не мог и не хотел прогнать их, и сейчас, когда Аленке было так плохо, ему показалось, что мысли и опасения его неуместны, что он предает ее, оставляя наедине со своим страданием ради незнакомой, не известной пока еще никому жизни, а поэтому и ненужной...

Боясь повернуться и взглянуть на Зинаиду Ильиничну, Брюханов остановился у стены, перед ним на несвежей уже побелке прорисовывалось похожее по своим очертаниям на чью-то смеющуюся рожицу пятно. «Что, что такое?» — недоуменно поразился он. Ему

послышался отдаленный, тем не менее даже не мученический, а какой-то цепенящий, проникающий во все стены и двери крик, и даже не крик, а вой; по тому, как Зинаида Ильинична подобрала под себя ноги, он понял, что не ошибся. Он беспомощно замер, в ушах что-то тоненько ныло.

— Ну-ну,— сказала Зинаида Ильинична недовольно.— У нас сразу пятеро рожают. Уж сама не знаю, почему разрешила вам быть здесь... Вот так бабы постарше да по первому разу и кричат.

Зинаида Ильинична, еще раз искоса, теперь уже со скрытой досадой, взглянув на Брюханова, подумала, что вот вам и первый секретарь обкома, говорят, жестокий, беспощадный даже к незначительным промашкам и слабостям человек, а ничем, оказывается, не отличается от остальных; вот где человек скидывает все застежки. Увидели бы его сейчас подчиненные, было бы, пожалуй, забавно...

С видимым усилием поднявшись, Зинаида Ильинична успокоительно кивнула Брюханову, шагнула к двери, но, уловив близкие шаги в коридоре, остановилась, ожидая. Дверь распахнулась, быстро и энергично вошел врач, молодой, в белой шапочке, из-под нее от встречного света у него блеснули глаза.

— Полный порядок, Зинаида Ильинична,— сказал он.— Очень крупный ребенок, пришлось...

— Ладно, ладно, Федя,— совсем по-домашнему остановила его Зинаида Ильинична, поворачиваясь к Брюханову.— Вот крестный-то ваш, Тихон Иванович...

— Поздравляю, товарищ Брюханов, с дочерью,— молодой врач ослепительно белозубо улыбнулся, пожимая руку Брюханова, и шутливо развел руками, показывая: — Во какая богатырша!

Брюханов непонимающе смотрел на его руки; как только врач произнес это непривычное слово «дочь», Брюханов, хотя никогда раньше определенно не думал об этом, тотчас решил, что хотел именно дочь, что он всегда знал, был уверен, что родится именно дочь и что все будет благополучно; он никак не мог согнать с лица какую-то радостную и глупую улыбку, все неуклюже топтался на месте и вдруг рванулся к двери; Зинаида Ильинична проворно опередила его.

— Э-э-э, Тихон Иванович,— шутливо, с некоторой укоризной остановила она его.— Большего даже я, бог

здесь и царь, не могу позволить. Ступайте домой, ступайте, утро на дворе.

— Значит, все в порядке? — все никак не мог успокоиться и привыкнуть Брюханов.

— Разумеется,— подтвердил молодой врач, опять обращая на себя внимание белозубым решительным лицом, ему невольно, почти бессознательно хотелось, чтобы его запомнили и отметили; тут же встретившись с понимающим взглядом Зинаиды Ильиничны, он поймал себя на том, что краснеет, и, гася на лице оживление, сдвинул брови. «Вот старая перечница,— подумал он.—Как сова, в темноте видит». Но он тут же опять смело взглянул на нее, потому что случай и в самом деле был очень трудный и она отлично это знала; нет ничего плохого, что об этом узнают те, к кому это непосредственно относится.

До Брюханова не дошла эта короткая сценка; выпровожденный Зинаидой Ильиничной, скоро он уже шагал по пустынному и оттого еще гулкому городу; свежая предутренняя тишь сторожила город, в серых зыбких глубинах площадей, улиц и переулков была уже и не тьма, но и не свет, а какой-то робкий переход от одного к другому. Сейчас он любил свой город нерассуждающей, сдержанной любовью, и она наполняла его до краев, он чувствовал себя молодо, полновесно, шел из улицы в улицу не торопясь, потому что самое главное свершилось и торопиться было незачем. Торопиться сейчас было попросту нельзя, чтобы не оскорбить того, что произошло; он шел и жил только тем, что было сейчас, что происходило в нем, не хотел ни оглядываться назад, ни засматривать в будущее... Это был один из тех моментов жизни, когда человек открывает истину о самом себе и бывает иногда безмерно удивлен, даже озадачен. Именно это чувство новизны окончательно отрезвило Брюханова; он заспешил домой; он больше не хотел оставаться наедине только с собой, чтобы не узнать о себе слишком многого; в некоторых местах, сокращая путь, он с мальчишеским озорством перемахивал через заборы и, все-таки сбившись с дороги, каким-то образом оказался на самой окраине города, в одном из старых садов, посаженных, пожалуй, еще до революции. Пораженный, он остановился среди старых раскидистых яблонь, густо укутанных светящимся туманом; шагнув к одному из деревьев, он наклонил ветку к самому

лицу; пахнуло тончайшим ароматом цветения, перед глазами нежно задрожало розовато-молочное, мохнатое *соцветие в мелкой росной пыли*. «Опять весна»,— сказал он, и это прозвучало в нем как откровение; жадно вдыхая густой, наполненный свежестью цветущего сада воздух, он уже различал кроме чистого, вызывающего ощущение хрустящей свежести запаха росы, и сдержанный, неброский запах свежевскопанной неподалеку под грядки земли; вот только теперь мысль его метнулась куда-то назад, в темный, безоглядный провал. Удивленный, он остановился, это был какой-то необходимый *рубеж*, сейчас запах весеннего цветения коснулся его, словно дрожь уходящей жизни. Сорок семь лет позади, куда-то кануло все, исчезло за бесконечной работой и суетой, за много лет он, пожалуй, впервые опять увидел, что яблони цветут. И хотя он еще был полон сил и желаний, он почувствовал и тот свой особый *рубеж*, когда-нибудь его каждому надо будет перешагнуть. И это был даже не страх, страх был слишком мелок по сравнению с этим всеобъемлющим чувством, точно определить которое он не мог, он был скорее озадачен тем, что именно цветущий сад привел его в такое состояние. «Да, да,— сказал он себе, стараясь дышать и думать спокойнее,— разумеется, придет время, и ты должен будешь исчезнуть, таков закон живого, что же тут нового ты открыл? У тебя только что родилась дочь, ты здоров, у тебя еще много всего впереди... но этот неожиданный порог... Зачем же, зачем? — остановил себя Брюханов.— Ни одной минуты из прошлого не вернешь, не проживешь по-другому, сад снова буйствует, мне и страшно, и хорошо, это и есть жизнь, и от нее нельзя, невозможно укрыться, как раз это и хорошо, что нельзя укрыться...»

Он готов был сейчас на любую глупость, мог сесть на землю и расплакаться, все было настолько непривычно, что он и в самом деле почувствовал слезы на глазах и торопливо пошел дальше, перепрыгнул через низенький, затрещавший под ним заборчик и, увидя перед собой ошеломленные, испуганные глаза какой-то приземистой старухи с лопатой в руках, растерялся.

— Доброе утро,— сказал Брюханов, и старуха озадаченно кивнула в ответ и с понятной долей осторожности попятилась, подслеповато присматриваясь к нему и определяя, не непутевый ли это племян-

ник крадется в дом опять на заре.— Вот заплутался немного, думал дорогу выпрямить, а получилось наоборот...

— В чужом дому всегда шиворот-навыворот,— пробормотала ему в сердцах старуха и еще отступила назад; он вспомнил эту испуганную старуху, уже открывая дверь домой и видя перед собой встревоженное лицо Тимофеевны.

— Хорош! — негодующе всплеснула она руками.— Жена рожает, а тебя где это нечистик носит? Тебе твой Вавилов, помощник, два раза звонил. Погляди, костюм-то новый как отделал... батюшки!

— Дочь, Тимофеевна,— выдохнул Брюханов, разводя руки.— Такая вот дочка! Во-о!

Обхватив Тимофеевну, он закружился с нею по комнате, она что-то ошеломленно говорила, отпихивалась, и когда опустил ее на диван и сам сел рядом, все никак не могла прийти в себя, хватала крепкозубым ртом воздух и держалась рукой за грудь.

— Ох, уморил,— едва смогла наконец выговорить она.— Ох, батюшки мои, где же это видано — старого человека мячиком к потолку... подкидывать, ох...

— Есть хочу, Тимофеевна! Давай все на стол!

— Тише, тише, Колюшку разбудишь,— забеспокоилась Тимофеевна, заражаясь его радостью и улыбаясь сквозь светлые слезы.— Тоже заснуть не мог, загляну к ему, а он сразу голову кверху тянет. «Что?» — спрашивает. «Да ничего, говорю, спи ты ради бога, не твоя это забота...» Давай иди, иди умойся да костюм сыми, в люксе ведь шитый, иди, иди, не в беспризорном доме, найдется все, что нужно... Ах ты боже мой, значит, девочка, говоришь? — дала наконец волю своей радости и Тимофеевна.— Видишь, Фома неверующий, старые люди знают, поди... Я тебе говорила, девочка будет, так ты все смехом, все смехом...

7

На другой день, проезжая мимо цветочного ряда напротив старого, кое-как залатанного здания театра, где в основном старухи и дети продавали букеты первых цветов, Брюханов от полноты чувств накупил целую охапку нарциссов и тюльпанов, отнес в машину. Каким-то образом слух о рождении дочери просочился,

и его весь день сегодня поздравляли, а сияющий Лутаков, председатель облисполкома, даже привез цветы из оранжереи и сам поставил их в хрустальную вазу, извлекши ее из шкафа, где она хранилась как один из образцов продукции холмских хрустальных дел мастеров. В ответ на возражение Брюханова дружески-ласково, точно угадывая настроение момента, он несогласно покачал головой.

— Что вы, что вы, Тихон Иванович, что вы! — сказал он.— Как же иначе? Праздник есть праздник.

И Брюханов махнул рукой, ему сейчас все были симпатичны.

Жарко припекало майское солнце, и Брюханову казалось, что все цветы этого погожего майского дня действительно должны принадлежать Аленке; сложив букеты на заднее сиденье, он задержался взглядом на рекламном щите. Солнце было еще высоко, вслед за машинами тянулись хвосты пыли; дождя уже давно не было; прищурившись, Брюханов обвел взглядом безоблачное, налитое щедрым солнечным светом небо. «Ничего, будет дождь»,— решил он, окончательно настраиваясь только на хорошее.

— Здравствуйте, Тихон Иванович,— раздался рядом с ним чей-то голос, и он, оглянувшись, увидел высокую женщину; глаза у нее смеялись и в то же время в них таились настороженность и грусть; Брюханов узнал ее сразу, быстро шагнул навстречу под бойкими взглядами двух старух с цветами, продолжавшими на всякий случай держаться к нему поближе.

— Клавдия Георгиевна,— сказал он с той теплотой и потерянностью, которые появляются, когда человек неожиданно встречает то, о чем давно забыл, но что когда-то было близким и волновало.— Здравствуйте, Клавдия Георгиевна... Как же вы живете? Почему не дали знать о себе?

— Зачем, Тихон Иванович? — Она не опустила глаз, они были прежние, дерзкие, зеленые.

— Зачем? — переспросил Брюханов.— Как зачем? Где вы сейчас работаете, как живете?

— Время, Тихон Иванович, идет, дочь у меня уже замужем... Я на старом месте, все та же музыкальная школа. Люблю свое дело... да и поздно что-либо менять...

— Я видел Семена у партизан, в отряде Горбаня... Перед заданием, не было времени даже поговорить. А потом он не вернулся...

— Что ж, так, видно, ему на роду написано,— сказала Клавдия, и он только тут заметил, как сильно она постарела, поблекла.— Сеня никогда не отличался везением...

Брюханов хотел запротестовать, но Клавдия с какой-то злой усмешкой взглянула на него, это его и остановило. На мгновение он снова увидел перед собой ту женщину, которую когда-то близко знал и которую успел забыть, но ничего не почувствовал, глаза у него стали острее и отчужденнее.

— Вы женаты, Тихон Иванович,— сказала Клавдия.— Я несколько раз видела вас издали... Скажите, вы наконец нашли свое счастье?

— У меня дочь родилась, Клавдия Георгиевна.— Брюханов кивнул на машину.— Вот, собираюсь навестить.

— Поздравляю, я рада.— Клавдия пристально, словно пытаясь проникнуть глубже, туда, куда нельзя и незачем было стремиться, поглядела на него, но затем, спохватившись, опустила глаза.— Не знаю, зачем окликнула вас,— коротко вздохнула она.—У вас было такое счастливое лицо... я рада за вас. Ну ладно, простите, Тихон Иванович, задержала...

Она попрощалась еле заметным кивком, он молча посмотрел ей вслед, сел в машину, взглянул на Федотыча, и тот сразу же тронул. «Что можно было сказать ей? — подумал Брюханов.— Что он в самом деле счастлив? Но что такое счастье? Вот уже пять лет он не может привыкнуть к тому, что война кончилась, иногда даже не верит этому. Откроет глаза на рассвете, прислушается и ждет, что вот-вот тишина лопнет, обрушится на него грохочущей лавиной. Только оказавшись вчера в цветущем саду, он окончательно понял, что война в самом деле кончилась. Он бы мог сказать об этом Клавдии, но вряд ли она поверила бы, для этой женщины на первом плане всегда была сама она, ее порыв. Есть такие люди, живут в одном луче, ничего не замечая вокруг этой узкой полосы перед собой, винить их за это нельзя, для них просто ничего не существует, кроме них самих, они сами от этого несчастливы, ищут причину вовне, а она в них самих, и только в них. Хотя кто

знает, как все это бывает. Сейчас он знает одно: он счастлив, да, счастлив, и у него теперь есть дочь, теперь какая-то часть Аленки навсегда и безраздельно принадлежит ему, и этого уже никто никогда не сможет у него отнять. Она и сама понимала это его настойчивое желание иметь ребенка и как никто страдала от этого. Теперь все будет иначе, по-другому...»

Аленка лежала в небольшой отдельной палате, рядом с кабинетом главврача. Она все еще не верила, что все позади; забываясь иногда коротким сном, она просыпалась в холодном поту от ужаса, что все повторится; в один из таких моментов, испуганно приподнявшись на локтях, она увидела знакомую нянечку.

— Что же это такое? Где ребенок? Почему его не несут, узнайте, пожалуйста! — попросила она.— Так у меня молоко пропадет...

— Посетителя принимай,— сказала ей на это нянечка, улыбаясь добрым морщинистым лицом.— Я пособлю, пособлю...

Беспокойно, с помощью нянечки, Аленка оправила на себе простыню, подтянув ее выше, до самого подбородка. Нянечка вышла. Аленка почти сразу же увидела в дверях мужа с фантастически огромным букетом цветов. Брюханов приблизился, не сводя с нее глаз, затем неловко огляделся, отыскивая, куда положить цветы, не нашел и положил их на подоконник и на кровать, в ноги Аленки, и она сразу через простыню почувствовала их прохладу и свежесть. «Спасибо»,— одними губами шепнула она; в ее изменившихся, как бы сильно выцветших глазах еще таилось страдание, непонимание этого страдания, но в них уже проступала и какая-то новая, неизвестная ему глубина. Брюханов, отмечая, что она очень бледна, и губы у нее искусаны, и что ей, очевидно, было плохо, все-таки не мог перебороть своего счастливого, радостного настроения.

— Это пройдет, Аленка,— сказал он.— Ты такой молодец...

Он быстро наклонился, поцеловал ей руки, и сам почувствовал ее сухие, горячие губы.

— А ты знаешь,— сбивчиво-беспокойно заговорила она,— девочка прелестная, так похожа на тебя. Тихон, я сначала так испугалась, у нее вот здесь,— Аленка откинула со лба волосы,— на лбу и на затылке,

большие красные пятна... Величиной с монету. Представляешь, на самом лбу над переносицей, я так испугалась, так плакала. А Зинаида Ильинична говорит, что это родовое, потом обязательно пройдет... Утром в первый раз приносили кормить, она сначала никак грудь не брала, мы обе с ней наревелись, она так беспомощно, беззубо плачет... Тихон, Тихон, как это можно, ничего не было, и вдруг — человек...— Она разгладила обеими руками простыню, и Брюханов удивился ее исхудалым рукам.— Мы назовем ее Ксенией, Тихон, Ксеня... Маленькая, маленькая...

— Почему Ксеней? — спросил Брюханов, прислушиваясь к незнакомым грудным ноткам в ее голосе и стараясь определить свое отношение к странно-непривычно звучащему имени девочки.

— Не знаю.— Аленка снова беспокойно облизнула губы.— Ксения — красивое имя... Девочка сильная, врачи говорят, очень активная... Смешно звучит, правда, активная! О такой крошке, вот ты посмотришь, она очень хорошенькая!

— Ну что ж, Ксеня так Ксеня,— согласился Брюханов, привыкая к этому имени.

— Дай телеграмму матери, в Густищи, Тихон,— попросила Аленка.— Она так ждала внучку или внука. Только сразу пошли, пусть порадуется...

— Обязательно.— Брюханов взял ее бледную руку, он как будто стыдился сейчас своего здорового, крепкого тела и старался сжаться, стать незаметнее.—Ну, как ты?

— Знаешь, было так страшно, Тихон,— призналась она и слабо стиснула его пальцы.— Главное, никто-никто тебе не может помочь, точно ты остался один на один с целым миром, этого даже не передашь... Только от тебя зависит, быть новой жизни или нет. Нет, я не то говорю, я не умею сказать... Ни о чем не думаешь, только боишься сплоховать. А на тебя надеются, вот и стараешься держаться изо всех сил. Когда мне Ксению показали на столе, я увидела, что она твоя копия — те же губы, смугленькая, как ты... Я все совершенно забыла, точно все прежнее отрезало, одно я знаю, что не зря живу на свете...

Аленке надо было выговориться, она говорила и говорила, лихорадочно блестя глазами и облизывая сохнущие губы; он поймал на себе ее беспокойный взгляд и успокаивающе погладил ее руку; в ее словах было все просто и ясно, но в то же время сама она как

бы по-прежнему оставалась за особой чертой, откуда не было выхода.

— Знаешь, Брюханов, я, кажется, поняла, почему мужчины боятся смерти и так трудно умирают,— уже спокойнее сказала она по-прежнему откуда-то из своего далека, в которое он не мог проникнуть.

— Почему же?

— Потому что они не рожают.— Аленка утомленно закрыла глаза, но тут же, вспомнив, забеспокоилась: — Слушай, попроси нянечку, пусть принесет какую-нибудь банку. Цветы ведь завянут, что же это я... Спасибо тебе и за цветы, и за Ксеню... Скоро ты ее увидишь. Постой, неужели двенадцать? Слышишь шум в коридоре? Кормить разносят. Ты отойди, пожалуйста, подальше, в угол... Повязку, повязку надень, тебе никто ничего не скажет, хотя это, конечно, не положено...

Маленький сверток в красном пикейном одеяльце, внесенный в палату сестрой, был до того мал и так не похож на человека, даже только что родившегося, что Брюханов растерялся; он завороженно смотрел, как Аленка ловко приняла этот сверток из рук сестры, откинув при этом верхний край одеяльца; повернувшись на бок, она выпростала полную, набухшую грудь с маленьким тугим соском и приложила ребенка к ней. Затаив дыхание, Брюханов глядел на сморщенное личико, вздернутый, сопевший носик и крепко ухватившие материнский сосок вздутые, как показалось Брюханову, сердитые губки; глаза у ребенка были закрыты.

— Она спит? — приподнимаясь в своем углу на цыпочки, вытянул голову Брюханов.

— Правда, красавица какая? — шепотом спросила Аленка, не отрывая от дочери сияющих глаз; ответить он не успел: в палате появилась пожилая нянечка, помогавшая Аленке прибрать постель, быстро собрала цветы.

— Ничего, теперь расти будет не по дням, а по часам,— заметила она, адресуясь почему-то именно к Брюханову.— Так что ты, папаша, не беспокойся... Ну, да не тебе говорить, не первый-то, поди, раз... А цветочки принесу, вот только в посудину поставлю.

Она вышла, притворив дверь; ошарашенный такой простотой, Брюханов глянул ей вслед, запоздало изумился; в открытое окно ворвался порыв ветра, и Аленка, испуганно покосившись на пузырившуюся

занавеску, заслонила лицо ребенка одеялом. Заражаясь ее тревогой и забывая обо всем остальном, Брюханов поспешно захлопнул окно; Аленка благодарно кивнула, одобрительно улыбнулась его поспешности, и опять все ее внимание сосредоточилось на ребенке.

Теперь, когда ее долг был выполнен, к ней начинало возвращаться ощущение власти над Брюхановым, как и в первые месяцы замужества; он, как мальчишка, еще долго робел перед нею, когда она кормила, пеленала или купала Ксеню, и готов был лететь хоть на край света по первому ее слову и движению.

8

Время шло быстро, не успела Тимофеевна поахать и навосторгаться крепкой, горластой девочкой (вначале Аленка ревниво не подпускала Тимофеевну к дочери, не давая баловать, справедливо считая, что ребенок должен прежде всего узнать руки матери), промелькнуло несколько месяцев. Ребенок рос здоровым; Ксеня хорошо набирала в весе, ела и гуляла по часам, в остальное время спала или рассматривала свои кулачки с видом величайшей сосредоточенности и серьезности; и Тимофеевна наконец смирилась со своей второстепенной ролью при ребенке, сохранив за собой всю полноту власти в доме.

Не успел и сам Брюханов привыкнуть к своему разросшемуся семейству с центром, сосредоточенным в маленьком требовательном существе, которому не было никакого дела до забот и суеты взрослых, как это самое крошечное существо с мрачноватыми отцовскими глазами потихоньку стало сидеть, обложенное подушками; затем как-то схватившись за спинку кровати, Ксеня встала, вызвав всеобщее изумление и восторг, и все покатилось дальше привычным порядком.

В год Ксеня уже шлепала по квартире, у нее появилась любовь к темным углам, и Тимофеевна с ворчанием извлекала ее то из-под стола в комнате у Николая, то из кладовой, где хранилось всяческое старье, прочно оседавшее там неизвестно по каким законам. А как-то Тимофеевна и вовсе перепугалась, шаг за шагом обыскав всю квартиру из шести комнат с большим коридором, кабинет самого Брюханова, где на столе торчали телефоны (кстати, их Тимофеевна не

любила почему-то больше всего, никогда к ним не подходила и звала их «татарчуками», а когда они начинали трезвонить, она непримиримо отворачивалась и спешила куда-нибудь в противоположную сторону: «Ишь, ишь, родимец вас разбирает,— мстительно говорила она при этом.— Ништо, не напасешься на вас времени, потерпите!»), но так и не натолкнувшись нигде на Ксеню, Тимофеевна от неожиданности даже прикусила палец. Это было невероятно, девка исчезла, как и не было ее; отдышавшись и сама себя подбадривая, Тимофеевна осмотрела все окна, наружные двери, они, как и положено, были закрыты. Вот тогда Тимофеевна и вспомнила о телефонах; уходя на работу, Аленка всякий раз наказывала ей звонить, если что случится, и оставляла крупно написанный на листе номер телефона, куда нужно было звонить. Охая, хватаясь за сердце, Тимофеевна трижды перекрестилась сама, обмахнула на всякий случай крестом и телефоны, окончательно сделав обреченное лицо, она сняла трубку, выпростав ухо из-под платка, осторожно послушала. «Господи помилуй,— сказала она потерянно, не решаясь на большее и роняя трубку на место,— как же так?»

Она опять пошла из комнаты в комнату с тщательным обыском, не пропуская ни одной щели, и через полчаса обессиленно опустилась на кухне на табурет, посидела несколько минут, тяжело поднялась и, шлепнувшись на колени, заглянула под посудный шкаф, почему-то привлекший в последнюю минуту ее внимание, хотя в щели под ним в ладонь величиной не могла бы поместиться и кошка. Девка исчезла, как и не бывало ее вовсе. «Ну вот,— подумала Тимофеевна теперь уже без всякого внутреннего протеста, как о деле само собой разумеющемся.—Вот на старости лет и заработала себе тюрьму. Кто же поверит? Сквозь земь, что ли, она провалилась... Надо хоть узелок какой собрать, как заарестуют да поведут, сухариков каких, исподнего смену взять...»

С трудом поднявшись, она зашлепала в кабинет, где уже несколько минут надрывался один из телефонов. «Ништо тебе, татарчук окаянный, потерпишь, не до тебя»,— думала она, бессмысленно блуждая глазами по углам. Большой кожаный, мягкий чемодан в углу, не убранный на антресоли после недавней поездки Брюханова в Москву, в это время на виду шевельнулся, приподнял угол и по-живому резко вы-

гнулся. Тимофеевна открыла рот, попятилась, но тут же с криком ринулась к нему, откинула крышку и потрясенно опустилась на колени. Перед ней спокойно, подвернув ножонки, спала Ксения, каким-то образом оказавшаяся в чемодане, и Тимофеевне только и оставалось, что расплакаться. Ксения по-прежнему безмятежно спала; Тимофеевна бережно и ловко взяла ребенка на руки, перенесла в кроватку; телефоны продолжали названивать, и Тимофеевна, не скрывая злорадства, вооружилась сухой тряпкой и принялась тщательно вытирать повсюду невидимую пыль, не пропуская ни одной безделушки и лишь не прикасаясь к телефонам.

Вечером собрались за большим обеденным столом, и Тимофеевна, раскладывая жаркое, рассказала о Ксене; подхватив смеющуюся девочку на руки, Аленка тормошила ее и целовала; она почти не видела дочь, сдавала государственные экзамены и сутками пропадала то в клинике, то в институтской библиотеке. Брюханов, любуясь брыкавшейся на руках у Аленки дочерью, тоже смеялся, а когда Тимофеевна в лицах представила, как она собирала узелок в тюрьму и как нашла спящую девочку в чемодане, Николай, бывший к этому времени уже студентом второго курса радиофизического института и вечно спешивший к своим формулам и схемам, бросил вилку и, вскочив на ноги, закричал:

— Нашел! Нашел! Нашел! Именно там, там, внутри магнитного поля! — Он выскочил из-за стола, закружился, высоко подпрыгивая, по комнате и бросился вон.

Аленка с Брюхановым переглянулись, а Тимофеевна, обмахиваясь платком, откинулась на спинку стула.

— Ох, уморил, когда-нибудь родимчик с вами хватишь. Намается с ним какая-нибудь, ох, намается, сердешная! Не-ет,— протянула Тимофеевна с решимостью в широком, крупном лице.— Уйду я от вас, нету у меня никаких сил больше. Прямо ненормальные кругом... Да с вами свихнешься на старости лет, и пензия не поможет...

— Ба! — позвала Ксения Тимофеевну, протягивая к ней руку с большой ложкой.

— Ну-ну, чего тебе, Ксеня? — спросила Тимофеевна, сразу размякая перед этой детской, ясной улыбкой.— Иди ко мне, детка, иди, милая...

Ксения было потянулась к ней, но Аленка засмеялась, перехватила дочь, снова затормошила и уже только потом отдала Тимофеевне, и та увела ее укладывать спать; Аленка, задумавшись, сидела молча, сцепив пальцы и положив руки на край стола; она не почувствовала, что Брюханов уже давно глядит на нее, и, услышав его голос, вздрогнула.

Она вся внутренне подобралась под его внимательным, испытующим взглядом, но это была уже не та Аленка, что два-три года назад или даже месяц, внешне она ничем не выдала внутреннего напряжения.

— Что у меня особого может быть? Зубрим до изнеможения. Институт, дом, клиника,— сказала она.—Устала смертельно. У тебя как?

— Обычно, Аленка, ничего нового.— Брюханов, принимая ее тон, закурил, опять скользнул по ее лицу глазами; «если ей хочется считать, что все нормально в их отношениях, пусть будет так,— подумал он,—хотя надо быть слепым, чтобы не видеть ее состояния, последнее время ее все почему-то раздражает, она подолгу смотрит на него, точно изучает заново и пытается понять что-то необходимое, еще Ксеня плохо спит по ночам».

— Ничего, Брюханов,— сказала она, словно подслушав его мысли,— вытяну, у нас порода такая...

— Какая же? — поинтересовался он, не скрывая того, что откровенно поддразнивает ее.

— Да ведь дерюгинская, Тихон Иванович. К земле поближе, оно покрепче.

— Ну, это когда было! — насмешливо присвистнул он, и Аленка, не отвечая, со свойственной ей порывистостью принялась убирать посуду со стола, но у обоих осталось ощущение какой-то недоговоренности.

Вырвавшаяся у Тимофеевны и пришлепавшая к отцу босиком, в одной ночной рубашке, Ксеня залопотала, затопала ножонками, оторвала Брюханова от мыслей, за ней тотчас и Тимофеевна выросла в дверях, и Ксеня, увидев ее, с визгом вскарабкалась отцу на колени и пресерьезно спряталась у него на груди; Брюханов, смеясь, прикрыл ее руками.

— Разбалуете мне девку, сладу с ней не будет,— пожаловалась Тимофеевна сердито, но глаза у нее тоже блестели от удовольствия.

9

Проработав в Зежском райпотребсоюзе несколько лет после освобождения области от немцев, Анисимов стал подумывать о переезде в Холмск; слишком многое на старом, обжитом месте напоминало о прошлом, в его же расчеты не входило хоть чем-то омрачать отношения с женой, отыскавшейся на второй год после окончания войны; она по-прежнему была и оставалась ему, несмотря ни на что, единственно родным и близким человеком. Он не мог забыть той минуты, когда ему сообщили, что Елизавета Андреевна отыскалась; он как раз был на работе и почувствовал по-живому вздрогнувшую в его руках трубку телефона.

— Это правда, вы не шутите? — спросил он пропадающим шепотом и, тотчас сообразив, что его не услышали на другом конце провода, не могли услышать, торопливо крикнул: — Алло! Алло! Где она? Где, ради бога?

Он не мог передать, что с ним сделалось при первом взгляде на худое, как-то истончившееся и в то же время показавшееся ему прекрасным лицо жены. Сердце куда-то все падало, проваливалось; только теперь в полную меру он почувствовал, как она необходима ему и как невыносимо было бы потерять ее совсем, тем более что он знал, что если бы она погибла, то в этом был бы виноват только он один. На какой-то миг ему показалось, что это мираж, что все уже — в который раз! — ему снится и *она* сейчас тихо и прощающе улыбнется, как умеет улыбаться только она, и исчезнет, растворится навсегда. Но *она* не исчезла, испытующе, с тревожным ожиданием глядела на него, и он понял, что происходящее, и радость посторонних людей, и она сама — все это самая настоящая реальность. Да, он молил, и случилось чудо, и только тут он заметил рядом с нею худенькую девочку лет семи и очень удивился.

— Это Шура,— сказала Елизавета Андреевна, ласковым, осторожным движением прижимая голову девочки к себе.— Шурочка... Мы теперь с ней вместе...

Анисимов поспешно кивнул; он сейчас на все был согласен и всему был рад, лишь бы Елизавета Андреевна, действительно дорогой ценой заплатившая за его предательство и вынужденное бегство, прошедшая через тюрьмы и концлагеря и к концу

войны оказавшаяся в Австрии, где ее и освободили союзники в числе других заключенных, снова не исчезла, хотя первые дни и часы после возвращения были самыми тяжелыми. Анисимов старался никогда не вспоминать о них; в ответ на все его оправдания и покаянные речи о том, что ему нельзя было не уйти в ту мартовскую ночь сорок третьего, Елизавета Андреевна коротко и односложно кивала «Да, да...», а сама неотступно думала о чем-то своем, она по-прежнему не верила и не прощала, какая-то тихая решимость появилась в ней, но чувство радости с его стороны было искренним и глубоким и перекрывало все остальное.

— О чем ты все время думаешь? — спросил он однажды, измученный ее неверием и своими бесполезными попытками доказать ей, что не имел тогда никакого другого выбора.

— Мне так хотелось назад, домой, увидеть свое небо, свои русские лица... услышать русскую речь... Как меня уговаривал Анри... боже мой... И потом Шурочка... собственно, ради нее все... Сама я хотела только умереть. Но я не могла, не имела права лишать ее родины. Я бы не простила себе...

— Какой еще Анри? — уже совсем потерянно спросил Анисимов.

— Мосье Анри Брусак,— так же нехотя и безразлично отозвалась она и замолчала, всем своим видом показывая, что больше говорить не хочет и не будет.

Он дипломатично уклонился тогда от дальнейших расспросов; не сразу и не вдруг, но между ними установились какие-то более или менее ровные отношения, их нельзя было назвать близкими, тем более что Анисимов все время ощущал непроницаемую стену между собой и Елизаветой Андреевной, и этой стеной, несомненно, был тот загадочный Анри Брусак, о котором она не хотела говорить. Анисимов решил насильственно не сокращать неблизкий путь их друг к другу, а предоставил времени сглаживать острые углы, и действительно, насущные заботы, необходимость устраиваться на новом месте, обживать квартиру (время было трудным для всех) отодвинули эту тревогу, а затем и вовсе заслонили.

С ясностью недюжинного стратега в первые же часы освобождения Холмска от немцев Анисимов определил главное; ему необходимо было вернуться

в Зежск, и он не ошибся в этом; в ближайших его планах ему могли помешать только два человека — жена и Федор Макашин,— но у Макашина не было ни одного малейшего сколько-нибудь убедительного доказательства, и потом, в страхе собственного немедленного разоблачения он никогда бы не посмел ничего враждебного в отношении его, Анисимова, предпринять, а в жену Анисимов верил, надеялся на ее привязанность и врожденную порядочность... и потом, на самый крайний случай были другие меры — кардинальные и беспомощные. Во время проверки ему удалось доказать свою причастность к подпольной борьбе против немцев, сам Брюханов подтвердил это; решительное возвращение в Зежск закрепило окончательный успех. Если кто и пошептался по углам, то это уже ничего не значило; Вальцев, тоже вернувшийся к своему делу, знал, что Анисимов спас Брюханова (в чем теперь и Елизавета Андреевна не сомневалась) от верной гибели в критический момент, так что для Анисимова наступило относительно спокойное и даже доброе время. Но в самом Анисимове по-прежнему, то затухая, то разгораясь, как непогасший уголь под слоем пепла, жило смутное недовольство своим положением, никчемностью выполняемой работы, ему приходилось все время поддерживать видимость непрерывного, вдохновенного горения по поводу нескольких сотен метров сатина или ситца, двух-трех бочек керосина для какого-нибудь дальнего, заплеванного поселка в десять — пятнадцать дворов, где, однако, как и во всей стране, деятельно и с энергией продолжала строиться новая жизнь. Анисимов знал, что дело не в ситце и не в керосине и теперь даже не в советской власти, а в тех катастрофических смещениях, случившихся в нем самом; все старые устои в нем окончательно рухнули, а новых не было, новым после такой глобальной катастрофы просто и неоткуда было появиться. Он втайне гордился, что не поддался первому желудочному позыву и не кинулся, как некоторые другие, очертя голову в зовущие объятия немцев, а раскусил вовремя их концепцию. Все их лозунги о свободной России были низкопробной демагогией для дураков, припорошенной сладкой пудрой, и Анисимов сейчас даже с каким-то нездоровым удовольствием почитывал в газетах о судебных процессах, о всяких там изменниках и предателях народа, с видимым

интересом смакуя подробности и сообщая их Елизавете Андреевне. И все-таки его угнетала заполнявшая душу пустота, уж лучше бы тюрьма, каторжные работы, все, что угодно, только не эта угнетающая, бездеятельная пустота, оторванность от главных, стремительных водоворотов жизни, ежедневно, ежечасно сотрясавших все кругом, от новых займов, коммунистических субботников, движений многостаночников, как бы фантастически нелепы они ни были; и в этом мире при уме и ловкости можно занять достойное положение, в конце концов, в жизни важны власть и хлеб. Это главное.

После возвращения Елизаветы Андреевны Анисимов и в самом деле в чем-то главном переменился, както внутренне поздоровел, словно у него появилось второе дыхание. И работать стало легче и веселей; и в райисполкоме, в райкоме его стали все чаще похваливать, и это не было ему неприятно, особенно дорожил он молчаливым одобрением Елизаветы Андреевны. Даже лук и картошка, разные там соленые грибы или огурцы, которыми он снабжал районные и заводские столовые (ему не раз и не два приходилось выручать Зежский моторный, хотя всякий раз он тянул, дожидаясь непременного звонка от Чубарева или от секретаря райкома Вальцева), сделались ему не так ненавистны. Как-то само собой получилось, что к нему чаще стали обращаться с просьбами, вроде бы совсем до него не касающимися, и если была к тому малейшая законная возможность, он никому не отказывал. И теперь уже редко какой из председателей колхозов и директоров МТС не побывал у него по части гвоздей или кирпича, досок, запчастей к автомашинам, и как-то тоже само собой получилось, что по решению Холмского облисполкома именно его отправили в Молотовскую область, снабжавшую Холмщину, еще наполовину пребывающую в землянках и подвалах, строевым лесом; необходимо было хотя бы немного ускорить его поставки. И Анисимов, пробыв в командировке почти полгода, даже в этом, казалось бы, обреченном на неудачу деле, зависящем не столько от леспромхоза, сколько от железнодорожников, сумел показать себя с самой выгодной стороны. Неделями, не зная отдыха, он мотался из конца в конец по железнодорожным станциям, в Москву и обратно, из Москвы, в железнодорожные тупики на севере области, где грузили лес. Он доказывал, убеждал, просил, угова-

ривал, давал какие-то обещания и за это время знакомился с самым невероятным количеством людей — от начальников станций, железнодорожных диспетчеров до составителей поездов, от директоров леспромхозов до бригадиров грузчиков. Ему нужно было выиграть эту битву, и он ее выиграл — весь положенный для Холмской области лес, до последнего бревна, был им выколочен и отправлен; когда мимо него стремительно пролетали платформы с пахучими красноватыми стволами сосны или кедра, казалось, каждый кругляш был ему знаком и дорог. Он даже стал напевать про себя сочиненное им на мотив залихватской песенки нелепое двустишие, самому ему оно, однако, очень нравилось:

Признай же, юноша надменный,
Что дуб я важный и почтенный!

Правда, иногда непрошеная мысль о Захаре Дерюгине, работавшем где-то здесь неподалеку в леспромхозе и, следовательно, имевшем к платформам с лесом самое прямое отношение, заставляла его неприятно морщиться; иногда щекотало и бесовское желание наведаться в этот леспромхоз, увидеть Дерюгина, но он тут же безжалостно давил его.

Нельзя было рисковать благоприятным ветерком, час от часу усиливающимся. Он приятно щекотал тонкие, породистые ноздри, хотя и не сулил теперь широких политических перспектив. Анисимов лишь усмехался, он теперь знал, вернее, был уверен, что знает подлинную цену жизни и в чем она для него заключается. Ради этого летели на запад день и ночь тяжеловесные составы с уральским ядреным лесом, разрезая пространства и снежные заносы. Анисимов любил и еще хотел жить.

После успешной командировки в Молотовскую область переезд в Холмск был для него, как он и надеялся, уже делом решенным. Заполнив соответствующие анкеты, он оказался в роли заместителя заведующего управления торговли Холмского облисполкома, притом с ясной и четкой перспективой продвижения дальше. Освоиться с кругом обязанностей и несколько осмотреться с его опытом усилий почти не потребовало; уже через неделю он знал, кто из подчиненных останется с ним работать, кого он со временем передвинет на необходимые места, а с кем и совсем расстанется; постепенно приучая к себе новое

окружение, он стал разворачивать деятельность, и она принимала иногда самые неожиданные формы, вызывая даже недоумение и толки. В конечном же счете все предполагаемое и задуманное Анисимовым оказывалось необходимым и как бы само собой разумеющимся. Последней такой неожиданностью было приобретение буровых установок для артезианских скважин, дело в то время совершенно новое, но сразу плодотворно о себе заявившее и получившее, особенно в южных районах области, широкую популярность. Анисимова поздравляли и сослуживцы, и начальство, правда, с известной долей сдержанности. Анисимов понимающе усмехнулся про себя, он уже вошел во вкус, предусмотрительно до поры до времени оставаясь в тени. «Что вы, что вы,— говорил он,— ну, простите, при чем здесь я? Дело, ясно, хорошее, но поддается лишь коллективному усилию, а я всего лишь винтик, ну, в Свердловск, на завод съездил, проторчал там пару недель, так это моя прямая обязанность, за это зарплату получаю».

Пожалуй, никто не удивлялся бурной деятельности Анисимова, кроме Елизаветы Андреевны, да и она, кстати, открыла его дарования только в последние месяцы после переезда в Холмск; Анисимову пришлось затратить немало нервов и терпения, чтобы уговорить ее решиться на это. Но и в Холмске они не сблизились, хотя что-то в их отношениях незаметно, исподволь назревало, менялось, и только одно пугало Анисимова: слепая, почти неистовая привязанность жены к чужому ребенку, к Шурочке. В своих отношениях с женой он еще видел какой-то смысл и движение, а вот перед девочкой становился в тупик, хотя давно уже приучил себя быть с нею веселым, сдержанным, интересным. Опыт или скорее инстинкт подсказывал ему, что и здесь в свой срок должны начаться перемены, и он продолжал осаду планомерно и непрерывно. «Точь-в-точь второй фронт»,— шутил он про себя, вполне осознавая, что для завоевания жены этот так называемый второй фронт, может быть, более важен, чем первый. И однако, несмотря на эти видимые и невидимые успехи, полной гармонии и даже относительной ясности не наступало, и чем больше о нем говорили, тем сильнее разрасталось в его душе внутреннее ожесточение, безразличие ко всему на свете, он становился противен

сам себе,— так было и после успеха с артезианскими буровыми установками,— и тем упорнее старался он нащупать причину непонятного своего состояния, и вот однажды, настойчиво разматывая все с начала и до конца, стоически возвращаясь в особо запутанных местах к одному и тому же снова и снова, Анисимов недоуменно прищурился. На чистом, совершенно пустом секундой раньше подоконнике лежал ярко-зеленый разлапистый кленовый лист. Анисимов быстро подошел к окну, взял его и понюхал, выглянул на улицу. Все было совершенно так же, как и вчера, и день назад, и неделю, те же бесконечные, безликие пешеходы на тротуарах, тот же стандартный, в шинели и фуражке, Сталин на высоком постаменте на площади; из окна кабинета Анисимова он был виден в профиль. «Гм,— сказал себе Анисимов, отвлекаясь от монумента Сталина и внимательно рассматривая кленовый лист.— Любопытно...»

Что он имел в виду, мысленно произнося это значительное «любопытно», он и сам не знал, но все его плохое настроение, тяготившее его последнюю неделю, вдруг как рукой сняло; он протянул руку, разжал пальцы, и кленовый лист наискось полетел с четвертого этажа к центру площади. Анисимов проследил за ним, вернулся к столу и стал быстро просматривать последние отчеты и сводки.

День выдался жаркий, в кабинет время от времени врывался сухой ветер; Анисимов, прихватывая бумаги рукой, косился на окно, но закрывать его не хотел. «Сейчас бы плюнуть на все, махнуть куда-нибудь подальше от города, в лесок, искупаться,— подумал он, отталкивая от себя пухлую кипу бумаг.— Что за система... Продали пару штанов — недельная сводка, изгрызли мыши ящик макарон — целое досье... боже ты мой, как обставлено... Все эти горы исписанных бумаг — манна небесная для жуликов самых разных мастей, любой въедливый ревизор не прожует».

Внезапная мысль заставила его рассмеяться; разумеется, так и есть, бумаги бумагами, а двадцати лет как не было, status quo, по-прежнему приходится работать на того же Брюханова, хотя после войны так ни разу и не пришлось с ним увидеться. И штаны, и селедка, и буровые установки, и составы с лесом — все это, разумеется, хорошо и нужно, но это всего лишь поверхностная сторона жизни, опротивевшая,

пресная, неинтересная, и он по-прежнему ищет приложения *главенствующей* своей, подспудной идее. Ищет и не находит. «Вот что,— решил он,— нужно встретиться с Брюхановым». Основное приложение его силам всегда, как ни странно, определялось именно в соприкосновении с Брюхановым; быть может, и сейчас достаточно мелькнуть рядом, и родится живительная искра, без которой жизнь холодна, пуста и бесцельна. Хватит, хватит, пора отвлечься, осточертело возиться с опостылевшими сводками, ведь он и раньше с омерзением выводил цифры, означающие новые центнеры хамсы или количество пар штанов и ватных телогреек; ведь не однажды он ловил себя на желании опрокинуть собственный стол, выскочить в приемную, откуда все время слышались приглушенные голоса, разогнать посетителей, наброситься на тихую, безответную, всегда отвратительно мелко, по-овечьи завитую секретаршу. Он стиснул виски: «Пятьсот пар мужских кальсон»,— выхватил его взгляд из какой-то пространной списочной бумаги; он сам видел на складах эти мужичьи кальсоны из хлопчатобумажного грубого материала, именуемого в просторечье бязью.

Анисимов долго пил теплую воду прямо из захватанного графина, затем, укрепившись в своем решении, потянул к себе толстый, пухлый от старости телефонный справочник, взял трубку телефона и тут же опустил ее обратно.

Спустя полчаса он все-таки позвонил и, услышав в трубке тихий, медлительный голос, сказал:

— Анисимов говорит, из облисполкома... Да, да, Анисимов Родион Густавович. Мне нужен Тихон Иванович... Да, вот как... да, да, значит, уехал на строительные объекты? На набережную Оры? Это там, где новый драмтеатр заложили? Ну, простите за беспокойство, всего доброго, значит, я к вечеру и позвоню.

Положив трубку, он обнаружил, что вроде бы без всякой на то причины начинает покалывать в висках; он тут же встал, прошел в угол, к столику с графином, снова выпил теплой воды. Голова по-прежнему болела, и тогда он, заперев сейф и сказав секретарше, что наведается в поликлинику, торопливо сбежал по лестнице. На улице горячий ветер жарко ударил ему в лицо, мимо неслись обрывки театральных афиш, сорванные с круглых тумб, и прочий мусор, его при сильном ветре почему-то всегда много появлялось на

улицах любого города. Анисимов плотнее надвинул белую полотняную фуражку, ускорил шаг; собиралась гроза, он услышал легкое погромыхивание, старые, редко уцелевшие от войны деревья вдоль тротуаров гудели, грачи тревожно кричали, густо и беспорядочно мельтешили над своими гнездами, частой россыпью темневшими в зеленой листве.

После долгих лет жизни в глухом российском захолустье Анисимов всякий раз остро чувствовал тугой ритм большого города, он его бодрил. Встретилась шумная стайка девушек, быстроглазых, коротко остриженных. Анисимов приветливо улыбнулся им. Прополз навстречу латаный-перелатаный трамвайчик; провожая его взглядом, Анисимов добродушно сморщился от его жалобного дребезжания и подумал, что по-хорошему все эти вагоны надо бы давно списать и заменить новыми, хотя, впрочем, не его это была забота, пусть у председателя горисполкома Сидоренко голова по этому поводу болит — трамвайный парк в городе давно износился; правда, взять неоткуда, повсеместно в стране такая картина, сколько раз ставили транспортный вопрос на исполкоме. Дворник, широко размахивая метлой, подбирался уже к самым его ногам, и Анисимов, сердито покосившись, отряхнул свои белые парусиновые полуботинки и энергично зашагал дальше. Щедро, до краев залитая солнцем, улица помрачнела; лохматый, клубящийся край лиловой тучи стремительно наползал на солнце. Анисимов едва успел заскочить под какой-то навес, и тотчас под глухое ворчание грома безудержно хлынул дружный, светлый летний дождь, несколько прохладных капель попало на лицо Анисимова; он с наслаждением вдыхал всей грудью свежий ветер; дождь прошел только краем, и туча уже откатывалась в сторону, все шире очищая синеву за собой. Солнце с новой щедростью обрушилось на омытый, встряхнувшийся город, влажные зеленые листья блестели; Анисимов, освеженный грозой, зашагал дальше и скоро вышел на широкую, заваленную лесом, грудами кирпича, кучами песка и щебенки набережную Оры. Она вся была как одна огромная строительная площадка, у берегов теснилось десятка полтора плоскодонных барж, с них сгружали кирпич и доски, и одинокий, видавший виды кран устало помахивал слабосильной стрелою, стаскивая на берег какие-то громоздкие ящики. По обе стороны

от Анисимова тянулись котлованы, строительные леса, некоторые уже доходили до четвертого этажа; везде были люди, и Анисимов, цепко оглядывая стройку квадрат за квадратом, еще издали увидел окруженное со всех сторон строительными лесами, внушительно распластавшееся в глубине от набережной здание драмтеатра. Легонько кольнуло в груди, вот он — простор, свобода, размашисто перечеркнутое стрелами двух кранов небо. В лужах, беспорядочно оставленных грозой, весело дробилось солнце, из кабины пятившегося грузовика выглядывал шофер в заношенной гимнастерке и, делая вид, что намерен наехать на двух махавших на него лопатами женщин, весело скалился. Где-то среди всего этого великолепия был Брюханов, сосредоточивающий в себе загадочное нечто, совершенно необходимое Анисимову для всей дальнейшей жизни; последние сомнения отпали. И все же, увидев наконец Брюханова, с недовольным лицом слушавшего высокого и плотного седого человека, начальника строительных работ на этом объекте — Потапенко, он замедлил шаг, а затем и совсем остановился. Брюханов заметил его сразу, искоса глянул и, не скрывая недовольства, спросил:

— Вы ко мне? Постой... постой... Никак ты, Родион Густавович,— быстро шагнул он к улыбающемуся Анисимову.— Вот неожиданная встреча... Рад видеть... Здравствуй, здравствуй.

— Здравствуйте, Тихон Иванович. Простите, шел мимо, не смог удержаться, захотелось просто пожать руку,— все так же мягко улыбался Анисимов.

— А зачем же удерживаться? — Брюханов оглянулся на терпеливо ожидающих людей.— Погоди немного, Родион, сейчас освобожусь, минут пять — десять...

— Разумеется, разумеется... я подожду.— Анисимов отошел на почтительное расстояние, достал папиросы и закурил, искоса наблюдая за происходящим издали; а Брюханов, сразу же забыв о нем, опять подступил к Потапенко, все порывавшемуся что-то сказать в свое оправдание.

— Перестаньте, перестаньте втирать мне очки,— непривычно резко остановил его Брюханов.— Мне ведь ничего не стоит проверить... Вы опытный строитель, для вас это не могло быть простой случайностью. Невооруженным глазом сразу видно!

— Тихон Иванович...

— Ну, а если бы главный архитектор еще полгода отсутствовал, что бы вы тут наворотили?

— Да, Тихон Иванович, ну, поверьте, ну, не так страшно, как вам представляется. Ведь несколько метров всего... Это же чистый разор — отодвигать на проектную линию... С меня четырежды шкуру сдерут!

— Совершенно правильно сдерут,— одобрил Брюханов.— Удивляюсь я вам, Потапенко. Есть утвержденный генеральный план застройки, и никто не позволит уродовать город из-за собственного нашего головотяпства. Мы в ответе за город перед следующими поколениями.

— Прошу вас, выслушайте меня, Тихон Иванович...

— Обязательно. Но не здесь. И не сейчас. Будьте добры завтра к двенадцати ко мне со всеми выкладками и аргументами,— Брюханов повысил голос, тем самым показывая, что вопрос больше никакому обсуждению не подлежит.— Советую не ждать, пока дело обретет официальный оборот. Приступайте к необходимым исправлениям незамедлительно.

Потапенко сразу и сильно побледнел; он порывался сказать что-то еще, но Брюханов уже отошел к Анисимову, с какой-то даже излишней доверительностью взял того за локоть и повел к тротуару, пролегавшему вдоль самого берега реки.

— Слышал о тебе много хорошего, Родион.— Брюханов все еще хмурился, думая о разговоре с Потапенко.— Рассказывай, как живешь...

— Жаловаться не приходится, Тихон Иванович. Живу нормально, хорошо живу, работой доволен. Правда, бумаги лишней приходится горы изводить,— заставил себя пошутить Анисимов,— но к чему в конце концов не привыкнешь? Вот видите, весь я перед вами. Все случается, иной раз такая обыденщина засосет, хоть вой, хочется обзора большего, куда-то на высоту подняться, горного воздуха хватить... Потом ничего, проходит. А вы хорошо выглядите, Тихон Иванович, годы вас щадят.

— Как жена? — спросил Брюханов, вспоминая.— Учительствует по-прежнему? Елизавета Андреевна, кажется?

— Вашей памяти, Тихон Иванович, позавидуешь. Да, Елизавета Андреевна. Весной сорок третьего пришлось мне уходить... Спешно. Ее я не успел перепра-

вить, а когда вернулся с нашими, как в воду канула моя Елизавета Андреевна, ни единого следа. И, представляете, объявилась... Представляете себе, откуда? Ни мало ни много — из Инсбрука, из Австрии, вот куда зашвырнуло. Боже мой, какие годы, трагедии на каждом шагу, поразительно, что мы все уцелели, остались живы,—поправился Анисимов.—А ей пришлось полной чашей испить, Елизавете Андреевне... В конце оккупации Макашин... помните Макашина-то, ну, начальника зежской уездной полиции при немцах? Что-то он почуял тогда... Сразу же наутро после моего ухода явился с немцами, все вверх дном переворотили, все добивались, куда я мог скрыться. Боже мой, как она переживала, когда вам пришлось у нас в тайнике отсиживаться...

— А знаешь, Родион,— оживился Брюханов,— по нашим сведениям, Макашин-то в живых остался. Если за границу не ускользнул, найдем все равно, таких много уже повытряхнули из щелей.

— Нечисть нечистью и останется. Один способ — каленым железом выжигать,— жестко сказал Анисимов, суживая глаза, весь сейчас внутренне напрягшийся.— Сколько крови, горя сколько от них... Как он, подлец, радовался, что старший сын Захара Дерюгина тогда ему в лапы попался... Зверь... Ефросинья ко мне прибегала... Такого только могила успокоит.

— Не надо, Родион.— Брюханов понимающе тронул его за плечо.— Вообще война есть война, а уж эта выдалась... Забыть мы ничего не забудем, пусть никто не надеется.

— Лиза узнает о нашей встрече, очень обрадуется, Тихон Иванович,— подсознательно стараясь переменить тему опустошавшего его разговора, Анисимов слегка задумался.— Раньше была очень эмоциональна, война несколько подсушила...

— Кланяйся ей от меня,— сказал Брюханов.— Главное мы осилили, все остальное нарастет...

— Да, да, обязательно,— тотчас отозвался Анисимов.— Вы представляете, Тихон Иванович, она с девочкой вернулась, подобрала в концлагере, когда их американцы освободили. Семи лет, Шурой звать, совсем плоха была, прямо с того света девочку вырвала. От этого, говорит, сама выжила...

Неожиданно, сильно прижимая ладонью правый бок, Анисимов задохнулся; на лбу у него выступила испарина; поддерживая его, Брюханов оглянулся,

отыскивая шофера, но Анисимов отрицательно покачал головой, через силу успокаивающе кивнул.

— Не надо, не надо, что вы... Это со мной теперь бывает,— сказал он, нервными, быстрыми движениями длинных пальцев потирая виски; на какой-то миг Брюханову что-то смутно припомнилось, но времени сосредоточиться не было.

— Слушай, Родион, дело делом, а время на ремонт выкраивать необходимо. Что ты шалишь... Как можно? Обидно, понимаешь, на полпути свалиться, не дошагать,— Брюханов все так же тепло и ободряюще улыбнулся.— Так что дурака не валяй, в первый же просвет — к врачу на обследование. Не вздумай хитрить, поймаю.

Анисимов с благодарностью за неожиданную теплоту кивнул, да и боль понемногу отпускала. Вот и вошел он в мир Брюханова, прикоснулся к нему открыто и безбоязненно, а странная, иссушающая душу жажда лишь усилилась. Он ведь даже надеяться не мог на такой интерес к своей скромной особе. Хотя почему же? Брюханов ведь тоже человек, несмотря на множество ждущих дел, стоит с ним, вспоминает прошлое, тратит время. Все-таки недаром его тянет к Брюханову, что-то здесь есть. Пусть с математической ясностью не определишь, почему это происходит, но одно он точно знает: от непосредственного соприкосновения с жизнью Брюханова последуют какие-то перемены для него самого, Анисимова, и перемены к лучшему.

— Жизнь все-таки хорошая штука, Родион, нет-нет да и что-нибудь подбросит.— Лицо Брюханова еще больше смягчилось.— Я ведь женат... Захара Дерюгина ты помнишь... Ну, так вот, на его дочери женат. Война нас свела, девочка у нас родилась, Ксеня. Жена сейчас в ординатуре в областной больнице. Невропатолог.

— Рад за вас, Тихон Иванович, я слышал,— кивнул Анисимов с каким-то тихим внутренним удовлетворением от того, что сам Брюханов ему исповедовался (ну, разумеется, разумеется, тотчас ожил в нем и другой, ехидный, безжалостный голос, это ведь тоже что-нибудь да значило).— Вы своей супруге кланяйтесь, едва ли, конечно, она помнит. Мол, поклон от Анисимова, душевно рад... Знаете, одиноко как-то, годы многих разметали, возраст дает себя знать, вот вас увидел... точно в молодость свою заглянул.— Анисимов, пряча глаза, откашлялся.— Гм... черт его

знает что,—оборвал он себя,—старческая слезливость какая-то временами нападает.

— Тебе опять плохо, Родион? — встревоженно подвинулся к нему Брюханов.

— Нет, нет, не беспокойтесь, Тихон Иванович, все прошло,— сказал Анисимов, стараясь твердо выговаривать слова.— Честное слово, я и без того столько времени у вас отнял... Ей-богу, не важно все это,— выдержал он пытливый взгляд Брюханова с легкой улыбкой.— Вот встретились мы, для меня это важно, чувствую, закисать иногда начинаю. Простите, Тихон Иванович, последнее: о самом Захаре Дерюгине что-нибудь известно?

— Разумеется,— отозвался Брюханов даже несколько более поспешно, как показалось Анисимову, чем это было нужно.

— Вы же понимаете,— помог ему Анисимов, не желая рисковать сейчас даже в самом малом,— я не просто из-за праздного любопытства... Дело у нас одно, если по-большому брать, и судьба одна...

— Вообще-то у Захара сложилось неважно,— тотчас ответил Брюханов.— Был в плену, бежал из концлагеря, воевал в партизанах в Словакии, и вот ведь — опять раненый угодил в плен. Правда, с ним почти сразу же разобрались, мог вернуться в Густищи, не захотел, остался работать в леспромхозе, где-то на верхней Каме. Ты же знаешь его характер... Написал я ему раз, другой,— молчит, ну что ж...

— Да, уж характер,— развел руками Анисимов и притронулся к фуражке, больше задерживать Брюханова он не имел права, и тот, прощаясь, еще раз напомнил об отдыхе и путевке куда-нибудь на хороший курорт; Анисимов в ответ лишь мечтательно присвистнул.

— Гагры, Мацеста,— прищурился он, представляя себе густой морской ветер, тугой солнечный блеск от моря как нечто уже совсем нереальное.— Пальмы, теплое море, ах, черт возьми... хорошо. Как-то очень уж красиво и далеко. Я завтра, Тихон Иванович, опять в командировку в Москву, в министерство,— сказал он весело.— Макаронной и кондитерской фабрикам оборудование поеду выколачивать. Что мы, хуже других?..

Расстались они почти сердечно, и Анисимов едва верил своей удаче. Пыль еще клубилась вслед за уехавшей машиной Брюханова; солнце снова пекло

нещадно, все оставалось на прежних местах, как и полчаса тому назад, но Анисимов смотрел на окружающее уже другими глазами. На месте недавних бесформенных груд, навалов камня, кирпича, цемента, погнутых ржавых балок, вопреки войне, вставала еще одна новая улица нового Холмска, тянулись к небу высокие дома. «Нет, жизнь не кончена, он еще поборется с ней, с жизнью, померится силами, рано еще списывать себя в обоз». И домой он вернулся с тем же ощущением необходимых и важных перемен, и с женой разговаривал с тем же чувством, но когда на другой день на вокзале поезд тронулся и лица Елизаветы Андреевны и Шурочки вначале медленно, а потом все быстрее поплыли назад, и он, и Елизавета Андреевна почувствовали облегчение. И ему, и ей нужно было побыть в одиночестве, отдохнуть друг от друга, от постоянного напряжения и прислушивания друг к другу; оба они это знали.

10

В командировке Анисимов пробыл недолго. Он привез Шурочке из столицы красивую куклу с закрывающимися глазами, жене — дорогие духи «Красная Москва» и две пары тонких шелковых чулок. Приехал он рано, в шесть утра, но Елизавета Андреевна уже встала, готовила завтрак, проверяла тетради.

— Здравствуй, Родион,— вышла она ему навстречу, услышав легкий шум в коридоре, спокойно задержала на нем взгляд.— Тише, пожалуйста, Шурочка еще может часок поспать.

— Это тебе, Лизанька,— Анисимов, выкладывая перед ней свертки на маленький столик, слегка коснулся губами ее волос.— Это вот Шурочке... кукла.

— Сам и отдай.— Елизавета Андреевна тихо, заученно улыбнулась, и ему была неприятна такая улыбка.— Надо же когда-нибудь перешагивать этот порог, Родион...

— Да, надо,— признался Анисимов просто.

— Ты здоров?

— Так, ерунда,— сказал он, сразу смягчаясь от ее внимания.— Позапрошлой ночью в гостинице нехорошо стало, сердце прихватило... Неотложку вызывали, пришлось укол сделать... обошлось...

— Ты дурно выглядишь, надо бы врачу показать-

ся.— Елизавета Андреевна, казалось, раз и навсегда усвоила себе в общении с ним ровный, без всяких эмоций, тон.— Иди умойся, я сейчас свежий чай заварю. Шурочка встанет, будем завтракать.

— Спасибо, я лучше лягу, часика два посплю. Потом с отчетом идти...

Он ушел в ванную и долго фыркал и плескался под душем. «Что же, что ж,— подумал он,— если ничего другого придумать нельзя, то именно такая форма отношений, пожалуй, вполне устраивает и его, и ее; надо на этом пока и остановиться. Как-никак прогресс, о враче вспомнила. Это уже хорошо. Ей не надо знать, что его недавняя встреча с Брюхановым была лучше любого курорта, он после этого в какой-то молодой ритм вошел, ничего, ничего, придет время, все окончательно наладится».

На следующий день, запустив на работе подведомственный ему механизм, Анисимов все же условился о встрече с врачом, жившим по соседству с ним, в одном доме, на одной лестничной площадке; он давно уже приучил себя все делать основательно, и если забарахлило сердце, проконсультироваться необходимо у лучших специалистов, а Хатунцев-младший работал в ведущей клинике города. Вот уже второй год они жили рядом, дверь в дверь, иногда по нескольку раз в день захаживали друг к другу по всякой надобности, и хотя сам Анисимов недолюбливал старика Хатунцева, полковника в отставке, как в поступках, так и в мыслях слишком прямолинейного, сын его Игорь Анисимову нравился; к тому же специалист-невропатолог всегда мог пригодиться.

Выслушав жалобы Анисимова, осмотрев и простукав его, Хатунцев-младший направил его к другим, таким же молодым, энергичным коллегам, не терпящим малейшего промедления и проволочек; и Анисимов, как-то невольно вовлекаясь в непривычный для себя круговорот, подсмеиваясь над собой, собрал необходимые анализы и через три дня опять появился в кабинете Хатунцева. На этот раз тот был не один; еще с порога в глаза Анисимову бросилось среди ординаторов лицо молодой женщины со светло-прозрачными глазами и совершенно прямой линией бровей, и он тотчас узнал жену Брюханова, потому что с момента переезда в Холмск и до встречи с Брюхановым все о ней давно уже знал. Сейчас именно

ее глаза, вернее, что-то неуловимо дерюгинское в их выражении, на секунду задержали его в дверях.

— Проходите, проходите, Родион Густавович,— тотчас пригласил его Хатунцев.— Итак, на этот раз все обошлось,— весело сказал он Анисимову, что-то быстро записывая в карточку.— Видимо, был небольшой криз, отсюда и боли. Не переутомляйтесь, гуляйте, следите за сном. И главное — к нам не попадайте.

Вокруг засмеялись; Анисимов тоже вежливо улыбнулся.

— Спасибо, доктор,— поблагодарил он, сам для себя неожиданно опять глядя на Аленку, недовольно сдвинувшую в ответ брови.

— Вы, наверно, не узнали меня, Елена Захаровна,—поспешил объяснить прежде всего для Аленки свое внимание Анисимов.— А вот я вас узнал, хотя видел в последний раз еще до войны. Я — Анисимов. Родион Густавович Анисимов.

Аленка где-то слышала эту фамилию, но вспомнить не могла; краснея, она оглянулась на Хатунцева.

— С вашим отцом, Елена Захаровна, вместе колхоз сколачивали. Годы, годы...— вздохнул беспокойно Анисимов, намеренно не замечая, что Хатунцев, откинувшись на спинку стула, внимательно и несколько изумленно за ним наблюдает.— Видите, как довелось свидеться, если бы Захар Тарасович здесь был, вот порадовался бы.

Он говорил что-то еще, больше обычного жестикулируя руками, и Аленка, оправившись от смущения, заставила себя взглянуть на Анисимова с профессиональной точки зрения; вдруг она поймала себя на том, что с самого начала слушает его и наблюдает за ним с определенным интересом, и прежде всего за его манерой говорить, тот как бы все время прислушивался к самому себе; безусловно, почему-то решила она, перед ней человек с какой-то трещиной, надломом, что-то странно-болезненное проскальзывало в его сбивчивом рассказе, и она не могла понять, что именно, и оттого еще больше настораживалась. Состояние же Анисимова было непонятным и для него самого; какие-то яркие пятна воспоминаний проносились в мозгу: «Вот она, жизнь,—думал он,— Макашин хотел до нее добраться, не смог, а теперь она жена Брюханова, отсидевшегося во время облавы у меня в подполье... Удивительно, удивительно, как

все складывается... А что, если бы эта сероглазая женщина знала, что это я стрелял в ее отца, что именно я, я перечеркнул его жизнь? Правда, убил я другого, но я ведь именно в Захара стрелял... Ну и что, чего добился? Вот сидит пред тобой его дочь в докторской шапочке с немыслимыми глазами. Она — жена Брюханова и лечит людей, и каждый день ее осмыслен и освящен добром. А ты как был, так и есть отработанный материал, шлак... пока больше ничего. Вздор! Что за ерничество! — тут же возмутился он.— Ничего не было, никогда я ни в кого не стрелял, ничего не было... Вот и доктор говорит: ничего страшного, не нужно переутомляться, нужно следить за сном...»

Анисимову пришлось сделать над собой определенное усилие, чтобы остановить ненужный, разъедающий поток прошлого; и хотя он не упустил ни слова из того, что говорилось до этого другими, Хатунцевым и Аленкой, это его неприятно озадачило.

— Что вы, Родион Густавович, все о моих родных говорите,— сказала в это время Аленка с вынужденной улыбкой.— Неловко как-то...

— Что же здесь неловкого? Я ведь вас совсем маленькой девочкой знал, Елена Захаровна,— поспешил он ей на помощь.— К Елизавете Андреевне часто забегали... А Игорь Степанович простит, мы с ним соседи. Чего не бывает в жизни.

Вокруг Аленки опять засмеялись, а Хатунцев, опуская глаза, кивнул.

— Сейчас я вас действительно вспомнила, ведь Елизавета Андреевна ваша жена? — оживилась Аленка, начиная чувствовать себя свободнее и необычайно ясно представляя, как она с холщовой сумкой в руке бежала в школу через поле, босоногая, по свежей, невысохшей росе.

— Точно так,— сказал Анисимов.— Ей тоже в войну досталось... Простите... не смею долее задерживать...

— До свидания, привет Елизавете Андреевне,— кивнула ему вслед Аленка, и день потек своим чередом, потому что, по сути дела, ничего особенного в этой встрече не было. Однако у Аленки осталось какое-то непривычное ощущение, точно она против своей воли вступила в какой-то странный, длинный коридор и там что-то темное, не поддающееся анализу и логике пронеслось мимо, обдав ее холодом, утомительным, тоскливым безлюдьем...

За целый день Хатунцев не обратился к Аленке ни разу, ни с одним вопросом, но в конце дня неожиданно задержал ее в коридоре.

— Елена Захаровна, одну минуту,— сказал он как бы между прочим.— Открытые эмоции, как у вас сегодня с больным Чиквидзе, невропатологу ни к чему. Они мешают. Раз и навсегда откажитесь от них, должна быть только обратная связь. От вас — к больному. Иначе невропатолога из вас не получится. До свидания, Елена Захаровна, я вас больше не задерживаю.

11

В этот день у Анисимова было необычайно оживленно и весело. Шурочка за обедом то и дело откладывала ложку и принималась неудержимо смеяться, вновь и вновь начиная рассказывать, как мальчик Боря с третьей парты скатился задом во время большой перемены по перилам лестницы со второго этажа прямо в руки завучу Степану Аркадьевичу и тот на руках унес его в учительскую. У Шурочки забавно морщился носик и прыгала от смеха косичка, она заметно окрепла за последние месяцы и совсем перестала дичиться.

После обеда Анисимов прилег на диван в столовой, закурил: удивительная все-таки женщина Лиза — из обычного обеда умеет сделать праздник, скромный букет, обязательно однотонный, в старинном высоком бокале, красивая посуда, обязательно парадная, Елизавета Андреевна не признавала деления посуды на праздничную и каждодневную; красота необходима человеку так же, как пища, каждый день, утверждала она и неуклонно придерживалась своей теории. Все было у них с Елизаветой Андреевной — взлеты и падения, радости и потери, все, кроме скуки. И пусть не все у них гладко сейчас, не все ладится, главное им удалось сохранить — общую крышу над головой. И в этом отношении он богаче Захара Дерюгина, тот по своей безалаберности не сохранил ни кола, ни двора, по-прежнему мыкается по белу свету, теперь его на Урал занесло, а здесь вон как стараниями Лизы тепло, уютно, пианино для Шурочки в прошлом месяце купили, осенью в музыкальную школу пойдет, с Клавдией Георгиевной Пекаревой, заведующей, он уже

договорился, ну и хорошо, побоку все великие замыслы и свершения. То, что его сегодня при встрече с женой Брюханова едва прежний поток не захлестнул, надо учесть, беда невелика. Молодой сосед, правда, иронически поглядывал, но это его дело, ему тоже дать кое-что понять будет не лишне. Про себя засмеявшись, Анисимов сбросил ноги с дивана; черт возьми, ну что ж, потер он руки, получается ведь совсем неплохо.

Заглянув в соседнюю комнату, Анисимов увидел, что Шурочка в углу шепчется со своей новой куклой Леной, расчесывая ей гребешком только что помытые и сильно спутавшиеся шелковистые волосы; школьные новости кукла выслушала со своей застывшей, безмятежной улыбкой. «Хорошо, все хорошо»,— опять успокоил себя Анисимов.

Часы пробили шесть; он тщательно побрился, надел новую рубашку в мелкую полоску, купленную в Москве, сказал Елизавете Андреевне, что навестит соседа, и все в том же благодушном настроении позвонил у дверей напротив. Ему открыл Хатунцев-старший.

— Проходи, Родион Густавович, проходи,— радушно пригласил он, распрямляя и без того прямые плечи.— Вот уж вторую партию в шахматы проигрываю. Громит, стервец, родителя и ухом не ведет.

Хатунцев-младший сочувственно развел руками и подмигнул Анисимову; тот, понимающе улыбнувшись, выложив на буфет привезенный из Москвы набор чая в красивой глянцевитой коробке и поставив в дополнение бутылку армянского коньяка, удобно устроился в кресле и стал с интересом наблюдать за игрой, исподволь любуясь чистотой молодости, мужской резкостью больших, правильных губ и подбородка, сильной шеей и спокойными, уверенными руками Хатунцева-младшего; он нравился Анисимову, напоминая чем-то его самого в молодости, поручик Бурганов в свое время был неотразим; вот только непонятно, была ли когда-нибудь молодость и все остальное, с нею связанное? Как-то все слишком далеко и бесплотно, если вспомнить, скользнут в душе тихие, не вызывающие ни радости, ни огорчения тени, и ничего больше.

Хатунцевы, отец с сыном, жили вдвоем; сами убирали квартиру, сами готовили, и только раз в неделю к ним приходила пожилая женщина забрать сорочки и прочее белье в стирку и принести чистое. Атмо-

сфера квартиры была специфически мужской: неистребимо пахло табаком, и в дорогие тюлевые занавески на окнах намертво въелась ядовитая табачная желтизна; здесь нельзя было увидеть флакончика духов, небрежно брошенного красивого гребня или пудреницы. На вешалке у двери одиноко висела старая шинель без погон, перед единственным в квартире женским портретом на этажерке в углу пылилась высохшая гирлянда гортензий; это был портрет погибшей в войну жены Хатунцева, матери Игоря. Судя по отрывочным фразам, у полковника была потом какая-то неблагополучная, мучительная связь с женщиной много моложе его, но года три тому назад он все порвал и с тех пор целиком посвятил себя сыну.

Анисимова чем-то тревожил портрет умершей жены полковника; она была хороша собой, мягкая женственность освещала ее лицо, но всякий раз при взгляде на этот портрет Анисимова охватывало чувство беспокойства, словно сырой, мглистый ветер начинал насмешливо посвистывать в душе и кто-то с дьявольской вкрадчивостью нашептывал на ухо: конец, конец, конец; так было в первый раз, когда Анисимов познакомился с соседями и был приглашен к ним домой, так повторялось и в следующие посещения, и Анисимов, сколько ни пытался, разгадать загадки притягательной власти портрета не мог, и поэтому всякий раз старался пристроиться на диване Хатунцевых так, чтобы не видеть портрета.

Сегодня он изменил своему обычаю, нелепый поединок кончен, и он это понял, едва взглянув на засохшие цветы. Культ несуществующей женщины с мягким взглядом исподлобья будет неминуемо взорван с приходом в дом будущей жены Хатунцева-младшего; и полковник, Анисимов знал это, уже заранее ревновал сына к снохе, которая перевернет здесь все вверх дном и первым делом, конечно, выбросит засохший букет; сейчас, наблюдая перипетии шахматной баталии и машинально отмечая ошибки и с той, и с другой стороны, Анисимов улыбнулся своим мыслям. Игра затянулась; в конце концов полковник сердито положил своего короля и поднялся, расправляя затекшие плечи.

— Ну-с, что ты на это скажешь, Родион Густавович? Ай-яй, давно ли на горшок этого молодого человека сажал. Никакого уважения к авторитету

родителя! Ну-с, попробуем московской заварочки, уважил, уважил, Густавович, пойду-ка я чай налажу.

Хатунцев-младший аккуратно собрал и уложил шахматы, все с той же спокойной приветливостью попросил Анисимова пересесть и, придвинувшись к приемнику, включил его и стал настраивать.

— Порадовал ты меня, Игорь, у меня, значит, все в порядке? — как бы между прочим еще раз подвел итог Анисимов своему утреннему походу к Хатунцеву-младшему.

— Полностью, Родион Густавович,— кивнул Игорь, приглушая звук.— Я еще раз анализы ваши просмотрел, полная норма.

— Да я и сам чувствую себя лучше. А посидел у вас в кабинете, совсем выздоровел. Можно ли, скажите, рядом с такой женщиной говорить о болезнях?

— Это вы о ком? — переспросил Хатунцев-младший.

— Как о ком? О Дерюгиной...

— А-а,— неопределенно протянул Хатунцев-младший.— О Елене Захаровне...

— Эх, где мои двадцать восемь! Да я бы такую красоту из-под самой невозможной стражи умчал...

— Эту, Родион Густавович, не умчишь.

— Почему? — всем телом подался к Хатунцеву-младшему Анисимов, и выжидательная, мягкая улыбка как бы опустилась откуда-то и застыла на его лице.

— Что мы ей — серая кость... И потом — она вся в науке,— поправился Хатунцев, чувствуя, что сказал лишнее.— Хороший диагност, и руки отличные.

— Ну, разумеется,— Анисимов пожал плечами,— как же может быть иначе, у первого секретаря обкома жена может быть только талантливая и только с большим будущим, это ведь непременная норма.

— Нет, в самом деле, толковая баба,— стоял на своем Хатунцев-младший, слегка краснея.—Работоспособность грандиозная. И никакой заносчивости при ее-то положении... По-моему, она собирается всю невропатологию перевернуть. Разумеется, это у нее от неопытности, все мы через это прошли...

— Я тебе верю, верю,— остановил его Анисимов.—Но посуди, что за скука, Игорь, никакого полета, ни шага в сторону! Красивая женщина, ну, скажи, при чем здесь, чья она жена? Нет, не понимаю я вас, молодежь, не понимаю. Вы даже

на мечту себе не оставляете права. А в любви все одинаковы, в любви у всех одни права — в этом государстве, по-моему, нет ни границ, ни царей, ни даже секретарей обкомов. Все подданные, все равны!

— Да вы поэт, Родион Густавович, вот не ожидал!

В иронической интонации Хатунцева-младшего Анисимов уловил для себя предупреждение и замолчал; Хатунцев-младший снова принялся за приемник, а Анисимов разлил принесенный коньяк в рюмки. На столе все уже было готово к нехитрому холостяцкому ужину, полковник поколдовал еще над заварным чайником, затем позва.. сына к столу, Хатунцев-младший, вообще охотно предоставлявший другим заботиться о себе, не испытывал при этом ни малейшего неудобства или смущения, прихлебывая янтарный чай, еще и еще раз проанализировал свои разлохмаченные от недавнего разговора мысли. «Да полно, что я придумываю,—решил он,— ничего не было. Обычная вещь: при снижении потенции мужчины в годах всегда много и охотно говорят о женщинах — тот же инстинкт продолжения, инстинкт пола, желание отодвинуть старость. Родион Густавович, видимо, вступает в этот возраст, что тут копаться...»

— А мы тут, Степан Владимирович, с Игорем говорили,— подал в это время голос Анисимов, любивший пить чай неторопливо, вприкуску, хрустя сухарем.—Игривых тем невзначай коснулись...

— И я говорю,— подхватил полковник с досадой.— Жениться ему надо, тридцать оболтусу... куда дальше?

— Опять ты, отец, за свое...

— Да, за свое! — отозвался полковник быстро и четко.— Женщина в доме нужна, живем антисоциально, как-то одной половиной... Заявляю тебе, ученый сын мой, вполне решительно, не женишься — женюсь сам, на страх тебе, найду даму посолиднее и приведу, вот тогда и почешешься. Почему ты ничего не ешь?

Хатунцев-младший лениво придвинул к себе масло, хлеб, тонко, артистически нарезанный сыр, взглянул на отца и засмеялся.

— Может, еще партию в шахматы, сосед? — предложил не ожидавший такого оборота Анисимов, стараясь разрядить атмосферу, но полковник отказался.

— Что ты все молчишь, Игорь? — внезапно рассердился он.— Что, я спрашиваю, ты все молчишь? Ты себя хорошо чувствуешь?

— Думаю, отец,— спокойно поднял смеющиеся глаза Хатунцев-младший.— Родион Густавович тут мне обвинение одно бросил, в нынешнее время герои, мол, перевелись... А я просто не разделяю ваших восторгов, Родион Густавович, все равно что стричь кошку — шерсти мало, а шуму много. Риску много, а удовольствие сомнительно.

— О чем вы, наконец? — заволновался полковник.— Что-то говорите, говорите, ничего не пойму!

— Да подожди, отец! Нельзя, что ли, взрослым мужчинам поговорить откровенно?

— Спасибо, уважил! Я, что ли, по-твоему, не мужчина?

— Полно, Степан Владимирович, мы тут до вашего прихода толковали о запретном плоде. Допустим, такой случай, женщина нравится, но замужем...

— О чем тут толковать,— нахмурился полковник,—тут все ясно. Раз замужем — точка.

— Вот-вот, у отца, как на блицпараде, во всем полная ясность. По треугольнику: присяга — приказ — исполнение.

— А ты что, шалопай эдакий, проповедуешь? Разврат?

— Подождите, подождите, а если ожог, солнечный удар, любовь? — Говоря, Анисимов краем глаза опять уловил на себе внимательный, изучающий взгляд Хатунцева-младшего.— Если красота немыслимая? Нет, ты, Игорь, скажи нам, старикам...

— Не надо, Родион Густавович, не преувеличивайте. Обыкновенная женщина, ну, эффектная... Не будь она женой Брюханова, вы бы на нее не посмотрели. Есть ведь лучше...

— Подождите, подождите, Степан Владимирович,— остановил Анисимов полковника, который, услышав фамилию Брюханова, хотел было решительно вмешаться в разговор.— Простите, Степан Владимирович, вы сейчас все поймете...

— Любопытно, любопытно, что же?

— Говоришь, обычная? В том-то и дело, что не обычная, Игорь.— Глаза Анисимова остро и напряженно блеснули.— Ты знаешь, что она в войну партизанила? Зеленой девчонкой... Но не в этом дело. Одного парня любила, разведчика... Фантастической смелости был человек. Так любила, что сама и застрелила его...

— Простите, то есть как это застрелила? — от неожиданности сухо и официально осведомился полковник.

— Из пистолета. Выполнял этот товарищ какое-то задание, сильно его покалечило... Жить ему оставалось недолго, час, два, три... может быть, сутки... а мучился он ужасно... нечеловечески, вот она и принесла пистолет.— Анисимов хотел добавить «подложила», но оборвал себя, махнул рукой.— Вот это, скажу я вам, чувство, вот это любовь! Не то что ваш хваленый гуманизм! Ну, что ты теперь скажешь?

— Ничего, Родион Густавович, что же мне сказать? — Хатунцев-младший встал из-за стола.— Не в моих правилах делать выводы из того, что мне, да и вряд ли кому другому, недостаточно известно.

— То-то! — бросил ему Анисимов вслед, несколько раздосадованный вполне определенным обидным намеком.— А я, кстати, и не пытался учить, тем более тебя, я просто хотел сказать, что в жизни всякое встречается. И чудеса случаются, и такое, что объяснить нельзя.

Хатунцев-младший вежливо выслушал, но отвечать не захотел, и разговор за столом сам собою перешел на другие предметы; полковник попросил рассказать, что нового в Москве, вспомнил Красную площадь в День Победы; вскоре Анисимов откланялся, и полковник, проводив его до двери, щелкнул замком. Ушел к себе, пожелав отцу спокойной ночи, и Хатунцев-младший, ловко увильнув от намерений отца кое-что прояснить в их жизни, что грозило бы затянуться за полночь; для этого ему стоило лишь упомянуть о завтрашнем дежурстве и зевнуть, и полковник тотчас сдался.

Пришла теплая летняя ночь; очередной день, как и все предыдущие, прозвучал и канул незаметной каплей в неясных шорохах; над Холмском появилась луна, никого и ничего не выделяя, тотчас проникла, как это было всегда, во все доступные места, высветлила улицы, дворы, поля, душную темноту оврагов, хлынула в окна, все связывая и все разделяя. Полковник по своей военной привычке заснул сразу же; Хатунцев-младший, услышав его редкий храп из-за двери, встал и притворил ее плотнее, почему-то раньше это ему не мешало. Он уже совсем было засыпал, но теперь разгулялся. В густом лунном пятне на полу шевелилась какая-то неясная тень.

«Зря пропал вечер,— неожиданно с обидой подумал он.— Какой-то совершенно глупый и пустой разговор,

надо что-то придумать, поменьше бывать по вечерам дома. Для стариков это естественно — ворошить останки, мне-то с какой стати тратить время на ненужную благотворительность. Досадно... А лучше всего прямо сказать старику, что меня приглашают в хорошую клинику в Ленинград, все равно ведь сказать придется... и разъехаться придется. Ничего в этом трагического нет, не упускать же из-за пустых сантиментов удачу. Большой город, наука... явится в конце концов и квартира, и отец, если захочет, сможет приехать. Не до седой же бороды откладывать, без того сколько времени упущено!»

Луна ушла из комнаты, и Хатунцев-младший заснул, твердо решив завтра же написать и отправить необходимые письма; это свое решение он помнил даже во сне и все боялся, что опять вмешается какой-нибудь случай и придется откладывать или что он забудет о своем намерении. Под утро ему приснились луна и пустынный, весь как бы призрачный город, но это был не Холмск; он брел из улицы в улицу, пересекал незнакомые площади, мосты; и странно — куда бы он ни свернул, луна, рыжая, как бы раз и навсегда оттиснутая в небе, обязательно была у него с правой стороны.

Он удивился этому, и тоже во сне; утром его решение укрепилось окончательно, и, встретив в длинном коридоре клиники Аленку и машинально любезно поздоровавшись, он, рассеянно вспомнив о вчерашнем разговоре с Анисимовым, слегка посторонился, уступая ей дорогу, и сразу же свернул в боковой коридор. Все прежние наблюдения и догадки в отношении ее получили завершение, и то чувство неприязни, которое у него всякий раз при виде ее возникало, теперь окончательно объяснилось. «Все, оказывается, совершенно просто,—окончательно успокоился он, даже с некоторой долей благодарности за вчерашний сумбурный вечер.— Первое впечатление не обмануло, все есть, внешность, ум, возможно, способности... и в то же время что-то такое, отчего становится неуютно... бр-р! — передернул он плечами.— Такие бабы с вывихом, как правило, ищут приложение себе где-нибудь на стороне, уходя от своей естественной природы... Наука, политика, в газетах стихи пишут... все правильно, все на месте... Старик Анисимов, как всякий неисправимый устроитель новой жизни, видит в этом норму и даже привлекательность, но это его

дело. Пожалуй, следует признать лишь одно: ничто даром не проходит, даже нелепые случайности».

Приводя свои мысли в порядок перед обходом, Хатунцев-младший, разумеется, не подозревал, что в ту ночь луна была и в комнате Анисимова и что Родион Густавович, любивший расслабиться перед началом дня, дать себе минутку-другую полежать в постели, созерцая потолок и мягкий рисунок обоев, прежде чем захлестнут неотложные дела, перебирал в уме вчерашний разговор у Хатунцевых и был почему-то неспокоен; сейчас ему казалось, что вчера он был излишне навязчив, захлестнула такая минута — и не выдержал, а этого нельзя себе позволять.

За стеклянной дверью в коридоре собирались в школу Елизавета Андреевна с Шурочкой; как всегда, они разговаривали тихо и ласково, но Анисимов был уверен, что стоило ему показаться, и они тотчас бы прекратили свою беседу и стали бы принужденно говорить о чем-нибудь другом. Эта их душевная близость и отъединенность от него сейчас раздражали Анисимова больше обычного, кажется, все возможное делал, игрушки покупал, конфеты, ломал себя, заставлял всякий раз притворяться, но добиться ничего не мог; он подумал, что жена намеренно мешает ему сблизиться с девочкой, не хочет впустить в их ревниво оберегаемый мир, но почему, почему?

Он подождал еще немного, оделся и вышел в коридор.

— А, заговорщицы, доброе утро, здравствуй, Шурочка,— сказал он как можно сердечней.— Сколько у тебя уроков сегодня?

— Четыре, дядя Родя.— У Шурочки сделалось так хорошо знакомое Анисимову заученно-вежливое выражение.

— Ты забыла поздороваться с дядей Родей, Шурочка,— заметив расстроенное лицо мужа, сказала Елизавета Андреевна, больше всего ценившая сейчас с таким трудом установившееся равновесие в доме.

— Здравствуйте, дядя Родя,— тихо сказала Шура, не поднимая глаз.

Анисимов погладил ее по волосам, и почувствовал, как она вся сжалась под его рукой, и поразился испытанной при этом боли и растерянности.

— Ну, идите, идите,— заторопился он.— Так и опоздать можно.

12

Больничные шумы давно затихли, и в затененных палатах, в полуосвещенном коридоре с только что протертым, влажно блестящим линолеумом установилась вечерняя, доверительно-уютная атмосфера. Дневные процедуры и обходы окончены, больные занимались своими нехитрыми делами, и сами болезни, казалось, на время отступили, притаились до утра. Закончив описывать последнего поступившего больного, Аленка еще раз проверила назначения, отложила историю болезни в аккуратную стопку; на сегодня, кажется, все, можно было уходить. Она поймала себя на мысли, что не хочет идти домой, испугавшись, она подумала, что надо прибегнуть к проверенному средству и беспощадно, не утаивая ни одной крохи, допросить себя. «Отчего не хочется, что изменилось? Да оттого, что он здесь,—с какой-то беспощадностью к себе решила она,— где-то в соседнем крыле клиники, и она может, если захочет, его увидеть, и опять, как тогда, в коридоре, понесутся навстречу его глаза... Но ведь это совершенно невозможно,— возмутилась она,— это пошло, это что-то стыдное, бабье»,— попытавшись сосредоточиться, она остановилась неподвижным взглядом на маленьком чернильном пятне на крышке стола.

Быстро, без разбору, покидав свои вещи в чемоданчик, бросив туда и металлический молоток, она бессильно опустила руки, вспомнив *его* привычку рассеянно почесывать переносицу кончиком молотка. Опомнись, что это еще за наваждение, когда это она позволила себе начать думать о нем? Как это она могла позволить себе? На молодого мужика потянуло? Ого, вот это заградительный огонь.

Не медля больше ни минуты, Аленка спустилась в грузовом лифте, отрезая себе пути к случайной встрече, и почти выбежала на пустынный тротуар; быстрая ходьба ее немного успокоила. «Подлая, скверная баба,— продолжала она себя ругать,— да тебя не держит никто, Брюханов всегда даст тебе свободу, он бы просто выгнал тебя, узнай хоть отчасти о том, что с тобой происходит, он не представляет, что ты способна на такие мысли. Он всегда говорит, важен не сам факт измены, а что при этом человек испытывает: счастье или стыд».

Чувствуя, как разгораются щеки, Аленка все убыстряла шаги; вся беда заключалась в том, что Брюханов раз и навсегда от всего в жизни ее освободил, жизнь просто стелется ей под ноги, это она с жиру бесится... Институт, домработница, теперь вот ординатура, прекрасная клиника... А постояла бы у корыта день-деньской, обстирывая голодных, ревущих ребятишек, как ее мать, или пухла бы с голоду, как бабка Авдотья, отнимая у себя для внучат последний кусок хлеба, вот тогда дурь в голову бы не полезла.

Вскочив на подножку дребезжащего трамвая, она как-то обостренно отметила, что немногие пассажиры, ехавшие в этот вечерний час, как по команде, почему-то повернули к ней головы; плотнее запахнувшись в плащ, она быстро села на самое заднее сиденье, отвернулась к окну, и в ней опять возник и разросся все тот же тягостный мотив. «Ну почему, почему она такая несчастная? Ну разве она виновата, что в ней что-то все время рвется наружу, ноет какая-то струна в сердце, никак не утихнет? Она до сих пор так и не может войти в мир жен других обкомовских работников, все они такие спокойные, уверенные в себе и в том единственном призвании, которому они обязаны служить, и она чувствует себя белой вороной в их царственно-покойном мирке; а ведь пора бы давно успокоиться, уже взрослая женщина, у тебя дочь, любимый муж, ты хозяйка своему счастью и не пустишь в душу к себе непрошеных гостей...»

Аленка представила себе детскую с зеленым настольным абажуром, выстроившиеся смирно в ряд игрушки на коврике, Ксеню, убиравшую их перед сном на место и особо заботившуюся о своем любимце, плешивом от старости тигре Зике; представила, как Ксеня обрадуется ее приходу и как она будет укладывать дочь в кровать и дышать ее ровным теплом, как Ксенины ручонки в последний раз стиснут ее шею, и, заторопившись, едва не пропустив свою остановку, спрыгнула с подножки на тротуар. «Ну вот,— сказала она себе,—ты уже и спокойна, ничего нет, ты все придумала, все то добро, что Брюханов тебе сделал, все то добро, что мы друг другу сделали, не может пройти даром, бесследно, да и как же жить после, если это случится, как смотреть друг другу в глаза? Вот и тополя перед домом, старые друзья, они растут вместе с Ксеней, она уже успела сродниться и с ними».

Какой-то отпускной морячок с развевающимися лентами бескозырки бодро двинулся было следом за ней с противоположной стороны тротуара, но, увидев ярко освещенный солидный подъезд обкомовского дома, быстренько растушевался в полумраке; Аленка засмеялась, но сразу же примолкла, тихая боль отдалась в сердце. Пораженная сверкнувшей мыслью, она торопливо заскочила в подъезд, припала спиной к стене. «Господи,—подумала она растерянно,— господи, ну почему баба так устроена? Каких зароков не давала после того, что пришлось в войну увидеть, без остатка посвятить жизнь людям, их счастью,— и вот тебе... Откуда такая чушь? Да, да, все так, появись перед тобой на противоположной стороне улицы Алешка Сокольцев и позови, разве ты стала бы раздумывать? Ни одной минуты, выпрыгнула бы прямо в руки из окна, с четвертого этажа... но он ведь не появится»,— тут же ответила она себе, чувствуя безнадежно сжавшееся сердце.

Брюханов, против обыкновения, был уже дома, а Ксеню Тимофеевна уже успела уложить, и только тигренок Зика таращил свои стеклянные рыжие глазенки в изголовье детской кроватки.

— Где ты пропадаешь, Аленка? — нетерпеливо встретил ее Брюханов.— Завтра уезжаю в Зежский район, нам еще увеличили капиталовложения, грандиозные заворачиваются дела. Целая армия специалистов едет, прекрасные специалисты, асы своего дела, прямо хоть областной центр в Зежск переводи! Как нам удастся выкрутиться? Размещать совершенно негде. Чубарев звонил, рвет и мечет...

— Погоди, Тихон, пойду умоюсь...

— Чубарев интересную идею выдвигает — непосредственно при заводе институт открыть, готовить свои кадры, не надо будет Москве кланяться по каждому случаю.— Брюханову не терпелось выговориться; пристроившись на плетеном ящике для белья в ванной, пока она приводила себя в порядок, загорелый, в дорогом бостоновом костюме, он как-то сразу развеял все ее страхи и сомнения.

— Тихон, ящик раздавишь, что за мальчишество! Опять в костюме дома! — заметила она.— Иди переоденься, пожалуйста...

— Ты не в духе? Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Совершенно ничего. Просто у тебя ужасная привычка, сутки не виделись, а ты сразу о делах, все в одну кучу,— засмеялась она.— Институт, Чубарев, завод, какие-то специалисты... А когда же просто жить?

— А это и есть жизнь, другой нет, не будет. Тебе бы Чубарева в упряжку. Он бы тебе личную жизнь организовал. На бочке с динамитом. Анархист! Но какой замечательный анархист! — уточнил он.— Сразу с ножом к горлу, а то, что задумал, возможно только через Москву пробить. Задача... Дело новое, на Чубарева уже жалобы пошли, тут и местные и столичные мастодонты сомкнутся. Пожалуй, у тебя все-таки что-то стряслось, Аленка,— сказал он, протягивая ей полотенце.

— Конечно, у косого всегда тетка кривобока,—непривычно резко, почти враждебно взглянула она.— Прожекты, идеи... Посмотри лучше, что делается у тебя под боком: голодные, заметь, деревни... Ездила с инспекцией в район, насмотрелась... Ужасно, Тихон, пьют много... самое откровенное преступление перед будущим... Дети зачинаются отравленными алкоголем отцами... уже в зачатии они обречены... На данном уровне знания это социальное преступление. Я ведь Америк не открываю, ты сам знаешь данные статистики по области, об этом надо кричать. Что же вы хотите? Только восторгов, что ли?

— Кто это «вы»? — холодно, словно издали, спросил Брюханов.

— Все эти твои чиновники... да и сам ты в первую очередь.

— Так, что-то совершенно новое... Хорошо... Ты, значит, считаешь честностью швырнуть в лицо народу обвинение, что он спился, находится где-то на пороге гибели, вырождения... Кто же тогда все делает? Кто отстроил страну после немца? Нет, это ты в одну кучу все валишь... Народ тебя не поймет...

— А ты действительно считаешь себя уполномоченным говорить от его имени? — как бы проверяя что-то свое, вскользь уронила Аленка.

— Считаю, ты ведь тоже, кажется, не стесняешься целым народом швыряться...

— Приходится только позавидовать... Уверен, спокоен. Одно не ясно: почему ты не хочешь ничего сделать, чтобы хоть чуточку стало легче народу в самом простом? Ни от Москвы не надо санкций, ни...

— Ну, знаешь, Алена, это уже чистейшая демагогия,— с досадой оборвал Брюханов, уходя к себе в кабинет; Аленка, успевшая выпить стакан холодного молока, прошла следом, поглядывая ему сбоку в нахмуренное, тяжелое лицо.

— Нет, ты мне ответь: сколько можно с народа тянуть — с бабки Лукерьи, с Нюрки Бобок, с Куделина? Сколько можно? — спрашивала она, стараясь смягчить резкость своих слов.— Когда-то же ведь надо дать им продохнуть. Никакого народа ты, Тихон, прости, не знаешь, не любишь... Так это для вас — глина... помесил, помял, слепил... Солнце выскочило, все растрескалось, посыпалось... Вам же опять работа...

— Так, так, так... давай уж до конца, слушаю, слушаю,— поддакивал он, по-прежнему хмурясь и теребя какую-то попавшую под руку книгу; у них бывали подобные стычки и раньше; хотя Аленка говорила сейчас слишком обидные и несправедливые вещи, настоящей злости почему-то на нее не было. Скорее всего потому, что это были и его мысли, и его боль. «Пусть ее выговорится»,— решил он, продолжая самым внимательным образом слушать непривычно разошедшуюся жену, плутала она в общем-то в детских заботах, не знала и не могла знать того, что было известно ему. Для нее все было так, как она говорила и думала сейчас, а все на самом деле было не так и не могло исправиться по первому слову и желанию... Область в прошлом году не выполнила хлебопоставки, и ему стоило больших усилий оставить в колхозах хоть немного зерна. Для нее не имело значения и существование таких работников, как Лутаков; в своих неофициальных беседах в Москве, во время командировок, при случае он мог щегольнуть несуществующими успехами в сельском хозяйстве области, незаметно подчеркнуть и свою немалую роль в этом.

— Ладно, давай ужинать и спать, Алена Захаровна,— попросил он,— завтра Федотыч в шесть за мной заедет...

Но какой-то бес вселился в Аленку, она не двинулась с места.

— Знаешь, Тихон, если человек на своем месте не может изменить что-то к лучшему, по-моему, честнее уйти, оставить это место... Может быть, придет более смелый, более решительный человек...

— А если придет не более смелый, не более реши-

тельный, а как раз наоборот? Где гарантия? — Брюханову снова вспомнился Лутаков, широченный, квадратный, сразу заполняющий собой все помещение, с заразительным, здоровым смехом, с его твердой, спокойной манерой держаться.

— Нет гарантии, Тихон. Никто тебе ее не даст. Да потом ты ведь все равно никогда не сделаешь этого шага,— в ее голосе мелькнуло сожаление,— пустой это разговор.

— Почему?

— Ты относишься к эпитимному типу личности... Минутку, минутку, сейчас разъясню,— Аленка потянулась к коробочке с папиросами, взяла одну, повертела в пальцах.— Это люди, которые уже не могут без власти и будут идти к ней, несмотря ни на что. Это их природа. Большей частью для них, подобных людей, таких категорий, как «добро», «совесть», «справедливость», не существует.

— Во-от как,— протянул Брюханов, все пристальнее присматриваясь к жене.— А что же для них существует?

— Категория «надо»... Вот и вся их мораль.

— Любопытно... Ну, а ты, Алена? — все тем же спокойным тоном спросил Брюханов.— Какими достоинствами одаришь человечество ты сама?

— Я, милый мой, всего-навсего психастеник, самый заурядный психастеник. Буду всю жизнь бороться со своими бесами и заниматься самоедством, так что за меня будь спокоен...

— Идет,— Брюханов быстро встал, подошел к ней и положил руки ей на плечи.— Только когда они тебя будут совсем одолевать, твои бесы, не забудь позвать... Знаешь, я их кадилом...

Запрокинув голову на спинку кресла, Аленка заставила себя улыбнуться.

— Что, Брюханов,— спросила она,— выдержим, думаешь?

— Давай ужинать, Аленка,— сказал он.— Пора освободить Тимофеевну, мне тоже сегодня еще кое-что сделать надо...

— Обиделся?

— Нет...

— Как хорошо, что у человека есть свой дом.

Аленка, быстро прижавшись щекой к его руке, встала; в этот вечер они оба, словно бы по негласному

уговору, старались не касаться того, что могло напомнить о недавней размолвке; Брюханов шутил с Тимофеевной, оживленно обсуждал с Николаем его студенческие новости, и когда тот после ужина предложил партию в шахматы, сразу же согласился и увел его к себе в кабинет; ни Брюханов, ни Николай не любили за шахматами разговаривать, и, удобно устроившись за круглым столиком, освещенным успокаивающим зеленоватым светом лампы, они, полностью сосредоточившись на игре, казалось, больше не замечали друг друга. Николай передвигал фигуры быстро, почти не раздумывая, его комбинации, развиваясь, приобретали неожиданную сложность и глубину, и Брюханов, не раз испытавший на себе, чего стоило малейшее невнимание во время шахматных баталий с Николаем, лишь в самом начале, сделав очередной ход, оторвался, чтобы взять папиросы и пепельницу, и поторопился назад, на свое место; как он и ожидал, Николай уже успел передвинуть свою фигуру, и Брюханов, скрывая удивление его ходом, проворчал: «Так... так» — и прежде, чем решиться на ответное движение, закурил и долго думал.

В дверь кабинета заглянула Аленка, напомнила, что уже поздно, что все спят.

— Мы недолго, спокойной ночи,— отозвался Брюханов, не отрываясь от доски.

— Ты, кажется, хотел что-то еще успеть сделать,— сказала она.

На этот раз Брюханов, в раздумье вертевший над доской в пальцах своего коня, на мгновение задержался на ней взглядом и кивнул; Аленка, жалевшая о своей вспышке и резкости, тихо прикрыла дверь, и Брюханов, помедлив, решился наконец переставить коня.

— Вы хорошо подумали, Тихон Иванович? — спросил Николай со свойственной ему прямотой, слегка улыбаясь.

— А что такое? — забегал по доске взглядом Брюханов, время от времени посматривая в лицо соперника.— Положительно ничего не вижу, не пугай, брат...

— Взгляните на моего ферзя, вы открыли Д5...

— Так что же? — спросил Брюханов.— Что, ты туда хочешь?..

— Конечно. Берете вы его или нет, мой следующий ход конем Ф6...

Брюханов еще раз взглянул на доску; теперь в какое-то одно мгновение картина на ней совершенно изменилась: порядок и надежность собственной обороны, неприступно, как он думал, выстроенной в начале партии, распалась; чужой, почти неправдоподобный по изяществу и простоте комбинации, по минимальности, почти скудости брошенных в дело средств, замысел все перечеркнул и поломал.

Еще и еще раз растерянно, с обиженным выражением лица пометавшись глазами по доске, Брюханов пыхнул папиросой и откинулся в кресле.

— Черт знает, что у тебя за башка! — сказал он.— Какая-то машина... Нет, с тобой положительно невозможно играть!

— Еще? — смеясь глазами, подзадоривая, спросил Николай.

Они стали быстро выравнивать фигуры, и скоро Брюханов, сразу же полностью захваченный событиями на доске, опять почувствовал близкую развязку. Он пытливо раз, другой, третий оценил расстановку сил; все было спокойно, все надежно прикрыто, никакого простора для неожиданных действий противника при любой, самой смелой, фантазии быть не могло. Но в то же время уже беглого взгляда на расположение фигур Николая было достаточно, чтобы ощутить (именно не понять, а пока только где-то глубоко в себе ощутить) тугую, стремительную волну заложенных в них комбинаций, они могли вспыхнуть в любой момент и в любом месте, и несмотря на кажущуюся некоторую небрежную разобщенность фигур, все они представляли готовое прийти в действие одно стройное целое.

— Что-то ты мне сказать хотел? — спросил Брюханов, заранее подтрунивая над этим своим детским приемом, в надежде отвлечь противника.

— Да я передумал, так, ерунда это.— Николай сделал ход, и Брюханов, непрестанно следивший за его рукой, задержавшейся над доской на секунду, лишь обреченно вздохнул.

— Так... понеслась,— наклонился он ниже, только теперь замечая, что его противник сегодня что-то уж непривычно хмур и скуп на слова и чем-то порядком расстроен, что уже можно было понять за ужином, а теперь стало совершенно очевидно.

— Так и быть, все равно тебя не обыграешь.—

Брюханов отодвинул от себя доску.— Давай лучше потолкуем, что у тебя там стряслось.

— Не стоит, Тихон Иванович, пустяки,— нахмурился Николай.— Без того слишком поздно, Аленка совсем рассердится... Право, пустяки,— стал уверять он.— Как-то случайно сорвалось с языка...

— Знаешь, Коля, шахматы — это одно,— остановил его Брюханов,— там мне с тобой тягаться нечего. Ты мне до сих пор доверял, кажется...

Собирая фигуры, Николай с быстро появившимся на лице румянцем по-прежнему попытался уклониться, начал что-то невразумительное говорить о каком-то происшествии в институте, затем о необходимости на днях съездить в Густищи, к матери, совсем запутался и под пытливым, несколько даже обиженным взглядом Брюханова окончательно раскраснелся и умолк.

— Деньги я потерял, Тихон Иванович,— не поднимая глаз и смахивая со столика что-то невидимое, сказал он.— Не свои деньги... почти семьсот рублей.

— Подожди. Почему у тебя оказались чужие деньги? — удивился Брюханов, в то же время скрыто любуясь разгоревшимся лицом Николая.

— Я же профорг курса...

— Так что же?

— Собирал эти деньги... в конверте носил, в портфеле, все время на месте были, а сегодня на лекции...

— Понятно,— пожалел его Брюханов.— Но если уж вышел об этом разговор... нет, нет, ты можешь не говорить, если не хочешь,— быстро добавил он в ответ на совершенно недвусмысленное движение в лице Николая, ставшем вдруг резким.— Ты совершенно не о том подумал. Я хотел сказать: почему ехать к матери? У нас есть деньги... ты бы мог взять у Аленки, вот и все.

— От Аленки как раз так просто и не отделаешься, она меня ведь все воспитывает,— хмуро пошутил Николай и поднялся.— Спокойной ночи, Тихон Иванович.

— Значит, ты не возьмешь эти семьсот рублей? — спросил Брюханов выжидающе.

— Нет, спасибо, не возьму.

— Почему?

— Мне надо будет сказать вам, что это за деньги...

— Я этого не требую,— возразил Брюханов, теперь еще больше недоумевая.

— В том-то и дело,— как-то по-детски беспомощно взглянул на него Николай,— что я не могу вам всего рассказать... а так просто взять тоже не могу... ну вот и все...

— Что за чертовщина! — не удержался Брюханов.— Так не могу и этак не могу! А как же можно? Ну, слушай, Коля, не валяй дурака. Вот тебе деньги, и дело с концом.— Брюханов достал бумажник, отсчитал семьсот рублей и пододвинул их к Николаю.— Не накручивай ты, ради бога, там, где не надо... Ну...

— Тихон Иванович, а вы обещаете, что все это останется только между нами? — решился Николай.— Даже сестре...

— Будь спокоен... обещаю, все обещаю... спрячь.

— Понимаете, у нас на курсе с одной из студенток...

— Я ничего не спрашиваю,— быстро сказал Брюханов, но засмеялся и махнул рукой.— Давай, тебя ведь не переупрямишь...

— Девушка хорошая, умная, занимается серьезно, но связалась, понимаете, с безответственным человеком.— Николай говорил, упорно глядя в стол.— Тоже наш студент... И вот все у нее оказалось под угрозой, институт, дальнейшая судьба... Попытались мы этого типа вразумить, а он ни в какую, такой гад оказался... А она только на стипендию и дышит... Сирота, в войну все родные погибли. Вот и решили тайком от нее собрать денег со стипендии... ну, понимаете, на... на врача... Фу ты черт, вспотел даже! — Николай облегченно перевел дух.

— Что? что? что? — не сдержал своего изумления Брюханов.— На врача, говоришь? На... аборт, что ли? Но почему именно ты? Другому, что ли, постарше, не могли поручить?

— Я ведь уже говорил, что меня в том семестре профоргом выбрали,— в свою очередь раздосадовался Николай.— Отказаться надо было, а я...

— Вот так история,— задним числом смутился Брюханов и забарабанил пальцами по столику; они взглянули друг на друга раз, другой, взглянули еще и расхохотались. Брюханов, скомкав деньги, сунул их Николаю в карман, придерживая рукой за плечо, проводил до дверей.

— Ничего страшного, жизнь есть жизнь,— сказал он.— Такое ли еще бывает. Иди ложись, а то

нам сестрица Алена и в самом деле может выволочку задать... Иди, иди, весь наш разговор, не беспокойся, останется между нами.

— Спокойной ночи, Тихон Иванович... Спасибо...

Высокая, тяжелая дверь бесшумно приоткрылась, глаза Николая блеснули из полутьмы коридора, и Брюханов остался один. Он походил по кабинету, постоял, отодвинув штору, у открытого окна. Над городом, нарушаемая звоном трамвая на соседней улице, развозившего последних, запаздывающих людей по домам, струилась полночь. Брюханов прислушался. Вспомнилось непривычно чужое, холодное, почти враждебное лицо Аленки. Начинает исподволь сказываться разница в возрасте? Непохоже, он этого совершенно ни в чем не замечал. То, что он недостаточно бывал дома, естественно; во всем, что касалось его лично, он с ней совершенно откровенен. Как у всякого человека, у него, разумеется, было и такое, чего он не мог открыть даже ей. Но ей это и не нужно. Откуда же это непонимание, духовное отчуждение?

Если тому причиной все-таки он? Однажды она видела у него в руках тетради Петрова, кажется, спросила, что это, и он с небрежным видом отмахнулся: так, мол, не стоит внимания, всякие служебные пустяки... А что, если Аленку раздражает именно его отъединенность, женщину ведь обмануть трудно, почти невозможно. Почему он даже самому близкому человеку не может открыть полностью того, что его мучает последнее время? Положить перед ней тетради Петрова и сказать: читай, посмотри, какие встречаются среди нас гусаки... Только одним этим шагом можно повернуть ее к себе, но имеет ли он такое право? Сам еще не добрался до сути, барахтается, как щенок,— и сразу швырнуть и ее в самый омут, давай вопить, захлебываться вместе? Так, что ли? А смысл? У нее и без того приличный кавардак в голове...

Летняя ночь уже начинала слегка размываться.

13

Все с той же умело скрываемой от других душевной сумятицей, Брюханов, объехав несколько самых неблагополучных районов, завернул в один из бога-

тейших до войны колхозов. И председатель ему был знаком: пожилой, уравновешенный мужик, один из тех, кому пришлось доходить до всего, как принято говорить, собственным горбом. Колхоз вот уже второй год не выполнял план хлебозаготовок, и Брюханов, едва взглянув председателю в лицо, еще больше расстроился.

— Ну, что будем делать, Артемьев? — спросил он без лишних околичностей, и тот, приглаживая на лысине остатки когда-то русой, а теперь пепельно-серой, вечно взъерошенной шевелюры, как это часто делает русский человек, когда отвечать нечего, с привычной отрешенностью глянул в окно, словно еще надеялся в последний момент на спасительное чудо.

— Очень плохо? — опять спросил Брюханов, проникаясь к нему непонятным сочувствием, но больше потому, что нужно было как-то подбодрить, очевидно, во всем разуверившегося человека. Брюханов сейчас спрашивал не только Артемьева, но и самого себя, как бы еще и еще раз проверяя некую очевидную, но очень уж неприятную, угнетающую истину, с которой не хотелось окончательно соглашаться. Артемьев хоть и продолжал молчать, но от окна оторвался.

— Раз говорить нечего, Андрей Гаврилович, пойдем, что ли, по хозяйству пройдемся,— предложил Брюханов.

— Нам — как скажете,— обрел голос Артемьев, упорно разглаживая широкими, сильными ладонями подвернувшуюся ему под руки районную газету с крупной фотографией двух смеющихся женщин.— У нас доярки хорошие есть, вот эти наши, в газетке-то,—кивнул он.— Паша Малеева да Софья Трофимовна Волобуева, за прошлый год надои в три с половиной тыщи у каждой. Вроде живем... письма тоже подписываем. Вроде порядок...

— Пройдемся в поле, Андрей Гаврилович,— предложил Брюханов, и Артемьев, помедлив, понимающе кивнул, аккуратно сложил газету, бережливо сунул ее в ящик стола и вздохнул.

По проселочной дороге Федотыч отвез их километра за три, и Брюханов, твердо вознамерившись во что бы то ни стало вызвать Артемьева на откровенный разговор, отослал машину назад, но это оказалось не так просто. Артемьев не отставая молча шел рядом; ранние яровые хлеба в основном были уже скошены, там и сям

бугрились ометы обмолоченной соломы, над стерней низко, с хриплыми криками носились стаи молодых грачей. Далеко по пригорку полз ряд высоких возов сена. Брюханов остановился, поглядел: было видно далеко вокруг.

— Красивая у нас земля, Андрей Гаврилович,— сказал он, и Артемьев тоже сощурился, не спеша окинул взглядом все, что было видно,— начиная с возов сена, медленно исчезавших, словно погружавшихся за пригорок, до каких-то неясных маленьких фигурок километрах в двух, суетливо двигавшихся по стерне у березовой рощицы, окаймлявшей далекие овраги, от одного края неба, совершенно чистого, пронизанного слегка сгущавшейся перед наступлением вечера голубизной, до другого, резко установленного белоснежными ворохами облаков.

— Детишки колоски собирают,— вздохнул Артемьев.— От леса не отходят, как что, они туда, в овраги. А в сумерках — домой, фунтов восемь — десять зерница́ и набирают...

Брюханов тоже поглядел в сторону рощицы; он не почувствовал ни раздражения, ни досады, этот молчаливый мужик одной фразой вернул его к действительности, к самому важному и большому.

— Объездчик с ними не управляется,— добавил Артемьев.— Он в один край, они в другой...

— А ты, Андрей Гаврилович, оказывается, злой,— словно бы удивился и огорчился Брюханов и оглянулся; в серых глазах Артемьева зажегся огонек.

— Может, и злой,— согласился он.— Только вряд ли, Тихон Иванович. Вы вот приехали, поглядели, ну, мужик, думаете, пень пнем, хоть с какого бока его ковыряй, молчит себе. Молчу, правда ваша, а потому молчу — сказать нечего. Вы тут у нас снадобье ищете, а его тут у нас нету, вот и молчу. Такая теперь пора приступила — перестало у нас снадобье родить, ни в лугах, ни в лесах... Может, и есть где такие места, а у нас они перевелись, Тихон Иванович...

— Я ведь к тебе со всем сердцем, Андрей Гаврилович.

— Вижу... Только у меня за душой малой крупицы не осталось. Как говорю, так и есть. Худо на земле, Тихон Иванович, что-то в самих кореньях гнилью взялось. Нет у них больше сил в колос-то тянуть, зерно наливать. А отчего так — моей голове не осилить, не-

ученый я... Одно знаю — не переменится, быть ох какому запустению... беда...

Они уже давно опять шли рядом; Брюханов внимательно слушал разговорившегося наконец Артемьева, как бы еще и еще раз проверял себя и не мог не согласиться со справедливостью его доводов.

— Фининспекторы, агенты по мясу,— говорил Артемьев, загибая короткие пальцы.— Да где это видано? Люди годами ничего не получают, где же они возьмут это мясо? Какие из них после этого работники на земле? Самим есть нечего, не то что курицу кормить. Какое яйцо? Какое мясо? С себя, что ли, срезать? Так не возьмут, одна кожа да кости.

Лет пятидесяти пяти, невысокий, худой, с резко суженными к вискам глазами, Артемьев, пользуясь молчаливым согласием Брюханова, высказывал не стесняясь все, что у него наболело; да, впрочем, Брюханов и приехал, чтобы утвердиться в каких-то своих мыслях, наблюдениях и даже выводах непосредственно на месте, там, где все решалось и в силу многих и многих причин и обстоятельств не могло и не должно было не решиться, с какой-то непривычной жадностью слушая сейчас Артемьева, понимал это все много отчетливее и безжалостнее, чем день или даже час назад. Земля была истощена до предела, ее привычные, веками устоявшиеся связи с людьми, всегда выражавшиеся в обоюдной взаимозависимости, в двусторонней отдаче, были безжалостно обрублены. Этот неуклюжий на первый, поверхностный взгляд мужик был абсолютно прав, начался труднообратимый процесс, прекратить или повернуть который в иное русло возможно было энергичной, революционной, не боящейся корневой ломки волей.

Возвращаясь в одиночестве (захотелось побыть наедине с тишиной и своими мыслями), Брюханов, уже входя в село, наткнулся на бегущего навстречу ему из вишневых кустов мальчонку лет девяти, а за ним с криком гналась женщина; мальчонка запнулся, упал, женщина тут же настигла его и сердито хлестнула ивовым прутом; мальчонка, молча, помогая себе ногами, отъезжал от нее задом по земле, но она все не выпускала его, плача и что-то приговаривая. Брюханов подбежал, перехватил прут, но закусившая удила баба слепо рванула прут к себе, обжигая кожу на ладони Брюханова; стиснув зубы, тот

удержался, перехватил прут другой рукой, сломал его и, оглянувшись, увидел мальчонку, резво бегущего уже далеко в поле. Женщина, отшвырнув от себя оставшийся у нее обломок прута и приходя в себя, несколько раз коротко вздохнула; глаза ее отошли, стали осмысленнее.

— Вас же судить могли, за что вы его так? — тихо покачал головой Брюханов.

— А твое какое дело? — грубо ответила женщина, поправляя выбившиеся из-под платка волосы; руки у нее еще вздрагивали.— Ты меня судом не стращай...—Она кивнула в сторону села, резко повернулась и пошла; Брюханов догнал ее и зашагал рядом.— Черт конопатый,— внезапно заговорила женщина,— куда ни схоронишь, все равно найдет и сожрет... а их еще двое, и каждый есть хочет... На ужин оставила по куску хлеба, аж под застреху засунула... О господи, и в кого такой черт уродился? — растерянно развела она руками, и Брюханов опустил голову, он сейчас не мог встретиться с ней глазами. У него были с собою деньги, и первым его движением было достать бумажник, но он тут же невольно отдернул руку.

— Никто тут не виноват,— сказал он тихо, дав женщине выговориться.— Надо потерпеть, все наладится, своя ведь, советская власть...

— Своя, своя, знаем, что своя!

— Вы хоть знаете, с кем говорите? — спросил Брюханов.

— Как же! Видела на портрете, голосовала в прошлом году! — Глаза женщины колюче и насмешливо сузились.— Спасибо, товарищ депутат, за хорошую жизнь, спасибо сердечное! — Она неожиданно быстро и низко поклонилась и, не успел Брюханов опомниться, уже исчезла за ракитами, тесно обступившими какую-то приземистую постройку.

Глаза женщины и привычно озлобленное лицо мальчишки, ее сына, не от хорошей жизни украдкой слопавшего скудный ужин на всю семью и понесшего за это законную кару, не шли у него из головы; блуждая беспокойным взглядом по избам, по плетням, по глубоким рытвинам, выбитым колесами машин на улице села еще по весне, он задержался на двух телятах, привязанных к изгородям. Один лежал, второй, натягивая удерживающую его веревку, то и дело начинал призывно мычать, и это несколько оживляло

пустынную улицу. Глядя на этих телят, Брюханов почему-то вспомнил, как он почти два года назад, в день отмены карточек, пошел к вечеру побродить по магазинам, по шумному и оживленному городу, и с каким-то непередаваемым чувством своей личной причастности к общей радости всякий раз, стоя в стороне, наблюдал за шумными стайками ребятишек, впервые за несколько лет свободно покупавших по сто граммов конфет или печенья, тут же празднично угощавших друг друга, и съедавших давно забытые лакомства, и вновь бросавшихся к прилавку, просивших взрослых пропустить их без очереди...

И опять, как и тогда, в морозный декабрьский вечер, он, скрывая волнение, сердито прокашлялся, еще раз оглянулся и быстро пошел по улице.

Федотыча с машиной у конторы не было; присев на грубо сколоченную скамейку у крыльца, Брюханов закурил. Неподалеку, словно только и ждали появления Брюханова, сбежались и стали, резко наскакивая друг на друга, драться два петуха, затем откуда-то появилась старуха, что-то сердито приговаривая, расшвыряла их палкой. Протрусила, на ходу повернув к Брюханову голову с умными глазами, по своим делам шустрая, с большими ушами собака. Он прикрыл глаза; несмотря на усталость, голова была неприятно ясной. «Хочешь не хочешь,— подумал он как-то безразлично,— а раньше часа ночи домой теперь не попадешь. А там сразу в Москву, да еще почему-то срочно. Что ж, он готов отвечать за свои поступки, готов взять на себя всю полноту ответственности». Эта борьба между совестью и тем, что он нередко вынужден был делать, мучила его; зерно, запавшее в душу, неожиданно проросло; теперь уже лично от него самого мало что зависело.

«Взять на себя всю полноту ответственности...» — ясно вспомнились Брюханову неровные строчки из дневника Петрова; все-таки, несмотря на все свои зарекания, он время от времени, если становилось особо неуютно и пусто на душе, заглядывал в него, и это уже получалось помимо его воли. Но никогда раньше он не испытывал той беспомощности перед жизнью, что охватила его сейчас, едва он вспомнил о бумагах Петрова, и память еще и еще раз против его воли выхватывала, точно дразня и издеваясь над ним, то одно, то другое место. «А если это всего лишь та

самая волшебная палочка? — тут же подумал он с хорошо знакомым и неприятным, злым раздражением, возникавшим всякий раз, когда ему приходилось хоть как-то соприкасаться с дневником Петрова.— А если допустить другое? Чем больше копаешь, тем глубже она уходит, и так без конца. Если её вообще нет и весь смысл только в том, чтобы копать, копать и копать... Если даже и это от бессилия постичь самое главное, бегство от самого себя? Могла ли она быть, эта волшебная палочка, у Петрова? Есть ли она даже у самого Сталина? И есть ли она у кого-нибудь вообще? Зачем же пытаться примирить непримиримое, это то же, что пытаться пройти над пропастью по воображаемому мосту... А что же тогда остается? — опять спросил Брюханов.— Многое, очень многое... Эта деревенская улица, пыльные ракиты... Голодный, побитый матерью мальчишка, до сих пор, очевидно, прячущийся на речке или в лесу... Сотни, тысячи самых обычных, необходимых дел... Аленка с Ксеней... Тот же Чубарев...»

К ногам Брюханова все ближе подбиралось низившееся солнце.

Щуря усталые глаза, Петров оторвался от бумаги, отодвинул от себя пустой стакан с недопитым чаем, недовольно посмотрел на дверь. «Кто бы это мог так поздно? Двенадцатый час... Неужели жена так неожиданно?» — обрадовался он, открыл дверь и удивленно отступил. Перед ним стоял худой, невысокий человек в странном, непривычном одеянии, в длинном, до колен, потертом сюртуке, с выглядывавшим из-под него краем клетчатой рубахи. Лицо его обросло всклокоченной, давно не чесанной бородой, но Петрова сразу же приковали его глаза, немигающие, с большими, резкими зрачками, в них словно застыл какой-то вызов. «Монах? Маньяк? Сумасшедший? — пронеслось в мыслях Петрова.— Постовой его не заметил...» Незнакомец ждал, глаза его, наполненные горячим блеском, напряженно следили за каждым движением Петрова.

— Вы ошиблись? — подал голос Петров, невольно вовлекаясь в какое-то внутреннее единоборство с неожиданным гостем и отмечая про себя его неуверенность и нездоровый цвет лица.

— Во́роны, во́роны,— быстро и неясно пробормотал пришедший.— Во все небо во́роны, адская не-

чисть... чуть дрема накатит, крылами бьют, небо затмили.— Его глаза, словно окна в неведомый, хватающий за душу мир, наконец, к облегчению Петрова, прикрылись тяжелыми старческими веками.— Десятый год не сплю... шелестят крылами... вόроны, саранча, саранча была в княжение Иоанново, неба не видно, так и вскакиваю, нету сна в мире, нету отдохновения.— Голос пришедшего окреп, и Петрову пришлось сделать усилие, чтобы сохранить спокойствие, под глазами дрогнуло...

— Кто вас сюда послал? — невольно резче, чем ему хотелось бы, спросил Петров.— В чем, собственно, причина?

— Гонцы — божьи вестники,— ответил пришедший, и в голосе у него послышалось ожидание.—Никто их не присылает, сами, только двери жилищ, могильные плиты, страшно открыть чужому, неведомому, запустение и разврат...— Он опять не отрывал от Петрова воспаленных глаз, и у него на лбу и щеках появились старческие розовато-бледные пятна.

— Да вы больны, кажется,— сказал Петров тише.

— Пристанища мы жаждем... а плоть жалка, греховна... Не может сия юдоль вместить божий дух. Вόроны... вόроны...

— Заходите. Что-то у вас, видимо, стряслось, если пришли, без дела ко мне не приходят.— Сам не понимая, почему он это делает, Петров посторонился, пропуская в комнату позднего гостя. Вместе с ним появилось давно забытое ощущение остроты и беспредельности просторов жизни, интересно, какое место в ее процессах занимает этот пришелец? Из каких-то всклокоченных, неизвестных глубин вынырнул еще один удивительный, ни на что не похожий человек и теперь, неуверенно присев у стола, пристально, немигающе следил за тем, как Петров неторопливо и тщательно закрыл дверь, пересек комнату, достал из буфета чистый стакан и сахар (сам он пил всегда крепчайший чай без сахара), наполнил стаканы янтарным остывшим чаем, придвинул гостю галеты, сыр и принялся грызть галеты крепкими желтоватыми зубами, выжидательно глядя на пришельца. С добротных сапог у того натекли на паркет грязные лужицы, он взглянул, подобрал ноги подальше под кресло и продолжал пристально и подробно разглядывать обстановку кабинета, задерживаясь тя-

желым, немигающим взглядом на книжных полках, и опять в глазах у него пробежала искорка интереса.

— Прошу, что же вы чай не пьете? Не хотите? Или подогреть?

— Какой чай,— отказался пришелец, слабо шевельнув длинной, худой кистью руки.— До чая ли в ночное время. Плоть греховна, услаждение ее пагубно для духа...

Прислушиваясь к глуховатому голосу ночного гостя, казалось, вслух, наедине с самим собою читавшего какую-то полузабытую книгу, Петров слегка склонил голову.

— Если все-таки конкретнее? Ближе к делу? — спросил он.

— Монах и пустынник Иероним из той бывшей Зежской пустыни, что была разгромлена и осквернена твоей волей,— опять затосковал пришедший.— Не со мной стряслась беда, с божьим храмом.

— Вы что же, пустынник Иероним, жалуетесь? — спросил Петров, в свою очередь исподволь изучая лицо пустынника.— И чаю не хотите?

— Чай — мирская потеха и суета,— поморщился пустынник Иероним,— в душе провал, все затмило бесовское глумление, одна чернота... Как дальше жить?

— Вы уверены, Иероним, что я смогу утолить вашу жажду?

— Все смешалось... у гроба матери бесовские пляски, блудодейство,— с грустной укоризной заметил пустынник Иероним и кивнул на разложенные на столе бумаги и таблицы; в его густой, всклокоченной бороде влажной, горячей полосой сверкнули зубы.— Тебя большим человеком считают, а ты прямо слово боишься молвить... Душевное плюгавство разъело... Как жить-то? Скоротечные заботы... все о себе, все о себе! А дух в запустении...

Пустынник Иероним стиснул руки и в неожиданной вспышке бессильной ярости потряс ими над головой, а Петрова охватила тупая, разъедающая усталость, сказывалось напряжение последних дней; пустынник словно отодвинулся куда-то в сторону; он попытался встряхнуться, не смог, тотчас решил, что он уснул за столом и что этот попавший под колеса жизни пустынник тоже сон, так, причудливая игра памяти... и его, Петрова, вовлек в себя все тот же жестокий, плотный поток, и они только на мгновение

столкнулись в этих неуловимо несущихся друг другу навстречу плоскостях, с тем чтобы никогда больше не встретиться.

— Гнев никогда не был опорой мудрости,— услышал Петров далекий, как бы удаляющийся голос, вздрогнул, удивленно глянул. Что за черт! Ничего не исчезло, странный ночной пришелец с бессонными, больными, почти немигающими глазами все так же неподвижно сидел перед столом, и Петров сильно потер виски и лоб. Темные натеки на паркете расползлись сильнее, но запах нечистого, давно не мытого тела исчез, теперь в комнате неуловимо пахло грибами. Приходя в себя, несколько обескураженный и раздосадованный тем, что каким-то образом не вовремя задремал, Петров запоздало обругал себя, в такую историю, насколько он помнил, он еще не попадал.

— Господь дал тебе отдохновение,— сказал мягко пустынник.— Ночь сморила...

— Сколько же я спал? — спросил Петров с недоверием.

— Тщетен бог мирского времени, что считать,— трудно вздохнул пустынник, был он занят чем-то другим, своим, несравненно более важным.— За откровение твоей души в этот короткий сон возблагодари господа... Забудь, прости себе и другим... Во́роны-то летают... Ох, терзают... вырвали душу-то... во́роны, во́роны...

— Чью душу, старик? Что вы мелете среди ночи-то? — тихо спросил Петров, осторожно отхлебывая холодный чай.— Нелепый у нас с вами разговор... Во́роны, воробьи, во́роны... Летают, а что же им делать? Что вы от меня хотите? Помощи? Какой? Вас обидели?

Пустынник потянулся к Петрову, словно хотел и не мог вспомнить чего-то самого важного, из-под длинных, тяжелых волос выглянуло маленькое хрящеватое ухо.

— В мире нехорошо... пусто... Ничего не знаю, ничего не пойму... Вы разделили единое, на вас ответ, на вас и страх. Сказано: жатвы много, а делателей мало...— шевельнулся пустынник, и у Петрова вдруг появилось чувство, что он видит перед собой слепого, который идет по узкой тропке, постукивая впереди себя палкой, и не может свернуть в сторону; был он худ и пронзительно беззащитен на своей одинокой тропе.

— Ну, святые писания я и сам знаю, а если ближе к делу... что же вы мне проповеди взялись читать? Вы все сказали? Если все, идите,— четко, с усилием выго-

ворил Петров, думая, что это скорее всего очередная провокация, с вымученной усмешкой глядя в наполненные дрожащей синеватой влагой белые глаза пустынника и жалея его.— Кому-то, вероятно, хочется, чтобы вы умерли мучеником и святым? Ни крови, ни мук не будет! Идите.

— А ты не побоишься пойти со мной? — как-то с неожиданным интересом спросил пустынник, весь обмякая и ссутуливаясь.— Совсем недалеко...

— Зачем?

— Чтобы мои слова обернулись для тебя делом. Не бойся, я один, никого у меня нет, плохого тебе не сделаю. Стар... болен,— пустынник не отрывал глаз от лица Петрова.— А ты погляди... Может, свет божий войдет тебе в душу...

Взгляд Петрова остановился на телефоне, и пустынник, словно давно ждал этого, медленно подобрал под себя ноги, лицо его еще построжало, но в то же время в нем появилось разочарование; тотчас он, насмешливо и ожидающе оскалившись, замер.

Это длилось недолго. Петров прислушался к бесшумно таявшей ночи, к себе. Было достаточно одного слова, чтобы этот старик встал, шагнул к двери и бесследно исчез, растворился в ночи, вероятно, время от времени в сумятице бесконечных дел раз-другой мелькнет затем размытым пятном. И сам исчезнет, и то, ради чего пришел и сидит, оскалившись, как бы еще и еще раз окончательно утверждая в себе скверну и мерзость человеческой породы; Петров еще никогда не встречал такого разрушительно-безжалостного выражения лица, такого, казалось бы, все постигшего, не способного больше ничему удивляться взгляда; в комнате усилился запах хороших лесных грибов.

Петров задержал дыхание, удивляясь себе и в то же время с разгоравшейся ясностью, что иначе поступить невозможно, быстро встал из-за стола, шагнул к двери, надев по дороге фуражку. Его остановил голос пустынника.

— Пиджачок... пиджачок захвати,— с неожиданной заботой посоветовал он.— Сыро в ночи, ветер, тьма...

Петров недовольно оглянулся, но привычно набросил на себя кожаное пальто, и вскоре они уже шли по притихшим, темным улицам города; пустынник, несмотря на свою худобу и немощь, двигался как-то плавно и бесшумно, всякий раз тихо предупреждая

Петрова, когда нужно было сворачивать или обойти неровное место.

Нахохлившись, спрятав руки в карманы пальто, Петров едва поспевал за ним и запоздало злился, правда, больше на себя, чем на пустынника; теперь все происшедшее начинало приобретать комический оттенок, и Петров, отворачиваясь от резкого встречного ветра, хмуро посмеивался над собой, хотя что-то попрежнему заставляло его идти за пустынником. «Ну что ж,— думал он,— вызов принят, теперь безразлично, что о нем подумают, как видно, это одна из тех немногих минут, когда убеждения нужно отстаивать... и перед другим, невзирая на то, кто он и что, и прежде всего перед самим собой, когда нет ни малейшей возможности шагнуть в сторону, и эта принудительная, ненужная честность до конца в отношении самого себя может свести с ума... Совсем забытое ощущение... тот же настороженный, острый холодок в плечах, как когда-то в кабинете жандармского ротмистра...»

За все время пути им не встретилось ни одной живой души, только однажды из какой-то подворотни легкой тенью метнулась бездомная собака; пустынник Иероним, не замедляя шага, привычно перекрестился.

Темнота, усилившаяся к рассвету, все поглощала и размывала; все тонуло в ней, дома, деревья, заборы, и только время от времени проступали какие-то бесформенные, безликие контуры, фигура пустынника делалась то огромной, то совсем пропадала, и тогда Петров шел больше по слуху; бесшумные, мягкие шаги точно окружали его со всех сторон.

Петров никогда не носил с собой оружия и сейчас подумал об этом, пытаясь хоть как-то сориентироваться и понять, каким путем они идут. Он хорошо знал Холмск, по всей вероятности, пустынник кружил где-то в черте старого центра, и, однако, когда начался подъем, Петров понял, что из центра они давно уже вышли и теперь поднимаются к Крепостному холму, к городищу, как называли его старые жители. Это была пустынная, полуразрушенная часть Холмска, кое-где с остатками старых крепостных стен, с несколькими церквами и колокольнями, с редкими вековыми деревьями, которые по весне густо покрывались галдящими грачами, с приткнувшимся сбоку к крепостным сооружениям бывшим женским монастырем с многочислен-

ными кельями, трапезными и прочими монастырскими строениями.

Слегка покачиваясь, пустынник легко, словно это не стоило ему никаких усилий, поднимался все выше и выше и остановился наконец почти на самой вершине холма, ветер рвал у него полы сюртука. Петров, не привыкший к такой быстрой ходьбе, совсем задохнулся; в это время где-то высоко послышались птичья возня и гомон, и Петров невольно покосился во тьму.

— Вóроны... вóроны... Слава господу, пришли,— глухо пробормотал пустынник, а Петров, несколько освоившийся с темнотой, различил, что они стоят перед грудой развалин.

— Развалины святого храма божьей матери Холмской,— голос пустынника прерывался порывами ветра.— По твоему повелению разрушили для мощения центральной улицы Холмска. Под ноги, все под ноги, аки дикий кочевник... Спит голос духа, плоть лютует, ярится... Дивно, дивно стало жить в мире... вóроны... вóроны, одни вóроны в небе...

— Когда же это случилось? — угрюмо спросил Петров, плотнее запахивая настывшее пальто и чувствуя текучий озноб в душе; мрак, висевший над городом, над Крепостным холмом, физически давил, почти нечем стало дышать.

— Недели полторы тому,— глухо, словно сквозь забившую уши вату, дошел до него голос пустынника.—Камня потребовалось малость, уж и возить перестали... а народ с храма камень не берет, у народа душа крещеная.

Последние слова пустынника особенно неприятно поразили Петрова, он действительно ничего не знал, что, впрочем, теперь уже не имело никакого значения; за все, что происходило и происходит в Холмске, отвечает он, и перекладывать с себя вину и обвинять кого бы то ни было смешно и наивно.

— Возможно, церковь-то никакой исторической ценности не представляла? — подумал он вслух все так же угрюмо, с ширившейся в душе пустотой.— Сколько их поналепили на земле...

— Не кощунствуй! На этом месте камни святы! Склони ухо... вопиют! вопиют! — поспешил остановить его пустынник.— Что ты говоришь, что ты говоришь! Человек хоть в праздники должен в согласии со своей природой быть. Храм божий сиял лучезарно во тьме

и пороках,— пустынник простер было руку в сторону развалин, но тотчас бессильно уронил ее, стал слепо и бережно ощупывать какую-то бесформенную глыбу.—Звонница в храме сем заложена была еще основателем Холмска князем Всеволодом Святым Холмским до монгольского разорения... Работа чу́дная, византийских мастеров... Здесь, в храмовых подземельях, захоронены холмские князья, великие ратные люди. Во́роны... во́роны! Все в грязь, все под ноги.— Голос пустынника пресекся, и он некоторое время пытался справиться с обессиливающей слабостью тела, затем снова заговорил; он не грозил, не требовал, лишь тихо, горестно размышлял сам с собою о том, чего не мог понять и что его беспредельно мучило.

Ударил особо сильный порыв ветра, загудел, заныл в развалинах; пустынник захлебнулся, жалко закашлялся и словно совсем забыл о Петрове.

— Красоту-то какую все под ноги, под ноги,— бормотал он вперемежку с кашлем.— Камень огнем возьмется... Во́роны, во́роны... Нет народа без пророков. Во лжи будет приходить человек на свет, во лжи уходить в конце дней своих... не коснется уха слово истины... Вижу, вижу... в самом зачатии пророки ослеплены, обезъязычены... Зрю... распяты на крестах огненных... во́роны, во́роны... Горе вам, обуянные гордыней адовой... струпьями души вернется содеянное... пожрут сыновья отцов... жены рыщут волчицами... Господь всемогущий, господь вседержитель, даруй прощение, в слепоте души сие... по дьявольскому наущению сие...

Петров не мешал старику молиться, не вслушиваясь больше в его несвязное бормотание, он думал о своем; кончалась ночь, край неба на востоке набух рыхлой, едва проступавшей серостью, ветер становился острее и резче; здесь, на вершине холма, негде было укрыться от его резких, пронизывающих порывов. С трудом удерживаясь на ногах, пряча лицо в поднятый воротник, Петров, встречая уже прорезавшееся утро нового дня, на время как бы отошел и от пустынника, и от его тоски, и от всех остальных неотложных своих дел и обязанностей; возвышавшийся над городом Крепостной холм, смутно проступая в предрассветной тьме развалинами, был наполнен гулом, каким-то скрытым движением. Очевидно, от этого желание безрассудства ударило в голову, прошило огнем. Поче-

му именно здесь, под рваными тучами, на холме у этих развалин, прорвалось то, о чем он никогда не разрешал себе думать? Была работа, работа, работа, только работа, были четкие задачи и цели, и вот одна нелепая ночь, одна случайная встреча — и прорвалось то, чего он никогда в себе не подозревал. Что-то стронулось, что-то сместилось в его мире; если была жестокость, то она была определена высшими целями, но оказывается, что есть еще история народа, смысл и гармония вечной красоты, и она не укладывалась ни в какие определения и законы, она словно изначально была заложена в основы его души и вот теперь дала себя знать, но сколько раз прежде он не обращал на это внимания. Почему?

— Пойдем,— позвал пустынник, и Петров не колеблясь, будто между ними уже установилась какая-то внутренняя связь, шагнул следом, и минут пятнадцать они молча пробирались через мертвые беспорядочные груды камня.

Протиснувшись через какой-то завал, пустынник нырнул под искореженные взрывом железные скрепы, словно под арку, Петров ощупью следовал за ним. Загремело; тяжело дыша, пустынник стал отваливать камни, и Петров понял, что он расчищает вход в подземелье; почувствовался текущий навстречу холодный, застоявшийся в сырости воздух. С трудом сдвинув в сторону еще одну глыбу намертво запекшегося в старинном растворе кирпича, пустынник нажал плечом на невысокую, кованную железом тяжелую дверь, и она с ржавым скрипом поддалась; ток пропитанного запахами тления воздуха, сырости, плесени усилился. Пустынник обернулся к Петрову, указывая на подземную щель, и тот шагнул за ним в непроницаемую тьму. Где-то совсем рядом чиркнула спичка, и Петров увидел пустынника, зажигавшего свечу, услышал легкое потрескивание загоревшегося фитиля; смутные, бесформенные тени зашевелились в сводчатом, низком проходе, выложенном старинным плоским кирпичом. Пустынник отдал горевшую свечу Петрову, зажег себе вторую и, коротко кивнув, снова двинулся по какой-то сложной системе подземных переходов, то поднимаясь вверх, то спускаясь глубоко вниз, сгибаясь при этом почти вполовину; Петров ни о чем не спрашивал, лишь старался не отставать от него.

Наконец они оказались в сводчатом низком зале, и Петров понял, что это центральное помещение под-

земного лабиринта бывшего храма; свет горевших свечей не пересиливал тьму в его углах. Тяжело дыша, с густо выступившим пóтом на лбу, пустынник устало привалился к каменной переборке, сосредоточенно думая о чем-то своем; высоко подняв свечу, Петров внимательно пригляделся. У одной из стен он увидел возвышающиеся над полом плиты; покрытые затейливой, затекшей старинной славянской вязью — кириллицей, они словно бы размягчились от сырости и времени; Петров напрасно старался хоть что-либо разобрать и только беспомощно щурился сквозь очки.

— Захоронение первых холмских князей, основавших и построивших сей град... Тут вот святые отцы — пустынники Федор Зежский и Данила Холмский. На их мощах основан сей храм еще до монгольского разорения. Велик был бой за холмскую крепость... Гляди сюда, вот плита, под ней прах Холмского Всеволода... пал в этой сече... Пал, но меча из рук не выпустил. Здесь он захоронен, монголы не ступили на этот святой холм... Века, века не коснулись...

Голос пустынника гулко отдавался под сводами; об этих подземельях под Крепостным холмом Петров не только не знал, но даже никогда и не слышал; начался раздирающий грудь пустынника новый приступ кашля, отчего свеча у него в руке заплясала, зачадила и словно метнулись по подземелью древние встревоженные тени.

— Почему же ты раньше не пришел, старик? — спросил Петров с огорчением и досадой, но пустынник уже был занят каким-то пергаментным, почти коричневым свитком и ничего не ответил.

Они наконец остановились в одном из углов подземелья, у каменного, с ползущей по нему сыростью, длинного ларя; эта часть подземелья была беспорядочно уставлена иконами в дорогих окладах, церковной утварью, серебряными чашами, кадилами и кадильницами, дароносицами, подсвечниками, ковчегами, завалена полураспавшимися от ветхости ризами, старинными книгами в попорченных кожаных и сафьяновых переплетах, украшенных дорогими камнями.

Петров поднял повыше свечу; и тотчас вспыхнули, ринулись к нему со всех сторон острые, пронизывающие лучи, глубины подземелья таинственно заструились, замерцали, он неуверенно притронулся к гладкой настывшей поверхности аналоя старой работы,

с инкрустациями из золота и слоновой кости, осторожно ступая между вещами, остановился у темных, византийского письма, икон, стараясь разобрать в неверном пламени свечи затейливую, почти стершуюся вязь; на многих иконах от долгой сырости краски начали шелушиться и отставать.

— Гляди... гляди. Тут есть иконы письма чудного,— раздался откуда-то из темноты голос пустынника.— Именитые мастера русские гибнут... гибнут, освященные духом господним были... Гибнет красота... вóроны... вóроны... От преосвященного в восемнадцатый год приходили... взял грех на душу, отказался...«Ничего не знаю, говорю, не слыхал, какие там тайные похоронки...» Еще раз приходили... повел в подземелье... Ничего не нашли... Проход в нужном месте каменной глыбой завалил... Ничего не нашли! — опять в голосе пустынника прозвучала затаенная, больная гордость.

Разглядывая стертую временем надпись на черной продолговатой доске без оклада, Петров не оглянулся.

— А теперь берите! Все берите! — Низкие своды раздробили окрепший голос пустынника по всему подземелью.— Пока стоял храм, было сохранно... а теперь льет сверху... Все в запустении... в тлене. В скрыне-то старинные свитки... Сколько их перебелил, уберегал от гибели в годы сидения. Мудрые, славные дела означены... А теперь все сотлело, все обратилось в прах... Бери, здесь собраны богатства не из одного храма за сотни лет, я, жалкий червь, один знал о них... как пес безъязыкий... вот уже лет не помню, время помутилось... Братья мои по вере... оставили... кто умер... кто отступился... Не стало больше божьего храма, не нужно ничего... все прах! все тлен! пусть гибнет все! — Словно сам пораженный кощунственной силой своих слов, пустынник отшатнулся, невольно прикрывая лицо рукавом.— Господи, прости,— услышал Петров его хриплый шепот,— все в твоей деснице... истинное сохранится во тьме...

Нетвердыми шагами подобравшись к груде икон, пустынник дрожащими руками выхватил из нее небольшой образ в дорогом, засверкавшем тысячами ярких искр окладе, завернул в тряпицу, прижал к себе.

— Отрясаю прах с ног своих! — Голос пустынника был едва слышен, и не было в нем ни обиды, ни гнева, одна только боль.— Матерь Божья Холмская! Заступ-

ница! Приплыла ты сюда по течению вод, на этом месте не слышалось голоса человеческого... лишь был шум дерев... да рык зверя. Не узрят тебя очи поганых осквернителей! Укажи путь из тьмы кромешной... благослови, пречистая...

Крепко прижимая к себе икону, пустынник невидящим взглядом уставился на одинокое пламя свечи и тяжелым, горячим выдохом погасил ее. И словно растворился, исчез. Мертвая, давящая тишина, сквозь которую не проникал ни один даже случайный звук, стояла теперь в подземелье; Петров был даже рад своему одиночеству, ему необходимо было остаться одному. Он почувствовал устремленные на себя чьи-то глаза и, решив, что это вернулся пустынник, высоко поднял свечу над головой; взгляд его выхватил из груды икон темную, в человеческий рост доску с неразборчивым ликом; упорные, очень старые глаза, казалось, проникали в самую душу. Петров, не поверив, подошел ближе, глаза святого еще шире раскрылись ему навстречу. От их холодного, бесстрастного и в то же время неистового вопроса он задумался; может быть, теперь только, отметая шелуху истерических слов пустынника, он понял самую суть случившегося. Он сейчас даже не понял, а как-то почувствовал, что это были не напрасные слова, это была цена крови, цена жизней многих и многих поколений; не для того ли приходит на землю человек, чтобы оставить после себя вот эти неистовые, неумирающие глаза, пробивающиеся, казалось, из самой души дерева и какой-то тихой, радостной болью пронизывающие сейчас все его существо, подумал он растерянно и беспомощно. И разве человек бездушная скотина, чтобы прийти на землю только для праздника плоти? Чем-то должны ведь скрепляться времена и бесчисленные вереницы людей и поколений? Да, можно не заметить эти вопрошающие о чем-то из своего далека глаза... ну, и что дальше? Дальше-то, дальше что? А мы, мы сами сможем ли породить такой мощный дух, такую красоту? Полно, одним поколением такого не сработаешь...

Перед этими неистовыми глазами, призывающими к ответу, Петров на какое-то время ощутил себя ненужным, беспомощным, его жизнь с беспощадной ясностью представилась всего лишь одним мигом, короткой вспышкой, едва осветившей пространство вокруг... Он понял, как *можно* стать пустынником,

отказаться от людей, во имя такой красоты... можно, и сейчас ему не хотелось бы определять свое место в жизни, потому что помимо его воли место пустынника было определено раньше и не подлежало смещению или переоценке; это была та самая, пусть насильственная, духовная первооснова народа, к которому принадлежал и он сам, Петров. Вот и закровоточила давно засохшая пуповина...

Горячая струйка расплавленного воска пролилась ему на руки, и он, вздрогнув, подумал, что совсем утратил ощущение времени. Сырость начинала проникать к телу, напрягая память и внимание, медленно, стараясь ничего не зацепить и не повредить, он двинулся вперед, и тотчас, словно из стены, появился пустынник, пробормотал что-то в ответ на слова Петрова и быстро смутной тенью заскользил впереди; Петров несколько раз негромко окликнул его, но все было напрасно; теперь Петрову казалось, что он не успевает узнать чего-то самого главного в жизни, что он сам в этом виноват, потому что не смог в самый ответственный момент заставить себя побороть усталость; нужно было как-то иначе отнестись к этому странному человеку, идущему впереди, а он не смог, чего-то единственно верного не нашел, не хватало сил, душевной щедрости, а говорить об этом сейчас — поздно, бесполезно. И откуда этот все время преследующий его запах свежих грибов?

Спустя полчаса Петров обессиленно сидел на груде битого кирпича, с наслаждением подставляя лицо свежему ветру; пустынника нигде не было, в последнюю минуту он словно растаял в воздухе или провалился куда под землю. С Крепостного холма далеко был виден раскинувшийся внизу город, дымы заводских труб, ползущий по реке пароходик. Ему послышался голос пустынника, и он невольно привстал, но это по-прежнему был лишь ветер в развалинах. Петров поежился, вместе с пустынником в его жизнь вошла неясная горечь, и от нее ему, пожалуй, не скоро суждено избавиться; но это было как раз то, чего ему не хватало и к чему он бессознательно стремился. Он все еще находился во власти подземелья и его снов, призывный языческий зов прошлого все еще звучал в нем, и он никак не мог заставить себя двинуться с места; резкая утренняя промозглость наконец подняла его на ноги. Город, хмурый, равнодушный, по-преж-

нему простирался перед ним, река все так же однотонно по-осеннему морщилась под осенним ветром...

Усилием воли он стряхнул с себя оцепенение и стал выбираться из развалин.

Рассвело; пустынник Иероним, слепо продираясь сквозь густой орешник на опушке, вышел из леса; солнце вот-вот должно было показаться, и над раскинувшимся во все стороны холмистым полем дрожал неясный, таинственный полусвет, все виделось еще призрачно и расплывчато.

Пустыннику Иерониму нездоровилось, всю оставшуюся ночь он шел больше наугад и ближе к утру понял, что окончательно сбился с дороги. Голова горела, глаза все чаще застилала мутная пелена. Деревья кончились, ударили копья первых солнечных лучей, и пустынник Иероним, прикрыв лицо ладонью, в полубреду творя молитву, опустился на землю. Он сразу ощутил телом глубокое, спокойное тепло земли и забылся коротким горячечным сном, но ненадолго; каждый раз бред начинался с размытого, неясного лица Петрова, и пустынник Иероним даже в бреду мучился и страдал от присутствия этого постороннего и не нужного ему сейчас человека. И когда это присутствие становилось невыносимым, пустынника словно кто заботливо погружал в спасительную черноту, затем на короткое время он опять приходил в себя, и все так же ровно пригревало солнце и мягко расстилалось вокруг него убранное ржаное поле, и небо голубело, не слепя и не утомляя воспаленных глаз. Лишь однажды ему почудилась склонившаяся над ним детская головка, она заслонила на миг бесконечную синеву неба, пустынник Иероним застонал, снова рухнув в черный провал.

Потом грудь отпустило, и ему послышалось невдалеке стройное пение; он с радостным усилием поднялся и пошел, навстречу ему пахнуло сладким дымом ладана, нагретым теплом множества горящих свечей. Высокие, кованые, торжественно сияющие позолотой врата были распахнуты. В храме шла молитва, гудел голос дьякона, и согласные хоры вторили течению молебна; пустынник вошел, языки пламени множества горящих свечей словно склонились к нему в едином порыве; не останавливаясь, следуя той силе,

что безостановочно вела его куда-то, он шел сквозь расступившуюся толпу молящихся.

В то же время с ним рядом находилась какая-то девочка лет шести в ситцевом платьице, она то и дело испуганно дергала его за рукав и звала тоненьким голоском; пустынник Иероним с досадою отворачивался, торопясь к неведомому источнику своего беспокойства.

— Дедушка, а дедушка, ты помер? Подожди, дедушка, не помирай, я мамку позову,— услышал он опять тот же жалобный детский голосок, но разлепить горячечные веки не смог; ему некогда было отвлекаться на случайные пустяки, потому что потаенным чувством он уже обозначил где-то совсем близко конечную цель. Какой-то сжигающий огонь наполнял его жилы, сердце подвигалось и отвердело. «Что, что я должен свершить, господи?» — вопросил он душой, и тотчас стена перед ним расступилась, и чей-то повелительный голос: «Иди!» — раздался в нем, и он бестрепетно шагнул в разверзшийся в бревенчатой крепкой стене проход и увидел перед собой святого Сергия Радонежского; трепетное бледное сияние исходило от лица и белых одежд святого, и дивны были его глаза, как бы вобравшие в себя всю пронзительность и надежду мира.

— Подойди, подойди, инок Пересвет! — снова властно потребовал Сергий, и пустынник Иероним оглянулся; кроме него, никого поблизости больше не было, святой Сергий все так же призывно и властно взирал на него. «Да это же он меня!» — ахнул пустынник, чувствуя, что слабое, тщедушное тело его наливается силой, что весь он как бы стал много выше ростом, грудь раздалась и одет он поверх монашеской грубой власяницы в длинную, чуть ли не до колен, кольчугу. Он подошел к святому, преклонил колени, приложился к кресту и руке святого Сергия; кожа у святого была прохладной, чисто вымытой и сухой, и точно вся прежняя жизнь развеялась и памяти о ней не стало. И гневная сила мертво стиснула и без того угрюмое сердце инока Пересвета, брянского боярина, давно уже искавшего достойный выход гневному на поганых татар своему сердцу; очи святого Сергия были устремлены куда-то вдаль, не видели больше инока, а видели лишь кровавый, страшный закат над Непрядвой-рекой. «Скачи, отвези великому князю Московскому Димитрию мое благословение на великую сечу! — гремел

у него в сердце голос святого Сергия.— Указал спаситель от этой черты поворот *Русской* земли, и быть перед сечей *знамению* господню!»

Инок Пересвет смиренно опустил голову.

— Отец святой,— попросил он,— у тебя вещее сердце! Яви же и мою судьбу, дабы сердце укрепилось в одном подвиге!

Ничего не сказал святой Сергий, сумрак заклубился у него в глазах, он лишь поднял над Пересветом и слегка наклонил старую икону богоматери Одигитрии, и больше его инок Пересвет не видел, а увидел он себя уже в несметной массе переходящих через Дон русских войск; берега, низины, кусты и травы укрывал густой туман в это раннее сентябрьское утро; еле-еле начинал шевелить предрассветное томление западный ветерок, и через Дон перекатывались все новые и новые волны русского воинства, пешие и конные, тускло сияли щиты и доспехи, на шеломах горели красные перья. Выбравшись на берег и успокаивая своего коня, оправляя на нем сбрую, Пересвет поднялся повыше; отсюда он увидел Дон, шевелившийся в обе стороны, насколько глаз хватал, массами русских войск; и сердце его охватила гордость; еще никогда не собирала Русская земля такого воинства, и никогда она не была так едина в своем порыве. Он глядел, как выходят на левый берег Дона все новые и новые русские полки и дружины, и сердце его веселилось, потому что вчера, после того, как они с Ослябей отдали великому князю Московскому Димитрию письмо с благословением на сечу от святителя Сергия, сердце князя зело укрепилось и возвысилось. Благословляя еще и еще раз в душе и великого князя, и все русское воинство, пешее и конное, Пересвет вспоминал, как ночью они в свите великого князя уже тайком перескакивали Дон и как воевода князь Димитрий Волынец, муж многоопытный в ратном деле, сойдя с коня на равном расстоянии между русским и татарским станами, долго прикладывал ухо к земле, а потом, вставши, говорил, что тяжким стоном полна земля от завтрашней битвы и от тоски по тем убиенным, что лягут завтра в землю, и что это хорошая примета и быть победе.

Священновоитель Пересвет тоже сошел с коня и припал к земле, и тотчас земля словно притянула его к себе; действительно, как живая, стонала и волновалась самая утроба земли, и хищные птицы слетались

и бесшумно рассаживались во тьме по вершинам вековых дубов; Пересвет силой святого прозрения слышал их лёт, ибо они стремились к Куликову полю со всех окрестных мест и их бесшумные тени густо закрывали небо. Сердце Пересвета отяжелело; да, быть завтра битве, какой еще не видала Русская земля. На это есть знак божий, сеча возвестит славу и единение русского оружия и веры Христовой.

А из-за Дона накатывались все новые дружины и полки и тут же, по повелению князя Волынского, окончательно устраивались в назначенном для них месте. Отслужен был молебен в честь Рождества Богородицы, выпавший на этот страшный день *восьмого сентября*, еще раз укрепление сошло в душу инока Пересвета, и он окинул взором войско, занявшее на левом берегу Непрядвы и Дона пространство в несколько верст, всю эту массу вятичей, и кривичей, и радимичей, и суздальских, и полоцких, и брянских, и новгородских людей, в самом центре которого тяжелым, литым ядром стояли под своими знаменами московские полки. «Хоругви аки живы пашутся, шеломы же на глазах их аки утренняя заря,— подумал он в сознании пресветлой и огненной минуты,— доспехи же аки вода сильно колеблюща; славицы же шеломов их, аки полымя огненное, пашутся, развеваемые ветром».

Тут великий князь Московский Димитрий сошел с коня, стал на колени и в последний раз стал молиться о победе, не отрывая взгляда от золотого лика Спасителя на черном великокняжеском знамени. Часу в одиннадцатом полки двинулись к Красному холму, опоясанному у подножия по долгому, пологому его скату и по речке Смолке необозримой силой монгольских войск; а саму вершину Красного холма венчал золотой шатер хана Мамая. Ордынцы не ожидали столь решительного действия русских войск, и когда загремели боевые трубы наступающих и сами они показались в грозных, плотно движущихся полках, занявших всю ширину поля, ордынцы тоже с поспешными криками бросили котлы и обед и стали выступать из стана, и сразу стало видно, что тесно им на этом поле и негде развернуться в полную мощь для битвы; сжимали с двух сторон Куликово поле дремучие леса. Великий князь Московский Димитрий, поставив под великокняжеское знамя своего любимого боя-

рина Михаила Александровича Бренока, сам поскакал в передовой полк сражаться наравне со всеми в первых рядах. И Пересвет, державшийся по повелению святого Сергия и по внутреннему наущению ближе к великому князю (а был он муж силы великой и яростной), перед тем, как враждующим воинствам окончательно сойтись вплотную, зычно, в нараставшем татарском визге и обвальном гуле копыт крикнул своему другу и товарищу иноку Андрею Ослябе тоже держаться великого князя, устроителя, и воителя, и надежды всей Русской земли; и в тот же момент было *небесное знамение*. В небе над стыком Непрядвы и Дона позади русских полков прорезался лик Богородицы со вскинутыми, благословляющими руками, и дивны были ее скорбные глаза, и дивный свет шел от ее лика. Многие чистые сердцем увидели этот *знак*, увидел его и Пересвет, душа его преисполнилась восторга и благодати, и тогда русские полки с новой силой двинулись на татар, и скоро при громовых кликах войск началась невиданная сеча, в ней смешались конные и пешие; и земля от тяжести столкнувшихся войск словно подвиглась и застонала; от звона мечей, копий, и кольчуг, и конского топота и ржания, и яростных воплей раненых и умирающих содрогнулось и возмутилось само небо, и испуганные вóроны, слетевшиеся со всех окрестных земель, густыми, рваными тучами поднялись с дубрав, чтобы отлететь дальше.

Великий князь Димитрий в одеянии простого ратника схватился с татарским ханом Тюлюбеком, поверг его и тут же понесся к середине полков, где битва достигала небывалой свирепости, а Пересвет заступил место великого князя в передовом полку и увидел, как татарский богатырь Челубей разит русское воинство и перед собою, и в обе стороны; и возроптала у Пересвета душа, ожесточилась, и ринулся он на бой с Челубеем, и понеслись они навстречу один другому, ибо сразу узрели друг в друге достойных соперников. Был это один лишь миг кровавой битвы, но священновоитель Пересвет, пока мчался наперерез Челубею, успел окинуть духовным взором все Куликово поле, и оттого, что было в душе у него дивное прозрение, он знал, что умрет и что *Русская земля* благословляет его на подвиг и смерть.

По всему пространному Куликову полю из края в край лилась кровь и люди умирали, а Пересвет видел

только одного Челубея, узкие его глаза, вздернутые к вискам под длинной шапкою, и нацеленное копье. Наскакав друг на друга, они враз ударили тяжелыми копьями, и оба упали мертвыми, и, падая, Пересвет увидел жаркое солнце, и сердце его онемело. Он все еще словно скакал с копьем в руках вперед и вперед, к Красному холму, к самой его вершине, где желтел ханский шатер Мамая, откуда хан с возрастающей тревогой, топоча в ярости бессильными от подагры ногами, следил за ходом неисчислимого побоища. Но и в мыслях своих Пересвет не доскакал до вершины Красного холма и повергся на землю, сердце в нем окончательно замедлилось, и тьма закрыла ему глаза.

Но и тут было чудо, он был убит, но все видел и все знал; и как крепко сступились вои, и как от тяжких их ударов стонали и долы, и холмы, трескались копья, звенели доспехи, дробились щиты, разили секиры, гремели мечи и блистали сабли, и как ударил на ордынцев в последний, решающий момент запасный конный полк с князьями Серпуховским да Волынским во главе, и как дрогнули и побежали ордынцы от их неожиданного натиска. И как потом пришла после побоища сырая ночь, и Куликово поле из конца в конец стонало и шевелилось, и в тоскливом страхе от множества мертвых и раненых и запаха свежей крови выли в чащобах дикие звери, и как от одного русского города к другому уже летела весть о великой беде, потому что потом целых восемь нескончаемых дней оставшиеся в живых будут собирать и предавать земле тела погибших в этом ратном стоянии, и над их захоронением вознесется церковь *Рождества Богородицы* из крепкого дуба, и положит эта церковь начало знаменитой русской *Родительской субботе* — дню всеобщего поминовения предков. И жгучий плач, и светлая, горькая радость потекут по Русской земле одной дорогой, одной рекой.

И еще чуднее, что инок Пересвет будет помнить и то, как его тело положат в дубовую колоду, так же, как и тело убиенного его друга инока Андрея Осляби, и как их повезут долгой дорогой в Москву и захоронят в Симоновской обители, и как сам святой Сергий при несметном стечении народа московского будет служить по ним панихиду... Все это будет знать и слышать Пересвет, и только потом память его угаснет.

Работы по спасению обнаруженных в церковных подземельях сокровищ на Крепостном холме закончились, и были составлены тщательные описи обнаруженного; с неподвижным и отрешенным лицом слушая объяснения полнокровного, широкоплечего Лутакова, председателя Холмского горисполкома, Петров думал, что тот, появляясь где-нибудь, обладал редкой способностью сразу заполнять собой и своим голосом все помещение и даже близлежащие коридоры, но вот сегодня он словно уменьшился в размере и говорил необычно тихо.

— Конечно, ужасная ошибка, Константин Леонтьевич,— разводил Лутаков руками, беспокойно пытаясь поймать взгляд Петрова.— Под землей ничего не видно... что делать... Притом горсовет вынес решение замостить площадь Коммунаров для проведения революционных праздников... Что вы? Что с вами, Константин Леонтьевич?

— Прошу вас сюда,— сказал Петров, быстро подходя к боковому столику и сдергивая с него газету, прикрывавшую какой-то небольшой, плоский предмет.

— Икона,— удивленно пожал плечами Лутаков и опять поднял глаза на Петрова.

— Сколько это, по-вашему, стоит? — спросил Петров, невольно любуясь необычайно тонкой работы золотым окладом, почти сплошь усеянным крупным, неокатанным жемчугом, с тремя влажно мерцающими, больше грецкого ореха, сапфирами в венце.

— Откуда это у вас? — осторожно поинтересовался Лутаков, выигрывая время для ответа.

— Это? Комсомольцы недавно натолкнулись недалеко от Холмска, в Горохове... Идет девочка, несет икону. Объясняет, что какой-то дедушка отдал, наказал передать матери, а сам в поле лежать остался... Дедушку не нашли, а икона — вот она...— Петров опять осторожно накрыл икону газетой, вернулся к столу, сел.— Ну, так что же это, по-вашему?

— Наверное, дорогая штука, Константин Леонтьевич,— подал наконец голос Лутаков.— Если золото с камнями ободрать...

— Молчите,— словно наткнувшись на невидимое препятствие, торопливо приказал Петров.— Молчите, пожалуйста... Страшно не то, что вы можете сотворить, что вы сотворили по невежеству, по неведению, страшно то, что вы хотите свое невежество возвести в норму жизни. У вас надо отнять партбилет, Лутаков, в таких

руках, как ваши, революция превращается в вандализм. Идите, идите, пожалуйста...

Никогда раньше ни Лутаков, ни другие не видели Петрова в таком тихом, упорном бешенстве, как в этот день, и сейчас, через два добрых десятка лет, Брюханов, сидя на шаткой, неровной скамейке и ожидая шофера, уехавшего заправиться в соседнюю МТС, перебирал в памяти все, что он узнал из тетрадей Петрова; вновь и вновь возвращаясь к чему-то самому сокровенному в себе, никак не мог нащупать ничего конкретного; невидяще глядя перед собой, он продолжал думать о Петрове, стараясь припомнить все самые мельчайшие подробности из общения с ним, ведь именно тот самый Лутаков все эти годы успешно продвигался по службе, был на виду, работал сейчас председателем Холмского облисполкома и считался одним из самых перспективных работников... В свое время Петров с не присущей ему жестокостью провел решение об исключении из партии и снятии с работы за вандализм, как он выразился, ряда работников Холмского горсовета, и даже, помнится, областная газета опубликовала это решение губкома партии. Но дело пошло в Москву, всех исключенных восстановили, разослали работать за пределы Холмской области, а у Петрова по этому поводу были крупные неприятности. Все, о чем Брюханов узнал из тетрадок, оказывается, так или иначе уже было ему известно; непонятно, что же заставляло его сейчас испытывать такое сильное, глубокое волнение. Он попытался сосредоточиться. Столько шуму из-за церкви, подумал он, пусть даже очень старой... И в чем такая уж вина Лутакова? Откуда ему, в самом деле, должно было быть все известно? Брюханов вспомнил, что совсем недавно, после того, как из эвакуации вернулись и были экспонированы фонды Холмского исторического музея в отреставрированном здании, он в числе других был приглашен на открытие и видел эту икону Холмской Богоматери под специальным пуленепробиваемым стеклом и долго с интересом стоял перед нею. Вот тогда к нему и подошел Лутаков, и он искоса, с понятным любопытством взглянул на него.

— Нравится? — коротко спросил он, и Лутаков, помедлив, кивнул.

— Молоды мы когда-то были,— сказал Лутаков тихо.— Хотели горы перевернуть, а как это сделать, мало смыслили...

Брюханов не стал вдаваться в подробности; он был даже несколько недоволен, что Лутаков признавал свою вину, он подумал о том, что время и обстоятельства диктуют свои законы и что Лутаков тогда, возможно, оказался к жизни ближе, чем Петров. Потом он перечитывал его письмо к самому себе и долго листал тетрадки. И опять в нем что-то восставало против. «Всегда ли знание является спасением против незнания, варварства,— думал он беспокойно,— ведь отжившее неумолимо сменяется, хорошие дороги и мощеная площадь оказались на какой-то момент нужнее старых церквей и графских особняков, и этого процесса ни Петров, ни пустынник Иероним, переживший свое время, вера в котором была сильнее разума, и никто третий остановить не могли, и при этом издержки неизбежны,— но вот теперь, ожидая машину, он понимал, что с его стороны это были достаточно зыбкие логические построения, а он добивался и хотел только одного, подтверждения своей правоты.— Разумеется, прав Петров; легче всего растоптать красоту, забросать грязью Пушкина и Достоевского, перестать тянуться к их духовной мощи, чтобы оттуда идти дальше, гораздо легче опуститься на много ступеней вниз, в невежество, в бездуховность жадных, здоровых варваров. И дело даже не в Петрове, не в пустыннике Иерониме и даже не в нем самом». Ему сейчас нужно было нащупать и укрепиться в одном: в полезности и необходимости того, что ему ежедневно, ежечасно приходилось делать. Прошедший день вновь протек перед ним, медленно, час за часом, от одной встречи к другой. Предчувствие истины коснулось его: ему казалось, что сейчас он лучше узнал, в чем лично его, Брюханова, общность со своим народом.

Свернув с неровной земляной, в глубоких выбоинах, дороги, осторожно подкатила машина, и Брюханов, бросив потухшую папиросу в ящик с песком, встал и направился к ней.

14

Ни Чубарев, ни Брюханов не знали точной причины их неожиданного и срочного вызова в Москву и были неразговорчивы; после чая, принесенного опрятной, улыбчивой проводницей, вскоре быстро усну-

ли, и только утром, уже перед самой Москвой, Чубарев шумно вздохнул, заворочался.

— Не нравится мне эта гонка,— сказал он, хмурясь и поглядывая на чистенькие подмосковные платформы.— По всему видать, быть раздолбону, а, Тихон Иванович?

— Как обстоит с последним двигателем Шилова, Олег Максимович? С Муравьевым, как мне известно, у него непрерывные баталии шли...

— Вы думаете, в этом причина? Не-ет, мне кажется, что-то другое. Шилов улетел две недели назад довольный, доводка прошла успешно... очень успешно... Здесь срыва не может быть, за это я ручаюсь.

— Так, понятно... Собираться будем? — спросил Брюханов, прислушиваясь к мягкому перестуку колес.

— Можно, все равно не спится, пожалуй, солнышко вот-вот покажется.— Чубарев приподнял край занавески, выглянул в окно.— Так и есть, совсем рассвело.

Пока одевались, брились и умывались, они молчали, затем Чубарев опять с не свойственной ему озабоченностью посетовал, что, чует сердце, быть какой-нибудь неожиданности; Брюханов от этого рассмеялся.

— Поди угадай, быть, не быть,— сказал он.— Лучше не думать, скоро узнаем.

— Мудро, мудро, Тихон Иванович... Ведь сказано: тьма и река времен,— изрек философски Чубарев и, шевеля губами, все пытался прочесть какое-то проносящееся мимо название станции, не смог и опустил занавеску.

— Не в первый раз, будем надеяться, что и не в последний, пора и привыкнуть,— Брюханов хотел добавить что-то еще, что-то примирительное, но промолчал, вспомнив нечто известное ему одному. Кто-то не раз уже отправлял на него, как любили выражаться доморощенные остряки, «телегу» в самые высокие инстанции, правда, многократно оглядываясь и понижая голос до шепота, доверху нагружая это полезнейшее и древнее сооружение всеми существующими и несуществующими грехами, а главное — нешутейной мыслью, что-де он, Брюханов, заигрывает с народом в «буржуазный либерализм» и посему область вот уже второй год не выполняет хлебопоставок. Рука, направляющая «телегу» за «телегой», была, без сомнения, опытная и расчетливая, и, видимо, очередное бумажное сооружение и без фактических колес достигло цели.

Вспомнив лицо приезжавшего из Москвы товарища, его слова: «Ты, Тихон Иванович, присмотрелся бы, кто это тебя так горячо да нежно любит», Брюханов еще больше нахмурился, тем более что с месяц назад он сам направил в ЦК еще одну докладную записку, в которой веско, аргументированно, стараясь начисто вытравить всяческие эмоции, сообщал, что область не в силах выполнить план хлебозаготовок в этом году и что, полностью осознавая собственную ответственность перед партией на вверенном ему участке работы, он обязан информировать ЦК о реальном положении вещей и о необходимых, по его мнению, мерах. Никто об этой записке не знал, даже специалисты, готовившие ему данные, но пока никакого ответа он не получил, а если когда-либо получит, то результатов можно ждать любых, даже самых неожиданных. Тут он заметил, что мысль его вновь вторглась в запретную зону: а не связаны ли каким-нибудь образом и этот срочный вызов в Москву, и то, что он решился на довольно рискованную докладную в ЦК от своего имени, с бумагами покойного Петрова, а следовательно, хочешь ты этого или не хочешь, и с самим Сталиным; ведь в орбиту судьбы этого человека было втянуто, разумеется, по той или иной причине бесчисленное множество отдельных человеческих судеб, но одно дело — работать себе где-нибудь в отдалении на заводе или в колхозе, варить металл или сеять хлеб, подписывать коллективные благодарственные письма тому же Сталину и оставаться ему неизвестным, и совсем другое — оказаться вдруг непосредственно в сфере притяжения его личности, его характера, его замыслов, а может быть, даже капризов...

Устраиваясь удобнее, Брюханов прикрыл глаза, стараясь переключиться на другое: Аленка составила целый список нужных ей книг, но вряд ли будет на это время; за последнее время она что-то очень изменилась, правда, кроме недавнего срыва, с ним оставалась ровна и приветлива по-прежнему, но временами она словно отсутствовала, лицо ее становилось сосредоточенным и нежным, как будто она боялась задуть свечу, едва теплившуюся где-то глубоко внутри нее. В эти минуты окружающий мир явно переставал существовать для нее, она не слышала ни воркотни Тимофеевны, ни лепета Ксении, ни вопросов, обращенных к ней, и, натыкаясь на его, Брюханова, взгляд, как на

неожиданное препятствие, с трудом выходила из своего оцепенения, и светлые глаза ее выражали недоумение и боль, она как будто с трудом узнавала знакомые лица и предметы; в такие минуты он старался не подходить, не обращаться к ней и брал все заботы по дому на себя. Эти ее перепады нельзя было объяснить ни перенапряжением, связанным с работой в клинике, ни отсутствием ребенка, как раньше. Девочка — прелесть, удивительно похожа на него и с каждым месяцем вносит в дом все бо́льшую радость... Аленка сама, начиная играть с дочерью, становилась похожей на нее, они словно уравнивались в возрасте, и возня их (иногда к ним присоединялся Николай) заполняла весь дом; но Аленка так же внезапно оставляла дочь и уходила в себя, и ее светлый, отсутствующий взгляд прятал в себе все ту же тайну и ожидание. Может быть, он зря слишком деликатничал, намеренно старался не замечать у нее ни приступов тоски, ни исступленных приступов веселости, переводя их отношения в обычный шутливо-насмешливый тон, но иногда и самого его охватывало безразличие, а то и глухое отчаяние. Сколько лет усилий и терпеливой нежности, и все-таки дом его был ненадежен, словно в поспешности был поставлен на зыбучем песке и каждую минуту мог начать разваливаться. Конечно, Аленка была ему верным товарищем все эти годы, и близость их была всегда радостью для обоих, но он-то всегда знал, что она только отвечает ему, и ее ровная нежность никогда его ни на минуту не обманывала. Вероятно, поэтому ему и хотелось иногда разорвать паутину этой устоявшейся шутливо-ласковой нежности, точно лаком покрывавшей все шероховатости их отношений, хотелось закричать ей в лицо, что он живой, живой, что ему невыносимо, что ему тоже больно! Куда лучше, если бы они просто ссорились до хрипоты, а потом мирились, как другие. Но так же отчетливо он понимал, что этим только ускорит развязку. И все-таки необходимо было что-то менять, нельзя было дать утвердиться вот этой их разобщенности. Но как, как? — не раз спрашивал он себя раньше, спросил и сейчас и тотчас подумал, что, видимо, так уж несправедливо устроена жизнь: один просто позволяет себя любить, раз и навсегда предоставляя другому завоевывать каждый час этой любви. Если же все гораздо проще и здесь всего лишь замешан кто-то третий, какое новое направление примет твоя философия?

От этой не новой в последние дни, невыносимой мысли Брюханов стиснул зубы, не отрываясь от мелькавших в окне вагона березок. Пусть так, все равно необходимо заставить себя додумать все до конца, этому он всегда учил Аленку; даже если он существует, этот третий,— Брюханов поднял руку, незаметно, делая вид, что поправляет галстук, помял горло,— ему не в чем упрекнуть ни себя, ни жену, она ведь тоже старается сберечь теплоту их отношений, и от него самого в этой ситуации многое зависит, а жизнь изменчива, и всякое еще может высветить...

С первых же шагов в Москве, включившись в привычную деловую суету, он отвлекся, боль и напряжение последних недель отпустили; после приезда их сразу же вызвали на совещание, и, добравшись до места с помощью вежливого провожатого в защитного цвета френче без погон, они увидели в большом, просторном помещении с высокими окнами четырех человек; стоя, они о чем-то разговаривали. И Брюханов, и Чубарев сразу увидели Сталина, и тот, повернув к ним голову, приветливо пошел навстречу, поздоровался, не отводя глаз, спросил, как доехали, как идут дела в области и на заводе, скоро ли вступит в производство испытательная лаборатория реактивных двигателей и как продвигается проект закрытого центра исследований. Чубарев тотчас пошел в наступление, и от Брюханова не укрылась мелькнувшая усмешка в лице Сталина, эти два человека, по-видимому, были в своих, особых отношениях, на них ни он, ни другие, очевидно, не имели права. Чубарев говорил легко и свободно, называя незнакомые Брюханову имена; Брюханов видел лицо Муравьева, недавнего директора Зежского моторного, и, пока Сталин с Чубаревым разговаривали, успел еще раз достаточно хорошо рассмотреть это длинное, с резкими продольными морщинами, знакомое лицо, редкие, обвисавшие по обеим сторонам губ усы; Муравьев был встревожен и напряженно прислушивался к тому, о чем говорили Сталин и Чубарев, в то же время сохраняя видимость интереса к своему собеседнику. У Брюханова с Муравьевым в свое время случались тяжелые столкновения, и он не стал задерживать внимание на поведении Муравьева; тот был ему неприятен, но Брюханов успел заметить на себе какой-то его беглый, убегающий взгляд и удивился; за несколько месяцев Муравьев как-то переме-

нился, казался приветливее, проще, демократичнее и в то же время сдержаннее и закрытее. Остальных, с напряженно-сосредоточенными лицами, бывших в кабинете Сталина, Брюханов не знал; он внутренне замер, услышав глуховатый, отчетливый, в чем-то переменившийся голос Сталина.

— Хочу я вас спросить, товарищ Чубарев, вот о чем,— сказал Сталин, спокойно глядя перед собой и как бы еще раз продумывая свою мысль, прежде чем произнести ее вслух,— некоторые товарищи утверждают, что методы вашей работы во многом противоречат нашим идейным принципам...

— Если можно, в чем же конкретно, товарищ Сталин,— сразу в упор спросил Чубарев, и у Брюханова внутренне все оборвалось, а Муравьев, придвинув к себе пепельницу и как-то сразу постарев, словно бы машинально стал зажигать спичку за спичкой и класть их в пепельницу, с подчеркнутой тщательностью выкладывая из них подобие маленького веселого костра; Сталин заинтересованно взглянул в его сторону, но ничего не сказал.

— Конкретно? — переспросил он все так же медленно и раздумчиво.— Например, товарищ Чубарев, в том, что вы ориентируете руководящих научно-технических работников на слепое заимствование достижений и практики Запада. Тем самым вольно или невольно вы берете курс на отставание отечественной науки и техники. Мы все,— Сталин черенком трубки повел вокруг стола,— хотели бы услышать, товарищ Чубарев, ваше мнение по этому поводу.

Чубарев сердито осмотрелся, удивленно прокашлялся и, опершись руками в край стола, неожиданно энергично для своего грузного тела вскочил.

— Я у вас не новичок, товарищ Сталин, вы знаете меня,— не сдерживая голоса, заговорил он.— Развитие научно-технической мысли вышло на новые высоты, и вам это известно больше, чем кому бы то ни было! Ориентируясь только на достижения собственной страны, не учитывая мировых достижений, мирового уровня, мы неизбежно отстаем. Вот именно, неизбежно окажемся в самом хвосте. Да, я требую и буду неукоснительно требовать от своих инженеров и руководителей по возможности беспромедлительного ознакомления с новейшими научными и техническими достижениями за рубежом. И немедленного внедрения всего

полезного в практику. Делается все это, товарищ Сталин, не во вред и не в поношение России, а во славу ей, во славу народа! Какой сукин сын, прошу прощения, может так убого интерпретировать?

Сталин спокойно пыхнул трубкой, выжидая, но Чубарев больше не сказал ни слова и сел; Сталин перевел взгляд на руки Муравьева, продолжавшего зажигать спичку за спичкой и осторожно класть их в массивную, чугунного литья, пепельницу; казалось, под случайным и равнодушным взглядом Сталина руки Муравьева в той же размеренности зажигали спички, но усы его заметно обвисли. Сталин всего лишь с минутным любопытством понаблюдал за действиями Муравьева, и тот, заметив это внимание Сталина, жечь спички не прекратил, хотя то, о чем говорил сейчас Сталин, было непосредственно делом рук самого Муравьева и он, Сталин, всего лишь позволил себе в интересах дела небольшой психологический опыт и с профессиональным изяществом провел его; он думал сейчас не о Муравьеве, имевшем, как и всякий другой, право на сомнение по любому поводу, а о покойном Петрове, его болезненной вспышке еще до войны в связи с арестом Чубарева; Сталин помедлил, это неожиданное воспоминание сейчас не вызвало никаких эмоций, оно входило в обычную, ежечасную, нескончаемую работу, но именно оно и остановило его внимание. Ведь все, что касалось Чубарева, могло бы разрешиться где-нибудь на уровне министерства или соответствующего отдела ЦК; но ведь как запутанно получается в жизни... Раз уж у него были свои, особые отношения с покойным Петровым и раз уж эти их отношения в свое время коснулись Чубарева (впрочем, действительно делового, умного человека, надо отдать должное проницательности Петрова), то это сейчас и создавало некий замкнутый круг, и в любом деле, связанном непосредственно с Чубаревым, никто не хочет принимать окончательного решения, а все устраивается как-то так, что решение приходится невольно принимать ему самому. Конечно, ему ничего не стоит тотчас изменить положение, но что-то, чего он и сам не мог точно определить и назвать, мешало сделать это, пожалуй, мешало подспудное, собственное его нежелание что-либо менять.

В поле своего зрения Сталин держал всех за столом. Но внимание его сейчас было сосредоточено именно на Чубареве и еще на Брюханове, сидевшем

рядом, и, пожалуй, хотя разговор шел все время о Чубареве, Брюханов ощущался резче, и опять-таки это было во многом связано с покойным Петровым и с тем, что именно сам он, Сталин, сознательно или бессознательно не хотел обрывать каких-то одному ему необходимых связей с покойным Петровым, и раз для этого были необходимы живые люди, то они, как всегда, вовремя и появились.

Мысль как-то замедлилась, резкий, выпуклый лоб Брюханова с глубокими залысинами становился слишком назойливым, Сталин усилием воли заставил себя не замечать его больше. Ничего исключительного или нового не произошло, просто сам он, пусть бессознательно, старался удержать подольше что-то недостающее в своей жизни, что со смертью Петрова начало ослабевать и улетучиваться, и поэтому и дело Чубарева он решал сам, и попавшие к нему бумаги Петрова под влиянием момента передал Брюханову...

— И все-таки некоторые товарищи считают, что подобные методы организации производственного и научного процесса отрицательно сказываются на престиже нашей науки за рубежом,— сказал Сталин, пыхая трубкой и этим как бы обрывая ненужно затянувшийся свой уход в сторону от дела.— Чубарев известный в своей области специалист, за ним пристально следят не только у себя дома,— Сталин, как говорится, даже бровью не повел в сторону Муравьева, но все тотчас безошибочно поняли, что его последние слова относятся именно к нему, и все, кроме Чубарева, как-то невольно для себя, причем совершенно внешне не меняясь, выразили свое одобрение тому смыслу, с которым эти слова были сказаны.— За последний месяц, в частности в Соединенных Штатах, имя Чубарева в печати упоминалось одиннадцать раз.

— Прикрывать меня от желтой прессы не обязательно,— опять вскочил на ноги Чубарев.— Деловые круги с нею не считаются и там, на Западе. А престиж страны зависит не от газетных и прочих сплетен, а от ее реальной мощи, от ее научного и практического потенциала. Все, что я делал в течение всей своей жизни, направлено именно к умножению мощи страны, к возвышению ее. По-другому я не умею, а если у кого-то получится лучше, что ж... я буду только рад. Размышление помогает до и после страсти, в момент страсти оно, как известно, излишне. Мне, пожалуй,

и в самом деле пора на покой, как-никак скоро уж шестьдесят.

Насупившись и налив себе боржома, Чубарев выпил и сел, ни на кого не глядя; напротив него, чуть наискосок через стол, Муравьев с неподвижным лицом продолжал жечь и осторожно класть в пепельницу спички.

— Некоторые товарищи так и считают,— Сталин, мимоходом скользнув по лицам сидевших, мягко зашагал в противоположный угол комнаты.— Предлагают перевести вас на более легкую, менее ответственную работу. Товарищ Брюханов,— неожиданно сказал Сталин,— вы, кажется, давно знаете товарища Чубарева, много лет находитесь в непосредственной близости. Что вы думаете? Сидите, пожалуйста, сидите...

— Могу сказать одно, товарищ Сталин,— Брюханов повернулся слегка и сидел теперь вполоборота к Сталину, с решительным и сердитым выражением лица,— Олег Максимович Чубарев первоклассный специалист и организатор. Я не знаю, что это за товарищи, о которых вы говорите, товарищ Сталин, но отстранение Чубарева от возглавляемого им дела было бы существенным уроном для государства и партии. Лично я в этом убежден. Полностью поддерживаю мысли Олега Максимовича о необходимости учитывать передовые достижения науки и техники за рубежом. И учитывать без промедления, как только они становятся известны.

— А мы продумали, товарищ Брюханов, этот вопрос.— Сталин искоса глянул на быстро темневшие облака за окном.— Да, мы еще раз проверили и продумали данный вопрос.— Он, очевидно, все больше и больше утверждался в какой-то своей мысли и словно пробовал, ощупывал, примеривал ее.— Я думаю, товарищ Чубарев правильно поймет нас, он достаточно мужественный человек. Товарищ Чубарев необходим делу,— продолжал Сталин все так же ровно, без всякого перехода, но у Брюханова и у других этот переход невольно означился движением сердца, и Брюханов почувствовал, как потеплело лицо.— Мы обязаны быть осторожными, мы будем бдительными, но это не значит, что мы будем действовать во вред себе. Этого мы не будем делать. Правильно, товарищ Чубарев очень много сделал для народа и государства. Мы

выражаем твердую уверенность, что он еще немало сделает. Больше того, в Политбюро сложилось мнение представить товарища Чубарева за его выдающиеся заслуги в деле обороны страны к званию Героя Социалистического Труда, и, я думаю, Президиум Верховного Совета пойдет нам навстречу.

Все встали; у Брюханова отпустило сердце, и он с благодарностью взглянул на Сталина. Он еще не знал и не мог знать, что именно сейчас определялось дальнейшее направление и всей его жизни и работы, он лишь понимал, что вот-вот готовая разразиться гроза пронеслась по какой-то причине мимо, вместе с чувством облегчения его охватила липкая слабость. Он теперь лишь ждал окончания совещания, когда можно будет встать из-за стола и уехать; какое-то недоброе безразличие все больше размягчало его. Брюханов заметил, что Муравьев очень бледен, и тот, почувствовав взгляд Брюханова, повернул к нему лицо и слабо улыбнулся одними губами. Снова раздался глуховатый голос Сталина, и Брюханов, услышав свое имя, тотчас, едва Сталин произнес первые слова, подумал, что очередная «телега» в конце концов все-таки, кажется, докатилась до цели, а может быть, и еще хуже, пришла пора отчитываться за непонятное, пугающее доверие человека, от которого лучше всего быть на почтительно-безопасном удалении.

— Мне кажется, товарищ Брюханов,— сказал Сталин неменяющимся тоном,— вы на точных ориентирах. Сидите, сидите,— опять остановил он хотевшего встать Брюханова.— Вы правильно уловили главное, в науке и технике при современных темпах развития застаиваться нельзя ни на минуту...

«Ну, ну, ну»,— мысленно поторопил Брюханов, стараясь сидеть неподвижно и сохранять непринужденность и спокойствие.

— Мы хотим предложить вам возглавить новый важный участок работы... новый главк. Я уверен, что вы справитесь. Это в основном связано с обороной страны. На ваше прежнее место замену найти не составит труда,— закончил Сталин, как бы угадывая и предупреждая основное возражение Брюханова и как бы подытожив, что вот сейчас он действительно находится не на своем месте; под характерным, тяжелым взглядом Сталина все внутри Брюханова сжалось, как бы устремилось в одну точку, и он прежде всего

вспомнил о тетрадках Петрова, но тотчас понял, что это глупо, что в данный момент они не имеют к делу совершенно никакого отношения; он собрал всю свою волю, чтобы выдержать взгляд Сталина; перед ним были глаза человека, знавшего и видевшего то, что никто больше не видел и не знал и никогда не увидит и не узнает, и очевидно было, что человек этот, уже заметно стареющий, унесет с собою какую-то необъяснимую тайну. «Нет,— с вызовом подумал он,— бумаги Петрова обязательно что-то здесь значат. Ничего вот так просто не бывает. Прошло время, и он согласился с Петровым, что для партийной работы я не подхожу. Тем более что с покойниками всегда соглашаться легче, не надо учитывать в отношении их всяких там неожиданностей... Ну и хорошо, ну и ладно... Главк так главк».

И в то же время, вопреки всякому здравому смыслу, Брюханов чувствовал в себе нараставшее раздражение против не терпящей ни малейшего возражения воли этого беззвучно ходившего по мягкому ковру низенького, словно раз и навсегда определившего для себя манеру поведения старика, в присутствии которого никто, кроме Чубарева, не решался даже громко прокашляться; Брюханову до зуда в затылке захотелось сейчас по-человечески открыто высказать все, что он думает, объяснить, почему он тогда-то и тогда-то поступил так, как он поступил, а не иначе, и что народ работает на полный износ и ждать далее нельзя, а заодно с полной, безудержной откровенностью высказать и все то, что он думает о бумагах Петрова, а там будь что будет, и это было настолько сильное желание, что он едва сдерживался. Останавливало его чувство обиды, он был твердо уверен, что с ним поступали несправедливо; в своих прежних делах, в главном деле своей жизни прав был именно он. Но тут же, как это бывает в особые, головокружительные моменты, решающие всю остальную жизнь, он заставил поставить себя на место своего собеседника. Очевидно, была какая-то правота, именно ею и руководствовался и этот невысокий, до боли знакомый человек, мягко ступавший по ковру, и ему (теперь Брюханов в этом ни капли не сомневался) совсем не случайно пришло решение перебросить его, Брюханова, с одного места на другое.

— Ну, так как, товарищ Брюханов, принимаете вы наше предложение? — на секунду остановился перед

ним Сталин, голос его прозвучал ровно, и в непроницаемых, тускло отсвечивающих глазах ничего не изменилось. Они по-прежнему глядели на Брюханова из наглухо заказанного для всех остальных, раз и навсегда закрытого мира; и если Брюханов, стараясь сейчас выдержать и не опустить глаза, подумал, что сам Сталин не может не знать, как тяжело народу, не может не знать и не видеть того, что нужно что-то решительно ломать, предпринимать срочные меры, иначе через несколько лет все обернется большой бедой, то Сталин, для которого состояние непрестанной борьбы стало вот уже в течение многих лет естественным способом существования и которому действительно лучше, чем кому бы то ни было, известно было истинное положение дел в стране и необходимость восстановить после создания американцами нового оружия равновесие в мире, думал по-другому; именно он-то как раз не имел права на жалость.

— Простите, товарищ Сталин, очень неожиданное предложение,— растерянно встал Брюханов.— Достаточно ли я подготовлен, здесь нужны специальные знания...

— Нам нужен организатор, руководитель, коммунист с широким кругозором, с умением чуть-чуть опережать время.— В голосе Сталина прозвучал неожиданный вызов.— Вы там будете не один. Научную сторону возглавит ваш заместитель, товарищ Муравьев. Найдутся и другие товарищи, они вас введут в суть дела.

Сталин пристально и несколько заинтересованнее, чем самому ему этого хотелось, поглядел на Брюханова и мягко зашагал дальше, словно давая своему собеседнику немного подумать, но всем уже было ясно, что вопрос это решенный. Брюханов неловко отступил от стола, зацепившись за ножку стула, и в глаза ему бросилось лицо Муравьева с какими-то незнакомыми, ожившими глазами, неотрывно и завороженно устремленными на него, и пытливая, подбадривающая усмешка Чубарева — не скрывая своего одобрения, тот кивнул и, опять оживленно покосившись на Муравьева, тотчас постарался взять себя в руки, стал глядеть в стол перед собой. «Нет,— решил он,— тут, пожалуй, надо держать ухо востро, пронесло, и ладно, тут еще задолго до нашего прибытия все было окончательно решено и подписано. Что это Тихон Иванович так растерялся?»

«Гм-гм!» — как бы невзначай, не поднимая глаз, прочистил он горло, в то же время не пропуская ни одного слова других; все, что касалось его лично, вначале взбудоражило и озадачило его, но это, в конце концов, было объяснимо обычной, понятной борьбой самолюбий; его все больше и больше приковывал к себе сам Сталин, его манера держаться и говорить, его умение молчать и слушать, его медлительная сдержанность, его не очень-то приятная особенность и умение создавать и до последнего момента поддерживать вокруг себя, если ему хотелось или было зачем-то нужно, предельное напряжение. Но в общем-то и это можно было понять и объяснить. И хотя у Чубарева сейчас несколько отмякло на душе, он, очевидно, потому, что знал гораздо больше, знал и о том, чего не рискнул бы поведать даже самым близким людям, продолжал тщательно следить за каждым своим словом и движением; он не мог отделаться полностью от первоначального ощущения, что за тем в общем-то понятным Сталиным, который у него перед глазами ходил, разговаривал, привычно посасывал свою знаменитую трубку, решал очередные дела, казалось, незримо вставал другой Сталин, никому не известный... Что ни говори, а покойный Петров Константин Леонтьевич выхватил его тогда прямо из-за решетки, но другие-то так и остались, он ведь хорошо знает, и неизвестно, что с ними стало... Задонов, Черкасский, этот блестящий инженер, кажется, полунемец Отцель, да и мало ли еще кто... Все они остались...

Усилием воли заставив себя переключиться, Чубарев как ни в чем не бывало повернул голову к Брюханову:

— Тихон Иванович, что раздумывать... Дело, по всему видно, сто́ящее, назревшее...

— Вот именно, давно назревшее,— бросил Сталин на ходу, подчеркивая, что отведенное Брюханову для раздумий время кончилось.— На ваше место в Холмске есть хорошая кандидатура проверенного и стойкого коммуниста, опытного руководителя товарища Лутакова.

— Лутаков? — невольно переспросил Брюханов, и тотчас для него все стало на свои места, окончательно затвердело.

— Да, Лутаков,— повторил Сталин и медленно вынул трубку изо рта.— У вас есть возражения?

— Есть,— внезапно решился Брюханов и даже успел отметить про себя удивленный и предостерегаю-

щий взгляд Чубарева, какое-то враз вспыхнувшее ожидание в сером, построжавшем лице Муравьева и темный, скошенный в его сторону глаз Сталина; всё ждали объяснения этому неожиданному «есть», и Брюханов, решая, как поступить, медлил.

— Какие? — как бы приглашая к доверительному разговору, спросил Сталин.

— Лутаков человек слишком рационалистический,— Брюханов упрямо сдвинул брови,— чтобы работать с живыми людьми на таком уровне, над ним необходим твердый и постоянный контроль.

— Это все? — так же спокойно и доверительно спросил Сталин, и Брюханов наклонил голову.

— Да, все.

— Не много. Рационалистический — это не всегда и не везде плохо,— Сталин в раздумье очертил чубуком трубки округлую фигуру перед собой.— Ну что ж, мы учтем ваши слова, товарищ Брюханов. А вот вам самому хватит недели, чтобы приступить к новому делу?

— Хватит, товарищ Сталин.

— Это хорошо, приступайте,— кивнул Сталин и, обдумывая что-то свое, ушел в дальний конец кабинета, только раз или два еще коротко взглянул оттуда в сторону Брюханова.

— Что ни говори, а есть счастливые люди,— тихо и как-то грустно сказал Муравьев, глядя на груду полусгоревших спичек в пепельнице.— Знаешь, Тихон Иванович, мне нигде не было так хорошо, как там, на заводе. А чем выше, тем ветра больше.

Брюханов, почти не вдумываясь в его слова, кивнул.

— Вот видишь, опять нас судьба свела,— не унимался Муравьев.— Оробел? А? Ну, признайся, есть немного?

— Нет, не оробел,— вежливо улыбнулся Брюханов, как бы невольно для себя намечая рубеж дозволенного в их дальнейших отношениях.— Риск никогда не приводил меня в уныние, Павел Андреевич.— Брюханов в подобных невнятных ситуациях не позволял себе подшучивать над людьми, особенно в чем-то зависимыми от него; Муравьев всегда был ему неприятен, а сейчас особенно. Муравьев понял, как-то одной стороной лица поморщившись, чиркнул спичкой.

— Много, Муравьев, пьешь,— неожиданно глуховато сказал Сталин из своего угла, немедленно обращая на себя усиленное внимание присутствующих,

и Брюханов увидел, что в лице Муравьева проступила еще бо́льшая бледность.— Для твоего положения и места очень много.

Муравьев ищуще, неловко дернулся всем телом в сторону Сталина, усилием воли тотчас остановил себя, нетвердо оперся на спинку кресла, стараясь сохранить естественную позу; пережидая неприятный момент, он отрешенно и пусто стал смотреть в стол, но всем и так было не по себе, и особенно потерянным Муравьев показался Брюханову при прощании, когда Сталина уже не было.

— От души, Олег Максимович,— Муравьев со своей тихой, привычно понимающей улыбкой, сейчас особенно неестественной на бледном, нездоровом лице, казалось, доверял Чубареву что-то известное лишь им двоим,— от души рад поздравить вас с высокой, действительно высокой наградой.

— Поплюйте, Павел Андреевич,— примирительно загудел Чубарев, чувствуя себя не совсем ловко от этой нарочитой обнаженности.— Вроде бы не принято раньше-то времени, а? Еще сглазите.

— О-о, вы еще плохо знаете наши темпы,— с той же пустой улыбкой сказал Муравьев.— Не успеете добраться до своего Холмска, а указ уже появится во всех газетах. Ну-ну, чего скромничать? Только вы, Олег Максимович, в своих венках и лаврах обо мне уж при случае замолвите словечко... И вы, Тихон Иванович,—тут Муравьев непринужденно перенес свое внимание на Брюханова.— Я, разумеется, готов в любой момент ознакомить вас с положением дел, хотя пока очень смутно представляю контуры и параметры нашего будущего ведомства. Впрочем, начальству виднее...

— Это дело второе, Павел Андреевич, были бы мы с вами, а ведомство будет,— улыбнулся Брюханов.— Давайте на той неделе, прямо в понедельник, с утра и встретимся.

— Договорились,— Муравьев чуть отступил в сторону, и по глазам Чубарева, по какой-то нарочитой открытости его лица Брюханов понял, что и Чубарев знает истинную цену словам Муравьева; ведь никакого указа из-за положения Чубарева открыто появиться не может, и все здесь Муравьевым говорилось не от души, а от неприязни, он даже скрыть этого как следует не хотел, потому что думал и давал понять, что имеет на эту неприязнь какое-то свое, внутреннее право.

В машине Чубарев не выдержал первым и, вспомнив притворно-печальную физиономию Муравьева, хлопнул Брюханова по колену, захохотал с таким удовольствием, что молодой шофер удивленно и нервно оглянулся.

— Пронзительный человек этот товарищ Муравьев,— немного успокоившись, сказал он.— Попляшете вы с ним, Тихон Иванович.

— Уж повязали черта с младенцем,— сердито проворчал Брюханов, не отрывая глаз от несущихся навстречу вечерних огней.

— Разумеется... Но ему-то самому каково? Влезьте в его шкуру, совершенно о другом ведь мечтал...

— Вы сегодня, Олег Максимович, какую-то буферную позицию занимаете, все смягчить хотите,— пошутил Брюханов.— Думаете, не выдержу?

— У вас другого выбора нет, значит, выдержите,— живо возразил Чубарев.— Насчет же моей позиции в отношении вас... Признаюсь, был момент, неуютно стало. Показалось что-то нехорошее...— Чубарев посмотрел в затылок шоферу, сделал паузу.— Потом ничего, ничего,— поспешил он добавить, заметив растерянное движение Брюханова.

— Что-то было... было,— подтвердил тот и, удерживаясь от соблазна еще полнее раскрыться, пробормотал: — Вот черт, не обмануло предчувствие, помните, я вам в поезде говорил...

— Н-да... Признаться, крендель вышел витиеватый. Тем более в отношении Лутакова,— подтвердил Чубарев, по-прежнему присматриваясь к лицу Брюханова, хотел что-то добавить, отчего-то насупился и замолчал.

15

Недели через две Муравьев действительно позвонил Чубареву в Холмск и, поздравив, пообещал вскоре, как только уладит дела с новым руководством, приехать в Холмск по ряду вопросов и лично засвидетельствовать свою дружбу и уважение. Тотчас вслед за Муравьевым позвонил Брюханов; затем был звонок из ЦК, поздравили из отдела промышленности, и Чубарев к концу дня уже ничего не чувствовал, кроме усталости, вновь и вновь поднимая трубку не перестававшего трезвонить телефона.

На другой день через обком Чубареву была доставлена правительственная телеграмма, и он долго всматривался в скупые, лаконичные строки.

«С глубоким уважением отношусь к Вашим большим трудовым свершениям. Желаю здоровья и счастья в личной жизни. Желаю новых больших успехов на благо нашего народа.

И. Сталин».

«И. Сталин», «И. Сталин»,— повторил несколько раз про себя Чубарев, поглядывая на мраморный бюст Циолковского с тяжелым, бугристым лбом и вспоминая последний разговор в ЦК о необходимости максимального ускорения строительства реактивной авиации в стране, о значении Холмского моторного как одного из центров внедрения в практику последних научных достижений, о том, что основная трудность в необходимости заставить десятки и десятки институтов и конструкторских бюро работать в одном направлении, на одну цель.

Не успел Чубарев еще раз скользнуть взглядом по тексту телеграммы, как принесли еще несколько; лавина нарастала, в хоре поздравлений его называли уже чуть ли не теоретиком авиации, чуть ли не Жуковским, и никому не было никакого дела до того, что он просто устал, что иногда его уже тянуло к удочке и к повзрослевшим без него внукам... Жизнь прошла, а он, считай, ничего не видел, кроме работы. И Золотая Звезда в его возрасте — это только новая ответственность, новая непосильная ноша: ведь на испытательных стендах попрежнему ревут двигатели, рвут барабанные перепонки, а каждый следующий рубеж дается с невероятным перенапряжением, и опять нужно связывать воедино своими нервами и сухожилиями сотни отдельных воль, пропускать их через свою, плавить в один жесткий узел, сидеть на кофе и бинтовать по утрам оплетенные изъязвленными венами, больные старческие ноги... Впрочем, если бы уставал он один, черт бы с ним, это ничего бы не значило. Непрерывно обновляющийся народ не мог ждать, движение не могло остановиться, и этому подчинялось все, от воли Сталина до работы рядового слесаря, и тот, кто не выдерживал сумасшедших скоростей послевоенного времени, мгновенно оказывался в глубоко вчерашнем

исчислении. Именно так стоит вопрос, и тут хочешь не хочешь, а соответствуй. И нечего юродствовать, отними у тебя дело, развалишься, как гнилой пень, следовательно, нечего себя останавливать, нужно забираться туда, где и сам черт ногу сломает. Ага, ну вот, бодро сказал он самому себе, взглянув на зазвонивший телефон, тот самый, трубку которого он должен был брать лично сам, и насмешливая улыбка над собственной поспешностью тронула его губы. Все идет так, как надо, какое там вместилище духа, каждую неделю эта ненасытная трубка требует цифр, отчета в каждом новом миллиметре пути...

— Да, Чубарев,— сказал он, слегка касаясь прохладной трубкой уха.— Слушаю вас... Да, да, да... я знаю, в этом направлении делается все возможное... Шилов Андрей Павлович? Что-нибудь случилось?.. Ничего? Разумеется... да... он здесь почти полгода просидел, доводя опытный образец... Так, так, конечно, рад. Очень рад. Поклон ему от меня... Заводской аэродром? Конечно, как всегда, в полном порядке, примем товарища генерального конструктора, как в теплую ладошку, и не почувствует... Да? Спасибо, спасибо... Как всегда, много дел. Ждем, ждем... До свидания, всего вам доброго.

Чубарев положил трубку, почему-то в первую минуту вспомнились сильно оттопыренные, хрящевидные уши главного конструктора Шилова, создателя целой серии первоклассных отечественных двигателей, его совершенно несносный характер, подумал, что не в первый и не в последний раз на завод приезжают генеральные конструкторы, но, пожалуй, впервые об этом предупреждают из приемной самого Сталина; любопытно, что за этим кроется? Точно ли необходимость выявить причины возникших затруднений с запуском в производство нового реактивного двигателя конструкции того же Шилова или еще что?

Вспомнилась почему-то приторно-сладкая, доверительная улыбка Муравьева, и Чубарев, помедлив, поморщился. «А-а, пусть их,— решил он,— подстраховывают и перепроверяют, если дело касается Шилова, тут ничего заранее не угадаешь, главное сейчас — запустить в серию новый двигатель, переоснастить производство, наладить поток... ну, а все остальное, все тревоги, касающиеся лично его, можно и не брать во внимание, бог милостив, авось пронесет и на этот раз,

а если что-либо выше, то и с характером Сталина он имеет дело уже два с лишним десятка лет, у того, если что наметилось, долго не залежится».

Чубарев распорядился встретить главного конструктора, но в последний момент передумал и подъехал к аэродрому сам; по дороге в заводскую гостиницу, уютно разместившуюся в высоких солнечных соснах, он завел Шилова в заводоуправление, недавно украшенное по фасаду смальтой (Чубарев этим очень гордился, потому что достать смальту стоило ему немалых трудов), показал малое конструкторское бюро, АТС, кабинеты, конференц-зал, отделанный светлым полированным деревом, соединенный с кабинетом директора отдельным ходом.

— Широко живете, с размахом,— одобрил Шилов и, привлеченный громадной, во всю стену, доской с тремя рядами фотографий, под каждой из которых красовались красные или черные флажки, подошел к ней вплотную и стал внимательно ее изучать.

— Ну как, наглядно? Личное мое изобретение, думаю запатентовать. Начальники цехов этой доски боятся, как черт ладана. Плохо работает — черный флажок ему, хорошо — красный. Красных, как видите, гораздо меньше.

— Узнаю коней ретивых... И помогает? — Шилов по-птичьи склонил голову набок, считая флажки и помаргивая светлыми небольшими глазами.

— Обид сколько угодно, зато работают куда злее.— Чубарев налил из сифона шипящей воды в высокие хрустальные бокалы.— На пропуска пьяницам тоже ставим особые метки. Один раз напился — черная ему полоска в пропуске, другой — вторая, а третий — с завода долой.

— Хорошо, что предупредили, Олег Максимович, буду иметь в виду,— улыбнулся Шилов.— Ну а как все-таки, Олег Максимович, наши главные дела? Что металлурги?

— Утешительного мало, держат за горло, Андрей Павлович. Требуем, грозим, просим, вплоть до выхода на Политбюро. Высших марок сталей, подобных шведским, увы, пока нет. На днях обещают дать новые результаты...

— У меня твердое задание, Олег Максимович. Умри, но сделай, вот так. Необходимо на десять — пятнадцать процентов увеличить ресурс двигателя.

Совсем пустяки, как видите. А у меня жизнь тоже одна,— Шилов весь подался вперед, и даже кончики его хрящевидных ушей напряглись, побелели.— Видите ли, перекрыть отставание, последние показатели американцев.

— Гм-гм-гм,— сказал Чубарев, пытливо взглянув на Шилова раз, другой.— Гм... Они мне известны, батенька, показатели-то,— тепло сощурился Чубарев, он любил людей горячих и прямых.— Ну что же, устраивайтесь, как я чую, кончилась моя спокойная жизнь. Ну да ладно, не привыкать... Был бы толк... Вам, дорогой мой Андрей Павлович, карты в руки.

Шилов поморгал, рассматривая очередную заинтересовавшую его фотографию на доске, вздохнул, ничего не ответил; они знали друг друга еще по военной поре, когда решением правительства наряду с основным производством налаживали выпуск реактивных минометов на Урале, и привыкли понимать друг друга с полуслова, хотя зимой сорок первого едва не разъехались смертельными врагами, и только грозный выговор Сталина выправил положение.

Сейчас они как-то одновременно подумали и вспомнили врывающиеся в возведенные лишь на одну треть коробки цехов снежные потоки и странное в ночное время, будто фантастическое освещение станков и линий, и среди всего этого застывшего, мертвого железа — жалкие, словно муравьиные, фигурки наладчиков, слесарей, арматурщиков, бетонщиков, ползающих в ночном, мечущемся снежными круговертями пространстве.

«Я подписал приказ, Андрей Павлович. С пятнадцатого декабря основные цехи вступают в строй,— на ветру и стуже простуженный голос Чубарева рвется, отлетает в сторону.— В шесть первая смена... Начнем сборку из запасных частей, привезенных с собой».

«Простите, то есть как завтра? — усиленно замахал Шилов заиндевевшими ресницами.— Я что-то не понимаю...»

«Разумеется, завтра».

«Но это невозможно, Олег Максимович...»

«Это приказ военного времени».

«У нас уже были смертные случаи, Олег Максимович. Только сегодня замерзло четверо подростков, вы же знаете...»

«Я знаю одно, Андрей Павлович: страна на краю гибели... Приступайте. Прошу вас лично проследить за первыми...»

«Это бесчеловечная жестокость,— окончательно заволновался Шилов.— Нас не поймут, ведь производство в совершенно диких условиях. Олег Максимович, отложите пуск на пять дней, хотя бы до двадцатого. Десяток двигателей ничего не изменит...»

«Ни на один час, Андрей Павлович. Один мотор сегодня нужнее, чем двадцать через пять дней. Неужели еще и вас необходимо убеждать? Не могу, Андрей Павлович, нет времени. Выполняйте».

Шилов покосился на Чубарева; сейчас не хотелось вспоминать этот короткий, со скрытым раздражением с обеих сторон разговор, да и многое другое...

— Ну, Олег Максимович, мое поздравление получили? — спросил он.

— Поздравление? — Чубарев недоуменно свел брови, но тотчас оживился: — Как же, как же, получил, спасибо. Что же?

— Как что же? — удивился Шилов.— Так просто не отделаетесь, Олег Максимович, вроде бы не по-русски...

— Понимаю, понимаю... и приглашаю.— Чубарев досадливо отмахнулся.— Что ж, самое что ни есть житейское дело, каждому хочется выпить, повеселиться. Так бы и говорили, а то сразу целым народом хлоп по голове! Не по-русски! А если бы я кавказцем родился или башкирцем? Прямо одолели, подай им банкет — и все. Даже из Москвы едут по этому случаю... Муравьев звонил... и с ним целая свита... Вы же, вероятно, слышали про всякие там перемены? — спросил Чубарев вроде бы невзначай.— Брюханов отсюда пошел на новый главк... а вот теперь его первый заместитель к нам на банкет едет... Муравьева вы давно знаете, человек любопытный, что-то у него здесь заваривается. Так просто он не поедет...

Опять, изучающе склонив голову, Шилов взглянул на Чубарева; нельзя было понять, рад ли тот тому обстоятельству, что к нему едут высокие гости из Москвы, или наоборот, но разговор вскоре перекинулся на ближайшие, необходимые дела. Они вместе мирно поужинали у Чубаревых сибирскими пельменями, по старой уральской памяти любимым блюдом Шилова, и на этом, пожалуй, их спокойное настро-

ение и кончилось. На другой день Шилов уже безвылазно пропадал в цехах, на испытательных стендах, в конструкторских бюро и в лабораториях, и Чубарев мог следить за ним только издали, но по тому, как Шилов явно избегал встреч, а если где-нибудь сталкивались, по тому, как он всеми правдами и неправдами уклонялся от разговора, Чубарев начал ощущать все нарастающую тревогу. На очередной летучке Шилов лишь однажды мимоходом попросил Чубарева прямо на заводе отгородить ему какой-нибудь закуток, и Чубарев, занятый в тот момент другим, не вдумываясь, черкнул в блокноте и тут же забыл, и когда через несколько дней раздался звонок из ЦК, и в трубке послышался голос секретаря, интересовавшегося, как чувствует себя Шилов, Чубарев, ничего не подозревая, ответил, что хорошо и что работает сутками, не выходя с завода.

— Хорошо, говорите? А по нашим сведениям у генерального конструктора на заводе нет возможности нормально работать, чаю выпить негде, не то что прилечь,— возразил секретарь.— Он телеграмму Молотову прислал.

— Телеграмму? Какого чаю? — Чубарев от неподдельного недоумения даже привстал из кресла.

— Вероятно, самого обыкновенного,— в тон ему сказал секретарь.— Уж вы, Олег Максимович, распорядитесь диванчик какой-нибудь приспособить, а то как-то несолидно...

— Исправим, товарищ секретарь,— выдохнул изумленный Чубарев и, только положив трубку, вспомнил просьбу Шилова, еще больше изумился, затем, не выдержав, громко, раскатисто расхохотался. «Ну, характерец! Не меняется»,— чертыхнулся он и тотчас отдал распоряжение хозяйственнику, а под вечер, приказав соединить себя с Шиловым, спросил:

— Можно узнать, самовар уже кипит, Андрей Павлович?

— Да мне бы и обыкновенного чайника хватило,— тусклым голосом отозвался Шилов.— И кровать-то княжескую втиснули, балдахина парчового не хватает...

— Кто ж вас знает, Андрей Павлович,— Чубарев весело сощурился.— На всякий случай, может, и перестарались ребята. А вдруг потребуется? Ну как, теперь дело пошло лучше?

— Какой черт лучше.— Шилов с досадой махнул рукой.— Сегодня прилег, ну, думаю, полчаса — и вскочу. Как провалился, подхватился, гляжу, вечер.

— А все-таки, Андрей Павлович? — настаивал Чубарев.— Что вы меня-то с завязанными глазами держите?

— Я еще не готов к кардинальному разговору, Олег Максимович. Что-то наклевывается... пока все сыро, чувствую, необходимо еще раз прощупать...

— Ладно, подождем, Андрей Павлович,— согласился Чубарев после минутного раздумья; он слишком хорошо знал Шилова, чтобы не заметить и уклончивости, и какой-то странной недоговоренности с его стороны.

Они встретились на банкете, Муравьев уже провозгласил очередной тост, и все дружно встали выпить за юбиляра; Чубарев, подняв бокал шампанского, отметил про себя, что вошедший незаметно в боковую дверь Шилов суток двое не брит, без галстука, с расстегнутым несвежим воротом рубашки.

— Опоздал, опоздал, Андрей Павлович,— сказал Муравьев.— Мы тут только что за Олега Максимовича пили, за его высокое звание. Вам штрафной.

Явно досадуя, что Муравьев обратил на него всеобщее внимание, Шилов кивнул, здороваясь, и сел на первое свободное место с помятым, отрешенным лицом, с трудом заставив себя улыбнуться.

— Сюда, сюда, Андрей Павлович, к дамам поближе,— позвал его Чубарев, указывая на свободное место между Еленой Захаровной Брюхановой и Муравьевым.

Шилов стал было отнекиваться, но, поняв, что привлекает к себе еще большее внимание, пересел, неловко поздоровавшись с Брюхановой, Муравьевым, с самим хозяином и его женой. Ему налили, и он, слегка поклонившись в сторону Чубарева, сказал:

— За вас, Олег Максимович, от всей души за вас... Будьте здоровы, будьте богаты, как и прежде, духом своим! А я рад и еще раз рад...

— Ну-ну,— загудел Чубарев,— ты прямо стихами шпаришь, Андрей Павлович... что это за апофеоз! Закуси получше, что-то ты у нас совсем подбился. Вера, положи-ка ему заливного... Елена Захаровна, возьмите шефство над нашим Андреем Павловичем.

Шилов выпил и только тут обнаружил, что зарос до бровей колючей щетиной, слегка замешкался, но махнул рукой и принялся за еду. Он съел заливное

из рыбы, студень, еще что-то, все подряд, не ощущая вкуса, и тогда только, скосив глаза, заметил, что его тарелку кто-то усердно наполняет до краев; он поднял голову и увидел прямо обращенные к нему странно-прозрачные глаза Аленки.

— Спасибо...

— Елена Захаровна,— с готовностью подсказала Аленка.— На здоровье, Андрей Павлович, так, кажется? — переспросила Аленка, с профессиональной цепкостью присматриваясь к его лицу.— Что же вы запаздываете, здесь о вас говорили, ждали вас... Ешьте, пожалуйста, вы же в командировке...

— Встал на крыло и перенесся... Что ж, пожалуй, обычная моя работа,— сказал он бесцветным, тусклым тоном, и Аленка сразу почувствовала, что это был всего лишь верхний, самый незначительный слой, под ним же таилось, жило, горячо пульсировало свое, надежно укрытое от всего остального мира, и от того, что она все очень верно угадала и он это почувствовал, Шилов, усиленно помаргивая, поблагодарил еще раз; Аленка отпила глоток вина и отставила рюмку. Говорил заменивший Брюханова в Холмске Лутаков Степан Антонович; вспомнив, что Брюханов вынужден был оставить область этому жесткому и несимпатичному человеку, увозя в сердце горечь и опустошение (его слова о кандидатуре Лутакова не были приняты во внимание), Аленка, слушая, слегка откинулась на спинку стула, сделала бесстрастное лицо.

Между тем Лутаков говорил свободно и размашисто, хотя Аленке и казалось, что в его выступлении не было ни одной смелой мысли и что то, о чем он говорит, давно всем известно и его слушают лишь из уважения к его новому месту и положению. Она знала, что думает нехорошо и поступает нехорошо, разрешая себе так думать, но ничего не могла с собой поделать. «И говорит он так много зря,— решила она,— в атмосфере этого домашнего свободного вечера требуется совсем другое».

Чтобы не слишком расстраиваться, Аленка стала думать о доме, о том, что там сейчас делает Тимофеевна, наверное, как раз купает Ксению; с новым, иным, чем до сих пор, чувством Аленка оглядела присутствующих, она бы сейчас не смогла объяснить, почему возникло это чувство отъединенности от всех осталь-

ных, даже от мужа, но она ни за что не согласилась бы разрушить эту преграду между собой и всеми другими. Эта пока еще слабая и в то же время непреодолимая черта была ей необходима, чтобы без помех и спокойно быть наедине только с собой, с тем, что в ней происходило не только физически, но и духовно, и оттого что менялись все ее прежние отношения с окружающими людьми, Аленка начинала видеть их совершенно иначе, и это ее и пугало, и радовало.

Она слушала Лутакова, но слова его не находили в ней ни сочувствия, ни понимания; то, что произошло и происходило в ней, было ей важнее и дороже всего на свете, и она воспринимала теперь мир только через это неосознанное, тревожное предчувствие какого-то неведомого ранее счастья, и она твердо знала, что ничего подобного в жизни она еще не испытывала и что все остальное по сравнению с этим не имеет никакого значения; слова Лутакова едва-едва пробивались в сознание Аленки и тут же словно бесследно стирались.

— Вот так, дорогие товарищи, наш дорогой юбиляр Олег Максимович Чубарев сросся прочно с нашей холмской землей. Еще с того первого землемерного колышка, которым было обозначено строительство авиамоторного завода на нашей земле. Партия и Родина высоко оценили его заслуги перед народом. Я всегда с благодарностью думаю о судьбе, которая тесно перекрестила пути многих наших земляков с большой жизненной дорогой Олега Максимовича. Посмотрите, товарищи, от этого все мы стали только богаче,— Лутаков указал в сторону, где вдоль стены на полках стояли макеты всего, что было построено Чубаревым.— Это ведь история роста мощи нашей страны, это уже нельзя вынуть из нашей жизни, как нельзя вынуть фундамент из-под здания, не разрушив его! Да, мы знаем, впереди у нас еще непочатый край работы, Родина и партия ждут от нас новых побед и свершений. И мы никогда не свернем с нашего пути, как бы нашим врагам этого не хотелось. Раз у нас есть такие люди, как Олег Максимович Чубарев, значит, впереди — победа! А мы со своей стороны сделаем для этого все возможное и невозможное. За вас, за ваш большой человеческий и организаторский талант, Олег Максимович!

Лутаков выпил; Чубарев изумленно сверкнул на него глазом из-под сведенных бровей, что-то загудел

в ответ, но во всеобщем оживлении ничего нельзя было расслышать. В большом зале, свободно уместившем около ста человек, стоял согласный и, как положено случаю, устоявшийся гул, в нем тонули отдельные голоса; теперь застолье постепенно начинало разбиваться на множество отдельных групп, кружков и взаимовлияний; Муравьев, старавшийся с самого начала не выпускать из виду целого, тотчас уловил эту опасность.

— Товарищи, товарищи! — громко, сразу привлекая к себе внимание, поднялся он с налитым до краев бокалом.— Минутку, прошу всех наполнить! Товарищи! — продолжал он, выждав.— Дорогие товарищи! Каждый из нас является определенной и самостоятельной силой в борьбе, но каждый из нас, как большевик, всегда помнит о том, что вся его сила, вся его воля и потенциал до конца принадлежат тому объединенному мощному потоку, имя которому — партия. Выпьем, товарищи, за человека, олицетворяющего в себе это могучее единство. Выпьем за товарища Сталина!

Все встали, кто-то крикнул здравицу, и все дружно подхватили.

Еще несколько раз выпили, и всё с соответствующими тостами и пожеланиями; затем слово от Совета старейшин Холмского завода, как он выразился, взял главный технолог завода Кружковский Константин Евгеньевич, крепкий мужчина на шестидесятом году, и, встряхивая розоватыми, чуть обвислыми щеками, стал порывисто говорить.

— По поручению Совета старейшин нашего славного моторного, дорогие товарищи (а в наш Совет входят наиболее выдающиеся люди завода старше пятидесяти), мне поручено огласить нижеследующий указ Совета старейшин. В довершение ко всему прочему Совет старейшин решил отметить деятельность директора нашего завода Чубарева Олега Максимовича особо.— Кружковский требовательно оглядел терпеливо ждущее застолье.— Отдавая должное высокой правительственной награде, пожалованной Олегу Максимовичу и по счастливой случайности совпавшей с его шестидесятилетием, Совет старейшин не мог остаться, как вы сами понимаете, в стороне от знаменательного события в жизни нашего юбиляра. Но прежде, чем огласить указ Совета старейшин завода о награждении Чубарева Олега Максимовича «Почетной медалью»,

мне поручено во избежание всяких ненужных недоразумений ознакомить награждаемого «Почетной медалью» с нижеследующими правилами ношения «Почетной медали» Совета старейшин:

§ 1. «Почетная медаль» после чеканки и оформления соответствующей документации является памятником искусства конца первой половины XX века и находится под охраной Совета старейшин, а по ее вручении — под охраной самого награжденного.

§ 2. Медаль носится награжденным в самые радостные моменты его жизни (на торжественных вечерах, организуемых самим награжденным или Советом старейшин в его честь и за его счет, разумеется). Как исключение, допускается ношение медали и в менее радостные моменты жизни награжденного:

а) в дни рождения родственников и близких — жены, детей, внуков и всех приравненных к ним лиц;

б) в дни получения зарплаты или пенсии;

в) при выдаче ссуды кассовой взаимопомощи.

Примечание: перечисленные исключения в ношении медали разрешаются только в домашней обстановке.

§ 3. Подвешенная на шею награжденного медаль должна располагаться так, чтобы нижний ее обрез совпадал с верхней границей живота награжденного...

§ 4. Для ношения медали награжденный должен быть чисто вымыт, а руки и шея в местах возможного касания ленты медали с телом награжденного должны быть тщательно обезжирены...

Кружковский только-только начал входить во вкус, оглашал параграфы с чисто поэтическим профессиональным подвыванием, и все шумно требовали продолжения, и громче всего требовал этого Чубарев; оглядевшись, Кружковский с пьяной твердостью посмотрел в переносье все тяжелее хмурившегося Лутакова и победно прокашлялся:

— § 5. При пользовании медалью на вечерах награжденный обязан на протяжении всего вечера с гордостью любоваться медалью,— продолжал утробным голосом читать Кружковский.— При этом награжденный должен скромно, ненавязчиво и постоянно переводить все разговоры на обсуждение достоинств медали и своих личных.

§ 6. Награжденному «Почетной медалью» запрещается:

а) обменивать ее на медали других награжденных;

б) играть в азартные игры (орлянку, пристенок и расшибок и т. п.), используя медаль как биту;

в) применять для лечения производственных и особенно бытовых травм вместо пятаков.

§ 7. В случае утери медали Совет старейшин может произвести повторное награждение. При этом все расходы на изготовление медали и организацию торжественного вечера возлагаются на виновного, если эта утеря по своему характеру не влечет за собой более тяжкого наказания. Заявления о восстановлении медали принимаются за сутки до утери ее при наличии:

а) справки из домоуправления о ее наличии на сегодня (т. е. за сутки до утери);

б) справки от жены (или приравненного к ней лица, лиц) о ее наличии в день утери;

в) акта медицинской экспертизы об отсутствии вины, смягчающей печальное обстоятельство утери медали.

Кружковскому, казалось, совершенно не мешали взрывы хохота, и он, оторвавшись от листа бумаги, строго обвел всех твердым, светлым взглядом.

— Ну вот, товарищи, есть еще правила хранения и ухода за медалью, но я думаю, мы их опустим и перейдем к главному, к самому акту вручения...

— Позвольте, батенька, нет, нет и нет! — шумно запротестовал Чубарев.— Нет уж, увольте, я должен знать все правила!

Чубарева поддержал даже Муравьев, и Аленка подумала, до чего же заразительны вот такие детские игры для взрослых; она ведь и сама уже улыбалась и то и дело начинала хохотать вместе со всеми.

— Правила хранения медали и ухода за ней заключаются в следующем,— строго начал Кружковский.— Итак:

§ 1. Медаль, как правило, хранить в двух-, лучше трех- или четырехкомнатной квартире. Разумеется, не исключается пятикомнатная и так далее.

§ 2. Если в квартире не обеспечены необходимые температура и влажность воздуха, медаль рекомендуется хранить в закрытой таре (коробке), имеющей герметизацию и терморегуляцию, обеспечивающие стабильность температуры и влажности. Последние должны контролироваться приборами, прошедшими в установленные сроки проверку в Палате мер и весов...

Пока Кружковский доставал из красивой коробки большую, с чайное блюдце, красивую бронзовую медаль с гербом завода, с грозно рассекающей облака стрелой, похожей одновременно и на самолет, и на молнию, на полосатой, сине-розовой ленте и надевал ее на шею Чубарева, все оглушительно хлопали и кричали «Ура!», затем еще раз все выпили и разбрелись размяться и покурить.

Аленка взяла в руки длинную, узкую лаковую сумочку, собираясь незаметно ускользнуть, но не успела. Едва она встала из-за стола, к ней подошла хозяйка, Вера Дмитриевна, взяла под руку, увела с собой.

— Пойдемте, дорогая, подышим без этого дыма... Я любовалась вами, Елена Захаровна,— говорила она уже на ходу, по-женски неуловимо вкладывая в свои слова кроме их прямого значения еще какой-то тайный смысл.— Вы так похорошели с тех пор, как мы не виделись. Срок небольшой, а перемены...

— Что вы, Вера Дмитриевна,— тоже чисто по-женски отвела похвалы Аленка, хотя знала и не могла не знать, что она действительно изменилась и не могла не измениться к лучшему, и в порыве откровенности потянулась душой к этой седой, спокойной женщине.— Я так боюсь, Вера Дмитриевна, так боюсь! — сказала она, и в то же время в ее голосе, в глазах, в улыбке отразилось другое, то, что счастлива и что суеверно боится сглазить это свое состояние счастья, что она боится сейчас всего того, что может это счастье нарушить, а значит, боится всего-всего...

— Что вы, что вы, это ведь прекрасно — ребенок! — с некоторой прямолинейностью сказала Вера Дмитриевна, вспоминая себя.— Это одно я и помню как нечто необычно прекрасное вот уже много-много лет, все остальное забыла. Мужчинам никогда этого не почувствовать и не понять, в этом мы, женщины, много выше... Пойдемте еще подальше, здесь шумно. И тем более дышать табачищем... Вы пили что-нибудь?

— Немного пила,— сказала Аленка удивленно.— Я давно уже не кормлю...

— Все равно это очень вредно.— Вера Дмитриевна остановилась, удерживая Аленку.— Вам ведь обязательно захочется второго ребенка со временем... Скажите, а вы скоро тронетесь за мужем? — спросила она с любопытством.

Аленка, сжав губы, отрицательно покачала головой.

— Вы знаете, я заканчиваю ординатуру. Последний год.

— Да, да, понимаю,— сказала Вера Дмитриевна.— Женщине так легко потерять все завоеванное...

— Нет, здесь, вероятно, что-то другое...

— Все равно ведь сорветесь, поедете, не удержитесь...

— Сорвусь.— Аленка доверительно и тепло поглядела собеседнице в глаза.— Конечно, сорвусь, даже скоро, пожалуй... а сейчас пока я выдерживаю с ним ожесточенные бои... Самое удивительное, что он, умный человек, не может меня понять...

— А может, не хочет? — спросила Вера Дмитриевна с улыбкой.

— Может, и не хочет...

— Вот видите,— улыбнулась Вера Дмитриевна, опять вспоминая себя, и повела Аленку дальше; разбившись на группы, гости, в основном мужчины, оглядываясь, рассказывали друг другу анекдоты; в двух или трех местах вспыхнули деловые разговоры, около пианино кружилось несколько пар, кто-то пытался петь. Чубарев, Лутаков и Муравьев прогуливались в отдалении ото всех, тихо, сосредоточенно разговаривали о планируемом на самое ближайшее время расширении мощностей завода, причем Чубарев несколько раз неспокойно поглядывал в сторону Шилова, упорно остававшегося в одиночестве за столом, и тот, словно почувствовав, встал и подошел к их группе.

— Бейте, только сразу напрочь, Андрей Павлович,— весело обратился к нему Чубарев.— Вижу, вынашиваете сюрприз...

— Уже выносил.— Шилов с комическим отчаянием на все решившегося человека махнул рукой.— Не хотел вам торжества портить, Олег Максимович, да что поделаешь...

— Ого! — Чубарев засмеялся.— После такого вступления нужно ждать доброго взрыва...

— Ничего не поделаешь,— опять повторил Шилов, часто моргая.— Не знаю, чьи тут головы полетят еще, но моя уж точно не удержится.

— Ну-ну, не томите,— потребовал Чубарев.

— «Ш-28» в серию не пойдет, Олег Максимович. Нельзя, не пойдет, к черту! У меня возникли очень

существенные, понимаете, важные изменения,— добавил он твердо, видя, как начало вытягиваться лицо у Чубарева.

— Обрадовал! Вот это озарение, одним махом восьмерых побиваxом! Так я и знал, что тут добром не кончится! — Чубарев ошарашенно подался назад, но тотчас закаленная в схватках воля бросила его вперед.—У меня почти полностью переналажены линии, цехи! Запуск в серию утвержден на Политбюро, мне каждый день приходится докладывать о готовности! Именно к производству «Ш-28»! И потом, отличный же двигатель! Правительственная комиссия...

— Комиссия! Комиссия! — внезапно сердито почти выкрикнул Шилов, и уши у него еще больше оттопырились и покраснели.— Для меня самая авторитетная комиссия — моя совесть конструктора! Мне кажется, что ресурс двигателя можно довести до двухсот с лишним часов...

Пока Шилов, приглушая голос, говорил, Чубарев слушал, опустив голову и ни на кого не глядя; едва заслышав о двухстах с лишним часах ресурса, он недоверчиво хмыкнул и не отрывал больше глаз от лица Шилова; Муравьев же, сдерживаясь, стараясь не сразу вмешиваться, однако, весь стал как-то суше и еще печальнее. То, о чем велась речь, пожалуй, меньше всего сейчас касалось лично его; все эти страсти относились теперь уже к прошлому его ведомству, но он был сильно задет уже тем, что новая возможная удача прет опять почему-то все тому же Чубареву и что у этого сумасшедшего Шилова, чокнутого как в работе, так и в личной жизни (кому бы еще простили недавнюю третью жену!), озарение вспыхнуло именно теперь, когда директором утвердили Чубарева. Шилова он знал не хуже Чубарева, и в его мозгу помимо воли и желания уже сами собой складывались, цепляясь друг за друга, самые различные комбинации. Мастер неожиданного маневра, рискованного, но десять раз отмеренного (без чего, впрочем, на его месте и нельзя было долго продержаться), Муравьев безошибочно понимал, что дело заваривается архикрупное, и удивлялся только тому, что этот матерый волчище Чубарев прикидывается простачком и несет бог весть какую непрофессиональную ахинею. Первые же слова Шилова, сказанные в присутствии трех человек, уже определили дальнейшее; внутренне Муравьев весь по-

добрался; в душе у него неистребимо жило затаенное преклонение перед безрассудно смелой, широкой, безоглядной раскованностью таланта, он и завидовал, и восхищался, и, как подобает всякому уважающему себя чиновнику, давил эту смелость и широту, загонял ее в узкие рамки бюрократических стандартов, но нюх на талант у Муравьева был необычайный, и чутье его никогда еще не подводило, хотя ставки он делал иногда самые рискованные. Но и Чубарев, засекший в свою очередь «стойку», как он про себя выразился, Муравьева, уже алчно поглядывал на Шилова взглядом собственника.

— Больше двухсот часов, а? — азартно блестя глазами, подзадорил он Шилова.— Не накидываешь сгоряча, Андрей Павлович? Значит, есть за что голову на плаху? Или на мыло?

— Ну, разговор, ну, разговор! — пробормотал Шилов.— Олег Максимович, во-первых, и то, что есть, не мыло, а во-вторых, я не могу ошибаться, я тут действительно голову на плаху положу. Посмотрите,— полез он в карманы за расчетами, с досадой выхватывая и опять засовывая назад ненужное.

— Не здесь, не здесь, Андрей Павлович, подожди чуток,— остановил его Чубарев,— потолкуем тихо, не торопясь, можно за вашим любимым чайком...

— Действительно, нужна ли такая поспешность? — в свою очередь подал голос и Муравьев, уже вполне овладевший собой и теперь игравший брелоком от часов.— Может быть, не стоит рубить сплеча, стоит еще раз хорошенько проверить?

— Павел Андреевич, можно ведь говорить прямо,— тотчас принял скрытый вызов Шилов.— Я не сумасшедший, прекрасно понимаю, каша заваривается густая. Что теперь? Лучше уж сразу, убыток окажется куда меньше. Такова уж наша доля, коли нужно и свое любимое чадо не пожалеть, даже слопать при случае. Пожалеть никак нельзя,— заморгал Шилов,— вот это было бы уже преступлением.

— Что же вы предлагаете? — меняя тон, сухо спросил Муравьев.

— Я доложу где надо свои соображения.— Шилов, не ища ни у кого поддержки, говорил сдержанно, глядя прямо перед собой.— Думаю, Олег Максимович, необходимо приостановить все работы по запуску в серию «Ш-28».

— Ах, как просто все решается! Что останавливать-то, дорогой мой, когда все готово, на взводе? — Чубарев не сдерживал больше своего густого, рокочущего баса.— Нет уж, прошу к столу! Нет уж, нет, привязать себе камень на шею и бросаться с палубы я еще успею! Как старый пират, я раньше хочу рому! Прошу! Вы, Андрей Павлович, тоже! Тоже! Теперь уж не отсидитесь за самоваром. Ишь чаехлёб нашелся... Теперь уж за самовар всей правительственной комиссией усядемся. Вы свое сделали, слово, как говорится, за республикой. У нас в запасе еще минут пятнадцать найдется... Прошу всех налить!

Шилов дернул плечами, хотел что-то сказать, передумал и нехотя налил себе коньяку. Действительно, мавр сделал свое, слово теперь за дожами.

Не проронивший за все время ни единого слова, но очень внимательно за всем происходящим наблюдавший Лутаков отлично видел, что Чубарев, этот никогда не теряющийся, редко выходящий из себя человек, на этот раз выбит из колеи, и это в памяти Степана Антоновича отложилось про запас, тем более что у него имелось и свое мнение, в чем-то и не совпадающее с общепринятым; он подосадовал, что отвлекся в важный момент по пустякам, тотчас сориентировался, хотя его душевное спокойствие на этом и кончалось. Он как бы остался совершенно один; густой беспорядочный ветер выл вокруг, бушевало сбесившееся пространство, и он оказался совершенно на юру, торчал один на один с разбушевавшейся стихией, отделившей его от всех остальных. Он всегда знал, что это когда-нибудь случится, что от этих фанатиков противоядия нет.

Дружески, ровно всем улыбаясь, Лутаков тем не менее поднял свой бокал и, увидев приближавшуюся вместе с Верой Дмитриевной жену Брюханова Елену Захаровну, шагнул ей навстречу, приглашая к столу; он всегда откровенно восхищался Брюхановой.

— Что-то случилось? — сказала Вера Дмитриевна, поправляя очки, и, тревожно обежав взглядом лица, задержалась на спокойном и, как всегда, твердом лице Лутакова.

— Ничего не случилось, Вера Дмитриевна, прошу вас, вот бокал,— сказал он, обнажая в улыбке ровные зубы.— Старые пираты делят ром. И вы, Елена Захаровна, прошу, прошу... Пираты пьют за женщин!

— Так, значит, дело дошло уже до рома? — с чуть угрожающей интонацией повернула к мужу Вера Дмитриевна смеющееся лицо.

— Да, Верушка, добрались до рома.

— А можно женщине произнести тост? — вдруг с вызовом спросила Аленка.— Знаете, сегодня мне захотелось быть заводским врачом у Чубарева. Или медсестрой в медсанчасти завода. Тогда какая-нибудь из этих труб,— она кивнула в сторону макетов,— принадлежала бы частично и мне. Наверное, каждый, кто с вами работает, Олег Максимович, чувствует то же, что я сегодня. За вас!

— Спасибо, Елена Захаровна. Что же Тихон Иванович не приехал, обещал ведь?

— Очень занят,— сказала Аленка,— принимает дела.

Чубареву принесли в это время целую пачку телеграмм, и он тут же стоя стал их просматривать. Много телеграмм было с Урала, от знакомых и даже незнакомых директоров заводов, из министерств и главков, и лицо Чубарева светлело, когда в конце телеграммы встречалось близкое, дорогое имя. Принесли телеграмму от Брюханова, от Рости Лапина; оба сетовали, что из-за стечения чрезвычайных обстоятельств не могут приехать и обнять его лично. Чубарев прочитал и недоверчиво хмыкнул: «Как будто можно обнять как-то иначе»,— подумал он, хотя эти две телеграммы были ему особенно приятны. Он сунул их в карман и оглянулся на гостей, но никто уже не нуждался в нем, все были заняты своим, все были веселы, хмельны, все о чем-то спорили, что-то разноголосо, вразнобой, обсуждали. Выхватив из разноликой массы лицо Шилова, напряженно и резко размахивающего рукой перед внимательно слушающим Муравьевым, Чубарев быстро пошел к ним.

16

Странный, угрюмый город с высоко уходившей в ветреное небо бесконечной ажурной стальной башней в центре, вызывавшей у людей непривычное чувство бескрылости, уже начал прорисовываться посреди безлюдного каменистого плоскогорья. Все здесь от начала и до конца строили в секрете от остального мира, строили, тщательно просматривая каждую де-

таль, каждый кирпич; и старый карагач, исхлестанный за долгие десятилетия стремительными частыми буранами, жадно вытягивающий цепкими корнями скудную влагу на большой глубине, и в эту весну, как обычно к теплу, покрылся мелкими неяркими цветами. Они напоминали густо пробивавшиеся сквозь золу полузатухшие угли; именно эти угасающие цветы указывали на исполинскую силу выживаемости породы. Солдаты-строители, проходившие вблизи карагача бетонированную глубокую траншею, дивились цветущему, уродливому, мощному стволу, прочно гнездившемуся посредине безрадостной, однообразной пустыни. Он был очень стар, совершенно голый, без листьев, весь оплетенный вздувшимися древесными венами, он таил в себе какой-то вызов, и солдаты, особенно молодые, откликаясь на эту тревожащую их сознание тайну, то и дело поглядывали на карагач; в их крови тоже тек смутный зов и отрицание этой мертвой пустыни. Потемневшая от обжигающего, яростного весеннего солнца их кожа молодо, влажно блестела; трогая цветы на темной, мертвой коре карагача, солдаты неуверенно переглядывались. Они чувствовали свое неразделимое единство с цветущим деревом, с этой выжженной землей, полого уходившей к бледно синеющим горизонтам, с жидким, сквозящим небом (в нем где-то очень высоко всегда чувствовался сильный ветер), с тем непонятным строительством, истинного значения которого в этой пустыне никто из них представить себе не мог, хотя, разумеется, ходили самые разные, порой нелепые в своей противоречивости слухи. Неподалеку, примерно в километре от старого карагача и засмотревшихся на него солдат, заканчивался монтаж металлической ажурной вышки; люди на ее вершине, неприметно раскачивающейся высоко над землей, ползали крошечными муравьями, горячечными точками время от времени вспыхивала сварка.

Озабоченный генерал, хозяин строящегося полигона, облетавший в этот яркий весенний день свои обширные владения на вертолете, по своей занятости, конечно, не видел и не мог видеть ни старого карагача, ни солдат возле него, на какое-то время оторвавшихся от работы, но именно он, как никто на всем обширном пространстве, видел целое и сознавал его значение и конечный смысл. Ему был подчинен этот объект, и требование абсолютной секретности еще больше

усложняло его задачу, и, несмотря на умение и опыт, генерал всегда, каждую минуту своего пребывания здесь, был готов к любой неожиданности. Сейчас, сверху, он видел разворот свершавшегося, и хотя все шло строжайше по утвержденному графику, его не покидало чувство опасности, незавершенности; постоянно тревожила мысль, что к концу срока полезут обязательные просчеты и недоделки; но, с другой стороны, он по своему же опыту знал, что в таком всеобъемлющем замысле не может быть все гладко и что это понимает не только он, но понимают и наверху, это несколько успокаивало. Каким-то шестым чувством он надеялся, что к сроку все окажется в порядке, если необходимое движение будет осуществляться ежедневно и ежечасно с точностью маятника, что в комплексе все самые разнородные намеченные к осуществлению программы будут безукоризненно пригнаны друг к другу и сольются в одно целое, что для этого работает множество людей, самых блестящих умов, что страна, в послевоенной разрухе и бедности отказываясь от самого необходимого, все-таки смогла свершить этот невероятный шаг и теперь через два-три месяца предстояло поставить логическую точку. Знал он также, что последние месяцы проскочат, как один миг, что не успеешь оглянуться — и начнут съезжаться эксперты, ученые и военные, наблюдатели и комиссии, и все это разношерстное и единое по своей сути хозяйство придется размещать и устраивать, и что...

Этих «что» было много; даже он, начальник строящегося объекта первостепенной государственной важности, к которому стекались самые дотошные сведения, вплоть до появления в запретной зоне отставшего от людей одичавшего верблюда и до ссоры двух молодых офицеров в одном из подразделений, не мог всего вспомнить и перечислить. Он верно угадал одно: время прошло мгновенно, травы побурели под безжалостным солнцем, и вот уже лето перевалило за первую половину, покатился к концу и август; на объекте стало необычайно людно и напряженно; не заставили себя ждать и всевозможные комиссии, в том числе и правительственные, с одной из них прилетел и Брюханов с группой специалистов своего главка. Съезжались ученые и военные, спешно дооборудовались наблюдательные пункты, разворачивались

приготовления к различным экспериментам, все что-то просили и требовали, ни у кого не хватало ни пространства, ни отведенного по графику времени.

За несколько суток до условного часа «Ч» на объект прибыл со своими людьми и многочисленными, специально сконструированными для данного испытания приборами и Лапин Ростислав Сергеевич, спешно прервавший свой летний отдых и отменивший намечавшуюся поездку на торжество к Чубареву, о чем он и сообщил в Холмск телеграммой; Лапин появился на объекте взъерошенный, сердитый, его слишком поздно известили о предстоящем, устройства, аппаратуру для экспериментов пришлось разрабатывать буквально за считанные недели; и сам Лапин, и принимавшие участие в выполнении программы ближайшие его помощники буквально валились с ног, но все были готовы не спать еще и неделю, и месяц, и год: эксперимент предстоял уникальный, необычный и стоил того. Лапин лишь возмущался, что из-за своей спешки и сверхзасекреченности, «страусовой дипломатии», как он ее называл, наука теряла гораздо больше, чем могла бы потерять, если бы дали возможность подготовиться к экспериментам не спеша, обстоятельно и если бы ученые знали заранее, в каком конкретно направлении им нужно было работать. Вскоре, правда, все постороннее отступило, рассеялось, время понеслось вскачь. Для выполнения определенной, специальной части измерений Лапину и его коллегам отвели наблюдательный блиндаж, главная, основная часть исследований, касавшаяся непосредственно радиофизики, была столь обширна, что все оставшееся время ушло на подготовку и размещение аппаратуры. Лапин не успел даже накоротке повидаться с Брюхановым.

Когда кто-нибудь из его группы начинал особенно ворчать на тесноту и неудобства, Лапин примиряюще успокаивал:

— Ну, голубчик, зачем лишние эмоции? Вы же видите, вся наука представлена здесь, нас, жаждущих приобщиться к таинству, много, а жизненного пространства каждой отрасли отведено минимум. Надо тесниться, ничего не поделаешь...

Лапин умел работать сам, умел организовать процесс, но здесь явно не хватало ни времени, ни сил, и примерно за сутки до часа «Ч» он понял, что необходимо хотя бы недолго поспать. Предупре-

див на всякий случай, где его искать, он приказал всем отдыхать и вышел из блиндажа, буквально по завязку набитого множеством регистрирующих приемных устройств, и прошел под навес, к топчану за жиденькой перегородкой из авиационной фанеры. Сбросив туфли, он блаженно потянулся, не раздеваясь, лег и тотчас в узкую щель в стене (раньше он ее не замечал почему-то) увидел на ярком, синем, солнечном горизонте какой-то высокий силуэт. Присмотревшись внимательно, он понял, что это дерево, старый карагач. Лапин сразу вспомнил, что уже несколько раз видел его издали, но не обращал внимания. Его сейчас привлекало это дерево, может быть, своим подчеркнуто резким одиночеством в солнечном утреннем небе; Лапин по еле приметному издали движению вершины понял, что дует сильный западный ветер. «Плохо, плохо, что ветер»,— подумал Лапин и закрыл глаза; мелькнула мысль о доме, о дочери, и он тотчас провалился в сон, даже в этом бесконечном падении все еще продолжая убеждать себя, что ему нужно проснуться ровно через два часа. Ему показалось, что он открыл глаза, как только оборвалось это неприятное, ноющее чувство падения; сердце билось часто и неровно, и он полежал еще, не шевелясь, стараясь успокоить дыхание. В щель резко врывался сухой ветер, солнечные пятна неровно дрожали на переборке. И чей-то знакомый голос несколько раз раздраженно крикнул:

— Валька! Валька! Сабиев, черт, куда делся Валька? Не могу найти селеновых выпрямителей. Куда делся Валька, черт бы его побрал, этого невидимку!

Легко сбросив ноги с топчана, Лапин сел. Ах, да, да, вспомнил он даже с какой-то нетерпеливой радостью. Час «Ч», жизнь здесь определялась всеобъемлющим часом «Ч», этим всеми нетерпеливо ожидаемым всплеском первородных сил космоса. Удивительно это неудержимое желание человека заглянуть в самую первооснову всего сущего, вдохнуть в себя эту ярость творения, измерить ее и обосновать, заковать в формулы и с этих ступеней вновь устремиться дальше, к новым тайнам и свершениям...

Лапин Ростислав Сергеевич знал немало, немало мог, любимым его изречением были слова Менделеева о том, что наука бесконечна и что каждый день привносит в нее все новые и новые задачи, и поэтому,

вероятно, он опять почувствовал сердце. Он нахмурился, натянул туфли, нахлобучил от солнца легкую, в частых дырочках, шляпу. Нужно было еще раз самому выверить всю схему разработанной программы, окончательно уточнить все с другими расположенными за сотни и даже тысячи километров особыми группами наблюдения за дальними характеристиками предстоящего взрыва. Он взглянул на часы, было без пяти десять; до намеченного срока оставалось менее суток, и нужно было торопиться. Лапин налил из термоса горячего кофе с молоком, с нескрываемым наслаждением выпил редкими, небольшими глотками, уже четко определяя и разграничивая задачи для каждого из своей группы; он тотчас включился в работу, и день промелькнул мгновенно. Вечером все находящиеся на полигоне были дополнительно проинструктированы о соблюдении правил безопасности, были окончательно закреплены за каждым его место и обязанности, уточнено, выверено до последних мелочей расписание.

Весь день дул резкий, упорный северо-западный ветер, к вечеру он еще усилился, и стала копиться гроза; резко прыгали по всему видимому пространству темные шары перекати-поля. Тучи натягивало неуклонно, стали проскакивать молнии, все теснее стягиваясь, словно к центру, к тридцатиметровой стальной башне, на самом верху которой уже была установлена, подключена к линии подрыва и стала жить первая советская плутониевая бомба, и каждый, кто об этом знал, с замиранием сердца следил за пляшущими вокруг металлической вышки, слегка раскачивающейся под ударами грозы и ветра, молниями.

Лапин вышел из блиндажа, где происходила последняя настройка и наладка различных приемных устройств, уже перед самым вечером; несмотря на закрытое грозовыми тучами небо, чувствовалось, что солнце вот-вот зайдет. Темной, косматой, тревожной тенью, чуть не утопая вершиной в несущихся тучах, выгибался старый карагач. Было душно, Лапин раздвинул ворот рубашки, подставляя потную грудь ветру, отыскал взглядом вышку, обозначенную цепочкой взбегающих в тучи редких электрических огней, обрывавшихся в темноту. Там, высоко над землей, ожидая своего мгновения, покоился непостижимый по силе концентрации первородный сгусток энергии, заключенный в хрупкую рукотворную оболочку.

Несколько секунд Лапин прислушивался к неистовству грозы и ветра, он знал, что сейчас везде на полигоне царит беспокойство, и сам невольно при каждой новой вспышке молнии в непосредственной близости с металлической башней всякий раз напрягался. Погода для предстоящего была явно неудачной, ветер нес крупный песок, сек лицо, поднятые в небо с приборами аэростаты для фиксирования характеристик взрыва начало срывать. Казалось, именно вокруг вершины башни, ставшей словно средоточием мира, толкались, клубились, вращались тучи. И постепенно какое-то особое, ни с чем ранее не сравнимое состояние тревожного и вместе с тем нетерпеливого ожидания необычного, страшного и вместе с тем праздничного таинства охватило Лапина; он стоял, не замечая ни ветра, ни грозового неба, мелькнула мысль о дочери, к которой он привязывался все больше, и исчезла. Мир еще ничего не знал, но пройдет всего лишь одна-единственная ночь, и многое изменится, произойдет необратимая перестановка самых различных противоречий, выплывет на поверхность и надолго утвердится на первом плане, а то, что вчера казалось незыблемым, начнет ссыхаться и уйдет в небытие. «Да, да,— думал Лапин,— завтра утром в мир ворвется еще одна лавина, пойдет неудержимо, стремительно разрастаться, и никто даже примерно не может рискнуть предсказать ее самые ближайшие и дальние последствия...»

Ему в ноги жестко ткнулся шар перекати-поля, он живо нагнулся, хотел подхватить его и не успел; ветер мгновенно сорвал с него шляпу, и Лапин, невольно бросившись было следом за нею, махнул рукой. «Пусть ее летит,— подумал он,— удобная была штука, бог с ней... Что это у меня мелькнуло? Так, ионосфера... Надо полагать, этот взрыв должен ее порядочно возмутить, так? Так. Поднимется просто фантастическая электромагнитная буря, могут оглохнуть радиостанции; локаторы, надо полагать, тут же ослепнут; все это крайне интересно, одной бомбой можно вызвать радиокатастрофу, уважаемые коллеги, да, да,— по привычке полемизировал со своими воображаемыми оппонентами Лапин.— И что из того? В войне, на современном уровне ее ведения, это может обернуться катастрофой, поражением. Так? Так. А где выход? Только один: выйти за пределы атомного взрыва. Использовать для передач, как мост, хотя бы луну, на-

пример. Да, если она в нужной стороне... а если переключить внимание на сами приемники? На очень высоких частотах, близких к частотам света? А? Ну, да ты еще, старик, оказывается, молодец, вон куда еще залетать можешь»,— похвалил себя Лапин, окончательно примиряясь с утратой шляпы.

В эту ночь все равно нельзя было заснуть хотя бы на несколько минут, и Лапин остался стоять под резким, устойчивым ветром, пытливо-вопрошающе вглядываясь в уже потемневшее небо, стремительно перемещавшееся куда-то в пустынное пространство юго-востока, к центру бывшей Гондваны, распавшейся затем на материки. От усталости и перенапряжения последних дней он не мог сосредоточиться на какой-то одной мысли; ему казалось, что-то важное, то, что ему необходимо знать, ускользает, и он продолжал упрямо впитывать звуки и запахи, суету людей и их затаенное, терпеливое, многочасовое ожидание; ему теперь казалось, что над всем миром царит один-единственный звук, рождавшийся где-то вообще за пределами мыслимого пространства. Он поежился, засунул руки в карманы плаща, как-то нежданно-негаданно явились мысли о возрасте, заныл висок, мелькнула чья-то глумливая, дразнящая рожица, как бы предупреждавшая, что особенно разгоняться не стоит, отрезочек-то впереди остается совсем малюсенький. Опять мелькнула мысль о беспредельности и невозможности полного, всеобъемлющего знания, в этом тоже был свой смысл, своя тайна, строго охраняемая первичностью всего сущего — самой душой материи, тем ее состоянием, той зыбкой и всемогущей границей, на которой и происходит таинство рождения миров, то вечно творящее состояние безмерного космоса, для которого нет ни времени, ни пространства, а есть лишь одно постоянное и бесконечное состояние созидания, то самое состояние, прорубиться в которое все более и более настойчиво пытается слабый, как мимолетная искра, человек...

Кто-то позвал Лапина в блиндаж, и он, рассеянно откликнувшись и пообещав: «Сейчас, иду, иду», остался было стоять.

— Ростислав Сергеевич, товарищ Борода приехал! — позвал его тот же голос, и Лапин заторопился назад, к приземистым сооружениям Южного наблюдательного пункта и еще издали узнал Курчатова.

Здороваясь, они, к благоговейному удивлению молодых сотрудников из группы Лапина, расцеловались.

— Как погодка-то, Ростислав Сергеевич? Хороша? — спросил Курчатов, то и дело прихватывая сбивавшуюся в сторону от ветра свою длинную, жидкую бороду.

— Хороша-то хороша,— ответил Лапин, сразу уловив в шутливом тоне Курчатова владевшую всеми тревогу,— а что, немного переждать, Игорь Васильевич, никак не возможно?

— Рад бы в рай, да на этот раз не получается,— живо глянул из-под насупленных бровей Курчатов, упрямо и сердито, не отворачиваясь от ветра, и тут же, без паузы, продолжил прерванный появлением Лапина разговор с кем-то из военных.

Лапин, не любивший суеты и многолюдства, отступил в сторону. Он понимал, что значили для Курчатова в этот день обычная его простота и ровное спокойствие в общении с окружающими его людьми, сам он ни за что, ни за какие блага мира, не хотел бы оказаться сейчас на его месте; он никогда не поднял бы такую махину, не смог бы выдержать такого фанатичного самосожжения, почти неограниченной власти. То, что он испытывал сейчас к Курчатову, не было простым любопытством, тем более завистью; легенды, окружавшие этого человека, тоже мало интересовали Лапина. Он понимал, что для Курчатова, отсекавшего до этого часа любые сомнения, неизбежно наступит новый отсчет времени *после* бомбы и он, в силу исторической необходимости ставший ее автором, окажется на новом рубеже: категории *надо* больше не существует. О чем он думал сейчас, потомок обыкновенных русских крестьян, ученый, почти неизвестный народу и как никто другой сейчас глубоко вторгшийся в его судьбу? «Все вздор, все, очевидно, по-другому»,— сказал себе Лапин и уже намеревался было подойти к Брюханову, но в это время Курчатов, собираясь уезжать, оглянулся и они встретились взглядами. Это длилось мгновение, но, как это иногда бывает между хорошо и давно знающими друг друга людьми, оба они ощутили тяжкое и радостное сцепление друг с другом, с размеренным, неостановимым ходом жизни, в общем-то и не зависящей от усилий любого отдельного человека. Затем Курчатов сразу же пошел к машинам, где его ожидала многочисленная свита.

И Лапин, глядя ему в спину, разумеется, не мог знать, что эта короткая, мимолетная встреча, в которой они обменялись всего лишь несколькими незначительными, казалось бы, фразами, была для Курчатова своего рода толчком и он уже в машине сосредоточенно хмурился, вспоминая и анализируя последний разговор со Сталиным; он словно слышал его глуховато-размеренный, спокойный голос; пожалуй, никто так хорошо и близко не знал, какую роль сыграл в тяжелейшей атомной гонке именно лично Сталин, сразу же после Потсдама понявший размер и характер задачи и безошибочно точно определивший, что в данном деле все зависит от тесного объединения науки и промышленности, от слияния их, по сути дела, в один организм, с единым мозгом и кровеносной системой...

Курчатов почему-то вспомнил, как несколько дней назад ему с начальственной самоуверенностью заявили, что бомба не взорвется, и он от удивления лишь посмотрел на говорившего, избегая останавливаться на его резком, выказывающем крайнее раздражение лице со злыми губами, и с нескрываемым вызовом бросил:

«Не беспокойтесь, она взорвется».

«Ну, товарищ Курчатов, вы как знаете, а я сегодня же вылетаю в Москву,— услышал он в ответ.— Мне докладывать надо».

«Ни один человек до завершения испытаний не покинет зону»,— устало и равнодушно предупредил Курчатов.

«Что?! — неожиданно побагровел его собеседник.— Вы имеете в виду и меня?»

«Несомненно, и вас тоже,— буднично подтвердил Курчатов, хотя хорошо знал власть, характер и, главное, мелочное злопамятство этого человека и в другой момент вряд ли бы решился пойти на открытое обострение.— Раз уж мне вверены чрезвычайные полномочия, я вынужден был отдать во избежание всяких недоразумений именно такой приказ. Он касается всех без исключения, этого требуют государственные интересы».

«Да вы знаете...» — собеседник Курчатова внезапно осип, изобразил откровенное изумление, и Курчатов в ответ на его гнев равнодушно пожал плечами, попросил его успокоиться и не мешать работать; сейчас, безотрывно глядя на несущееся под колеса про-

странство каменистого плоскогорья, Курчатов вспомнил детски обиженные, затем гневные, бешеные глаза этого привыкшего к почти безграничной власти человека, словно у него из рук в самый неожиданный момент выхватили бесценную игрушку; это были чудные глаза, увидевшие, пожалуй, как бы крушение мира, впервые проникшие в истину, ни от кого и ни от чего не зависящую, что тоже было своеобразным для него крушением...

Усилием воли Курчатов остановил себя; сейчас, перед самым решительным моментом, нельзя было отвлекаться на пустяки; разумеется, многие, в том числе и сам Сталин, тоже как-то не могли понять до конца всего, отсюда и этот, еще один, последний разговор с ним.

«Сделайте не одну бомбу, а несколько из того же количества плутония. Пусть они будут послабее, это ничего».

«Невозможно, товарищ Сталин. Есть не подвластные человеку вещи. Критическая масса для взрыва плутония — константа постоянная, так же, как скорость света...»

«Создание критической массы зависит от условий,—возразил Сталин.— А нам как можно быстрее нужно догнать в области вооружения господина Трумэна. Без этого мы не сможем существовать как великая держава».

«Товарищ Сталин, делалось и делается все возможное. У нас все будет в достаточном количестве».

«Скорее нужно, скорее, товарищ Курчатов...»

Под колеса машины прыгали темные шары перекати-поля, явно собиравшаяся разразиться гроза отвлекла Курчатова, и он приказал ехать быстрее, все еще мысленно возражая Сталину и уж никак не предполагая, что сердитое, казалось бы мимолетное, замечание Сталина о том, что критическая масса зависит от условий, окажется пророческим и будет блестяще подтверждено уже через несколько лет. Он потом вспомнит об этом, но сейчас предстоящее полностью вытеснило все, что не относилось к самому этому первому атомному взрыву, и он еще раз поторопил шофера. Пришла ночь, в небе гремела гроза, и ночь эта должна была завершиться рукотворным атомным всплеском, смерчем, потому что он был необходим; народ отдал для этого столько, что он не мог не осуществиться, этот всплеск.

А Лапин, проводив взглядом машину своего старого друга, еще раз окинув тревожно темневшее небо и уви-

дев задержавшегося с кем-то Брюханова, вернее, услышав неподалеку его голос, подошел и поздоровался; Брюханов, что-то сказав своим собеседникам, тотчас быстро и радостно шагнул к Лапину.

— Рад вас встретить здесь, Ростислав Сергеевич,— оживленно сказал Брюханов.

— Я и сам чертовски рад, Тихон Иванович,— так же приветливо и весело ответил ему Лапин, здороваясь.— Дождались наконец и мы светлого воскресенья.

— Ну, это кому как,— шутливо засомневался Брюханов.— Надеюсь на скорую встречу в Москве, Ростислав Сергеевич, и все, что вы мне говорили, помню. Я, разумеется, все, что могу, пытаюсь продвинуть,— быстро добавил он.— Но, сами понимаете...

— Ах, как это нужно... хотя бы еще два-три пункта в тех местах, где помечено, Тихон Иванович...

— Деньги, деньги, Ростислав Сергеевич.... Вон,— кивнул Брюханов в сторону ажурной, уже не видимой в сумерках башни,— все сразу сожрала... Наверстаем, Ростислав Сергеевич...

— Тихон Иванович,— остановил его Лапин.— Еще вопрос, правда, мелочный, но для меня достаточно серьезный. Я человек немолодой, и у меня есть свои принципы...

— Ростислав Сергеевич, что-то не похоже на вас. Говорите прямо, что случилось?

— Я хочу знать: с вашего ли ведома действует ваш заместитель Павел Андреевич Муравьев?

— То есть в чем, разъясните, пожалуйста? — попросил Брюханов, стараясь припомнить все, что знал и что касалось института Лапина и его самого, но ничего тревожащего припомнить не мог.

— Понимаете, Тихон Иванович, меня возмутило последнее дело... Он понуждал меня взять в институт каких-то четырех аспирантов, представьте, мне пришлось самому беседовать с ними, но это же ни в какие ворота не лезет! Он упоминал вас, какие-то общие интересы... но, простите, у всех у нас есть родственники, хорошие знакомые и даже, вероятно, общие интересы.— Лапин, заслоняясь от сильного, порывистого ветра, возбужденно замахал другой рукой в сторону теперь уже совсем скрывшейся во тьме ажурной стальной башни с атомным яйцом на самом верху.— Если вот эти интересы, то — пожалуйста, а если другие... Я хочу с самого начала... пусть у нас не будет больше недора-

зумений, Тихон Иванович. Там, где страдают интересы науки, для меня не может быть выбора...

— Вы зачислили их в штат? — спросил коротко Брюханов.

— Разумеется, нет,— возмутился Лапин, и даже брови у него резко дернулись.— Расточительность мецената мне не по карману, у меня нет для этого ни возможностей, ни времени!

— Прекрасно,— одобрил Брюханов.— Почему же вы так волнуетесь?

— Да, но чего мне это стоило? — в свою очередь удивился Лапин.— Я ведь не привык к такой китайской стратегии, я всего лишь ученый.

— Обязательно разберемся, Ростислав Сергеевич, а теперь...— Брюханов крепко пожал руку Лапину и словно провалился в темноту.

— Слышите, ничего, совершенно ничего не скрывайте из нашего разговора! — крикнул ему вслед Лапин и, чтобы несколько успокоиться, прошел к себе, включил небольшой миниатюрный приемничек, сконструированный и подаренный ему одним из учеников, поймал далекую музыку Моцарта и несколько минут слушал; Моцарт на этот раз не помог. Явно не хватало в эту ночь открытого неба над головою, и даже легкие перегородки, отделявшие его от свободного пространства, были непригодны и давили. Он выключил приемник, встал и вышел; ветер дул с прежней силой, Лапин почти задохнулся, когда ветер хлынул ему в легкие. Было уже далеко за полночь; Лапин безнадежно смотрел в темное небо, пытаясь заметить хоть одну-единственную звезду, но лишь смутно угадывал неостановимое движение стихий. «Плохо, плохо, ах, как плохо»,— подумал он и в этот момент услышал резкий, отчетливый голос, заливший все пространство полигона:

— До взрыва осталось три часа сорок семь минут!

Лапин торопливо потянул руку со светящимся циферблатом часов к глазам; взрыв переносился на час раньше, на семь утра; и с того мгновения, как прозвучал оповестивший об этом голос Курчатова, начался неостановимый обратный отсчет, и оставшееся время, как показалось и Лапину, и другим, пролетело мгновенно, и когда в увеличивающейся, несмотря на шум ветра, давящей тишине грянуло: «Ноль!», Лапин прильнул к наблюдательной амбразуре. Несмотря на толстые защитные темные очки

(без них даже в укрытиях находиться запрещалось), его больно ударил по нервам невиданный, ни с чем не сравнимый свет. Но он, если бы и захотел, не смог бы закрыть остановившихся, жадных, все вбирающих глаз; перед ним было всесокрушающее торжество вспыхнувшей, превращавшейся в лучистый, стремительно увеличивающийся сгусток материи, перед ним был безумный момент сотворения Вселенной, и невыносимые, сияющие черные молнии то и дело пронизывали ослепительную желтую, розовую, синюю, голубую ревущую массу, заполнившую, а затем и поглотившую древнее азиатское небо. Лапин, разумеется, не мог видеть, как плавились и в одно мгновение вспыхивали расставленные недалеко от эпицентра артиллерийские батареи, танки, как, слабо засветившись в общем безумии, исчез, рассыпался старый карагач, как выгорали вместе с помещенными в них подопытными животными и разнообразной техникой массивные бетонные сооружения, имитирующие оборонительные укрепления и различные постройки; расширившиеся от какого-то первобытного ужаса и восторга глаза Лапина не могли оторваться от пухнущего, уходящего гигантским, все более разбухавшим куполом ввысь, переливающегося всеми мыслимыми и немыслимыми цветами исполинского огненного вздутия. Раскололась сама первозданная твердь космоса, в ее бездонных провалах появлялись, дразня, исчезали и появлялись опять беспорядочные осколки неведомых, далеких миров; беспредельное освобождение превратившейся в стремительный свет материи прорывало завесу времен и являло свою оборотную сторону — алые, фантастические пики вершин, гигантские разломы, бушующие непередаваемыми цветами надзвездные океаны, дивные скопища неземных, на глазах рушащихся и вновь воссоздающихся видений, фантастические по своим невообразимым очертаниям миражи...

Кто-то рядом с ним неестественно высоким криком сообщил, что приемники захлебнулись, но он почти не обратил на это внимания; он это заранее знал и в ответ на тревожное сообщение пробормотал что-то успокаивающее, что-то вроде: «Успокойтесь, успокойтесь, голубчик, так и должно быть, не иначе».

Он не мог больше смотреть на это безумное торжество распада, на этот ликующий призрак творе-

ния, не мог, но смотрел, и когда поглотивший мир огонь начал темнеть, и подземный гул и грохот стали длинными волнами пронизывать каменистую землю, Лапин отвернулся от амбразуры.

Натолкнувшись на чьи-то очень знакомые глаза, он словно увидел в них отражение собственного ужаса и восторга; он узнавал и не узнавал эти глаза.

— Это было прекрасно,— сказал Лапин с напряженным лицом, оглядывая в одно мгновение потрясенный мир: вышедшие из строя приборы, лица сотрудников, детали тяжелых перекрытий.— Это было прекрасно,— повторил он еще раз, подчеркивая свою мысль, стараясь, чтобы его поняли правильно.— Смерти в природе нет, ее придумали люди, чтобы оправдать ее для себя... но ее-то нет, мы это сегодня видели.

Брюханов, оказавшийся в это время рядом с ним, посмотрел на него непонимающе и отстраненно.

Без малого четыре года назад над городом Хиросимой, в котором, боязливо прижимаясь по случаю войны и ожидаемой бомбежки к стенам домов, дробно семеня ножками в полах кимоно, пробегали ловкие, грациозные японки, вспыхнуло, расплавилось небо, беспощадный меч одним взмахом рассек историю человечества; время потом станут исчислять до Хиросимы и после нее... И первенство в этом принадлежит стране, издавна считавшей себя великой, свободной вообще и свободной в частности от всяких предрассудков, к тому же самой демократичной, что блестяще и подтвердилось; росчерк атомного меча был сделан решительно, без всякой ложной застенчивости и псевдозначительных поклонов в сторону гуманизма; хрупкие японки остались кое-где на стенах и на тротуарах в мягких, размытых силуэтах, словно застывшие тени, а в тех, кто был подальше от эпицентра взрыва и кто остался жить, как таинственный и неизлечимый яд, бесконечно передающийся от отца к сыну, уже были заложены необратимые изменения в самой основе основ жизни; в миллионы веков вырабатываемую, в ревниво хранимую природой в неприкосновенной тайне формулу живой жизни, не принадлежащую отдельно ни одному поколению или веку, было совершено сознательное, а потому особо кощунственное вторжение. Чаши весов дрогнули, и самый совершенный аппарат жизни —

мозг человека — с его почти безграничным потенциальным могуществом совершил ничем не оправданное святотатство, совершил преступление и осквернил основы основ самой жизни и даже самой материи. Безнравственность этого поступка была настолько безгранична, что ее сразу нельзя было осознать, и ее осознание будет потом продолжаться долгие годы.

Когда очередному, тридцать третьему президенту Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэну доложили, что над территорией Русской Азии произведен атомный взрыв, он в душе подверг это сообщение довольно мучительному сомнению. Президенту Соединенных Штатов, самой могущественной страны мира, на какую-то долю секунды стало невыносимо жарко, потому что и ему не было чуждо ничто человеческое. Он только сейчас почувствовал дыхание вечности, и атомная вспышка четыре года назад словно отразилась в его глазах; у него остановилась кровь, он понял, что именно этой мгновенной вспышкой над Хиросимой причислен к вечности. И еще, так как он был всего лишь человек, в нем тотчас словно сработала какая-то счетная машина, выбрасывающая из себя вариант за вариантом последствия этого случая уже лично для него самого, для его президентства на следующий срок, для его отношений с партией, сенатом, конгрессом, оппозицией, с военными и еще множество всяких сложностей, составляющих жизнь такого крупного по положению человека, как президент Соединенных Штатов Америки. От этого чувства ему стало неприятно, и он покосился на доктора Буша, приехавшего несколько минут назад по его вызову, словно проверяя, не заметил ли его смятения этот ученый муж, стоявший вот уже несколько лет во главе крупнейшего научно-исследовательского ведомства Соединенных Штатов Америки, и тот сделал вид, что ничего не заметил, и продолжал тщательно, по каким-то одному ему ведомым признакам, выбирать сигару в ящичке на круглом столе, затем небрежно сунул ее в верхний наружный карман пиджака; доктору не нравились дилетантские суждения высокопоставленных генералов и сенатора, присутствующих тут же, раздражал их тон, но он по-прежнему, как и в самом начале разговора, был невозмутим, корректен, сдержан и лишь слегка ироничен; он чувствовал, что президент свое глубокое, наглухо закрытое беспокойство и недоволь-

ство переносит частично и на него, как будто он, доктор Буш, был виновен в том, что русские взорвали свою атомную бомбу намного раньше прогнозов американских военных и специалистов. Вторая причина, вызывавшая недовольство и у президента, и у сенатора, была уж и совсем смешна. Словно оттого, что он, доктор Буш, согласится с их сомнениями в реальности происшедшего и подтвердит, что это, может быть, еще не атомный взрыв, что-либо может измениться. А произошло самое обыкновенное дело, расчеты на монополию, как и надо было ожидать, рухнули, пусть несколько неожиданно. Лучше бы всего на этом и остановиться, поставить точку, согласиться на равновесие сил.

Разумеется, доктор Буш слишком хорошо чувствовал пульс, дающий ускорение и наполнение современной жизни и политике; он лишь подумал о призрачном равновесии сил и ничего не сказал. Тьма, хаос — прародина всего сущего — должны были в конце концов растворить в себе эту слабую искру, высокоторжественно поименованную человечеством, и поэтому никакой остановки, никакого равновесия, равнодействия быть не могло. Птица, у которой почему-либо отказали крылья высоко над землею, должна разбиться, это закон движения, и человек никакое не исключение. Даже президент, обязанный быть выше обычных человеческих страстей, предвидеть и учитывать исторически отдаленные моменты в жизни своего народа и мира, прежде всего — обыкновенный человек, и на него влияют и несварение желудка, и настроение жены. В докторе Буше сейчас столкнулись и ученый, и гражданин своей страны, и человек, от которого в той или иной мере зависело зреющее у президента решение; доктор Буш ясно понимал, что и президенту, и сенатору Ванденбергу, и министру обороны Джонсону было неприятно выслушивать то, что он, Ванневар Буш, вынужден был говорить, и его несколько забавляла растерянность этих людей, стоявших, как они думали, где-то на самой вершине пирамиды. И когда Ванденберг, внушительный, влиятельный и совершенно невежественный в обсуждаемых сейчас вопросах, со смелостью и безапелляционностью профана высказывал умопомрачительные предположения, у доктора Буша нет-нет да и прорывалось в душе насмешливое изумление.

— Нет, нет, это маловероятно,— время от времени

скупо ронял он, и сенатор от этих проколов словно выпускал пар и становился менее объемным.— У космических частиц совершенно другой почерк, сенатор. Совсем иные трэки. Будет ближе к истине, если мы признаем наличие атомного взрыва. У меня почти нет сомнения, что русские взорвали урановую бомбу.

Доктор Буш стал раскуривать сигару, наслаждаясь вкусом хорошего табака, в то же время не упуская ни одного слова из того, что говорил Ванденберг насчет русских шпионов и национальных запасов урана-235, о необходимых мерах безопасности. Краем глаза доктор Буш все время видел фигуру президента и, понимая, что президент сильно расстроен, в какой-то мере даже искреннее сочувствовал ему. То, что произошло, неожиданные данные военной разведки, выражавшиеся в скупых строчках и цифрах короткого отчета, ознаменовали собой поистине необратимые изменения в мире; они коснутся каждого, будь то президент Соединенных Штатов Америки, или этот загадочный и мистический маршал Сталин, или голый туземец с какого-нибудь тропического острова, живущий только за счет своего первобытного инстинкта; неожиданным урановым взрывом где-то над древними каменистыми пустынями Азии непредвиденно замкнулась цепь не только поразительных достижений русских, еще раз на весь мир возвестивших о своем бесстрашии и таланте, но замкнулась и цепь глобальных противоречий. Именно в этой точке эволюция переходила в новое качество, в иную плоскость, и тихий холодок тронул сердце и даже мозг доктора Буша. История не кончалась и не прерывалась, этот ее скачок просто вполне мог стать началом возврата к праматеринскому хаосу, к первобытной тьме, и новый и, быть может, самый критический шаг в ту или иную сторону зависел от этого ординарного человека, волей судьбы ставшего на какое-то время президентом Соединенных Штатов Америки. Это было удивительно, об этом не хотелось думать.

Доктор Буш с достаточной проницательностью угадывал сейчас состояние президента, ошибшегося, вернее, обманувшегося в своих самых сокровенных мечтаниях, на них он думал строить долговременную и грозную политику своего государства и мира, и вот все неожиданно рухнуло; президент Трумэн, особенно вначале, действительно не хотел и не мог принять слу-

чившееся, и ему казалось, что в донесения разведки, в расчеты и выводы ученых вкралась какая-то зловещая ошибка, и он с минуты на минуту ждал, что она вот-вот разъяснится. На какое-то время, сцепив руки за спиной и повернувшись к полотнищу национального флага боком, президент словно бы о чем-то встревоженно вспомнил и задумался. Да, он вспомнил Потсдам, свой сверхсекретный приказ сбросить вторую и третью урановые бомбы на японские острова, несмотря на неоднократные возражения советников и многих ученых. Но он и тогда, и теперь был твердо уверен, что в его слабых человеческих руках находится высшее предназначение, что ему самой судьбой определено вывести мир на новый рубеж и что он, именно он укажет человечеству этот особый рубеж, с него и начнет отсчитывать путевые столбы новая, совершенно иная эпоха. Он был твердо в этом уверен, но вот сейчас, хотя он старался не показать этого, какая-то проникающая волна прошла в его мозгу; где-то над необъятными пространствами русской Азии вспыхнул еще один урановый смерч — дело чуждых рук и умов; он уже не мог думать о том, чему он положил начало, с прежней уверенностью. В самое сердце хорошо и надолго снаряженной машины кто-то с дьявольской усмешкой словно швырнул песок, теперь этот режущий, мерзкий хруст судорогой сводил губы и приходилось думать о том, чтобы не выдать себя, не шевельнуть ни одним мускулом в лице.

Президент сразу же вспомнил множество самых различных фактов, относящихся к первому, опытному взрыву американской урановой бомбы и затем ко второму, над Хиросимой, мгновенно лишившему жизни почти сто пятьдесят тысяч человек; грудные дети были превращены в пепел вместе с матерями, и это атомное торжество было высокопарно освящено высшим смыслом, соответствующими гарантийными молебнами богу и лично его, президента Гарри Трумэна, волей. Он всегда считал, что вынужден пойти на этот шаг, потому что прежде всего думал о своем народе, процветании и могуществе американской нации и о чистоте ее звездного флага.

Президент попытался представить себе те почти сто пятьдесят тысяч человек, в одно мгновение превратившихся в тени, в *ничто*, гигантский гриб с раскаленно-яркой сердцевиной и потом море кипящей мглы, залив-

шей город, стекающей во все стороны, от центра взрыва к подножиям холмов, после того, как над Хиросимой появился американский бомбардировщик из 509-й особой авиагруппы, поименованный «Энолой Гей» в честь матери командира корабля, полковника Тиббетса.

И еще президент Гарри Трумэн совершенно ясно вспомнил тот момент, когда он в Потсдаме сообщил Сталину о том, что в Америке создано новое мощное оружие и что оно может в корне перевернуть судьбы мира. Характерное, незабываемое лицо Сталина в крупных темных оспинах произвело тогда на президента Трумэна сильное впечатление: по-прежнему спокойное, холодное, несколько далекое и даже в чем-то затаенно-насмешливое, оно не дрогнуло от этого действительно глобального удара. Трумэн впился в темные, непроницаемые зрачки Сталина, пытаясь отыскать хоть отблеск того смятения, которое должно было охватить при таком известии всякого нормального человека. И не выдержал, перед ним была непроницаемая стена. И президент отвел глаза, с раздражением чувствуя, что еще немного — и он из победителя превратится в побежденного.

И, разумеется, президент Трумэн и тогда, в Потсдаме, и сейчас, когда самые худшие опасения подтверждались и русская атомная бомба стала зловещей явью, не знал и не мог знать, что именно эта его недалекая попытка запугать потенциального противника и в какой-то мере приятно пощекотать собственное самолюбие явилась во многом преждевременным ударом: от него еще раз вспыхнула и еще раз неистово разгорелась воля Сталина. Занятый в Потсдаме тысячами малых и больших дел, часто глобальных, определяющих на десятилетие вперед судьбы человечества, занятый непрерывной, глухой, скрытой борьбой с Черчиллем, этим непревзойденным демагогом в мировой политике, классическим английским политиканом старой закалки, привыкшим при минимальных затратах получать за счет других наивысший процент, Сталин, однако, тотчас отметил про себя, запомнил, а самое главное — какой-то дьявольской интуицией поверил словам Трумэна, сказанным как бы невзначай, мимоходом, о новом сверхмощном оружии. Президент Трумэн, хорошо зная о тяжком экономическом состоянии России, и предположить не мог, что в дело тотчас будут брошены все еще не исчерпанные силы и возможности

народа и государства, донельзя истощенные войной, неимоверной разрухой, и что Сталин начнет незамедлительно действовать в этом направлении во всем размахе своей неограниченной власти и ответственности, едва вернувшись с Потсдамской конференции, и что ослабленные военными трудностями усилия отдельных групп ученых, конструкторов, инженеров тотчас будут объединены, и что слабая далекая идея тотчас наполнится стратегической сутью и станет выражением государственной политики, одной из ее основополагающих осей, и на ее воплощение будет брошено все, что только возможно бросить в таком государстве, как Советский Союз.

Разумеется, ничего этого Трумэн не знал и никогда потом не узнает и к заявлению министра Молотова через два года о том, что секрета атомной бомбы больше не существует, отнесется скептически. И тем более с явной болезненной раздражительностью ему придется столкнуться с самим фактом существования атомной бомбы у русских — воспоминание о своем словно бы мимолетном разговоре со Сталиным в Потсдаме будет далеко не случайным.

«Вот именно, далеко не случайным»,— сказал себе Трумэн, и опять что-то неприятное заставило президента слегка поморщиться, ему показалось, что его опалил далекий дьявольский жар. «И зачем самолет, сбросивший первую атомную бомбу, назвали именем женщины, матери? — с досадой подумал Трумэн.— Что ж, в истории человечества немало было и будет нелепых парадоксов»,— попытался он справиться с нежелательными и ненужными отвлечениями.

Занятый некстати пришедшими мыслями, президент Трумэн, однако, успевал улавливать в общем разговоре суть того, что говорил доктор Буш сенатору, отвечая на его непрерывные вопросы и разъясняя ему то, что требовало специального разъяснения. И президент несколько раздраженнее, чем это бы следовало, подумал, что не доктору Бушу, не этому раздраженному сенатору предстояло принять необходимое решение.

— Доктор Буш,— сказал президент негромко, чувствуя, что ему сегодня неловко и тесно в костюме.

— Да, господин президент? — тотчас отозвался тот с подобающей долей почтительности и вежливости в разговоре с главой государства.

— Скажите, доктор Буш, это правда, что мож-

но сделать бомбу, в сотни раз превосходящую по силе урановую? — спросил президент, и доктор Буш тотчас отметил про себя отсутствующее выражение его глаз.

— Да, господин президент,— ответил доктор Буш и, несколько поколебавшись, со всей отчетливостью понимая, чем вызван этот тихий, необозримо глобальный по своим последствиям вопрос, пытаясь обратить на себя и на свои слова внимание президента, добавил твердо: — Но это, позволю себе подчеркнуть, ничего не изменит, для науки такого вопроса уже не существует. Все дело лишь в технике. И этого уже нельзя удержать в границах одной, даже очень большой страны.

И оттого, что ученый безошибочно и сразу понял течение его мыслей, президент нахмурился. Их глаза столкнулись. Один, предвидевший дальше, беспощаднее, во всем объеме знания то, что произойдет через несколько лет, понял, что трагическое решение уже принято. А второй, сам президент, действительно в этот момент уже принявший решение об изготовлении водородной бомбы, постарался скрыть это спокойным выражением лица; в эту секунду без всяких торжественных церемоний и формальностей человечеству был подписан приговор на долгие десятилетия голода и ненужных лишений, а может быть, и на атомную казнь, потому что созревшее яблоко когда-либо да падает. Доктор Буш не стал больше ничего говорить; в мире Гарри Трумэну дано было немалое могущество, но он был совершенно бессилен и не мог сделать ни одного шага самостоятельно, и даже это не поддающееся по своим последствиям никаким прогнозам решение уже было принято за него негласными, всегда скрытыми за кулисами политики силами; они выдвигали президентов, направляли и решали за них. Стараясь разойтись взглядом с президентом, доктор Буш слегка наклонил голову, он сделал вид, что прощается.

В конце концов, подумал он все с тем же остатком иронии, великие или почему-то возомнившие себя великими, забавляясь тем, что они именуют высокой политикой, мало, вернее, совсем не думают о последствиях. Но если у гениев этот основной признак их натуры находится в непостижимо точном соответствии с движением жизни, то у посредственности он даже самые высокие и трагические моменты истории имеет способность обращать всего-навсего в дешевый авантюризм.

Прошел месяц и еще один; зима, продвигаясь от своих северных твердынь, захватывала новые и новые пространства; дороги и села, леса и степи засыпали глубокие снега, а во вьюжные, разгульные ночи, когда даже столетние лесные чащи стонут, трещат и охают, когда небо сливается с землей и гулко, неистово бухают неведомые подземные колокола, все живое старается укрыться в затишье, за стены домов, у теплых, с весело трепещущим огнем печей, в норах и дуплах, в старых, обжитых гнездах, а то и просто под раскидистой елью, между ее нижними лапами и землей, еще пахнущей мхом и зеленью, опавшими и занесенными сюда кленовыми, березовыми или дубовыми листьями, прелой прошлогодней хвоей. Снег толстым слоем лежит на еловых лапах, но между ними и землей — свободное пространство; в солнечный день здесь светло, и случайно оказавшаяся там ягодка костяники на высоком стебельке вдруг рдяно вспыхнет, заиграет летним цветом... Надежно такое убежище от любой непогоды и врагов, забьется в него заяц-русак, или тетерев, или сама хитрая лисица, или иная другая живность и замрет, затаится, затем задремлет под вой и грохот лесной метели, и тогда в теплой и живой крови начинают бродить и жить неведомые голоса, расцветают причудливо-призрачные сны, и нельзя разобрать и разделить, где в них кончается земное и понятное и начинается то, чему нет объяснения и что приходит в шорохах и свете звезд...

Бушуют долгие и звонкие метели, густо валят снега, укрывая землю, и кажется, все на ней хорошо и просторно, что вся она одинакова.

Книга вторая

Когда приходит женщина



Часть третья

1

Умело затерявшись в свое время в бескрайних таежных просторах Севера, Федор Макашин в качестве обыкновенного репатриированного (в эту войну их оказалось немало, пробывших в немецком плену с осени сорок первого года и до конца войны) года три работал на Печоре, вначале на угольной шахте откатчиком, затем на речной пристани, в бригаде по ремонту барж, и, наконец, укладывал шпалы на строительстве железнодорожной ветки. При первой возможности он с охотой изъявил желание поехать в Сибирь, в леспромхоз. В своем прошлом он допустил маленькую неточность: назвал местом рождения село Выдогощь в той же Холмской области, в соседнем со своим родным Зежским Слепненском районе, уничтоженное летом сорок второго года вместе с жителями подчистую; каратели перестреляли даже скотину, собак и кошек; в этом селе тоже была большая ветвь фамилии Макашиных. Те, кому посчастливилось уцелеть и вернуться потом к родным пепелищам (двадцать с лишним человек из двухсот десяти ушедших на войну), рассеялись кто куда по разным деревням, пристроились на моторном заводе. Потом в районе решили и выдогощинские земли разделить между тремя соседними колхозами; Выдогощь стала мертвым селом, каких теперь много было и по России, и по Белоруссии; заброшенные дороги к ним потихоньку исчезали, забитые травой и молодым лесом.

Макашину повезло, но это везение по всей справедливости надо было отнести исключительно за счет его находчивости, когда он, оправившись после почти смертельного потрясения в весну 1943 года, сумел затеряться в бесконечных толпах и движениях, захлестнувших Европу, и его освободили уже в апреле сорок пято-

го как одного из взятых в сорок первом в плен и угнанных на работу в Германию. Он был так же истощен, как и другие, и так же радовался и плакал, когда ему сказали после проверки, что он свободен. Не задерживаясь ни на одной из работ больше года, он несколько успокоился, только забившись в один из самых глухих тюменских леспромхозов. Первое время лес заготавливали вручную, но Макашину было не привыкать; по-звериному жадно он вцепился в работу, безошибочно выбрав такого же напарника, и они всегда получали дополнение к пайку; через год Макашин выдвинулся в мастера одного из участков и повел дело хорошо. В первый же праздник его наградили грамотой и часами; он стоял, глядел на хлопавших ему людей и казался смущенным, а к вечеру впервые за послевоенные годы напился до бессознания в одиночку при опущенной занавеске в своей каморе, как он называл свою барачную комнатенку с отдельным выходом. Позже в таких случаях он ставил рядом с кроватью ведро холодной воды и за ночь почти выпивал его; спал он мало и часто просыпался, и это выводило его из себя. Он начинал вспоминать, думать, неостановимый, дикий поток прошлого Макашин не выдерживал, вскакивал и дрожащими руками зажигал свет; вот тут-то он начинал понимать, что попрежнему живет тайной, звериной жизнью, внутренне вздрагивая и ежась от любого неосторожного взгляда, и сколько бы он ни старался, так будет до конца. Вначале ему хотелось узнать, что же все-таки стало с его отцом и матерью и выбрались ли они с Соловков, но он раз и навсегда отверг эту губительную мысль.

Рано утром, задолго до всех, он приходил в свою конторку, начинал работать, и это его успокаивало; он втайне не только дорожил, но и гордился своим положением и потому даже наедине с собой не мог и не хотел думать и вспоминать о прошлом; отделяя прошлое, в нем словно опустилась тяжелая плита, и жизнь Макашина теперь разделилась на две отдельные, исключающие друг друга половины; в одной он умер и был похоронен, в другой только что народился и старался быть как можно бережнее, ничего не задевать по пути. Глухой, маломощный вначале леспромхоз на берегу сибирской речки Ишим быстро набирал силу, и Макашин начинал подумывать о Дальнем Востоке, но все как-то медлил, он уже успел отмякнуть душою и почти совершенно успокоился. Женщин в этом необжитом месте

было мало, рабочих всегда не хватало, но постепенно все, как и положено, менялось; уже с осени сорок восьмого года выстроили большой клуб, открыли еще одну столовую, пахнущую свежим деревом; семейные рубили отдельные домики, потихоньку раскорчевывали места под огороды; возвращаясь поздно вечером к себе с пачкой газет под мышкой, Макашин видел, как люди то там, то тут упорно подкапываются под огромные, неровно срезанные пни, обрубают тяжелые толстые корни, собираются по нескольку человек, стараясь сорвать пень с места. Центральный поселок леспромхоза неузнаваемо разрастался, обозначился новый порядок жилых домов и общежитий, в центре — контора с почтой, магазин, клуб; тут же, неподалеку, пристань — пока главное средоточие жизни в поселке, единственная связь с внешним миром, бревенчатые сходни с крутого берега уходили в текучую воду. Однажды Макашин остановился возле них, послушал, как с шумной руганью разгружают баржу с горючим, и отправился дальше. Он тоже за день устал, и хотелось поскорее лечь; добравшись до своего угла, огороженного горбылем и оклеенного старыми газетами, он зажег свечу, укрепленную в пустой консервной банке, с наслаждением разделся, и хотя ему хотелось выпить кипятку, он не пошел на общую кухню, выпил воды из ведра и лег, пододвинув поближе свечу и принесенные с собой газеты. Это были короткие часы, когда он действительно наслаждался; к газетам, выпускаемым немцами на русском языке, он пристрастился еще в войну, и хотя хорошо знал, что они все от строчки до строчки врут, он именно в этом находил особое наслаждение; привычка прочитывать газеты от корки до корки осталась у него и потом, но интерес несколько переменился. В первую очередь он отыскивал сообщения о военных преступниках, о процессах над изменниками и, только изучив их, основательно вникнув в скупые строчки, всякий раз старался дорисовать по-своему то, что за ними стояло. Остальным он интересовался куда меньше; откладывая газеты, он лежал навзничь, глядя в потолок; вот тот-то и тот-то не сумел замести следы, отмечал он, кажется, месяц назад то же писали о карателях из Эстонии, а вот у меня пока все хорошо, лишь не надо суетиться. Что ж, игра не вывезла, ставка лопнула, разве в этом дело? Все переменилось, никем он теперь не командует, а живет себе, не подыхает; вот теперь он и пришел к другой

какой-то мудрости, хотя по-прежнему не знает, зачем проделан весь этот путь и чего он хотел добиться. Был зверем в одиночку, им и остался, ни близкого человека, ни любимого дела; через месяц стукнет сорок три, теперь бояться ему оставалось недолго, лет десять — пятнадцать от силы, а там все равно — на крест или в рай. Сегодня была трудная работа, а потом пройдоха кладовщик, подмигнув, нацедил ему бутылку спирта, и ее пришлось распить с бригадой плотников, мастеривших сходни к пристани. Глаза слипались, судорожно зевнув, Макашин стал просматривать газеты и, едва развернув первую, на несколько мгновений застыл, затем приподнялся, сел. В верхнем правом углу на второй полосе он увидел знакомое лицо, он сразу узнал его и только не хотел поверить; сомнений больше не осталось, когда глаза выхватили внизу, под фотографией, скупую подпись. Тихая судорога прошла по спине, вначале слабо, затем сильнее и сильнее задергал, заломил больной зуб, а ведь он не беспокоил уже года два. Макашин замотал головой, глухо замычал, осторожно сложил газету портретом передового рабочего Хибратского леспромхоза Захара Дерюгина кверху, стоймя прислонил ее к спинке кровати и зашлепал по полу босыми ногами, время от времени останавливаясь и начиная рассматривать снимок в газете. Собственно, волноваться было незачем, решил он, жадно напился из жестяного чайника у порога, затем закурил и опять сел, наполняя комнатушку густым дымом, в нем даже пламя свечи постепенно тускнело. Вот так и встречаются люди через много лет; знал себя и свою работу, был совершенно спокоен, но вот одна минута — и все перевернулось. Думал затворить душу ото всех и от всего монастырской стеной, не заглянешь и не перелезешь; а вот тебе пустяк — портрет в газете, а как придавило! Что тебе теперь какой-то Захар Дерюгин? Видать, он тоже недалеко в жизни ушагал, перевыполняет нормы на погрузке. Ах ты, какая высота! Стой, стой, почему на погрузке? А ты спокойнее, спокойнее, приказал себе Макашин, у каждого своя путь-дорожка, Захар Дерюгин такой же человек, попалась под ногу кочка или рытвина, недосмотрел — и прощевай, пожалуйста...

Макашин даже неожиданно тихо заулыбался от мысли появиться сейчас перед Захаром, сесть с ним за стол и кое о чем спросить. Ну, хотя бы вот это: как же это ты, земляк, доначальствовался до лесопогрузки на

какой-то дикой речушке Каме? И какое у тебя по этому случаю душевное удовольствие? Давай забудем на время нашу с тобой вражду-замогилицу, поговорим глаза в глаза о житухе людской, зачем вообще такой расчудесный зверь, как человек, на землю сошествовал. Друг друга за горло рвать да при первом случае в первой же вонючей луже топить? Или есть ему особое какое назначение от бога или того же черта? Вот твоя жизнь, вот моя, а чем же мы ее, такую распрекрасную, заслужили? Ну, я — ладно, статья особая, а ты, Захар Дерюгин, сколько ты на свою душу греха взял, сколько людей на выселки отправил, сколько детских душ загубил,— и как же ты свою жизнь теперь считаешь? Перед каким богом на колени становишься?

И сюда, до глубинной Сибири, доходили слухи, что как раз в два первых послевоенных года — сорок шестой и сорок седьмой — небывалая засуха сожгла почти все, начиная с Украины и кончая Уралом, и что дети и старики в селах пухнут с голода, и в городах в магазинах голым голо, говорили о том, что есть места, где вымирали семьями, эти и множество других слухов как-то связывались сейчас у Макашина с портретом в газете передовика Захара Дерюгина, связывались воедино и прочно, и от этого беспокойство никак не оставляло его; он пытался заснуть, опять вставал и курил и назавтра на работе много думал о Захаре Дерюгине. К нему подходили с разными делами; как обычно, нужно было решать сразу и то, и другое, и третье, и он на время забывался; но стоило лишь наступить минуте затишья, как в голову опять лез Захар, и это тянулось и неделю, и месяц, и год и в конце концов стало нестерпимым. Макашин заметно похудел, стал вялый и раздражительный не в меру; Захар Дерюгин и неутихающее желание встречи с ним стало его болезнью, по ночам все чаще, словно наяву, он видел Захара и подолгу разговаривал с ним, разговаривал обстоятельно, неторопливо, иногда спорил до хрипоты, но тоска не проходила, разрасталась, как корень, проникающий все дальше в землю, и Макашин все время это чувствовал, и если становилось особенно невтерпеж, он собирался и уходил к сорокалетней одинокой женщине, Галине Аркадьевне, как ее все называли, заведующей почтой в поселке, единственному на свете близкому существу. Она, образованный в общем-то и неплохой человек, с чисто женской интуицией чувствовала его душевную неустроенность и жалела его.

В звонкий от мороза январский вечер он пришел к ней поздно; Галина Аркадьевна собиралась ложиться спать и сидя причесывалась перед зеркальцем; Макашин давно не был у нее, и она обрадовалась, быстро накинула на голые плечи байковый халатик, пошла открыть, сразу молодея и подбираясь.

— Ты, Федор? — спросила она из-за двери, хотя уже безошибочно, едва только раздался стук в окно, почувствовала, что это именно он. Услышав знакомый нетерпеливый голос, отодвинула щеколду; Макашин принес с собой запах мороза, свежести, и она зябко поежилась.

— Давай, давай назад, простудишься, сам закрою,—сказал Макашин, слегка обнимая ее за плечи и тотчас легонько отстраняя от себя; он вошел в комнату, быстро сбросил затрепанное полупальто, шарф и шапку и, пригладив волосы руками, подошел к Галине Аркадьевне, с силой и горячностью прижал к себе и, стараясь забыться, долго целовал.

— Ты что, Федя, пьян? — спросила она жарким, задыхающимся шепотом, она уже привыкла и к его рукам, и к его характеру, но таким стремительным и торопливым она его еще не знала.

— В рот не брал,— прошептал почему-то Макашин, и шепот его был какой-то сыпучий, дымный.

— Что с тобой происходит в последнее время, Федя? — спросила Галина Аркадьевна, вздрагивая от его жадных прикосновений.— Не надо, не надо, Федя, успокойся, ты же знаешь, я тебя люблю, привыкла... и никуда не денусь, зачем же так по-молодому?

Макашин ничего не ответил, но она почувствовала, как дрогнули его руки; он помедлил, сел у стола на скрипнувшую табуретку и, захватив сверху взлохмаченную голову руками, пригнул ее, глухо засмеялся. Галина Аркадьевна, вздохнув, подалась к нему, стала гладить ему плечи, затем попыталась разнять его руки и отвести их в стороны; Макашин все смеялся.

— Невезучие мы с тобой, Галя,— сказал он, с какой-то отчаянной веселостью поглядывая на нее снизу белыми, напряженными глазами, и сам уронил руки.

— Неправда, неправда,— торопливо возразила она,— это ты под нехорошую минуту подпал. Нельзя так, Федя! Счастливые мы, раз встретились и нам хорошо один подле другого! Вот как дело-то обстоит...

— Нет, Галя, не так все оно, как хочется. Вот я больше сорока годов на свете прожил...

— Что такое для здорового мужчины сорок два года, Федя... Смешно, право, смешно! — прервала она, пытаясь отвлечь его, но Макашин не стал слушать.

— Словно слепец, ни тьмы, ни света различить не умею. Ты представляешь, Галя, книжки стал читать,— сказал он со странной, застывшей улыбкой на лице, как бы приглашая свою собеседницу поизумляться над тем диковинным фактом, что он книжки читает.— Все-то в голове разломилось, перевернулось, все вконец с места на место перекинулось, а промеж всякая непонятная труха насыпается. Деготь, да и только, ноги не вытянешь.— Он поднял руку, пошевелил у виска растопыренными пальцами; Галина Аркадьевна мягко перехватила его руку, опустила ее вниз, встречая ответное, не сильное, впрочем, сопротивление: Макашину нравилось подчиняться ей в таких вот приятных мелочах.

— Есть хочешь, Федя? — спросила Галина Аркадьевна, все еще не отпуская его руку, и, увидев, как он утвердительно кивнул, предложила: — Давай чай поставлю... Или тебе что-нибудь покрепче?

— Не откажусь.

Она быстро собрала на стол, пригласила Макашина.

— Тепло мне с тобой, Галя,— сказал он, наливая из бутылки в два толстых стакана, хотя отлично знал, что хозяйка и в рот не берет.— А я, как подкидыш, так и тянусь к тепленькому огоньку, да ведь не всякий греет, иной и обожжет...

Он смотрел с тихой любовью; Галина Аркадьевна не выдержала, смутилась, подошла, легонько прикрыла ему ладонью глаза.

— Не надо, Федя,— засмеялась она— Что ты сегодня пугаешь... Давай выпей, закуси, и спать пора. Последнее время ты с лица спал... Может, ты болен, Федя?

— Уеду я скоро,— вздохнув, Макашин отставил нетронутый стакан.

— Уедешь — вернешься,— сказала Галина Аркадьевна, пристально глядя на него, пытаясь понять, что он в самом деле думает сейчас.— Лучше жизни и работы для себя ты нигде не найдешь. Деньги повольнее, подспорье всякое охотничье... Смотри, какая на столе рыба... А что пишут из нашей с тобой милой России? После войны еще куска вольного не видели, в руках не держали. Икорки черной к водочке достать?

— Спасибо, спасибо, Галя, давай. Не могу я рассказать, не надо тебе. Тоска у меня, ах, какая тоска, человека бы одного увидеть, а там будь что будет.

— Это женщина? — У Галины Аркадьевны голос чуть дрогнул, но смотрела она по-прежнему любяще, понимающе; она совершенно не собиралась копаться в прошлом Макашина и считала это нестоящим делом; ни она, ни он никогда не говорили друг другу о своей прежней жизни, словно сговорились об этом заранее; в невольном вопросе Галины Аркадьевны этот негласный запрет был нарушен, и Макашин, чтобы забыться, быстро выпил, переждал легкое головокружение и, зацепив вилкой большой кусок плотно слежавшейся зернистой икры, отправил его в рот.

Галина Аркадьевна пододвинула к нему тарелку с хлебом, он не заметил. Водка не помогла; так уже с ним случалось где-то в предгорьях Карпат, во время очередного немецкого отступления, когда он нечаянно оказался на краю пропасти и увидел далеко внизу белый, сверкающий поток и беспорядочно торчащие острые камни; сейчас он тотчас вспомнил пропасть, свое ощущение, то, как ползком он отодвинулся назад, осторожно задерживая дыхание. Хотя знал, что его карта бита, он хотел тогда жить, зверски хотел жить; случись это сейчас, он бы еще подумал, стоит ли спасать никому не нужную жизнь.

— Это, Галя, никакая не женщина, самый настоящий мужик,— сказал Макашин, переждав и с проснувшимся любопытством глядя на хозяйку, ставившую на стол чайник.— Не удержусь, видать, поеду.

— Гляди сам, Федя.— Галина Аркадьевна, угадывая за всем этим какую-то особую, вполне вероятно, большую, страшную жизнь и запутанность, заговорила о другом, но на Макашина уже накатило; чтобы успокоиться, ему нужно было выговориться, и Галина Аркадьевна окончательно испугалась.

— Не надо, Федя, я ни о чем тебя не спрашивала и не спрашиваю,— попыталась она остановить его.— Ну к чему это, сам подумай? Давай выпей еще, закуси, уже поздно, а завтра на работу.

— Не могу я больше, Галя,— глухо признался он.— Один, все один, может, сойтись нам надо по-настоящему, по закону записаться? Что ты смотришь?

— Я ни в чем не хочу тебя неволить, Федя. Привыкла к тебе, а может, и вправду полюбила. Как ты захо-

чешь, так и будет, только не спеши. Я от тебя никуда не денусь.

Он встал, залпом выпил налитую в стакан водку и, не закусывая, томимый разгоревшимся желанием и страхом за предстоящее, за то, что зрело в нем и от чего он уйти уже не мог, подхватил ее, поднял, опрокинул на кровать.

— Боже мой, ну и силища,— прошептала она благодарно и закрыла глаза; в такие минуты она, соприкасаясь с той темной, неразгаданной силой, что просыпалась в нем особенно сильно, почему-то начинала его бояться.

2

Впервые *старуха* пришла к Макашину на рассвете, именно вот в одну из таких ночей (точно он не знал, когда); она молча и покорно стояла у порога в длинной юбке, в платке, повязанном низко, по-деревенски; он не мог различить ее лица, но он хорошо расслышал прошелестевшие, бессильные ее слова: «Будь же ты проклят и на этом, и на том свете!»; она явилась и прокаркала свое в момент, когда он только что открыл глаза и лежал, наслаждаясь спокойной теплотой женского тела рядом и чувством бесспорного права на хорошую и здоровую жизнь; с трудом придя в себя, он осторожно опустил ноги с кровати, встал и неуверенно направился к двери. В неясном рассвете, заполнившем комнату, ничего лишнего не было; можно было подумать, что услышанные как бы невзначай слова родились сами по себе, из ничего, или что их выдавили из себя бревенчатые стены; он оглянулся, пораженный разлитой во всем враждебностью; где-то точно такие слова он слышал раньше и, останавливаясь посередине комнаты, пытался вспомнить; для него это было важно, он понимал, но он не мог вспомнить, и они жили в нем несколько месяцев; стоило ему о чем-нибудь задуматься, как они снова и снова звучали в нем. Но были и спокойные периоды, ему начинало казаться, что в его жизни никогда ничего плохого не было, и сам он никакого зла никому не причинил, и что настоящая, хорошая жизнь только еще начинается.

Вторично это случилось уже весной, в конце апреля; голые, в предчувствии пробуждения, деревья в тайге гудели под ветром, и двухметровые снега, медленно,

уверенно подтаивая, оседали. Как и первый раз, Макашин ночевал у Галины Аркадьевны и долго не мог заснуть; он был размягчен и словно лишен собственной воли; лежал, вслушиваясь в покойное дыхание спящей женщины, и как будто прямо над ним опять прозвучали те же страшные слова: «Будь ты проклят и на этом, и на том свете!» Он замер, *старуха* со стертым и оттого еще более ужасающим лицом уже исчезала, таяла, отдаляясь, и он тотчас мгновенно все вспомнил и в горячем ознобе осторожно, чтобы не разбудить Галину Аркадьевну, слез с кровати и стал бесшумно кружить по тесной комнате; к своему непередаваемому ужасу, он увидел и вспомнил себя в одну из мартовских ночей сорок третьего года, вспомнил подробно и живо, словно лицом к лицу с самим собой, только на несколько лет моложе. Но он и узнавал себя и не мог поверить, что это был он сам. «Как же, как же все это было?» — повторял он лихорадочно, забыв о том, что на столе стоит начатая бутылка и можно подойти, выпить и тем легко оборвать начавшийся кошмар. Нерассуждающее любопытство к человеку моложе его на несколько лет, который когда-то был им самим, и к тому, что он когда-то делал, заставляло его напрягать, насиловать собственную память; по спине временами проходила липкая дрожь, но он не мог оторваться от того, что когда-то делал; кто-то словно тянул его шаг за шагом все дальше и все медленнее, чтобы он не пропустил ни одного запаха или звука, в прошлое; он только сейчас ощутил, что и человеческая кровь пахла той же тяжелой, одуряющей теплотой, что и кровь скотины, и он с неведомым ранее наслаждением подумал, что в мире кровь у всего живого одна, что ее наливают в человека, в зверя и птицу из одного вместилища.

И в один из моментов просветления он отчетливо и безразлично понял, что его спокойная жизнь кончилась, да и не просто спокойная жизнь, а нечто большее, чего он не мог понять и назвать; не в силах больше оставаться наедине с самим собой, он разбудил Галину Аркадьевну.

— Не могу, Галя,— сказал он, опускаясь на колени перед кроватью и пряча разламывающуюся голову ей в руки.— Спать не могу, ничего не могу...

— Выпей, Федя,— предложила она первый пришедший на ум спасительный рецепт, перебирая ему волосы

и тихонько поглаживая их.— Там, на столе, под скатертью, икра, рыба соленая... Пусти, пожалуйста, я сейчас встану...

— Не надо,— попросил он глухо.— Не поможет, ничего уже не поможет... вот только, если увижу его...

— Того самого знакомого?

— Его, сволочь такую... Не знаю, что еще будет... Меня тянет к нему... тянет, тянет... провал какой-то тянет. Галя, Галя, Галя,— неразборчиво забормотал он.— Эх, как плохо, как плохо! Так бы и выворотил грудину — теснит... Почему?

Она подняла его голову, стараясь заглянуть в неясно мерцающие в полумраке глаза; ничего определенного он ей не сказал, но она сразу почувствовала опасность, все гуще окружавшую его.

— Не надо, Федя,— попросила она.— Зачем тебе эта встреча? Я чувствую, она же не из приятных. Сдержись, постарайся забыть, я не спрашиваю, что там у вас было... Время все одолеет... милый мой, мне с тобой странно и хорошо, не надо никуда уходить. А я тебя ни о чем никогда не спрошу... Я когда-то много читала, думаешь, я такая была? А потом... потом вот...

— Если бы ты знала! — невольно вырвалось у Макашина, и она, освободившись от него, встала, заставила его сесть рядом с собой на кровать.

— Да что, что мне знать? — спросила она с незнакомой Макашину досадой в голосе.— Ты убил человека, двух? Кто же в эту войну не убивал! Что ты еще мог сделать такого хуже, страшнее? Не знаю, Федя, я привыкла к тебе, и не потому, что ты отличный мужик... Тьма какая-то в тебе есть, и разгребаешь ее, а под ней еще, еще, и конца нет. Этих чистеньких терпеть не могу, ненавижу, у них живого духа не пробьется. А ты с кровью, ох, тяжелая у тебя кровушка... Что мы живем, Федя, и зачем встречаемся один с другим? Прогорели и угасли, одна зола вслед. Я со многими была, и все так... чириканье воробьиное! А с тобой как в пропасть лечу, дух захватывает... от таких минут я в себе вечность чувствую, все во мне обмирает, и тут же опять, опять новое, страшное... Так это потому, Федя, что это ты такой, что это у тебя такая жизнь была...

Вслушиваясь в голос женщины, казалось, раньше понятной и своей до последнего края, Макашин теперь видел, что совершенно не знает ее. Наоборот, она каким-то своим бабьим нутром нащупала в нем самое

главное и потаенное, то, чего он никому и никогда не хотел бы открывать; он с неприятным удивлением старался разглядеть выражение ее лица. И сколько бы он ни упирался, он верил ее искренности и потому, неожиданно для себя, вновь словно ступил на твердую землю; минуту назад она ходила у него под ногами ходуном.

— Другие меня могут судить, Галя, ты тоже,— сказал Макашин, волнуясь больше уже не за себя, а от желания, чтобы его еще больше поняла именно эта женщина.— Хоть бы один спросил: а почему так со мной? Я не хотел жить, как остальные? Семьи не хотел, детей? Или я виноват, что мой батька лучше других хозяйствовать умел, а потом его кулаком за это объявили? А я, я — за что? Я, может, только теперь допер, что дураком круглым был, на кого-то злился, себе всю жизнь исковырял. Надо было ждать, ждать, ждать, забиться куда-нибудь поглубже, затаиться и ждать. Так многие делали. Теперь еще ждут. Чего? Вот все, говорят, меняется... Ничего не меняется, никогда не переменится. Одни правят, другие подчиняются, на том мир и стоит... Больше ничего нет, никаких перемен...

— Успокойся, Федя,— сказала Галина Аркадьевна,— так ты ничего никому не объяснишь, ни мне, ни себе. Теперь я вижу, тебе надо съездить к своему старому знакомому. Поезжай, как-нибудь договорись с начальством и поезжай. Если будет что-нибудь нужно и я смогу — сделаю, Федя, пока держусь на свете. Ох, если б ты знал, как мне не хочется с тобой расставаться. Молчи, я ни о чем не прошу, понимаю, все равно ведь уедешь... Тебе это надо почему-то...

— Уеду,— сказал Макашин, хмурясь и стараясь не поддаваться той обволакивающей ласковости, что шла от нее, дурманила, и хотелось самому послать все к черту и остаться здесь, в уютной комнатке, навсегда.— Уеду, хоть дух маленько отпустит,— повторил он решительно и зло.— Потом-то все равно буду терзаться, знаю, дурацкая натура... Это какая-то хворь, а лекарство — там где-то... Отыщу — хорошо, а нет...— Он сосредоточенно поднял и опустил руку, рассекая ею воздух, как будто показывая, что будет.

— Жить всегда можно,— глухо заметила Галина Аркадьевна, с предельной откровенностью сознавая, что перед ней, в сущности, еще один больной ребенок, нуждающийся в опоре и защите.— Жить, Федя, всегда трудно, да никто с этой жизнью расставаться не хочет.

Страшно стать ничем, даже если стать какой-то бестелесной душой... Что делать в жизни без этого грешного тела? — Галина Аркадьевна невесело рассмеялась, поцеловала Макашина в жесткий затылок, изо всех сил пытаясь показать ему, что ничего не произошло, уедет он и приедет и все между ними останется по-прежнему, но как она ни старалась, уже что-то легло между ними, прошла легкая тень; они словно в чем-то перестали понимать друг друга, и так продолжалось почти месяц, пока Макашин не договорился в конторе леспромхоза и не уехал в белый январский вечер, получив тридцать семь дней отпуска; проводив Макашина и понаблюдав, как он устраивается в кабине грузовика, идущего до ближайшего зимнего аэродрома, Галина Аркадьевна расстроилась, ей даже показалось, что на глаза выбило слезу, однако, едва только грузовик скрылся, она почувствовала заметное облегчение: все-таки от этого человека шла своего рода энергия, заставлявшая все время быть в напряжении, в готовности, она устала от него. И Макашин, вглядываясь в неровно бегущую дорогу в вихрящейся поземке и не замечая попыток шофера разговориться, думал о Галине Аркадьевне; вполне вероятно, что ехать ему в этот путь не стоило, но не от него зависело, ехать или нет; не сейчас, так через год или два он все равно бы поехал, только истерзался бы больше; никому ведь не дано идти в жизни самостоятельно, как сам хочешь, всегда тебя ведет некто другой, враждебный или насмешливый, добрый или издевающийся, и ты, как телок на веревке, тащишься, хотя и взбрыкивая порой, на базар, где тебя выторгует кто-то еще и поведет дальше; так разве иногда не стоит сорваться с привязи и попастись на воле, как тебе самому хочется? Горе, говорят, идущему, да горе и ведущему.

Дорога была долгая, много привелось передумать; от своего первоначального решения Макашин не отступил, и настал день, когда он, уже в коротких вьюжных сумерках, подошел к порогу дома Захара Дерюгина, стоявшего на одной из улиц Хибратского леспромхоза; нужно было всего лишь поднять руку и постучать, но он сразу не осилил этого; сердце заколотилось, заныло, он почувствовал, как разгорается лицо. Пришлось подождать, пока кровь успокоится; он постоял, стараясь рассмотреть приземистый рубленый домик с промерзшими четырьмя окнами на улицу, под ними угадывался из-под высоко наваленного снега огороженный шта-

кетником небольшой клочок земли — палисадник, как называлось это раньше у них в Густищах. В двух первых окнах горел свет, в них ничего, кроме смутных теней, не различалось. По всему поселку топились печи, резкий северный ветер временами прибивал дым к земле; где-то недалеко послышались голоса, и Макашин, злясь на себя за нерешительность, поднял руку, резко постучал и замер, прислушиваясь. Почти тотчас кто-то вышел в коридор и молча открыл дверь; Макашин, увидев перед собой смутно белевшее молодое лицо, слегка отступил, оттаскивая за хохолок свой походный мешок.

— Здесь Захар Дерюгин живет? — спросил он, пытаясь понять, кто же это перед ним.— Я до него...

— Отец дома,— услышал он в ответ зреющий басок.— Проходите, пожалуйста...

«Ишь ты, «пожалуйста»,— неприязненно подумал Макашин, проходя мимо посторонившегося паренька в коридор, а затем и в комнату; первое, что ему бросилось в глаза, было оживленное лицо Мани, она словно бы и не постарела за последние пять лет.

— К тебе, батя,— сказал Илюша, захлопывая дверь вслед за Макашиным и тотчас скрываясь в другой комнате; Макашин, метнувшись взглядом от Мани к Захару, сидевшему за столом и приготовившемуся, очевидно, ужинать (перед ним стояла тарелка с хлебом, лежала ложка с вилкой), прокашлял глухо, стащил шапку.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— отозвался сильно поседевший, но с каким-то чистым, строгим и молодым еще лицом Захар с явной долей недоумения в голосе; он не узнал пришедшего и перевел взгляд на жену, стоявшую у плиты, мертвенно побледневшую, с замершими глазами; сама Маня узнала Макашина сразу и в первое время совершенно оцепенела, словно и в самом деле увидела перед собой вставшего из могилы мертвеца. Но Макашина и без слов обожгла ненависть в ее глазах, на мгновение он смешался; уже без всякого другого подтверждения он понял, что его сумасшедшая мысль, больной молнией ударившая в нем при виде Мани, всего лишь и останется сумасшедшей мыслью и что если она тогда, в мартовскую ночь, и зачала от него, так уж никак не доносила, чтобы родить: у баб на это всякого припаса хватает.

— Что ж ты не узнаешь земляка, Захар? — с холодной льдинкой в груди спросил Макашин, не сдвигаясь с места, и у Захара мгновенно пропало удивление в лице; теперь он узнал голос, и, словно метнувшись каким-то скачком назад, память вырвала из мрака и оживила тот момент, когда они с Юркой Левшой повезли связанного Макашина в Зежск; у Захара даже заныл череп. Смелая неожиданность всегда действует, и если Макашин, этот мертвец, явился и ступил через порог, значит, он имел на то право, и хотя Захару показалось, что у него вспухнула и загорелась по всему телу кровь, он подспудно, не желая того, захотел понять, что же это такое за право у Макашина — прийти к нему в дом, не спрашивая согласия.

— Илья,— не выпуская из виду Макашина, позвал Захар, помедлил, пока сын не вырос в дверях,— возьми у матери денег, сбегай, магазин еще открыт, купи пару бутылок спирту... Каких-нибудь там консервов прихвати... угощать будем гостя. Раздевайся, Макашин, вешалка у порога. А ты, хозяйка, давай еще на стол тарелку... для земляка.

Пока Маня искала и отдавала сыну деньги, пока Илюша одевался, все молчали. Хлопнула дверь, ворвалось и пошло стелиться понизу облако морозного пара. Маня придвинулась поближе к Захару, затем, заставив себя, принесла и поставила на стол еще одну тарелку.

Она заходила по комнате, словно в звенящей пустоте, и хотя руки ее привычно и умело делали свое дело, она была в каком-то оцепенении и чуть ли не натыкалась на стены; она тотчас уловила опасность для Захара, значит, и для себя, и для своих детей, и это текучее, проникающее чувство заливало ее, все, что было вокруг, и когда в ответ на вторичное приглашение Захара раздеться и сесть к столу Макашин спокойно, словно у себя дома, снял с себя полушубок и шапку, повесил на крюк, сел напротив Захара за стол, выудил из кармана расческу, не спеша причесался, чувство опасности заныло в ней с удвоенной силой, почти загремело. Она подумала, что сейчас возьмет топор у плиты и развалит Макашину голову. Она не сделала этого потому, что у мужиков начался разговор, и она стала напряженно прислушиваться, и хотя первое время от волнения ничего не понимала, ей стало спокойнее, кровь отлила от головы.

— Зря ты послал парня,— сказал Макашин, слегка постукивая в пол начинавшими отходить в тепле ногами.— Я пить не буду.

— Была бы честь предложена,—Захар сцепил пальцы и в упор, исподлобья взглянул в лицо Макашину, именно в лицо, а не в глаза, как бы говоря ему, что пора и объяснить, зачем пожаловал незваный-непрошеный, и не дождался.— Ну, говори, я только с работы, да и завтра не баклуши бить,— сказал он и, увидев покривившееся от усмешки лицо Макашина, тоже усмехнулся; непривычно было сидеть и разговаривать за одним столом со своим лютым врагом.

— Не торопи, Захар,— попросил Макашин.— Я к тебе года четыре, а то больше добирался...

— Я тебя, друг мой сердешный, не звал.

— Ты меня не звал, верно. Мне самому позарез нужно, без этого у меня жизни не получается.—Макашин полез в карман и, заметив сузившиеся зрачки Захара, опять передернул лицо в усмешке.— Закурить можно у вас?

— Кури, сам смолю.

Макашин достал папиросы в тяжелом, большом портсигаре, закурил; Маня подошла к столу и стала за спиной Захара, чуть сбоку и поодаль, и Макашин видел ее темные, беспокойно блестевшие глаза и понял, что она не боится его и ждет лишь подходящей минуты, чтобы выпустить когти. Но это его сейчас не интересовало, это было пустяком в сравнении с тем, ради чего он пришел к Захару. «Баба есть баба,— безразлично подумал он,— выше своего пня ей и не подняться».

Вернулся Илюша, румяный, зардевшийся с мороза; пока он ставил на стол бутылки со спиртом, выкладывал из карманов короткого полупальто банки с консервами, Макашин успел разглядеть его ближе и лучше: он был поразительно похож на молодого Захара, лишь бровями и чубом еще светлее.

— Я в клуб, батя, картину хорошую привезли. «Третий удар»,— сказал Илюша, открыто рассматривая Макашина и отмечая про себя, что отцу с матерью от этого гостя что-то не по себе; он подождал, уловил легкий, согласный кивок отца и ушел.

— Десятый кончает,— сообщил зачем-то Захар, и Макашин глубоко затянулся, выпустил дым густым клубом; после Илюши в воздухе оставалось нечто молодое, морозное.

Маня взяла консервы и пошла открыть, затем принесла стаканы, графин с водой и второй — порожний, чтобы в нем можно было развести спирт; подбросив в плиту дров, она, ни на секунду не выпуская из виду Макашина, стала что-то жарить и греть. Захар вылил в порожний графин спирт из бутылки, добавил в него такую же порцию воды.

— Повидал, Захар, я в жизни всякого,— словно пожаловался Макашин, наблюдая за руками хозяина, за тем, как побелевший вначале от воды спирт быстро отстаивался.— Много беды принес людям, а вот достиг своей точки и вижу: пустой я, никакого у меня в жизни толку. Все зря было, хоть и обидели меня насмерть, все зря, против силы не попрешь. Тяжко мне стало, жить нечем, подхвачусь в полночь, словно кто за горло душит, дыхну, а в середку, в грудь, не проходит. Не так много вроде и годов-то, сказать бы, что хворь одолевает, не скажешь... Другая какая-то сила давит... Тяжко на свете, Захар. Дай...

Он взял графин у Захара и налил себе, хотел налить и Захару, но тот прикрыл свой стакан ладонью.

— Я с тобой пить не буду, Макашин,— сказал он медленно, как бы рассуждая вслух.— Мне с тобою пить нельзя.

Стакан у Макашина чуть задержался на полпути, но тотчас, пересиливая себя, он выпил, поискал глазами по столу, взял кусок хлеба и, густо посыпав его крупной солью, заел.

— А я к тебе потому и пришел, что тебе со мной ни говорить, ни пить нельзя,— признался Макашин, глядя перед собою в одну точку.— Ты мою жизнь начал рушить, от тебя жизнь моя пустая получилась... К кому, как не к тебе, я должен был прийти, Захар? Ночи тяжкие, конца не видать, а тут в газете про тебя — передовик, ударник... Разглядываю, ну, прямо глазам своим не верю, дух перехватило; вот, думаю, кого мне от своей тоски надо. Гляди, теперь скажет, что дальше-то мне... А?

— Зря старался, деньги тратил, Макашин.— Захар поиграл желваками на скулах.— Выпей еще, закуси как следует... Мотай подобру-поздорову отсюдова, рук о тебя не хочется марать...

— А ты, Захар, ты разве не ответ? — перебил Макашин.— Это прямо по божьему промыслу та газетка с твоей знаменитой личностью попалась в руки. Чегой-

то он, мозгую, от родины подался, все в начальстве да в начальстве ходил, в колхоз всех сгонял, а тут и сам в тех краях, куда раньше мужиков-то справных повыселил, пробавляется? Уж, думаю, не в том правда, что в этой жизни всем одинаково? Ну чем он лучше меня на этом лесоповале? Как же такое, мозгую, не интересно? Самый большой интерес. Вот там у него, мозгую, ответ и найду...

— Зачем ты убил дядьку Гришу со старухой, Макашин? — спросил Захар глухим, почти звенящим голосом, убирая руки со стола к себе на колени и сжимая их там в кулаки; он видел, как Макашин налил себе еще полстакана и выпил, опять закусил хлебом с солью и, сдерживая торопливость, закурил; в это время Маня, не отрывая глаз от мужа, поставила на стол сковороду с разогретыми мясными консервами и мятой, поджаренной картошкой.— Зачем ты их убил, Макашин? — повторил Захар.

— Зря,— тихо и не сразу сказал Макашин, по какой-то интуиции стараясь не делать ни одного лишнего, резкого движения.— Зря, Захар, в тот момент не мог сдержать себя, как у зверя, все красным огнем застлало... В глазах жжет... Из-за тебя убил, Захар, как на духу признаюсь... Им-то что, все там будем, а вот самому мне — му́ка до смерти. Суди меня как хочешь, признаюсь, зря убил, виноват... слышишь... старуху-то совсем зря...

Захар молчал, стиснувшись в перекошенную груду, одно плечо выше другого, и голова вбок; все время, пока Макашин говорил, он пытался понять, нащупать то самое право, по которому Макашин вот так запросто, своей волей, явился к нему, и не мог; он почему-то с самого начала этой неожиданной жуткой встречи знал, что только спокойствие и выдержка помогут ему, и, уходя от нестерпимого желания встать и дать волю содрогавшей все тело ярости, взял графин со спиртом и немного налил. Посмотрев на синеватую, искрящуюся от света жидкость, помедлил и выплеснул ее в рот.

— Тебе нехорошо со мной, Захар,— сказал Макашин, и Захар увидел у него ясно наметившуюся лысину,— да мне с тобой того хуже. Ты мне скажи, только по правде... Нам сейчас по-другому нельзя. Скажи, ну чем ты лучше меня сейчас, что выиграл? Глотку драл, с людьми зверем был, выселял их куда-то на Север, сколь за ту стужу на тебе проклятий да слез понавеше-

но... И что? По твоему рвению тебе бы в министрах, самое малое — в генералах щеголять, а ты вон лес рубишь, всякое самое дерьмовое начальство тебе бог и царь... горбишь ты, как пришпаренный, хлеб свой зашибаешь... Ну чем тебе лучше против меня?

В этот миг и раздался голос Мани, она появилась у стола, и от решимости в ее лице вся ее фигура приобрела какую-то слитность, напряжение; Захар еще никогда не видел ее такой.

— Молчи,— бросила она Макашину с угрозой в голосе.— Не тебе, кровопивцу, обсуждать его,— кивнула она в сторону мужа.— Ты его ногтя не стоишь. У Захара дети на земле останутся, а у тебя что? Убивец ты, что тебе здесь надо? Ты душу его стронуть пришел? Зря пришел! Уходи, кровопивец! Никто тебе его души не даст!

Макашин, казалось, не слышал Мани, и когда она стиснула руки у груди и замолчала, набираясь новой ненависти, он выпрямил голову, поглядел на графин, но пить больше не стал.

— Тяжко мне, Захар,— неожиданно сказал он.— Отведи меня куда-нибудь в милицию, я все расскажу...

— Ах, вот зачем ты пожаловал! — встал, нависая над столом, Захар с какой-то даже радостной ноткой в голосе, и у Мани испуганно полоснуло в глазах.— Вот оно, оказывается, в чем твое право...

— Какое право?

— А тебе не понять! Вон оно, значит, какое! Да тебе вся жизнь кругом почище любой тюрьмы, вот из этой тюрьмы тебе уж вовек не выскочить. Вот тебя какая глыба давит... Значит, ты за спасением ко мне? — спросил он, понижая голос и глядя прямо в побледневшее лицо Макашина.— Ну, этого спасения тебе не будет... И вот того, за чем ты пожаловал, не отыщешь, Макашин. Во мне не отыщешь,— тотчас уточнил Захар,— в моей судьбе и подавно не отыщешь. Счастливый я для жизни, Макашин, вот что ты знай! Я в это счастье всеми потрохами пророс. На кой же черт мне в каких-то генералах ходить? Да я по своему этому счастью любого маршала выше — вот чего тебе не понять.

— Так ведь ты... сызмальства беспардонным был, Захар Дерюгин,— почти мука мелькнула в глазах Макашина.— Мели... мели!

— А ты слушай, раз пришел.

— Слушаю, слушаю, все брешешь, Захар, так не бывает. Вижу, не по нутру тебе этот разговор, да у меня тоже своя правда есть.

— Она и у волка есть, правда-то,— Захар как-то брезгливо покривился и тотчас словно что стер с лица.—Ты ведь, как в чужом государстве, никого рядом даже не понимаешь... Раньше-то надо было ответ искать, поздно схватился.

— Что ж, один я, Захар, это так, один на белом свете. А все-таки и у меня своя правда есть. Хоть маленькая, да моя,— Макашин говорил медленно, трудно подбирая слова.— А что ваша-то правда на всех вас одна, так я на неё плюю...

— Ну! Так уж и плюешь! — опять не удержался Захар.— Плевал бы, ко мне не приполз бы, вон как душу-то у тебя скрутило... не продохнешь, а?

Макашин долго и пристально глядел на Захара, слышно было, как в плите, затухая, потрескивают угли.

— Ты мне жизнь подарил, Захар, тебе ее и кончать.— У Макашина на бледном, каком-то вдохновенном лице светились глаза.— Это по совести, по-божески, ты на меня медведем не гляди, не испугаешь. Я за свое несу ответ, а тебе за свое отвечать, вот ты, Захар, меня и осуди, вот от кого мне суд нужен.

— Ты за какой опорой, сволочь, пришел? — словно ударил, выдохнул Захар, тверже упираясь в край стола.— Ты почему в Густищи, в свое родное село, не явился за опорой, раз она тебе понадобилась? Про свою-то правду там спроси... Про себя спроси, про Захара Дерюгина... Вот там тебе все скажут, в Густищах...

Вот тут-то Макашин и заставил себя оторваться от табуретки; слепо оскалившись, почти не видя Захара, он хорошо слышал его слова. Они были просты, как земля под ногами, казалось, они всегда были в нем, но только он о них, пока не увидел Захара Дерюгина, не знал: все, казалось, исчезло — сам он, Маня, Захар Дерюгин, осталась одна решимость и одна-единственная и самая верная дорога.

— Уходи,— донеслось до него словно из какого-то тумана, и он слегка покачнулся, хотел что-то ответить, но тут же забыл.

— Не гони, не гони, Захар, пожалеешь, ох, как пожалеешь, не гони,— повторял он в каком-то забытьи, с лихорадочно блестевшими глазами.

— С тобой рядом тяжко, Макашин, уходи.

Сам не заметив, как оказался у порога, Макашин потянул с гвоздя полушубок, подхватил свой мешок; он уже торопливо обматывал шею связанным для него Галиной Аркадьевной толстым шерстяным шарфом, как в коридоре послышался шум, веселая возня, дверь распахнулась, и навстречу Макашину, едва не сбив его с ног, с веселым визгом вбежал мальчуган лет шести. Макашин посторонился, и мальчуган бросился к матери в колени; Маня обхватила его, прижала к себе.

— Насилу довела твоего пострела, Мань! — громко сказала с порога какая-то женщина, похлопывая рукавицами.— Не удержишь — и только. Я, говорит, сейчас в тайгу убегу, к медведям! Эх, чертенок Васька-то твой, дух у него уже мужичий шевелится в шесть-то лет. Ну, я пошла, завтра тоже приведу, ты сама не ходи, мне все одно мимо детсада идти.

— Спасибо, Агаша,— кивнула Маня, не отпуская от себя мальчишку и затаскивая его за перегородку, намереваясь, по-видимому, раздеть его; он там хохотал и весело отбивался и наконец, вырвавшись из рук матери, выбежал уже в рубашонке, румяный с мороза, забрался к Захару, вновь опустившемуся на свое место за столом, на колени, обхватил его ручонками за шею и, запрокинув к нему счастливое лицо, все никак не мог успокоиться от своего смеха, морщил заветренный нос, щурил глаза и по-детски звонко хохотал.

Макашин перевел растерянный взгляд с мальчишки на Маню, и тотчас словно что ударило его в сердце; он опять метнулся взглядом к мальчишке, и ему показалось, что он сейчас не выдержит, какая-то боль полоснула по груди, остановила дыхание; он чувствовал, как помертвело лицо, губы, глаза, и, очевидно, так невыносим был его вспыхнувший взгляд, что мальчонка затих, сжался у Захара на коленях. Макашин уже встречал где-то этот ясный, упорный детский взгляд, он уже даже знал — где, но от этого в нем самом все бесповоротно надломилось; в памяти вспыхнула давняя мартовская ночь и на холодной дороге — ребенок в расшитой свитке вот с такими же точно глазами. «Ты, как что, не гляди на себя,— упал откуда-то далекий, испуганный голос,— не гляди». Он и верил, и нет, и знал, что если он сейчас ошибся, то уже не сдвинется с места, жизнь кончится, и дыхания не хватит. Он бестолково топтался у порога, затем, оторвавшись, тяжело, через силу, шагнул к Мане. Он ничего не спрашивал, но она от его взгляда едва удер-

жалась, чтобы не сорваться в крик и тотчас не вытолкать его за дверь каким угодно путем; она ненавидела его сейчас сильнее всего на свете, и он видел это и знал, но в ответ у него в глазах мелькнула и затем утвердилась почти нежность, почти любовь к ней; он ничего не просил, ни о чем не молил, он хотел лишь знать, правда ли, что этот мальчонка его сын, он требовал только этого, и она почувствовала, что не имела права отказать ему в этом последнем немом крике. И все же она не сказала ни слова, она даже не подтвердила его догадки хоть каким-нибудь движением; наоборот, мелькнувшая на мгновение жалость, желание освободиться от долгого гнета носимой только в себе истины тотчас ушли вглубь, захлопнулись; она испугалась, что еще немного — и выдала бы себя, потому что уже больше не могла выносить Макашина, да еще рядом с Захаром. Ради того, чтобы он ушел, она готова была крикнуть ему, что да, да, это своего сына он видит перед собой, увидел — и уходи, не стой, больше нельзя! Но Макашин и без ее слов и признания все понял, он сразу же стал застегивать полушубок на себе и вдруг сильно, до синевы, побледнел.

— Сейчас, сейчас ухожу,— пробормотал он, стараясь улыбнуться вздрагивающими, непослушными губами, и оглянулся на Захара.— Прощевайте, хозяева... Спасибо за хлеб-соль, за теплую встречу,— он медленно растягивал слова, стараясь справиться с душившей его какой-то слезливой и светлой тоской.— Я, Захар, одно только хочу тебе досказать,— остановился он ненадолго от прилива новых неожиданных сил и от невольного желания задержаться подольше.— Слепой ты, как есть слепой, так у тебя глаза и не открылись. Втоптали твои большевички в грязь русский народ вместе с тобой, ты и стоишь на карачках... А, да что говорить с тобой...

— Иди, иди! — стукнул кулаком по столу Захар.— Еще о народе заговорил! Уж если, по-твоему, в погибели он, не тебе спасать... Уходи! Считай меня кем хочешь, но с тобой местом не поменяюсь... Уходи, говорю!

— Уйду, не гони, я у тебя недолго-то и пробыл.— У Макашина перед глазами прояснилось, стало наконец совсем светло, и он мог видеть лицо мальчонки. Он уже не отрывался от него до тех пор, пока не вышагнул за порог и с облегчением, жадно не вдохнул в себя обжигающий морозный воздух. Он оставил после себя какое-то

почти физическое опустошение, и Захар, ссадив с колен мальчонку, закурил. Искоса поглядывая на жену, чем-то в ней настороженный и даже удивленный, молчал, сосредоточенно и глубоко затягиваясь.

— Вот тебе и вынырнул черт из болота... Оказия,— пробормотал он, не зная, что еще и подумать.

— Боюсь, ой боюсь я, Захар,— не отрывая взгляда от двери, Маня потерянно опустилась на лавку, тут же опять вскочила. Она сейчас словно заблудилась и пробиралась к свету через дикий бурелом, раздирая тело о сучья; прошло несколько секунд, и она, вскрикнув, рванулась к двери; догнав ее уже на крыльце, Захар накинул на плечи ей телогрейку. «Илюшка, Илюшка»,— не в силах говорить, она на ходу махнула рукой в сторону клуба, и Захар еле поспевал бежать за нею; во многих домах, словно обнизившихся к земле под тяжестью снежных наносов, яркими пятнами пробивался свет; редкие тусклые фонари под жестяными тарелками абажуров выхватывали то пригнувшийся под снежными пластами кедр, то неправдоподобно высокий, вполовину дома, сугроб. Маня, ни на что не обращая внимания, бежала, хватая стылый, густой от мороза воздух.

Еще задолго до клуба она услышала голоса, орущие вразнобой, как ей показалось, дико, и хотя в поселке нередко случались драки, Маня тотчас безошибочно, как ей казалось, почувствовала, что это не просто драка, но она уже не могла остановиться и добежала. У крыльца клуба при неверном свете двух фонарей на высоких столбах человек десять молодых мужиков на остервенелом морозе играли в темную; один из них, отвернувшись в сторону, прикрывая сбоку лицо ладонью, вторую ладонь просовывал себе под мышку, и по ней кто-нибудь из стоявших сзади, сильно размахнувшись, бил, а затем все мужики с диким гоготом и ревом выставляли вперед руки с поднятым большим пальцем, а тот, кого ударили, должен был отгадывать ударившего. Захар сразу все понял, потому что и сам не раз грелся в мороз такой богатырской игрой, но ему было сейчас не до этого. Маня в каком-то страхе всех подряд спрашивала, не видел ли кто Илюшки, и Захар не отставал от нее, схлынувшее было беспокойство опять начинало расти, и когда наконец кто-то в ответ на очередной вопрос Мани засмеялся и посоветовал ей заглянуть за угол клуба, притом указывая, за какой именно, Захар, уже не соображая, что делает, поспел туда первым. Он

тут же увидел в седом ночном полумраке сына в ладном полушубке, в сбившейся на затылок шапке, который кого-то целовал; от неожиданности и изумления и от еще жившего в нем страха Захар, тяжело дыша и чувствуя, что вот-вот появится Маня, крикнул:

— Илья!

В ответ раздался тоненький, испуганный вскрик: «Ой!» — и тотчас какая-то девчушка метнулась в темень, а Илюша растерянно стоял и топтался перед отцом, глядя куда-то себе под ноги.

— Ну, такой-сякой, а? — растерялся Захар окончательно.

— Что ты, батя, что это с тобой? — сумрачно удивился Илюша, все так же не глядя на отца.

— Да ничего... черт! — выругался Захар и облегченно засмеялся.— Иди, иди, проводи...

Он махнул рукой и поскорее вильнул за угол, чтобы успеть перехватить Маню.

— Успокойся ты, дура, взбаламутила,— сказал он ей с досадой, все еще ощущая неловкость после встречи с сыном.— Кому он нужен, вон с девками по закоулкам обжимается... Вообразила тоже! Что он тебе, Федька Макашин... не за этим приходил...

Маня хотела что-то сказать, не смогла и с залипшим горлом, в котором что-то больно дергалось, побрела назад; лицо Макашина наплывало откуда-то издалека-издалека, и у нее то и дело подламывались ноги.

— Обожди, Маня! Стой! — позвал Захар, догоняя, и она оглянулась.

— Я тебе говорила, Захар, остерегала от него, зверь это, не человек,— почти шепотом сказала она.— А ты и тут хотел над ним власть взять. Что ты на меня-то уставился? У меня сердце бабье, как вытерпела, не знаю. Не пойму ничего... На твое ангельство смотреть тошно, Захар... Мне теперь во всю жизнь покоя не будет... Ну как он...

— Да ты о чем, о чем это? Какое ангельство-то?

— Какое... Бродит же он где-то...

— Перестань...

Каким-то туманным пятном было перед Захаром лицо Мани, но он видел все в этом пятне, все, до мельчайшей подробности, и голос проникал в него, он отчетливо разбирал каждое слово. Останавливая ее и себя, он сильно тряхнул ее за плечи и почти насильно повел домой; всхлипывая, она шла и вся дрожала

и только перед самым домом, припоминая слова Захара, спросила:

— С кем это Илюшка-то?

— Видать, с младшей Прокофьича-то, мастера,— буркнул Захар.— Время пошло, губы-то не обсохли... Порода чертова...

— Уж винить тебе некого, порода твоя,— подтвердила начинавшая приходить в себя Маня.

3

Сухой мороз лег, острые звезды, усеявшие звонкое ночное небо, словно текли через его душу пронзительной пылью; дыхание жизни кончилось и оборвалось, потому что два встречных потока сшиблись и ничего больше не стало. И все-таки какой-то далекий согласный хор гремел, разрывая всяческие стены и перехлестывая через края в ожившей от долгой тьмы душе Макашина; то была слава чему-то неведомому, чего он не знал, но что было сильнее всего и необходимее всего; душа у него распалась, и кто-то звал и влек его. Он уже давно миновал последние дома поселка (они проплывали мимо светившимися окнами, как последнее напоминание и надежда жизни), и теперь вокруг тянулось серебристо-бледное от луны, с глубокими голубовато-холодными тенями молчание тайги; под ногами сухо и громко похрустывал снег. Макашин ничего не замечал — ни дороги, ни тайги; мальчишеское лицо не отступало от него, оно сейчас как бы просвечивало изнутри его самого; шаг у него креп, становился размашистее и тверже.

— Раз, два... раз, два,— командовал он сам себе.— Ничего... ничего... Раз, два...

Ему невыносимо хотелось сейчас пройти с хрустом по всей тайге, по всей земле, ломая деревья, топча города и сшибая горы, словно был он гигантского роста и силы; ничего удивительного в том, что у него появился сын, о котором он не знал, не было, но именно то, что он об этом узнал, стронуло в его душе давно копившуюся лавину; жизнь в нем от этого пошла какими-то вихрями и провалами. Все, о чем он думал, как представлял себе в течение последних нескольких лет, было опрокинуто, смято, вдруг все остановилось и потекло в обратную сторону, и этого нельзя было перенести;

время в нем сейчас словно бы было в трех плоскостях, оно струилось и вспять, в прошлое, и вперед, оно словно и остановилось в нем. Что-то случилось, что-то горячее прихлынуло к глазам; небо в искрящейся звездной пыли отступило, померкло, распахнулась заснеженная тайга; лохматый, тяжкий ком жизни, со скрежетом повертевшись на месте, рванулся, и устремился назад, и рассыпался в одну из мартовских ночей на глухой проселочной дороге, когда он увидел перед собой ребенка и с дрожью, похожей на замирание смерти, узнал в нем себя; это чувство потом никогда не забывалось в нем полностью, работал он или отдыхал, пил или был с женщиной; сколько раз он срывался среди сна и с подскакивающим до самого горла сердцем садился, ничего не понимая, лишь чувствуя убивающее одиночество в ночи. Всю свою неприкаянную жизнь он хотел сына, именно сына, и вот теперь это исполнилось; от одной мысли, что будет с мальчишкой, если узнают, кто у него отец, у него сохло во рту, он уже дважды на ходу хватал снег и, обжигая горло, глотал. Он понимал, что должен что-то сделать, чтобы прекратить это состояние, но не знал, что именно; не раздумывая он пошел бы на что угодно, лишь бы успокоиться хотя бы на время. Какая-то радостная мысль родилась в нем, когда он прочитал в газете о Захаре Дерюгине; еще до того, как он принял определенное решение, он уже знал, что это как раз то самое, что ему необходимо, этот последний рубеж ему было суждено перешагнуть, чтобы в жизни ничего неизвестного более не оставалось, чтобы стало спокойно на душе и можно было бы дожить как-нибудь отведенный ему срок; он не знал, не мог знать или предполагать, что ему придется столкнуться с чем-то таким, что его надежда в одночасье развеется; вначале слова Захара о Густищах, затем веселое, шаловливое, щенячье в своей детской бездумной радости светлоглазое существо, начало которому было дано им в ночь весны сорок третьего, сразили весь его внутренний порядок, его право на встречу с Захаром и на разговор с ним, в котором чуть раньше он был убежден безоговорочно. И тогда случился стремительный шаг назад, к дорогам сорок третьего, а затем и сорок четвертого года; разумеется, он мог бы забраться за тридевять земель, но после того, что случилось в Густищах, какая-то цепь не отпускала его, и он, лежа как-то на тесных нарах блиндажа, зажатый спящими соседями, понял,

что ему никуда не уйти прежде всего от самого себя. Лицо казненного однофамильца из Выдогощи, документы которого он на всякий случай хранил при себе, прорвалось к нему, из пулевого отверстия возле брови вытекла и застыла густая, темная кровь, натекла в глазницу, второй глаз был широко, почти судорожно открыт, и мертвый зрачок свинцово темнел; потом Макашину часто казалось, что эта горошина запала в самую его душу, присутствует там, распространяя в нем страх и холод; а в ту первую ночь, когда окончательно наметился его дальнейший путь, казненный однофамилец преследовал его удушливым кошмаром при малейшей попытке задремать.

Какое-то неожиданное препятствие выросло перед Макашиным, он шагнул в сторону, в другую, почти по пояс проваливаясь в снег; это были скорее всего стянутые в одно место при раскорчевке дороги пни, неплохо было бы докопаться до сушняка, наладить огонек и отдохнуть, черт с ними со всеми — и с Захаром, и с Маней, и с Густищами, земля велика, места на ней любому хватит. И мертвым хватит и живым... Вот только бы вспомнить что-то более важное, постой, постой... Про что это он только что думал?

Привалившись спиной к обрывистому намету, он слегка как бы осел в снег, гудевшим ногам сразу стало легче. «Да Васей-то и зовут сына, вот бестолковая голова»,— неожиданно легко мелькнуло в нем, и он коротко засмеялся. «Вася, ах, да, Вася»,— сказал он и несколько раз вслух повторил это имя, привыкая к нему окончательно.

Дорога или кончилась, или он, не замечая, просто свернул с нее; дальше он, выбравшись из занесенного снегом бурелома, двинулся по целику, утопая выше колен, а иногда и до пояса; голубовато-тускло сияющие ели проползали мимо густыми, высокими пиками; иногда редко и резко чернели освободившиеся от снега лапы. Он шел несколько часов, стало светать, и звезды побледнели, он остановился на небольшой поляне; старые заснеженные кедры обступали его, и когда он потянулся взглядом к их вершинам, у него от высоты закружилась голова. Он сильно устал, но заставил себя собрать побольше сушняка, обтоптал снег и разжег костер. Несмотря на трудную и долгую ходьбу по бездорожью, он замерз и теперь, жмурясь и часто моргая настывшими глазами, с наслаждением тянул руки

к слабому огоньку; сучья, разгорясь, потрескивали, легкий белесый дымок бесследно исчезал в смутно раскидистой кроне кедра. Постепенно отогреваясь, Макашин блаженно поворачивался к костру то одним, то другим боком; ему захотелось пить, и он, слепив большой и твердый ком снега, насадил его на палку, подержал у огня, с интересом наблюдая, как снег постепенно начинает таять, темнеть, пропитываться водой, затем осторожно поднес ко рту, высосал, все с тем же тихим и покойным удовольствием ощущая вкус дыма. Он уже решился, посидев еще немного, он стал доставать из кармана все, что там было, и складывать перед собою; все, что могло гореть, он медленно, одно за другим, подбрасывал в костер. Газету с портретом Захара, носовой платок, смятую пачку папирос, паспорт, трудовую книжку, замусоленный блокнот, в который он последний год заносил кое-какие расчеты по работе; все тщательно переворошив, чтобы сгорело дотла, он замер; тепло костра больше не действовало, он сейчас ощущал легкую, веселящую изморозь изнутри. Это было похоже на то, что он испытывал, убивая других, его сейчас вновь затягивала в себя жадная воронка, куда-то все глубже, глубже, назад, все стремительнее. В глубине души таился, выветриваясь, последний страх, мелькали лица убитых им людей, молящие, полустертые, но не забытые глаза теперь тоже словно просвечивали у него самого изнутри, и все для него превратилось скоро в один белый крик, заполнивший пришедшее в тайгу утро из края в край. Он рванулся в него; он сам никогда не умирал, но теперь ему хотелось почувствовать все, что испытывает человек в этот момент. Он не мог бы объяснить себе того, что с ним произошло, жадная дрожь еще раз прошла по телу, и он постарался хоть несколько унять ее. Не к месту вспомнив Васю, его светящиеся в нем самом, в Макашине, родные глаза, по которым он всегда неосознанно тосковал, он еще помедлил. На лице у него появилась неуместная, но все более крепнущая улыбка, затем он взял пистолет, стараясь не прикасаться губами и языком к стылому, липкому металлу, осторожно просунул дуло в рот и выстрелил.

Последовал огненно ломающий все рывок головы назад, руку с пистолетом отбросило; вершина кедра с затухающим звоном подскочила, рванулась в сторону, прозрачный от белизны снег стал чернеть и провалился.

Но каким-то странным, непостижимым образом на его лице опять образовалось, как-то закрепилось и затвердело подобие улыбки.

Через год, поздней осенью, когда уже вновь начинала подмерзать земля, двое местных охотников натолкнулись под вечер на эту поляну в кедрах, привлеченные ее уединенностью и красотой, и решили остановиться на ночевку. Один из них, помоложе, сходил за водой к быстрой, говорливой речушке неподалеку, слегка прихваченной с берегов ледком, затем стал собирать сушняк. Что-то белевшее в высохшей траве привлекло его внимание, он подошел ближе и увидел остов скелета с полусгнившими на нем остатками одежды, пожелтевший череп, словно отполированный дождем, ветрами, остальными превратностями погоды и всякой таежной мелочью, вроде муравьев и червей. Молодой охотник подозвал товарища, и они, как и приличествует в подобных случаях, порассуждали о жизни, припоминая самые разные варианты несчастных случаев. Охотники не нашли ничего, что могло бы указать на личность погибшего; покрытый тусклой ржавчиной пистолет с несколькими неистраченными зарядами внес в догадки еще больше неясного, и они, прибрав останки и слегка привалив их землей, отдохнули, а затем, не сговариваясь, решили устроить ночевку где-нибудь в ином месте.

4

Захар Дерюгин как всегда в семь часов утра вставал, одевался, съедал что-нибудь, с напускным равнодушием поглядывая на в одночасье постаревшую, с пустыми глазами жену, говорил ей несколько ничего не значащих слов и уходил на работу. Маня, после посещения Макашина вот уже больше месяца хворавшая, садилась у окна и подолгу глядела на мохнатую, узорчатую изморозь на стеклах, а иногда оттаивала своим дыханием кружочек и пыталась увидеть, что делается на улице. Зима была лютой, с ярыми, безветренными морозами, доходившими до пятидесяти градусов, и небо оттого большей частью было высокое, ровное, без единой помехи глазу, чистое, и только маленькое мерзлое солнце колюче поднималось в нем невысоко над тайгой. Пока кружочек на стекле вновь не затягивался, Маня следила за пробегавшими по улице людьми; но иногда эта ее

отрешенность прорывалась раздражительными вспышками, она начинала бесцельно бродить по дому, натыкаясь на стены и мебель, часто плакала; возвращался домой Захар, и она утихала, молча собирала на стол, кормила его; в доме внешне сохранился прежний, привычный порядок, но и сам Захар, и Маня хорошо знали, что это не так. Если раньше жизнь семьи шла одним согласным руслом, то теперь Маня и Захар жили как бы отдельно и каждый сторонился другого; какое-то внезапное открытое недоверие установилось между ними. Что-то важное разладилось, а что — никто не мог понять, и это все больше и больше обоих мучило. Являлись и просветы, когда они словно выныривали из несшей их мутной волны и опять видели друг друга по-старому, но это случалось редко; Маня уже почти совсем не могла спать по ночам и сделалась плоха лицом; она теперь с нетерпением ждала минуты, чтобы погасить свет, остаться в темноте с тем неназываемым и безликим, что тотчас обступало ее со всех сторон; она знала, что ничего нельзя вернуть, и если Захар пытался затеять разговор, она начинала бояться еще больше, что-либо невпопад отвечала, а сама тотчас выдумывала себе дело, то принималась чинить ребятишкам штаны, то затевала стирку, а то скоблила и без того чистые полы. Как больной зверь забивается в дремучую чащу, отыскивая только одному ему ведомыми путями исцеление, тайную силу, заложенную в нужной неприметной травке, в потаенных деревьях, так и она вела себя; ее спасением было бессознательное бегство в прошлое, в тот страх, в ту жуть, что ей однажды пришлось пройти и вот теперь всплывшие опять. Она понимала Захара и не могла оправдать себя; к ней из темноты тянулись широкие, полные ожидания глаза Макашина. «Ну чего же ты, Маня, бей!» — слышала она его голос и отодвигалась от похрапывавшего Захара подальше; надо, надо было ударить, холодея, думала она, да ведь пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот если бы тогда она не обвяла от бабьего дурного страха, ударила бы, сейчас бы ничего и не было, жила бы себе припеваючи, ох, насмерть наказал бог за тяжкий грех с Макашиным, не замолить, не заслониться. Еще тогда, в сорок третьем, хотел Макашин забрать одного из сынов Захара; столько бы лишней злобы не случилось, не дрогни у нее тогда рука. «Господь долго ждет, да больно бьет»,— любил повторять дедушка Макар, только вот теперь доходит до

нее правда его старых слов: бросить бы все, уехать к своим, к матери. Нельзя ей больше тут оставаться, еще горшая может статься беда. Плохо ей рядом с Захаром, как-то не может она по-прежнему прямо ему в глаза поглядеть; а если он душой-то правду почуял? Макашин в тот вечер говорил: отведи меня в милицию, сдай,— а Захар вон как, рук не захотел марать, а почему, почему? Как же, грамотный, с работы вернется, пожрет — и за книжку на старости лет, все никак своего председательства над людьми не забудет. Все оно его блазнит, жить по-людски мешает. Другие вон и за зверем в лес, и за рыбой, и огороды у них вдвое больше раскорчеваны, а у этого все усмешки; досмеялся, доизгалялся, Захар Тарасович, тебе что, хоть бы и с Илюшей, дорого он тебе достался, что ли? Мужик и есть мужик. Растил ты его, поил, над болячками его старился? Тебе что...

Маня не могла понять, что с ней случилось и чего ей хотелось, не знала, кого она больше ненавидит сейчас — Макашина, себя или Захара; по ночам она часто вставала и уходила в другую комнату, прислонялась к теплому боку печки; здесь, рядом с детьми, ей становилось покойнее, но выхода, как она ни прикидывала, как ни старалась, не видела.

Теперь и вспомнишь матку родную, мучилась она, уж как не советовала она ехать к Захару, как ругалась. Ты, говорит, как родилась в недобрый час, на позор родителей, крученой, так и осталась, поезжай, поезжай к своему кобелю непутевому. Узнаешь, почем фунт лиха; коли бы она ее послушалась — и горя никакого, пусть бы Макашин с Захаром бились смертным боем, а дети бы при ней были; опять Маня торопко, с ледяным ознобом в плечах, тянулась во тьму; не далось ей уворованное у другой счастье, ворованное и есть ворованное. «Да разве я виновата, разве у меня была радость-то настоящая в жизни? — спрашивала она кого-то.— Пролетело все, и оглянуться некогда было. Все тайком, украдкой, грязь эту так и не могли отгрести; да только какая же это грязь, какая грязь? — тут же спрашивала она себя.— Не было никакой грязи, если разобраться, все было по-божески; как нищая, получила распоследний кусок — и рада, и довольна; да и то боялась, что в любой момент отнять могут, вот в своем бабьем страхе и промыкала долю, а сейчас спросить не с кого. Стоило откуда-то вынырнуть Макашину, и все зашаталось, а он

ведь не сгиб напрочь, из-за любого угла может выскочить, теперь куска всласть не съешь, детям в глаза не поглядишь открыто... Чует сердце, не в том она даже и бабья жизнь, чтобы потом прийти к совершенно порожнему месту; вот и Захар рядом, и спит, и ест, а уже нет в нем того, чтобы он для нее весь мир закрывал, словно он в одночасье истончился, какие-то прорвы от этого открыл за собой, и потянуло из них ознобливым сквозняком. Ничего и Захар, оказывается, не мог сверх своей меры, а я на него надеялась, как на гору нерушимую: защитит, отведет горе-беду, из любой ямы вытянет. Сама дождалась, а ждать нельзя было, самой видеть бы, что не на кого и надеяться».

Она подходила к спящим детям, прислушивалась к их дыханию, опять возвращалась к теплому боку печи, прижималась к нему; она не хотела винить Захара и все старалась найти для этого разные лазейки, и, однако, она все чаще в свои бессонные ночи досадовала на него. И больше всего за то, что он спит, иногда даже похрапывает (это случалось все чаще), а она вот мучается с собой, боится, что Макашин где-то бродит в миру, может, сидит где-нибудь за углом в ночи, ждет...

Ей все чаще казалось, что она со своей бедой осталась совершенно одна; она не знала, что именно в этом была неправа, потому что, как только она крадучись вставала и выбиралась из постели, Захар тотчас открывал глаза и уже больше не мог спать; он твердо знал теперь, что Макашин забрел к нему не так просто и, возможно, в чем-то оказался сильнее и в единственном за много лет разговоре между ними хоть отступил на словах, но что-то темное, чужое оставил после себя. Захар никак не мог понять, почему ему стало так тяжело и как он, поживший, стрелянный уже не раз в жизни волк, в чем-то промахнулся с Макашиным: и баба ничего не говорит ему, но он-то хорошо видит, что с ней творится что-то такое, чего нельзя было допускать, и что причина этого — тот же Макашин. Надо было тут же, у порога, схватить и задавить, запоздало сожалел Захар, а там пусть бы разбирались, да нет же, ударился куда-то совсем в другую сторону, а ведь свой суд-то короче.

Пройдя войну, плен, Захар был уже не тем Захаром, что в любой дождь и снег мог пробиться к Мане в горницу, обещай ему за это хоть смертную казнь, что-то прежнее, бесшабашное подсохло в нем. Он теперь знал,

что в жизни ничего нельзя объяснить с налету, а многое и совсем нельзя понять, но вот день или два тому назад к нему пришла неожиданная и мучительная потребность понять, когда, в какое время, в нем надломился серединный гвоздь; он сам не знал, зачем ему это было нужно, но работа началась, и не в его силах было, он знал, остановить ее. Каждую ночь, как только Маня вставала и бесшумно уходила, он тотчас открывал глаза, у него начиналась своя жизнь, отдельная от всего на свете, отделенная и от него самого; он должен был найти самый исток, зерно, из которого все началось, и в бессонные ночи перебирал дни, недели, годы, и все они издали казались на один лад. Вначале казалось, что виной всему была его ранняя женитьба, дети один за другим, бедность, но, поразмыслив, он отбрасывал время до организации колхоза, да и время до начала войны тоже. И Маня, и рождение Илюши, и его схлест с Брюхановым — все это не могло подбить его; он и сейчас не мог без стыдного горячения в лице вспомнить тот момент, когда Иван, его старший, так и сгинувший безгласно в войну, застал его тогда в сарае с веревкой в руках; уж не тогда ли все это и началось, спрашивал он себя, не тогда ли и попало ему в душу семя, забившее потом все чертополохом? Нет, не тогда, не то, решил он, натура у него медвежья и тогда, в молодости, все вывозила; вот потом какую избу отгрохал. А Ефросинья ее с немцами вместе сожгла, вот тебе и каменная баба, думал он; каменная, каменная, а сердце у нее гордое, и сюда отказалась ехать, значит, век жила с ним в обиде, а запрятанная обида — она горше любой другой. Так она с этим камнем и шла рядом, а он-то посвоему рассуждал: у нее, мол, характер легкий, покричала и забыла, да и чего ей не хватало от него? Вот только теперь, через много лет, он видел, чего ей не хватало; но как бы он ни хотел, он уже не мог вернуть ей долга, слишком тяжко он тянул, и не то что за остаток жизни, за всю жизнь сызнова этот долг не поднять. Из-за этого, пожалуй, и отказывался съездить какнибудь в отпуск на родину, хотя отлично знал, что Ефросинья давно простила его; простила потому, что поняла его лучше, чем он сам себя, да и кто знает, что его держит на этом проклятом месте вот уже пять лет?

Захар пялил глаза в сплошную темень, он знал, что над ним потолок, ни дождь, ни снег на него не повалят, и все-таки у него все крепло и крепло чувство своей

беззащитности и открытости; словно на какой-то беспардонной картине, уместившей в себе всю его жизнь, жизнь его родных и знакомых, он все видел перед собою одновременно, с начала и до конца, и опять не мог не удивиться. Как же, думал он, пойми тут, что к чему, если родная дочь Аленка стала женой его бывшего дружка Брюханова, мужика моложе его лишь всего на один год, и вот тебе нá, живут, девку родила, внучку то есть ему, а он ни разу родной дочке не написал, хотя от нее письма не раз получал, и все они лежат у Мани в коробке. В этом ему тоже, видать, не разобраться вовек; ему не понять ни дочки, ни Тихона, теперь зятя. Ха-ха, зятя! А с другого бока, так что ему за резон рвать да метать в злобе? Раз сошлись и живут, значит, им виднее, сам-то он не больно спрашивал... И зять-то каков — закачаешься, секретарь обкома, что хочешь думай себе, а Аленка, видать, девка не промах, пусть хоть она за всех Дерюгиных по-людски поживет. И младшего, Кольку, вот у себя держит, учит, парень, говорят, способный, башковитый, пишут, в год по два класса проходил, поди пойми, откуда он такой получился? Вот так она, жизнь, распорядилась, собственные дети растут, а ты вроде и ни при чем, оттого и душная злоба иногда плеснет на того же Брюханова; не пахал, не сеял, а урожай весь у него, пользуется себе чужим и не оглядывается. Да на это и закона не придумано, в этом каждый по-своему живет.

Он не раз обрывал себя; в конце концов, он по собственному опыту знал, что все меняется, и то, что сегодня казалось важным, необходимым, завтра может вызвать усмешку, и наоборот. Или ты в самом деле, по словам Макашина, не добрал своего? — спрашивал он. Так если чего и не досталось, так не пропал же. Придет время, и с Маней наладится, и в Густищи в свой срок явишься погостить. А там и Холмск недалеко; ну, скажешь, давай, зятек Тиша, посидим! Поговорим! Да ты не суетись, не бойся, я тебе не помешаю, не *запачкаю*, я так к тебе, без всякой жалобы, я к тебе полюбопытствовать. Вот у тебя дети мои, скажу, одна в женах, другой в примаках, вот видишь, я для них ничего не сумел, а ты — все, вон какой ты важный, ну, так вот я и зашел глянуть. Я так, без злого умысла, взглянул себе и пойду, так оно с самого начала определилось, тебе свой широкий большак, а меня вкривь повело, по болотам и рытвинам. Непростое оно дело —

судьба, ты ее на козе не объедешь. Не хватило у меня какой-то малости, вот и все. Ну, да и мне обижаться нечего и по жизни не согнувшись, прямо прошагал...

И как-то в одну из таких ночей Захару, почти непрерывно жегшему крепчайший самосад, стало не по себе, затошнило, закружилась голова; он хотел встать и напиться, но, едва приподнялся, что-то отбросило его назад; он почувствовал медленную боль в правом подреберье и следом вкрадчивый удар вверх, к предплечью. Словно потянулись из его тела какие-то большие тугие нити, привязывающие его к чему-то извне, они будто выкручивали из него острую боль и рвались одна за другой и все-таки никак не могли прорваться полностью.

Он лежал, боясь пошевелиться, стараясь припомнить, когда и где с ним уже было нечто подобное; из полумрака выступал кусок бревенчатой стены, а напротив бесформенно расплывалось затянутое толстым морозным кружевом окно.

5

Это было на второй год его плена у немцев, после неоднократных попыток бежать и трех самых настоящих побегов. Почему его не прикончили, трудно сказать, может, потому, что всякий раз он назывался новым именем и попадал в неразберихе войны в другие лагеря. А совсем недавно его схватили уже на территории Белоруссии, неподалеку от старой границы, и, видать, пожалели губить зря дармовую силу; кстати, несмотря на все неурядицы и передряги, с первого же взгляда было видно, что, хотя месяцы и месяцы каторги, но он еще был способен работать и приносить пользу, и его отправили в специальную команду по расчистке и восстановлению железнодорожных путей после бомбежек и особенно участившихся в зиму и лето сорок третьего года партизанских диверсий. По правде говоря, когда он понял, куда попал, он обрадовался: по его мнению, не стоило большого труда сбежать в непрерывных разъездах с места на место, и с первого же раза он стал присматриваться к окружающим,— но день проходил за днем, неделя за неделей и что-то, чего он никак не мог понять, не давало ему возможности даже и поду-

мать о побеге или хотя бы намеком поделиться этой своей мыслью с кем-нибудь рядом.

Первое время он растерялся: вокруг него было невидимое кольцо; он чувствовал на себе мертвые, но тем не менее цепкие, почти враждебные взгляды таких же, как он сам; они держали его сильнее конвойных; бежать было нельзя, хотя он не понимал, почему. Это «нельзя» выражалось в каком-то по-звериному сильном и ясном чувстве опасности, оно непрошено всплывало в нем, как только он начинал думать о побеге. Нужно было ждать, выяснить и понять это чувство опасности, определить, откуда оно исходит. И он дождался этого понимания, когда его привели для разговора к начальнику команды, слегка прихрамывающему от старой контузии обер-лейтенанту Генриху Штиглю; это был мужчина чуть выше среднего роста, еще одно не состоявшееся дарование на политическом и военном поприще, по крайней мере сам он в своей талантливости был убежден безоговорочно и все время искал систему, посредством которой мог бы убедить в своей значимости других. В подчиненной ему команде из двухсот человек пленных и конвойного взвода он как раз и решил применить свой выношенный метод; благодаря долгому, почти годовому, отбору пленных для работы в команде обер-лейтенанту, обладающему, как он полагал, научной структурой мышления, удалось в большинстве своем подобрать людей, снизведенных голодом, наказаниями и постоянным страхом смерти до уровня покорных животных. Вернее, из двухсот человек таких или примерно таких было несколько десятков, но и это обер-лейтенант Генрих Штигль, как всякий дилетант, считал выдающимся достижением и успехом; он пока ни с кем не делился своим открытием — в голове у него зрела мысль о патенте; одним словом, он был из многочисленной породы предпринимателей и чудаков, на которых война не разбираясь напялила военную форму, но характеры их и сути укротить или переменить не могла, и они потихоньку, готовясь к лучшим временам, продолжали созидать каждый свое причудливое здание. Метод обер-лейтенанта Штигля был прост: всем пленным и каждому в отдельности он втолковывал одну истину — за побег любого из команды тут же расстреливался каждый пятый в строгой геометрической, как любил почему-то говорить Штигль, прогрессии. Он опутывал команду пленных паутиной коллек-

тивной ответственности, и разорвать эту паутину было труднее, чем что-либо иное материальное, вещественное, тем более что у обер-лейтенанта Штигля была какая-то звериная интуиция, он тотчас и на расстоянии чувствовал любой непорядок в своем хозяйстве и, бросая любое дело, выяснял причины, поднимая свою команду на дыбы в любой час дня и ночи, он тут же начинал все выворачивать наизнанку.

Захара он отметил сразу, как только увидел его, осматривая вновь прибывшую партию пленных: выше других почти на голову, с каменно напряженным, худым лицом, Захар стоял во второй шеренге, стараясь, чтобы приземистый, упитанный и довольный собою обер-лейтенант как-нибудь не остановил на нем своего внимания, и все-таки какая-то несломленность, таившаяся в напряжении лица, в запавших, сумрачных глазах, ни разу прямо не глянувших на обер-лейтенанта, остановила внимание Штигля, и он тотчас с некоторым даже удовольствием отметил, как бы засек Захара, его глаза и лицо, в памяти и с неделю к нему присматривался. Затем однажды вечером Захара привели к только что поужинавшему обер-лейтенанту. Уютно устроившись в кресле, Штигль с удовольствием курил, поглядывая на стоявшего у дверей Захара; он отослал солдат, но на столе под аккуратно сложенной газетой лежал браунинг; успокаивающе темнела рукоятка с насечкой. Переводчик, лысеющий студент из Кёльна, был слегка пьян, и обер-лейтенант к этому уже привык; у них в какой-то мере давно уже сложились дружеские отношения, и на это имелись свои причины, о которых ни обер-лейтенанту, ни его переводчику просто-напросто не хотелось бы рассуждать с кем бы то ни было. Переводчик со странной веселостью в лице повернулся к Захару; ему давно надоело разговаривать с этими забитыми, истощенными людьми, первое же испытание срывало с них культурный слой, и оставалась первооснова животного, желание выжить, подбирать из грязи корм, лизать руку господина с плеткой; сквозь легкие винные пары переводчику приятно грезился иной мир, иные категории, и Захар Дерюгин в прозрении ненависти понимал блаженное состояние этого от чувства собственной значимости и безопасности на данный момент пьяненького, сравнительно хорошо устроившегося жить парня; сколько он их перевидал за время плена, но все они были для него на одно лицо. Вот и сейчас ему

казалось, что он уже где-то раньше видел этого переводчика и что обер-лейтенант ему уже знаком. И это чувство помогало ему, усталость после каторжного дня тоже помогала; он стоял как бы в полусне, со свинцово затекшими, словно вросшими в пол, ногами. Так было легче стоять. Какими-то неясными тенями обозначались перед ним немцы; когда переводчик, уже начиная сердиться, возвысил голос, Захар разобрал его вопрос, показавшийся ему до того пустым, ненужным, что он, если бы мог рассмеяться, сделал бы это.

— Да кто же я? — переспросил он с досадой.— Человек, вот кто.

Улыбка яснее проступила на лице переводчика, он с неприкрытой иронией взглянул на обер-лейтенанта.

— Вот вам ваша страсть коллекционировать этот вид. Скучная работа, все они считают себя тем же высшим подвидом, что и мы с вами. Но, барон, так уж устроен мир,— переводчик вливал в свою речь и толику яда, и толику меда, иногда применяя прием слегка, вроде бы невзначай, притронуться к самому уязвимому в собеседнике.

«Барон! Господин барон!» — подумал переводчик, отмечая про себя, как встрепенулся обер-лейтенант, подобно старому рысаку, почуявшему во сне призывный звук боевой трубы, хотя захиревшая баронская ветвь Штиглей давно стала фикцией — ни поместий, ни денег, одна геральдика да гербы, рычащая львиная пасть, клыки и алый бархат. Переводчик, прекрасно об этом знавший, наслаждался действием, вызванным всего одним коротеньким словом, и почти забыл о пленном, он был даже неприятно удивлен, когда обер-лейтенант напомнил ему о деле.

— Природа интересна в любом проявлении,— сказал обер-лейтенант.— Среди них встречаются подобные экземпляры, я их безошибочно чувствую. Недаром сразу приметил эту азиатскую рожу.

— Чего ты хочешь? — спросил переводчик Захара, выполняя приказ.

— Ничего... Спать хочу...

В глазах обер-лейтенанта мелькнула брезгливость, он уже словно видел заинтересовавшего его пленного мертвым, но это была такая привычная мелочь, что обер-лейтенант тут же удивился своей вспышке. Оснований выходить из себя не было; обер-лейтенант покосился на переводчика, вольготно раскинувшего в бар-

хатном кресле тощие, длинные ноги. Вечно пьяный красавчик начинал его раздражать, и между ними случился короткий диспут на тему о том, что такое виноградная лоза и какой продукт из нее получается при соответствующей обработке, и еще о том отличии между немецким солдатом и русским, что ставит первого на недосягаемую высоту. Своевременно вспомнив о долге в пять с лишним тысяч марок, обер-лейтенант вновь сосредоточил интерес на пленном, но необходимой остринки уже не получалось, и обер-лейтенант почти в миролюбивом тоне сообщил пленному все, что будет, если он не то что попытается бежать, а даже если подумает о побеге, и отпустил его; переводчик одобрил это решение сочувственным кивком и стал удобнее устраиваться в кресле, закурил и придвинул ближе к себе пепельницу. Он не ошибся, наступало самое главное: Штигль достал из шкафчика бутылку с коньяком, две рюмки, поставил на стол бисквиты. Дело в том, что барон Генрих фон Штигль кроме всего прочего с детства писал стихи, самые удачные бережно переписывал в изящный блокнот, а иные отсылал под псевдонимом «Генрих Штейнлиц» в газеты и журналы; некоторые из них, о любви к фатерланду и верности фюреру, печатали.

— У меня сегодня с утра дурное настроение,— сказал Штигль, разливая коньяк в рюмки,— я сегодня написал стихи об эдельвейсах и о маленькой девочке, она потерялась в лесу и долго звала маму, но к ней вышла лесная фея. Выпьем, Эрих, за поэзию и за тех, кто ее способен чувствовать!

— С удовольствием! — подхватил переводчик и, подняв рюмку, отхлебнул, задерживая коньяк во рту и наслаждаясь его легкостью и бархатистостью.— Барон,— сказал он,— у вас, как всегда, прекрасный коньяк! Где вы только, черт возьми, достаете? Это удивительно, вечер, русская глушь, грязь, вши — и божественный напиток, кровь Франции! Барон, читайте вначале о девочке, эдельвейсы потом! А до этого я еще хотел бы выпить, вы не возражаете, барон?

— Пейте,— сказал Штигль.— Но вначале я буду читать об эдельвейсах, иначе до вас не дойдет смысл второго стихотворения. Дети в моем представлении всегда связаны с цветами. В них есть что-то общее от солнца и невинности.

Переводчик выпил еще коньяку, закурил, полулежа в кресле, и, согласно кивая, приготовился к долгому

ночному бдению; сегодня Штигль жертвовал непочатой бутылкой прекрасного французского коньяка, верный признак того, что он считал стихи удавшимися.

Эдельвейсы, эдельвейсы,
Вы глаза вершин,
Вы зов солдатской судьбы,
Вы таинственный знак в моей душе,
С которым я появился на свет
И который несу по дорогам мира.
Если я упаду и стану землей,
Вы прорастете из меня,
Эдельвейсы...

Штигль закрыл блокнот, отхлебнул из своей рюмки.

— Черт возьми! — сказал переводчик.— Барон, за это надо выпить, это действительно красиво! Это, несомненно, ваша удача, барон! Я хочу выпить за ваш талант!

Штигль с зардевшимися щеками поднял свою рюмку и наклонил голову; такой похвалы от своего единственного слушателя, знавшего наизусть множество старых германских мифов и почти всего Грифиуса, которого считал величайшим поэтом Германии вообще, Штигль дождался впервые.

Две недели Захар присматривался к людям и порядкам в команде, к охране, а на семнадцатый день к вечеру бежал, воспользовавшись неожиданной паникой на станции, где они перешивали колею; он успел ухватиться за борт идущей мимо платформы с каким-то наваленным на ней грузом; ему едва не выдернуло руки, но он скорее согласился бы быть разорванным пополам, чем разжать пальцы; стремительная, безжалостная сила тянула его вбок, вниз, к гудящим колесам; сейчас вся его жизнь сосредоточилась в руках, в их мертвой, чугунной хватке; Захар отвоевывал жизнь по сантиметру, по два, подтягивая тело все выше, отрывая его от тяжести движения; он забыл обо всем на свете, и, когда перевалился через борт платформы, грудь хрипло приподнималась, в глазах двоилось, троилось, белая шелестящая муть закрывала небо. Он не знал, заметил ли кто-нибудь его бегство, и то, что по нему не стреляли, несколько успокаивало. По крайней мере у него было немного времени, и он заполз между какими-то тюками, по запаху он тотчас определил, что это сырые свиные

и коровьи кожи, лишь слегка очищенные и присоленные. Мясо съели, а кожи по-хозяйски заботливо отправляли домой, в рейх, у них ничего не пропадает, подумал Захар, пытаясь остановить себя и сосредоточиться на главном.

Нужно было отдохнуть немного, он бы сейчас, кажется, не смог встать, стронуться с места, даже если бы это грозило немедленной смертью. Поезд продолжал набирать скорость: день, второй можно было продержаться и без еды. Ну, а там... Захар не хотел думать сейчас, заглядывать, что будет «там», он слишком устал за два года плена, но главное в нем осталось, то самое упорство, всякий раз заставляющее его бежать снова и снова. Вот и сейчас поезд мчался, и от неба отражались стоны колес, небо словно заталкивало назад в землю эти непонятные людские силы, и у Захара, незаметно для себя вздремнувшего и вновь испуганно открывшего глаза, словно что просело в душе; он еще не верил в благополучный исход, но уже опять был человеком, который мог голодать, мог погибнуть, но мог теперь и распоряжаться самим собою вплоть до смерти. Этот случай с поездом и все дальнейшее, как потом оказалось, было лишь каплей в море, потому что Захар Дерюгин до этого за все два года плена не попадал в удушающий, мертвящий режим большого немецкого концлагеря, в котором все от секунды времени до основополагающих идей подчинено непрерывному уничтожению человеческого вообще, и когда он оказался в этом непререкаемо очерченном колючей проволокой огромном правильном квадрате с идеально похожими рядами одинаковых бараков и печей крематория, и когда, возвращаясь по вечерам со строительства какого-то подземного завода, он начинал думать, что вот тут-то и пришел конец, жизнь послала ему новую и совершенно нелепую неожиданность; в круговороте миллионов человеческих существований, в тяжелом сцеплении судеб и случайностей Захару привелось встретить односельчанина, да не одного, двух мужиков старшего призывного возраста, мобилизованных в армию уже в самый последний момент, перед захватом Холмской области немцами.

Уже не раз на работе, подкатывая вагонетку с породой к разгрузочной площадке, Захар замечал на себе тяжелый, лихорадочный взгляд одного из пленных, подающих породу дальше, в барабаны камнедробилок; вначале это было неясное, мимолетное чувство, но как-

то, переводя опорожненную вагонетку на другой путь, Захар все же не удержался, оглянулся; пленные продолжали махать лопатами, и лишь один, неловко повернув голову, в полусогнутом положении, глядел в его сторону; большеглазое, худое лицо ничего не сказало Захару, но в течение этого дня он всякий раз, подталкивая вагонетку к разгрузочной площадке, видел это лицо, и оно уже начинало казаться ему знакомым. Ночью, засыпая, он по-прежнему старался вспомнить, но прошло три дня, а вспомнить он так и не смог, тем более что этот пленный с большеглазым щетинистым лицом несколько дней у барабанов камнедробилок не появлялся, и Захар стал о нем забывать. Лишь через неделю, едва вывалив первую вагонетку, с трудом удерживаясь на месте, Захар быстро оглянулся; охранники с прилежностью хорошо выдрессированных овчарок торчали на своих местах, и Захар только и смог приглушенно, громким шепотом спросить:

— Харитон? Антипов?

Захар видел, как Антипов слегка кивнул, и Захар тотчас стал толкать вагонетку назад; он уже чувствовал, как зреет, готовый сорваться, крик охранника, и инстинктивно попытался опередить его. Он успел, но он знал, что этот, ближайший к нему, молодой, с широкой грудью эсэсовец уже не спустит с него глаз, и весь день продолжал работать молча; если раньше один день сливался с другим, неделя как две капли была похожа на другую, то теперь появилось нечто иное; теперь он с нетерпением ждал очередного дня и выхода на работу и боялся, что с Харитоном Антиповым случится что-нибудь за ночь или по дороге на работу, и, когда Антипов появлялся перед глазами с неизменной грабаркой в руках, Захару становилось легче. Изредка им удавалось переброситься словом-другим, а как-то во время воздушной тревоги они оказались совсем рядом; небо выло, а они лежали рядом, голова к голове, и еще никогда не были так довольны. Страха или мыслей о смерти просто не было, да и смерти самой не могло быть; просто пришло хотя бы минутное освобождение от невыносимой усталости, появилась возможность что-то сделать самому, от себя, не оглядываясь на охранника.

— Харитон! Надо ж, Харитон! Ах, чертушка Харитон! — возбужденно говорил Захар.— Да ты как здесь? Давно попал?

— Захар! — Антипов в реве сирены и самолетного гула, казалось, почти беззвучно раскрывал рот, но Захар хорошо слышал его.— Вот штука, Захар! А я в двадцать четвертом блоке, северный плац, слышь? А ты давно здесь?

— Третий месяц, Харитон.— Захар от новой волны гула дернул головой, сильнее притиснул ее к земле.—Слушай, а здесь такого ничего не слышно? — спросил он, припоминая, что Харитон Антипов в свое время был румяным, стройным красавцем с гвардейскими пшеничными усами.

— Говорят, что-то такое тут есть, есть,— сказал Антипов.— Я сам ничего не знаю, а мужики шепчутся, вроде комитет какой-то тайный есть. Двух большевиков каких-то гестапы, говорят, вот уже третий месяц найти не могут, из этого вроде комитета, вот и говорят... есть что-то, есть...

Захар каким-то внутренним чутьем ловил, что небо стихает, успокаивается, и в то же время грохнуло несколько тяжелых взрывов подряд; Захар быстро приподнял голову, огляделся, кое-где мелькали бегущие фигуры, падали, вскакивали, опять бежали куда-то, неподалеку с бешеной дрожью крутилось колесо на опрокинувшейся вагонетке, и в рваных тучах ярко сияли голубые куски неба. Захар знал, что убежать со стройки невозможно, в сердце что-то взметнулось, загорячело и тут же затихло.

— Ты слышишь, нам надо как-нибудь вместе сойтись, Харитон,— подтянувшись ближе к Антипову, зашептал ему прямо в лицо Захар.— Как бы это устроить?

— Не знаю как, хоть увиделись, и то ладно... Сейчас эти гады загавкают, вот уже стихло.

Захар покосился на свою тачку; его взгляд остановился на вынырнувшем откуда-то охраннике, который, то и дело отряхиваясь, оглядывался и кому-то что-то кричал. Захар стал потихоньку отползать от земляка; что-то обрывалось, что-то только что приобретенное дорогое уходило.

— Захар! Захар! — услышал он торопливый шепот Антипова.— Слышь, я не один, тут из села со мной в одном блоке Аким Поливанов... Надо ж, то-то глаза выкатит, как скажу... Вместе попали, он только в другой команде, в мусорщиках числится, по лагерю прибирают да мертвых отволакивают. Говорят, что и больных

иных, бывает, заставляют прихватывать на носилки — и в яму, а то и к печам.

Захар, вначале не придавший почти никакого значения словам Харитона об Акиме Поливанове, почти пропустивший их мимо, стал думать о них, когда налет прекратился, тревога улеглась и работа опять возобновилась: смысл происшедшего обернулся какой-то другой своей стороной, Захар грустно посмеялся в душе такому горькому повороту; где только ни были раскиданы войной густищинцы — и убитые, и еще живые, и вот где-то у самого края Германии война столкнула троих односельчан, но столкнула так, что рядом не сядешь, не поговоришь, подброшена отравленная приманка, и больше ничего. Жрать хочется, а не схватишь, только в животе голодные судороги: Захару до белой тоски хотелось увидеть Акима Поливанова, спокойно с ним потолковать; каким-то полузабытым теплом потянуло из прошлого.

Ночью в блоке неподалеку на нарах кто-то умирал; это случилось не в первый раз, но сегодня Захар от этого никак не мог заснуть; наглотавшись за день каменной пыли, он мучился кашлем и удушьем, оно словно разнимало его на части, давило; сцепившись в сплошную цепь кошмаров, ночь с ее бредовыми всхлипами, с ее скрежетом неслась через него; случаи, случаи, один другого тяжелее, один другого резче, невероятнее, мелькали в оцепеневшем мозгу. Что была его жизнь? Зачем была она? Вся она как стремительный след с отвесной почти горы куда-то вниз, куда-то во тьму, где уже ничего нет — ни родных, ни близких, и тьма эта наползала свинцовыми волнами, чередуясь с гнетущими провалами в сознании. И эти провалы все время были в одном ощущении, отвесный обрыв, из-под которого жутковато тянуло тлением, холодом, так, что постанывало во вспотевших лопатках, длинный ряд эсэсовцев с автоматами, затем жгучий удар в грудь и чувство падения туда, в тлен и холод. Как только дремота стягивала глаза, тотчас появлялось это ощущение, и Захар приподнимал голову. Спавшие рядом не давали повернуться и лечь удобнее, и когда наконец затих неровный хрип умирающего, Захар повернулся на бок и закрыл глаза. Ему с самого начала было безразлично, кто умер и как, но сразу наступило облегчение; он слышал, как в полутьме зашевелились, покойника стащили с нар и положили возле двери в кучу, где уже

было несколько трупов; значит, не он один не спал, мертвые почему-то сразу начинали мешать, и от них старались хоть чем-нибудь отделиться.

— А я лежу, прислушиваюсь — вроде веточка сухая хрустнула... отлетела душенька человечья,— неожиданно ясно произнес сосед Захара, высокий, как жердь, рязанец Петр Асташков.— А как-то там встретят? Коли бы стаканчиком водки да кусочком горячего пирога... с начинкой бы, зайчатинкой... с луком...

Тотчас кругом зло зашикали и зашумели, а белорусский поляк Швидковский, сосед Захара по нарам с другой стороны, всхлипнул, попытался повернуться на бок, и Захар почувствовал его острые, бессильные колени. У изголовья Швидковского послышалось слабое царапанье; это забеспокоилась мышь, поляк держал ее в банке из-под консервов и тщательно скрывал от всех; он приносил ей какие-то крошки, травинки, обрывки бумаги, и мышь жила, очевидно, и человеку помогала жить; по ночам, когда в узкие ряды зарешеченных окон проникал свет луны, Захар видел, как поляк доставал свою жестянку, отгибал слегка крышку и небольшая, юркая мышь выскальзывала из своей темницы, бегала у него по рукам, по груди и, самое главное, никуда не девалась. Иногда на неподвижном лице поляка Захар замечал слабую, стертую улыбку, и тогда ему становилось тягостно; он делал попытку отодвинуться. Рядом с ним определенно был спятивший от невзгод человек, в своей скудной похлебке он вылавливал для мыши полугнилые кусочки брюквы, отламывал корочки от пайка хлеба с опилками, воровато оглядываясь, совал их куда-то в одежду, за пазуху. Захар видел, что поляк непрестанно боится за свою мышь и думает о ней; Захар уже заметил, что, когда поляк начинал возиться со своей мышью, это тотчас и его самого успокаивало, появлялся интерес, как-то на него даже пахнуло зноем, запахом вымолоченной соломы, зерном. Но однажды, когда поляк был на работе, кто-то съел мышь, и осталась лишь пустая банка со следами помета, и Захар почувствовал, что из его жизни исчезло нечто необходимое; он ловил себя на том, что время от времени начинает ждать, не послышится ли живого царапанья рядом. Поляк пролежал всю ночь неподвижно, с открытыми глазами, а наутро, перед подъемом, удавился, ловко прикрепив какой-то обрывок к верхнему ряду нар над собой. В его теле оставалось так мало силы, что он даже

никого рядом не разбудил, обвис в петле, заломив голову вбок, и только ноги были неловко подвернуты да в правой руке судорожно зажата какая-то ветошка. Увидев прямые, без мускулов, неловко подломленные ноги поляка, Захар хотел встать, чтобы помочь соседям освободить его из петли и отнести, как это и было положено, к двери блока. Он с усилием приподнялся на локтях, не удержался и тут же откинулся назад; что-то случилось с ним, что-то непоправимое; он это сразу почувствовал, и внутри все захолодело на мгновение; пришла и в один момент завладела всем в его теле болезнь, таившаяся до этого времени где-то без всяких признаков. Захар понял, что не сможет больше встать и уже никогда не встанет, и на какое-то время оцепенел от этой мысли. Попытавшись шевельнуть ногами, он почувствовал острую боль во всем теле, в груди сдавило, и голову уже нельзя было приподнять; после очередной безуспешной попытки встать сердце еще раз зашлось. «Ну вот,— пришла безразличная мысль,— день-другой он еще пролежит на нарах, а там — очередной обход так называемой санитарной группы; раз упал, все кончено. А то еще и живого отволокут в штабель, вот все и заканчивается. И его старый, затянувшийся спор оборвется; ничему и никому в жизни он так ничего и не доказал; а ведь она у него была, его правота, и перед Анисимовым, и даже перед тем же Брюхановым. И перед Ефросиньей была, и перед детьми. И вот все оборвется, что-то недозволенное останется в жизни, недосказанное, а так ведь нельзя, это против всех правил. Жизнь не может, не должна так бесследно иссякать, ушла в песок, потянуло сушняком, и все бесследно заровнялось. Песок и песок, ни травинки, ни ручейка. Бесплодный, горький на зубах песок». Это несколько возмутило его, но преодолеть слабость он уже не смог, она заливала, как та же песчаная сыпучая лавина, вот уже и ног не выдернешь, а там и прихваченными руками не шевельнешь.

Услышав сигнал, Захар не смог встать; тявкающий рев лагерной сирены прошел через него, и он, почти не осознавая этого, рванулся и тут же свалился назад; он повел глазами и увидел, что он не один в таком положении, и это еще больше успокоило. Все завершалось.

Вдоль нар прошел капо, привычно переписывая номера обессилевших; на поверке он отчитается за них, а через два-три дня напрочь вычеркнет из своих спис-

ков; придут новые, займут опустевшие места на нарах, у тачек и кувалд, в каменоломнях, у различных машин и станков. Мысли у Захара текли медленно и сонно; и это состояние замедленности в себе и вокруг нравилось ему, как бы закрывало от него все, что должно было произойти. И вместе с тем он чутко и безошибочно определял все происходящее кругом, команды капо и охранников, неумолимо потекший распорядок концлагеря, который ничто, кроме смерти, остановить не могло. И это неумолимое течение раз и навсегда установленного порядка уже властно подчиняло себе и оставшуюся часть его, Захара Дерюгина, жизни, и хотя он еще пытался сопротивляться, приближалось наступление конца; Захар слегка вздохнул, сразу чувствуя боль во всей груди. Вечером кто-нибудь принесет ему, если капо разрешит, миску похлебки, в обед же больным есть не полагалось; а затем, если он не найдет в себе силы встать и на второй день, явятся с носилками из похоронной команды мусорщики, как их все называют, правда, перед этим по блокам должны пройти врачи. Отволокут или в карантинный блок, или сразу туда, в штабеля. А ведь где-то есть Густищи, поля, простор, дети... Неужто все это сгинуло? Не может такого быть, тесен мир с нар концлагеря, но он-то какой-никакой, а есть и всегда будет.

Захар вспомнил, что здесь, в концлагере, и земляки есть, Аким Поливанов да Харитон Антипов, и если бы им сообщить как-нибудь, встретиться бы... Что-то с ним опасное... всего три месяца в этом концлагере — и готов. Сгорел. А из-за чего сгорел-то? — мучил себя Захар. Из-за какой-то дурацкой мыши, это же курам на смех, мышь пропала, и он свалился, и сам знает, что теперь уже не встать.

Захар лежал, как и положено, головой к проходу; в блоке, кроме десятка-другого обессилевших и больных, никого не было, но Захар все время слышал и чувствовал не только жизнь этих больных, но словно бы и отдельную от всего жизнь самого блока; он покосился в одну, другую сторону прохода, опять закрыл глаза. Есть уже не хотелось, пить тоже; какой-то полусон-полубред навалился на него, и он весь день прометался на нарах и очнулся лишь вечером, когда его сосед Петр Асташков принялся тормошить его; Захар выпил жестянку бурды и опять впал в оцепенелое полузабытье. На другой день он все-таки почувствовал, когда возле него

остановился лагерный врач и, приподняв голову, забормотал что-то. Врач брезгливо бросил несколько слов стоявшему рядом с ним санитару, тот записал номер, и участь Захара Дерюгина была решена; ближе к вечеру пришли из похоронной команды мусорщики, или, как их еще называли, «дворовые вороны», с носилками, сволокли его с нар, но этого он уже не чувствовал, теперь он был все время без памяти.

6

Захар очнулся лишь на другой день к вечеру, он не знал, что с ним, где он, он словно только что появился в мир. Прошла минута, другая, прорезался чей-то тихий, осторожный говор. По всей вероятности, был вечер, и вокруг, и в нем самом ясно чувствовались какие-то перемены; он не знал, что произошло, но он весь внутренне как-то окреп, в душе словно опять появился железистый стерженек, и уже от того безразличного ощущения не осталось и следа. Он полежал, привыкая, напряженно вслушиваясь в говор, доносившийся из-за какой-то, очевидно дощатой, стены; затем он осторожно вытянул руку, проверяя, велико ли пространство, в котором он оказался, и скоро понял, что лежит в тесной нише, а вокруг нагромождение каких-то ящиков; он нащупал также носилки, еще обыкновенную метлу, и это сильно его удивило. Сквозь щели проникал слабый свет, угадывались неясные контуры окружающих предметов. И еще из проявлений внешней жизни какой-то неясный гул доносился до Захара, он никак не мог определить его природу. Время шло, ничего не менялось, и это начинало по-настоящему пугать, и тогда он попытался определить свое местонахождение более конкретно, сунулся туда-сюда, попытался неловко отодвинуть носилки, загремел и тотчас замер; тихий говор прекратился, и скоро он услышал почти рядом с собой осторожную возню.

— Тихо,— приказали ему, когда он схватил чью-то руку и сжал.— Свои, брось дурить. Очнулся — и ладно, теперь дело лучше пойдет. Возьми поешь... в жестянке кондер, а это хлеб... Не наш, солдатский.

— Где я?

— Тебе-то что? Лежи, завтра узнаешь. Поздно, пора нам уходить.

Через несколько минут ничего не понимающий Захар, уже совершенно сбитый с толку, опять остался один; он съел ломтик хорошего хлеба, запивая из жестянки; хлеб был действительно чистый, его сытость переполнила иссохший желудок, и слабость потекла по телу, отдалась в висках; скоро, не в силах решить что-либо определенное, он, натащив на себя какое-то тряпье, оказавшееся рядом, опять задремал и только через несколько часов, кем-то разбуженный, открыл глаза. Увидев рядом чье-то мучительно знакомое лицо, он долго не мог прийти в себя.

— Аким! — сказал он наконец, освобождаясь от оцепенения.— Ты ведь?

— Я, Захар, я тут за старшего, в столярке, там сейчас двое наших работают, не бойся, свои ребята. Я как узнал от Харитона, что ты в десятом блоке, обмер. Барак-то для смертников, особой категории. Оттуда в каменоломнях поголовно все кончают,— Аким Поливанов, в лагерном полосатом одеянии, в такой же шапочке, словно свалился с неба, и Захар никак не мог привыкнуть к нему, он поднял руку, коснулся твердого, костистого колена Поливанова, присевшего, полусогнувшись, рядом на ящик.— Ну вот, ну вот! — опять сказал Поливанов.— Я уж думал, не отойдешь. Тебя дворовые-то прямо из штабеля мертвяков сюда умыкнули, я старшему команды тоже немало уже сделал. А тут суматоха случилась, бомбежку ждали — все к месту. Ох, Захар, увидел я тебя, внутри все перевернулось. Вроде роднее тебя ничего на свете и не было. Прямо поморок какой-то, ну, думаю, сам сгину — туда дорога, а его не брошу, нельзя. Как же это с тобою получилось?

— Еще под Смоленском, в сорок первом, Аким Макарович,— ощущая непривычную и необходимую сейчас теплоту мирных, довоенных отношений, Захар сдерживал себя.— С тех пор не живу не умираю, с лагеря в лагерь... чертов круг, так и не вырвался.— Захар с усилием зажмурился, в глаза Поливанова глядеть больше было невмочь: какая-то мерцающая, теплая тьма текла из них. Оба они подумали о прошлом, но не в этом было дело сейчас; чужая земля простиралась вокруг, и то прошлое, в котором оба они враждовали, любили и радовались, жили рядом, для них не было прошлым, а было просто хоть и далекой, но живой родиной, и оно, это прошлое, связывало их крепче

всех прежних неурядиц и обид, и эта живая связь была столь ощутима, что они некоторое время не могли говорить.

— Ну, а дальше что? — спросил тихо, словно сам у себя, Захар и слегка приподнялся.

— Поешь вот, Захар,— сказал Поливанов.— Хлеба немного, какая-то консерва, ребята расстарались... Достали,— добавил он, словно удивляясь, как это в таком аду можно было отыскать кусок хорошего хлеба.— Выходит, значится, над нами закон один, звериный, а посеред друг друга — другой, свой, людской. Вот тут сижу я и мучаюсь, какая такая окаянная тварь человек. Душу изодрало всю, Захар. В самом начале, как война разразилась, был такой грех... ну, думаю, видать, опять поворот жизни вышел, конец всей расчудесной колхозии! А как попал в лапы к немчуре, окончательное понятие и вышло. Ох, горько стало, Захар, такого в пекле у сатаны не увидишь.— Небольшие, опустевшие в этот момент глаза у Поливанова стали еще меньше; он словно еще раз пристально оглядывался на пройденный путь, выверял его.— Народ, оно ясно, не погубить совсем, да ведь зачем столько-то зверства? Бабы-то, дети, дети...

Сморщившись, Поливанов отвернулся.

— Народ такая сила, в одном месте придавил, она вроде и поддалась, поддалась, да в другой бок тут же и выперла. Я тут, Захар, в подполье на старости лет забрался,— понизил он голос, как бы утверждая то, что только что сказал о народе, и раз и навсегда причисляя себя к нему.— После того, что пришлось увидеть, ничего больше не боюсь, ни жизни, ни смерти. Душа у меня на простор вызрела. Господи, думаю, прожил век, от всякого мышиного писку подхватывался, а тут хоть бей, хоть казни, не могу с собой ничего поделать.

Он сейчас спешил высказать сокровенное, заветное, все то, что с ним за последние годы произошло; Захар глядел на его стриженую сухую голову и никак не мог заставить себя глянуть прямо в глаза ему, до того было дорого нерассуждающее доверие Поливанова, оно пробуждало нечто давно изжитое, вроде бы навсегда ушедшее, и Захар, словно видел Акима Поливанова впервые, чувствовал его как часть самого себя и словно все не мог понять, как он мог жить без этого чувства раньше, как смог все выдержать.

— Ты Густищи-то, Аким Макарыч, помнишь? — спросил он негромко.

— Закрою глаза — чудится. Хата стоит, ракиты у амбара. А то все больше поле, жито спелое, шумит-переливается, прямо в глазах больно. А то еще Илюшка, вот так и вижу его конопатины, так бы сейчас за его плечо маленько тронуться-то...

Захар ничего не сказал на это, скомкал ветошь, стал подсовывать ее под голову, руки тряслись.

— Ну, вот что, Захар, пора мне.— Поливанов заворочался, намереваясь выбираться из укрытия.— Ты здесь потише-то, слава богу, очнулся — и ладно, теперь гляди, дело двинется.

— Куда, Аким Макарыч? Куда двинется-то?

— Гадать зря нечего, тут мы уже говорили... Две у тебя дороги — или из лагеря вывезем, наши золу-то от печей в поля возят, вот под золой и можно... а то можно и паспорт переиначить под мертвеца из нашего блока, их каждый раз полно. Отлежись маленько, еще дня три-четыре, рассудим...

Оставшись один, Захар, прислушиваясь к шуму работы рядом, медленно растягивая, съел хлеб, запивая его из жестянки брюквенной холодной бурдой. Опять захотелось спать, и он, едва успев повернуться на другой бок и удобнее устроиться, заснул, и его сон был опять в забытьи. Но очнулся он уже перед рассветом отдохнувшим, ему стало лучше, и он сразу вспомнил лицо Акима Поливанова, разговор с ним и свое чувство от этого разговора. «Тут стежка всего одна,— думал он,— в детскую-то ладошку ширины, чуть промахнулся — и поминай, как звали, вот об этом Поливанов и толковал. Уж тут надо будет крепко решать, что-то Аким помянул о подполье... раз в таком аду просвет есть, неплохо. Защита будет, если остаться, хоть смертники да свои кругом, а за привольем чужая земля, жандармы, осень подступила. По ночам-то собачья дрожь в ямах, долго ли продержишься?»

Но уже одна мысль, что можно опять выбраться за колючую проволоку, вдохнуть запах свежей земли, ветра, пьянила. «Какие рассуждения,— думал он,— лишь бы выбраться, а дальше бабушка еще надвое сказала. Там *свобода,*— подумал он, пытаясь унять невольную дрожь,— куда хочешь иди, хоть и глухо в концлагере, да говорят, немца в последние месяцы почем зря жмут,

недаром тревога за тревогой. Одной смерти все равно не миновать, а коли умирать, так на вольном ветру, под открытым небом. По крайней мере перед собою чист будешь, раз есть силы, надо решаться».

Он сейчас не думал о родных, близких, они и без того присутствовали в нем; в нем вначале словно было все иссушено в камень, и только затем прорвался вначале слабый, еле заметный ключик, и чем больше Захар думал, тем сильнее становился этот родничок, и под конец Захар так разгорелся, что, внезапно вспомнив, где он и в каком положении, разом обмяк и в горькой досаде на себя покривил губы. И, однако, когда дня через три надо было окончательно решиться, он без колебания высказался за побег; он настолько свыкся с этой мыслью, что, если бы такая возможность отпала, он бы больше не вынес. Все вокруг уже было охвачено дрожью близившихся перемен, она была разлита в самой атмосфере, и от предчувствия этого нельзя было оградить людей никакими стенами и стараниями, как нельзя было помешать хоть небольшому количеству воздуха проникнуть глубоко в поры земли, до самых отдаленных границ живой жизни.

Захару подготовили кое-какую одежду, немного еды и стали ждать удобного случая, и он наступил даже раньше, чем это можно было предполагать: в ближайшее воскресенье комендатура спешно объявила санитарный день, и уже после завтрака весь механизм лагеря пришел в натужное, строго разграниченное в частях и все-таки общее движение; чистились ватерклозеты и мусорные ямы, прибиралось в блоках и на плацах, главный плац посыпался жиденьким песочком, на складах и в хозяйственных помещениях тоже наводили свой порядок, сортировались, паковались в тюки одежда и обувь погибших, на территории вокруг крематория, продолжавшего непрерывно дымить, у санитарного барака, примыкавшего к крематорию вплотную, шла своя, особая работа; появились откуда-то с десяток грузовиков и команда из заключенных, находившихся на особом положении и пайке, включавшем в себя иногда даже водку, у длинных, пересыпанных известью штабелей умерших (маломощный крематорий постоянно не успевал их перерабатывать) началась погрузка, полуразложившиеся трупы как попало бросали в кузова и куда-то вывозили, грузовики непрерывно сновали взад-вперед до самого вечера, и уже в темноте в одной

из старых и давно заброшенных каменоломен гахнул тяжелый взрыв. Еще одно массовое, безымянное захоронение было готово. Вывозили куда-то в поле и черный, тяжело спрессовавшийся пепел вперемешку с обгоревшими, мелкими костями, накопившийся за последние месяцы; десятка два человек выбирали из него и дробили увесистыми молотками обугленные, сохранявшие форму черепа; одним словом, концлагерь «Аутдарффе-300» в очередной раз был охвачен лихорадкой чистоты, порой длившейся и день, и круглые сутки подряд; в это время скоблилось, чистилось, драилось все и в казармах охраны, во всех административных помещениях, в канцеляриях комендатуры, в квартирах офицеров и даже в доме коменданта гауптштурмфюрера СС Августа фон Шуберта, жена которого, Марта фон Шуберт, натура утонченная и нервная, в такие дни приходила в возбуждение, запиралась у себя в спальне, и что она там делала, никто не знал, даже муж; наутро она выходила к завтраку совершенно больная и по всякому самому незначительному поводу капризничала. Но жизнь есть жизнь, и санитарные дни были необходимы; если это случалось в ветреные лунные ночи (засветло управлялись редко, и тогда очистка территории продолжалась ночью), над приземистыми сооружениями концлагеря поднимался тучами пепел, над вышками и изгородями словно начинали вставать какие-то призраки, и однажды охрана даже подняла стрельбу, изрешетив несколько бараков.

Последний разговор Захара с Поливановым случился как раз накануне очередного санитарного дня, и был он короток; Захар, окончательно решивший бежать, нашил на куртку номер хозяйственного блока, принесенный ему Поливановым, и, как это часто бывает в трудные минуты, они говорили друг с другом совсем о незначительных вещах, что-то вспоминали из прежней жизни.

— Все говорят, войне скоро конец.— Поливанов, вслушиваясь (оба они все время были настороже) в негромкий шум, характерный для концлагеря в более или менее спокойном состоянии, подумал, что вот и он мог бы, как Захар, попытать удачи, да ведь ни характеру, ни сил не хватит. А этот как был двужильный, какой-то заговоренный, так и остался, убить его вроде и можно, а сломить и не пробуй; видать, большой силы и плавучести человек, уж какого только кукиша жизнь ему не

преподносила, а вот опять малость оклемался — и за свое. Сам он ни за какие бы золотые горы не решился носа сунуть за проволоку, тут хоть что-то есть, хоть час, да твой, а там — пустота, до России — тьма немереная... вилами ведь эти бауры прикончат на первой же версте.

Поливанов тяжело засопел, отвел глаза. Кто знал, что жизнь так накоротко перевьет их дороги? И от мысли, что она свела их теперь нежданно-негаданно и что он может больше и не увидеть Захара, захотелось сказать что-то особое, самое заветное, да слов таких не находилось, и стало совсем обидно; эти несколько дней связали их крепче, чем любое кровное родство. Поливанову сейчас казалось, что это тот же Илюшка, вот приходится с ним расставаться, а его еще надо учить, как малое дитя. Не по себе было Акиму Поливанову в этом недолгом разговоре, и он все отводил глаза и недовольно сопел и вздыхал.

— Ты же смотри, Захар,— сказал он наконец попрежнему глухо,— останешься жив, Илюшку не забывай. Твой росток, от тебя, коли помочь, из него доброе древо получиться может. Я с тебя на этом проклятом месте зарок беру. А так ты не сумневайся, как договорились, так и будет. Тебя в самый последний раз возьмут. На тех мусорных машинах в команде разгрузчиков сам буду, до конца за тобой догляжу. Ну, давай порукаемся, а то больше и не увидимся, не до того будет.

Захар молча приподнялся, обхватил Поливанова, они трижды неловко поцеловались, и Поливанов всхлипнул.

— Один я теперь тут остаюсь,— сказал он, отворачиваясь и пытаясь справиться с собою.— Не хотел я тебе говорить перед таким делом, Захар, да вроде тоже грех... Второго дня Харитон сгиб...

— Как? — тяжело вырвалось у Захара.

— Да как все тут... Свалился у дробилки, попался какой-то совсем уж бешеный в охране, пристрелил.— Поливанов поднял голову, и Захар увидел его глаза.— Так что ты, ты, Захар, за всех нас троих идешь...

Он не выдержал, моргнул, еще раз всхлипнул и, пятясь задом, исчез, быстро заставив проход вслед за собой мусорным ящиком. Захар не помнил, как прошло время до намеченного часа; почему-то с того самого момента, как он попрощался с Поливановым, в нем

появилась твердая уверенность, что на этот раз дело выгорит, и только в груди до самой последней минуты было зябко, и воздух в нее приходилось проталкивать с усилием.

А затем его передали по какой-то цепочке из рук в руки, затолкали в кузов последней машины и, едва он успел прикрыться куском мокрой мешковины, забросали слежавшимся пеплом. Потом он почувствовал, что машина тронулась; его вывезли, как и говорил Аким Поливанов, куда-то в поле и, пользуясь тем, что охранники и шофер отошли в подветренную сторону, сволокли на землю. Чьи-то руки тотчас прикрыли ему голову той же мешковиной и сразу же закидали пеплом, полусгоревшими мелкими костями. Он не мог знать, что именно в этот момент охранники стали торопить пленных; промерзшим на промозглом ночном ветру охранникам не терпелось закончить нудную ночную работу, и они заранее радовались теплой казарме, глотку горячего кофе и удобной постели. Один из них, более нетерпеливый, подступил ближе и, разминая ноги, покачиваясь то в одну, то в другую сторону, поглядывал в сторону поднимавшейся луны, красноватой от поднятого ветром пепла, бойко и хрипло крикнул:

— Шнель! Шнель!

Разгрузочная команда что-то уж подозрительно долго возилась с последней машиной, и охранник сунулся еще ближе. Пожалуй, Акиму Поливанову не хватило выдержки, возможно, охранник так ничего бы и не заметил. Но Захар был еще полузасыпан; следивший одним глазом за нетерпеливым охранником, а другим за тем как исчезает под пеплом очертание Захара, Поливанов еще больше насторожился. В машине почти ничего уже не оставалось, а Захар, казалось Поливанову, все проступал из кучи. «Придвинется нехристь еще маленько, садану лопатой. Теперь все одно»,— внезапно решил Поливанов, и немец тут же, любопытно вытянув голову, стал обходить машину, слегка передвинув автомат. «Господи, благослови!» — ахнул Поливанов и, высоко вскинув лопату, вкладывая в удар всю свою недюжинную мужицкую силу, которой у него оставалось еще достаточно, рубанул ребром, целясь немцу в голову, повыше уха. Никто не успел опомниться, охранник дернулся вперед и вбок и пошел, забирая в сторону. Затем с маху ткнулся в землю рассеченной головой,

высоко забил ногами, но уже до этого громыхнул автомат, и Поливанов, прошитый во всю спину раскаленным росчерком, попытался повернуться навстречу грохоту и тоже упал.

Захар лежал, экономя движение, каждый глоток воздуха. Он услышал автоматную очередь, одну, другую, затем взрыв, глухо донесшийся до него, немецкие ругательства и крики: что-то случилось. Ему захотелось вскочить, он увидел лицо матери, бабки Авдотьи, увидел его непривычно молодым, с ясными, теплыми глазами; чуть прищурившись, она глядела из какой-то ветреной знакомой дали. «Ну, кажется, пришло время и того... помирать»,— подумал он и услышал новый яростный взрыв криков, выстрелы и затем сразу же взревевший мотор машины. Он еще, пока мог терпеть, выждал и рывком, осыпая пепел, сел, отчаянно замотал головой, срывая с себя напитанную пеплом мешковину и жадно хватая оскаленным ртом воздух. Вначале он ничего не видел; от рези из глаз непрерывно шли слезы, но он боялся прикоснуться к ним, чтобы совсем не ослепнуть; долго, удерживая поднимавшуюся к горлу тошноту, он отплевывался от набившегося в рот и ноздри горького пепла, время от времени затихая и прислушиваясь к удалявшейся машине; затем и этот гул стих. Нащупав в пепле узелок с одеждой и харчами, Захар поднял его и отряхнул; резкий северо-восточный ветер несколько привел его в себя. Он торопливо переоделся, закопал в пепел свою концлагерную шкуру и опять, скорчившись, затаился.

Залитое лунным светом поле бугрилось темными грудами пепла, просматривалось далеко. До леса на северо-восток, по утверждению Поливанова, нужно было пройти верст пятьдесят во что бы то ни стало за две ночи, выжидать было некогда. Еще раз всей грудью вдохнув ветра, он определил направление и пошел, то и дело обходя кучи пепла, который должны были вскорости разбросать и запахать, а весьма возможно — посеять пшеницу, или ячмень на пиво, или ту же брюкву. «Хорошие урожаи будет давать это поле много лет подряд,— думал он,— дети будут этот хлеб есть. Хлеб и хлеб, детям что... А что он проклят...»

Устрашившись своей мысли, Захар приостановился среди поля; луна ныряла в рваных просветах неба, тучи

шли стремительно и низко. И в этот момент что-то случилось, красный сполох ударил в голову, и он, скорчившись, с трудом удерживаясь на ногах, стал давиться в приступах рвоты; затем сел, пытаясь прийти в себя. Если бы он смог заплакать, стало бы легче, он знал это, но все, как тяжелый, расплавленный свинец, прожигая слабые препоны, уходило вовнутрь, и он не выдержал. Сжав кулаки, слепой от чувства свободы, катаясь по земле, он стал что-то выкрикивать, кричал что-то бессмысленное, дикое, кричал, матерясь, упоминая небо, и бога, и землю, и когда на язык подвернулось это слово «земля», Захар словно захлебнулся им и долго лежал, перекатывая голову со стороны в сторону и стискивая зубы, сдерживал опять подступивший клубок тошноты и кашля. Не земля здесь была виновата, ядовитое человечье семя опозорило ее, изгадило все самые святые ее законы; Захар чувствовал, как все внутренности в нем шевелились, стараясь избавиться от горького пепла, которого ему пришлось все-таки наглотаться.

Его вторично вырвало какой-то черной слизью; он давился, хрипел, ничего не видя и не слыша, и потом долго приходил в себя.

Взмокшее лицо просыхало, становилось холодно. Резкий ветер, посвистывая в неровностях, дул сильнее. Справа на горизонте разгоралось далекое зарево, и бегущие в небе тучи неуловимо меняли окраску, в бездонных провалах между ними слабо поблескивали чужие звезды. Но когда выныривала луна, многое преображалось, поле, заваленное кучами пепла, начинало из края в край шевелиться, ветер раздувал пепел, с посвистом, лихо срывал его с земли, поднимал и нес неровными потоками, по всему полю словно текла, змеилась поземка.

Обессилев от рвоты, Захар долго стоял на коленях, спиной к ветру. Луна, вновь показавшаяся в рваном просвете туч, торопливо бежала куда-то прямо перед ним. Он не мог больше смотреть на землю, на поземку, почти метель из пепла, поднял воспаленные глаза выше, на бегущую, яркую луну, и застыл, трудно, почти судорожно проталкивая в набухавшую грудь воздух. В мире больше не осталось границ, все смешалось, и там, вверху, на четкой и ясной лунной поверхности, брат держал на вилах брата. Край тучи набежал на эту картину, размашисто стер ее, но Захар, попытавшись встать, почувствовал, что задыхается. Он еще успел уловить приближающийся гул, и ему показалось, что пошел

дождь, и больше ничего не помнил. Очнулся он, как ему показалось, от судорожного сотрясения земли, все было охвачено воем и грохотом, шла бомбежка, с металлическим лязгом били зенитки, неподалеку что-то грохотало и рвалось, самолеты в ночном небе шли волнами, густо высыпая бомбы в одно и то же место, километрах в трех от того поля, где он находился; земля дергалась и стонала под ним. Вскочив на ноги, Захар определил, что бомбили обширную территорию подземного строительства; он поймал себя на том, что идет прямо на вспышки и грохот взрывов, и с трудом заставил себя остановиться. Он различил впереди прометнувшихся куда-то людей, человек десять или больше, может быть именно это окончательно и привело его в себя, и он круто повернул в другую сторону.

7

А это уже было месяца через три, в начале зимы сорок четвертого, где-то в Моравских горах, и обледеневшее ущелье с перекинутыми через него висячими мостами, пенистую, порожистую речку, стремительно кипевшую внизу, он до сих пор хорошо помнит; вот только название стерлось в памяти. После месячного скитания ему удалось прибиться к отряду словацких партизан: судьба войны окончательно определилась, и по всей Европе часто вспыхивали очаги восстаний, вызывая ответные все более ужесточавшиеся меры карателей; Европа корчилась в непосильных муках избавления, и в этом хаосе ничего не значила отдельная человеческая жизнь, она сгорала бесследно, но все равно, увеличивая накал происходящего, делала свое...

Третью неделю отряд уходил от преследования эсэсовской части; Захар помнил изнуряющие ночные марши, снежные, с ледяным крошевом потоки ветра на открытых перевалах, шатающихся от предельной усталости, срывающихся в пропасти людей, заросшего до глаз бородой командира отряда Новачека, беспомощные, негнущиеся руки партизан — чехов, поляков, словаков,— передающих друг другу драгоценную кружку с кипятком, когда это счастье выпадало раз, редко два в неделю, обмотанные тряпьем, обмороженные лица. «Пей, пей, Захар!» — уступали они ему первую очередь, а затем короткий сон, прижавшись плотно друг к другу, но что все это значило в сравнении с чувством

свободы, с ощущением уверенной тяжести автомата на груди? К обледенелому узкому ущелью (его названия Захар теперь, через несколько лет, сколько ни старался, не мог вспомнить) отряд подошел в темноте десятого декабря тысяча девятьсот сорок четвертого года; рассвет намечался пронзительный, с резкой метелью. Идти можно было только вперед, через мост, по сторонам высились неприступные зимние горы, позади почти на хвосте висели каратели; сейчас этих несколько десятков человек, падавших от усталости, отделяли от смерти пять-шесть часов, и Новачек, тяжело прислонившись к скале, жадно курил в окружении командиров взводов и связных. Разведка только что донесла, что мост охраняется, на этой стороне замечен часовой, на той, по всей вероятности, судя по свету у самой земли, сооружено подобие дота, очевидно предназначавшегося в какой-то мере и для жилья караула, потому что ни по карте, ни из опроса двух партизан из этой местности населенного пункта поблизости не должно было быть. Часовой находился на площадке с будкой, густо огороженной колючей проволокой, и, судя по расположению дота, эту сторону немцы считали наиболее безопасной; сгорбившись, Новачек стоял, глубоко надвинув на лоб шапку. Необходимо дать людям отдохнуть, думал он, но действовать было нужно немедля, сразу; снег, набившись за воротник, таял, холодная вода текла по телу. Впрочем, ничего сухого больше уже не оставалось, это было недостижимой роскошью.

— Требуется ударная группа,— простуженно захрипел Новачек.— Десять добровольцев. Нужно снять часового на этой стороне, броском преодолеть мост и забросать гранатами дот. Вполне вероятно, мост заминирован. Мы прикрываем группу огнем всего отряда... У нас в распоряжении пятнадцать минут, самое большее — полчаса. Выстроить отряд.

Последние слова Новачек произнес тихо, оторвавшись от скалы; ноги от небольшого отдыха еще больше затекли и отяжелели; стараясь не показать усталости, он несколько раз переступил с места на место. Решался вопрос жизни и смерти отряда, и когда партизаны выстроились в три шеренги, почти не различимые в метущих потоках снега, Новачек прошелся перед строем. Первые секунды он чувствовал себя неловко: именно он не имел права хоть на мгновение усомниться в успехе, он хорошо знал, что это означало. Неприступно возвы-

шались горы, окутанные гулом метели, их тяжесть сейчас давила, и, пытаясь избавиться от этого неприятного ощущения, Новачек сгреб с бровей налипший снег; это помогло ему.

— Ребята,— сказал он почти буднично,— нужно десять человек в ударную группу. Нужны добровольцы, готовые на все.— В последний момент он не смог произнести слова «готовые умереть», это и без того все знали.— Я первый,— добавил он, и тотчас, разрывая строй, к нему стали подходить; рядом с собой он различил высокую фигуру Захара Дерюгина, которого все в отряде уже успели оценить, особенно в последнее время, когда схватки с карателями следовали одна за другой.

— Нет, Захар, нельзя, ты останешься,— тотчас возразил Новачек.— Единственный русский в отряде, нельзя.

— Подумай, что ты говоришь, командир. Что из того, что я один из России? Всем хочется жить... Тебе, мне. Когда это русский за чужие спины прятался?

— Содруг Дерюгин, ты еще недостаточно окреп. Мы к горам лучше приспособлены, я не думал тебя обидеть... Так... Кто здесь, называй имена!

— Славчо Залинь!

— Любомир Наделка!

— Ганс Рихтер!

— Захар Дерюгин!

— Содруг Дерюгин! — Новачек с досадой повернулся к нему.— Я же сказал...

— Я же русский командир,— с глухой ноткой обиды произнес Захар, и все вокруг затихли.— В партии с семнадцати лет, еще в двадцатом вступил, что-что, а уж такое право имею...

Молчание длилось недолго, но в этой тишине отчетливо слышался доносившийся откуда-то с горных вершин негромкий непрерывный гул; не все поняли Захара, лишь несколько человек да Новачек, в мирные времена сельский учитель; сам Захар не мог бы внятно объяснить, почему он так настаивает на своем, но он безошибочно знал, что он прав, что иначе поступить не может, раз у него еще были силы что-то делать и раз многие в отряде вообще едва могли переставлять ноги. Была и еще причина: он сейчас не думал, что мог давно сгореть в крематории или валяться где-нибудь в госпитале обрубком, но его все время мучила мысль, что он попал в плен, попал в самом начале войны, и был на три

года вычеркнут из жизни, и сейчас, вырвавшись на волю, он неосознанно старался при всяком удобном случае сделать побольше; он дорожил этим своим правом на свободу, и отказ Новачека опять же что-то больно задел в душе, словно ему опять напомнили, что он чем-то отличается от других, и когда у него с обидой вырвалось, как самое веское доказательство его права, что он русский, он сам был вначале неловко смущен своими словами. В этот момент и гул с гор, и снежная заметь что-то ему напомнили, что-то очень и очень далекое, враждебное, но сейчас некогда было припоминать и сосредоточиваться на прошлом. Было время, и его, потерянного, изверившегося, вот так же слепил и кружил снег. «Когда и что это было?» — подумал он, тут же забывая. Только сразу появилось, усиливаясь, и захватило его целиком чувство яркой, почти радостной готовности идти и попытаться сделать все, что можно было, до конца, и оно владело им все время, с того самого момента, когда он, теперь уже с молчаливого согласия Новачека, взял из чьих-то рук настывшие гранаты, затем полз вслед за Новачеком к часовому, беспокойно ворочавшемуся в сыпавшемся на него снеге, и когда часовой упал, срезанный короткой очередью. И особенно это чувство разрослось, когда Захар бросился вслед за Новачеком через узкую, стремительную ленту заваленного снегом моста; он уже не слышал огня партизан, старавшихся заставить замолчать дот; он лишь видел непрерывные взблески бившего прямо в упор, навстречу, пулемета, они уже успели пробежать больше половины, и дело решали считанные секунды. В этот момент тело приобрело давнюю стремительность, ловкость и осторожность; он рывком обошел Новачека, метнулся дальше и тотчас, подчиняясь мгновенной мысли, ткнулся в снег, под самые перила; он неосознанно определил момент, когда пулемет должен был нащупать его, и не ошибся: металлические перила моста с частым, коротким лязгом рвал ливень пуль, но сам он пока был цел и невредим: из дзота слишком поздно заметили их и открыли огонь. Некоторое время Захар лежал, плотнее и глубже втискиваясь в снег, ожидая как-то всем телом, что вот сейчас, в следующее мгновение, огонь опустится ниже, и все будет кончено. Оглянуться он не мог и не знал, уцелел ли кто-нибудь еще, да в этой снежной ветряной трубе ничего нельзя было и разобрать. Он лишь чувствовал, как под ударами метели

слегка подрагивал весь мост. Осторожно, сантиметр за сантиметром, не выпуская намертво зажатых гранат, он пополз дальше, и хотя было холодно и сыро, пальцы у него были почти горячие, в них сейчас словно сосредоточилась вся его жизнь. «Как бы свои не зацепили»,—коротко подумал он и, продвинувшись еще метра на полтора, неловко, боком, метнул гранату, целясь прямо в узкую, обозначенную непрерывным снопом огня щель амбразуры. Уткнувшись в пухлый, толстый снег, он услышал взрыв, и упругое тело моста отозвалось гулким стоном и дрожью, и Захар, подняв голову, увидел, что пулемет продолжает бить. Вторую гранату он швырнул удачнее; пулемет замолк, и он, рывком перескочив прямо к доту, прижавшись к бетону сбоку, ударил в амбразуру из автомата длинной непрерывной очередью. По мосту уже бежали партизаны, Захар угадывал их где-то совсем близко от себя, но в это время что-то тяжелое рухнуло на него сверху, сорвало с места, и он помнил потом лишь убыстряющееся скольжение и почему-то залитые солнечным холодным блеском, словно вспыхивающие, снежные горы. Он проваливался, падал, ему показалось, долго, но мысли о смерти так и не появилось; его спас снежный пласт на дне ущелья. Обдирая лицо, руки, он глубоко ушел в него, и немного погодя к нему стал смутно пробиваться тихий гул снежных гор, и где-то в отдалении от себя он услышал частые выстрелы, и потом ударил взрыв. «Мост за собой рванули»,— подумал он и, ни о чем больше не беспокоясь, затих: нужны были хотя бы несколько минут покоя.

8

Вторую зиму Захар работал в Хибратском леспромхозе, на верхних складах, километрах в двадцати от поселка; на изрядно потрепанных машинах с открытым кузовом их, несколько бригад грузчиков, еще затемно отвозили на лесосеку к дороге, заставленную с обеих сторон высокими штабелями леса; людей в кузов набивалось много, и они несколько защищали друг друга от встречного ветра и звонкого рассветного морозца, и оттого, что на неровной, плохой дороге машину все время мотало и подбрасывало и люди весело наваливались всей массой то на один, то на другой борт с веселыми

криками, смехом, с бабьим визгом, всем казалось, что мороз не так уж силен, а в кузове совсем тепло.

Каждый раз Захар уезжал из дому с тайным облегчением; после встречи с Макашиным и разговора с ним седина стала заметнее, гуще брызнула по всей голове; он мало разговаривал, усталость в конце дня и постоянно чужие люди кругом отвлекали его от себя, от той невольной, в чем-то даже разрушительной работы, что, не прерываясь ни на минуту, шла в нем; от упорных, запавших глаз Мани он инстинктивно спасался среди людей, загружая тяжелыми бревнами то и дело подходившие «газики» с санными прицепами; подчас работа была такой интенсивной и напряженной, что грузчики сбрасывали с себя телогрейки и катали бревна в одних пиджаках.

В своем поселке Захар давно знал и малых, и старых; если ему не причиняли намеренно неприятностей, он никого не замечал, жил в простой и привычной среде и подчинялся ее неписаным законам, а то и прихотям, так как и сам давно стал частью этой среды; и так было до тех пор, пока не появился Макашин и не случилось тягостной стычки с ним. Как-то невольно для себя Захар стал придирчивее приглядываться и к людям, словно старался хоть отчасти перенести свою горечь и ожесточение и на окружающих; глядит-глядит на кого-нибудь во время недолгого перекура и думает о нем что-нибудь неприятное. «Ну, сиди, сиди, кури,— думал, например, он, разглядывая иногда одного из грузчиков своей бригады.— Ты вот сидишь, куришь, хохочешь, другие могут-то подумать: вот, мол, как тебе хорошо! А ведь уже сегодня вечером наберешься свинья свиньей, будешь за бабой на коленях ползать, подол ей целовать, чтобы она от тебя не уходила!»; «А вот ты, Машин, курей сам щупаешь и бабе не доверяешь, каждое яйцо крестиком в особую тетрадь заносишь. Как-то бабу свою чуть не забил до смерти за три куриных желвака без спросу, а вон сидишь, дорогими папиросами Лапшу угощаешь. В лице-то, смотри, не дрогнешь. Вот ведь в человеке всегда так: свое врожденное надо каким-нибудь выкрутасом наоборот прикрыть»; «Так для чего же тогда такой зверь, как человек, на белом свете? — опять думал он с сосущей, неизбывной тоской и злобой к другим и еще больше к себе.— Не по праву человек верх на земле взял, куда лучше лошадь, или корова, или даже собака. А любой другой зверь? Как же

можно быть хозяином всему без добра в душе?» Что-то шевелилось у Захара в груди, и порой становилось нехорошо от своих диких мыслей, потому что так же подспудно он знал, что с ненавистью и к себе, и к другим жить нельзя.

— Забей! Забей! — закричал Захар сердито, почти насильственно обрывая поток своих мыслей и видя, что Лапша с Брыликом на другом тонком конце бревна неожиданно сильно отстали. Он привычным движением попридержал угластый комель; бревно бухнуло через стойки на платформу, заставив покачнуться и задрожать всю машину.— Давай еще пару-тройку — и готово,— отрывисто бросил Захар; несколько бревен тотчас дружно закатили на самый верх; шофер, длинный, нескладный, вытолкнул остаток папиросы изо рта; обошел кругом, проверяя крепление стоек, побухал сапогом в колеса и полез в кабину; машина, громко почихав и покряхтев от старости, наконец надсадно попыталась тронуться с места; Захар тяжелой деревянной колотушкой саданул по примерзшим к дороге полозьям саней, и тогда машина, густо задымив, пошла.

Подправив костер, грузчики, подкатив к нему несколько обрезанных комлей, устраивались обедать, выкладывали из сумок поближе к теплу промерзший хлеб, выставляли бутылки с чаем; Лапша пристраивался жарить на длинной палке, как на вертеле, кусок соленой рыбы. Захара тоже кликнули к костру, но он, пробормотав нечто неразборчивое, словно у него объявилось что-то весьма неотложное, побрел в глубь измызганной лесосеки. Но дела у него никакого не было, просто он не мог сидеть и привычно балагурить, слушать дюжий мужичий гогот от всяких россказней. А машин теперь с час не предвиделось, нагрузили последнюю, теперь шоферня топчется в тесной поселковой столовке, хочется чуточку отогреться, посидеть почеловечески за столом.

Захар шел бездумно, не надо было делать что-то определенное, необходимое; рубка на лесосеках шла выборочно, брали только ель, лиственницу, сосну и кедр, все остальное оставалось стоять или было сломано. Захар не раз думал об этой легкомысленной недальновидности людей, но сейчас он шел, отделяя себя и от поломанных зря, уродливо торчащих в небо осин и берез, от пильщиков и истошной, многоколонной ругани конных трелевщиков, от жидкого неба с холодным со-

лнцем, хотя глаз против воли по-хозяйски выхватывал из общей суеты досадные просчеты и мелочи. «Такое бы лесное богатство да на Холмщину,— подумал он,—пишут вон, что так до сих пор и не обстроились, а тут столько лесу пропадает, озолотиться можно при другом-то подходе. Лес-то какой! Кедр, сосна — чистое золото. Берут выборочно, остальное ломается, по берегам, по дорогам половина остается».

Везде, куда бы Захар ни повернул, ему все казалось не так, с какой-то самого его пугающей желчной остринкой глядел он кругом и опять не понимал, для чего вся эта жизнь и он сам. Он останавливался у костров, вокруг которых курили, обедали, просто отдыхали, или подолгу стоял, ожидая, когда свалится высокая, веселая медной своей корой сосна, вершина ее вздрагивала судорожно, начиная крениться, и потом стремительной зеленой дугой, оставляя за собой сверкающую на солнце полосу солнечной пыли, бухала в снег, и Захар отводил глаза; он любил глядеть на падающие деревья, но сейчас и здесь чего-то не хватало, и он брел к бригаде конных трелевщиков, спешивших выволочь к штабелям у дороги свою норму и уехать на обед. Его всегда тянули к себе и удивляли эти злые и ловкие трелевочные лошади, работавшие быстрыми рывками; у центрального волока он, присев на пенек у затухавшего костра, подбросил в него остатки догоравших сучьев, закурил. С ним, проходя вслед за тяжелой ходкой толстым, комлистым бревном — шестеркой, весело поздоровался бригадир трелевщиков Степан Хомейчик, приземистый, квадратный мужик с Западной Украины, попавший сюда в группе еще вместе с Брыликом и тоже не по своей воле.

— Здоровеньки булы, Захар! — крикнул он, в то же время не выпуская из виду своего невысокого, с мощной, широкой грудью коня.— Чего сюда забрел?

— Так,— неопределенно отозвался Захар, косяна него глазом, и остался сидеть; ему не хотелось признаваться в своей застарелой тяге к лошади, к запаху конского пота, он лишь вздохнул.

Все было, как вчера, неделю или месяц назад; лес был кряжистый, тяжкий, и лошади с хрипом, припадая на задние ноги и почти по-собачьи на круп, потея от усилий и покрываясь на глазах седой изморозью, волокли крепкие смолистые бревна, надсадно останавливаясь через десять — двадцать метров, с привычной покорно-

стью оглядывались назад. «Себя человек замучил и скотину тоже»,— подумал Захар, намереваясь докурить и идти назад, к штабелям, где обедала бригада, но в это время неподалеку раздался дружный взрыв смеха и веселые крики, и Захар подошел к сбившимся в кучу, надрывавшимся от хохота трелевщикам. Еще издали он увидел прыгавшего, высоко мотавшего руками тонконогого, без шапки Романа Грибкина — Захар знал его с самого начала здесь, с конца лета сорок пятого года, когда тот был еще совсем мальчишкой с легким пушком на впавших щеках, в последний год Грибкин почему-то отрастил остренькую бородку, и за нее бабы в поселке ласково прозвали его Козликом. В поселке никто особенно не интересовался прошлым друг друга, о каждом ходили приблизительные, туманные и, как всегда, где-то близкие к истине слухи; впрочем, кроме определенной категории начальства, никого не интересовало всерьез, кто и как и за что попал в эти края отдаленные, на лесоповал, все были в чем-то виноваты, и всех это чувство вины невольно скрепляло. Но Роман Грибкин был известен в поселке другим: довольно жидкий для мужика и немощный в кости, он от любого малейшего раздражения становился почти невменяем, и никто не понимал, почему раздавленный штабелем бывший бандеровец Загреба вначале выделял его особо, сделав своим доверенным дружком и собутыльником, а теперь и комендант Раков терпит Грибкина в поселке; Раков, встречая Грибкина, всякий раз даже не мог скрыть улыбки; чем-то ему Козлик тоже понравился, да уж, видать, и навсегда, а так как этот Козлик, по повышенной способности всех нервных, неуравновешенных людей мгновенно и точно схватывать настроение другого, не рассуждая особенно, использовал где только можно было благоволение к себе поселкового коменданта Ракова, то он и в самые тяжкие, голодные времена жил по дополнительному пайку, и в больнице, как говорили, по всяким пустяковым болячкам лежал подолгу, другого бы фельдшер в шею вытолкнул в тот же час, а его клали. И фельдшер боялся коменданта, да и за что им было друг другу дорогу перебегать, не без основания толковали в поселке, одного поля ягода, хоть фельдшер и из репатриированных, белая кость, ученый. А ворон ворону, как известно, глаз не выклюет.

Подойдя, Захар увидел, что лошадь Грибкина, упитанная, чалая кобыла, не захотела тянуть ходку, хотя

на волокуше лежал всего один шестерик двадцатка, тяжесть небольшая для сильной и здоровой лошади. Она сидела по-собачьи на заду и всякий раз в ответ на удар опоясывающего ей спину длинного ременного кнута встряхивала косматой головой, словно в насмешку скалила плоские желтые зубы и продолжала сидеть; оглобли трещали. Грибкину со всех сторон советовали, что нужно делать; одни говорили — распрячь, другие же, наоборот, говорили, что лошади потвóрить незачем: она животное умное, привыкнет к потачкам, затем горя с ней нахлебаешься; работая кнутом, Грибкин никого не слушал, он уже был в той поре запальчивости, когда хочется поставить на своем, а так как его не любили вначале за шашни с Загребой, затем за особые отношения с комендантом, то никто ничего полезного и дружеского подсказать ему не хотел; стояли и подсмеивались, отпуская все более соленые шутки насчет кобылы и самого Грибкина, и предлагали такие конкретные меры, как усовестить зловредную кобылу, что взрывы дикого гогота следовали непрерывно. От этого Грибкин сатанел все более, глаза у него словно заволокло мутью, по всему лицу ударил пот. Кобыла по-прежнему сидела и скалилась, мотая головой; Грибкин стал бить ее кнутовищем, норовя попасть по глазам, и тогда она, ломая оглобли, опрокинулась боком в снег, беспорядочно забила ногами, затем далеко вытянула голову, шумно храпя ноздрями и показывая, что вставать она никак не намерена, и даже хвост подальше откинула, распушив его по утоптанному снегу с таким видом, словно решила лучше умереть на месте, чем встать.

— Грибкин! Грибкин! — осатанело крикнул кто-то из трелевщиков.— Мы ж тебе говорили — самый раз! Ложись рядом!

— Го-го-го! Ха-ха! — рвал по тайге могучий мужской гогот, и кто-то все время взвизгивал:

— Ох, черт, не могу, братцы, памираю! Памираю!

Грибкин поглядел на свою кобылу дикими глазами, по-петушиному подскочил, ударил оземь шапку и, повалившись рядом с лошадью, стал молотить ее по голове кулаками и кусать ей губы; собравшиеся вокруг лесорубы теперь уже только корчились от хохота, и тот же тоненький голос пронзительно кричал:

— Ох, братцы, вот эта цалуются! От таких пацалуев двойня, не меньше вызвездит! Ох, памираю!

Захар, некоторое время хмурясь, стоял неподвижно. Затем быстро подошел к Грибкину, сильно бледнея, одним рывком поднял его, поставил на ноги, ударил в скулу, посмотрел в обессмысленные горячкой глаза, с негромким сожалением сказал:

— Паршивый ты поросенок, что ж ты до такой крайности опаскудился, а?

И опять ударил. Грибкин завыл, пополз на четвереньках, не поднимая головы и кровеня снег; он полз до тех пор, пока не уткнулся головой в густой куст. Захар сплюнул, ни на кого не глядя пошел прочь, а вечером, не заходя домой, завернул к коменданту. Лысый, вечно брюзжащий, но в общем-то добрый человек лет под пятьдесят, Раков сидел за столом, откинувшись; ремень у него на суконной гимнастерке был распущен, и начищенная бляха неприятно лезла в глаза. Он в упор, прищурившись, недовольно рассматривал Захара; тот, поздоровавшись и не дождавшись ответа, прошел, сел на одинокий стул рядом со столом.

— Ну что, Дерюгин, изувечил человека? — Раков передвинулся, наклонился над столом, пожевал вялыми губами.— Хочешь под суд?

— Быстро докатилось... Вы, товарищ Раков, не пугайте,— устало огрызнулся Захар.— Вы таким манером со мной не имеете права, я не из ваших охламонов. Ясно? Я сам к вам зашел поговорить, вы этого дурака пригрели, а он там, на делянке, цирк разводит.

Раков насмешливо цокнул, глаза его повеселели.

— Знаю, знаю, ты казак вольный, Дерюгин. И чехословаки свой орден Красного Знамени тебе привезли, тоже знаю, даже слышал, как торжественно вручали в Молотове, оркестр играл, так ведь, а? Как видишь, и мы люди не совсем темные,— подчеркнул он последние слова с некоторым удовольствием.— Ты, Дерюгин, захотел и снялся с места, поминай, как звали. Гордый! Ну уж, и меня извиняй за прямоту: на гордых с давних пор воду возят. Зря ты этаким чертом...

— Гляди, воду возят... как бы подковы раньше времени не стерли... Тут надо построже, а то в сумасшедшем доме, говорят, и валенок за бабу сойдет,— сказал Захар, и злая усмешка тронула его губы.

— Что? что? что? — изобразил изумление Раков.— Ох, Захар Дерюгин, Захар Дерюгин,— вздохнул он, делая страдающее лицо,— не лезь ты не в свое дело, здесь учителей-то и без тебя в избытке. Вот работать

кому — не хватает. И со мной лично зря ты в антураж становишься, я тут все-таки человек важный, гляди, пригожусь к случаю-то. А в жизни всяко повернуть может. Ведь что такое человек, Дерюгин, а? Человек — это вещество сложное, ему твердый хребет нужен, центральная линия поведения. Линия же эта и есть благородный труд, он и сделал из обезьяны человека. Как ты думаешь, так?

— Что вы меня спрашиваете, я человек простой. А вот зачем же ему, вашему человеку, хуже зверя становиться, лошади губы грызть, а, товарищ Раков?

— Хо-хо-хо, Дерюгин! Ну, ты меня удивил. Это от характера, ерунда. Ну, нервный... ну, может, проще, дурак — и все тут. Ну, укусил лошадь, тебе от этого какой убыток? Недаром же говорят: бойся козла спереди, а дурака со всех боков. Лошадь укусил! Что ж за это — убивать?

— Зачем же из человека дурака делать? Все ему вместо куска мяса мешанину какую подсунут и дивуются: вот, мол, дурак, ну, дурак! Смотрите, сыт, а? Вот чего я не пойму никак.— Захар слегка шевельнул руками, словно подтверждая свои слова.

— Ну-ну-ну, ты это о чем? А я тебя не могу понять. Ты это о чем развел? Почему, например, ты держишься за это место, если тебе где хочешь жить можно? У меня служба такая, ничего я больше не умею... я бы здесь ни одной минуты не сидел. Вот некоторые и поговаривают...

— Что поговаривают?

— Всякое, знаешь... Какие залеты у тебя, оказывается, бывают, а? Куда тебя дерет-то, а? Какое мясо-то вспомнил? А?

— Не слушайте всякую муть, я ж тоже дурак.— Захар скупо усмехнулся.— С дурака какой спрос... Не надо с дураками-то, вы на государственном деле сидите. А с бабьей трепотни много не возьмешь. Почему это я должен всякому, кому надо и кому не надо, насчет себя исповедоваться? Значит, нравится здесь, раз держусь. Дурак и есть дурак...

— Что нравится, это хорошо, а вот насчет дурака... Ох, трудный у вас тут народ собрался, Дерюгин! — внезапно пожаловался Раков, и глаза у него тоже затосковали, пожаловались.— Все какие-то крученые, все с перевивом... И как это черт занес меня сюда? — удивился он.— Ты думаешь, я ничего не знаю? Знаю...

— А что знаете? Я здесь с лета сорок пятого. Раньше что здесь было, мне, товарищ Раков, неизвестно.— Захар сдержанно поглядел в широкий желтоватый лоб коменданта.— А насчет ваших мыслей, если они касаются этого дерьма Загребы, так вы никому не верьте, тот сам себе конец устроил. Недаром говорится, товарищ Раков: затейливые ребята, они землю-матушку недолго топчут. Народу много было, все видели, какую он себе последнюю минуту смастерил. Да и следствие...

— А, следствие! Знаем мы это следствие! — Раков по-бабьи дрябло махнул рукой; в припухлых веках мерцал острый, хитрый зрачок.— В этом буреломе самый матерый волчище следа не отыщет... Беда-народ...

— Вам-то, товарищ Раков, бояться нечего.— Захар повел головой на окно.— Видите, как приехали, решетки с комендантской квартиры сняли, а народ сразу видит. Тут, говорят, до вас был — из дому нос боялся высунуть. А Загреба — что же Загреба... Видать, далеко не такой простой ангелочек, как прикинуться умел. В этой военной круговерти, видать, проскользнул в какую-нибудь щелку...

— Ладно, ладно, я его дело проверял, вроде на большое не тянул. Ну, да что о нем теперь заботиться,— остановил его Раков и, словно подводя черту, тяжело опустил руки на стол; они разошлись, перекинувшись еще двумя-тремя фразами.

Захар поужинал, поговорил с Илюшей, повозился с Васей, с неожиданно вспыхнувшим острым интересом присматриваясь к белоголовому, крепкому мальцу, так тесно вторгшемуся в его, Захара, душу и жизнь. Он выстругал и приладил новое колесико к забавному деревянному грузовичку, и Вася радостно схватил игрушку, стал катать по полу, время от времени заливаясь беспричинным звонким хохотом. Глядя на него, Захар невольно улыбался, а ночью опять долго не мог заснуть; лежал тихо, чтобы не разбудить Маню, перебирал в уме разговор с комендантом; за стенами дома крепчал мороз, и безветренная, звонкая ночь распространялась все больше над этим северным краем. «В самом деле, почему я держусь за этот поселок? — спрашивал себя Захар.— Вначале, пока не разобрались, было понятно, но ведь все это разбирательство длилось месяца полтора-два, кажется. Какая же это гордость тебя заела? — издевался Захар сам над собой.— А что, и гордость,— тут же отвечал он.— Есть в этом свой смысл; не повезло

на войне, в самом ее конце успел что-то сделать, и то, как нарочно, с ног сшибло, эти сволочи англичане здорово подкузьмили — продержали в своем лагере с месяц... Конечно, почему свои должны были ему сразу, без всякой проверки, раскрыть объятия? А годы себе отстукивали да отстукивали...» Нет, что-то определенно перевернулось в нем в эту войну, что-то такое, что никак еще не установится прочно на прежнее место, не тот стал норов, не та ясность в душе. Он ничего на свете не боялся и не боится. А вот как подумает о Густищах, о том, как пойдет по саду, так и охватит ознобом. А Ефросинья, а дети? Нет, на это его пока не хватит, а что дальше будет — посмотрим. Значит, есть какие-то причины сидеть здесь, в глухой тайге и бездорожье, все-таки здесь, чувствуется, потихоньку отпускает нутро.

9

Приподнявшись на кровати, Захар прислушался; толстые бревенчатые стены еле уловимо потрескивали, значит, мороз был сильный. За перегородкой спали дети; Захар их не слышал и все никак не мог понять, что же его так неожиданно подхватило. Он угадывал, что время всего лишь за полночь, и в самой природе, в жгучем приступе пятидесятиградусного мороза, копился надлом, какой-то удар. Нащупав рядом на тумбочке папиросы, спички, Захар закурил и, стараясь не потревожить Маню, осторожно отодвинулся на край кровати, лег на спину. Он тотчас понял, что жена не спит, и, продолжая курить, стряхивая пепел прямо на пол у изголовья кровати, где, он знал, не было коврика, он все время чувствовал какое-то особое напряжение, и ожидание чего-то неизвестного, ненужного держалось и крепло в нем, и он от этого своего состояния начинал злиться: «Ну чего, чего она молчит,— думал он,— что такое с нею? Так, как у нас последнее время, жить нельзя рядом, домой не хочется показываться, надо все это менять».

— Захар,— голос Мани, словно подслушавшей его мысли, заставил его задержать дым в груди, но он сразу же выдохнул его, таиться дальше было напрасно; то, что копилось столько времени, должно было прорваться именно в этот час и в эту минуту,—Захар, а Васька-то от него, Федьки Макашина...

Он понял сразу, мгновенно, и даже ударила мысль, как это он не сообразил раньше; он замер, было такое чувство, что он снова лежит на дороге в грязи и над ним медленно-медленно проносятся бесконечные ноги, сапоги, ботинки, целые и с оторванными подметками, обвязанные веревками, прикрученные стершейся понизу до блеска проволокой, босые, обмотанные лишь портянками ноги, ноги, ноги, десятки избитых, истертых в кровь, сотни ног, и липкие куски грязи, ссыпавшиеся с них прямо на него, на грудь, на лицо; стараясь остановить этот сразу вызвавший забытое было чувство тошноты поток, Захар прикрыл глаза.

— Убей меня, растащи на куски, не могу больше, не могу,— падали, отрешенные в какой-то злобе, тихие слова.— Вот теперь знай... Не могу... никаких сил не осталось больше, Захар, страшно! Его это ребенок, слышишь, его... Сколько времени боялась тебе сказать, что оттого? Может, зря прорвало сейчас, молчать бы, не взваливать на тебя тяжесть-то эту... не могу... не могу... Не могу дальше одна... как увидела этого изверга, свихнулась душа, что хочешь теперь делай... грудь разрывает... Захар, ты чего молчишь, Захар? Все расскажу, как на духу... Захар... Захар... что же ты лежишь, слова не обронишь? Захар...

Она встала на кровати на коленях, белела смутно и расплывчато; Захар не мог взглянуть на нее прямо или дотронуться, заставить лечь хотя бы насильно, слишком больно обрушилось это новое бремя. То, что Маня без него нажила второго сына, давно уже стало привычным, правда, вначале тайно и мучило; Захар даже ничего не знал об отце Васи, хоть Маня несколько раз и порывалась рассказать ему. Ну, знал, что какой-то каменщик, пришел из армии по инвалидности, по чистой, стал поглядывать, баба и не удержалась, да и почему она должна была удерживаться? А вот стоило позвать, все бросила, в одночасье прилетела в эту дыру с двумя детьми — вот это что-то значило; увидел он ее впервые — строгую, тихую в ожидании и какую-то сияющую — и долго не мог вымолвить слова, одурел; какое ему было дело до отца ее второго мальчишки, она была его матерью, значит, и для него, Захара, он был дорог, этот плаксивый первое время ребенок, вначале много болевший: все никак не мог привыкнуть к таежному свирепому климату.

— Все, все тебе расскажу, Захар,— твердила Маня,

окончательно пугаясь его молчания и истолковывая все по-своему.— Капельки не скрою, я давно хотела, не могла решиться, начать не могла, как только подумаю, горло замыкает... Захар... Захар... Хоть слово кинь... что ты... ну хочешь, я назад уеду, уеду — и все. А ты как думал? — внезапно возвысила она потвердевший голос.— Ты что хотел? Ты хоть спросил бы, бесчувственный камень, хоть бы кроху-то кинул какую! Захар!

— Не кричи, детей разбудишь.— Захару показалось, что эти слова произнес не он, кто-то другой, и они отдались у него где-то у сердца.— Не кричи,— повторил он.— Не надо, Маня.

Задохнувшись готовым вот-вот сорваться злым словом, она сникла, сделалась совсем беспомощной и, не закрывая лица, заплакала.

— Не виновата ни в чем, Захар,— заговорила она вновь немного погодя.— Силой, проклятый, взял, Илюшу грозил сгубить... а я за это и в петлю бы пошла. Потом как-то и не смогла ничего... и по бабкам бегала, и сама вытравить хотела... ничего не вышло... Господи, это как же так все? И перед ребенком виноватой осталась, как погляжу на него... За что? За что? — спрашивала она торопливо, словно в горячечном бреду.

— Молчи,— опять попросил Захар, безошибочно чувствуя и понимая, что она сейчас готова на все, готова рассказать ему и то, что ему не нужно, нельзя было знать; он заворочался, опять закурил, стараясь произвести побольше шума.— Молчи, хватит,— потребовал он, перехватив момент, когда она, не думая ни о нем, ни о детях, а желая лишь заглушить страх и растерянность в себе, готова была закричать по-бабьи бездумно, возмущенно и жалко.— Не надо мне ничего рассказывать, прошлого не воротишь, кричи не кричи. Ребята вон рядом, за стенкой, ты о них подумай. Услышат, а тебе жить с ними.

Он больше не мог оставаться рядом с нею, торопливо вскочил, стиснув зубы, натянул теплые, ватные штаны, намотал портянки, надернул валенки. Маня, все так же стоявшая на коленях на кровати и следившая за ним, едва он нахлобучил шапку, бросилась к нему, схватила за плечи, стараясь повернуть лицом к себе.

— Захар, Захар,— задыхалась она, припадая к нему, и он, отдирая от себя ее руки, как нечто невыносимо грязное, от внезапной ненависти и отвращения к ней не мог выговорить слова. Отшвырнув ее прочь (ударившись

о стену, Маня без звука осела, оглушенная, на пол), Захар хлопнул дверью, выскочил в коридор. Заскрипели примороженные доски, он выбежал на улицу, задохнулся резким, сухим воздухом. «Сука, сука, сука»,— только и мог повторять он, чувствуя, что еще немного — и сердце не выдержит. Он сейчас не хотел знать, как все переплелось и завязалось, он просто не мог вынести мысли, что она спала с Федькой Макашиным, что...

Не разбирая дороги, он долго куда-то бежал, затем нагнулся и, придерживая голову, раскачиваясь из стороны в сторону, застонал: уже была какая-то искристая темнота, она словно тянула в себя, еще немного, еще немного... и он с наслаждением рванулся вперед. Он очнулся только за поселком; ночь была кругом, редкие оставленные на семя кедры бессмысленно и одиноко высились в лунной, застывшей, серебряной тишине, и он, озираясь вокруг, понял, что и в такой вот тьме есть своя красота; сколько раз он видел такие ночи, но никогда раньше не мог понять того, что понимал сейчас... Пораженный своим открытием, он не замечал пронзительного мороза, у него лишь с каждым вздохом начинало остро покалывать в груди, но голова прояснилась. Того, что было, что уже произошло, теперь не изменить, не переделать, можно было только понять это и решить, как жить дальше.

Торопясь, невольно радуясь, что можно хоть чем-нибудь занять себя, Захар закурил; вспышка спички ослепила его. И он сразу заколебался: в ушах стоял жалкий, беспомощный крик жены, его тянуло назад, домой, он сейчас отчетливо понимал, что Маня не виновата, что свершилось это по какому-то недоступному для понимания человека закону. Он сейчас боялся лишь одного: встречи с Васей, с этим шестилетним человеком, которого он до этой тягостной ночи так любил держать на коленях — и вот теперь... «А что, что теперь? — раздраженно спрашивал он себя.— Что теперь? Вон, все так же кругом... тайга кругом, крыши из-под снега торчат...»

И опять глубинное, мутящее желание увидеть Густищи, пройтись по волнующемуся под теплым ветром разливу поспевающих хлебов охватило его; он глухо, скверно выругался, рванулся дальше в тайгу, ломился сквозь кустарник, проваливался в метровых снегах, неосознанно стараясь в этой бессмысленной борьбе забыться. Он очнулся лишь, когда начало светлеть, и над

безмолвной тайгой пронеслись, меняя и преображая все вокруг, первые лучи солнца. Он остановился, оглянулся и долго присматривался к своему неровному следу, петлявшему между деревьев. У него еще были силы, и он мог бы вернуться назад, но именно теперь он понял, что должен прежде всего справиться с собой. Пробившись к старому кедру, он привалился к нему плечом и дрожащими от усталости руками достал папиросы и спички. Он обрадовался, что спичек у него оказался целый коробок, и с наслаждением закурил. Куда он забрел, он точно не знал, но что-то подсказывало ему, что места эти знакомые; встающие вдали очертания возвышенности он тотчас же вспомнил — года два назад он уже был здесь, приезжал сюда с Илюшкой побелковать. Здесь, недалеко, километрах в двух-трех, была охотничья избушка... можно прожить там и неделю, и месяц, и два совершенно без людей, одному...

Он медленно докурил папиросу, оторвался от кедра и двинулся дальше в тайгу; часа через два он стоял около низкой, темной избушки и, недолго повозившись, с трудом освободил ее дверь от снега. Из темноты на него дохнуло еще большим холодом, но он уже видел сложенный из дикого камня очаг, возле него — топор и сухие дрова рядом, аккуратно положенный на стол из жердей опрокинутый казанок, и кружку, и подвешенный к потолку мешочек. Не закрывая двери, он присел у очага, подул на руки и стал разводить огонь; сухие дрова занялись сразу, тепло коснулось его лица и рук, и он блаженно сощурился, замер. Огонь все сильнее бился и гудел в тесном очаге и на выходе из трубы свивался в один толстый, седой, с золотыми прожилками, сноп, резко и непрерывно уносящийся вверх.

Захар подбросил смолистых поленьев, расстегнул полушубок, затем, чувствуя, как тянет холодом сзади, встал и плотно прикрыл дверь.

В мешочке под потолком оказались пшено, банка с каким-то жиром, соль и щепоть чаю; Захару сразу захотелось есть, и скоро он уже хлебал из казанка жидкую пшенную кашу, сдобренную слегка горчившим жиром, и все поглядывал на весело трещавший очаг; отставив затем казанок с остатками каши и набив очаг поленьями, он лег на топчан из жердей. Глаза слипались, под ровное гудение огня он почти тотчас заснул и, как ему показалось, почти сразу проснулся. Но по каким-то безошибочным своим ощущениям он

знал, что уже давно ночь и что над тайгой уже горит, раскаленная ярым морозом, луна.

Избушка давно выстыла, скорее всего он и проснулся от холода; но, пожалуй, и не только от этого: в душе звенела, ныла пустота, словно падал во сне в пропасть, подхватился и никак не мог отдышаться.

Захар разгреб золу в очаге, положил на красновато заалевшие угли несколько сухих щепок, подул. Огонек появился почти тотчас, потек по сушью, и скоро в очаге гудел ровный, сильный огонь. Некоторое время Захар не мог оторваться от его тугих, стремительно уносящихся в дымовое отверстие золотистых струй. Дров оставалось мало, и он, захватив топор, вышел. Избушка стояла на холмистом возвышении, и Захар словно бы сразу оказался в центре безбрежного, серебристо блещущего купола, подпертого редкими громадными кедрами; сюда еще не добрались ни топор, ни пила, и у Захара захватило дух. Такой размашистой, пугающей мощи и красоты он еще не встречал в жизни, хорошо ему стало на сердце и страшно. Макашин ворохнул где-то в тайной, за семью покровами, болячке, ворохнул безжалостно, с видимым веселым ожесточением. На Макашина плевать, а вот в душе опора пошатнулась, перекосилась. А кто же в этой жизни поймет, где верх, где низ? Макашин? Раков? Или он сам — Захар Дерюгин? Вот он почему обрадовался, Федор Макашин, на одну доску нас с ним жизнь взгромоздила, ну, может, для себя он и по делу обрадовался. А для меня? Что ты сам на такой вопрос скажешь? А то скажу, что жить надо, детей поднимать надо, а у кого голова побольше, пусть глубже заглянет. А нам на этот момент далеко заглядывать нельзя: ненароком ослепнешь или последнюю мозгу пропьешь. Тот час, когда нам поглубже заглянуть надо, не подошел, вот подойдет, так, может случиться, сам из этой дурной глуби благим матом заорешь, не удержишься. Может, Макашин и прав: от такой жизни, от такой доли ему самому давно нужно лютым зверем стать, при каждом удобном случае горло первому встречному рвать, да, видать, последняя черта окончательно еще не подступила. А может, другое тут, может, доля такова, кто дураком родился, тому уж не вылечиться, на дураках с испокон веков воду возят.

Захар сжал топорище крепче; луна словно устилала все вокруг ярым серебром, темными провалами обозна-

чались в пространстве подступающие со всех сторон наплывы тайги. Нужно было что-то немедленно сделать; безмолвное, бесконечное сияние снегов начинало растворять, высасывать его душу. Все отступило, он должен был или выстоять один на один с собою, или пропасть, любой шаг куда-нибудь назад, в сторону, был невозможен. Жестоко и непримиримо обозначился рубеж. И какое-то хмельное беспокойство заставляло Захара вновь и вновь кружить по тайге вокруг землянки, пока он не увидел перед собой старый, засохший на корню кедр. Он обошел его кругом, затем сдернул рукавицу и стал медленно ощупывать ствол, обрывая лохмотья оставшейся коры. Он заметил кедр еще раньше, подходя к избушке, и желание срубить это огромное, в три или четыре обхвата, дерево захлестнуло его. Проваливаясь в метровых наносах, он стал обтаптывать снег и тотчас, наметанным глазом определив едва заметный наклон в южную сторону, смахнул с себя полушубок, поплевал на руки и, глухо ахнув, с веселым ожесточением всадил топор в сухое, морозное, твердое, как кость, тело дерева. Полетела кора, ствол отозвался на первый удар долгим звоном, и, заглушая его, разгораясь, Захар рубанул еще и еще, всякий раз глубоко, с наслаждением ахая. Ему было необходимо повалить это дерево во что бы то ни стало, и он, не выпуская топора, работал несколько часов подряд, не чувствуя ни пятидесятиградусного мороза, ни взявшейся ледяной корой рубахи на спине, ни гудевших, тяжелевших рук; он словно превратился в машину, но к утру, после нескольких часов непрерывной работы, он углубился в исполинский ствол лишь на четверть. Утоптанный снег вокруг кедра был густо засыпан переспевшей золотисто-розоватой щепой, кусками старой коры. Захар накинул полушубок, привалился к дереву и дрожащей от усталости рукой достал папиросы, закурил. Было уже совсем светло, мороз жег особенно сильно, в натруженных, обожженных легких покалывало. Дыхание несколько успокоилось, и тогда в уши ему стало просачиваться безмолвие тайги; холодное солнце, показавшееся краем среди редколесья, лишь еще более его усилило. Захар громко прокашлялся, переступил с места на место, хруст снега, казалось, отдался у самых горизонтов, заполнил весь мир. А может, так оно и есть и он один-единственный на свете и остался? Заблудился, забрел не туда и теперь не знает, что делать, до чего

один человек вообще не нужен, подумал он, и ему со всей реальностью яви представилось, что в мире вообще никогда больше никого не было и не будет, и он, сложив ладони, поднес их ко рту и крикнул:

— Эге-ге-ей!

Послушав гулкие перепады отголосков, все больше дробившихся в тайге, он ногами отгреб подальше щепу и в который раз обошел вокруг кедра, с новым уважением подробно к нему присматриваясь, и принялся за работу, и опять, не отрываясь, рубил несколько часов. Затем, пошатываясь от усталости, пошел в избушку, развел огонь, разогрел остаток каши, съел, вскипятил воды и, обжигаясь, долго пил. Резко чернея в холодном небе, кедр неотступно стоял перед глазами; он не исчез, даже когда Захар забылся в коротком сне. С вырубленным на треть стволом, переламываясь, со стоном разрывая слои древесины у разруба, дерево, неожиданно поворачиваясь на оси, начинало валиться именно в его, Захара, сторону; задыхаясь, Захар рвался из-под настигавшей его, со свистом рассекавшей воздух, занимавшей все пространство неба вершины. Он вскакивал, оглядывался, опять засыпал, и опять повторялось все сначала, опять пронзительный свист падающей выгнутой вершины настигал его. Наконец он не выдержал, схватил топор и бросился из избушки; он не знал точно, что произойдет, если он не сделает намеченного, плюнет и бросит; это уже было больше, чем единоборство с какой-то определенной силой, с тем упорством, что было заложено и веками выращено в стволе великана, умершее дерево должно было рухнуть, так издавна положено, это одно. Но смысл поединка был, очевидно, сокровеннее, его нельзя было объяснить словами, и Захар рубил и рубил, подчас уже плохо видя от напряжения и усталости; он не знал, сколько прошло времени и сколько еще нужно будет работать. Он лишь помнил, что два или три раза возвращался в землянку и варил кашу. Теперь мешочек был пуст, а дерево продолжало держаться, и рубить еще нужно было много, может быть, день или два. И, однако, воля у Захара не ослабла, и желание справиться было ясным и сильным. Если можно было бы хорошо наточить топор и если бы как следует отдохнуть, можно было бы справиться теперь и за несколько часов, но такой возможности у него не было. Топор он уже несколько раз вострил простым камнем, выломанным из очага, и несколько часов отды-

ха было непозволительной роскошью. И он, покурив (каждую папиросу он теперь делил на два-три раза и, чтобы экономить спички, бегал прикуривать в избушку от углей в очаге), снова принялся за работу, согнувшись и почти полностью скрывшись в разрубе. Он почувствовал, что дело пошло лучше: самая сердцевина кедра была податливее, рыхлее. Захар теперь знал, что в любую секунду от самого легкого шевеления воздуха до сих пор упорно державшееся дерево может надломиться в разрубе и начать падать, и был сейчас особенно чуток, казалось, само его тело с нетерпением отмечало малейшее изменение, почти перерубленное гигантское дерево и сам он словно срослись в одно целое, и общий ток соединял их; припав на колено, Захар рубил и рубил, занося топор неловко, сбоку. Что-то надсадно хрястнуло, он отпрянул и тут же с досадой сплюнул. У самого обуха переломилось топорище; лезвие увязло в стволе, и Захар, попытавшись вызволить его, не смог. «Надо найти какую-нибудь железяку или камень принести,— подумал он.— Постукаю, выскочит...»

Пошатываясь, он поднял сломанное топорище и с недоумением впервые заметил, что густо усеявшая все вокруг места работы щепа кедра отсвечивает на снегу красноватым. «Вроде как весь снег окровенился»,— растерянно подумал Захар, и тут же короткий, сухой треск рвущейся древесины заставил его метнуть взгляд вверх и броситься в сторону. В сияющем небе, в раскидистой вершине кедра обозначилось, наметилось какое-то движение, далекие ветви кедра часто и крупно вздрагивали. Не отрывая от них жадного, завороженного взгляда, Захар пятился и пятился подальше от падающего дерева; на какое-то время ему стало страшно того, что он сделал. Неостановимая сила падения сорвала ствол кедра на своей оси, его давно высохшая вершина, разбрасывая омертвевшие сучья, описала в небе стремительный круг, соскочив с расщепленного пня, дерево медленно, с каждой секундой увеличивая скорость, стало падать, ломая все на своем пути. Брызнули белыми сломами несколько верхушек заснеженного подроста, и тяжелый стонущий удар всколыхнул промерзшую землю, снег, сбитый с потревоженных деревьев и поднявшийся от удара пятидесятиметрового ствола о землю, дымным облаком дошел и до Захара, накрыл его. Он чувствовал, что не может сдвинуться с места,

опустошение было велико, ему хотелось опуститься в снег, закрыть глаза и больше ни о чем не думать. Он стоял, покачиваясь, и безразлично-тупо глядел на безобразно изгрызенный топором торец комля, до верха которого он вряд ли бы мог дотянуться, даже если бы и захотел, рукой. Ничего от этого, пожалуй, не изменилось. Где-то далеко по-прежнему были и росли дети; ну что ж такого, вырастут, если будет нужно, и без него. Была еще Ефросинья, что ж, и эта, пожалуй, посидит погорюет, и Маня тоже... и эта стала чужой. Вот Илюшка, пожалуй, тот... Что? Илюшка...

Он все-таки не удержался, подошел к комлю, в нескольких местах всей ладонью потрогал переспевшую древесину в разрубе и прижался к комлю спиной. Ему стало хорошо и покойно, но он все время помнил, что дерево теперь срублено, можно набрать сушья, натопить избушку и наконец-то выспаться, и это мешало отдаться расслабляющему, безучастному состоянию окончательно. Его давнее спасение, спелое, волнующееся под жарким июльским ветром поле ржи, представилось ему, горьковатый запах цветения защекотал ноздри, и он, преодолевая тяжесть, отыскал глазами полушубок, с усилием заставив себя сдвинуться с места, поднял его, накинул на плечи (надеть его в рукава он не смог) и, пошатываясь, побрел к избушке. С каждым шагом он все отчетливее слышал свежий хруст снега; на знакомой, им же протоптанной тропинке от избушки до кедра он впервые заметил много нового. Слегка припорошенный снежной пылью, оседавшей в морозные ночи из воздуха, тропинку пересекал след горностая, чуть подальше ярким, ласкающим глаз пятном высовывалась из-под снега верхушка молоденькой сосенки, рядом кто-то насорил скорлупой кедровых орешков. Всего этого для него могло больше и не быть, но ему попрежнему не было страшно; только войдя в избушку и устроившись у неостывшего еще очага, он долго не мог справиться с руками, взять казанок и напиться.

10

Вернулся он домой лишь на пятые сутки, под вечер, заросший до самых глаз, с выжженным, почерневшим от мороза лицом. Он ввалился в дом и тотчас увидел Илюшу, потерянно метнувшегося ему навстречу.

— Ох, батя,— услышал он знакомый голос сына,— тебя уж всем поселком искать ходили...

— Здорово, Илья,— сказал Захар с легкой хрипотцой, пожимая сыну руку и в то же время не отрывая глаз от Мани, вставшей ему навстречу.

Захар опустил глаза, увидев жавшегося у ног матери Васю и тотчас Маня сделала бессознательное, почти неуловимое движение прикрыть сына. И что-то окончательно перевернулось в его душе; он хрипло откашлялся, с трудом отрываясь от устремленных ему навстречу, тревожно ждущих глаз Мани, глянул неловко в сторону, шагнул от порога и, опускаясь на стул, спросил:

— Ну как тут у вас?

Маня, сильно бледнея, наконец отстранила от себя Васю.

— Ужинать собрались,— сказала она.— Раздевайся, Захар... Илюшка, возьми у отца полушубок...

— Давай, батя,— с торопливой готовностью подскочил к отцу Илюша.

— Не надо, Илья, сам, сам,— отстранил сына Захар, но еще некоторое время сидел на месте и ждал, когда наконец отпустит, но видел он и замечал все, вплоть до робкого не отстававшего от матери ни на секунду Васи, до белого, неподвижного лица Мани, движущейся так осторожно, словно она боялась кого-то или что-то спугнуть.

А затем, после медленного, какого-то сдержанно-радостного ужина, когда дети уже спали, была стылая, синяя ночь, словно подмороженная с краев, она сильнее светилась у окружности горизонтов; звезды вызрели в полную меру и ярко лучились. Тайга и сопки вокруг стояли в цепенящем безмолвии; именно такая ночь и угадывалась в толсто затянутом морозном окне.

— Надо печь затопить, пожалуй,— сказал Захар, делая движение встать.— До утра все выстынет, ребята замерзнут. Ну, мороз, вот мороз, редкий на диво.

— Постой, Захар,— остановила его Маня, вздрагивая в ознобе, но продолжая лежать в одной рубашке поверх одеяла.— Ребенка мне надо от тебя, Захар. Еще одного, тогда все забудется. Слышишь, Захар, тогда мне прощение будет. Слышишь, Захар, ребенок мне нужен от тебя.

— А тебя никто и не винит, Маня,— тотчас с горячностью остановил он ее; в его голосе она уловила обиду и горечь.

— Мне от самой себя прощение надо, Захар.— Маня приподнялась на локте, и Захар увидел ее глаза — широко открытые, синие, как в молодости.— Что, Захарушка, остарела, надоела? — говорила она бессвязным, быстрым шепотом.— Ты так и скажи: надоела, мол, стара стала. А ты пересиль себя, не убудет, я для тебя все отдавала, не оглядывалась. Мне это для жизни надо — ребенка от тебя, что ж, ты и в этом мне откажешь? Не откажешь, нету у тебя такого права, Захар! А там иди хоть на все четыре стороны, да я и сама сразу же соберусь в охапку, домой, в Густищи уеду. Надоела мне эта стынь, вся душа вымерзла. Уеду, Захар, сразу же и уеду, только ты хоть в этом себя не пожалей, слышишь, это мой, отдай! — Она придвинулась к нему ближе, и он почувствовал, что от нее несет сухим жаром.—А ты помнишь, Захар, как на Густищах верба-то, верба по весне светит? Как тихий огонь на ней... Ах, Захар, куда же наша с тобой жизнь пролилась? Земля жадная, как в сушь, все до капельки впитала. Молчи, ты — мужик, ты ничего не понимаешь, у вас, у мужиков, вместо сердца кирпич в груди, не понять тебе бабьего...

От ее бессвязного шепота шел какой-то пьяный дурман и обволакивала слабость; и вот уж какие-то другие чувства и мысли кружили в душе; в самом ведь деле, разве уж все прошло, и вот-вот отзвенит пять десятков, и уже не случится ни медвяной, пахнувшей свежим сеном и грехом ночи, ни безрассудства, когда, ни о чем не думая, совершаешь то, о чем потом долго и упорно, часто всю остальную жизнь, жалеешь?

Пожалуй, впервые в жизни он понял и почувствовал, что Маня сильнее его, что она не уступит, и, кажется, теперь он знал, за что полюбил и любит ее больше всего на свете; да и о какой молодости она толкует, если жизнью вообще нельзя напиться досыта? Он взял Маню за плечи, заставил лечь, отчуждение, почти отвращение к ней после ее признания прошло, и оттого, что всего несколько минут назад между ними пролегла, казалось бы, непроходимая пропасть, сейчас было какое-то особое чувство, жадность первооткрытия; очнувшись, Захар с некоторым смущением прокашлялся.

— Надо, однако, печь протопить,— порассуждал он вслух, надернул теплые, сухие валенки и, захватив спички, вышел. Маня лежала успокоенная, словно в каком-то приятном полусне; она слышала, как Захар,

покашливая, открывал трубу, постукивая дровами, разжигал печь, потом пил воду, и она испытывала сейчас к нему немое чувство благодарности, как к теплому, пахучему хлебу после насыщения; его еще оставалось много, и можно было есть сколько угодно, только она больше не могла, но то, что этот хлеб был, успокаивало, размягчало.

— Такой мороз до утра продержится, дома придется отлеживаться,— сказал Захар, возвращаясь и позевывая.— Градусов под пятьдесят жарит.

— Что ж, можно и отдохнуть,— отозвалась Маня, слегка отодвигаясь, чтобы дать ему место, и тотчас, как он только лег, теплая, привычная рука обхватила его шею.

— Захар, а у нас в Густищах сейчас-то луна небось... самые святки.— Она не могла спать, дышала ему в ухо, в висок.— Ох, Захар, до смерти хочется хоть глазком взглянуть, как вспомнишь, внутри саднит. Мать пишет, много молодых подросло, говорит, приедешь, так и не узнаешь... Ты вот даже ни разу не вспомнил об этом, чудно мне это... А я бы, кажется, на крыльях полетела. Захар, а Захар, давай как-нибудь съездим? Вот в лето и можно, как огород посеем, так и можно, отпуск как раз дадут, не будут сквалыжиться.

— Чего зря гадать, подойдет лето, тогда и прикинем.

— Не поедешь ты, Захар,— спокойно и тихо заметила Маня.— Ты словно боишься чего, давно видно. А может, оно и правильнее: чего понапрасну себя и других тревожить?

— Ладно, придет время, съездим, чего мне бояться, тут другое,— Захар закрыл глаза; он не стал разъяснять, что имел в виду; было слышно, как звонко потрескивали, разгораясь, дрова.— С Ефросиньей, сама знаешь, как было. Пришла, видать, пора, отболело все, отвалилось.— Он нарочно шумно зевнул.— Поспать бы немного, что-то вроде не выспался.

— Спи,— сказала она.— Дров сама подброшу, да еще надо сходить ребят посмотреть. Подчас как попало спят, разметаются, Илюшка — тот совсем, того и гляди, застынет по такому холоду.

Она хотела было встать, но он удержал ее.

— Сам погляжу, лежи,— сказал он, внезапно стыдясь и удивляясь своему порыву и ясно чувствуя, что и она понимает этот его порыв и оттого притихла. Это было какое-то непреоборимое любопытство; он

помедлил, кашлянул и прошел за перегородку к детям, а Маня осталась лежать, широко открыв глаза и прислушиваясь к каждому звуку и шороху.

Поправив сползавшее одним краем на пол одеяло на Илюше, Захар остановился у кровати Васи; пол был холодный, босые ноги стыли. Захару хотелось включить свет и увидеть лицо Васи, но он медлил, боясь сейчас самого себя; он улавливал тихое, почти неразличимое дыхание глубоко спящего ребенка, но для него теперь это уже был не тот мальчонка, которого он знал ранее и к которому привык и по-своему привязался. «Так получилось,— просто и ясно говорил себе Захар, пытаясь разглядеть в темноте лицо Васи.— Так оно получилось, сопит этот шумливый товарищ, и нет ему никакого дела, кто у него отец, подай ему хлеба каждый день да теплой одежды, растет, смеется, вернешься с работы, не успеешь раздеться, а он сразу прыг на колени...—Захар физически ясно ощутил у себя на шее прикосновение пухлых, теплых ручонок.— Меня, видно, этим и хотел убить Макашин,—подумал Захар,— да не рассчитал. Ребенком, чей бы он ни был, убить нельзя, оно, пожалуй, ребенок-то всегда выше смерти. Вот она, какая осечка вышла. А победа-то, она вот здесь осталась, лежит себе и сопит в две дырки, вот тебе и победа. А противные силы где-то на отдалении от него схлестнулись и схлынули, где-то бродят в ночи себе»,— Захар почувствовал, что Маня подошла и стоит рядом. Он не оглянулся, не шевельнулся, Маня должна была быть с ним рядом в этот момент, она это как-то всегда умела делать, вот она пришла и стоит, накинув на голые плечи свой любимый пуховый платок, купленный им во время поездки в город, когда чехи орден привезли; с тех пор с этим платком она почти не расстается.

— А он себе знай спит,— уронил Захар тихо, повернулся с легким вздохом, взял Маню за плечи, притянул к себе; она ничего не могла сказать, она была немая сейчас, лишь глядела на него благодарно, все сильнее стягивая на груди концы платка.

— Ну ты чего, чего? — строго спросил он.— Вырастет и этот, куда денется... Какой из него человек выйдет, вот за это нас с тобой судить будут, а так... ну, и конец разговору.

— Господи, когда же это морозы поутихнут? — прошептала Маня, стараясь как-то ослабить свой страх

перед пронзительностью его слов. Она не могла и не должна была оценить их разумом, она оценила их своим неошибающимся измученным бабьим сердцем и, не удержавшись, бросилась назад, упала в постель, закусила угол подушки. И замерла, вздрогнув, почувствовав у себя на спине жесткую, тяжелую руку Захара. Покорная этой руке, своему чувству, она затихла, ей ничего сейчас не нужно было, просто хотелось вот так лежать в тепле, ощущая кожей, душой эту знакомую, родную руку, и чтобы никто не мог помешать. Еще хотелось весеннего солнца и тепла, первой, колючей, изумрудной травы, весенних запахов, хотелось просто пройтись по улице Густищ, увидеть мать, соседей, подруг, выйти к старым березам на околице.

11

Еще одна зима прошла для Ефросиньи скорее скорого. Весна и начало лета проскочили еще незаметнее, и вот уже вовсю заколосились хлеба, вывелись, окрепли птенцы у дикой птицы, стали наливаться яблоки, на них выпал урожайный год; уже давно отошли белый налив, апорт, всякие летние сорта, но зимние едва-едва входили в силу; антоновка, этот ни с чем не сравнимый русский сорт яблок, вобравший в себя всю мягкость и незаметность и в то же время весь неповторимый аромат орловщины, курщины, рязанщины, еще и не начинала желтеть и пахнуть; Ефросинья знала, что придет срок и незатейливое, выносливое дерево, густо покрытое зелеными некрупными яблоками, словно предчувствуя скорую слякоть и стужу, вдруг сосредоточивая в себе всю яркость и остроту жизни, с каждым днем будет увеличивать плоды со скрытым в них семенем; с каждым днем теперь они все больше будут дразнить глаз, особенно по утрам, когда, покрытые чистой, прохладной росой, они греются в первых лучах солнца, наливаются восковой желтизной, свежестью и начинают играть трудно уловимыми оттенками, наступает предвестник того самого густого, душистого антоновского запаха, и происходит это обычно уже осенью, когда ветер с легкостью начинает срывать с лесов и садов тучи листьев...

Ефросинья несколько побаивалась этой поры антоновских яблок; именно в это время по ночам, несмотря

на тяжелую работу, она часто просыпалась и уже больше не могла закрыть глаз. Слушала. Приходили и гасли какие-то шорохи, звуки, голоса, и она начинала чувствовать, как дышит и живет ночь, казалась она бесконечно долгой, каждый раз Ефросинья успевала перебрать в памяти чуть ли не всю свою жизнь. Если Егор был дома, она не боялась, тихонько вставала и садилась к окну; думала о том, что он скоро уйдет в армию и ей придется быть совсем уж одной. О прошлом она думать не любила, не любила вспоминать, и теперь все чаще начинала прикидывать, не пора ли оженить Егора еще до армии, кстати, он себе уже и девку вроде присмотрел, и бабы не раз говорили ей о Вальке Кудрявцевой. Ефросинье такое родство не очень-то было по душе, в основном из-за сватьи, бабы вроде бы и тихого нрава, но по-особому назойливой и подковыристой: сидит-сидит себе, слушает, а потом ни с того ни с сего ласковым своим голоском и ляпнет что-нибудь такое, чего говорить вслух не принято. И опять как ни в чем не бывало слушает. Но Ефросинья была достаточно умна, чтобы не отговаривать Егора, сама-то девка поднялась вроде бы ничего, не в мать — веселая и спокойная, восьмилетку с грамотой закончила... «Что ж, парню восемнадцать сровнялось, время не удержишь»,— часто рассуждала сама с собой Ефросинья, пытаясь окончательно побороть в себе невольную материнскую ревность.

На этот раз до спелости антоновских яблок оставалось еще долго, лето было в самом разгаре, а какое-то беспокойство начало томить Ефросинью гораздо раньше осеннего разноцветья, и все, видно, потому, что приближался срок уходить Егору на службу. Ожидая лишь удобного момента, чтобы подступиться к Егору с разговором о женитьбе, Ефросинья и сама потихоньку привыкала к этой мысли, любовалась стройным, сильным парнем, по ночам по привычке сидела у окна, а то выходила на улицу и, отмахиваясь от комаров, все прислушивалась и прислушивалась к чему-то, и порой ей начинало казаться, что еще немного, и ей станет легко и ясно в жизни, что кто-то вездесущий все ей разъяснит. Сердце у нее колотилось и лицо разгоралось. «Еще немного, сейчас, сейчас,— говорила она себе,— вот сейчас». Но... проходила минута, другая, и все оставалось по-прежнему; ночь жила и дышала вокруг, и с первой полоской прорезывающейся зари приходила

привычная и успокаивающая работа. Нужно было доить корову, поить теленка, варить завтрак, нужно было успеть полить огурцы и помидоры, ночная смута бесследно рассеивалась. И все-таки где-то в ней, не исчезая, жило странное ощущение, что скоро, вот-вот, должно что-то случиться, и это ожидание не исчезало даже во время работы или сна. Как-то она спешила в обед домой, чтобы успеть управиться по хозяйству, подоить корову и покормить Егора; Митька-председатель (теперь все в Густищах вместо «Митька-партизан» называли его только так — «Митька-председатель»), стоявший с мужиками у конторы правления, неожиданно остановил ее.

— Здравствуй, Митрий,— сказала она, подходя ближе и поправляя платок.— Обрадовать чем-нибудь хочешь?

— Понимаешь, Ефросинья Павловна, дело у меня к тебе...

— Ну, говори, что за дело.

— Столковались мужики в правление тебя выдвинуть...

— Ты что, ты что! — быстро замахала на него руками Ефросинья.— Нашел правленца, тоже умная голова. Писать-то, как курица лапой, научилась после войны, считай... как же, правленка!

— Тебя писарем, Ефросинья Павловна, никто и не ставит,— возразил ей Митька-председатель.— Что ж ты сразу отмахиваешься? Тут не в грамоте дело, а вот где,— Митька-председатель в доказательство своих слов увесисто шлепнул себя ладонью по лбу.— Ты, Ефросинья Павловна, сейчас ничего не говори, подумай, потом и разговор.

Митька опять вернулся к ожидавшим его мужикам, а Ефросинья пошла дальше по улице, и чем больше думала, тем беспокойнее ей становилось. По этой причине она поругала Митьку за его причуду, но легче от этого не стало, и уже возле своей избы в задумчивости она почти столкнулась носом к носу с Анисимовым.

— Господи, Родион Густавович, что сегодня за день,—сказала она, глядя на него с любопытством.— Никак ты? Откуда?

— Я, Ефросинья Павловна, я,— тотчас отозвался Анисимов, раздвигая ворот полотняной рубашки.— Жара какая... А я к тебе и приходил, дома никого. Оказался в этих краях, дай, думаю, загляну...

— Заходи, заходи,— пригласила Ефросинья.— Я тебя кваском напою из погреба, прохладный квасок... Что это ты из такой дали забрел?

— Забрел, выпало три дня свободных...

— Проходи, вон в тенечек, под грушню...

— Спасибо, спасибо, Ефросинья Павловна.— Анисимов косил глазом на крепкую, загорелую шею Ефросиньи, и ему хотелось повернуться и пойти прочь, потому что в последние недели он все больше и больше подпадал под странное состояние какого-то нетерпения.

Ему все хотелось перемен, чего-то нового, но в этом стремлении все время куда-то спешить, за чем-то все время ускользающим гнаться что-то пугало, но сколько он ни пытался остановиться, ничего не получалось. Странный, изнуряющий бег от самого себя поразительным образом заставлял его словно наведываться время от времени в свое прошлое, то в Ленинград (про себя он всегда говорил — Петроград), то в Зежск, а то вот, как сейчас, и в Густищи. Да и в Густищах... мог бы побродить, посидеть где-нибудь со стариками на завалинке, вспомнить прошлое, так нет, опять словно что-то точит его изнутри. С кем-то он перебросился двумя-тремя словами, с кем-то поздоровался, постоял у того места, где раньше был сельсовет и где они с Елизаветой Андреевной прожили несколько бесполезных (нечего вспомнить) лет; во всех этих своих действиях и поступках он все словно кружил вокруг какого-то одного центра, все время незаметно к нему приближаясь, и этим притягательным центром была Ефросинья и все, что было вокруг нее, все, что было связано с Захаром.

— Отдохни тут, Родион Густавович,— сказала Ефросинья, указывая на лавочку, защищенную от солнца двумя большими старыми грушами.— Сейчас из погреба кваску холодного достану.

Анисимов молча кивнул, выхватил из кармана платок и вытер лоб; посидеть в прохладе тянуло, и когда Ефросинья принесла квасу в глиняной большой кружке, Анисимов, отпивая его большими глотками, почувствовал себя лучше. Ефросинья взяла кружку у него, села рядом.

— И не стареешь, Родион Густавович,— сказала она.— Как был до войны, так и есть, надо ж тебе...

— Скажешь,— засмеялся Анисимов.— Так уж и не изменился... Еще как изменился, Ефросинья Павлов-

на... старость, то тут, то там хватает... Ты же по-прежнему красавица... Все одна?

— Как все одна? Вон Егорка вырос, скоро женить думаю,— весело призналась Ефросинья.

— Я не в этом смысле, ты же меня понимаешь,— возразил Анисимов.

— Понимаю,— кивнула она.— Сорок лет — бабий век, говорят. Сейчас вон девки сидят, за любого старика готовы, а меня куда теперь... Все мое давно отгорело.

— Ах, чепуха какая! — повысил голос Анисимов.— Что же мне тогда прикажешь делать? — Он недовольно перекосил лицо, потому что то, ради чего, бросив самые необходимые и важные для себя дела, он пришел сюда и говорит с этой бабой, съежилось, опять ускользнуло.

Он неприятно поморщился, он забыл, зачем пришел сюда, и сейчас даже с какой-то обидой, недоуменно смотрел на лицо Ефросиньи; он видел, что она его не понимает, и еще больше злился. И Ефросинья, видя по его лицу, что ему чего-то недостает, и что-то не понятное ей терзает, и что все это заключается в нем самом, словно бы отодвинулась от него, отделилась невидимой стеной, и какая-то тень промелькнула в ее глазах. Того, что было, не забудешь, нельзя забыть, пройди хоть сто лет; она вспомнила прежнее, Ванюшку, станцию, вагоны, последний крик сына и слегка нахмурилась. Не помня себя от страха, в самый, может, тяжкий день своей жизни прибежала она к этому человеку, а вместо помощи получила кучу пустых слов и чашку горячего чая. «А Ваня так и пропал, ни слуху ни духу, а какой парень ладный из него вышел, полюбуешься, бывало, со стороны, сердце веселится... А может, Родион и не мог ничего, в беде кто ж виноват? Оно ведь как покойница свекровь говорила: из одного дерева что икона, что лопата... Каждому за себя страшно было в такую лютость, на любом повороте пуля караулит...»

— Что ж Елизавета Андреевна-то? — спросила Ефросинья, стараясь не поддаться окончательно нехорошему чувству.— Ты первый раз наведывался, все про нее говорил...

— Ничего, ничего, работает,— заторопился Анисимов.

— А как ребенок-то, девочка эта? — опять спросила Ефросинья.— Отца с матерью-то у нее не сыскалось?

— Какие отец с матерью? — с недовольством отмахнулся Анисимов от ее неожиданных слов.— Ну что ты

говоришь, Ефросинья,— подосадовал он.— Помилуй... Это невозможно, Лиза так привязалась к Шурочке...

— Посиди, Родион Густавович,— сказала Ефросинья, поднимаясь.— Вот-вот на обед мужики поедут. Пойду, Егор всегда голодный приезжает. Пообедаешь с нами, Родион Густавович?

— Подожди, успеешь,— остановил ее Анисимов, чувствуя беспокойство и недовершенность оттого, что он так и не узнал, чем же в жизни держится эта женщина, в сравнении с которой он был пуст и весь какой-то потухший.— Ну, я понимаю, привыкла ты к одиночеству, но ведь трудно одной-то? Говорить об этом тяжело... Захар, он всегда был...

— Его уж ты не трожь,— нахмурилась Ефросинья, и морщины резче обозначились у глаз.— Мое это дело. Что тут его винить? Я и не жалуюсь. Тут уж не по нашему хотению, а кому что на роду написано. Я не жалуюсь, жизнь у меня хорошая...

— Хорошая? — еще больше заволновался Анисимов.— Тогда скажи, чем же ты живешь, отчего у тебя жизнь, как ты говорищь, такая хорошая?

— Дети у меня хорошие,— вздохнула Ефросинья.

— Так что ж они, что ж дети? — спросил Анисимов.— Выросли — разлетелись. Нет ничего... А сама, сама-то?

— Оттого и радостно... разлетелись — и все, крылья им теперь никакой ветер не обломает, думаю.— Ефросинья быстро и коротко взглянула на Анисимова; тот внимательно, с какой-то нескрываемой жадностью, слушал, вбирая в себя, стараясь не пропустить ни одного звука, ни одного оттенка.— А потом, Родион Густавович, у меня другой интерес есть. Я вот на заре проснусь, выйду на порог, гляну кругом — как-то хорошо так станет... Господи, думаю, откуда в мире такое? Во всем-то свой уют, свое согласие...

— Боже ты мой! — не удержавшись, изумился Анисимов, потому что слова Ефросиньи прозвучали резким диссонансом с его собственными мыслями и настроением.— Ты прямо поэт, Ефросинья! Какое же согласие, где оно? Все только и стремятся друг друга задавить... Слушай, Ефросинья, это правда, что ты в войну немцев вместе с избой сожгла? — спросил он, понизив голос, часто и напряженно помаргивая.

— Сожгла.— Ефросинья как-то долго и странно посмотрела на него, но он не захотел этого заметить.

— Как же ты не побоялась?

— Боялась, как не боялась. А вот так оно накатило, ни туда тебе, ни сюда...

— Накатило, говоришь? — словно зачарованный, жадно переспросил Анисимов.

— Накатило,— подтвердила Ефросинья, и глаза ее приобрели холодный внутренний блеск.— Эк глядишь-то,— добавила она с усмешкой и внезапно переменила разговор: — Да пока с Егором была, ничего, а вот теперь в армию ему собираться... одной сумно, гляди, будет, не привыкла я так-то, как сыч в пустых стенах...

— У тебя дочка вон какая, только заикнись,— вспомнил Анисимов тихо, поймал пролетевшую мимо какую-то пушинку, подержал ее на ладони, рассматривая, и легким выдохом сдул.— Что ты, у нее лишняя будешь?

— Звали, как же, сколько раз звали. С Егором звали,— уронила Ефросинья, задумываясь, и Анисимов отметил про себя, что лицо ее как бы сразу угасло, опустело; с какой-то болезненной остротой Анисимов ждал, и Ефросинья, словно почувствовав это его жадное ожидание, подобралась, насмешливо повела в его сторону глазами.— Дочка — она ломоть отрезанный, Родион Густавович. Была у нее недавно, опять все уговаривала: переезжай, говорит, мать, совсем ко мне, зачем тебе одной-то мыкаться? Что ты, мол, возишься? И дрова, и вода, и огород, а тут все тебе будет. Посмеялась я на ее слова, хоть и ученая стала, а жила-то мало еще для хорошего разумения, вот и несет околесь. Век на готовом не жила и жить не буду. Сами вы в Москву переезжайте, говорю, куда уж мне-то по Москвам шататься на старости лет? Эх, говорю, доченька, доченька... Да с тем и замолчала, махнула рукой.

И опять легкая тень набежала на лицо Ефросиньи; говорила она сейчас то, что, по ее мнению, можно было говорить Анисимову, человеку чужому, с которым и Захар в свое время не в ладах жил, но ее еще и еще раз кольнула мысль, что у Аленки неладно что-то с мужем, никак он ее не переборет. Третий год словно бы шальные все по разным городам, съехаться не могут, все налетом да налетом друг к другу. Об этом и ездила поговорить с дочкой, да разве послушается? Эх, господи, хоть внучку понянчила, порадовалась...

Перебивая ее мысли, Анисимов вздохнул.

— Раньше я думал, что не хватает русскому челове-

ку, русскому характеру какой-то железистой присадки,— сказал он больше себе, чем Ефросинье.— Оттого и едет на нем всякий, кому не лень... А теперь вижу... не то что-то, не так... не додумал я чего-то... не могу понять, в чем тут загвоздка...

— Я баба простая, Родион Густавович, всяким ученостям не обучена,— отозвалась Ефросинья.— Вот как есть, так и говорю... Ах, господи, втравил ты меня, вон уж Егорка-то, слышу, идет. С кем это он?

Теперь и Анисимов расслышал приближавшиеся голоса и вскоре уже здоровался с Егором, крепышом лет семнадцати, кареглазым, с обветренным лицом. Анисимов постарался скрыть свое состояние, глядел ясно. Его удивил не столько приемный сын Захара, которого уже собирались женить и которому подходила пора в армию идти; какая-то другая струна прорезалась, зазвенела в душе, и этой ноющей струной было неожиданное *чувство обрыва.* Время-то как проскочило, тот самый Егор, у него на глазах подобранный в стоге соломы, теперь жениться собирается. Смущаясь от его взгляда, не зная, что еще делать, Егор, нахлобучив на кол изгороди свою фуражку, стал закуривать, а Анисимов все не отрывал от него расширившихся, словно вбирающих в себя глаз. Он отказался остаться обедать, с небрежной торопливостью распрощался и тотчас заторопился на дорогу, где можно было остановить машину и подъехать до станции.

— Что это он? — спросил Егор у матери, обжигаясь горячим, перетомившимся борщом; он все никак не мог забыть странно пустых и в то же время жадных глаз Анисимова.— Вроде как больной...

— Вроде и больной, чего-то все говорит, говорит,— согласилась Ефросинья, помешивая в своей миске.— Всякое случается, судьба у каждого на свой лад нацелена.— Она замолчала, неожиданно ясно вспомнив Захара, вот так же, как Егор, за столом обжигавшегося в вечной спешке горячим варевом.— Бывает, Егорка, все бывает, душу, гляди, кто обронит, а там весь век мыкается из стороны в сторону. Все ищет, ищет, да так, бывает, и помрет без души. Страшно, поди. Как без души-то жить? А помирать? Без нее пусто человеку, сквозняк в нем, ничего не держится — ни хорошее, ни плохое. Ешь, ешь,— спохватилась она, заметив, что Егор внимательно глядит на нее.— Ты знай ешь. Слушать слушай, а дела помни... Что, после обеда опять косить?

— Косить,— ответил Егор коротко; он по молодости уже думал о другом, потому что для каждого возраста жизнь установила свои законы и свои рубежи, и Ефросинья от его несерьезности и поспешности лишь вздохнула.

12

Теперь какое-то предчувствие гнало Анисимова в Холмск, домой, и он уже ругал себя за то, что поддался какой-то блажи, потерял столько времени на чепуху, на сентиментальные побрякушки, вместо того чтобы давно их выбросить и навсегда забыть. Нигде не задерживаясь (раньше думал побыть еще в Зежске, побродить по знакомым местам), он прямо с автобуса поспел на рабочий поезд Зежск — Холмск и, пристроившись в старом, дребезжащем вагоне, в духоте и гаме продолжал думать о своем разговоре с Ефросиньей, о встрече с приемным ее сыном, и чувство нетерпения у него усиливалось. Через четыре часа неимоверной тряски, давки, скрежета Анисимов вышел из вагона, с отвращением вытер руки носовым платком и заторопился домой; он почти взбежал по лестнице, долго не мог открыть дверь — замок барахлил, никак не доходили руки сменить замок, и, едва увидев перед собой лицо Елизаветы Андреевны, тотчас понял, что торопился не зря: она так и бросилась ему навстречу с какой-то растерянностью и мольбой в глазах.

Он привлек жену к себе, торопливо поцеловал.

— Ради бога, Лиза,— попросил он,— что случилось? Ну-ну, успокойся и говори.

— С Шурочкой плохо! — сказала Елизавета Андреевна.— Второй день температура сорок... скарлатина... Боже мой, я совсем не знаю, что делать...

— Врач был?

— Приходил два раза, предлагал в больницу, но... я не отдала... Со мной не кладут, а оставить ее одну выше сил... Родион...

— Подожди, Лиза, я же с дороги.

Он бережным жестом отстранил ее, вымыл руки, умылся и только после этого, волнуясь, прошел к больной девочке. Вконец растерянная и напуганная Елизавета Андреевна, сделав веселое лицо, присела рядом у кровати Саши, и в этот момент и произошло то, чего Анисимов упорно добивался несколько лет

и так и не смог добиться после возвращения Елизаветы Андреевны *оттуда*: какая-то горячая, доверительная искра пробежала между ними, и если бы не широко открытые, ярко синеющие глаза девочки на разрумянившемся от жара лице, Анисимов не поверил бы, что это возможно. Он с нежностью и благодарностью смотрел на ребенка, на левой ручке девочки, на тыльной стороне запястья синела татуировка. Это был ее концлагерный номер — 10573. Почему-то именно сейчас, в эту минуту, потрясенный этим обстоятельством, Анисимов беззвучно шевельнул губами. Короткая, стремительная мысль о всемирном, всеобщем преступлении перед самими основами жизни заставила его поежиться. «Недалеко же ушло человечество за несколько тысячелетий в своих нравственных принципах,— подумал он,— какое имеет значение, что все приписывается тому же определенному течению — фашизму? От этого не легче, фашизм не изолированное вообще от человечества явление».

Впрочем, нервный, беспорядочный наплыв мыслей был недолог; Анисимову сейчас было стыдно перед этой слабенькой искоркой жизни, стыдно за то, что ревновал ее к Елизавете Андреевне, за свою нелюбовь, холодность, которую он так и не смог преодолеть до самого последнего часа, вот до самого этого края. Все оказывалось не так, все наоборот: именно эта девочка все перевернула в его отношениях с Елизаветой Андреевной, как самый чудодейственный рычаг. То, что он не мог со всем своим умом и опытом, естественно и просто сделал слабый ребенок. И, охваченный какой-то страстной жаждой сострадания, Анисимов опустился перед кроваткой на колени, взял слабую, вялую ручку девочки, ту самую, с синим большим, начинающим расплываться слегка номером и прижался к ней губами.

Саша изумленно на него поглядела, ручонка у нее была горячая; губы у нее дрогнули, и она, кажется, впервые за все время, тихо улыбнулась ему навстречу, и это окончательно растопило Анисимова. Он погладил ручку девочки, пробормотал: «Ничего, ничего, Сашенька, все наладится»,— и быстро повернулся к Елизавете Андреевне.

— Лиза, а ты соседа, Игоря, не приглашала? Он же хороший врач...

— Я не подумала об этом... Сейчас уже поздно, неудобно...

— Не понимаю тебя, Лиза... Что значит неудобно, если ребенок болен? — сказал Анисимов, с грубоватой нежностью прихватывая Елизавету Андреевну за плечи и приближая ее к себе; она, кажется, не заметила этого.— Иду, сейчас иду,— добавил он решительно, с заблестевшими глазами.— Я, Лизанька, быстро, я сейчас!

Пока он стоял у двери Хатунцевых, пока Игорь одевался, а полковник соболезнующе расспрашивал подробности о болезни девочки и все сокрушался, почему Елизавета Андреевна сразу не обратилась к ним, Анисимов был наполнен, захвачен *своим*, чем-то настолько новым, что не мог в ответ произнести ни слова и только согласно кивал, даже не разбирая смысла. И этим новым была Елизавета Андреевна, и он сам, и то, что появилось, скорее открылось, в их отношениях, что-то опять толкнуло их навстречу друг другу, одним движением разрушив, казалось бы, непреодолимый барьер, стоявший между ними вот уже несколько лет. Анисимов был возбужден, тем более что этой всемогущей силой оказалась всего-навсего слабая, больная девочка, которую он боялся и ненавидел (он сейчас почему-то забыл, что Саше пошел уже одиннадцатый год, она стояла у него в глазах все такой же слабенькой, хилой, обмотанной каким-то тряпьем, какой он увидел ее на руках Елизаветы Андреевны в сорок шестом), и сейчас ему было трудно и стыдно вспомнить об этом. Все его существо было наполнено любовью и благодарностью к ребенку; он был полностью захвачен этим чувством и не обратил внимание на некоторую скованность в поведении молодого Хатунцева, который, одеваясь, слишком близко взглянул в лицо Анисимова и поспешно отвернулся, даже шея у него порозовела, еще плотнее врезалась в тугой воротничок. На Анисимова он уже больше не глядел, вернее, старался не глядеть, ступив за порог чужой квартиры, он с любопытством задержался на знакомой уже гравюре, изображавшей античные развалины, приветливо, с профессиональной ровностью поздоровался с Елизаветой Андреевной, выжидающе замершей у кроватки Саши.

— Ну-ну, Сашенька, что же это ты расхворалась? Ничего, давай вот так, чуть-чуть приподнимемся. Тебе не больно?

— Нет, не больно.— Девочка доверчиво распахнула глаза ему навстречу.

— Открой, Саша, рот, так, так, шире... Ну вот, спасибо, молодец... Теперь ложись, Саша, я тебе еще животик посмотрю.

После короткого, как показалось Елизавете Андреевне, и беглого осмотра Хатунцев, ничего не говоря, пошел помыть руки; Елизавета Андреевна подала ему свежее полотенце.

— Похоже, ошиблись врачи, которых вы вызывали, очень сильная ангина,— сказал он в ответ на ее вопрошающий взгляд.— Кажется, уже на переломе... Сыпи, как видите, нигде нет. Что вы ей даете?

Пока Елизавета Андреевна перечисляла, Хатунцев внимательно слушал, присматриваясь к ней. Что-то было в этой женщине необычное, но что именно, он не мог уловить; Елизавета Андреевна слишком уж тревожилась, и он постарался успокоить ее.

— Сегодня ночью, часа в три, ужасно начала кричать,— сказала Елизавета Андреевна, еще больше понижая голос.— Знаете, доктор, сидит на постели, глядит на чистую стену, а в глазах... «Шевелятся, мама, шевелятся, шевелятся!» А в глазах... разве могут быть такие глаза у ребенка? «Успокойся, говорю, девочка, что ты, родная моя, никого нет, это у тебя от жара...» — «Нет, нет, говорит, мертвые, мертвые... вон как шевелятся!»

— Успокойтесь, Елизавета Андреевна, с Сашей все обойдется, сейчас я схожу за бланком, будете делать девочке полоскание. Дежурная аптека рядом, там быстро приготовят.

— Спасибо, спасибо, Игорь Степанович... я мужа попрошу, доктор.

Хатунцев в ответ улыбнулся ей ободряюще, вышел, быстро вернулся с выписанным рецептом, пообещав заглянуть утром, перед работой; Хатунцев был уверен, что кризис миновал и что девочка с этого часа начнет выздоравливать, пожелал спокойной ночи Елизавете Андреевне и Анисимову. Вернувшись домой, он по привычке аккуратно разобрал постель и лег, но сон не шел к нему. Слушая, как за перегородкой глухо покашливает отец, он курил непрерывно одну папиросу за другой, смутное душевное недовольство самим собою, тем, как он живет, надвинулось на него. «Один день похож на другой, ничего в его жизни не происходит, действительно, бескрылость какая-то. Так не заметишь, как и жизнь пройдет... Разумеется, это случайное совпадение — их давний разговор с Анисимовым об Елене

Захаровне Брюхановой и то, что произошло потом. Но что, что произошло потом, и произошло ли? Не случайное ли это совпадение? Нужно все выбросить из головы к чертовой матери, все эти бредни и сантименты! О черт,— чуть ли не вслух выругался он,— я становлюсь суеверным, как баба».— Мозг работал четко и ясно.— «И все-таки это закономерно,— сказал он себе угрюмо,— и Анисимов и соседство с ним. Необратимо, необратимо! Я не знаю, как случилось, что она все-таки вошла в мою жизнь, я ненавижу себя за это, я ненавижу и себя, и ее. Зачем она? Почему именно она, когда вокруг столько молодых женщин, незанятых, свободных, нуждающихся в нем! Женщины никогда не обходили его вниманием, другое дело, что он сам слишком разборчив и брезглив».

Он притиснул папиросу в пепельнице, резко, со злостью, повернулся лицом к стене. «Спать, спать»,— приказал он себе, но к нему тотчас прорвалось лицо Аленки, ее насмешливые серые глаза,— точно бросаясь в воду, он несколько минут не отрываясь глядел в эти глаза со злостью.

«Это вы опять, Игорь Степанович?»

«Вы же знаете, что это я... Я ведь немногого прошу у вас... скажите одно... мне уехать?»

«Какой вы смешной... Я никому не позволяю решать свои вопросы за себя,— она засмеялась с легким оттенком принуждения.— И потом — что вы такое нафантазировали, Игорь Степанович, да вы романтик, вам показалось, уверяю вас, вам показалось».

«Мне лучше знать, показалось или нет».

«Это пройдет,— сочувственно и дружески сказала она, но глаза ее оставались отстраняющими и чужими.— Это пройдет, как все остальное... вы же знаете, Игорь Степанович...»

«Зачем вы играете, Елена Захаровна?.. Вам это так не к лицу, не старайтесь стать похожей на других, вы не такая...»

«Молчите! Я сама знаю, какая я... Молчите! — почти испугалась она готового сорваться с его губ признания.— Молчите! Не унижайте того, что есть, словами».

«И все-таки скажите только одно — мне уехать, уехать?»

«Да,— услышал он и похолодел.— Если можете уехать, Игорь Степанович, тут не о чем раздумывать. Разумеется, уехать, только уехать!» — быстрой скоро-

говоркой проговорила она и вышла, обдав его стремительной, сметающей все на своем пути волной.

«Вот так влопался»,— он обессиленно прислонился к двери, остался только слабый запах духов, а может, и впрямь показалось?

Он опять резким движением перебросился на спину. «Что она хотела сказать тогда? И эта интонация, невозможно забыть... «Не унижайте того, что есть, словами». Значит, она признает, что между нами есть что-то, а он, идиот, медлит, теряет дорогие минуты, обкрадывает себя».

Он вскочил, сел на кровати, тесно переплел пальцы, сердце билось частыми, сильными толчками; вся кровь в нем словно остановилась, и тело приобрело свинцовую тяжесть; он понял, что не может обойтись без этой женщины, что у него один только выход: добиться своего, или в душе сломается что-то основное, главное, без чего нельзя будет дальше жить, он не мог с собою сладить и не хотел этого.

Сбегав в дежурную аптеку и подождав там с полчаса, пока приготовят полоскание, Анисимов вернулся домой; Саша спала, и Елизавета Андреевна не стала ее будить; она приложила палец к губам, и оба на цыпочках вышли из комнаты, где спала девочка. Елизавета Андреевна, остановившись посреди кухни, словно забыв, о чем только что хотела спросить, вопросительно глядела на Анисимова.

— Да, да,— сказала она.— Что это я хотела? Ах, да, спасибо, Родион, я так измучилась за эти три ночи. Я думала, она задохнется, всяческие ужасы мерещатся...

— Сегодня я тебе не разрешу, будешь спать,—мягко сказал Анисимов.— Я сам посижу у Сашеньки. Ты ведь слышала, Хатунцев сказал, что кризис миновал, он хороший доктор.

Елизавета Андреевна кивнула послушно, и у него что-то дрогнуло в душе. Действительно, странно, противоестественно, что вот уже несколько лет они, будучи рядом, не могут найти путь друг к другу. Странна и противоестественна эта их душевная разъединенность и в то же время невозможность жить друг без друга. Перед ним встали все их прежние размолвки, выяснения отношений, явное и скрываемое недовольство друг другом, тщетные попытки доказать друг другу недока-

зуемое, и вдруг все это и многое другое заменила одна маленькая девочка, и борьба, и общение, и влияние друг на друга — все шло у них, вот уже с каких пор, именно через Сашу, жена хоть и молчала большей частью, но боролась с ним не переставая именно через нее. И в чем-то очень важном добилась победы, вот только он не мог ухватить: в чем именно? Это было настолько сильное для него потрясение, что оно отразилось у него на лице; он поспешил спрятаться за кажущимся безразличием. «Да в чем же! в чем! — чуть не закричал он.— Это же яснее ясного! В том, что этот концлагерный детеныш вошел в мою жизнь, стал мне близок и дорог и без него уже нельзя... вот в чем она победила! Боже мой, как это просто... То, чего не могла сделать ни война, ни ненависть, сделалось так просто и незаметно...»

Пряча глаза, он торопливо отвернулся, засуетился, пробормотал, что сейчас заварит свежего чаю и чтобы она шла отдыхать в его комнату, а он все сделает сам, сам...

— И правда, пойду прилягу,— согласилась Елизавета Андреевна виновато.— Если будет что-нибудь тревожное, разбуди, пожалуйста, сразу.

— Все, все сделаю, Лизанька, не беспокойся! — Елизавета Андреевна слишком хорошо знала мужа, чтобы не видеть того, что за его внешней ровностью с ним что-то происходит, но у нее сейчас не было сил, она слишком устала, она вообще устала жить, и если бы не Шурочка, она вообще не знала бы, зачем существует. После своего возвращения она ни разу не почувствовала к мужу прежней близости, ну что делать, если она устала и он ей безразличен...

Она вышла, легла на диван, закрыла глаза и почти тотчас забылась беспокойным сном. Она уже не слышала, как следом за нею в комнату вошел Анисимов, потоптался возле этажерки с книгами, что-то в полутьме выбирая и часто оглядываясь на нее; затем на цыпочках подошел к дивану и осторожно теплым пледом укутал ноги Елизаветы Андреевны, постоял над нею и поспешил в комнату, где лежала Саша. Ему послышался оттуда какой-то шум, но девочка по-прежнему спала; затененная синей косынкой лампа слабо светила, и в комнате был успокаивающий полумрак. Анисимов осторожно пододвинул стул к кровати больной, сел и раскрыл книгу, изредка поглядывая на лицо спящей девочки. Он то и дело поправлял край просты-

ни, прикрывая ею грудь ребенку, прикосновения к нежному, беспомощному телу вызвали в нем мучительную жалость. Он наклонился, коротко прикоснулся губами к сухому, жаркому лбу девочки, температура не снижалась, и Анисимов в волнении стал ходить по комнате. Заметив, что туфли сильно стучат, он сбросил их, остался в одних носках; то и дело останавливая свое кружение по комнате, он на цыпочках подходил к кровати Саши, задерживая дыхание, всматривался в ее лицо с резкими тенями ресниц и чуть полураскрытыми губами. Анисимов растерянно тер лоб; девочка существовала в самой реальности, и все, что с ней связано, тоже существовало...

Он отходил от кровати и снова начинал кружить по комнате, но легче не становилось; жаркое дыхание девочки словно наполняло всю комнату, нечем было дышать, точно боль ее сосредоточилась в одной точке, в нем самом, и эта точка все раскалялась и раскалялась, и он уже не мог оставаться один. Он кинулся было будить Елизавету Андреевну, но мгновенная мысль увидеть ее глаза перед собой, а следовательно, и необходимость что-то ей объяснять, остановила его. Но тянулась какая-то тугая нить и словно отдернула его назад; ему даже показалось, что Саша проснулась и села на кровати. «Нет, нет, не было, ничего не было,— сказал он, защищаясь,— ничего плохого, страшного, мерзкого в жизни не было, ни убийств, ни подлости, ни другой скверны, а все было чисто и светло. Все плохое бесследно растворилось, исчезло, осталось одно добро, истина, ясный, тихий свет; ребенок, вот эта больная девочка победила все зло, в ней и есть спасение, в ней и есть истина. Боже мой, боже мой, как хорошо и просто! Даже странно, как хорошо... И ничего не надо — ни страха, ни ненависти. Не надо, не надо! Пусть небо будет само по себе, а земля сама по себе, пусть и дальше все так же течет ровно и тихо. Покой, боже мой, обыкновенный покой, вот чего ему недоставало! Что теперь ему Россия, вот она сама перед ним, вся Россия, в этом больном ребенке с сохнущими от жажды губами... дать ей жизнь... Ему уже пора складывать оружие, передать другим, если они есть. И не надо унывать, они, такие, есть, найдутся, что подхватят, не задумываясь, его оружие... И другие найдутся, те, что встанут со своим, новым, ему неведомым, что непременно уже выковала жизнь... А ему — что ж, он свое сделал. Нет, нет, он

и сейчас не сдался, он и сейчас не с поднятыми руками, он просто натолкнулся на более высокую ценность, вот и все. Да, да, все, и больше думать нечего, казнить себя нечего...»

Он резко обернулся. Вся дрожа, как в горячечном бреду, Саша глядела на него исподлобья, стараясь забиться подальше в угол кровати.

— Мама! Мамочка! Немец! Немец пришел! — отчаянный, захлебывающийся крик, казалось, остановил в Анисимове всю кровь; кожа взялась ознобом, хотя он тотчас сообразил, что у девочки бред, что-то прорвалось в жару из прошлого. Словно парализованный, не в силах пошевелиться, Анисимов глядел на девочку, и уши ему раздирало: «Мамочка! Мамочка! Немец! Опять немец пришел!» Пересиливая слабость, подступающий к горлу спазм, он бросился к кроватке, подхватил девочку на руки, изо всех сил прижал к себе, чувствуя, что скорее умрет, чем выпустит теперь из рук это горячее, трепещущее, жалкое тельце.

— Сашенька, а Сашенька,— шептал он в каком-то горячечном ознобе,— да какой же я немец? Что ты, что ты! Русский же я, русский, слышишь, русский я! Ты что, погляди, погляди, родная ты моя девочка! Погляди, это же я, дядя Родя!

Глаза ребенка были по-прежнему далеки, полны безотчетного ужаса, и сквозь задернувшую их пелену, казалось, ничто не могло пробиться. И вдруг в какую-то минуту на миг что-то переменилось, крошечные точки света прояснились, в глазах девочки напряжение спало, и она обмякла в руках Анисимова. В следующую минуту глаза еще больше очистились. Это было похоже на ступеньки, еще одна, еще, еще одна, последняя... У Анисимова затекли руки, но он боялся переменить положение, чтобы не потревожить больную; она, узнавая, потянулась и обняла Анисимова за шею.

— Дядя Родя, дядя Родя... пить... дай воды...

Анисимов опустил ее на кровать, приподнял голову и дал напиться из чашки.

— Спасибо, дядя Родя, ты посиди со мной, не уходи,— попросила Саша и, не выпуская его руки, облегченно закрыла глаза.

— Что ты, Сашенька, я здесь, я никуда не уйду, я с тобой, с тобой.

Анисимов сел прямо на пол, на коврик, чтобы быть ближе к больной, вытянув поудобнее ноги в шерстяных

носках. Так и застала их Елизавета Андреевна, тихо дремлющими в мягком свете ночника. У Анисимова, прислонившегося к краю кровати, голова свесилась набок, но руки Саши он не выпускал.

13

Все случилось неожиданно, ударило, как гром. Степан Владимирович Хатунцев, возвращаясь с базара с большой хозяйственной сумкой, из которой торчали завидно ровные зеленые перья лука, пристроенные так, чтобы их не помять, уже недалеко от своей лестничной площадки приостановился, почувствовав неладное. В следующий момент он охнул, бледнея, выронил сумку и, хватая руками воздух и ничего не видя от застилающей глаза черноты, опустился на ступеньки лестницы; из упавшей сумки выкатилось несколько больших бурых помидоров. Когда на старшего Хатунцева наткнулись, он был мертв и уже холодный; поднялась тревога, дали знать сыну, и затем было все, что бывает, когда человек уходит. Увидев мертвого отца, Игорь растерялся и в первые минуты и даже часы своего одиночества как-то ничего не почувствовал. В квартире все время толклись люди, большей частью мало ему знакомые, которые тем не менее взяли на себя все основные хлопоты. Он что-то отвечал успокаивающим его людям, выслушивал до удивления одинаковые и бесполезные слова утешения; иногда ему хотелось закричать, всех прогнать вон и остаться наедине с тем загадочным и холодным, что всего несколько часов назад было его отцом. Но он пересиливал себя и продолжал в ответ на соболезнования затверженно ровно кивать, тем более что при нем неотступно находился Анисимов, взявший на себя с молчаливого его согласия все руководство похоронами и опеку над ним самим. Все два дня, пока отца не похоронили, он сохранял внешнее спокойствие, лишь после поминок, дождавшись, когда все наконец разошлись и даже Анисимов, задержавшийся позже всех, ушел, сославшись на усталость, Хатунцев, впервые оставшись один в пустой квартире со сдвинутыми вместе тремя столами, заставленными грязными тарелками и пустыми бутылками, как-то явственно осознал наступившее полное одиночество. Он выпил полстакана водки (хотя обычно ничего не пил, кроме сухого),

выключил верхний свет и лег на диван. Как врач, он хорошо знал, что у отца было очень больное сердце, но это не могло оправдать и объяснить случившееся. Он знал, что отцы и матери когда-нибудь уходят и уже не возвращаются, но он никогда не думал, что это будет так тягостно и больно. Он представил себе, что каждый раз будет возвращаться в пустую, неприбранную квартиру и что никогда в ней больше не раздастся знакомый глуховатый голос отца.

Хатунцев вскочил, налил еще водки, но тут же с отвращением отставил стакан. И потом — это не выход, этим тоже не поможешь. Поколебавшись, он отхлебнул все-таки из стакана, опять лег; усталость наконец взяла свое, и он заснул, а назавтра, осунувшийся, пепельно-серый, закончив обход и возвращаясь к себе в кабинет, встретил Брюханову.

— Слышала о вашем горе, Игорь Степанович, всем сердцем сочувствую,— сказала она, останавливаясь.— Простите, что не смогла быть у вас...

— Что вы, что тут прощать.— Хатунцев отвел глаза, как-то безразлично подумал, что лучше всего ему было бы перевестись на работу подальше отсюда, куда-нибудь на Север, в самую глушь, уехать вообще из Холмска.

— Как ваша диссертация? — спросила Аленка, чувствуя, что Хатунцева тяготят сейчас слова участия: высокие, сильные мужчины, она давно заметила, больше всего теряются в несчастье.— У вас ведь очень интересная тема...

— Может быть, тема и интересная, только не знаю, как теперь все дальше пойдет, ведь отец был для меня и мамой, и папой, и нянькой... одним словом, всем.

Аленка внимательно посмотрела на него.

— Интересная хотя бы потому, что даст вам возможность легче перенести такую утрату. Игорь Степанович, вы должны держаться, другого выхода нет.

— Спасибо, я всегда знал, что вы хорошо ко мне относитесь,— сухо поклонился он.— И потом, за вами ведь всегда остается последнее слово, как за первой дамой в городе...

— Вы должны держаться, Игорь Степанович.— Аленка не заметила его иронического тона.— Вы даже не знаете, как это важно для меня.— К щекам ее прилила кровь, она сжала ему руку горячей ладонью и быстро пошла дальше по коридору, и Хатунцеву стало стыдно за свою резкость и несдержанность; он едва удержал

себя от порыва догнать ее и в этот день и всю неделю был сердит на себя за это. Он твердо сказал себе, что отныне для него важна только работа и все, что с ней связано, что он будет видеть жизнь только в этом узком луче, а все другое пусть себе остается по сторонам, пусть летит мимо, что... Этих «что» было много, и они были необходимы; он сразу почувствовал себя бодрее и тверже, натащил из библиотек нужных книг, рефератов, справочной литературы, опять вплотную принялся за диссертацию. Нужно было как-то хоть на месяц вырваться в командировку в Москву, пробиться в институт неврологии, потолкаться там, подышать столичным воздухом. Но это пока всего лишь несбыточная мечта, заменить его в клинике было некем, в настоящий момент это совершенно невозможно, и он сам это хорошо знал. Первое время его очень раздражала и мучила необходимость готовить себе какую-то еду, мыть посуду, хоть изредка убирать квартиру, но скоро он притерпелся и пообвыкся, это ему стало даже доставлять какое-то странное, тихое удовольствие. Раздражение у него также вызывали стирка и глаженье сорочек, но Анисимов подсказал ему адрес ближайшей прачечной, и это значительно облегчило ему жизнь. В конце концов, когда основные бытовые проблемы были разрешены, жизнь в одиночку стала казаться ему уже не такой безысходной, в ней стали проступать свои приятные краски. После смерти отца он как-то отдалился от Анисимова, хотя тот неоднократно пытался вернуться к прежним доверительным отношениям и, встречаясь, всякий раз спрашивал, один ли он по-прежнему, и, слыша в ответ полуироническое хмыканье, сочувственно кивал, и Хатунцеву начинало казаться, что он действительно совершает нечто определенно недозволенное, антиобщественное. Чтобы переключить внимание, Хатунцев с вежливой, холодноватой улыбкой стандартно спрашивал о здоровье девочки и жены, получал успокоительный ответ, и они, вежливо раскланявшись, расходились. Жизнь есть жизнь, тридцать два года есть тридцать два года, и через месяц-полтора, когда в природе уже стойко установилось жаркое и погожее лето и на сильно обмелевшей Оре с зари до зари плескались ребятишки, Хатунцева все чаще начинало томить это никому не нужное одиночество, и он стал подумывать, не помириться ли ему со своей давней, правда, не слишком удачной привязанностью, но

всякий раз, вспоминая, что живет она теперь с каким-то отставником, красиво и модно одевается, стараясь как можно чаще попадаться ему на глаза на главной улице города, брезгливо морщился; что-то останавливало его, хотя он знал, что, если он даст ей знать, она будет у него тут же, не медля ни минуты. Но и здесь он переламывал себя, тем более что почти все время проводил в клинике или медицинской библиотеке, следил за специальной периодикой и литературой; теперь Аленка если и вспоминалась ему, то как-то легко, не тягостно и тут же забывалась. И при встречах с нею все обходилось просто — здоровались, обменивались двумя-тремя ничего не значащими словами и расходились; на общеклинических еженедельных конференциях по четвергам и во время обходов он, находясь в достаточной близости от нее, как-то перестал фиксировать на этом внимание. «Слава богу,— говорил он себе,— кажется, дурь прошла»,—и даже когда Аленку отмечал на конференциях главный врач клиники, вызывая этим раздражение более опытных врачей, потом в ординаторской во время всяческих пересудов Хатунцев откровенно брал Брюханову под защиту.

— Ну, это вы зря, Арий Севастьяныч,— сказал он как-то желчному окулисту Мышкину.— Она талантливая женщина, при чем здесь положение ее мужа?

Мышкин, плешивый, в засыпанном табаком халате (он с фронтовых времен никак не мог отвыкнуть от махорки), страдающий застарелой и неизлечимой болезнью, а именно — неудовлетворенным честолюбием, неодобрительно оглядел свежевыбритого, элегантного Хатунцева, задержался на его белоснежном, еще больше оттенявшем здоровье и молодость воротничке, сверкнул глазами из-под толстых линз и в желчной усмешке показал редкие, плохие зубы.

— Чего не знаю, того не знаю, коллега,— сказал он, склоняя голову в старомодном поклоне.— Пусть будет по-вашему. Однако талантливая женщина — это, простите, еще не талантливый эскулап.

Хатунцев пожал плечами, жалея ехидного старика: Мышкин длительное время занимался лечением повышенного внутриглазного давления при глаукоме и даже разработал свою собственную, оригинальную операцию и свою схему ведения послеоперационных больных, но несмотря на хорошие результаты и даже популярность

в городе, не смог в нужный час защититься и этим закрепить свое положение в клинике; его отстранили, результаты его работы использовали ловкачи, живущие по принципу: ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан. После этого характер у него совсем испортился. Не желая больше выслушивать какие бы то ни было двусмысленности Мышкина, Хатунцев с невозмутимым видом вышел, про себя жалея старого неудачника. «И тем не менее,— думал он,— именно врач совершенно особая должность на земле, врач по своему человеческому наполнению не должен, не имеет права быть злым, и если бы это было возможным, доброту нужно было бы сделать непременным условием приема в медицинские институты».

На этой неделе у него было два ночных экстренных вызова; произошла крупная авария на ТЭЦ, и вся клиника была поставлена на ноги. Первым делом поступило двое рабочих, пострадавших при взрыве котла; случай был тяжелый, и пришлось срочно вызывать хирургов; один из пострадавших, с черепно-мозговой травмой, совсем еще мальчик, лет семнадцати, был в глубоком шоке, и его никак не удавалось привести в сознание; дежурный невропатолог, только что окончившая институт Наденька Васильева, как ее все звали, никак не могла сделать диагностическую пункцию, и когда третья попытка завершилась неудачей, только что приехавший, тоже срочно, старший хирург Богатенков, появившись в предоперационной, где лежал пострадавший, еще с порога бросил:

— Что вы его колете, как штопором? Чему только вас учат в институте! Где Брюханова? Почему нет Брюхановой? Вызвать немедленно! Послать машину.

Появление Аленки в туго облегавшей голову белой шапочке прочно врезалось в память Хатунцеву, тоже поднятому среди ночи звонком главврача, и еще то, что Аленка сильно побледнела, едва взглянув в юношеское, без кровинки лицо пострадавшего. Ему показалось даже, что она слегка подалась назад, словно кто-то ударил ее в грудь. Но тотчас, побледнев еще сильнее, она шагнула к юноше, и уже потом, много позднее, когда больного удалось пропунктировать и установить наличие внутричерепной гематомы и его срочно перевели в операционный блок, Аленка, проходя мимо дежурного кабинета, увидела в приоткрытую дверь курившего Хатунцева. Она остановилась, еле приметная улыбка

скользнула по ее осунувшемуся лицу: было интересно наблюдать за человеком, уверенным в том, что его никто не видит. Аленка подумала, что это нехорошо, толкнула дверь, шагнула в кабинет.

— Неожиданный перекур,— сказал Хатунцев, поднимая глаза ей навстречу.— Уже целых пятнадцать минут тишина, никаких звонков, странно...

— Что ж, пожалуй, и я закурю, угостите, Игорь Степанович,— попросила Аленка, присаживаясь на узенький диванчик, и Хатунцев, встав, дал ей папиросу и щелкнул зажигалкой.

— Вы курите... Вот не знал.

— Редко, иногда... если очень не по себе.— Аленка затянулась крепким дымом, задержала его в груди; предрассветная синь уже тронула слегка окно.

— Что, Елена Захаровна, трудный оказался случай? — спросил Хатунцев, стараясь не смотреть ей в лицо.

— Нет, здесь не то...

Хатунцев вопросительно поднял глаза.

— Этот мальчик напомнил мне войну,— сказала она.— Знаете, я вначале остолбенела... Это потому, что тогда тоже был мальчик... И тоже ночью. Ваня Семипалов... Да и еще, очевидно, потому, что он потом все равно погиб, через год. Не знаю, зачем я все это вам... Простите, опять погасла...

Он снова дал ей прикурить.

— Никто дома не знает этого.— Она стряхнула ногтем пепел.

— Вы боитесь мужа? — спросил Хатунцев, и она уловила в его голосе иронию.

— Нет... но мне как-то,— она опять стряхнула пепел, ногти у нее были коротко острижены, без маникюра, но хорошей формы,— неудобно именно перед ним... Правда... мы сейчас редко видимся. Как вы думаете, Игорь Степанович, почему меня не вызвали сразу?

— Наверно, не хотели лишний раз беспокоить, Елена Захаровна,— в голосе Хатунцева Аленке опять послышалась ирония.— Врачей у нас много, а жена Брюханова одна...

Аленка глубоко затянулась, помолчала.

— Игорь Степанович, скажите, почему вы так любите говорить гадости? Это свойство характера или временный недуг?

— Елена Захаровна, разве я говорю гадости? —

Хатунцев сделал неопределенный жест рукой, скорее всего означавший покорность.— Разве это не правда? Чистая правда, ничего не поделаешь, такое уж ваше положение в жизни, Елена Захаровна. Зачем вы кокетничаете? Это вам не идет, вы же сами знаете, что это правда...

— Когда человеку нужна немедленная помощь, в мире одна правда на всех.— Аленка помолчала, и в ее лице проступила какая-то не свойственная ей жестокость.— Вы читали с неделю назад в «Холмском рабочем» быль о враче Пекареве Анатолии Емельяновиче? Я просто хочу знать, читали ли вы?

— Читал, конечно,— отозвался Хатунцев.—Я слышал об этом и раньше, но не с такими подробностями...

— Главное здесь не в подробностях.— Аленка посмотрела ему прямо в глаза.— До какой ослепительной душевной яркости может подняться простой смертный человек, простой, совершенно такой, как вот мы с вами...

— Я слышал о Пекареве много,— сказал Хатунцев.— Мне показалось, что у доктора Пекарева...

— Молчите! — поспешно остановила его Аленка, боясь, что он скажет что-нибудь невпопад и этим отрежет возможность дальнейшего общения.— Я прошу вас, Игорь Степанович, пожалуйста, не надо ничего научного... это было бы кощунством по отношению к такому большому...

— Истина, какими бы словами она ни выражалась, не может быть кощунством, Елена Захаровна. Это всего лишь истина.

Аленка досадливо пожала плечами.

— Пожалели? — Хатунцев кивнул.— Понимаю, все понимаю, и, однако, зачем так-то? Вы не поймете того, что понимаю я, в ваше понимание я не смогу проникнуть... но зачем так-то?

Аленка вслушивалась в его изменившийся голос; она видела его ноги в больших желтых ботинках, но поднять глаза, взглянуть ему в лицо не смогла. Он подошел и стоял теперь совсем близко перед нею, но и в ее, и в его словах было не то, что они в действительности говорили друг другу. Самое главное было то, почему они говорили это друг другу; на какое-то мгновение в Аленке, словно слабая искра, промелькнула истинность происходящего, промелькнула и исчезла, но ощущение осталось, и это было самое неприятное и невыносимое.

— Ах, боже ты мой,— вырвалось у нее с досадой,— ну какая разница, как вы понимаете, как я понимаю? — Она резко встала и тотчас увидела затаенное сияние его глаз. Хотя она стояла на месте, не двигаясь ни одним мускулом, ей казалось, что она падает в пропасть, и этой пропастью были распахнувшиеся ей навстречу глаза. Разрушая сладкое, скользящее оцепенение, она сильнее прикусила мундштук папиросы.

— Что за затишье, даже не по себе, пойду справлюсь, как идет операция! — Она резко повернулась и, стуча высокими каблуками, скрылась за дверью, а Хатунцев остался стоять с пересохшими губами и резко колотящимся сердцем.

14

Слухи рождаются неизвестно как и почему, иногда даже без всякой видимой на то причины, но с этим часто бесполезным и даже вредным явлением необходимо считаться. Никто бы в клинике не мог определить, кто произнес первое слово, но это ровным счетом никого не интересовало. Самое главное, что первое слово было сказано; клубок вначале медленно, затем стремительнее покатился, стал расти, и теперь уже, когда Аленке и Хатунцеву приходилось оказываться друг подле друга (а приходилось им по не зависящим от них причинам оказываться рядом довольно часто), тотчас чей-нибудь глаз вроде бы мимоходом устремлялся на них и тотчас следовало вежливое, но подобающее к случаю выражение лица, и клубок, еще чуточку отяжелев, катился дальше, несмотря на то что врачи люди чрезвычайно и чрезвычайно занятые. Когда клубок этот, достигнув солидного объема и веса, так что его уже нельзя было не замечать, в один из прекрасных дней с подобающей своему сану торжественностью и бесцеремонностью ударил в дверь кабинета главного врача клиники, проломил ее, молодецки подпрыгнул и оказался перед ним на столе, Кузьма Петрович снял очки в толстой черепаховой оправе и остолбенело уставился на гладкую поверхность стола.

— Что это? — изумился Кузьма Петрович, водружая очки обратно на место, так как был очень близорук и лицо секретаря парторганизации клиники даже через стол расплывалось туманным пятном.— Ну-с, это я вам скажу фокус,— забарабанил

Кузьма Петрович пальцами по столу.— Ну что ты скажешь на это, а, Наталья Гавриловна?

— Скажу,— пообещала Наталья Гавриловна, одинокая, принципиальная и страдающая мигренями женщина.— Скажу, Кузьма Петрович. Ужасно, просто ужасно, как хочешь, так и думай, Кузьма Петрович,— Наталья Гавриловна вздохнула, она еще до войны училась с Кузьмой Петровичем в одном институте и хорошо помнила, как он был на первом курсе в нее влюблен, но она предпочла другого, и вот этот самый Кузьма Петрович, тогда еще восторженный юноша и профорг, очень страдал.

— Подожди, подожди, Наталья Гавриловна.— Кузьма Петрович поморщился.— Если это даже и так, почему это должно входить в нашу с тобой заботу?

— О господи,— совсем уже по-домашнему вздохнула Наталья Гавриловна,— тебя, Кузьма, не переделаешь. Ты как дитя малое. О чем ты говоришь, это же Брюханов! Большой человек, возглавляет главк в Москве,— напомнила Наталья Гавриловна, и Кузьма Петрович опять растерянно сдернул очки.— Ты представляешь, как на это среагирует обком, товарищ Лутаков?

— Черт возьми, я об этом не подумал! Действительно, товарищ Лутаков может среагировать,— поразмыслил он вслух, и уже два часа спустя у него в кабинете сидел Хатунцев. Не зная, как подступиться к делу и с чего начать, Кузьма Петрович раза два прошелся по кабинету, энергичнее, чем обычно, припадая на протез.

— Гм-гм,— остановился он наконец напротив Хатунцева,— у тебя, Хатунцев, как я вижу, опять новые ботинки... модные. Где ты их только достаешь?

— На той неделе повезло, Кузьма Петрович.— Хатунцев слегка развел носки, приглашая полюбоваться блестящими полуботинками с красивыми застежками.

— Хорошие ботинки,— сожалеюще вздохнул Кузьма Петрович, словно примериваясь.

— Хорошие,— подтвердил теперь уже совершенно сбитый с толку Хатунцев.— Четыреста сорок рублей стоят...

— Ты один, молод, можешь себе позволить,— не то одобряя, не то осуждающе изрек Кузьма Петрович и со свойственной прямотой привыкшего к решительным поступкам человека круто повернул разговор.— Послушай, Игорь Степанович, прости мне мою откровенность, будь и ты со мной откровенен до конца.

— В чем дело, Кузьма Петрович? — Хатунцева озадачила нерешительность главного, излагавшего обычно свои мысли всегда кратко, прямо, без обиняков.

— Ну, так вот, ты мне сам все и расскажи,— ставя точку, Кузьма Петрович привычно, с некоторой поспешностью, опустился в кресло.

— Что рассказать? — вполне искренне удивился Хатунцев, и лицо у него посвежело.— Что именно вас интересует?

— Расскажи о своих отношениях с Еленой Захаровной Брюхановой,— словно бросаясь с высокого моста в ледяную воду, брякнул Кузьма Петрович и пристукнул ладонью по столу.— Без эмоций, коллега, без эмоций...

— О чем? О чем? Да вы что, в уме, Кузьма Петрович? — взорвался Хатунцев.— Ничего ведь нет и не было... Не было, вам это ясно?

— Как не было? — откликнулся Кузьма Петрович, уже веря, что Хатунцев говорит правду и что он влип в некрасивую историю, что на самом деле ничего не было и нет, и в то же время отдавая себе отчет в том, что только он несет ответственность, и никто другой, за этот нелепый, неловкий, неприличный разговор; но уж коль скоро он возник, этот разговор, он все-таки имеет под собой довольно прочное основание; Кузьме Петровичу уже показалось, что светлячок у него на ладони, но он тут же поплыл от него прочь в темноту.— Ну, вот что, Игорь Степанович,— решительно оборвал свои размышления Кузьма Петрович.— Ты меня знаешь не первый год, да и в клинике ты не новичок. Ты уж меня прости, старика. Всякое у нас в клинике случалось, но всегда я отделял хрен от редьки. Не о себе пекусь. Раз в клинике говорят на уровне партбюро, значит, кто-то крепенько поработал, достать бы его, подлеца! Припечатают ведь моральное разложение, не отмоешься. А я ведь в клинике с первого дня, мне очень не хочется подобного оборота.

— Да что такое? — окончательно вскипел Хатунцев.— У нас же работа нос к носу, куда ни повернись, сталкиваешься.

— Про меня почему-то никто не говорит! — Кузьма Петрович тоже разозлился.— Конечно, пример неудачный... Что с тобой, Хатунцев?

Обычно внимательный, вежливый, Хатунцев притиснулся к спинке кресла, глядя мимо Кузьмы Петровича, точно забыл о нем.

— Самое главное, что я действительно люблю ее,— сказал он вдруг, и глаза у него как-то по-шальному, дерзко разгорелись.

— Ну-ну, не дури,— испугался Кузьма Петрович.— Не дури, говорю... Слышишь? Себя пожалей, меня, старика, клинику, наконец, дело пожалей... слышишь?

— Слышу, Кузьма Петрович,— отозвался с прежней дерзостью Хатунцев.— Теперь уж ничто не поможет, пропал я, к черту, совсем пропал.

Кузьма Петрович с отвращением оттолкнул от себя пресс-папье из пластмассы, имитированное под мрамор, бывают же такие безвкусные вещи, ни уму, ни сердцу.

— Уезжай куда-нибудь, к богу,— попросил он наконец, угнувшись и пряча глаза, и у Хатунцева при виде его старой, жилистой шеи ворохнулась жалость.— В другую клинику, вот хоть в Ульяновск, у меня там завкафедрой невропатологии приятель, а? Или на Север, на Камчатку, там деньги большие...

— Вы считаете замену равноценной? — усмехнулся Хатунцев.

— Да не вяжись ты к слову,— поправился Кузьма Петрович виновато.— Знаю, чепуху несу... Давно это у тебя?

— С первой встречи.— Хатунцев напряженно сцепил пальцы на колене, он сам сейчас верил, что это было именно так.— Увидел — и все... Не знаю, знакомо ли это вам... Нет, не подумайте, что было что-то такое... ничего совершенно, я даже ненароком не прикоснулся к ней.

— Э-э, черт тебя возьми совсем! — Кузьма Петрович подтянул здоровую ногу, потопал ею об пол и с пытливой надеждой глянул стариковским острым глазом.— А она, она сама? Что ты все о себе да о себе? Мало ли какая дурь тебе в голову кинется, она-то сама как?

— Это не имеет значения, все равно мы будем вместе,— с отчаянной решимостью вытолкнул из себя Хатунцев и стал закуривать.— Больше мне нечего сказать, Кузьма Петрович.

Кузьма Петрович с досадой отмахнулся, увидев показавшееся в дверях кабинета чье-то круглое лицо с большими ушами, и оно, весело моргнув, исчезло; Кузьма Петрович потянулся через стол к собеседнику, острые его, сухие локти поехали по чистому матовому стеклу.

— Что тут скажешь? Тут, по-видимому, доводы разума бессильны... Потом, пройдет время, вспомнишь наш разговор... Я стреляный воробей, стольких штопал, любую аномалию классифицирую. Поверь, Игорь, она не для тебя...

— Почему это? Откуда вам знать?

— Значит, знаю, если говорю. Люди делятся на породы, да, да, не хмурься, это моя житейская теория. Так вот ее порода — самая губительная, разрушающая, шальная.— Кузьма Петрович проехался локтями еще ближе в сторону напряженно ждавшего Хатунцева.— Она ни перед чем не остановится, лишь бы добиться своего... У нее, у этой породы, отсутствует обыкновенное биологическое чувство самосохранения... Такие горели на кострах...

— А я?

— А мы с тобой из обыкновенных. Когда-нибудь запнешься и сразу отстанешь, останешься далеко позади, ну, и все будет кончено, перешагнет через тебя и пойдет дальше.— Кузьма Петрович резко передернул плечами, он устал.— Все тебе сказал, ступай... Мог бы и пожалеть старика, подождать, пока уйду на пенсию...

— По счастию, врачи на пенсию не уходят, дудки, Кузьма Петрович, у вас это тоже не получится.—Хатунцев пружинисто поднялся.— Вы мне ничего нового не сказали. Я все о ней знаю, знаю, что она необыкновенная, дерзкая, шальная, как вы говорите, что не я ее выбрал, а она меня. Но я ничего не могу с собой поделать... Не верите? Качусь в пропасть — и прекрасно, и поделом мне! Но счастливее меня нет человека... Верите, Кузьма Петрович, верите? — с не свойственной ему горячностью и надеждою Хатунцев заглянул в старые глаза главврача.— Почему она, к черту, не уезжает к мужу, в Москву? Почему? А вы сами на моем месте разве уехали бы? Врете, не уехали бы! Не поверю! — Хатунцев, хлопнув дверью, не прощаясь, вышел.

Кузьма Петрович откинулся в кресле, отдыхая, еще и еще продумывая весь случившийся разговор, затем придвинул к себе груду бумаг, приказав секретарше никого не пускать. «Что ж,— сказал он себе,— все имеет конец и все имеет начало». И еще почему-то ему подумалось, что никуда Хатунцев не уедет, и прав, что не уедет, и он бы не уехал, и стало ему от этого грустно и хорошо.

15

Ефросинья встала рано и была не в духе, она видела плохой сон про Аленку. Собирая и отправляя Егора, хлопоча по хозяйству, а затем торопливо собираясь на работу (бригадир нарядил на сегодня раскидывать навоз под коноплю), она нет-нет да и задумывалась, опустив руки. Может, и зря отказалась ехать к Захару, когда звал, своей волей другую к нему толкнула; живут себе семьей, а она опять одна, как сухая былка, ни тепла, ни радости. Вчера Лукерья все тревожилась, что письма от Мани долго не было, что-то уже месяцев пять, говорит, молчит, а чего ей особо писать? Мужик под боком, дети тоже. Что ей, Маньке-то? Лучше о своей доле подумать, говорила себе Ефросинья. У дочки своя семья, Колька, тот как был, так и остался какой-то блаженный, от книжек да бумаг его не оторвешь, бывало, скажешь ему бросить все, пойти погулять, смеется, успеется, говорит, наверстаю в свой срок. Вспоминая, Ефросинья покачивала головой, уж кто-кто, а она-то знает, что все уходит, и оглянуться не успеешь, как все ушло, ну, да этому ни по каким книжкам не выучишься.

День тянулся для Ефросиньи непривычно долго, она ни с кем не разговаривала, и когда бабы собирались в кружок отдохнуть, она не слышала их пересудов, продолжая думать о своем, и Нюрка Куделина даже поинтересовалась, не захворала ли она случаем. Ефросинья молча отмахнулась, не ответила; домой к вечеру она возвращалась с еще более тяжелым сердцем, хотела немного полежать, отдохнуть, но, как всегда, ничего этого не удалось; пришел с работы Егор, тут же сбегал за водой и, стянув с себя пропыленную рубаху, стал весело фыркать и плескаться у рукомойника. Ефросинья вздохнула, опять, видать, с Валькой Кудрявцевой до зари в березках просидит, прошепчется; что ж, пора приспела. Она и не против, сама не раз заговаривала, но теперь уже не до свадьбы, вчера пришла повестка на службу. Ничего, коли дело крепкое, подождет, не разрушится; Ефросинья чуть сдвинула брови, стараясь представить себе, какие перемены внесет это событие и в ее собственную жизнь. Но ясно ей было лишь одно: Егору теперь не укажешь, вырос, сам разберется, парень спокойный, степенный, отслужится, еще, надо думать, поумнеет.

Пока Ефросинья собирала ужин, затем встречала и доила корову, пока напоила теленка, проверила, все ли куры на насесте, солнце село, похолодало.

— Мам, ты меня не жди! — на ходу крикнул Егор и был таков.

Ефросинья постояла, прислушиваясь, притворила дверь, засветила лампу. Можно было теперь и о себе позаботиться, прибрать на ночь голову, отдохнуть; она присела на лавку, развязала платок, сдвинула его на плечи. Покойно и привычно пощелкивали в пустой избе ходики. Ефросинья, взглянув на них, подошла, подтянула гирьку. Время близилось к одиннадцати. «Хорошие часы, спасибо Кольке, привез в прошлом году,— вспомнила Ефросинья, взглянув на стрелки, вернулась на прежнее место, села, нагнулась, стала расшнуровывать тяжелые солдатские ботинки. Сняла один, второй, стянула чулки, зевнула, прикрывая рот ладонью.— Ну вот, еще один день кончился,— отметила она,— бегут, бегут, как пойдет летняя работа, и оглянуться некогда».

В это время и подкатила к дому телега, послышались приглушенные голоса, затем кто-то негромко постучал.

— Как же, принесло лешего,— пробормотала Ефросинья и, как была босая, вышла в сени: случалось, приезжавшие мужики разыскивали самогон.— Кто там? — не скрывая своего недовольства, спросила она из-за двери.

— Открой, хозяйка... свои,— послышался негромкий голос, и Ефросинья в первый момент отшатнулась; этот голос словно ударил по самому сердцу, словно все обрушил в ней, она почувствовала, что вот-вот ноги откажут и она осядет на землю. Она что-то переспросила, с трудом шевеля губами, но звука не было, и она, не сразу нащупав щеколду и не осознавая, что делает, толкнула дверь. На крыльце было два или три человека, но ближе всех он, Захар, в неясном, неверном свете, доходившем от окна, она видела его лицо, постаревшее, в крупных морщинах на лбу и у глаз, но другим, еще более острым и безошибочным в своей проникновенности, зрением она видела нечто такое, что заставило ее еще и еще отступить в глубь сеней.

— Не узнаешь? — спросил он устало и почти спокойно.— Переночевать у тебя можно, Ефросинья? Пустишь?

— Заходи,— кивнула она, задыхаясь.

— Я не один, Ефросинья.

— А кто же там у тебя? Что, или хаты перепутали? Поливановская — она вон рядом стоит.

— Мальчонка со мной,— опять каким-то словно бы не своим голосом отозвался Захар. «Захлопнуть, захлопнуть дверь-то,— подумала Ефросинья,— захлопнуть перед самым носом»,— и лишь этот его какой-то безразличный, словно с того света, голос опять удержал ее.

— Ну, проходи,— сказала она и попятилась в сторону, в темноту.

Мимо нее кто-то протопал, внося поклажу раз и другой, она слышала, как Захар с кем-то расплачивался, и все это время стояла не двигаясь, и когда, набравшись духу, решилась вернуться в избу, Захар уже сидел на лавке, держа на руках продолговатый сверток, а рядом с Захаром неловко переминался малец лет семи-восьми с лезшими на глаза длинными, нестрижеными волосами; у ног Захара стояли два фанерных чемодана и лежал узел; больше никого в избе не было. Отъезжая, застучала колесами повозка, и кто-то зло крикнул: «Ну, черт, не видишь, куда прешь, окаянная!» «Господи, жуть какая, позвать кого выйти, что ли?» Ефросинья, мало что соображая, захватила свои ботинки, чулки, прошла в другую комнату и, вслепую обуваясь, тянула время и напряженно прислушивалась; было тихо, светлели окна, время от времени подавал из какой-то щели голос сверчок. Показывая, что она занята, Ефросинья передвинула с места на место стулья, хлопнула крышкой сундучка. «Пожалуй, нужно было бы надеть на себя что-нибудь получше»,— подумала она, но именно эта случайная мысль помогла ей. Она еще подождала и вышла к неожиданным гостям; Захар, все так же сидя на лавке, глядел перед собой, мальчонка жался чуть поодаль.

— Умерла Маня,— внезапно выговорил Захар, поворачивая голову ей навстречу.— Родами... вот,— кивнул он почему-то на сверток возле чемоданов.— И ребенка не отходили... дочка была, какой-то, говорят, неполадок случился, пока доктора за двести верст ждали... операцию надо было делать... А потом... Ну вот, я понимаю... понимаю... не мог я сразу к Лукерье отчего-то.— Он положил сверток на лавку рядом с собой, достал помятую пачку папирос.— Пока доехал с ним, чуть жив... переночевать надо где-то, Ефросинья, а там что ж, все понимаю. Я тебя не утружу, завтра же ут-

ром... как к селу подъезжали, жутко мне стало, Ефросинья, сроду так не было... Хоть поворачивай назад, а ноги-то вроде к земле и пристыли...

Прислонившись к печке, Ефросинья теперь могла хорошенько разглядеть его; она видела, что ему страшно и сейчас, но в том, что он не мог переломить этот свой страх и вот так прямо явился в дом, где его уже не помнят и, считай похоронили, было что-то особое; какая-то капля жалости пробилась в ней, словно теплая горошина прокатилась.

— Что ж, мы не чужие, негде остановиться больше, ночуй,— сказала она.— Ночуй. Хата большая, места хватит. Мальчонка-то небось есть хочет...

— Василием звать.— Захар огляделся, куда бы сунуть догоравшую папиросу, затер ее в пальцах, поднял глаза на Ефросинью, словно опасаясь ее резкого слова, того, что она как-нибудь ненароком обидит мальчонку.

Ефросинья сразу поняла его: то был Манин второй, тот самый, что она прижила на заводе, еще когда не уезжала к Захару. Что-то злое царапнуло в груди; заглушая в себе это нехорошее, ненужное сейчас чувство, с какой-то пугающей ясностью понимая, что только ей надо сейчас решать, только у нее это право, Ефросинья оторвалась от печи, достала хлеб, принесла кувшин молока, сала и нарезала его; Вася поглядывал на эти приготовления молча, он еще не проронил ни слова. Ефросинья разожгла на загнетке огонек, наскоро зажарила яичницу, так же быстро и молчаливо собрала на стол. Захар отодвинул от себя неловко поставленный и мешавший чемодан, взглянул на Васю.

— Ночевать здесь будем, ужинать. Руки вымоем, Василий? — спросил он, указывая на рукомойник у двери.— Иди, иди, не бойся,— подбодрил он, легко подталкивая все больше робевшего мальчонку, и Вася, обходя лежавшую на полу старую пегую кошку, несмело прошел к рукомойнику, оглядываясь на Ефросинью, остановился, опустив голову.

— Ну, ты чего ждешь? — спросила она.

— Мыла...

— Мыла? Погоди, погоди, ишь ты как, мыла, значит.— Ефросинье это показалось забавным, но в то же время появилась хоть небольшая отдушина.— Видать, Егор плескался на улице после работы, забыл,— добавила она, тут же нащупала в печурке завалявшийся обмылок и подала. Она отметила, что лицом мальчонка

вышел в поливановскую породу, скорее всего в деда Акима, те же прижатые маленькие уши, тот же широковатый, разлапистый нос и что-то неуловимое в манере словно бы все время исподлобья, настороженно глядеть.

Добавив воды в рукомойник, подождав, пока умоется с дороги и сам Захар, теперь уже спокойно, как если бы кормила и обихаживала совершенно чужих, по какой-либо беде или непогоде оказавшихся у нее людей, Ефросинья усадила Васю за стол, пригласила садиться и Захара.

— Спасибо, сейчас,— отозвался он и, повозившись у одного из чемоданов, открыл его.— У нас тут кое-какие свои запасы остались, рыба вяленая... сам делал.— Он выложил на стол вязку сухих карасей, поставил банку консервов, остатки сыра в бумаге. Бутылку спирта, собственно, ради которой и открыл чемодан, он доставать не стал, незаметно засунул ее поглубже, хотя выпить ему очень хотелось, но это, как он в самый последний момент уловил, было бы нечто совсем лишнее, ненужное, что еще больше бы расстроило их обоих, и он, захлопнув чемодан, сел рядом с Васей, неохотно поковырял яичницу, отхлебнул из кружки молока.

— Ешь, Василий, ешь,— сказал он, ободряя мальчугана, а сам опять уронил руку с куском хлеба на стол; нужно было сказать Ефросинье что-то определенное, но начинать разговор в присутствии Васи он не хотел, а говорить что-либо, лишь бы говорить, не мог, и только когда Вася, едва дотронувшись до подушки, уснул и они с Ефросиньей остались вдвоем, Захар решился.

— Я сам не знаю, Ефросинья, зачем сюда приехал,— сказал он медленно, словно на вкус пробуя горечь каждого слова.— Видишь, сивый весь. Да и это я так, ни к чему. А всего лишь сорок восемь и есть. Не знаю, задавило душу что-то. Жил или нет? Где дети? Где дела? Ничего нет, пусто. Ночью лежишь — мелькает, мелькает что-то, провал за провалом, а работал, работал, сколько работал! Из моей работы можно Уральский хребет сложить... горы такие есть, поперек всей нашей земли протянулись...

— Слыхала...

— Железа там много... Илюшка вот остался в техникуме. К заводу его потянуло, в инженеры выбиться хочет.

— Дети, что ж, хорошо теперь живут, дай бог каждому,— скупо подтвердила Ефросинья, и он кивнул.

Что он мог еще ей сказать и что могла понять в его судьбе она? Сейчас ничего нельзя было скрыть, ни одного движения, ни одной мысли; позади был путь почти в пятьдесят лет, сейчас он представлялся Захару студеной, порожистой рекой, он так ни разу и не мог коснуться дна, несло, несло и наконец вышвырнуло нахлебавшегося мути и грязи куда-то на твердый берег, и он лежал, ничего не различая вокруг, он был рад и тому, что под ним стала хотя бы слегка прощупываться прежняя, почти забытая твердь. Он поднял глаза на Ефросинью, он ничего от нее не ждал и не хотел, ему было достаточно того, что она рядом, что она просто есть, и неважно, как все будет складываться дальше, через день, через месяц или год. Все оказалось проще, чем он сам себе напридумывал в дороге.

— Ну что же,— сказал он, чувствуя сухость и боль в горле от этого своего открытия,— что же, про Ивана так ничего и нет?

— Нет,— уронила она.— Война какая... где уж тут, почти полтораста человек из села пропало. Ну вот, на мою с тобой долю Ваня... а привыкнуть никак не привыкну, как видела его в последний раз, так и остался. Бывает, ночью сердце зайдется, кричит кто-то, кричит, слышу, подхвачусь — никого, тихо... Вот с Егоркой одна пробавляюсь,— добавила она,— ничего, живем. К Аленке в прошлый год ездила внучку поглядеть, горластая такая, ох, говорит, мам, намучилась, сладу никакого...

Ефросинья говорила и говорила, боясь остановиться, ей не по себе было наедине с этим неизвестно откуда и зачем явившимся человеком, с его отсутствием она полностью и навсегда свыклась и если думала о нем, то как о чем-то давно прошедшем, так же, как она думала об умершей свекрови или пропавшем сыне Иване. Она сейчас говорила еще и потому, что хотела показать, как много без него всего было, и что вот они не пропали, живы-здоровы, а дети выросли и живут каждый по-своему, какая кому доля выпала, так и живут, и что в этом сама она уже не виновата.

— Мне бы выйти надо, Ефросинья,— тихо сказал он, потому что понял ее состояние.

— Вон дверь,— кивнула она, помедлив, и опустила глаза.— В сенцах, с правой руки, сразу во двор... Щеколда там...

Захар встал, неловко выбрался из-за стола и только в сенях, захлопнув за собой дверь и тяжело прида-

вив ее спиной, пошире раздвинул ворот; постояв немного, он вышел во двор, затем выбрался в сад, и ноги словно сами понесли его к старой яблоне китайке. Но ее не было, на ее месте стояло молоденькое, лет шести, кудрявое деревце; это добило его. Опустившись на какую-то молодую, прохладную зелень, он почувствовал свежий, непередаваемо *свой*, въевшийся в него навечно запах; рука его, словно сама собой, всей пятерней зачерпнула земли, он помял ее в пальцах, понюхал, глубоко втягивая воздух, и тут с ним что-то случилось; он уткнулся лицом в эту землю, судорожно всхлипнул; и что-то тяжкое, что словно давило его непрестанно с момента смерти Мани, стало сползать с него, и он смутно понял, что вернулся к самому заветному и что отсюда теперь никуда больше не уйдет.

Он сходил к колодцу, достал воды, умылся, вытерся подолом рубахи и, легкий, какой-то проясненный, вернулся в дом; Ефросинья уже прибрала со стола, а чемоданы и сверток, чтобы не мешали, задвинула поглубже под лавку.

— Уморился я, Ефросинья,— сказал он.— Третьи сутки кое-как, протрешь глаза кулаком, вот и весь сон.

— Иди ложись, я тебе там, рядом с мальцом, постелила.

— Спокойной ночи, Ефросинья.

— И тебе, Захар.

Он разделся и, аккуратно составив сапоги, лег рядом с Васей, прислушиваясь к тому, что делает Ефросинья; он слышал, как она, покашливая, ходит, затем шумно дунула, гася лампу, и все затихло.

Он закрыл глаза, какие-то яркие, расплывчатые пятна мелькали в них; Вася рядом всхлипнул во сне, поворочался и опять затих. Сейчас лучше всего было бы встать, прокрасться на улицу и побродить по селу, постоять у озера, сходить к Соловьиному логу. Завтра будет уже не то, о его приезде узнает старый и малый, недаром он подгадал, чтобы приехать в Густищи ночью, хотя причин ему скрываться от людей не было. Так, взбрело в голову, ну и нагородил, а зачем — и самому непонятно. Показалось как-то страшно явиться среди бела дня после стольких лет, с каждым здороваться, отвечать на расспросы, выслушивать бабьи охи и ахи, а ведь все это, если разобраться, ерунда, отговорки. Все-таки он опасался, что какой-нибудь густищинский ве-

сельчак вроде Фомы Куделина, дружелюбно пожимая руку, видя его одного с ребенком, пошутит в простоте души и спросит, где это он посеял жену, уж не умыкнул ли ее какой-нибудь сибирский каторжник сорви-голова. Или, того хуже, поглядит на мальчонку, поглядит на него самого, Захара, и скажет кто-нибудь, дружески и неподкупно пяля глаза, о похожести, как будто сном и духом ничего иного и предположить не мог.

Захар заснул не скоро, все в том же нервном напряжении, и все время хотел проснуться, но проснуться не мог; тихо текла ночь, прокричали первые петухи, и Захар, кажется, услышал их сквозь сон, и лишь сама Ефросинья не могла сомкнуть глаз; все было ясно — дети, их жизнь, работа, хозяйство, и вот в один момент ее теперь хорошо налаженная и в общем-то спокойная жизнь кончилась, была обрублена; сейчас она почему-то больше всего боялась возвращения с улицы Егора и все время ждала этого.

Прокричал первый петух, на улице перед домом послышались голоса, смех; накатываясь, волна петушиного перепева захлестнула все кругом, собственный петух (Ефросинья все собиралась переменить его, да жалела) куце гаркнул неподалеку, и она шире открыла глаза; на крыльце раздался приглушенный говор, затем все стихло. Скрипнула дверь в сени, и Егор снял сапоги: два раза глухо стукнуло.

— Егорка,— позвала она шепотом, когда он, уверенный, что мать, как всегда, спит, осторожно подошел к столу, намереваясь отломить хлеба.

— Чего, мам? — быстро спросил он.— Ты чего, опять голова?

— Тише, тише! — остановила его Ефросинья, невольно косясь в сторону двери в горницу.— Гости у нас, Егорка, батька твой, Захар Тарасович, пожаловал с младшим своим. Накормила я их, спят. Стой! Стой! Ты что? — Она успела ухватить его за рукав, и Егор, рванувшийся к двери, отошел, сел к столу.— С дороги они, намученные,— сказала Ефросинья.— Завтра увидишь. Маня-то Поливанова померла родами,— добавила она неожиданно, вроде бы ни к селу ни к городу, вслух высказывая то, о чем непрестанно думала, и окончательно смутила Егора.

Он разделся, лег, но забылся коротким сном только перед самым утром, но и во сне его не покидало изумленно-радостное ожидание, в любой момент он готов

был вскочить, и действительно, после третьих петухов (вторых он все-таки не услышал) он сел на лавку, прислушиваясь. Мать спала, он это уловил по еле доносившемуся ее дыханию; окно серовато проступало. Егор стал бесшумно одеваться, затем в нерешительности опять опустился на лавку. Все эти годы он помнил отца и много думал о нем, а последнее время уже не однажды рвался съездить на далекую Каму — всякий раз что-нибудь мешало этому, и больше всего страх Ефросиньи перед неизвестностью дальней дороги, перед тем извечным чувством матери, что сын еще, достигни он хоть двадцати лет, мало что смыслит в жизни. Егор неясно вспоминал большие, сильные руки, и, словно он был попрежнему ребенком, возникало чувство полета, словно кто-то опять отрывал его от земли и подбрасывал высоко вверх; при этом у Егора в глазах всплескивалось что-то голубое, просторное и в теле появлялась солнечная легкость; он всегда несколько стыдился этого детского чувства, хмурился, но ничего поделать с собой не мог. И вот теперь отец был рядом, всего через неплотно притворенную дверь с зеленым квадратом стекла поверху, и Егор как-то даже не верил этому. Все, о чем ему коротко сообщила мать, мало его интересовало; ему казалось, что ночь тянется бесконечно. Чтобы как-нибудь убить время, он тихонько вышел на улицу и, поеживаясь от зоревой прохлады, долго бесцельно бродил, постепенно успокаиваясь, среди яблонь и груш в саду. Раньше он как-то не обращал особого внимания на яблони, на солнце, на поля вокруг; все это связывалось у него по-крестьянски практично с необходимостью работы, с хлебом; если урожай был хорош, он безмерно радовался от своего в этом участия. Но вот теперь он увидел и небо, и еще темную, едва угадывающуюся даль полей, и крышу собственного дома, и те же яблони как-то иначе; несмотря на холодную, обильную росу, придающую всему вокруг особую отрешенность, он, наоборот, ощутил легкость и какую-то светящуюся тайну во всем; и яблони с упругими, мокрыми листьями, и сырая земля, и придвинувшееся, с огненно-яркой полосой на востоке, небо, и заливчатое пение невидимых жаворонков в небе — все словно излучало тепло, казалось, еще минута-другая — и случится что-то такое, чего он еще не знал, но что ему необходимо, что сразу изменит всю его жизнь. Всего два или три часа назад он провожал домой Вальку Кудрявцеву,

затем слонялся с ребятами по улице, одни предлагали идти купаться на озеро, другие — всем кагалом завалиться к Зинке Полетаевой и гулять до утра, благо у нее всегда можно было разжиться чем-нибудь горячительным. Петька Астахов, зубоскаля, тотчас сказал, что Зинка что хочешь отдаст, даже самое себя, если Егор Дерюгин согласится идти с ними; все стали его упрашивать, и он, внезапно вспыхнув, послал всех подальше и зашагал домой. «С этой Зинкой Полетаевой прямо беда,— подумал он,— какая-то бесстыжая... И чего она к нему прицепилась как репей? Где ни увидит, сожрать глазами готова, хоть сквозь землю проваливайся... Валька сегодня весь вечер дулась, посидеть на крыльце не захотела... Хотя бы подходил скорей день призыва, служба пройдет, там видно будет. И мать теперь не одна, бояться за нее нечего».

Егор почувствовал, как на голове отяжелела от рассветной сырости густая копна волос; он прошел под навес, где отбивал косы, сел на лавочку, но тотчас подхватился. Он не хотел и не мог судить ни отца, ни мать, он просто принимал все, что случилось; да, отец неожиданно приехал, и мать не в себе от этого, но он сейчас не разделял и не мог разделять ее тревогу; отец приехал,— значит, так нужно, значит, это хорошо.

Егор еще бесцельно послонялся по саду и, не в силах ждать больше, вернулся в избу. Мать уже встала, прямо и строго сидела на лавке, одетая, а у ее ног, мурлыкая, ожидая, как обычно, парного молока, терлась большая пегая кошка. Увидев Егора, Ефросинья вспомнила, что пора доить корову, и тут же, прихватив подойник, вышла, так ничего и не сказав, а Егор, еще немного помявшись, прошел в другую комнату и в сером полумраке увидел сидевшего у раскрытого окна и курившего отца. В первое мгновение Егор попятился (какая-то оторопь, как в детстве при чувстве внезапной опасности, охватила его), но тут же шагнул вперед.

— Здравствуй, батя,— выдавил из себя Егор, останавливаясь и не решаясь протянуть руку; присматриваясь, Захар торопливо затер в какой-то плошке папиросу; перед ним стоял высокий, широкоплечий парень, черноголовый, с блестевшими даже в полумраке глазами; сейчас, в этот момент, когда он увидел перед собой Егора, он еще раз почувствовал меру пройденного пути и попросту растерялся. Он помнил Егора толстощеким восьмилетним мальчуганом, но сейчас, в эту резкую,

ударившую по глазам каким-то мглистым отсветом минуту, он увидел еще дальше: холодное осеннее утро, стог сена, полузадушенный комочек с серовато-бледной кожей, измазанной в крови матери, и нудный дождь, раскисшую землю и...

— Здравствуй, Егор,— сказал он, поднимаясь.

— Батя... здравствуй, батя,— торопясь, повторил Егор изменившимся, хрипловатым голосом; обхватив тугие плечи парня, Захар прижал его к себе, уткнулся губами в густые волосы, поцеловал, вдыхая запах незнакомой и все же родной жизни; он думал, что дошел до предела и дальше ничего нет, и ошибся. Это была только остановка, прикорнул, и вроде больше уже не встать, не хватит сил, но стоило чуть отдышаться, и все менялось. Откуда-то пробивался, начинал выползать новый ручеек, тек, исчезал в слепящем солнце, и навстречу этому блеску нельзя, невозможно было открыть глаза.

— Вот такие-то пироги, Егор,— вздохнул Захар, опускаясь на стул.— Стареем, стареем, видать... Садись, расскажи, как вы тут?

— Хорошо, батя.— Егор, помявшись, присел на табуретку.— Позавчера письмо от Николая было, у Аленки, пишет, Ксюша заболела. У Аленки ведь дочка,— Егор запнулся, но тут же, радуясь, что новостей много и есть чем похвастать, заговорил опять.— Она ее прошлым летом к нам привозила. Ксюша-то забавная такая девка, все под печку норовила залезть, один раз я ее за ногу вытянул, а она как заорет. «Ты, говорит, дядя, нехороший!» — рассказывая, Егор первое время невольно посматривал на крепко спящего Васю, но, заметив, что у отца при этом лицо становится слишком спокойным и каким-то чужим, он незаметно повернулся так, чтобы не видеть постели.— А Колька наш учится — жуть! — вспомнил он, радуясь возможности похвастаться самым большим богатством.— Аленка говорит, сам Тихон Иванович удивляется, говорит, мозгов у Кольки на сотню хватит, в силу войдет, говорит, страшновато и подумать, что будет. Они только ему не говорят, боятся испортить. Батя... батя, ты чего, а? — спросил он не сразу, когда Захар, порывисто встав, отошел к окну, и, взявшись за косяки обеими руками, сгорбившись, застыл.

— Ничего, ничего, сынок,— отозвался Захар не оборачиваясь.— Пройдет, с дороги... понимаешь, на стан-

ции, в Молотове, долго ждали... а потом пересадка в Москве... вот оно... и отходит...

...Начавшись со встречи и разговора с Егором, этот день принес Захару и другие неожиданности; после того, как Ефросинья всех накормила и Егор, сказав, что пойдет к председателю попросить его отпустить на несколько дней с работы перед службой, ушел, Захар, молчаливым кивком поблагодарив Ефросинью, встал из-за стола.

— Иди погуляй на улице-то,— сказала Ефросинья Васе, который, словно что чувствуя, не отходил от Захара, цеплялся за него.— Тепло, солнышко греет, чего в избе ты будешь сидеть? Иди.

— Иди, Вася,— сказал и Захар,— только далеко не отходи.

И мальчик, доверчиво взглянув на него снизу вверх, с любопытством и некоторой боязнью вышел, и как только за ним закрылась дверь, Ефросинья и Захар встретились взглядами; это и был момент, решивший все дальнейшее в их жизни без слов: оказалось, они так хорошо знают друг друга, что никаких слов не потребовалось и что, если бы случилось иначе, все и пошло бы по-другому; Ефросинья глядела на Захара и видела, что он не хочет уходить, что уходить ему некуда, но скажи она слово или хотя бы нахмурься недовольно, он тотчас начнет собираться; этого человека, стоявшего перед нею, она когда-то любила без памяти, он был отцом ее детей, и полное равнодушие к нему сейчас даже испугало ее; он молча стоял перед нею, но в нем было что-то такое, чего она не могла понять и что мешало ей произнести готовое вот-вот сорваться слово, после которого он тотчас бы и ушел; она сейчас ничего не могла понять ни в нем, ни в себе, ни в том, что между ними происходило и что вообще происходило. Перед нею стоял высокий, вроде бы еще сильный мужик, но она знала, что это одна видимость, что внутри он пустой и что ему ничего не хочется и ничего не надо. Это было для нее так внове, что она окончательно и забыла то слово, которое должна была сказать совершенно безразличному ей человеку. Она не привыкла к этому. Это было бы то же, если бы иметь хлеб, много хлеба и не дать хоть небольшой кусочек умирающему от голода, уже даже безразличному к этому хлебу и вообще к жизни ребенку, и она со всей пугающей ее самое резкой предметностью, на которую

и способен только такой неизощренный ум, подумала именно так. Еще она пожалела его, и это бесповоротно решило все дальнейшее; для нее самой жизнь попрежнему была проста и конкретна, проявлялась в самых привычных и необходимых обязанностях; сама того не сознавая, она определила состояние Захара с поразительной чуткостью и точностью и тотчас, опять же не сознавая того, определила свое к нему отношение; хотя в ней и шевельнулась где-то на самом краю души горькая радость, что она, только она нужна ему сейчас и только она могла еще что-то для него сделать. И она почувствовала скрытое, теплое волнение, в ее тихую, пустынную жизнь ворвалась свежая струя; она поняла, что прежнего покоя не будет, и не знала, хорошо это или плохо. И она про себя вздохнула; уловив этот вздох, Захар отвел глаза и, сгорбившись, сел на лавку. Он понял, что может, если хочет, остаться здесь и жить, сколько вздумается, но прямо об этом ему не скажут.

Ефросинья не пошла в этот день на работу, стала прибираться по хозяйству, сходила на огород, посмотрела на грядки недавно высаженных помидоров, отметила, что картошка взошла дружно и ровно, и подумала, что надо сказать Егору, чтобы попросил лошадь, проборонил. Затем она подмела перед крыльцом, с пытливым интересом поглядывая на Васю, тот как сел на лавочке у изгороди под молодой грушей, так и сидел, сложив руки на коленях и несмело осматриваясь; всякий раз, встречая взгляд Ефросиньи, он скованно улыбался ей.

— Ты хоть побегай,— не выдержала Ефросинья, в раздумье остановившись перед ним.— Что ж ты такой тихий вырос, а?

Взглянув на метлу у нее в руках, Вася робко отвел глаза и остался сидеть на месте.

— Ох, чудно, чудно,— вздохнула Ефросинья, отходя от него и опять принимаясь за дело, принесла лопату и стала срубать поднявшиеся у изгороди лопухи. «Жила себе спокойно и — на тебе,— думала она,— все в одночасье шиворот-навыворот. Какие теперь крутели пойдут по селу, любо-дорого, ведь это пока не знает никто, да надолго ли? Егор небось уже всем подряд растрезвонил, этот еще ничего не понимает. Подумаешь, диво, что ж это я выставилась? — испугалась Ефросинья.— Люди работают, а я баклуши бью, будто он и вправду законный мужик мне, окаянный, до помороков можно дойти».

Она торопливо поставила на место лопату и скрылась в сени, и вовремя, потому что по Густищам, будоража село, и в самом деле уже прошел слух о приезде Захара и что приехал он один, без Мани, лишь приволок с собою ее второго найденыша, а бабка Чертычиха, тотчас отправившись со своей клюкой по дворам, с таинственным видом сообщила Варечке Черной, жившей вот уже несколько лет в одиночестве и в благочестии, что Захар, говорят, зарубил свою Маньку топором («Ей-ей! — обмахнула она себя крестом.— Так голову напрочь и оттяпал, в Сибири-то какой закон, отволок ночью потемней в лес, звери бесследно и растащили, а сам подхватился — и поминай как звали!»), потому как она, стерва, спозналась в постыдном грехе с другим, когда Захар-то сам был на работе в лесу.

Оказалось, что Захаром и его жизнью в последние годы интересуются и знают в Густищах немало, и наряду со всякими невероятными прибавлениями говорили много достоверного. Так, старухи припомнили, что им говорила в разное время Лукерья Поливанова, получая редкие письма Мани, как показывала вырезанный из газеты портрет зятя, вспомнили и о том, что теперь с такой родней, как Брюханов, Захару и сам черт не брат... одним словом, весть о приезде Захара возбудила в Густищах почти всеобщий интерес, и едва успела Ефросинья скрыться в сенях, как мимо ее дома стали то и дело прохаживаться. Озабоченно проковыляла, делая вид, что разыскивает отбившегося от стада гусенка, Чертычиха, вслед за ней, поджав губы, поблескивая из-под низко надвинутого платка острыми глазами, прошмыгнула туда-обратно Варечка Черная; скрытое пока еще течение уже чувствовалось вокруг, приливали и отливали волны любопытства, пересудов; старухи собирались по двое, по трое, возбужденно обсуждая новость, и уже ребятишки издали поглядывали на Васю, продолжавшего робко сидеть на скамейке; и тут, взрывая всю эту постепенность узнавания, появилась Лукерья Поливанова, шла, торопясь и задыхаясь, переваливаясь на больших, отечных ногах, как утка, и, еще издали заметив Васю и сильно перепугав его, с криком кинулась к нему, прижала к себе, стала целовать в щеки. У мальчика округлились глаза, и он беззащитно и обреченно косился в сторону крыльца.

— Унучек ты мой миленький,— причитала Лукерья, растягивая слова и задыхаясь после быстрой

ходьбы.— Я ж тебя по карточке узнала! Да что ж это такое делается, отчего ж ты к бабке родной не хочешь прийти, унучек мой Васенька, жалкий мой, а? — Увидев сморщившееся лицо мальчика с показавшимися на глазах слезами, Лукерья сразу приостановила свои причитания, села на лавку рядом.— Господи, а мать-то где? — спросила она Васю, и тот торопливо отодвинулся от нее.— Чего ты, жалкий мой, глядишь так? Матка твоя где, говорю? Братик Илюша, старший-то братик где?

— Илюша в техникуме учится, нельзя ему приехать... а мамки... нет мамки,— выдавил из себя Вася, еще больше пугаясь, потому что теперь вокруг него толпилось уже несколько человек,— Померла мамка... похоронили мы ее... с батей и с Илюшей...

Некоторое время Лукерья глядела на Васю безмолвно, лишь хватая беззубым ртом воздух; она перестала слышать и видеть что-либо, лица поплыли у нее перед глазами, и она тяжело свесилась головой набок, закатывая белые глаза...

— Ошунуло ее, бабы, расступись, расступись,—с готовностью захлопотала подоспевшая Варечка Черная.— Эй, сбегайте кто-нибудь за водой! — прикрикнула она на Чертычиху, но тут же увидела перед собой Ефросинью с кружкой.

Ефросинья молчала и была в той отрешенности от всего, когда человек во всем идет до конца, не обращая внимания на других. Варечка взяла кружку, с руки брызнула в лицо Лукерье; та продолжала сидеть, грузно обвиснув всем телом, и Варечка перепугалась.

— Фельдшера бы надо кликнуть,— неуверенно оглянулась она.— Сердце, видать, прихватило...

Ефросинья поискала глазами, кого бы из ребят послать за фельдшером, но в это время Лукерья шевельнулась, открыла глаза, мутно уставилась на Варечку, затем на Ефросинью.

— Бабоньки, где я? — прошептала она обессиленно; тут же вспомнив, с неожиданной быстротой и легкостью для своего грузного тела вскочила на ноги, придвинулась к Ефросинье.— Фрось, а Фрось, с Маней-то правда? Правда?

— Правда, Лукерья Митрофановна,— раздался в этот момент голос Захара, и Лукерья беспомощно повернулась к нему.— Родами померла Маня, не хотел я тебе сообщать письмом, сам хотел рассказать, да видишь, как получилось...

На всякий случай Варечка Черная придвинулась к Лукерье поближе, но та словно закаменела, и все стоявшие вокруг почувствовали такую ее беззащитность, что многие опустили глаза. И только один Захар глядел на нее открыто, прямо и вроде бы безразлично. Лишь на левом виске вспухла темная жилка, и бровь с этой же стороны почти незаметно подергивалась.

— Ты... ты... ты...— пыталась что-то выговорить Лукерья и не могла.

— Я, видишь... кто же еще, я и есть,— сказал он, и эти его слова помогли Лукерье.

— Господи,— крикнула она слабым голосом, протягивая к нему руки и бессильно роняя,— господи, чтоб тебе и на том, и на этом свете покоя не было, сатана, чтоб тебе твои дети глаз не закрыли... О господи милостивый, чтоб...

— Опомнись, тетка Лукерья,— остановила ее побледневшая Ефросинья.— Что ты несешь, опомнись! Кто в смерти-то волен? Не греши, самой недолго осталось... Отец он твоему родному внуку...

Лукерья поглядела на нее непонимающе, сморщила лицо и тихо заплакала; бабы вокруг тоже засморкались, захлюпали, переживая еще одну новость, переглядывались, качали головами, всхлипывали; Лукерья, цепляясь за изгородь, встала, с трудом передвигая больные ноги, сделала шаг, другой, слепо раздвигая тотчас окруживших ее людей.

— Пустите... пустите,— повторяла она.— Маня... доченька... Да что ж ты меня не послушалась... кровиночка ты моя... да где же ты, господи, что ж ты меня не прибрал, никому не нужную... ох, родимые, ошунуло... кто-нибудь... свету белого не вижу...

Она остановилась, пошатываясь, слепо шаря перед собой руками; к ней тотчас подскочили баба Митьки-председателя Анюта с Нюркой Куделиной, подхватили с двух сторон, наперебой уговаривая, потихоньку шаг за шагом повели ее домой. У Захара, глядевшего вслед, дернулось горло, он тоже было пошел следом за ними, но голос Ефросиньи остановил его.

— Не надо тебе, Захар,— сказала она.— Пусть с бабами побудет, нутром отойдет.

Тут Захар увидел перед собой еще чье-то лицо, узнал жену Харитона Антипова, так и сгинувшего в Германии, в концлагере, Прасковью и беспомощно развел руками:

— Вот так оно и получается... Здравствуй, Прасковья...

— Здравствуй, Захар Тарасыч,— сказала Прасковья.— С приездом тебя... Ничего, на человеке, как на собаке, все затянется, ты сейчас про себя-то не думай, вон на народ погляди, сразу легче станет. Спасибо тебе, Тарасыч, за письмо про Харитона. Дай я тебя хоть поцелую по-вдовьи... за всех-то за нас, холодных бобылок...

Пока она говорила, глаза у нее были сухие, но едва Захар бережно обнял ее и прижался к ее щеке губами, плечи ее задрожали, и тогда он, подчиняясь какой-то невыносимой минуте, быстро, сильно и горячо поцеловал ее в мокрые от слез, солоноватые губы. Затем они некоторое время стояли рядом, и Захар поддерживал ее, полуобнимая за плечи, и смотрел куда-то поверх голов, но притихшие бабы тут же зашумели, к Захару подошла Стешка Бобок, молча обняла и поцеловала его, а там протиснулась и Варечка Черная, протянула руку.

— Дай хоть поглядеть на тебя, Тарасыч,— сказала она и посетовала: — Ах, горюшко ты наше, ты же совсем седой, Тарасыч... А я тебя все таким, как на войну уходил, помню...

Захар ничего не ответил ей, он увидел торопливо подходившего Фому Куделина, за ним Володьку Рыжего, они торопились к нему, постаревшие, с оживленными лицами.

— Захар, в самом деле Захар,— сказал, удивляясь, Фома Куделин, и они, помедлив мгновение, обнялись, затем Фома сердито заморгал на Варечку Черную, отвернулся в сторону и быстро провел тыльной стороной ладони по глазам.— Эк, черт! — крякнул он недовольно и опять увидел перед собой Варечку Черную.— Ну, чего уставилась? — сердито покраснел он.— Вам, бабам, этого не понять, у вас разное другое устройство. Природа! А! — махнул он рукой, опасаясь, что с языка в расстройстве чувств при ребятишках может сорваться что-либо непотребное. Захар обнялся и с Володькой Рыжим, которого не сразу и узнал, а там и пошло. Подвернул на телеге проезжавший мимо в поле, в бригаду, с какими-то запчастями, Иван Емельянов, спрыгнул, прихрамывая на своей деревяшке, долго тряс руку, подошел, скрывая любопытство, нынешний густищинский председатель — Дмитрий Сергеевич Волков, а если запросто — Митька-партизан, поздоровался, отошел в сторон-

ку; Захар плохо помнил его, до войны он был совсем зеленым, а теперь вошел в самую силу, выгоревшая добела пропыленная рубаха на широких плечах трещала. Подходили еще люди, многие по дороге на работу, с граблями и вилами, но затем все словно расступились, и Захар увидел своего крестного, идущего к нему медленно, с помощью толстой, суковатой палки; Игнат Кузьмич шел, глядя на него, и Захар окончательно растерялся, крякнул, двинулся навстречу, совершенно ничего не разбирая перед собой и смутно видя лишь одну приближающуюся, неясную фигуру.

— Ах, Захарка, Захарка,— сказал крестный, обнимая его; Захар тоже обхватил его за худые, слабые плечи; крестный был уже совсем старик. Захар близко глянул Игнату Кузьмичу в лицо, и тот, внезапно всхлипнув, притянул голову Захара к себе, и они крепко, трижды расцеловались. От этого Игнат Кузьмич совсем ослабел и, скрывая свою немощь, опираясь на палку, проковылял к скамейке, сел рядом с Васей, все еще не замечая никого, кроме Захара, вокруг.— Видишь, крестничек, хвораю я,— посетовал Игнат Кузьмич, отдышавшись.— Не думал тебя увидеть, а поминал, все поминал... Ну, да теперь вроде сразу помолодел... теперь и хорошо. Ты совсем к нам?

— Не знаю,— сказал Захар, помедлив.— Может, и совсем. Тоже притомился я, крестный, от этой жизни.

— Ты еще в силе, тебе рано.— Игнат Кузьмич откровенно радовался Захару, и даже глаза у него переменились, слегка заиграли.— На то и человек, жизнь по нему колотит-колотит, а он себе идет да идет. Ты вот воздуху родного хлебнешь, перепелиный бой на зорьке послушаешь... в поля пройдешься — все как рукой снимет. Эх, бродяга ты, бродяга беспутный! — Игнат Кузьмич потряс палкой у себя перед лицом.— Бить тебя некому!

Игнат Кузьмич говорил и говорил, и людей вокруг становилось все больше; Захар с кем-то здоровался, кому-то что-то отвечал... Вначале ему было неловко и трудно, но затем что-то привычное и родное охватило его, и он уже не чувствовал никакой неловкости; наоборот, он, может быть, только теперь полной мерой понял, что за война прокатилась по земле; из редких писем от Егора, от крестного он знал, кто вернулся домой, кто пропал, но все это было не то. Именно сейчас он увидел в один момент, что сделала с людьми война; он подумал,

что уже никогда не увидит ни Харитона Антипова, ни Юрки Левши, ни Микиты Бобка, ни отца и братьев Мани, ни своего старшего сына Ивана, не увидит еще многих и многих знакомых с детства людей... Крепко, намертво был он связан сердцем вот с этим клочком земли.

Игнат Кузьмич давно уже приглядывался к съежившемуся рядом на скамейке Васе, затем поднял глаза и спросил:

— Это что, Манин меньшенький?

Захар молча кивнул, ему не хотелось сейчас говорить именно об этом, но он тотчас подумал, что в Густищах знают все и лучше один раз выпить отраву сразу до дна, но тот же Игнат Кузьмич, чувствуя неловкость за свой вопрос, перескочил на другое:

— Эх, Захарка, помнишь, как начинал ты председательствовать? Плохо у нас, крестничек, один разор...

— Что так? — уронил Захар довольно безразлично.

— Да что, так от войны и не поднялись...

Вокруг заговорили, и бабы стали жаловаться, трясти юбками, показывая грубые заплаты, и Захар все больше и больше хмурился; ему припомнился приход Макашина и разговор с ним; сжав зубы, он молча слушал. «Что он мог сказать им и что сделать? Если уж свою жизнь не мог хоть как-нибудь выровнять, что хорошего мог он посоветовать другим? Зачем они ему это говорят, чего ждут? — думал он.— Или в самом деле прав Федька Макашин?»

Обострившимся взглядом Захар как бы охватил сразу всех вокруг, охватил и тут же внутренне погас, но и эта на мгновение вспыхнувшая искра заставила сердце забиться сильнее. «Нет,— сказал он себе,— хватит, дураков больше нет и не будет. К чему ему на старости лет эта каша? Уж ему-то корить себя не за что, все, что мог, отдал, выжал из себя, одна труха осталась от жизни. Вот чудеса,— удивился он, еще раз обегая глазами толпившихся вокруг него людей.— Вот как оно получается... Я-то, как раздавленный червяк, полз сюда, тепла искал, а оно вон как... Они тут меня другого помнят, им свое подавай...»

Бабы все говорили и говорили, жаловались на жизнь и порядки, их становилось все больше, а переросшие девки, те, кого война тоже напрочь обездолила, держались подальше. Их Захар уже и не знал, но он сейчас видел цепко, как в молодости, по каким-

то одному ему ведомым приметам угадывая породу, отца с матерью и даже деда с бабкой. Почему так? Сейчас бы за всех за них он пошел и принял любую, пусть самую лютую, смерть.

— Эх, бабы, бабы,— сказал он, сдерживая волнение и оттого особенно задушевно,— ничего я не знаю, но кое-что скажу.— Он медленно и пристально обвел загоревшимся взглядом застывшие перед ним лица, которые вдруг, дробясь и колыхнувшись, словно сошлись в одно большое, неясное лицо с пристальными знакомыми глазами; он мотнул головой, отгоняя наваждение.

— Ну? — словно выдохнула одной общей грудью толпа перед ним.— Говори, говори, черт, не тяни!

— Только земля нас, бабы, спасет... Земля! Рожать вам надо больше, бабы,— смеясь и оттого неожиданно молодея, сказал Захар громко и махнул ошарашенно качнувшейся толпе.— Вот в том и спасение и нам, и земле... Рожать!

— Тю! — не дали ему договорить.— Ты никак, Захар, на лесоповале голову надсадил!

— Рожать больше! От кого родишь, от общественного бугая? — Захар не узнал звонкого и задорного голоса, заглушенного долго не утихавшим общим хохотом.

— На все село десяток мужиков остался, да и те от самогонки как выложенные ходят. Хоть мордой его тычь, хоть...

Хохот и гвалт опять покрыли последние слова, и из общего охватившего баб веселья выплеснулся чей-то стонущий от забавы и удовольствия голос:

— Ох, тут и тебя, Захар, жеребца сивого, на всех не хватит! Не справишься с такой непосильной пятилеткой, враз ноги по лавке протянешь!

И опять Захар не узнал, кто говорит.

— Срам, срам,— тихонько перекрестилась Варечка Черная, но Захар отчетливо слышал каждое ее слово.— Думали, в чужих-то землях мозгов набрался, а он последние растерял... И что только мелет, тут роженых не накормишь как след...

— Молчи, Варвара, ты все такая же поперечная, вижу,— сказал ей Захар, в его голосе по-прежнему держалась теплота.— Раз нет в селе детей, значит, нет в нем и жизни. Конец подходит. За все утро трех или четырех малых ребятенков всего и увидел. Это как? Вы что, на погост всем миром задумали? Рожать, бабы, надо, назло всему рожать, а от кого... Ишь разборчивые

какие! — улыбнулся он.— Захочешь, найдешь от кого, только не привередничай! Не по времени!

Опять всплеснулся над толпой гул и смех, и что-то опало в душе Захара. Какой он им учитель, этим людям, прошедшим все, что только выпадает на долю человека? Сам-то он кто таков, чтобы учить? Народ зря рожать не перестанет, значит, почему-то так надо. И от этой мысли он холодно, одними глазами, усмехнулся, насильно прихлопывая тяжелой крышкой поднимавшееся тепло. Никто, кроме Игната Кузьмича, ничего не заметил, но тот истолковал это по-своему.

— Знаешь, крестный, что об этом говорить, видишь, как меня подчас заносит на стремя.— Захар махнул рукой.— Что было, не вернешь, а что будет — посмотрим.

— Эй, люди, что вы, в самом деле, нюни-то развесили? — внезапно загорячился Фома Куделин.— Человек с дороги, сто лет на родине не был, а его сразу обухом по голове. Ну, деревня, ну, народ! Куда это годится? Мужиков им нету! Да вы к моему зятю вон, Кешке Алдонину, он вас, как пулемет, всех подряд заминирует да еще сразу на три ступеньки! Природа!

Захар недоуменно оглянулся, такого обвального хохота он уже давно не слышал, и даже бабка Чертычиха перегнулась пополам, а затем долго держалась за грудь, стараясь отдышаться. Володька Рыжий, заметив недоумение Захара, пододвинулся ближе.

— Зять у Фомы появился со стороны откуда-то, Алдонин по фамилии, трактористом в МТС работает. На старшей его, Танюхе, женился. Так она сразу тройней бабахнула. А характер — сам черт ногу сломит, не разберется! Фома! Фома! Ты расскажи, какую он тебе печку сложил! Го-го-го! — заржал Володька Рыжий, не выдержав спокойного тона.

— Печку?

— Печку! Ну и что печку? — загорячился Фома.— Хоть и затейливый мужик, да веселый, а я таких уважаю, нахохочешься с таким от души. Попросил я его, понимаешь, Захар, печку переложить, свод провалился, Кешу то есть, зятя своего. На все руки мастер, хоть печку тебе, хоть рамы или дверь, по железу работает, аж только диву даешься. Правду говорят, одному бог с избытком, а у другого хоть шаром покати... Да вон погляди, тройку какую с самого начала смастерил,— кивнул Фома на стоявших чуть в стороне от толпы

внуков, мальчишек лет по пяти,— как колодки на один номер. Природа! Ну так, вот, говорю, переложи ты мне, Кеша, печку, а то, говорю, хата сгорит. Ну ладно, говорит, папаш, он меня папашей зовет, ладно, выдастся время, переложу. Ну, я кирпичу, глины завез, завтра, говорю бабе своей Нюрке, с утра Кешка-то обещался, ты там позавтракать чего-нибудь сообрази да и это самое... по стакану, так, для разминки. А ты их, баб,— покосился Фома по сторонам,— сам знаешь, уперлась, чертяка, и все. «Вот, говорит, сделайте, тогда хоть ведро, а с утра ничего!» Зауросилась — и все. А Кешка, зять-то, смеется. «Ох,— говорит,— теща, пожалеешь!» С тем и за работу. Сложил такую печку, прямо красна девка в хату вбежала. А сам все что-то посмеивается да посмеивается. Ну ничего, обошлось, хороша получилась, и тяга куда тебе, с маком, чуть-чуть дровец подбросишь — под так и полыхает! Баба не нарадуется. А потом и пошло черт знает что! Видать, просохла или еще как, только началась всякая жуть. Как чуть-чуть ветерок шевельнется, завыло на все лады на потолке, в темноте люди мимо хаты стали бояться ходить. Особливо зимой, в сильный ветер. Нюрка, баба-то моя, хотела даже за попом ехать, чтоб хату освятить. А Кешка, зять, ходит да посмеивается. «Я тебе,— говорит,— теща, и без попа нечистую силу выгоню, ставь нам с папашей ведро самогонки, как обещалась». Та туда, сюда, повертелась, а куда деваться? Воет и воет проклятая хата, аж подчас самому не по себе сделается. А он, Кешка, взял ведро с глиной, забрался на потолок, что-то там помудрил, слазит оттудова, и как рукой все сняло. А мне тайком от Нюрки две бутылки без донышков показывает, он их куда-то в трубу замостырил. Ну, говорю, ты и жох парень, такую бедовую бабу, как свою тещу, всю зиму в страхе продержал! «Зато,— говорит,— в другой раз податливей будет», смеется...

— Гляди, расходился, Фома,— неодобрительно поджимая и без того тонкие губы, сказала Чертычиха.— Нашел чем хвалиться-то! И сам ты такой же басурман. Тебе что в кладовой-то? Там на мышек кинешь, там на утруску, гляди, сыт, да и выпить останется... Сам знаешь, тот не грешит, кто в матушке землице лежит.

— Ты, бабка, не лезла бы со своими зловредностями в серьезный разговор,— загорячился Фома.— На свете еще не бывало человека без твоего напрасного поклепа, природа! Вон нá тебе мои ключи, бери, иди на склад.

Иди, иди, погляди, там и мышиного помета не осталось, не то что зерна... Ну, иди! Все знают, я и ягненка не обижу, у нас вся порода такая...

— Как же, порода! Как увидел, так и проглотил.— Бабка отмахнулась от Фомы, еще больше поджала губы, всем выражением своего лица показывая, что она не верит ни одному слову Фомы и что если в амбаре ничего нет, то это не значит, что Фома ангел бессребреник, и при этом у Чертычихи без всяческих слов все это получилось в такой степени убедительно, что Фома только возмущенно плюнул себе под ноги.

В этот момент и появилась дурочка Феклуша, проскользнула между теснившимися людьми и остановилась перед Захаром; на первый взгляд она мало постарела, но это впечатление было от ее все того же детского, ясного взгляда; Захар видел морщины у нее на лице, и особенно выделялись они у самых губ.

— Здравствуй, Феклуша. Узнаешь? — спросил Захар, и она не отрывала от него глаз, все так же широко открытых, чему-то однажды и навсегда удивленных; какой-то бессмысленный зеленый и теплый свет сеялся в них.

— Прилетел, соколик, прилетел,родненький,—сказала она.— Ты лучше помолись, матерь божья милостивица... Помолись, помолись...

Старухи оживленно переглянулись; Варечка Черная придвинулась ближе, чтобы не упустить ни одного слова, но Феклуша уже потеряла всякий интерес к Захару и, блуждая взглядом вокруг, остановилась на лице Васи, тотчас и направилась к нему, сделает шаг, остановится и рассматривает, опять шагнет и опять смотрит. Захар заметил, как Вася, сидевший до сих пор неподвижно, боязливо сложив руки на коленях, стараясь как-нибудь не пошевелиться, открыто улыбнулся навстречу Феклуше, как-то словно весь потянулся к ней.

Феклуша пододвинулась еще ближе, опустилась перед мальцом на корточки. Вася все с той же внезапной открытостью смотрел на нее.

— Глянь, птенчик из гнезда вывалился,— пробормотала Феклуша.— Весь как есть голенький, один пушок на темечке...

Она замолчала, и было такое ощущение, что она старается что-то припомнить; принужденно усмехаясь, шагнув к ней, Захар прикоснулся к ее худому плечу.

— Встань, Феклуша, вставай, чего ты перед ним квочкой-то? — попросил он.

Феклуша закивала головой, легко вскочила, порылась в глубоком кармане юбки и стала совать Васе что-то замотанное в грязную тряпицу.

— Возьми, возьми,— сказала она, когда Вася сначала протянул, затем отдернул руку.— Они сладкие.

Диковато кося глазами, Феклуша повернулась и побежала.

16

На народе Ефросинья ничем не проявила себя, держалась, словно бы ничего и не случилось; бабы, переглядываясь и покачивая головами, лишь ахали про себя. Но вечером, когда летние краски быстро и ярко отполыхали, над низинами стал прозрачно куриться туман и пастухи пригнали отяжелевших, сытых коров, лениво обмахивающих с себя лесное комарье, что-то нехорошее шевельнулось в ее душе. Словно кто-то взял и безжалостно полоснул тупым ножом, даже в голову ударило; она как раз доила корову и едва-едва смогла перевести дух.

— Господи, помилуй,— сказала она испуганно, ослабевшими руками вяло выцеживая из теплого большого вымени остатки молока; Милка, словно ей передалось состояние хозяйки, нервно переступила всеми четырьмя ногами, завернула голову назад и, шевеля ушами, поглядывала на Ефросинью.— Стой, стой, Милка,— шепотом попросила Ефросинья.— Стой, всякое видели, не пропали...

Она кончила доить корову, загнала ее в сарай, заперла дверь; молоко она не стала цедить, поставила его на лавку прямо в доенке, крадучись, словно собиралась сделать что-то нехорошее, выскользнула на улицу. Кое-где уже начинали слабо просвечивать первые звезды, по всему селу слышались ребячья возня и прочие привычные шумы и звуки, скрип журавля у колодца, запоздавший стук топора, рычание трактора. Ефросинья затаилась у изгороди своего сада, под размашистым кустом медвяно пахшей в самом цвету акации. Она не могла понять, что такое нахлынуло на нее, она вроде ни о чем сейчас и не думала — ни о Захаре, ни о себе, просто что-то непосильное, то, чего она ясно не понимала, надвину-

лось, подмяло ее, и ей хотелось забиться куда-нибудь подальше, переждать в безлюдье, но она хорошо знала, что именно в одиночестве она не выдержит. Задавленно всхлипнув, она сжалась, проезжавшая мимо машина ослепила ее, и она еще сильнее подалась назад, в куст, прикрыла веткой лицо. Машина проскочила, и она запоздало сообразила, что никто ее здесь увидеть не может, да никому она и не нужна, просто страх перед самой собою гонит ее.

Крадучись она перебежала улицу, постучала в окно Варечке Черной; та тотчас вышла на улицу, тихонько позвала:

— Эй, кто там?

— Я это, Варвара,— отозвалась Ефросинья.— Можно?

— Заходи, заходи, Фрось,— заспешила Варечка,— посумерничаем... Надо ж тебе, какая оказия... не было его, не было, взял и явился на диво, глазами-то стрижет, стрижет. Ах ты господи! — охала и вздыхала Варечка Черная, суетясь вокруг Ефросиньи, присевшей в уголок на лавку.— Фрось, чайку тебе плеснуть? Хороший, мятой да корнем шиповника заваривала, полкружечки выпьешь, все нутро отпустит... Выпей, Фрось, выпей,— совала она ей в руки помятую немецкую алюминиевую кружку.

Ефросинья взяла, машинально хлебнула душистого травяного настоя, поставила кружку рядом с собою на лавку.

— Тяжко мне, Варвара,— сказала она внезапно, сдвигая платок с головы на плечи.— Ох, тяжко... Жила себе, горя не знала, надо ж тебе, принесло проклятого... Ох, тяжко, моченьки моей нет!

— Фрось, Фрось! Да ты что? — еще больше засуетилась вокруг нее Варвара, которой было в высшей степени лестно, что Ефросинья пришла именно к ней поделиться своей бедой.— Ты, Фрось, на бога гляди, на бога! — Варечка быстро, со страстью повернулась к иконам, истово перекрестилась.— Сам терпел и нам велел. Господи, защити и помилуй...

Ефросинья, привалившись к стене, неподвижно глядела перед собой и почти не слышала слов Варечки; тусклый свет семилинейной керосиновой лампы, зажженной Варечкой ради такого случая, разбудил мух, и они сонно, лениво зажужжали. Только сейчас Ефросинью охватило досадное, горькое изумление. «Как

же,— говорила она,— на́ тебе, в самом деле явился! Захотелось ему, горло перехватило, сразу вспомнил дорогу назад, небось и не подумал, каково ей после всего увидеть его; как всегда, только о своем, только о себе! Да еще и Манькиного подзаборника приволок. Ты, мол, все одно дура, обстирывай, корми! Больше десяти лет дома не было, а приперло, явился, принимай, Ефросинья! Принимай! Принимай! — отдалось где-то глубоко в ней глухой болью.— Да у меня тоже душа есть, я тоже не каменная, живая! Все ему да его детям отдала, все разграбил да пожег, как самый последний бандит, одни головешки после себя оставил. Нет, не приму! Не приму! Теперь недолго осталось, теперь и без мужика дотяну как-нибудь, раз уж такая мне бабья доля, завтра утром скажу, пусть приискивает себе жилье. И Егору в это дело мешаться не дам... Молчи, скажу, не твое это сопатое дело, вот когда на вольную жизнь пойдешь, там и распоряжайся. Не приму, нет, не приму!» — твердила Ефросинья, потому что где-то в ней ныла, никак не хотела окончательно погаснуть слабая искорка совсем другой природы; от нее-то и шла вся мука Ефросиньи. Как бы решительно ни настраивала она себя, а вот блеснет такая искорка — и тотчас все рушилось, все приходилось начинать сызнова. «Было ведь и хорошее у нее с Захаром, да еще сколько было,— кричал в ней кто-то неведомый, супротивный,— все было хорошо, пока не перебежала дорогу эта бесстыдница Манька Поливанова, после войны Захар ведь не ее, а тебя первую к себе звал... Сама не поехала, а мужик что ж, мужику без бабы долго не вытерпеть, порода у него такая».

Ушедшая глубоко в свое Ефросинья не заметила, как рядом с нею оказались соседки, одна, и другая, и третья, проскальзывали в дверь, неприметно жалостливо вздыхали, бесшумно рассаживались по лавкам, и скоро собралось человек десять. Тут были все свои, и Стешка Бобок с пухнувшими после голодных послевоенных лет ногами, и Нюрка Куделина, и неразлучные бабки Чертычиха с Салтычихой, и Митьки-партизана баба, Анюта, которую Варечка перехватила по дороге, сказав ей, что Ефросинье Дерюгиной худо, и еще несколько человек помоложе, и старуха Разинова, и баба тракториста Ивана Емельянова, в третий раз после войны беременная, но по-девичьи румяная на лицо, и всегда молчаливая Прасковья, вдова Харитона Анти-

пова. И уже совсем слабой тенью проскользнула в избу Феклуша, обвела всех детским, ясным взглядом, затем завороженно уставилась на огонек в лампе. Все были свои и, словно почувствовав ее, Ефросиньи, беспредельное одиночество, не зная, как его разделить, молчали и ждали. Феклуша сразу определила психический центр напряжения и, оторвавшись от лампы, не обращая ни на кого внимания и не видя никого, прошла прямо к Ефросинье, постояла перед нею недвижно, погладила ее по плечу и опустилась у ее ног прямо на пол, поджав под себя ноги. Ефросинья никак не могла выбраться из своего забытья, но ее рука, как бы сама собой, легла на простоволосую голову Феклуши и както машинально стала приглаживать ее спутанные, выгоревшие от солнца и ветра волосы. Феклуша сидела и улыбалась, закрыв глаза, редко ей приходилось довольствоваться даже такой скупой лаской. Кто-то из баб, наблюдая за этой сценой, не выдержал, тихонько всхлипнул, и в лице Феклуши тотчас плеснулся испуг; рука Ефросиньи замерла.

Феклуша что-то неразборчиво пробормотала, что-то про луг да холодную росу, и ее слабый голос заставил всех еще больше притихнуть; у Ефросиньи сжалось и замерло внутри от боли, и какой-то обессиливающий, жаркий туман обвил голову. Это голосом Феклуши вроде бы сама она заговорила, это все были ее, те самые, жгущие изнутри слова, они никак не могли прорваться, а прорвались чужим голосом. Сдерживая боль в сердце, она быстро наклонилась и жарко поцеловала Феклушу в голову раз и другой.

— Феклуша, Феклуша, встань,— стала теребить ее Ефросинья.— Встань, милая, встань! Я тебе ботинки куплю... и платок. В первый же базар куплю. Душу ты мне прожгла... Феклуша, Феклуша, стой! Куда ты?

Но как нельзя было бы минутой раньше заставить Феклушу уйти, так нельзя было теперь удержать ее; одним легким движением, словно тень, она проскользнула в дверь и растаяла в ночи; никто не успел и опомниться. Но Феклуша как бы связала Ефросинью со всеми, кто набился в избу к Варечке Черной, Ефросинья опять окинула взглядом собравшихся вокруг нее баб.

— Бабы... бабы...— сказала она, обводя всех заблестевшими глазами.— Бабы, а бабы, что бы это такое сделать? — спросила она с новой, незнакомой силой в голосе.— Что бы мне такое сделать, чтобы все на свете

забыть? А, бабы? Вся-то моя жизнь на ладошке, вот, глядите, глядите! — потребовала она, вытянув перед собой и расправив большую, тяжелую, задубевшую в вечной работе ладонь, все собравшиеся глядели пристально на нее.— Что бы мне такое сделать, бабы? Ох, тяжко мне, бабы, ох, тяжко... Варвара, дай хлебнуть водицы, ох, скорей, Варвара, не могу, внутри жжет...

— Фрось, вот уж не думала, что тебя так-то пронять можно,— стала уговаривать ее Нюрка Куделина.— Эх, бабы, лучше бы хлебнуть ей водицы-то из-под бешеной коровки... Что это мы стоим? А ну, волоки сюда что у кого найдется... Одним мужикам, что ль?

И таково было настроение собравшихся, что никто не удивился, словно только и ждали этого приказа; через несколько минут раскрасневшиеся бабы уже суетились вокруг выдвинутого на середину стола. Появилось несколько бутылок подкрашенной вишнями самогонки, сало, молодой лук, редиска, квас, кто-то приволок кувшин браги, Варечка Черная выставила на стол сырые яйца в глиняной миске и затем, всполошившись, стала торопливо занавешивать окна.

— Правильно, Варвара! — одобрила ее действия Нюрка Куделина.— Пронюхают — от них, от чертова мужичья, не отобьешься! Лучше, гляди, занавешивай...

— И то, и то! — согласно кивала Варвара, стараясь не оставлять малейшей щелочки.— Чтоб их и духу поганого тут не было!

— Садись, садись, бабы! Хватит! — поторопила Ефросинья, разливая самогон в стаканы.— Эх, давайте за нашу, за бабью долю распроклятую! Ну!

С шумом двигая лавками и табуретами, бабы расселись кругом стола, разобрали стаканы и в общей тишине, словно еще прислушиваясь к отзвучавшим словам Ефросиньи, дружно выпили, и Нюрка Куделина до того разволновалась, что повернула стакан, поцеловала его в донышко и, размахнувшись, хватила им о стенку; посыпались осколки, а Варечка Черная вскрикнула от испуга.

— Тю-ю, окаянная! — крикнула она.— Да этак-то кто ж на тебя стаканов напасется?

— Ладно, Варвара! Не жалей! — отмахнулась Нюрка.— Я тебе свой принесу! Эх! Эх! Заразила ты нас всех, Ефросинья, тоской. Ох, в грудях зашлось, ой, бабы, квасу, квасу скорей! — Нюрка подхватилась, жадно выпила кружку квасу и под общий смех опять уселась на

свое место.— Крепкая чья-то попалась, прямо первак! Все нутро сожгло!

— Налей еще, бабы, налей! — поторопила Ефросинья, с трудом сдерживая какое-то пробивающееся изнутри нетерпение.— Ну вот, вы сидите тут, только у двоих из десяти муж и остался. Да вот теперь Захар Дерюгин прибился. Давайте, бабы, вместе решать, что ж мне с ним делать, с Захаром-то Дерюгиным, бывшим моим разлюбезным муженьком? Ну, бабы, решайте, что?

— Господь с тобой, Ефросинья! Окстись! Окстись! — заохала, замахала на нее руками Варвара.— Кто за тебя такое-то дело порешить должон?

— А вот так, как вы решите, так и будет.— Голос Ефросиньи окреп, построжал, и какое-то торжественное отчаяние прозвучало в нем.— Сами знаете, всякую ягодку в руки берут, да не всякую в рот кладут. Вот как решите, так и будет — и все! Давай, бабы, давай еще выпьем и решим! Ну, с богом!

Бабы опять зашумели, выпили и, каждая на свой лад, задумались; каждая из этих женщин сейчас прикинула жизнь к себе, и каждая, разумеется, по-своему; почему-то никто не хотел говорить. Сама Ефросинья, подпав под общую минуту, тоже сидела молча, нахмурившись, и жизнь, с тех пор как она помнила себя, вновь проносилась в ней. Она не могла остановить этот захлестывающий ее поток, волны вздымались все выше, мутные, стремительные. Оказывается, много было всего, очень много, она подавленно и растерянно прислушивалась к обрушивающемуся в ней обвалу из каких-то обрывков воспоминаний, из рождений и смертей, безвозвратных потерь и редких светлых минут радости и света; никак и в голову не могло взбрести, что может уместиться столько в одной-то жизни... Если взвалить все это разом на себя, тут тебе и конец, раздавит, и охнуть не успеешь. А вот одно за другим — и ничего, тянет свою лямку человек потихоньку, вроде так и надо. И сейчас не Захар, опять вынырнувший на ее дороге, и даже не с ним будущие отношения, которые хочешь не хочешь, а придется решать и определять, мучили Ефросинью, а то, что она и на людях, среди подруг, вроде бы была совершенно одна, словно оказалась где-нибудь в глухом месте, за сто верст во все стороны ни жилья, ни человеческого голоса.

В это время Стешка Бобок, подперев щеку ладонью

и глядя перед собой немигающими, начавшими выцветать глазами, тихо сказала:

— Мой бы Микита счас заявился, я его хоть какого бы приняла, хоть кругом грешного, хоть безногого. Ой, бабоньки, ой, муторно одной! Дети-то разлетятся, будешь горелой головешкой, ни дыму, ни жару. Ты, Ефросинья, с горячей головы не кидайся в омут... Подожди, погляди...

— Хочешь, Стеша, я его к тебе пришлю, может, ты с ним поладишь,— невесело засмеялась Ефросинья.— Стешка Бобкова, скажу, согласная, иди. Он мужик вроде еще ничего, откормишь, отмоешь...

— Чур тебе, чур тебе! — заругалась на нее Стешка Бобок.— Куда как выгвоздила, напридумала!

— А что? Все она правильно рассудила,— остановила ее Нюрка Куделина.— Блукал-блукал где-то, шатун сивый, а теперь заявился: нате вам, подперло! Сатана анафемский! Правильно, Ефросинья, гони его к Стеше, пусть она медку-то этого горького хлебнет!

— Тьфу, тьфу, бесстыдница! — опять заругалась Стешка Бобок, густо, и от самогонки, и от волнения, краснея. Бабки Чертычиха и Салтычиха одинаково дробненько и враз засмеялись.

— Да нешто он по своей-то воле, бабы? — спросила Анюта, с каким-то недоумением оглядывая знакомых и в то же время как-то по-новому открывшихся ей женщин.— Дорога человеку такая вышла. Звал же он тебя, тетка Ефросинья, все знают — звал. Сама не поехала.

— Не поехала,— согласилась Ефросинья.— Зачем ехать-то было? Постылой-то что ж навязываться? Не человек я или как?

— Ну, диво, бабы, диво,— протянула Стешка Бобок.— Детей кучу нажили по-постылому или как?

— Э, припомнила.— Нюрка Куделина вздохнула.—Она, жизня, на одном месте не бывает. Круть да верть, глядишь, и сама не знашь, что получилось, куда это тебя с наезженной дороги вытрясло.

— Нет, не приму я его, бабы,— сказала Ефросинья с еще больше построжавшими глазами и внезапно, прислушиваясь только к тому, что было в ней самой, тонким, жалобным, но чистым голосом, в котором билась, трепетала несказанная душевная расстроенность и от которого вздрогнули все сидящие за столом, затянула:

Из-за гор-горы вылетел орел,
Из-за хутора вылетел другой.
Один другого братом называл.
Ой, лелем-лелем!

Стешка Бобок моргнула, жалостливо скривила рот, всхлипнула и с изумленными глазами подхватила:

Скажи, брат-сокол, где ты летал?

Летал я, летал да за синим морем,—

тотчас быстро отозвалась Ефросинья, вся подавшись вперед в каком-то неудержимом и горьком откровении.

Скажи, брат-сокол, что там видел? —

спросила опять Стешка Бобок, словно бы сразу помолодевшая, и столько ожидания было в ее лице и в голосе, что Анюта, не отрываясь глядевшая на нее, почувствовала, как неудержимо ползут к сердцу слезы; никогда она еще не видела этих уже пожилых, на ее взгляд, женщин такими удивительными, никогда не слышала в них такого откровения.

— «Видал я, видал да зелено жито»,— отозвалась Ефросинья, полностью отдавшись песне, растворившись в ней, как в прохладной и чистой реке, безостановочно куда-то бегущей.

Как у том жите солдатик битый.
Он убит, убит, но не хоронен.
Прилетели к нему все три ласточки.
Все три ласточки слезно плакали.
Первая ласточка да родная мать,
Вторая ласточка да родная сестра,
Третья ласточка да его жена.
Где мать плакала — там река плыла,
Где сестра плакала — там криниченька,
Где жена плакала — там росы нема.
Ой, лелем-лелем!

Ефросинья окончила на такой сердечной ноте, что казалось, сама изба расступилась, опали стены, и далекий простор того самого синего, никогда не виданного ни одной из этих женщин моря, его дыхание охватило все вокруг,— никто и не подумал, отчего это хорошо, грустно и просторно стало на душе.

— Ох, Фрось, ох, Фрось! — забормотала бабка Чертычиха, вытирая слезы.— Знала я, была ты в девках

песенницей, да уж такого и я не слыхивала! Ох, Фрось, надсадила ты душеньку, ох, хорошо!

Ефросинья, еще не придя в себя, неуловимо подавшись вперед, сидела прямо и неподвижно, и лицо ее дрожало в слабой, неуверенной улыбке.

— Нет, нет, не нужен он мне,— покачала она головой, и приходившие в себя после песни женщины еще выпили, и когда в полночь Фома Куделин, привлеченный шумом и весельем в избе Варечки Черной, сунулся было туда в надежде присоединиться к непонятному, но обещающему многие выгоды событию, его тотчас выставили, и больше всех старалась его собственная жена.

— Тю-тю! — пробормотал Фома, неведомо как оказавшись за порогом и суетливо поправляя на себе пиджак.— Сбесились, ведьмы старые.

Он постоял в нерешительности, плюнул и побрел домой, а в это время у собравшихся женщин веселье достигло высшего накала, даже бабки Салтычиха и Чертычиха, тоненько охая, топали подламывающимися от выпитого ногами, пытаясь сплясать «барыню», и у Варечки Черной, тоже давшей себе волю, вылетели из головы все первоначальные мысли о греховности, и она на диво приятным голосом пела про кудрявую голову молодца Ванюшки, которая лежала у нее на подушке, и про то, какие у него жаркие и сладкие губы, а Прасковья Антипова вторила ей.

— Ой, ну! Ой, ну-ну! — хором подхватили женщины, и пламя в лампе от их голосов подскакивало.

Но в разгар веселья Ефросинья выбросила руки на стол, уронила на них голову и в наступившей тишине тоненьким, неожиданно чистым и звонким голосом запричитала:

— Да сыночек мой милый Ванечка! — выводила она.— Несчастная твоя головушка, сложил ты ее на дальней, чужой сторонушке! Был бы ты мне заступой, мой сыночек, и мое горюшко было бы меньше! Оставил ты меня, бедную, из матушки сырой земли нет ни выходцев, ни выплавцев, нет ни конного, ни пешего, ни письма нету, ни грамотки, никакой нету весточки! Как пойдут твои товарищи на веселое гуляньице, погляжу я из окошечка! Не могу я, горемычная, углядеть да сына милого. Ни в народе да ни в добрых людях, ни в друзьях-братьях-товарищах! Сыночек мой милый! Не придешь ты, мое дитятко, на родимую сторонушку, не рассудишь мое горюшко!

Теперь за столом уже все всхлипывали, терли глаза концами платков и боялись упустить хоть одно слово, и хотелось им обоорвать ее несказанную жалобу на свою долю, бабки Чертычиха и Салтычиха хлюпали вовсю, Анюта все пыталась проглотить трудный, застрявший в горле ком, а Варечка Черная тоненько, не скрываясь, голосила.

— Не могу я, мое дитятко, идти искать тебя да на чужую сторонушку. Я теперь, сыночек миленький, пристарелася, я теперь вся прихудалася с того горюшка великого, и меня не носят ноженьки...

Внезапно подняв голову, Ефросинья, пошатнувшись, встала. Не говоря ни слова, глядя куда-то мимо людей, словно их никого не было, она прошла к двери, и когда Варечка Черная хотела кинуться ей вслед, Прасковья Антипова, вытирая заплаканные, посветлевшие глаза, остановила ее.

Ефросинья вышла, было уже далеко за полночь, звезды пестрели по всему небу. Их острый, холодный свет проник в ее широко открытые глаза, и в ее душе что-то свершилось. Нигде не было ни огонька, и только одно из окон ее собственной избы слабо светилось. Она равнодушно, противоположной стороной улицы прошла мимо. Правда, здесь, на этом месте, родились дети, но они теперь выросли и им было не до нее, так уж испокон века устроено в жизни. Детям на нее в обиде быть не за что, все, что могла, сделала, дети теперь ни при чем. Другое что-то, никому не подсудное, не вмещающееся в душе, вело ее. На траве, на деревьях, на крышах успела устояться роса, густая, молочная, как изморозь, серая; иногда, отражая луч неведомой звезды, долетавшей из безмерных высот, какая-нибудь капля росы вспыхивала переливчатым холодным огнем. Мир даже в ночи был наполнен своим особым светом и движением, и оно втягивало в себя Ефросинью.

Не задерживаясь, она минула село, вышла к березам, помедлила и прямиком, через поле поднявшейся уже в колено ржи, вышла к озеру. Подол юбки отяжелел от росы, но Ефросинья ничего не замечала. Тихо и светло было теперь в ее сердце; подходя к озеру, она еще издали заметила, что и вода, и берега, поросшие ивняком, укутаны причудливо-волнистой шапкой тумана. Она знала эти места и могла бы идти здесь с закрытыми глазами; не раздумывая, она смело шагнула в туман, скрывший ее вначале до пояса, а затем туман

дошел ей и до плеч. Теперь ей казалось, что она плыла в молочной, прохладной реке, плыла туда, где не было и никогда не будет конца. И она знала это, и, обогнув озеро, вышла на его противоположный от села высокий берег, здесь росли редкие старые сосны. В этом месте даже сильные парни и мужики не решались купаться, говорили, что здесь самая глубокая пучина, чертов омут, и что еще никто, попадая здесь в воду, не оставался в живых; берег уходил вниз отвесным обрывом, и стоило ступить всего один шаг...

Ефросинья, хотя и не видела ни воды, ни берега из-за тумана, все так же достигавшего ее груди, теперь совершенно успокоилась; не отрываясь, она вглядывалась в густой туман над озером, но это был уже не туман для нее, а *нечто* такое, что означало завершение всему. «Что? Что же там? — подумала Ефросинья.— Бог? Опять мука? Опять жизнь? Этого нельзя, чтобы человек и там начинал все сначала». «Торопись! Торопись! Скорей!» — прозвучал другой голос в ней и отдался со всех сторон расплывчатым, размазанным эхом; она теперь видела, что туман над озером слегка шевелится, и почувствовала кожей лица слабый ветер. Она отмерила себе еще несколько мгновений, жадно вдохнула воздуха, невольно, чтобы уже не удержаться, напрягла ноги и отшатнулась назад; ее оттолкнули немо кричащие, полные ужаса глаза Аленки, ринувшиеся к ней откуда-то из самой толщи тумана, и этот немой крик родных, знакомых глаз остановил в ней кровь; тело задеревенело и не скоро стало оттаивать. «Господи, матерь божья,— непослушными губами шептала Ефросинья,— что ж это? Что ж это? Да никто и не узнает, с этого места никто и не выплывал, затянет куда-то вглубь — конец, никаких следов...»

И опять теплый, легкий ветерок коснулся лица Ефросиньи, она вздрагивающими руками поправила на себе платок. Она только теперь поняла, что этот, казалось бы, давно забытый мужик, отец ее детей, невесть откуда и зачем опять прибившийся к ее жизни, всегда был ее мукой, и что никогда она его не забывала, хотя и пыталась уверить в этом и себя, и других, и что единственное ее спасение и победа — броситься на этот зов из тумана, опять нараставший и нараставший в ней, в эту последнюю, заполнившую ее и уже начинавшую переливаться через края тьму. Она не могла больше уступить даже себе, даже ради детей и хоть всего света.

Дети теперь не пропадут, пусть и он живет себе, а над своей душой она больше измываться не даст, нельзя ей этого. Уж ей этого больше нельзя! Этим она и себя, свою бабью уступчивую натуру, окоротит, сразу для нее все кончится, и победит она и его, и себя в самом главном...

И опять наметила Ефросинья срок, стараясь думать только об одном, и опять то, что было сильнее ее воли, остановило ее; ее даже всю передернуло от муки. Она увидела рядом с собой дурочку Феклушу и теперь поняла, почему это ей пригрезились Аленкины глаза из тумана.

— Душа, ох, зашлась... Феклуша, ну чего тебе? — спросила она обессиленно и от досады заплакала.— Ну что вы меня мучите? Уходи, Феклуша, уходи...

— А я иду за тобой, Фрось, все иду, иду,— ласково говорила Феклуша, приближая свои всегда ясные глаза из тумана.— За ноги травка хватает, хватает... холодная. Звездочки кругом...

— Не страшно-то бродить тебе где попало? Да ты хоть спишь когда? — спросила Ефросинья, и Феклуша бессмысленно закивала, заулыбалась, погладила Ефросинью по плечу. Ефросинья от прикосновения ее доверчивой руки подобралась; какая-то целительная сила была в этой слабой, теплой руке.

— Куриная слепота цветет, Фрось, ой, много, все болота в солнышке...

И Ефросинья второй раз в эти невыносимые для нее сутки заплакала.

— Хочу я поговорить с тобой, Захар Тарасыч,— сказала Ефросинья наутро, выбрав момент, когда Вася вышел на улицу и они остались одни.— Отдохнул, отошел с дороги... Не малые мы дети... Мне с тобой рядом не масленица, если б не Егорка, и думать бы не стала.

— Значит уходить? — спросил тихо Захар, стараясь понять, что же появилось в Ефросинье нового за те долгие годы, пока они не видали друг друга.

— Твое дело, Захар Тарасович, уехать, остаться,— сказала Ефросинья.— Я тебя не гоню, сам выбирай. Только уж своими, как прежде, нам не стать. Хочешь — живи, а что люди будут говорить, это уж их дело, я привычная.— Какая-то тихая, странная улыбка тронула губы Ефросиньи, и она, взглянув на склоненную, густо поседевшую голову Захара, отвела глаза.

17

С неделю Захару не давали покоя густищинцы; приходили званые и незваные, сидели, расспрашивали, рассказывали и сами удивлялись; мужики являлись, прихватив с собой бутылку первака, вспоминали прошлое, толковали о жизни. Ефросинья готовилась потихоньку к проводам Егора в армию, присматривалась к Васе, тот тоже обвыкался в новой жизни; первые дни, хотя Ефросинья и пропадала на работе с утра до ночи, было тяжело, но и она и Захар теперь еще с большей отчетливостью понимали, что порознь им будет еще труднее.

Захар побывал на могиле у матери, у бабки Авдотьи, и долго бездумно сидел, вслушиваясь в немолчный шелест листвы на старых ракитах. Мать вместе со всеми провожала его на войну, но он не мог представить ее именно в тот самый момент. Но он хорошо помнил мать совсем молодой, в полушалке с красными цветами по желтому полю; она только что вернулась с ярмарки, разрумянившаяся, веселая, привезла ему большой тульский пряник: конь, и на коне богатырь в остроконечном шлеме.

Перед Захаром эта картина встала, как наяву, отчетливо; и какая-то прежняя легкость появилась в теле. Он чуть прикоснулся к траве, густо и сочно зеленевшей на могиле, словно бережно погладил ее, быстро встал и, не оглядываясь, пошел к селу.

И сам он, и особенно Ефросинья, знали, что нужен был какой-то особый толчок, чтобы сблизить их хоть до той степени, когда люди, оставаясь по-прежнему чужими, начинают понимать друг друга, а затем и привыкают. Ефросинья не торопила ни себя, ни его; она понимала, что Захару не так просто войти в размеренный, привычный круг, но было одно дело, которое тревожило Ефросинью, с ним нельзя было медлить. Сама она ничего не могла ни придумать, ни предпринять, и как-то вечером, когда они поужинали, решилась.

— Иди раздевайся, ложись, Васек,— сказала она, и мальчик, послушно кивнув, проскользнул в другую комнату, осторожно притворив за собою дверь. Пока Захар курил, Ефросинья убрала со стола, положила в печь дров для просушки, затем устало опустилась на лавку.— Слава богу, видать, сегодня никого не будет,—

сказала она, опасливо прислушиваясь.— Люди, люди, словом некогда перекинуться...

Захар покосился в ее сторону, стряхнул пепел.

— Хотела сказать тебе, Захар... с дочкой-то, с Аленкой, нехорошо...

Она помедлила, Захар по-прежнему молчал, у него по старой привычке, когда он был недоволен и сердился, сузились, стали острее глаза, но Ефросинья решила не отступаться, она наметила верную точку.

— Дело-то чудное,— продолжала она спокойно.— Не знаю, что там и как, откуда мне понять такие дела,— словно пожаловалась она.— Хочет она вроде расходиться со своим-то...

— А раньше о чем она думала? — спросил Захар, не скрывая недовольства; то, о чем он не хотел знать, спешило к нему помимо его желания, и он сразу понял, что здесь не отмолчишься.

— Не знаю, как ты, Захар, а я за Аленку, ох, боюсь,— сказала Ефросинья.— Не возьму ничего в толк... То, значит, хорош, а то сразу нехорош стал... Ну, не понимаю я, баба деревенская, может, не понимаю чего... да ведь как это так — жить-жить с человеком, а затем ни с того ни с сего — шасть к другому!

— К другому?

— Полюбила, говорит... у самой слезы... Так уж, видать, и полюбила, что плакать хочется... Господи, маленькие детки — заботы маленькие, вырастут...

— А он знает? Тихон-то?

— Тоже гусь хорош зятек-то наш. Надо было ее сразу с собой в эту Москву, хоть силой ее туда увезть, а теперь вот оно что получается. Молодую бабу одну оставил, экий дурень! Ох, горе, горе, сломит она себе голову... Споткнется, а там...

— Ну, а мы-то с тобой что можем сделать? — угрюмо спросил Захар.

— Что, ничего... Я уж с ней по-всякому говорила, разве послушает? Куда... ученая, вишь, доктор, выучилась на свою голову,— Ефросинья заволновалась,—совесть всякую забыла, человек ее на ноги поставил, брата выучил. Вот напасть! — Ефросинья, пытаясь выразить завладевшие ею мысли и сомнения, хотела еще что-то сказать и лишь безнадежно махнула рукой.— Вот что я думаю,— сказала она немного погодя.— Съездил бы в Холмск, поговорил. Заодно бы детей повидал...

От неожиданности Захар не нашелся, что ответить; он исподлобья глянул на Ефросинью, вынужденно расхохотался.

— Придумала шутку,— смог наконец он выговорить сквозь смех.— Здорово! Ни с того ни с сего заявился — и нате вам, в учителя! В самом деле, кого хочешь перепугаешь!

— А что ты зубы скалишь? Раз вернулся-то к родному месту, никуда от своей жизни не денешься,— нахмурилась Ефросинья.— Какой-никакой, отец...

— Вот-вот, какой-никакой...

Ефросинья не стала ничего больше говорить, и Захар замолчал, прислушался, в лампе потрескивал фитиль.

— Может, молочка парного выпьешь, Захар? — спросила Ефросинья.

— Не хочу, спасибо,— отказался он, не поднимая головы, видя перед собой утопленную в половую доску шляпку гвоздя и намеренно не решаясь оторваться от нее. Он почувствовал, что Ефросинья подошла и села рядом с ним; она тоже жалела, что завела трудный разговор.— Трудно, Фрося,— пожаловался он скупо и просто.— Видать, раз уж откололся, назад не приставишь.

— Значит, у тебя запас-то остался, раз трудно тебе,— сказала Ефросинья, поглядывая на его поредевшие, с проседью, волосы.— У кого силы больше нет, тому уже не трудно, тому все равно...

— А доживать как же? — спросил он.— Доживать-то надо...

— Надо,— согласилась она.— Доживем... доживем как-нибудь... Коли тебя бес какой не попутает... А с Аленкой что ж, может, оно еще и наладится. Хороший человек Тихон Иванович, что ж ей еще-то, дуре такой, надо? Ну, пятьдесят ему скоро, так и ей уже за тридцать... Жила бы себе... Как можно так-то вот, сразу, все порушить?

— Значит, можно,— тихо сказал Захар, задумываясь совершенно о другом — о Лукерье, матери Мани, встретившей его такими обидными словами. Теперь, когда все начинало слегка проступать, именно слова Лукерьи больнее всего ударили и никак не забывались, и он решил обязательно сходить к ней и поговорить.

Он пришел к Лукерье под вечер и, сильно пригнувшись, шагнул в тесную, низенькую избенку, добрую половину места в ней занимала печь. Лукерья сидела у подслеповатого оконца, щурясь, неловко тыкала толстой цыганской иглой в какое-то тряпье, увидев Захара, она перестала шить, приглядываясь, поморгала.

— Проходи, проходи, зятек,— пригласила она голосом далеко не приветливым, сама не трогаясь с места.— Проходи, садись, угостить тебя нечем... вот беда... Никаких тебе припасов, одни мыши кругом.

— Что там, Лукерья Митрофановна, я к тебе не за угощением,— сказал Захар, осматривая тесную избенку: головой он доставал до самого потолка и поспешил сесть.

Лукерья молчала, и Захару неловко было начинать разговор, он, сделав вид, что осматривается, пробежал взглядом по земляному полу, по столу, по приткнутой в уголке узкой, невысокой кровати, задержался на большом помятом самоваре, стоявшем у печи на зеленом ящике из-под немецких мин. Лукерья все так же ждала, лицо ее как-то одновременно стало и строже и жалче.

— Знаешь, Лукерья Митрофановна, ты вон меня какими словами повстречала, и сама, знаю, потом пожалела,— чуть улыбнулся Захар.— Вижу, вижу, ждала ты меня. Ну вот я и пришел... Я бы и без этого пришел...

— Я знаю, Захар, ты на меня, старую дуру, сердца не держи, одна она у меня и оставалась из всех детей. Внуки-то от Кирьяна да Митрия и те не уцелели, какой же это порядок, скажи, на свете?

— Много ты от меня хочешь, Лукерья Митрофановна,— вздохнул Захар.— Ничего я не знал и знать не хочу. Вот прибило к родной земле — и ладно, и хорошо...

— Ты себе в убыток сроду не скажешь, известно,— сердито глянула на него Лукерья и запнулась, опасаясь, как бы опять не наговорить лишнего; сильно ослабевшими под старость глазами она, словно боясь ошибиться, пытливо ощупывала его лицо.— Ты всегда говорить умел, Захар,— повторила она опять; ей было сейчас холодно и пусто и хотелось только одного, хотелось, чтобы ее больше не трогали. Жизнь не оставила ей никаких запасов, и даже на ненависть у нее не было теперь сил. И все представлялось ей одним нескончаемым, долгим сном, все куда-то летело, все было размыто до жуткости: Лукерья подчас уже не узнавала хорошо знакомых людей, и вот сейчас даже этот непутевый

Захар, от которого столько горя пришлось узнать, и тот уже был от нее как бы по ту сторону жизни.

— Ты, говорят, хозяина моего в плену видел? — спросила она, опуская шитье на колени, и какой-то интерес мелькнул у нее в глазах.

— Видел,— кивнул Захар, в свою очередь подчиняясь потребности уйти назад, подальше, туда, где, как ему казалось, было, несмотря на всяческие трудности и сложности, и легче, и проще; он понизил голос: — Спас меня от верной смерти Аким Макарович, хозяин твой... Все об Илюшке беспокоился, наказывал беречь...

Захар хотел добавить что-то еще, раскашлялся, полез было за папиросами, взглянул на низенький потолок.

— Кури, кури,— разрешила Лукерья, заметив его сомнение.— Кури, за сколько годов мужичий-то дух пойдет по хате...

— Если, говорит, доведется тебе, Захар, вернуться в село, старухе моей, Лукерье, поклонись,— сказал Захар, разминая в пальцах папиросу, поглядывая изредка на Лукерью, лицо которой становилось все осмысленнее и пытливей. Слабый луч интереса пробился в нем.

— Надо же тебе, вспомнил, значит.— Лукерья перекрестилась.— Вспомнил, старый...

— Вспомнил, Лукерья Митрофановна, вспомнил,—невольно торопясь, говорил Захар, в то же время стараясь быть как можно искреннее.— Да и как не вспомнить в том аду? Все так, жизнь у вас вместе прошла, вот и вспомнил, и про Кирьяна с Митрием много вспоминал, про Маню...

Захар говорил и говорил, нисколько не сомневаясь в правде своих слов; он видел сейчас перед собой лицо Акима Поливанова, слышал его сдержанный шепот об Илюшкиных конопатинах и сам верил всему, что говорил. Помедлив, он закурил и долго сидел молча, неведомый, тихий колокол словно ударил в сердце, раз, и другой, и третий. Уши застилал забытый звон, глаза дрогнули, расширились, застыли, забытая горечь тяжкой волной подступила к горлу. Он не хотел и не любил воспоминаний о концлагере; он не то чтобы стыдился их, но всякий раз, когда он думал об этом, подступали тошнота и озлобленность, и ему начинало казаться, что человек, в том числе и он сам,— это вообще самое несовершенное насекомое на земле, что после того, *что* ему пришлось увидеть и узнать, остается только отвернуться от всего

и постараться ничего не видеть и не слышать. Такие приступы были сильны, особенно первое время после войны, когда он жил один, без семьи, и тогда он сразу же начинал чувствовать слабость и, если было возможно, тут же ложился, натягивал себе на голову одеяло или фуфайку и лежал в непроницаемом мраке, пока не становилось легче. Придя к Лукерье, он опять нечаянно разбередил то больное и давнее, что вроде бы уже совсем отступило от него; Лукерья, ожившая от вести о своем старике, что-то говорила и говорила Захару, но он не слышал; черная пелена медленно наползла на него вновь, и он, сжав зубы, ждал. Его душил поднимавшийся стеной пепел, забивал рот и уши; мертвыми, остановившимися глазами он глядел на вьющуюся у ног поземку, слышал чей-то тревожный знакомый голос, несколько раз позвавший его; это был голос Мани; сделав над собой усилие, он потер глаза.

— Что? Какой мальчонка? — быстро переспросил он.— Что ты, Лукерья Митрофановна?

— Ты, говорю, отдал бы мне мальца, Захар... Илюшка — тот на своих ногах, мы с тобой ему в тягость,— со слезой попросила Лукерья.— А этот? Зачем тебе, мужику, чужой ребенок? А у меня, сам знаешь, никого... вот бы и росла рядом живая душа, гляди, я бы по-живому продохнула. Как раньше было...

Опустив голову, Захар сделал вид, что задумался; слова Лукерьи не понравились ему, и он не нашелся сразу, что ей ответить. Поглядывая на оживившуюся старуху, он старался сейчас понять, знает она или нет все до конца о Васе и говорила ли матери Маня, от кого у нее второй ребенок, и тотчас безошибочно понял, что она *все* знает, но ни она ему, ни он ей никогда ничего не скажет. «Знает, знает,— подумал он удовлетворенно.— Все знает, старая. Значит, Маня ей открылась тогда... вот отсюда и такой разговор».

— Мне он внук... своя кровь, ребенок чист и безгрешен... Порадуюсь хоть на него перед смертью... Хоть помру спокойно...

— Не справиться тебе с парнем, Лукерья Митрофановна,— осторожно, чтобы не обидеть, напомнил Захар,— его человеком надо сделать, тут я в ответе... Давай по-родственному, по-хорошему сразу и прикончим этот разговор, Лукерья Митрофановна. Сама подумай: куда тебе такая обуза? А я еще потяну... Успею мальчонку-то на дорогу поставить. Ты за него будь

спокойна... он мне больше других нужен, честно тебе говорю.

Он быстро взглянул на Лукерью и тотчас отвел глаза; собственные его слова были для него неожиданностью, истина была в них. Он высказал то, что давно копилось, но это было как откровение, оно проступало, все утвердительнее и резче, и Лукерья, словно не поверив ему, с раскрасневшимся от волнения лицом бросила на лавку шитье, но уже в следующий момент встала, смаргивая подступившие слезы, неловко придвинулась к Захару, прижала его голову к своей усохшей груди (Захар почувствовал легкую дрожь ее пахнущих какой-то летней, перестоявшей травой рук), внезапно поцеловала в затылок и несколько раз истово перекрестила.

— Господи, благослови тебя матерь божия, святая богородица,— шептала она еле слышно и все стараясь как бы поглубже заглянуть ему в глаза.— Ну, Захар... с тебя за одно это все грехи спадут. Меня от тебя страхом пришибло... господи... что ж такое?

— Не надо, не надо,— сказал он поспешно, и Лукерья, не сдерживаясь больше, села на свое место. Только в этот момент силой редкостного просветления души она поняла, что Захар знает, от кого у Мани второй ребенок и почему единственная ее дочь безоглядно пошла вот за этим сидевшим сейчас перед нею человеком, пошла до самого конца. И сердце Лукерьи окончательно отпустило перед таким таинством жизни, и она еще раз, теперь уже полностью, простила Захара.

— У меня бутылочка есть,— сказала она со сморщившимся от усилия быть спокойным лицом и знакомым Захару тихим светом в глазах.— Берегла, берегла, оно и пригодилось... Как чуяла что...

— Правильно берегла, в самый раз твоя захоронка,— одобрил он.— Давай, Лукерья Митрофановна, давай, давай...

— Ефросинью-то позовешь? — спросила еще она, роясь в запыленном сундучке и извлекая оттуда бутылку, заткнутую кукурузной кочерыжкой; она сказала это без всякого подвоха: по ее мнению, так должно было непременно быть.

— Можно и позвать,— опять согласился Захар.— Только знаешь, Лукерья Митрофановна, давай лучше с тобой вдвоем посидим... ничего, Ефросинья не обидится...

— Ну ладно, ладно.— Старуха опять понимающе глянула на него, захлопотала у стола, молодея от приятного, забытого давно дела.— А как жить-то, Захар, собираешься? Поди, трудно будет с мальцом? Здесь останешься, в колхозе, или назад укатишь?

— Видно будет,— не сразу отозвался он.— Здесь можно, уехать тоже можно... А-а, чего тут, Митрофановна, такому, как я, везде едино, хомут найдется.— Он пренебрежительно махнул рукой, усмехнулся.— Дураков работа любит. А мы об этом пока не будем думать... вот посидим с тобой, поговорим...

Он взял стакан из рук Лукерьи и, диковато подмигнув ей, одним махом выпил, отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и долго жевал.

— Хорошо, Лукерья Митрофановна,— сказал он тихо и, навалившись грудью на стол, негромко затянул:

Ой, Россия, ты Россия,
Мать российская земля...

Лукерья послушала немного, покивала, стала тереть глаза.

— Не смей, Митрофановна,— тотчас поднял он голову.— Не смей, слышишь, старая? Пусть лучше наши враги плачут, а мы не будем. Слышишь?

— Слышу, слышу, Захарушка,— нашла в себе силы прошептать старуха, зажимая губы концом платка.

18

Через несколько дней густищинцы провожали парней в армию. Их набралось одиннадцать человек, поспевших уже после войны, и они перед тем, как расстаться на время с привычной обстановкой и работой, с родными и соседями, с гулянками и приглянувшимися девчатами (один из них, оставшийся во время войны круглым сиротой, Павлик Селезнев, успел незадолго перед этим даже жениться), по давней, неистребимой традиции несколько дней гуляли то у родных, то собирались друг у друга по очереди на шумные и веселые вечеринки с гармошкой и танцами, а то и с недолгим застольем; Егор Дерюгин, к своим восемнадцати годам ставший чуть ли не на голову выше Ефросиньи и почти сравнявшийся в росте с Захаром, был молчалив, как-то застенчиво-ласков, и к нему липли девки старше его;

Ефросинье давно уже приходилось наиболее настырных из них, встретив где-нибудь случайно, а то и намеренно, с крестьянской, несколько простодушной и наивной хитростью, подстроив необходимую, по ее мнению, встречу, окорачивать, с одной же из самых назойливых преследовательниц Егора, двадцатисемилетней Зинкой Полетаевой, приходившейся какой-то дальней родственницей Володьке Рыжему, навязывающейся Егору почти принародно, не скрываясь, у Ефросиньи разгорелась самая настоящая война. Не девка и не баба, с острым, зовущим глазом, в теле ладная, эта Зинка была и в самом деле какая-то бесстыжая, дразнящая; хоть и в летах мужик проходит мимо, а все не удержится, оглянется с каким-то скрытным, а то и блудливо-бесовским ожиданием в лице. Ефросинья особенно усилила свою бдительность ко времени ухода Егора на службу, своими ушами услышав однажды, как Зинка не стесняясь зазывала Егора к себе домой, а когда он не согласился, с мягким грудным смехом пообещала ему вслед, что все равно он никуда от нее не денется, она, мол, не гордая и сама дорогу к нему в сад, во времянку, отыщет; Ефросинья даже охнула от возмущения, хотела обратиться за помощью к Захару, но, все обдумав и несколько успокоившись, махнула рукой и стала лишь к случаю, как бы ненароком, в присутствии Егора заводить хитрые разговоры, все повторяла, что у Кудрявцевых хороша девка поднимается, и работящая, и умная, не то что некоторые другие. Захар тихо усмехался при этом, Егор неудержимо краснел, так как тоже отлично понимал всю ее нехитрую дипломатию, и старался поскорее улизнуть из дома; молчаливо сочувствуя ему, Захар как-то сказал Ефросинье, чтобы она перестала парня изводить, все равно не получится так, как она хочет и думает, а будет так, как этому и определено быть по закону жизни; Ефросинья вначале рассердилась на него, расшумелась, хотя где-то в самой глубине, не признаваясь даже себе, знала, что он прав, можно и переусердствовать, просчитаться. У Егора свое молодое дело, куда уж ей соваться с советами, тут же утихала она, Зинка Полетаева известная выжига, в любом случае вывернется, а малый умный окажется, сам во всем разберется. Ну, а если нет...

Пока Ефросинья да и другие матери терзались подобными опасениями и мыслями, жизнь шла своим чередом, в Густищах далеко за полночь слышались песни, гулявшие парни до зари колесили по улицам

с гармошкой, подчас с такими частушками, что какая-нибудь слишком любопытная старушка, проснувшись и высунув голову из двери или из окна, чтобы самолично узнать, что творится на белом свете, потом долго плюется и крестится, вымаливая прощение за непотребную слабость и мирскую суету. Но так было всегда, испокон веков; парни *гуляли* по важному, государственному делу, оперились и отрывались теперь от родных корней, и по опыту густищинцы знали, что добрая половина из них навсегда потеряна для Густищ, и поэтому с какими-то понимающими и даже одобрительными улыбками относились к их чудачествам. А молодая фантазия разгоралась, и в одну из ночей у первого густищинского весельчака и затейника Кешки Алдонина, на тележном колесе, приделанном высоко на шесте над старой ракитой, росшей во дворе (вот уже второй год по неизвестной причине аисты, по-местному, по-густищински, «черногузы», селиться там не желали), оказалась каким-то образом Кешки же Алдонина знаменитая коза Томка, дающая, на зависть всем густищинским бабам, по шести литров молока в день, и, главное, животина, не облагаемая молочной и шерстяной податью. Крепко привязанная к колесу и вознесенная на немыслимую для нее высоту, с ловко стянутой, чтобы зря не шумела, обрывком веревки мордой, Томка испуганно поводила головой и глухо мычала; Нюрка Куделина, теща Алдонина, выйдя на заре на улицу, первой увидела такое диво и с захолонувшим от неожиданности духом долго присматривалась к козьей голове, четко прорезывающейся в свете зари, затем охнув, бросилась будить Фому. Через полчаса почти половина Густищ наблюдала, как Фома с зятем снимают шест с колесом и козой; из веселящейся толпы то и дело подавались всяческие советы, как лучше вызволить из беды, не причинив вреда, высокодойную скотину, на что Фома лишь отплевывался и зло шипел зятю, что не надо было обзаводиться проклятой тварью, что знал он о таком вот лихом позоре; Алдонин, как всегда, приветливо, с ехидцей усмехался, пытаясь вспомнить свою какую-либо промашку перед густищинскими новобранцами, так как это, несомненно, было дело их рук; а может, это была всего лишь безумная, злая удаль, и ломать голову нечего; взбрело кому-то в башку — и отчубучили.

Пока перепуганную, мелко дрожавшую козу, обсыпавшую под конец сверху Фому с зятем мелкими ореш-

ками, сняли, освободили от веревок, Варечка Черная, оказавшаяся, как всегда, в числе самых первых и заинтересованных наблюдателей, тотчас вспомнила, что и у нее была какая-то неладная ночь, что-то такое все мерещилось, и заторопилась домой. По дороге она несколько раз принималась тоненько смеяться, вспоминая то одну, то другую подробность по спасению козы, но тотчас обрывала себя и спешила дальше, едва заскочив в избу, она торопливо оглядела все углы, заглянула даже под печь и под кровать; все было в порядке, и она облегченно присела на краешек лавки у двери, рядом с ведрами воды. Давно рассвело, все углы избы очистились от ночной тьмы; Варечка никак не могла сосредоточиться и все пыталась вспомнить, что же это приключилось ночью; она напряженно поморгала, затем глаза ее остановились на небольшом сундучке, стоявшем рядом с кроватью. В нем хранилось у Варечки все самое драгоценное — от денег и облигаций до двух заветных узелков, одного — с праздничным, другого — с еще подвенечным, начавшими слегка жухнуть от давности нарядами; Варечка проверила деньги, облигации — все было на месте, но едва она развязала первый узелок, глаза ее сделались совершенно круглыми и застыли, а губы побелели. «Свят-свят-свят!» — хотела прошептать она, не смогла, и тотчас непроизвольным усилием отбросила от себя одну из самых игривых вещей женского туалета, а именно обшитые нежнейшими батистовыми кружевами розовые шелковые панталоны, совершенно новешенькие, неизвестно как очутившиеся в ее сундучке. Но еще больше изумилась Варечка Черная и уж совсем лишилась языка, когда в привычном узелке не оказалось ни одной знакомой вещи, ни праздничной юбки, ни темного сатинового платья, ни высоких ботинок; дрожащими руками Варечка выхватывала то один, то другой непонятный и легкомысленный предмет вроде тончайшей короткой ночной женской сорочки, просвечивающей насквозь, или кокетливого, с острыми мысками лифчика, или уж какой-нибудь немыслимой подвязки... В избе запахло лежалыми и сладкими духами. Затем Варечка, совершенно уже ошалев, наткнулась на какую-то коробочку, машинально, ни о чем не думая, открыла ее, извлекла резиновый предметик мягким колечком и, таращa глаза, стала разматывать, надевая на большой и указательный пальцы. Когда эта резиновая штучка размоталась до утолщенного ободка и стала

похожа на пустотелую колбаску, Варечка, до сих пор с неистребимым любопытством рассматривающая ее и старающаяся понять, что это еще за штуковину послала ей судьба, вся густо и ярко покраснела; она поняла, что это такое, потому что неожиданно вспомнила, как бабы зубоскалили друг с другом как-то на полднике по поводу такой же вот штучки и довольно откровенно высказывались в отношении ее. В первый момент Варечка изо всей мочи затрясла рукой, пытаясь освободиться от паскудной резинки, но та словно прилипла к пальцам, и Варечка в несказанном омерзении души сорвала ее другой рукой, отбросила от себя и кинулась из избы за помощью к Ефросинье; едва взглянув, Ефросинья опознала сорочку Настасьи Плющихиной (та не так давно хвасталась перед бабами этой обновкой), чем совсем доконала Варечку. Вначале, сделавшись больная головой, кое-как собрав разбросанные по избе тряпки, Варечка побежала в сельсовет; там никого не оказалось, и она бросилась к председателю, и Митька-партизан вначале долго хлопал глазами, то и дело отпихивая от себя бабью нижнюю амуницию, которой трясла перед его глазами Варечка; сообразив наконец, в чем дело, он весело заржал, внезапно увесисто шлепнул ладонью по столу и приказал:

— Тихо, Варвара! Слышишь, тихо!

Варечка с полуоткрытым ртом замерла на полуслове, а Митька одним взмахом сгреб в одно место, к краю стола, все принесенное ею добро.

— Ну, гуляют хлопцы,— сказал он.— Чего ты взъярилась-то?

— В другом месте пусть гуляют, я к ним в дурочки не нанималась! — вновь пошла в наступление Варечка.— Я в город... в суд... я... я знаю, что это все от Настьки Плющихи идет... Это ее срамная подружка Зинка Полетаева все подстраивает... Они вдвоем... в одну ночь всю немецкую Европу через себя...— тут Варечка завернула такое, что Митька-партизан приподнялся из-за стола и сочувственно завертел головою.— Это она всеми молокососами верховодит, антихристка проклятая! Она в надсмешку надо мной! У нее матка ведьма! Она грозилась Егорке Дерюгину зелья дать, приворот сделать, сама слыхала! Вот она на меня, бесовская сила, и напустилась! Не на такую напала, я батюшку привезу углы окропить святой водой! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Нечистая сила. Чтоб тебя разорвало!

— Подожди, подожди, Варвара,— опять остановил ее Митька.— Что за зелье, чего ты болтаешь-то?

— Я зря сроду ничего не скажу,— обиделась Варечка, запихивая в сумку разбросанные перед Митькой тряпки.— Поглядишь, испортит парня, от таких все жди!

После ее ухода Митька посмеялся, подумал, а вечером, возвращаясь домой, все-таки заглянул к Зинке Полетаевой, тем более что, несмотря на позднюю пору, четыре окна в ее доме ярко светились. Зинка, едва Митька постучал, тотчас открыла, притворно ахнула, тут же осведомилась, по какому делу ее тревожат, но в избу не пригласила, сама вышла на крыльцо, придвинулась поближе к Митьке, привалившемуся к опорному, резному столбику (умерший по весне дед Зинки был, как и многие из густищинцев, первостатейным мастером по деревянной резьбе), передернула слегка, вроде бы от озноба, плечами, и Митька тотчас ощутил, как у нее под тесным платьем заструилось, заиграло тело, и, неловко отвернувшись, украдкой глянул, нет ли кого поблизости. Загасив окурок о столб, он бросил его рядом с крыльцом, неловко прокашлялся.

— Гляди не подожги меня, Митрий Сергеевич,— попросила Зинка, складывая руки под высокими, небольшими грудями, от чего во всем ее теле вновь произошло какое-то неуловимое, влекущее движение, и у Митьки что-то тоненько и назойливо зазвенело в правом ухе.— У меня хозяина нет, скоро-то и не предвидится, новую хату ставить некому.

— Знаешь, Зин,— запинаясь и злясь на себя, а еще больше на нее и оттого с какой-то угрожающей ласковостью заговорил Митька,— ты мокрогубых-то с пути не сбивай... Ну какой тебе с этого смак?

Зинка с открытым вызовом усмехнулась прямо ему в лицо.

— Где ж, председатель, других-то брать? — спросила она, как бы невзначай придвигаясь к Митьке ближе.— Ты вот от своей Анюты ни вбок, ни вкривь... а нам что ж, вот таким... войной-то обчесанным? А, Митрий Сергеевич?

Все так же, как бы невзначай, она ласково поправила у Митьки воротничок, скользнула прохладными, ждущими пальцами по шее.

«А, черт! — выругался про себя Митька.— Не девка — отрава... ишь, змея медовая, сразу душу норовит обвить...»

Сдерживая ответный, хотя и невольный, но далеко и не равнодушный порыв, Митька закаменел, в свою очередь холодно и понимающе усмехнулся, стараясь перебороть и сломить дурманящий, вызывающе-ласковый Зинкин взгляд.

— Ты вот что, Зин, ты брось всякое такое,— сдержанно посоветовал он.— Слышишь, Егорку Дерюгина не трогай, ни к чему это... Про какое ты еще зелье там бабам болтала?

Зинка резко отодвинулась от него и долго, дразняще смеялась, и грудь у нее смеялась, и все тело.

— Ох, Митрий Сергеевич, ох, не в свое дело ты лезешь,— сказала она.— Ты меня можешь днем в контору вызвать, коли провинилась я перед колхозной властью... По ночам, Митрий Сергеевич, моя воля, по ночам ты мне указывать не имеешь права, нет такого закону. Есть у тебя смелость — заходи, а нет — не мешай другим... Вот как, Митрий Сергеевич!

— Гляди, не сносишь ты головы,— помолчав, ответил он.— Что у тебя в хате за шум?

— Проводины для соколиков готовим... девки попросили, а у меня хата большая,— Зинка кивнула на окно.— Жалко, что ль? Приходи, председатель, лишний не будешь... И за Егоркой-то присмотришь, в ногах у него, может, постоишь в случае чего...

Слушавший вначале довольно внимательно и даже с определенной заинтересованностью, Митька плюнул, восхищенно выругался сквозь зубы, махнул с крыльца, пропал во тьме за кустом акации, чувствуя зуд в затылке от насмешливого Зинкиного хохота; ругая себя на чем свет стоит оттого, что действительно ввязался не в свое дело, и присматриваясь к узкой, светившей у самых изгородей стежке, он пошел домой, постепенно успокаиваясь и теперь уже всерьез начиная злиться на себя за то, что при такой груде державших за горло дел полез черт знает куда, как будто без него не разберутся.

А у Зинки Полетаевой в самом деле собиралась гулянка; приходили хлопцы и девки, шептались о чем-то с хозяйкой, скромно опускавшей глаза у порога, затем рассаживались по лавкам, парни к парням, девки к девкам, и чем больше собиралось народу, тем шумнее и оживленнее становилось; быстрые девичьи взгляды нет-нет да и летели в сторону парней; те же вроде бы

и не обращали ни на что внимания, но каждый видел все, что его интересовало; пришел гармонист, тотчас, сосредоточивая на себе общее внимание, развернул мехи. Хозяйка, успевшая переодеться в новое платье, с шелковым платочком на плечах, торжественная и строгая, поднесла ему на тарелке стакан темно-рубиновой настойки; гармонист, недавний фронтовик лет тридцати пяти, ходивший играть на вечеринки по три рубля с носа, как он любил говорить, а то и просто вот так, как сегодня, ради старой тоски в груди, привстал, поклонился Зинке, одним вздохом осушил стакан, сказал растроганно: «Ах, Зина, ты, Зина, ягодиночка краснобокая!», не откладывая хватил комаринскую, и в просторной избе все смешалось в одну общую атмосферу, в один настрой, и скоро веселье стало всеобщим, лица раскраснелись, глаза блестели, один танец сменялся другим, а когда гармонист отправлялся за перегородку подкрепиться, тотчас затевалась какая-нибудь игра, и в общем шуме и неразберихе то одна, то другая пара незаметно выскальзывала в сени, а там и на улицу пошептаться на свободе...

Егор Дерюгин в этот вечер был не в духе, с самого начала забился в темный угол, подальше, и молча наблюдал за происходящим; Валька Кудрявцева наотрез отказалась прийти, хотя Егор, выбрав момент, настойчиво напомнил ей, что это в самом деле прощальная вечеринка и что все ребята будут и его, если он не придет, по известной причине поднимут потом на смех, а что старухи мелют насчет Зинки Полетаевой, так...

Валька не дала ему договорить, вспыхнув, отрезала, что ради Зинки он туда и рвется и что он весь в свою непутевую дерюгинскую породу, от яблони яблоки недалеко падают...

— Дура! — сказал он ей, густо краснея.— Я на тебе еще не женился, как хочешь, так и делай!

— А ты ко мне больше не приставай, видеть тебя не хочу! — зло крикнула она в ответ, и вот сейчас Егор, исподлобья следя за танцующими, еще раз переживал весь этот момент, тем более что товарищи, подходя покурить, нет-нет и пощучивали, задевали его какой-нибудь ловкой подковыркой. По медлительности и степенности характера он едва успевал отбиваться, но в нем где-то уже прорезался незнакомый, жестковатый огонек; обида на Вальку разгоралась. «Ишь ты,— думал он,— еще ничего не было, а она уже командовать лезет,

все уже вон замечают, зубы скалят... Вон и Петька, и Ромка... Ишь ты, уж и не пойди никуда, надо спрашиваться, как же! В самом деле, что это она возомнила? От горшка два вершка, семнадцати-то нет, а зубки уже острее бритвы отточила, чуть прикоснется, и...»

Кто-то толкнул Егора, и он, скосив глаза, увидел Петьку Астахова, тот показывал ему глазами на дверь и усмехался; повернув голову, Егор увидел вероятно только что вошедшую Вальку с подругой. «А, не выдержала,— радостно метнулось что-то внутри у Егора,— притопала, вот так-то вашу сестру учить! А то ишь что надумала, «не приду»! Так-то оно будет лучше!»

Тотчас словно кто другой стал подталкивать Егора; с независимым лицом он выбрался из своего угла, молодецки передернул плечами, поправляя пиджак, и стал на самом виду, мимоходом ущипнув за бок какую-то приземистую толстушку-подростка, делая вид, что никакой Вальки вообще на свете нет и никогда не было. Он заметил, что Валька два или три раза бросила в его сторону быстрый взгляд, затем так же вороватo глянула на него ее подружка, младшая Бобкова девка, но Егор продолжал невозмутимо курить, слушая какую-то затеянную парнями трепотню; затем, захваченный начатой самим же игрой, он почувствовал, как шум гулянки затих, отодвинулся и увидел веселую, подзуживающую ухмылку Петьки Астахова. Словно бросаясь с обрыва в жгучую темную пучину, он круто оглянулся; у него даже вырвалось от наслаждения внутренне, про себя: «А-ах!» Перед ним, перебирая бахрому платка, стояла Зинка Полетаева, он глядел на нее, а она на него, и впервые в жизни у него как-то по-особенному приятно закружилась голова и руки онемели, хотя он ни на мгновение не забывал о Вальке Кудрявцевой, о том, что она на него сейчас смотрит и что...

— Ну, так что, свет Захарович? — спросила Зинка, играя бровями и показывая в усмешке ровные, один к одному, зубы.— Давай спляшем, а? Или ты кого тут боишься? — почти незаметно, по-кошачьи грациозно повела она головой.

Если бы не последние ее слова, он бы скорее всего усмехнулся и отказался, но теперь, когда все кругом слышали эти слова, отказаться никак было нельзя, и он, захваченный соответственной решимостью, как-то весь преобразился, как-то само собой небрежным движением руки поправил выбившийся на глаза чуб, шагнул к Зин-

ке, оглянулся на Петьку Астахова, уловил его насмешливый и в то же время поощрительный взгляд и мягко, спокойно обхватил Зинку за талию. Сладкий дурман окончательно ударил ему в голову, и он уже ни о чем не думал, ни о чем не помнил, стремительный, жгучий вихрь подхватил его, и закружил, и понес, мелькали, словно из горячего тумана, глаза Зинки, и вся она, дразнящая и по-змеиному гибкая, нет-нет да и прикасалась к нему жаркой, податливой грудью, и оба, не говоря друг другу ни одного слова, знали, что эта вспыхнувшая между ними игра добром не окончится, и оба уже ни на что, кроме друг друга, не обращали внимания; с легкой улыбкой, слегка приоткрыв губы, Егор не отрывался от Зинкиного лица, но видел он и ее шею, и плечи, и сбегавшую между грудей смугловато-затененную ложбинку, и когда танец кончился, он долго и жадно курил в толпе ребят. Петька Астахов, протиснувшись к нему, шепнул ему в ухо с веселой ухмылкой, чтобы он теперь берегся, охомутает его окончательно Зинка; он не успел отругнуться, потому что начались разные игры, девок и парней рассадили по разным скамейкам, напротив друг друга, по очереди туго завязывали парням глаза платком, и каждый должен был вслепую выбрать себе пару, хотя именно в то время, когда очередной искатель, вытягивая вперед руки, двигался к противоположной стене в поисках удачи, девки торопливо менялись друг с другом местами, и редко кто отыскивал ту, которую хотел отыскать, и всякий раз при этом слышались дружные, веселые взрывы хохота.

Пришла очередь завязывать глаза Егору. Он, к своему удивлению, с первого же раза опустил руки на неподвижные тоненькие плечи Вальки Кудрявцевой, и тотчас, еще с платком на глазах узнал их, и уже только потом сорвал с глаз платок; Валька сидела перед ним, отводя глаза и крепко поджав губы, всем своим видом показывая, что она не только не рада, но даже удивлена, как это его к ней притянуло, и что он ей совершенно безразличен и даже противен. Но делать было нечего, и они оба вынуждены были пройти к другой лавке, как это и полагалось по правилам игры, и хоть недолго, но побыть рядом; она сидела беспомощная и сердитая, и Егора потянуло к ней совершенно иначе, чем к Зинке, как-то ближе, доверчивее и яснее, и он даже сделал неловкое движение украдкой накрыть ее руку своей, но она тут же враждебно отодвинулась.

— Не думай,— сказала она ему тихо,— я сюда вовсе не из-за тебя пришла...

— А из-за чего же?

— Захотелось, и пришла... тебя не спросила...

Он с затаенной усмешкой взглянул ей в лицо, она почувствовала, еще больше нахмурилась, тотчас быстро встала и отошла к порогу, к подруге. «Ну и ладно,— с неожиданной детской обидой подумал Егор.— Тоже мне! Только и свету, что в окошке... Еще получше найдем!» Пожалуй, это и решило все остальное, Егор вначале насупился, ушел в себя, но затем в него словно окончательно вселился какой-то бес. Он непрерывно со всеми подряд танцевал, а за полночь, после первых петухов, когда хозяйка избы по старому обычаю появилась с большой чаркой, чтобы по собственному определению и выбору поднести ее самому приглянувшемуся и достойному гостю, и плавно, с какой-то девичьей легкостью прошла через избу, словно и не замечая притихших и следящих за нею парней и девок, остановилась перед Егором с легким поклоном, он смело и вызывающе глянул ей прямо в глаза. На резном деревянном блюде в ее руках стоял деревянный резной высокий ковш, наполненный слегка подрагивающей темной настойкой. Егор уловил незнакомый терпкий запах.

— Испробуй,— шевельнула она губами, пряча и не в силах до конца скрыть усмешку, неосознанный и невольный вызов, и он взял ковш.

— Пей,— поклонилась Зинка еще раз.

— Пей! пей! пей! — раздались нетерпеливые, подбадривающие, задорные голоса со всех сторон.

Егор тряхнул головой, слегка запрокинул ее и вылил в себя густой, ароматный напиток; Зинка, опустив глаза, ждала, и он, вспомнив, что должен поцеловать ее, тут же с необычайным приливом сил и уверенности в себе обхватил Зинку за плечи, прижал к себе и крепко поцеловал в губы. Одобрительный веселый всплеск голосов, смех лишь подстегнули его, и он, ощущая губами, руками, всем своим телом податливое и в то же время своенравное женское тело, все никак не мог оторваться от Зинки; он не видел, как, не помня себя, оттолкнув кого-то с дороги, метнулась за порог Валька Кудрявцева, за ней, негодующе сверкнув глазами в сторону Егора и Зинки, ее подружка, но теперь Егора мало что занимало. Что-то с ним случилось, что-то такое, что

и неосознанно пугало, и радовало, и, самое главное, уже было не подвластно ему; что-то подхватило его и понесло, но сам он, жадный, настороженный, гибкий, все видел, все чутко замечал, не пропуская ни один голос, ни один взгляд. Он шутил и смеялся вместе со всеми, и когда наконец (уже ясно прорезывалась заря) стали расходиться, он, сделав вид, что прикуривает, оказался чуть ли не последним. В тот момент, когда ему нужно было шагнуть в дверь вслед за Петькой Астаховым, он отодвинулся в сторону и, запрятав в кулаке папиросу, прижался спиной к темному простенку рядом с дверью. Зинка тотчас задвинула щеколду и припала к нему; поднимаясь на цыпочки, она жадно, не сдерживаясь, стала горячо целовать его в шею, в лицо, затем, горячо и коротко дыша, шепнула:

— Иди за мной, милый... иди, Егорушка...

Она не отпустила его руку, и Егор уже не чувствовал себя отдельно от нее и не замечал ничего, кроме нее, ускользающей, дразнящей и обволакивающей; был странный, острый рассвет, от сладостно-режущего наслаждения сгорало тело; в пахнущей травами горенке с небольшим оконцем, с раскинутым на полу одеялом он помнил лишь ее ищущие губы, ставшие огромными, ненасытными глаза, смуглую жаркую грудь и свое мучительное подчас желание смять, изломать волнующееся, ускользающее, то ненавистное, то опять желанное тело Зинки; все спуталось, он не знал, что такое он, что такое она и что с ним происходит...

Он очнулся, словно после обморока; солнечное пятно ярко дрожало на бревенчатой стене, и кто-то тепло и мягко дышал ему в шею. Он скосил глаза, несколько оторопев от того бесстыдства, в котором увидел и себя и ее, постарался осторожно, незаметно надернуть на себя подвернувшуюся под руку одежду; Зинка тут же открыла глаза. Чувствуя полное освобождение и от нее самой, и от своей скованности и неловкости, он крепко, до хруста, потянулся. Она приподнялась на локоть и, осыпая всего его длинными, густыми волосами, поцеловала в губы, затем в шею; он лежал спокойно, в сознании своей силы, и лишь в ногах у него опять что-то тихо и сладко заныло.

— Знаешь, Зин, я ведь все равно женюсь на Вальке,— сказал он, сдвигая широкие темные брови.

Она засмеялась, опять как-то легко и бездумно поцеловала его и закрыла ему глаза ладонью.

— Нет,— сказала она все с тем же тихим, счастливым смехом,— теперь ты на ней не женишься...

— Почему?

— После меня не женишься... Пресная она... если уж мужик настоящего огня хлебнет, его ровно сметанкой-то досыту не накормишь... приторно... А ты уже мужик, Егорушка... ох, какой мужик! Я тебя приворотным зельем напоила. Теперь ты на всю жизнь мой...

— Врешь... молчи... молчи... я в эти басни не верю.

— Отчего мне молчать? Мой сегодня час, а там...

Она опять свесилась над ним гривой рассыпанных, пахнущих сладким дурманом волос, все ближе и ближе склоняясь к нему лицом и вздрагивающей жаркой грудью И Егор взял ее за плечи и рванул к себе, сдерживая стон; кто-то уже давно колотил в дверь, но этот стук доходил до них размытым, неясным эхом; это было где-то в другом, не касающемся их мире.

На другой день новобранцев отправляли в город.

У сельсовета собрались почти все Густищи, было весело и празднично, играла гармошка, толпились провожающие. Егор как бы ненароком окинул взглядом собравшихся односельчан: Валька Кудрявцева не пришла, но зато чуть поодаль и позади других в низко повязанном платке, закрывающем глаза от солнца, стояла Зинка Полетаева, и Егор ясно видел, что она улыбается, но не ему и не кому-то в отдельности, а чему-то тому, чего он не мог понять. От этого он стал еще молчаливее и даже с Ефросиньей и Захаром простился как-то неловко и второпях: в нем еще жила и бурлила недавняя ночь.

Часть четвертая

1

Вавилов после тяжелого ранения в сорок четвертом году в бытность свою в партизанском отряде несколько месяцев отлежал в госпитале, а вскоре после возвращения в Холмск, женившись, так и работал у Брюханова в помощниках. Он как-то легко и быстро вошел в свои новые обязанности и скоро стал для Брюханова незаменимым. По своему характеру он был уравновешен, спокоен, никогда ничего не забывал даже в мелочах, в отношении людей, почему-либо нуждавшихся в помощи Брюханова и добивавшихся у него приема, старался быть совершенно объективным. Когда Брюханова перевели в Москву, Вавилов тоже долго не раздумывал. Бывшие партизаны оставались глубокой привязанностью и даже страстью Вавилова, и здесь он, рискуя получить очередной нагоняй, оказывал содействие каждому всеми известными ему способами. Поэтому, когда в один прекрасный день раздался звонок и он, подняв трубку, узнал, что внизу, в бюро пропусков, ждет живой Митька-партизан, ныне Дмитрий Сергеевич Волков, председатель Густищинского колхоза, с твердым намерением увидеться для важного разговора с товарищем Брюхановым, Вавилов без лишних расспросов заказал ему пропуск и уже через несколько минут возбужденно и радостно тряс ему руку. Митька, еще более возмужавший за последние годы, раздавшийся в плечах, был обветрен, прокален солнцем и ветром, и у него в лице уже навсегда закрепилась какая-то распахнутость, как это бывает с людьми, привыкшими подолгу бывать среди открытых, широких полей и пространств.

— Не помнишь, наверное, меня? — сказал Вавилов, широко улыбаясь.— Я у Тихона Ивановича всю войну в связных был.

— Да нет, помню,— возразил Митька, улыбаясь.— Мы еще немецкого полковника приволокли, важная попалась птица, намучились мы с ним. А вы с Брюхановым как раз в отряде оказались, ты чуть в сторонке стоял, какой-то чемоданчик у тебя в руках был.

— Точно! — обрадовался Вавилов.— Ну и память! В чемоданчике мы магниток новой конструкции привезли. Так и назывались: неизвлекаемые магнитные мины Старинова.

— Знаю, как же, эти магнитки! — оживился Митька.— Немцы как-то обнаружили одну под мостом у Холмска, только дотронулись, так их вместе с мостом и разнесло на куски. Эх, времечко было, все ясно, все просто, там враг, тут свои!

— А я тебя по газетам больше помню. Садись, садись, Дмитрий Сергеевич. Куришь?

— Курю, спасибо.— Митька взял из предложенного Вавиловым портсигара папиросу; Вавилов щелкнул зажигалкой, и Митька, задержавшись на ней взглядом, точно что еще вспомнив, прикурил.— Трофейная?

— Служит, да и память, знаешь,— сказал Вавилов, усаживаясь рядом с Митькой на небольшой диванчик.— Ну, как живешь-то?

— Живу,— неопределенно протянул Митька.—А ты как? Привык к Москве-то?

— А куда денешься? Работа... Жена все на родину тянет. Да и хлопцы мои оба в Холмске родились, в один день. А теперь — во-о! — он показал рукой метр от пола.— Колька и Васька... залпом появились на свет! Моя Стешка в рев. «Да ты что,— говорю ей,— дуреха, это же сразу два мужика, мы их лет через двадцать на чистое золото обменяем, килограмм за килограмм! Война-то какая прошла...» Разулыбалась. А сейчас рада, растут, двоим веселее...

Заметив взгляд Митьки, брошенный на массивную, обитую темно-коричневой кожей дверь с табличкой «Т. И. Брюханов», Вавилов огорчился.

— К вечеру, не раньше, будет Тихон Иванович,— сказал он.— Давай так с тобой договоримся,— он бросил взгляд на часы,— иди погуляй по Москве, в кино сходи, а ровно в четыре позвони мне вот по этому телефону.— Заметно прихрамывая, он подошел к столу, записал номер и, аккуратно сложив бумажку вдвое, отдал Митьке; тот сунул ее в карман.— Ты где остановился-то?

— Пока нигде, вещи оставил на вокзале, в камере хранения.

— Ну, это мы устроим. Только не запаздывай.

— Мне обязательно нужно Тихона Ивановича,— сказал Митька с требовательной интонацией в голосе, указывающей на твердость характера и непременное решение добиться задуманного.

— Я понимаю,— улыбнулся Вавилов.— Ты его и увидишь, непременно увидишь. Пока, Дмитрий.

Но Брюханова Митька не увидел в этот день ни в четыре часа, ни позже, и Вавилову пришлось устраивать Митьку в гостиницу; только на следующее утро Дмитрий Волков вошел в кабинет Брюханова, и тот обрадованно поднялся из-за стола ему навстречу. Он усадил Митьку в кресло, угостил крепким, душистым чаем с лимоном и сухариками, но несмотря на радушный прием, было заметно, что Брюханов чем-то взвинчен, и Митька пожалел, что попал не в добрый час, однако надеяться попасть к Брюханову вторично было нечего. «Как высоко ни залети, а все что-то не ладится,— по простоте душевной подумал Митька.—Слышно, с бабой у него что-то... Молодая, уросливая, а так чего бы ему с утра такой тучей быть?»

Брюханов, словно угадывая его мысли, подошел, выдвинул соседнее кресло, сел рядом, по-домашнему близко заглянул в глаза.

— Ну что, разведчик, что, Дмитрий Сергеевич, трудно, а?

Весь напрягшийся для важного разговора, Митька от этого неожиданного, откровенного вопроса ссутулился, опустил плечи.

— Я к вам, Тихон Иванович, не ради чего зря приехал,— сказал он, комкая папиросную пачку в кармане.— Неловко было беспокоить...

— Давай сразу договоримся, это оставь, Дмитрий Сергеевич. Ни к чему. На то и сижу здесь, чтобы беспокоили... Говори, что?

— Не могу больше, Тихон Иванович,— сказал Митька, глядя перед собой, мимо Брюханова.— Куда хочешь пойду, а так больше не могу. Третий год по семьдесят граммов на трудодень перепадает. Не могу в глаза людям глядеть, все норовлю вбок вильнуть. Тихон Иванович, вы не подумайте, я к вам не просто нюни распускать приехал, в войну всякое видел, ни

черта, ни бога не боюсь. За этим бы не пришел, тут совсем другой табак.

— Говори,— уронил Брюханов, крепко потирая переносицу; сегодня с самого утра голову у него стянуло как обручем, и не помогли старые, проверенные средства — ни тройчатка, ни крепкий чай.

— Я к вам, Тихон Иванович, совсем особо пришел, не хочу душу брехней сквернить... Я к вам, как если бы тогда, в лесу, в сорок втором летом, когда нас, помните, со всех сторон наглухо окольцевали... Как если бы нам завтра смерть... Я в такой позиции вам поверю, знаю, правду скажете. Неужто с нашим мужиком по-другому нельзя? Можно ведь. Я знаю, у вас теперь другой коленкор, Тихон Иванович, не до наших забот... а мне больше поговорить не с кем. К вашему сменщику, товарищу Лутакову, пришел, все ему высказал, а он меня и погнал в клочья...

— Ну?

— В крик сразу ударился! — Митька заволновался, вскочил, опять сел.— Ты мне, говорит, брось очки втирать. Ты, говорит, про какой такой народ толковать вздумал? О народе думает тот, кто для этого поставлен. Он, значит, Лутаков. Да я тебе, говорит...— От волнения у Митьки сорвался голос, он глянул в широкий проем окна, махнул рукой.— А у меня сердце надвое так и рассадило. Значит, за народ я только воевать могу? Выходит, все эти бабы да мужики... для товарища Лутакова так... навоз... А как жить после этого? Можно?

Не ожидавший такого оборота разговора, сохраняя на лице все то же приветливое оживление, Брюханов ничем не выдал своего волнения; он уже не мог ответить так же прямо, как ответил бы года два назад.

Да и можно ли было ответить, есть ли у него право последней инстанции? В свое время сам он, тогда еще зеленый, необстрелянный, приходил к Константину Леонтьевичу Петрову вот за такой же откровенностью, как сейчас пришел к нему Митька-партизан. Но то был Петров, человек совершенно особенный, людей такой обнаженной правды, как Петров, он, Брюханов, больше не встречал. Но Митька-партизан пришел ведь не к Петрову, а к нему, Брюханову, оба они повенчаны слепненскими и холмскими лесами; блокадами и кровью товарищей, и от их разговора будет зависеть вся дальнейшая судьба Митьки и судьбы многих связанных с ним людей. Солгать или уйти от прямого

ответа было нельзя, как нельзя было бы обмануть сына, даже если бы от этого зависела его собственная жизнь.

— Можно, Дмитрий Сергеевич,— твердо сказал Брюханов и оторвал наконец руки от колен.— И бороться, Дмитрий Сергеевич, необходимо.

— Бороться, Тихон Иванович?

— Да, бороться.

— Ну что ж, я уже говорил, нам не привыкать...

Брюханов задумался.

— Возвращайся домой, Дмитрий, я, как только буду в Холмске, обязательно к тебе загляну...

— Это было бы хорошо, Тихон Иванович, от своей земли вы, конечно, никогда не оторветесь. Пережили-то сколько...

Митька и без Брюханова знал, что была война, разорение земли, что стране многое наверстать надо и от других не отстать и что все это только собственным горбом, но понимание этого никак не могло дать Митьке то, ради чего он после долгих раздумий и колебаний тайком и от жены, и от районного начальства приехал в Москву.

— Тихон Иванович, ты мне скажи, что лично мне, Митьке Волкову, председателю в Густищах, что мне делать? — спросил он.— Вот он я перед тобой...

— Стоять,— резко подался к нему Брюханов.— Больше ничего... Стоять,— и все... Помнишь, в Слепненские болота нас загнали, по горло в грязь, в тину, в холод... Захлебывались, в трясине тонули, дохли с голоду, помнишь, Дмитрий Сергеевич? Ни один не дрогнул, ни один... Выстояли. И сейчас нужно выстоять. Как раз такой момент, не вижу я ничего другого. А может быть, и нельзя ничего другого, так уж сложились обстоятельства. Нужно, Дмитрий Волков! Понимаешь, как это нужно?

Митька давно уже стоял выпрямившись, по-солдатски расправив плечи, и лицо его, выражавшее вначале одно лишь недоумение, делалось все строже.

— Стоять нам не привыкать,— сказал он с тихой решимостью.— Это мужик умеет... Да долго на горле да на крике не продержишься, Тихон Иванович.

— Но ты понял меня? — настойчиво повторил Брюханов.— Если уж совсем до конца идти, Дмитрий Сергеевич, то все сейчас на таких, как ты, и держится, а Лутаков или другой кто... Как бы тебе это объяснить...

— Что тут, Тихон Иванович, объяснять, вот только бы не подломиться.— Митька шумно вздохнул, не опуская глаз, и Брюханов увидел, что он действительно понял его.

— Как весна-то прошла? — спросил он, чувствуя, что его объяснение не очень-то убедило Митьку и даже втайне разочаровало его, и старался хоть чем-то сгладить это положение.— Отсеялись хорошо?

— Что ж, отсеялись, как могли,— сказал Митька и перевел взгляд на большой бронзовый бюст Сталина в углу кабинета.— Лесополосу начали сажать... за Соловьиным логом, в сторону степей. Нашему колхозу почти два километра определили, лесополосы-то... Я думаю, дело это стоящее, только вот пользы долго ждать... Да, в конце концов, я ведь тоже непривязанный...

— Знаешь что еще, Дмитрий? — Брюханов, быстро глянув на него, на мгновение задумался.—Вернешься, поговори обо всем с Захаром Дерюгиным... вот как со мной сейчас...

— Пробовал, да с ним не очень-то разговоришься...

— А ты найди пути, разговорись,— настойчиво посоветовал Брюханов и доверительно спросил: — Как он там, Захар Тарасович-то?

— Видать, привыкает, все присматривается. В первые дни вроде одичалый какой-то был, спросишь что, глянет, отвернется. Как-то лишний раз неловко и зацепить. Вы, наверно, и сами все знаете, Тихон Иванович...

— Многое знаю, конечно,— неопределенно согласился Брюханов, уходя от доверительного тона и в продолжение всего остального разговора, когда Митька советовался по ряду других вопросов, и особенно — как ему выкрутиться после того, как он недавно выступил на областном совещании и резко проехался по высокому обкомовскому начальству, редко выбирающемуся за пределы своих кабинетов, они, как по уговору, не возвращались к затронутым вначале больным вопросам и расстались дружески, чувствуя душевную близость и понимание.

Оставшись один, Брюханов неохотно вернулся к столу, с недоумением взглянул на непривычно молчавшие телефоны. «Ах, да, Вавилов»,— вспомнил он и нажал кнопку.

— Ну, что у нас на сегодня, Валентин? — спросил он устало, увидев в дверях подтянутую фигуру помощника, и Вавилов быстрым, бесшумным шагом пересек

кабинет и положил перед Брюхановым небольшую аккуратную папку — почту за первую половину дня.— Что там? — не притрагиваясь к папке, неприязненно покосился на нее Брюханов.

— В основном для ознакомления, Тихон Иванович. Еще товарищ Муравьев просил соединить, как только вы освободитесь.— Вавилов говорил все тем же ровным голосом, но Брюханов знал, что Вавилов не любит Муравьева, и хотя он, Брюханов, никогда ни одним намеком не выказал истинного отношения к своему первому заместителю, Вавилов знал, что и он, Брюханов, относится к Муравьеву с предубеждением и настороженно и что, если спросить Вавилова напрямик, он может рассказать Брюханову о Муравьеве массу любопытного, что почему-то всегда бывает хорошо известно именно среднему звену и о чем сам Брюханов даже не догадывается. Но Брюханов и на этот раз задавил мимолетное искушение, именно такой путь информации он раз и навсегда запретил для себя еще при Петрове.

— Ну как, Валентин, лыжи сыновьям купили? — поинтересовался он, испытывая необходимость отдохнуть хоть немного в ином, простом и понятном мире, не требующем предельного напряжения сил.

— Купили,— охотно откликнулся Вавилов.— Радости было... да и смеху... Гвалт несусветный подняли. Такие одинаковые, точно с конвейера, только мать их и умудряется угадывать. Если один что-либо натворит, да не захочет признаться, лучше и не думай разбираться... Я как-то сразу обоих выдрал. Ну, говорю, с этой минуты, кто бы из вас ни напрокудил, ответ на двоих, так и знайте, говорю, несите, голубчики, коллективную ответственность.

— А что, Валентин, это, пожалуй, мудро,— невольно засмеялся Брюханов.— А они сами как к этому относятся?

— Что же им еще остается делать, пока поперек лавки помещаются. Терпят. Вот вторую неделю ничего не разбили, не поломали, жена удивляется, что с детьми стряслось. Беспокоится, не заболели ли... Не знаю, говорю, ты мать, тебе виднее...

— Забавно,— тихо сказал Брюханов, отпустил Вавилова и задумался. Мимолетный разговор с человеком, отлично осведомленным и о его домашних делах, лишний раз напомнил ему его неустроенное положение; на все его настойчивые требования переезжать наконец

в Москву Аленка упорно твердила, что для завершения ординатуры ей необходим еще год. Брюханов понимал, что она увлечена самостоятельной работой в клинике, что она ведет больных по какой-то своей, согласованной с ее шефом схеме, что ей поручено наблюдение за действием нового препарата у больных с нарушением мозгового кровообращения, что она готовит даж свою первую самостоятельную публикацию, которая может в будущем лечь в основу диссертации, и довести эту работу до конца ей, молодому специалисту, необходимо именно там, в Холмске, где она начинала; и никакая Москва этих идеально сложившихся условий для научной и практической работы ей не заменит, что она не хочет и не может пользоваться его протекцией и положением. Брюханов отлично понимал и то, что на это нужно время и что дорвавшаяся до самостоятельной любимой работы молодая женщина должна пройти свой, отведенный ей путь. Но, пробегая короткие, несвязные письма Аленки и досадуя именно на их краткость и торопливость, он так же отлично понимал, что совершает ошибку, отпуская ее так надолго от себя и соглашаясь на это двусмысленное положение, когда молодая красивая женщина предоставлена самой себе и живет далеко от мужа; по сути дела, он каждый день, каждый час терял Аленку, оставаясь вдали от нее, от ее дел и всего того, чем была заполнена сейчас ее жизнь, он своими руками рушил то, что по кирпичику складывал годами. Между строк нет-нет да и проступали *недосказанность*, душевная раздерганность, так не свойственные Аленке; безошибочным затаенным чувством любящего, страдающего от неустройства их жизни человека Брюханов все яснее ощущал какую-то медленно, неотвратимо надвигающуюся беду, и все-таки что-то глубоко противное его натуре не давало ему прибегнуть к крайним мерам. При первой же возможности он срывался в Холмск на день-другой, а иногда и на несколько часов, затем на какое-то время забывался в нескончаемом сплошном потоке дел; но за последние три месяца он никак не мог выбраться в Холмск; пришлось срочно вылететь с группой экспертов в Китай, и там они задержались значительно дольше, чем предполагалось; перед самым возвращением он купил для Аленки несколько безделушек из слоновой кости, два кимоно и расписанный павлинами веер, привлекший его изяществом работы, но пересылать через других подарки не

стал; почему-то ему, никогда не придававшему значения подобным вещам, хотелось отдать Аленке эти тонкие, прекрасные в своем лаконизме вещицы самому.

Ушедший в свои мысли Брюханов забыл о времени, и Вавилов по селектору с подчеркнутой бесстрастностью напомнил ему о Муравьеве.

— Хорошо, Валентин, пригласи его.

Пробежав почту, Брюханов пересел в кресло в дальнем углу; с Муравьевым у них складывались отношения очень странные, и теперь он твердо знал, что назначение Муравьева в первые заместители ему было обусловлено отнюдь не пользой дела. Почти с первых же дней их совместной работы выявилась их полная несовместимость; Муравьев был его противоположностью, антиподом, недремлющим враждебным оком, от которого не мог укрыться ни один сколько-нибудь самостоятельный и значительный шаг его, Брюханова; любой его поступок, любое решение тотчас же подвергалось холодному, беспощадному анализу, и в любой момент в мгновение ока их с Муравьевым могли поменять местами, и в этой безукоризненно отлаженной программе Брюханов ощущал себя едва ли не вспомогательным звеном. Тиски то сжимались с немедленной готовностью по малейшему движению откуда-то извне, то отпускали; после нескольких судорожных рывков в надежде освободиться Брюханов понял, что у него только один выход: примениться ко всему, что с ним произошло и происходит, и ждать. Работа сама по себе его увлекла своей новизной и сложностью, правда, он всегда испытывал неприятное чувство постоянного невидимого присутствия Муравьева рядом, даже если сам он был в дальней командировке, а Муравьев оставался в Москве. Для него исчезла даже сама возможность одиночества; он шел по улице, и ему казалось, что вслед за ним привязанно движется Муравьев, он вел коллегию и все так же ощущал на себе откуда-то сбоку взгляд Муравьева; раздеваясь ко сну и ставя на столик рядом стакан с холодным чаем или бреясь по утрам в ванной, он не мог избавиться от ощущения, что его все так же пристально и беззастенчиво, с холодной, иронической усмешкой разглядывает все тот же Муравьев.

В свою очередь, чувствовался и какой-то обратный процесс, если сам он какое-то время не видел *живого* Муравьева с его худощавым, удлиненным и всегда чуточку отсутствующим лицом, он начинал испытывать

беспокойство; он ловил себя на желании тотчас узнать, где находится и что делает Муравьев, хотя в этот момент тот ему был совершенно не нужен, и рука сама собой тянулась к телефону или кнопке звонка. Особенно ощущал он отсутствие Муравьева в длительных поездках; тогда сами собой придумывались причины связаться с Москвой, чтобы услышать знакомый, характерный, слегка растягивающий гласные голос.

В скоплениях крыш перед окном была своя, размеренная, независимая от Брюханова и его состояния жизнь; в небе носились стрижи. «Пора, пора,— думал он,— разрядить, как-то упростить создавшееся положение, так дальше нельзя работать, и начинать нужно с домашних дел...»

Брюханов продолжал смотреть в окно, но теперь его внимание было сосредоточено на каком-то пустяке, на каком-то неясном предмете на одном из подоконников в доме напротив; он никак не мог определить, что это было, то ли просто хозяйственная сумка, то ли еще что.

— Здравствуйте, Тихон Иванович,— услышал он приветливый, ровный голос Муравьева.

— Прошу, Павел Андреевич, садитесь,— повернулся к нему Брюханов и, чтобы не здороваться за руку, подождал, пока Муравьев пройдет и займет свое привычное кресло, и только затем пересел к рабочему столу.

— Давайте, что нового у нас на сегодня? — спросил он с несвойственной ему медлительностью.— Что эксперты?

— Суетятся... Ни мычат, ни телятся,— поморщился Муравьев.— Есть еще один проект — разместить серию 14-Б вместе с исследовательскими институтами в самой что ни на есть глубинке. Разумеется, со своими коммуникациями.— Муравьев не мигая смотрел на Брюханова.— Стратегически очень заманчиво, но ведь чистая маниловщина, нас тут же спросят: а база? а кадры? Да мало ли! — Муравьев с нервным изяществом поправил узел галстука.

— Вообще-то медлить не в наших интересах, Павел Андреевич. Как только у нас сосредоточатся самые полные данные, соберем коллегию. Может быть, следует принять за основу золотую середину? Как вы думаете? В качестве эксперимента разместить один из объектов где-нибудь неподалеку от Зежского моторного? Все-таки не на пустом месте...

— Это что же? — понимающе улыбнулся Муравьев.— Из-за нашего с вами местного патриотизма?

— Может быть, может быть,— улыбнулся и Брюханов.— Хотя присутствуют и более веские мотивы. Зежский моторный — другое ведомство, но государство-то одно, его интересы едины. А у Чубарева огромная база, человек деловой, многое может нам подбросить...

— Да, разумеется...

— Послушай, Павел Андреевич,— чувствуя неприятный холодок от собственной решимости, в упор сказал Брюханов.— Если не согласен, давай выкладывай доводы. А то ведь сколько ни вертись, а решать все равно придется... нам с вами, раз уж мы оказались волею судеб в одной упряжке.

— Не по моей вине! — с необычной горячностью возразил Муравьев и не отвел взгляда, даже попытался усмехнуться; Брюханов видел, как медленно отливала у него кровь от лица.— Мне тоже нелегко, Тихон Иванович, я очень стараюсь соответствовать вашему новому положению. Я очень сочувствую вам.— Он цепко, отлично зная, что метит в самое больное место, обежал лицо Брюханова.— Я давно отвык удивляться, давно понял, что в этой шахматной партии последний ход принадлежит не нам с вами, Тихон Иванович. И вообще многое в жизни, особенно такой, как наша с вами, вряд ли поддается логике...

— Зря,— сухо сказал Брюханов.— Понять можно все, только мы иногда стараемся не признаваться в этом. Так нам выгодно.

— Что же, вы серьезно надеетесь сказать свое слово в нашем департаменте? — Все больше беря себя в руки, Муравьев повозился, удобнее устраиваясь в кресле; не дождавшись ответа, он, глядя перед собой отсутствующим взглядом, ушел в свои мысли.— Что ж, попытайтесь, не вы первый, не вы последний. Закон усреднения причешет и вас. Слыхали о таком? Если нет, то услышите, а скорее на себе почувствуете, ждать долго не придется. Не было бы меня, нашлась бы другая, не менее средняя личность, которая стала бы держать вас за фалды, для этого она и существует в природе, в этом раз и навсегда ее биологическая функция — быть при ком-то. По этому великому закону усреднения любую сильную, исключительную личность нейтрализует серое нечто...

— Что это на вас нашло сегодня, Павел Андреевич? — спросил Брюханов, впервые после знакомства с Муравьевым испытывая к нему настоящий интерес.

— А что? Какая разница! — Муравьев не удивился, не обиделся, его лицо было по-прежнему значительно-отсутствующим.— Ну, потеряю вас, пристроят меня к кому-нибудь другому, ведь без нас нельзя, мы нужны, и не меньше, чем, скажем, вы. Исключительных, сильных личностей в мире не много, но сила силу гнет. Вот и получается, что к каждому из сильных подвешивается гирька вроде меня, да не одна... Правда, гирьки-то, они, как ключи, к каждому индивидуально подбираются... К вам достаточно такого, как я... Чтобы выше, чем это положено по рангу, не залетели... А вообще-то, если проблему поставить на глобус, как говорит Борода, попросту Курчатов, все мы разменная монета в этой глобальной игре...

— Ничего себе теория! — не удержался Брюханов.— Вы что, для собственного спокойствия ее сочинили? Чтобы с вас раз и навсегда взятки гладки?

— Считайте как хотите.— Муравьев был уже прежним, обычным Муравьевым, застегнутым на все пуговицы, не считая горячечного блеска в глазах.— Вы хотели откровенности, вы ее получили. Только что это между нами переменило?

— Ну, почему же, Павел Андреевич? Должны же мы знать друг друга. Ведь вы сами как-то сказали, что на одной дорожке нам тесно, Павел Андреевич...

— Простите, не совсем так. Но если вам угодно именно так интерпретировать, то... Впрочем, это ваше личное дело,— запротестовал Муравьев.— Во всяком случае, за свою часть ноши я привык отвечать. Это еще одна истина, которой я придерживаюсь неукоснительно. Если бы не это, мы бы с вами не сидели сейчас и не беседовали...

Брюханов быстро взглянул на него, его несколько озадачила позиция своего первого заместителя, а главное — что Муравьев в чем-то был прав, а в чем именно, сразу определить было трудно. Брюханову и раньше встречались люди подобного типа, умеющие из собственного уничижения извлечь выгоду, нащупать некую превосходительную точку и постараться возвыситься над другими, и все это в полной убежденности своей якобы ущемленности. Муравьев, оценивая затянувшуюся паузу и про себя удивляясь, что за все время их

разговора не раздалось ни одного телефонного звонка, и пытаясь определить, что за этим скрывается (ведь давно уже тайком поговаривали о том, что Сталин начинает все больше сдавать), выжидал теперь, какой стороной приоткроется Брюханов в дальнейшем их разговоре. Муравьев не жалел о своей откровенности, хотя подобная горячность подводила его уже не раз, но он твердо знал, что человека определяют его поступки, а не слова. Но и Брюханов, в свою очередь, решил пойти до конца.

— Ну что ж, Павел Андреевич, откровенность за откровенность,— сказал он.— Мне на днях звонил Лапин, жалуется, что вы навязываете ему в аспирантуру бездарных молодых людей, притом ссылаетесь на меня...

— Да, этот факт имел место,— вскинулся в кресле Муравьев.— Но это делалось не из личной корысти, для пользы дела.

— Опять влиятельные родители? — в голосе Брюханова прозвучала усталость.

— Не так чтобы очень... Но сидят на таких узлах, что для нас с вами действительно врата чистилища...

— Кто, например?

— Ну хотя бы Бургасов из Госплана.— Муравьев оживился.— Кстати, Тихон Иванович, о Лапине и о его институте. Решение о передаче его в наш главк на днях перешлют из Совмина. Намучаетесь вы с ним, попомните мое слово.

— Это почему же?

— Как же, опять личность! Исключительная, неуправляемая! — Узкие плечи Муравьева приподнялись, он как бы еще больше поблек лицом, и оттого у него резче проступили нос, губы, брови.— Я никогда не устану повторять: во главе серьезного исследовательского института должен стоять администратор, продюсер, хозяйственник, истинный же ученый должен заниматься своим непосредственным делом — чистой наукой.

— Нет уж, Павел Андреевич, Лапина вы оставьте в покое. По вашей же теории. А в отношении того, кто должен руководить научно-исследовательскими учреждениями, то ученые считают, что только они... На мой взгляд, они правы.

— Но, Тихон Иванович...

— Простите, вы сегодня много интересного высказали, Павел Андреевич,— остановил его Брюханов, слегка, казалось — с одобрением, прищурившись.— Од-

нако я прошу вас, Павел Андреевич, не стараться впредь в любом и каждом случае спешить подменить меня, даже если с этой целью вас и усадили в кресло первого зама. Лапина не трогайте. Не спешите, Павел Андреевич,— Брюханов говорил без тени угрозы, но Муравьев воспринял его слова как явное предупреждение перед открытием враждебных действий, как безусловный приказ, и наклонил в знак согласия голову,— нейтрализовать любой мой поступок. В отличие от вас, я не цепляюсь за свой портфель. Можете передать это по своим инстанциям. И вот что, я прошу вас впредь Софочек и Владиков Лапину в аспиранты не навязывать, кем бы ни были их родители. Лапину балласт не нужен, архивреден. И это вам известно не хуже меня. Вообще, Павел Андреевич, давайте попробуем идти нормальными путями. Немного труднее, немного дольше...

— Я вас понял.— Муравьев поднялся, узкий, ироничный, щелкнул замком портфеля.— Только вот это «немного дольше», ох, какие дубы валило!

— Я очень благодарен вам, Павел Андреевич, за полезную информацию. Проработайте, пожалуйста, к пятнице предложение о распределении наших объектов первой группы в радиусе Зежского моторного.

— Хорошо...

— На пятницу, на три часа, назначим коллегию, послушаем, что скажут сами специалисты, те, кому непосредственно разрабатывать технологию.

Муравьев, попрощавшись, вышел, и на Брюханова хлынуло опустошительное облегчение; впервые после назначения на новую работу он действительно почувствовал, что он *один* в кабинете и что дальше теперь пойдет легче, иначе; эту перемену в нем тотчас ощутил его аппарат, и первый Вавилов, решивший, что у Брюханова определился наконец вопрос с переездом семьи, но, умудренный превратностями жизни, даже случайным намеком высказать этого вслух себе не позволил.

2

Состоявшаяся через несколько дней коллегия прошла необычно бурно; мнения по главному вопросу — о выборе места для размещения новых объектов — разделились, хотя эксперты высказались единодушно за точку зрения основного докладчика. Муравьев держал-

ся все время в тени и на коллегии подчеркнуто одобрял любое предложение Брюханова, и это было замечено всеми, и многие явно недоумевали, особенно после того, как один из выступающих оппонентов, с мясистым надбровьем, внушительно оседланным очками, попытался прямо адресоваться за поддержкой к Муравьеву и тот, удивленно приподняв светлые брови, промолчал, но Брюханов, не выпускавший его из поля зрения в течение всей коллегии, понял, что предварительная работа велась большая и Муравьев не остался от нее в стороне.

Был уже восьмой час, когда Брюханов с Лапиным прошли в комнату президиума, Лапину нужно было срочно куда-то позвонить. Открывая бутылку минеральной воды, Брюханов вопросительно взглянул на сосредоточенного на какой-то своей мысли Лапина, нетерпеливо отыскивающего в своем пухлом записном блокноте номер нужного телефона.

— Может, коньяку глоток, Ростислав Сергеевич? — предложил Брюханов, обождав, пока Лапин, почти не говоря ни слова сам, кого-то выслушал и положил трубку.

— Благодарю, благодарю, не надо,— встрепенулся Лапин.— А то усну сразу же в машине, устал от этого великого сидения... И что тогда скажет мой лучший друг Стропов? Или Павел Андреевич Муравьев? — Лапин глянул из-под насупленных бровей, пряча усмешку.— Хороший, даже очень хороший и заслуженный товарищ, наш товарищ Лапин, но, знаете ли, дряхл, совсем дряхл, в машине спит, на заседаниях, поверите ли, спит с полуоткрытым ртом... и того... слюна... э-э! Всему есть мера!

В голосе Лапина послышались привычные медлительные интонации Муравьева, когда тот бывал явно раздражен и стремился ни в коем случае не дать почувствовать этого собеседнику.

— Да вы артист, Ростислав Сергеевич.— Брюханов отпил несколько глотков, и шипящая, с сильным привкусом железа вода сразу освежила.

— В нашем деле, Тихон Иванович,— Лапин прищурился на стакан,— без артистизма недалеко уедешь. Как начнешь фонды выколачивать из вашего брата, освоишь и клоунаду, и все цирковые профессии, вместе взятые... Э-э! Для пользы дела,— повторил он со знакомыми муравьевскими интонациями в голосе.

— Ну вот, видите, значит, руководство институтом все-таки действительно вам мешает. Или Муравьев прав? Как вы относитесь к его теории насчет руководства институтами?

— Отрицательно, отрицательно, резко отрицательно! Порочная, вредная точка зрения.

— Но ведь тогда больше останется времени для чистой науки,— возразил Брюханов.— Ведь вы только что сетовали на административные рогатки...

— Почему же не посетовать, если есть перед кем? — Лапин слегка улыбнулся.— Но перед нами пример блистательного Курчатова, в небывало короткий срок приведшего свой, подчеркиваю, колоссальный проект в исполнение. У нас не было бы в такой срок бомбы, если бы между Курчатовым и его делом торчала дубовая, непробиваемая стена из хозяйственников и администраторов! Он был хозяином дела, первоосновой всему. Кстати, в администраторы от науки идут неудачники, несостоявшиеся ученые, самая ничтожная и злобная публика; никто и никогда еще не признавался в том, что он бездарность! И никогда не признается, смею вас уверить, такова уж человеческая порода! Простите, простите,— остановил он хотевшего возразить что-то Брюханова.— И досточтимый товарищ Муравьев как раз из этой публики: хотел стать выдающимся металлургом, да, как видно, достаточно быстро понял, что Черновы не часто рождаются. Вот вы отдайте ему в руки головной институт металлургии... и что там останется от науки? Посредственность всегда убеждена, что она права, а наука только тем и движется, что в ней нет до конца правых и, надо сметь надеяться, никогда не будет. Думаю, ничего там не останется, в таком институте, кроме раздутого самолюбия посредственности... Всякая инициатива будет преследоваться как вредное инакомыслие, любое смелое начинание будет тщательно просеиваться и утюжиться...

— Как? как? — не удержался Брюханов.

— Утюжиться, я сказал. Дайте закурить, Тихон Иванович,— попросил Лапин и, задымив папиросой, с наслаждением затянувшись дымком раз и другой, опять улыбнулся.— Никак не отвыкну, как только живой разговор, сразу начинает подсасывать... Скверная привычка! Для таких вот администраторов, как только они оказываются в достаточно прочном и высоком кресле, мгновенно все перестает существовать, кроме про-

блем и выгод собственного желудка. Что вы, помилуйте, какая наука, какой там, к черту, смелый эксперимент? А вдруг не получится, а вдруг это как-нибудь рикошетом отзовется по заветному, нагретому креслу под собственным, далеко не безразличным себе задом? А?

— Вы нарисовали очень уж крайний тип, Ростислав Сергеевич...

— Не спорю, не спорю... У нас разные точки осмотра... Наука в наше время требует смелости, граничащей с фанатизмом, и больших средств.— Лапин вежливо улыбнулся, стряхнул пепел.— Когда эти две плоскости разъединены даже просто осторожным администратором, толку не будет. Институтом должен руководить только ученый! Вот вам моя конечная точка зрения. Наука с каждым годом будет играть все более глобальную роль в общечеловеческом прогрессе, и не дай вам бог задавить даже один талант!

— Кто вам сказал, что я буду давить? — удивился Брюханов.

— Между намерением и исполнением иногда образуется огромная дистанция, особенно в вашем положении. Впрочем...

— Говорите, говорите,— с любопытством подзадорил Брюханов.

— Жизнь в конце концов изберет именно ту форму, которая будет прогрессивной.— Лапин энергично потыкал большим пальцем воздух за своим плечом.— Дремать жизнь не даст, и опять все тот же проклятый Запад, хочешь не хочешь, а придется искать самые прогрессивные методы... обойдут, задавят, не успеешь и свистнуть, как промчатся мимо.

— Решительное у вас сегодня настроение, Ростислав Сергеевич,— сказал Брюханов, потирая затекшую ногу и отмечая несколько повышенное, не свойственное ему возбуждение собеседника.

— Я бы сказал — веселое,— согласно подтвердил Лапин.— У меня, знаете ли, с некоторых пор появилась одна ужасная особенность... Она меня даже страшит, ни с того ни с сего говорю почему-то дочери: завтра будет дождь... и пожалуйста вам, завтра и в самом деле хлещет дождь с самого утра...

— Вы опасный человек, Ростислав Сергеевич, у вас, очевидно, повышенная интуиция.

— Весьма опасный. Все естественно, друг мой, просто: было лето, будет осень, будет и зима, снежные

бури... Естественный вечный ход... Скажите, Тихон Иванович, вы еще не перевезли семью? — Лапин живо, с любопытством блеснул глазами.— Мой однокашник Олег Максимович Чубарев много говорил о вашей семье лестного.

— Нет, пока не перевез, пока один,— неопределенно пожал плечами Брюханов; вопрос этот, особенно со стороны Лапина, был неожиданным, и у Брюханова опять пробудилось ощущение, что в кабинете есть еще кто-то третий.

— А что, Тихон Иванович, пожалуй, я тяпну рюмку коньяку, у меня еще сегодня ученый совет был, так я, знаете ли, для профилактики.— И, не ожидая согласия, Лапин быстро прошел к глухой панели, облицованной дубом, и ожидающе оглянулся на Брюханова; чувствовалось, что он здесь бывал и раньше. Брюханов, посмеиваясь, нажал на замок и, достав из открывшегося тайника коньяк и две рюмки, неторопливо налил. Лапин с интересом проследил, как дубовый квадрат панели бесшумно встал на свое место, затем присел к низкому столику, взял свою рюмку, попробовал, одобрительно кивнул.— У меня сложилось, Тихон Иванович, твердое убеждение,— сказал Лапин, как бы извиняясь за невольное возвращение к начатому разговору,— что все сложности, все неурядицы между близкими людьми происходят от нашей неуверенности в самом себе. Вы знаете, вот именно, больше уверенности в себе, и вы научитесь предсказывать погоду. От женщин отбою не будет!

— Так уж и не будет?

— Уверяю вас,— Лапин достал белоснежный платок, прикоснулся к губам,— самое главное — понять причины, двигающие твоей неуверенностью, и ты сразу же начинаешь понимать, что иначе поступить не мог. А из этого и мотивы всех ваших поступков.

— Так вы полагаете, Ростислав Сергеевич,— Брюханов намеренно увел разговор в совершенно другое русло,— поступки академика Стропова продиктованы вашей неуверенностью в себе? Как только вы обретете уверенность в вопросах дальнего поиска, он перестанет делать то, что делает? Я основываюсь хотя бы на сегодняшнем его выступлении на коллегии...

Глядя в сузившиеся глаза Лапина, Брюханов сохранял на лице невозмутимое выражение.

— Один — ноль в вашу пользу, Тихон Иванович,— с видимым удовольствием одобрил Лапин.— Чувствуется закаленный кулачный боец.

— Благодарю.

— Я же имел в виду отношения с близкими людьми, здесь все совершенно наоборот. Отлично понимает академик Стропов и мои цели, и возможности, вот оттого старается, где только можно, тормозить, не пущать и даже откровенно мешать. И все это прикрывается великой, простите, демагогией стояния на страже интересов народа и государства...

— Значит, демагоги встречаются и среди вашего брата, не только среди бюрократов. Что тебе, Валентин? — спросил Брюханов вошедшего Вавилова; тот сказал, что к телефону срочно, вот уж второй раз, просят товарища Лапина.— Давай переключи сюда, Валентин,— попросил Брюханов, и Лапин с явным недоумением на лице взял трубку указанного ему телефона и, едва поднес ее к уху, спросил:

— Майя? Почему у тебя такой голос? Что случилось?.. Что? Что?

Брюханов видел, как мгновенно переменилось лицо Лапина, постарело, отяжелело.

Лапин еще послушал, положил трубку, затем беспомощным движением бессильно потер лоб.

— Ростислав Сергеевич...

— Да, да,— глухо отозвался Лапин.— У самого дорогого мне человека умерла жена... неожиданно... Я должен быть у него... это так ужасно...

— Хотите, я пойду с вами? — поддавшись порыву, спросил Брюханов.

— А вы можете? Это было бы хорошо...

— Да, я сейчас спущусь.

Через полчаса они уже стояли перед Ростовцевым, и Брюханов, неловко здороваясь и представляясь, пробормотал несколько тех бессильных, стертых и необходимых слов вроде: «Я много о вас слышал, очень сочувствую вашему горю», но художник их не услышал. Он продолжал стоять все с теми же широко распахнутыми, отрешенными глазами и не видел ни Брюханова, ни Лапина, он лишь машинально подошел открыть дверь и был всецело во власти того, что ему надлежало делать самому; то, что произошло и происходило с ним, исключало сейчас все обыденные дела и привязанности.

Брюханов понял, почему Лапин один боялся сюда идти, сюда непозволительно, нельзя было вторгаться никому; ему вспомнилась выжженная, вся в воронках и трупах, земля только что отгремевшего боя, от подсвеченного всходящим солнцем тумана она вся дымилась. Мимолетное воспоминание, ворвавшееся из далеких уже военных лет, усилилось, когда Ростовцев пригласил пройти их в мастерскую, по-прежнему служившую ему и жилищем.

Покойница, лежавшая на тахте, была прикрыта до пояса какой-то цветной накидкой: горело несколько свечей, и лицо покойной, уставшее от долгой болезни, было ярко, до последней морщинки, освещено и как бы возвышалось над всем остальным.

— Мне нужно закончить, *пока она еще здесь,*— не обращая на пришедших больше никакого внимания, пробормотал Ростовцев, подошел к мольберту и стал быстро набрасывать на холст краски.

Он почти не глядел в сторону своей покойной жены, глаза его были сухи, в них, кроме острой профессиональной сосредоточенности и напряжения, сейчас не читалось ничего другого. Он находился в самой крайней точке, на пределе, его высокий, покатый лоб, переходящий в залысины с седыми клочками волос по бокам, ссутуленные плечи — все говорило о предельной степени усталости и истощения; Брюханов сделал непроизвольное движение в сторону Ростовцева, чтобы поддержать его, казалось, что художник вот-вот упадет. Но Лапин успел предостерегающим жестом остановить Брюханова, потянул его назад, и они неслышно присели на плетеный диванчик. Бегло обежав взглядом мастерскую и не дав себе ни на чем задержаться, Брюханов снова остановился на лице покойницы, впервые отмечая про себя, как чутко и точно отразил народ само понятие «покойница». Все кончилось, все отрезано, страсти, радости, болезни, страдания, надежды, все, чем так богат человек в жизни, ушло; остался один этот бесконечный покой; он никогда не прервется, какие бы потрясения и катаклизмы ни ждали живых. Брюханов незаметно ослабил узел галстука; Лапин снова предостерегающе сжал ему локоть и, мягко ступая, пошел в боковушку варить на спиртовке кофе; перед отъездом они послали Вавилова в буфет главка за какими-нибудь продуктами и, главное, достали бутылку рижского бальзама: с кофе или чаем бальзам должен был поддержать

силы Ростовцева. В отличие от Брюханова, Лапин хорошо знал, что значила для Ростовцева жена, и теперь со страхом ждал наступления разрядки; он видел, что Ростовцев сейчас почти невменяем, но доминанта неизбежно рано или поздно упадет. «Что же такое предпринять,— лихорадочно думал Лапин,— как с наименьшими потерями вывести его из этого состояния? Даше уже ничем не поможешь, зачем же рисовать покойницу, продлять бог знает как надолго это тягостное, мучительное воспоминание?»

— Сева, ну-ка, иди, выпей кофе, подкрепись,— сказал он тихо и, встретив далекий, отсутствующий взгляд художника, сам шагнул к нему с чашкой.

Казалось, Ростовцев не слышал слов Лапина, механически выпил сладкий кофе и тут же снова вернулся к мольберту, он очень спешил, но движения его были скупыми, размеренными, четкими. Часто меняя кисти, он напряженно всматривался в уже довольно ясно проступавшее изображение, отшатывался назад с измученным, опустошенным лицом, с тем чтобы снова с каким-то яростным ожесточением наброситься на холст. Но ни Лапин, ни тем более Брюханов не могли понять и сотой доли того, что в самом деле происходило с художником; единственное, что еще связывало его с жизнью, был этот холст и то, что на нем происходило. Он шел по самому гребню между все той же жизнью и тьмой, и каждую минуту все могло оборваться. И он нес в себе эту предсмертную дрожь, этот невыносимый холод и пустоту; и тьма, наползавшая со всех сторон, порой сжимала его до удушья, только предельным, почти оглушающим напряжением всего своего существа он разрывал ее в самый последний момент, когда и дыхание уже останавливалось. И несмотря ни на что, он ни на мгновение не упускал ни одной подробности этого дня, как он, не отрываясь от стола, попросил ее подать клей, не получил ответа, оглянулся и... понял, что произошло, и на него двинулась эта рваная, глухая тьма, и, чувствуя, что еще минута — и он сойдет с ума, схватил готовый холст на подрамнике; и как только пальцы его привычно нащупали кисть, его опыт и профессионализм художника, именно профессионализм, даже не талант, а главное — все то, что он передумал и перечувствовал за свою нелегкую, подвижническую жизнь, то, к чему он пришел, все это сплотилось и укрепило его настолько, что он сделал первый, неясный еще штрих, едва-едва

наметилось слабое пятно света в беспредельных пространствах тьмы, и она ослабила свои тиски, чуть отпустила. И тогда он ударил кистью вторично. И просвет увеличился, и началось главное в его жизни сражение, в котором он не мог отступить; он мог лишь победить или быть поглощенным той же тьмой. И еще он почему-то неотступно думал, сколько *она*, понимавшая его больше других людей на свете, сколько же *она* перемыла ему кистей и сколько раз готовила краски...

С нескрываемым раздражением встретил он нежданных, ненужных ему сейчас людей и тут же забыл о них, вернувшись к холсту; если бы ему удалось воскресить Дашины черты, она бы никогда не ушла, неясно билась где-то в его сознании даже не мысль, а как бы ее ощущение, и, значит, они бы никогда больше не расстались; он знал, чувствовал, что для победы ему требовалось совсем немного, но именно на это немногое не оставалось никаких запасов, и тьма уже начинала опять копиться во всех углах и проступать со всех сторон и слизывать все, что ему удалось отстоять. Мучительная, бессильная судорога, так испугавшая Брюханова, прошла по его лицу; но то, что вырвалось наружу, было лишь слабым отражением того, что происходило в нем, его обжег ослепительно белый взрыв новой опустошительной волны, и он, сделав несколько торопливых, казалось, небрежных мазков, медленно попятился от полотна и впился в него почти безумными глазами. Тревожно встав с кресла, Лапин инстинктивно не решался сделать ни одного лишнего движения; замер и Брюханов, но затем оба они, стараясь быть незаметнее, придвинулись вперед так, чтобы тоже видеть полотно и понять, что же так поразило Ростовцева. И в ту же минуту у обоих предательский холодок восторга тронул зашедшееся сердце; то, что они увидели, нельзя было сразу осознать, потому что прекраснее того, что они увидели, им еще никогда не приходилось встречать. Перед ними была всего лишь молодая девушка, почти девочка, с удивительно ясным, распахнутым лицом. Она как будто рвалась из клубящихся, все плотнее сдвигающихся облаков в свободно синеющее впереди пространство; оставался еще один, последний рывок, и вся она, казалось, освободится и соединится с синим простором. Этот момент рывка, обретенной свободы и схватил художник, и был он, этот момент, полон такой игры ожидания, радостного света, надежды, со-

средоточенности, каких-то ликующих, бездонных сил, что Брюханова вновь затопила пронзительная теплота, и он понял, что этот момент никогда больше не повторится; он смотрел минуту-другую, и чем дольше смотрел, тем больше становилось ему не по себе от той вечности, что раскрывалась перед ним; он понял, что угасшая жизнь воскрешена мастером в самом расцвете молодости и красоты, и ему стало страшно, что даже он уловил сходство обоих лиц, юного, полного жизни, и мертвого, покойного и равнодушного ко всему, и это сходство приоткрывало ему еще одно противоречие, непостижимую глубину творения...

Его отвлекли от картины какие-то странные посторонние звуки, он с трудом оторвался от картины: Ростовцев, бессильно обвиснув на высоком табурете, плакал, сотрясаясь всем телом, и Брюханов с удивлением, почти с каким-то страхом увидел перед собой жалкого, сломленного горем старика...

— Сева,— кинулся к художнику Лапин, задев по пути и с грохотом опрокинув подвернувшийся стул; Брюханов, вздрогнув, торопливо его поднял.

— Уходите! — срывающимся, бессильным фальцетом крикнул Ростовцев.— Все уходите, все! И ты!

— Сева, сейчас приедет Майя, тебе надо поспать, тебе нужны силы,— попытался успокоить его Лапин.— Что ты такое говоришь?

— От чего отдохнуть? От нее? — спросил художник.— На что силы? — добавил он, и его слова были настолько просты, настолько исчерпывающе безнадежны, что Лапин не нашелся что ответить и, лишь переступив с ноги на ногу, тихо вздохнул.

— Иди, Ростя, со мной ничего не будет. Приходи после, мне надо еще побыть с ней, проститься. Идите,— мягко попросил Ростовцев, и Лапин с Брюхановым, переглянувшись, послушно вышли и на круглой лестничной площадке перед мастерской, на дверях которой висела бронзовая табличка с лаконичной надписью «В. Н. Ростовцев», посоветовавшись, что нужно сделать завтра днем, разошлись.

Оставшись один, Ростовцев, уже совершенно опустошенный и безразличный ко всему, еще раз кинул на картину взгляд, подошел к изголовью умершей, присел рядом и, прикоснувшись ладонью к ее холодной, твердой щеке, закрыл глаза. «Человек уходит именно тогда, когда он больше всего нужен, несправедливо, неспра-

ведливо»,— вяло подумал он, накрывая лицо жены ее любимой шелковой косынкой, затканной египетскими иероглифами; она почему-то часто набрасывала эту косынку на торшер...

Сдернув с вешалки плащ, не гася света и не заперев дверей, он стремительно, как будто за ним неслась погоня, сбежал по лестнице и, ускоряя шаги, пошел по пустынной ночной улице к Центральному телеграфу. Он не мог спать, не мог забыться ни на минуту, усталость его была другого рода. Ему нужно было решить не откладывая какой-то важный для себя вопрос; сильно горбясь, он безостановочно шагал по улицам и переулкам огромного, равнодушного, жестокого города, и к нему приходили равнодушные, жестокие мысли. «Что ж, вполне возможно,— думал он,— что вся его прежняя жизнь, вплоть до последней минуты, тоже есть ложь и окружающий мир един только в одном — в отсутствии всякого, даже элементарного, смысла».

Он выбрался куда-то на набережную и наклонился над парапетом; темная, безмолвная вода лежала в каменных, сжимавших ее тисках. Он присмотрелся и заметил по какому-то светлому пятну, не то по щепке, не то обрывку газеты, слабое, едва заметное движение. И тогда он решил, что не видит в жизни смысла лишь потому, что сам уже стар, а теперь вот и бесконечно одинок.

За спиной у него резко затормозила машина, из нее вышли два человека.

— Простите, что вы здесь делаете? — спросил один из них, прикладывая руку к козырьку фуражки и присматриваясь к измученному, старому лицу Ростовцева.— Может быть, папаша, вас подвезти, ведь уже поздно... Где вы живете?

— Сейчас, пожалуй, нигде,— отозвался Ростовцев, вызвав тем самым некоторое замешательство у спрашивающего, который, переглянувшись с товарищем, сдержанно улыбнулся.

— Мы ночной патруль, папаша, охрана, порядок... Город большой.

— От чего же вы его охраняете? — безучастно поинтересовался Ростовцев.

— Мало ли от чего... всякое случается. А то давайте поможем, подбросим, нам ведь это ничего не стоит.

— Спасибо, спасибо...

Простые, бесхитростные слова участия вызвали вдруг у Ростовцева мучительный спазм, ему было страшно вернуться в пустую, ярко освещенную мастерскую, где лежала покинутая им, брошенная Даша, и он, глотая слезы, назвал адрес Лапина.

Брюханов вернулся домой почти под утро, раздумывая о том, что колесо столь привычного в огромном городе обряда скоро будет прочно запущено, подключится Художественный фонд и МОСХ и люди, совершенно незнакомые и безучастные к горю Ростовцева, но столь падкие на зрелища, будь то похороны или свадьбы, заполнят стены так давно и долго пустовавшей мастерской художника. Как раз в то время, когда Ростовцева привезли на милицейской машине к Лапину и он, укрытый пушистым пледом, забылся коротким сном в кабинете Ростислава Сергеевича, Брюханов велел шоферу везти себя домой. Квартала за два он отпустил машину и медленно пошел по пустынному тротуару. Перед глазами по-прежнему неотступно стояло сияющее в своей победительной, ликующей силе лицо с холста Ростовцева, и Брюханов несколько раз возвращался к мысли о заложенной в искусстве силе добра и думал, что, конечно, на любом месте можно творить добро, но как, какой мерой определить, допустим, добро Ефросиньи Дерюгиной, или добро Муравьева, или даже твое собственное? Разумеется, просто убить человека, подойти и ударить до смерти — есть зло очевидное, оно карается законом,— но вот убивать медленно, каждый день понемногу, недоверием, замалчиванием, непризнанием, клеветой за его спиной, когда он, отчаявшийся, не понимающий, откуда на него сыплется, вдруг на всем бегу загнанно падает и больше не встает,— совсем другое дело. Объяснение просто, каждый когда-то падает, один раньше, другой позже, незыблемый закон живого; пришел — исчезни. А под этот закон любую подлость можно подверстать, никто не заметит, а прежде всего тот, с кем эта подлость будет проделана. Самое парадоксальное, что сам он будет считать случившееся с ним правомерным, а виноватым больше всех самого себя.

Спать не хотелось, домой, в пустую квартиру, возвращаться тоже не хотелось. Он даже передернул плечами, вспомнив гулкую переднюю с рядом высоких двустворчатых дверей в комнаты; в передней одиноко

торчала рогатая, вечно пустая передвижная, круглая вешалка; Брюханов почему-то возненавидел ее с первого взгляда, все собирался куда-нибудь выбросить, но так руки пока и не дошли. Конечно, уже не может не бросаться в глаза, что он один, ну, кончала институт, ну, страшно срываться с привычного места... ну, а дальше, а теперь? Причину всегда можно найти, но разве в этом дело? Все эти ее отговорки... что ж, он должен теперь состариться без семьи, в ожидании ее кандидатской? И какой это особый материал именно в Холмске, что же, люди в Москве иначе, что ли, болеют? Что это такое говорил Лапин? Ах, да, все беды и неурядицы от неуверенности в себе самом, занятная теория.

Он остановился, возле водосточной трубы жалобно повизгивал небольшой пушистый комочек. «А что? Это идея,— подумал он.— Возьму-ка хоть этого щенка... Молока буду ему оставлять, ветчины, все будет живая душа в пустых стенах...»

— Бобик, Бобик,— позвал он щенка и нагнулся было к нему, но тот, мягко скользнув пушистым хвостом по тротуару, исчез за углом.

— Ну и черт с тобой! — разозлился Брюханов на свою затею и зашагал дальше, с досадой поругивая себя за неожиданный ребячий порыв. «Тоже решил проблему,— издевался он над собой,— видишь, тепла ему не хватает. Вот вернусь домой, позвоню в Холмск... Или, скажу, ты через неделю будешь со всем своим хозяйством у меня в Москве, или... А если у нее там уже кто-нибудь есть?.. Отсюда и нежелание ехать... три года скоро, как одна и одна, красивая, молодая, здоровая баба... Какой ей смысл одной-то быть в самом расцвете?»

Раньше он гнал от себя подобные мысли; опять вспомнилось прекрасное лицо покойной жены Ростовцева, и мысль, что все самое главное в жизни проносится мимо, мимо, опять пришла к нему. Даже у них так, хотя жена Ростовцева всю свою жизнь отдала мужу... Но что-то главное она оставила после себя, потому что это главное было... между ними. «Ну что же, попробуем додумать эту мысль до конца. Что же главное у них с Аленкой? И есть ли оно, это главное? Не поздно ли ты задал себе этот вопрос? А что, если поздно? Ну, и что ты в силах изменить? Пусть даже самое плохое случилось, все равно ты не можешь броситься на вокзал, а завтра под вечер оказаться в Холмске... не можешь — и все. Если даже самое плохое — правда, что ты там будешь

делать, что ты изменишь? А может, ничего нет и права Аленка: все само собой образуется?»

Ему стало стыдно своего малодушия; все, что происходило с ним, казалось таким мелким, ненатуральным, необязательным, особенно в сравнении с прекрасным, летящим лицом на полотне.

Открыв дверь в квартиру, привычно щелкнув выключателем, он стащил с себя плащ и заранее с чувством отвращения повернулся к вешалке. Некоторое время он стоял, не веря своим глазам, знакомая соломенная шляпка и серое габардиновое пальто скорее даже не обрадовали, а поразили его.

— Наконец-то, господи,— услышал он родной голос и увидел ее в дверях, в халатике поверх ночной сорочки, босоногую, с непривычно замысловатой, кокетливой прической.— Ага, попались, которые кусались! Посмотри, который час... четвертый, а?

— Аленка! — бросив плащ, Брюханов быстро подошел к ней.— Надо же, собственной персоной... Аленка! Даже не предупредила...

— А я нарочно,— сказала она с вызовом.— Как видишь, не напрасно. Так где же ты был?

— Вот и доверяй ключи посторонним.

Он обнял ее и, не целуя, сильно прижал к себе. Она закрыла глаза, отдавшись минуте душевного успокоения: «Все, все ерунда, кроме этой минуты, вот ее берег, ее единственная земля, все остальное бред, горячечная фантазия — и доктор Хатунцев, и ее работа на кафедре, и заказанная статья в «Вестник психиатрии». Брюханов, только Брюханов — ее единственная гавань, без нее не обойтись, не укрыться от непогоды...»

Она подняла голову, поглядела ему в глаза, напряженные, ждущие, казалось, все понимающие...

— Соскучилась,— прошептала она, насильно притянула к себе его голову, поцеловала в губы.— Не могла больше, сорвалась и приехала. Даже Тимофеевну не успела предупредить.

— Ничего, утром позвоним... Ты есть хочешь?

Засмеявшись, Аленка провела его в соседнюю, ярко освещенную комнату с накрытым столом; в углу в большой керамической вазе прямо на полу стоял гигантский букет красных гвоздик.

— Твои любимые, иди мой руки, я оденусь,— сказала Аленка.— Хочу сегодня быть красивой, Брюханов!

Ух, пока вывезла из квартиры грязь... Ты что, так и не нашел никого для уборки?

«Что-то с ней случилось,— подумал он, оставшись один, снимая пиджак и закатывая рукава сорочки. Он прошел в ванную, пустил воду; мыло было необычной формы, круглое, и пахло гвоздикой, Аленка была неравнодушна к дорогому мылу.— Да, что-то есть, что-то такое, о чем она не хочет сказать. Впрочем, если захочет, скажет, а если нет, значит, для этого есть причина, о которой мне не следует знать». Но он тут же отогнал эту враждебную для Аленки мысль, он был слишком обрадован ее неожиданным приездом, чтобы позволить себе думать о неприятном, но после, когда они уже оторвались друг от друга, усталые, возбужденные, чувство настороженности и обиды за то, что она так долго не приезжала, опять шевельнулось в нем.

— Ты еще не бросила курить? — спросил он, накрыв ладонью ее руки с зажатой в пальцах папиросой.

— Нет...

— Обещала...

Она засмеялась с вызовом.

— Обещала, но не бросила. Нужно уметь ждать!

— И уметь выполнять свои обещания...

— Смотри, уже светает,— сказала Аленка.— Я никогда не встречала рассвет в Москве...

— Да, совсем рассвело.— Брюханов кивнул на неплотно задернутые шторы.— Зеленый сумрак... Ну как Ксеня, помнит еще меня?

— Она о тебе часто говорит, все не дождется, когда мы переедем совсем жить в Москву... Тихон, не сердись, мне еще нужно несколько месяцев... пока я полностью соберу материал. Вот уже год, как я наблюдаю за патологией в васкуляризации головного мозга у больных с ранним атеросклерозом. Собирается интересный материал. Сколько раз я тебе говорила... Тихон, а ты сердишься...

— Нет, не сержусь... Приехала, и хорошо, но отсюда ты больше не выберешься, ясно? Ничто тебе не поможет, ни твоя статья, ни твой шеф.

— Что с тобой, Тихон? — спросила она, почти пугаясь его пристального, тяжелого взгляда; раньше он никогда так не глядел на нее.

Он насильно взял у нее папиросу и погасил; она закрыла глаза, лежала покорная, как-то отрешенно чув-

ствуя его жаркие губы. «Вот и хорошо,— разорванно и бесссвязно думала она,— вот и прошло, пусть ничего больше не будет. Только этот зеленый сумрак... ни милосердия, ни надежд... она тоже устала. Клиника, дежурства, бесконечное сидение в библиотеке, она даже Ксеню не видит, приходит, когда девочка уже спит. Недовольство профессора, все упрекает ее в торопливости выводов». «В науку бегом не вбегают, голубушка моя»,— передразнила про себя она его...

— Думаешь, мне легко, Тихон? Как ты со мной разговаривал в прошлую пятницу,— сказала она, словно выныривая из-под душного колпака.

— Вот видишь, это тоже приносит пользу, Алена. Когда бы я еще тебя дождался?

— И все-таки мне нужно еще несколько месяцев, Тихон. Я сама смертельно устала от этой неустроенности, но ведь жизнь-то одна...

— Вот именно, одна! — подхватил Брюханов.— И я уже тоже имею право жить нормальной семейной жизнью... По крайней мере ко мне могли бы приехать Тимофеевна с Ксеней, пока ты там будешь расправляться со своей наукой... Я же здесь совершенно один, как волк...

— Мы будем спать, Тихон?

— Не будем, я, например, не буду, мне рано уезжать,— он отметил про себя ее попытку уйти в сторону от разговора.— Что там еще, в Холмске, нового?

— Я почти ничего не знаю из того, что тебя интересует, видишь, какая я плохая жена,— сказала Аленка.— По-моему, Лутаков разгоняет потихоньку твои последние кадры...

— Я знаю, мне кое-кто пишет,— сказал Брюханов.— Не вижу в этом ничего удивительного, каждая новая метла метет по-новому.

— Ну зачем же оправдывать самодурство? — возразила Аленка.— И ты, и я Лутакова и его горизонты знаем... Совсем недавно он глаз на Чубарева положил, тот на бюро, когда отчитывался, высказал удивление бесцеремонному обращению с опытными кадрами. На бюро Лутаков промолчал, а сейчас через секретаря Зежского райкома Вальцева жмет на Чубарева, чтобы тот вступал в партию. Ну, Чубарев онемел от изумления, бац, ему заявление, дескать, не может руководить таким ответственным участком, если ему выразили политическое недоверие. Мне Вера Дмитриевна ночью

звонит в панике, Олег Максимович библиотеку упаковывает. Что с тобой, Тихон?

Откинув голову, Брюханов хохотал так, что на глазах у него выступили слезы.

— Представляю себе Вальцева, агитирующего Чубарева вступать в партию... Ха-ха! Эт-то, я тебе скажу, зрелище! Ну, ты знаешь, такой кусище Лутакову не проглотить... подавится... да, знаешь, он не такой идиот, чтобы пытаться это сделать... Опамятуется.

— Уже опамятовался. Учинил Вальцеву нагоняй и заставил его принести извинения Чубареву...

— Бедный стрелочник! Ну давай, корми, что ли, мужа, к десяти за мной Толя приедет.

— Я знаю, чем я тебя накормлю,— сказала Аленка, ласкаясь.— Мать недавно прислала опят, вот такие крохотные, один к одному, как ты любишь. Еще сала с чесноком...

— Ага, подлизываешься, грехи замаливаешь? — спросил Брюханов.— Другой на моем месте взял бы, руки тебе стянул потуже да под замок...

— Ничего не скажешь, могучая сила убеждения,— Аленка с видимой покорностью поцеловала мужа, накинула на себя халатик, подошла к окну и, отдернув штору, некоторое время рассматривала вывеску на противоположной стороне, представляя себе, что она живет здесь постоянно, что сейчас в комнату вбежит Ксеня и послышится воркотня Тимофеевны.— Мне и нужно еще только два-три месяца, Тихон, что ты скаредничаешь? Скажи что-нибудь! Что-нибудь случилось? Ну что ты молчишь?

— Случилось.— Брюханов коротко пересказал все то, что ему пришлось узнать, увидеть этой ночью.

Аленка присела на кровати у его ног и слушала внимательно, не пропустив ни одного слова, с потемневшими, расширенными глазами.

— Не знаю, что это со мной было, я словно попал в иную страну,— признался Брюханов.— Хожу и не могу осознать: что это, зачем это? И зачем я, если о таком, как я, все сказано? Живешь, борешься, что-то делаешь, выстраиваешь какие-то цепочки отношений, вынашиваешь какие-то планы, они большей частью реализуются совершенно иначе, чем это представлялось первоначально... Иногда возникает ощущение, что ты только тем и занят всю жизнь, что пробиваешься к самому себе. Что сам ты, истинный, подлинный, словно

стиснут в самом себе каким-то каркасом... Между твоими внешними проявлениями и тем, что ты в самом деле есть,— почти ничего общего... Знаешь, Аленка, сегодня ночью перед этой картиной, может быть, впервые в жизни я был подлинный я, без каркаса внутри. Не знаю, хорошо ли это, плохо, но так случилось... О чем ты думаешь?

— Ты никогда со мной так не разговаривал,— не сразу отозвалась она.— Потом когда-нибудь, когда можно будет, мы с тобой сходим туда, к Ростовцеву, мне хочется посмотреть. То, о чем ты говоришь, и со мной бывает. И гораздо сильнее. Знаешь, Тихон, почему я сорвалась и бросилась к тебе?

— Почему?

— Все из-за того же каркаса внутри каждого из нас. Я должна была поехать в деревню, встретиться с отцом, мать очень в письме просила... а вместо этого бросилась в Москву, к тебе... Наверное, это смешно, Тихон, я боюсь встречи с отцом, ничего с собой не могу сделать,— призналась она.

— Пора одеваться,— сказал он.— Еще побриться успеть надо...

— А завтрак?

— Там же у нас что-то оставалось к твоим опятам,— сказал Брюханов.

— Хорошо, Тихон, я сейчас.

Разогревая завтрак и кипятя воду для кофе, Аленка думала о последних словах Брюханова. Если бы она могла быть с ним откровенной до конца, подумала она, чего-то самого главного он не договаривает, давая ей высказаться самой. А она трусит, боится, подло молчит о самом главном... Эта молчанка уже завела их бог знает как далеко. А его как будто это устраивает; он вроде бы именно этого и хочет, будь он чуть-чуть понастойчивей, тряхни он ее хорошенько... Почему он так терпим к ней! Ведь она на краю, все у них висит на волоске, а он предоставляет ей самой барахтаться, а сам спокойно стоит на берегу, покуривает и толкует о нравственном самоусовершенствовании... Вот и мясо опять подгорело, какая она бестолковая, неумелая...

Присыпав подгоревшее мясо мелко покрошенной зеленью и разлив дымящийся кофе по чашкам, она вошла в столовую, где чисто выбритый, с влажными после душа, гладко причесанными волосами Брюханов бегло просматривал утреннюю почту. Перегнув по-

полам английский журнал (она как-то и не заметила, когда он начал читать без словаря), весь испещренный непонятными ей формулами и таблицами, Брюханов углубился в чтение, с наслаждением прихлебывая кофе, даже не заметив ни пригоревшего мяса, ни вкуса кофе, сваренного ею по-новому, недавно узнанному в клинике от своей сослуживицы, Анны Семеновны, рецепту. Переговорив с кем-то наскоро по телефону и назначив время встречи, отдав необходимые указания, тоже по телефону, своему неизменному Вавилову, рассовав папиросы, зажигалку, ручку, блокноты, записную книжку и озабоченно обхлопав все карманы в поисках вечно теряющейся расчески, Брюханов рассеянно и ласково поцеловал Аленку, стянул у нее на шее разъехавшийся ворот халатика, надетого прямо без сорочки, на голое тело, и вдруг серьезно, жестко сказал:

— А к отцу, Алена Захаровна, надо поехать, и поехать немедленно. Валентин закажет тебе билет прямо до Зежска, а оттуда автобусом дуй до Густищ. Не откладывай. Есть вещи, которые человек себе во всю жизнь не прощает. Я до сих пор вот казню себя, что не простился с матерью, хотя моей вины в этом и нет... До сих пор и на могилу не съездил... Плохо... А твой отец, Алена, великой силы человек, на таких Россия держится. Его грех обидеть. Ничего, что неловко, нужно, Алена. Не бойся навалить на себя лишнюю тяжесть...

Он еще раз поцеловал ее, она замерла, сжалась, метнулась было следом, но дверь уже хлопнула, защелкнулась, и она осталась одна в гулкой и пустой квартире.

3

Некоторое время присматриваясь к тому, чем жили Густищи и что в них происходило, а заодно и к Митьке-партизану, Захар понемногу привыкал и к себе совершенно в новых сейчас для него условиях, и к немудрящему хозяйству Ефросиньи; подновил просевший простенок у сарая, обрезал больные сучья со старых яблонь, замазал их коровьим кизяком с глиной, добавив в эту смесь нюхательного табаку. По вечерам он пристраивался у кого-нибудь на завалинке послушать новости; сходились мужики, курили, много вспоминали из пережитого, увлекаясь, перебивали друг друга, и только

Захар продолжал неотрывно и жадно слушать густищинские новости все подряд, и недавние и уже начинавшие выветриваться из памяти односельчан, и если уж очень усердно начинали ругать никудышную жизнь и начальство, усмехался скупо и старался перевести разговор на другое. Но от жизни нельзя было заслониться, и Захар то и дело вынужден был высказывать свое мнение по тому или иному поводу, кого-то поддержать, кого-то утешить, над чем-то пошутить или посмеяться. С Ефросиньей они перебрасывались только самыми необходимыми словами, но она с первых же дней стала варить на всех; однажды, вскоре после проводов Егора в армию (Вася по молчаливому согласию Захара теперь часто пропадал, а иногда оставался ночевать у Лукерьи), Захар, помявшись, достал деньги и неловко положил их на стол перед Ефросиньей.

— Вот... возьми,— покашливая, сказал он.— Что ж мы двое-то в нахлебниках у тебя будем... Пока вот тут тыщонка... еще есть.

— Ты уж на всякий случай при себе оставь, Захар Тарасыч,— сказала Ефросинья с блеснувшим в глазах насмешливым огоньком.— А то вздумаешь куда еще укатить... Ладно, ладно,— остановила она его,— хозяйство свое, что одна я, что трое...

Еще раз взглянув ей в глаза, Захар взял деньги со стола и переложил их на полочку в переднем углу.

— Ладно, пусть полежат... гляди, на какой налог и пригодятся...

Ефросинья опять усмехнулась, принялась убирать со стола, разговор на том и оборвался, и больше к нему не возвращались, и деньги продолжали пылиться на полочке, к ним никто не прикасался; но именно этот случай произвел неуловимый сдвиг в отношениях Ефросиньи и Захара, из-под глубокого, заматеревшего слоя обиды пробилось почти неощутимое тепло, вернее, еле брезжущая, пока совершенно неосознанная необходимость этого тепла, и оба они, тоже неосознанно, старались не утратить это чувство тепла и оттого в своих отношениях чутко опасались малейшего лишнего шага. Но дни шли, жизнь продолжалась, Ефросинья привыкала к болезненно застенчивому сынишке Мани; Захар все чаще начинал подумывать, к какой работе приспособиться, и, встречаясь с Митькой-партизаном, полушутливо об этом с ним заговаривал; но как-то после недельного своего отсутствия (тайком от всех,

даже от Анюты, ездил в Москву к Брюханову) Митька сам пришел к Захару.

Был теплый, даже душный июльский вечер; у Ефросиньи как раз кончили ужинать, и Захар с Митькой вышли на крыльцо покурить на свободе, чтобы никто уже не мешал. Захар, посматривая в озабоченное какой-то своей затаенной мыслью лицо Митьки, то и дело резко освещаемое разгоравшейся при глубокой затяжке цигаркой, кашлянул.

— Ну что, Дмитрий Сергеевич? — спросил он.— Давай выкладывай...

— В Москве я был, у Брюханова,— уронил Митька.— Вот только что вернулся... поговорил, вроде просветлело, а вернулся, тут же меня в райком, к Вальцеву, этот вроде от себя слова говорит, а за спиной у него словно еще кто стоит, подсказывает... Думаю, недолго я тут продержусь, все одно допекут. Да и зачем держаться, толку все одно не будет...

— А душа? — чуть усмехнулся Захар.

— Душа? — удивился вначале Митька, но затем понял и тоже состроил нечто отдаленно похожее на улыбку.— Душа, Захар Тарасович, она у меня теперь свободная, хоть на все четыре стороны свищи. От частной собственности, от коровы то есть, я давно освободился. Напрочь, сколько баба ни причитает, а ее и близко не подпущу, корову-то.

— Что ж тут хорошего-то? — спросил Захар, раздумывая над словами Митьки-партизана.— Корова — скотина заслуженная, издавна нашему брату добрая кормилица.

— Когда-то была,— с горечью уточнил Митька.— Теперь вон клока сена негде взять, самому сколько раз приходилось какую-нибудь бабу гонять... кричишь на нее, а у самого в горле перехватывает, так бы и провалился сквозь землю от стыда... Да и сожрут меня все одно, Захар Тарасович, раз на карандаш взяли,— добавил Митька, и оба надолго замолчали.

— Ты что ж, посоветоваться зашел или как, Дмитрий? — спросил Захар несколько погодя, прихлопывая на шее прилипшего комара.

— Вроде нет.— Митька шумно вздохнул, притер окурок подошвой сапога.— Что теперь советов просить, все и без того ясней ясного. Все к черту валится... Хочу, Захар Тарасович, уходить из Густищ, на завод хочу подаваться...

Захар дожег цигарку, поднялся.

— Пойдем пройдемся, Дмитрий,— предложил он, сходя с крыльца и не оглядываясь; Митька подождал, шагнул следом, и вскоре они уже шли по успокаивающемуся к ночи селу. Окна светились редко, уже многие легли спать, да и керосин жалели.

Шли молча, словно забыв друг о друге, но и в то же время ни на мгновение не теряя ощущения присутствия другого; Митька знал, что такой человек, как Захар Дерюгин, ничего зря делать не станет, и шел, ничего не спрашивая, лишь какая-то искра ожесточения все больше разгоралась в нем при виде словно вымершего задолго до положенного срока села: ни гармошки, ни девичьих песен, ни шумных ребячьих ватаг, собиравшихся в очередной налет на чей-нибудь приглянувшийся сад... Захар, в свою очередь, тоже ощущал непривычную угрюмость и молчаливость села в теплый летний вечер, но не это было сейчас главным. Он, разумеется, не мог, никогда не мог, оторвать себя от Густищ и от односельчан, заморенно отходивших в этот час в своих избенках, а то и времянках от долгого, трудного летнего дня. Все вокруг было частью его самого, как и он сам был частью этих пространств, этих летних ночных запахов и этих молчаливых изб с их хозяевами. Просто несколькими минутами раньше с ним что-то случилось; он не знал точно, что именно, и не смог бы этого объяснить. И тогда ему показалось, что это не Митька-партизан пришел к нему, а это он сам, необъезженный, горячий, пришел к себе из своей молодости, пришел, чтобы о чем-то спросить, и что-то понять, и поспорить, и не согласиться; потом ему вроде бы ни с того ни с сего вспомнился Федор Макашин, его неожиданное появление в доме, и белое, без кровинки, лицо Мани, и тот забытый и незабытый холодок в груди...

Митька-партизан пружинисто и неслышно шагал рядом, точно он сам, молодой и дерзкий, шел рядом с собой, постаревшим, грузным, уже без всяких надежд; он не решался поэтому даже посмотреть на Митьку и напряженно глядел только перед собою.

За околицей Захар повернул к старым березам и, пройдя еще немного в сторону от дороги, остановился; длинный ряд замерших в ночном покое берез уходил, казалось, к краю безоблачного неба и сливался с ним. Захар ладонью почувствовал в шершавой коре дерева еще не потерявшееся, накопленное за день тепло,

и опять ему почудилось, что это не Митька-партизан, замерев, прислушиваясь к еле уловимому гулу берез, стоит рядом, а что это сам он прокрался откуда-то из прошлого, стоит и ждет; Захару стало даже не по себе от такой бесцеремонности со стороны пусть далекого и уже не существующего себя самого...

— Ну, Захар Тарасович, что же ты мне хотел все-таки сказать? — спросил Митька, несколько понижая голос и невольно прислушиваясь к тихому, бережному звучанию ночи, к еле-еле уловимому движению воздуха и к березам, от долголетия словно уставшим тянуться к небу и оттого раскидисто пластавшимся к земле.

— Ничего, Дмитрий. Думал, увидишь ты эти березы, и в груди у тебя ворохнется... Сколько они нашего брата встречали-провожали, каждая ладошка земли вокруг вытоптана, а они все стоят... Что говорить, не получился разговор...

— Не получился, Захар Тарасович,— как эхо, отозвался Митька.— Не с чего ему получиться. Дерево деревом, а человек человеком. Разница!

— Разница,— подтвердил и Захар с невольным огорчением; по молодости лет Митька и не мог понять того, что понял, протопав по жизни полсотни лет, сам он, Захар Дерюгин; да и не надо ему было этого понимания, Митьке-то.— Разница,— невольно вздохнул Захар и предложил: — Пойдем, Дмитрий, вроде и спать пора.

Он уже было шагнул, но, оглянувшись, увидел, что Митька, по-прежнему привалившись спиной к березе, не двинулся с места.

— Ты чего, пошли,— опять позвал Захар, но Митька довольно замысловато и длинно выругался, и Захар вернулся назад.— Ну,— спросил он,— что дальше?

— Ничего,— зло огрызнулся Митька.— Сам ты, Захар Тарасович, что ж в свое время не перемог? Березки вроде и тогда стояли, а?

— Стоять-то они стояли, Дмитрий,— сказал Захар,— правда твоя... Только тогда мне, как тебе сейчас, было чуть боле тридцати... Эх, Дмитрий, Дмитрий, в таком деле человек спотыкается один раз... Не удержался я тогда, Дмитрий, закусил удила-то, как говорится, намертво, ну, и понесло меня по жизни швырять, до сих пор шишки да синяки считаю. А все от одного того разу. Ты мою жизнь знаешь, ни для кого она не секрет. Вот я тебя и привел к березам... ты их хоть душу-то услышал, а? Если услышал, хорошо... а больше что ж

я тебе скажу. Больше нечего мне сказать, Дмитрий, не знаю я таких слов...

Они вернулись в село молча и молча же разошлись, и, прислушиваясь к медленным, словно бы нерешительным шагам Митьки, Захар еще постоял у себя на крыльце; неспокойно ему было в эту ночь, и он долго не мог заснуть; а Митька, привалившись к сонной Анюте, тотчас впал в душное, беспокойное забытье и видел сон: Захар с неподвижным лицом, в исподней белой рубахе среди странно, вкривь и вкось, росших берез; Захар вроде и стоял на одном месте, но в то же время что-то словно несло его, одни березы медленно ползли вместе с ним, а другие почему-то в обратную сторону; в небе же была до невозможности рыжая луна; от этого Митька проснулся, в лицо ему действительно светила щербатая луна.

Митька прошлепал босиком по чисто вымытым половицам, напился, вернулся назад и лег, привыкая, к сонной тишине в избе. Вчера, когда они стояли с Захаром Дерюгиным у берез за околицей, что-то произошло с его душой, и теперь неизвестно, что будет. Он уже не мог заснуть, стал думать о Захаре Дерюгине, и чем больше проходило времени, тем беспокойнее и непонятнее ему становилось; теперь уже нечто враждебное поднималось в его душе к Захару, потому что все дело заключалось в нем и с тех пор, как он появился, что-то переменилось, и не только для Митьки, но и во всех Густищах. Бессонно глядя в потолок, Митька с обидой думал об Анюте, все так же ровно и тихо дышавшей; он с некоторой даже ревностью припоминал в отношении Захара Дерюгина все, что только мог; ну, раньше, когда сам он, Митька, едва-едва становился на ноги, черт уж с ним, как было, так и было. Он не знает и не помнит, как там жил и что делал Захар Дерюгин раньше, но вот сейчас что произошло в Густищах, после того, как Захар вернулся? Вот ведь поругается какая-нибудь старуха с невесткой — тотчас к нему, к Захару Дерюгину, случись беда какая — опять к нему; на днях у Стешки Бобок телка клеверу перехватила, кинулась баба не к фельдшеру, опять же к Захару Дерюгину, вспомнил Митька, совершенно уж расстроенный. Да и сам он какого черта притолокся вчера к Захару, зачем, спрашивается? Хлебнул отравы, теперь вот не заснешь, не запьешь, горит душа — и все.

И тут Митька от неожиданной мысли даже приподнялся: дело-то было вовсе не в Захаре Дерюгине, а в самой памяти о нем. Это было похоже на то, как если бы вновь пробился давно высохший родник, из которого в свое время много и щедро пили, и никому сейчас не было дела до того, что и воды-то чуть-чуть, да и сама она не та...

И Митька безошибочно учуял эту истину в отношении Захара Дерюгина, не ту, что, выставляясь по самому верху, кричит во всем своем бесстыдстве и оголенности, нате, мол, глядите, глядите, вот я, святая и безгрешная,— и оттого всем окружающим представляется приторно-неприятной и даже ненужной, оттого и стыдной, а то самое ее потаенное нутро, что всегда скрывается в самой глубине, отдает каким-то колдовским светом, тихо греет в душе, но сколько ты к ней ни пробивайся, ничего не выйдет; уходит она, как тот заветный прадедовский клад, все глубже и глубже, тянет за собой сердце и душу, и знаешь ты, что никогда эта живая нить не истончится и не прервется, и оттого хорошо тебе и горько, и хочется жить.

В эту ночь Митька с трудом дождался первых признаков рассвета, тотчас встал и, стараясь никого не потревожить в избе, вышел, прихватив с собою и верхнюю одежду.

...Поглядывая на Володьку Рыжего, отбивавшего шнуром паз в очередном шуле (Володька Рыжий быстро и сноровисто натер шнур, продергивая его сквозь зажатый в пальцах мелок, придавил медной гирькой, натянул, поддел снизу и ударил, и на шуле тотчас появилась ровная белая полоса), Захар подправил лезвие топора на большом наждачном круге, подливая время от времени на точило из щербатой миски воды, попробовал острие большим пальцем и, оставшись доволен, вернулся к своему месту, выправил очередное бревно, закрепил его и стал обтесывать. Сырая сосновая щепа, сильно припахивающая на солнце смолой, отделялась легко и ровно, и Захар, вначале еще думавший о том о сем, тревожившийся, что от Ильи что-то долго не было письма, увлекся, на минутку прервавшись, стащил с себя, по примеру остальных, рубаху и опять, плюнув на ладони, взялся за топор, с удовольствием и даже с некоторой гордостью в один взгляд ухватывая

безупречно ровную, правильную поверхность стеса. Кругом стучали топоры и визжали пилы; внуки-близнецы Фомы Куделина, все трое, насупившись, сосредоточенно наблюдали за дедом, готовившим верхнюю связь для коровника; Фома подозвал одного из них, важно дал подержать метр, но в него тотчас вцепились все трое, поднялся шум и визг, и скоро в эту свалку вынужден был вступить и сам Фома, растащил внуков в разные стороны, пытаясь отобрать у них складной металлический метр, но после довольно продолжительной, но неудачной попытки примирить воинственно настроенных друг к другу внуков сам вышел из себя, возвысил голос, затопал ногами.

— А ну, враженята оголтелые, кеш, кеш отседова! — закричал он.— Счас хворостиной всем троим врежу без разбору, хоть Прошке, хоть Лешке, хоть тебе чертенку... Максимильяну! Природа! А ну! — Фома быстро подхватил с земли обмызганную сосновую ветку и его внуки, бросив метр, брызнули в разные стороны; Фома тут же поднял растерзанный метр, бережно сложил его, сунул в карман, погрозил в сторону внуков, уже опять сбившихся в одну кучку: — Вот я вам!

— Сталый дулак! — ясно донеслось до Фомы, и он, выпучив глаза, вначале оторопел, затем медленно, под хохот других мужиков, двинулся к внукам.

— А ну, внучики, а ну, кто же это из вас такой умненький, а? — спрашивал он тихо, шаг за шагом, чтобы не спугнуть, приближаясь к ним,— Ты, Алексей, а? Или ты... Максимильян, а? — растерянно метнулся Фома взглядом с одного одинаково насупленного лица на другое, затем на третье, напрасно силясь определить, кто из внуков есть Алексей, а кто Прошка.— Ну, признайся кто, конфетку получит, сладенькая, а, кто?

Фома сунул руку в карман, делая вид, что что-то там отыскивает, в то же время продолжая незаметно приближаться к внукам, но в тот момент, когда он уже готов был ринуться вперед и ухватить хотя бы одного из них, ребятишки бросились врассыпную, и Фома опять остался ни с чем, издавая неясные восклицания и возмущенно вертя головою. Плотники посмеялись и вновь принялись за дело; Захар оглянулся и увидел незаметно подошедшего Митьку-партизана, стоявшего как-то молчком; Захар успел уловить во взгляде, во всем облике Митьки неприязнь и со скупой усмешкой ответил на Митькин кивок, но едва он взялся за топор, Митька

шагнул к нему, сел на то самое бревно, которое Захар приготовился обтесывать.

— Захар Тарасыч, можно тебя на минутку? — спросил Митька, и Захар, взглянув на плотников, опустился рядом с ним.

Дул легкий, сухой ветерок, было солнечно, лишь над Слепненскими лесами высоко и редко были разбросаны белоснежные комья облаков. Захар хорошо помнил расположение построек на колхозном дворе до войны, от них ничего, кроме двух длинных подвалов, не уцелело. Новая конюшня, вполовину меньше прежней, была поставлена на старом месте, а склады отнесли дальше в сторону, в поле. Подходило время обеда, и Стешка Бобок с Прасковьей Антиповой запрягали лошадей в телеги, плотно уставленные бидонами,— собирались ехать на пастбище за дневным удоем. Митька проследил за взглядом Захара.

— Значит, не отпускаешь, Захар Тарасович? — спросил он задумчиво, и Захар, не переставая следить за Прасковьей Антиповой, по-мужичьи ловко заводившей лошадь в оглобли, тихо вздохнул.

— Вот что, Дмитрий,— сдержанно сказал он,—я тебе не поп, что ты дурака-то валяешь? Мне бы кто самому грехи отпустил, да, видать, некому...

— Тебе некому,— согласился Митька-партизан.— У тебя и грехи другие, Захар Тарасыч, видать, некому их и отпустить.

— Не там ищешь, Дмитрий,— покосился на него Захар; работающие рядом мужики, Фома Куделин с Володькой Рыжим, хоть и не перестали стучать топорами, но как-то делали это тише, с любопытством тянули уши в их сторону, и Захар еще понизил голос.— Лучше себя попытай, Дмитрий, сам в себя загляни. Как у самого с собой дело сладится, так оно и будет. А по сторонам что ж рыскать...

— Не-ет, Захар Тарасыч, не отпускаешь,— упрямо повторил Митька, поднимая с земли желтоватую, истекавшую смолистыми запахами щепку, и, словно разглядывая, то и дело переворачивал ее с одной стороны на другую.— Ты не думай, Захар Тарасыч, ничего плохого, я к тебе не со злом...

— И не с добром,— скупо уточнил Захар.

— Не с добром,— помедлив, спокойно согласился Митька.— Откуда ему, добру, быть? Человек ты больно уж неудобный... Да и это все так, дурь... я к тебе не от

обиды, я к тебе от непонимания... До твоего возврата в Густищи я ведь твердо решил сматывать вожжи, все к тому определилось, уж и душу мне по-другому отпустило. Уже и бабу обломал, и место себе присмотрел... А ты появился, и все наново пошло, вроде кто удавкой меня захлестнул и водит, водит круг себя! Что-то во мне заколобродилю, заколобродило... Вот и потянуло хоть стороной-то узнать: что же это за сила такая у тебя, Захар Тарасович?

— Э-э, Дмитрий, эту самую... не городи,— довольно дружелюбно хлопнул его по колену Захар.— Вокруг своей совести ты на привязи кружишь, никак не порвешь... придет срок, перетрется, само лопнет... А ко мне ты так... от своей же болезни и привязываешься... Не гожусь я в лекари, Дмитрий, башкой не вышел...

— Не прибедняйся, Захар Тарасыч,— тряхнул Митька выгоревшим густым чубом и теперь уже откровенно зло усмехнулся.

— Ты, я вижу, мужик затейливый,— резко сказал Захар, поднимаясь с бревна, и в то же время с какой-то почти неприятной верностью понимая Митьку; в самом ведь деле, он не хотел и в душе противился намерению Митьки бросить колхоз и уехать вообще из Густищ, противился неизвестно ради чего; ведь, чуть обвыкнувшись и оглядевшись после своего возвращенья, он уже отлично знал, что ни Митька, ни сам он и никто третий здесь не помогут, что...

Они стояли друг против друга, злые, напряженные, и было в их лицах что-то родственное, до того одинаковое, что Фома Куделин, озадачившись, даже приоткрыл рот; ни один из них не хотел уступить, и только под конец Захар, больше подчиняясь не той шальной силе, что так не к месту поперла из него, а неожиданному, сдержанному чувству какой-то общности и мужской солидарности с этим Митькой-партизаном за то, чего тот еще не прошел и не знал и что вынужден будет пройти и узнать, хочет он этого или нет, как-то смягчился, потеплел.

— Затейливый, затейливый,— повторил он.— Ты и о других-то знаешь даже то, чего они ни сном, ни духом не ведают. Слушай, а может, надо проще, а?

Митька косо и тяжело повел плечом, точно что душило его, повернулся и молча пошел, и Захар дня три после этого не видел его, хотя не однажды принимался думать именно о нем, и как-то во время ужина завел об

этом разговор с Ефросиньей; не умея хитрить и не находя для этого никакой причины, та подтвердила, что Митьку из-за его прямого и непокладистого характера, слышно, дожирает начальство и в председателях ему мало осталось ходить.

— Он меня еще в правленцы хотел выдвинуть, да я отказалась. Давай, Васек, молочка добавлю,— сказала она по привычке видеть все, что делается за столом, и тут же долила из кувшина парного, только что процеженного молока в глиняную кружку Васе, заметно за последнее время посвежевшему, и придвинула к нему еще один ломоть хлеба.— Поешь — и в постель, ночи теперь коротенькие, не успеешь задремать, открывать глаза надо.

Огромная выкатывалась из-за Слепненских лесов луна, и росная тяжесть начинала окутывать землю. После тяжелого дня (на новом коровнике ставили в этот день стропила, решетили их) Захару тоже хотелось побыстрее прилечь, но едва он добрался до дивана в горнице, его подхватил бешеный стук в дверь, а затем и в окно.

— Открой, открой! Тетка Ефросинья, открой, ради бога! — слышался чей-то прерывающийся, молящий голос; натянув сапоги, Захар выскочил на крыльцо, где уже была Ефросинья, и увидел жену Митьки-партизана Анюту, всю растрепанную, босую, в наспех надернутой юбке.— Захар Тарасыч! Захар Тарасыч! Сбесился! Совсем чуть не зарубил! — бросилась она к Захару, едва тот показался в дверях.— Все, кричит, подряд порушу, следа тут от себя не оставлю! Помоги! Сад рубит! Ухватилась было за топор, едва отскочить успела, чуть башку напрочь не снес! Под вечер налогу на сад подкинули на восемьсот рублей, было на тысячу, да еще на восемьсот, вот он и взвился! Захар Тарасыч, посадят же! Помоги, тебя он послушается... он же не в себе, подступиться страшно!

— А ну, тихо, тихо,— приказал Захар, и в наступившей тишине сразу стали слышны гулкие, равномерные удары топора...

— Захар Тарасыч! — вне себя опять вскрикнула Анюта.— Посадят, черта, за свое же добро!

— Пошли, пошли! — сказал Захар и скоро уже широко шагал по улице; за ним с трудом поспевали Анюта с Ефросиньей.

Луна стояла почти над самым селом, полная, как чаша, и даже какая-то бесстыдная в своей полноте и обнаженности; короткая косая тень стремительно двигалась вслед за Захаром. Он два или три раза заметил, что кто-то вышел от изб на залитую луной середину улицы, но ему было не до этого, хотя он и сам не знал, почему вдруг поддался какому-то слепому порыву и бросился среди ночи по первому бабьему крику на выручку. «Черт бы их всех взял подряд, не дают хоть бы немного передохнуть, отлежаться, почувствовать себя человеком,— ругался он на ходу,— что ему какой-то Митька Волков, сад его, дело его — пусть себе рубит».

Но в то же время в Захаре жило и ощущение какой-то вины перед тем же Митькой Волковым, хотя он знал, что сам лично ни перед ним, ни перед кем другим не виноват. Митька-то был полностью прав, когда вроде бы с усмешкой над собой говорил, что он, Захар Дерюгин, не хочет его отпустить и не отпускает; среди залитых неистовым, почти звенящим лунным серебром Густищ Захар понял, что это он, может быть, больше всех остальных действительно не хотел, чтобы Митька-партизан бросил Густищи и подался куда глаза глядят, и что по какой-то особой причине было у него, у Захара Дерюгина, такое право, и все об этом знали, кроме него, и Митька знал, и подчинялся, неволя себя, этому праву...

— Захар Тарасыч,— раздался рядом с ним стонущий голос Анюты, и Захар, что-то пробормотав в ответ, пошел быстрее и скоро, оттолкнув кого-то из успевших набежать любопытствующих и перепрыгнув через изгородь, уже был в Митькином саду.

У сарая, прижавшись к бабке Илюте, тоненько, не переставая, плакала Митькина дочка — Настенька, за румяные, толстые щеки получившая прозвище Помидор; время от времени она зажимала рот ладошкой, и от этого ее плач становился еще жалобнее. В дальнем углу сада Митька трудился над коренастой грушей; Захар наметанным глазом тотчас определил, что два или три старых дерева уже были свалены, припали к земле бесформенными грудами.

— А-ах! а-ах! — надсадно и яростно вырывалось у Митьки при каждом ударе топора, и Захар, осторожно обойдя перепуганных до крайности бабку Илюту с девчушкой, не спеша направился к Митьке, и едва сделал два или три первых шага, как по ту сторону изгороди

затихли и насторожились и даже плач девочки прекратился. Захар не таился, и Митька сразу заметил его, но рубить не перестал, лишь зашел с другой стороны дерева, чтобы ни на секунду не упускать Захара из виду; от каждого удара топора вершина дерева крупно и быстро вздрагивала.— А-ах! а-ах! — надрывался Митька, но стоило Захару еще чуть приблизиться, он выпрямился и бешено шагнул навстречу, вскинул топор; в свете луны синевато-льдисто сверкнуло.

— Не подходи, Захар Тарасыч, зарублю,— послышался напряженный, ненавидящий Митькин голос; в то же время и сзади кто-то пронзительно высоким голосом закричал, чтобы Захар поостерегся, но Захару теперь было уже все равно, и только мелькнула горячая, сумасшедшая мысль, что верно, такой конец и будет как раз то, что надо, одно мгновение — все погаснет. Что Митька был не в себе, он уже понял, едва услышал его эти надсадные, рвущиеся изнутри «а-ах! а-ах!», это же подтверждал теперь и какой-то лишенный малейшей человеческой теплоты и выразительности Митькин голос, и Захар знал только одно: нужно как-то остановить вконец потерявшего контроль над собой человека.— Не подходи! — еще раз крикнул Митька с еще бóльшим ожесточением и в какой-то белой ярости перехватил топорище ловчее, удобнее для удара; хотя это движение было почти неуловимо, Захар заметил.

— Перестань дурить, Дмитрий,— выдохнул он, не останавливаясь и в то же время окончательно теперь понимая, что Митька обязательно ударит, не сдержится, и какой-то особой памятью отмечая про себя, что он был в партизанах и глаз у него наметанный, не промахнется.

— Не свое рубишь, не сажал, не растил,—неожиданно ясно сказал Захар.— Нет у тебя права чужой труд под топор!

— А это мое! — Митька неожиданно прянул в сторону, слегка пригнул молоденькую, года в три-четыре, яблоньку, в один раз хряпнул ее под самый корешок и тут же ринулся к другой.— И это мое, сам сажал!

Опять мгновенный взмах, и опять молоденькое деревце податливо рухнуло. Людей вокруг становилось все больше, они уже проникли за изгородь, и больше всех, как обычно, было ребятишек и старух; молчаливо и отрешенно, как изваяния, смотрели со всех сторон, как Митька, мечась от одной яблоньки к другой, одним взмахом перерубал их у самой земли и бросался даль-

ше, нелепый, жуткий в своей слепой ярости, и Захару показалось, что это он не безмолвные деревья рубит, а...

— Стой! — рванулся он к нему.— Стой, сволочь! Не смей! Тебе не нужно — другим останется!

— Не подходи! — почти взвыл Митька и бросился ему навстречу, и тут Захар, подчиняясь какой-то одной своей правде, покачнулся, замедлил шаг, затем, опустив руки и бледно улыбнувшись, спокойно шагнул к Митьке; кто-то приглушенно ахнул, кто-то пронзительно закричал.

— Руби,— сказал Захар.— Руби, сволочь, раз для тебя я во всем самый главный виноватый. Руби, сволочь, лучше уж одного меня, чем вот так все под корень... Ну?!

Митька, уже напрягшийся в последнем рывке и занесший руку с топором, как-то в один момент словно подломился, шатнулся назад, не в силах выпустить намертво зажатый в пальцах топор. Споткнувшись о толстый ствол поваленной яблони, он скорее рухнул, чем сел на него и только тогда, обхватив голову руками, судорожно задергался плечами в немом плаче.

Захар подождал, пока немного выровняется дыхание, подошел и сел с ним рядом.

— Закури,— предложил он, скручивая одну за другой две толстые самокрутки и одну из них протягивая Митьке; тот дрожащими пальцами сунул ее в рот, подождал, когда Захар даст огоньку, жадно затянулся.— Теперь тебе только уходить отсюда, Дмитрий,— продолжал Захар.— Оставаться тебе тут больше не надо... Уходи.

И тут Митька в первый раз поднял голову, как бы проверяя, не издеваются ли над ним, тяжело глянул в лицо Захару.

— Уезжай,— кивнул ему Захар.— Здесь тебе теперь нечего делать, а там где-нибудь, гляди, и приткнешься. Там такие бешеные, может, на что и сгодятся... Так что уезжай,— тяжело добавил он, встал и, как-то слепо оттолкнув руку вскочившего за ним Митьки, не говоря больше ни слова, сгорбившись, побрел через сад к выходу; только он один знал, что это была не победа, а самое горькое, может быть, за всю его жизнь поражение, и он никому не мог признаться в этом; ему некому было в этом признаться.

4

Уехав после нелегкой борьбы с собой назад, в Холмск, Аленка несколько дней была словно сама не своя, трудно засыпала и плохо спала; на работе она тоже чувствовала себя неуютно, да и всякий интерес у нее к работе пропал. Она кинулась под защиту к Брюханову неспроста, не потому только, что соскучилась и стосковалась по нему как женщина, и не потому, что должна была, как она уверяла себя, увидеть его. Ей необходимо было проверить себя, вырваться из какой-то липкой паутины, в которой она невольно для себя все сильнее запутывалась. Но чувство прежней слитности с мужем, на которое она надеялась, не пришло, часть ее все равно оставалась там, в Холмске, и с этим чувством половинчатости, двойственности она и вернулась. Прошла и неделя, и другая, прошел месяц; она ходила в клинику, по четвергам консультировала в поликлинике при областной больнице, где работала после окончания института, дежурила, при встречах со знакомыми говорила привычные слова, много времени уделяла дочке, но все это не затрагивало ее душу, все это было внешним, неглубоким покровом, и лишь где-то глубоко, затаенно шла своя разрушительная работа, другая, *настоящая*, истинная, доводящая ее до изнеможения. Аленка боялась до конца разобраться в самой себе.

Инстинктивно всякий раз она останавливалась перед самым порогом, она не решалась на последний шаг, хотя понимала, что рано или поздно его придется сделать, и сделать самой, никто за нее, даже *он*, этого шага не сделает.

Однажды после ночного дежурства, когда город был особенно хорош и пахло уже поспевшими ранними сортами яблок, Аленка свернула с главной улицы и переулками вышла в окраинную часть Холмска. Солнце только что встало, и над городом светлело чистое, еще прохладное небо. Аленка остановилась у густого ряда молодых тополей, посаженных уже после войны и как бы отделявших теперь город от лугов и полей; здесь, на стыке двух совершенно не похожих друг на друга миров, шла своя промежуточная жизнь, совершенно незнакомая Аленке, и она была здесь никому не известна и не нужна. У нее, разумеется, есть выбор, подумала она, никто в спину ее не толкает к обрыву, найдутся

при желании и удобные обходные тропки, но так же точно она знала, что это не в ее характере — ловчить, что ничего изменить уже невозможно и она пойдет своим путем, она сама для себя его избрала, и думать об этом больше нечего, нужно отоспаться и прийти в себя. И ничто в мире не изменится, если она сделает этот последний шаг. Никто даже не узнает, и так же будет светить солнце и горько пахнуть прогретая солнцем полынь.

Вернувшись домой, она тихо, стараясь никого не разбудить, прошла к себе, разделась, легла в постель и заснула, словно провалилась; проснулась она в точно намеченный час в состоянии беспристрастной, холодной самооценки, она и раньше знала за собой подобное самоедство и очень его не любила. Привычно улыбаясь, она делала необходимые дела по дому, обсуждала с Тимофеевной нужные покупки, отослала брата с Ксеней в приехавший на прошлой неделе передвижной зверинец, но в ней уже несся, разрастался разрушительный поток. «Вот-вот,— говорила она себе,— играешь с дочерью, всем показываешь, какая ты примерная мать, на всякий случай, для общественного мнения, ты очень умело научилась быть в разладе с собой, значит, в разладе с самыми дорогими и близкими тебе людьми, и тебе неважно, что от этого будут одни страдания и что никто тебе этого не простит и не оправдает». В том же неустойчивом душевном состоянии ходила она и на работу, выслушивала, осматривала, заставляла себя сосредоточиться на самочувствии и жалобах больного, собирала в кулак свою волю, чтобы понять его и помочь, и в большинстве случаев помогала; и в то же время в состоянии овладевшей ею внутренней дисгармонии нельзя было полностью надеяться восстановить в доверившемся ей человеке необходимую гармонию жизни, думала она; тот, кто не в силах справиться, установить порядок в самом себе, не имеет права пытаться это делать с другими. Она как будто носила в себе какую-то отметину; невидимая, неосязаемая граница уже отделила ее от других, даже тех, с кем она была по-настоящему дружна, кого любила и по-человечески глубоко уважала. Но поток все дальше относил ее от спасительного берега, и какие бы судорожные попытки она ни предпринимала, чтобы вернуться, ей уже ничто не могло помочь.

Да это уже перестало быть тайной двоих, и другие

замечали, что Хатунцев намеренно сторонится ее, избегает встреч или проходит мимо не глядя, подчеркнуто вежливо кланяясь. Но если для других это было, в крайнем случае, минутным развлечением, ее это задевало, тем более что сестра, с которой Аленка обычно вела прием и которую все уважительно звали по имени-отчеству — Анной Семеновной, сорокалетняя, суховатая и всегда сдержанная женщина, не преминула сообщить ей, что доктор Хатунцев уходит из клиники. Что-то проступило в глазах Анны Семеновны и пропало, но Аленке было достаточно этого короткого осуждающего взгляда.

— Вы не знаете, почему он уходит, Анна Семеновна? — спросила Аленка, не отрываясь от истории болезни, и подумала, что женщина почти всегда может обмануть мужчину и почти никогда женщину.

— Говорят, Кузьма Петрович вызывал к себе доктора Хатунцева, и сразу после этого доктор Хатунцев подал заявление об уходе,— коротко и сдержанно поведала Анна Семеновна, стараясь ничем не подчеркивать своего к этому отношения, но Аленка не приняла предложенного Анной Семеновной тона; в ней как будто захлопнулась ставня, так одиноко и холодно стало в душе. Она не искала встречи с Хатунцевым, она почему-то была уверена, что увидит его сегодня, и, столкнувшись лицом к лицу с ним в длинном, узком коридоре первого терапевтического отделения (ее вызвали на срочную консультацию), она не удивилась. Посторонившись, Хатунцев кивнул и, опустив глаза, ждал, пока она пройдет.

Аленка остановилась внезапно, неожиданно для самой себя.

— Что же вы, Игорь Степанович,— спросила она с затаенной насмешкой,— значит, решили удариться в бегство?

— Интересно, что мне еще остается делать? — после паузы ответил он.— Вам в самый раз подсказать, может, подскажете?

Брови у него сердито сошлись на переносье, Аленка слегка откинула голову; ее тянуло к этому человеку, мучительно хотелось коснуться его обиженно дрогнувших губ.

— Может быть, стоило и подсказать,— медленно проговорила она и, спасаясь, быстро пошла прочь. В ординаторской, сняв докторскую шапочку, она бегло огля-

дела себя в зеркале и подумала, что неплохо было бы переколоть волосы.

В приемной главного врача секретарша вопросительно подняла голову ей навстречу.

— Кузьма Петрович у себя? — спросила Аленка и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь.— Кузьма Петрович, разрешите?

— Да, да, голубушка,— тотчас отодвинул бумаги Кузьма Петрович и снял очки.— Садитесь, Елена Захаровна.

— Спасибо.— Аленка прошла к столу, но садиться не стала.

— Садитесь, садитесь,— забеспокоился Кузьма Петрович,— неловко, женщина стоит, а я...

— Кузьма Петрович, сяду, подождите, вот похожу немного и сяду,— сказала Аленка.— Кузьма Петрович... я вас уважаю как человека, как своего учителя, наставника...

— Елена Захаровна,— совсем расстроился Кузьма Петрович,— может, не стоит так торжественно?

— Не буду,— Аленка села, положила руку на край стола, тут же убрала ее.

— Вам трудно, Елена Захаровна.— Глаза Кузьмы Петровича, как всегда, были спокойны и доброжелательны.— Я помогу вам, вы, как мне кажется, пришли ко мне по поводу моего недавнего разговора с доктором Хатунцевым. Так ведь?

Аленка молча кивнула, ее глаза враз наполнились горячими, злыми слезами.

— Не знаю, как бы вы поступили на моем месте, Елена Захаровна.— Кузьма Петрович повернулся в кресле бочком, что-то скрипнуло.— Да, я говорил с Игорем Степановичем, и говорил совершенно откровенно... прямо, как мужчина с мужчиной. Вот вы пришли с таким сердитым лицом... вот, мол, сейчас возьму и все выскажу старому хрычу, зачем не в свое дело вмешивается.

— Кузьма Петрович!

— Погодите, голубушка моя, не спешите.—Кузьма Петрович расчистил место перед собой на столе, убрал пресс-папье.— Знаете, Елена Захаровна, есть, гм... такие вещи, думать о них все думают, а называть вслух не называют. Давайте и мы воздержимся. Это и вас, и меня оскорбить может. Я выполнил только свой долг, то, что мне надлежало выполнить, а вы поступайте

как знаете,— он грустно покачал головой.— Вы знаете, Елена Захаровна, как я отношусь к вам. Вы мне разрешите задать один вопрос?

— Пожалуйста...

— Почему вы не уезжаете к мужу? — решился наконец Кузьма Петрович; голос его был полон сочувствия и теплоты, и от этого неожиданного участия у Аленки опять закипели на глазах непрошеные слезы.—Зачем эти разговоры вокруг вас? Это так вам не идет.

— Поверьте, Кузьма Петрович, мне не просто было прийти к вам. Поверьте, мне не в чем себя упрекнуть, Кузьма Петрович. Вы можете мне верить.

Кузьма Петрович тоже встал, сейчас перед ним была не врач, не подчиненная по работе. «Боже ты мой,— удивился Кузьма Петрович,— хороша-то как, ах, черт возьми... Тут Хатунцева еще как поймешь, наповал ведь бьет, дьяволица».

— Ну, простите меня, голубушка, если что не так,— сказал он и коротко поклонился.

Аленка молча подала ему руку, вышла; она словно заглянула в глубокий колодец, заглянула слишком глубоко и сама увидела, насколько все далеко зашло; в той поспешности, с какой она бросилась к Кузьме Петровичу, таился свой обрыв.

Она стремительно шла по улице, не замечая людей, щеки ее горели, но брови были упрямо сдвинуты. «Это все бабьи глупости,— думала она.— С чего это я взяла? Как это — взять и влюбиться? А Брюханов? А Ксеня? А она сама? Ах, какая чушь, это уже ни на что не похоже, надо же придумать такое, делать людям нечего... А Брюханов?.. А что Брюханов! Его дома никогда нет, он привык ко мне, как к своему портфелю или своему Вавилову... Ты хоть лоб разбей, а он будет все про свои поставки да про экспертов толковать... Вот теперь с Муравьевым схватился, а ты тут старься в одиночестве...»

Сердитые глаза Хатунцева вспомнились ей, она опять словно заглянула в них, и на душе стало еще тревожнее.

...После разговора с Кузьмой Петровичем она не видела Хатунцева месяц, отсутствие его в клинике она переживала очень тяжело, работа была ей не в радость, но едва она услышала от той же Анны Семеновны о его болезни, как тотчас решила, что это она одна виновата во всем и что он даже может умереть. Она должна была его видеть, видеть немедленно, хотя бы затем, чтобы

опровергнуть все эти шуточки насчет ее бессердечия и полной, безропотной зависимости от своего всемогущего мужа, хотя бы затем только, чтобы... Впрочем, она не будет придумывать заранее, что она ему скажет, все равно все слова из головы вылетели... Оказывается, она и адрес его помнит, и дорогу знает; не раз этой Кутузовской улицей проезжала...

Дома, едва она успела ступить за порог, на нее насела Тимофеевна с требованием составить меню на неделю, и что она сама больше ничего выдумывать не хочет и не будет.

— Ах, делай что хочешь, Тимофеевна,— отмахнулась от нее Аленка.— Вари суп, кашу, делай вареники, что хочешь, то и делай.

Тимофеевна заворчала, но Аленка уже не слышала ее; настроение хозяйки каким-то образом передалось Тимофеевне, и она громче обычного загремела кастрюлями и сковородками, принимаясь время от времени кормить своего любимца, медлительного и важного сибирского кота Пурша, взятого в дом по ее неукоснительному настоянию.

Аленка села с дочкой на коврик, они принялись строить из кубиков замысловатый лабиринт; пришел в детскую и Пурш и, усевшись рядом, начал важно вылизывать свою пушистую шубку. У девочки с возрастом все сильнее начинала проступать в глазах брюхановская сдержанная затаенность, и сами глаза все больше темнели. Аленка разговаривала с дочерью, смеялась, но в ней по-прежнему тлел совершенно отдельный и наглухо закрытый от других жар. «Разумеется, все это вздор и предрассудки,— думала она.— Почему женщина не может просто так, без всякой дурной мысли, навестить больного товарища по работе, коллегу? Почему это предосудительно? Тем более что она виновата перед ним. Из-за нее он ушел из привычного коллектива, первоклассной, лучшей в городе клиники, забросил докторскую; пока опомнится, годы уйдут, вот и порассуждай. Она должна непременно с ним встретиться, образумить его, как-никак она у него начинала, первыми своими шагами в невропатологии она обязана ему, и это дело их двоих, никого оно не касается».

Аленка поцеловала заигравшуюся девочку, стянула потуже волосы (очень ломило виски), захватила с собой кое-какие лекарства, бросила в сумку несколько лимонов и яблок и, не сказываясь Тимофеевне, все так

же намеренно увлеченно рассуждавшей с котом о превратностях жизни, о вечной занятости хозяев, которым и жить-то по-людски некогда, вышла на улицу. Она была точно в какой-то горячке, не разрешала себе даже в мыслях оглянуться назад, и только оказавшись перед нужной ей дверью с белевшим на ней номером «41», задержала дыхание, подумав, что, на ее счастье, Хатунцева, может быть, еще не окажется дома, и так же стремительно, не давая себе опомниться, нажала кнопку звонка.

Эти секунды показались ей бесконечными, и она уже хотела повернуться и убежать без оглядки, как вдруг послышались шаги и дверь распахнулась. Она увидела Хатунцева, вернее, в первую очередь она увидела его глаза, от изумления мальчишески яркие.

— Я к вам, Игорь Степанович, навестить,— сказала Аленка, чувствуя, как ее враз оставило напряжение; слова лились легко и свободно, господи, все было отлично, она видела его.— Узнала, что вы больны... Можно мне войти?

— Да, да, пожалуйста, только извините, я в таком виде.— Он быстро провел рукой по пижаме.— Прошу вас сюда, в эту комнату, я сейчас оденусь... Простите.

— Зачем это? Ложитесь в постель,— приказала она.— Вы же вон как похудели... Я вам яблоки принесла и лимоны.

Она достала из сумки лимоны и три больших краснобоких яблока и положила на стол, заваленный какими-то книгами, бумагами, таблицами, она с любопытством обежала глазами вокруг, в полуоткрытую дверь другой комнаты виднелся край большого, с гнутыми ножками, дивана, над ним портрет женщины с высоко заколотыми волосами и с нежной застенчивостью в улыбке.

— Садитесь, Елена Захаровна, спасибо за яблоки,— сказал Хатунцев, почему-то очень высокий и нелепый в своей пижаме.— Сейчас чаю заварю, будем с вами чай пить. Или вы, может быть, хотите молока? У меня молоко есть.

— Не хочу, Игорь Степанович,— сказала Аленка.— Это ваша мать?

— Мама,— Хатунцев стоял, прислонившись плечом к старинному, красного дерева, платяному шкафу с давно стершимся лаком.— Это вскоре после свадьбы, почти тридцать лет назад... Зачем... зачем вы при-

шли? — спросил он внезапно и быстро, и лицо у него вспыхнуло, затем так же мгновенно стало бледнеть.

— Я пришла потому, что вы больны,— так же быстро ответила она, не опуская глаз.— Зачем вы послушались людей, они вас не стоят. Зачем вы ушли из клиники? Уйти должна я.

— Я вас люблю,— сказал он зло, и она вначале не поняла его слов, беспомощно метнулась взглядом по его лицу, затем в глаза ей бросилась его открытая, по-мальчишески худая, беззащитная шея; она растерянно отступила, она не знала его таким, резкость его движений была ей незнакома; сама сдержанность, респектабельность, он был сейчас не стрижен, не брит, светлая щетина покрывала его щеки и подбородок.— Я люблю вас, я не могу без вас,— повторил он упрямо.— Вы это знаете... и вы любите меня, этого нельзя скрыть... Зачем же мучить друг друга? Ну, я уеду, совсем уеду... не могу больше, я не знаю, что я сделаю... я ненавижу вас... я ничего не могу с собой сделать...

— Что вы, Игорь? — прошептала она, пытаясь остановить, оттолкнуть его, но он легко, словно что-то невесомое, притянул ее к себе, и она, неотрывно, точно узнавая, глядя в лицо ему и отдаваясь во власть его рук все стремительней, все так же не слышала его слов; сильные незнакомые руки, приобретшие вдруг такую непререкаемую власть над ней, окружили ее всю, без остатка, и солнечный, зеленый мрак плеснулся в ней от взрыва бесстыдного, откровенного наслаждения. Теперь она сама тянулась к молодым, ярким губам и целовала их, и прямо перед нею сияли сумасшедшие, счастливые, незнакомые глаза.

Прошел час или больше, ни Хатунцев, ни Аленка этого не заметили. Кто-то позвонил в дверь, звонок она услышала словно в полусне, неясно, отдаленно.

— Пусть, это, верно, сосед.— Хатунцев бездумно глядел вверх.

— Ну вот, значит, три яблока,— сказала Аленка.— А у Евы было одно... Что же дальше?

— Не знаю,— счастливым голосом отозвался он.— Я только знаю, теперь исполнится все, что я захочу. Во-первых, я тебя больше отсюда никогда не выпущу...

Она улыбнулась.

— Во-вторых, ты не представляешь, какая ты в самом деле. Мы поженимся...

— Игорь, не надо, я прошу... давай ничего не будем загадывать.

— Послушай, Лена, ведь мы могли никогда не встретиться... Случилась самая большая справедливость, мы с тобой встретились...

— Не гляди на меня так,— попросила Аленка.— Мне совестно...

Он откинулся на подушку, счастливо засмеялся.

— А ты не думаешь, что нам придется уехать из Холмска? — сказала она, пытаясь пригладить у него на груди короткие, жесткие и очень светлые волосы.— Боже мой, какой ты волосатый,— добавила она без всякой связи.

— Потому что счастливый... Видишь, самая верная в мире примета,— гордо похвастался он.

— Какой ты еще мальчишка,— с каким-то осуждением удивилась она и стала смотреть на вздрагивающее солнечное пятно на потолке.

— Игорь,— сказала она,— Игорь, ты не знаешь, зачем вообще люди? Зачем они живут?

— Зачем? Чтобы любить,— ответил он бездумно.

— А что это значит? — опять спросила она тем же незнакомым ему голосом.

— Лена, что с тобой? Что ты вдруг? — Он осторожно, стараясь не спугнуть ее и не ранить того, что ему было в ней неизвестно, наклонился над ней; глаза ее были холодно и широко раскрыты.— Где ты, Лена? — Он мягко привлек ее к себе; что-то холодное, безжалостное коснулось его души, и все в нем возмутилось от унижения, от страха ее потерять; он так мало еще знал ее, а она была ему необходима и так легко могла уйти, исчезнуть.

— Вчера консультировала во второй городской больнице... Там есть одна палата — пять женщин... Очень тяжелая палата, я тебя вспомнила, посоветовалась с тобой, я всегда тебя вспоминаю в трудных случаях. Они уже давно живут в другом, не нашем мире... Они уже давно там, не живые и не мертвые... У одной было нервное потрясение... не хочу и говорить, такая беда с ней стряслась...

— Ты врач, Лена...

— От этого ведь не легче.— Аленка помолчала.— Вторая — после менингита, у третьей — производственная травма. А у одной, особенно интересно, представляешь, еще война... В августе — месяц, когда к ней при-

шла похоронка на мужа,— у нее систематические обострения, почти ежегодно... Сильные боли, два-три месяца она в совершенной прострации, не хочет вставать, ходить, есть... Еще молодая женщина, тридцать четыре года. У нее все время взгляд передвигается по потолку. Медленно-медленно... Ты знаешь, я все-таки выяснила, весь потолок у нее мысленно разбит на квадраты... в одном у нее, оказывается, первая встреча с погибшим мужем, в другом — первая ссора, в третьем — свадьба, затем момент их первой близости... И все это она как бы заново проживает, каждый из этих моментов... Я была потрясена, Игорь... Вот и спрашиваю, что же такое жизнь и любовь? Что?

— Какое у нее образование? — Хатунцев старался говорить спокойно и ровно.

— Незаконченное высшее, она до войны успела окончить два курса химико-технологического...

— Ну, знаешь, это типичная...

— Не надо, Игорь, медицинскими терминами отделаться проще всего. Так жалко людей, и как они еще нуждаются в помощи...

— Беспредметной жалости я не понимаю, и вообще, Лена, ты слишком принимаешь все к сердцу. Помнишь, я тебе уже говорил когда-то. Ты не станешь хорошим врачом, если не отбросишь сантименты...

Они оба засмеялись от давнего воспоминания, оно показалось им таким далеким и нереальным. Неужели они когда-то не знали друг друга, возможно ли это?

Глаза Аленки снова погрустнели, и он, уловив это, не давая ей опомниться и уйти в свои мысли, снова заставил ее забыть все на свете, кроме того, что она с ним рядом, и того, что с ними произошло и происходит.

5

Николай был в той поре, когда все без исключения кажется прекрасным, необходимым, единственным; устав сидеть за книгами или торчать в скромной институтской лаборатории, он отправлялся бродить по городу, часто бесцельно, наобум; он не мог бы дать себе отчет, какая сила гонит его из улицы в улицу, но ему нравилось подметить какую-нибудь неожиданность; иногда то, что он видел, заставляло его покраснеть и отвернуться, но чем пристальнее он всматривался

в жизнь, тем увереннее становился в своих выводах. Даже безобразное иногда оборачивалось своей неожиданной, полезной стороной по отношению ко всей остальной жизни; Николай начинал понимать и видеть такие связи и закономерности, что подолгу потом был сосредоточен, никого не замечал вокруг.

В один из последних дней бабьего лета (было еще много солнца, и за деревья, кустарники цеплялись длинные серебристые паутины) Николай после лекций забрел в центральный городской парк. Дело близилось к вечеру, он проголодался, но идти домой почему-то не хотелось; в парке в первом же киоске он купил четыре жареных пирожка с мясом, еще горячих, и съел их с завидной жадностью отличного молодого, неиспорченного желудка; кто-то из встречных прохожих взглянул на него с улыбкой, кто-то с явной завистью к его волчьему аппетиту и здоровому румянцу пошутил. Было тепло, в поредевшей листве деревьев, слегка шевелящихся, застревали длинные куски солнца; Николай даже остановился от пришедших в голову мыслей. Куски солнца, точно, были, но их форма непрерывно менялась: и длинные, и квадратные, и многоугольные, самых разнообразных форм и размеров, они непрерывно вспыхивали, исчезали, смещались; это была обычная видимая энергия солнца во взаимодействии с живым миром земли; и в этом тихом уголке городского сада космос продолжал щедрое, многоликое, прекрасное в своей простоте творчество. Для космоса не было никакого Николая Дерюгина; для космоса он являлся всего лишь мгновенно преходящим результатом игры неисчислимого количества миллиардов комбинаций, противоборства самых различных сил; беспощадная, равнодушная, всеобъемлющая машина космоса непрерывно перерабатывала и отбрасывала тьмы и тьмы вариантов, и вот он, случайный результат этой слепой игры, стоит и вполне сознательно любуется и этим теплым осенним днем в налитых желтым солнцем деревьях, и своей возможностью думать и наслаждаться.

Как и обещал в детстве, Николай, еще не успев к этому времени окончательно сложиться, был уже крупен в кости и угловат; в лице угадывалась напряженная работа мысли; присутствовала она и в силе характера, он мог, засыпая на два-три часа в сутки, неделю, две, месяц подряд, доводя себя до изнеможения, пытаться обосновать языком цифр и формул ка-

кую-нибудь показавшуюся ему интересной идею, и только сегодня, пожалуй, впервые за все последние месяцы, он неожиданно сделал для себя еще одно открытие и вначале не понял, в чем точно оно заключается. Просто ему стало грустно, и он, несмотря на уговоры двух приятелей отправиться к одному из них и хорошенько пообедать по случаю очередного семейного торжества, мужественно отказался, ему хотелось побыть одному и побродить по осенним аллеям парка, и вскоре он был вознагражден. Доедая последний пирожок, он улыбнулся проходящей мимо девушке; в простенькой ситцевой блузке, с длинной загорелой шеей, с полудетским, еще округлым лицом, освещенным зеленовато-серыми глазами, она была хороша; как и полагается, она прошла мимо, точно его и не существовало на свете, и только, почувствовав его неотпускающий, восхищенный взгляд, поспешно ускорила шаги. Скрывая загоревшееся лицо, Николай торопливо отвернулся; кусок пирога застрял у него в горле, и он оглушительно закашлялся. Ему показалось, что она, залитая искрящимися солнечными потоками, идет совершенно нагая; когда он еще раз оглянулся, она, вероятно, свернула в одну из боковых аллей, ее не было видно. С твердой уверенностью, что ему еще раз повезет встретить сероглазую девушку, Николай вновь отправился бродить наугад, незаметно забрел в почти дикую, сплошь заросшую молодым лесом, полого спускающуюся к реке, безлюдную часть парка; больше уже не попадалось расчерченных искушенной рукой человека аллей и детских площадок, бодрых транспарантов и грибков, здесь царило произвольно заросшее деревьями пространство с едва заметными, узкими тропинками, в этом месте каждый шел как хотел и куда хотел. Глядя вниз, на охваченную неподвижным металлическим блеском реку, Николай, очевидно потому, что больше так и не встретил сероглазую девушку, почувствовал себя неуютно; он грустно решил, что после каждого поколения все его тропы и дороги в основном исчезают и следующее поколение вступает на свой чистый лист. Увидев неподалеку остроугольную крышу заброшенной беседки, он, чувствуя себя в отъединении от прочего мира, смог наконец сесть на широкую решетчатую скамью. Со всех сторон он был теперь укрыт разросшейся сиренью; с наслаждением растянувшись на скамье и подложив под голову «Радиофизику и абсолютный нуль» академи-

ка Лапина, он закрыл глаза. Он сонно улыбнулся тишине, покою и одиночеству, прекрасному осеннему дню, так щедро одарившему его; сквозь сирень совсем не проникал ветер, так лишь, чуть-чуть касался лица, и Николай еще раз почувствовал грусть и усталость. И почти сразу же увидел радиоволны в виде гривастых, искрящихся коней, они неслись друг за другом в непроницаемой тьме космоса, подобно бегущему по морю валу, поочередно поднимаясь и опускаясь; эта нелепица возмутила Николая, он вздрогнул и открыл глаза.

— Нет, нет, Игорь,— услышал он удивительно знакомый, торопящийся голос,— подожди немного, я не могу, я еще не готова к этому шагу.

«Аленка!» — ахнул Николай, мгновенно и бесшумно скидывая ноги со скамейки и готовясь или бежать, или броситься ей на помощь, но не успел сделать ни того, ни другого, так как раздался уверенный мужской баритон, и Николай прирос к скамье.

— Мы любим друг друга,— услышал Николай, прежде чем сообразил, как ему поступить.— Это же нелепица... Не знаю, как ты, а я больше так не могу и не хочу.

— Почему ты решаешь за меня? Я же сказала, Игорь, еще немного...

— Еще! еще! А жизнь идет! Нет, так дальше невозможно! Ты же знаешь, я не могу без тебя. Без тебя все безразлично... работа, жизнь, диссертация, все, понимаешь? — вразрез со смыслом слов голос мужчины звучал требовательно, по-хозяйски; Николай не верил собственным ушам. «Что за тип такой?» — подумал он, не в силах, однако, по-прежнему выдать свое присутствие.

— Ну что за детская горячка, Игорь?

— Да, да, да, горячка! — опять раздался голос мужчины.— Горячка! А ты, если можешь так холодно рассуждать, просто не любишь...

— Игорь...

— Ну, Лена, это невозможно.— Мужчина говорил искренне, тон у него переменился.— Ты должна решиться... должен быть хоть какой-нибудь определенный срок...

— Игорь, все дело в Ксене. Он заберет у меня Ксеню,— в голосе Аленки прозвучало почти отчаяние, и Николаю на какое-то мгновение стало жаль ее. Стараясь не дышать, движимый каким-то непреодолимым любопытством, он слегка раздвинул ветки и действи-

тельно увидел сестру и мужчину лет тридцати, рослого, широкоплечего, с густой шапкой русых волос. Как раз в этот момент он взял руки Аленки в свои и стал что-то быстро говорить ей вполголоса; слов не было слышно, но Николая, привыкшего ощущать сестру какой-то неотъемлемой частью Брюханова, принадлежащей ему безраздельно, странно поразила глубокая близость между Аленкой и совершенно незнакомым и не существовавшим для него до этой минуты человеком. Николаю хотелось выскочить из своего укрытия, подбежать к ним и физически оторвать сестру от этого человека, прогнать его и тут же забыть о его существовании навсегда, как если бы его никогда не было.

— Значит, ты сегодня опять не придешь? — услышал он в это время недовольный голос мужчины.

— Подожди, Игорь, скоро, скоро все само решится, он на этой неделе приезжает, пожалей меня,— ответила Аленка и заплакала.

Этого уже Николай вынести не мог, это было выше его сил; он почувствовал, что у него дергается правое веко; опасаясь услышать еще что-нибудь, он крепко зажал уши ладонями, опустился на скамью и крепко зажмурился; он почему-то перестал бояться, что они заглянут в беседку; он тогда просто посмотрит на них, встанет и скажет, что он уходит и освобождает им место. Он замычал, открыл глаза. Вначале был лишь редкий туман, затем стали проступать столбы, скамьи, изрезанные и исписанные самыми невероятными признаниями, пыльные листья сирени; впервые им владел такой приступ бешенства. «Нужно успокоиться, иначе можно натворить бог знает что»,— решил он; чувствуя сухость и неприятную горечь во рту, торопливо, не таясь, он выбрался из беседки, оглянулся, но поблизости уже никого не было, и он быстро зашагал прочь, к мосту, ведущему в другую, в Заречную часть города.

До темноты он бродил по людным центральным улицам, терзаясь, не в силах прийти к какому-нибудь определенному решению; ему казалось, что он никогда не сможет встретиться с Аленкой, что эта встреча, если она произойдет, окончится какой-нибудь катастрофой. «Пожалуй, еще хуже встреча с Брюхановым»,— подумал он, останавливаясь, его тотчас толкнули в спину, и кто-то, обходя его, посоветовал не торчать столбом на дороге. Он прижался к стене дома и невидящими глазами смотрел на катившийся мимо нарядный вечерний

людской поток. Затем он оказался где-то в плохо освещенном проезде, и едва хотел повернуть назад, как почти рядом с ним остановилось такси, из него торопливо выбралась женщина с девочкой лет шести, за ними следом выскочил и шофер и стал затаскивать женщину назад в машину.

— Не прикасайтесь! не прикасайтесь ко мне, нахал! — выкрикивала женщина почти истерически высоким тоном.

— В милицию! в милицию! — в свою очередь кричал шофер, а девочка, стоя в стороне на тротуаре, часто вздрагивая, тоненько плакала.

— В чем дело? — рванулся к ним Николай, и они, и шофер, и женщина, перебивая друг друга, стали что-то объяснять ему, и наконец он понял, что женщина с девочкой села на вокзале, но вскоре шофер прихватил еще двоих пассажиров, но те сошли недавно, заплатив, и вот теперь шофер требовал полностью по счетчику с женщины. Девочка стала судорожно всхлипывать, и Николай, нащупав в боковом кармане заветную тридцатку, выхватил ее и сунул шоферу. Тот, увидев его глаза, подался назад, стал отталкивать руку Николая; женщина тем временем, опомнившись, схватив девочку, побежала с ней по тротуару.

— Бери! бери! — крикнул Николай.— Ты же знаешь, что она права! Погляди на ребенка, сволочь! Бери!

Шофер был старше и сильнее Николая, но он все пятился и пятился от него, и когда Николай еще раз крикнул: «Бери!», шофер, сам того не желая, выхватил деньги и, уже очутившись в машине и отъезжая, высунув голову из кабины, обругал Николая:

— Псих ненормальный!

Николай же, прислонившись к подвернувшемуся стволу липы, рассмеялся; вся эта неожиданная стычка принесла какую-то разгрузку, облегчение, и он вспомнил, что Тимофеевна утром говорила, что хозяин, то есть Брюханов, на днях обещает приехать, и вздрогнул, подумав, что Брюханов уже приехал и произошло что-то ужасное, какая-нибудь дикая сцена...

Через четверть часа он через четыре ступеньки торопливо взбегал по лестнице; Тимофеевна, открыв, по привычке встретила его ворчанием, но он, опережая ее, спросил:

— Что нового, Тимофеевна?

— Ничего... Что тут нового, жду, жду, ничего нет, никого нет, как провалились...

— Вот и хорошо,— даже несколько обрадовался Николай, ловко и решительно обходя Тимофеевну, и она тотчас пошлепала вслед.

— Явился — не запылился,— загородив дверь из ванной, где Николай, раздевшись до пояса, с наслаждением плескался, отмывая пот, пошла она в наступление.— Обед давно прошел, а их никого, ни одной, ни другого. Как хозяин из дому, так и порядок долой... Нет, ищите себе другую охотницу по десять раз обед греть, да и какая это, прости господи, еда? Все перестояло, закаменело в сухарь...

— Тимофеевна, а Ксеня где?

— А где ей быть,— все тем же ворчливым тоном ответила Тимофеевна.— Сидит себе, дом строит. Упорная, чертенок, дом валится, а она опять, поди тебе, в какой раз лепит одно на другое...

Николай крепко вытерся полотенцем, поглядел на свое отражение в зеркале, сморщился и, надев рубашку, отправился к Ксене; та, увидев его перед собой, улыбнулась, но от дела не оторвалась; Николай присел рядом на корточки.

— Ты что строишь, Ксеня? — спросил он, внимательно присматриваясь к девочке, почти со страхом отмечая ее поразительное сходство с отцом.— Вавилонскую башню? А?

Ксеня опять серьезно посмотрела на него, улыбнулась и ничего не ответила.

— Понятно... Каждый из нас говорит на своем языке, ты на своем, а я на своем.— Николай поднял брови и, покачиваясь слегка, все с той же пристальностью продолжал рассматривать племянницу.— Разумеется, как тут угадаешь, может, и похожа ты на папу, а может, и еще на кого, тут, Ксеня, дело такое... Хотя тебе самой совершенно на это наплевать... Но это, Ксеня, пока...

— Ты что над ребенком бормочешь? — выросла Тимофеевна в дверях детской, внося с собой аппетитные запахи хорошего борща и жареного мяса; у Николая дернулись ноздри.— Девять часов, а ты не евши блукаешь,— сказала Тимофеевна.— Пошли, я тебе уже налила... Под потолок вытянулся, а разум детский,— решительно оттеснив Николая на кухню, где она кормила всех провинившихся, Тимофеевна тотчас усадила его за стол.

Он жадно съел две тарелки борща, жаркое, и она начала понемногу отходить.

— Не спеши, не спеши,— сказала она,— что, за тобой гонится кто?

— Спасибо, Тимофеевна.— Николай выпил компот, придвинутый к нему Тимофеевной.— Тихон Иванович не звонил?

— В пятницу к вечеру, что ль, обещался прилететь,— сказала Тимофеевна.— У них разве какие сроки есть? Может, и к вечеру прикатит, а может, еще с неделю промается. Неладная работа,— вздохнула Тимофеевна.— Вот мой хозяин бондарь был, любую тебе кадушку сделает, любой тебе бочонок, хоть с крантиком, хоть закрытый, хоть какой. А вечером — он тебе дома, никаких там собраний да разъездов... Ты что подхватился?

— Кажется, пришел кто-то...

— Хозяйка пришла, кто ж еще.— Тимофеевна обрадованно затопала к двери при мысли о том, что на плите все еще горячее и не нужно будет еще раз греть. Она выглянула в коридор; Аленка уже разделась и расчесывала у зеркала свои густые волосы.

— Кто дома, Тимофеевна? Коля пришел?

— Беспутная ноне жизнь пошла,— начала было Тимофеевна, но Аленка уже была у Ксени, подхватила ее на руки, закружила по комнате, приговаривая на ушко девочке ее любимые скороговорки, и Ксеня, сразу утратив всю свою серьезность и зацепившись ручками за шею матери, восторженно вскрикивала.

Стараясь не встретиться с Аленкой, Николай проскользнул в свою комнату, лег на диван и прикрыл лицо книгой; к нему заглянула Аленка и сразу же тихонько притворила дверь; Николая перестал мучить неуловимый запах ее духов, и он продолжал все так же, не меняя положения, лежать.

— По-моему, спит,— расслышал он голос Аленки и облегченно передохнул; ему сейчас было невыносимо видеть ее и говорить с ней. Он понимал, что это трусость и не выход из создавшегося положения, и попытался успокоить себя обычным, проверенным способом: в сущности, и это была жизнь, проявление реально существующих сил, и не имеет никакого значения, что случившееся произошло с его сестрой, и то, что Аленка его сестра, в свою очередь всего лишь случайность...

К его досаде появилась Тимофеевна; увидев непорядок, она тотчас всполошилась, затормошила Николая.

— Заснул, что ль? — спросила она, снимая книгу у него с лица.— В одежде-то, господи, давай-ка я тебе постелю сейчас, а ты и ложись, как все добрые люди.

Николай сел, хмуро зевнул и, пока Тимофеевна разбирала ему постель, молчал. Он дождался, когда Тимофеевна, утомительная в своей заботливости, вышла; он уже сумел вернуть себе защитный, несколько иронический тон, всегда выручавший его в трудные минуты. На противоположной стороне улицы начали гаснуть одно за другим окна, и светили лишь вдоль тротуаров таинственные с наступлением глубокой ночи фонари. «Вообще молчать и делать вид, что ничего не случилось,— бессмысленно, глупо; нужно подойти к этому с холодным сердцем, расставить фигуры на свои места»,— решил Николай, по-прежнему хмурясь. Он уже испытал однажды такое же чувство беспомощности, когда ездил домой, в деревню, и впервые встретился с отцом после его возвращения с Камы. Смотрел на отца во все глаза и не знал, как ему поступить; им обоим было мучительно неловко, но и отец на сближение первый тоже не пошел; после двух-трех безуспешных попыток заговорить на общие темы замолчали оба, но Николай все время чувствовал на себе испытующий взгляд отца. С тем и уехал, сославшись на практику; и только мать, укладывая ему в чемоданчик горячие пышки, подняла строгие, все понимающие глаза и сказала тихо:

— А ты не суди, не надо. Ты пока в судьи-то не годишься, рано тебе...

— Ты это о чем? — спросил он, мучительно краснея и невольно опуская глаза.

— Аленке скажи, как только работа схлынет, приеду, побуду недельку, Ксенюшку к себе заберу, молоком отпоить, поправить, тощая больно, глазенки одни и светятся. Чем они ее там, в городе, кормят, еще прислугу держат,— вместо ответа сказала Ефросинья, и вот теперь Николай вспомнил этот недавний случай. Вполне вероятно, там скорее всего в судьи он действительно не годился, там у него не было никакого права; он и сейчас не хотел копаться в жизни отца. Но здесь... Здесь-то что его удерживает? Народная мудрость, не рекомендующая совать нос во всякую щель? Жалость к сестре? Брезгливость? «Ишь какой чистоплотный выискался,—

сразу же возмутился он,— а жить в доме человека, которому ты стольким обязан и которому твоя сестра наставляет рога, жрать, грубо говоря, его хлеб, чистоплотно? Нет уж, сестра как хочет, это ее, в конце концов, дело, она взрослый человек, а он в этой грязи барахтаться не будет. Нет уж, увольте, он завтра же уйдет в общежитие».

Старый высокий вяз, уцелевший в войну, приходился верхушкой под самые окна; под порывами ветра он старчески натруженно скрипел. «Бедняга, повидал ты на своем веку»,— подумал Николай и подошел к зеркалу. Пожалуй, пора уже было побриться, от висков вниз отчетливо наметились темные полосы, и усы уже есть. Николай сказал: «Гм!» — и потрогал верхнюю губу, пригладил растрепанные волосы. Усы, разумеется, можно было сбрить, можно и оставить. Это дело такое, у каждого свой вкус. Если разобраться, то и не надо ничего усложнять намеренно, решительно ничего...

С этими мыслями Николай прошел длинным пустым коридором, постучался к Аленке и, услышав короткое «да», вошел. Скользнул взглядом по столу, заваленному справочниками, журналами, конспектами, Аленка сидела и что-то усиленно штудировала.

— Это ты, Коля? — сказала она, не оглядываясь.—Здравствуй, подбиваю вот данные по последней поездке в Слепненский район. Знаешь ведь, по линии облздравотдела наблюдаю его уже третий год. Консультирую больных своего профиля, наиболее интересных забираю в стационар. Ну, и областное мое начальство тянет душу, замучили отчетностью. Столько врачу приходится исписывать бумаги... Как у тебя дела, Коля? Садись...

— Ты зачем обманываешь Брюханова? — спросил Николай, прерывая ее и задумчиво рассматривая свои длинные, худые пальцы.— Живешь с каким-то Игорем... это, надо полагать, тоже входит в понятие отчетности...

Сейчас он глядел в упор, и хотя пытался сохранить спокойствие, уголок губ у него слегка дернулся; он видел, что лицо у нее пошло большими рыжеватыми пятнами, удар был слишком неожидан и жесток. В следующее мгновение она мучительно побледнела.

— Зачем ты так, Коля? — спросила она глухо.

— А как? Как надо? — Он сжал виски руками, потому что опять появилась режущая боль, но не отвел от нее расширившихся, бешеных глаз.

— Я люблю его, давно люблю,— сказала она.— Я не знала этого раньше, но теперь знаю... знаю наверное...

— Вот как значит, любишь его. Вот почему ты никак в Москву не соглашаешься ехать... Но ведь честнее сказать, Брюханов-то настоящий человек... А ты — обманывать, такая грязь.

— Мальчишка! Как ты смеешь! Что ты понимаешь в жизни?

— Не меньше твоего, Алена,— сказал он, изо всех сил сдерживая себя.— Или ты мне хочешь посоветовать, чтобы я тоже узнал вот такую, как ты говоришь, жизнь от крыши до подвала, до сточных канав?

— Зачем ты меня мучаешь? — Аленка задохнулась, взялась обеими руками за грудь.— Что же это такое? Уйди, сейчас же уйди!

— Ну, разумеется, мы привыкли думать только о себе, о своих болячках, о своих удобствах. Если мы кого-то мучаем, мы об этом не задумываемся, если же нас чуть-чуть против шерсти — мы уже кричим: насилие, разбой, караул... Ты как хочешь, твоя жизнь — это твоя жизнь, но я оставаться в этом дерьме не намерен,—сказал он просто, почти бесцветно; первая острота прошла, и Николай сейчас боялся смотреть на Аленку, ему изменила выдержка. За несколько минут Аленка словно постарела, резкие складки залегли возле губ, голос звучал тускло; Николай видел, что каждое его слово причиняло ей почти физическую боль, и он, резко повернувшись, почти бросился к двери.

— Подожди,— попросила она, и он, опустив голову, остановился.— Я не хочу, чтобы ты так уходил...

— Я переберусь в общежитие, к ребятам,— сказал он.— Завтра заберу вещи...

— Коля... что мне делать? — спросила она, слепо и неотрывно глядя ему в глаза.— Я люблю его, я ничего не могу изменить. Я все, что могла, делала, боролась с собой... Понимаешь, я люблю его, я не могу без него... понимаешь, не могу!

— Не понимаю,— как-то чуждо и холодно отозвался Николай.— Вернее, может быть, я бы и понял тебя, скажи ты Брюханову, но так...

— Я знала, что мне все придется пройти... все оттягивала, но теперь я хочу, чтобы ты выслушал ме-

ня... Именно ты, Брюханов меня легче поймет, легче простит... Он, пожалуй, уже все... почти все знает... но ты, ты...

— Одумайся, Аленка, я не хочу ничего больше слышать,— его передернуло от жалости к ней, что-то метнулось у него перед глазами, что-то из прошлого, какая-то смятая, полузабытая тень, искаженное в крике лицо матери, и чувство собственного одиночества в этом мире охватило его. «Никто здесь не понимает друг друга,— с отчаянием подумал он,— никто никого не слышит, кричи не кричи. Я не понимаю, что она говорит, и никогда не пойму, и, однако, мы почему-то нужны друг другу, ей зачем-то нужно, чтобы я понял. А зачем? Что она говорит?» — подумал он, видя ее шевелящиеся губы, огромные темные зрачки и пугаясь. Он не слышал, ничего не слышал; теперь он ясно вспомнил голодную весну, когда они с Егоркой отправились в лес, на озеро, и настреляли уток, и потом умерла бабушка Авдотья, и мать послала их с Егоркой наготовить дров, а он вдруг ослеп; он ничего совершенно не видел, и тогда впервые ужас перед смертью охватил его. Он и сейчас мучительно весь передернулся, это было невыносимо... Он беспомощно глядел на Аленку, шевелившую губами, и ничего не слышал...

— Коля, что с тобой? Коля, Коля! — закричала Аленка, бросаясь к нему и обхватывая его за плечи; она что-то лихорадочно говорила, трясла его, дала ему выпить воды.

Увидев, что она бросилась к телефону, он отрицательно замотал головой, и весь мир звуков, огромный и такой необходимый, прорвав какой-то заслон, обрушился на него, и он замер от счастья, от боязни его вновь потерять. Первым делом он услышал шум листвы под ветром и покосился на полуоткрытую форточку, затем до него дошло слабое потрескивание лампочки под потолком, очевидно, она вот-вот должна была перегореть.

— Ну что, Коля? Да скажи хоть что-нибудь,— решилась наконец нарушить испуганное молчание Аленка.

— Я ничего не слышал... все как под ватным колпаком...

— Как ты меня напугал, ну, слава богу, это бывает, тебе надо лечь, Коля...

— Ладно, Аленка, все прошло, будет об этом,— попросил он.— Со мной мы все решили. Я давно хотел, мне там будет удобнее, ближе к ребятам, к лаборатории.

— Ну хорошо, Коля, как хочешь делай, как тебе лучше,— ее голос звучал удручающе ровно, и это говорило о том, что для нее уже тоже все решено.— Пойми, это не каприз... и не распутство, как ты думаешь. Так распорядилась жизнь... Брюханов прекрасный человек, чистый, честный, я знаю, что я его не стою... я готова стать перед ним на колени... Но понимаешь, Коля, он слишком сильный... Я ничего не могу прибавить к его силе, ничего не могу ему дать, я бесполезна для него...

— Какая чушь... Он же тебя любит... Он тебя человеком сделал! — опять не удержался Николай.— Образование дал, ты хотя бы об этом подумала!

— Да, сделал, сделал, разве я не знаю! — Аленка еще больше выпрямилась, вся она сейчас была как натянутая струна.— Любит... знаю, любит... Но мне-то этого мало, мне-то нужно близкому человеку полезной быть, до его высоты тянуться... А он не пускает туда никого. Он гордый, он со всем справляется один. И получается: он отдельно, и я отдельно, и только по вечерам, по ночам вместе, а мне этого мало...

— Ну, и почему ты не можешь сказать Брюханову, как мне сейчас? Он же умный, все поймет, он все для тебя сделает.

— Поздно, Коля, сейчас это уже ничего не изменит...

— А почему ты думаешь, что здесь будет иначе? Ты ведь так мало его знаешь.

— Ты его видел? — осторожно спросила Аленка.

— Ну, допустим, не видел. Разве это что-то меняет? Совершенно чужой, незнакомый тебе человек...

— Какой ты смешной, Коля... Он врач, мы работали вместе. Он, он хороший... он тебе понравится...

— Никогда! И не вздумай меня с ним знакомить. Подожди, он тебя обдерет как липку и бросит. Ты еще не знаешь, какие по этой части артисты бывают...

— Он меня любит, в этом женщина никогда не ошибется...

— Ладно, в конце концов, это не мое дело. А о Ксене ты подумала?

— А что Ксеня?

— Дочь Тихон Иванович никогда тебе не отдаст,— Николай опустил глаза.— И правильно поступит, и я бы на его месте не отдал.

— Но это невозможно! — Побледнев, Аленка затравленно глядела на брата.— Я же без нее умру... что ты говоришь...

— Не только возможно, но просто необходимо,— жестко сказал Николай.— Ты и не затевай возни, сама сделала выбор...

Неожиданно дверь приоткрылась и в комнату просунулась до бровей обвязанная платком голова Тимофеевны.

— Господи,— ахнула она,— что ж такое? Иду, а они жужжат, жужжат... Седьмой сон досматривала... Вы что?

— Иди, Тимофеевна,— глухо сказала Аленка,—сейчас ложимся. Спокойной ночи...

— Вона! Уже утро на дворе! — фыркнула Тимофеевна, подозрительно перебегая глазами с одного на другую и с видимой неохотой исчезая.

— Или ты завтра напишешь Тихону Ивановичу,— сказал Николай, направляясь к двери,— или это сделаю я... Это я тебе обещаю твердо.

6

С некоторых пор у Тимофеевны появилось чудачество: всю приходящую почту во что бы то ни стало просмотреть раньше всех, а газеты хоть бегло прочитать до Брюханова. Для этого она пораньше спускалась к почтовому ящику, затем, вооружившись очками, внимательно изучала обратные адреса на письмах, а в газетах специально купленным синим карандашом отчеркивала интересные, на ее взгляд, новости и уже только после этого давала газеты Брюханову. Тому это не совсем нравилось, но, попробовав изменить положение и встретив несгибаемый отпор Тимофеевны, он смирился и махнул рукой. Тимофеевна была довольна завоеванной победой и за завтраком первая всем рассказывала новости. С тех пор как Брюханов был переведен на работу в Москву, Тимофеевна стала безраздельной хозяйкой почты, но после ночного разговора Николая с Аленкой, почувствовав накаленную атмосферу в доме, она и не заглядывала в газеты и редко, раз в два-три

дня, спускалась к почтовому ящику, а то и вовсе забывала об этом, готовила кое-как, спустя рукава, и по нескольку раз в день принималась говорить о расчете, о том, что она уже больна и стара, не может угодить на всех в таком бестолковом семействе, где каждый тянет в свою сторону, кто в лес, кто по дрова.

Уход Николая в общежитие она встретила как разразившийся среди ясного дня гром, убивалась и причитала, словно по покойнику, и едва за ним закрылась дверь, без сил, без слез обрушилась на диван в передней. В тот же день Аленка дала телеграмму Брюханову с просьбой немедленно приехать, а назавтра, под вечер, Брюханов уже стоял в передней и высоко подбрасывал к потолку взвизгивающую от восторга дочку.

С Ксеней на руках он поздоровался с Тимофеевной, привычно поцеловал Аленку и, всматриваясь в нее, спросил:

— Ты не больна, Аленка? Что-то бледная... Что-нибудь случилось? Где Коля?

— Да, случилось,— сказала Аленка.— Пойдем к тебе.

Брюханов неторопливо причесался у настенного зеркала, прошел в кабинет, передав Ксеню Тимофеевне, и та, не мешкая, чувствуя неладное, унесла на кухню брыкавшуюся, норовившую вырваться из рук и проскочить в кабинет к отцу девочку; ворча про себя, что надо бы вначале по-христиански за стол всем сесть, встретить хозяина, а тогда бы и за разговоры приниматься, Тимофеевна принялась кормить девочку, заодно налив молока в блюдечко и для кота.

В эту минуту в кабинете Брюханова решившаяся наконец Аленка, точно бросаясь головой в омут, сказала:

— Тихон, мы не можем больше быть вместе... Я... я... люблю другого... одним словом, у нас было все...

Брюханов, остановившийся в это время у стола, чтобы прикурить, так и остался с незажженной папиросой; на мгновение ему показалось, что в комнату ворвался черный ветер, охватил его с головы до ног. Он сразу и бесповоротно понял, что это конец, он старался только удержаться, не шлепнуться в зеленую покойную пасть кресла; слепая ярость плеснулась в нем, до судорожной боли в сердце захотелось выхва-

тить браунинг и тотчас все кончить, и рука сама собой скользнула в карман, стиснула прохладную плоскую рукоятку. Аленка завороженно следила за каждым его движением. Опять стены поплыли перед ним, его шатнуло, нетвердо ступая — только бы не видеть ее застывшее, испуганно-чужое лицо! — он прошел к окну и, уже окончательно теряя контроль над собой, схватился за штору и рванул ее вниз. Грохот падающего карниза, цветочных горшков, в большом количестве стоявших на низеньком столике у окна, отрезвил его. Комната наполнилась звоном битого стекла; несколько раз мигнула люстра. Аленка стояла, все так же прижавшись к стене, но не сделала ни одного движения, чтобы как-то защититься, прикрыть себя. Избавляясь от искушения, слепо, почти ощупью, он обошел кресло; выдвинул ящик стола, швырнул в него браунинг, заставив себя таки разжать пальцы. Непонятно, совсем непонятно, почему он жил и зачем вся его жизнь, ничего не понятно. С ним рядом шел человек, женщина, и у него так и не нашлось лишнего получаса, чтобы поглубже заглянуть в ее душу, разгадать ее до конца... Предать, так подло, так жестоко...

Почти чугунная тяжесть была в нем, на лоб наползли складки, и только резкие, нетвердые движения рук, когда он швырял браунинг, выбирал и разминал папиросу, выдавали степень искавшего в нем выхода бешенства. Сейчас точно впервые Аленка увидела его; после своих слов, сразу же обрубивших любой путь к отступлению, она оцепенела; мучительная, сжигающая сила безрассудства в хорошо знакомом, не так давно самом близком человеке ошеломила ее; ей стало страшно от непоправимости того, что она сделала.

Брюханов так и не закурил, смял в горсти папиросу, швырнул ее под ноги и рванул ворот кителя, блестящие пуговицы посыпались, брызнули в разные стороны.

— Послушай, Аленка,— сказал он хрипло,— может, тебе показалось, а если ничего не было? Возьмем и забудем... забудем и никогда больше не вспомним... Так, минутная твоя фантазия.

Аленка, дрожа бледными ноздрями, оторвалась наконец от стены, завороженно пошла к нему с широко раскрытыми, немигающими глазами; ей и самой на какой-то миг показалось, что ничего не было, что вот сейчас оба они расхохочутся, прильнут друг к другу,

она вдохнет пропотевший, пыльный запах его одежды и все кончится. И остановилась.

— Прости, Тихон, ты должен меня понять...

— К черту! — оборвал ее Брюханов, в одно мгновение опять выходя из себя.— Почему я должен всех понимать, все взваливать на свои плечи? Почему? По какому закону? А кто меня поймет? Хватит, я слишком много и без того волоку, это уже сверх всяких сил! Хватит!

— Успокойся, Тихон,— попросила она.— Ну, ударь меня! Так получилось, я ничего не могу изменить. Он слабее тебя, и я нужна ему. Каждую минуту нужна. Я ведь женщина, Тихон, баба,— сказала она потерянно.— Мне иногда хочется, чтобы меня, как кошку, погладили... А тебя никогда нет... Я нужна ему, я ему нужна больше, чем тебе, без меня он пропадет...

Опять какой-то горячечный озноб пронизал Брюханова с головы до ног, и он уже больше не оглядывался, сейчас только смерть могла остановить его. Широко шагая, он прошел к двери, защелкнул ее на внутренний замок, затем круто повернулся, и на какое-то мгновение словно что толкнуло его назад.

— Что ты делаешь, Тихон? — услышал он далекий, испуганный голос Аленки.— С ума сошел... Тихон... Тихон...

Ничего не говоря, не спуская с нее глаз, карауля каждое ее движение, он сорвал с себя китель, сапоги, при этом неловко подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, и она оцепенело следила за ним. Он подошел к ней совершенно голый, и волна от разгоряченного мужского тела накрыла ее.

— Тихон... Тихон...

У нее мгновенно пересохли губы; она хотела остановить его, хотела опереться на стол, судорожно пытаясь хоть за что-нибудь схватиться; ничего не попадалось, и она беспомощно поглядела ему в глаза.

— Тихон, остановись!

— Раз так все легко,— сказал он с незнакомой, изуродовавшей все его лицо усмешкой,— то и это сойдет. Я почти два месяца не был дома...

— Ты с ума сошел... Тихон, стыдно за тебя...

— За меня стыдно, а за себя нет? — одним широким, яростным взмахом он располосовал ей платье сверху донизу, она вскрикнула, пытаясь оттолкнуть его руки.

— Постой... Что ты делаешь? — отчаянные, злые слезы брызнули из ее глаз.— Дурак... Я это платье чуть не полгода шила... Отойди... я сама.— Она быстро сорвала с себя все остальное и, часто дыша, с каким-то дерзким, жарким вызовом глядела на него исподлобья.— С бабой справился... ну что ж, давай...

Он шагнул было к ней с обессмысленными от бешенства глазами, но тут же резко отвернулся и свалился ничком на широкий диван; он сейчас боялся себя, того сжигающего дурмана, что туманил мозг, кружил в сердце.

Аленка запахнула на груди остатки платья, села в кресло и, не скрывая своих голых ног, жадно закурила.

— А теперь? — спросила она, пытаясь с трудом успокоить дыхание.— Дальше что?

— Уходи, чтобы я тебя никогда не видел,— глухо отозвался он, не поднимая головы.— Ксене ничего не говори...

— Ксеню я заберу с собой.

— Ксеню не получишь, никогда не получишь! — вскочил он туго развернувшейся пружиной.

Вздрогнув, она не выдержала и отвела глаза; она опять не узнавала Брюханова и точно впервые видела его, она даже отдаленно не предполагала, что он может быть таким. И в то же время его безжалостность, его слепое безрассудство вызывали в ней протест и она, с трудом удерживая слезы, старалась только не выдать себя и все твердила про себя какие-то пустые, бесцветные слова. «Как же, решил,— твердила она, почти не видя его лица,— решил, как будто на свете больше никого и ничего. Привык! Сила силой, но ведь и правда есть, и совесть есть, ладно, это мы еще потом посмотрим, ладно,— подумала она.— Ну и что? Дальше что? — Странно, что ей не хотелось никуда уходить.— Я его ненавижу, ненавижу»,— пыталась она уверить себя, но никакой ненависти не было, она почувствовала лишь смертельную усталость.

Брюханов тоже остыл, был только слишком бледен; он прошел из кабинета в спальню, тотчас появился снова и швырнул на пол целый ворох платьев; он выдернул их из шкафа прямо с плечиками.

Сжав зубы, она стала одеваться.

— Все свое ты можешь забрать...

— Из твоего дома я ничего не возьму,— отказалась она.

— Зря. Все, что будет напоминать о тебе, я выброшу, сожгу,— незнакомая судорожная усмешка опять наползла, исказила его лицо.

Не отрывая от него глаз, она взяла несколько платьев, послушно бросила их на спинку стула, вот когда ей стало по-настоящему страшно. Куда же она теперь? Туда, где одно только начало, одни только надежды и ничего больше? Ничего прочного? Да, туда, сказала она себе неуверенно.

За дверью послышался голос Тимофеевны, она звала всех за стол, жаловалась, что еда стынет.

— Сейчас, сейчас, Тимофеевна,— отозвался Брюханов.— Давай накрывай на стол... водки поставь, пожалуйста! Слышишь?

— Думаешь, я просто к тебе в Москву в последний раз приезжала? Почему ты тогда не взял и не оставил меня силой? Почему? — спросила Аленка, задыхаясь от душивших ее бессильных слез, бросая ему запоздалый упрек.— Уйди, дай мне собраться...

— Я знаю, что ты сейчас думаешь,— сказал он, останавливаясь у двери и не поворачивая головы.— Да, может быть, я поступил плохо... не смог удержать себя... Но об этом я не жалею, слышишь, ничуть не жалею, думай как хочешь...

Он прошел прямо к столу; Ксеня уже сидела на своем высоком стульчике, повязанная фартуком, и облизывала ложку.

— А Николай что же? Где он? — спросил Брюханов пусто и безразлично, как нечто уже далекое, ушедшее, оглядывая привычную обстановку.

— Вчера только и перебрался в общежитие,—тотчас высунулась откуда-то из-за спины у него Тимофеевна с большим жестяным подносом, которым она пользовалась в минуты крайней растерянности, и на глазах у нее с готовностью заблестели слезы.—С чемоданом ушел, стала было отговаривать, так он... О господи...

— Не надо, Тимофеевна,— глухо попросил Брюханов.— Корми девочку, видишь, вся обвозилась...

Не присаживаясь, он тут же налил полный стакан водки.

— Где твоя стопка, Тимофеевна? Тащи, тащи,— повысил он голос на перепуганную старуху.— За уходящих... пусть им станет лучше...

7

Утром, каким-то образом узнав о приезде Брюханова, ему позвонил Лутаков и после обычных приветствий и пожеланий с известной долей почтения, ясно давая понять, что он по-прежнему относится к Брюханову как младший к старшему, вот даже навязался на встречу, хотя отлично знал, что Брюханову это было не совсем приятно. Помедлив и выбрав момент, он сразу же добавил, что, если это удобно, он может заехать к Брюханову домой, но тот вежливо возразил, что это ни к чему и что он с удовольствием заглянет в обком, повидает товарищей по работе; он еще не опомнился после вчерашнего и даже с некоторой поспешностью согласился увидеться с Лутаковым, тут же про себя подосадовал, но уже часов в двенадцать был у него. Широкоплечий, почти квадратный, Лутаков встретил его подчеркнуто радушно, с увлечением начал рассказывать о делах в области. Внешне он почти не переменился, но чувство уверенности, весомости сквозило в каждом его движении, в каждом жесте, в манере говорить, отвешивая каждое слово; он даже глаза поднимал неторопливо, как бы нехотя, а говорить научился совсем тихо, так, что к нему поневоле приходилось прислушиваться. И хотя Брюханов был от него в двух метрах, он два или три раза не расслышал его и, забавляясь этим, переспрашивать не стал. Брюханов слушал, смотрел на Лутакова, и его так и подмывало спросить, кто же все-таки слал на него «телеги» в Москву, его лишь удерживала явная неразумность подобного шага. «А может, сам он и не писал,— подумал Брюханов.— Может быть, как-нибудь со стороны незаметно направлял, для этого у него способности есть...»

— А я, Тихон Иванович, хотел с тобой посоветоваться.— Лутаков чуть повысил голос, как бы подчеркивая важность момента.

— Давай, Степан Антонович.— Брюханов все время помнил, что именно конкретно было сказано о Лутакове в дневнике Петрова, резкая, по-петровски беспощадная интонация характеристик неожиданно зазвучала в нем с особо язвительной силой, и он с трудом сохранял сейчас доброжелательный тон.

— Да, во-первых, Тихон Иванович, я хотел перемолвиться с тобой о Чубареве,— Лутаков взял папиросу из большой коробки на столе, тщательно размял ее, но

тут же, словно неожиданно вспомнив что-то важное, быстро взглянул на часы и положил папиросу обратно.— Понимаешь, от старости у него это, что ли, становится совсем нетерпим. Увольняет людей направо и налево, сколько специалистов выгнал, а они куда в первую очередь? Они — в обком, с жалобами. Если обком что-нибудь порекомендует, он не только должного внимания не обратит, понимаешь, а еще пришлет раздраженное послание, а то сам заскочит, черт знает чего наговорит, хоть стой, хоть падай. В районном комитете созрело решение о приеме Олега Максимовича в партию, мы бы его сразу же в бюро обкома избрали, легче было бы с ним работать. Куда там! Оскорбился, смертельно обиделся на область.

Брюханов, живо представив себе Чубарева, обидевшегося на область, невольно рассмеялся; Лутаков, воспринимая это по-своему, тоже оживился.

— Знаете, что он мне сказал? — Лутаков с улыбкой развел руками.— Я, говорит, молодой человек, заводы строил, понимаете, когда вы еще без штанов ходили. Представляешь, первому секретарю обкома! В ЦК, говорит, мне прямо сказали, что это и есть моя партийная работа, если бы некоторые коммунисты хоть наполовину так работали, другое бы дело было. Каково, а? Ведет себя как губернатор. Никто не спорит — уважаемый, заслуженный,— но и потакать каждой его прихоти обком не имеет права...

В кабинет вошел помощник Лутакова, лет тридцати, в гимнастерке, с жизнерадостным, улыбчивым лицом; Лутаков недоуменно поднял голову.

— Степан Антонович, два часа прошло,— сказал он и как-то бесшумно растворился, исчез за дверью, успев, однако, приветливо улыбнуться Брюханову.

— Спасибо, спасибо,— сказал Лутаков и тотчас, взяв папиросу из ящичка, с наслаждением закурил, затянулся раз, другой и, выдохнув дым, охотно пояснил: — Приходится, понимаешь, ограничиваться, разрешаю теперь себе это удовольствие ровно через два часа, а дел столько, что сам и не помнишь. Вот и приходится просить, чтобы напоминали...

Брюханов, ничем не высказывая своего отношения к услышанному, тоже закурил из ящичка. Он считал, что хорошо знал Лутакова, но теперь видел, что это не так; Лутаков, говоривший с ним сейчас, мало чем напоминал прежнего, и, самое главное, это была не какая-то

внешняя перемена, а глубокая внутренняя метаморфоза; с Брюхановым разговаривал сейчас совершенно новый, незнакомый ему человек, но Брюханов знал, что такой бесследной перемены не бывает, не может быть, и с усилившимся вниманием пытался уловить в *новом* Лутакове черты *старого*, хорошо ему знакомого человека, и когда помощник Лутакова напомнил ему, что пришла пора выкурить папиросу, Брюханов мысленно удовлетворенно потер руки; это был *старый* Лутаков, но с новыми возможностями. «Ну-ну-ну,— сказал себе Брюханов.— Посмотрим, как он развернется, и зачем ему потребовалась встреча со мной, Чубарев — это ведь только зацепка, своеобразный запев, лично сам он о Чубареве особо распространяться не собирается».

— Чубарев первоклассный организатор промышленности,— сказал Брюханов.— Я лично никогда не рисковал давать ему какие-либо практические рекомендации в том, что он знает лучше меня.

— У тебя, конечно, Тихон Иванович, теперь иные горизонты,— не захотел понять его Лутаков.— А у меня он на загривке висит. Да если бы один он... Положение с семенным фондом хуже не придумаешь, почти половины не хватает. А спрос, разумеется, с меня. Вчера опять из Москвы звонят, нужно наскрести двадцать пять тысяч центнеров. Товарищи дорогие, говорю, помилуйте, мне же сеять нечем.— Лутаков махнул рукой.— Куда там...

— Будешь скрести? — спросил Брюханов.

— А что бы ты на моем месте сделал, Тихон Иванович? — Лутаков как-то несколько потускнел.— И потом — без крайней необходимости на такие меры никто ведь не пойдет. Я, Тихон Иванович, партии верю, как самому себе...

«Ого! — подумал Брюханов.— Вот это уже совершенно неизвестный мне Лутаков, замахивается на партийного деятеля большого масштаба... Ведь выколотит эти двадцать пять тысяч, потребуют еще столько же, опять выколотит... Удивительная способность у такого народа брать ниоткуда...»

— Ты, наверное, Тихон Иванович, не одобряешь меня,— сказал Лутаков.

— А тебе, Степан Антонович, лично мое одобрение нужно? — пожал плечами Брюханов.— Зачем?

— Зачем, зачем! Кто знает, зачем? Иногда ведь хочется просто дружеской поддержки... Некоторые-то

горлодеры и в Москву ездят жаловаться, даже некоторые председатели колхозов,— Лутаков упорно глядел на свои руки, сцепленные на столе, методично крутя большими пальцами то в одну, то в другую сторону; намек был достаточно прозрачен.— Ездят, а что? Лутаков во всем виноват! Они, умники, не понимают, что с меня в десять раз больше спрос! — Лутаков опять потянулся к папиросам, но тут же точным, расчетливым движением оттолкнул ящичек от себя подальше.— Приходится с такими серьезно разговаривать, разъяснять, а то и наказывать... У каждого ведь свой воз и своя ответственность.

«А это еще один, уже совершенно новый Лутаков,—тщательно, с автоматической бесстрастностью зарегистрировал Брюханов.— Это он мне Митьку-партизана припечатал, предупреждает, чтобы не совал нос не в свои дела... А могут ли у коммуниста быть дела свои и не свои? — тут же подумал он.—Очевидно, с его точки зрения, могут... Интересно, чего он меня боится? Не совсем еще вжился в нашу структуру...»

— Прости, Степан Антонович,— Брюханов, сам того не желая, неуклонно вовлекся в какой-то ненужный базарный поединок,— что-то не по адресу ты окольный подкоп ведешь. Никто у меня в Москве не бывает, да и сам я почти в Москве на месте не сижу. Был у меня один Митька-партизан, председатель из Густищ, и тот забежал как старый боевой товарищ.

Лутаков поднял глаза на Брюханова: ну-ну, давай, давай, говорил его недоверчивый взгляд, знаем мы эти партизанские братания.

— И потом, Степан Антонович, почему это один коммунист не может зайти к другому и не высказать ему всего, что наболело на душе? — Брюханов уже отчаянно жалел, что согласился на встречу с Лутаковым, и продолжал разговор только из-за какой-то все больше закипавшей в нем внутренней злости.— Если ты будешь людей прижимать только за то, что они хотят разобраться в происходящем, так далеко не ушагаешь...

— Тихон Иванович! — досадливо поморщился Лутаков.— Я твой выученик, зачем же?

— А я раньше не замечал за тобой излишней подозрительности, прости за прямоту,— Брюханов уже собирался встать, попрощаться и уйти, но Лутаков в этот момент опять закурил, и Брюханов не удержался: — Не прошло двух-то часов..., брось,— сказал он.

Все, очевидно, еще можно было обернуть в шутку, ну, встретились, ну, поговорили, обменялись парой скрытых колкостей, но у Лутакова, человека исполнительного и не любившего рассуждать о том, что непосредственно не входило в его обязанности, от последних слов Брюханова льдисто заголубели глаза.

— Знаешь, Тихон Иванович, если говорить о принципиальности,— сказал он, стараясь не замечать явного недружелюбия со стороны собеседника,— я часто вспоминаю, как ты не пожалел своего лучшего дружка Захара Дерюгина, раз уж дело коснулось чести партии. Я вот себя часто спрашиваю, ну как бы Тихон Иванович поступил, будь его родственная ситуация именно такой, как теперь? Вы ведь теперь в тесном родстве... Тесть в плену побывал, да и не только в плену...

— А напрасно ты в луну целишься, Лутаков,— остановил его Брюханов,— ей-богу, не хочу держать тебя в неведении. Не по-товарищески,— он говорил с каменной любезностью в отвердевшем лице, и Лутаков тоже внутренне поджался.— Не заблуждайся, Степан Антонович, относительно меня, я с женой разошелся, и как раз на идейных основах... Вот приехал окончательно делить горшки...

— Ну, знаешь, Тихон Иванович, передергиваешь, понимаешь! — вскочил Лутаков и, покраснев крепкой шеей, стал вылавливать из ящика очередную папиросу.— Ты меня совершенно не так понял...

— Ну, если не так, прошу прощения,— встал и Брюханов.— Да дело не во мне и не в тебе, не в нас с тобой... Вот ты Дмитрия Волкова ломаешь, к Чубареву подбираешься... Все понятно, с тебя требуют хлеб, план, мясо... Вон ты с мясом как лихо разделался, в газете про тебя написали. Гусар! А где на следующий год мясо-то возьмешь? Может, солдатских вдов на мясо отправишь? Вот сейчас дополнительно двадцать пять тысяч центнеров выколотишь... Выколотишь! И еще столько же выколотишь, если потребуют... Можно? Можно! А вот то, что у людей из поколения в поколение душевный надлом накапливается от наших перегрузок, тебя это не волнует? У тебя власть огромная, только не забывай, с какой силой мы закручиваем пружину, с такой силой она и распрямится... Скажешь, иначе нельзя? А если можно? Кто над этим серьезно-то думал? Мы с тобой думали? А если тот же Дмитрий Волков, дай ему возможность, сумеет выворачиваться,

и государство не обидит, и своих вдов к их нынешнему-то трудодню без какой-либо добавки не оставит?

Лутаков не успел ответить, дверь напористо распахнулась, и на пороге появился Чубарев, у него из-за плеча растерянно выглянул помощник Лутакова и тут же бесшумно исчез, растворился, а Чубарев пошел прямо к Брюханову.

— Тихон Иванович! Не ожидал! Порадовали,— с широкой улыбкой пожал он ему руку, и Брюханов, наблюдая за лицом Лутакова, ясно вспомнил, сколько ему самому стоил Чубарев еще до войны, во время строительства моторного, и даже отчасти посочувствовал своему преемнику. Едва успев поздороваться, Чубарев размашисто прошел к сверкающему чистотой столу, и, не сдерживаясь, шлепнул на стекло тяжелый портфель.

— Что же, товарищ Лутаков,— сказал он, опускаясь в кресло,— давайте вместе размышлять. Вот и Тихон Иванович здесь. Прекрасно! Прекрасно! — перехватил он движение Лутакова шагнуть к Брюханову и попрощаться.— Пусть поможет нам разобраться в наших делах...

— Олег Максимович!

— Нет, нет, нет, Степан Антонович! Категорически прошу! — Чубарев с эффектной картинностью наклонил массивную голову в полупоклоне.

— Ну, если у Тихона Ивановича явится желание...

— У Тихона Ивановича явится желание! Тихон Иванович, я вас очень прошу,— энергично кивнул Чубарев,— уделить нам пятнадцать минут своего дорогого времени, всего четверть часа...

Брюханов молча вернулся к столу и сел; он знал Чубарева, отнекиваться было бесполезно, и его сейчас даже позабавило складывающееся положение; он чуть усмехнулся и пожал плечами.

— Так вот, товарищ Лутаков,— прервал затянувшуюся паузу Чубарев,— прошу вас объяснить мне: за что бюро обкома осудило мои действия? И притом в мое отсутствие?

— Товарищ Чубарев,— голос Лутакова приобрел хорошо известный Брюханову бесстрастно-металлический оттенок,— областной комитет партии несколько раз предупреждал вас, но вы намеренно продолжали делать все наперекор.

— Кому наперекор — вашему самолюбию, товарищ Лутаков, или интересам государства?

— Я свои интересы, товарищ Чубарев, не отделяю от интересов государства,— отчеканил Лутаков, переходя в наступление.

— И напрасно, товарищ Лутаков, любой партийный деятель такого ранга, как ваш, обязан уметь это делать...

Видя, что Лутаков с трудом сдерживается, Брюханов засмеялся.

— Товарищи, товарищи, так не годится,— сказал он.— Вы говорите совершенно не по существу.

— А я считаю — именно по существу.— Чубарев рассерженно не отрывал от Лутакова глаз.— Только уязвленное самолюбие товарища Лутакова дало делу такой оборот.

Лутаков встал, не глядя ни на кого, прошелся по кабинету; Брюханов, по-прежнему не зная истинной сути конфликта, видел, что Лутаков, стараясь сдержаться, ломает себя, а Чубарев все время стремится повернуть разговор так, чтобы ему, Брюханову, стала ясна причина их разногласия.

— Поймите же, Олег Максимович,— почти дружелюбно сказал Лутаков,— вы нарушаете самые элементарные государственные, я подчеркиваю — го-су-дар-ствен-ны-е, установки и нормы. Поймите, областной комитет партии не будет закрывать глаза на ваше самоуправство.

— Есть законы и законы.— Чубарев тоже ослабил напор, беря себя в руки.— Я ведь только добиваюсь бо́льшей пользы делу, а следовательно, и государству. Мне необходимо поднять уровень своего инженерно-технического состава, и я договорился с ректором своего же заводского института прогнать по урезанной программе...

— Урезанной наполовину, Олег Максимович,— уже совершенно спокойно и вежливо уточнил Лутаков.

— Пусть наполовину,— согласился Чубарев.— Но что же мне остается делать, если необходимо подтянуть уровень знаний многих инженеров? Зачем же цепляться за форму?

— Можно ведь было изучить вопрос в областном комитете партии, затем запустить его в верха. Есть же определенная этика, Олег Максимович!

— Вот-вот! Это меня и восхищает! Сколько же на это времени уйдет? Двадцать лет для нас вполне терпимый срок? А вы отлично знаете, что я выпускаю не мыльные пузыри, как некоторые. Даже месяц запоздания может обернуться для страны тяжкими последствиями. Ну хорошо, осудили вы директора, мне не привыкать, я могу обклеить своими выговорами ваш кабинет,— Чубарев прищурился на добротно обитые дубовыми панелями стены.— Но эта дикая комиссия, которая лихорадит весь заводской цикл...

— Но вы же действительно дали за эту вашу фантастическую затею почти полтора десятка квартир? Это ведь фактически подкуп,— не остался в долгу Лутаков.

— Ну уж, извините, молодой человек! — шумно запротестовал Чубарев.— Квартиры распределял профсоюз, как и положено, разумеется, несколько квартир дали, чтобы привлечь талантливых, творчески мыслящих преподавателей, профессуру из других институтов. Если вы эту свою комиссию не угомоните, Степан Антонович...

— То что? — выжидательно остановился Лутаков.

— Вон Тихон Иванович,— беспечно махнул рукой Чубарев,— подтвердит, такую волну подниму, до Тихого океана докатится...

— Олег Максимович, Олег Максимович, не горячитесь.— Лутаков вернулся к столу чуть поспешнее, чем хотел.— Давайте все-таки еще поразмышляем... вместе.

8

Директорский домик приветливо светился всеми окнами, и Брюханов, на другой день после встречи в обкоме приехавший к Чубареву, толкнул калитку, прошел по бетонированной дорожке и увидел в дверях самого хозяина.

— Наконец-то, с голоду уморил! — обрадовался Чубарев, здороваясь, и Брюханов отметил, какая у него еще сильная рука.— Пельмени перестояли, хозяйка гневается. К столу, к столу!

Вера Дмитриевна встретила их в гостиной в наброшенном на плечи невесомом, тонкого рисунка, оренбургском платке. Брюханову всегда нравилась эта крупная, спокойная женщина; она и старилась красиво, почти не прибегая ко всяческим женским уловкам и притирани-

ям; от нее всегда веяло уверенностью и тишиной, и жизнь рядом с нею сразу приобретала какие-то мягкие, осмысленные, обволакивающие формы. Взглянув на ее ясное, открытое лицо с круглыми ямочками, Брюханов почувствовал, как отпускает душу тревога. Он попытался представить себе Аленку в старости, но это было не близко, для него почти невероятно, и он отмахнулся от своей мысли, подавив в себе вспыхнувшее было что-то недоброе, вымыл руки; Чубарев пригласил его к столу, накрытому на двоих. Вера Дмитриевна заботливо поправила что-то на столе и тут же исчезла, плотно прикрыв за собой двустворчатую дверь, но Чубарев тотчас распахнул ее и сказал громко:

— Верочка, прошу тебя, кто бы ни звонил, меня нет дома. Ничего не изменится, если я узнаю о какой-нибудь очередной неприятности двумя часами позже.— Он решительно сел за стол и, с удовольствием окинув его беглым взглядом, потер руки.— Ну вот, прекрасно, мужская беседа, как у древних эллинов. Эта пресловутая эмансипация, уравнивание всего и всех, осточертела, ей-богу. Да и в общем-то во вред прогрессу. Садитесь, Тихон Иванович, садитесь, вначале самое насущное.

Они поужинали, перебрасываясь малозначащими словами и фразами, все более относящимися к качеству еды и кофе; при этом, несмотря на настойчивость вернувшейся и устроившейся в своем любимом кресле Веры Дмитриевны, Брюханов ел мало и неохотно. Чубарев предложил прогуляться по осеннему леску вдоль берега заводского водохранилища, и скоро они уже шли, шурша опавшими листьями, по редкой дубовой рощице, беспорядочно из края в край изборожденной тропинками.

— Последние годы, Тихон Иванович, я все больше встречаю людей, для которых свое личное становится важнее всего. Свое самолюбие, свое положение, свой карман. Отчего это? — спросил Чубарев, прислушиваясь к приглушенному смеху и плеску весел, доносившимся из темноты.— Неужели наше общество дряхлеет?

— Просто вы были моложе, Олег Максимович.

— Неправда! У старости тоже есть свои резоны... Если бы, конечно, она тоже, как и молодость, не имела обыкновения кончаться...

Какая-то ночная птица резко взмыла из кустов,

спугнутая их шагами; остро пахло травой и прелым листом.

— Вы думаете, Лутаков на этом успокоится? — неожиданно вернулся Брюханов к утренней встрече.

— Не думаю. Но до нового, более удобного случая, пожалуй, будет ждать... Не дурак, но болезненно самолюбив и, если задеть, теряет голову. Ваше наследие, Тихон Иванович.

— Виновен, виновен, хотя и непричастен,— кивнул Брюханов, чувствуя, как начинают сыреть от росы туфли.

— Не будем об этом. В каждом конкретном случае кто-то виновен. Впрочем, что ж Лутаков? — вслух подумал Чубарев.— Нельзя же, допустим, от нас с вами потребовать рекорда на дальность перелета или того больше — высоты. Сердце лопнет. Другое, батенька, ужасно, сама идея извращается, пачкается... Сам-то Лутаков уверен, что он прекрасно ведет дело. Парадокс. А может быть, в данных обстоятельствах кто-либо другой на месте Лутакова, талантливее, умнее, принципиальнее, просто не нужен, вреден? Может быть, Лутаков как раз то, что нужно?

— Оригинальные у вас мысли,— неопределенно и не сразу сказал Брюханов.

— Жизнь, к сожалению или к счастью, допустим, состоит из компромиссов, приходится в ней вертеться по-всякому,— Чубарев по привычке попытался заглянуть в лицо собеседнику.— Как же, нам иногда и подумать надо. Вот я далек от сельского хозяйства, от его проблем, но коллектив завода ежегодно выезжает в подшефные хозяйства на свеклу и картофель. Вы это знаете и без меня. Деревня стареет, одни старики и женщины. Парни из армии почти никто не возвращаются, а за ними, разумеется, и девушки уходят. Вполне естественно. Разумеется, я понимаю, после такой войны стране очень, крайне тяжело, но ведь это не выход. Можно целые цехи заменить автоматикой, но люди никогда не смогут обходиться без хлеба. Мы подсекаем нечто такое, на чем стоим...

Чубарев, нечаянно задев за самое больное, заставил Брюханова взглянуть на себя по-другому; непривычно было слышать свои точно подслушанные мысли от такого сугубо городского человека,— у Брюханова появилось такое ощущение, словно он видит Чубарева впервые. «Что ему холмские мужики и бабы? — спрашивал

себя Брюханов.— Что ему заколоченные деревни? Но ведь вот и у него болит душа, очевидно каждый честный человек думает так же...»

— А вы так не смотрите, Тихон Иванович,— с усмешкой сказал Чубарев.— Не надо примитивных мыслей и решений, ведь все мы из деревни вышли. И я так же в этой беде виновен, причастен к ней, к тому, что с земли уходят, как и Лутаков.— Чубарев приостановился, попридержал за локоть и Брюханова.— Вы знаете, Тихон Иванович, есть ведь и совершенно удивительные вещи в нашей жизни. Хотите, один случай расскажу? Так вот, в прошлом году приехал на завод ко мне председатель колхоза Дмитрий Сергеевич Волков из Густищ... вы его, кстати, отлично знаете: тот самый Митька-партизан, сами меня с ним и познакомили. Потолковали мы с ним по душам, побродил он вокруг завода и наткнулся на нашу свалку, глаза у него и загорелись. «Эх, говорит, Олег Максимович, мне бы хоть что-нибудь из этого вашего строительного брака, я бы у себя в колхозе такой свинарух отгрохал!» Так замечательно и сказал — свинарух! А за чем, спрашиваю, дело? Бери, говорю, все, что твоей душе угодно, я тут ребят пошевелю, в воскресенье и подбросим на своем транспорте, дело-то общее. Было время, помните, на лошадях, лопатами сколько здесь мужики земли перевсрочали. Долг платежом красен. Короче говоря, поставили этот свинарник, и что же? — Чубарев раскатисто расхохотался.— Метель, буран! Волкова вообще затаскали по всяким инстанциям и мне холку намылили. Полгода я категорически не получал зарплаты, возмещал убытки. Дошло до Москвы, мол, директор неизвестно чем питается, в ведомости только расписывается. Тут уж и я в принцип. Раз уж, говорю, я промахнулся, хочу быстрее убыток покрыть, не хочу год ждать. Пришлось Вере Дмитриевне пожертвовать своим старинным хрусталем. А ту самую злополучную свалку... право, там еще не на один бы свинарник хватило... заровняли бульдозером. Зато я сам этот свинарник, назло всем и всему, дважды смотреть ездил. Стоит. И прекрасно! Каково?

По собственному опыту зная, что дать человеку выговориться до самого дна, до самого последнего донышка, значит уже помочь ему, Брюханов молча слушал; ему подумалось о том, что откровенность своего рода лекарство и пользуются им обычно как самым крайним, сильным средством, и, однако, слушая Чуба-

рева и представляя себе то, о чем он рассказывал, Брюханов не удержался, чтобы не посмеяться.

— Вот-вот, я тоже потом смеялся,— сказал Чубарев.— Что такое, говорю, Веруша, хрусталь? Ерунда, прихоть. А если серьезно, Тихон Иванович? Народ наш живет скудно, не хватает самого необходимого, и, наверное, еще долго не будет хватать. Мы же только на собственном горючем едем, своего рода двигатель внутреннего сгорания. Налицо режим жесточайшей государственной экономии, зато мы ни перед кем не ломаем шапку несмотря на эту страшнейшую войну, удерживаемся на самых передовых рубежах науки и техники. Может быть, даже благодаря ей. Имеет ли государство право удерживаться на таких высотах за счет народа? Я человек старой закалки, я думаю, государство выбрало правильный путь, дай бог в первую очередь сохранить и развить главное... Вот только всяких досадных глупостей хоть отбавляй, досадно, очень досадно. И конца им не видно.

— Вы давно были в русском селе, Олег Максимович? — тихо спросил Брюханов.— Так, чтобы вплотную, тесно к людям?

— Так, чтобы вплотную,— давно. А что?

— В селе исчезла песня, Олег Максимович. Впрочем, у нас с вами разные мерки... ведь тот же ваш моторный, как какое-то ненасытное чудовище, жрет, высасывает людские ресурсы целой области... Отсюда все больше и больше заколоченных изб в селах. Всеми правдами и неправдами — лишь бы в город... Как совместить это противоречие?

— А никак. Народ устал, он голосует за лучшую жизнь, и весьма категорически. Народ почувствовал, где лучше, туда и прет. В города... куда же еще? Тот жену себе умыкнул из деревни, та мужа свежей деревенской крови, здесь инстинкт безошибочный. У народа очень высокие защитные реакции, в этом народ не промахнется... и зря вы его отпеваете. Будет хорошее настроение, явится и песня. Да, кстати, вас, Тихон Иванович, ждет сюрприз... Или вы уже знаете?

— Что именно, Олег Максимович?

— Дмитрий-то Сергеевич Волков тоже на заводе сейчас, в мартеновском работает. Не выдержал, допекли.

— Вот как... этого я не знал,— неприятно удивился Брюханов.— А Лутаков промолчал об этом... Черт знает

что... В Густищах он был на месте. Люди при нем на трудодень хоть немного стали получать...

— А что делать, Тихон Иванович, все понимаю,— сказал Чубарев,— пришлось выручать человека, очень уж понравился мне парень. Да и моя тут косвенная вина, полез, старый осел, не в свое дело. Лутаков простить мне этого не может до сих пор... ничего. Вздумал было поднажать, да ведь, вы знаете, я не из пугливых.

— Олег Максимович, заглянем на завод,— попросил вдруг Брюханов.— Помните, я перед войной как-то в начальники цеха к вам набивался?

— Что, в самом деле так плохо? — хмуро спросил Чубарев, став совершенно серьезным.— Впрочем, о чем это я? С таких постов сами не уходят... Да и потом — какая отставка в ваши лета? Закурить есть?

— Есть, пожалуйста.

Глубоко и жадно затянувшись, Чубарев, глядя на дымящуюся папиросу, тут же страдальчески поморщился.

— Все-таки не выдержал, нет у меня воли, Тихон Иванович,— сказал он сожалеюще.— Старый слизняк. Только ведь вчера обещал жене с сегодняшнего дня в рот не брать этой гадости... Удивительно, удивительно устроен человек... а?.. Признаюсь вам, Тихон Иванович, я всегда считал вас человеком действия, опору в вас для себя искал... А у вас, вероятно, и у самого непросто.

— Дело не в отсутствии или присутствии опор,— сказал Брюханов, стараясь подавить в себе раздражение, нараставшее сейчас против ясных, четких суждений.

— Простите, батенька, меня, старика.— Чубарев мягко заглянул в лицо Брюханову.— То, что говорят о вас с Еленой Захаровной, правда?

— Правда.

— Еще раз простите. Разболтался, как старая баба. И правду говорят, старость черства и честолюбива. Гималаи подавай, крышу мира, не меньше! А человеку нужен просто ломоть черного хлеба...

— Только вы не думайте, что я о чем-то жалею. Если у меня в жизни было счастье, то только благодаря Аленке.

Брюханов замолчал, ускорил шаги, и чувствовалось, что о себе он не скажет больше ни слова.

Не сговариваясь повернули к заводу; Чубарев едва поспевал следом, продолжая мысленно ругать себя. «Нашел время исповедоваться,— думал он,— не уда-

лась хитрость. Хотя, впрочем, этот выкарабкается, должен выкарабкаться, жаль только, что таким людям трудно помочь, не подпускают к себе. Раз так сильно может еще чувствовать, значит, и женщина ему еще очень нужна... И, однако, все пройдет, даже это, только ему не нужно сейчас этого знать».

С вершины теперь совершенно голого холма Брюханов окинул взглядом территорию завода. Небо было ясное, ветреное, как это иногда бывает поздней осенью, подчеркнуто резкое, стремительное; дымы мартена, багряно подсвеченные плавкой, отклонялись по ветру под прямым углом; виднелись четкие прямоугольники цехов, складских помещений, подъездных путей, натужно пыхтевший паровоз, волочивший за собой тяжело груженные платформы.

Запыхавшийся Чубарев тяжело дышал рядом, и Брюханов, вспоминая осень сорок первого, немецкую танковую колонну на дороге, затем распадавшиеся в воздухе на куски заводские трубы, еще раз горячо и жадно обежал взглядом полное света и движения пространство перед собой.

— Здесь, Олег Максимович, был командный пункт по взрыву,— сказал он, и оба некоторое время молчали, вслушиваясь в смутный гул большого завода, в нем отдельно и резко выделялся пронзительный, изматывающий рев моторов, проверяемых на износ на испытательных стендах и полигонах. Перед Брюхановым почти зримо предстал пройденный путь, и казалось, проделан он был в какое-то одно слепящее мгновение, и вспомнилась ему не война, не уничтожение своими руками набиравшего проектную мощность красавца завода, не разламывающиеся на глазах и медленно оседающие цехи и трубы и даже не восстановление завода, начавшееся сразу, с первых же дней освобождения области, а начало тридцатых, мужики одной из деревень, идущей под затопление, крепко они тогда поколотили землемеров, пришлось срочно выезжать, самому разбираться на месте. А старуха Маланья,— есть такая порода женщин, словно рожденных атаманшами, с суровыми, редко улыбающимися лицами, мать трех братьев — конников гражданской,— кричала, распяливая рот, что никуда она от родимого погоста не двинется, что у нее два сына на гражданской головы сложили, а он ее с земли своей сгоняет, и хотя ее оттаскивали от

него, все пыталась плюнуть в его сторону, а потом, дня через два, зазывала попить молочка...

Затем Чубарев показывал новый, только что вошедший в строй мартеновский цех, и Брюханов, с наслаждением втягивая в себя прокаленный, пропитанный металлическими кислыми запахами воздух, внимательно наблюдал за загрузочной машиной.

— Кто на машине, Олег Максимович? Никак Дмитрий Волков?

— Не узнали? Он самый,— улыбнулся Чубарев.— Я вас поэтому сюда и привел.

— Хорошо работает, бог,— одобрил Брюханов, наблюдая за точно, до секунды, рассчитанными манипуляциями загрузочной машины.

— Сейчас закончит завалку... Емельяныч! — подозвал Чубарев сменного мастера, давно уже заметившего директора завода и Брюханова, и попросил прислать на несколько минут машиниста Волкова; Брюханов не успел ничего сказать и даже подосадовать на торопливость Чубарева; то, что он должен был встретиться с Митькой в совершенно ином качестве, чем не так давно до этого в Москве, сначала смутило Брюханова, но стоило ему увидеть сдержанную, дружескую и несколько натянутую улыбку Митьки и крепко пожать ему руку, как всякая неловкость прошла, и он, каким-то вторым чувством определяя единственно возможную в данной ситуации манеру поведения, просто и коротко спросил:

— Как ты тут, Дмитрий?

— Ничего, привык.

— Неужели и половину свою уломал?

— Полковника было легче брать, Тихон Иванович. Еле справился. Теперь сама не нарадуется, сына недавно родила.— Митька показал примерные размеры новорожденного, явно завышая их; улыбаясь, Брюханов поздравил его.

— Не крестили еще, приходите, крестным будете, полсела позову.

— Скучаешь по Густищам?

— Что теперь говорить, бывает, тянет... Старшую от бабки не оторвешь. Так вот она, Тихон Иванович, жизнь, и раскидывает. А вообще тут простору больше. Там, правда, вольный воздух, а тут отработал смену — и сам себе хозяин. И баба оклад приносит, не палочки. Учетчицей работает в трубном цехе,— с удовольствием

щегольнул Митька новыми в своем обиходе понятиями.— Дети при деле вырастут, сразу специальность. Техникум при заводе есть, институт, говорят, расширяют, всем специальностям обучать будут. А вообще-то, Тихон Иванович, не хватило у меня ни характера, ни терпения, ну, да это разговор другой... Пока, Тихон Иваныч, пора мне... Приходите в гости, если придется... как сын родился, квартиру получил.

— Спасибо, приду. Рад за тебя, Дмитрий, кланяйся супруге.

— Елене Захаровне тоже поклон,— уже на ходу отозвался Митька, возвращаясь к своей машине быстрой, уверенной походкой.

Брюханов с Чубаревым еще немного постояли, молчаливо наблюдая за льющейся из мартена, яростно брызжущей огненной струей.

9

На третий день после приезда Брюханова в Холмск совершенно неожиданно, никого не предупредив, прикатил Захар. Решение поехать в Холмск далось ему нелегко, и если бы не настойчивость Ефросиньи, он бы долго еще не собрался. Прибыв на вокзал, отделанный после войны заново темно-красным гранитом и мозаичным панно, Захар неторопливо и с одобрением осмотрел все помещения, плотно перекусил в буфете и, разыскав парикмахерскую, сел в кресло солидной, ширококостной женщины, плотно обернувшей его белой простыней. Встретясь с ней в зеркале глазами, Захар сразу ощутил ее бабье одиночество и, отдаваясь ее мягким, заботливым рукам, оценил себя со стороны, глазами этой женщины. Кажется, он был еще ничего себе, отоспался, отошел на парном молоке за последнее время, стал спокойнее. Теперь можно и с дочкой встретиться, в своей бабьей мудрости Ефросинья и тут была права, и если он хочет утвердиться в дальнейшей жизни на родной стороне, этот шаг был необходим.

Он опять с любопытством оглядел себя в зеркале; за полчаса под руками парикмахерши он на глазах переменился: куда-то исчезли резкие, заветренные морщины, кожа зарозовела и разгладилась от одеколона и горячего компресса, ярче проступили серые хмурые глаза, и даже губы стали как-то тверже и определеннее.

«Вот ведь как еще можно-то жить»,— подумал Захар, смутно завидуя чему-то довольно неопределенному и недоступному для себя.

Так как на любое предложение парикмахерши клиент согласно кивал, она не только постригла и побрила его, но проделала с ним еще добрый десяток процедур, включая мытье головы с хной и горячие компрессы с настоем трав. Наконец не без сожаления, с заученно-профессиональным изяществом сдернула с него простыню, чуть тронула расческой густо поседевшие, но по-прежнему сильные волосы и, с одобрительным видом глядя на Захара в зеркало, подвела черту:

— Никак не больше тридцати пяти, десять лет с плеч долой. С таким кавалером не стыдно пройтись и по набережной.

Захар был крупным, по-прежнему красивым экземпляром мужской породы, и парикмахерше было жалко отпускать его; за время работы она привыкла к нему и теперь еще раз ревниво осмотрела Захара со всех сторон, как барышник приглянувшуюся лошадь хороших кровей.

— Двадцать пять рублей, молодой человек,— подчеркнуто сухо сказала она, чувствуя, что клиент не принял предложенного ею несколько игривого тона.

Захар безропотно расплатился, неожиданно для себя с купеческой щедростью прикинул сверх того еще десятку и вышел, прихватив свой чемоданчик, все это время сиротливо простоявший у двери, под вешалкой; женщина, бросив вслед ему взгляд через широкое стекло окна, как-то сразу погрузнев и постарев, вернулась к своему креслу; в нем уже сидел очередной клиент, молодой золотушный человек с тонкой ниточкой рыжеватых усиков.

— У меня перерыв, больше не работаю,— сказала она высокомерно и холодно, несмотря на то что еще было только десять часов утра.— Займите очередь к другому мастеру.

А когда золотушный молодой человек сидел уже в кресле старичка парикмахера, женщина, перекипев, пригласила очередного клиента к себе, золотушный с усиками даже голову вывернул, возмущаясь, но женщина-парикмахер демонстративно держалась к нему все время спиной, а старичок, бривший золотушного, недовольно попросил его не вертеться, добавив, что

у него чрезвычайно острые инструменты и что в таких условиях он ни за что не отвечает.

Захар тем временем шел по городу, задумавшись; Николая он уже видел летом, когда тот приезжал на каникулы, и у Захара до сих пор не исчез неловкий привкус от встречи с сыном, от незавершенности и недосказанности в отношениях, он испытывал к нему какую-то холодную враждебность и ничего не мог с собой поделать, да и сам Николай после двух-трех попыток, явно было видно, оставил надежду на сближение, и расстались они равнодушно и вежливо, как чужие. С Николаем в той или иной мере все было ясно, Захара больше занимала Аленка и, если честно говорить, сам Брюханов. Захар хорошо понимал, что не может изменить давно сложившееся положение вещей, но по-прежнему не мог представить себе Брюханова, своего старого дружка, мужем Аленки; тем не менее он все-таки пришел к нужному дому, намеренно перед этим проплутав по городу с час или даже больше, рассердившись на самого себя и на всех своих родственников, он с решительным видом прошел мимо постового милиционера.

— Гражданин? — услышал он и, остановившись, глянул назад; милиционер, беря под козырек, шагнул к нему.— Вы к кому, гражданин?

— К Брюхановым,— хмуро отозвался Захар и, заметив в глазах милиционера недоверие, неохотно пояснил: — От тещи его, из Густищ.

— Пожалуйста, проходите. Третий этаж, дверь налево.

— Спасибо, служба! — сумрачно усмехнулся Захар и, не спеша поднявшись на третий этаж, остановился перед дверью с номером «33». «Ну вот, тридцать три. Наконец-то добрался».

...Не раздумывая больше, он нажал на широкую кнопку звонка и услышал за плотной, красиво обитой затейливым узором дверью звонок. Открыла раскрасневшаяся у плиты Тимофеевна, вопросительно заморгала; была она в летнем сарафане, с голыми толстыми руками; Захар поклонился.

— Здравствуйте.

— Здравствуй,— ответила Тимофеевна выжидающе и, хотя видела Захара в первый раз, тут же уловила в нем сходство с Николаем и догадалась.— Захар Тарасович, с приездом! Милости просим,— радушно пригласила она.— Давно пора родных-то проведать...

Захар, отец ее бывшей хозяйки, благоухающий хорошим одеколоном, в новом, ненадеванном черном шевиотовом костюме, еще совсем моложавый, поджарый и стройный мужик с размашистыми угольными бровями и аккуратно и даже щеголевато подстриженными седыми висками, представлялся ей другим; он ей сразу же пришелся по душе. Захар повесил на вешалку у двери фуражку, поставил чемоданчик. Длинный, просторный коридор (в него из распахнутых дверей врывались потоки света) был застелен дорогой ковровой дорожкой, везде под ногами валялись игрушки; откуда-то бесшумно выбежала Ксеня и, увидев чужого, остановилась и стала по-детски пристально его рассматривать.

— Ты, значит, Ксеня и есть? — Захар сделал осторожный шаг к девочке; застенчиво глядя на него исподлобья черными мохнатыми глазами, та ждала.

Опередив его, Тимофеевна присела рядом с девочкой и, показывая на Захара, пропела:

— Ну что же ты смотришь так, Ксенечка, моя ягодка, это же твой родной дедушка, дедушка Захар. Скажи ему: «Здравствуй, дедушка...»

Захар неловко достал леденцового петушка на палочке, тоже присел.

— Какая ты большая, Ксеня! На папку похожа, глаза совсем отцовские, так и врезаны, вот дела...— сказал он, протягивая петушка внучке.— Сладкий... бери, бери, не бойся...

Девочка протянула было пухлую ручонку, но тут же, как это бывает с детьми, застеснявшись, уткнулась в колени Тимофеевны; та еще больше раскраснелась, расцвела, подхватила девочку на руки, стала целовать ее в пушистые светлые волосы.

— Проходи, Захар Тарасыч, вон в комнату,— сказала Тимофеевна, указывая.— Отдохни. Скоро сам явится, слава богу, как раз на днях прикатил. С дороги умыться-то, так вон ванная, там полотенце, мыло. А я покушать накрою.

— Не беспокойтесь.— Захару непреодолимо захотелось повернуться и, пока еще не поздно, уйти. В самом деле, зачем он здесь? Что он может понять или изменить? Ровным счетом ничего, смешно и думать об этом.

— Сюда, сюда, Тарасыч, в гостиную, отдохни с дороги,— опять сказала Тимофеевна, опуская девочку на

пол.— Я только газ приверну, лук у меня жарится. А то моргнуть не успеешь... сгорит...

Захар посмотрел вслед девочке, затопавшей за Тимофеевной, и прошел в просторную комнату с большим овальным обеденным столом посредине; оглядевшись, он сел в удобное, с высокой резной спинкой кресло в углу. В доме было пустовато и, несмотря на дорогую мебель, как-то неуютно, и Тимофеевна суетилась больше, чем нужно, хотя видно было, что девочку она любит и та к ней привязана.

Захар полез было за папиросами, но тут же сунул их обратно, не хотелось дымить в такой красивой, увешанной картинами в золоченых рамах комнате; он услышал тяжелые, быстрые шаги Тимофеевны и подобрал ноги под сиденье. Как показывали большие, в рост среднего человека, часы, была половина второго; медный сверкающий маятник плавно летал туда-обратно, словно отрезая кусочки времени, укорачивая его. Тимофеевна вошла и выжидающе села на стул, тотчас к ней пришлепала Ксеня, и Тимофеевна затянула ее к себе на колени, поцеловала в голову, сморщила лицо и заплакала, подхватив край ситцевого фартука и утираясь им.

— Опоздал ты малость, Захар Тарасыч,— всхлипнула она.— Что тут было, что было... все прахом пошло. Я со страху да с горя чуть не померла.— Она обхватила плотное тельце девочки и запричитала над ней: — Осталась ты, горькая ягодка, сиротиночкой-то при живой матери...

— Перестань, Тимофеевна,— сказал Захар сердито, видя, что и девочка, часто моргая, готова разреветься.— Что такое? Что случилось-то, можешь толком сказать?

— Да что сказать, словами-то разве поможешь,— Тимофеевна прижала голову девочки к груди, словно защищая ее.— Сам-то под небеса подхватился, сколь с ними жила, такого его не видывала. Дочку ты, говорит, не получишь никогда, хотя бы мне для этого пришлось весь свет перевернуть. И в моем доме больше оставаться не можешь, да криком звериным как рыкнет, у меня вся грудь занемела, горшки-то с цветами все перебил, до сих пор жуть берет. Ну, и собрала она, Алена-то Захаровна, чемоданишко, побросала в него платья наспех, заплакала да в дверь кинулась... уже дня четыре тому... А перед этим Коля в общежитие к това-

рищам перебрался. Совсем жить туда ушел. Сам-то, как уходил сегодня, по делу, говорит, надо куда-то, мне крепко-накрепко приказал ни под каким видом Алену Захаровну в дом не пускать... Как ты позвонил, так у меня сердце и зашлось. Открыть хочется, и открыть страшно... Господи, за что на краю-то жизни такое?

Пока Тимофеевна рассказывала, девочка у нее на руках, пригревшись, заснула, и Тимофеевна во время дальнейшего разговора тихонько покачивала ее, затем отнесла в другую комнату и положила в кроватку.

— Господи, ничего она еще не понимает,— сказала Тимофеевна, грузно усаживаясь у стола.— Ангел безгрешный...

— Ну, а что же случилось? — спросил неуверенно Захар.— Кто же он, другой-то?

— Кто ж его знает.— Тимофеевна махнула рукой.— Работают вместе, видать, прощелыга какой-то. Молодой... а баба и есть баба, хоть и ученая, помани ее послаще, так любая и споткнется... Наши-то, почитай, третий год поврозь да поврозь жили. Ординатуру, вишь, какую-то кончала. Да и его каторга московская без отдыха и выходных, где уж тут доглядывать за женой. Сколь раз говорила ему: гляди, Тихон Иванович, схватишься, поздно будет. Хватай ты ее силком, тащи в свою Москву, учение бабе только во вред. Хохочет. Ну, и дохохотался. И ее, Алену-то Захаровну, понять можно, дело живое, бабий век с воробьиный нос... Она, глядишь, весь его с книжками просидела...

Захар окончательно растерялся, приехал-то он, сам того не думая, совсем некстати и не знал, как ему теперь поступить. Уйти, не повидавшись с Брюхановым, не хотелось, что-то мешало этому, но и оставаться все более казалось неловко. Насупившись, Захар словно ушел в себя и враждебно уставился на неосознанно беспокоящую его картину на противоположной стене, ее освещение с приближением вечера неуловимо менялось: не то языки пламени ползли по земле, не то распускались кричащие, яркие, никогда не виданные цветы; Тимофеевна, поглядывая на него, горестно покачала головой.

— Сколько ни таись в потемках, а выглянуть когда-то все придется,— сказала она в той бабьей простоте, что иногда близка к ясновидению.— Вроде завернул себе голову под крыло и отсиживайся, да не выходит. А чем дальше таиться будешь, тем хуже, выглянешь —

и ослепнуть недолго... Свет по глазам ударит, криком закричишь... На правду да на солнце во весь-то глаз не глянешь... больно...

Захар долго слушал старуху и уже только потом понял, что она говорит и от собственного желания разобраться получше в том, что произошло у нее на глазах.

10

Захар, нахохлившись, сидел все в том же своем кресле в углу, когда Брюханов без звонка открыл дверь и вошел; Захар слышал, как он негромко говорил о чем-то с Тимофеевной в коридоре. Затем, неуверенно щурясь, Брюханов вырос на пороге комнаты. В его темных, слегка расширившихся глазах плеснулось отчуждение, даже неприязнь, но ее мгновенно затопил теплый, радостный поток, враз переменивший лицо, и какая-то счастливая тоска подняла Захара со своего места и толкнула навстречу; вдруг в огрузневшем обличии Тихона Брюханова проступил для Захара высокий, черноглазый, стремительный паренек; словно молнией высветило на мгновение прошлое, и была еще одна минута промедления, она все еще могла переменить, но их опять качнуло друг к другу, и в следующую минуту они обнялись. Замершая в дверях Тимофеевна всхлипнула и отвернулась, а Брюханов с Захаром все стояли обхватившись, пережидая, пока первое, самое острое, волнение пройдет. Через несколько минут после неоднократного размашистого, по-мужски увесистого похлопывания по спине они, слегка отстранившись, но все еще не выпуская один другого, могли оценить пропасть почти в два десятка лет, не ожидая, пока она сама собой заровняется, да и заровняется ли?

— Шатун ты, шатун старый.— Глаза Брюханова подозрительно блестели.— Это же невероятно, пришел и сидит себе... а? Пришел и ждет...

— Когда-то же надо было прийти... поздновато, правда, кажется? — спросил Захар со своей диковатой усмешкой, проступавшей у него на лице как раз в те моменты, когда ему было трудно и когда он хотел это скрыть, и тотчас увидел, как у Брюханова что-то дернулось под глазами (испуганно глянула в дверях Тимофеевна), но сам он знал, что поступил совершенно правильно, сказав это. Ему сразу стало свободнее, легче,

и недолгое смущение Брюханова лишь подчеркнуло непринужденность отношений между ними.

— Долго ты собирался, Захар,— тихо, словно вслух подумал Брюханов.— Что уже случилось, того не переделаешь. Слушай, давай сейчас не будем об этом. А? Хватит у нас другого, есть о чем потолковать.

— Ну что ж, Тихон, я не против,— согласился Захар и улыбнулся; Брюханов держал себя просто, видно было, что он обрадован своему старому другу, и можно не стесняясь, от души посидеть и поговорить.

Пока Тимофеевна собирала на стол, Брюханов умылся, заглянул к дочке, постоял у ее кровати, с нежностью вглядываясь в ее розовое, спокойное во сне личико. Девочка, стиснув кулачки у подбородка, ровно дышала, и Брюханов почувствовал, как притягательна сила жизни, заключенная даже в таком вот беспомощном, казалось бы, ребенке; Захар деловито помогал Тимофеевне у стола — резал хлеб, ветчину, а затем, вспомнив, хлопнул себя по лбу, с шумом притащил и раскрыл свой чемодан, выложил деревенские гостинцы, с великим старанием собранные Ефросиньей. Смеясь, Тимофеевна унесла на кухню яйца, сало, связку сушеных, один к одному, белых грибов и вареную курицу; вернувшись, она выложила в глубокую салатницу соленые грузди, моченую антоновку, почти силой усадила Брюханова с Захаром за стол и, закончив свои дела, присоединилась к ним. Вначале она испугалась предстоящей встречи Брюханова с его бывшим тестем, но теперь совершенно успокоилась, слушая, как мужчины наперебой вспоминают прошлое, старательно обходя все, что могло нарушить покой и радость этого вечера, с готовностью поддакивала. Захар рассказал о встрече с Макашиным два года назад, засомневался, правильно ли он тогда поступил, и Тимофеевна от волнения как-то сразу раскраснелась и разволновалась.

— Где уж так,— ожесточенно замахала она на Захара руками.— Где уж так! Такую зверюгу только и надо было в намордник, да на цепь, да покрепче к столбу прикрутить; пусть бы народ подивился. Эх ты, Тарасыч, голова сивая, а душа дитячья!

— Макашин не просто враг.— Брюханов дождался, пока выговорится Тимофеевна.— Что ж, отпустил ты его, никуда не сообщил, а ведь он твоего старшего... Ивана погубил. И разве одного Ивана? Много за ним крови невинной... Не знаю, не хочу тебя судить...

— Нет, ты тут выше забирай, Тихон,— сказал Захар тихо и сосредоточенно.— Я правильно сделал, один только я знаю, что правильно. Тут под обычное расписание не подведешь... Только так я и мог выше его остаться, вот в чем тут весь маринад с сахаром... Сдать властям — дело нехитрое, а потом бы он мертвый надо мной был, а? Даже и не в этом главное...

Говоря, Захар глядел куда-то перед собой, он сейчас как наяву видел бледное, злое, ждущее лицо Макашина и еще то, как холодной, поблескивающей детской игрушкой в белесом зимнем небе кружил самолет где-то над бесконечной, окутанной метелью тайгой...

Захар сжал губы, невольно подался назад; он (в который раз!) увидел рванувшееся к нему лицо Мани, уже без единой живой краски, и ее затухающий неразборчивый шепот, он почувствовал, что лоб у него покрылся холодным потом, и тут же перед ним мелькнули встревоженные глаза Брюханова.

— Ничего, Тихон, это со мной иногда бывает... пройдет... Ты сам как, Тихон? — спросил он.— Вот ты, считай, на самой горке, выше уж редко кто поднимается, скажи, как оно там?

— А никак, Захар. То же самое — работа. Работы невпроворот, только успевай разгребать...

— Что ж это, Тихон, ты работаешь, я работаю, из нашей работы второй Урал сложить можно... Куда же это работа наша идет? Плохо живем, Тихон,— Захар глубоко затянулся папиросой.— Приехал, увидел, диву дался. Второго дня у двоих вдов-солдаток коз за налог свели... а? Тихон, я не в упрек тебе, я сам с собой удивляюсь: отчего так? Гляжу со стороны, дивлюсь. Неужто, думаю, нельзя несколько тысяч этих животин, если они позарез нужны, как-нибудь по-другому вырастить? Чудно, думаю, на свете, земли немереный край, а... Эх, что говорить! Дали бы мне верст двадцать степи за Соловьиным логом да не мешали, я бы показал, какой колхоз отгрохать можно. Я бы этими козлами за три года весь Холмск забил, да еще и в Москву бы половину отправлял... Так ведь не дадут, так, Тихон? Чтобы на полном ко мне доверии... а?

— Очевидно, время для этого не приспело,— хмуро сказал Брюханов.

— Не приспело! А когда же оно приспеет-то? — сдвинул брови Захар.

— Хватит тебе, Захар,— остановил его Брюханов.—

Сам ведь знаешь, не то говоришь. Откуда может быть иначе? — в свою очередь спросил он.— Все основы перевернуты, не успело еще ничего затвердеть — война грохнула, да какая! Над многим, конечно, приходится думать... Жизнь есть жизнь, на месте не стоит. Разве легче было, когда начинали? Сейчас все горазды критиковать... Вот за колхоз и берись опять, ответишь на все свои вопросы.

— Фининспекторов кормить? Как же! Я за колхоз, а другие руки в боки.— Захар помял хлебную крошку, отложил.— Вон Митька Волков вполовину меня моложе был, и тот не выдержал, насилу ноги унес. А был с башкой... Нет уж, Тихон, ты свою дорогу прошел, я свою... ох, и дорожка, никому не пожелаю. Ты не подумай, что жалуюсь, камень за пазухой затаил... Я на жизнь не жалуюсь, как-никак прожил и человеком остался... Я уж без того, как тот Иван-дурак, всю жизнь тяжести поднимаю,— закончил он с усмешкой.— Как меня кто чуть подхвалит, я — хоп! — и готово! Больше всех, выше всех! Надо тебе, жар-птицу достану, надо, клад найду, а пользуются им... Нет, раз не даете козлов, как хочу, разводить, совсем ничего не надо... точка. Не интересно мне.

— Какую-то несуразицу ты мелешь,— на Брюханова дохнуло горькой пронзительностью от слов Захара, и ему стало не по себе; он ожидал чего угодно, но такого беспощадного и, по всему видно, давно выношенного приговора и себе, и ему, Брюханову, и всей их жизни не ожидал; с каким-то сосущим, безнадежным чувством полнейшей растерянности он долго молчал.— Ты сейчас, Захар, прежде всего себя, свое прошлое оскорбляешь,— сказал он.— Это на тебя не похоже. Я этого, прости, не пойму, пусть у тебя хоть какая тяжелая жизнь получилась.

— Я не спорю, Тихон, может, оно все так, как надо, идет, только я из игры начисто вышел...

— Какой еще игры, черт тебя возьми? — уже совсем вскинулся Брюханов.— На кого ты обиделся? Ты один, что ли, в такую круговерть попал? Здоров, силен, найди себе стóящее дело, по твоему размаху, работай, ты ведь прирожденный руководитель...

— Ну, это ты, Тихон, не туда заворачиваешь, я и раньше-то рукояткой нагана плохо умел агитацию разводить, а теперь и подавно. Больно уж много самого колошматили,— засмеялся Захар.— Нет уж, куда, теперь, как все, так и я, мне, Тихон, особая бумага дадена...

— Какая бумага?

— С печатью, про то, что я свое с лихвой отработал.— Захар сделал резкое движение рукой, словно что притискивал к столу.— Понятно? Хватит, доктора говорят, тяжести подымать, надорвался. Теперь мне, Тихон, как и другим, подавай что полегче. Ну, чего ты на меня глядишь? Перевернулось все мое понятие вверх дном, душа надтреснула... Ну да ладно, в уголочке где отсижусь, мне не много надо. Вот Ефросинья приняла покалеченного, спасибо ей. Не бойся, воровать не пойду, убивать тоже, буду себе топать к последней черте,— он долго поглядел на Брюханова и усмехнулся.— Вижу, не нравятся тебе мои слова. А ты брось, Тихон, читать мне молитву по старой привычке. Привык учить!

Брюханов не ответил; на какой-то миг ему стало зябко и неуютно, показалось, что в чем-то самом главном Захар обманул его.

— Не пойму я тебя, Захар. Пестрый ты какой-то стал, не пойму...

— В одно перо, Тихон, и птица не рядится.— Захар ахнул кулаком по столу.— Кончай свою молитву, не береди... Что ты с Ивана-дурака возьмешь? Не обращай ты на меня внимания. Да, кроме того, я сынами расплатился, свой след на земле оставил, ничем не сотрешь. Аленка — доктор, Николай тоже в ученые люди выходит. Ну, правда, тут ты помог... Егор — тот на земле, ясное дело, осядет, Илюшка механиком будет, на Севере решил остаться, от комбината в училище поехал. Они на своих дорогах... А у меня теперь на руках младший... Манин... тоже до дела надо доводить, фамилия у него дерюгинская. На ноги поставлю последнего, сделаю из него человека, вот мой и народ! А ты поезжай, поезжай себе в Москву, там ты к народу, ясно, ближе будешь! И, знаешь, хватит! Давай лучше нашу, ту, конармейскую... помнишь? Давай тихонечко... ну, начинай, Тихон...

Не дожидаясь, Захар завел не очень уверенно, негромко, но Брюханов, обрывая, со всего маху саданул по столу так, что и тарелки и хлебница подскочили, задребезжав ложками; Захар успел лишь прихватить опрокидывающийся графин.

— Дочку никому не отдам! — свел в одну точку глаза Брюханов.— Никому! Тебе — душа, мне — дочка! Со мной поедет, в Москву...

— Правильно,— подтвердил Захар.— Не отдавай. Я бы ни в жизнь не отдал. Дуре-бабе? Не отдавай!

Разбуженная шумом, прибежала Тимофеевна, пустилась мельтешить кругом, не добившись толку, горестно примолкла, прикорнула в углу, в кресле, ей хотелось спать, но она, поглядывая на опустевшую посуду, боялась их оставить одних, без присмотра.

— Не такой ты человек, Тихон, чтобы из-за бабы, будь она хоть трижды золотая, тыл свой показывать,— неожиданно усомнился Захар, высказывая то, о чем давно думал.— Раньше у тебя проскакивало в натуре: как увидишь, что навстречу непонятное катится... ну, к стеночке и прижмешься... пусть стороной проносит... Так ведь с тех пор сколь воды утекло, заматереть давно пора,— сбавил тон Захар, уловив, как напряглось, затвердело лицо Брюханова; задремавшая в кресле Тимофеевна продолжала тихонько посапывать, и Захар покосился на нее.

— Погоди,— решительно раздвинул посуду Брюханов.— На мой счет ты как раз и ошибся, Захар, зря ты по моей натуре проехался. Как раз наоборот, мне, может быть, всего себя собрать пришлось... в кулак... Спешишь с выводами. И в большом тоже смотри не промахнись... Гляди не пробросайся... Да, под самое горло подступило, дышать трудно, а с другой стороны, когда такое в России было, чтобы крестьянские дети валом в институты да в академии шли? У тебя у самого дочь институт окончила, сын в институте, да еще в каком! На это ты что скажешь, а? Молчишь?

— Молодые, придет срок, сами за себя скажут. Не об них речь. Тут другое, Тихон, я под своей жизнью черту подвожу... Разве просто жить по совести, честно — мало? — с досадой оборвал Захар и отвернулся.

— Мало, черт тебя побери, мало! Еще надо бороться, драться! Ну, устал ты, устал я — что же, из-за нашей усталости предавать самих себя? А может быть, это и есть самое естественное состояние жизни — быть недовольными? В противном случае как двигаться дальше? Для меня по-другому нельзя, Захар. Для меня по-другому значило бы назад,— сказал Брюханов, думая о том, что очень плохо, когда складывается вот такое невыносимое положение и приходится даже вот ему, Захару Дерюгину, все объяснять. А впрочем, и это — жизнь, никуда ты от этого не денешься.

— Оно, может быть, и так. А вот, поставь тебя на

мое место, доведись тебе пройти, что я прошел, ты небось по-другому бы заговорил... Да и что мы с тобой сцепились? Зубы обкрошишь, а толку? Жизнь — она всегда так, к кому задом, а к кому всегда передом. Вон Анисимов Родион, Ефросинья мне говорила, тоже в начальство вылез... в областное. До депутатов в прошлом году дошел...

— Анисимов работать умеет и любит,— сказал Брюханов.— В войну он меня от верной гибели спас... Нет, Захар, это человек проверенный, тут после оккупации комиссия работала... Так все просеяли, что...— Брюханов махнул рукой; его не интересовал и не мог интересовать Анисимов.

— Хотел бы я в глаза ему глянуть,— вслух подумал Захар.

— Кто тебе мешает? Иди завтра в облисполком. Он тебя с удовольствием примет, если не в командировке. Мы как-то, помнится, говорили с ним о тебе.

Захар промолчал; склонив голову, он старался вспомнить что-то связанное с Анисимовым, какую-то мелочь, но важную мелочь, она же все время ускользала, и тогда он опять повернулся к Брюханову.

— А хочешь, Тихон, правду? — спросил он.— Самую последнюю, чтоб дальше шагнуть некуда?

Разгораясь, Захар словно бы тяжелел; Брюханов хотел было остановить его, не успел, и все-таки, угадывая, что услышит сейчас то, чего нельзя слышать, тихо попросил:

— Не надо, Захар...

— Надо, Тихон, не пугайся, твое мягкое сиденье от этого не закачается,— Захар упрямо мотнул головой.—Продирался-продирался через чащобу, все в синяках да ссадинах, а больше всего тут! — Захар гулко шлепнул себя по груди ладонью.— Ты скажешь, у каждого так... Согласен... Не в том смак. Из бурелома выдрался, гляжу, а передо мной другой, да какой! Не обойти, не перелезть. Задрал башку, поглядел, не видно верху... Вот тут-то и екнула у меня селезенка, может бы, и стал бы карабкаться, а то и сквозь биться... Боюсь, Тихон, вот тебе моя правда. Как хочешь, так ее и понимай. Что, как не подохну, думаю, пробьюсь, а? А что же я там увижу? Боюсь, коли что не так увижу, помереть не смогу. Пусть уж там, за этой чертовой стенкой, сынам простор останется. Пусть они там и резвятся, разгон у них

есть, а мне хватит. Что, Тихон? Ты хоть меня понимаешь?

— Понимать понимаю, а согласиться по-прежнему не могу,— сказал Брюханов.— Ни у кого нет такого права — весь мусор после себя другим, хотя бы и сыновьям... и у тебя его нет, Захар. Что бы ты мне ни говорил и как бы нам тяжко ни было, а страна-то все равно вперед идет. Великая держава! За ней историческая справедливость, и перед миром нам краснеть не за что. Все, о чем ты говорил,— это временное, наши с тобой катаклизмы отойдут, а то вечное, та главная правда, из-за которой сейчас так тяжко, самым отдаленным нашим потомкам будет светить.

Захар долго смотрел Брюханову в глаза, чувствуя, что сердце отпускает какая-то холодная, ожесточенная судорога.

11

Николай с тяжелым сердцем пошел на разговор с Брюхановым, ему было стыдно за сестру; понимая, что он здесь ни при чем и вины его в случившемся нет, он встретил Брюханова, пришедшего в общежитие, натянуто. Соседи Николая по комнате под разными предлогами сразу же разошлись; сам Николай почувствовал, что Брюханов не только не сердится на него, но как-то даже ищет сближения, готов был провалиться на месте и, чтобы как-то войти в нормальную колею, достал папиросы, попросил разрешения закурить.

— Это что, следующая ступень самоусовершенствования? — поинтересовался Брюханов.— Кури, кури, разумеется,— добавил он, заметив, что Николай сунул было папиросы в карман. Щелкнув зажигалкой, Брюханов прикурил сам, дал прикурить Николаю.— Выслушай внимательно, Коля, и, пожалуйста, не торопись,— сказал он, опускаясь рядом с ним на стул.— Не торопись, совсем ничего не говори сейчас, пока подумай. Успеешь ответить завтра... через три-четыре дня, через месяц.

Морща лоб, Николай выжидающе смотрел на него, забыв о дымящейся папиросе; раньше он не задумывался над своими отношениями с Брюхановым, но теперь почувствовал, как сильно привязан к этому человеку, хотя раньше всегда считал себя трезвым прагматиком. Да и Брюханов волновался, ему было тоже трудно

начинать разговор; мелькнула мысль об Аленке, о том, как быстро могут меняться даже устоявшиеся, казалось, незыблемые ценности и привязанности.

— Здесь сейчас твой отец, Коля...

— Да,— сказал Николай почти равнодушно,— я с ним виделся...

Брюханов ничем не выдал, что его неприятно поразил этот отчужденный тон; он почувствовал пропасть, пролегшую между этим юношей и его отцом. «Что ни говори,— подумал он,— а возрастной барьер берет свое, все идет так, как и должно. В данном случае после долгой, вынужденной разлуки встретились не просто два человека, отец и сын, встретились две эпохи, и ничего тут не подтасуешь, не изменишь... нельзя же всю жизнь привести к одному знаменателю».

— Так вот, Коля,— продолжал он.— Я забираю Ксеню и Тимофеевну с собой, девочку я не отдам. Вопрос решенный, мне здесь советов не надо,— он поймал внимательный взгляд Николая.— Да, да, не надо. Я о другом хотел поговорить с тобой. Я уверен, Коля, что у тебя впереди большая жизнь, ты многое можешь сделать. Если захочешь, разумеется... Ты взрослый человек и сам вправе решать... По-моему, талант — это прежде всего ответственность. У тебя хорошая голова, и будет жаль, если ты растратишь самые ценные, самые продуктивные годы на ненужные зигзаги, на подходы к главному...

— Что вы хотите этим сказать, Тихон Иванович? — спросил Николай с прямотой молодости.

— Я предлагаю тебе, Коля, поехать со мной в Москву.

Изумленно взглянув на Брюханова, Николай в первый момент не нашелся, что ответить, и, сбивая пепел в жестяную пепельницу, перенес все внимание на папиросу.

— Ты ведь знаешь, я работаю начальником главка, он направляет и координирует работу ряда институтов и заводов в совершенно новой области знания. Большего я тебе сейчас не могу сказать, Коля, но я верю в тебя и хочу, чтобы ты серьезно отнесся к моим словам. Мои интересы и привязанности здесь ни при чем.

— Тихон Иванович!

— Подожди, Коля.— Брюханов с улыбкой положил ему руку на плечо и насильно заставил сесть.— Твоя сестра и наши с ней отношения здесь не имеют никако-

го значения, ты это сразу отбрось. Ну, что, что? — Брюханов недовольно и жестко сдвинул брови.— Да, я люблю ее по-прежнему, очень люблю, ты это хотел знать? — Брюханов видел, какого напряжения стоили Николаю его усилия казаться спокойным и бесстрастным, он подумал, что перед ним уже совершенно взрослый мужчина и надо говорить до конца откровенно.— Это не имеет и не должно иметь никакого значения в данном вопросе. Знай, для меня будет большой потерей, Коля, если ты откажешься... Если твоя сестра поступила так, значит, она не могла поступить иначе.

— Но почему, Тихон Иванович, почему? К чему это толстовство? — обнаженная откровенность Брюханова в отношении себя еще больше смутила Николая.

— Очевидно, я не мог дать ей того, что ей было необходимо и что ей дал тот, другой... Очень просто...

— Просто баба, распущенность, стерва,— грубо оборвал его Николай.

— Николай! — В лицо Брюханову густо ударила кровь.— Она твоя сестра...

— Принципы совести основываются не на родственных отношениях, Тихон Иванович,— не согласился Николай, упрямо сжимая губы, и Брюханов безнадежно махнул рукой.

— Ладно... у всех у вас, у Дерюгиных, одна кровь, черт возьми...

— Я отказываюсь, Тихон Иванович,— твердо сказал Николай и достал новую папиросу, как бы подчеркивая этим, что разговор закончен; он даже встал.

— А я расцениваю твой отказ как детский,— сказал Брюханов, настойчиво и близко глядя Николаю в глаза.— Это бессмысленно, а значит, глупо.

— Пусть, но это моя жизнь...

— Твоя, чья же еще? Это просто максимализм молодости, больше ничего. Никто не собирается вмешиваться в твою жизнь... Но ты не будешь спорить, что в главном твоя жизнь уже определена.— Брюханов помолчал и продолжал: — В науке главное сразу же найти свой стержень. Предлагаю тебе, Коля, перевестись в институт Лапина в Москве.

— Академика Лапина? Ростислава Сергеевича Лапина? — Николай от растерянности сломал папиросу и тут же, взглянув на нее, сунул в пепельницу.

— Да, Лапина, Лапина! — подтвердил Брюханов.

— Вы шутите, Тихон Иванович,— сказал Николай.

— Почему же? Это как раз господин случай, и мимо него тебе пройти нельзя. Ты понял меня? Господин случай!

— Я должен подумать, Тихон Иванович,— опустил глаза Николай.

— Приходи вечером домой,— попросил Брюханов.— Хоть с отцом посидишь по-человечески, поговорим, он завтра уезжать собирается. Тимофеевна обрадуется... Ты уж не обижай старуху, любит она тебя. Так что приходи.

Николай ничего не ответил, молча пожал протянутую Брюхановым руку, проводил его до двери, затем оделся и вышел сам. Город встретил его шуршанием опавших листьев под ногами, потоками озабоченных, спешивших куда-то людей. На деревьях еще плескались под ветром последние остатки листвы, он шел, не помня дороги, с разгоряченной головой, на чем свет стоит ругая Аленку, Хатунцева и особенно Брюханова, внесшего в душу подлинный хаос. «Известный теоретик, возглавляющий целое направление в радиофизике, Лапин... Как же! Кто не хотел бы попасть к нему... Знал, чем зацепить»,— волновался Николай, соблазн велик, но к Брюханову домой он все равно не пойдет, с какой стати? Он и без костылей пробьет себе дорогу, хоть к тому же Лапину тоже. «Нет, не пойду,— окончательно решил Николай,— никуда не пойду», но вечером, уже часов в девять, уставший и голодный, так и не выносивший какого-нибудь определенного решения, все-таки явился к Брюханову. Первым делом, как и следовало ожидать, он попал в руки Тимофеевны, и она, нисколько не стесняясь Брюханова и Захара, высказала Николаю все, что думала, и тот покорно выслушал; он даже почувствовал себя от ругани лучше. Тимофеевна заставила его вымыть руки, затем, словно опасаясь, что он может улизнуть, провела в гостиную, и едва он увидал накрытый стол, как сразу же понял, что его ждали, и давно. Он смутился, покраснел, сел на свое старое место и оказался напротив отца; он с первого мгновения понял, что отцу неловко, и зажался еще больше, потому что ни при первой встрече, ни сейчас не знал, что сказать отцу и как держаться. Разительное сходство с этим большим, молчаливым и в общем-то малоприветливым человеком еще более усиливало его скованность, но Тимофеевна уже торжествующе подала на стол пирожки с грибами, свежих карасей с поджа-

ренными, золотистыми боками, тесно уложенных друг к другу на продолговатом фаянсовом блюде с ручками. Николай взглянул на нее и засмеялся, и лицо его словно осветилось, стало совсем мальчишеским.

Почувствовав пристальный, спокойный взгляд сидевшего напротив отца, Николай слегка отодвинулся от стола. «Странно,— подумал он,— чего это я? Ничем перед ним не виноват, а он точно все время ищет во мне что-то, не находит и осуждает, а при чем же здесь я? Я даже не помню его, больше помню Илюшку, при встречах с ним приходилось почему-то стыдиться... да, да, это я хорошо помню. Все это странно и малоинтересно. Все, очевидно, ждут сейчас, что я должен хоть почувствовать его своим отцом, а себя сыном. Должен или не должен? Или все это никому не нужные условности? Да, но почему мне тогда неловко, почему я все время его чувствую словно какую-то тяжесть и даже не знаю, как от нее избавиться? Интересно, что сам он думает и чувствует, и думает ли он вообще обо мне? Зачем он сюда приехал? Говорили, что они с Тихоном Иванычем очень дружили в молодости, вместе воевали у Котовского! Невозможно представить — у Котовского! Прямо ископаемая давность какая-то... И что их связывает друг с другом сейчас? Ведь так далеко стоят один от другого... словно представители разных цивилизаций...»

Николай вяло поковырял вилкой, разворотив толстого, икряного карася на две половины, стараясь ни на кого не глядеть и в то же время болезненно воспринимая любой знак внимания к себе, сердясь на Тимофеевну, то и дело подкладывающую ему в тарелку и назойливо напоминавшую, чтобы он ел.

— Ну, Никола,— услышал он внезапно голос отца,— чего матери-то передать? Что ты все молчишь?

Николай вздрогнул, поднял глаза; и, как это часто бывает, он мгновенно, без всякого перехода, понял, что этот хмурый, немногословный человек связан с ним какими-то особыми узами и что отец все это время, словно в открытой книге, читал все происходящее в его душе и все понимал и прощал. Николай почувствовал, как отчаянно горит лицо; все, что он знал, все его книжные мудрости (до этого момента он мог всегда спрятаться за ними) растаяли, и он остался наедине с тем непонятным, чего он и обозначить словом не мог; он только знал, что соприкоснулся с неизвестной до сих пор

силой, и она принесла неведомое ему раньше, острое, почти физическое облегчение. Ему захотелось признаться в этом отцу, но он побоялся расплакаться и, подняв потемневшие глаза, сказал неуверенно:

— Что передать? Здоров, учусь... Ну, и все остальное. Все хорошо. Как достану гильзы, сразу пришлю или с кем-нибудь передам...

— Какие гильзы? — заинтересовался Брюханов.

— Егор у нас охотой баловался,— пояснил Захар.— Ружье у него, тулка... Ну, и я иногда поброжу...

— А помнишь, Захар, лесника Власа с Демьяновского кордона? Зайцев было...

Николай впервые увидел на лице отца широкую, свободную улыбку, отец словно бы помолодел, и Николай увидел, что он далеко не стар еще и красив какой-то особой, наполненной, спокойной, все понимающей красотой.

— Было, да сплыло. Кругом да около чего ходить,— сказал Захар, все так же открыто, дружелюбно глядя на сына.— Тут вот мы о тебе говорили, Никола, Тихон Иванович, значит, все нам обрисовал... Что ты сам-то решил?

— Что бы ты, отец, на моем месте решил? — спросил Николай, с облегчением произнося впервые в общении с Захаром это трудное для него слово «отец» и как бы окончательно разрушая прежнюю преграду между ними. И Захар с благодарностью, ни от кого не скрываясь, посмотрел на сына, и в этом взгляде было столько неожиданной горячей радости, что Николай, может быть, впервые в жизни ощутил удивительное чувство открытия добра, которому он сам был причиной; но тут же весь внутренне сжался, настолько сидевший напротив него человек был богаче, щедрее его самого душой, и было с ним рядом и хорошо, и трудно; он понял, что его всегда теперь будет тянуть к этой неосознанной глубине, в которую он неожиданно, слегка только заглянул, и всегда теперь будет не хватать ее. Ничуть не смущаясь присутствия Брюханова и Тимофеевны, Захар тяжело шлепнул ладонью по столу.

— Эх, все-таки хорошо жить, мужики! Эх, оскомина! В этом деле какой я тебе советчик, Коля. На твоем месте мне уже не быть, у меня за плечами своя грамота... Два класса, Тихон вон знает...

— Ну, при чем здесь это! — горячо возмутился Николай.

— А для тебя-то самого будет от Москвы польза?

— Еще бы! — Николай удивленно взглянул на отца.— Наука так стремительно развивается, быть в центре новейших идей, теорий, споров... Лапин — это самый передовой рубеж.

— Тогда думать нечего, езжай! — решительно сказал Захар.— Не я виноват, что ничего не могу тебе присоветовать, на общую храмину всю жизнь горбил... Вот и сейчас, что я могу? Знаешь, Никола, я сюда как на казнь ехал... Вот он, Тихон, сидит, мне до него как до горы недоступной... Ну, и все прочее у нас перемешалось... Боялся с ним сойтись глаза в глаза... а сошелся, ничего. Глянули друг на друга, все на места стало. Жизнь в чем-то, может, и короткая, а в другом,— длинная, конца ее не увидишь. Не бойся в самую глубь заглянуть...

Захар замялся, всеобщее молчание смутило его, но по молодым, блестящим, внимательным глазам Николая он понял, что именно этот его разговор самый нужный сейчас и что все, даже Тихон, ждут, что он скажет дальше.

— Да и сейчас было трудно,— продолжал он,—а вот не поддался, не шарахнул в кусты, наступил себе на горло, вроде легче стало, точно чиряк в душе прорвался. Сказать не могу, что я понял, но знаю — понял, и баста Ведь мы с ним в молодости-то чего не делали, а теперь у него от моей Аленки — дочка. Как же это так, думаю, никак этого в толк не возьму... И прибить его нельзя — больно начальник большой, в Сибирь куда-нибудь загремишь. А как сошлись глаза в глаза, понял я, нет в этом деле одинаковой мерки для всех и никогда не будет. Не надо ее, одинаковой для всех, преснятина тогда получится, не жизнь. Вроде стало мне ясно, почему Аленка к нему потянулась...

Брюханов сидел, все так же нагнув голову и сцепив пальцы, молча, не шевелясь слушал.

— Уж не мне судить,— сказал Захар.— Может, поймешь, Николай, может, не поймешь пока, только в главном не промахнись, ближе к самой середке решай... Жизнь свою решай... А то так и уйдет все мимо, сквозь пальцы, из-за какого-то дурацкого гонору. Человек, он такой, ты его царапни чуть-чуть по коже, век будет помнить свою царапину... Сам голову другому завернет под мышку и поздравствуется еще на полном серьезе. Поезжай, сынок, ты этому человеку поверь. Ты

свой путь случаем стороной-то не обколеси, вот что тяжко потом... горше ничего нет — жизнь проморгать... А мне тебе, сын, надо еще только одно сказать... вон при нем сказать, чтобы он, мой старый дружок, слыхал. Можно?

— Давай, отец...

— Шибко высоко залетишь, гляди, сын, чтобы люди на земле не показались тебе козявками, как оно часто бывает. По-всякому бывает, и так... Занесет кого буря из куриного выводка в поднебесье, а он и в самом деле думает, что орел... эх, как заклекочет! — Захар несколько раз ткнул указательным пальцем в пространство над собой.— Смех и грех! Думает, что вся жизнь от него, что он над нею главный распорядитель. А жизнь-то вся тут, тут идет,— палец Захара, резко переместившись, указывал теперь себе под ноги, словно не в паркетный, вылощенный усилиями Тимофеевны пол, а в дремучую глубь земли, и Николай даже ощутил сейчас ее ни с чем не сравнимый, душный и тяжкий зов, какой-то таинственной дрожью отдавшийся во всем его существе.— Земля, она сама себе закон творит, а поверху всего лишь отголосок разносится, вот что ты, сын, помни, на какую бы высоту тебя ни занесло...

«Это он все для меня, для меня старается,— подумал Брюханов.— Пусть его, это хорошо, что он так разговорился, значит, душу окончательно отпустило. А я помолчу...»

Николай поднял голову, глаза его были влажны, он с усмешкой и грубоватой нежностью смотрел то на отца, то на Брюханова. Слова не шли, да и не нужно было слов; необходимая сейчас горечь легла на сердце трепетным, горячим покровом; Николай любил этих людей, именно любил, раньше такого с ним не было. Он хотел сказать об этом так же свободно и смело, раскрыть себя перед ними без утайки, как сделали это они раньше, и не смог, все-таки не смог, и от этого почувствовал себя по-детски беспомощно, неуютно и неловко отвернулся. Затем сам себе налил водки и, пожелав всем здоровья, выпил.

— Ахти мне! — испугалась Тимофеевна.— Заболеет малый... Да ты, видать, не в те двери сегодня прошел, а? Господи помилуй...

Захар с Брюхановым переглянулись и дружно расхохотались.

12

Захар отыскал Аленку на работе, она заканчивала прием, и он, услышав из-за неплотно притворенной двери приглашение: «Следующий!», одернул новый шевиотовый пиджак и вошел.

— Садитесь, пожалуйста,— сказала Аленка, не оборачиваясь к нему и продолжая быстро писать.

Захар негромко кашлянул и тихонько опустился на стул рядом со столом, чуть сбоку; встреть он Аленку где-нибудь на улице, он бы ее ни за что не узнал, такой она стала по-взрослому чужой и красивой; в первые несколько минут, пока она, не поднимая глаз, писала что-то в карточке, у него даже было желание тихонько подняться и уйти, но тут же он сам на себя рассердился за это. Он ждал, пока Аленка оглянется, и она, словно почувствовав его нетерпение, повернула голову, и глаза ее вопрошающе-внимательно остановились на нем.

— Ну, здравствуй, дочка,— сказал он просто в ответ на ее взгляд.

Аленка еще поглядела, затем неуверенно встала; теперь она узнала отца, узнала по каким-то непонятным законам памяти, которая словно резким лучом высветила перед нею старую избу, рассыпчатую, белую, дымящуюся картошку в глиняной миске на столе и отца; она забралась ему на колени и, как котенок, терлась головой о его колючий подбородок. Когда же это было и сколько с тех пор прошло? Жизнь, или две, или десять жизней? Она бросилась к отцу, который торопливо встал ей навстречу, и, уткнувшись лицом в грудь ему, расплакалась; Захар сначала неуверенно, затем смелее погладил ее жесткой ладонью по голове.

— Ну, чего, чего ты? — спросил он, сразу чувствуя жалость к ней за ее неустроенность и беззащитность.

— Отец,— сказала она с тихой благодарностью и опять всхлипнула. Сейчас эти ее слезы уже связывали их, и Захар обрадовался, что пересилил себя и пришел; дети, что ж дети, как бы они ни выросли и какими бы учеными ни стали, все равно будут нуждаться в нем, на то он и отец.

— Ты посиди, посиди немного, отец,— сказала Аленка, торопливо отворачиваясь и доставая платок.— Приехал, значит... а я все собиралась, собиралась домой, так и не вырвалась... все какие-то дела, дела... все вертится колесом... А ты ничуть не постарел,— опять

удивилась она, оглядывая его.— Ты знаешь, я о тебе часто думала... очень боялась... ничего, ничего... Сейчас пойдем, я сейчас, я вот немного к тебе привыкну, и пойдем...

— Куда? — спросил он.

Она быстро глянула на него, отвернулась, делая вид, что приводит в порядок бумаги у себя на столе.

— Ты Колю видел? — спросила она.

— Всех видел.— Захар отвел глаза, но тут же, движимый каким-то безошибочным чувством равновесия, махнул рукой.— Как же так, дочка, у вас получилось?

Она враждебно перебирала бумаги на столе и ничего не говорила, и он почувствовал эту ее враждебность.

— Зря ты это,— сказал он.— Что же ты со мной так? Я тебе не судья, повидать тебя хотел, вот и все, Аленка...

— Господи, отец, если бы я знала, как,— сказала Аленка, проникаясь жгучим чувством благодарности к нему за то, что он пришел и не поспешил ее сразу осудить, как другие, и пожалел, пожалел как-то по-своему, необидно, как только может пожалеть отец; она сразу почувствовала, что он сильнее ее, что к нему можно прислониться душой и переждать любую непогоду; этот высокий мужественный человек, ее отец, всегда был сильным и защищал ее всегда, и сейчас, стоит только пожаловаться ему, и все устроится, все будет хорошо, он все поймет и защитит ее. Раньше она боялась встречи с ним, а теперь... а теперь...

— Я тебе не судья, дочка,— повторил Захар, он никак не предполагал, что вот так сразу возьмет ее сторону и даже не станет ни о чем допытываться. Она выросла, и выросла без него, она взрослый человек и вправе распорядиться своей жизнью так, как считает нужным, он ей не судья, какой он судья, жизнь по плану не распишешь, на то она и жизнь, а вот постараться додуматься до корня, до самого зернышка, это мало кто любит.

— Ты как думаешь, отец,— внезапно спросила Аленка, и на ее лице отразилась трудная борьба, непрерывно идущая в ней,— как думаешь, отдаст мне Брюханов Ксению или нет? Ты с ним об этом не разговаривал?

— Не отдаст, ты это и в голову себе не бери,— сказал Захар, отводя глаза; он не смог выдержать ее вспыхнувший, ненавидяще-искательный взгляд.— Нет,

не отдаст,— повторил он,— и я бы не отдал, будь я на его месте...

— Это почему же? По какому праву, отец, почему?

— А по такому, у него больше ничего не останется, видишь, как получается,— сказал Захар.— Обеднеет он до последней кости, а кому хочется, чтобы жизнь бесследно утекла? Сама размысли...

— Значит, по-твоему, отец, я богачка? — с горечью сказала Аленка.— Значит, у меня можно самое дорогое отнять, так по-твоему?

— Я вам не судья, ни тебе, ни Тихону,— сказал Захар, потихоньку присматриваясь к дочери и отмечая про себя, что она хоть и горячо говорит, но скованно и все словно чего-то ожидает, словно к чему-то прислушивается; он подумал с неожиданной горечью, что она сейчас говорит неправду, что если бы она и в самом деле была настоящей матерью, то не ушла бы к чужому человеку, но сказать ей этого нельзя.— Тихон-то прав, и я тебе тоже посоветую. Не настаивай, ни к чему это, себя попусту не береди и его пожалей. Я его знаю, такой один раз любит... Отруби уж до конца, напрочь, раз решила.

— Он тебя просил об этом? — Аленка не удержалась, часто и беспомощно заморгала.— Просил, да? Просил?

— Нет, не просил,— Захару стало жалко ее, и он невольно умерил голос: — Я говорю тебе, как будет. Ничего ты с этим, дочка, не сделаешь. У тебя любовь, ты ведь сама ушла... будут и дети...

— Ах, вот, значит, в чем дело! — Аленка сцепила руки и заходила по кабинету; ей было мучительно стыдно перед отцом; но она сейчас ни о чем другом не могла думать, ей была нестерпима мысль, что она бессильна что-либо предпринять. Она знала, что Брюханов с дочерью и Тимофеевной уезжает в Москву, и это обстоятельство вносило в ее душу еще бо́льшую растерянность; она то решалась еще раз добиваться встречи с Брюхановым (дважды он уже твердо отказал ей в этом), то сама мысль о разговоре с ним, о том, что они окажутся наедине, с глазу на глаз, пугала ее, и она уже почти свыклась с необходимостью устраниться и пустить все на самотек; и вот теперь разговор с отцом опять все смешал и спутал. Она не то чтобы боялась встречи с Брюхановым, она просто ловила себя на том, что ей будет с ним страшно неловко, стыдно. «Значит, я непра-

ва, я поступила неверно,— думала она в смятении и тут же оправдывала себя.— Я же не могла иначе, так уж случилось, что я полюбила другого и не могу без него, я нужна ему, а он мне, и он любит меня, и он талантлив, и я должна, должна помочь ему сделать все то, к чему он призван и к чему стремится, и самое главное, что только я могу и должна ему помочь...» И этих «что» было много, она запуталась в них окончательно; она жила только остротой данного момента и тревожно, с просящей беззащитностью, посмотрела на отца. У Захара лицо было резким и уставшим, глаза по-вечернему потемнели, и Аленка не могла разобрать их выражения.

— Конечно, я понимаю, он никогда не отдаст Ксеню,— снова, в который раз, заговорила она все о том же.— Я его знаю, жестокий, железный характер. Он всегда прав, но разве в жизни легче от его правоты? — Аленка внезапно остановилась перед Захаром.—Я знаю, он твой друг... попроси его, пусть он отдаст Ксеню... Зачем она ему нужна? Ну, отец, ну, пожалуйста... Я тебя прошу...

— Не буду я этого делать, дочка,— сказал Захар с грубоватой простотой, и это сразу же отрезвило и остановило Аленку.— Не лежит у меня к этому сердце...

Аленка задохнулась, обожгла его взглядом и, удержав несправедливые, злые слова, готовые сорваться с языка, отошла, встала спиной к нему.

— Зачем ты пришел? — после недолгого молчания спросила она глухо в стену перед собой, покрытую зеленовато-грязной масляной краской.

Захар не понял вопроса и не нашелся, что ей ответить; в лучах заходящего солнца словно дымился тяжелый узел золотисто-русых волос над высокой, по-детски оголенной шеей.

— Ухожу, дочка,— сказал он.— Ты уж, коли что не так, прости, мы люди простые, можем и не так сказать... Приезжай домой, дочка, как все оботрется,— сказал Захар.— Мать скучает. Приезжай хоть одна, хоть еще с кем... Будь здорова...

Аленка стремительно повернулась, глаза ее ищуще скользнули по лицу отца; он понимал все, что происходило в ней, и понимал больше и вернее, чем сама она. Она хотела что-то сказать, но в дверь негромко постучали, и точно откуда-то изнутри наружу пробился слабый луч света, и лицо Аленки неуловимо и прекрасно переменилось. Захар оглянулся и увидел перед собою

молодого высокого мужчину в ослепительно белом, хрустящей белизны и свежести халате, который был ему короток; этот высокий человек с пышной копной русых волос над чистым, гладким лбом постарался тотчас спрятать досаду, мелькнувшую у него на лице, но Захар все же успел заметить эту досаду. Он сразу понял, что за человек перед ним, узнал его, и сладковато-неприятный ток слегка кольнул в сердце; вошедший с первого взгляда не понравился ему, и Захар слегка посторонился, словно приглашая его пройти.

— Ты еще долго будешь занята? — спросил вошедший, с привычной светской легкостью обегая Захара взглядом, и Захару почему-то пришел на память взгляд слепого, когда смотрят тебе прямо в глаза и ничего не видят. Захару был знаком этот отстраненный, слепой взгляд, и он, сдерживая себя, слегка нахмурился; на него много раз так смотрели за долгие годы жизни, он этот взгляд узна́ет из тысячи.

— Мой отец, Игорь,— заторопилась Аленка.— Познакомься, отец, это Игорь, Игорь Степанович Хатунцев.

Как нередко бывает, и сам Захар, и Хатунцев, неуловимо распространяющий вокруг себя крепкий запах дорогого одеколона, сразу почувствовали между собой что-то вроде непреодолимой стены; и хотя они улыбнулись друг другу и пожали руки, стена между ними укрепилась и стала ощутимее. Хатунцев все с той же улыбкой, как бы выражающей радость от неожиданной встречи с отцом Аленки (но выражала она лишь покорность случаю), поспешил сослаться на занятость и ушел, успев, однако, все с той же, не меняющейся улыбкой покорности случаю пригласить Захара к ним домой, и Захар слегка кивнул, что могло означать и «да», и «спасибо, как-нибудь, но не сегодня»; оставшись опять наедине с Аленкой, Захар неловко опустился на стул. Ему нечего было сказать Аленке, красивый Игорь ему не понравился, и он не знал, стоило ли говорить ей об этом, у него никак не поворачивался язык похвалить ее выбор; он видел, как у нее тихо и безнадежно гасло лицо.

— Вот, значит, кого ты выбрала,— неопределенно сказал он и заторопился, чтобы больше ничего не говорить.— Ну, прощай, пора мне, дочка, обещал еще к Николаю заехать...

Был уже вечер, в кабинете начинало темнеть. Прислушиваясь к собственным шагам, Аленка прошла

к выключателю, щелкнула им. Из-под матового колпака под потолком бесшумно и мгновенно рванулся привычный свет. Она почувствовала сильную усталость от разговора и встречи с отцом; бородатый и строгий академик Павлов укоризненно смотрел на нее с противоположной стены. «Все, все, разумеется, тлен и суета,— подумала она,— это я понимаю. Но почему мне так больно и нехорошо оттого, что ему не понравился Игорь? Какое мне до этого дело? Ведь он ничего мне не сказал, ничего от меня не потребовал... Ах, боже мой, но ведь я люблю, я не могу без него... Сколько бы на нее ни глядели жадно-испуганные лица знакомых, от этого ведь ничего не изменится, только она сама имеет право определять для себя, что ей хорошо и что плохо... Вот Игорю надо поскорее защититься, докторская его что-то последнее время закисла, а там она всем докажет, что она права, и никто не посмеет вмешиваться и учить, как ей поступать». Жизнь круто надломилась и несла ее куда-то в неизвестность, и уже ничего, даже самого стержня, нельзя было предугадать заранее хотя бы примерно.

«Почему же до сих пор не идет Игорь?» — метнулась она мыслью куда-то в сторону и тут же испугалась, что именно сейчас он и появится, когда она совершенно опустошена и некрасива. Ей хотелось закурить, она быстро вышла в длинный коридор, поднялась боковым служебным проходом двумя этажами выше, на почти всегда пустынную площадку-пятачок. В круглое оконце хорошо был виден внутренний двор больницы, старые, редкие деревья, уцелевшие в войну, непрерывно и густо роняющие листву. Она подумала, как незаметно наступила осень, ведь еще немного, и повалит снег. Или это время убыстрилось с тех пор, как все в ее жизни пошло кувырком?

И тут она заметила показавшегося из терапевтического корпуса Игоря с какой-то незнакомой ей молодой женщиной; они увлеченно о чем-то разговаривали, Аленке даже померещилось, что она слышит их смех и он болезненно отдается в ее мозгу. Было ясно, что они говорили о чем-то близко интересующем их обоих.

Со свойственным ему изяществом Игорь пропустил женщину вперед и, обойдя ее сзади, шел с левой стороны. Он не мог ходить иначе и, видимо, сказал ей об этом, потому что она, согласно тряхнув короткими пепельными волосами, пристроилась к его шагу и продол-

жала слушать, внимательно глядя ему исподлобья прямо в лицо, снизу вверх, она была много ниже его. Аленка странно, неприятно удивилась, он может говорить о чем-то и даже смеяться с какой-то чужой женщиной, когда ей плохо, когда она так нуждается в нем, понятное дело, ему не может быть интересен ее отец, крестьянин, с его неправильной речью, в плохо сшитом и, видимо, ни разу до сих пор не надеванном шевиотовом костюме, наверное, даже купленном специально к этому случаю. Но ее состояние, ее эмоции по поводу приезда отца, ее волнения по поводу того, примет или не примет отец их союз, их отношения, это не может быть не важным для него. Или она совсем ничего не понимает в Игоре... Ну да, а если не понимает, именно не понимает? Знать, что она ждет его, нуждается в нем, и говорить, и смеяться с чужим человеком, с чужой женщиной, как если бы ее совсем не было! Безусловно, это могла быть и случайная встреча, но тем хуже, тем хуже... Для Брюханова все связанное с нею было всегда обязательным, первостепенным. Она и людей-то привыкла оценивать по тому, насколько серьезно относится к ним Тихон. «Господи, при чем тут Тихон и какой он тебе теперь Тихон! Чужой и далекий теперь человек. Вон твой муж, твой мужчина, ты сама его себе выбрала, стоит и любезничает с другой женщиной, да еще как старается-то, бедный...»

Подумав об этом безжалостно четко, она заставила себя сдвинуться с места и быстро вернулась в свой кабинет; почти со страхом смотрела она на дверь, ожидая его прихода, какой-то щемящий стон застрял в горле. «Нет, нет, все не так, все я придумала,— хотелось ей крикнуть.— Все придумала, и что не люблю, и что он плохой, он не виноват, я сама какая-то дикая, сумасбродная... совершенно не знаю, чего хочу, и мечусь, мечусь... Что же делать? Почему он не идет?»

Она думала об одном, но что-то далекое, забытое, заслоненное всей последующей жизнью прорезалось в душе; это было столь дорого сейчас, что у нее мучительно перехватило горло и на глаза выступили слезы. Шумел лес, зеленый, пронзительный лес, яркие солнечные блики неслись мимо нее; от счастья она крепко, радостно зажмурилась. «Ах, Алеша, Алеша», — вырвалось у нее, и она вздрогнула; она услышала приближающиеся быстрые, легкие шаги и замерла в ожидании. Она вся потянулась навстречу этим шагам, засветилась

радостью, лицо ее посвежело, стало совсем юным; она узнала их, эти шаги. Они, приближаясь, как бы нерешительно замедлились, отяжелели; она оцепенела, медленно и грузно эти шаги словно прозвучали в ней самой и замерли в отдалении, где-то за пространствами этого кабинета и даже города; они замерли там, за всеми мыслимыми и немыслимыми горизонтами.

Она опять услышала их, торопливые человеческие шаги, и на этот раз не испугалась, на нее пахнуло светом и просторами далеких, неизведанных горизонтов; пошатнувшись, она оперлась о стол. Дверь открылась, и она вначале неясно, затем отчетливее стала узнавать знакомые забытые любимые черты, его удивительную, непередаваемую улыбку; и силы совсем было оставили ее, она едва не вскрикнула, рванулась навстречу: «Алеша! Алешка!» — и какой-то далекий, мучительный стон наполнил всю ее, и сердце исчезло, рассыпалось колючими, жгучими искрами по всему необозримому солнечному пространству. Она все время, столько лет ждала его и любила только его, и вот теперь он появился, и ей ничего больше не надо. После долгого и мучительного ожидания она не могла поверить и не хотела еще раз обмануться, она еще сильнее вжалась в стену, как бы ища защиты, и в следующий момент узнала Игоря и все поняла. Глядя на него пристально и глубоко, она теперь отчетливо и болезненно осознавала, почему и как все случилось. Медленно и неотвратимо стихал, опадая, солнечный ветер вокруг, и горизонты меркли.

— Ты еще не готова? — удивился он с видимым облегчением оттого, что на этот раз она одна.— Поздно уже... пошли.

— Я сейчас,— сказала она, не в силах оторваться от стены, по-прежнему ища в ней опору и не чувствуя никакой радости от его присутствия, а только опустошающую смертельную усталость. Вот и изменила теперь своему Алеше дважды, и второй раз с человеком, лишь только молодостью напомнившим *его, первого*, оказывается, даже воспоминание *о нем* было свято, и Брюханов совершенно прав в своем решении забрать Ксеню с собой: это ей возмездие.— Я сейчас... Очень странный сегодня день... Слепой, все время тучи и тучи...

Он внимательно и мягко посмотрел на нее, подошел, помог снять халат, слегка прижимая ее к себе; она коснулась его щеки прохладными губами; она ничего от него не хотела, только вот такой поддержки.

— Я тебе говорил, Лена, зря ты взяла поликлинический прием, зачем тебе лишняя нагрузка? — сказал он, заботливо вглядываясь.— Что-нибудь произошло?

— Нет, ничего,— уклончиво ответила она, думая о своем; мучительно нарастающий гул шагов никогда больше не пройдет через ее душу, ничего не повторилось, напрасно она ждала и требовала этого, ничто и никогда больше не повторится. И тогда она подумала о том, о чем запрещала себе думать и все не могла решиться переступить этой черты, но и теперь, когда решение пришло, это оказалось не так-то просто сделать.

Они вернулись домой, и Аленка, почувствовав сильную усталость, прилегла на диван; Хатунцев заботливо принес ей подушку, наклонился, поцеловал и, заметив, как напряженно вздрогнули у нее веки, отступил.

— Ладно, ладно, не буду,— сказал он с вынужденной улыбкой.— Я сейчас кофе сделаю... и телятину разогрею. Будешь телятину?

Аленка не ответила, стараясь лежать не двигаясь, и он тоже сделал вид, что поверил ее дремоте, принес легкую шерстяную шаль, заменяющую плед, осторожно прикрыл ей ноги и вышел на кухню. Больше скрываться было незачем, и он растерянно и грузно опустился на табуретку, зло закурил, уставившись в одну точку перед собой. Что-то в жизни происходило, куда-то их несло, и он не мог позволить себе отдаться слепому течению. Все у него с Аленкой, как и в первый день, непрочно все висит на волоске, и достаточно одного неосторожного шага, чтобы сорваться в пустоту. Но он не готовил себя к роли канатоходца, он не может бесконечно уступать ее капризам и настроениям, в конце концов, она сама сделала выбор и должна понять, что он мужчина и что ему необходимо ее внимание, ее душа и все остальное, что есть в ней, наконец!

Полно, тут же стал он успокаивать себя, просто у нее тяжело на душе из-за дочери, надо просто поговорить с нею по-хорошему и прямо, и от этого сразу станет лучше.

Он повеселел, разжег плиту, поставил воду для кофе, достал глубокую сковороду с жареной телятиной, тоже поставил ее на плиту разогревать, убрал со стола, вымыл оставшуюся с утра посуду, даже вытер пыль с подоконника, затем, накрыв стол и повесив на место фартук, просунул голову к Аленке.

— Послушайте, Елена Захаровна,— сказал он весело,— может быть, вы хотите сегодня выпить? Принести вина?

Она молчала, он подошел, неслышно ступая, и сел с нею рядом.

— Зачем ты так? — спросил он тихо.— Ты же не спишь, и я ни в чем не виноват...

Она быстро открыла глаза, потянулась к его лицу.

— Прости, Игорь, у меня ужасный характер, я тебя предупреждала,— попросила она, захваченная мыслью, что она эгоистка, мучает напрасно хорошего, доброго человека, который ее любит и готов ради нее на все; она притянула его голову к себе, взъерошила его послушные, мягкие волосы и, освобождаясь от объятий, смеясь, отодвинулась в сторону.

— Мне надо переодеться и умыться, Игорь,— сказала она и скрылась в ванной, и тотчас там зашумела вода.

— Телятина остынет! — крикнул он, подхватывая сковороду и направляясь с ней к столу.— Сам на рынке выбирал, торговался, жалко будет...

— Ничего, мы и холодную съедим,— донеслось к нему из-за плотно закрытой двери, и он, пожав плечами, взял свежие газеты и стал их просматривать по привычке, хотя думал совершенно о другом; но он заставил себя просмотреть все газеты до единой и даже прочел объявления на последней странице «Холмского рабочего» о бракоразводных процессах. «Сегодня случится что-то плохое,— почему-то подумал он,— очень уж погано, вон и телятина остыла; надо держать себя на крепкой привязи». Но подумать — одно, а сделать — другое, и весь этот вечер, ужиная, потом готовясь ко сну, он присматривался к Аленке, отмечая в ее поведении и в ней самой каждую мелочь, неприятную для него, но это длилось лишь до постели, а там он сразу обо всем забыл, чуть не задушил ее своими поцелуями, и она, почувствовав его необычно возбужденное состояние и невольно подчиняясь ему, была покорна и хороша, и лишь когда он, задыхаясь от мучительно острого наслаждения, стал неистово ловить ее губы, она, замотав головой по подушке, зашептала: «Не надо, не надо»,— но тут же опомнилась, затихла.

Но успокоение не приходило; приподнявшись, Аленка слегка подула ему в лицо.

— А ты красивый,— сказала она, проводя пальцем по его бровям, по четко очерченному подбородку и ста-

раясь в слабом свете ночника уловить выражение его затененных, сумеречных, слегка угадывающихся глаз. Она откинулась на подушку, и лицо Хатунцева тотчас появилось над нею, и у него опять было жаркое, короткое дыхание.— Не надо больше, Игорь,— попросила она.— Я не смогу заснуть.

— Как раз от этого самый сон,— он откинул волосы у нее со лба.

— Это у вас, у мужиков, крепкий сон от этого,— возразила она с видимым усилием.— А у женщин совсем наоборот...

— Вот как? — нарочито удивился он, но от задуманного не отступил, быстро и сильно поцеловал в грудь под ключицей; Аленка, выскользнув у него из рук, села.

— Слушай, если ты не перестанешь, я уйду спать на диван,— пригрозила она.— Сколько можно, первый час уже...

— Ладно,— сдерживаясь, сказал он и отодвинулся на свое место, закинул руки под голову и, ощущая, как кровь с легким звоном бежит в напряженном теле, затих; Аленка подождала и легла опять.

— Ты ко мне лучше не прикасайся, а то я не могу,— сознался он, отодвигаясь подальше, к самому краю кровати.— Аленка,— позвал он немного погодя,—а ты не хочешь ребенка, нашего ребенка?

— Нет,— непроизвольно вырвалось у нее, и она, смягчая свою резкость, повернула к нему голову.— Зачем торопиться, мы еще должны привыкнуть друг к другу...

— Когда любят, о привыкании разговоров не бывает.— Хатунцев вздохнул.— Да и мы уже вместе скоро полгода, пора бы и решить что-то определенное...

— Ну, это надо решать женщине,— сказала она враждебно.

— Что ж, мужчина не имеет на такое решение права вообще? — спросил он с иронией.

— Да, не имеет,— отрезала Аленка.— Мужчине это слишком легко достается и поэтому в мире так много одиноких матерей... Что-то об одиноких отцах я пока не слышала...

Хатунцев ничего не ответил, хотя подумал, что можно было бы назвать в пример одинокого отца — Брюханова,— но даже от самой мысли он невольно покраснел.

— Смешной ты, Игорь,— сказала Аленка.— Ты знаешь, что ты похож на осень? Такой же буйный, быстрый... Я очень люблю осень,— призналась она,— особенно лес, когда все вот-вот опадет... листья еще держатся, играют, и ветер тонкий, прозрачный... Ты не спишь?

— Нет,— он даже придержал дыхание, чтобы не упустить ни одного слова, ни одной интонации; сейчас любое ее слово могло натолкнуть на догадку, и его самого словно охватил этот знобящий, срывающий последние листья ветер. Он удержался, не выдал себя, хотя сердце у него отчаянно заколотилось.

— Идешь, под ногами тоже листья, яркие, особенно если клен, уж такой красотой горят, наступить боязно. Идешь-идешь и прислушаешься, так и кажется, кто-то есть в лесу, только что кричал... А остановишься — никого, пусто... Игорь, Игорь...

— Да...

— Игорь, скажи, я плохой врач?

— Почему ты так решила? — его опять кольнуло неприятное предчувствие.— Ты уже хороший врач, а станешь еще лучше. Что тебя беспокоит?

— Я потеряла всякий интерес к своему делу, иду в больницу, и хочется повернуть куда-нибудь в сторону. Потом расхожусь — ничего...

— Это бывает... это пройдет,— сказал он, внутренне замирая от ревности к ее воспоминаниям и от чувства приближения к той непреодолимо притягивающей пропасти, в которую ему совершенно незачем было заглядывать.— Ты лучше расскажи еще что-нибудь... про осень, про лес... Как у нас ни на что времени не хватает... Взять и собраться на выходной за город, в лес... Я в городе вырос, я порой не понимаю тебя, твою тоску... Ну, лес и лес... стоит себе, шумит...

— Лес живой,— убежденно возразила Аленка.— Что ты! У него душа есть, мохнатая... и очень добрая... И люди, не все, правда, знают эту душу, не все допущены к ней... Но те, кто допущен, сами обязательно добрые и мудрые... Они знают закон жизни...

— А ты?

— Что я?

— Ты допущена?

— Я — нет, мне нельзя,— не сразу призналась Аленка, закрывая глаза и почти воочию, мучительно реально представляя себе старый осенний лес с шурша-

нием листьев под ногами, с ощущением присутствия в каждом дереве, в каждом кусте чего-то *все понимающего, живого*, какой-то бесконечно доброй и беззащитной души; она шла и шла по этому знакомому бесконечному лесу, откликаясь душой на каждый шорох и на малейшее движение, и в ней все росло и росло единение с этим безмолвным и полным внутренней жизни миром.— Осенью опята бывают,— вздохнула она,— грибы, смешные такие, растут целыми шапками на пнях... до чего красиво... и страшно... Как можно сразу так много? И все почти одинаковые, все рядом...

Аленка нашла его руку, сжала в своей и крепко, до мерцания в глазах, зажмурилась. Ее безостановочно несло куда-то, крутило на месте, бросало из стороны в сторону и вновь, вытолкнув на стремнину, мчало дальше; она боялась себя сейчас, боялась того, что неизбежно должно случиться, потому что находящийся рядом с ней человек не мог понять ее и, как она безошибочно чувствовала, со слепой мужской дерзостью и прямолинейностью пробивался туда, о чем ему и думать надо было себе запретить, но так же верно она чувствовала, что он не остановится ни перед чем и сказками о лесе его не заколдуешь... «Ах, какой глупый... такой большой, сильный и такой глупый»,— подумала она, хотя не могла не понимать, что по-своему он прав в этом своем грубом желании откровенности, и сознавала невозможность этого. Да, да, она жила с ним, она говорила ему, что любит, что наконец нашла свою настоящую судьбу, но она все время ощущала определенный барьер в отношениях с ним, и его нельзя было, невозможно разрушить; в ее душе, в ее памяти оставалось заповедное, святое место, куда она не пускала никого, ни мать, ни Брюханова, и, пожалуй, никого никогда не пустит; как всякая женщина, она хотела быть любимой и счастливой до такой степени, чтобы делиться с ним всем без остатка, но этого не случалось, это не приходило, а разбазаривать себя, самое дорогое, самое сокровенное в себе попусту она не могла. Скорее всего он не остановится ни перед чем и будет добиваться своего сегодня, завтра... всегда, это будет ужасная жизнь, они возненавидят друг друга. «Лучше не думать,— решила она,— ничего нельзя переменить и лучше... лучше вспоминать осенний шуршащий лес, погрузиться в него и потихоньку заснуть, а утром все покатится привычным колесом,— завтрак, клиника, пятиминутки, обходы, кон-

сультации,— и останется только вечер, а вечером надо чаще ходить в кино... это отвлекает, и все устроится, все наладится. Самое главное — ни о чем не думать...»

Она затихла, по-прежнему сжимая руку Хатунцева, и постепенно у нее перед глазами поплыл какой-то молочный, белый туман, все гуще, гуще заполняя пространство, и она уже готова была облегченно забыться, как до нее донесся знакомый и в то же время далекий голос.

— Что? — сонно переспросила она.

— Скажи, Аленка, ты не хочешь рассказать мне что-нибудь из своей жизни?

— Спи, поздно,— попросила она, но у самой сна как не бывало.— Что за дикая ночь сегодня,— пожаловалась она.— Скажи, наконец, Игорь, что тебе надо?

— Не сердись... Мне хочется понять, как мы будем жить дальше,— сказал он, не отнимая руки.

— Не надо, Игорь...

— Нет, надо,— настаивал он на своем с уже плохо скрытым раздражением.— Надо! Когда-нибудь же надо, не сегодня, так завтра, через неделю...

Она убрала свою руку, съежилась...

— Мне тридцать с лишним, я взрослый человек, и я должен хотя бы в общих контурах знать, как у меня складывается жизнь, куда она поворачивается.— Теперь несмотря на то, что он говорил спокойно, в его голосе все больше пробивалась какая-то внутренняя, долго сдерживаемая горечь, и Аленка, хотя отчетливо слышала каждое его слово, снова видела себя в лесу, но теперь не в осеннем, ярком, а в густом, напряженном, налитом угрожающей, темной силой весны, силой предродового томления, и была она в этом лесу как слабый отзвук чего-то ненужного, как мимолетная, ежесекундно исчезающая тень; ей захотелось забиться в густую, прохладную траву, в самые корни, и остаться там, быть может, навсегда...

— А я не знаю, что будет со мной через неделю, завтра, через час,— опять пробился к ней голос Хатунцева, и она, изо всех усилий цепляясь за свой спасительный мир, все-таки удивилась.

— Чего не знаешь? — холодно, отчужденно спросила она.

— Не знаю, что придет тебе в голову завтра, через час, что у тебя в голове в эту вот минуту,— сказал Хатунцев резко, как бы вознаграждая себя своей резко-

стью за долгую и вынужденную сдержанность и молчание.— Не знаю, сколько времени еще ты решишь оставаться со мной...

— Игорь!

— Да, Игорь! Разве это любовь, если за нее приходится каждую минуту дрожать, отстаивать ее от кого-то... не могу даже представить, что у тебя в мыслях кто-то другой, а я так... случайный островок, выбило тебя на этот клочок случайно... ты наберешься сил — и прощай. Так ведь? Так?

— Ну, а если так, что дальше? Что ты хочешь?

— Чтобы ты любила меня, чтобы я хотя бы знал, что ты можешь полюбить меня,— торопливо, глотая слова, говорил он, уже совершенно не сдерживаясь и не думая, как она все это воспримет.

— Я тебе завидую, Игорь,— отозвалась она, как ему показалось, откуда-то очень издалека.— Ты за себя постоишь, ты счастливый...

— Что? что? — изумился он и даже приподнялся, чтобы получше разглядеть ее лицо и убедиться, что она не издевается над ним; обнаженный, злой, с темными провалами глаз, со своей темной несдержанностью, он точно выступил из мрака, и она с усилием отогнала от себя первородное чувство страха и подчинения.

— Ты счастливее меня... Ты любишь так, как я уже не могу и, пожалуй, никогда не смогу. Разве этого мало для счастья?

Он не знал, что ей ответить; он всегда, с первого раза, знал, что эта женщина не для него, все в ней влекло и все было тайной, он уже давно был ей ясен со всем своим содержимым, а она каждый раз представала новой, еще более привлекательной и желанной, и иной она быть не может, полностью, до конца, узнать ее нельзя.

Он сцепил зубы, было больно и тупо в сердце, и рос какой-то дурацкий, нерассуждающий протест.

— Но мне этого мало, понимаешь, мало, и всегда будет мало! — сказал он с невольным раздражением.

— Мужчины удивительно устроены,— Аленка говорила все так же медленно и ровно,— они считают, что должны пользоваться всем совершенно готовым. А в жизни ничего готового нет, и в отношениях мужчины с женщиной тем более. Самое сложное на свете творчество, боже мой, Игорь, ты же все это знаешь... Женщина не вещь и не кошка, погладил, и довольно...

— Зачем ты мне читаешь эту лекцию?

— Очевидно, надо, если ты...

— Надо! Надо! — подхватил он со злостью.— Все это теория, все это приемлемо и разумно для других, но только не для себя! Да ты и сама этому не веришь...

— Замолчи, Игорь, ну что ты меня мучаешь! — попросила она.— Ведь так тоже нельзя, все время словно на скамье подсудимых...

Хатунцев затих; его сейчас почти оглушила одна мысль, одно желание; от его яркости он задержал дыхание. «Но ведь действительно, нужно же что-то решать»,— подумал он, некоторое время лежа неподвижно, давая окончательно созреть решению. Это опять была та же самая пропасть, к которой он не мог, не имел права приблизиться (это он тоже знал, это знание жило в нем непреложно, неумирающе), но заглянуть в которую его неостановимо тянуло.

— Аленка,— позвал он,— можно задать тебе только один вопрос?

— Нет, нельзя...

— Почему?

— Поздно, пора спать,— быстро сказала она.—Прошу тебя, Игорь, не надо.

— Боишься,— пробормотал он, чувствуя, что внезапный приступ бешенства заполняет грудь, застилает глаза, мутит голову.— Боишься! — крикнул он.— Мертвого боишься! Мертвый тебя держит, тот, с которым ты в партизанах... которого ты...

Его остановил какой-то даже не крик, не шепот; судорожно натягивая на себя край простыни, Аленка в ужасе пятилась от него в угол, а Хатунцев, не помня себя, стоя на коленях в приступе неистовой, обессиливающей ярости, стараясь выбрать слово побольнее и не находя его, повторял одно и то же. И Аленка, видя его, совершенно забывшего, кроме одного, обо всем на свете, умного, сильного в общем-то человека, потерявшего над собой всякий контроль и жалкого, гадкого в этом своем животном порыве, пятилась от него с бессознательным отвращением... И тогда на нее опять хлынул летний, теплый, солнечный лес, хлынул со всех сторон, как спасение, и она крепко зажмурилась, чтобы не видеть перед собой *это* обнаженное, темное, вынырнувшее к ней откуда-то из первобытности мрака и чтобы видеть только лес, бесконечный, щедрый, всемогущий, прощающий. Она прислушалась, была тишина, и лишь слы-

шалось тяжелое, неровное дыхание Хатунцева; это опять было *оно*, что так испугало и унизило её страхом; *оно* сейчас пробивалось к самому сердцу, к самому мозгу, и тогда, защищаясь, она, судорожно всхлипнув, вскочила.

— Не смей! Молчи! — прошептала она, но для нее это был почти оглушающий крик, ей было страшно, что еще мгновение — и ей в душу опять хлынет чужой голос.— Не смей... к этому нельзя прикасаться... к этому никому нельзя! Слышишь, ты! Слышишь, здоровый, умный дурак! Этого никому нельзя! Этого понять нельзя!

Потерянный, он беспомощно сидел на кровати, и какая-то мучительная струна нежно звенела у него в висках — то, что он увидел в пропасти, давно тянувшей его к себе, было хуже любых его ожиданий и предположений, ему обожгло сердце, и он бросился к Аленке.

— Лена, Лена,— твердил он, стараясь привлечь ее к себе и хоть как-то успокоить,— Лена, дорогая моя, любимая... я ведь не нарочно... Лена...

— Не смей... не прикасайся ко мне! — с такой непередаваемой гадливостью и отвращением отстранилась она от его рук, что он похолодел, обреченно и тупо следя за тем, как она торопливо, беспорядочно набрасывает на себя одежду, путается в ней, и все это молча, без единого слова.

Аленка же старалась только удержаться на ногах и не упасть, и ей опять помог лес, неожиданно бесшумно обступивший ее со всех сторон, укрывший ее от всего мира, веселый, березовый, шумящий, никого к ней больше не подпускающий, и она раз и другой опять всхлипнула от волнения и счастья, что она наедине с тем, чему она больше всего верила. Она сейчас не думала о Хатунцеве и не видела его, да и он тоже был словно в каком-то оцепенении; все, что происходило, происходило словно во сне, он знал, что никакие слова уже не помогут, и лишь вздрогнул, когда вслед за нею хлопнула входная дверь, но по-прежнему не двинулся с места. Так же обреченно он оделся, послонялся из угла в угол и вышел на улицу, по привычке проверив, заперта ли дверь. Он бесцельно побрел по вымершему ночному городу, стараясь лишь идти так, чтобы резкий ветер все время бил ему в лицо. Ни мыслей, ни определенных желаний не было, просто была необходимость

куда-то непрерывно идти и еще не исчезало чувство обреченности, невосполнимой утраты.

Он забрел на какую-то площадь, недоуменно поднял голову и огляделся; дома высились мертвые, с одинаково пустыми провалами окон, колокольня, единственно уцелевшая от величественного Воздвиженского собора, разбитого в войну, нарушая общий порядок, резко и высоко возносилась в темное небо. Хатунцев, запрокинув голову, долго смотрел на нее, туда, где в проемах для колоколов чувствовался простор и ветер. У него закружилась голова, и он, переждав немного, двинулся дальше, хотя его тянуло ввысь, туда, где жили когда-то колокола и где сейчас время от времени начинали сонно и беспорядочно кричать и возиться галки. Он даже обошел вокруг этой колокольни, но единственная окованная старым массивным железом дверь оказалась на замке, а все окна снизу заделаны литыми решетками. Он даже попробовал одну из них крепко потрясти, но ничего не вышло. Он побрел дальше, вышел в знакомый городской парк на берегу Оры. Под ногами густо зашуршали опавшие листья, и ветер усилился. Он поднял воротник пальто, подошел к самому обрыву, внизу чуть-чуть угадывалась холодная осенняя вода, какой-то взблеск, а еще дальше пойменные пространства сливались со звездной тьмой. Судорожный спазм перехватил горло, но он удержался, до крови закусил губу. «В чем, в чем же смысл счастья, жизни, в чем вообще смысл всего? — подумал он.— Почему все рушится, когда это больнее всего? И зачем все, если всему приходит конец, даже этому мраку, звездам... колоколам? Зачем? Почему?»

Он не мог сейчас думать о том, что произошло; ему лишь до ненависти к себе за свою слабость, за неумение взять себя в руки хотелось увидеть Аленку, увидеть, и больше ничего.

Он дождался ее утром у входа в поликлинику и, решившись, попросил:

— Лена, надо поговорить...

Она опустила глаза, остановилась, и он с какой-то болью, с трудом удержал себя, чтобы не прикоснуться к ее руке, до того мучительно было это желание.

— Мы оба ошиблись, Игорь, прости,— сказала она, поднимая глаза, и в них было что-то новое, что-то такое, чего он не мог понять.

— Ты так за него... за то, что я наговорил, обиделась? — спросил он беспорядочно, теряясь и сознавая, что опять говорит что-то не то.— Ты прости...

Она поняла, улыбнулась, но опять как-то по-новому, незнакомо.

— Да нет, Игорь, не думай так... Не то... мы вообще ошиблись...

— Говори за себя,— остановил он.

— Какая разница? — вслух подумала Аленка.

— Ты жалеешь? — спросил он и опять задним числом подумал, что сказал невпопад.

— Что толку жалеть.— Она опять улыбнулась какой-то незнакомой улыбкой, и тут только он заметил, что ее спокойствие дается ей огромным усилием воли.— Случилось, значит, так должно быть...

— Лена...

— Я на неделю уезжаю к матери, в деревню, Кузьма Петрович разрешил,— торопливо добавила она.— А ты... постарайся быть молодцом, Игорь... Не надо делать глупостей. Тебе ведь всего тридцать лет, ты мужчина. А теперь я пойду, меня ждут...

— Лена,— окликнул он,— а через неделю?

— Что? — сразу не поняла она, остановилась, оглянулась на него.— Неделю надо еще прожить. Прощай, Игорь!

Он проводил ее глазами до поворота коридора, подошел к окну и закурил; его тут же позвали, и он, кивнув, пошел вверх по лестнице.

13

В тот же день к вечеру Аленка была в Зежске, сидела за столом у Ивана Карловича, и он, обрадованный, все предлагал выпить за партизанские времена. Аленка, каждый раз слегка отпивая из своей рюмки, много курила; Иван Карлович, овдовев еще до войны, жил один; вся обстановка располагала к предельной откровенности, и оба они, торопясь и перебивая друг друга, вспоминали наиболее яркие, трудные моменты своей партизанской жизни. Аленка время от времени небрежно стряхивала пепел в стеклянную пепельницу.

— Хорошо-то, хорошо как было, Иван Карлович,— она неожиданно и как-то вызывающе-беспомощно улыбнулась.

— Хорошо? — переспросил озадаченно Иван Карлович и с отрешенной бесстрастностью старости простил ее кощунство; даже какая-то живительная теплота пошла по его жилам.— Может, ты и права, Лена, может быть, и хорошо... Ну, а сейчас как тебе, Лена? Ты счастлива?

Она глянула мимо него в блеклое осеннее небо за стеклами.

— Сейчас хорошо... Только все равно тогда было лучше, Иван Карлович. Был выбор, смерть или жизнь, а теперь...— Она помедлила, отвечая на молчаливый вопрос своего собеседника.— А теперь, Иван Карлович, одна жизнь... А, разве не все равно, какая? — горестно спросила она у самой себя, вытаскивая из пачки новую папиросу; Иван Карлович мягко перехватил ее руку. В этот момент с легким шорохом ударили в верхние стекла окна сухие листья, на миг на стеклах появились яркие рдяные пятна и исчезли. Аленка покосилась в окно.

— Видишь, осень... Такое буйство, и осень — непонятно,— проследив за ее взглядом, сказал Иван Карлович и отпустил руку Аленки.— Весной понятно, а осенью... Зачем это?

— Значит, осень, учитель?

— Осень? Для тебя? — Иван Карлович опустил голову.— Какой я учитель тебе, Лена.

— Учитель, учитель,— горячо сказала она, с бережной нежностью присматриваясь к нему.— Ой, Иван Карлович, как я много помню из того, что вы мне говорили. Да вы мой самый дорогой учитель...

— Зачем же так, Лена, помнить все тоже не обязательно, ты ведь хорошо знаешь, память избирательна, в этом ее спасение,— запротестовал Иван Карлович, настроение Аленки, напряженность и недоговоренность передались ему; он был стар и достаточно умудрен жизнью и не льстил себя надеждой, что молодая женщина вдруг, неожиданно, после стольких лет явилась, чтобы просто посидеть с ним и просто вспомнить прошлое; это было приятно ему, но не обязательно; гораздо приятнее было сознавать, что эта женщина здесь потому, что он зачем-то необходим ей, и он, давая увлечь себя воспоминаниями и увлекаясь сам, ждал.

Ветер опять швырнул в стекла охапку опавших листьев из сада; сухо и дробно зацарапало по стеклам, застукало. Прорвав у самого горизонта облака, остро

и радостно ударило солнце в верхние стекла; завершение еще одного дня отдалось непривычно светлой тоской; защемило в груди, стиснуло виски, задернуло глаза. «Стар, стар, совсем стар становлюсь,— подумал Иван Карлович спокойно.— Скоро и конец... Да, но что такое конец?»

— Осень, вот-вот деревья заснут, уже заснули,— подумала вслух Аленка.— Хорошо у них устроено, деревья спят, медведи спят... Почему люди не могут так? Взять и заснуть на несколько месяцев... лет на пять... Почему не могут?

— Они не березки, не медведи, просто люди, Лена. Вот и не могут.

— Как все ясно,— смутным эхом отозвалась Аленка, и в ее голосе Иван Карлович уловил недоумение и обиду.— Иван Карлович, Иван Карлович,—подалась она к нему,— ведь вы знаете, зачем я пришла... Скажите, а он, он мог остаться жить? — спросила она.— Алеша... помните... да вы помните, Сокольцев... конечно, помните. Мог бы он остаться?

Сейчас, казалось, вся душа ее переместилась в глаза, и у Ивана Карловича закружилась голова. Какой-то холодный ветер слегка тронул его ознобом и прошумел дальше. «Что же за пропасть такая — человек? — подумал он неспокойно.— Все тянет его куда-то на глубину, тянет... Все давно ясно, там омут, глубина, гибель, а его все тянет...»

— Алеша Сокольцев... помните? Помните? — бился у него в ушах беспокойный, срывающийся голос; Иван Карлович, приходя в себя, кивнул.

— У меня дурное свойство характера,— сказал он, уходя от прямого ответа.— Я ясно помню всех своих умерших... Алешу Сокольцева помню, как же, помню...

Аленка кинулась всем своим существом навстречу его словам, ожидающе замерла; Иван Карлович побарабанил худыми, длинными пальцами по столу, в глубине глаз у него шевельнулись и пропали какие-то тени.

— Я, Лена, уже достаточно прожил,— продолжил он без всякого перехода прерванную мысль.— Мне хитрить не к чему... Где милосердие приходит во зло? Уложить в какой-то футляр совесть? В какие границы? Ты тогда подвиг совершила, взяла и оставила ему пистолет... какой мучительный подвиг. Не каждый на это способен. У меня дух перехватило... Его еще только сердце держало... молодое, крепкое... А жить он уже

больше не мог, жить ему уже было нельзя. Все правильно ты сделала.

— Я убила его,— сказала Аленка с неподвижным лицом.— Он мог бы жить... Понимаете, жить! И моя бы жизнь сложилась по-другому...

— Странно, что ты его еще помнишь,— удивился вслух Иван Карлович даже с каким-то страхом в голосе.

— Да, помню, я как-то особенно его помню,— ответила Аленка глухо.— Как можно помнить то, чего давно нет и никогда не будет. Я его помню, всегда помню... и во сне помню, и наяву... Иван Карлович, Иван Карлович...

— Перестань, Лена,— остановил ее Иван Карлович.— Ты же врач... У него не оставалось даже полшанса.

— Какой я врач? — отозвалась она обреченно.— Просто озлобленная, вздорная, несчастная баба, вот и все.

— Прости, чепуху ты городишь, Лена,— сказал Иван Карлович.— У тебя прекрасная, любимая работа... муж... дочь. Ты счастливая женщина, Лена, не гневи бога, все дело в том, что счастье, когда оно есть, человек не замечает, не ценит.

— Работа... да, работа — это хорошо... и муж — хорошо.— Аленка сейчас ничего не скрывала, не хотела скрывать, откровенность приносила ей какое-то мучительное успокоение.—Только работа не может мне заменить того, чего у меня нет... шла, шла, обронила, и больше нет... я даже точно не могу определить, что я обронила... Как же, и муж есть... Есть... Да ведь женщина на то и женщина, что ей необходимо какое-то сотворчество... Что я могу изменить в товарище Брюханове? — горестно спросила она.— Да ничего... Он, как монумент, раз навсегда высечен и закончен... всегда один и тот же, в любых обстоятельствах... хоть ты разорвись... Нельзя же всю жизнь прошагать рука об руку со статуей...

Иван Карлович, начиная понимать, опустил глаза. Теперь комната была наполнена до краев тускловато-багровым золотом, заходящее солнце било во все окно и в этом золотом густом настое, на глазах менявшемся, было что-то чрезмерное. Ивана Карловича раздражало это осеннее торжество света в комнате. «Мороза, что ли, ждать?» — подумал он, и словно тупая игла вошла в его сердце, оно тяжело и устало заныло.

— Нет, так не бывает, Лена. Просто вы еще друг друга не разглядели и не поняли,— Иван Карлович протер очки.— Прошлым жить нельзя, Лена. Уж такова природа человека.

Аленка слушала, неотрывно глядя в окно, она сейчас не могла заставить себя посмотреть прямо в глаза старого доктора.

— Прошлым жить нельзя, вы правы,— отозвалась она глухо.— Если бы можно было отрубить прошлое и забыть. И мне никто ничего не забывает и не прощает. И не простит. Да потом и я, и вы, все люди — это только прошлое. А кто знает, какой я стану? Наверное, вы меня не понимаете...

— Понимаю, отчего же... Скажи, Лена, почему ты не едешь к мужу, в Москву? — Иван Карлович пристально изучал свои длинные, худые пальцы.

— Вопрос, дорогой учитель, ненужный, он слишком запоздал...

— Мне очень жаль, Лена.— Ивану Карловичу захотелось погладить и приласкать, ободрить Аленку, как ребенка, но он не решился. С ощущением легкого головокружения старый врач подумал, что вот ради одного такого пронзительного момента стоило жить, стоило пройти и более тяжкий путь.

— Ах, если бы вы знали, Иван Карлович, что это за мука... Когда ничего нельзя изменить... Сама, своими руками... и ничего нельзя изменить! Пойду, пойду,— заторопилась она, тоскуя,— нет, не надо меня утешать, ничего не говорите... пойду...

Оставив встревоженного Ивана Карловича, она, почти сорвав пальто с вешалки, выбежала; в этой солнечной комнате безошибочно уловили все самое сокровенное. Не оглядываясь, боясь оглянуться, она переулками миновала главную улицу Зежска и, словно кто невидимый ее нещадно подгонял дальше, вышла на дорогу в Густищи.

Близился вечер, и солнце уже село; в том месте, где оно опустилось, над землей широкой, незаметно слабеющей полосой разливался малиновый закат. Теперь Аленку охватил почти панический страх, за каждой приближающейся старой ракитой ей мерещился кто-то неведомый, враждебный; один раз она даже вскрикнула и шарахнулась в сторону.

Она вспомнила, что ночью вот так же однажды уже спешила домой, вскоре после госпиталя и встречи

с Брюхановым. Жизнь словно вернулась на какой-то изначальный круг, но теперь уже не было ни той радости, ни страстного, нетерпеливого ожидания перемен...

Не останавливаясь, стараясь вытряхнуть из себя все, кроме чувства неостановимого движения, она шла быстро и лишь у самой околицы Густищ, у старых берез, задержалась, прислушалась к посвисту ветра в их облысевших вершинах. Холодная, беспощадная мысль о том, что ей никто теперь не поможет, едва не заставила ее повернуть назад. Она всхлипнула, рванулась навстречу ветру и через полчаса, по-детски уткнувшись в грудь матери, беззвучно, безутешно плакала, и Ефросинья, прижимая ее к себе, не могла никак добиться от нее толку, и когда из другой комнаты высунулось заспанное лицо Захара, она замахала на него рукой:

— Ступай... ступай, мы тут сами, по-бабьи, посидим... Ступай...

Ефросинья усадила Аленку на лавку, зажгла свет, задернула окна, торопливо набросила на себя юбку, затянула шнурок, достала с загнетки глиняный кувшин с топленым молоком, нарезала хлеба... Аленка, следя за ее привычными нехитрыми хлопотами, чувствовала, как отмякает внутри, теплеет от близости матери; что-то детское, щемящее, теплое вспомнилось ей; в избе словно запахло солнечной нагретой травой. «Полно, полно,— одернула она себя.— Когда это было, да и было ли? Невозможно такое счастье, такого не бывает. Для меня уже невозможно никакое счастье».

Ефросинья накинула на плечи Аленки шерстяной платок, села рядом.

— Мам, скажи, ну отчего я уродилась у тебя такая нескладная? — спросила Аленка, улыбаясь сквозь слезы.

— В селе тебе все завидуют,— сказала тихо Ефросинья, помедлив.— Как сойдутся бабы, так все о тебе, все о тебе. Может, и сглазили...

— Завидуют! — горестно изумилась Аленка.— Чему же завидуют?

— Не надо,— остановила ее Ефросинья, опасаясь, что в расстройстве у дочери может вырваться что-нибудь нехорошее, несправедливое по отношению к другим, да и к себе.— Не надо, дочка. Не угадаешь, на каком тут безмене взвешивать. Не в себя гляди, дочка, а кругом, тогда, может, полной мерой и определишь

долюшку свою. Эх, дочка, дочка, души тебе много лишней дадено, в избытке. А к чему? Вот и мыкаешься, горишь... Я тебе и тот раз говорила, и теперь скажу... Гляди, дочка, не прогадай, уж я-то знаю, как на этом свете без мужика... И с ним несладко, а без него и вовсе, ни заступы тебе, ни помоги ни в чем. Все сама, все сама, да еще каждый норовит тебя клюнуть... Ох, дочка, ох, дочка, гляди!

Голос матери пробивался слабо, откуда-то издалека; Аленка напряженно выпрямилась; вот взяло и зашвырнуло ее куда-то в сторону от людей, кругом текли одни стремительные звезды, холодно и безучастно кололи глаза. А земли не было, совсем не было, одна тьма и звезды.

14

Еще до приезда в Холмск Брюханову после одного из разговоров с Лапиным крепко засела в голову идея о создании где-нибудь под Москвой или Ленинградом крупного научного центра, который сосредоточил бы головные институты физики твердого тела и электроники; несомненно, нужен единый мозг и единый центр порученного его организации дела, и, самое главное, он все больше верил Лапину, а тот настойчиво использовал любую их встречу, даже мимоходом, чтобы сообщить ему новые факты о достижениях электроники за рубежом, и особенно в Америке, тем более что у себя в отечестве наука эта находилась в непонятном и даже преступном невнимании, отставании и запустении. Брюханов, уже более или менее ориентировавшийся в лабиринтах научных поисков, враждовавших течений, более или менее осведомленный о мировых достижениях, хмурился, молчал. Лапин мог себе позволить говорить о науке так, как он говорил, имел право требовать для своего института колоссальные суммы из отпускаемых главку средств на исследования и доказывать, что жидкий гелий или водород в недалеком будущем — двигатель радиотехники, что новейшие открытия вносят во все классические науки необходимые качественно революционные перевороты, но сам Брюханов отлично видел и понимал, что все дело в ближайших практических результатах, а сами результаты выявляются часто в ожесточенной борьбе различных школ и направлений, и что наряду с институтом академика Лапина, немед-

ленно берущем на вооружение самые передовые научные достижения, часто на первый взгляд абсурдные идеи, необходим и институт академика Стропова, упорно и кропотливо продолжающий развивать и укреплять традиционные бастионы, и что горячность Лапина, залетавшего в своих идеях в трудно представляемые дали, хоть и необходимый рычаг для будущих рывков, но жизнь требовала конкретных немедленных результатов, и Стропов был тем самым тяжеловозом, который упорно, шаг за шагом, тянул свой воз, не претендуя на стремительные рывки гения, заполняя пространство между этими рывками прилежным, неостановимым, упорным трудом. Но мысль о том, чтобы собрать в единое целое, объединить научную мысль в своей отрасли, была Брюханову по душе. «Здесь несомненная государственная польза»,— думал он и давно уже начал потихоньку, исподволь эту мысль внедрять в вышестоящих инстанциях; он знал, что получить разрешение и особенно средства для этого будет нелегко, и не торопил события. Только почувствовав, что к его идее начинают привыкать и прислушиваться, он тоже, как бы мимоходом, в присутствии Муравьева и двух других своих заместителей предложил создать специальную группу экспертов по этому вопросу. Муравьев, насторожившийся и оттого ставший еще более четким и приветливо-сосредоточенным, выжидательно молчал, стараясь припомнить, когда, где и по какой причине могло проскользнуть мимо его внимания столь важное начинание. Он ждал дальнейших разъяснений, но Брюханов ограничился лишь общими словами, однако сразу определившими размах и масштабы дела, не стал вдаваться в подробности и вернулся к этому вопросу лишь через несколько дней, после одного из совещаний в ЦК. И опять все в той же размытой форме, так что Муравьев снова не мог понять, исходит ли инициатива сверху или от самого Брюханова.

— Разумеется, Тихон Иванович, попробовать можно,— сказал Муравьев.— Но ведь дело большое даже в наших масштабах. Вы знаете, как напряжены финансы государства. Не посмотрят ли на нас с некоторым, мягко говоря, недоумением?

— Смелость бывает разной, иногда ее могут понять и правильно.— Брюханов и сам не раз взвешивал и продолжал взвешивать все «за» и «против», поэтому он не настаивал на продолжении разговора. Но то, что он

вторично затронул эту тему, окончательно утвердило Муравьева в мысли, что это не случайно мелькнувшая у Брюханова бредовая идея и что опять что-то важное, глобальное, что должно по праву идти через него, Муравьева, по какой-то непонятной причине проносится мимо.— Это ведь дело не одного года и не двух лет, у нас еще есть время основательно проработать эту идею в аппарате и в верхах,— всматриваясь в летящие, расплывчатые вечерние огни Москвы, Брюханов перевел разговор на другое.

Но Муравьев не забыл этого дождливого вечера и исподволь начал свой самостоятельный круг консультаций; первым делом он поговорил в удобный момент с академиком Строповым, по примеру Брюханова тоже как бы между прочим, и тот не раздумывая, весело и энергично встряхивая седой головой, приподнимая и опуская трубки звонивших телефонов, чтобы не мешали, отрицательно замахал руками.

— Утопия, дорогой Павел Андреевич! — сказал он.— Чистейшая утопия на данном уровне знания. Зачем все валить в какую-то кучу, какой прок? Чтобы все снивелировать и затормозить?

— Я рад, Степан Аверкиевич, последним успехам вашего института в разработке электронно-вычислительной аппаратуры,— делая реверанс хозяину, Муравьев в то же время старался направить разговор в нужное русло; он хорошо знал характер Стропова.

— На данном этапе я, разумеется, доволен. Кое-что нам удалось, но дело в другом,— уклончиво поблагодарил Стропов.— Как видите, можно двигать науку вперед и без всяких ненужных изысков. И только так, прямо и беспроигрышно, ее и можно двигать вперед, Павел Андреевич, только так! Знаете, последнее время все чаще поговаривают, что в институте Лапина всерьез занимаются кибернетикой. Вроде бы большой отдел, некий доктор наук Гродницкий...

Муравьев молча слушал с отвердевшим, замкнутым и даже несколько скучающим лицом, показывая, что околонаучными разговорами он сыт по горло и что они его мало интересуют, и Стропов про себя отметил это.

— Ростислав Сергеевич крупный ученый, но доверчив, доверчив,— сказал он.— Помните, у Пушкина? «Гений простодушен». Гм-м, да, эта черта за ним водится. Кого только он не подбирает в свой институт! Я от-

ношусь к нему с почтением, его репутация ученого безупречна, однако в его окружении много случайных людей, отсюда выплывают самые поверхностные идеи... а все из-за окружения...

— Доктор Гродницкий действительно служит в институте у Лапина, но, как мне известно, он занимается вопросами электроакустики,— Муравьев, сдерживая чувство неприязни к собеседнику, стерто улыбнулся.— Это вписывается в профиль научных и практических разработок института Лапина...

— Может быть, может быть,— неопределенно отозвался Стропов.— А все-таки, Павел Андреевич, почему вы спросили мое мнение о создании научного центра? Откуда это идет?

— Одни смутные толки, пока ничего более,— уклонился Муравьев, и Стропов снова энергично подтвердил свое крайне отрицательное отношение к этой идее, и они разошлись.

Между тем время катилось себе не останавливаясь, зерно, зароненное в свое время в подходящую почву, проклевывалось, прорастало, крепло, идея вырисовывалась отчетливее, обретала все новых сторонников и врагов и однажды, вроде бы в самый неподходящий момент, открыто выплыла на поверхность, и ее уже нельзя было не заметить... Муравьев, продолжая одинаково ровно относиться и к сторонникам, и к противникам брюхановской идеи, однако с точностью непогрешимого хронометра продолжал регистрировать малейшее замечаемое им противоборствующее движение именно в этом направлении; он и без Стропова знал, что такая идея не могла родиться у самого Брюханова, человека в науке еще нового, и, в свою очередь перебрав не раз ближайших советников и экспертов Брюханова, остановился на Лапине и, уже однажды остановившись, убеждался в своей догадке все больше и больше, и так как именно с Лапиным у него издавна сложились отчужденные, порой переходившие в прямую враждебность отношения не только служебного, но и чисто человеческого характера, он, мысленно еще раз прикинув сторонников и противников идеи единого научного центра, увидел, что противников гораздо больше, их соответственные связи и вес не оставляли Брюханову ни малейшего шанса на успех, и хотя Муравьев не раз наведывался в экспертную группу, уже как-то незаметно созданную и разрабатывающую эту проблему, и хотя он не раз и не

два колесил в ее составе по стране, обсуждая предполагаемое местоположение будущего единого научно-производственного центра, в душе он твердо был убежден, что никакого центра не будет и быть не может, что руководство институтов, входящих в главк, и ведущие ученые не захотят ехать из Ленинграда, из Москвы, из привычных условий и отношений, хотя бы за сто километров и что даже не в этом основная причина, а в чувстве боязни у того же Стропова потерять самостоятельность и в новых, непривычных условиях подвергнуть самому беспристрастному экзамену свою научную дееспособность...

Раскладывая все «за» и «против», Муравьев уже видел отрицательный исход дела; приходила ему мысль, что надо бы откровенно высказать Брюханову все эти «за» и «против», он даже как-то совсем собрался идти к нему с этим, но в последний момент в груди что-то громче обычного стукнуло и остановило его. И самое главное, он знал, хотя не признавался себе, что на этой преждевременной и не вызревшей пока еще затее Брюханов по неопытности и горячности натуры, по недооценке противоборствующих сил легко мог сломить себе голову...

Муравьев даже в мыслях не хотел прояснять все до конца и в отношении складывающейся ситуации, и в отношении самого себя, и хотя жизнь не раз разрушала его надежды и планы, не раз обжигала в самых, казалось бы, безопасных, выверенных местах, в душе сейчас нет-нет да и проскакивала живительная, заманчивая искорка надежды, распространяя по всему его существу волнующее тепло. «Потом, в чем же подлость с моей стороны? — думал он, еще и еще раз прикидывая.— Характер Брюханова, надо полагать, мне хорошо знаком, и как он воспримет мои откровения, тоже известно. Он предпочитает открытую борьбу, зачем же обострять с ним и без того нелегкие отношения? Скажешь обо всем честно, как думаешь, в конечном счете окажешься виновным, а вот если другие подскажут, со стороны, тогда и дело по-другому будет выглядеть».

Одним словом, Муравьев ждал дня, само собой, без ненужного риска, разрешившего бы его сомнения и определившего метод действий, и этот день как-то незаметно наступил, когда Брюханов, получив одобрение в соответствующих инстанциях и в ЦК, вынес вопрос на очередную расширенную коллегию и аргументирован-

ным сообщением, неприятно поразившим Муравьева анализом значения для будущего единого, координирующего все аспекты научного поиска центра электроники, открыл обсуждение. Муравьеву стало еще больше не по себе во время основного доклада председателя группы экспертов, развившего высказанные Брюхановым положения, но запущенная машина уже покатилась своим путем; под ее колеса первым самоотверженно, не оглядываясь, даже как бы рисуясь своим бесстрашием, бросился академик Стропов, и Муравьев, внутренне собравшись, сделал вид, что сосредоточенно записывает необходимые, внезапно пришедшие мысли в лежавший перед ним до этого нетронутым блокнот.

Обосновав несколько общих положений, порассуждав о невозможности в истинной науке грубой централизации, отметив как бы между прочим, что руководить ею в подобной надуманной ситуации, разумеется, легче, Стропов размашисто выбросил главный козырь.

— Товарищи! — сказал он, делая длительную паузу, явно приглашая всех внимательнее отнестись к его словам.— Я твердо убежден, что искусственная самоизоляция ученых от живой жизни, от ее общего течения ничем не оправдана и вредна в своей основе. Предлагаемый нам проект потребует многомиллионных затрат, отвлечения значительных сил от действительно неотложных, необходимых дел. Если они есть, эти средства, почему бы их не вложить в уже действующие институты и заводы? Можем ли мы быть так эгоистичны, чтобы требовать такой непосильной, а главное — малооправданной жертвы от народа и государства?

Вслушиваясь в размеренный, хорошо поставленный голос Стропова и искоса поглядывая на присутствующего на коллегии товарища из ЦК, что-то невозмутимо набрасывающего в блокнот, Муравьев как-то отвлекся и пропустил окончание выступления Стропова и начал снова внимательно слушать взявшего слово Лапина.

— Мой уважаемый коллега академик Стропов был в своем выступлении похвально категоричен.— Лапин мимоходом оглядел присутствующих, лишь слегка задерживаясь на породистом, сразу принявшем иронически-барственное выражение лице Стропова.— Высказанные им возражения достойны самого внимательного и серьезного обсуждения. И, однако, позвольте вас спросить, коллега, вы верите в дешевую науку в наше время? Я лично не верю. Все более очевидным стано-

вится взаимопроникновение самых различных ее, казалось бы, взаимоисключающих областей и направлений. Более тесное общение ученых, коллективов сказывается не всегда тотчас же и приносит результаты иногда значительно позже, чем хотелось бы некоторым нашим весьма уважаемым коллегам. Науки на наших глазах множатся, из общих фундаментальных, классических платформ науки отпочковывается все больше новых направлений. Человечество живет не одним днем, и по мере возможности прогнозировать будущее, особенно в науке, необходимо. Что значит самоизоляция, о которой говорил сейчас мой коллега академик Стропов? Разве в проект Курчатова были посвящены широкие круги общественности? И разве не предельная концентрация усилий ученых самых различных направлений и тесно привязанного к науке производства помогли нам успешно осуществить это глобальное, жизненно абсолютно необходимое для страны начинание? Вполне вероятно, на первых порах, пока что, я подчеркиваю, пока что, чисто организационный проект мало что изменит в науке, но я уверен, что осуществление его — дело общегосударственного значения, с самыми оптимистическими прогнозами...

— Вот именно, прогнозами,— послышался негромкий, достаточно ясный, желчный голос с дальнего конца стола; Брюханов не изменил ни позы, ни выражения лица, а Муравьев слегка повернул голову, присматриваясь.

— Да, именно прогнозами,— четко отреагировал Лапин.— Кроме того, нельзя не учитывать основного замысла проекта: не только собрать воедино, в один кулак, все силы, но и дать науке немедленную производственную отдачу. Производственные комплексы центра могут начать давать бесперебойную продукцию немедленно, разумеется, на отработанных стандартах! Дорого? Дорого! Но, повторяю, дешевой науки и не может быть, особенно сейчас, когда наука все больше становится одним из основных факторов прогресса человечества. Это, если хотите, визитная карточка государства, свидетельство степени его вклада в прогресс человечества...

Лапин говорил, и у Муравьева тотчас срабатывал некий безжалостный механизм, регистрирующий каждое уязвимое место и выбрасывающий свои, иные варианты. Выступление Лапина только подлило масла

в огонь, сразу за ним пошел в атаку еще один довольно влиятельный в высших сферах директор закрытого научно-исследовательского института, непременный член многих комиссий Академии наук, официальных представительств и коллегий. Муравьев точно определил серединную полосу, сейчас было достаточно одного, может быть, даже слабого толчка, чтобы круто повернуть течение событий в противоположную сторону. И он решился; его подняла какая-то молодая, бодрая сила, о ней он и не подозревал. Он лишь коротким взглядом спросил у Брюханова разрешения и даже как бы успел в одно мгновение попросить у него прощения за вынужденный шаг, за то, что не сделать этого и уважать себя дальше он не мог, и в отяжелевших веках Брюханова мелькнуло что-то вроде мгновенного понимания. Муравьев отметил важность концентрации широкого научного поиска в будущем, создания мощной материальной базы для ученых, но выразил сомнение в том, целесообразно ли приступать к этому сейчас, напомнил о том, что в западных районах страны еще половина сельского населения сидит в землянках и грешно отвлекать такие огромные средства от самых необходимых нужд народа.

— Возьмем другую сторону,— продолжал он, стараясь глядеть мимо Брюханова.— Предполагается строить дорогой, очень дорогой город с институтами и заводами, тотчас внедряющими в производство научные открытия и достижения... выстроить на пустом совершенно месте. Действительно, когда же последует отдача? Через десять или двадцать лет? Можем ли мы себе позволить такую роскошь? Нет, не можем. Я поддерживаю тезис Степана Аверкиевича Стропова в той его части, что у нас действительно не хватает средств, чтобы обеспечить всем необходимым уже существующие, действующие институты и предприятия. Если мы усилим уже налаженные научные и производственные процессы, мы получим отдачу немедленную и фактическую.

Муравьев привел несколько доводов еще, но уже слабее, как бы затушевывая несколько то, о чем говорил раньше, он говорил гладко, убедительно и обтекаемо, но по лицам слушающих он сразу ощутил, что атмосфера переменилась и что речь его возымела какое-то обратное его расчету действие. Он еще подумал, что это, может быть, ошибочное с его стороны предположение,

но уже тон Брюханова, подводившего итоги дискуссии, подтвердил все самые худшие опасения Муравьева, и на какое-то время лицо Брюханова отодвинулось, задернулось неясной пеленой; усилием воли Муравьев заставил себя сосредоточиться и слушать, но в это время Брюханов предложил проголосовать, и большинство оказалось за него, и Муравьев сам видел, что при этом товарищ из ЦК одобрительно кивнул. Но главное началось после того, как все разошлись и Брюханов, оставшись наедине с ним и словно слегка придерживая его под руку, как-то странно, сбоку, заглянул ему в глаза.

— Опять промах с вашей стороны, Павел Андреевич,— полувопросительно словно бы подумал он вслух.

Почти неуловимо отстранившись от Брюханова, Муравьев сделал какую-то неопределенную мину, неровно приподнял брови и, ласково оскалившись, что-то неразборчиво пробормотал.

— Какой все-таки бесстрашный реализм с вашей стороны, Тихон Иванович,— добавил он, и тогда Брюханов в ответ с вежливой улыбкой сказал:

— Пожалуй, теперь я поддержу вашу просьбу об уходе, Павел Андреевич.

Не дождавшись сразу ответа, он тут же заметил, что не торопит с решением, но чем это скорее произойдет, тем с большей радостью он подпишет.

— Дайте мне день, два... Впрочем, до завтра хватит,— с какой-то резкой, от этого несколько неприятной прямотой ответил Муравьев.

— Что это может изменить, Павел Андреевич? — осведомился Брюханов.

— Разумеется, немного, но к любому ощущению необходимо привыкнуть,— сказал Муравьев, и на другой день, обговорив как ни в чем не бывало текущие вопросы, он, невозмутимо щелкнув замком портфеля, вскользь, словно между прочим, обронил, что не собирается по собственному желанию подавать никаких заявлений, что его вполне удовлетворяет работа с Брюхановым и что он оставляет именно за Брюхановым право решения его трудоустройства.

Выслушав столь длинную тираду, произнесенную на одном дыхании, ровным, бесстрастным тоном, Брюханов улыбнулся.

— Ну что ж, я очень рад, если способен еще внушать столь стойкие привязанности. В таком случае я поручаю вам, Павел Андреевич, не теряя времени,

объехать предложенные экспертами места... Посмотрите, прикиньте... Мы должны выбрать самое лучшее для будущего научного центра.

И опять Муравьев ощутил что-то вроде легкого головокружения; сдерживая себя и не меняясь в лице, он кивнул с каким-то, как показалось Брюханову, загадочным видом, но Брюханов уловил, что это всего лишь последний резерв, последняя защитная пленка, ему стало как-то даже неприятно, и он поспешил отпустить своего заместителя.

Когда Брюханов при случае поделился своими мыслями с Лапиным, тот иронически хмыкнул.

— Думаете, такой прожженный делец, как Муравьев, взял и перековался? Полагаете, вы сломили его сопротивление, Тихон Иванович?

— Нет, этого я не думаю,— ответил Брюханов.— Скорее всего где-то повыше подломилась одна из его опорных ступенек, вот и следствие... Работник он в общем-то опытный...

— Павел Андреевич без ступенек не останется, отыщет, советую вам быть настороже,— не стал скрывать своих мыслей Лапин, и Брюханов промолчал; он уже понимал характер Лапина и не хотел лишних резкостей; в душе он остался при своем и при первой возможности сам поехал с Муравьевым посмотреть одно из намеченных им мест; и место это ему понравилось, просторное, в старых сосняках, и то, как докладывал и давал пояснения Муравьев, тоже понравилось; Брюханов не уловил в его поведении ни игры, ни притворства.

15

Осенью Брюханов не смог сразу забрать с собой Тимофеевну с дочерью; на другой же день после встречи и разговора с Захаром и Николаем Дерюгиными ему пришлось срочно вернуться в Москву, и с ходу, едва успев заскочить домой и сменить белье, он мчался на другой аэродром и через два часа уже с какой-то грустью вспоминал удивленные глазенки Ксени, свои наказы Тимофеевне, наотрез отказавшейся переезжать в Москву с кем-то чужим, и равнодушно глядел на затухающее внизу море огней Москвы. В составе очень важной делегации он почти на месяц улетел в Японию, а когда вернулся, навалилась гора накопившихся дел,

а там и зима разгорелась; в феврале Ксеня простудилась, и Брюханов совсем измучился. Он смог вырваться в Холмск лишь в конце месяца с твердым намерением наконец-то забрать дочь и Тимофеевну, и та, настрадавшись за долгую зиму больше всего из-за нежданно-негаданно рухнувшей на нее ответственности за девочку, еще не успела выговориться, как зазвонил телефон, и Брюханов, подойдя к столу, взял трубку, машинально поднес ее к уху; лицо его тут же приняло холодное и даже брезгливое выражение: он услышал голос Аленки. Он хотел положить трубку, но то, что Аленка быстро, резким голосом успела сказать, остановило его.

— Да нет, откуда ты взяла? — буркнул он недовольно.— У меня, слава богу, такого обыкновения нет... Просто много дел, как всегда.

— Умоляю, Тихон, найди для меня всего несколько минут,— попросила Аленка, и он сразу представил выражение ее лица и, чтобы сосредоточиться, помедлил.—Тихон, Тихон, прошу тебя, не бросай трубку...

— Хорошо,— сказал он ровно.— Ты можешь прийти через полчаса?

— Домой? Нет, не могу, спасибо,— голос Аленки прозвучал отчетливо и враждебно.— Не могу, да и нельзя этого... ты же понимаешь... Из-за Ксени...

Больше всего на свете желая поскорей кончить этот тягостный, ненужный разговор, Брюханов с трудом удерживал себя, чтобы не бросить трубку, и Аленка это почувствовала.

— Тихон, я знаю, что у тебя мало времени, но мне нужно тебя увидеть. Обязательно нужно...

— Ты же сама решила, что у меня дома мы встретиться не можем,— сухо сказал он, жалея, что, подчинившись неожиданному движению сердца, сразу же не положил трубку.— И правильно решила...

— Давай встретимся где-нибудь в другом месте...

— Ну да, на скамейке в парке.— Он зло сощурился в телефон.— Если подходит...

— Слушай, Тихон,— сказала Аленка,— в самом деле необходимо... Ну, очень тебя прошу... очень...

— Хорошо,— поспешно сказал он, потому что боялся, что Аленка вот-вот расплачется.— Хорошо... в пять часов подойди к Крепостной стене, к воротам Кутузова. Проедем за город... поговорим.

— Спасибо, Тихон,— обронила она и поспешно, чтобы он не передумал, положила трубку; Брюханов, заранее наметивший на этот день много неотложных дел, некоторое время сердито курил, преследуя взглядом принявшуюся суетиться Тимофеевну. «Только от старухи она так точно могла узнать о моем приезде»,—подумал он, но Тимофеевне ничего не сказал. Усталость от короткого разговора была ощутимой, он действительно не хотел встречи с Аленкой, потому что продолжал еще сильнее любить эту женщину, принадлежавшую теперь другому, и знал, что предстоящая встреча с Аленкой будет для него мучительной и, главное, ничего не изменит, и, однако, в назначенное время он, подъезжая в машине к условленному месту, еще издали узнал Аленку, зябко кутавшуюся на резком февральском ветру в незнакомое ему рыжеватое пальто. Она почти подбежала к резко затормозившей машине и, открыв дверцу, села рядом с Брюхановым. Он сразу же тронул машину с места и, осторожно петляя в узких улочках этой старинной части города, любимого им теперь болезненно-страстно, выбрался к мосту через реку, и скоро уже машина катила по пустынной, извилистой, будто небрежно брошенной среди необозримых полей и холмов дороге. В легких сумерках пропархивал редкий колючий снежок, Брюханов сбавил скорость, и машина, плавно покачиваясь на неровностях, медленно скользила в молчаливых, тихо и холодно синевших снегах; что-то словно растопило душу Брюханова, и он, не сопротивляясь, отдался этому ощущению бесконечности, сгущавшейся предвечерней синеве, появлявшейся в преддверии близкой весны, перед тем как выкатиться из-за горизонта луне. Он словно забыл об Аленке, но, как в старое доброе время, непрерывно ощущал ее присутствие рядом. «Что, что же человеку нужно,— спрашивал он себя со сквозящей, горькой грустью,— чего ему все время не хватает и отчего он все время стремится сделать себе неудобно? Чего ему не хватает? Любви? Силы? Власти? Почему постоянно, с рождения и до смерти, владеет им это изнуряющее беспокойство и почему ему никогда нет покоя? Что это, смысл жизни или обыкновенный страх, инстинкт живого? Отчего сейчас так наполненно и согласно в этих снегах и отчего так плохо нам двоим, и оба мы боимся начать разговор, а его все равно ведь придется начи-

нать, хотя обоим нам известно, что он ни к чему, ни к какому согласию не приведет?»

Руки Брюханова белели на баранке, и хотя машина шла, они были совершенно неподвижными, замершими.

— Ты мне что-то хотела сказать.— Брюханов по-прежнему не отрывался от дороги, и ему показалось, что это прозвучал чей-то совершенно чужой, не его голос, и потому, что она продолжала молчать, добавил: — Я слушаю тебя.

— Тихон, я выполнила свое обещание самой себе...

— Какое обещание?

— За всю эту зиму я ни разу не видела девочку, только издали, когда она этого не могла заметить,— Аленка слегка задохнулась.— Так надо было...

— Зачем? Кому? — покосился Брюханов.

— Так надо было,— повторила она и не стала больше ничего объяснять.— Тихон, оставь мне Ксеню,— Аленка неотрывно глядела прямо перед собой; она не могла заставить себя повернуть голову и посмотреть на него.— Да, я знаю,— заговорила она торопясь,— что виновата перед тобой. Ты же сильный человек... Я тебе все расскажу...

— Не надо,— даже с некоторым испугом остановил ее Брюханов.— К чему? Нет, нет, ничего не надо. Зачем? Я не мальчик, меня не удивишь пустым словом...

Она вспыхнула, еще больше выпрямилась.

— Это не пустое, Тихон! Надо же дальше как-то жить...

— Живи,— уронил он скупо.— Что случилось — случилось, не надо никаких объяснений. Не знаю, пожалеешь ли ты сама или нет, но я от тебя совершенно ничего не требую. Я ничего не хочу знать, ничего!

— Хорошо... но... оставь мне дочь...

— Нет, вот этого как раз я не могу,— он упрямо выставил вперед подбородок.— Не могу и не хочу этого сделать! Зачем тебе дочь? Подожди.— Она вжалась в спинку сиденья и отвела от него вспыхнувшие негодованием и болью глаза.— Это не каприз и не месть, как, возможно, ты думаешь. Мне тоже нужно еще жить, и ты должна понять, человек должен чем-то держаться. Дочь нужна мне, она мне просто необходима, потому что... кроме нее, у меня никого... Ты меня прости, если можешь... я не смог тогда сдержаться... Это, конечно,

омерзительно. Но окажись ты на моем месте, ты бы еще не то сделала.

— Я? — растерялась Аленка.— Не знаю... Наверное бы просто застрелила.

— Видишь, не догадался, прости. Сразу бы все и кончилось.

Он снял руки с руля, достал папиросы и закурил. Аленка взяла у него папиросу, тоже закурила и заметила, что машина стоит, и луна уже давно выкатилась в небо и теперь была как раз перед ними уже достаточно высоко над горизонтом. Она поразилась тому, что не заметила, когда машина остановилась, в ней не возникло чувства остановки. Брюханов молча курил, молчала и она, она действительно поставила и себя и его в невыносимое положение, и он, как всегда, щадит ее и не хочет говорить ей того, что мог бы сказать и чего она действительно заслуживает.

Она закрыла глаза, пытаясь собраться, не быть хотя бы смешной, она все бы отдала, чтобы ничего не было, чтоб это было кошмарным сном и вся ее прежняя жизнь вернулась бы к ней, она с трудом сделала усилие, стараясь поставить все на свои реальные места; он почувствовал эту перемену в ней, приспустил боковое стекло и дал доступ морозному воздуху.

— Тихон, скажи мне, как ты сам? Как Ксеня? Как Тимофеевна? — тихо попросила она и пожалела об этом.

— Зачем тебе? Пощекотать нервы? — спросил Брюханов.— Да ты другое хотела сказать... Не надо... меня утешать не надо. Никогда не надо больше об этом... слышишь, никогда! Живи... живи как хочешь, как можешь, будь счастлива, я тебе этого желаю, Аленка!

— Какая щедрость,— прошептала она словно в забытьи и тотчас спохватилась.— Хорошо, спасибо... спасибо...— Она испуганно глянула на Брюханова и, словно бросаясь в ледяную воду, задержала дыхание.— Во всем я оказываюсь виноватой, Тихон... За все я одна в ответе...

— Да не беспокойся ты, пожалуйста. Ты, конечно, думаешь, что я испорчу твоему... как его там... прости, пожалуйста, карьеру. Успокой его... Ты оттого и решила увидеться со мной...

— Тихон, Тихон, я не узнаю тебя, ты же ничего не знаешь,— задыхаясь, Аленка стала расстегивать верхнюю пуговицу пальто; какая тут карьера, какое самолю-

бие, проносилось в ней сумбурно, если бы она могла сказать ему просто правду, если бы...

— И нечего мне знать, с меня довольно того, что есть.— Брюханов отчужденно и не шевелясь смотрел на пропадавшую в снегах дорогу.

— Тихон, может, мне уехать? Куда-нибудь подальше... куда глаза глядят...

— Оставайтесь, уезжайте! Какое мне дело? — сухо, неприязненно ответил Брюханов.— И ты вместе с ним... Можете не опасаться, розыск не объявят. И вообще прошу освободить меня от роли вашего душеприказчика.

— Не злись, Тихон, ну что ты кипятишься? — совсем как раньше попросила она.— Ничего не надо. Это все привычка... Глупо было беспокоить тебя. Помоги мне открыть, я пойду...

— То есть как пойдешь? — удивился он.

— Пройдусь немного... Отняла у тебя столько времени...

— До города километров двадцать,— напомнил он не вдруг.— Я подвезу тебя...

— Вот как... ну хорошо, спасибо.

Обратную дорогу они молчали, обостренно и неловко чувствуя присутствие друг друга рядом, и лишь однажды, когда машину тряхнуло на выбоине и Аленка невольно прижалась плечом к плечу Брюханова, беспомощно глянула на него и увидела его глаза, она поняла, что скажи она сейчас хоть слово, одно-единственное слово, и весь этот кошмар тотчас кончится. Но она не могла сказать именно этого слова, хотя хотела этого, как никогда раньше ничего не хотела; она знала, что именно в этот момент он бы все забыл, но она не имела на это права. Побледнев, стиснув зубы, забившись от него подальше, она молчала; она знала сейчас, что и сам он понимал, что скажи он слово, и она осталась бы с ним, но и он не мог этого сделать. Она ничего не видела впереди; когда машина остановилась, она ощупью нашла ручку и, все еще боясь, что не выдержит, торопливо толкнула дверцу, с облегчением выскочила на неровный, обмерзший тротуар. Какую-то долю секунды она еще ждала, что знакомый голос окликнет ее, и боялась этого.

— Ну, Тихон, прощай,— заторопилась она, придерживая дверцу, она чувствовала, что и слова ее, и тон — все глупо, все не к моменту, и с какой-то судорожно вспыхнувшей болью и нежностью попыталась разгля-

деть в полумраке машины лицо Брюханова, ничего не увидела и, затягивая шарф, быстро пошла, почти побежала по тротуару, а Брюханов подождал немного и тоже тронул, резко развернулся, долго кружил по городу. Ему не хотелось домой, оставив машину, он пошел бродить путаными улочками вдоль Крепостной стены; пропархивал редкий снежок, покалывал лицо, деревья и тротуары были в густой изморози. В небе густо пошли тучи, и поднявшаяся над городом луна то появлялась, то пропадала в их рваных просветах, и скоро он совсем промерз. Домой он вернулся поздно, открыл дверь своим ключом, стараясь не шуметь, но едва щелкнул в коридоре выключателем, широкое лицо Тимофеевны тотчас появилось перед ним. Было видно, что она еще не ложилась и была чем-то встревожена, хотя пыталась скрыть это зевотой.

— Ну что тут у нас, Тимофеевна? — спросил Брюханов.— Ксеня что?

— Спит, что ей,— отозвалась Тимофеевна, опять истово зевнув, и мелкими привычными движениями несколько раз обмахнула крестом себе рот.— Поела и спит, ей что, она еще ангел божий, ваших окаянных грехов ей не понять... Ужинать-то собирать?

— Спасибо, не надо. Спокойной ночи, Тимофеевна.

Повесив пальто, Брюханов пошел к себе; Тимофеевна решительно двинулась следом.

— Ты бы поел, ног не потянешь,— говорила она на ходу, но Брюханов уже видел, что главный разговор впереди, что его не избежать.

— Так уж и быть, что тебе, Тимофеевна, выкладывай,— сказал он, опускаясь в кресло и закуривая.— Что там у тебя? Садись, садись... Чего не спится?

— Что спать-то? Так все на свете проспишь,— все так же охая и зевая, Тимофеевна опустилась в кресло, устраиваясь удобнее, явно надолго, и Брюханов невольно улыбнулся, хотя ему хотелось поскорее остаться одному и лечь.

— Тихон Иванович, а Тихон Иванович, может, и не надо в эту Москву мне-то, старой калоше? — спросила Тимофеевна.— Поглядят там и скажут: тоже, гляди, старая карга, прикатила...

— Вот несносная мука с тобой, Тимофеевна, право... опять все сначала,— Брюханов страдальчески сморщился.— Только всем и дел до тебя! Да мы с тобой

раз десять об этом говорили, все уже, кажется, решили-перерешили...

— Говорили,— согласилась Тимофеевна.— Разговоры разговорами, а думка думкой... Ты ее гонишь, а она с другого боку... Старая я, поди, куда уж мне в эту Москву-то...

— Да какая ты старая! — возмутился Брюханов.— Вот Ксеню в институт проводишь, тогда и о старости подумаем.

— Ох! О-ох! — сказала Тимофеевна сокрушенно.— Боюсь, боюсь... Там, говорят, дух тяжелый... одна хмарь, так, говорят, и давит, так и давит...

— Такой же климат, как здесь... Ну что ты все придумываешь-то? Иди спать, Тимофеевна.

— Ох,— опять беспокойно вздохнула Тимофеевна,— улестишь старуху, с места стронешь, а там, гляди, и приведешь стрекозу какую... А она эту старуху из дому в шею-то, в шею! Известно, какие бабы бодливые после войны пошли. Иди, скажет, старая, откуда пришла... И что я тогда в этой Москве-то? В речку головой? А там, может, и речек-то нету, утопиться негде... Назад ведь хоронить не повезешь? А там, в этой Москве, сказывают, земли-то свободной для простых покойников не осталось совсем, уж если только генерал! А других в печке сжигают и в баночке отдают назад родным, а у меня родных-то не осталось, всех в войну схоронила...

— Глупости ты мелешь, Тимофеевна,— уже всерьез раздосадовался Брюханов.— Какая стрекоза? Какая баночка? Я же тебя просил...

— Ладно, знаем мы эти думки... А что же ты, так бобылем и проживешь? — стояла на своем Тимофеевна.— Знаем мы вас, мужиков-то... Тоже на свете пожила, повидала... знаем...

Разговор на эту тему был не первый и не последний, и Брюханов смирился: Тимофеевна, хочет он того или нет, все равно выскажет наболевшее, и поэтому он попросил ее согреть чаю, и Тимофеевна сразу оживилась. Неторопливый разговор за чаем она любила больше всего на свете и могла провести за ним весь вечер; Брюханов отошел несколько душой, наблюдая за ее воодушевленными хлопотами, хотя пить чай и по-домашнему разговаривать им так и не пришлось. Тимофеевна, натомившаяся в одиночестве и жаждавшая душевной беседы, внеся кипящий чайник и ставя его на стол, простодушно спросила:

— Что, Тихон Иванович, правду, что ли, по радио говорили? Сталин-то вроде захворал, вроде помирать собрался...

— Что ты мелешь? — привстал Брюханов, вначале пропустивший слова старухи мимо ушей.— Как помирать?

— С луны свалился ты, что ли, не знаешь? — изумилась Тимофеевна.— Да как собрался... как все люди, так и он... Постой, постой, куда это ты?

Брюханов бросился к телефону, и Тимофеевна, раз и другой постаравшись его отвлечь, только горестно всплеснула руками; хозяин, до этого покладистый и тихий, помрачнел и все, не отрываясь, что-то бубнил в телефон.

16

Теперь траурные мелодии вплетались в предрассветную мартовскую поземку; мартовские вечера, пронизанные насквозь злой метелью, сыростью и скорбными маршами, неуютно стлались по всем огромным пространствам страны, по ее бесчисленным городам и селам. Уходил не просто человек, с которым страна почти в течение тридцати лет была связана единым током крови, единой нервной системой, единством тягчайших потерь и высоких свершений; уходило время, вознесшееся головокружительным трамплином в будущее, и вся его кровь, и вся его доблесть, и беспримерный подвиг уже застывали в боли и муке в один материк, в один монолит; вдруг не один человек, не тысяча и не миллион, а весь многоликий народ снизу доверху, от безвестных селений и до министерских кабинетов, от не знавшей продыху какой-нибудь задавленной работой колхозницы и до известного всему миру своими открытиями академика, от пахаря, шахтера и сталевара, этих бессменных охранителей могущества государства, до спекулянта, поражавшего крепко подтянувшую живот Россию непосильной ценой на какой-нибудь цитрус или грецкий орех, необходимый больному ребенку; от рязанского или орловского курносого, светлоглазого парня с автоматом в руках и твердым убеждением в своей правоте и значимости, заброшенного исторической судьбой куда-нибудь в центр Европы, в самую круговерть глобальных интриг и хитроумных сплетений, и до ребенка, впервые выведшего хрупким мелком на класс-

ной доске имя *Сталин*,— вся эта масса, вся эта немыслимая огромность была охвачена мучительным желанием понять происходящее. Взвешивая себя и свои возможности, в жарком трепете, который потом отзовется в будущем через пять, и через десять, и через сто лет каким-нибудь неожиданным слепящим всплеском, уходили годы титанических невзгод и свершений, и не только одна страна, весь мир прислушивался к этому подземному гулу с настороженностью и тревогой.

Уходил не человек, с ним уходил определенный этап, и подземный гул распространялся далеко вокруг, вырывался из самых неожиданных, казалось, давно смолкших расщелин и глубин в судьбе народа, сумевшего выстоять в сталинградском аду, а позже подняться до высот ядерного распада и продолжавшего с несгибаемым упорством и беззаветной смелостью идти вперед и вперед нехоженой целиной, неведомым миру непротоеренным путем...

Брюханов, уже закончивший свои обязательные и необязательные счеты с Холмском и всей прежней жизнью, рвался в Москву, но неожиданно опять затемпературила Ксеня, и он, созвонившись с Муравьевым и объяснив ему причину задержки, попросил держать его в курсе дел, и Муравьев теперь звонил ему два-три раза в день, докладывая о наиболее важных текущих вопросах в главке, как бы мимоходом сообщая и о других не менее важных закулисных событиях, но Брюханов все равно не находил себе места. Как у всякого человека, у него были враги, имелись и друзья, но он слишком хорошо знал, какие лихие последствия может в пору безвременья сыграть любая заурядная случайность и его вынужденное отсутствие. Вместе с определенной и в общем-то понятной тревогой за себя душевное состояние Брюханова определяло и другое: всеобщее бремя, и всеобщее ожидание разрешения этого тягостного, томительного состояния, и этот все глубже проникавший во все поры жизни сладкий яд скорби, регулярно выплескиваемый радио и газетами. Брюханов был далек от мысли, что со смертью одного, даже такого, как Сталин, человека все замрет и закончится, но и в него начинал просачиваться этот яд; инстинктивно оберегая себя, свое душевное равновесие, он, оставив дочь на Тимофеевну, подолгу бродил, прощаясь, по городу, родному ему опытом и делами всей его жизни, иногда забредал на самые запущенные его окраины,

в какие-то замызганные пивные, в длинные разваливающиеся бараки, до отказа набитые людьми, на рынок, где жизнь мерилась на рубли и копейки и другой цены не было. В один из таких дней за одним из обледенелых базарных рядов, крытых прохудившимся тесом, внимание Брюханова обратила на себя рослая немолодая женщина в плюшевой шубейке, стаканами продававшая крахмал. Он долго приглядывался к ней, к тому, как всякий раз, получая деньги, она бережно завязывала в узелок помятые рубли; что-то в ее лице, в ее неторопливых руках привлекло внимание Брюханова. Руки женщины, зачерпывая толстым, позеленевшим от старости стаканом крахмал из пестрого ситцевого мешочка, двигались привычно осторожно, бережно и экономно. Им, этим рукам, вроде бы не было никакого дела до трагедий и катаклизмов, сотрясавших мир. В этом пересечении двух совершенно разных плоскостей и заключался тот неумолимый перекресток жизни, заставивший Брюханова напрячься и внутренне сосредоточиться; в конце концов, ведь не Сталин и никто другой в отдельности, как бы высоко ни стоял он по своему общественному положению, а эти, именно вот эти задубевшие от непрерывной работы руки, миллионы и миллионы таких рук, свершали свое непрерывное будничное чудо обновления жизни.

— Почем стакан, хозяйка? — спросил он, шагнув к ней, и, встретив спокойный, равнодушный взгляд, почувствовал всю фальшь своего вопроса; пересилив себя, он постарался по-прежнему прямо смотреть ей в глаза. Ему показалось, что нет ничего сейчас труднее и необходимее, чем выдержать этот спокойный, равнодушный, светлый взгляд; нервы, нервы, одернул он себя, сдвигая брови, стараясь не выдать того, что творилось в душе.

— Рупь стакан,— подворачивая края пестрого мешочка, чтобы удобнее было наполнять стакан, равнодушно повторила женщина.— Всегда был рупь, и сейчас рупь. Брать будешь?

— Нет, спасибо,— ответил Брюханов и, торопливо отвернувшись от нее, пошел прочь.

Вокруг было много людей, все что-то покупали и продавали, все были чем-то заняты, а Брюханов все шел и шел, боясь остановиться. Что-то случилось у него в душе, что-то переместилось, и ему было пусто и не по себе от своего одиночества. «Что есть бог и что есть

смерть? И неужели этот неистовый бег от рождения и до смерти, от начала до конца, и есть конечная и окончательная программа, и цель, и смысл человеческого существования? И все страсти, все надежды, все высокие помыслы — неужели это всего лишь мимолетный миг и все превращается в прах? Кто я и зачем я, если все кончается прахом? И кто есть бог, и зачем он, если он допускает это, если он не может продлить жизнь даже великого человека? Я знаю, все эти мысли от того же страха смерти, и никакого бога нет и быть не может, но он нужен мне, и, значит, он есть для меня. Любому человеку, чтобы жить, нужно что-то устойчивое, вечное, то, что уходило бы своими корнями к самому началу всего, что не имело бы конца, и это чувство, это желание быть всегда и есть бог. В таких мыслях никому не признаешься, но они же существуют? Они же есть и будут. Вот я с жадностью вглядываюсь в лица людей, в освещенные окна, в небо, хмурое, уже вечернее; отчего я так жадно на все это гляжу? Просто боюсь, что могу всего этого не увидеть? Вот вывернется из-за угла какой-нибудь пьяный и ударит ножом, и тотчас все будет кончено, или кто-нибудь выбросит с верхнего этажа кирпич...

Сталин умирает,— напомнил он себе,— это тоже реальный факт, факт непреложный, и, наверное, после всего, что было в его жизни и великого, и жестокого, и необъяснимого пока,— ему трудно и страшно умирать, как всякому смертному человеку. В природе нет исключений, есть единые для всего живого законы, и, значит, не стоит тратить время на поиски смысла жизни; нужно просто жить и стараться сделать как можно больше добра. Спешить делать добро, кто-то об этом говорил... ах, тот художник со своим синим простором на полотне».

Брюханов попытался остановить какую-то машину, но она даже не замедлила ход; он посмотрел ей вслед — исполкомовская машина. Какой-то пустой, холодный, ставший вдруг враждебным и чужим город, наполненные резким ветром улицы и низкое, темное небо без звезд — все угнетало его; в довершение снег стал пропархивать все гуще и гуще, мимо редко горящих фонарей рвано и косо неслась снежная заметь, и город тонул в густо летящем снеге.

Чертыхаясь, отворачиваясь от встречного ветра и сырого снега, Брюханов упрямо брел из улицы

в улицу по направлению к дому; один раз из-за угла ему навстречу вывернулась одинокая фигура и тут же утонула в потоках снега, вторично он столкнулся с молодой парой, лицом к лицу, счастливые, оживленные, они шли, тесно прижавшись друг к другу; Брюханов услышал негромкий смех, и все опять пропало, и только ветер со снегом лепил в лицо. Брюханову казалось, что он никогда не доберется до дому, названий улиц нельзя было разобрать, и спросить, где он находится, было не у кого. Под фонарем Брюханов остановился, повернувшись к ветру спиной, взглянул на часы: шел второй час. «Ну вот,— подумал он даже несколько растерянно,— ни трамвая, ни автобуса, а куда занесло, сам черт не разберет». Странное чувство нереальности происходящего усиливалось; словно не с ним все это происходило, словно не он кружил по городу с забитыми снегом глазами, и кто-то насмешливый и мстительный не давал ему минуты передышки. Теперь было уже совершенно пусто, ни одного человека, ни одного освещенного окна, только снег и метель, идти приходилось чуть ли не ощупью.

В сплошной завесе падающего снега вдруг смутно прорезались зубцы Крепостной стены; Брюханов облегченно вздохнул, дом был в нескольких кварталах отсюда, и через полчаса Брюханов уже шагал по своему переулку, здесь даже меньше вьюжило, под каменной аркой намело большие тихие сугробы; из полуоткрытых ворот ему наперерез метнулась смутная, расплывчатая фигура.

— Это я, Тихон Иванович.

Голос показался Брюханову знакомым.

— Кто?

— Это я, Анисимов...

— Родион Густавович? Что ты здесь делаешь в такую пору?

— К вам приходил, узнал, что вы приехали.— Анисимов подошел вплотную, и навстречу Брюханову метнулись его тревожные, неспокойные, косящие глаза.— Не по себе что-то... А вас все нет, скоро, говорит, должен быть, не звонил, значит, должен быть... Ну, и кручусь кругом, погреюсь в парадном, соберусь уйти и не могу... Думаю, вот-вот вы подойдете. Ваша домработница говорит, контейнер с вещами уже отправили. Как дочке-то, получше?

— Кашель меньше, а вот температура не снижается... Она вот и держит, куда с температурой ее повезешь...

— Да, уж тут лучше повременить, Тихон Иванович, видите, все под богом ходим. А тут росточек крохотный — много ли ей надо! — глядя в лихорадочно-беспокойные глаза Анисимова, Брюханов молча кивнул; оба подумали об одном, но об этом, о главном, что привело Анисимова сегодня сюда, в снежную круговерть, под арку массивного обкомовского дома,— не было сказано ни слова. Брюханов как-то даже не удивился появлению Анисимова, а если и удивился, то только в первую минуту; он и сам был как в лихорадке. Он даже был рад Анисимову, рад был еще одному мечущемуся в ночи человеку, тысячи людей не спали этой вьюжной мартовской ночью, и Брюханов еще раз ощутил единство страны и ее огромность.

— Зайдем ко мне, Родион,— сказал Брюханов, радуясь возможности вообще не ложиться в эту ночь, а провести ее остаток с давно знакомым человеком.

— Нет, нет! — почти отшатнулся от него Анисимов.— Что вы! До меня ли вам! Мне нужно было просто вас увидеть... Пойду, дома ждут, волнуются. Увидел, убедился: мир еще цел, стоит... Ведь стоит?

— Стоит, Родион... И стоять будет...

— Довольны новой-то работой, Тихон Иванович?

— Доволен, Родион, нашему поколению ведь не привыкать к тяжестям. Чем тяжелей, тем привычнее... А может, зайдешь?

— Нет, спасибо. Пойду... пойду,— заторопился Анисимов.— Спокойной ночи, Тихон Иванович, если она может быть спокойной... Пойду! Хотя... Тихон Иванович...

— Да? — живо повернулся к нему Брюханов, остановленный какой-то странной интонацией в голосе Анисимова.

— Я это,— с той же странной отрешенностью сказал Анисимов,— я один все сделал...

— Родион, ты о чем? Впрочем, о чем бы мы ни говорили сейчас, все будет не о том. Лучше помолчи, и давай помолчим вместе... Не надо сейчас ничего мелкого... Время не то!

— А я должен! должен! — нервически повысил голос Анисимов.— Ночь открытых дверей, я хочу все сказать... все нараспашку! Хочу!

Темное мерцание из-под набрякших век Брюханова было как холодный провал, оно неостановимо тянуло Анисимова, и знобящий восторг приподнимал, распахивал навстречу смятенной ночи его душу; какой-то суетливый, юркий, невыносимый человечек бесновался в нем в неудержимом желании досадить Брюханову, во весь голос, не оглядываясь, сказать, что всякой власти приходит конец и тогда наступает час маленького человека, винтика, ха-ха! Это термин того всемогущего, наимудрейшего, а где он сейчас? Ха-ха, там же, где и все, вероятно, уже отправился к праотцам! Ха-ха, и маленький, незаметный человек, винтик, такой, как он, Анисимов, тоже может многое, тоже может пригодиться... Дело сделано, остается лишь ждать расплаты. А другой, обычный, трезвый, расчетливый Анисимов в это же самое время из всех сил удерживал суетливого, злобного человечка, убеждал его, что такая прыть ни к чему ему, столько раз битому жизнью... ох, дьявол, эта ночь, проклятая ночь развязала тайные инстинкты, одна только ночь без остатка и сдернула с человека все обертки.

Многое мог сейчас сказать Брюханову Анисимов, но *тот*, трезвый, расчетливый, и на этот раз пересилил; с поспешной торопливостью Анисимов махнул рукой.

— Пустяки, пустяки все это, Тихон Иванович. Не обращайте внимания, просто такая ночь... что-то в голову вошло... Простите, ради бога... А впрочем, что это я всю жизнь прошу прощения? За что? — он приблизил свое лицо с горящими глазами к самому лицу Брюханова.— У кого? У вас? Да ведь мне и так все принадлежит по праву... Больше, чем вам! С самого рождения! Это вы у меня все отняли! Это вы все чему-то служите, государству, партии, выдумали какой-то долг, честь, совесть, обязанности! А у меня вот сегодня отпущение грехов... за всю жизнь один раз! Себе надо только служить! Только себе! И тому, что где-то там! там! — Анисимов ткнул пальцем вверх, в небо. Он неожиданно круто повернулся и, не говоря больше ни слова, быстро зашагал прочь.

— Может, проводить тебя? — крикнул ему вслед Брюханов, озадаченный до крайней степени; в последний момент он подумал, что Анисимов явно болен и нехорошо его отпускать одного в таком состоянии, но Анисимова уже не было, лишь мелькнула в мутной,

белесой мгле на отдалении его темная тень и тут же исчезла, растворилась.

Брюханов постоял, прислушиваясь, не вернется ли Анисимов, и шагнул в ворота, он и сам едва держался на ногах; Анисимов в это время был уже далеко, шел по самой середине улицы, чувствуя прилив сил и энергии (перед ним неотступно стояло удивленное, рассерженное лицо Брюханова), и слепое удовлетворение грело Анисимова на сильном, пронизывающем ветру. Сейчас Брюханов был дорог ему безмерно, ведь он и проторчал на холоде почти всю ночь потому, что ему пришла внезапно в голову совершенно дикая мысль, что Брюханова уже нет, что он тоже умирает, и эта мысль была настолько невыносимой, что он не раздумывая, даже забыв о телефоне, бросился домой к Брюханову и потом, скрываясь от постового милиционера, терпеливо ждал; это было бы не по-божески, упустить Брюханова в тот момент, когда он уже ясно чувствовал в своей руке его судорожно и бессильно бьющееся сердце; нет, никак нельзя было допустить этого даже в мыслях. Здесь ему нужна безоговорочная победа. «Как же, как же! — думал он лихорадочно, шагая по вымершему, пустому, окончательно засыпанному рыхлым снегом городу.— Как же! В такой момент, когда все рушится, когда все летит в тартарары, в эту беспросветную бездну, опять остановка? До каких же пор? Но все равно я тебя люблю, товарищ Брюханов, люблю, как самого близкого, дорогого мне человека... никого на свете у меня нет дороже! Ты мой, я вложил в тебя частицу своей жизни, своего «я». Он внезапно громко захохотал, пересиливая вой ветра и с усилием заставляя себя остановить свой лихорадочный, беспорядочный бег; ему показалось, что кто-то отозвался в ответ. Он с беспокойством прислушался; город был нем, весь во власти ветра, и снега, и томительной тишины. Анисимов впитывал это ожидание кожей, мозгом, сердцем, и ему казалось, что он сейчас словно срастается намертво с этим безгласным, но живым чудовищем, он и любил, и ненавидел этот город с какой-то жадной, неутомимой страстью. Он захохотал и ускорил шаг, все в нем пело. «Ха-ха-ха! — говорил он себе.— Свобода! Они захотели свободы, а что такое свобода! Что это такое? Все равны, все одинаковы, и всем одинаково сытно и хорошо! Ха-ха! Бо́льшую чушь и нелепость выдумать невозможно, и они сами к этому придут... Да и кому нужна такая свобода, когда

не с кем бороться! И за что бороться! Такая свобода никому не нужна, она хуже любых цепей! Животная, сытая, без страстей жизнь! Ну, нет, вы как хотите, а я по-своему шел и буду идти, хотя бы весь мир встал против меня! Я богаче всех вас, я умею ненавидеть...»

Он шел, останавливаясь, захлестываемый потоком снега и ветра, и не заметил, как оказался на центральной площади города, перед статуей Сталина на массивном гранитном квадратном постаменте; статуя возвышалась на фоне шестиэтажного здания обкома, но сейчас из-за мятущегося снега была не видна, просто какая-то темная, узкая масса, устремляясь ввысь, сливалась там с клубящейся снежной тьмой. Казалось, что именно там, в недоступной, никому не подвластной высоте, идет своя особая жизнь, именно там царит свой строгий порядок и что оттуда, из-за клубящейся мглы, кто-то неотступно наблюдает за ним, Анисимовым. Он даже попятился, такой силы взгляд почувствовал на себе, но тут же вспышка слепой, нерассуждающей ярости толкнула его вперед, и он перешагнул через чугунную цепь, забитую снегом, стал ощупывать холодный, скользкий гранит. Словно привязанный, притягиваемый все той же неведомой силой, приведшей его сюда против его желания, он неотступно чувствовал на себе пронзительный, все понимающий, насмешливый взгляд оттуда, сверху, и ответная сила ненависти разгоралась в нем. Он не мог уйти отсюда, пока не померится силой с тем, кто был там, наверху, в свистящем, несущемся куда-то пространстве. Слепое, безудержное желание разломать, разметать эту груду мертвого камня охватило его; он тщетно пытался нащупать хоть малейшую щель, шероховатость, ломал ногти, скользя по ледяному настывшему граниту; из-под них сочилась кровь, и боль принесла ему на минуту злое облегчение; он все не оставлял попыток каким-нибудь образом осилить камень и вдруг рванулся назад. Ему показалось, что руки его по плечи податливо вошли в постамент и, скованные безучастной, равнодушной, немереной силой, остались в камне и их теперь ничем не высвободить. Ощущение было настолько реальным, что он еще и еще раз всем телом откинулся назад и глухо закричал от страха и бессилия, и только собственный слабый голос в несущейся метели отрезвил его. Он поднес руки к самым глазам, еще не веря в свое освобождение, жадно осмот-

рел окровавленные пальцы, но тотчас же невидяще вскинул голову. Не менее яростный, ненавидящий взгляд *оттуда*, из густой, клубящейся первородной тьмы, хлестнул его. Он почувствовал, что вот-вот упадет, и, собрав все силы, удержался; он даже не опустил голову, бросая новый дерзкий вызов, но уже в следующую минуту ответная злая сила смяла, сокрушила его. Кто-то словно взломал его грудную клетку; Анисимов, хватая враз высохшим ртом воздух, задыхался. «Кончено! — мелькнула мысль.— Нельзя так слепо искушать провидение... все... теперь не подняться...»

Он грузно повернулся и побежал, он точно знал, что бежал, но, оглянувшись, опять увидел себя на старом месте, словно что-то намертво приковало его к настывшему обжигающему граниту. Он рванулся и теперь уже не мог сдержать жалкий, беспомощный крик; его тотчас отбросило назад, смяло, ослепило; точно он был животное или насекомое, он все ощущал лишь кожей; он был смят, растоптан, распят, отторгнут от всех основ, отброшен навсегда от вечно живой воды, и самое страшное было в том, что он по-прежнему не понимал и не принимал ее законов, это было выше его сил и страшнее всего.

Он не помнил, как освободился, не помнил, как улеглась ночная метель и начало светать, город был засыпан свежим, хрустящим снегом. Анисимов попрежнему бесцельно кружил по центральной части города, теперь он то и дело натыкался на людей и, еще издали заметив молчаливую темную фигуру, резко сворачивал в сторону. Ему ни с кем не хотелось встречаться, и он петлял из улицы в улицу, все ускоряя шаги, направляясь к своему дому. Людей становилось все больше, и если вначале они мелькали в пустых улицах редкими одиночными фигурами, то вскоре эти одинокие фигуры стали сливаться в молчаливые цепочки, и теперь ясно ощущалось одно общее движение от окраин города к центру. Анисимов, куда бы он ни сворачивал, теперь оказывался на пути этого общего молчаливого движения, и его одинокие попытки свернуть в сторону были настолько заметными и бросались в глаза, что он все время ловил на себе пристальные, недоуменные, непрощающие взгляды; он заскочил в одну из подворотен с низким сводом, старинной несокрушимой кладки, и попробовал переждать, но и тут оказались люди, его тут же кто-то окликнул: «Эй, дядя, давай не задерживай. Опоздать можно». Окликнувший его, молодой,

в светлой барашковой шапке, нетерпеливо оглянулся, подгоняя взглядом, и Анисимов послушно пошел за ним. Пройдя с полквартала, он опомнился и, затерявшись в группе школьников, приотстал. «Куда я иду? Куда я должен идти? Зачем? — думал он.— Я всегда шел отдельно и буду идти отдельно, пусть их идут, это их забота, а мое дело... остаться собой... А черт... что же это такое?»

Общее течение насильно втянуло его обратно в свою воронку, вынесло на одну из главных улиц и понесло дальше, к тому самому месту, от которого он только что бежал и хотел быть как можно дальше; он сунулся в одну сторону, другую, проталкиваясь в гуще людей, и тяжело, отчетливо почувствовал, что должен подчиниться, что он не вырвется из этих молчаливых, скорбных потоков, что здесь он ничего изменить не может. И он смирился и лишь одного не понимал. «Неужели во всех этих массах людей, неудержимо стекавшихся к центру города, одна, единая душа? — спрашивал он себя.— Неужели все они до единого испытывают к *этому навсегда ушедшему* (теперь он из отрывочных, скупых слов и фраз, сдерживаемых рыданий, доносившихся отовсюду, знал, что произошло, и потому совсем успокоился) такую одинаковую великую любовь, что и лиц не различишь, у них сейчас сделалось одно, единое, общее лицо? Неужели в этих ужасающих своим молчанием в каком-то едином порыве толпах нет ни *одного* голоса против? В это нельзя, невозможно поверить. Или здесь нечто иное и в устрашающем единстве безликих масс эта смерть — еще одно утверждение не зависящих ни от кого в отдельности высших сил, высших ценностей, ненавистных и не подвластных никакому пониманию?»

И, однако, этот же самый, всеобъемлющий, неостановимый, вбирающий все на своем пути порыв захватил Анисимова, и уже на площади, стиснутый колышущимся морем людей, он с болезненным любопытством всматривался в затянутую черным крепом трибуну, вслушивался в скорбно звучащие слова; от этих скорбных маршей, роняемых в морозную тишину речей он почти успокоился, и все в нем пришло в прежнее согласие. Он лишь не мог заставить взглянуть себя вверх, на монумент, сейчас, при свете дня и текущих над ним рваных облаков, он уже не казался таким всеподавляющим и зловещим.

Анисимов вернулся домой в двенадцатом часу бодрым, внешне почти спокойным; несмотря на бессонную ночь, спать ему совсем не хотелось; подумав о том, как недоуменно-вопрошающе встретит его жена, он постучал к соседям. Открыл сам Хатунцев, судя по всему, он собирался уходить, завязывал галстук. У него было осунувшееся, непривычно отчужденное, злое лицо, он сухо поздоровался, всем своим видом показывая, что спешит.

— Какая невосполнимая утрата, какая утрата,— сказал Анисимов, не обращая внимания на отчужденный тон Хатунцева: ему сейчас необходимо было выговориться.— Не спал всю ночь... Не думали мы дожить до этого дня... Ужасно, ужасно... Казалось, с каждым может случиться, но не с ним...

— Он был человек, как и все,— вяло возразил Хатунцев, продолжая возиться с узлом галстука перед высоким потускневшим зеркалом.

— Это и поразительно, все мы забыли, что он смертен, что он всего лишь человек.— Анисимов говорил и говорил все в том же лихорадочном возбуждении, неосознанно надеясь, что тайный смысл его слов хотя бы в самой небольшой малости приоткрылся и собеседнику, но Хатунцеву было не до словесных шарад.

— Родион Густавович, очень тороплюсь, простите.

— Ну-ну, понимаю. Вечерком заходите с Еленой Захаровной... Посидим, в такое время как-то неуютно в миру, лучше держаться вместе.

Резко обрезавшееся, с запавшими глазами лицо Хатунцева передернулось, он будто ждал этого вопроса.

— Мы... с Еленой Захаровной больше не вместе,— сказал он, перебивая, с каким-то злым наслаждением, словно мстя Анисимову.— Разошлись, разъехались... Сняла где-то комнату...

— Боже мой,— совсем растерялся Анисимов,— ну и денек, час от часу не легче.

Хатунцев подошел вплотную к зеркалу, пряча лицо.

— Простите, не знал, душевно сочувствую,— произносил Анисимов дежурные фразы, а мысль его бешено работала, однако добавить что-либо вслух он не решился, но Хатунцев словно прочел его мысли.

— Как все это получилось? — потерянно переспросил он как бы про себя, совершенно другим, опрокинутым голосом, но вспомнил, что не один в комнате, и зло вскинулся. «Постой-ка, постой,— удержал он поток го-

товых сорваться с языка злых обвинений.— Постой... Ведь не кто иной, как он, Родион Густавович Анисимов, сообщил мне в свое время, что в партизанах у Елены Брюхановой был тот случай... когда она самого дорогого для себя человека... Помнит ли Анисимов этот случай? Помнит или забыл?» Хатунцев с чисто профессиональным интересом остро взглянул в лицо Анисимова.

«Да, конечно, помню,— прямо встретил его молчаливый вопрос Анисимов.— Но это же истинная правда».

«Да, это правда! Правда! — подхватил Хатунцев.— Тем хуже. Пусть она будет проклята, такая правда! Вместе с вами!»

— Конец света,— произнес вслух Анисимов, попрежнему не отводя от Хатунцева построжавших, отстраняющих глаз; внезапно вместо закономерного удовлетворения он почувствовал себя старым-старым.— Что происходит, Игорь? Что происходит с людьми и с нами тоже?

— Простите, я тороплюсь,— холодно-настойчиво повторил Хатунцев и, пропуская в дверях Анисимова, посторонился.

На лестничную площадку они вышли вместе, Игорь Хатунцев щелкнул замком и, не прощаясь, стремительно побежал вниз, на ходу застегивая пальто, Анисимов же остался на площадке с резко изменившимся, враз постаревшим лицом. «Действительно, что происходит с людьми? Что все-таки происходит? — думал он.— Куда это годится, как он разговаривал со мною, мальчишка, сам я, что ли, выбрал ему женщину и насильно уложил его к ней в постель? Сам, что ли, он не видел, какую цену придется за нее платить?.. Ах, сопляк! Не мог удержать женщину при всем своем великолепном естественном обмундировании... Не удержал и бесится, виновных ищет. А-а, к черту,— тут же успокоил себя Анисимов,— дело-то сделано, сделанного обратно не воротишь. Как вышло, так вышло, подбросить поленце-другое, чтобы огонь не совсем погас, вот где смысл, вот где сладость власти... А сейчас спать, спать, ровно сутки на ногах в моем-то возрасте...»

Брюханов, Аленка, Хатунцев, Сталин, Захар Дерюгин, далекие и близкие, Елизавета Андреевна с Шурочкой — все перепуталось у него в голове, и он поспешно, с облегчением переступил порог своей квартиры.

На другой же день вместе с Ксеней и Тимофеевной Брюханов уехал в Москву; провожать его пришел один Николай, больше Брюханов никому не сказал о своем отъезде. Когда они прощались, над Холмском в предвечернем небе шли низкие снеговые тучи.

— А я знаю, куда мы едем,— неожиданно заявила Ксеня, закутанная до бровей в серый пуховый платок.

— Молчи, молчи, опять горлышко остынет,— встревожилась Тимофеевна.

— К мамочке мы едем, мы приедем, а она там,— не унималась девочка.— Мне няня говорила.

— Говорила, говорила,— совсем смутилась Тимофеевна, теряясь больше оттого, что все смотрели только на девочку и избегали смотреть друг на друга.

Густо посыпал мягкий, пушистый снег.

— Снежок! Снежок! — запрыгала вокруг чемоданов на одной ножке Ксеня.

— Ах ты господи! Да постой же ты спокойно! Снег, он, как и дождик, к счастью! — ободрилась Тимофеевна этим добрым знаком, расставаясь с последними своими сомнениями.— Ну, с богом, Колюша! — перекрестила она Николая.— Знай, там,— она махнула куда-то рукой,— в этих Москвах тебя ждут... там у тебя родные-то... родней не будет... Приезжай смотри... Да не крутись ты, не крутись, егоза, минуту постоять спокойно не можешь!

Николай кивнул, схватил чемоданы и понес их в вагон; Ксеня, щебеча, старалась набрать полные ладошки снега, но он тут же таял; казалось, Ксеня сразу забыла о матери, вроде бы ее никогда и не было и она только что не вспоминала о ней.

17

Брюханов стоял у гроба Сталина в почетном карауле и каждой порой тела ощущал взмятенные, взбудораженные пространства кругом; столь велико было уходящее, что его уход еще продолжался в живом, оно еще владело живым с такой властной, всеобъемлющей силой, что Брюханова, как и других, иногда охватывало отчаяние. Брюханов почти физически ощущал эти противоречивые, тайные и явные перехлесты; переплетаясь друг с другом в самых неожиданных сочетаниях, они образовывали прочнейшую ткань, способную выдержать любые перегрузки; но даже не

это, *тайное*, сокрытое от многих других, интересовало его сейчас. Он не думал о случившемся обвале в своей жизни, ни об Аленке, ни о Ксене, оставленной на попечение Тимофеевны, его поражала и волновала грандиозность происходящего, открыто выплеснувшегося на дороги страны, на улицы и площади городов и сел, заставлявшего десятки и сотни тысяч очень разных людей бросать все и стремиться пешком, на машинах, на крышах поездов, на попутных грузовиках мчаться к Москве, к одному центру, от которого все шире и шире расходились волны неимоверной силы притяжения.

Был тот момент, когда его внутренняя сосредоточенность достигла предела, понимание происходящего тоже достигло высшей степени прозрения. По сути дела, жизнь Сталина была и его жизнью, ведь осенью стукнет пятьдесят, и уже давно пора оглянуться назад, на прожитые годы.

Брюханов не отрываясь смотрел в неподвижное лицо покойного; он как-то одновременно видел и не видел его, он с необычайной отчетливостью помнил Сталина у гроба Петрова, и хотя это было давно, еще в самом начале войны, сейчас представление о времени исчезло, и Брюханову порой начинало казаться, что это Петров лежит в гробу, а Сталин по-прежнему так же отъединенно и строго стоит у его изголовья, в тяжелой сосредоточенности молча и пристально смотрит на него. Он даже внутренне дрогнул от этой беспощадности жизни, в самом главном для всех установившей равенство; для каждого, исчерпывающего свои лучшие возможности и для не начавшего их тратить, жизнь может неумолимо оборваться в любой срок и час; и в этом есть предостерегающая, очистительная, необходимая мера.

То ли от напряжения, то ли от непрерывно текущей мимо вязкой людской массы с одним невыносимо огромным, одинаковым лицом Брюханову показалось, что лицо покойного слегка тронула близко знакомая, характерная короткая усмешка. Что-то неприятное, нехорошее было в этой усмешке, Брюханов не мог отделаться от впечатления, что покойник усмехается, и теперь старался не глядеть в насупившееся, почти угрожающее лицо Сталина, а глядел только прямо перед собой.

Сработали какие-то скрытые резервы памяти, и Брюханов не только ясно и отчетливо вспомнил Петрова и Сталина, он вспомнил свои собственные, того

часа, ощущения, вспомнил, с каким выражением лица Сталин передавал ему пакет с бумагами Петрова; по крайней мере теперь кончилось это невыносимое ожидание, раздвоенность своего «я», хотя бы не нужно гадать, чем все это для него кончится. Напряжение пережитого опять ворвалось в него, подчиняя и закрепляя то состояние души, когда главным является не то, что происходит извне, пусть это даже происходит с целым народом, а только то, что происходит в тебе самом; весь мир с его страстями, печалями и болью, со всем своим трагическим несовершенством опрокидывается в тебя, и это и есть самый подлинный ты сам, хотя ты никогда не узнаешь себя и не признаешься себе в этом.

Годы шли слитной, неразнимаемой чередой, приливали и отливали нескончаемые людские потоки, плыли по выстуженным улицам вечного города траурные марши. Так совпало, что этой в общем-то совершенно закономерной смертью заканчивался в его жизни определенный и тяжкий круг и начинался новый. Пятьдесят лет словно слились, спрессовались в один слепящий миг, в один горячий толчок крови. Да, ему есть в чем упрекнуть себя в свои пятьдесят, ему всегда не хватало бесстрашия, одержимости, как Петрову, что ж, из песни слова не выкинешь. Однако он никогда не делал того, за что дальше нельзя было бы уважать себя, никогда не перешагивал невидимую черту, определяемую каждым, прежде всего его собственной совестью. Да, он, вероятно, не сделал того, что мог бы сделать, но какая мера узаконена именно на этот случай? В том и дело, что такой меры нет, у Захара Дерюгина она своя, у него — своя; пролетевших пятидесяти лет ему нечего стыдиться, раз был посев, будет и жатва, это неизбежно, у каждого когда-нибудь наступает своя жатва. Его всегда тянуло к мартену, к кислому запаху железа, к конкретным, зримым вещам, к реальности, а пришлось вот полжизни провести на посевных, в вечной гонке плана, совещаниях и отчетах, пришлось делать все то, что не оставляет реальных следов, ни своей диссертации, ни монографии, ни выточенной своими руками стальной болванки... Не оттого ли чем дальше, тем больше разрастаются в душе неуверенность и тревога? Из-за того, что слишком глубоко заглянул в себя? Кто сменит вот этого, казалось, бессмертного и несменяемого человека, так покойно застывшего в своем последнем уединении? Даже нельзя представить себе, что в этом

беспомощном сейчас теле когда-то кипели могучие, нередко неожиданные и необузданные страсти, что в критические моменты истории человек этот тем не менее мог безраздельно подчинить себя главным национальным интересам народа. Кто-то же должен его сменить? Но кто бы ни пришел на смену, ему достанется непростое наследство. История не раз и не два знала вот такие трагические разрывы во времени, но это всегда происходило по вполне определенным, конкретным законам, когда одна эпоха полностью изживала себя и в жизни появлялись новые, более прогрессивные силы. Там все понятно. А здесь? Здесь все главное остается... Может быть, этот неистовый, жестокий человек, любивший у себя дома, на даче, ходить в подшитых, стоптанных валенках, этот властный политик, *савонарола действия*, просто боялся соперника рядом? А может быть, никакого прямого преемника и не нужно, и быть не может, потому что вся программа на будущее уже неискоренимо заложена в самой партии?

Брюханова тревожило какое-то смутное воспоминание, он задержался взглядом на лице покойного; в нем ничего не переменилось, то же полное успокоение, та же отрешенность от всего живого. Возле рук с узловатыми желтыми пальцами густо лежали свежие, крупные розы, белые, алые, красные, так любимые покойным в жизни, и у Брюханова подступило к глазам предательское тепло. Мгновенно и ясно он вспомнил эти руки, но живые, исцарапанные до крови, полуоткрытую большую веранду, южный вечер, теплый, густой ветер с моря, и Сталина, чуть в стороне от других что-то говорившего Рокоссовскому; Брюханов вспомнил именно тот момент, когда Сталин неожиданно для всех сошел с веранды в розарий и скоро вернулся с большим букетом только что сорванных роз и протянул их Рокоссовскому.

«Мы вас обидели, товарищ Рокоссовский,— словно опять прозвучал в ушах Брюханова глуховатый голос покойного,— но вы оказались выше личных обид. Спасибо вам».

Вот тогда и бросились в глаза исцарапанные в кровь руки Сталина, но тогда это вызвало лишь легкое, мимолетное удивление, потому что все внимание было сосредоточено только на словах Сталина, на том, что они именно в этот момент могли означать. Жизнь маршала Рокоссовского, как всякого очень талантливого челове-

ка, в общем-то трудная и стремительная, была хорошо известна ему, Брюханову, и слова Сталина можно было приложить к самым разным этапам и обстоятельствам пути Рокоссовского, но теперь, когда Сталина уже не было и когда вспомнился теплый, южный сентябрьский вечер, Брюханова больше всего поразили и даже встревожили такие бессильные сейчас, узловатые руки покойного; вдруг в голове образовался совершеннейший кавардак, почему-то именно эти мертвые, совершенно бессильные теперь руки вызвали невероятное количество самых противоречивых, казалось бы, неожиданных и исключающих друг друга воспоминаний и чувств, у него предательски закружилась голова; Брюханов почти насильно заставил себя отвести взгляд от рук покойного и стал неотрывно незряче смотреть на плывущие мимо нескончаемые скорбные потоки живых.

Время, проведенное у гроба Сталина, оставило у Брюханова ощущение шороха шелка траурных знамен, нескончаемого шарканья тысяч ног непрерывно движущихся мимо постамента людских потоков, одуряюще пряного запаха роз. Лицо покойного и ощущение собственной своей слитности с его жизнью, с его эпохой увиделись как-то совершенно по-иному, хотя и здесь главного, того, что ему необходимо было определить и подытожить, он сделать пока не мог. Когда к гробу подошла очередная смена почетного караула, Брюханов вначале не понял и замешкался; ему казалось, что он только что поднялся на возвышение у траурных знамен и что он обязан стоять здесь столько, сколько будет находиться здесь покойный, что не все еще внутренние необходимые связи с ним выверены; но едва он отошел от гроба Сталина и смешался с живыми, знакомыми и незнакомыми людьми, внешне сдержанными, закованными в скорбное молчание, но внутренне собранными, напрягшимися, клокочущими, готовыми в любой момент к самым энергичным действиям, он сразу почувствовал опустошающую усталость. Тихо, приличествующе случаю, он поговорил с двумя-тремя знакомыми секретарями обкомов, с начальником смежного главка; тот, с нездоровыми, воспаленными глазами, в свою очередь спросил о чем-то у Брюханова; кто-то еще один, другой и третий попытались узнать у него то, чего он не знал и не мог знать, и сам он попытался узнать у них то, чего они тоже не знали, не могли знать или не хотели сказать.

Час спустя он оказался на улице; и он совершенно затерялся, растворился в этом необъятном безбрежье; казалось, уже незачем и невозможно возвращаться к каким-то привычным делам и обязанностям; куда бы он ни повернул, все улицы были заполнены народом, и скоро он понял, что попал в медленное-медленное, почти незаметное, но угрожающе мощное течение; он стал каплей в этом живом разливе, сотрясающем камень мостовых, и не хотел иного. Ему казалось, что и сам он, и сдавившие его со всех сторон массы людей неподвижно стоят на одном месте, но стены домов неуловимо медленно проплывали назад; он видел вокруг мужские, женские, совсем детские лица, но в своей сосредоточенности, в своем желании определенного движения все это было одно лицо; солдаты, стоявшие вдоль домов, в подъездах, на перевернутых грузовиках, в редких, свободных от движения местах бросали длинные ремни тем, кто пытался, теряя сознание, выбраться из неостановимого потока и не мог; некоторых солдаты выдергивали в безопасное место, но разгоряченный, неотвратимо нарастающий людской поток продолжал катиться дальше. Несколько раз попытавшись пробиться куда-нибудь в сторону, Брюханов обессиленно и растерянно покорился общему движению. Никто не видел, никто не замечал его усилий, людская волна немыслимой плотности продолжала нести его в узком горле улицы; слитый, негромкий, непрерывный гул перекрывал любой отдельный голос, требующий чуть расступиться, дать проход, никто никого не слышал и не обращал ни на кого внимания. Здесь не было ни одного отдельного человека, а была одна неразделимая, неразнимаемая *масса*, сейчас даже подумать нельзя было, а не то чтобы двинуться ей наперекор. Знакомые улицы Москвы, превратившиеся сейчас в неостановимые людские потоки, взрывались на своих слияниях и стыках немыслимыми водоворотами, чудовищным напряжением. Зябко вобрав голову в воротник, Брюханов, проклиная свою опрометчивость и в то же время чувствуя какую-то непреодолимую внутреннюю потребность своего участия в этом движении, по-прежнему не мог осмыслить его масштабов. После очередного узкого места ему едва не сплющили грудную клетку, показалось, что это и есть конец, что он уже не увидит дочку, что...

Он почувствовал у себя на плече тяжесть, и, не в состоянии выпростать зажатых рук, лишь с отвраще-

нием повел в сторону головой, пытаясь отодвинуть хоть немного от себя постороннюю, неприятную тяжесть, но ничего не получилось. Насколько можно было, он повернул голову, скосил глаза и похолодел; теперь он не только увидел, но и всем телом почувствовал, что рядом с ним движется женщина, вероятно, уже давно потерявшая сознание. Брюханов понял это сразу, инстинктивно,— общее движение не выпускало ее и каким-то образом прибило наконец к нему, Брюханову, и она теперь нижней частью лица давила ему на плечо; Брюханов близко видел ее застывшие, почти спокойные губы, и только в неестественно высоком изломе бровей, в полуоткрытых глазах застыли крик и страдание. Он беспомощно огляделся, пытаясь сообразить, что можно сделать, но мог только пошевелить головою, а голоса его не услышали бы и самые ближайшие соседи. Однако он раз и другой хрипло окликнул женщину, даже попытался выпростать руку, чтобы поддержать ей голову, но тут же плечо ему свело мучительной судорогой; он поглубже, сквозь стиснутые зубы, втянул в себя воздух, едкий, густой пот разъедал глаза; сейчас, чтобы не вызвать взрыва смятения, нужно было молчать, и он продолжал некоторое время двигаться молча.

Близился уже вечер, на лица людей ложились густые тени; еще молодая женщина с растрепавшимися, выбившимися на лицо волосами продолжала двигаться вплотную рядом с Брюхановым, и, что было тяжелее всего, глаза ее были по-прежнему полуоткрыты; как ни странно, сам он нашел силы справиться с собой, к нему опять вернулась способность думать и хоть как-то оценить положение. Нет, слепая любовь и вера не смогли бы взметнуть вот это устрашающее, глубинное движение, думал он, это, очевидно, и есть неразрывность эпохи...

От нестерпимого ощущения удушья, тесноты, от невозможности хоть чем-нибудь помочь женщине, от желания как-то отделиться от нее он едва сдерживался, особенно когда пришедшие в совершеннейший беспорядок волосы женщины касались его лица, и изо всей силы старался отстраниться, насколько это было возможно. Еще и еще раз попытавшись отодвинуться, неловко скосив глаза, вдруг увидел перед собой мертвую усмешку Сталина и его полуоткрытые, пустые глаза...

«Нужно выдержать,— приказал он себе, повторяя это бессчетно, как молитву, как заклинание,— нужно выдержать, нужно выдержать»,— говорил он себе, и это

помогло; вместо усталости, удушья и озлобления, какого-то животного, непередаваемого ужаса перед свершившимся и своим полным бессилием что-либо изменить пришли спокойствие, уверенность, уверенность, что он выдержит, должен выдержать. «Да, мы идем, все идем,— думал он,— одно течение, одна бесконечная волна. И самое главное — идти, идти, не останавливаясь...»

Он не заметил за своими мыслями, как от него отделилась так и не пришедшая еще в себя женщина, он лишь почувствовал, что ее не стало.

А к вечеру его все-таки опять пронесло мимо гроба Сталина; вернее, его не оставляло чувство, что его проносит какая-то посторонняя сила, хотя здесь также размеренно-скорбно плыли траурные марши и размеренно-четко менялся караул; волны разбушевавшейся, взбаламученной стихии не доходили сюда, и здесь Брюханов шел сам с больным, измученным и постаревшим лицом, едва передвигая отекшие, чугунные ноги. Сейчас он почти не приглядывался к лицу Сталина, попрежнему возвышавшегося над морем голов в слегка притушенном, искусно декорированном свете прожекторов, да оно и не было ему нужно сейчас, это отрешенное от всего живого, загримированное, приведенное в соответствующий порядок лицо. С Брюхановым уже произошло то, что было выше, необходимее, сильнее любой смерти; в эту ночь он впервые с такой знобящей ясностью, плотски достоверно узнал, понял, ощутил, что народ действительно есть и что поэтому есть и бессмертие.

18

В этот же день Лапин несколько раз звонил Брюханову, потому что пропуск для прощания с телом Сталина можно было получить только через него, но всякий раз натыкался на Вавилова, и тот задерганно отвечал, что и рад бы, да ничего нет, что все разошлись, просил позвонить через час-другой, неуверенно предполагая, что, может, и образуется какая-то брешь или появится сам Брюханов, многими разыскиваемый с самого утра.

Пробиваться к Колонному залу на собственный риск и страх в беспредельных массах людей было безумием, и Лапин без цели бродил по коридорам института, заглядывал в лаборатории, где, конечно, никто не работал. Наконец уже во второй половине дня позвонил сам

Муравьев и нервно сказал, что пропуска получены, но только действовать надо срочно, не теряя ни минуты, объяснил, к кому обратиться, и Лапин, коротко поблагодарив, в свою очередь заспешил, и скоро уже его машина, снабженная специальным пропуском, медленно двигалась по забитым народом улицам, то и дело увязая в плотных людских водоворотах; Лапин подумал, что это похоже на неожиданный катаклизм, когда силы космоса, находящиеся всегда в строгом и стройном течении порядка, взбунтовались и нельзя понять причины этого, хотя причина, пусть самая глубинная, пока непознанная, имелась и не могла не иметься.

Лапин и сам себя не понимал, зачем ему нужно было весь день добиваться пропуска, когда факт смерти уже наступил и там, куда он так стремился попасть, не присутствует ничего, кроме мертвого тела; почему он, уверенный только в одном, в неисчислимом богатстве форм материи, неожиданной усмешкой которой являлся и сам разум с его неизмеримо ничтожными возможностями по сравнению с бесконечностью, творящей все новые и новые формы, он, преклонявшийся только перед одним богом — перед знанием, позволявшим даже в короткой вспышке человеческой жизни понять и осознать само бессмертие, почему же он так взволновался и требовал какого-то пропуска и теперь вот движется и не движется в вязких, донельзя переполненных народом улицах, чтобы увидеть то, что было когда-то определенным образом организованным сгустком живой материи. И сколько он ни спрашивал себя: «Почему?», он не мог ответить сколько-нибудь точно, потому что после обдумывания (машина двигалась медленно, и времени хватало) отвергал вариант за вариантом ответа этому «почему?». «Потому что невольно подчинился общему настроению,— досадливо думал он.— Но ведь и это слишком примитивная отговорка, право, смешно. Или это тот случай, когда огромное количество людей невольно объединяется, чтобы хоть как-то утвердить себя перед неосознанной тоской и горечью исчезновения не просто самих себя, а чего-то огромного, сделанного вместе?»

Лапин рассеянно скользил по лицам, молодым, старым, женским, мужским, совсем детским, иногда в поле его зрения попадала лошадиная морда с косящим, сумасшедшим зрачком, иногда кто-то наклонялся к стеклу и требовал пропуск, и он показывал,

но все это делалось почти машинально и почти не фиксировалось сознанием. Но в одном из мест, где машина, ползущая за какой-то другой (Лапин четко видел номер «МК 00—34»), попала в водоворот, образованный двумя бурлящими людскими потоками, выпиравшими из двух пересекающихся улиц (их не смогли удержать двойные, плотные оцепления солдат и конной милиции), Лапин почти совсем рядом увидел какое-то до странности знакомое лицо; оно также вначале мелькнуло мимо сознания, но он тотчас высунулся из машины и закричал:

— Сева! Сева! Ростовцев!

Он крикнул так громко, что Ростовцев услышал и оглянулся; в это время солдатам удалось водворить на место опрокинутые грузовики в жерле одной из улиц, беспорядок начал рассасываться, и машина тихо двинулась дальше. Лапин открыл дверцу и почти силой втянул в машину Ростовцева; тот был без шапки, весь всклокоченный, тяжело дыша, он измученно откинулся на спинку сиденья.

— Ты с ума сошел,— сердито сказал ему Лапин.— Что ты здесь делаешь?

— А ты? — слабо отмахнулся Ростовцев.

— Я! Я! У меня специальный пропуск.— Лапин с тревогой всматривался в измученное лицо художника.— Я официальное лицо! А ты чего не видел? Нет, невозможно! Слушай, правь, Антоныч,— обратился он к шоферу,— куда-нибудь в сторону, выбирайся из этой кутерьмы. Покойники не обидчивы, не попрощаемся, ничего...

Шофер выразил сомнение, что удастся свернуть, а Ростовцев, наконец отдышавшись, стал приводить в порядок растерзанную одежду. Встретив внимательный взгляд Лапина, как бы отдаляясь от всего вокруг, он ушел в себя; дождавшись первой же остановки, он встрепенулся, открыл дверцу и, выбираясь из машины, сказал Лапину:

— Знаешь, Ростя, ты как хочешь, ты посмотри, ведь что-то совершенно непостижимое происходит, что-то таинственное, языческое, мне надо в самую душу этого таинства заглянуть, в самую его древность, в самое детство. Я должен со всеми быть. Ты уж меня прости, не могу.

— Ты глупости говоришь,— испугался Лапин.— Кому нужны сейчас твои дикие теории? Ты, верно, не совсем здоров, давай сейчас же в машину обратно!

— Поезжай, поезжай,— быстро ответил ему Ростовцев с растрепавшимися седыми лохмами.— У нас в этом все разное... поезжай!

Лапин, еще попытавшись его удержать, не смог; сердито насупившись, он откинулся на спинку сиденья, а Ростовцев, тотчас захваченный плотными людскими массами и безжалостно сдавливаемый со всех сторон, сам как бы даже и не предпринимал никаких усилий двигаться, его несло общее усилие и движение, и хотя ему было трудно дышать и подступала дурнота, он постепенно начинал чувствовать свое полное и окончательное слияние с общей массой и все сильнее понимал, что этот изнуряющий путь жизненно необходим ему. Какое-то странное волнение охватило его, была словно одна пронзительная нота, наполнявшая все его существо, один бесконечный вздох, втянувший его вместе со всеми массами людей, домами, машинами, площадями, со всем городом в какую-то гигантскую разреженную воронку, но в то же время оставалось сильное, неотпускающее чувство необходимости, именно необходимости своей причастности к происходящему. Его не покидало ощущение, что именно в *этот* момент, именно *сейчас* он узнает о жизни и о себе что-то такое, чего он так и не узнал, хотя стремился к этому знанию все время, с тех пор как помнил себя. Должна была быть какая-то завершающая точка, рубеж, и за ним неведомые, но прекрасные, открывающие смысл всему и все озаряющие дали, и он жадно, стараясь ничего не упустить, всматривался в лица людей, искаженные горем и желанием облегчить его упорным стремлением пробиться вперед к тому *нечто*, чего они сами не могли понять и объяснить, но во что бы то ни стало хотели прикоснуться к нему хотя бы взглядом.

«А что, если не здесь,— толкнула его неожиданная мысль,— на всклокоченных улицах, и не сейчас нужно искать объяснение тому, что происходит?» Но вопрос этот остался без ответа, Ростовцев даже не смог пошевелиться, он неумолимо втягивался в единоборство со всем миром; все его стройные и строгие представления о жизни и смысле ее неудержимо рушились; в чем же, в чем тогда нетленная красота, служению которой он положил всего себя, но что происходит, что происходит? Или разум и гордость человека простираются только до определенных границ? Толчок — и опять главенствует инстинкт, темные, необузданные страсти? — спрашивал

он себя, стараясь лишь удерживаться на ногах. И сколько можно же слушать высокого, тучного мужчину с обвисшими щеками, почему-то все время пытавшегося говорить о своей скорби.

— Жена-то, жена моя в обмороке,— твердил он, этот скорбный гражданин.— От горя ее свалило, а я вот здесь, иначе не мог... ужасно... Жена, как услышала, третий день лежит не поднимается, а я вот здесь, видите ли, иначе не мог... Спиридон Иванович Марянин я, счетный работник... рад знакомству с интеллигентным человеком. Что же будет? Что будет? Все рушится... Посмотрите кругом... как дальше жить?

Страдальчески кося глазом, Ростовцев, выбранный неизвестно почему в духовники, кивал Марянину, думая о своем; что ж, есть такие, не могут оставаться один на один со своим горем и несут его на общий торг; Ростовцев начинал все сильнее уставать, но новая, неожиданная мысль, что не может быть так, что лишь он прав, а все это человеческое море кругом впало в одну и ту же ошибку, отвлекла его. Но чем больше он думал в этом направлении, тем неяснее и таинственней становилось происходящее. Если в одном человеке заключалось все добро и гармония мира, то чего же тогда стоят тысячелетия цивилизации? Или все они, эти прославленные эпохи высочайших духовных и художественных достижений, накручены вокруг пустоты, вокруг вечного зияющего провала, бесследно поглощавшего поколение за поколением?

Он сам испугался своей мысли, поднял голову; близился вечер, серое небо, казалось, придавило землю, от дыхания десятков тысяч людей, от их испарений все вокруг было пронизано какими-то особыми, удушающими волнами, с каждой минутой все труднее становилось дышать, особенно когда Ростовцева безжалостно сплющивала еще одна, хаотически, судорожно прокатывающаяся через массу людей волна, свинцово стискивающая их, без того спрессованных в одно целое, в один однородный монолит. К Ростовцеву в такие моменты подступал холодный ужас; он словно попал в иной, незнакомый ему мир и оставался один на один с чужой, враждебной, не знавшей никаких законов и установлений волей; но это одиночество среди колоссального скопления людей в чем-то поддерживало его, и если раньше его охватывало бессильное отчаяние, если вначале он с какой-то высокомерностью наблюдал все это

скопище людей, то теперь он начинал удивляться им, и сумасшедшая мысль остановить мгновение, противопоставить его хаосу, смерти, написать *великую* картину все настойчивее начинала бродить в нем. Все чаще и чаще прорезывалась то одна, то другая деталь картины, уже включились в работу защитные силы организма, и он судорожно обхлопал свои карманы, не находя карандаша; остатка жизни ему должно хватить на картину, а раз так, то он будет, останется жив, значит, он вышел на улицы вечного города сегодня не зря и не зря все то, что происходит здесь, в огненно-раскаленном горниле под наименованием *Москва*, и теперь только надо не растерять, не утратить ни одной краски, ни одной капли увиденного...

И еще множество всяких мыслей, путаных, неясных, бродило у него в голове, но все они теперь были второстепенными; то в одном лице, то в другом он обостренно выхватывал характерную черту, деталь, в голове начинал составляться божественной чистоты и гордости образ, олицетворяющий главную его идею, он видел и далеко, бесконечно прозревающие глаза, видел уже все лицо, уже подчеркивал в нем легкую асимметричность.

Он непонимающе обернулся на тоскливо бубнивший голос человека с обвисшими щеками; Марянина опять прибило к художнику, и он, обрадовавшись знакомому лицу, снова напомнил о жене, лежащей третьи сутки в беспамятстве.

— А я не мог, видите ли, не мог... я вот здесь... знаете, у нас в проектном институте...

— Да зачем вы здесь? — с явной неприязнью бросил ему Ростовцев, досадуя на неожиданную помеху и в то же время упираясь ладонью в чью-то спину.— Лучше бы помогли жене...

— Да кто вы сам такой? — неожиданно повысил голос Марянин, и щеки у него приподнялись, вздрогнули.— Я давно за вами наблюдаю... у вас отсутствующее лицо, простите, вы общего горя не чувствуете... я не мог, должен почтить великое... оно всю мою жизнь осветило...

— Неужели? — не удержался Ростовцев, с каким-то детским тщеславием отмечая, что его новый знакомый тотчас попытался отодвинуться подальше, но не смог и беспомощно завертел головой.

— Сами-то вы зачем здесь? — спросил он зло и грубо.— Вас-то, в такие годы, кто на улицу вынес?

— А вас? — тотчас с каким-то задорным оживлением и даже некоторой теплотой к этому желчному и недалекому, видать, человеку отозвался Ростовцев.

— Как вы смеете! — повысил голос Марянин, совсем багровея, но тотчас что-то случилось, Ростовцева подхватило и метнуло в одну сторону, а Марянина в другую, поток разделился; Ростовцева затиснуло в какой-то переулок, уже до этого плотно набитый людьми.

— Смею, смею,— тихо и задорно сказал себе Ростовцев, чувствуя свое полное освобождение от власти толпы и от этого еще больше укрепляясь в своем просветлении и примирении с этими взбудораженными массами, от них, однако, он был неотделим, их воля диктовала сейчас и его поведение. Предчувствие того, что к нему должно прийти что-то *великое, вечное*, не оставляло его. Вдруг ему показалось, что низкое, тяжелое небо распахнулось, и дома раздвинулись, и стало легко и просторно; но в следующий миг, когда в переулок втиснулась под напором ворочающаяся в каменных берегах еще одна волна, Ростовцева неудержимо понесло к какой-то стене, ударило об нее; он видел вначале ломаный, плотный ряд молодых солдат с ремнями и, часто хватая ртом воздух, с трудом проталкивая его в почти сплющенные легкие, еще пытался бороться с рухнувшей на него тьмой; он сделал усилие выбиться вверх и уже мало что помнил; какие-то неясные голоса словно зашелестели в нем, и полоса сплошного мрака, постепенно светлевшая в середине и дальше, к самому горизонту, стала редеть, и, когда стало достаточно светло, он понял, что это река, тихая, свежая, в мелких волнах, с крутым правым берегом, увенчанным большим многохрамовым городом... В небе были частые облака, и стрелы солнца падали на город-крепость редко и длинно. Но не это поразило и заставило сильнее забиться сердце Ростовцева; по самой середине реки в челне стремился к нему *Гонец*, и Ростовцев сразу понял, что это *Гонец*, он приближался, и становилось светлее и просторнее; темный челн на свинцово-зеленой волне распространял вокруг себя тревожное ожидание, и небо затянулось тучами окончательно, и город-крепость на другом берегу реки теперь был виден неясно и расплывчато. *Гонец*, старик с длинной бородой, сидевший на корме угнувшись в какой-то своей неизбывной, тяжелой думе, поднял голову и взглянул мимо гребущего одним веслом молодого парня на Ростовцева, и тотчас

все вокруг стало меняться; темные, мрачные, тревожные тона слабели и вместо них пробивались золотистые, радостные, аквамариновые: сноп лучей накрыл челн, борода *Гонца* вспыхнула тусклым серебром, засияли кровли храмов крепости-города, и во всю мощь открылись солнечные пространства, во все бескрайние концы, и над челном, медленно и неотвратимо приближавшимся к берегу, появилось золотое сияние. Ростовцев метнулся навстречу в каком-то смутном ожидании. Челн мягко ткнулся в берег, и *Гонец* со сбившейся от ветра бородой встал и протянул в сторону Ростовцева руку, и тот не мог оторваться от его сурового крестьянского лица, уже готового *открыть свою весть,* и показалось Ростовцеву, что он слышит какие-то слова...

Плывущее, неровное пятно появилось и разрослось над ним; Ростовцев, окончательно приходя в себя, увидел прямо над собой безусое, мальчишеское лицо, показавшееся ему болезненно родным. Оно проступало все яснее и яснее, и в какой-то момент у Ростовцева опять перехватило дыхание, кожа на голове словно взялась изморозью, и у него с губ уже было готово сорваться заветное слово «сын», но... туман таял, проходил, и Ростовцев уже знал, что перед ним просто молодой солдат. И все равно теплые, благодарные слезы хлынули в нем, хлынули где-то внутри души, омыли ее и очистили окончательно.

— Ну вот, еще один очнулся,— обрадованно и тихо, точно самому себе, сказал солдат.— Вставай, папаша... Сидел бы ты лучше дома.

Он велел Ростовцеву оставаться в просторном подъезде какого-то учреждения, еще раз испытующе окинул взглядом Ростовцева и вышел; Ростовцев, чувствуя слабость, разбитость всего тела, не обращая внимания на окружающих, закрыл глаза; ему хотелось опять хоть на минуту увидеть *Гонца,* и золотое сияние неба, и древний город-крепость на берегу реки.

19

Этого нельзя было предполагать и предвидеть, но то, что случилось, случилось, и земля сейчас была окутана слепящим вихрем слухов, предположений, горя, надежд, политических прогнозов, внезапных глобальных катастроф, и все это было связано с од-

ним коротким словом: *«Сталин»*. И в президентских дворцах, и в парламентах, в подземных лабиринтах хранилищ концернов, где жирно поблескивали груды золота, там, где, по существу, рождалась, оттачивалась, откуда затем торжественно и неукоснительно провозглашалась воля президентов и правительств (ей всегда пытались придать значение «воли народа»), нервно прислушивались, а не подвигается ли сейчас сама земная ось, не смещается ли самый центр тяжести.

Брюханов шел по Москве, уже где-то далеко-далеко от центральных улиц и площадей, и вокруг по-прежнему кипело многолюдье. Он сейчас брел безо всякого направления и смысла; смысл был только в самой непрерывности движения. Почти сутки он был на ногах, почти сутки не ел, но голода как-то не ощущалось; что-то парализующее, цепенящее его волю мешало ему наконец выбраться из людских водоворотов и вернуться домой, в обычное русло, в привычную колею. Мучительное нарастающее беспокойство, несмотря на усталость (он едва держался на ногах), гнало его дальше из улицы в улицу, ему необходимо было подавить этот непрерывно разгоравшийся и мучивший его центр, чтобы он, этот центр, не взорвался от перенапряжения и не разрушил в нем окончательно все основы.

Болезненный женский крик в отдалении словно ударил его, он больше инстинктивно рванулся на помощь и бессильно обмяк, стало трудно дышать, горячая пелена застлала глаза; он опустился на какие-то каменные ступеньки. Опять накатила волна усталости, безразличия ко всему, ко всему на свете, захотелось опуститься прямо в снег, схватить губами его утоляющую прохладу, лечь, и не двигаться больше, и ничего не чувствовать, не видеть, перестать ощущать людскую боль, разлитую вокруг. Он устал, с него хватит...

— Встаньте, на камне нельзя сидеть, вы замерзнете, встаньте, прошу вас!

Он с трудом разлепил свинцовые веки; спать... кто там еще... зачем его опять трогают... он же просил оставить его в покое... он никому не мешает... спать...

— На вас лица нет... Где ваша шапка, вы же замерзнете, встаньте...

Женщина лет тридцати пяти, как ему показалось, очень похожая на Аленку, изо всех сил трясла его за плечи. Она чуть не плакала от досады, стараясь его

поднять, не отводя от него расширившихся болью и страданием зрачков.

— Да встаньте же! Ну, вот так, ну, еще... совсем немного... Здесь недалеко... несколько шагов... за углом... Ну, вот так, молодец, обопритесь на меня...

Они были сейчас совершенно одни в мире, хотя их по-прежнему обтекал непрерывно движущийся, нескончаемый, вязкий людской поток, и Брюханов механически переставлял ноги, следуя приказаниям ее маленькой крепкой руки; жаркая пелена по-прежнему застилала ему глаза, он шел на ощупь, ничего не видя перед собой; ему казалось, что эту женщину он знает давно, тысячу лет, с тех пор как помнит себя, вот только долго ее не видел. И она, крепко ухватив его за рукав, осторожно вела по кривым незнакомым переулкам к дому. Она видела, что человек этот бесконечно, смертельно устал и находится на той самой грани, когда ему все безразлично, когда он уже не живет, но еще и не умер и когда любое неловкое движение может толкнуть его и в ту и в другую сторону. Какая-то странная, тревожная тень копилась, дрожала в его неподвижных зрачках, и тусклый свет фонаря отражался в самой их глубине.

— Зачем их столько... зачем они все идут? — скорее поняла, чем услышала она, теперь он уже совершенно не сопротивлялся ее воле и послушно поднимался по закопченной старой лестнице деревянного дома.

Вверху, под потолком, в пролете второго этажа, тускло горела пыльная лампочка, забранная в мелкую металлическую сетку. Щелкнул замок, он тяжело шагнул за нею через порог.

— Вы же до костей продрогли... сейчас... сейчас... приготовлю чаю... Господи... скорей бы кончилось это безумие... Ну вот так... сюда, на диван. Я включу сейчас рефлектор... Сейчас вы согреетесь...

Его знобило, с горячим ознобом стыда за свою беспомощность он прислонился к спинке кожаного дивана, послушно разрешил набросить себе на плечи старенький плед... Вспыхнувший свет на мгновение ослепил его, она прикрыла лампу какой-то косынкой, и мягкий полумрак окутал его, и опять кругом все исчезло и они остались совершенно одни. Ему вдруг показалось, что это Аленка рядом с ним; мучительно ясно представилось ее лицо и тело; он потряс головой, наваждение не проходило.

— Отпусти себя,— тихо сказала женщина, сумереч-

но и влажно жили своей жизнью глаза, и он все больше подпадал под их притягательную власть. Она была рядом и в то же время ему не мешала и окружала его со всех сторон. От нее исходила какая-то тишина, тишина и мягкий, ровный покой. Боже мой, как он устал и как давно ему не хватало этого покоя и тишины... Вырвать, надо давно вырвать мучительную, доводящую его до исступления боль об Аленке, сидевшую в нем постоянной саднящей занозой, вырвать решительно, не оглядываясь, навсегда.

За несколько секунд тишины с него словно сползла еще одна шкура, она слезала клочьями, и он передернул плечами от невыносимого, пронизывающего озноба; ему показалось, что он никогда не согреется, что всю жизнь он провел на сквозящем ветру, что только-только он шагнул под прикрытие, в этот мягкий спасительный покой и полумрак, и все прошедшее куда-то отодвинулось, исчезло; не существовало больше и настоящего, оно тоже исчезло, растворилось в желании переступить за последнюю черту.

— Спасибо тебе... Как мне найти тебя потом?

— Я сама тебя найду. Ни о чем не думай. Когда нужно будет, найду...

— Спасибо тебе,— еще раз повторил он, не решаясь хотя бы даже коснуться ее; в один единый час, не ставя никаких условий, ни о чем не спрашивая и ничего не требуя, она дала ему все то, что могла дать жизнь: передышку, исцеление, надежду. Не отрываясь, точно стараясь запомнить, она глядела на него, и он понял, что она, эта женщина, на мгновение встретившаяся ему на пути, кто бы она ни была, права, права и необходима, как сама жизнь. Она и была сама жизнь, и незачем было спрашивать ее имени, у нее никогда не было имени и не могло быть никакого имени.

Уже через день он не мог ясно вспомнить ни лица ее, ни глаз, ни голоса, но он помнил ее *всю*, помнил то, что в эту ночь с ним случилось как бы какое-то обновление. И еще он помнил, что в людском потопе, разливавшемся в ту ночь по Москве, *женщина* была.

20

Отгуляли последние мартовские метели, и уже в середине месяца в Соловьином логу начала светить верба. Снега тяжелели, оседали, в солнечные дни пригорки,

холмы сияли голубоватым, с еле уловимой прозеленью, блеском, в оврагах и низинных местах уже начинали жить вешние воды. В тихие лунные ночи подмораживало, и журчание подснежных ручейков, звонкое, веселое, оживляло чуткую тишину. В полях появились первые проталины, на лесных полянах снег тоже оседал, брался водой; весна шла дружно, по всем приметам было видно, что большое половодье хлынет в одночасье, и старики, выходя в полдень погреться у завалинок, потолковать о житье-бытье, нюхали воздух, поглядывали на отсвечивающие первой дымной зеленью вершины ракит, предсказывали урожайное лето.

В одном из самых глухих распадков Соловьиного лога, в войну еще больше одичавшего, густо заросшего дубовым кустарником, уцелело несколько старых, трехсотлетних дубов — одиноких и гордых свидетельств былой мощи ушедших навсегда лесов. Дубы росли по склонам лога, укрепляя его, ссыпая на землю в урожайные годы желуди, в половодье их разносило на многие десятки верст, прорастали они и тут же, под отеческим кровом, и весь распадок был забит низкорослой чащей дубняка, невообразимо причудливо изогнутого, переплетенного в ожесточенной, безжалостной битве за свет, за каждую пядь почвы. В грибные годы здесь родили поддубники — приземистые, с темно-бурыми шляпками, с желтоватой изнанкой, на срезах и сломах они быстро, на глазах, темнели, но гриб этот был съедобный, и ребятишки охотно брали его.

В весну сорок первого половодьем выбило под одним из боковых корней старого дуба довольно просторное углубление, и уже на следующий год, расширив его, в Соловьином логу поселилась волчья семья, перекочевавшая сюда откуда-то из Слепненских лесов, и вот уже больше десяти лет почти каждую весну в логове появлялись слепые, беспомощные щенята; мать-волчица тщательно вылизывала их горячим шершавым языком, они росли, играли, затем, в свое время, родители уводили их в леса, и там, пройдя последнюю ступень науки борьбы за жизнь, выводок рассеивался, образовывались новые пары, отыскивали для себя еще не занятые места обитания, гибли в облавах, а то и в ожесточенных схватках друг с другом за право на любовь и продолжение рода.

В войну и в первые послевоенные годы, за исключением осени и лета сорок шестого, волчьему семейству

в Соловьином логу жилось недурно, корма хватало, но последнее время волчицу, небольшую, матерую, начинавшую уже стареть, всякий раз охватывало беспокойство; деятельность людей все ближе и ближе подбиралась к логову, постепенно редели, исчезали поднявшиеся было в войну березовые перелески в полях, увеличивалось число охотников, и уже не один из них пытался отыскать волчье логово, потому что нет-нет да и натыкался на характерные ровные волчьи следы или на крупного, широколобого самца с тускневшей слегка спиной; зверь был хитер и опытен, но в первые два-три месяца после появления щенков ему приходилось трудновато, и порой зазевавшиеся собаки бесследно исчезали и из самих Густищ. Голод и безвыходное положение заглушали даже древний инстинкт — не трогать добычу ближе семи — десяти верст вокруг логова. И волчица всякий раз это каким-то образом чувствовала, хотя пища и доставлялась в логово в виде отрыжки; дольше обычного обнюхивала она в такие моменты пищу, не сразу принимала ее, а подчас у нее вырывалось жалобное ворчание и шерсть на загривке дыбилась. Волк, лежа в стороне, обычно положив лапы на широкий горб вымытого из земли когда-то корня и чутко прислушиваясь к малейшему постороннему звуку или шороху, даже засыпая, улавливал это особое ворчание волчицы и очередной раз обязательно уходил за добычей дальше обычного, иногда и за пятнадцать верст, и возвращался уже засветло; когда он серой бесшумной тенью появлялся у логова, встречавшая его волчица приподнимала голову, и самый кончик ее толстого хвоста слегка вздрагивал.

И в эту весну, в самом начале марта, в логове в Соловьином логу появились три крупных и слепых щенка, и волку в поисках пищи приходилось уходить все дальше, но первое время, пока еще держались ночные морозцы и не рухнул окончательно снежный наст, волк промышлял вполне успешно, ничего не трогая вблизи Соловьиного лога, хотя знал и про двух лисиц, живущих в соседнем перелеске, и про стадо диких кабанов, вышедших к весне из глубин Слепненских лесов на опушку и вот уже в течение недели упорно пахавших там снег и подбиравших желуди. Встречались волку и свежие следы лосей, но он и возле них не задерживался, тем более что в соседнем колхозе случился падеж свиней и их вывозили в лесной овраг неподалеку и сбра-

сывали там прямо в снег; это была старая свалка, трупы животных прикидывали, лишь когда начинала отходить земля. Волк теперь регулярно появлялся в овраге сразу после полуночи, и его появление всякий раз вспугивало полубродячих собак; поджав хвосты, они молчаливо и поспешно уходили ближе к деревне, а волк, отыскав тушу посвежее, разрывал у нее внутренности, не спеша, до отвала набивал брюхо и к рассвету отяжелевший уходил к логову.

Захар эту весну встретил душевно еще более окрепшим; зима для него прошла относительно спокойно, он потихоньку возился по хозяйству дома, Вася ходил в школу, во второй класс; за зиму Захар, сговорив мужиков примерно своего возраста — Фому Куделина, Володьку Рыжего — и еще несколько человек помоложе, организовал своеобразную артель, срубившую трем солдатским вдовам, Прасковье Антиповой, Стешке Бобок и Василине Елкиной, еще жившим в мазанках, небольшие срубы; платы, кроме традиционного магарыча раза четыре в месяц по вечерам после окончания работы, никакой не брали, и теперь, проходя мимо белевших срубов, уже обстропиленных и обрешеченных, Захар всякий раз довольно поглядывал в их сторону и посмеивался, вспоминая досаду и изумление Фомы Куделина, потребовавшего на третий день после начала работы у Прасковьи Антиповой аванс, якобы уже полученный Захаром у хозяйки. Захар поглядел на него, собрал всех в кружок, рассказал о смерти Харитона Антипова в концлагере, не говоря больше ни слова, взял топор и принялся за дело, а Фома Куделин озадаченно повертелся вокруг него, затем, вызывающе выставив вперед левую ногу в толстом подшитом валенке, потопал ею, в то же время поплевывая на большой палец левой руки и пробуя им острие топора. Захар равнодушно, словно и не замечая Фомы Куделина и его настроения, продолжал выбирать паз в матице.

— Значит, такая природа,— сказал Фома достаточно громко.— Выходит по твоему рассказу, Захар Тарасыч, должон я работать бесплатно, раз Харитон Антипов сгиб. А если я, к примеру, возьми и не вернись, моей бабе стал бы кто задарма помогать? У меня раз почти на самой голове мина грохнула, как вспомню про нее, гадину, левая ноздря начинает дергаться... Во! во! гляди! гляди! — обрадовался Фома,

осторожно указывая пальцем на свой внушительный нос.— Ей-бо, пошла вперебор! Гляди, паря, природа!

Фому обступили, Захар тоже распрямился, с интересом приглядываясь к Фоме, к его носу, левая ноздря которого стала ежиться, подрагивать, с каким-то беспорядочным трепетом подтягиваться вверх, отчего все лицо у Фомы приняло совершенно зверское выражение, один глаз, опять-таки левый, округлился и застыл, словно готовый вот-вот выстрелить сам собою в Захара, а в другом, жалко моргавшем, показалась слеза.

— Во, природа! — изрек Фома, донельзя довольный произведенным впечатлением, потому что об этой его особенности никто, кроме Нюрки, до сих пор не знал и проявлялась она действительно крайне редко, всего несколько раз после войны, да и то в самые невероятные моменты. Так, например, после рождения тройни у дочери или во время спасения козы и снятия ее с колеса на шесте, и теперь, по сути дела, Фома открывался всенародно, и Володька Рыжий долго моргал, дивясь. На самого Захара это открытие не произвело большого впечатления, он хитро глянул раз, другой, дождался, когда нос у Фомы успокоится, и спросил:

— Тебе сколько лет, Фома?

— А то ты не знаешь.— Фома крепко потер левую половину лица ладонью.— Я всего на год тебя старше. У меня Митрий за два года до твоего Ивана родился... Постой, а ты по какому делу крючок за мозгу закидываешь?

Захар с маху вонзил топор в бревно, отряхнул телогрейку от опилок, хитровато прищурился.

— Ладно, что тебе говорить. Иди, Фома. Ты этого барыша все равно не поймешь. Иди.

— Не-ет, Захар Тарасыч! — окончательно уперся Фома.— Ты нам разъясни делом, чего это мы недопонимаем. Мы народ темный, всю жизнь кругом своего кола проходили, вот ты нам и втолкуй, какой такой у тебя порядок в голове...

Захар покосился по сторонам, пальцем поманил Фому к себе поближе и, понизив голос, но так, чтобы и остальные слышали, с усмешкой спросил:

— Скажи, Фома, сколько еще лет ты прожить собираешься?

— Ну, коли повезет да по батькиной породе сложится, гляди, годов тридцать еще протяну,— недоуменно

пожал плечами Фома.— Может, и больше. Был у доктора, курить присоветовал бросить. И пить вроде нельзя...

— Так, так, ничего нельзя,— поддакнул Захар.— Складывай руки и ложись на лавку...

— Погодь, погодь... опять виляешь, Захар Тарасыч...

— Ты ж сам, Фома, договорить не даешь,— остановил его Захар; все с тем же затаенным нежеланием в лице он подождал, словно раздумывая и теперь уже окончательно овладевая всеобщим вниманием.— Ну хорошо, вон кончатся твои три десятка, а дальше-то как?

— Потеха, ей-бо! — Фома выказал свое возмущение, дернувшись всем телом и замахав руками.— Ей-бо, как та баба, долго думала, да вошь и поймала. Обмоют, оденут, да и отнесут на погост, что ж еще-то в таком разе бывает? Природа!

— Все так, Фома... А если еще дальше? — опять слегка прищурился Захар.

— А что ж дальше? — вытаращил глаза Фома.— Червяки разные...

— Может, и червяки,— кивнул Захар.— Ну, а если такой поворот: здесь ты закрыл глаза,— Захар, слегка подняв голову, окинул взглядом небо,— а там, гляди, взял и открыл? Что тогда?

— Что ж тогда? — как зачарованный, переспросил за ним Фома.

— Открыл ты глаза, глядишь и видишь, стоит золотой стульчик, на том стульчике — судья, ну, скажем, хотя бы я, Захар Дерюгин...

— Погодь, погодь! — запротестовал Фома.— С какого резону ты там должен в судьях сидеть?

— Ну, не хочешь меня, другой кто будет,— успокоил его Захар с еле приметной усмешкой.— Спросит он тебя, почему это ты, Фома Куделин, мог один-единственный на всем свете помочь солдатке-вдове, той же Стешке Бобок с малыми детьми, да не захотел по своей жадности? Что ты ему на это скажешь?

— А правду скажу! — сердито замотал головою Фома.— Скажу, как есть на том свете, откель я явился, никто никому бесплатно и глаз закрыть не захочет, такая она, природа, поворот учудила... Как все, так и я!

— Во-во,— согласно поддакнул Захар.— Скажешь так, а судья на золотом стульчике покачает горестно головой, подумает и вздохнет. «Эх ты, Фома, Фома! —

скажет.— Хотел я тебе назначить белую дорогу, да сам виноват, не помог ты в трудный час вдове Стешке Бобок с малыми детьми. Вроде и русский ты человек, а душа у тебя, как у последнего... тьфу! А потому вот тебе черная дорога, иди, приведет она тебя туда, куда надо по твоим заслугам...» Закричишь ты, Фома, станешь упираться, да ноги сами тебя понесут: ты в один бок вильнешь, в другой, а ноги знай себе чешут, да все прямо, все прямо по черной дороге, а дальше-то все теплей подошвам становится...

— Бреши, бреши, Захар,— не выдержал Фома, усиленно моргая и переминаясь с ноги на ногу.— Ну, язык! ну, горазд заливать под шкуру! ну, природа! И где только таким поповским речам обучился? Сам ни одному своему слову не веришь!

— Верю я или не верю, это дело мое,— все так же спокойно отозвался Захар.— Ступай грей брюхо на печке, в этом деле никто никому не указ.

Мужики кругом не выдержали, стали подшучивать, подзадоривать; Захар, не обращая больше внимания на наскоки Фомы, выдернул топор из бревна, деловито осмотрел долото и принялся долбить паз, за ним приступили к делу и остальные; Фома сунулся к одному, к другому, к третьему, пытаясь отыскать сочувствующего, но все только посмеивались, а Володька Рыжий даже обругал его под горячую руку, и Фома, держа топор на плече, растерянно отошел в сторонку, что-то возмущенно бормоча себе под нос, нет-нет да и поглядывая в сторону Захара, но тот невозмутимо и ловко продолжал постукивать по долоту, словно никакого Фомы не было и никогда не будет на белом свете.

Не выдержав такого обидного невнимания к себе, Фома покраснел, ожесточенно плюнул под ноги и уже окончательно решил уходить, но тут Захар поднял голову и, следя за пробегавшей по другой стороне улицы Феклушей, скользнул взглядом, не задерживаясь, словно по пустому месту, и по Фоме, и тогда с Фомой случилось что-то невероятное. Сначала он как-то по-петушиному, боком, подскочил, сорвал с плеча топор и, на глазах у затихших мужиков бросившись к дубовой колоде, над которой трудился до разговора с Захаром и которая никак ему не поддавалась, в один момент развалил ее на две половины. От этого все по-настоящему изумились, больше всех сам Фома, выпучив глаза, он так и застыл, сам себе не веря, а когда успокоился,

победно оглянулся кругом и пнул в одну из половинок колоды ногой.

— Природа! — громко сказал он под ободрительный шумок мужиков, один за другим подходивших к нему и с удивлением осматривающих то побежденную колоду, то самого Фому; подошел и Захар, молча постоял, ощупывая своими косоватыми глазами каждый сучок в горбатых дубовых плахах, и так же молча вернулся назад.

— И без чужих мозгов проживу, своих хватит! — независимо бросил ему вслед Фома и как ни в чем не бывало принялся за работу, да с той поры и пошло. Не успеет Захар выйти из дому, а Фома тут как тут; за зиму поднялись в Густищах три новеньких сруба; и только каждый раз за магарычом в субботу Фома начинал допекать Захара разговорами о том, что это еще баба надвое сказала, кому быть судьей на золотом стульце. Захар отбивался как умел, заворачивая порой такую околесицу, что и у самого глаза на лоб лезли, но сдаваться не хотел...

В пору весеннего половодья у Захара, хоть он старался и не показывать этого, стала пробиваться в душе какая-то тягость; что-нибудь делает по хозяйству и остановится ни с того ни с сего, смотрит перед собой и минуту, и две, затем, словно кто его окликнет, встряхнется, покосится по сторонам и опять за дело. А то среди ночи откроет глаза, полежит, прошлепает к порогу напиться, покурит у печки, вернется на свое место, стараясь не разбудить ни Ефросинью, ни Васю, да так и промается до зари; с первыми ее проблесками, когда село еще спит, он уже бродит по двору, чувствуя, как отпускает понемногу ночная сумятица. По всему селу начинают растапливать печи, горьковато пахнет дымком, высоко, невидимо тянут на север журавли или гуси. Таинственным, неземным зовом упадет из поднебесья журавлиный клич, и замрет сердце. Стоит Захар, долго прислушивается не то к себе, не то к прозрачному журчанию пробившегося где-нибудь под снегом весеннего ручейка. А заря полнится, разгорается, тени размываются, блекнут. Первым во дворе появляется петух с кустистым малиновым гребнем; вынырнув, по-змеиному вытягивая голову из лаза в двери сарая, он некоторое время недоверчиво оглядывается, затем, с маху взлетев на плетень, с веселым треском бьет крыльями и голосисто оглашает тишину своим пением. Одна за

другой торопливо выныривают и куры, в отсыревших яблонях поднимают несусветную возню воробьи; все светлеют и светлеют дали, набухает заря, звонче, торжественнее полыхают краски, всякий раз новые, невиданные...

В один из таких моментов Захар вернулся в сени, надернул резиновые Егоровы сапоги, пробрался огородом в поле и побрел без всякой цели наугад навстречу заре. Снега местами совсем уже не было, но земля еще не отошла, из-под сапог с прозрачным звоном брызгал утренний кружевной ледок, радостно звенели первые жаворонки, слышались хриплые крики грачей. Захар шел все дальше и дальше, жадно ощупывая загоревшимися глазами любую неровность; он словно бережно перелистывал страницы забытой любимой книги, иногда надолго останавливался и тут же торопился дальше — все было знакомое, родное и — новое.

На стыке полей и луга он наткнулся на извилистую, оплывшую линию траншеи и тут же увидел торчавшую в болотистом месте, среди моря воды, башню танка; у него на глазах с долгим тоскливым криком на ствол пушки опустилась луговая чайка с белоснежной грудью. В следующий миг по всему пространству воды, снега, земли, кустарника и леса брызнуло солнце, и все вспыхнуло, переменилось и заиграло. Глаза Захара вздрогнули, расширились; недалеко от затянутого болотом танка по широкому, приземистому кусту, переливаясь, прошло бледно-золотистое сияние, тихий свет охватил куст вербы и уже больше не гас. «А ты помнишь, Захар, как в Густищах верба-то, верба по весне светит?» — плеснулся в нем далекий голос Мани.

Он стоял на одном месте недолго; круто повернувшись, он двинулся краем луга в новом направлении, шел, разбрызгивая воду, уже не замечая ничего вокруг, и через час или чуть больше мимо бывшего хуторского подворья Фомы Куделина, до сих пор обозначавшегося высоким темным бурьяном и старыми дуплистыми ракитами, вышел к Соловьиному логу. У него перехватило дыхание. Лог был наполовину залит водой, из нее, возвышаясь по всему пространству громадными сказочными куполами, именно светили, облитые бледным пламенем, старые ивы; казалось, над всем Соловьиным логом дрожало неуловимое золотистое сияние, и Захар долго не мог оторваться от старых цветущих ив, стоял у самого края лога, словно прикованный, в какой-то

смутной и горькой надежде, и было ему хорошо и покойно. Где-то в золотистом сиянии ив слабо, размыто проступало лицо Мани, и все почему-то с радостно-тревожными, пристально устремленными словно в самую его душу глазами...

Стряхивая с себя оцепенение, Захар вздохнул, стал смотреть в дальний конец лога, где темнели старые дубы, а чуть поодаль редкой россыпью светлела березовая роща. В той стороне, с юга, к Соловьиному логу подступало единственное в Густищах большое черноземное поле, выдавшееся продолговатым языком со стороны степей, и Захар вспомнил, что эту землю до колхозов делили особо тщательно, учитывая каждую пядь. Он усмехнулся, снова вздохнул и тут же насторожился. Он услышал глухой шум рвущейся в лог воды, но где это происходит, со своего места не видел и потихоньку пошел вокруг лога. Взойдя на очередной пригорок, он ахнул: от одного из отрогов Соловьиного лога в прилегающее к нему поле уже ясно наметился новый овраг, вода с ревом сбегала в широкую, в несколько саженей, промоину с рваными, отвесными откосами, отваливая и унося в лог все новые и новые глыбы чернозема...

В эту ночь Захар спал совсем мало и очень беспокойно; как только он закрывал глаза, снился Соловьиный лог, до самых краев заполненный мутной водой, верхушки старых ив едва-едва поднимались над нею, и Захар наконец встал, оделся и ушел во двор курить; через несколько дней, когда весенние воды в основном схлынули с полей, он, захватив топор и лопату, опять пришел к Соловьиному логу и, внимательно осмотрев свежеразмытый овраг, принялся за дело. В соседнем отроге, заросшем поверху тополями, а понизу ивняком, он нарубил тополиных кольев, цветущего ивняку, перетащил все к свежему оврагу и, передохнув, сидя на одной из охапок, стал укреплять вершину размыва, извилисто ушедшего в поле саженей на пятьдесят. Чернозем, пригретый солнцем, жирно блестел, слегка парил, звенели жаворонки, а в сверкающем небе над Соловьиным логом в брачной игре неостановимо кружила пара аистов; увлекшись, Захар ничего не замечал, он знал, что из тополиных кольев уже через несколько дней густо пробьются свежие побеги, а в землю, скрепляя ее, уйдут первые слабые корешки, и поэтому работал с давно

неведомым удовольствием, колья забивал часто, особенно в вершине оврага, и не заметил, как начало вечереть. Он придирчиво оглядел сделанное. «Конечно, маловато,— подумал он,— если все как следует укрепить, и года не хватит, но пройдет время, и все-таки начнет подниматься здесь тополиная рощица, и это здорово... Никто не будет знать, чьих это рук дело, а она будет себе тянуться к солнцу. Лет через десять, уже совсем стариком, придет он сюда, посидит в тени, ну и хорошо. Вот так же весной ивы расцветут, травка полезет... что ж, каждому в этом мире свое».

Захар бросил последний взгляд на густо торчавшие из земли тополиные колья, немного стыдясь какой-то своей некстати подступившей чувствительности, и, больше не оглядываясь, прямиком по полю направился к невидимым из-за возвышенности Густищам, но на другой же день не выдержал и, прихватив с собой Васю, опять пришел к Соловьиному логу; Вася по его совету захватил большой, литров на пять, алюминиевый бидон. Ефросинья посмеялась над его чудачеством, махнула рукой, когда он сказал ей, что сходит с Васей (благо было воскресенье и Васе не нужно было идти в школу) за первым березовым соком, как известно, самым сладким и целительным.

Пристроив вместе с Васей у одной из старых берез бидон и дождавшись, когда в него побежит по желобку с колышка непрерывная прозрачная струйка сока, Захар вернулся к свежеразмытому оврагу и опять принялся за дело. Вася, поздоровевший за последний год, сильно прибавивший в росте, после скупого объяснения Захара с заблестевшими глазами принялся ему помогать; ближе к обеду солнце сильно пригрело и Захар стащил с себя рубаху, сел на охапку ивняка, подставил потную грудь легкому ветерку. Вася тоже хотел раздеться, но Захар остановил его, запрокинув голову, он стал следить за кружившими в небе аистами.

— Ну, Захар Тарасыч, мое вам почтеньице,— раздался в это время за спиной у Захара чей-то голос, заставивший его даже вздрогнуть.— Вот ты, значится, где... природа!

Точно вынырнувший из земли леший, Фома Куделин, неслышно подобравшись, стоял с топором за поясом и, хитровато усмехаясь, как-то в одно и то же время следил и за лицом Захара, откровенно недовольным, и за длинными рядами забитых в землю тополиных

кольев в вершине и вдоль одного из склонов оврага, обрывающегося широченной черной пастью в Соловьиный лог.

— Здорово, Фома, черт тебя носит,— буркнул Захар.— Чего ты здесь бродишь?

— Так чего, чего! — неопределенно отозвался Фома.— Природа... Гляжу, люди что-то шныряют, шныряют за село... как-то и самому не терпится... А оно вон что, значится,— указал Фома подбородком на колья.— Дюже любопытно...

— Что тут любопытного? — нахмурился Захар.— Видишь, поле-то разворотило... Поглядел-поглядел, жалко стало...

— А может, того,— задрал Фома голову и тоже, как и Вася, понаблюдал за аистами, стремительными темными точками чертившими голубизну высокого неба,— может, того... золотой стульчик, а, сосед?

— Ишь ты, уразумел! — изумился Захар, но тут же притушил в глазах веселый огонек.— Может, и того, и сего, и по-всякому, Фома Алексеевич...

Устроившись рядом с Захаром, Фома скрутил толстую цигарку, с удовольствием задымил, нежась на солнышке.

— Неудобный ты человек, Захар,— сказал он немного погодя.— У тебя внутрях вроде какая приворожка сидит... природа! Отчего это так, разобъясни ты мне? Вот нынче, думаю, зять звал сараюшку поросенку подладить. Приду, говорю. А у самого гвоздь в мозге... Ну куда это он, думаю, второй день в поле шастает, а? Какая такая у него там открылась оказия? Лежу ночью, а в груди точит... природа, а? Ладно, Кешка, зять, думаю, подождет, дай, думаю, вслед за Захаром пронырну. А тут вон каковское дело, оказывается... Ну что ты на это скажешь? — Фома полез к себе всей пятерней в затылок.— Зять на меня теперь, гляди, надуется, вечером литровку обещался выставить...

Покосившись на огорченного Фому, Захар не выдержал, засмеялся.

— Я тебя не держу, успеешь к зятю, через час в Густищах будешь. Иди, Фома...

— Как же, иди,— возразил Фома.— А ты потом опять ковырнешь, в кишках заноет... природа,— вздохнул Фома.— Зловредный ты человек все-таки, Захар. А-а, что зря говорить, природа! Командуй, с чего начинать?

Захар еще посмеялся, хлопнул его по плечу и послал готовить в соседний отрог новые колья, и они проработали вдвоем до вечера, но на том их одиночество и кончилось. Добравшись до Густищ, Фома тут же, на конюшне, сообщил, как они с Захаром спасают землю за Соловьиным логом, и назавтра с утра пораньше у свежеразмытого оврага оказался древний старик Фаддей, всю зиму пролежавший на печи, затем к обеду ближе показался Володька Рыжий, а там и пошло. После занятий в школе с шумом и гамом посыпалась ребятня постарше, и Фома только крякал от удовольствия да потирал руки; Захара совсем оттеснили от работы, Фома стал под конец на всех покрикивать и распоряжаться; школьники рубили и таскали ивняк, забивали колья, старики, возбужденные общей суматохой, ловко оплетали обрывистые склоны оврага лозой; другая часть ребят высаживала вдоль склонов березки и дубки.

Под вечер Захар совсем отошел в сторону и наблюдал за работой издали; ему было грустно и хорошо.

— Батя, батя! — подбежал к нему Вася с полным бидоном березового сока.— Гляди, опять до краев!

Захар взглянул в сияющие глаза мальчонки, и его рука, помедлив, опустилась на вихрастый затылок.

— Молодец... сынок,— похвалил Захар, как-то неожиданно для себя впервые после встречи и разговора с Макашиным называя этого мальчишку сыном и чувствуя от этого трудный, мгновенный жар в груди. Васе тоже словно передалось состояние Захара, у него стало медленно гаснуть лицо, и в глазах пробилось нечто боязливое, далекое, темное, но он не опустил глаз, глядел все так же открыто, и только от напряжения взгляд у него словно подернулся сухим туманом.

— А ну-ка, дай попробовать,— заторопился Захар и, подхватив бидон, сделал несколько крупных, жадных глотков.— Ух, хорошо... спасибо, Васек. Теперь беги, пои работничков,— кивнул он в сторону оврага, сплошь обсыпанного людьми.— Гляди, как трудятся... жарко. Беги, беги!

Вася, радостно улыбаясь, схватил бидон и бросился к оврагу, а Захар медленно побрел вдоль лога в самый дальний его конец и скоро оказался в густых осиновых зарослях, продрался сквозь них и вышел к старым дубам. Вечерело; голоса людей отдалились, почти не слышались больше. Он прошел еще дальше, к дубовому мелколесью, и сел на подвернувшуюся старую валежи-

ну. Синие, прохладные сумерки охватывали землю; какой-то шорох заставил Захара повернуть голову. Метрах в пяти от него, словно каменное изваяние, стоял старый, матерый волк с задушенным зайцем в пасти; задние длинные ноги мертвого зверька слегка раскачивались.

Несколько секунд человек и волк глядели друг на друга прямо в глаза — жаркий, мерцающий взгляд зверя и пытливый, настороженный человека встретились в поединке, и у волка медленно приподнялась на загривке шерсть.

— Ладно, не трусь, серый, я тебя не выдам,—негромко сказал Захар, и при первых звуках его голоса волк одним бесшумным прыжком исчез в дубовых зарослях.

21

Растопыривая ручонки, с восторженно сияющими глазами Ксеня настойчиво преследовала яркую, желтовато-малиновую бабочку. Как диковинный живой цветок, бабочка перепархивала с места на место, и девочка, пока бабочка летела, затаив дыхание, замерев, шептала:

— Бабочка, милая, сядь, сядь, посиди, на цветочек погляди... Бабочка, милая... Понюхай цветочек, понюхай...

Трепеща ярко вспыхивающими под солнцем крыльями, бабочка временами словно падала вниз на приглянувшийся ей цветок, и Ксеня с потешно-страдающим лицом начинала осторожно подкрадываться к ней, выставив вперед ручонки и сложив ладошки лодочкой, чтобы прикрыть ими увертливую бабочку.

— Бабочка, милая... бабочка, милая,— шептала она, едва сдерживаясь от радостного визга, так и рвущегося из нее, когда бабочка почти из-под самых ладошек вспархивала, этот бурный визг прорывался, сверлил воздух, заставляя испуганно оглядываться Тимофеевну, лепившую за большим столом пельмени; Ксеня негодующе топала ногами.

— Ба! Ба! Опять она улетела!

Отрываясь от своих дел, Тимофеевна ласково увещевала девочку, шаловливую, резвую, с непокрытой шелковистой головой.

— Ксенюшка, ох, дуреха,— качала старуха головой.— На что она тебе сдалась? Тоже жить хочет, пой-

маешь ты ее, замучаешь, а она знает, вот и не дается. Кто же мучительства себе хочет? Разве какой страшный человек... деться-то ему больше некуда, такому разве как на тот свет.

Ксеня, подойдя к ней ближе, внимательно слушала, исподлобья поглядывая на большой живот няни, обтянутый красивым, в цветочках, фартуком.

— Иди, иди, Ксенюшка, шапчонку-то надень, а то солнце напечет, вон оно как кусается сегодня...

— Не хочу шапку,— заупрямилась Ксеня.— Хочу бабочку! Ты, няня, плохая!

— Ой,— изумилась Тимофеевна,— это где ты такого нахваталась? Ах ты бесстыдница! А ну, поди сюда, вот я тебе сейчас! — Тимофеевна грузно двинулась к девочке, но та, радостно взвизгнув, стремительно сорвалась с места и через мгновение исчезла в густых кустах белой махровой сирени, снизу доверху покрытой громадными соцветиями (над ними стоял непрерывный гул пчел, шмелей, всевозможных цветочных мух и бабочек), и Ксеня, на мгновение встревожив весь этот многочисленный мир, тряхнула кусты и скрылась среди них, а Тимофеевна с улыбкой вернулась к своим делам. Затаившись в прохладном полумраке, Ксеня притихла, ее внимание привлек черный продолговатый жук с большими ветвистыми рогами, упрямо пробиравшийся куда-то по прошлогодним листьям. Глаза девочки округлились, такого жука она еще не видела. Спинка у него была в частых продольных желобках, ноги крючковатые, мохнатые, сильно цеплявшиеся за листья. Осторожно, затаив дыхание, Ксеня притронулась пальчиком к блестящей спинке жука, и он тотчас угрожающе поднял рога, зашевелил ими. Ксеня в испуге отдернула руку и ойкнула. Жук медленно пополз дальше, девочка за ним, но скоро его медленное, однообразное движение надоело ей и она палочкой перевернула жука на спину, внимательно разглядела его гладкое, с розоватыми размывами брюшко и бессильно шевелящиеся сучковатые лапки. Ей стало жалко жука, и она, осторожно поддев палочкой, опять опрокинула его на лапки и дала спокойно заползти под молодой куст лопухов.

Влекущий своим таинством неведомый мир открывался ей в зарослях старого сада, и даже неровные солнечные пятна, прорывавшиеся сквозь шевелящуюся зелень и достигшие земли, были живыми, все время менялись, и от их светоносной переменчивой игры Ксе-

не стало весело. Она забыла о бабочке, о жуке и стала очерчивать палочкой на земле солнечные пятна, и оттого, что они все время смещались и не давались, она сердилась и, упрямо сдвинув брови, продолжала свое. Она как раз обводила большое, рваное, трепещущее желтовато-радужное пятно, когда оно вдруг исчезло. Ксеня даже растерялась. Она заметила, что все солнечные пятна на земле исчезли, вышла из сирени на открытое место и увидела, что на солнце наполз край большой клубящейся тучи.

— Злая, злая, злая! — сказала девочка и присела; черную клубящуюся тучу рассекла длинная, извилистая трещина, и туча вначале глухо заворчала и затем просыпалась на землю оглушительно звонким треском.

— Ксеня! Ксеня! — тревожно позвала от дома Тимофеевна.— Сейчас же ступай сюда, гроза будет, Ксеня! Ой, господи, что мне с этой непоседой делать?

— Я здесь, няня, я сейчас,— отозвалась Ксеня.— Я здесь, рядом.

— Вижу, вижу, иди в дом!

— Я только погляжу немножко, ну, няня, ну, милая, ну, можно? — просила Ксеня, завороженно наблюдая за тучей, но в это время раздался такой оглушительно-трескучий и долгий удар грома, что Ксеня опрометью метнулась на крыльцо, затем на веранду, прижалась к Тимофеевне.— Ой, боюсь, няня! — сказала она шепотом.

— Боженька гневается.— Тимофеевна ласково прижала к себе голову девочки и мелко перекрестилась.— Ты не бойся, Ксенюшка, ты дитя невинное, безгрешное, таких его гнев не касается...

— Няня, а кто это — боженька? — спросила Ксеня, поднимая на Тимофеевну темные, как спелая смородина, брюхановские глаза.— Отчего он такой сердитый?

— Господи, помилуй,— опять испуганно перекрестилась Тимофеевна.— Ты что это, придумщица? Это всего-навсего гром гремит, а боженька, он еще выше...

— Еще выше? — изумилась Ксеня, начиная от волнения перед необъяснимыми вещами покусывать ногти.— Ой... а как это — еще выше?

— Да помолчи ты, помолчи, говоруха,— попыталась остановить ее Тимофеевна.— Никто этого не знает, выше, значит, где небо кончается, и все тут.

— Няня, глянь, опять солнышко,— обрадовалась Ксеня.

— И слава богу,— довольно отозвалась Тимофеевна.— Грозу-то стороной проносит. Позавчера в ночь дождик был, земля сырая, хватит.

Ксеня спрыгнула с крыльца и вновь исчезла в глубине сада и скоро была уже в самом дальнем, глухом его углу, перед густыми зарослями шиповника. Сюда приходить одна она побаивалась, но это место невольно притягивало девочку к себе своей таинственностью и тишиной. Колючий веселый шиповник был густо усеян розовато-бледными круглыми цветами. Ксене показалось, что со всех сторон на нее кто-то смотрит большими волшебными глазами. Гроза рокотала где-то уже вдали, и начавшийся было ветер стих. Густой и в то же время призрачно-неясный аромат цветения наполнял воздух.

Ксеня ползком пролезла под сомкнувшимися вверху, давно не чищенными кустами шиповника, внимательно осматриваясь, долго куда-то ползла, поворачивая из стороны в сторону, и наконец уткнулась в плотный, тяжелый забор. На этом ее знакомство с садом, очевидно, и закончилось бы на этот день, но, выбираясь из зарослей шиповника, она, уже вся исцарапанная, готовая зареветь от непонятной обиды, выползая из-под цепких, колючих кустов, нос с носом столкнулась с большим колючим зверем с острой мордочкой и тотчас узнала в нем ежа, хотя до этого, кроме как на картинках, никогда его не видела. Но она его узнала и онемела от восхищения, потому что ежик был совсем живой и, смешно принюхиваясь, дергал своим черным носиком.

— Ежик, ежичек,— прошептала Ксеня,— у нас молочко есть. Хочешь молочка? Пойдем со мной. Пойдем... Ты такой хороший, красивый.

Пока она говорила, еж все так же настороженно принюхивался, поблескивая из-под выставленных на всякий случай колючек темными, блестящими бусинками глаз, но стоило Ксене шевельнуться, как он недовольно хоркнул, мгновенно свернулся клубком, и сколько Ксеня его ни уговаривала, так и лежал колючим шаром, не шевелясь. Ксеня подумала, подумала, осторожно потрогала его ладошкой, отдернула руку, было очень колко. Тогда она присела перед ним на колени, наклонилась и стала подсовывать под него подол платьица; скоро ежик тяжелым хоркающим клубком перекатился к ней в подол, и Ксеня, едва дыша, пошла к дому и, присев перед Тимофеевной, торжествующе освободила

свою добычу. Ежик, все так же свернувшись клубком, остался лежать у ног Тимофеевны, а та от растерянности всплеснула руками.

— Что за ребенок! Да где ты его откопала? Да ты посмотри на себя, вся в царапинах...

— Няня, дай ему молочка,— попросила Ксеня, присев рядом с ежиком.— Он молочка хочет...

— Молока? А ты откуда знаешь?..

— Мама книжку читала,— Ксеня не отрывала глаз от ежика.

— Ну, раз в книжке.— Тимофеевна вздохнула, принесла молока в блюдечке, поставила его рядом с ежом.— А теперь давай от него отойдем,— сказала она тихо,— он и развернется, может.

— Он же нас не видит,— запротестовала Ксеня.

— Зато слышит,— сказала Тимофеевна и тихонько отвела девочку в сторону; обе долго были заняты ежом, Тимофеевне едва удалось Ксеню уговорить отпустить его, объяснив, что ежик тоже мама и ее ждут голодные маленькие ежата, а если их мама не придет, то они помрут с голоду. У Ксени сделались большие, неподвижные глаза, и она до самого обеда была необычно молчаливой, легла отдыхать послушно и, едва попрощавшись с Тимофеевной, повернулась на другой бок и закрыла глаза.

— Ну, поспи, поспи, Ксенюшка,— сказала Тимофеевна и, сделав необходимые дела, тоже решила немного полежать. Прибрала волосы, задернула от солнца занавески на окнах, шлепая мягкими, войлочными туфлями, еще раз прошла в комнату к девочке, прислушалась и вернулась к себе, оставив, как всегда, дверь открытой. Брюханов, как обещал, к обеду не приехал, вспомнила она, уже засыпая, и тотчас испуганно подхватилась и села, ворочая тяжелой головой. Сердце неровно билось и ныло. Нащупав ногами туфли, Тимофеевна неслышно прокралась в комнату Ксени и остановилась у кровати девочки. Натянув на голову одеяло, чтобы ее не было слышно, свернувшись под ним маленьким клубочком, Ксеня, захлебываясь, по-щенячьи тоненько плакала. Сердце у Тимофеевны подскочило к самому горлу и глухо оборвалось.

— Ксеня, Ксеня...— шепотом, превозмогая себя, позвала она, но девочка не отозвалась, хотя плач и прекратился.

— Ксеня, Ксеня,— опять тихо позвала Тимофеевна и осторожно приподняла край одеяла. Она увидела

крепко зажмуренные глаза, дрожавшие от напряжения ресницы, размазанные по щекам слезы.

— Да ты же не спишь, Ксенюшка, милая моя ягодка? — растерянно сказала Тимофеевна.— За что же ты со мной-то так? В чем я-то перед тобой виноватая? — Тимофеевна всхлипнула, готовая от жалости в свою очередь разреветься.

Ксеня в этот момент открыла глаза и по-взрослому пристально посмотрела на Тимофеевну.

— Господи, помилуй,— перекрестила ее с невольным страхом Тимофеевна.— Ты чего это так смотришь?

— Сейчас маму видела,— сказала Ксеня тихо и спокойно и замолчала.

— Как, детка, во сне, что ль, пригрезилось-то?

— Не знаю... Поглядела в окно, а она стоит.— Ксеня моргнула.— Я испугалась — и в постель... А потом...

— Ну, а потом? — со страхом переспросила Тимофеевна, устав ждать.

— А потом? Потом я глянула... никого нет. Но она была и опять ушла... Я плакать стала... Няня, с тобой хочу... боюсь... ой, боюсь... страшно...

— Господи, детка, да я... милая ты моя... Ничего ты и не видела, так... во сне привиделось...— бессвязно бормотала Тимофеевна, подхватывая сильными еще руками девочку из кроватки и прижимая ее к себе.— Да ты что, милая? Во сне так бывает, ты не бойся... и мама к тебе придет... ушла, потом возьмет и придет... всегда так бывает, если ушел кто, обязательно назад вернется... Придет, придет... ты только спи... спи, родная моя, спи...

Тимофеевна прошлепала толстыми ногами к своей постели, осторожно опустила девочку, пристроилась рядом.

— Ты спи, спи,— говорила она шепотом, слегка, еле слышно поглаживая Ксеню по шелковистой головке.— Закрой глазки и спи себе... Поспишь немножко... А мама, она уже идет, спешит к тебе, ой, как спешит... Ты только спи... спи, родная моя, горькая, спи...

— Идет? — уже в полусне спросила девочка.

— Идет, идет,— заверила ее Тимофеевна.— Еще как... Прямо как по ветру летит... распустила все перышки, все крылышки, чтоб легче было, и летит... знай себе летит...

Она поспешно зажала рот себе ладонью, потому что не могла больше говорить. Такой ясный, такой беспо-

щадный свет прихлынул ей в душу, что она задохнулась и затихла; эту теплившуюся возле нее жизнь можно было искалечить одним лишь дуновением, одним неловким, неосторожным, обидным словом. И единственной твердью в этой неравной борьбе была она, неграмотная старуха, а все остальные были заняты своими, на их взгляд, высокими и необходимыми делами, хотя самое необходимое было вот здесь, с ней рядом, и это она знала.

«Эх, чтоб вас...» — выругалась мысленно Тимофеевна, но тут же испуганно вжалась головой в подушку; густой майский полдень в ответ вновь громыхнул накатывающейся издалека грозой, и Тимофеевна, томимая каким-то предчувствием, осторожно, чтобы не потревожить задремавшую, кажется, девочку, встала и вышла. Яркий солнечный свет ударил ей в глаза, в саду, омытом недавним дождем, еще не просохло, солнце, отражаясь в повисших на листьях каплях, дробилось, играло по всему саду; Тимофеевна присмотрелась, ахнула; яркая, многоцветная радуга перечеркивала небо широкой полосой, а с запада опять росла, бухла грозовая туча, и Тимофеевна слышала ее веселый, отдаленный грохот. «Красота-то, красота какая дивная,— с радостным теснением в груди подумала Тимофеевна, забыв обо всем на свете.— Вот так бы взглянуть еще раз напоследок... и лучше ничего и не надо...»

Почувствовав какое-то движение воздуха, Тимофеевна быстро оглянулась и увидела, что дверь из комнаты на террасу распахнута и Ксеня в одних трусишках, с нетерпеливо-радостным выражением лица стоит на пороге, сжав кулачки и изо всех сил прижимая их к груди. Тимофеевна потом долго не могла забыть недетское, поразившее ее выражение лица девочки; в первую минуту Тимофеевна не нашлась что сказать и боязливо присела перед девочкой.

— Ты, Ксенюшка, спать не хочешь? — спросила она, чувствуя непривычную сухость во рту.

— Мама пришла,— повторила девочка по-взрослому твердо и тихо, словно боялась, что ее услышит кто-то посторонний, добавила: — Я ее видела...

— Горе ты мое, Ксенюшка... да я ж тебе говорила...

Ксеня прошла мимо Тимофеевны на крыльцо; Тимофеевна заторопилась следом.

— Ну, пойдем, пойдем,— бормотала она.— Сама

увидишь, никого тут нет, а мама на работе... а вот как кончит она лечить таких старух, как я... вот тогда и приедет...

Они пошли вокруг дома, и едва Тимофеевна повернула за угол, ноги у нее подломились и она схватилась за стену, чтобы удержаться. «Батюшки, святые угодники»,— прошептала Тимофеевна, не отрываясь от Аленки, сидевшей на скамье под кустом белой сирени. Но Аленка ничего, кроме дочери, не видела, она даже не могла встать, и Ксеня с каким-то недоумением и неверием тоже смотрела на нее сумрачными, брюхановскими глазами, и у самой Аленки было непривычно серое, погасшее лицо.

— Ксеня... Ксеня...— неслышно шевельнула она губами, и этого было достаточно, чтобы рухнул последний барьер.

С отчаянно-пронзительным криком: «Мамочка! Мамочка!» — Ксеня бросилась к ней, и Аленка схватила ее на руки, и вся дрожа, прижала, притиснула к себе, жадно целуя в голову, узнавая единственно родной, незабываемый запах волос дочери.

— Мама! мама! мамочка! — бессвязно твердила Ксеня, крепко обхватив ее шею ручонками.— Не плачь! не плачь! мамочка, не плачь! — просила она.— У нас ежик в саду есть... я тебе покажу, я поймаю... мамочка...

Как всегда в таких случаях, Тимофеевна бестолково топталась рядом, что-то невпопад говорила, наконец успокоенно утерла глаза концом платка.

— Вот и хорошо, вот и ладно, Тихон Иваныч обещался подъехать к обеду, я и пельменей наделала, все опять вместе будем...

Сказала и осеклась, даже испуганно прихватила рот ладонью, но слово уже вылетело. Аленка, еще раз поцеловав дочь, усадила ее рядом с собой, достала из сумки рыжего плюшевого зайца.

— Это тебе, Ксеня...

— Ой, а у меня уже есть один... большой зайка! А этого я с ним вместе посажу, им скучно не будет,— сказала Ксеня и с детской непосредственностью и порывистостью умчалась.

— Прости, Тимофеевна.— Аленка с какой-то невнятной неестественной улыбкой подняла голову.— Подвела я тебя... не могла я больше... Ты как-нибудь отвлеки девочку, пожалуйста, я уйду... Вот, удержаться

не смогла, хоть увидеть ее на минуту... Ты что-нибудь придумай...

— Куда же это ты пойдешь? — грубовато оборвала ее пришедшая в себя Тимофеевна.— От собственного ребенка, а?

— Тимофеевна, ты же знаешь, я не могу, чтобы меня застал здесь Тихон...

— Не могу! не могу! — все решительнее наступала на нее Тимофеевна.— Мать ради своего ребенка все может. Это все у вас от учености. Гордость друг перед другом показываете, а жизни нет.

— Тише, Тимофеевна! А вдруг он сейчас приедет?

— Ну, так что ж? — неодобрительно нахмурилась Тимофеевна.— Пусть приедет! Не он же рожал, ты! Он мужик, ему что! А ты мать, пусть он боится. Видано ли дело, ребенок при живой матери с отцом сирота. Жить надо по правде, вот что я тебе скажу, хочешь — сердись, хочешь — нет...— начала было Тимофеевна, но в это время из-за угла стремительно вырвалась Ксеня, волоча в каждой руке по плюшевому зайцу.

— Мама! Мамочка! Я тебя познакомлю! — закричала она еще издали.— Это Белый Хвостик, а этого мы назовем...

Поднявшись, Аленка быстро пошла навстречу дочери; Тимофеевна, переживая прерванный разговор, неодобрительно поджала губы.

Ветер прошел по саду, гроза, совершив свой круг, откатывалась все дальше, еще и еще раз смывая на своем пути и след зверя, и след человека. Так было нужно, чтобы каждому живому творению достался незанятый простор.

И Аленка подхватила Ксеню на руки, радостную, визжащую от счастья, легко и высоко подняла и, глядя снизу вверх на нее, прошептала:

— Родная моя, как я хочу тебе счастья...

Звездный порог



1

Необъятна река времен, и у нее свои законы, законы вечности, их не понять человеку, так же как вечность несовместима с краткостью вспышки человеческой жизни, этой слабой, живой искрой, яростно, пусть мгновенно исчезающей; но из этих мгновенных, ничтожно слабых вспышек уже выстроилась неразнимаемая цепь, уходящая назад, во мрак времен, и бесстрашно нацеленная дальнейшим своим восхождением в неизведанность будущего. Но где, где, в какой точке отсчета, возникла возможность говорить о *смысле* жизни вообще и о том, как человек подошел к богу? И эта непреоборимая страсть отдавать, отдавать больше, чем имеешь, отдавать, чтобы остаться, чтобы не унести с собой чего-то самого главного, успеть выразить себя?

Николай еще больше сузил глаза, влажный асфальт с бешеным шипением втягивался под колеса машины, и ему начинало казаться, что это непрерывное, сумасшедшее движение уже не остановить, и что сам он всего лишь невесомая, нематериальная частица этого движения, и что жизнь только и состоит из этого вот стремительно распадающегося полета в никуда, просто лететь — и все. Только в этом движении есть и цель, и смысл...

Стараясь не думать ни о чем больше, Николай не разрешал себе сосредоточиваться на чем-либо ином. Почему-то именно сегодня, когда ему исполнилось тридцать шесть лет и он удрал от друзей, от Тани, ему просто хотелось сейчас быть и ничего больше, осторожно и глубоко вдыхать свежий ночной воздух, рвущийся сквозь неплотно прикрытые щитки, просто чтобы в глазах непрерывно неслась эта звездная полоса и не было бы никаких больше сложностей, никаких задач. Не-

стись, и не все ли равно, куда и зачем, лишь бы ощущать этот упругий, со свистом ложащийся под колеса машины асфальт и все, все, все забыть!

Мелькнула какая-то рощица, мимо, мимо; проскользнул назад мост через реку, свет фар встречной машины безжалостно ударил по глазам, ослепил, потому что Николай не захотел хоть как-либо защитить их... Мимо, мимо... остановка, кажется, автобусная остановка, примитивный навесик на каменных столбах и чья-то выхваченная светом фар отчаянно молящая о помощи рука... Женская рука. Насильственный визг тормозов проник в мозг, заставил сжать зубы; девушка в легком платье, словно струящемся по телу от ветра, стояла почти у самого бампера машины, она еще не успела опустить руку. Николай резко рванул дверцу, выскочил.

— Вы с ума сошли, кто ж добровольно бросается под колеса?

— Помогите,— перебила она, не обращая внимания на его сердитый раздраженный тон.— Он тут, всего с полкилометра... Помогите!

— Кто он? В чем помочь?

— Он, Вася... Понимаете, мы думали успеть на последний автобус, бежали... какой-то приступ... он не может идти, я пыталась его тянуть, но...

— Садитесь...

— Что?

— Садитесь в машину и показывайте дорогу,—сердито сказал Николай, шагнув к ней и насильно опустив ее руку: кожа была прохладная, и Николай почувствовал, что девушка мелко-мелко дрожит. Он достал с заднего сиденья пиджак, накинул его на плечи девушке и усадил ее в машину.

— Как я замерзла,— пожаловалась она.— Двое перед вами проскочили мимо, даже ходу не замедлили...

— Вероятно, торопились,— сказал Николай, присматриваясь к ее тонкому профилю: в полумраке влажно и благодарно поблескивали глаза.

— А я готова была под колеса броситься,— сказала она.— Туда, туда,— махнула она рукой на еле различимый, узкий, срывающийся в сплошную темень отвод проселочной дороги.— Скорей, пожалуйста, скорей...

Все остальное было для Николая одним стремительно мелькнувшим куда-то в безвестность мгновением. И то, как он втащил в машину тяжелого белокурого парня с мутными от боли глазами, и то, как они по

указаниям девушки куда-то мчались, и то, как он потом стоял во дворе районной больнички и жадно курил, чего-то ожидая. Девушка выбежала из ярко освещенного квадрата двери, кинулась к нему и мягко ткнулась прохладными губами в щеку.

— Успели, успели,— сказала она задыхающимся от счастья голосом.— Спасибо вам...

— Ну, я поеду,— сказал Николай, бросая окурок.— До свидания, привет вашему парню.

Он взглянул на часы и поразился — шел всего лишь первый час — и Николай, рывком открывая дверцу машины и затем захлопывая ее, точно знал, что случилось в этот пролетевший уже вечер и почему он с успокаивающей улыбкой, обещающей тотчас вернуться, кивнул всем и вышел, а затем, не помня себя, кинулся в машину и, вырвавшись из запутанных улиц города на открытое, стремительно широкое шоссе, подавшись вперед, выжимая из машины все, на что она была способна, и чувствуя, как тугие, встречные потоки воздуха едва не поднимают машину, помчался. Этот Борька, эта блестящая пустельга, но ведь при всей своей бесспорной творческой импотенции ловок и умеет пустить пыль в глаза, с ползункового возраста на паркетах скользил, впитывал отголоски ученых битв. Наверняка у Тани еще не разошлись сейчас, завтра воскресенье, самого хозяина нет, а Борька Грачевский...

Девушка у крыльца, махая рукой, что-то кричала, Николай высунулся из кабины.

— Имя, как вас звать? — разобрал он ее взволнованный, радостный голос.— В газету хоть напишу! Звать, звать как?

— Милая ты моя,— сказал Николай, смеясь,— в газету... Обязательно напиши!

Попрощавшись с ней взмахом руки, он рывком бросил машину вперед, и снова неумолчно зазвенела с непрерывным, долгим стоном, запела под колесами дорога, и свет фар с ревом рассекал сгустившуюся ночь. И Николай, раздирая пространство, мельком, как о ком-то постороннем, отчетливо и холодно подумал, что малейшая оплошность, малейший просчет или случайность — и от него ничего не останется, одна лишь сплющенная в железе липкая масса, но он также знал, что этого не будет, что этому еще не настал срок. И при всей горячности, при всем своем нетерпении вновь оказаться там, откуда он с таким чувством освобожде-

ния вырвался три часа назад, он был сейчас необычайно собран, расчетлив и точен; он лишь подумал, что вот после института промелькнуло много лет, с ним уже с довольно уважительной резвостью здороваются академики, а сам он все никак не может заставить себя стать разумнее и спокойнее, все ему кажется, что он чего-то не успеет, чего-то важного в спешке не заметит и проскочит мимо, и оттого он все время куда-то мчится, не дает себе передышки, чтобы оглянуться назад. И у матери с отцом уже лет десять не был, а оправдаться даже при желании трудно.

Машин на шоссе было мало, но с приближением Москвы Николаю пришлось сбросить скорость. Ночная утихомиренность огромного бессонного города отрезвила его, и, уже несколько успокоенный, чувствуя усталость, он остановился у массивного подъезда и сразу, взглянув наверх, увидел, что знакомые окна на пятом этаже ярко светятся. На какое-то мгновение предательская мысль поехать домой спать задержала его, но в следующее мгновение он уже бежал, перепрыгивая через две-три ступеньки, и, едва остановившись, позвонил.

Сдерживая бешеное желание застучать в дверь кулаками, достал папиросы, закурил; дверь распахнулась, и он увидел смеющееся, оживленное лицо Тани, которое как-то особенно мужественно замыкали квадратные плечи Грачевского.

— Николай Захарович? — удивилась Таня.— Заходите, заходите, мы вас, признаться, уже не ожидали. Сорвался, никому ничего не сказал...

— Простите.— Николай несколько театрально развел руками.— Как-то не пришло в голову, что могу оказаться лишним...

Он улыбнулся, вздохнул и тотчас хотел бежать вниз по лестнице, но Таня, караулившая каждое его движение, мгновенно вцепилась ему в рукав, засмеялась, испуганно оглянувшись на темные, высокие двери соседних квартир, задавила смех.

— Заходите же, заходите,— прошептала она.— Ох, будет мне завтра от соседей...

Втянув Николая через порог, она осторожно прикрыла дверь и повела гостей в комнату, но не выдержала, тут же оглянулась.

— Только вы уехали, Николай Захарович, папа из Лондона позвонил,— сказала она.— Вас спрашивал, удивился, когда я сказала, что вас нет...

— Правильно удивился, все верно,— согласился Николай.— Как его доклад? Ничего не сообщил?

— Вы же знаете папу,— улыбнулась Таня.—У него всегда все нормально.

— Да, я это знаю,— Николай не отрывал глаз от ее лица, словно пытался понять, не ошибся ли он в том главном, что заставило его так гнать машину, когда он решил уже не возвращаться, и это было настолько неожиданно для всех и прежде всего для него самого, что Грачевский присвистнул про себя: «Ого!», а Таня растерялась, но, поймав краем глаза понимающую усмешку Грачевского, вспыхнула.

— Николай Захарович, правда ли,— сказала она быстро,— вот Борис Викторович только что говорил... правда ли, что у вас мертвая хватка? Что в деле вы беспощадный, жесткий человек? Вы ведь друзья?

— Таня! — подал укоризненный голос Грачевский.— Но это же был разговор...

— Конфиденциальный? — иронически перебил его Николай.— Или доверительный? Совершеннейшая правда, Таня! Скажи мне, кто ты, и я скажу, кто твой друг... Я — за деловые отношения, Таня, во всем, что касается работы. Лучшей гарантией дружбы, Таня, в наши дни является договор... скрепленный печатью... Что ты все усмехаешься, Грачевский? Разве я неправильно говорю?

— Валяй, валяй, Николя́, раз уж на тебя сегодня накатило. Не обращайте внимания, Таня, с ним это бывает.

— Да, друзья мои, зло необходимо в мире,— задумчиво произнес Николай, по-прежнему не глядя на Грачевского.— Вот я сейчас как никогда ощущаю его необходимость, потому что мне хочется стереть в порошок какой-нибудь город и посмотреть, что из этого будет.

— Ни черта тебе не хочется, ни черта ты не ощущаешь! — разозлился, не выдержав, Грачевский.

— А ты-то что за пророк? — мрачно уставился на Грачевского Николай.

— Ребята, ребята! — заволновалась Таня; Николай остановил ее, слегка коснувшись плеча.

— Ну-у, я пошел,— церемонно поклонился Грачевский,— тут уже переходят на личности... Я пошел спать. Таня, не бойтесь, этот псих социально не опасен.

— Подожди, выйдем вместе...

Грачевский поцеловал руку Тане, смеясь, она в это время что-то ему говорила, и вышел на лестничную площадку.

— Валяй, Николя́, жду, только не очень долго.

Николай, прощаясь, ничего не сказал Тане, только глаза его расширились, засияв, вобрали ее всю; у нее закружилась голова, и, когда она опомнилась, на площадке никого уже не было. Глухо, отчаянно билось сердце. Таня сунулась в один, другой угол огромной, наполненной звенящей тишиной квартиры, упала на диван и, глядя вверх блестящими, мокрыми от слез глазами, счастливо засмеялась. «Нет, нет, нет,— сказала она, пытаясь унять сердце и успокоиться.— Это невозможно, он серьезный, большой человек, а я? Кто я? Нет, это от ночи, от этой страшной луны...»

Таня испуганно вскочила, подошла к высокому итальянскому окну и уставилась на сияющую прямо ей в лицо луну; она крепко зажмурилась в ее бесстрастном холодном сиянии. Ей представилась длинная-длинная, утомительная лунная дорога, она увидела и *его*, уходящего по этой дороге все дальше и дальше; уходя, он поднимался все выше и выше, и от сладкой, нежной муки у нее сжало сердце. Уходит, уходит!

Она задавила готовый прорваться крик, стиснула виски ладонями, чувствуя, что кровь отлила от лица.

В это время Николай и Грачевский действительно шли посередине совершенно пустынной улицы, шли плечо в плечо, не говоря ни слова, и это молчание было тягостно обоим. Николай внезапно остановился и, круто повернув, зашагал обратно.

— Ну, опять,— недовольно пробормотал Грачевский.

— А-а, отстань,— через плечо бросил Николай.— У меня машина, я совсем забыл. Хочешь, подвезу? — предложил он.

— Ну тебя к черту,— махнул рукой Грачевский, холодно вспыхнула блестящая запонка.— Ты ведь любишь под красный свет нырять. Псих! Разобьешь... и себя ради такого случая не пожалеешь! Поезжай!

— Правильно, Грачевский, молодец! — одобрительно кивнул Николай.— Разобью! Иди спать, великий человек! Иди... не рискуй!

Он ускорил шаги, но почти тотчас услышал тяжелое дыхание за спиной: Грачевский догонял. В следующую

минуту он схватил Николая за плечо, резко рванул к себе.

— Дальше так нельзя,— сказал он, сдерживая дыхание.— Давай поговорим. Как говорят французы...

— Ты отлично знаешь, Грачевский, что я кроме русского в случае крайней необходимости говорю только на английском, и притом отвратительно.

— Ну, английский — это язык торгашей,— поморщился Грачевский; Николай едва сдержался, чтобы не ударить его, зная, что тот этого только и ждет; и в сознании мгновенно встала уморительная картина: два взрослых гидальго дерутся, как в старом испанском романе, посредине пустынной улицы, под луной, а из окна пятого этажа за этим романтическим поединком наблюдает девушка и, может быть, ахает и восторгается.

— Что тебе нужно? — спросил Николай, резким движением освобождая плечо от руки Грачевского.

— Я ее люблю...

— И что дальше?

— А дальше, Дерюгин, дальше ты... блестящий ум... счастливчик... конечно, вскружишь девчонке голову... Я ее люблю. Почему ты не скажешь ей честно, что валяешь дурака и морочишь ей голову...

— Это не тема для дискуссии среди ночи,— резко оборвал Николай.— И потом, меня не интересуют твои чувства к ней.

— Дерюгин, почему ты все время стараешься меня унизить? — спросил Грачевский.— Какое ты имеешь право? Подожди, подожди, нечего разыгрывать изумление. Только и слышишь: Дерюгин! Дерюгин! Криогеника... талантлив... подает надежды... блестящий ум! Только это и слышишь кругом...

— Грачевский, если не обидишься...

— Не обижусь, валяй!

— Заметь, Грачевский, в ритме текущего дня мирно топают одни обыватели, завтра для них — отвлеченное понятие, сплошной темный лес... Заметь, Грачевский, мы с тобой едва-едва укладываемся в график текущего дня. И больше ничего не успеваем из себя выжать. Ниче-го! А день... текущий... вот он, уже наступил, нужно хоть немного поспать...

— Вот видишь, ты опять! — почти крикнул Грачевский.— Ты опять все свел к трёпу... Хватит паясничать! Давай поговорим серьезно!

— Грачевский, ну, пойми, ну, глупо, вдруг посреди ночи встать и обсуждать мироздание, глупо — и все! — тоже повысил голос Николай.— Хочу спать, Грачевский, ты же хотел спать!

— Я хочу, чтобы ты один раз принял меня всерьез! Понимаешь, я есть, я существую. И таких, как я, много. Нас больше, возьми себе это в свою проклятую башку! — голос Грачевского неожиданно приобрел маслянистую бархатистость.— Как же! У него уже сверхновое устройство готово, вот-вот и подпрыгнет к самой луне. Как же! Он и сам туда готов отправиться, проходит усиленную подготовку, экзамен на биологическую прочность! Для него уже институт упакован в цветной целлофанчик! Из грязи... сразу в главные конструкторы! Я только недавно в министерстве был, наслышался восторгов в твой адрес! Слушай, Дерюгин, а не схватишь ты от такого обилия несварение желудка? А? Нам тоже что-нибудь нужно оставить... какой-нибудь кусочек сыру? Не кажется ли тебе, что право одного за счет других — чистой воды фашизм?

Николай, слушавший его со скучающей, безразличной улыбкой, расхохотался.

— А тебе не кажется, что ты уже не отличаешь мысли Карла Маркса от своих собственных? Нет, не кажется? — весело допрашивал он Грачевского.— Что ты, друг, мне жизни даже маловато! Мало, понимаешь? Я жадный, Грачевский, ты это твердо знай. Я хочу в одну свою несколько жизней вместить. Ты вон ко мне все примериваешься, присматриваешься — зря время теряешь... Ты лучше по кабинетам ходи, ходишь, и правильно, и молодец! Это прямое твое призвание! И самое что ни есть время. Сейчас ведь кто к начальству за советом не ходит, его сразу — бац! — в разряд безынициативных со всеми вытекающими! Ты правильно живешь, Грачевский, не знаю, что тебя сегодня разбирает,— Николай сердито зевнул.— Потом, знаешь, Грачевский, с тобой всмятку скучно, все какие-то обиды, обиды... Зачем?

Не ожидая ответа, он сел в машину, захлопнул дверцу, опустил стекло.

— Подвезти, Грачевский?

— Езжай к черту,— от души пожелал тот и остался стоять посреди улицы.

Николай рванул машину на зеленый свет и стремительно исчез в темном провале улицы, но, проехав

квартала два, сбросил скорость. «Торопиться некуда, воскресенье,— сказал он себе,— у Тани вчера был незнакомый, хриплый от напряжения голос, и Грачевский Борька прав, почему, собственно, нужно избегать девушку, которую любишь, которая нравится и которая к тебе явно неравнодушна, из-за того только, что ее отец твой шеф и известный ученый, и обыватели скажут, что ты делаешь карьеру? Обыватели всегда найдут, что сказать. И из-за того только испортить себе жизнь? Теперь-то чего ему бояться, он уже доказал свое; в космосе работает созданная по его идее и под его руководством приемно-передаточная аппаратура невиданной до сих пор чувствительности. Да, именно ему поручено возглавить создание криогенной, охлажденной почти до абсолютного нуля космической станции, стать главным конструктором института криогеники, именно это, а не Таню, Грачевский имел в виду... ну и пусть».

2

Николай поспал часа два-три; его разбудил телефонный звонок. Он сонно дотянулся до трубки.

— Да!.. Что? — тут же подобрался он.— Привет, Валера... Да... нет... Ничего не выходит пока... Эти приемные устройства вместе с охладителями нужно вогнать в отведенные габариты, то есть ровно в четверть того, что они занимают сейчас... Разумеется, думаю... пока...

Осторожно опустив трубку, он откинулся на спину, вспоминая всю вчерашнюю ночь, свой разговор с Грачевским, заложил руки под голову. Взглянув на часы, он вскочил было, но тут же опрокинулся вновь, он забыл, что сегодня воскресенье, сегодня не грех бы и отдохнуть, отключиться от всего... Вчерашнего дня Грачевский ему не простит никогда, это серьезный противник, бороться он будет до конца. За его спиной стоит сильная группа — все противники Лапина с академиком Строповым во главе.

Николай поймал себя на мысли, что старается думать о чем угодно, только не о работе; больше всего ему сейчас хотелось вскочить, одеться и броситься к Тане, и опять он пересилил себя и весь день листал последние номера американских и английских журналов, стараясь хоть за что-то зацепиться. Если глаза уставали, он

начинал думать о своем главном детище — первой криогенной космической станции, проект которой еще только разрабатывался, был еще только у него в голове и у самых близких его единомышленников, или, вспоминая о каком-нибудь неотложном деле, начинал звонить, нарушая введенное им самим негласное правило — не тревожить по воскресеньям никого из своего окружения без необходимой на то причины.

Часовая стрелка незаметно скакнула за пять, он поискал глазами продолговатое, длинное зеркало, подошел и стал перед ним, с напряженным любопытством осматривая себя с ног до головы еще и еще раз; одет он был в синий спортивный шерстяной костюм, подчеркнуто небрежно и ловко обтянувший сильное, тренированное тело, длинные прямые ноги, мускулистый живот, грудь, широкие плечи. На моложавом лице светились внимательные серые глаза, женщины любили эти глаза, и размашистые темные брови, вот только подбородок... впрочем, подбородок как подбородок, ничего выдающегося... Он нахмурился; вот этим он и смущает седобородых мужей, нельзя так простодушно, по-детски улыбаться; это ребенку сродни, но ведь ребенку не приходится драться за новый институт, не приходится делать сообщения на ученых советах, где каждый второй ждет не дождется твоего провала; ведь ни для кого не секрет, что именно профессионалам-то труднее всего понять друг друга. Такая улыбка нравится женщинам, недаром они к нему липнут. Бросить, что ли, заниматься гимнастикой и отрастить живот посолидней?

С двенадцатого этажа было хорошо видно широко разбросанное окрест пространство крыш, антенн, нагромождение домов, и доносился непрерывный гул улицы; солнце садилось после жаркого, долгого дня. Николай увидел на крыше соседнего дома запутавшегося хвостом в решетке бумажного змея; иногда ветер отрывал его от железа, приподнимал, пытался унести прочь, и Николай с интересом наблюдал за этими судорожными рывками несколько минут; кто-нибудь из мальчишек, очевидно, долго мастерил его и радовался, когда запустил, и долго бежал вдогонку...

Когда раздался неожиданный звонок, Николай непонимающе оглянулся и с удивлением пошел открывать; в эти часы, в воскресенье, к нему мало кто наведывался; принужденно улыбаясь, перед ним стояла Таня. Он непонимающе поглядел на ее загорелую длинную шею,

опустил глаза ниже и, чувствуя в себе какую-то сковывающую вязкость, неловко поправил волосы; его растерянность передалась ей, и она еще больше испугалась своей смелости, чем в первую минуту, но было уже нельзя уйти, и она решительно переступила порог — она просто не могла уйти и не хотела.

— Здравствуйте, Николай Захарович,— сказала она, внезапно подумав, что совершенно глупо одета, и оттого чувствуя коленями какую-то голую неуютность и еще больше краснея: нет, нельзя было идти к нему в этом сверхмодном коротком платье; она посмотрела ему в глаза, прося его помочь и понять, и он скованно улыбнулся в ответ и тоже прямо посмотрел ей в глаза, как бы говоря, что все правильно, все идет как надо и не может быть иначе.

— Здравствуйте, Таня,— ответил он, справляясь с собою,— проходите.

Он протянул было ей руку, но тут же опустил и опять ободряюще ей улыбнулся, как бы говоря, что все идет отлично, но лучше бы ей не приходить, что она еще всего не понимает и вряд ли когда-нибудь поймет, что она красива и хороша, но все равно лучше бы ей не приходить, и он увидел, что у нее сейчас изумленные, тревожные и радостные глаза, и все умолкло, и все отступило, и любящий отец Лапин, и завтрашний день, и проект, и то, что в последнее время не ладилось с новым приемным устройством. Таня сняла с плеча сумку на длинном ремне и медленно протянула ему; он взял, повесил ее на крючок.

— Таня,— с трудом сдерживая детский, щенячий восторг, сказал он,— это грандиозно, что вы пришли... Таня, Таня,— закружил он ее по комнате,— как вы догадались прийти?

— Ай-ай-ай, Николай Захарович, такой солидный человек, всячески награжденный и отмеченный, автор первой в мире монографии по криогенике, и радуется приходу девчонки, да еще в мини-юбке...— она приостановилась, потому что ей не хватило воздуха. Ей хотелось плакать, сжало горло от жесткого, болезненного чувства: она любит, любит, любит этого человека, только его; это ее мужчина, она умрет без него, она уже несколько лет умирает без него, а в его присутствии только хохмит, дразнит его, говорит пошлости или в лучшем случае молчит, забившись в угол.

— Вы забыли добавить, Таня, что я разрабатываю совершенно уникальную программу и в случае успеха...

— Я это знаю от отца,— остановила его Таня.

— Сколько мы с вами уже знакомы? — спросил Николай, не находя возможным заводить сейчас разговор именно о ее отце.

— Вы пришли в первый раз в наш дом, когда я ходила в седьмой класс,— засмеялась Таня,—и у меня был пузатый желтый портфель, очень старый. Он мне почему-то очень нравился, и я с ним рассталась только в девятом. Вы были тогда лет на десять моложе и уже сделали какую-то нашумевшую работу...

— Да, я, кажется, помню этот портфель,— задумчиво заметил он и, взглянув на заваленный бумагами и всякой чертовщиной стол, подумал, что она пришла не вовремя; он ничего, ничего не сделал сегодня, а надо бы серьезно подготовиться к завтрашнему дню, несомненно, его ожидает отменная трепка, даже не исключено, что попытаются напрочь перечеркнуть проект; это можно сделать и через вторые, третьи руки; можно было бы покончить со всем этим одним ударом, если хорошенько подготовиться, продумать все до самого конца, иногда ему это удавалось с ходу. Убежденные и одаренные не испугаются, испугается всякая мелюзга, посредственность, но ведь и это не самое главное, отбиться от полчищ бездарностей, которые совершенно безглазо, как термиты, все пожирают на своем пути, все приводят к коэффициенту собственных возможностей.

Попросив Таню подождать и извинившись перед нею, он позвонил Валерке, почему-то именно ему, и, сердя его, долго говорил об отвлеченных вещах; ждал, бросит или нет Валерка трубку, но тот не бросил и дослушал до конца, и Николай смутно обрадовался этому: «Ну, простите за вторжение, значит, мы договорились насчет гелия?» — сказал он и положил трубку. Он вдруг понял, что ничего завтра не будет, никакого обсуждения, никакой комиссии. Это было подспудное чувство, перешедшее в мгновенную чугунную уверенность, оно беспокоило его еще до разговора с Валеркой, недаром же он позвонил ему ни с того ни с сего; почувствовав сильную усталость, он взял сигареты и закурил; надо все бросить и уехать куда-нибудь к черту, хотя бы ненадолго, на несколько дней; черт, как ощущается отсутствие Лапина, он совершенно ни о чем не может думать; кстати, поездку будет нетрудно устроить; толь-

ко вчера ему предлагали путевку, сам Муравьев проявил по поводу этого отеческую заботу, да и Аленка (на той неделе забегал взглянуть на племянников, поболтать) все ругала его, что плохо выглядит.

— Я еду завтра в деревню, к родным,— вдруг сказал Николай, садясь рядом с Таней на мягкий диван, где она уже давно пристроилась и курила, молча наблюдая за ним.— У меня там отец и мать, Ефросинья Павловна и Захар Тарасович, я не был у них уже столько лет... только писал письма и посылал деньги. Кстати, езды двое суток всего, но я все там забыл! Зачем вы курите?

— Возьмите меня с собой, Николай Захарович,— попросила Таня.— Я куплю билет на свои деньги, я не стану мешать вам, просто мне очень хочется взглянуть на то место, где вы родились.

— Что это вам вздумалось? — недовольно проворчал он.— Вам еще там не понравится... Удобств никаких, туалет во дворе...

— Почему вы меня никогда не принимаете всерьез, Дерюгин? — Она с трудом удерживала слезы.— Чего вы боитесь? Моего нападения на вас? Возьмите меня с собой. Я вообще не буду вам мешать. Вы меня даже не услышите. Хотите, я брошу курить?

— Слушай, Таня,— внезапно рассердился он,— давай кончать эту волынку. Встань.

Она удивленно поглядела и встала; он положил руки ей на плечи, и она увидела, что он очень бледен, в лице появилась нездоровая рыхлость, она этого раньше не замечала; нет, нет, она не знала, почему она его любила, как ей казалось, всегда, постоянно, с того самого дня, как он появился у них в доме, горячий, взволнованный каким-то своим спором с отцом и ее совершенно не замечавший, хотя она раза два-три под разными предлогами прошмыгнула в кабинет отца; да, у него хороши были губы и глаза, но он не замечал ее даже рядом.

— Ты совсем не о том думаешь, Таня,— сказал он неожиданно.— Вовсе нет, не это меня удерживало...

— Нет, нет, не надо ничего говорить и обещать,— сказала она.— Я поеду с тобой. Ты ведь не осмелишься сказать мне «нет» сейчас. Ты должен знать, у меня еще в институте... да, я должна тебе сказать, я думала, что это была любовь... Потом мы расстались... Его звали Андреем...

— Зачем мне это знать? Хорошо, я согласен, едем в деревню. Но я так долго не был у матери с отцом...

— Какое это имеет теперь значение!

Она потянулась к нему, и он поцеловал ее; она зажмурилась, и ему стало легче, мягкий, ласкающий свет, льющийся из ее глаз, мешал ему.

— Понимаешь, Таня, отныне все, что бы я ни сделал, будет связываться с именем твоего отца,— он почти оттолкнул ее и, упрямо вздернув подбородок, уткнулся взглядом в уродливый пятиугольный стол на тоненьких металлических ножках, запоздало удивляясь, где только он разыскал такую гадость.— В конце концов и это неважно, такие трагикомедии в принципе вероятны, но не имеют отношения к конечному результату. Я другого боюсь, вдруг во все это вмешался господин случай и все это ошибка, обыкновенный математический расчет здесь не поможет.— Он засмеялся.— Не бойся, это все волны, я не могу любить, дать счастье женщине, ты мне нравишься — и все, понимаешь — и все! Ты ни на что не можешь рассчитывать,— повторил он, присматриваясь к ее потухшему лицу.— Не обижайся на меня, Таня, любить по-здоровому, безумно, я уже не могу. Ты непременно хочешь ехать со мной?

— Непременно! — передразнила она.— Мне непременно хочется взглянуть на ту землю, где родятся вот такие бесстрастные знаменитости... Да, я поеду, это к тебе не имеет отношения, просто я так хочу. Для нас это будет последний порог, или мы его перешагнем вместе, или кто-то из нас один, а второй просто повернет назад. Давай я съезжу за билетами в предварительную кассу, деньги есть. Хорошо?

— У меня тоже есть деньги,— сказал он и впервые почувствовал отчуждение, увидев ее холодно-замкнутой, с узкими, опущенными плечами, отчего шея казалась длиннее, с еще детски пухлым ртом, в приподнятых уголках которого уже таилась женская жестокость; она смотрела на него далекими, не принадлежащими ему глазами и была в своем детском высокомерии похожа на пришелицу из иного мира; она была красива, и запоздалое чувство ревности шевельнулось в нем. «Красота относится к той же категории, что и талант, даже злая красота обогащает мир,— подумал он,— за что она может меня любить? Времени у меня нет и никогда не будет; она ведь умна и понимает, что быть все время рядом и тешить ее красоту я не смогу, за что же

она может меня любить? Просто она, наверное, пытается залечить душевную свою рану, ту самую, полученную в институте, тут я и подвернулся...»

Он снова мельком оглядел себя в зеркале; на него глядел подозрительный тип с припухшим, изъеденным бессонницей, желтоватым лицом, со сросшимися гнедыми бровями; он поморщился. «Гм, черт, все это пижонство, это их объяснение, все ненатурально, девчонка напичкана до ушей романтикой, ей хочется жертвовать собой. Но при чем здесь он? Он не имеет права привязывать ее, такую хрупкую, самонадеянную, к своей железной колеснице, но он хотел иметь ее рядом». По закону, который не в силах рассчитать и объяснить никакой электронный мозг, он хотел ее; в силу своего проклятого характера он уже отважился схватиться сам с собой; тот, второй, проклятый, разрешил, чтобы девушка понравилась ему, но он в любое время мог приказать себе прекратить этот процесс; он был тоже всего лишь отдельная система, отдельная замкнутая цепь, и процессы в ней должно и можно было изучать; сейчас он забыл все, и то, у чего не было ни законов, ни формул, ни здравого смысла, накрыло его с головой, придвинулось к нему где-то у самой последней грани; он подошел к Тане и опустился перед ней на колени, сильно сжимая руками ее ноги.

— Таня, я устал, я больше не могу, я больше не могу так,— признался он, запрокинув лицо, и это было сейчас лицо не мужчины, а мученика, но Таня подумала, что оно и сейчас прекрасно, какой-то странный блеск сочился из его глаз.— Ты ведь ничего не знаешь... у меня все распадается, мозг распадается, я сам исчезаю... Ты можешь спасти меня, но зачем?

У него на лице появилась слабая, стертая усмешка, он смеялся над своими словами, но Таня знала, что слова его — правда; она ничего не сказала; его руки обхватили ее ноги где-то выше колен, и она прислушивалась к этим осторожным рукам, она не хотела спугнуть их и стояла не шевелясь; еще рано торжествовать, но все-таки, кажется, она победила; то темное и враждебное, что всегда мешало подступиться к нему, на время отступило, сама она тоже опустилась на колени, чтобы видеть его глаза.

— Как ты не похож ни на кого,— сказала она с трудным, почти пугающим спокойствием.— Даже на моего папу не похож — удивительно!

— Что же тут удивительного! — рассмеялся Николай, этим смехом словно сбрасывая с себя удушливый панцирь, охватывающий его, как ему казалось, вообще с самого начала жизни.— Что тут удивительного? — повторил он тихо, больше самому себе.— Лапин, Танюша, огромная личность, это только потом, потом... не скоро поймут. И потом уже поздно, тебе пора идти.

— Не пойду,— враждебно сказала Таня, с чуткостью улавливая все те смены настроения и борьбы, что происходили в нем.— Я сегодня у тебя останусь, молчи, это не твое дело, это никого не касается, я даже тетке не стану звонить... Хотя нет, ей я позвоню и все скажу, она тебя чуть ли не больше меня самой любит...

3

Через неделю они уже сошли на маленькой зеленой станции под названием Старо-Густищи; Таня в пыльнике, низко повязанная косынкой, с любопытством наблюдала за странно одетыми людьми с мешками и корзинами, за молодой женщиной-стрелочницей в форменной одежде, пронзительно свистевшей неподалеку и махавшей флажками; вокруг станции было много длинных складов; когда они вышли в небольшой пристанционный садик с клумбами и скамейками, обтрепанная курица важно провела мимо них десятка два цыплят; Таня надула губы и рассмеялась. Ей все казалось нереальным, и пыльные дорожки, и курица с цыплятами, и высокие острые тополя, зелено возносившиеся со всех сторон над низеньким зданием железнодорожной станции, и то, что они с Николаем здесь, где-то в глубине России, и что за ними должен приехать брат Николая, Егор, колхозный бригадир, и подвезти их на лошади в село Густищи, за семь километров от железной дороги.

— Давай здесь и посидим,— предложил Николай, указывая на скамью под густой и пыльной акацией.— Ты посиди возле чемодана, а я на базар схожу, здесь почти рядом, если... если он по-прежнему на старом месте.

Тане и самой хотелось сходить на базар и посмотреть, какие бывают базары в пристанционном местечке, но она решила не возражать, смахнула со скамейки пыль и села; Николай пристроил рядом с ней чемодан и рюкзак и ушел; ей показалось, что он взволнован

и торопится. «Ну что ж,— сказала она себе рассудительно,— у каждого в жизни есть свои воспоминания, и каждый имеет на них свое особое право; пусть походит, вспомнит детство, вдохнет его знакомые запахи». Таня была почему-то убеждена, что только запахи не забываются, запахи отца, матери, любимой вещи; а вот здесь пахнет пылью, мазутом и еще чем-то непонятным; мимо нее два или три раза прошел высокий смуглый парень с засученными рукавами на волосатых руках и в странной, почти не видной в его буйных кудрях кепочке; Таня заметила, что он всякий раз пристально останавливается взглядом на чемодане, и шевельнулась; пусть он не думает, что она спит, вполне вероятно, какой-нибудь довольно презренный гражданин, ни в советскую промышленность, ни в колхозное хозяйство идти не желает и занимается всякими побочными делами. Вернулся Николай, принес земляники, Таня недоверчиво глянула в газетный кулек.

— Она, кажется, немытая,— неуверенно предположила она, вопрошающе поднимая глаза на Николая, и тот засмеялся.

— Она в лесу росла, чистая,— возразил он, бросая в рот ягоду за ягодой и поддразнивая Таню, по его примеру тоже ставшую есть землянику; она осторожно, стараясь не глядеть на старую, вероятно, прошлогоднюю газету кулька, брала ягоду и клала в рот; прошел еще один поезд, теперь уж на Москву, и народу на станции стало еще меньше; день разгорался, и Тане пришлось снять пыльник; прямо из пристанционного садика в одну сторону открывалось поле с рожью, и в самом начале его видна была темная проселочная дорога; и оттого что вокруг было много зеленого и Таня долго глядела на рожь, небо тоже ей показалось с прозрачной зеленью.

— И все-таки я люблю тебя, Коля,— грустно сказала Таня, вспоминая отцовское лицо, как-то безнадежно опущенные углы губ, когда она сообщила ему после его возвращения из Лондона, что едет в деревню с Дерюгиным. И так как в ответ на ее слова Николай по-прежнему молчал и бросал в рот ягоду за ягодой, Таня опять вернулась к мысли об отце; почему-то вот уже несколько дней она мучилась раскаянием, она никак не могла забыть выражения его лица; Таня могла бы поклясться, что отцу было просто больно, хотя она не раз говорила ему и раньше, если у них заходил разговор о Дерюгине,

что она любит его и будет ждать еще сколько угодно, но своего добьется, и попросила не портить ей жизнь, не вмешиваться, она согласна быть с таким человеком, как Дерюгин, без всяких росписей и загсов. Пожалуй, больше всего ее удивило и даже испугало, что она, оказывается, почти не знала отца; она никогда бы не могла предположить, что он способен опуститься до таких мелочей, для нее он всегда был таинственным и блестящим космосом, холодным полем, где не менее бесстрастно рождались, гибли, сталкивались идеи, где за коряво написанной формулой стоял огромный мир абстракций, где все, даже самое сокровенное движение человеческой души, могло быть объяснено, и высчитано, и закреплено на клочке бумаги, и вдруг — почти боль в этом лице, и по какому пустячному поводу — взрослая дочь отыскала своего мужчину. Но и ей почему-то было жалко отца, он теперь совсем одинок, хотя пытается это скрыть внешней колючестью, все-таки он носил ее на руках, дарил ей игрушки, укладывал спать, строя смешные рожицы.

Она засмеялась своим воспоминаниям, в то же время удивляясь спокойствию Николая, он почти не замечал ее сейчас и все что-то искал, жадно ощупывал глазами. Опять показался смуглый молодой гражданин в кепочке и, потоптавшись в сторонке, несмотря на враждебный взгляд Тани, направился прямо к ним, поднимая пыль с дорожки носками парусиновых туфель, в ходьбе он ставил их как-то носками внутрь. Явно намеренно он, приблизившись, стал к Тане боком и, сдерживая густой голос, спросил у Николая, не к Дерюгиным ли они в Густищи, и Николай ответил, что да, в Густищи и к Дерюгиным, и стал пристально и, как показалось Тане, растерянно присматриваться к смуглому парню, и тот, с большим потным пятном на рубашке, хорошо видным Тане, спросил:

— Ты ж Колька Дерюгин?

— Постой, постой,— сказал Николай с незнакомой Тане окрепшей интонацией в голосе.— Постой... Неужели Егорушка?.. Точно, Егорушка! Ну, брат, вымахал! — растерянно добавил он, топчась на одном месте и неловко пододвигаясь к Егору, бывшему значительно выше его ростом. Они обнялись; широко раскинув длинные руки, Егор сгреб Николая в охапку; Таня испуганно смотрела на них; никогда бы она не могла и подумать, что у Николая может быть такой непохожий

и такой громадный брат, если бы не было стыдно, она обязательно вмешалась бы и попросила не тискать Николая так сильно; выбравшись из объятий Егора, Николай отбросил взлохмаченные волосы со лба, рассмеялся.

— Знакомься, Егор,— кивнул он, показывая на Таню.— Это Таня... Ты уж с ней полегче, а то придется мне сразу вдовцом остаться. Знакомься, знакомься — Таня.

Заученно улыбаясь, Таня протянула Егору руку, и в тот самый миг, когда его острые зрачки встретились с ее глазами, она сразу поняла, что перед нею человек умный и добрый, и ей захотелось понравиться ему; прикосновение к его ладони напомнило ей литое железо, и она еще раз отметила непохожесть всего, что здесь видела, на ее прежние представления о жизни.

— А я смотрел на вас,— сказал Егор, слегка прищуриваясь,— все боялся подойти. Вы так на меня глядели...

Таня покраснела, и, выручая ее, Николай спросил:

— Ну как там мать? Что отец?

— Вот приедешь, увидишь,— неопределенно отозвался Егор,— ты ведь, кажется, лет как десять не мог выбраться... Мать тебе там все сосчитает,— он улыбнулся и заторопился.— Телеграмму вчера получили, ну я и за вами, на мотоцикле... у меня свой, с коляской. Это ваши? — он кивнул на чемодан и рюкзак, легко подхватил их, и как Николай ни старался взять у него что-нибудь из рук, он не дал, и сейчас было особенно видно, насколько он здоровее и моложе Николая, даже сквозь сильный, ровный загар у него проступал по всему лицу румянец, и в движениях чувствовалась сила и легкость, и еще Таня с ревнивым чувством отметила, что Николай несколько сутуловат и уже лысеет со лба.

— Мотоцикл тут у меня рядом стоит, вон за углом,— на ходу говорил Егор.— Купил, понимаешь, бригадиром после армии работаю, мотаться приходится с утра до ночи, все не успеваешь. Мать сначала ворчала все, разобьешься где-нибудь, говорит, а потом ничего, привыкла.

— Как она здоровьем-то? — спросил Николай, пытаясь припомнить, какое у матери было лицо в последнюю их встречу, но смех Егора помешал ему.

— Мать-то? Да она у нас в доме первый командир... Вот и мой трамвай,— сказал он, указывая на мотоцикл.— Багаж мы в коляску, туда же и Татьяну...

— Зовите меня Таней,— попросила она и засмеялась.— Ох, боюсь я, вероятно, у вас не принято с невестой приезжать?

Она уловила быстрый взгляд Егора, он какой-то тряпкой вытряхивал из люльки мотоцикла пыль и при словах Тани на мгновение повернул голову.

— Да что ж у нас,— сказал он все с тем же ровным дружелюбием,— у нас, как и везде у людей. Садись, Таня, сюда, а Колька сзади меня, на седле, поедет. В другой раз надумаете погостить, небось уже «Москвичом» разживусь.

Две женщины, очевидно, знавшие Егора, остановились неподалеку и стали разглядывать Таню, время от времени обмениваясь впечатлениями и пересмеиваясь, и, когда наконец мотоцикл сорвался с места, Таня облегченно вздохнула; вполне вероятно, что это был ложный шаг с ее стороны — напрашиваться ехать с Николаем в деревню. «Ну что ж, терпи теперь, раз напросилась, деваться некуда». Сначала они ехали по широкой асфальтовой дороге, затем свернули на отвод, в сторону, прямо в поле высокой цветущей ржи, и вслед за ними потянулся рыжий хвост пыли; Таня сбросила с головы косынку и жадно озиралась по сторонам; побаиваясь за свой груз, Егор не спешил, и Таня иногда протягивала руку и хватала мягкий усатый колосок. Они выехали на пологий холм и с его вершины сразу увидели село с полуразрушенной старой церковью, с рекой и с запрудой на реке, и ряд старых зеленых берез на околице, был виден и лес, подступавший с одного края совсем близко к селу, и зеркало довольно большого озера; Егор остановил мотоцикл и не оборачиваясь сказал:

— Ну вот они и есть, наши Густищи... тут мы с Колькой появились на свет белый. Все, наверно, забыл, братуха, а?

— Нет, кажется... Издали думаешь, что и забыл, а коснешься — рядом, как никуда и не уезжал. Ты, Егорушка, помнишь, в детстве-то, сразу после войны, на уток ходили?

— Помню, как не помнить,— отозвался Егор, всматриваясь в сторону села, и заторопился.— Ладно, поедем, нас теперь заждались небось, мать раз пять с пал-

кой на дорогу выходила. Смотри, Колька, она тебя серьезно отколотить собралась.

Николай ничего не ответил, он словно сбросил с себя старую, тесную шкуру, и стало ему просторно и хорошо; кто-то словно невидимым взмахом обрубил за ним все привязанности и дела; было вот только это бесконечное хлебное поле, рожь иногда била ему по лицу, и он начинал бездумно смеяться. «Какая все это чепуха,—урывками, беспорядочно думал он, задыхаясь от встречного ветра.— Какая чепуха все, что мы там делаем и стараемся делать, и ненавидим друг друга; а вот это самое настоящее, неподдельное, хлеб, земля, солнце, и надо так просто жить, бросить все, построить себе избу и ездить на мотоцикле. А потом вырастут дети, отнесут тебя на старый, в ракитах, погост, вот тебе и весь кругообмен. В самом деле, посылать энергию куда-то в неизвестность и безвозвратно терять ее — это занятие неврастеников, утративших все обычные, естественные рефлексы для поддержания здоровой и нескучной жизни; когда-нибудь они сожгут себя и землю, потому что люди им верят, задурены самим этим понятием «сверхисключительность», «гениальность», а на самом деле это одна из самых опасных болезней, когда-либо встававших на пути человечества, проказа в самой сердцевине его существования; детей, сверх средней нормы развитых, надо сразу уничтожать, а всех гениальных ссылать в какие-нибудь лагеря, заставлять их работать землекопами или каменщиками, гениальные всегда кончали плохо, ввергая людей в пучину горя и ужаса; гениальность — один из самых возмутительных пороков, потому что это лишь слабое прикрытие, слабая пленка безумия, готового прорваться в мир в любой момент; жить должно просто и свободно: растить хлеб и детей, и потом уйти; уступить место другим».

Они уже въехали в село; и ничто иное, а именно старые запахи (память о них, оказывается, хранилась в нем каким-то чудом все эти годы за семью печатями) охватила его, и он узнал их; странно, горьковато-нежно пахло свежеотесанным деревом, и хлебом, и перепревшим навозом, и конюшней, и сырой глиной; в ноздри ему тек забытый, казалось бы, запах детства, запах дыма из печных труб, запах пота и пыли, которым пахнет от стада коров, когда они возвращаются на вечерней заре домой, неся молоко и лениво смахивая

с себя длинными хвостами комаров; в такие минуты пахло покоем и сытостью.

Николай вдруг увидел мать. Она отошла от избы, и очевидно, приоделась к такому случаю: на ней была длинная темная юбка, кофточка в талию и на голове светлый цветной платок, а на ногах тапочки, еще поблескивающие неизношенной кожей; за юбку ее цеплялся мальчонка с перепачканным лицом. Николай спрыгнул с мотоцикла и пошел к матери, весь под властью своего нового восприятия мира; все ему казалось сейчас необычным, и то, как он идет к матери, и то, как она, ожидая, стоит, сложив руки на груди, и в лице у нее светится скупая радость. Егор позвал своего сынишку, цеплявшегося за бабкин подол, прокатиться на мотоцикле; мать взяла Николая сухими, жилистыми руками за шею, нагнула его голову и поцеловала в щеки; и у нее был свой, незабываемый запах горьковатого тепла, ему показалось, что она совсем не постарела, высокая, крепкая для своих лет женщина с приятным и умным лицом и с бесконечно добрыми, по-прежнему цветущими голубизной глазами, он узнал эти глаза, и все смущение прошло.

— Здравствуй, мать,— сказал он, и голос у него дрогнул.— Вот приехал, хочешь — бей, хочешь — пирогами корми.

— Долго же ты собирался, сынок,— трудно выдохнула Ефросинья и, не желая усиливать его смущение, сощурилась, смахнула кончиком платка легко льющиеся слезы.— Очки фельдшерица прописала носить, да за работой никак не выберусь в город за этими очками. Просила отца, он в прошлый раз ездил, моего размеру, говорят, нету...

— Да где ж батька-то? — спросил Николай, оглядываясь и не видя нигде привычной, слегка сутуловатой, высокой фигуры отца.

— Захотел свежей рыбкой вас угостить,— сказала Ефросинья.— Еще с зарей на лесные озера подался, вот-вот подойдет.

— Ты еще не на пенсии, мать?

— Наша пенсия особая,— губы Ефросиньи опять дрогнули в улыбке,— как закроешь глаза под сосновую доску, так тебе и пенсия. Ну, да что это у нас за разговор... ты уж лучше покажи, кого с собою привез. Неужто женился, а... Колька, на свадьбу не позвал?

— Затем и приехал, мать... Благословляешь? — спросил он, поглядев на Таню и как бы заранее прося ее не обращать внимания на все, что она может увидеть и услышать здесь непривычного.— Это моя невеста, Таня. Познакомься, мать... Показать привез,— добавил он, чувствуя, что все ранее сказанное как-то повисло в воздухе.

— Что ж, невеста так невеста,— слегка кивнула Ефросинья, уже давно обсмотревшая Таню с ног до головы и отметившая про себя, что она хорошего росту и что для женского дела по всем статьям пригодна. Ефросинья поцеловала ее так же, как сына, в обе щеки трижды; повела к крыльцу, надеясь со временем выпытать как-нибудь, почему это пока невеста, а не жена уже; очевидно, был для этого у них какой-то резон, думала она, но ведь Николаю давно пора обзаводиться семьей, четвертый десяток идет вхолостую, и никогда у них в дерюгинском роду не было такого сраму; Егор ему ровесник, вот уже двух сынов нажил, старшой в школу бегает.

Так как наступил полдень и люди шли обедать, то поодаль от дома Дерюгиных на приличном расстоянии стойко держалась, не рассеиваясь, кучка односельчан; всем хотелось посмотреть Кольку Дерюгина, вышедшего по слухам в большие ученые, а женщинам еще больше не терпелось увидеть и оценить его невесту, ту, городскую, в юбке куда выше колен, но идти к самой избе или в избу в первый же час приезда гостей было по неписаному правилу не положено.

Вернулся Захар с корзиной карасей, вьюнов, прикрытых сверху мокрой тиной и дубовыми листьями; Николай поднялся отцу навстречу, несколько смущенно улыбаясь; они обнялись.

— Все куришь, отец? — спросил Николай.

— Курю,— подтвердил Захар.

— Нехорошо, врачи...

— Ну, врачи, они сами курят...

Ефросинья, собиравшая в просторной парадной горнице обед, выглянула в окно, сожалеюще покачала головой — «Мучаются-то бабы, бедняжки» — и снова принялась за привычное дело, в то же время отмечая любую мелочь не только в доме, но и далеко за пределами его; так, она выглянула в окно еще раз именно в нужный момент, словно заранее угадав намерение младшего внука Толика забраться в деревянное корыто

с водой, поставленной для гусей и прочей домашней птицы, и строго прикрикнула на него; птицы, как и в каждом хозяйстве, у Дерюгиных было множество, и Таня, прижавшись в это время спиной к изгороди, со страхом смотрела на угрожающе распустившего крылья огромного индюка, подбиравшегося к ней, на него откуда-то налетел Толик, хлестнул его хворостиной по крыльям, и индюк сразу стал меньше и бросился наутек. Поковыряв в носу, Толик посмотрел боком на Таню, раздумывая, признавать ли ее за свою, и, решив не признавать, убежал вприпрыжку; вежливо поздоровавшись, прошел мимо с корзиной высокий седоватый мужчина, он как-то открыто взглянул ей в лицо и тепло, по-хорошему улыбнулся, как давней знакомой. Скоро пришла с работы на обед жена Егора, среднего роста женщина, очевидно, очень крепкая и здоровая, все серьезно называли ее Валентиной; со спокойной улыбкой она сильно пожала Тане руку, затем поздоровалась с Николаем, и тот, сколько ему ни объясняли, чья она дочь и где до замужества жила, так и не мог вспомнить; Валентина сразу принялась помогать матери по хозяйству, и вскоре уже был накрыт стол, уставленный таким количеством всякой еды, что Таня простодушно ужаснулась; даже успели зажарить карасей в сметане, и они золотистыми глыбами аппетитно лежали в больших глиняных, облитых глазурью блюдах. Пришел старший сын Егора Володя, высокий загорелый мальчик лет десяти, очень похожий на отца и, вероятно, всеобщий любимец.

— Чего-чего сбычился? — сказала ему Ефросинья.— Подойди, поздоровайся, это твой дядька родной, небось он тебя не укусит. А это тетя Таня, дяди Колина жена,— вроде бы оговорилась Ефросинья, но поправляться не стала и лишь покосилась в сторону Тани; скоро все сели за стол, усадили ради такого исключительного случая и детей; но перед этим, увеличивая общую суматоху, Николай раскрыл чемодан и всех стал оделять подарками; отцу он привез электрическую бритву и кожаную, на меху шведскую куртку, матери пушистую, невесомую мохеровую кофту и теплые сапоги на низком каблуке, Егору — транзисторный приемник и водонепроницаемые часы, его жене Валентине — духи и шелковый индийский платок, а племянникам — заводные игрушки и по коробке шоколадных конфет; Ефросинье до того понравились кофта

и сапоги, что она тут же стала их примеривать, и все, с интересом наблюдая за ней, посмеивались; сапоги, хотя и были нужного размера, никак не шли на босу ногу, и Валентина подала матери чулки, но дело все равно продвигалось туго, и Николай, опустившись перед матерью на колени, сказал:

— Давай, мать, держи ногу-то... тверже, тверже... вот так, разносишь, мех примнется, еще просторны будут.

Он застегнул молнию, помог справиться со вторым сапогом и встал, отряхивая брюки, а Ефросинья так и осталась сидеть в сапогах на стуле и неожиданно для всех расплакалась, но тут же пересилила себя и стала усаживать за стол непоседливых внуков и все грозилась, что сегодня она уж выпьет и будет плясать на славу. Когда наконец расселись по своим местам, она подняла рюмку и, обводя стол взглядом и дольше других задержавшись на Тане, сказала тихо:

— Хочу я, родные мои, выпить за то, что почти все у нас в семье собрались сегодня в одном месте. Было вас три брата и одна сестра, да вот осталось теперь трое... четверо новых народилось — тут вот двое да у Алены с Тихоном двое, даст бог еще будут... за это я хочу с вами выпить, детки, пошли вам бог счастья в жизни и здоровья!

Захар, не говоря ни слова, согласно кивнул, а Ефросинья, остановив свой выбор опять на Тане, протянула ей рюмку чокнуться и выпила все до дна, как бы мимоходом заметив, что теперь и день быстрее пройдет; и день действительно покатился как-то быстро и безалаберно. Разошлись дети, Захар посидел с сынами, покурил и, сказав, что сегодня встал на рыбалку затемно, пошел прилечь; часа через два Ефросинья собрала полдник, и Николаю показалось, что они все время только и делают, что сидят за столом, едят и пьют. Ефросинья долго и подробно расспрашивала про Аленку с Брюхановым, про московских внуков, Ксеню и Петю, и если Николай не мог на что-нибудь ответить, сердилась на него и говорила, что так по-родственному нельзя, жить в одном городе, пусть это даже Москва, и не видеться по полгода. Захар больше молчал, время от времени подливая в стаканы, Егор тоже не перечил матери, лишь изредка посмеивался; в легких сумерках он, улучив момент, когда они остались с братом вдвоем, улыбаясь глазами, спросил у Николая, как они с Таней спать

будут, врозь или вместе, и Николай, принимая его тон, ответил, что, конечно, вместе, и Егор, дружески полуобняв его, засмеялся.

— Я так и говорил матери,— сказал он,— а она головой качает, все-таки узнай, мол, как у них там делается, в городе-то. Пойдем, я тебе покажу, я в саду на лето времянку соорудил для отдыха... вот и будете в ней. Вроде дачи, электричество есть, читать можно, там Валентина уже все чистое постелила. А окно прямо на лес выходит, на зарю... Я вижу, с непривычки-то да с воздуха сморило вас, давайте отдыхайте, завтра и поговорим, а то что ж сейчас...

Николай был, кажется, пьян, и ему все время хотелось смеяться; он было предложил Егору позвать отца и еще посидеть вместе в этом домике в саду, поговорить, но совершенно неожиданно задремал; какие-то странные, непривычные звуки доносились со всех сторон, и он все старался угадать, что это именно за звуки, и многие угадывал; Егор, посмеиваясь, смотрел на него и уговаривал его поскорее ложиться.

— А это правда, что ты секретный, а, Колька? — спросил Егор уже с порога.

— Да не совсем... Хотя впрочем, за меня при случае дорого бы дать могли,— совершенно не к месту засмеялся Николай, прислушиваясь к легкому непрерывному жужжанию, доносившемуся в открытое окно.— Очень дорого... впрочем, ты к чему об этом? Смотри, комары налетят, окно бы закрыть.

— Свет погасите, разлетятся... Ну ладно, мне еще надо по делам к председателю заглянуть, доброй ночи, Колька. Татьяна с матерью, все что-то ей рассказывает, рассказывает... понравилась она всем. Ты отдыхай, мать ее проводит.

4

Это была странная ночь, он запомнил ее, пожалуй, на всю жизнь; сильно пахло свежими зелеными огурцами, и ему подумалось, что он именно от этого запаха никак не может заснуть; потом ему показалось, что уже утро и пора вставать, до него сквозь сон донеслось коровье мычанье, и он открыл глаза; было совсем темно, но он сразу почувствовал рядом Таню, ее теплое, уже знакомое тело, и понял, что она не спит.

— Боже мой, я так счастлива, так счастлива,— прошептала она, едва он повернулся к ней и уткнулся лицом ей в грудь.— Я боюсь, Коля, за что же мне такое счастье, я его ничем не заслужила.— Она нащупала его лицо и в припадке нежности стала целовать его, и Николай, подождав, взял ее за плечи и положил рядом с собой; у нее были девичий, упругий, узкий живот и сильная грудь; он отметил какое-то невольное движение протеста с ее стороны, но потом все исчезло и был шелестящий мрак.

— Коля, я скоро умру,— вслух подумала она, не шевелясь, и он уловил слабый, какой-то далекий отблеск ее глаз.— Я обязательно умру, потому что такой жизни не бывает.

Он не ответил, лишь протестующе прижал ее голову к своему плечу; и был такой миг, когда он определенно понял, что она уйдет от него, наступит момент, и она уйдет от него, ничего не говоря и не спрашивая; от этого жестокого и неотвратимого предчувствия он осторожно освободил руку из-под ее головы, нащупал сигареты и спички и закурил.

— Спи,— сказал он ей сдержанно.— Скоро утро, а ты совсем не спала.

— Я не могу,— виновато отозвалась она и тотчас, забравшись головой ему под мышку, повозилась и, тепло и ровно дыша, заснула. «Да, она уйдет,— сказал он себе.— Я еще не знаю, почему, но она уйдет, и сам ты ничего не сделаешь для того, чтобы удержать ее, ты такой человек и потому рядом с тобой трудно. Иногда ведь достаточно одного слова, одного движения, и все останется по-прежнему, но ты ведь ничего не скажешь и ничего не сделаешь. А почему, собственно, не скажу? — удивился он.— Какая чушь! Пусть только попробует, такое устрою, земля из-под ног выскочит... Еще чего! Я никогда не захочу ее потерять, это главное... И вообще я не какой-нибудь студентик с папиным карманом, в самом деле! Да и какая нужда думать вперед, это ведь пошло».

Он долго всматривался в полумраке в лицо Тани и, подсунув ей под плечи руки, быстро приподнял ее и стал целовать в прохладную грудь. На мгновение она открыла глаза, но не проснулась, а лишь улыбнулась сонно и пробормотала: «Не надо, Андрей, оставь» — и Николай от неожиданности даже не понял вначале, что произошло; с сильно заколотившимся сердцем, бо-

ясь, чтобы она не проснулась совсем, он тихо опустил ее назад, на подушку, с каким-то мучительным беспокойством снова всматриваясь в ее лицо, осторожным движением отодвинулся подальше. Луна светила прямо в окно, и тень от сиреневого куста на стене выделялась отчетливо и рельефно. «Андрей, Андрей, Андрей»,— стучало у него в мозгу, в груди, даже где-то в ногах.

Он встал, торопливо пересел на лавку; он понимал, что она не виновата, что человек во сне за себя не отвечает, но от этого ему было не легче. Он смотрел в окно и думал о подсознательном, и всяческих малопонятных и еще менее объяснимых рефлексах; он сейчас был больше испуган за себя, за неожиданно проснувшуюся ярость; раньше такого с ним не случалось. Он не понимал, что с ним, и не мог никак с собой сладить; он долго рассматривал свои вздрагивающие руки, затем торопливо оделся, все время опасаясь, что Таня проснется; он бы сейчас не простил ей, если бы она проснулась. Он вышел на цыпочках, задерживая дыхание, прикрыл дверь и, бессильно привалившись спиной к стволу яблони, жадно вдохнул прохладный воздух.

Густищи, сероватые и неказистые днем, сейчас, залитые лунным светом, с замершими в росе густыми садами, с избами, запрятанными в буйном вишеннике, по-новому изумили Николая почти сказочным безмолвием — ни одного шороха или звука, даже собак не было слышно, и еле-еле угадывающийся звук работающего где-то далеко трактора показался Николаю посторонним, чуждым в этом застывшем лунном мире. Николай открыл калитку и прошел через огород в поле; цветущий картофель пахнул одуряюще резко, все вокруг было в густой росе, и брюки сразу намокли до колен; остановившись перед стеной ржи, Николай окинул ночное пространство взглядом; он сейчас ни о чем не думал и только жадно осматривался и осматривался вокруг, словно впервые видел этот ночной и зыбкий лунный мир.

«Льянь-тя-льянь! Тьфить! Тьфить!» — услышал он и вздрогнул, это радовался перепел, серенькая, незаметная птица; Николай вспомнил ее стремительный бег по ржи с вытянутой вперед маленькой юркой головкой.

«Тьфить! Тьфить!» — опять вскрикнул перепел совсем рядом, а может, и далеко, в самом центре беспредельной лунной равнины, и Николай, приминая хрустящие стебли высокой ржи, пошел на звук, но скоро

остановился; перепел подал голос уже где-то в другом конце поля. Николай быстро повернулся и пошел туда; расступаясь перед ним, рожь била его мягкими, недавно зацветшими колосьями по лицу, и Николай путался в ней ногами; на росном поле за ним тянулся неширокий, темный след. Он уже вымок до самых плеч, но все шел и шел по полю, перепела кричали теперь во всех концах, то ли он их растревожил, то ли близилось утро. Его охватил странный азарт в погоне за неуловимыми ночными голосами, он теперь почти бежал, уходя все дальше и дальше от Густищ, и ему нравилась эта игра, она его успокаивала. Уже совсем выбившись из сил, он опустился на землю и вспомнил о холодном молоке, которым угощала его мать, ему было жарко и хотелось пить.

По всему полю, из конца в конец, наперебой звенели перепела, и луна медленно скатывалась к горизонту; Николай видел ее сквозь спутанную, густую рожь, и земля под ним была сыроватая и мягкая. «Андрей, Андрей... Ну почему Андрей? — думал он.— Почему она не может его забыть?»

И ненависть к Тане, к незнакомому совершенно Андрею, к себе, особенно к себе — за нерешительность, за неумение собой владеть, совершенно обессилила его, и он еще крепче прижался к земле. «Что, собственно, происходит? — спросил он себя, по-прежнему не в состоянии хоть сколько-нибудь успокоиться.— Нужно разобраться и решить окончательно... Непостижимо, новый мавр в густищинском варианте, не хватает только платка и...» Он издевался над собой зло, с наслаждением, он сейчас словно раздвоился и в нем было два человека — один беспощадный и резкий, второй беспомощный, жалкий и беззащитный; один обвинял, другой покорно слушал и подавленно молчал.

«Ты ученый, физик, думаешь об открытиях, о постижении тайн материи и пространства, о проникновении в святая святых космоса... А понимаешь ли ты самого себя,— спрашивал один,— на что ты надеешься?»

«Я люблю ее,— внезапно и зло ответил второй,— сейчас люблю сильнее прежнего, я больше не могу. Сам виноват, взвалил на себя эту ношу. Скажу ей: не могу так, прости, но мы должны расстаться».

— И в самом деле нельзя так,— вскинулся он.— Надо кончать.

От такого решения ему сразу стало все равно; опустив голову на руки, он опять начал слушать перепелов, и это продолжалось сравнительно долго, но потом все затихло; теперь он лежал, глядя в небо, и видел что-то непонятное. Он не спал, глаза его были широко открыты, он это знал. Он лишь не понимал, почему звезды растекались в сплошные, изогнутые, кривые линии, все небо было теперь в сверкающей сетке, оно что-то напоминало ему, он силился и не мог вспомнить. В голову лезла всякая всячина; и куст рябины осенью, и гигантский сверхмощный ускоритель (несколько месяцев назад в режиме его работы испытывалось одно из приемных устройств для сверхдальней связи), и обрывок какого-то чертежа, и мать, и еще знакомые и незнакомые лица. Он не заметил, как опять закрыл глаза, перед ним опять замелькали силовые поля, и он еще крепче зажмурился.

Дремоту он стряхнул сразу и первое время боялся шевельнуться, он забыл о себе, о Тане, не чувствовал больше сырой одежды и утренней свежести. Тихо, осторожно он встал и оказался где-то в центре бесконечной лунной равнины, заброшенный, одинокий. Ему показалось, что он вообще на другой планете — безжизненно и странно было кругом, оглушающее безмолвие давило на него. Он уже понимал, что до конца не мог схватить *того*, что произошло. Кажется, совершенно неожиданно он нашел, и пусть это пока только идея, только гипотеза и потребуется еще масса усилий, изысканий, опытов, но сейчас он был на верном пути. Он по-прежнему боялся шевельнуться; обрываясь, сердце катилось куда-то вниз, вниз, и он с трудом переводил дыхание; он понимал, что это так, он *нашел,* только не мог до конца в это поверить. Столько биться и... нет, не может быть! Скорее бы к столу, к счетным машинам — цифры не подвластны эмоциям, у них бесстрастный язык... он не ошибается, нет, нет, нет! Это невозможно, это слишком просто, чтобы быть ошибкой. Мало того — вся конструкция установки перед ним, как в разрезе, она великовата, но проста до глупости, до нелепости проста, принципиально нова и, несомненно, даст значительно лучшие результаты, возможность почти совершенно избавиться от шумов и поднять стабильность узкого пучка...

Николай глядел на луну, уже начинающую бледнеть; вспомнилась Таня, но как-то вскользь, он не заметил, что давно уже снова идет, его охватило забытое

знакомое чувство, словно он вернулся после многодневной поездки по какой-то трудной необходимости в привычный, повседневный дом. «Хорошо, хорошо,— подумал он возбужденно,— больше мне ничего не надо, поскорее бы назад, в институт, в лабораторию, с ходу загружу ребят, Билибина, Гэсса, за месяц обсчитают, вот без чего жизни нет, все остальное — ерунда, бессмыслица...»

У него дернулось горло, и он прихватил его рукой, перед ним по-прежнему было поле ржи, подымавшейся до его лица, пахнущей медом; роса опять обсыпала его до самых плеч; он радостно, бездумно засмеялся и с каким-то новым током в крови, вспоминая детство, шел и шел, разрезая рожь, и хотя заря лишь прорезывалась и было еще плохо видно, он сразу вспомнил, в какой стороне находилась речка, а в какой лес; им опять завладел странный пьяный азарт, он шел и шел, прокладывая широкий след в темном, душистом мире, раздвигая руками валившийся со всех сторон на него росный, прохладный мир. «Пожалуй, нечто подобное со мной уже было,— подумал он,— лет пять назад, как раз в лагере альпинистов на Кавказе. Домбай,— вспомнил он,— конечно, Домбай. Тогда мне и пришла в голову эта гениальная, как говорят, идея об использовании комплексности свойства вещества при охлаждении, давшая мне докторскую; но все-таки хорошо помнится, тогда не было такой остроты и новизны восприятия, да и состояние сейчас иное; просто хочется идти, идти, чувствовать общность с этим миром росы, звуков, запахов, земли, неба». Он уловил, как пересиливая тяжеловатый, обволакивающий запах цветущего поля ржи, повеяло лесом, и он не увидел, а скорее угадал его расплывчатую громаду впереди и вышел на луг к реке. Не снимая ни одежды, ни туфель, он переплыл на другой, лесной, берег; смолистый аромат сосны, мешаясь с тонкой прелью прошлогодней хвои, указал ему, куда он попал. Это было сухое урочище, одно их самых красивых мест, которые он когда-либо видел; и опять он вспомнил то, что было с ним когда-то, лет пятнадцать назад, и примерно в это же время. «Нет, нет, чуть раньше, как раз на Троицу,—уточнил он, радуясь,— парни и девки собрались сюда со всего села завивать венки»,— опять с удовольствием выловил он в памяти, казалось, давно забытые, утратившие для него какое-либо значение, но от этого не менее значительные сейчас слова. Это случи-

лось в каникулы, ему сровнялось семнадцать, и в нем уже проснулась тяга к женщине, и он, стеснительный по натуре, украдкой поглядывал, как уже вольно обращаются с девчатами его с Егором сверстники, и отводил глаза от тоскующих девок постарше (их много оставалось после войны в одиночестве, и они бесшабашно, отчаянно пытались при первом же удобном случае урвать у судьбы свою долю). «Надо будет узнать, что сейчас Вера Соловина»,— подумал он, почти с мучительной силой первооткрывания вспоминая ее глаза, насмешливо-ободряющий кивок Егора, его слова: «Иди, иди, прогуляйся, не съест она тебя», жарко полыхнувший, бросившийся в лицо румянец; он пошел вслед за нею, все дальше и дальше, и уже ничто не смогло бы остановить его; потом было чувство испуга и некоторой растерянности; да, он себе представлял, что *это* должно случиться, но здесь наряду с темной волной, залившей все тело мучительной судорогой неведомого наслаждения, уже было чувство брезгливости и стыдности того, *как* все это делается; правда, оно помнилось недолго, и скоро прошло, и уже больше никогда потом не возвращалось.

Оглянувшись, Николай заметил, что небо начинает сереть, бледная полоса появилась у самого края земли и, с каждой минутой удлиняясь, стала светлеть и увеличиваться, и вот уже теплые розоватые оттенки заиграли в ней; уже и поле, и опушку леса тронули живые краски; светлело, над лугами и рекой стали заметнее неровные, рыхлые острова утреннего тумана.

Николай продрог, ему хотелось освободиться от мокрой и липкой одежды, и он, охваченный чувством абсолютной дикой свободы, долго бегал и скоро запыхался и согрелся. Если бы у него была самая примитивная зажигалка, можно было бы развести огонек, маленький языческий жертвенник, среди этого зеленого безумия он мог бы вообще раздеться донага и принести жертву богу любви и смерти. А еще лучше найти бы как-нибудь прошлогоднюю, забытую копну сена и завалиться спать... А то бы вернуться домой и... «Ты допрыгаешься»,— сказал он себе, пытаясь обуздать возникшие в нем самые противоречивые желания; всходило солнце, в одном месте туман над рекой взялся розоватыми оттенками, и на Николая рухнул щебет, свист, трели; он подумал, что слышит этот хор уже давно и лишь сейчас понял, что это птицы; редкие старые сосны красновато

засветились в стволах, уже стали заметны прошлогодние, с расставленной чешуей шишки, и шевельнувший понизу ветер нанес запах хороших грибов; Николай выбрал место и лег навзничь, ему показалось, что так будет теплее. Он стал ждать восхода солнца, повернувшись лицом в ту сторону, откуда оно должно было показаться; с легкой приятной усталостью, с необычайной свежей и ясной головой он скоро задремал, по нему что-то проползло раз и другой, но он не проснулся; гуще пошел ветер, сосны загудели, и он, открыв глаза, не шевелясь, долго смотрел на качающуюся высоко в небе зеленую тень, пронизанную первыми стремительными и длинными лучами, и, вспомнив все, по-детски счастливо и бездумно засмеялся. В этот праздник он не мог, не согласился бы взять никого, даже Таню. Что? Даже Таню? Он запнулся, глухая тоска накрыла его, пожалуй, он все придумал и за себя, и за нее, а ничего нет, ничего не было, все самый заурядный примитив; для нее он просто средство забыться.

Николай остался лежать под солнцем, греющим уже довольно сильно, и лишь часам к десяти все тем же путем вернулся домой, до пояса голый, обожженные солнцем плечи горели; в первую очередь в глаза ему бросилась Таня, сидевшая на лавочке в саду в легком ситцевом халатике; она бросилась ему навстречу.

— А я спала, спала — тебя нет... Мне что-то снилось нехорошее.— Она внезапно шагнула к нему, припала к плечу и, по-детски всхлипывая, заплакала.

— Ты дрожишь вся, что ты? — спросил он.— Ну, полно, брось...

— Я проснулась, мне показалось, что тебя совсем нет...

Он помедлил несколько, ему очень захотелось все ей рассказать, но он не мог сейчас, это было выше его сил. Она ничего и не спрашивала, она чувствовала, что он за это ей благодарен; она лишь подняла голову.

— Какой же ты чужой,— сказала она не сразу, и ее слова поразили его своей громадностью и важностью. И он только теперь по ее лицу, по глазам, по какому-то трепетному внутреннему состоянию впервые понял, увидел, почувствовал, что его любит, любит вот эта хрупкая, готовая для него на все женщина, и все в ее жизни, счастье и горе, зависело сейчас от него.

— Молчи,— попросил он тихо.— Пройдет...

Они стояли в самом деле молча, но в их кажущемся отчуждении сейчас было больше близости, чем когда бы то ни было, и Николай видел все происшедшее в новом освещении, да и Таня чувствовала в нем какую-то большую перемену. Так легко, сразу, к этому было нельзя привыкнуть, и они шли, шли — неуловимые минуты.

В саду показалась Ефросинья и позвала их завтракать.

5

По-иному прошла эта ночь для Ефросиньи; за ужином, пока сыновья сидели за столом, пили и ели, вспоминала; на какой-то миг, когда Николай рассмеялся чему-то, откинув назад голову, она даже замерла от неожиданности, так он вдруг стал похож на отца в молодости, и даже прищур глаз был тот же, но смех кончился и перед нею опять сидел совершенно чужой, незнакомый человек, она его не знала, и ей было впору спросить себя, тот ли это, кого она выносила и родила в муках, а затем отдавала ему каплю за каплей все, что могла отдать, а ведь из детей он был самым дорогим; да, она родила его и выкормила своим молоком, подняла на ноги, но она не могла ошибаться теперь, это был чужой взрослый мужчина, совершенно равнодушный ко всему прежнему; он больше не принадлежал ей ни одной своей частичкой, она безошибочно почувствовала это и как мать, и как женщина и с горьким любопытством несколько раз принималась приглядываться к Тане; но вскоре тем же подспудным чутьем поняла, что не в этой красивой девочке здесь причина, что Таня почти в том же положении, что и она, мать, и Ефросинья неожиданно остро ее пожалела; собственно, ей самой не на что было обижаться, так уж устроено в мире испокон веку, что дети вырастают и уходят, а вот этой девчонке придется с ним лихо, ой, как лихо...

Ефросинья никак не могла заснуть и все ворочалась с боку на бок; в темноте зудела какая-то шальная муха, и через приотворенное окно во двор доносилось широкое, шумное дыхание коровы, ночевавшей летом в погоду под открытым небом; еще гуси время от времени тихонько переговаривались; смутные и неясные картины бродили в голове Ефросиньи: она не на шутку разволновалась, решила про себя уговорить Захара по осени съездить на недельку в Москву, погостить

у Аленки с Тихоном, хоть на внуков полюбоваться, а то не успеешь оглянуться, и эти разлетятся, так на них и не посмотришь. В деревню их теперь не заманишь, все по разным Кавказам разъезжают, вон какой жизни сподобились ее родные внуки, а письмо если раз в два-три месяца пришлют, и то радость. Захар, тот все ворчит, видать по старости, новые вон барчуки растут, говорит, ни земли не знают, ни работы, все до седой бороды учатся на готовом, а что-то от этого толку не видно, на земле никто работать не хочет, а хлебушка всем дай... А по ее бабьему-то разумению, пусть себе дети хоть поживут по-людски, если им с Захаром не пришлось. Срок придет, еще натрудятся, в жизни каждому своя мера определена.

Начинавшая, как и многие в старости, склоняться к богу, к этой неясной защите от смерти, Ефросинья стала думать о том, что не может так вот все кончаться, если один уходит, что-то обязательно от него остается. Вот и корова дышит, и гуси кричат, а какой они шум поднимают, если к ним, не дай бог, попадет мышь, и сыны опять-таки у Егора растут; так уж, видно, выпало на ее долю, что свои, кровные отделились и тоже словно сгинули, а вот приемыш остался вместе со стариками, и они лучше-то, чем с кровным, живут и ладят. И Ефросинье ясно вспомнилась та мокрая осенняя ночь и похороны неизвестной женщины и как она забито и тоскливо взяла у Захара из рук живой синий комочек и, согревая, завернула в тряпки. Кольке, помнится, было всего пять месяцев, и как ей неприятно было в первый раз дать найденышу грудь, был он совсем слабый и недолго бы еще протянул. Она признала его, лишь когда он насосался и, приткнувшись носиком, засопел; и муж в эту ночь вернулся светом, чужой, и тут же заснул, но она за день натопталась и ей уже было все равно, где он пропадал.

И опять враждебное чувство к мужу, спавшему тут же, рядом (она отчетливо слышала его редкое, сильное дыхание), недобро шевельнулось в ней, но ему тоже досталось несладко, чисто по-бабьи, мстительно подумалось ей, и она как-то сразу успокоилась.

Попрохладнело, из сада потянуло сыростью, и Ефросинья задремала, и хоть спала она, как всегда, мало, встала еще до солнышка; пошла и подоила корову, выгнала со двора гусей и на скорую руку спроворила Егору завтрак; он по своим бригадирским делам уходил

из дому рано, и Ефросинья любила тот тихий час, когда Егор ел, а она неслышно ходила по кухне и что-то делала; как обычно, появилась в свой час и кошка, и Ефросинья налила ей в черепок парного молока; кошка села и лениво полакала, часто выбрасывая в молоко розовый язык; Егор отодвинул от себя тарелку и, ничего не говоря, закурил, обдумывая, что ему сегодня предстоит сделать в первую очередь, и Ефросинья ему не мешала, она только сказала, чтобы он непременно приезжал обедать, и когда, мол, все соберутся, может, и выпадет удобная минута как раз для *того* разговора. Она значительно посмотрела на Егора, и он согласно кивнул; случившееся и требующее общего совета действительно выламывалось далеко за рамки всего привычного и известного здесь, в Густищах, и Егор, человек по натуре на редкость уравновешенный и спокойный, вопреки веским предположениям отца, тоже заразился страхами и сомнениями матери; он даже хотел потихоньку съездить к Николаю в Москву по этому самому делу, которое вот уже с месяц так и эдак обсуждалось и переворачивалось у них в семье, да и не только в семье, и в селе, кое-где и в районе.

Уже за обедом, после новых расспросов и рассказов Николая о городской жизни, после веселых подтруниваний над ночным путешествием Николая в лес, Егор выбрал момент и позвал его в сад покурить; за ними, тщательно притворив за собой двери, вышла в сад Ефросинья, затем появился и Захар, сумрачно всех оглядел, словно дивясь, какие у него вымахали сыновья и уже сами детей народили, достал кисет и, присев на скамейку, принялся неторопливо раскуривать цигарку.

Было жарко даже в тени. Ефросинья заметила, что Николай сильно сутулится, и вспомнила, как Захар сажал этот сад еще до колхозов, на второй, третий и четвертый годы после их женитьбы, чтобы сад родил частями каждое лето, и в этом ему помогал второй его дядька, уже по матери, Григорий Васильевич Козев, такой сердечный был мужик, сроду никого не обидит, каждого уважит; еще бы жил да жил, не попадись под руку этому бандюге, Федьке Макашину, ох, зверюга, как люто расправился со стариком, и жену его, бабку Пелагею, застрелил, все про нее, Ефросинью, с детьми, говорят, выпытывал.

Ефросинья поймала на себе взгляд Николая, успокаивающе кивнула ему; все расположились вокруг врыто-

го в землю стола под старой высокой опоротью, довольно густо усеянной некрупными яблоками; даже с первого взгляда было видно, сколько еще до зрелости таится в них горьковато-медовой силы. Николай похлопал ладонью по шершавому, со следами известковой побелки стволу; он помнил эту яблоню.

— Понимаешь, Коля, у нас тут дело одно случилось,— начал Егор, разминая лежалую сельповскую папиросу.— Мы и собрались с тобой поговорить, даже в Москву к тебе хотели ехать, да телеграмма от тебя пришла.

Николай молча ждал, стараясь как-нибудь не обидеть их невниманием или невольной усмешкой; ну что там у них могло стрястись, подумал он невольно, даже интересно, отчего такая важность и таинственность.

— Вроде даже и не верится такому обороту,— после некоторого молчания сказал Егор.— Наш-то Иван, оказывается, вроде жив был до прошлого года, в прошлом году помер... во Франции.

Николай глянул на отца, затем на мать, Ефросинья тихо опустила глаза; для нее они все были одинаковы, и она мучилась оттого, что не могла погоревать об Иване как следует; она похоронила его раньше, и когда он в самом деле отправился на тот свет, у нее уже не было сил на новое горе, она лишь испугалась, как это ляжет на остальных в семье.

Сняв с ветки зеленое, твердое яблоко, Николай надкусил его, сморщился и молча, взглядом, попросил Егора рассказывать дальше.

— Понимаешь, с месяц назад мать получает посылку и письмо, часы там, ручки цветные, бумаги разные, да еще две шерстяные кофты... красивые,— добавил Егор.— Ну, а в письме записка от него самого... сам почитаешь, прощается со всеми... Вроде послано это матери по его завещанию после смерти. Ну, и больничная опись, еще какие-то бумаги, блокнот... И знаешь, Николай,— Егор по важности разговора назвал брата даже полным именем,— пишет, что у него там, во Франции, где-то в местности Шампань, сын остался от женщины, Мари звать... значит, по-нашему Марией... Вот дела... братуха. Пишет, мол, знайте об этом, виноват я, мол, не виноват, а так уж получилось, занесло дерюгинскую породу в такую неимоверную даль от родных краев... Вот какая оказия, Коль. Отец вон все посмеивается себе в усы, мир, говорит, ничем не удивишь... Что

вы раскудахтались! Да ведь все равно переживает, родная кровь.

— Тоже мне, адвокат нашелся,—недовольно пробормотал Захар, и Николай подумал, что отец в свои годы еще молодец, крепко держится.

— Подожди, Егор, давайте об одном сначала,— сказал Николай, бросая надкушенное яблоко.— Это уже... серьезно. Что же он там делал столько времени, во Франции, чем занимался, Иван-то? Ну, влюбился... ну, ребенок родился, житейское дело. Это понятно. А почему же ни разу не написал до сих пор? Неужели бы его не поняли?

Ничего никто не ответил, лишь Егор вздохнул, а Ефросинья опустила голову с ровным пробором посередине и не заплакала; Николай ужаснулся своей внутренней холодности и равнодушию, с которым он встретил известие об умершем брате, то есть в какой-то мере это задело, но лишь в том смысле, как заграничная жизнь брата коснется его самого.

Он потер лицо сразу обеими руками, скрывая проступившую краску.

— Ну, мать, покажи бумаги,— попросил он, придвигаясь к Ефросинье и стыдясь того, что она может догадаться об его истинных чувствах,— покажи, что там прислали, может, что-нибудь и вычитаем.

— Принеси, Егорушка,— сказала Ефросинья, и пока Егор ходил, все неловко молчали, Николай так и не смог побороть в себе чувство скованности и сказать отцу или матери что-нибудь теплое, успокаивающее; когда показался Егор со свертком в руках, Николай даже облегченно вздохнул про себя и сразу принялся за бумаги; он внимательно просмотрел предсмертную записку брата, затем медицинское заключение — латинское название болезни, от которой скончался Иван Дерюгин, русский, 1926 года рождения, с временным свидетельством на проживание в провинции Шампань, ничего Николаю не сказало; он отложил медицинское заключение, просмотрел больничную опись и узкий бланк на французском языке с печатью и номером могилы, где и когда похоронен Иван Дерюгин, и взял потрепанную тетрадь, когда-то, очевидно, в сиреневом переплете; сквозь грязь еще проглядывали ясные голубоватые прожилки; его сразу, с первых же строк, захватила эта тетрадь, и Егор, видя это, сказал откуда-то уже издали:

— Я пробовал было... руку разобрать... вертел, вертел, тоже, видать, наш, русский, пишет, но чудно както, видать, пишет молодой, одного возрасту с Иваном. Куда только нашего брата русака война не закинула.

— Помолчи, Егорушка,— сказала Ефросинья,— не мешай.

Николай непонимающе поглядел на нее, кивнул, опять уткнулся в тетрадь; сначала и он с трудом разбирал мелкий, нервный, какой-то горячечный почерк, но затем дело пошло свободнее и он забыл о времени.

«...Вы знаете, что такое бесконечный песок под ногами, на зубах, в хлебе, в консервах, в одежде, в желудке? Солнце и сотни намертво выжженных струящихся песчаных миль, редкие оазисы и причудливые видения миражей и изнурительная работа? — с горечью спрашивал кто-то неизвестный, вероятно, просто самого себя, а может быть, адресуясь тоже в неизвестность, ко всем сразу и ни к кому в отдельности.— Это — Сахара. Люди везде уже изрыли землю, и кто-то выдумал, что под нагромождениями песков таятся черт знает какие сокровища. Нефть и уголь, алмазы и развалины древнейших цивилизаций. Я не понимаю, почему люди неравнодушны к окаменелым черепам и костям своих предков.

А ты знаешь, Джозина, что такое Сахара при малейшем порыве ветра? Этого ты наверняка не знаешь. И не приведи господь узнать тебе когда-нибудь, что это такое, вдохнуть палящее дыхание Сахары.

Мы уже второй день без бензина, и радист ничего не может сделать с рацией; он ворчит, что под этим солнцем все изнашивается в сто раз быстрее, и проклинает тот час, когда ввязался в эту дурацкую экспедицию. Изыскатели и топографы, уже однажды мы пересекли Сахару с севера на юг и теперь возвращаемся назад параллельно старому пути, исследуя участок пустыни строго по азимуту. Я шофер, мое дело вести машину по указанию Мориса Бино — поджарого и длинноногого начальника нашей партии. В пути он сидит со мной, с картой и компасом на коленях, и наш автомобиль на полугусеничном ходу движется только по приказанию Бино. За нами остаются следы, они тут же осыпаются, и, не видя машины, можно подумать, что по пустыне проползло некое доисторическое чудище.

На всякий случай я пишу по-русски, Джозина, на всякий случай, потом, когда-нибудь позже, мы вместе с тобой посмеемся над моими теперешними страхами, а пока лучше поостеречься, в нашей экспедиции еще только один из нас знает русский, какой-то странный, одинокий тип с заветренными, выцветшими, слезящимися глазами, но он никогда не станет читать мой бред, по-моему, ему абсолютно ни до чего нет дела. Ни до жары, ни до солнца, ни до адского холода по ночам, ни до самого себя. Большей частью мой блокнот у меня за поясом, наш механик, араб Адиль Аббас, лукаво поглядывает на меня своими красивыми темными глазами и спрашивает:

— Опять девушка?

Я киваю.

— Как ее зовут?

— Джозина...

— Джозина,— протяжно и мечтательно говорит Адиль.— У меня никогда не было жены. Отец невесты требовал большой выкуп, а у меня его не было. Что такое человек без жены? То же, что кочевник без коня. Кто ему испечет лепешки и родит сына?

— Будет,— утешаю я.— Ты еще молод.

Адиль показывает чистые, белые зубы, смеется.

— Нет, не будет. Я привык. В больших городах много девушек разных — белых, черных, желтых, я привык.

— Это не то, Адиль.

— Может быть. Но теперь я живу во Франции. И если женюсь, то бесплатно, как цивилизованный человек.

Он садится по-восточному, поджимая под себя ноги, и начинает что-то петь гортанным голосом. Это «Песня песков» — я знаю. Это ветер и песчаные безжалостные равнины. Адиль любит петь, и я примерно знаю, о чем он поет,— он мне как-то объяснял.

Ты всесилен, пустыни дух.
А я один,
Без рода и без жены,
Но у меня есть конь.
У моего коня глаза как ночь,
Он видит далеко,
И ему не страшен твой ветер,
О дух злых песков!
Но кто родит мне сына?

Не трогай меня, пустыни дух,
Дай доскакать до черты.
Меня ждет невеста,
Не трогай меня —
Без сына человек проклят.

Адиль поет сосредоточенно, и Морис Бино, заслушавшись, задумчиво улыбается — он понимает по-арабски.

Я слушаю и думаю о Джозине. Ей всего семнадцать, она настоящая подруга, и я у нее первый. Джозина ревнива до глупости, и мне это нравится.

Мы второй день стоим на месте. Бензин кончился, рация безнадежно испорчена. Мы ждем, пока нас разыщут. Ночами мы спасаемся от холода в палатке и выскакиваем из нее по первому шуму — жадно оглядываем небо. Жалкие остатки воды — противная бурда, но и она начинает окончательно портиться и вонять. Что будет, если о нас забыли?

От малейшего движения воздуха пески начинают петь. Они струятся к подножиям барханов, и их завораживающе-нежный голос наводит ужас. Инженер Карл Висмут, немец, закутывает голову в мешок, оставляя маленькую отдушину, чтобы не задохнуться. Он был на войне с русскими и говорит, что голос поющего песка похож на тихую смерть. Я не имею оснований сомневаться — мне не приходилось воевать, я был младенцем, когда Европа решила разыграть скверный фарс с ефрейтором во главе, вынырнувшим со дна грязной пивной кружки.

Мой отец, русский эмигрант, французский гражданин, ушел в маки, был трижды ранен и потом лечился лет десять и в конце концов отдал концы — в свое время он был морским офицером и любил щегольнуть крепким морским словечком. Он оставил мне в наследство совершенное знание русского языка, именной пистолет, подаренный ему чуть ли не самим царем, хорошую библиотеку русских авторов и ни сантима на счету в банке. От матери я унаследовал рыжие кудри и непостоянство. И еще — любовь к простым радостям жизни. Мы, французы, не любим немцев, нам пришлось много вытерпеть из-за них в эту войну. Но инженер Карл Висмут свой парень и очень хороший специалист. Общество «Франция — Сахара» по освоению богатств Сахары законтрактовало два десятка немецких инженеров, и мы вполне с ними срабатываемся. Они дель-

ные парни и тоже ненавидят войну и своего дряхлого канцлера. А наши работы ведутся за счет государства, ими руководит один из старых промышленных воротил Франции — Жан Дюран-младший. Никто из нас не видел его в лицо, но все мы знаем, что от нас зависит в какой-то мере благосостояние Республики. Мы читали одну из статей Жана Дюрана-младшего. Он писал именно так: «благосостояние и процветание Республики». Впрочем, деньги он платит хорошие, и все мы здесь оказались именно по этой причине — ах, эти чертовы деньги! Но все это ерунда теперь, когда в самом центре Сахары отказала рация и гелиокоптер, навещавший нас каждые пять дней, не появляется уже больше недели, и мы боимся тронуться с места. Мы все похудели от холода и недостатка воды. Пожалуй, лучше всех чувствует себя Адиль и этот странный русский Иван Дерюгин. Однако Адиль последнее время заметно встревожен и поет больше обычного, и это начинает раздражать Бино — Адиль не умеет скрывать своих чувств и всегда говорит то, что думает.

Он вторично предлагает идти вперед. Бросить все, взять только продукты на неделю и воду. И идти.

— Куда? — спрашивает Морис Бино, защищая ладонью покрасневшие от солнца глаза. Бино рассеян и вчера потерял свои запасные защитные очки. И ему изменила всегдашняя невозмутимость.— Куда? — сердито повторяет он, прикрывая потную, грязную грудь худыми пальцами.

— На восток, пересечем эрг Шеш, должны натолкнуться на дорогу к Реггану,— отвечает Адиль и смотрит на Мориса Бино, что-то бормочет по-арабски, и все мы по выражению лица механика понимаем, что он ругается. Мы делаем вид, что не слышим — двумя днями раньше Адиль не решился бы не только выругаться, возразить Бино.

Мы неловко молчим, и после паузы Морис Бино с усмешкой говорит:

— До Реггана добредут наши призраки, Адиль. Это — Сахара.

— Мы встретим оазис, нужно двигаться западнее.

— Ты думаешь, что здесь можно что-то встретить путное?

В неожиданном злом оскале на смуглом лице араба все то же недоверие и вызов.

— Сахра — старая страна.— Адиль называет пустыню Сахрой.— Нельзя отдавать ей ни одной минуты. Нельзя ждать, живой человек должен идти. Прикажи идти, начальник. Вот-вот начнет дуть шехиль...

Мы продолжаем молчать и напряженно ждем ответа; шехиль — страшный, убийственный ветер, несущий тучи песку и гальки. Морис Бино склоняется к рации. Мы больше не верим его стараниям и его рукам, и Карл Висмут подходит к нему, тоже начинает ковыряться в деталях, разложенных на полотне.

Милая Джозина, Сахара выжимает из нас последние запасы влаги, и скоро мы будем похожи на высушенные сухари. Мы молим бога, чтобы не было бури, этого шехиля. Тогда мы погибли. Нас почему-то не ищут, над нашим автомобилем развевается яркий флаг на длинном шесте, его вполне можно заметить, если этого захотеть. Мы подозреваем что угодно, но точно ничего не знаем, мы бессильны что-либо изменить — от этого у нас еще тягостнее на душе.

Морис Бино старый бродяга. Он мало рассказывает о себе и много о женщинах. Он объехал весь свет. В его рассказах упоминаются негритянки, турчанки, японки, мексиканки. Из своих странствий, из своей бродячей работы геолога он вывез только воспоминания о женщинах. Остальное прошло для него незамеченным, а мы знаем, что на его счету немало открытых месторождений. Он умеет говорить о женщине сочно и необидно, и его любит слушать даже Карл Висмут, суровый и по-немецки сентиментальный моралист. За желтыми, черными, белыми женщинами Бино для меня открываются далекие страны, пальмовые рощи, жаркие пустыни, отвесные фиорды, голубые снежные равнины, их я никогда не видел — я вырос на юге Франции. Не знаю, почему-то мне часто хочется увидеть снега, реки во льду; Морис Бино смеется, наследственность, говорит он, коварная штука. Наверное, в его шутках есть доля правды, и, очевидно, поэтому меня так тянет к Дерюгину, к этому странному человеку без родины, без интересов, без желаний, но он ничего не может, он пуст, у него нет того, что он мог бы отдать другому. Он постоянно, упорно молчит, но однажды я случайно услышал, что у него где-то под Парижем есть женщина и ребенок и что все свои франки он переводит им. Опять проклятые деньги!

Я впервые за пределами Франции, и мне все инте-

ресно; думал прилично заработать, хотелось перед свадьбой сколотить хоть небольшой капитал, и Морис Бино, старый знакомый моей матери, взял меня в свою партию, к нему прислушиваются даже в правлении общества. А впрочем, я хороший шофер, и все случившееся с нами — не по моей вине. Несколько литров бензина — и автомобиль оживет под моими руками в одну минуту. За это я могу отвечать головой, и я не виноват, что единственная бочка с запасом горючего неизвестно почему оказалась пустой. После тщательного осмотра Бино удалось обнаружить микроскопическую течь.

Проклятья нашего начальника живописны, но что сделано, то сделано, и Сахара жадно всосала в себя наше спасение. У нас был запас горючего, и, возможно, поэтому нас до сих пор и не ищут. Будь все в порядке, мы давно уже добрались бы до лагеря.

А теперь я надеюсь только на господа бога и на Мориса Бино. Он давно отбросил рацию и большей частью сидит, угрюмо ссутулившись, он похож на большую черную птицу, которая присела на хвост и нахохлилась посреди бескрайних песков и неба. Когда-то белая, широкополая шляпа, свалявшаяся и почерневшая от грязи, дополняет это сходство. Вся дальнейшая наша с тобой жизнь, Джозина, зависит от головы Мориса Бино, спрятанной под обвислыми полями шляпы. Ты можешь получить свой подарок, Джозина, но с таким же успехом ты можешь его и не получить».

«Адиль Аббас нервничает и проявляет беспокойство все больше. Из-под палатки невозможно выглянуть, и мы сидим в разных углах нашего полотняного убежища, обессилевшие, с мутными глазами, и тупо слушаем полуденную песню песков. Кажется, еще немного — и палатка вспыхнет. А пески поют, их голос слышится вначале еле-еле — цепенящий звук в сухом, выжженном безмолвии, звук тонкий, протяжный, непрерывный. Быть может, он начинается в нас самих или это просто слуховая галлюцинация, но стоит вслушаться, и пение песков, вначале едва слышное, усиливается и будто втягивает тебя в свою воронку. Пески стонут, и мне мерещатся призраки тысяч погубленных ранее жизней, они тоскуют и проклинают пустыню и радуются новым жертвам.

Зной усиливается, с утра поднялся шехиль, голос раскаленных песков звучит настойчивее. Карл Висмут

натягивает на голову грязный брезент, и я вижу его расширенные от ужаса зрачки.

Нас все сильнее засасывает исступленный зов пустыни.

— Идти надо ночами,— говорит Адиль.— По звездам. Захватить с собой палатку и воду. Прикажи, начальник.

«Ах, будьте вы прокляты,— думаю я, неизвестно кого кляня.— Одна минута с Джозиной дороже всего золотого запаса мира, а Джозина примет меня без всякого подарка. На что ей подарок? Я молод, здоров, силен, неутомим — что еще нужно женщине? О черт, черт, ты была права, моя маленькая Джозина!»

Настойчивое сладострастное пение песка раздирает мне мозг, и я вдруг вскакиваю и трясу головой, ругаюсь, ору что есть мочи и, чувствуя у себя на плечах чьи-то руки, вижу совсем близко смуглое лицо Мориса Бино, его спекшиеся тонкие губы.

— Замолчи,—говорит он.—Замолчи, сядь, Адиль,— приказывает он,— дай ему воды... полкружки.

Я гляжу на кружку с мутной жидкостью и отстраняю ее рукой, сажусь на свое место, и Адиль сливает воду обратно во флягу, и все понимающе молчат.

Джозина, маленькая моя! Скоро вечер, и наши колебания кончились. Морис Бино приказал всем отдыхать несколько часов. Спать. Спать... Мы все приготовили, даже несколько факелов на самый крайний случай. Ведь нам придется идти ночами. Задыхаясь, мы лежим, и никто не спит; мы лежим с закрытыми глазами, стараясь не смущать друг друга. Я не знаю, что думают в эти минуты другие, не знаю вообще, что можно думать, когда с каждым вздохом уходит частица твоей жизни. Я молод, мне двадцать, я был отчаянным парнем. Однажды меня привезли с тренировки с переломанным ребром, я только-только начинал тогда заниматься регби, это было еще при жизни отца, боль была ужасная, но я не пикнул. Молодые кости срастаются быстро, и теперь я думаю о тебе, маленькая моя, самоотверженная подруга. Стоит ли тебе рожать? Зачем вы рожаете, женщины, зачем мне было встречаться с Джозиной? Я уехал ради денег, ради нашего будущего благополучия, ради нашего мальчика, который может появиться по моему недомыслию. Нет, я не отговариваю тебя, Джозина, не надо делать ничего такого, о чем стоило бы жалеть. Но я многое бы отдал, чтобы очутить-

ся сейчас рядом с тобой. Не знаю, не появится ли еще одно существо и не упрекнет ли оно когда-нибудь меня в неразумности? Я пытаюсь найти ответ в товарищах, но все они удручены и измучены — на их лицах подавленность и усталость.

Братья,— хочется мне спросить.— Скажите, все ли в нашей жизни правильно? Так ли нужно жить? Ну, ты, Морис, ты старший, ты много знал лишений и трудностей, ты отказывал себе во многом. Но ради чего? Где только ты не был! Но знал ли ты радость, простую радость *быть*? Так ли ты живешь? А ты, Адиль? Ты, не имеющий права жениться, потому что не имеешь денег? Что ты скажешь? Или Карл Висмут, обморозивший душу в снегах России? Ради чего мы все страдаем и мучимся? Ради процветания акционерного общества «Франция — Сахара»? Какое все мы, мы, Адиль, Карл Висмут, Морис, ты, русский Дерюгин, я, француз Андре... Ставропольцев, имеем к этому отношение? Чтобы члены правления набивали себе карманы? Ради этого мы сдыхаем здесь, в этом песчаном аду?

— Пора,— говорит Морис.— Пора, ребята. Скоро появятся звезды, и мы пойдем.

Ночи холодны, но нам это на руку. Мы хоть немного отдыхаем от дневной жары. Ноги тонут в песке, с бархана на бархан, с бархана на бархан. А в холодном и черном небе крупные, четкие звезды. Может быть, мне только кажется, что небо черное. Вчера забрели в заросли верблюжьей колючки и все изранились — проклятые иглы рвали брюки и прокалывали изношенные парусиновые башмаки.

Ночами — черное небо. Днями — грязный полог палатки, пересохшие, потрескавшиеся губы и бесконечные, как редкие капли, минуты,— каждая из них кажется последней.

Вчера ночью я несколько раз падал и больше не мог сам подняться, не хотел, и меня поднимали насильно, и я просил, чтобы меня оставили. Я не помню, сколько ночей мы идем, сколько дней прошло с тех пор, как я в последний раз оглянулся на брошенную машину. Я не знаю, куда идем и зачем. Я не могу идти дальше, и желание лечь — все сильнее, оно давит к земле, и только одно удерживает пока на ногах. Ведь заставят вставать и будут тратить последние силы, будут проклинать и все-таки поднимут.

Сегодня утром Дерюгин отдал мне свою воду,

а у самого у него сухо блестели глаза и едва шевелились черные губы. Помню, я ни за что не хотел брать его воду, и все же выпил, и мне потом было стыдно, и я старался не смотреть в его сторону. А я считал его черствым, недалеким парнем. А вечером, перед тем, как снова идти, я долго смотрел в металлическую крышку от фляги. В ней на дне плескалась темная, пахнущая жидкость, и мне было жалко проглотить ее сразу. Адиль уже не поет больше, а только молится и поминает имя аллаха.

И опять ночь. Или день. Не знаю. Все время мерещится вода. Я гляжу вверх и не вижу звезд. В двух шагах ничего не разберешь, и Морис Бино велел зажечь факел. Сразу становится легче, не так давит беспросветный мрак. «Дождь,— думал я.— Дождь...» Я вижу фонтаны, реки воды. О черт, ведь реки состоят из воды. Мы пересекаем иногда высохшие русла — здесь их называют почему-то «вади». Я уже не в состоянии думать о других, впереди меня маячат тени, и сам я всего лишь тень, и все мы бесплотные тени пустыни.

Мы давно потеряли чувство времени и теперь уже не останавливаемся на отдых — мы должны идти, днем и ночью, и мы движемся, падаем, встаем, ползем.

«Вода,— думаю я.— Вода. Где-то на земле есть много воды, и люди пьют ее сколько угодно, и сколько угодно ее падает с неба».

Дождь падает, звезды падают, листья, акции падают, желтый дождь,— я, кажется, схожу с ума.

Я не знаю, идем мы или летим, и стороной раздается голос Мориса Бино.

— Еще немного,— говорит он, и мне кажется, что он тоже сошел с ума. Я слышу его смех. Призрак, сошедший с ума. Он болтает о темнокожей девушке, подаренной ему лет двадцать пять назад вождями племени Бунбу-Нубу, где-то в Центральной Африке; затем на меня обрушивается слепящий холодный каскад, и я жадно пью, задыхаюсь, пью и не могу напиться.

— Хватит,— трясет меня кто-то за плечи, и я открываю глаза, вижу Дерюгина, этого странного русского, вернее, то, что от него осталось. Обтянутая тряпьем жердь. Я беззвучно ругаюсь.

Потом я вижу впереди огромный солнечный диск, вставший неожиданно над пустыней, разорванный, катастрофически растущий с каждым мгновением,

и все забывают обо всем и смотрят туда же, куда я. «Опять мираж,— думаю я.— Как красиво».

Больше я ничего не успеваю и лишь успеваю заметить, что вокруг светло, неестественно, до белой боли, светло. В следующее мгновение на нас надвигается вздыбленная, бушующая пустыня и вначале подминает нас, а затем взбрасывает куда-то к адскому солнцу. И тогда я совсем близко, рядом слышу испуганное блеяние козы — живое, настоящее, и у меня встают дыбом волосы. Откуда здесь может быть коза?

«Бэ-э-э!» — хрипло блеет коза еще раз, и я в ужасе ползу прочь, дальше от ее хриплого блеяния.

Ползу и выжимаю прямо в рот себе мокрую тряпку. Я оторвал ее от брюк. Идет дождь. Идет самый настоящий рыжий, искрящийся дождь. Расстилаю тряпку на песке, и на ней мгновенно собирается лужица. Слизываю воду и не могу остановиться, жую тряпку, дождь неприятный, теплый, и небо душное, жгущее, и я его не вижу и только чувствую, что оно жжет и дождь идет.

Кто-то стонет рядом, быть может, Адиль.

Не трогай меня, пустыни дух,
Дай доскакать до черты,
Меня ждет невеста,
Не трогай меня —
Без сына человек проклят.

Я с трудом поднимаю голову и ничего не вижу. Ползу и зову, и никого нет. Я один. Я умер. Впереди маячит шатающаяся фигура Дерюгина, стараюсь догнать его и не могу; надо успеть отдать ему свою тетрадку, кажется, он оказался крепче всех...

Наверное, я вернусь на землю через тысячу лет. А может, через семь тысяч... И принесу тебе подарок, Джозина, и ты меня поцелуешь. Мне больше ничего не надо. Ты поцелуешь меня. Сейчас я ухожу, я чувствую страшную даль, и я не могу остановиться. Говорят, через семь тысяч лет человек возвращается на землю, а может быть, мы уже с тобой когда-то были, Джозина?»

«А над землей продолжал разрастаться ослепительно яркий факел на чудовищно огромном, достающем до небес крученом черенке, и его рваные края начинали клубиться и опадать.

Все мы, люди изыскательской партии Мориса Бино, были найдены на второй день после взрыва, двое уже

умерли, остальные были высушены и легки, в изорванной донельзя одежде; нас нашли рядом с трупом привязанной к железному колу козы. Просто мы несколько дальше забрели в глубину запрещенного квадрата. Солдаты особого спецотряда французской армии, обследовавшие местность, наткнулись на нас на второй день. Как говорят, мы лежали недалеко друг от друга. Три француза, немец, араб и двое русских, об этом потом писалось в газетах, но в тот самый день, когда я, шофер изыскательской партии Мориса Бино, Андре Ставропольцев, увидел ночью поднявшееся из земли солнце, президент де Голль, поставивший целью своей жизни возвращение Франции в число мировых держав, действительно добавил к ее истории незабываемую страницу. Франция стала четвертой атомной державой, взорвав в Сахаре свое первое атомное устройство... Но уже на второй день я временами почти совсем перестаю видеть, в глазах темные провалы... и только по-прежнему дыбится и рушится пустыня... руки отказывают... Кто-то рядом говорит о вертолете и непрерывно стонет... пытаюсь понять, все расплывается... Боже, Джозина... Я...»

Николай перевернул последнюю страницу и, осторожно положив тетрадь на стол, затиснул руки в колени; лицо у него сразу словно постарело на добрый десяток лет. «Да, эта весть об Иване,— подумала Ефросинья,— теперь уже ни к чему, мертвого все одно не подымешь, а беда от него может быть большая,— боялась она, конечно, не за себя с Захаром и не за Егора, колхозники — колхозники и есть, с них взятки гладки, а вот Николая могут и попрекнуть братом, пропадавшим столько лет да так и сгинувшим на чужбине.— Видать, в отца бродячего пошел, помер без креста да молитвы, и зарыли бог знает где, на могилку не сходишь». И какие ни приходили горькие мысли, было это для нее уже далеко-далеко, схоже с тем, когда дал о себе знать в первый раз после войны Захар и принесла от него почтальонша первое письмо... «Ну, да что потом,— подумала Ефросинья,— что ж на старые-то болячки солью сыпать...» И все-таки сердце ее ожгла боль; таким памятным вспомнился первенец Иван, и она даже словно услышала его крик, как тогда, в толпе на станции, перед угоном в Германию, и как тогда ее сильно качнуло...

Под наивным предлогом узнать, что это там расшумелся Толик, она тихонько поднялась и отошла, и Егор, подождав, не разговорится ли Николай, закурил, прошелся по саду, по пути осматривая деревья и отмечая, что через неделю надо еще раз опрыснуть яблони от червя; оглянувшись на Николая с отцом, он не выдержал, вернулся к ним, сел рядом и спросил:

— Ну что, Коль, что ты так расстроился?..

Недоуменно взглянув на него, Николай отрешенно улыбнулся: кажется, его не так поняли; несколько измызганных страничек, написанных умирающим, подумал он — и словно распахнулась та бездна, над которой он часто ловил себя. Осмотрится и задрожит в каком-то холодном предчувствии, а еще больше от бессмысленности вообще человеческой жизни в грозном и безграничном хаосе материи, в этом диком лабиринте, где люди считают часами и днями, своими коротенькими делами, а космос — миллионами и миллиардами лет, бесконечностью. Ведь практически для него отсутствует категория времени, он живет своими чудовищными процессами, расширяется или сжимается, и никто не знает, когда это началось и когда кончится... материя же вечна. «Ну вот,— сказал он себе,— тебя опять царапают твои бесы, как сказала бы Таня. Да, но человек уже достиг того, что солнце может появляться теперь среди ночи, одну за другой материя выдает свои сокровенные тайны, и наступит момент, когда человек, дойдя до той самой крайней черты (за нее невозможно заглянуть и не свихнуться), станет на грань самоуничтожения. Ему надо взглянуть на собственное отражение в последней инстанции, сбросить с себя все и всяческие покровы и остаться наедине с тем таинственным *нечто* в самом себе, волей которого возникают и рушатся государства, начинаются кровопролитные войны, создаются газовые камеры для детей и делается еще много такого, чего не объяснишь простой логикой. Вот Егорушка с отцом сидят и ждут его слов; им и в голову не приходит, что они сильнее меня и куда прочнее; им и невдомек, что именно знание безжалостно разъедает человека; они в своем счастливом неведении проживут, сея хлеб и воспитывая здоровых, неприхотливых детей, а ты сам этого уже не можешь, потому что в тебе уже выработался и постоянно работает разрушительный фермент, особый яд».

Николай положил руку на горячий, лохматый затылок Егорушки.

— Странно, Аленка последнее время почему-то несколько раз об Иване вспоминала... Как последний раз из Густищ вернулась...

— В прошлом году осенью последний раз приезжала,— охотно поддержал брата Егор.— Жаловалась, совсем Петька с Ксеней от рук отбились. Переходный возраст, отец их вроде балует...

— Женщина всегда причину вне себя отыщет. Просто взрослеют ребята, все у них нормально, своя жизнь,— сказал Николай и кивнул на стол, на бумаги, придавленные наждачным бруском; они слегка шелестели от ветра.— А этого бояться нечего... Ты что, отец, молчишь?

— А что говорить, Николай? — спросил в свою очередь Захар, хмурясь, но было видно, что ему приятно внимание сына.— Не понимаю я нынешних-то, вас вот таких... Как ездили-то мы к Алене с матерью, насмотрелись... Ты еще, Тихон говорил, где-то на испытаниях был. Ждали, ждали... Так и уехали...

— Я знаю,— кивнул Николай.— Новую систему испытывали...

— Ну вот... Куда там! Слово-то впопад никому не скажешь... Видать в самом деле не та стала голова, не соображает... На селе сейчас вроде куда лучше стали жить, телевизоры в каждой хате, холодильники завели, рай — не житье, а молодежь по-прежнему не держится, бежит от земли... Мнится мне, что-то не додумали мы в жизни, пойдет так дальше, быть земле в последнем запустении. А Иван что ж... судьбу наново не перепашешь... Вечная ему память, нашему Ивану...

Все долго молчали, и не скоро разговор снова потек своим путем.

— Мы, Коль, не за себя, мы вот за тебя и боялись,— сказал Егор, обращаясь к брату со своей обычной тихой улыбкой, щуря красивые черные глаза, уже окруженные частой сетью морщин.— Ты ученый, видный человек, думаем, могут и прицепиться, знаешь ведь, как это бывает.

— С меня много не возьмешь, да и какой я видный? Для нашего села, может быть,— засмеялся Николай.— Чепуха, чепуха... Да и накладно... ведь всю ценность во мне и представляет один мозг, и даже не он сам, а то, что

он чуть-чуть набекрень устроен. К тому же я давно уже коммунист, Егор, и по членству, и по душе.

— Вот и хорошо, надо мать успокоить, она, бедняга, после этой посылки все никак не может спать. Что же дальше-то делать? Написать во Францию-то? Может, в гости эту женщину пригласить? Поди, и племянник-то наш теперь парень почти взрослый... Интересно,— вслух подумал Егор.

— Честно говоря, не знаю,— признался Николай.— Это уж надо всем вместе решать. Отцу с матерью он все-таки родной внук, нам с тобой племянник... Вот получается-то...— Николай обвел всех взглядом, и Захар, пристально глядевший на него, утвердительно кивнул, и тотчас словно что давно скрываемое прорвалось в его лице; он быстро вскочил, отошел в сторону, стал ко всем спиной и сделал вид, что закуривает, в то же время чутко прислушиваясь к сыновьям.

— Это я на себя возьму, если вы не против.—Николай указал на тетрадь.— Мать спрошу...

— Бери, зачем эта штука матери? — возразил, не оборачиваясь Захар.— Я так и не разобрал всего, нацарапано, нацарапано...

— Ладно, договорились.— Егор встал, прихватив со стола фуражку.— Мне в поле надо смотаться, еще в лугах посмотреть, сенокос заканчиваем. Ты надолго-то к нам? Хочешь проветриться, а?

— Нет, дня два, не больше. Поезжай, следующий раз с тобой прокачусь,— сказал Николай.— Вон Таню возьми с собой, пусть она посмотрит, как живут и работают в колхозе.

— Не поедет,— усомнился Егор и почему-то засмеялся, но тут же, взглянув на молчаливого, одиноко ссутулившегося отца, быстро ушел с тревожным и напряженным выражением лица.

Вечером в гости к Дерюгиным, посмотреть на Николая, на его жену, собрались дальние и близкие родственники, всего человек двадцать, пришли и отец с матерью Валентины; Николай уже раньше слышал, что Егоров тесть выпить не дурак, а теща баба хитрая и ехидная, по крайней мере мать явно ее не любила, и это было заметно по каким-то словам и репликам, обращенным друг к другу как бы нехотя; Семеновна, так все называли тещу Егора, с какой-то детской непосредственностью и любопытством в глазах подробно осмотрела Таню, пощупала материю на ее платье и, то

и дело называя «деточкой», приводя этим ее в совершенное смущение, стала прямо в глаза расхваливать, какая она красивая, умная да белая.

— Пожалуйста, скажите, почему вы решили, что я умная? — спросила Таня с улыбкой, выбрав момент.

— Как же, ну как же,—заговорила Семеновна.—В городе таких-то дураков необразованных, как наш брат, не водится, это у нас в деревне дурак на дураке сидит. Я вон нашему Егору часто говорю: взял бы да куда уехал в город — глядишь, человеком пожил бы, поумнел. Вон на вас поглядишь, все белые такие да чистые.

— По-моему, Егор Захарович и без того не обделен умом, что вы,— мягко возразила Таня, присматриваясь к своей новой знакомой и пытаясь понять, что за человек перед ней и что ему надо; Николай, краем уха прислушивающийся к их разговору, поспешил на выручку Тане, а вернее, сделать это ему посоветовала мать, сказав негромко, что сватья Семеновна кого хочешь до смерти заговорит, дай ей только волю.

— Что это вы здесь вдвоем? — спросил он, беря Таню за локоть, как бы в необходимости отвести ее в сторону и сказать ей что-то наедине, но Семеновна не поняла — для нее это был слишком тонкий намек.

— А-а, вот и сваток,— протянула она с живейшей и неподдельной радостью в смугловатом, на вид совсем еще не старом лице.— Ну, дай хоть на тебя поглядеть. Ничего, ничего,— одобрила она после довольно долгого, с головы до ног и не единожды, осмотра Николая.— Ничего, вот только на головке лысинка намечается, да это, когда спереди, как у тебя, сват, от большой умности. Для мужика-то и совсем хорошо, сразу важность тебе. Надо ж тебе, приехали. Тут никто дождаться, поглядеть на вас-то не думал. Другие-то в лето едут, едут, кто откуда, детей привозят. У Сорокопутовых гости, у Нюрки Бобок гости, и Митька-партизан часто бывает, орден в прошлый год получил. Зинка-то Полетаева недавно была, аж из Сибири прикатила с мужиком, постарела, правда, двух дочек уже нажила.— Тут Семеновна слегка повысила голос, вроде бы ненароком глянула в сторону Егора, открывавшего у стола бутылки с вином; Николай знал из писем матери всю трудную историю Егоровой женитьбы после армии; Егор утихомирился лишь после того, как Зинка Полетаева завербовалась куда-то на сибирскую стройку; Николай по быстрому взгляду брата понял, что он все слы-

шал и что последнее предназначалось именно ему.— Сватья Ефросинья сколь раз обижалась, Аленка — та хоть раз в два-три года заглянет, а ты вроде совсем сгинул... Молодец-то, молодец, сват, что приехал, мать с отцом порадовал. Ну, расскажи, сват, как же ты живешь, как твоя должность-то называется?

— Я радиофизик, инженер, Семеновна.— Николай, не отпуская от себя Таню, имевшую вид крайне растерянный и неловкий, кивнул на телевизор в углу.— Чтобы людям жить веселее было, вот наша задача.

— Неужто такие штуки придумываешь? — изумилась Семеновна и в ответ на новый молчаливый жест Николая сказала, что люди по-другому говорят, что будто бы Николай доктором работает, и Николай, глядя в ее лицо, изображавшее крайнюю степень пытливости и любопытства, коротко переглянулся с Таней.

— Доктор — это не должность, сватья,— сказал он, припоминая и с удовольствием произнося это словечко «сватья», обозначавшее степень его родства с семьей жены Егора.— Это ученая степень, она за какое-нибудь открытие или изобретение присваивается, как орден, например.

— Сват, а сват,— понизила голос Семеновна, придав лицу несколько таинственное и просительное выражение,— ты бы пристроил Егорку где-нибудь у себя... а? Что ему здесь, в селе-то делать, и дети такими же сирыми вырастут, а так как-никак... Сейчас из деревни все уезжают, что ж им, хуже других? Ты ему, Николай Захарович, по-ученому-то...

— Ты, сватья, чудачка, как я погляжу,— остановил ее Николай.— Что значит все уезжают? А если ему здесь нравится, работу он свою любит? Мы с ним разговаривали. Что же ему там делать? Ты нас прости, нам надо поговорить с Таней,— добавил он, отходя от нее вместе с Таней, к искреннему огорчению Семеновны.

Собравшиеся у Дерюгиных были не только все хорошо знакомы, они знали мельчайшие подробности и заботы друг друга и, сидя за столами, сдвинутыми в большой комнате вместе, представляли из себя нечто целое; в центре внимания, само собою, были гости из Москвы и, пожалуй, больше Таня, чем Николай; рядом с ним, как почетного гостя, посадили председателя колхоза — человека лет сорока пяти, присланного в Густищи вначале агрономом, а затем выдвинутого и в председатели; был он очень плотен и еще более спокоен, судя по его

медлительным, как бы через силу, движениям; он сразу привлек внимание Николая; тот с самого начала заметил, что, когда председатель говорит, все как бы притихают и отодвигаются от него, и понял, что его здесь уважают; даже мелькавшее иногда в лице Егора нечто ироническое было с изрядной долей внимания; Николай лишь не мог понять, в каких отношениях с председателем отец, казалось, занятый лишь каким-то оживленным разговором со своим крестным. Николай посмотрел сбоку Тане в лицо и, увидев, как она сосредоточенно разрезает в тарелке мясо, дружески коснулся коленом ее ноги; она поняла, что он хочет ободрить и поддержать ее в столь непривычном обществе, и, не поворачивая головы, улыбнулась, показывая ему этой улыбкой, что она рядом с ним ничуть не боится и что ей интересно и хорошо.

Захар с Игнатом Кузьмичом Свиридовым сидели неподалеку от председателя. Игнат Кузьмич еще больше постарел, но держался крепко; он был в очках с толстой роговой оправой, в новом сереньком костюме, явно великоватом; отметив это про себя, Николай вдруг подумал, что если что и погубит человечество, так это абстракция; ведь если какому-нибудь высокому вождю докладывают, что там-то и там-то убито два миллиона, то это для него является далеким и неясным фактом, входящим в жизнь естественным, необходимым компонентом. Пример тому есть, и было их предостаточно, таких примеров, подумал Николай, и самое трудное для правителя — на самой высоте, где-то в болевой точке, не потерять чувства реальности, ответственности за любого нечаянно или несправедливо убитого человека. То же и большой ученый, ведь если даже его идея, его изобретение верная смерть миллионам и миллионам, для него это далекая абстракция. Какое ему до этого дело, думал Николай, поглядывая на старчески обвислые плечи пиджака Игната Кузьмича; он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, повел головою и встретился с глазами матери, она кивнула ему, как бы говоря, чтобы он не обращал на нее внимания и занимался своим делом, и он сразу успокоился, все постороннее, мешавшее отступило, и стало хорошо и покойно. Николай, проверяя себя, попросил сидевшего неподалеку отца, хмурого и немногословного, дать ему моченое яблоко; Захар, примерившись, наколол на вилку самое крупное в блюде, протянул, и Николай, благодаря,

дружески улыбнулся. Жизнь раскладывала в своих просторах человеческие судьбы с такой гениальной простотой и с такой изящной, почти головокружительной изощренностью, что этого нельзя, невозможно было постичь и уложить хотя бы в слабое подобие закономерности. У отца было шестеро детей, теперь вот осталось пять да прибавились внуки, но разве можно определить что-либо примитивным подсчетом количества?

Николай, чувствовавший себя вначале не совсем ловко, никак не мог понять причины этого, и только случайно мелькнула вначале удивившая его мысль о том, что он совершенно отвык от нормальной человеческой жизни и что провести два часа вот в таком сидении за столом, за простым человеческим разговором, все последние десять лет было бы для него непростительной роскошью и даже дикостью; он шумно завозился на стуле, с удовольствием устраиваясь удобнее, словно собирался просидеть здесь всю ночь, стараясь отогнать посторонние мысли; где-то внутри него шла затаенная проверка новой идеи, сжигающий, изнуряющий процесс работы мозга. Он все отчетливо и ясно слышал и видел, что говорилось и делалось за столом, и хотя ему приходилось отвечать на посторонние вопросы, такие, например, как, почему город притягивает людей и кому это нужно запускать машины на Луну, и сколько это стоит; своя, никому не заметная работа не прекращалась в нем ни на секунду, и он понимал, что это не на день, не на два, возможно, на многие месяцы, и страшился, и радовался этому своему состоянию; однажды вот именно по этой причине он на два месяца угодил в больницу с нервным истощением, но и там не мог остановиться, писал формулы и чертежи на салфетках, на скатерти, даже на стенах (врачи категорически запретили давать ему бумагу), но именно в этом и заключался весь смысл его жизни, иначе он ее не представлял.

И он не ошибся; возвратившись в Москву, он действительно неделями, месяцами пропадал в лабораториях, у счетных машин, на полигонах, словно в тумане проскочил год и другой, и даже тяжелая болезнь Лапина и то, что Таня почти все время проводила теперь у постели отца, не могло ничего изменить или остановить.

Но однажды Николая чуть ли не насильно увели из лаборатории, усадили в машину и отвезли домой, и он, едва коснувшись подушки, заснул..

6

Николай вскочил с постели вскоре после полуночи; ему показалось, что он еще как следует не успел даже задремать; чересчур накрахмаленная простыня под ним слегка потрескивала, приятно холодила. Он почувствовал длинную, щемящую дрожь сердца — она была мучительна, и он, замерев и стараясь не шевелиться, ждал, иначе могло окончательно ускользнуть то, что пришло к нему. С физическим ощущением усталости и растерянности он чувствовал, отчетливо осознавал, как вновь ускользает уже ясное вроде бы решение, окончательно и так неожиданно пришедшее не то во сне, не то наяву; но то, что оно, это решение, давно и трудно отыскиваемое, было единственно верным, он не сомневался, он это чувствовал и по тому собственному внутреннему состоянию опасного и замиравшего полета, что продолжало жить в нем уже после того, как он открыл глаза и вскочил; все его существо словно оставалось разделенным, разорванным на две половины, и они пока никак не могли сойтись и составиться в одно прежнее целое. Он с невольным стоном скинул ноги с постели и, держась руками за голову, с ощущением, что он все время окутан каким-то разреженным, жгущим воздухом, пошел на кухню, нащупал там графин с холодным квасом и жадно напился прямо из горлышка, обливая себе шею и грудь. Затем он сел тут же на жесткий, холодный стул. И хотя все исчезло, затянутое каким-то горячим туманом, ощущение присутствия окончательного решения не исчезло, оно было и в нем, и во всем, что окружало его; требовалось какое-то последнее усилие, еще один шаг. Голова горела, он сам чувствовал, что она горела, но боль в ней прошла, и она была пугающе ясной, словно бы невесомой... «Вот, вот так,— шептал он,— я проснулся от того, что... что... что же? что?»

Николай вздрогнул, какая-то масса словно надвинулась на него, в окне дрожали, перемещаясь, слабые огоньки; происходило невероятное, то, над чем он бился вот уже несколько месяцев, вынырнуло без всякого на то усилия и причины, но все-таки ясности и конкретности по-прежнему не было. «В тот момент, когда я проснулся, я что-то видел, нужно обязательно вспомнить»,— подумал он внезапно; все той же обнажившейся стороной своего самого мучительного и сокровенного

«я» он знал, что именно в этом все и заключается. Он должен был вспомнить то, что увидел, просыпаясь и вскакивая; да, да, вначале был вроде толчок, что-то заставило его вскочить и что-то будто тотчас метнулось из глаз, что-то слепящее, быстрое... Что-то словно рыжеватое, необычайное...

Он встал и, пошатываясь, быстро пошел в комнату жены.

— Таня, Таня, Таня... Таня,— сказал он, совершенно забыв в этот момент, что жена вот уже два месяца проводит почти все время у тяжело больного отца.— Таня, я умираю,— сказал он, подошел к постели, упал на нее и замер.— Таня, Таня,— говорил он,— я нашел, нашел, но ты этого не узнаешь. Я нашел, да, я нашел... это должно заменить все, даже тебя. Гип-гип, ура! Я нашел, Таня! Нашел, черт возьми! Нашел!

Он плакал без слез, как умеют иногда плакать мужчины, с насмешкой к себе, повторяя непрерывно какие-то дикие, нелепые слова, и какое-то горькое счастье сжигало его; да нет, какое же это было горькое счастье, в конце концов, есть счастье выше любви, выше женщины, выше всего, даже выше смерти: *это проникновение в тайну,* это, вероятно, и есть чувство собственного соприкосновения с изначальным *нечто,* и это чувство не выразить и не объяснить никакими словами и философиями, это всего лишь сладкая, замирающая дрожь сердца, собственное растворение в безграничности времени и пространства, возвращение к первичности, к ее великой тайне, дойти до нее, вероятно, для человека и значит заветный предел. Но этот предел можно только почувствовать холодным ветерком в сердце, вот как он сейчас, но и этого достаточно...

Пошатываясь, он встал, прошелся, приходя немного в себя, по комнате. Он был один, и ему не с кем было поделиться; случившееся с ним и то, о чем он только что думал словно в каком-то горячечном бреду, все это начинало казаться смешной, даже стыдной нелепостью; он врал, ведь для себя ему ничего не нужно, и никому это не нужно, никакие тайны, открытия и победы не заменят близкого человека; он рванулся в кабинет, схватил трубку телефона и, набрав номер, замер; редкие, тяжелые гудки на другом конце провода отдавались в нем какой-то нетерпеливой радостью. Трубку взяла она, Таня, и он это сразу почувствовал, хотя она не произнесла еще ни одного слова.

— Таня,— сказал он,— мы должны встретиться, поговорить. Ты должна немедленно приехать, сейчас, сию минуту. Это необходимо.

Николай перевел дыхание; чуткая, живая тишина лилась, казалось, в самый мозг.

— Что-нибудь плохое случилось? — услышал он наконец тихий, далекий голос и безошибочно определил, что и она взволнована и не может этого скрыть.

— Да, да! — закричал он.— Случилось! Мне необходимо тебя видеть! Приезжай немедленно, Таня, слышишь, ради бога приезжай! — Он долго, обессиленно держал трубку в опущенной руке, растерянно улыбаясь; не ожидал, что она так быстро согласится, и, когда раздался звонок, он выбежал в коридор, так и не успев ничего привести в порядок в квартире; увидев его, ждущего, счастливого и нетерпеливого, с широко распахнутыми ей навстречу серыми сияющими глазами, она сразу забыла все то горькое, что хотела сказать. Медленно шагнув к ней, Николай обнял, притиснул к себе и стал целовать, вначале тихо, бережно, затем все сильнее и крепче; она выпустила из рук сумочку, неловко запрокинула голову. Привычное, волнующее тепло его тела передавалось ей; столько раз она зарекалась покоряться безропотно этой его необузданной, почти мучительной силе, но сейчас она впервые поняла, что это необходимо, что жить без этого немыслимо, и ей было так хорошо, как никогда не было раньше, и она, не открывая глаз, видела его всего; он лежал, спокойно и тихо улыбаясь, и в нем сейчас ничего не было для нее тайного, она чувствовала и понимала его так, что ей стало страшно. Но это было всего лишь прозрением любви и скоро прошло. У самой у нее еще оставалась для него тайна, и она наслаждалась этим почти по-детски; уткнувшись горячим, счастливым лицом ему в грудь, она затихла, она знала, что не выдержит, в конце концов поделится с ним.

— Коля, я, кажется, беременна,— прошептала она почти беззвучно и ощутила упругое, стремительное движение его тела; он сжал ей лицо ладонями, приподнявшись, долго молча глядел ей в глаза; не выдержав, она моргнула, натянула повыше на грудь край простыни.

— Спасибо, Танюша,— угадала она, потому что на время от напряжения почти потеряла способность слышать; Николай, соскочив с тахты и подхватив ее на

руки, стал кружить по комнате; у нее в глазах мелькало зеркало, шкаф, люстра, опять зеркало, опять шкаф, опять люстра; он кружил ее и сам что-то радостно орал.

— Пусти, сумасшедший! сумасшедший! — вскрикнула она, все теснее прижимаясь к его разгоряченной груди, и из-за его плеча увидела его и себя в зеркале и шире открыла глаза.— Какой же ты красивый,— сказала она, не в силах оторваться.— Что ты здесь делал почти два месяца без меня, один? — спросила она с легкой угрозой и в то же время показывая, что это всего лишь шутка.

— Я тебя ждал, каждый день, каждый вечер,— признался он, опуская ее на пол, но по-прежнему прижимая к себе.— Как ты мне была нужна все время, каждый час, все эти два месяца... и я работал.

— Прости,— попросила она тихо, и он удивился:

— За что?

— За все, Коля, я ведь всего лишь баба, ничего не умею и страшно тебя ревную.

— Ну и прекрасно! Да это же вся ты! Именно такая — моя, вся моя, и самая лучшая! Таня, ты представляешь, у нас будет сын! Ванька, Иван Николаевич Дерюгин! Вот это будет единственно осуществленная великая идея!

— А если дочь? Представляешь, такая маленькая, ласковая, шаловливая... а, Коленька?

— Ну, не знаю,— протянул он с сомнением и не сразу и тут же опять поцеловал ее.— Нет, будет сын, Иван. Непременно сын. Дочка потом, у девочки должен быть старший брат.

— Пусть так, я не против,— согласилась и Таня.— Папа, например, все время грезит о внучке.

— Ничего, старик немного потерпит. Мы ведь не заставим его ждать слишком долго?

Она покачала головой, суеверно поплевала в сторону и зажала ему рот ладонью.

Через полчаса или чуть больше, за чаем, ощущая ее рядом, настраивающую на какой-то мещански-счастливый лад, он тихо засмеялся; Таня вопросительно взглянула на него.

— Нет, нет, ничего,— сказал он все в том же порыве счастья, но уже в преддверии близкого спада.— Просто я подумал, как все-таки недалеко ушагал человек. Часом раньше я мог бы убить из-за самой примитивной

причины... просто потому, что ты вдруг оказалась бы с кем-то другим... А?

— Но это прекрасно, наряду с идеей это всегда двигало миром...

— Неужели? — он приподнялся.— Да, в тебе, сквозь все твои замши и мохеры всегда проглядывает что-то пещерное... Теперь я понял, что тебе нужно. Заставить охранять костер, изредка бросать тебе обглоданную кость. И как можно чаще срывать с тебя ободранную шкуру...

— Разумеется... Только ты, кроме своих формул, ничего не знаешь и не умеешь, даже какого-нибудь хромого пещерного льва убить не в состоянии... А еще были саблезубые тигры... хрупкая мечта моего детства.

— Вот видишь, какие бы побрякушки на свою душу ни навешала женщина, она так же биологична, как и миллион лет назад.

— С этим и не нужно спорить, важно в любой исторический момент уметь бить саблезубого тигра, ну, в крайнем случае льва,— это все, что нужно женщине.

— Да, конечно, я это усвоил, но погоди, Татьяна, я сейчас думаю о другом. Жизнь идет какими-то удивительно отрицающими друг друга параллелями. Вот тебе один пример. Великое открытие века — пенициллин, и великое изобретение — атомная бомба. Они шли плечо в плечо: конец двадцатых, тридцатых, первая половина сороковых. Сорок первый год — первые опыты по применению очищенного пенициллина, сорок третий — начало его заводского производства. В сорок пятом Флеминг получает Нобелевскую за пенициллин, а на Японию заокеанские демократы так, вроде бы походя, между делом, сбрасывают первую атомную бомбу... Нет, здесь что-то есть, определенно что-то есть. А впрочем, что-то понесло меня,— оборвал он.— Как отец?

— Папа очень плох,— растягивая слова, как-то не сразу, глухо отозвалась Таня. Ей было трудно причинить ему боль сейчас, но другого выхода она не видела.— Ты находи время почаще быть у него, он так радуется, когда ты у него бываешь. Я ведь почти двое суток возле него провела, даже к тебе не могла, так устала... Поеду, думаю, к тетке, отосплюсь... А здесь ты звонишь...

— Ты говоришь, что очень плох,— начал было он и тут же, взглянув ей в лицо, оборвал.— Что я говорю, прости... почему же ты мне сразу не сказала?..

— Сначала не хотела, а потом ты был так счастлив...

— Да, да, но... постой, постой, Танюша, ты только говори все... Мне нужно с ним встретиться?

Она молча кивнула.

— И скорее, да?

Она опять кивнула.

— Не плачь,— попросил Николай,— не надо, это нехорошо. Я сейчас же оденусь и поеду...

— Что ты, Коленька, сейчас же за полночь,— напомнила она, поднимая на него глаза, затянутые слезами и оттого блестящие, большие, почти огромные,— тебя не пустят...

— Меня всегда пустят,— с неожиданной силой сказал он, вскакивая, торопливо разыскивая плащ и с каждой минутой волнуясь и торопясь все сильнее.— А если я не успею? — вырвалось у него.— Что же ты, Таня... Это же не только твой отец и мой тесть, это же — Лапин.

Заражаясь его тревогой, она тоже встала, засуетилась, помогая ему, и почему-то подумала, что уже поздно и Николай не успеет...

7

Николай успел; он действительно шел напролом, с непроницаемым лицом, досадливо стряхивая с себя перепуганных неожиданным вторжением, пытавшихся остановить его нянечек и сестер; пробежав по широкому коридору, он поднялся выше на этаж, чувствуя, что оставляет за собой взбаламученный, приходящий все в большее смятение муравейник. Перед дверями палаты, расположенной как-то на отшибе от остальных, он тупо уставился в цифру знакомого номера «16-Б». Там, за дверью, было *нечто*, заставившее его в один момент успокоиться, и когда к нему подбежали встревоженные дежурные врачи в сопровождении возмущающихся свистящим шепотом сестер, он холодно, остро посмотрел им навстречу и, опережая, сдерживая голос, отчетливо сказал:

— Тише, пожалуйста, я все равно войду, я должен войти.

— Кто вы?—спросил врач со сбившейся шапочкой на седых, коротких волосах, невольно проникаясь смутным уважением к этому отчаянному посетителю.

— Я его ученик,— сказал Николай,— мне необходимо, он ждет меня...

В этот момент за дверью палаты послышался шум, она распахнулась, и показалось широкое, припухлое лицо Грачевского; Николай от удивления отступил, в первую минуту он даже не мог скрыть своего удивления.

— Тише!—Грачевский угрюмо, почти с открытой ненавистью, посмотрел на Николая.— Тише,— повторил он.— Старик услышал и узнал тебя, так же нельзя, Дерюгин... Он хочет видеть тебя... Сейчас, сразу.

Николай порывисто шагнул вперед, Грачевский едва успел посторониться; Николай увидел устремленные себе навстречу знакомые глаза; напряжение было велико, и Николай не мог, не хотел остановиться, и хотя он подошел к Лапину, казалось, спокойно и даже медлительно, в нем отчетливо жил другой ритм; он сейчас словно спешил слиться с той силой, что лучилась ему навстречу, чувство какого-то небывалого праздника охватывало, поднимало его.

— Простите меня,— сказал он, и слова его прозвучали холодно и фальшиво в просторной палате; Лапин молчал.— Простите меня, Ростислав Сергеевич...

От волнения и ожидания до больного дошел даже не смысл слов, а то скрытое, что прозвучало в них, в тоне голоса; собираясь с силами, Лапин помедлил.

— Зачем, зачем это? — спросил он.— За что мне простить вас?

— За все,— сказал Николай, чувствуя в этот момент, что он действительно почти преступно виноват перед этим умирающим и все равно великим человеком.— За все простите... за Таню... это она сама настояла... А у меня не хватило воли дождаться вас и уже потом решать. Но и это не так просто... я не мог, не хотел ждать... Но у нас с ней все хорошо.

— Я знаю, Коля. Таня мне сказала, я рад за вас обоих,— остановил его Лапин, с излишней старательностью пережевывая слова, и это новое обстоятельство поразило, почти испугало Николая, раньше он этого не замечал.— Вздор, вздор,— продолжал Лапин.— Любите ее. Я избаловал ее, но сердце у нее верное. Она хороший человек, будет вам надежным товарищем... она с вами счастлива. Берегите ее, Коля. Со мной она совсем измучилась... я ее вечером еле-еле уговорил пойти отдохнуть...

— Ростислав Сергеевич, и мне она дорога,— сказал Николай, и от этой ничем не прикрытой обнаженности ему стало как-то неуютно.

— Впрочем, Коля, я не для того хотел видеть тебя. Об этом мы еще успеем,— по остановившимся, переставшим замечать что-либо вне себя, построжавшим глазам Лапина Николай понял, что произошла какая-то перемена, Лапин отдалился сейчас и от него, это было уже то состояние его души, когда больше никто не нужен, никто не интересует; человек действительно подобрался к самой своей вершине и в предчувствии непостижимой крутизны обратного движения ослепительно одинок. Но ослепительно, вероятно, для других, сам он этого не замечает, потому что сам он находится в это время в естественном состоянии. Николай не знал, что делать; оглянувшись, он увидел Грачевского с его цепкими глазами; Грачевский печально кивнул ему. «Зачем он здесь?» — с мучительной болезненностью подумал Николай, не меняя выражения лица; угадывая, что ему без обиняков напоминают, что он здесь не нужен и даже неприятен, Грачевский шагнул вперед, молча сжал плечо Николая.

— Какая утрата, какая утрата,— тепло прошептал он в ухо Николаю.— Ты это вряд ли поймешь, ты слишком ко всему привык. Я пойду, не хочу мешать...

— Отчего же не пойму, ты же знаешь, что я все понимающий дурак,— резко отстранился Николай, освобождаясь от чужого, неприятного прикосновения, и Лапин слабо шевельнул худыми, зажелклыми пальцами, еще больше оттененными крахмальной белизной простыни.

— Все идите,— попросил он.— Ты, Коля, останься...

Николай заметил невольное, порывистое движение Грачевского и его слегка напрягшийся рот, но тут же, пересиливая себя, Грачевский шагнул к двери, ступая на носки, и его высокая, стройная фигура оттого стала еще красивее. Николай дождался, пока дверь палаты закроется; по знаку Лапина он взял стул, поставил его так, чтобы ясно и полно видеть большое, кажущееся утомленным лицо больного, хотя он и знал, что ему будет трудно от этого. И тотчас глаза Лапина поразили его каким-то своим пристальным, сосредоточенным выражением, концентрацией теплоты.

— Садись, садись, Коля,— потребовал он нетерпеливо.— Прожил вот жизнь, бился над загадками, ни

одной не разрешил, ах, бог ты мой,— сказал он, знаком останавливая хотевшего возразить Николая.— Не надо, мне сейчас ничего не надо. Давай о деле. Как продвигается разработка второй серии?

— Почти закончено. Все ваши идеи, Ростислав Сергеевич, подтверждаются, теперь дело за практикой. Стропов со своей шайкой иначе ведь все равно не успокоится.

— Ну, Коля,— взглянул на него Лапин,— зачем же так грубо, по-мужичьи? Я знаю одно — в науке свои законы. Сильнее противник, да если он не один, много их, поиск плодотворнее.

— Вы просто интеллигент, Ростислав Сергеевич,— прищурился Николай.— По сути-то я прав, вы знаете это. Сколько такие кхекающие старички с высушенными мозгами давят талантливого! Нового! Как они дружно встали против криогеники! Американцы почему смогли добраться до Луны? Очень просто, вспомнили наконец известную идею Циолковского: жидкий водород — топливо, жидкий кислород — окислитель, криогенная ракета! Просто? Просто! Пришлось затратить уйму времени, доказывать, доказывать...

— Не горячись, Коля,— попросил Лапин.

— Не горячись, не горячись! А жизнь идет! Сколько времени приходится расходовать впустую!

— Еще никогда никому не удавалось обмануть природу, Коля,— Лапин помедлил, словно прислушиваясь к тому, что было где-то в нем глубоко-глубоко.— Всякий, кто хотел сделать это, всегда был жестоко наказан. Вот ты смотришь... ты не поверишь, молод, будешь жить по-своему. Один из примеров у тебя на глазах... слушай, слушай... *Оно* одолело меня... За счет перегрузок я думал пробежать отмеренное быстрее, да еще прихватить лишнего. Да, да, Коля, за счет перегрузок. Но природу не перехитришь, нет... Кто-то безжалостный ведет свой отсчет и никогда не ошибается. Вот так... Не скидывает нам за нашу быстроту, за молниеносность решений, за то, что мы отказываемся от всего быстрее, чем мы сами рассчитываем. Время каждому отпущено на все про все строго по мере...

— Ростислав Сергеевич...

— Не перебивай,— остановил Лапин.— Ах, Коля, Коля, как молодость не умеет слушать! Я хотел тебе сказать о самом серьезном, вот и слушай. Все последние годы я был пуст, только делал вид, что я такой же, как

все... А на самом деле я был совершенно пуст. Все ушло сюда,— он слепо пошевелил руками в направлении к голове,— в мозг! в мозг! Коля, модель повторяется, законы ее одинаковы для малого и большого... а природа действительно не терпит перегрузок, ох, как она еще отомстит за себя! Опустошены недра, отравлена атмосфера, на месте сведенных лесов песчаные смерчи, вторжение в ионосферу...

— Таким вас я еще не знал...

— Как-то один малограмотный доктор наук говорил мне, что компромиссы тоже входят в жизнь, Коля. Пожалуй, в данном конкретном случае я с ним согласен... Вот лежу, смотрю на тебя, слушаю и думаю над загадкой: что же такое есть человек?

— Не знаю, Ростислав Сергеевич, видимо, человек то, что сосредоточивает в себе нечто творческое...

— Ну, творит и природа.— Лапин слегка прикрыл глаза веками, но от этого его взгляд стал лишь острее.— Ты знаешь, и космос творит непрерывно, все вокруг нас есть творчество огромных, не подвластных воображению сил... А вот человек — что он такое?

— Продукт? — спросил Николай.— Тех же стихий творчества? Вполне возможно, вы правы...

— Ты талантливый человек, Коля, тебе неведомо чувство страха,— сказал Лапин.— Я тебе мало помогал, мог бы больше, но я иногда любовался тобой... Бойся своего таланта, Коля... А впрочем, что я говорю? Не слушай меня, именно этот горький опыт старости бесполезен.

— Почему?

— Не знаю. Талант часто и разрушителен... По замыслу это, очевидно, то, что должно перегородить путь к пропасти, а в сущности... в сущности это то, что иногда расширяет, делает этот путь удобнее... Не смотри на меня так, я серьезно...

— Вы жалеете, что прожили именно так, а не иначе? — почти с раздражением спросил Николай.

— Да, жалею.

— Почему?

— Я дал человечеству несколько серьезных вещей, оно не умеет с ними обращаться, дорогое наше человечество... вот что меня мучает. Ты же знаешь, достижения науки секретом долго не бывают, не могут быть...

— Это уже следствие...

— Человечество слишком самонадеянно, оно не об-

ладает мудростью творящего космоса... Творит избирательно, только ради себя и во имя себя. Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду. Талант вскрывает закономерность и понимает ее как закономерность, но все его открытия используются далеко ведь не на благо самого человечества. Сколько еще зла в мире, и здесь талант бессилен и даже опасен. Он отдает в руки несмышленого ребенка пистолет... Это же интересно: стрелять, стрелять, стрелять, когда захочешь, по собственному желанию... Человечество развивается медленнее, чем наука. Был бы я бог, я бы не дал классовому обществу атомную бомбу, да и многое другое.

— А другой путь есть? — спросил Николай с усиливающимся раздражением.

— Пожалуй, да, есть, отчего ему не быть? Не один, возможно,— сказал Лапин.— Не надо сердиться, Коля,— попросил он,— я понимаю, вот, сам прошел, сам испытал, наслаждался, теперь же — проповедь обратного, как бы запрет... А впрочем, не нам с тобой менять законы бытия.

— Не надо,— попросил внезапно Николай, неловко, стараясь не торопиться и все же торопясь, расстегнул ворот рубашки.— Не надо так холодно, Ростислав Сергеевич... Вы же сейчас другой, зачем же это — такое чужое, не ваше?.. Ну зачем?

Все дальнейшее произошло как-то просто, тихо, естественно, но запомнилось ярко, и лишь потом, много дней спустя, Николай не мог вспоминать и думать об этом без содрогания, без какого-то перехватывающего горло чувства жалости и обиды, что прозрение пришло слишком поздно.

— Спасибо вам, учитель,— сказал он, ощущая в горле трудный ком, и легкая, сухая рука опустилась ему на голову; он понял, что его услышали, и ему, почти сорокалетнему мужчине, доктору технических наук, дважды лауреату, патенты на изобретения которого покупают самые передовые в науке страны, захотелось расплакаться так отчаянно, как он плакал лишь однажды в детстве; он не помнил причины тех далеких слез, но он точно знал, что они были, он даже испытывал сейчас особое, зудящее состояние сердца, и ему не было стыдно, когда по лицу у него потекло легкое, свободное, облегчающее тепло.

Он поднял голову и с любовью посмотрел в лицо Лапину.

— Одно нехорошо,— сказал тот задумчиво, не снимая руки с головы Николая.— Внучки я так и не дождался. Но и в этом я никого не виню... просто нехорошо... не дождался... Как же так можно?

Он убрал руку, как-то легко, словно украдкой, пригладив волосы Николая; стыдясь своей беспомощности перед этим обнаженным чувством и скрывая ее, Николай встал рывком.

— Хотел бы я знать, что б мы с вами делали без смерти,— точно отвечая на молчаливый протест Николая, тихо возразил Лапин, и Николай, пораженный мелькнувшей догадкой, что даже и в смерти оправдание необходимо, заставил себя не двинуться с места, остаться рядом с Лапиным. Тот ушел в себя, он был уже захвачен чем-то глубоко своим, и Николай не мешал ему. С трудом приподняв легкую, сухую голову, Лапин наконец оторвался от своих мыслей, с усилием дотянулся до стакана и запил какой-то порошок. Николай отвел глаза, трудно было видеть, какого напряжения стоило Лапину каждое движение.

— Как с запуском? — спросил Лапин, угадывая именно то сокровенное, что было сейчас главным для Николая.

— Почти все готово, очевидно, скоро...

— Я сейчас завидую тебе, Коля...

— Да, представляете, я и сам себе не верю. Пришлось хорошенько подраться. Не мог же я отдать самое дорогое в чужие, равнодушные руки. Слава аллаху, это наконец поняли.— Николай не отвел глаз; в них резче обозначилась какая-то далекая и холодная глубина; он даже смог улыбнуться в ответ на тревогу Лапина, но тот не принял его улыбки и сердито нахмурился.

— А я вот так,— с каким-то неуловимым, раздражительным жестом указал на свою постель.— Безобразие...

— Ну, что вы, полежите и встанете.— Николай опять попытался успокоить его улыбкой, у Лапина что-то ответно сверкнуло в глазах, что-то от его прошлой безрассудной дерзости.

— Хотел бы я тебя дождаться оттуда,— просто признался он.— Ох, как бы я был счастлив... Ох, Коля, Коля... Скажи откровенно, я вот здесь думал... С каким человеком ты хотел бы лететь?

— Я хотел бы лететь прежде всего с добрым... А вы и дождетесь, я абсолютно уверен,— опять попытался

успокоить его Николай.— Вы знаете, со мной летят Касьянов и Билибин, ассистент... Выходим на принципиально новых двигателях... впрочем, вы знаете, завод имени Чубарева...

— Да, это я знаю... завод имени Чубарева... Память он о себе оставил действительно прекрасную, такой заводище. Марка отличная,— принял его игру Лапин.— Все-таки, Коля, жизнь пронзительно хороша, раз в ней возможны такие моменты. Только знай,— пригрозил он,— с тобой и я там буду... обязательно буду, пусть незримо, слышишь?

Николай, не отрываясь, смотрел ему прямо в глаза и кивал; он сейчас боялся выдать себя, потому что перед ним распахнулась какая-то слепящая, почти жгущая даль в размах души этого с трудом владеющего даже собственными руками человека, и он сам, Николай Дерюгин, словно стремительно мчался в нее, в эту невозможную даль, и не видел предела; с трудом сдерживая в себе разрывающий его крик восхищения перед тайной жизни, он лишь украдкой облизывал непрерывно сохнувшие губы.

8

Через неделю после похорон Лапина сухой, официальной бумагой Николая пригласил к себе Брюханов. Николай пришел точно в назначенный срок, и они несколько минут говорили о каких-то незначительных вещах. Брюханов был ровен, внимательно, ничего не упуская, поддерживал разговор; он по-прежнему относился к Николаю с глубокой симпатией; Николай ведь был похож и на Аленку, особенно разрезом и выражением глаз, это Брюханов подметил давно, увидев как-то рассерженных, о чем-то спорящих сестру и брата рядом. Он тогда появился неожиданно, и они в одно время повернули к нему головы; он пошутил тогда над дерюгинской породой; сейчас, разговаривая с Николаем, Брюханов вспомнил этот случай, почему-то прочно врезавшийся ему в память, и совершенно успокоился. Брюханов еще раньше попросил Вавилова соединять его только в самых важных, экстренных случаях, и теперь мог позволить себе слегка отступить от жесткого, изматывающего ритма работы; Брюханов сидел и молча улыбался, всматриваясь в Николая, пока тот рассказывал о жене, о том, что у нее должен родиться ребенок,

он ждал непременно сына, и Брюханов с какой-то легкой грустью вспоминал себя и Захара, отца вот этого сидящего перед ним молодого человека с задатками, а может быть, и сутью гения; ему еще нет и сорока, а он в своей криогенике все перевернул вверх дном, заварил такую кашу, что ее придется расхлебывать десятилетия. Не думая, он наживал себе множество врагов, и, кажется, больше всего тем, что совершенно не обращал внимания ни на кого вокруг, и делал он это не по какому-то злому умыслу, а лишь потому, что не видел ничего, кроме цели, кроме той тайны, что неудержимо тянула его к себе. И сейчас Брюханов отчетливо чувствовал, что весь этот их легкий, как бы семейно-бытовой обмен мнениями совершенно Николаю неинтересен и он ждет завершения скучных семейных расспросов, перехода к главному, ради чего и приглашен, но Брюханов тянул, потому что и сам внутренне не пришел ни к чему определенному. Дело было архиответственное, решение могло и должно было прийти только в процессе разговора, в действии, Брюханов это с самого начала знал. Поэтому он и тянул, Николай же, из вежливости поддерживая это его желание, спросил об Аленке, о племянниках, и Брюханов шутливо ответил, что Ксеня, по предположению Аленки, кажется, в кого-то влюбилась, а у Пети начинают расти усы.

— А я, если у меня родится сын, назову его Иваном,— неожиданно сказал Николай, и Брюханову стало как-то тепло и грустно; по сути дела, Николай был еще молод, пространство и время впереди, вполне вероятно, казались ему бесконечными, он об этом еще просто и не думал. Брюханов почувствовал легкую, чуть кольнувшую зависть к Николаю, к его неведению, и тут же окончательно рассердился на себя. «Просто трудно решить этот вопрос, вот крутишь,— сказал он себе сердито,— вокруг кочки Гималаи наворачиваешь! Стар, стар становишься, пора, видно, в самом деле о замене подумать... пора... зачем же гнилым бревном через дорогу...»

— Я, Коля, был у Ростислава Сергеевича накануне его кончины,— сказал Брюханов, вороша ладонью седой ежик волос.— Он сам меня пригласил, передал свое предсмертное письмо в ЦК. Он считает, что его преемником можешь и должен быть только ты...

— А если он ошибался? — быстро спросил Николай.— Институт не только наука, это еще и люди... А вот с ними-то у меня не очень-то все хорошо выхо-

дит... Вот Грачевский — другое дело, он с кем угодно контакт найдет, хоть с придорожным столбом...

— Это твердое и окончательное мнение покойного Ростислава Сергеевича,— сказал Брюханов,— тебе сейчас необходимо многое решить для себя, Коля. Да, да,— добавил он, слепо взглянув в лицо Николая, заметно построжавшее, затвердевшее и в то же время словно освещенное каким-то тревожным, неверным отсветом; Николай смотрел поверх головы Брюханова, и Брюханов, давно бросивший курить, почувствовал острое желание хотя бы взять папиросу в руки и размять ее, слегка успокоиться от знакомого запаха табака, и это желание было столь неожиданным, что он тотчас почти непроизвольно нажал кнопку звонка и, увидев перед собой Вавилова, спросил:

— Ты, кажется, куришь, Вавилов? Дай мне папиросу, пожалуйста, и спички.

— У меня сигареты, Тихон Иванович. Вот зажигалка...

— Хорошо, дай сигарету. Спасибо,— кивнул он, прикуривая и с забытым наслаждением вдыхая табачный дым; Вавилов, неожиданно просто и понимающе улыбнувшись, вышел, а Брюханов сразу успокоился, повернулся к Николаю. Тот все еще сидел, о чем-то раздумывая, напряженно глядя перед собой.— Тебе все равно придется решать этот вопрос, Коля,— сказал Брюханов.— Без этого у нас не получится разговора, ты поставишь меня в очень трудное, прямо скажу, безвыходное положение.— Встретив быстрый взгляд Николая, он добавил: — Так, все так, я ничего не преувеличиваю. Ростислав Сергеевич говорил о тебе много лестного как об ученом, предсказывал тебе большое будущее, он даже взял с меня слово сделать все возможное, чтобы выполнить его волю.

Брюханов говорил долго, и Николай изредка кивал; сейчас, предельно сосредоточиваясь и понимая, почему Брюханов хочет узнать лично его, Николая, мнение по возникшему вопросу, он словно въяве услышал голос покойного учителя, и какое-то чувство беззащитности и непереносимой потери охватило его с неожиданной силой. В нем ярко, почти болезненно вспыхнули в один миг самые разные куски воспоминаний из его жизни, все больше связанные с Лапиным, что-то говорило ему, что в каких-то вещах он даже старше своего зятя, так внимательно наблюдавшего за ним сейчас, и это истина.

Человек, ограничивший свои знания о мире всего лишь поверхностными представлениями, основанными на примитивнейших проявлениях собственной личности,— одно; и совсем другое дело тот, чей ум пытается проникнуть в бездны материи, к самым ее истокам, и неважно, в каком направлении это происходит. В конце концов, двигаясь в любой из этих плоскостей познания материи, приходится начинать от двуединой точки отсчета, от одного сцепления, как бы далеко ни разошлись две ветви знания, когда-нибудь потом они все равно сойдутся опять в такой же точке равновесия, может, только более правильно ее определят. Исследователь материи и принимающий ее поверхностно, так, как она есть,— это всегда было и будет большой разницей. «Спасибо, учитель,— подумал Николай тихо, когда Брюханов смолк, откинувшись в кресле, не спеша постукивая пальцами по столу, и эти слова опять прозвучали в нем так, словно он их высказал вслух и громко.— Спасибо,— повторил он.— Ты остался самим собою до конца, но даже не в этом твоя сила».

Николай улыбнулся Брюханову.

— Я вас понимаю, Тихон Иванович. Но ведь сами вы отлично знаете, свято место пусто не бывает, кто-либо обязательно сыщется,— сказал он резко, потому что усмотрел в поведении Брюханова чересчур уж явную осторожность, хотя это и было вполне естественно.

— Мне трудно, Коля, прийти в этом вопросе к какому-либо определенному решению... Я ведь прав, ты знаешь. Дело слишком важное... Я и о Грачевском с покойным говорил, куда там!

— Да, да, это серьезно. Грачевский, хоть и ловок, не сможет поддержать генеральное направление проблем космической энергетики и связи, здесь действительно нужна масштабность фантазии, а он ведь космос не мыслит вне связи со своим личным служебным положением. Пожалуй, он и техническую политику института не сможет организовать. С другой же стороны, у меня существенные пробелы в другом, все правильно. Загадка, дилемма! Даже для вас, Тихон Иванович.

— А ты бы меньше упивался своей фантазией.— Брюханов иронически прищурился.— Не горячись, мог бы хоть раз в жизни задуматься над тем, что говорят о тебе люди. В конце концов, и это входит в твою любимую эволюцию человеческой породы.

— Задумаюсь обязательно,— пообещал Николай,

в то же время сосредоточиваясь на различных вариантах; ясно, если он согласится с назначением Грачевского, тот, возможно, и не станет в первое время подставлять ножку, ведь и ему лестно, если институт сразу же хорошо зарекомендует себя, и прежде всего в научном мире. Да он, Николай, не стал бы и возражать, если бы твердо был уверен, что Грачевский не станет при первой же возможности мешать. Грачевский не Лапин, тот, чем, казалось бы, абсурднее, парадоксальнее выдвигалась идея, тем активнее ее поддерживал; тот любил работать на контрастах, на стыках противоположностей, а этот... Этот логичен, как Аристотель, тогда как сейчас с прямолинейной логикой в науке делать нечего, сейчас именно в алогичности ко всему привычному и скрываются пути дальнейшего развития, но ведь в этом случае Грачевский будет никак не на месте, вот уже истинно каменная стена, о нее разобьется немало интересных, оригинальных и непривычных для всякой простейшей логики идей; и если в этом и есть высокий, как говорится, смысл служения науке, то вот тут Грачевский будет на своем законном месте. Николай неожиданно весело засмеялся.

— Простите, Тихон Иванович,— сказал он, оправдываясь.— Так, пришло кое-что в голову, не удержался... Если вы хотите услышать мое мнение... разумеется, откровенно, то пожалуйста. Выбирая между собой и Грачевским и кем бы там ни было еще, я бы выбрал только себя. Ну, а вы поступайте, как найдете нужным.

— Надо же наконец стать серьезнее,— с досадой возразил Брюханов, и, помедлив, добавил в ответ на ожидание Николая: — Да, да, посерьезнее,— он хотел сказать: «после смерти Лапина», но не смог и в самый последний момент перескочил на другое.— Теперь ты женатый человек, ребенок будет.

— Мне кажется, это не относится к делу, Тихон Иванович...

— Нет, Коля, относится,— довольно резко оборвал его Брюханов.— Все, что есть ты, все относится к делу. Я, разумеется, тоже могу впасть в субъективность...

— Субъективное — это просто ошибочное, Тихон Иванович... Я думаю, что вы остановитесь на Грачевском и будете для себя правы,— сказал Николай.— А может быть, и не только для себя... Так что какая разница, на какой ступени человеческого и мужского развития я нахожусь? Не надо, Тихон Иванович,— по-

просил он сердито, не обращая внимания на недовольство Брюханова.— Ведь нас очень многое связывает, мы знаем друг друга слишком хорошо. Все без лишних слов понятно. Потом, если говорить серьезно, какое это имеет значение? Вы же знаете, Грачевский может свернуться в любой ком, пролезть в любую щель... нужно будет, он в муравьиный ход легко проскользнет, такова уж его особенность...

— Зачем же так зло, Коля? Перестань, это тебя недостойно, будь выше...

— Выше? Вероятно, так,— глухо отозвался Николай; он был недоволен собой сейчас и чувствовал в отношении к себе даже какую-то гадливость.— Простите, Тихон Иванович, вы правы. Я добавлю лишь одно, Грачевский не способен к обобщениям, это уже касается самого дела. Там, где другой видит идею, он замечает всего лишь кучу фактов. Кроме того, я просил бы отложить решение этого вопроса, скажем, до тех пор, пока не будет подготовлен полет и пока я,— Николай слегка поднял глаза,— не выведу свой объект...

— Подожди, Коля, ты же только что слышал мнение Ростислава Сергеевича... А если ты полетишь сам, то...

— Институт или полет, хотите вы сказать? — быстро спросил Николай, и Брюханов, не выдержав, засмеялся.

— Ну, я еще недостаточно поглупел, я такого и не подумал.

— Тогда в чем же дело, Тихон Иванович? Вывод станции на орбиту скоро, много времени не займет... Медлить нельзя, у американцев должен вот-вот осуществиться подобный проект... С Грачевским же... да, то, что я сейчас высказал о нем, было бы подлостью, если бы раньше всего этого я не выложил самому Грачевскому. Был у нас такой разговор как-то, я выдал ему даже больше, чем сейчас. Куда больше...

— Я говорю о конкретном и важном деле,— напомнил после продолжительного молчания Брюханов и тотчас заметил, как странно и диковато взблеснули глаза Николая.

— А я разве ответил не конкретно? — опять с той же легкой улыбкой, но с каким-то внутренним волнением спросил Николай, сам понимая, что это его волнение Брюханов чувствует.— Вам, разумеется, приелись все эти наши раздоры, борьба самолюбий. Но что вообще ново в мире? Любовь? Красота? Совесть? Смерть? Не

знаю, не знаю, не выродится ли мир вообще, если привести его к одной сплошной гармонии? А может, эта двойственность сущего, кстати, заложенная в самой первооснове материи, непременное условие любого движения и развития? Не знаю, не знаю, по мне, если есть Грачевский, значит, он зачем-то необходим...

— Хватит, хватит,— остановил его Брюханов,— это у тебя уже, кажется, от лукавого...

— Тихон Иванович, я всего-навсего высказал свое мнение... Пусть с некоторыми отвлечениями. Я понимаю, легче всего голословно отрицать то или иное явление, а вот разобраться, в чем его корни, его живучесть?

— Да какие корни, какая живучесть, Коля? Мне сейчас, право, не до общих рассуждений...

Брюханов еще что-то пробормотал, и Николай остановился (он уже давно ходил по просторному кабинету с мягким и толстым пружинящим ковром на полу) и вопросительно повернулся к Брюханову.

— Жизнь интересна, Коля.— Брюханов повысил голос.— Любой из нас может, даже не заметив, раздавить походя насекомое или лягушку, но никто из нас не может создать ее заново. Вот так просто взять и вдохнуть жизнь в кусок глины...

— Это примитивно, Тихон Иванович...

— Не примитивнее, чем то, что я слышал от тебя,— с еле уловимой досадой в голосе тотчас откликнулся Брюханов.— У тебя так и не прошла эта юношеская горячность, вначале говоришь, а затем уже думаешь.

— Что ж, Тихон Иванович, этой привычки, пожалуй, уже не переменить. Вот что я еще думаю... Бесконечность бесконечна, но человеческий мозг именно и рассчитан на эту бесконечность. Обратная сторона хаоса, если хотите. Может быть, только на этом и рушится бессмысленность жизни и человека вообще, я к прежнему разговору — в чем смысл. Вот в этом вечном состязании, вот так, Тихон Иванович. А что, плохо?

— Любишь ты туману поднапустить...

— Люблю, Тихон Иванович...

Николай обезоруживающе просто и ясно улыбнулся; они еще посидели, выпили чаю и поговорили о новой космической программе работ по энергетике и связи, принятой институтом накануне смерти Лапина, и Николай, передав привет сестре и племянникам, ушел, а Брюханов в этот день еще должен был провести совещание; его уже ждали. Он был недо-

волен своим разговором с Николаем, его поведением; хотелось большей ясности; со свойственным зрелости опытом он отлично понимал и знал, что руководство головным институтом дело сложное и ответственное, но, с другой стороны, поведение Николая объяснялось тем, что за широкой спиной Лапина, прикрытый от всех неурядиц, он мог работать во всю мощь, без помех. И поэтому не был подготовлен сейчас к пониманию всей серьезности положения, да и вряд ли способен был хотя бы просто задуматься над этим; Брюханов поздно вернулся домой и сразу же, прокравшись в свою комнату, лег, но заснуть не смог и, напрасно проворочавшись в кровати около часа, зажег свет, натянул пижаму и долго бесцельно сидел на кровати, затем подошел к полкам с книгами, поискал, что взять, но так ничего и не решил. «Да, пора поехать как следует отдохнуть,—сказал он себе.— Вот наступит лето, выбраться бы со всей семьей куда-нибудь в тепло, ребята рады будут, особенно Петя море любит... У Ксении-то уже другие интересы, но тут ничего не поделаешь, жизнь не удержишь. Хватит, хватит,— с необычной жестокостью приказал он себе.— Хватит! Поблагодари судьбу, что тебе выпало прийти в этот мир, быть в нем, страдать и радоваться, дети растут, хорошие дети, что еще?»

Почти тотчас зазвонил телефон, резко, настойчиво, и Брюханов недовольно вскинулся, взглянул на часы: шел третий час ночи. Телефон звонил, и Брюханов, медля, взял трубку.

— Да, слушаю,— сказал он намеренно тихо и спокойно и, узнав голос Николая, недовольно поинтересовался: — Прости, пожалуйста, ты не знаешь, сколько сейчас времени? Ага, так, так... прекрасно. Да, слушаю... говори.

— Простите, Тихон Иванович, понимаете...

— Понимаю, понимаю, давай о деле...

— Оказывается, вы тоже не спите.— Николай рассмеялся, и Брюханов недовольно оборвал его:

— Все-таки, Коля, мне не двадцать...

— Тихон Иванович, вот какая ко мне любопытная мысль пришла... Науку вперед не очень-то шибко продвинешь без самой обыкновенной примитивной власти,— сказал Николай, и Брюханов слышал, как он шумно дышит в трубку.— Поэтому. если мне дадут институт, я согласен взять.

— Вот как? — в голосе Брюханова зазвучала ирония.— А если не дадут, позволь тебя спросить?

— На нет и суда нет,— не задумываясь, весело отозвался Николай.— Тогда придется отыскивать иные пути... Что с вами, Тихон Иванович?

— Со мной ничего, а вот что с тобой? — спросил Брюханов.— В твоем возрасте в это время ночи нужно крепко, беспробудно спать, а ты черт знает какими прожектами занят...

— Ну, Тихон Иванович, не сердитесь, что вы забыли обо мне, времени ведь совсем нет.

— Нет, не забыл, поэтому и бранюсь. Все бегут, бегут, а ведь иногда надо и приостанавливаться,— повысил голос Брюханов и тотчас почувствовал у себя за спиной присутствие совершенно старенькой уже Тимофеевны; оглянувшись, он в самом деле увидел ее, в длинной, до пят, ночной рубашке, с накинутой на плечи неизменной теплой шалью.

— Так вот, немедленно ложись спать,— сказал Брюханов.— Поцелуй Таню и ложись, а вопрос с институтом решится и без тебя.

— Спокойной ночи, Тихон Иванович...

— Скорее, спокойного утра,— проворчал Брюханов, положив трубку, и повернулся к Тимофеевне.— А ты что, старая, бродишь? — спросил он, и Тимофеевна, крепче стянув концы шали, недовольно вздохнула.

— Не знаю, Тихон,— Тимофеевна, тяжело переваливаясь на нездоровых ногах, прошла от двери к столу, опустилась в кресло.— Нехорошо ты делаешь... Сегодня тебя все ждали, ждали... Ксения своего жениха приводила... Ладный такой, ласковый, глаз вострый... Вот только волосы-то бабьи отпустил... А тебя все нет, все нет, хозяйский-то, мужской глаз никогда не помешает. Нехорошо как-то, детей совсем не видишь.

Слушая тихую старушечью воркотню, Брюханов согласно кивал; он знал, что Тимофеевну, пока она не выговорится, остановить невозможно, и поэтому терпеливо ждал и думал, что у Тимофеевны в последнее время появилась неприятная привычка появляться без всякого предупреждения.

Недовольная его сосредоточенным, бесстрастным видом, Тимофеевна остановилась, поглядела на него, словно прицеливаясь, вздохнула.

— Ой, господи святый, люди нынче... Детей завели, а толку им дать некому, сам на работу, сама на дежур-

ство... А кабы сам-то по-настоящему саданул кулаком по столу — брызги бы полетели! — сиди, мол, дома, баба, детей вон до дела доводить надо. Эх, горе ты мое несообразное! Молчи уж, молчи! — повысила она на него голос, когда он хотел возразить.

— Молчу, Тимофеевна, молчу,— покорно кивнул Брюханов, невольно улыбаясь, чтобы как-либо успокоить ее и отослать спать, потому что назавтра от бессонницы старуха непременно сделается больной и будет приставать к нему еще больше, и Тимофеевна, безошибочно определив именно по этому его тихому согласию, что ему много хуже, чем ей самой, и что нужно пожалеть и себя и его и на этом остановиться, вздохнула, и Брюханов не сразу заметил ее исчезновение; он знал, что теперь ему уже не заснуть, и сел к столу; сейчас его больше всего интересовал Николай. «Вот так,— подумал Брюханов,— без примитивной власти и науку вперед не продвинешь. Что ж, в чем-то он, несомненно, прав, а возможно, и вообще прав, но от этого ведь не легче решать, что и как...»

Уже в окне резко обозначилось морозное февральское утро, когда он неожиданно и твердо подумал, что директором может быть назначен только Николай Дерюгин и никто больше. Он неприятно удивился тому, что столько раздумывал о вполне ясном вопросе. Талант нельзя ничем заменить, и это безоговорочная истина, а сам он просто одрях и пытался отсрочить и оттянуть то, что требовало незамедлительного и ясного решения. В конце концов, Николай не пропадет и не потонет, а вот науке будет нанесен ущерб, и большой, ведь сейчас побеждает тот, кто вырывается вперед. Брюханов энергично потребовал у Тимофеевны крепкого чая, выпил и прямо в кресле вздремнул, а через день приказал составить и подписать на Николая Дерюгина представление, согласовав его предварительно в ЦК. Когда же через неделю многие члены коллегии министерства и товарищи из ЦК, не те, с которыми он обговаривал этот вопрос, а другие, высказались против кандидатуры Дерюгина, Брюханов даже в первый момент растерялся; после продолжительного раздумья и консультаций с нужными людьми у него по частям начала складываться кое-какая картина. Сам Дерюгин был здесь даже и ни при чем; просто после смерти Лапина активизировалась вечно враждующая с ним школа академика

Стропова и теперь, Брюханов это понимал, дело шло ни много ни мало о том, чтобы вообще прихлопнуть целое направление в науке, основываясь на его якобы бесперспективности. Размышляя, Брюханов решил еще раз посоветоваться с Муравьевым, и скоро тот уже сидел в своем привычном кресле, напротив Брюханова, сильно поседевший за время совместной долголетней работы, но такой же худощаво-подтянутый и элегантный в своей серой паре.

— Собственно, не вижу ничего удивительного, Тихон Иванович,— сказал он наконец.— Тех, кому очень везет в жизни, не очень-то любят...

— Одаренность, талант вы тоже относите к понятию «везет»?

— Несомненно. Пожалуй, именно это самое большое везение в жизни, только оно выпадает крайне редко... Не украсть, не отнять... При чем здесь обыкновенные люди? Они просто защищаются...

— Так... все по полочкам, во всем — система. А если с точки зрения интереса дела и науки, Павел Андреевич? Вы муж многоопытный, вот и прошу вас высказать свое суждение.

Легкая улыбка летучей тенью тронула подсохшее лицо Муравьева; до сих пор разговор шел в дружеском, доверительном, шутливом тоне, но вот теперь точно определено направление дальнейшего хода разговора, и словно сам собой щелкнул в душе нужный переключатель; Муравьев чуть сдвинул брови, сохраняя прежнее невозмутимое выражение лица, ожидая еще большего уточнения. Он успел изучить Брюханова достаточно хорошо и знал, что у того уже есть в запасе несколько основных вариантов обсуждаемого вопроса, что не с ним первым и не в первый раз Брюханов именно не обсуждает, а прощупывает интересующую его проблему и что никак нельзя точно определить, что ему уже известно и насколько его мнение уже определилось и сложилось.

— Мы с вами, Павел Андреевич, работаем уже много лет, около двадцати...

— Уже двадцать, Тихон Иванович. Путь долгий и любопытный. Вы теперь в ранге министра, я... Впрочем, я не об этом, другое любопытно. Я теперь мало сплю, открою глаза и думаю. Знаете, словно ничего и не было, ничего не изменилось в самом себе,— Муравьев опять как-то одними губами усмехнулся, поднял спо-

койные, давно отвыкшие чему-нибудь удивляться глаза, по-прежнему ожидая.

— Как вы думаете, Павел Андреевич, стоит ли мне самому поговорить с академиком Строповым?

— Балласт, древний балласт,— Муравьев изобразил усмешку, брезгливо поджал блеклые, тонкие губы.— Но пророс в такие толщи, не выдерешь никаким сверхмощным бульдозером. Лет сорок назад несколько хороших идей, а теперь верчение вхолостую, заседания, диспуты, доклады ни о чем, статьи, ковбойские погони за премиями... да вы же знаете,— Муравьев бесстрастно и даже как-то неохотно выдавал необходимую справку и только под конец оживился.— Сам себя пережил. Вспоминаю недели две назад один любопытный случай... На международном симпозиуме по электронике в Париже... вы, впрочем, сами утверждали нашу делегацию, случился у меня со Степаном Аверкиевичем Строповым любопытный разговор. Вы думаете, о красотах Лувра или о соборе Нотр-Дам? Отнюдь. Как я понял, его прежде всего интересовали ваши родственные связи с дерюгинской фамилией... При встрече вы можете удовлетворить его любознательность с гораздо большей обстоятельностью.

— Действительно любопытно, Павел Андреевич, а если еще точнее?

— Не могу, не знаю. Это один из самых удивительных столпов, они неколебимо держатся именно за счет особых талантов. Вы можете назвать во мне кучу недостатков, несовершенств, но Стропов... это абсолютно особая порода. Из тех, кто своих врагов устраняет с помощью дружеских объятий. Заласкает, зацелует, задушит неизвестно как, зальется на всякий случай слезами и бодренько потопает себе дальше. Помилуйте, в его объятия я бы не хотел угодить ни при каких обстоятельствах. Бр-р-р! — Муравьев даже в лице передернулся.— Нет, нет! Помилуйте! Эти исключительно коллективные существа из подобных себе создают целые блоки! Здесь в ход идет все: браки, круговая порука, безошибочный отбор и подбор себе подобных, дутые должности и оклады... и черт знает что еще! А впереди, как козла-вожака, всегда держат такого вот академика... придет в какую-нибудь высокую инстанцию вот такой — кхе! кхе! кхе! — академик, потрясет жидкой бороденкой — кхе! кхе! кхе! — и лихорадит программы. Я не решился бы тронуть такую фигуру, как академик Стропов, это

тотчас отзовется эхом — да еще каким! — в самых огнеопасных местах, от собственной внучки до нагорных высот,— Муравьев поднял глаза к люстре и покорно вздохнул.— Сталин и крутенек был, и перебрал во многом...

— Павел Андреевич, а почему вы упомянули о внучке?

— Потому что она замужем за внуком Стропова, Тихон Иванович, все очень просто.

— Проще пареной репы, как говорят.— Брюханов побарабанил пальцами по столу.

— Разумеется, физик и, разумеется, в двадцать семь лет кандидат,— добавил Муравьев.

— Дело здесь вполне может определяться и не родством, как вы считаете?

Муравьев энергично схватился за подбородок, потер его, рассмеялся, по-молодому быстро и цепко оглядел Брюханова, как будто видел впервые.

— Все-таки он мне внучатый зять, Тихон Иванович,— сказал он.— А внучка и без того в каждом разговоре, правда, довольно тактично, напоминает, что я по своим взглядам топчусь где-то в прошлом веке. А знаете, Тихон Иванович, почему я тогда, в самом начале, не подал заявления об уходе? — неожиданно спросил он.

— Что-что? — непонимающе вскинул глаза Брюханов и тотчас, вспоминая, выжидающе помедлив, кивнул.— Почему же, Павел Андреевич?

— Да все потому же, Тихон Иванович, что я сразу определил главное. Понял, что вы из породы тех, кому в конце концов обязательно везет,— уже по-стариковски спокойно улыбнулся Муравьев.— Как видите, я не ошибся. Вот вам удалось осуществить эту свою невероятную идею — построить город науки. Все про себя называют его Брюхановград. Вы это знаете? Ну, разумеется, знаете... Разрешите идти?

Брюханов отпустил Муравьева и даже повеселел. «Ну уж, это нечто, знаем, от чего нужно танцевать»,— подумал он, и в последующие дни и недели провел несколько довольно, на свой взгляд, удачных мероприятий. Во-первых, он решил пригласить к себе академика Стропова, но в последний момент, предварительно условившись, сам поехал к нему, чем разволновал и растрогал старика; тот приказал принести кофе, поставить коньяк с легкой, по-европейски, закуской, как выразился Стропов, и тут же, что-то вспомнив, посетовал:

— Все, понимаете, учат, учат, все молодым не так. То ли дело раньше: пшеничной хорошую рюмочку выпьешь да осетровым балычком ее... Приятно-с! А теперь вот,— сморщился академик, кивая на тарелку, где лежали крохотные тартинки.— А все туда же — и кому надо, и кому не надо, все в космос, не иначе, как в космос!

Слушая, Брюханов кивал, и Стропов, вздрагивая большими висячими, чуть не до плеч, пепельными баками, выставил вперед узкую дряблую ладонь.

— Нет, нет, не подумайте, Тихон Иванович, ради бога, я не против этого, понимаете,— Стропов поморщился, словно попробовал что-нибудь очень невкусное, и даже сделал попытку чихнуть, приоткрывая ослепительно белые, ровные зубы,— этого космоса, нет. Ради бога! Но у меня своя старая и вечно молодая любовь — грешная земля,— слабо стукнул он подошвой о пол,— вечная моя любовь. Amata nobis quantum amabitur nulla! Вы меня понимаете?

— Кажется, что-то о любви, Степан Аверкиевич? А?

— Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет! Латиняне умели скупо и точно выражать свои мысли. Впрочем... вот коньяк, свой, отечественный... отличный армянский коньяк... Прошу.

— Спасибо, Степан Аверкиевич, только сейчас одной земли уже мало,— Брюханов коньяк взял, попробовал, поставил рюмку назад; Стропов дрогнул баками, щеголевато выпил все, энергично пожевал тартинку и прихлебнул чаю, и Брюханову стало неловко за эту его нарочитость, старческую наигранность, и он сделал вид, что заинтересовался писанным маслом портретом Ломоносова.— Вы знаете, Степан Аверкиевич, вчера я прочитал статью в американском журнале «Бизнес уик» «США на рубеже тревожного десятилетия». Любопытные в ней мысли высказаны,— Брюханов еще отхлебнул коньяку, с удовольствием ощущая его бархатистый вкус, затем решительно придвинул к себе чай, ожидая.

— Что ж там за идеи, Тихон Иванович? — с каким-то брезгливым выражением лица тряхнул баками Стропов.

— Американцы предполагают, что в ближайшие годы четвертое место в мире, после проблем борьбы против рака, контроля генетического механизма человека и обуздания энергии ядерного синтеза, займет криогеника... Если учесть...

— Помилуйте, Тихон Иванович, нет, нет, я не против криогеники,— заторопился Стропов, и лицо его старчески неровно раскраснелось.

— Простите?

— Меня не так поняли, Тихон Иванович...

— Странно, Степан Аверкиевич, ведь письма и в ЦК, и в Совмине за вашей подписью...

— Что же тут странного? Вы понимаете, Тихон Иванович...

— Странно то, Степан Аверкиевич, что такого письма с вашим откровенным мнением по данному вопросу нет у меня, а вы с вашим институтом непосредственно относитесь...

— Ах, это все Георгий Витальевич! — безнадежно махнул рукой Стропов.— Я ведь говорил ему...

— Грекан?

— Ну конечно,— Стропов говорил так, словно ничего особенного не случилось, и это больше всего удивляло Брюханова: перед ним был человек, давно потерявший всякую научную ценность, не способный больше прогнозировать и направлять работу такого сложного механизма, как институт. «Не позавидуешь науке,—подумал Брюханов, но тут же опустил глаза,— бывает и так, что один несомненный талант обсыпан целым роем паразитов...»

— В чем же все-таки истинные причины? — спросил он, глядя Стропову в глаза, уставшие и беспомощные.

— Если бы я знал,— развел тот руками.— В свое время академик Лапин разнес докторскую диссертацию Георгия Витальевича, что-то такое из области электроники, а теперь, говорят, институт криогеники отдают какому-то Дерюгину, зятю Лапина...

— Даже если есть реакция ненависти, то и это уже хорошо,— процедил Брюханов и с вежливой улыбкой попросил: — Продолжайте, продолжайте, это так, случайные мысли...

— И вот, я имею в виду этого молодого человека, зятя Лапина, вроде бы собирается скоро вывести в космос какой-то чудовищно дорогой объект, целую лабораторию, говорят, она даже не сможет работать... И, помилуйте, говорят, что этот Дерюгин сам собирается туда лететь, налаживать... Это же из рук вон! Да и Георгия Витальевича я сам ужасно боюсь... Простите, Тихон Иванович, я ведь этим совсем не интересуюсь, не до

того. Правда, что Дерюгин женат на дочери покойного Ростислава Сергеевича? Вы ведь все о нас, грешных, знаете по долгу службы.

— Это совершенно достоверно,— подтвердил Брюханов.— Я вам даже больше скажу, Степан Аверкиевич, Николай Захарович Дерюгин приходится родным братом моей жене.

— Боже мой, как мир тесен! — изумился Стропов.— Вероятно, у этих Дерюгиных действительно счастливая звезда.

— Вероятно,— Брюханов в душе почти изумлялся какой-то ускользающей размытости, то и дело придаваемой разговору Строповым, хотя Брюханов отлично понимал, что многоопытный академик делал первые пробные попытки перейти в атаку.— Все-таки, Степан Аверкиевич, вернемся к сути. Я хотел бы выяснить лично вашу позицию.

— Помилуйте, Тихон Иванович,— заволновался Стропов,— тысяча дел, тысяча обязанностей, наука... хочется успеть, успеть! Разве я могу объективно охватить это научное море, океан...

— Однако вы подписали письма.

— Я не могу не верить людям, заслуженным ученым, с ними я проработал много лет бок о бок. Георгий Витальевич секретарь нашего партбюро, крупный теоретик, Роман Исаевич...— Стропов закашлялся, оборвал, потянулся за чаем; Брюханов с интересом глядел на его руку и думал, что он сначала оборвал разговор, а потом уже закашлялся, потому что едва не наговорил лишнего, недозволенного; хмурясь, Брюханов ждал, пока Стропов, прихлебывая остывший чай, успокоится.— Да, очевидно, я лично допустил какую-то досадливую ошибку... тем более что вы сами вынуждены вовлечься в такое хитросплетение...

— Что значит вовлечься?

— Простите, волнуюсь.— Стропов поморгал, зачем-то потрогал виски.— Я просто хотел сказать, что все это дело я постараюсь перепроверить самым тщательным образом, и если...

Брюханов ошалело и как-то весело-беспомощно посмотрел на него.

— Ну, вот что, Степан Аверкиевич... не настаиваю, чтобы вы опротестовали свои письма,— сказал он погодя, все с той же ободряющей улыбкой.— И все-таки я прошу вас подумать... Кто знает, вольно или невольно,

из-за чужой недобросовестности или по своей чрезмерной занятости, но вы ударили по одной из самых перспективных...

— Тихон Иванович, ради бога! — не удержался Стропов, выбрасывая на стол руки и мученически переплетая длинные, худые пальцы.— Вы, разумеется, министр, вы... право, нельзя же так грубо! Потом, что же это? Престолонаследие? Я вынужден буду...

— Писать? Хорошо, Степан Аверкиевич, пишите, отчего же не написать? — Брюханов встал.— Только постарайтесь писать, пожалуйста, сами, учитывая объективные истины...

— Подождите, подождите! — остановил его Стропов, и Брюханову показалось, что на его старческом, дряблом лице проступило что-то лисье, угрожающее и в то же время умильно помахивающее хвостом.— Подождите! Послушайте совет старика, товарищ Брюханов, не ввязывайтесь вы в это дело.

— Почему?

— Все равно проиграете, а нервов вам это будет стоить ох сколько!

— Вы со мной говорите откровенно, позвольте и мне. Однажды вы уже предрекали одному большому начинанию бесславный конец... Помните проект строительства научного центра? Но вот прошло время, и где ваша правота? — Брюханов жестко прищурился.— Почему вы так ненавидите Дерюгина?

— Нет, не я... не я... Да, тогда я ошибся... Кто гарантирован от ошибок? Отбросим в сторону всякое там родство, чепуха какая! Талантлив очень... Покойный Лапин Ростислав Сергеевич удивительно талантлив был... Талантлив и чудак. И этот тоже. Я что... я уже отошел, другие не дадут... Опасность большая... Их много, не-ет, не дадут.

— Вот оно что... А я думаю наоборот, Степан Аверкиевич, совершенно наоборот. Если есть где в институте хоть один чудак, как Лапин или Дерюгин, институт никогда вхолостую работать не будет. Не дадут такие чудаки. А нет — институт бесплоден, хоть трижды обвесь его орденами и грамотами,— голос Брюханова отвердел, лицо тоже, он вспомнил, что Муравьев накануне в разговоре высказывал почти точно такие мысли, как и Стропов сейчас.— Простите, товарищ Стропов,— собрался, точно сжался в кулак, он,— но даже капиталисты в общем-то за-

интересованы в научном прогрессе. У нас кроме всего прочего есть партия...

— Партия... разумеется, партия есть,— согласился Стропов, покорно наклоняя голову.— Но в партии тоже любят, простите, золотую середину, так оно безопаснее. Простите, откровенность за откровенность.

— Не думаю, что вы правы насчет золотой середины и многого другого. Впрочем, это хорошо, что мы с вами поговорили...

В глаза Брюханову, когда он пожимал руку хозяина, метнулось жалкое, испуганное и какое-то ожесточившееся лицо старика, смертельно уставшего и ко всему безразличного и, вероятно, задним числом жалевшего о сказанном; Брюханов с резкой беспощадностью видел, что нужно предпринимать нечто серьезное, что дальше так оставаться не может, это было бы катастрофой. И в то же время он впервые, с тех пор как его назначили вначале в этот главк, преобразованный затем в комитет, с такой сквозящей ясностью ощутил, что все его попытки в течение вот уже двух с лишним лет немедленно, по-видимому, не без оснований, словно обволакивались чем-то мягким, топким; они вроде бы не встречали сопротивления и даже проникали куда-то вглубь, но тут же немедленно подвижная, податливая среда все затягивала сверху пленкой, любое намерение, любой удар. И от него не оставалось малейшего следа.

Брюханов еще раз посмотрел на обрамленное пышными, породистыми баками лицо академика Стропова и почувствовал свой горячий и мокрый лоб; он понял, что все решит эта летающая станция Николая и что в этом вопросе больше всех был прав именно сам Николай.

9

Время нельзя было ни обогнать, ни остановить, и очень хорошо, что люди большей частью о нем не думают.

Как-то Николай, всю зиму проведший в непрестанной работе, бывавший дома всего по нескольку часов в сутки, однажды после очередной тренировки заметил, что на землю опять пришла весна; он даже в некотором недоумении остановился перед кустом сирени, сплошь осыпанным тугими, начинавшими

увеличиваться почками, смутно вспоминая что-то далекое, полузабытое, что-то из детства; к горлу подступил трудный ком, на какое-то мгновение подумалось, что все лучшее неудержимо летит мимо, что теперь уже не случится вот этого узнавания горьковато распускавшейся зелени по весне, радостного, жадного наполнения тайнами детства, когда за каждым деревом, на каждом клочке земли встречает неведомое, великое и влекущее; Николай наклонил упругую, пробужденную, полную сока ветку, втянул в себя сильный, горьковатый запах ее коры.

Таня встретила его улыбкой, целуя ее, он заметил, что она только что плакала; она, едва Николай отпустил ее, проскользнула в другую комнату и, пока он мыл руки, появилась припудренная, с яркими губами, быстро собрала на стол. За последние два месяца она сильно располнела, хотя и старалась скрыть это специально сшитыми платьями, лицо у нее приобрело нездоровую рыхлость, но в ней появилась и какая-то новая, незнакомая ранее красота, сдержанность и плавность движений, особый, затаенный, обволакивающий свет в глазах. Бывали вспышки раздражительности, но стоило Николаю прикоснуться к ней, как она успокаивалась, доверчиво прижималась к нему, как-то вся радостно тянулась навстречу. Сегодня она была сдержаннее обычного, села напротив за стол и молча смотрела, как он ест; он не выдержал, поднял голову, улыбнулся ей.

— Почему ты сама не ешь, Танюш?

— Не беспокойся, я уже сколько раз ела, так боюсь растолстеть — ужас! — отозвалась она.— Коля, скажи,— спросила она,— это будет уже скоро?

Он осторожно, стараясь не стукнуть, отложил нож и вилку.

— Да, Таня, скоро,— медленно ответил он.— Это недолго, программа рассчитана на двенадцать дней... Ты боишься, Таня?

— Дерюгин, Дерюгин,— сказала она, не отрывая от него ласковых глаз.— Какое это имеет значение? Ты ведь ничего не знаешь... Ты совершенно не такой, как все... совсем не в твоих проводáх и триодах дело... И родиться ты там не мог, в Густищах, среди берез и тишины, от этих людей... это неправда...

— Таня...

— Молчи... Это неправда, что ты там родился... Ты просто взял и пришел, а откуда, никто не знает, ты и

сам не знаешь... Я разговаривала с твоей матерью... спрашивала, спрашивала... сердце нельзя обмануть... она тоже не знает, откуда ты взялся... Это ведь только маскировка, что ты — Дерюгин, что у тебя отец, мать, брат в Густищах... простые, земные... теплые, во всем понятные... А Егорушка — какая прелесть... ну почему не он, а ты, неизвестно кто и что рядом? Боже мой...

— Таня...

— Молчи... Я теперь ведь знаю, почему тебя все время куда-то тянет... Ты ищешь... близких... подобных себе... А их нет на земле... я боюсь... а если ты что-нибудь отыщешь? А я?

— Таня...

— Нет, нет... ничего. Ты ведь меня не забудешь... ведь забыть ничего нельзя... Молчи, я все теперь знаю. Тебя ведь ничем не удержишь, не привяжешь... ты ведь раз и навсегда околдован звездами... я всего лишь женщина... Ни я, ни ребенок не заменят тебе звездного яда... А мне скоро рожать, Дерюгин... Мне сейчас муж рядом нужен...— Стиснув руки на коленях, она слегка ритмично и как-то слепо раскачивалась.— Вышла бы я замуж за Борьку Грачевского, он бы от меня ни на шаг... тебя же я совсем почти не вижу. Вспомни, сколько раз за последний год мы были вместе? Чтобы нам хотя бы день или два никто не мешал? А то ты вдруг совсем исчезнешь... на месяц, на два... еще больше,—говорила она, чувствуя, что он уже полностью давно не с ней, а где-то там, в том страшном и темном, чего она не могла и не хотела ни понять, ни принять и против чего восставало все ее измученное ожиданием существо, и опять в ее голосе звучала древняя, как сама жизнь, любовь и тоска.— Эх, смотри, Дерюгин... отомщу...

Из своего далека он взглянул на нее зелеными сейчас, смеющимися глазами.

— Ну, ты хоть поведай, как? — спросил он.

— Выйду замуж за Борьку Грачевского,— ответила она с тихой угрозой в голосе.— А с тобой разведусь, вот как я с тобой расквитаюсь...

— Черт,— дернул он головой.— Такое действительно может придумать только женщина...

— Не только придумать, но и выполнить.— Таня как-то слепо смотрела мимо него.— И Грачевский будет директором вашего института, а его жена, то есть я, брошу свою дурацкую журналистику, нашью самых

модных туалетов и заделаюсь директрисой. Еще поеду с ним на Международный конгресс... вот, Дерюгин...

— Хватит,— рассердился Николай.— Ты мне смотри, ты шутить так не смей! Я тебе дам Грачевского! — Он стремительно встал, подошел к Тане, зажал ее лицо в свои ладони, и они, встретившись глазами, долго молчали.

— Таня... Таня... Ты же давно знала меня... Разве любовь в том, чтобы все время рядом и рядом? А? Ты же давно это знала... в чем же дело, дурочка ты моя?

— Я все это знала, Коля.— Таня не отрываясь что-то искала в его глазах.— Вот самого главного не знала... Самое главное в другом... баба я, Коленька, ох, какая баба... Такая баба... даже родить от тебя счастье... Что же это такое, Коля? Зачем же это?

— Ну, Танюша, это все у тебя вот от этого.— Николай прижался лицом к ее выпуклому, тугому животу.— Слушай...

— Нет, нет, Коля, живи так, как ты живешь,— перебила она его.— Я же знаю, иначе нельзя, ты меня возненавидишь... если... да что об этом! Это твоя жизнь, ты ведь никогда не простишь мне, если все будет иначе...

— Брось, Танюш,— попросил Николай.— Увидишь, все у нас будет отлично. Ну, честное слово!

— Я знаю,— отозвалась она, прижимая его голову к себе и зарываясь пальцами в его густые темно-русые волосы.— Знаю... только ничего не могу поделать... Меня словно кто подменил... Так смертельно хочется, чтобы мы однажды хоть раз уехали к синему морю, были бы там совершенно одни... Только мы, и больше никого и ничего... Волны одна за другой, песок... мягкий, шелковый... Коля, помоги мне справиться...

— Только подскажи... я на все готов. Что нужно для этого сделать? — спросил он, поднимая к ней оживленное лицо.— Море я тебе обещаю скоро...

— Но ты сейчас сделай что-нибудь, придумай,— потребовала она, и Николай, вскочив, погасил свет, быстро подхватил ее на руки и, смеясь, часто целуя ее, стал в полумраке кружить по комнате.

— А может, сообщить твоим отцу с матерью? — спросила Таня.— Пусть бы приехали...

— Этого нельзя, Танюш,— сказал Николай.— В свое время все им сообщат. Ты же не одна остаешься, тетке позвони, она только обрадуется. Аленка ря-

дом, придет в любой момент, если нужно будет... А сейчас я тебе песенку спою... слушай...

Если хочешь быть счастливой,
Ешь побольше чернослива.
И от этого в желудке
Разведутся незабудки.

Здорово, правда?

Она потянулась к нему, поцеловала и, подумав, засмеялась, он осторожно опустил ее на тахту, сел рядом; небо в большом венецианском окне, усыпанное звездами, притягивало, и оба они затихли, почувствовав его властный, непреодолимый зов.

— О чем ты думаешь, Коля? — спросила Таня, не отрываясь от его смутно белевшего лица.— Ты уже там?

— Не знаю,— словно очнулся он.— Я не могу тебе всего передать, объяснить... Думаю над твоими словами,— он опустился с ней рядом навзничь, и в его широко открытых глазах дрожал далекий и сумеречный свет.— Миллионы и миллионы сгорели, так и не смогли заглянуть за эту завесу... А ведь каждый из них так или иначе хотел этого... И Лапин тоже... Таня, там что-то есть, кто-то когда-то должен прорваться. Ведь недаром дети летают во сне и видят необъяснимое...

— Коля, эта сказка с добрым концом? — спросила она, задерживая дыхание; она нащупала его руку, долго рассматривала ее, затем поцеловала и положила себе на живот.— Он ведь тоже ее слушает, твою сказку...

— Да... она вся лохматая и добрая...

— Тогда рассказывай дальше,— попросила она, окончательно успокаиваясь от ощущения его большой и чуткой ладони, и скоро ни окна, ни стен не стало и свершилось чудо. Кто-то всемогущий и беспредельно близкий, кого она не знала, но кому беспредельно верила, бережно взял ее и понес, ревниво отстраняя от нее все пространства и звезды и стремясь мимо них к известной одному ему цели. И тогда ее сердца коснулось предчувствие света впереди, вернее, вечного источника этого невозможного на земле света.

10

С наступлением весны Захар уходил плотничать по окрестным селам; еще задолго до этого он принимался готовиться, точил топор, приводил в порядок рубанки,

стамески, долото, разводил пилу; Ефросинья замечала, что, хватаясь за это дело, он словно старался скрыться сам от себя. Где-то глубоко в душе Ефросинья понимала его и лишь не могла объяснить словами это его неровное и тревожное состояние, наступавшее почему-то именно перед весной, словно в нем просыпались, оживали и начинали погромыхивать громы давно проскочившей молодости; и самое Ефросинью в такие дни охватывало нечто тревожное, гаревое; она все так же продолжала кормить всю семью, варить, прибирать в доме, но порой, задумавшись, обо всем забыв, спохватывалась не сразу, растерянно оглядывалась, вроде бы пытаясь определить, как это она попала в непонятную, незнакомую обстановку.

Уже в первых числах марта, когда в природе в солнечные часы появлялся совсем особый, густой блеск и снег в полях уплотнялся, Захар стал все чаще выходить во двор покурить, побыть в одиночестве; в эти моменты он не любил, чтобы ему мешали, и, если это случалось, вздыхал, горбился. Сам он не чувствовал себя старым или слабым, в нем крепло чувство какого-то усиливающегося душевного одиночества, и ему все казалось, что от него что-то важное скрывают, не хотят говорить, а он больше всего боялся такого к себе отношения, словно к чужому, случайному человеку.

Вот и на этот раз за завтраком Егор подробно рассказал о том, что ему было нужно сделать за день, надеясь услышать тот или иной ответ, но Захар промолчал, затем, набросив на плечи полушубок, вышел на крыльцо покурить. Он сел на скамью, но тут же выскочили внуки, зашумели, и младший закричал:

— Дед, дед, скажи ему, он у меня ножик забрал! Скажи ему, пусть отдаст!

— Какой ножик? — спросил Захар и потребовал: — А ну, покажь!

Старший мгновенно рванулся в сторону и исчез за углом, через минуту тут же вывернулся назад, осуждающе прищурился на орущего во все горло брата, и независимо сказал:

— Да не брал я твой ножик, на, обыщи, обыщи!

Он вывернул карманы штанов.

— Видишь?

— Ты схоронил...

— Ничего я не хоронил, по своему делу за угол бегал...

Захар, невольно расхохотавшись, подхватил младшего внука на руки, подбросил вверх. Слезы у того вмиг высохли, и он с восторгом завизжал.

— Дед, не урони! Не урони! Ух!

— Не уроню, не бойся,— пообещал Захар, поставил Толика на землю, уже начинавшую браться проплешинами; мимо прошел Кешка Алдонин, сдержанно, не говоря ни слова, кивнул, и Захар опять сгорбился, задумался, а через несколько дней уже шагал по темным, еще более затвердевшим к весне дорогам с мешком за плечами, с топором за поясом; дальние родственники по материнской линии попросили его прийти помочь переложить дом, и он тотчас же и собрался, и хотя теперь можно было добраться до нужного места и автобусом, он пошел пешком, окольными, тихими дорогами, и вышел рано, на зорьке, рассчитывая к вечеру, к темноте быть на месте. Он прошел мимо Соловьиного лога; разводья оврагов продвинулись от него далеко в поле, но все они сейчас были охвачены густо и дружно подраставшим лесом, только в одном месте в половодье вода опять поработала, и Захару пришлось делать большой крюк, потому что один из размывов пересек дорогу. Захар остановился на какой-то возвышенности, откуда далеко были видны окрестные поля, склоны Соловьиного лога; талые воды еще полностью не хлынули, привольно затопляя лог; верхние заусеницы оврагов резко темнели в сдерживающих заслонах тополей, ивняка, ясеня. Захар долго любовался на посадки, припоминая молодость, отыскал взглядом несколько старых ракит, обозначавших место подворья Фомы Куделина. «Не забыть бы сказать Егору да и председателю, чтобы сами сюда наведались, объехали здесь все кругом. Все-таки много земли зря пропало, сколько лет была бесприглядная...» А ведь еще в самом начале колхозов он подумывал облесить склоны оврагов, закрепить кустарником слабые места, но потом так и не успел, вон как расползлось... Если б тогда народ не поднялся, еще бы на версту кругом землю попортило бы...

Горькая, застарелая боль души как бы остановилась, задержалась где-то у самого сердца; Захар почувствовал ее саднящую тяжесть и натужно шевельнул плечами, затем освободился от заплечного мешка и, осторожно присев на корточки, стал закуривать. От первой же затяжки боль усилилась, и он вынужден был встать, распрямиться. Текли вокруг весенние, в еле уловимой

дымке поля, текли смутные голубовато-прозрачные тени, и казалось Захару, что никакой жизни не было, все лишь мелькнуло в какой-то горячечной мгле, мелькнуло, растаяло, и остались одни неясные клочья; на него словно опустилась тьма, черная, блестящая, опустилась и пропала, но он все равно знал, что она была. Знал, что и жизнь была и есть, идет, продолжается, попрежнему рождаются и растут дети; он попытался справиться с собою, неуверенно улыбнулся.

«А-а, чепуха какая,— подумал он сердито.— Нашему брату что ни дай, все мало, у мужика в брюхе, говорят, и долото сгниет». Ему вспомнилось свое гостевание с Ефросиньей в позапрошлом году в Москве у Аленки, недавний приезд Николая с женой; он подумал, что вел себя с ними со всеми нехорошо, все присматривался, все казалось, что они стали жить совсем по-барски. Аленкины ребята, так те корову только по картинкам и узнают, а про жито и совсем не слыхали, младший, Петя, прямо и заявил, что всякие деревенские проблемы вообще никого сейчас не интересуют, что в Москве в магазинах всегда все будет и тратить время на бесполезные разговоры нет никакого смысла. От таких неожиданных откровений неоперившегося юнца он, Захар, вначале даже оторопел, и хотя у него так и чесалась рука дать внуку добрую затрещину, сдержался, но Аленке и Тихону высказал потом все, даже с излишком.

Над Соловьиным логом пронесся табунок диких уток; Захар проводил их взглядом, затушил окурок. «Ладно,— подумал он,— что тут мудрить, прищучит, сами во всем разберутся»,— и ему стало еще хуже от этого. Мало ли что ему показалось, как им жить, это их дело, а ему...

Он переждал, примерил за плечами мешок и, рассерженно оглядев разводья расползшихся в поля оврагов, невольно еще раз задержавшись взглядом на цветущих, словно облитых мерцающим, бледноватым пламенем ивах, пошел дальше. «Хочешь не хочешь,— подумал он,— а ругаться опять надо. А то в райком сходить, что ж это с землей хулиганят? Вон, через дорогу перескочило, надо латать...»

Часам к десяти он проделал уже добрую треть пути и в Дубянском, небольшом местечке, правда, за последние годы начавшем разрастаться из-за нового кирпичного завода, зашел в чайную, взял в буфете порцию кильки с ломтиком соленого огурца сбо-

ку и стакан перцовки. Буфетчица, молодящаяся женщина лет пятидесяти, хорошо знавшая его (впрочем, его знали везде в районе), спросила:

— Может, яишенку-то, Захар Тарасыч, а? Яички-то свежие сегодня подбросили, так и светятся.

— Спасибо, Катерина, не надо,— сказал Захар.— Это я так, идти еще порядком, вот, гляди, ноги и повеселее понесут. Хлебца-то дай...

Нарезав хлеба, буфетчица положила его на тарелку, вышла из-за стойки. В чайной никого не было в этот час, и она попросту, по-домашнему подсела к Захару.

— Может, выпьешь со мной, Катерина? — предложил Захар, отмечая про себя уже начинавшую усыхать шею буфетчицы.

— Ну что ты, Захар Тарасыч,— сказала буфетчица.— И раньше-то не пила, а тут сердце хватает, доктора говорят — покой да покой... а... Далекó ли собрался, Захар Тарасыч?

— В Раменку, дом там перебирают, вот и попросила родня помочь.

— Хорошо ныне люди стали жить,— вслух подумала буфетчица.— Все подряд строятся, все под шифер да железо. Первые-то годы после войны вспомнишь...

— А чего их вспоминать-то? — Захар кивнул буфетчице, поднял стакан.— Чего их вспоминать? — переспросил он, рассматривая янтарную жидкость и хмурясь.

— Обидно,— сказала буфетчица.— Надрывались, надрывались... Сейчас вон мужики уже самогонку не хотят, подай им московскую... денежные все стали.

Захар не спеша, без перерыва, опорожнил стакан, задумчиво пожевал кильку. Перцовка, выпитая сразу, словно для того, чтобы притушить какую-то непроходящую горечь внутри, почувствовалась немедленно; приятно отяжелели руки, но голова оставалась ясной. «Да,— думал он,— теперь живут хорошо, сытно, заплывают потихоньку салом и от этого недалеко наперед видят. С жирной душой далеко не ушагаешь, она ветра боится. Катерина правильно рассуждает: надрывались, три шкуры с себя драли, а жить вот досталось другим, вот этим, под шифером да железом. Ну и пусть живут, так оно и положено»,— думал Захар, закуривая.

— Слышь, Захар Тарасыч,— опять заговорила буфетчица,— тут такое дело... По радио только перед

тобой-то, Захар Тарасыч, толковали, вроде опять в космос этот полетели...

— Не первый раз,— выдохнул Захар дым из себя.— Человек, он такой, на земле ему теперь стало тесно.

— Летают, летают,— удивилась буфетчица.— Эк, не сидится человеку, страсть! Что-то много говорили, а я как раз яички-то принимать стала...

— Мало ли всякого на свете,— отмахнулся Захар.— Нам-то с тобой это дело, может, и не понять. Отчего он, человек, в такие выси забирается? От страха, что ли? Земля-то вон кругом, делов на ней не оберешься, а их черт там носит. Это, знаешь, какая деньга-то сгорает? Э-э! Я вот тоже так, подумаю, подумаю, да и махну рукой: где уж понять на старости лет. Ну, спасибо тебе, Катерина, пойду...

Захар расплатился и вышел из Дубянского уже часам к двенадцати; дорога, особенно по высоким местам, окончательно размокла, и идти было трудно; он подумал, что вышел как раз вовремя, еще дня три, и через Ору не успел бы перебраться. Теперь, поди, вот-вот совсем тронется лед, а там жди неделю, пока очистится река и пустят паром; Захар прибавил шагу и к вечеру, часам к шести (погода была по-прежнему ясная и солнце светило, хотя и начинало слегка подмораживать), подошел к цели. На противоположном, высоком берегу в предвечерней синеве неба широко раскинулось большое село. Захар сразу увидел, что река готова тронуться, лед взбух и потрескался, темная, извилистая полоса накатанной за зиму дороги, казалось, выгнулась дугой, было такое чувство, что и сама лента дороги вот-вот зашевелится и поползет. Захар увидел прямо перед собою деревянный щит, почему-то не замеченный раньше.— Проход категорически запрещен! Опасно для жизни! Ледоход! — вслух прочитал Захар и усмехнулся; вначале он и в самом деле подумал вернуться, но тут же какое-то подзуживающее чувство заставило его переменить решение; он еще раз зорко окинул взглядом реку и дорогу по ней, затем сошел на лед, почти сразу же ногами ощутилась стремительная напряженность льда; Захар ясно услышал и какой-то шорох, потрескивание. На том берегу заволновались, забегали несколько коротеньких, усадистых от дальности расстояния человеческих фигурок, но Захар лишь досадливо прищурился и пошел дальше по горбатой ледяной дороге. «Нужно бы-

ло прихватить с собой на всякий случай какую-нибудь жердь»,— вспомнил он уже ближе к середине; под ногами теперь явственно ощущалось движение, лед вздрагивал, подвигался; стремительная сила прибывавшей ежесекундно воды давила на него изнутри, затейливые трещины уже пересекали ледяной покров в самых различных направлениях, и на глазах, словно молнии, с резким хрустом появлялись новые; Захар, присматриваясь, пошел быстрее, торопливыми, скользящими шагами, стараясь ступать легче, из предосторожности он на ходу снял из-за спины мешок с инструментами; люди на высоком берегу теперь, наблюдая за ним, стояли молча, некоторые сошли к самому льду с жердями и веревками наготове. Приближаясь, Захар посматривал на них и посмеивался, и они неодобрительно ждали, но лишь до тех пор, пока он оказался у самого берега, в безопасном месте; внезапный докатившийся треск и грохот заставили его оглянуться. Метрах в двадцати, стронувшись, уже ползла как-то сразу потемневшей плотной лентой вся середина реки, и приятный холодок отозвался у Захара в спине. Еще бы минута задержки, и пришлось бы ему барахтаться в ледяном крошеве.

— Чего встал столбом? — сердито закричали ему с берега.— Беги, беги!

Не торопясь, Захар вышел на берег, опустил заплечный мешок с инструментом на землю и, молчаливым кивком поздоровавшись с людьми, стал закуривать.

— Эка, старый хрыч,— услышал он чей-то молодой недоброжелательный голос,— годов уже под завяз, а ума, видать, так и не нажил, потом еще и люди за него страдай...

Говоривший, молодой парень лет восемнадцати, отбросил от себя жердину, выплюнул изжеванный окурок; Захар ничего не стал отвечать, повернулся, глядел на тронувшуюся реку.

— Никак ты, дядька Захар! Здравствуй! — торопясь, к Захару почти подбежал его родственник Михайла, здоровый, розовощекий мужик лет сорока с непривычно взволнованным лицом.

— Здравствуй, здравствуй, Михайла,— отозвался Захар, протягивая руку и попыхивая папиросой, и тот стал сильно трясти Захару руку.

— А тебя, дядька Захар, с обеда ищут, сельсовет весь избегался, из района тарабанят, из области — тут

такой огонь! Все полыхает! А потом слышу — дети орут: через речку кто-то сломя голову прет! Я схватил полушубок-то да сюда!

— Ты погоди, Михайла, ты по порядку,— остановил его Захар.— Что это так запузырилось кругом моей персоны? Чего надо-то?

— Да ты что, дядька Захар? — в наступивших легких сумерках глаза Михайлы замерцали изумлением; молод еще был мужик, и Захар, отметив это про себя, чуть нахмурился.— В самом деле не знаешь, что ль? Колька твой круг земли-то вот уже какой срок волчком крутится, какую-то мудреную штуковину промышляет. Ты что молчишь, дядька Захар?

— Вон оно какая потеха,— тяжело удивился Захар, чувствуя враз засаднившее сердце, бросая папиросу и тут же торопливо вытаскивая из пачки новую; Михайла поднес ему в сжатых ладонях защищенную от ветра спичку.

— Ну, Николай, может, и летает, а я кому с такой спешкой понадобился? — спросил Захар.— Летает... Может, зря все это, лучше о другом бы подумали по-хозяйски... Вон пол-России бурьяном взялось. Что ни село, то половина с заколоченными ставнями. Чего там, в небе-то, забыли? Летят, летят... Зачем?

— Как зачем? — рассердился Михайла.— Он, твой чертяка, герой на весь мир, а ты, дядька Захар, что, никаких касательств к нему не имеешь?

— А какие касательства? — угрюмо и недовольно спросил Захар.— Он летает, а я с какой стороны?

— Да ведь ты и есть отец родной! — еще больше изумился Михайла.— Без тебя его не было бы...

— Другого бы нашли,— проворчал Захар.— Тоже мне, геройство, чего-чего, а детей делать любой дурак горазд. Небось неправда... С какой стати Николай-то мой летает? Он по ученой части, а там все больше военные...

— Твой, твой Колька-то! — перебил его Михайла, возбужденный тем, что Николай Дерюгин, летавший сейчас черт знает в каких невообразимых далях, все-таки, хоть неблизкая, да все ж таки родня ему, Михайле; он сейчас не понимал Захара и не мог понять, и даже был откровенно раздосадован поведением старика, его каким-то невероятным недовольством и мрачностью. «Ну, зверюка!» — ахал про себя Михайла, присматриваясь к Захару, а тот сопел, горбился, жадно, глубоко

вдыхая табачный дым, затем опять повернулся в сторону реки, застыл. В синих вечерних сумерках середина реки ползла и шевелилась как живая; отдельные льдины с уханьем и треском выскакивали из общей массы торчком, рушились обратно; лед взламывался все ближе к берегам, и Захар редко помаргивал, глядя на ожившую реку, но видел он не тронувшийся, ползущий сплошной лентой лед и даже не противоположный, низкий берег, казалось, тоже шевелившийся. Была та минута, когда Захару не хотелось никого видеть рядом; это была, разумеется, радость, но радость настолько тягучая, непонятная, что ему с трудом удавалось удерживать в себе загустевший крик, но Захар, впрочем, не думал о своих ощущениях или чувствованиях. «Молодец, мельшун! Молодец, Колька! Молодец, Николай Дерюгин!» — говорил, вернее, думал он, почудилось ему на какое-то мгновение, что это он сам мчится сквозь метель и бурю; он словно сбросил с себя тяжесть лет и опять был молод, неутомим, здоров, но в то же время от этого душевного напряжения кольнуло у самого сердца, и боль тотчас разрослась, разбухла в груди тяжелым комом, и он еще больше выпрямился, боясь шевельнуться. «Ну, конец, что ли?» — спросил он почти спокойно, с пугающей ясностью; все было понятно и оттого не страшно. Он подождал, боль потихоньку отпускала, и скоро дальний берег, теперь уже почти совсем скрытый в предвечерней мгле, проступил ясно — Захар опять увидел непрерывно движущуюся ленту реки и услышал веселый, звонкий грохот ледохода.

— Дядька Захар,— тревожно спросил Михайла,— ты что?

— Ничего, Михайла,— отозвался он глухо.— Проскочило...

— А я даже испугался,— обрадовался Михайла.— Слышь, вроде столбом закаменел. Что, дядька Захар, сердце, что ль, зашлось?

— Оно самое, видать, будь ты неладно,— признался Захар.— Ходишь-ходишь, вроде ничего, а потом и хватает, окаянное. Враз тебя стиснет, хоть караул кричи.

— Ну, пойдем, дядька Захар, пойдем. Хоть отдохнешь маленько с дороги-то,— заторопился Михайла.— Чую, недолго тебе тут быть, повлекут тебя ввысь...

— Какая там высь? — недовольно глянул на него Захар.— Пошли...

— Давай, мешок поднесу...

— Не мельтеши, Михайла, сам справлюсь, не умираю пока...

Михайла привел гостя в дом, прямо к накрытому уже столу, и вся семья, двое детей, белоголовый мальчик лет тринадцати и девочка лет десяти с прозрачными, смешливыми глазами, сама хозяйка, молодая полноватая баба, дожидались ужина; Захара повели за ситцевую занавеску вымыть руки, затем с оживлением усадили в переднем углу; в другой комнате вовсю трудился телевизор, и Михайла послал сына уменьшить звук; тот быстро вернулся на свое место и стал быстро есть, все время украдкой поглядывая на Захара.

Михайла налил в стаканы водки, гостю, себе и жене, придвинул поближе закуску — соленые рыжики, разваренную курятину, холодец.

— Ну, дядька Захар, с великим тебя праздником! — сказал, высоко подняв стакан, Михайла.—Кто бы мог подумать, твой сын Колька под самые звезды взметнулся! Только во сне и может приблазниться! Про фамилию Дерюгиных весь мир узнал!

— Выпьем, Михайла, ладно,— согласился Захар.— Сегодня и вправду особый, видать, день... Будьте здоровы...

— Страсть, высь-то какая,— хозяйка хотела перекреститься, но Михайла строго поглядел на нее, и она опустила руку.

— То-то и оно,— сказал Михайла, и все, помедлив, выпили. Захар вытер усы тыльной стороной ладони, взял кусочек хлеба, отломил, густо посыпал солью и бросил в рот; в тот же момент под окнами послышалось тарахтение мотоцикла, и скоро в дом вошли двое; хозяин поднялся им навстречу.

— Здравствуйте, Емельян Петрович. Проходите, как раз к ужину,— радушно приглашал он.— Хозяйка...

— Спасибо,— отозвался мужчина пониже, останавливая Михайлу,— рассиживаться недосуг, мы вот с товарищем из района к твоему гостю. Здравствуйте, Захар Тарасович.

— Коли не шутите, здорово,— приподнялся Захар.— Что за пожар-то приключился? Летают они там, ладно, сколько их уже вертелось в небе? Хлеб-то все равно с земли, кроме взять его негде. Летают, летают... а как умирать, все равно сюда, в землю, ложиться... На земле просторно...

— Вероятно, Захар Тарасович, и так можно повернуть,— внимательно глянул на него секретарь райкома,— да ведь жизнь не остановить. Такой уж у нас с вами век выпал. Необходимо, Захар Тарасович, срочно доставить вас домой, понимаете...

— Не очень-то понимаю... Что все-таки стряслось? Николай летает, а мы со старухой при чем?

— Вы, Захар Тарасович, со своей супругой должны быть, так сказать, в боевой готовности номер один. Я секретарь райкома партии, Головин Трофим Васильевич,— представился говоривший.— Вот мне и приказано обеспечить выполнение этой операции, тут не отвертишься... Вас с супругой в любой момент могут вызвать в Москву, встречать сына, это ведь правительственное распоряжение...

Головин видел Захара впервые и не мог понять, почему этот старик недоволен и хмурится; он озадачился окончательно, когда Захар наотрез, сердито кося глазами, отказался вообще куда-либо ехать.

— То есть как не поедете? — переспросил он даже с некоторым недоверием.— Ну-ка, ну-ка, объясните, пожалуйста...

— Объяснять ничего не стану,— Захар кашлянул в кулак.— Не поеду — и все. Я с какой стороны приклеюсь-то? Чего это меня, как в зверинце, показывать будут?

— Простите, но вы же отец! — Головин, не дождавшись ответа от хмурого Захара, достал пачку «Беломорканала», закурил и, расстегнув полы пальто, присел на лавку.— Давайте серьезно поговорим, Захар Тарасович,— сказал он ровным и спокойным голосом.— Разумеется, я не могу вас заставить силой, но хочу понять, в чем, собственно, дело? Вы что, не в ладах с сыном? Или у вас есть какие-то свои особые причины?

— Никаких причин у меня нет,— пожал плечами Захар.— А рассудить тут надо просто: сын летает где-то там, возле боженьки, а я чего с ним рядом торчать буду? Подумаешь, отец... отцовство, оно дело нехитрое, всякий, как в штаны подлиннее влез, гляди, уже и отец...

— Подождите, Захар Тарасович,— остановил его секретарь райкома.— Но это же ни в какие рамки не укладывается. Общенародное дело, престиж государства, понимаете? Правительственное распоряжение... Это же какая гордость, наш земляк, русский человек... и ваш сын, Захар Тарасович! К солнцу взлетел...

— А правительство имеет право распоряжаться мной только по закону, товарищ секретарь,— настойчивость секретаря начинала сильно раздражать Захара, но он тем более укреплялся в своей мысли, что никуда ему ехать не надо; искоса взглянув на Головина и видя его какую-то обидчивую растерянность и даже что-то злое в лице, Захар почувствовал неловкость. Пожалуй, за самого себя ему было нечего бояться, подумал он, а вот Николаю, может, придется и поморгать, кто знает, что там у них за порядки...— Вот черт,— проворчал Захар, насупливаясь.— А как же я домой-то в эту расхлябь доберусь? Речки развезло, в низинах теперь вода стоит...

— У нас, Захар Тарасович, абсолютно все продумано,— обрадовался секретарь райкома.— Вот-вот вертолет из Холмска будет. Тридцать минут, и все в порядке. Нет, просто удивительно! — теперь уже окончательно развеселился секретарь райкома.— Увидеть сына сразу после такого дела! А, Захар Тарасович?

— Не поймешь ты, секретарь,— вздохнул Захар.— Да ладно, я же согласен. Вертолет так вертолет.

— Отлично, отлично, зачем лишние слова, и я с вами согласен,— Головин, казалось, только теперь обратил внимание на стол, и Михайла торопливо достал два чистых стакана, расчистил для них место, налил водки и весело взглянул на гостей.

— Садитесь, садитесь, ну как, как же,— зачастил он.— Разве можно... Дело-то какое сшибательное... Дядька Захар, проси!

— Просить не надо,— сказал Головин, шагнул к столу и взял стакан.— За это нельзя не выпить! Для всей страны праздник, пишут, совершенно особый полет, какое-то великое научное достижение, связанное с судьбой всего человечества! Бери, бери, Федотов! Мы же русские люди!

Все взяли стаканы и стоя, в торжественном молчании выпили, затем сели закусить; настороженность и какое-то необъяснимое упрямство у Захара прошло, и настроение переменилось. Он даже не смог бы сейчас сказать, почему это упорствовал раньше и не хотел возвращаться; они еще выпили, и еще, и Захар всякий раз удивленно мотал головой и говорил:

— Надо же, Колька мой куда сиганул, а? Колька-то мой, а?

Ему сейчас казалось, что если и было в жизни что-то плохого, так это все было давно и словно с кем-нибудь

другим и что самое главное происходит именно сейчас. И от этой остроты он никак не мог захмелеть; прибыл и опустился к удовольствию мгновенно сбежавшихся со всего села ребятишек вертолет, широкими лыжами встал прямо на твердый, слежавшийся снег на огороде Михайлы. Захар быстро оделся и в сопровождении Головина, председателя колхоза и всей семьи Михайлы вышел из дому. Вокруг, обламывая изгородь, уже собралось много и мужиков, и баб, и старух, все уже знали в чем дело и на Захара, вышагивающего в своем коротком полушубке впереди всех, глядели с любопытством и уважением.

У самой машины Захар вспомнил, что забыл свой плотничий инструмент; Михайла послал за ним сына, и тот быстро обернулся туда-обратно, прибежал раскрасневшийся, подал Захару ящик.

— Спасибо, Гришуня,— Захар потрепал парня по плечу.— Спасибо, а то без инструмента как без рук... Ну, прощайте все! — сказал он, слегка хмурясь от всеобщего внимания.— Я уж потом, Михайла, как-нибудь к тебе заверну, ничего не попишешь, подвел нас родственничек...

Захар усмехнулся, подал ящик с инструментом пилоту в дверях вертолета; Михайла, оказавшийся рядом с ним, сунул в карман ему что-то тяжелое, полу сразу оттянуло, догадываясь, Захар одобрительно покосился на родственника.

— Фляжка, дядька Захар,— понизил Михайла голос.— Еще с войны, трофейная, гляди, дурно вверху станет, и пригодится.

Захар молча пожал ему руку и полез в вертолет; пилот с круглым оживленным лицом захлопнул дверцу и указал Захару на продолговатое и узкое сиденье вдоль стены.

— Устраивайтесь, папаша.

Захар сел, слегка повернувшись, стал глядеть в маленькое толстое и круглое окошко. Корпус машины мелко задрожал, с ребятишек неподалеку, словно листья, послетали фуражки; Захар от этого тарарама озорно подмигнул в толстое стекло, Михайла с другой стороны помахал ему рукой, а какая-то старуха рядом с ним, заслоняясь от поднявшегося ветра, истово несколько раз перекрестилась. Затем машина дрогнула и оторвалась от снега, после секундной заминки косо и стремительно понеслась внизу земля, неловко замель-

кали люди с задранными головами, голые деревья, дома, холодно сверкнула взбухшая зеленоватой синью лента реки, и пошел лес; Захар оторвался от окошечка. Это был санитарный вертолет; Захар увидел напротив свернутые и прихваченные застегивающимися кольцами к стене носилки. Дверь из кабины приоткрылась, показалась голова пилота.

— Ну как? — угадал Захар по его губам и молча показал большой палец; пилот снисходительно, но вежливо кивнул и скрылся, Захар опять остался один. Он нахохлился, уставился в одну точку перед собой: все, что произошло с ним за последний час, случилось помимо его воли; ну вот, привезут его, подумал он, поставят на трибуну (Захар уже видел это однажды в кино), и будет он дурак дураком, потому что ни с какого боку он к этому делу не причастен. Сын... так что сын? Эко диво...

Захар достал флягу, отвинтил ее и сделал прямо из горлышка пару крупных глотков. «Молодец Михайла,— одобрил он,— мужик с соображением, сразу и полегчало внутри».

Подождав и крупно хлебнув еще раз, Захар завинтил колпачок и сунул заметно полегчавшую посудину в карман полушубка. Он не понимал, что это было за враждебное чувство, не дающее ему покоя и мешавшее спокойно ждать и радоваться, но, как это и бывает иногда в острые моменты, тут же определилось и окончательное решение. Никуда он дальше Густищ не поедет — и точка, а что в груди свербит, так это от другого. И правильно, даже с сыновьего стола ему крох не надо, ничего не надо, кроме своего, что заработал, то и есть, а так что же он будет стоять, у сына за спину жаться, вот, глядите, и я тут, и я вместе... Обойдутся без его личности, Ефросинья как хочет, а он не поедет... вот так... Еще не хватало, повернешься там не туда или что невпопад брякнешь...

Успокаиваясь окончательно, Захар достал флягу, отвинтил и хорошенько глотнул, по горлу прокатился приятный, теплый комок вниз... вниз... а-ах, вот так!

Захар крякнул от удовольствия, повеселел и удивился еще более, что ему нужно куда-то ехать и что-то делать.

«Ну-ну,— сказал он,— так я вам и поеду. Черта с два, у меня свои дела есть. Летает Колька, ну и пусть, а я сейчас из этой машины выпрыгну, только вы меня

и увидите, у меня вон еще кроме Кольки Илюшка есть, в каждом письме зовет к себе в Свердловск внуков поглядеть, а там и этот... Василий пишет... тоже после армии в городе пристроился, недавно женился... Я что, я свое оттрубил, что мне в каждую щель соваться?»

Поискав глазами ящик с инструментом, он придвинул его к себе; в два глотка допив оставшуюся водку, Захар аккуратно завинтил колпачок и, напоследок внимательно оглядев пустую флягу, подумал, что немцы все-таки мастеровитый народ, удобные и крепкие на износ вещи умеют делать, и что надо не забыть вернуть ее Михайле. «Ха, немцы,— сказал он затем,— эти все умеют, у них зря любая малость не пропадет, не то что наши дураки...»

Поворчав еще несколько, Захар совсем возмутился, и его охватило желание выйти из этого узкого, грохочущего ящика; подхватив свой инструмент, он встал; было легко и свободно, ощущение высоты и полета ему нравилось; он стал отыскивать дверь, чтобы окончательно освободиться, и ему показалось, что он отыскал ее. Он долго дергал какие-то рычажки, но ничего сделать не мог и начал злиться, поняв, что запутался; оглянувшись, он увидел внимательно наблюдавшего за ним второго пилота. Захар шагнул к нему и, стараясь говорить громко, попросил:

— Слушай, парень, ты мне дверь открой, а?

— Что? — с веселым изумлением переспросил летчик, уловив в дыхании Захара сильный водочный перегар.

— Дверь, говорю, выйти хочу.

— В туалет, что ли? Так вон он, в хвосте. Помочь?

— Да нет, совсем выйти,— сказал Захар, и в глазах у летчика загорелись смешливые огоньки.

— Погоди, папаша,— стал уговаривать он,— куда ты сейчас выйдешь, дикий лес кругом. Давай покурим, папаша,— предложил он, присаживаясь и щелкая портсигаром.— Немного осталось, через пять минут село, вот и выйдешь, а так, что в лесу делать?

— Лес-то что,— проворчал Захар, устраиваясь рядом с ним и закуривая,— лес нам нипочем.— Он зорко и строго посмотрел на летчика.— Молодой ты, леса боишься... а самый страх в другом, среди людей заблудиться, вот где страх... А лес что, лес он стоит себе и стоит...

— Ну вот,— сказал летчик, когда вертолет резко

пошел на снижение.— Сейчас тебя и высадим чин чином, прямо в селе, на площади...

Захар поглядел в окошечко, удивился.

— Э-э, так это же вроде Густищи,— недоверчиво сказал он.

— Они самые,— засмеялся летчик.— Точно по заданию доставили тебя, папаша, в село Густищи, Зежского района. Ты, папаша, шебутной, видать, молодым был. Норов в тебе чувствуется...

— Всяким был, сынок,— кивнул Захар без обиды,— на то она и жизнь... по-разному ее попробовать...

Он опустился по лесенке из кабины, летчик подал ему ящик с инструментом, и Захар, поблагодарив, сощурился на подходивший торопливо народ.

— А в лесу было бы лучше,— пробормотал он.— Простор тебе, пока снег белый держится...

Он опять заблестевшим взглядом окинул толпу, радостно зашумевшую ему навстречу; от долгого недавнего грохота в голове еще стоял гул, и он плохо разбирал слова; Захар увидел лицо Ефросиньи, оно все приближалось и приближалось к нему, оно словно плыло поверх всего остального, он видел только это странное, как-то одновременно испуганное и оживленное лицо; Ефросинья оказалась прямо перед ним, перед самыми его глазами, она вопросительно глядела на него, и он понял, что она не в силах расцепить губ.

— Что, собираться будем, а, мать?

Ефросинья молча кивнула, и ему показалось, что вот-вот и ее не станет, и она исчезнет, и наедине с этой безликой и безглазой громадой людей разомкнутся последние связи; взяв Ефросинью за плечи, он притянул ее к себе, и она стала рядом с ним лицом к толпе.

Она была в новом платке, в привезенных Николаем теплых, хороших сапогах, и Захар своей натруженной ладонью пытался поддержать ее в материнской слабости, как бы бессознательно стараясь прибавить ей сил, не хватавших для ожидания.

— Значит, вскинуло Кольку-то к самому небу,— сказал он тихо.— Взлетел и... Пора, мать, пошли, что ж, бывает, и так вот случается... надо собираться... ничего не попишешь...

Они шли рядом по селу, и под их ногами сочно хлюпала растворившаяся от жадного весеннего тепла земля; Захар глядел прямо перед собой, куда-то вдаль, в синевшее пространство неба.

11

Перебравшись из кабины корабля во второй отсек, в космическую лабораторию (она должна была потом оставаться на орбите), Николай со своим ассистентом Билибиным за двое суток установил и настроил приборы. И Николай, и Билибин работали в спокойном, строгом ритме; в тесном помещении лаборатории, его самом дорогом детище, все пространство, кроме узкого, неудобного прохода, заполняли приемные и передающие устройства — воплощение человеческой мысли и гения. Николай был сейчас заключен в хрупкую скорлупу по сравнению с бушующими вокруг него безмерными силами космоса, его всепоглощающей тьмой, и был на огромном удалении от привычной, родной земли; занятый работой и стоящими перед ним задачами, он не ощущал этого, и только время от времени голос командира корабля напоминал Николаю, где он находится и что к его состоянию прислушивается весь мир, что об этом регулярно сообщает радио во всех уголках земли и что к нему устремлена сейчас творческая энергия человечества, именно с выходом за пределы привычных, часто примитивных представлений о материи и Вселенной начинавшего все неотвратимее осознавать свое неделимое единство, свою взаимозависимость перед всесокрушающим, безжалостным дыханием бесконечного космоса. Николай с Билибиным работали вначале строго в ритме графика, и когда все было сделано, Билибин, чтобы не мешать, перебрался в кабину, а Николай еще раз все тщательно просмотрел и прощупал. Он остался доволен и решил, что теперь можно переходить к следующему этапу. Наступал самый напряженный, полный ожидания момент, и он невольно медлил; приборы должны были работать в условиях космического холода, и кто знает, какие новые свойства при этом обнаружатся...

Он помедлил, оглядывая свое хозяйство, и почувствовал облегчение, через двое суток приборы и устройства войдут в заданный режим, и затем он еще раз должен отрегулировать их и заложить еще одну, основную группу опытов с мощными сверхпроводящими магнитами по передаче энергии на расстояние, но об этом сейчас рано было думать, да и усталость давала себя знать...

Он сообщил, что у него все готово, и скоро уже был в своем кресле, рядом с Билибиным; Касьянов, напоминавший в плотно облегающем тело костюме и в шлемофоне какое-то внеземное, более совершенное существо, коротким кивком поздравил его.

— Спасибо, Сережа,— отозвался Николай и остановился взглядом на приборном щитке перед собой, соединяющем его с лабораторией.— Ну, господи благослови, как сказала бы Ефросинья Павловна,— пробормотал он и легким нажатием нужной кнопки разгерметизировал лабораторию. Корабль почти никак не отозвался на это, но все трое уловили почти неощутимый посторонний толчок. Несколько минут прошло в молчании; регистрирующие устройства на щитке перед Николаем начали оживать; Николаю, напряженно следившему за ними, казалось, что это не приемные устройства все глубже и глубже проникают в безмерность космоса, выуживая из него пока необъяснимые сигналы, сведения, а что это он сам, с каждым мгновением отдаляясь от корабля на громадное расстояние, вбирает в себя немыслимое многообразие вечно живого космоса, и оно, это многообразие, с каждой секундой усиливающееся, цепенило его. Николай устало прикрыл глаза.

— Алеша,— попросил он немного погодя Билибина,— сообщи в центр, что мы приступили к первой серии опытов. Все идет в установленных программой пределах. Не исключена возможность получения самых неожиданных данных...

— Связь через десять минут,— сказал Билибин.— Тебе, Николай Захарович, надо спать.

Николай, совершенно не чувствуя тела, недовольно заворочался, устраиваясь удобнее, затем потуже затянул привязные ремни и, несмотря на непрерывный, привычный шум от работающих приборов и оборудования корабля, думая, почти физически ощущая беспредельную тишину космоса, закрыл глаза, по-прежнему находясь еще там, в неизведанных просторах, откуда приборы втягивали теперь в себя и регистрировали невероятное количество информации. Легкая, туманящая дрема тихо вкрадывалась в сознание, но он, прежде чем окончательно заснуть, успел еще вспомнить одно из очень узких, специальных заседаний в Академии наук, лицо одного из своих оппонентов...

«Почему в космос? — недоуменно спрашивал, сам любуясь своим недоумением, один из академиков.— На

земле, коллега, непочатая бездна работы. Почему сейчас всем подавай космос? Не лучше ли построить еще один город?»

«Земля и космос — единое целое,— холодно, тоже расчетливо, не скрывая своего удивления, отвечает Николай.— Законы космоса и законы земли едины. Их нужно знать, чтобы предвидеть будущее нашей с вами земли, чтобы невольно не толкнуть ее в какую-нибудь глобальную катастрофу. Выход в открытый космос дает нам возможность познать общие законы материи и пространства, то есть законы мирового космоса, во много раз быстрее и глубже... Тот же практический смысл здесь для человечества ни с чем другим не сравним... Кроме того, космос уже сейчас начал давать пользу для земли, от сверхдальнего телевидения до изучения природных ресурсов Земли, до прогнозов погоды, и это вам известно».

Ответа он уже не слышал, раздраженное и по-прежнему недоумевающее лицо академика, размазываясь, поплыло куда-то назад и вбок, и, через несколько часов проснувшись, он понял, что что-то случилось. Он открыл глаза: корабль, а вместе с ним и люди совершали еще один виток среди звезд, он повел глазами, в тусклом освещении слабо светились знакомые приборы и передатчики, и он понял, что то, что случилось, случилось в нем самом. Он хорошо отдохнул, чувствовал себя свежо и бодро; он подумал, что нужно еще раз все тщательно продумать. Тела не чувствовалось совершенно, это было ни с чем не сравнимое состояние, чем-то напоминающее сны детства, захватывающее, свободное, бестелесное парение над землей, сладкое, стремительное замирание сердца; Николай подумал о бесконечности знания, о том, что человеку никогда не суждено победить первооснову самого себя, и вот эта блестящая, всепоглощающая бездна под обозначением *космос*, в которую уже канули миллионы земных поколений, всегда будет перед человеком, как таинственный черный ящик, и человек никогда не сможет постигнуть его до конца. Да и зачем? Зачем? Вероятно, это и есть великая радость жизни — в упорном стремлении бесконечно пробиваться к бесконечной истине; вот он, Николай Дерюгин, а с ним и еще многие миллионы пытаются совершить свой прыжок в этой космической ночи, а там придет следующий; зачем, зачем? — опять спросил он себя; было строго очерченное пространство, и были

взлеты богов, были титаны и сказки, и все в один момент смешалось и рухнуло; человек с небес, где его бросало бурями из стороны в сторону, опустился на твердую, безупречную реальность, и начался прямой рабочий путь и отсчет; крупица за крупицей прогрызать свой ход в устрашающей громаде опыта и не отчаиваться, возможно, именно в этом и был свой, скрытый смысл?

Усилием воли он попытался сосредоточиться на другом, на том необходимом, что нужно было во что бы то ни стало выполнить; и тотчас загудел знакомый голос командира корабля.

— Коля... Коля... проснулся?

— Да, отоспался за все время... Как дела, Сергей?

— Провел несколько сеансов... передают, что все хорошо, все живы-здоровы. Тебе от жены и родных приветы.

— Спасибо... Как себя чувствуешь, Сергей?

— Отлично... Алексей отдыхает?

— Только что заснул, все с вашим ящиком в должном порядке.

— Слушай, Николай Захарович,— командир корабля, когда речь заходила о более серьезных делах, называл Николая только по имени-отчеству,— центр наметил коррективы орбиты сразу после вашей готовности ко второй серии.

— Хорошо. Как-то даже странно,— оживился Николай,— все идет так буднично. А дело-то какое, даже самому себе иногда не верится. Конечно, затраты огромные... Неудача просто невозможна... Я тогда тут же попрошу тебя вышвырнуть меня за борт. Ведь недостаток энергии уже налицо, еще несколько десятков лет, и человечество начнет задыхаться... Наука должна освоить принципиально новые источники энергии. Мы всего лишь пионеры, но наступит время, и люди будут перебрасывать любые потоки энергии на любые расстояния. И всего лишь направленный электромагнитный пучок — ведь в самом деле здорово, а? Допустим, берем энергию Сибири и тотчас передаем ее в Европейскую часть Союза. В принципе, примерно такой же спутник, на котором сейчас основана система телевидения. Или полученную в космосе от солнца энергию на землю. Вопрос передачи энергии без проводов, а значит, во многом энергетический вопрос, товарищ командир корабля, решится

навсегда. Мы сейчас у истоков действительно гигантских проблем. В честь Королева человечество должно сложить гимн и исполнять его каждое утро на всей планете. Наука идет к этому разными путями, мой конек — криогеника...

— Я, Николай Захарович,— улыбнулся командир корабля,— перед полетом штудировал твою книгу по криогенике. Довольно упорно...

— Ну и как, Сережа?

Командир корабля засмеялся, слегка поднял руки.

— Понятно. Вообще-то твердый орешек... Ведь в мире, Сережа, в самом деле все относительно, кроме сверхпроводимости. Это свойство открыто почти семьдесят лет назад, и только сейчас практическое его применение встало на повестку дня,— Николай скользнул взглядом по приборной доске, потрогал подбородок, щеки и подумал, что надо обязательно побриться.

Обменявшись еще двумя-тремя словами, они занялись каждый своим делом, завтраком, туалетом, подготовкой к продолжению запланированных наблюдений; Николай шире раздвинул створки иллюминатора, у него слегка дрогнуло сердце, хотя он и не увидел ничего неожиданного. Просто где-то в необозримой дали под ним плыла голубоватая Земля, а вокруг было залитое серовато-золотистым сиянием пространство.

— Все в порядке? — раздался спокойный голос командира корабля.

— Да, начинаю измерения,— ответил Николай, продолжая осмотр, и подумал, что они сейчас, три человека, словно связаны одним током крови, одной нервной системой, и стали одним целым, одним нерасторжимым существом, и Николай еще подумал, что именно этим и сильны люди.— Ты знаешь, Сергей, что такое счастье? — спросил он, отрываясь от приборов.— Ощутить вечность, Сережка!

— Добро,— отозвался командир корабля, и Николай, взглянув в иллюминатор, с каким-то почти болезненным наслаждением еще раз оглядел невероятный, поражающий мир. Корабль входил в тень, только по этому и можно было заметить движение, но вокруг еще расстилалось золотисто-огненное пространство, и чуть сбоку и внизу в алых отсветах полыхала атмосфера Земли, и по привычным очертаниям, прорывающимся из-за неровных облачных скоплений, Николай

угадывал где-то вдали Африку, и через несколько минут корабль вошел во тьму; смена произошла как-то незаметно, и Николай продолжал всматриваться в эту непроницаемую, вечную, вспыхивающую миллиардами звезд вселенскую ночь. Как-то невольно, независимо от него, перед сияющим торжеством этой всеобъемлющей силы он вспомнил струящуюся зелень листвы старых берез за околицей Густищ, свечение их голубовато-белых стволов в яркий весенний день, вспомнил непередаваемую теплоту и щедрость живых красок Земли и слегка прикрыл глаза. Это была минута слабости, и он знал это, ему захотелось почувствовать лицом теплый ветер, несущий медвяные запахи луговых трав, увидеть Таню, и он представил ее, близкую, всегда неожиданную, и опять сердце сжалось от мысли, что все это будет неизбежно поглощено когда-нибудь вот этой безмерной и вечной мощью. Перед ней все было только мгновением, только слабой отраженной игрой, одним из бесчисленных вариантов этой захватывающей слепящей игры, вместе с проносящейся сейчас мимо Африкой и всеми земными океанами и материками, с их возникновением и историей, с непримиримыми тысячелетними борениями их народов и созданных ими богов и стремлений, и было единственное, что могло противостоять могуществу этой космической тьмы. Это была простая человеческая *любовь*, это была *женщина*, несущая в себе из заповедных, неведомых начал вечный свет жизни, слабая, хрупкая, таинственная и влекущая, бессильная и могущественная, потому что именно она была самым великим созданием этой космической тьмы, она вышла из ее недр, чтобы вдохнуть в нее божественную душу разума и чтобы в хаосе проступила, ожила и утвердилась красота и подвиг разума... И оттого, что он проник сейчас к каким-то самым неведомым пределам, у него наступило состояние недоумения, даже досады на себя; то, что он все время считал главным, все отступило, растворилось в звездной тьме, а пришло другое, надежное, теплое, простое, он лишь с каким-то запоздалым упреком к себе вспоминал в своей жизни такой-то и такой-то момент, когда он брал от жизни и отдавал ей всего лишь ничтожной частью возможного, и заверял кого-то, кого он и сам не знал, что больше так не будет; он знал, что на Землю вернется внутренне совершенно другим, зорче и богаче душою, и это его успокаивало.

За двое суток была подготовлена вторая, заключительная серия опытов, и Николай с Билибиным, загерметизировав лабораторию и дождавшись восстановления в ней необходимых условий, провели нужную регулировку ранее установленных систем и приемных устройств. Работали почти молча, потому что давно понимали друг друга без слов. Результаты самых разнообразных опытов были настолько богатыми и неожиданными, что их даже примерно невозможно было осмыслить без хотя бы предварительной обработки, и Николай был доволен; он и без этого отлично предвидел, какой резонанс вызовут многие добытые даже за короткий пока срок данные, но многие его идеи уже блестяще подтверждались, и мысль его работала дальше.

— Возвращайся в кабину, Алеша,— сказал он Билибину, после того как они присоединили круглый магнит, помещенный в жидкий гелий со специальным устройством.— По моей команде дашь ток. Если надо будет, гелия добавлю сам, у нас его не так много.

— Сколько вы хотите закачать, Николай Захарович? — спросил Билибин, поворачивая к Николаю круглое, молодое лицо с внимательными, сразу еще более посерьезневшими глазами.

— До сотни тысяч ампер.

— Николай Захарович... я просил бы вас оставить меня...

— У нас нет времени на дискуссии, Алеша. Иди. Сергей не сможет разобраться, если потребуется, во всех тонкостях нашего дела.

— Я опытный лаборант, Николай Захарович, опытнее в этом отношении вас, вы это знаете.

— Нет, Алеша,— попросил Николай,— уступи на этот раз мне. Моя самая давняя мечта именно этот опыт... я хочу провести его с самого начала своими руками. Жар-птица еще моей молодости. Да ты же знаешь, дела мы с тобой проворачиваем и посерьезнее.

— Понимаю,— не сразу отозвался Билибин и, улыбнувшись своей мысли о том, что даже такой большой ученый, как Дерюгин, подвержен самой простой человеческой слабости, в то же время подумал, что на месте Дерюгина и сам он поступил бы точно так же, и скоро Николай остался один, и уже через полчаса по его команде дополнительный ток пошел в обмотку магнита, и у Николая, следившего за стрелкой амперметра, все спокойнее и увереннее становилось на душе.

— Шестьсот, семьсот,— говорил он почти машинально, весь сосредоточенный сейчас на одном, и Билибин так же коротко и отрывисто подтверждал его слова; наконец Николай скомандовал «стоп!» и минуту или две отдыхал от напряжения.

— Николай Захарович...— дошел до него голос Билибина.

— Все в порядке, Алеша,— тотчас отозвался Николай.— Я остаюсь здесь,— он взглянул на хронометр.— Через полчаса проба, подключаю электронно-регулирующую систему по связи с землей,— и медленно, как бы не решаясь, передвинул и закрепил предохранителями необходимый контакт. «Все,— сказал он себе.— Теперь, если не вмешается господин случай...»

Время словно остановилось, и в дело вступила им же самим разработанная, взявшая на себя все дальнейшее руководство опытом электронная система, потому что возможности человека на этом этапе, где требовались микрорасчеты невероятной точности, кончались. Теперь они могли ждать результатов лишь по показаниям приборов.

— Связь есть, выходим на пункт первый,— донесся до Николая голос Билибина.— Включаю отсчет... пункт первый... пункт первый... есть! Пункт первый включился. Даю генератор пучка.

«Сто десять... сто десять... сто десять»,— заныло в ушах Николая; соединившиеся в одно целое системы корабля и наземной станции работали теперь в едином пульсе, и, когда отсчет кончился, Николаю показалось, что жизнь оборвалась, но ему в уши тотчас ударил близкий, взволнованный и радостный голос Билибина:

— Николай Захарович... контакт! Есть контакт! Контакт! — закричал Билибин.— Пучок принят на Земле!

— Спокойно, Алеша. Это только начало, до Земли дошло мало. Луч слишком широк, все по пути расплескалось,— отозвался Николай.— Выходим на пункт второй... Попробую сжать пучок до предела...

— Есть пункт второй! — подтвердил Билибин, теперь уже несколько буднично, сообщил о наличии уже более мощного контакта с Землей, и Николай, отключив внутреннюю телевизионную связь, несколько минут отдыхал; ему необходимо было побыть наедине с собой и как-то собраться с мыслями. Идея блестяще, даже как-то слишком просто, подтверждалась,— ему уже ви-

делся магнитный мост по перекачке энергии, долговременные орбитальные станции, настоящая революция в космической энергетике, несущая подлинное освобождение человеку... одним словом, черт знает что. Николай еще раз подумал, что магнитного поля маловато, чтобы за время сеанса сжать пучок энергии до предела.

— Николай Захарович, что случилось?

Голос Билибина словно бы пробудил его, и он от неожиданности даже тряхнул головой.

— Сейчас возвращаюсь,— сказал он и, быстро обежав взглядом все свое переплетенное десятками тысяч соединений хозяйство, решил долить в криостат с магнитом гелия и добавить в обмотки магнита ток; едва притронувшись к кнопке насоса, Николай в то же мгновение понял, что случилось нечто непоправимое; он почувствовал резкий толчок, крен корабля, и в следующее мгновение криостат с проводником исчез в белом морозном пламени, один из его осколков прошил корпус; Николай даже успел заметить, что именно в том месте, где находилась система разгерметизации лаборатории...

Боли не было, он ее не ощутил, лишь сознание вспыхнуло в чудовищном, последнем усилии; заструилась мягкая зелень берез, зеленовато-ласково нахлынула теплая морская вода, все заслонили чьи-то мучительно знакомые, зовущие, радостные глаза... Мелькнула мысль в поисках выхода, во всем теле даже наметилось движение к переходному люку, но это было настолько...

— Таня! Таня! — успел не то подумать, не то прокричать он.— Не смей... родная... я все оставил... там... тебе... победа... победа... Таня... Здесь... есть... что-то есть... Таня... не смей...

В ушах слабо плеснулся тревожный голос командира корабля, но Николай уже не слышал его; из легких вырвало последние остатки воздуха, грудь чудовищно мучительно стиснуло, и тело исчезло. Был яркий, мгновенный взблеск, ничтожная точка в безбрежных пространствах, и все погасло, и ничто, кроме сжавшихся двух человеческих сердец рядом, не отозвалось на эту тихую вспышку, хотя жизнь готовилась к ней необозримые миллиарды лет; беспредельный океан был нем и как всегда недвижим, его законом были вечность и покой безмолвия. Он обнимал все миры и все, что являлось Вселенной — праматерью всего сущего, богов и людей, неслыханных, необозримых космических ка-

тастроф; в нем бушевали силы, необъятные для разума, и слабая, мгновенная искорка человеческой жизни по значению уравнивалась с крушением и появлением миров...

Корабль в полнейшем молчании продолжал совершать очередной виток, и на Земле уже волновались; станции слежения и управления штурмовали корабль запросами, но ни командир корабля, ни Билибин, уже понявшие, что произошло, все еще не решались выходить на связь. Билибин с неподвижным, погасшим лицом молча плакал, не скрывая и не стыдясь слез, и все пытался вспомнить что-то самое необходимое, самое важное, что ему нужно было вспомнить, и все никак не мог. Затем он понемногу стал успокаиваться; крестный путь человечества к звездам не мог прерваться, то, что случилось, было лишь еще одной вехой на этом нескончаемом и необозримом пути.

На Земле пока еще никто ничего не знал, ни Ефросинья с Захаром, ни Брюханов, ни Таня; она очень плохо себя чувствовала, плохо спала, и от нее вот уже второй день не отходила Аленка.

— Елена Захаровна, милая, родная, ведь ничего плохого не будет? Он вернется? — в который раз уже, словно в каком-то бреду, спрашивала Таня, и Аленка, несколько располневшая, смеясь, стала успокаивать ее.

— Да вернутся, вернутся,— сказала она.— Что ты себе все придумываешь? Что он, первый? Сколько уже летали, летали... Я совершенно спокойна, и Тихон Иванович уверен в успехе. Это все у тебя от твоего положения... ну перестань, заставь себя думать о чем-нибудь приятном, что-нибудь приятное вспоминай.

— Не могу, никак не получается,— упавшим голосом ответила Таня.— Мне почему-то все время страшно... и за Колю страшно, и так просто,— она с каким-то недоумением опустила глаза на свой непривычно выпиравший живот,— страшно... Если бы Коля был рядом...

— А я в первый раз так хотела родить... Как сомнамбула от счастья ходила,— вспомнила Аленка, слегка задумавшись.— Это хорошо и естественно, если женщина рожает. Женщина хоть однажды должна родить, иначе ей и половины той полноты ощущений, что ей положено от жизни, не испытать.

— Скоро теперь будет сообщение? — спросила Та-

ня, притрагиваясь к нездоровому, слегка припухшему и оттого некрасивому лицу.

— Теперь не скоро, поздно, часов в двенадцать. Давай, Танюша, ложись спать, ты о ребенке подумай, теперь он для тебя самое главное... Ложись... ложись... Кто знает, какая у них там программа. Вернется Коля, а ты родить успеешь, вот и хорошо будет... Завтра Майя Сергеевна приедет... Хочешь кусочек лимона? Нет? Ложись, ложись...

Как раз в этот же поздний час Ефросинья осторожно прокралась из избы на улицу и, поеживаясь, кутая зябнувшие плечи в большую шаль, отошла от крыльца, подняла глаза к небу, густо усеянному вызревшими к полночи звездами, тихо перекрестилась. Где-то там, как говорили, летел ее младшенький — Колька. Она глядела, верила и не верила, и какой-то туманящий голову и кружащий сердце ветер тек к ней в душу, и казалось ей, что какой-то литой и далекий звон охватывает все это звездное пространство вокруг, и он все нарастал и нарастал. «Кровь-то расшумелась в голове», — подумала она, что-то ей вспомнилось, что-то тягостное и далекое, и в сердце ей словно ударил невыносимо затухающий крик, долетевший к ней из неимоверных далей, и ноги сразу ослабли; она опустилась на колени, стала молиться звездам, небу, непонятному богу, и в нее мало-помалу снизошла тишина. «Вернется, вернется, — прошептала Ефросинья, — как же ему не вернуться... как же, молодой такой... вернется...» Она испуганно оглянулась на какой-то шорох и увидела рядом высокую, резкую фигуру Захара; он шагнул к ней и помог встать.

— Что, мать, не в себе, а? — спросил он, в свою очередь размашисто оглядывая небо. — Ничего... Всякое бывало, осилим и это, не помрем... У Николая башка хорошая... зря не должен пропасть... не пропадет...

Он замолчал, прислушиваясь к первому бодрому и звонкому крику петуха. Хотя Николая Дерюгина уже не было, потому что он уже навсегда слился с неизмеримыми пространствами космоса, на земле еще никто ничего не знал, окутанная бодрой весенней дымкой, земля встречала рассвет нового дня.

1977

СОДЕРЖАНИЕ

ИМЯ ТВОЕ

Дилогия

РОМАН ВТОРОЙ

Проскурин П. Л.

П82 Имя твое. Дилогия: Роман второй/Худож. В. Смирнов.— М.: Худож. лит., 1988.— 863 с.

ISBN 5—280—00429—4 (Т. 2)

ISBN 5—280—00427—8

Действие романа «Имя твое» начинается в послевоенное время и заканчивается в 70-е годы. В центре романа судьба Захара Дерюгина и его семьи. Писатель поднимает вопросы, с которыми советское общество столкнулось в последние десятилетия: человек и наука, человек и природа, человек и космос.

П $\frac{4702010200-280}{028(01)-88}$ **без объявл.** **ББК 84Р7**

Петр Лукич Проскурин

ИМЯ ТВОЕ

Дилогия

РОМАН ВТОРОЙ

Редактор *В. Лапочкина*

Художественный редактор *И. Сальникова*

Технический редактор *М. Крюкова*

Корректор *И. Лебедева*

ИБ № 5574

Сдано в набор 02.12.87. Подписано в печать 06.06.88. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать выс. Усл. печ. л. 45,36. Усл. кр.-отт. 45,36. Уч.-изд. л. 51,07. Доп. тираж 15 000 экз. Изд. № III-3032. Заказ 1711. Цена 3 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.